

ГЕНРИК

СЕНКЕВИЧ

67



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

ГЕНРИК СЕНКЕВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ ТОМАХ

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

И. ГОРСКИЙ

А. САХАРОВ

А. СЕВАСТЬЯНОВА

Б. СТАХЕЕВ

В. ЦЫБЕНКО



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1985

ГЕНРИК ЖЕНКЕВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМА ШЕСТОЙ И СЕДЬМОЙ

▶
БЕЗ
ДОГМАТА
▶
СЕМЬЯ
ПОЛАНЕЦКИХ
РОМАНЫ
▪
ПЕРЕВОД
С ПОЛЬСКОГО



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1985

И (Пол),
СЗ1

Послесловие

В. Витт

Примечания

Е. Цыбенко

Оформление художника

Е. Ганнушкина

4763000000-392
С 028(01)-85 подписное

© Оформление, перевод, отмеченный *,
примечания. Издательство «Худо-
жественная литература», 1985 г.

ТОМ ШЕСТОЙ

БЕЗ
ДОГМАТА

РОМАН

Р

Перевод
М. Абкиной

Рим, 9 января 1883 г.

Несколько месяцев назад я встретился с моим другом, Юзефом Снятыньским, который в последнее время занял видное место среди польских писателей. Мы беседовали о литературе, и Снятыньский сказал, что он придает величайшее значение всяким мемуарам. По его мнению, человек, оставивший после себя дневник, как бы он ни был написан, хорошо или плохо, лишь бы искренне, передает будущим психологам и писателям не только картину своей эпохи, но и правдивый человеческий документ, единственный, которому можно верить. Снятыньский утверждает, что в будущем дневники и мемуары станут главнейшей формой повествования, что вести дневник — заслуга перед обществом, и человек, который трудится таким образом для общества, имеет право на его признательность.

И вот, так как я дожил до тридцати пяти лет, но не помню, чтобы до сих пор сделал что-нибудь для нашего общества (хотя бы уже потому, что по окончании университета почти постоянно, с небольшими только перерывами, жил за границей), и так как — хотя говорю я об этом в тоне юмористическом и, как губка, весь пропитан скептицизмом — в сознании своей бесполезности есть немало горечи, я решил вести дневник. Если это и в самом деле труд для общества и заслуга перед ним, — пусть я хоть таким путем буду ему полезен.

Хочу, однако, быть до конца искренним: за дневник я принимаюсь не только из таких соображений, но и потому, что идея эта меня занимает. Снятыньский уверяет, что, когда заведешь привычку записывать свои мысли и впечатления, это становится любимейшим делом в жизни. Если со мной произойдет обратное, то бог с ним, с дневником! Не буду обманывать себя — я уже предвижу, что тогда дело лопнет, как слишком туго натянутая струна. Для общества я готов на многое, но скучать ради него — ну, нет, на это я не способен.

Впрочем, я решил не пугаться первых трудностей. Постараюсь привыкнуть и войти во вкус этого занятия. Снятыньский во время наших бесед беспрестанно твердил мне: «Только не гонись за стилем! не пиши литературно». Легко сказать! Я хорошо знаю, что чем писатель талантливее, тем меньше в его писаниях «литературности». Но я-то — дилетант и не владею формой. Знаю

по собственному опыту: человеку, который много думает и сильно чувствует, часто кажется, что стоит только попросту записать свои мысли, и получится нечто незаурядное. А между тем, как только за это примешься, невольно начинаешь подражать каким-либо стилистическим образцам, и хотя бы человек писал только для себя, он безотчетно принимает какую-то позу и ударяется в банальное фразерство. Мысли его не желают переходить на бумагу, и, можно сказать, не голова управляет пером, а перо — головой, и притом с пера текут такие плоские, пустые, фальшивые слова! Этого-то я и боюсь. Боюсь главным образом потому, что если мне не хватает навыков, красноречия, настоящей художественной простоты и так далее, то вкуса у меня, во всяком случае, достаточно, и стиль моего писания может опротивить мне до такой степени, что писать станет просто невозможно. Ну, да там видно будет! А пока я хочу сделать краткое вступление к своему будущему дневнику — сообщить кое-что о себе.

Зовут меня Леон Плошовский, и мне, как я уже упоминал, тридцать пять лет. Я — из довольно богатого рода, сохранившего до последнего времени состояние далеко не среднее. Я же, несомненно, фамильного состояния не умножу, но зато и не промотаю его. Положение мое в обществе таково, что мне нет надобности карабкаться вверх или покупать себе какие-то привилегии. Ну, а разорительные и разрушительные наслаждения... Я ведь скептик и знаю всему истинную цену, вернее говоря, — знаю, что все в жизни ни черта не стоит.

Мать моя умерла через неделю после моего рождения. Отец любил ее больше жизни, и после ее кончины у него часто бывали приступы тяжелой меланхолии. Излечившись от нее в Вене, он не захотел вернуться в свое родовое поместье, где воспоминания разрывали ему сердце. Он отдал Плошов своей сестре, моей тетушке, а сам в 1848 году поселился в Риме и безвыездно живет в этом городе больше тридцати лет, не желая расставаться с могилой моей матери. (Я забыл упомянуть, что он перевез гроб с ее телом из Польши в Рим и похоронил ее на Кампо Санто.)

В Риме у нас на Бабуино собственный дом, называется он «Каза Озорна» — по нашему фамильному гербу. Дом этот немного напоминает музей, у отца собраны здесь коллекции поистине замечательные, и особенно богато представлены первые века христианской эры. Теперь эти коллекции составляют главное содержание его жизни. В молодости отец был человек выдающийся по уму и внешности. И так как притом знатность и большое состояние открывали перед ним все дороги, ему предсказывали блестящее будущее. Я слышал это от его товарищей по Берлинскому университету. В те времена он усиленно изучал философию, и все утверждали, что имя его со временем станет по меньшей мере столь же знаменито, как имена Цешковского, Либелта и других. Светская жизнь и неслыханный успех у женщин отвлекали его от серьезной научной работы. В светских гостиных его называли

Léon l'Invincible¹. Впрочем, успехи эти не мешали ему по-прежнему заниматься философией, и все ожидали, что не сегодня-завтра он выпустит в свет замечательную книгу, которая принесет ему всеевропейскую славу.

Ожидания эти не сбылись. А от блистательной внешности и в старости оставалось еще кое-что — я в жизни не встречал головы благороднее и прекраснее. Художники того же мнения, и еще недавно один из них говорил мне, что более совершенный тип патриция трудно себе представить. В науке же отец был, есть и останется только очень способным и высокообразованным шляхтичем-дилетантом. Я склонен думать, что дилетантизм — удел всех Плошовских, и подробнее скажу об этом в дневнике тогда, когда придется говорить о самом себе. Об отце же скажу еще, что он хранит до сих пор в ящике письменного стола свой пожелтевший от времени философский трактат «О троиственности». Я эту рукопись как-то перелистал — и она нагнала на меня скуку. Помню только, что в ней сопоставляется троица реальная — кислород, водород и азот — с троицей трансцендентальной, выдвинутой христианским учением в виде понятия о бже-отце, бже-сыне и бже-святом. Кроме того, отец приводит множество примеров подобных же троиц — начиная с добра, красоты и правды и кончая логическим силлогизмом, слагающимся из посылки большей, посылки меньшей и вывода, — удивительная мешанина идей Гегеля с идеями Гене-Вронского, теория весьма сложная и абсолютно бесплодная. Я убежден, что отец никогда не станет этого печатать, хотя бы уже потому, что разочаровался в умозрительной философии еще раньше ее банкротства во всем мире.

Причиной этому была смерть моей матери. Отец, вопреки своему прозвищу «Непобедимый» и репутации покорителя сердец, был человеком в высшей степени чувствительным и мать мою просто боготворил. Потеряв ее, он, вероятно, искал в своей философии ответа на многие «проклятые» вопросы и, не найдя в ней ни ответа, ни утешения, понял, как она пуста, как бессильна перед горестями жизни. Да, он, должно быть, пережил ужасную трагедию, лишившись сразу двух жизненных опор; сердце его было растерзано, ум потрясен. Тогда-то он и впал в меланхолию, а когда излечился от нее, вернулся к религии. Мне рассказывали, что одно время он дни и ночи проводил в молитве, на улице становился на колени у каждой церкви и доходил до такого религиозного экстаза, что в Риме одни считали его помешанным, другие — святым.

И, видно, он обрел в религии большее утешение, чем в своих философских «троицах», ибо постепенно успокоился и вернулся к действительности. Всю нежность своего сердца он изливал на меня, а его эстетические и умственные интересы сосредоточились на первых веках христианства. Ум его, живой и острый, требовал

¹ Непобедимый Леон (фр.).

пищи. На второй год жизни в Риме он занялся археологией и другими науками, знакомящими с культурой древних времен. Мой первый гувернер, патер Кальви, очень хорошо знавший Рим, склонил отца к изучению Вечного Города. Лет пятнадцать назад отец познакомился и подружился с великим Росси, и оба они целые дни проводили в катакомбах. Благодаря своим незаурядным способностям отец скоро так изучил Рим, что удивлял своими познаниями самого Росси. Он не раз принимался писать о Риме, но почему-то никогда не доводил начатого до конца. Быть может, все время уходило у него на пополнение коллекций. И, вернее всего, он не оставит после себя ничего, кроме этих коллекций, потому что не ограничился изучением одной эпохи и не избрал себе одну какую-нибудь специальность. Постепенно средневековый Рим баронов заинтересовал его не меньше, чем первые века христианства. Одно время он был поглощен только историей родов Колонна и Орсини, потом занялся эпохой Возрождения и увлекся ею до самозабвения. От изучения надписей, гробниц, первых памятников христианской архитектуры он перешел к позднейшим временам, от византийской живописи — к Фьезоле и Джотто, от них — к другим художникам XIV и XV веков; любовно собирал картины, скульптуру. Его коллекции, несомненно, выиграли от этого, но задуманное им великое произведение на польском языке — книга о трех Риме — так и осталось в числе неосуществленных замыслов.

Относительно своих коллекций у отца родилась прелюбопытная идея: он хочет завещать их Риму, но с тем условием, чтобы их поместили в отдельном зале с надписью над входом: «Музей Озориев-Плошовских». Разумеется, воля его будет исполнена. Странно только, что отец уверен, будто таким образом он окажет своим соотечественникам большую услугу, чем если бы перевез эти коллекции в Польшу.

Недавно он сказал мне:

— Понимаешь, там их никто не увидит и никому от них не будет пользы, а в Рим приезжают люди со всего света, и каждый из них, побывав в этом музее, припишет всему польскому народу заслугу одного поляка.

Нет ли тут доли фамильного тщеславия и не повлияла ли на решение отца мысль, что имя Плошовских будет высечено на мраморе в Вечном Городе? Мне, его сыну, неудобно в этом разбираться. Однако скажу прямо — по-моему, так оно и есть. Ну, а мне в конце концов довольно безразлично, где будут находиться отцовские коллекции.

Зато мою тетюшку (к которой я, кстати сказать, на днях еду в Варшаву) глубоко возмущает намерение отца оставить навсегда свои коллекции в Риме. А тетюшка — такая женщина, которой ничто на свете не может помешать высказать напрямик то, что она думает. Вот она и выражает свое негодование без всяких обиняков в каждом письме к отцу. Несколько лет назад она при-

езжала в Рим, и тогда они с отцом каждый день спорили по этому поводу и, быть может, поссорились бы окончательно, если бы безмерная привязанность тетушки ко мне не умеряла ее запальчивости.

Тетушка несколькими годами старше моего отца. Уезжая из Польши после постигшего его несчастья, отец при разделе имущества взял свою часть деньгами, а ей оставил родовое поместье Плошов. Тетушка хозяйничает там вот уже больше тридцати лет, и хозяйничает превосходно. Она — женщина в своем роде замечательная, и потому я скажу о ней несколько слов. В двадцать лет она была помолвлена с одним молодым человеком, а он умер за границей как раз тогда, когда тетушка собралась ехать к нему. С тех пор она отказывала всем, кто к ней сватался, и осталась старой девой. После смерти моей матери она сопровождала отца в Вену, а потом в Рим, где прожила с нами несколько лет, окружая брата самыми нежными заботами. Любовь эту она потом перенесла на меня. Она — настоящая *grande dame*¹, немного деспотична и высокомерна, не стесняясь, рубит что хочет всем в глаза, полна той самоуверенности, которую дают богатство и высокое положение в свете, а при всем том эта женщина — воплощенное благородство и прямотушие. Под ее внешней суровостью скрывается всепрощающее золотое сердце, полное любви не только к своим — к моему отцу, ко мне, домочадцам, — но и ко всем людям вообще.

Тетушка так добродетельна, что я, право, не знаю, ставить ли ей это в заслугу, — ведь она попросту не способна быть иной. Благотворительность ее вошла в поговорку. Она гоняет деревенских баб и нищих не хуже полицейского, но опекает их, как святой Винцент а Пауло.

Тетушка очень набожна. Никогда и тень сомнения не закрадывалась ей в душу. Все, что она делает, делается в силу непреложных принципов, и она никогда не колеблется в выборе пути. Оттого она всегда покойна и очень счастлива. В Варшаве ее за резкость прозвали «*le bourgeois bienfaisant*»².

Некоторые люди, особенно женщины, ее не любят. Но, в общем, тетушка пользуется большим уважением во всех слоях общества.

Плошов находится недалеко от Варшавы, а в Варшаве у тетушки есть собственный дом. Поэтому зиму она проводит в городе. И каждую зиму настойчиво приглашает меня к себе, надеясь меня женить. Вот и сейчас я получил от нее письмо, полное таинственных намеков, в котором она заклинает меня приехать. Что ж, надо будет съездить: я давно не был на родине, и к тому же тетушка пишет, что стареет и хотела бы повидать меня, пока жива.

¹ знатная дама (фр.).

² «жестоким благотельницей» (фр.).

Признаюсь, не радует меня эта поездка. Знаю — тетушка жаждала женить меня, это ее заветная мечта. Но каждый раз, когда я гощу у нее, ее постигает горькое разочарование. При одной мысли о таком решительном шаге, как женитьба, мне становится страшно. Ведь это значило бы начать какую-то другую, новую жизнь, а меня и та, что прожита, порядком утомила. Наконец, ехать к тетушке мне неохота еще и потому, что меня несколько смущает ее отношение ко мне. Она видит во мне (как некогда все знакомые — в моем отце) человека исключительно одаренного, от которого следует ожидать великих дел. Оставляя ее в этом заблуждении, я как бы злоупотребляю ее доверчивостью. Объяснить же ей, что от меня не только великих дел, но и вообще ничего ждать не приходится, значило бы предопределять будущее, которое пока только весьма вероятно, и притом нанести старушке тяжелый удар.

На мою беду, быть может, многие близкие мне люди разделяют мнение тетушки. Раз уж к слову пришлось, следует высказать здесь и мою собственную точку зрения. Но это будет нелегко, поскольку я — существо в высшей степени сложное.

Я родился на свет с крайне впечатлительными нервами, утонченными культурой многих поколений. В первые годы детства воспитывала меня тетушка, а когда она уехала на родину, — ее, как принято в наших семьях, сменили бонны. Жили мы в Риме, на чужбине, а отец хотел, чтобы я хорошо знал родной язык, поэтому одна из моих бонн была полька. Она поныне живет у нас в доме на Бабуино — ведет хозяйство. Отец и сам усердно занимался со мною; особенно много времени я проводил с ним начиная с пятилетнего возраста. Я приходил к нему в кабинет, и беседы наши чрезвычайно способствовали моему развитию, пожалуй, даже преждевременному. Позднее, когда научная работа, археологические изыскания и пополнение коллекций отнимали у отца все время, он пригласил ко мне учителя, патера Кальви, человека пожилого, глубоко верующего, с удивительно ясной душой. Больше всего на свете он любил искусство. Думается мне, он и религию воспринимал прежде всего с ее эстетической стороны. Созерцая в музеях шедевры искусства или слушая музыку в Сикстинской капелле, мой учитель приходил в настоящий экстаз. Однако в его страсти к искусству не было ничего языческого, в основе ее лежало не сибаритство, не чувственное наслаждение. Патер Кальви любил искусство той чистой и светлой любовью, какой, вероятно, любили его Фьезоле, Чимабуэ или Джотто; притом в этом чувстве было много смиренного преклонения, ибо сам он не обладал никакими решительно талантами. Чем более он сознавал свое бессилие, тем глубже чувствовал красоту, созданную другими. Трудно сказать, какое из искусств он предпочитал, — мне кажется, он во всем любил прежде всего гармонию, отвечавшую гармонии его души.

Не знаю почему, всякий раз, когда я вспоминаю патера Кальви, передо мной встает тот старец на картине Рафаэля, который стоит подле святой Цецилии, словно заслушавшись музыки сфер.

Отец и патер Кальви скоро стали друзьями и оставались ими до самой смерти моего воспитателя. Именно он поддерживал интерес отца к археологии и к Вечному Городу. Кроме того, этих двух людей сблизила привязанность ко мне. Оба считали меня необычайно одаренным ребенком, подающим бог весть какие надежды в будущем. Мне теперь часто приходит в голову, что я был для них обоих тоже своего рода гармонией, дополняющей мир, в котором они жили, и любовь их ко мне имела нечто общее с тем чувством, которое вызывал в них Рим и его достопримечательности.

Такая атмосфера, такое окружение не могли не сказаться на мне. Воспитывали меня довольно своеобразно. Я с патером Кальви, а часто и с отцом посещал картинные галереи, музеи, бродил по загородным виллам, руинам, катакомбам. Красоты природы производили на патера Кальви впечатление столь же сильное, как и чудеса искусства. И под его влиянием я рано научился чувствовать меланхолическую поэзию римской Кампаньи, гармоничность рисующихся на фоне неба арок и линий разрушенных водопроводов, чистоту контуров пиний. Мне, мальчику, еще нетвердо знавшему четыре правила арифметики, случалось в картинных галереях поправлять англичан, которые путали Карраччи с Караважо. Латыни я выучился рано, это было мне легко, ибо, как житель Рима, я свободно говорил по-итальянски. В одиннадцать лет я уже высказывал суждения о мастерах живописи Италии и других стран, и эти суждения, при всей своей наивности, заставляли патера Кальви и отца обмениваться изумленными взглядами. Так, например, я не любил Риберы — чересчур резкие контрасты черного и белого немного пугали меня — и любил Карло Дольчи. Словом, в нашем доме и домах всех наших друзей я считался чудо-ребенком. Я слышал не раз, как меня хвалили, и похвалы эти разжигали во мне тщеславие.

Обстановке, в которой я рос, я обязан и тем, что нервы у меня навсегда остались крайне впечатлительными. Однако вот что странно: воспитание повлияло на меня не так глубоко, как следовало ожидать. То, что я не посвятил себя искусству, объясняется, наверное, отсутствием талантов, хотя мои учителя музыки и рисования были на этот счет другого мнения. Но почему ни отец, ни патер Кальви не сумели хотя бы привить мне своей страсти к искусству, — вот над чем я часто задумываюсь. Понимаю я искусство? Да. Нужно оно мне? Также да. Но они его действительно любили, а я отношусь к нему как дилетант, и оно мне нужно не более, чем всякие другие приятные впечатления и сладостные утехы в жизни. В общем, у меня к нему склонность, но

не страсть. Я не мог бы, пожалуй, обойтись без искусства в жизни, но всю жизнь не посвятил бы ему.

Так как школы в Италии оставляют желать лучшего, отец послал меня учиться в Метц, и я окончил тамошнюю коллегию без особых усилий и со всеми отличиями и наградами, какие только возможно было получить. Правда, за год до окончания я бежал к карлистам и два месяца бродил в Пиренеях с отрядом Тристана. Меня разыскивали при содействии французского консула в Бургосе и отправили в Метц искупать вину. Впрочем, должен сказать, что покаяние оказалось не особенно тяжелым, ибо в глубине души и отец и наставники были горды моим поступком. И наконец большими успехами на экзаменах я скоро заслужил полное прощение.

Конечно, в такой школе, как наша, все учащиеся были за Дон-Карлоса и потому видели во мне героя. А так как я притом еще был первым учеником, то и верховодил всеми в школе, и никому из мальчиков в голову не приходило оспаривать мое первенство. Я рос в безотчетном убеждении, что и в будущем, на более широком поприще, меня ждет то же самое. Эту уверенность разделяли мои учителя и товарищи. А между тем что получилось? Многие мои школьные товарищи, которые не думали, не гадали, что когда-нибудь смогут со мной соперничать, сейчас во Франции заняли видное место в литературе, науке, политике, а я до сих пор даже не избрал себе профессии и, право, был бы в сильном затруднении, если бы мне приказали это сделать. У меня прекрасное положение в обществе, я получил наследство после смерти матери, получу когда-нибудь и от отца, буду хозяйничать в Плошове и — худо ли, хорошо ли — распоряжаться большим состоянием, но уже самый круг этих занятий исключает возможность выдвинуться, сыграть какую-нибудь роль в мире.

Хорошего хозяина и администратора из меня тоже никогда не выйдет — это я отлично знаю. Ибо хотя я не собираюсь отказываться от этих занятий, но и посвятить им всю жизнь тоже не желаю по той простой причине, что мои духовные запросы гораздо шире.

Иногда я задаю себе вопрос: уж не обманываемся ли мы, Плошовские, не слишком ли мы высокого мнения о своих способностях? Но если бы это было так, то заблуждались бы только мы одни, а не люди чужие, беспристрастные. И наконец отец мой действительно был и есть человек незаурядный, исключительно одаренный. А о себе я не стану распространяться, ибо это могло бы показаться глупым тщеславием. Все же я искренне убежден, что мог бы стать чем-то неизмеримо большим, чем стал.

Взять хотя бы Снятынского, с которым мы вместе учились в Варшавском университете (отец и тетушка пожелали, чтобы университет я окончил на родине). Оба мы считали литературу своим призванием и пробовали силы на этом поприще. Не говоря уже о том, что меня считали способнее Снятынского, — ей-богу,

все, что я тогда писал, было гораздо лучше и больше обещало в будущем, чем то, что писал Снятынский. И что же? Снятынский достиг сравнительно многого, я же остался тем же «многообещающим» паном Плошовским, о котором люди, покачивая головами, твердят: «Эх, если бы только он за что-нибудь взялся!»

Люди не принимают во внимание того, что не всякий способен сильно хотеть. Я часто думаю: не будь у меня никакого состояния, я был бы вынужден чем-нибудь заняться ради куска хлеба. Тем не менее остаюсь при глубоком внутреннем убеждении, что даже тогда я не использовал бы и двадцатой доли своих способностей. Но в чем же дело? Ведь вот Дарвин и Бокль были богатые люди, сэр Джон Леббок — банкир, большинство знаменитых людей Франции купаются в деньгах. Выходит, что богатство не только не мешает, но помогает человеку выдвинуться на любом поприще. Я даже склонен думать, что мне лично оно оказало большую услугу: уберегло характер от всяких вывихов, которыми грозила бы ему бедность. (Я этим вовсе не хочу сказать, что характер у меня слабый и, кроме того, борьба могла бы даже его закалить. Но, как бы то ни было, чем меньше встречаешь на дороге камней, тем меньше рискуешь споткнуться или упасть.)

И не лень виновата в том, что из меня ничего не вышло. Моя способность легко все усваивать равна моей любознательности. Я много читаю и много знаю. Быть может, я спасовал бы там, где нужны железные стойкость и терпение, длительная, кропотливая и серьезная работа, но ведь легкость, с какой мне все дается, могла бы возместить это. И, наконец, никто меня не обязывает составлять словари, как Литтре. Когда не можешь светить с постоянством солнца, так можешь по крайней мере блеснуть на миг, как метеор. А это бездействие в прошлом и, по всей вероятности, в будущем!.. Мысль о нем вызывает у меня душевную оскмину, начинает одолевает тоска, поэтому сегодня писать больше не буду.

Рим, 10 января

Вчера на вечере у князя Малатеста я случайно услышал выражение «l'improductivité slave»¹ и вздохнул с облегчением, как те люди с больными нервами, которые, узнав от врача, что болезнь их известна и ею страдают многие, находят в этом утешение. Правда, правда, много у меня товарищей по несчастью! Не знаю, во всех ли славянских странах, я там не бывал, но сколько их у нас в Польше! Всю ночь я думал об этой «improductivité slave». Автор этой формулировки — человек неглупый. Да, есть в нас что-то такое, — неспособность проявить в жизни все то, что в нас заложено. Можно сказать, бог дал нам лук и стрелы, но лишил способности натягивать тетиву и пускать стрелы. Я охотно

¹ славянское бесплодие, пассивность (фр.).

потолковал бы об этом с отцом — тем более что он любит такие беседы, но боюсь разбередить его раны. Зато уж дневник мой, конечно, будет полон рассуждений на эту тему. И, может, это хорошо, — может, в этом будет его главное достоинство. Разумеется, я хочу писать о том, что более всего меня волнует, это вполне естественно. Каждый человек таит в себе какую-то свою трагедию. И моя трагедия — в фамильной *improductivité* Плошовских. В наше время не принято выдавать такие тайны. Еще недавно, когда романтизм пышно цвел и в поэзии и в сердцах, человек драпировался в свою трагедию, как в эффектно накинутый плащ, а теперь он носит ее, как егерскую фуфайку, под рубашкой. Но дневник — дело другое: в дневнике и можно и должно быть откровенным.

Рим, 11 января

Я пробуду здесь еще несколько дней и хочу воспользоваться ими для того, чтобы на страницах дневника обозреть прошлое и покончить с этим раз навсегда, прежде чем перейду к записыванию событий изо дня в день. Я уже говорил, что вовсе не собираюсь писать подробную автобиографию. Будущее в достаточной степени покажет, что я за человек. А кропотливо разбираться в прошлом противно моей натуре. Это занятие столь же докучливое, как арифметическое сложение: пишешь цифры одну под другой, потом проводишь черту и складываешь их. Всю жизнь я воевал с четырьмя правилами арифметики, а больше всего терпеть не мог сложение.

Однако надо же иметь некоторое, хотя бы самое общее представление о сумме всех слагаемых, то есть стать самому себе более понятным. Поэтому я продолжаю.

После университета я окончил еще сельскохозяйственную школу во Франции; агрономия давалась мне легко, но особого влечения к ней я не чувствовал. Я снизошел до нее, зная, что в будущем мне, несомненно, придется заниматься сельским хозяйством, но считал, что такие занятия никак не соответствуют моим способностям и духовным запросам. Однако ученье в институте принесло мне двойную пользу. Во-первых, сельское хозяйство больше не будет для меня китайской грамотой и никакой управляющий меня не проведет. Во-вторых, благодаря практике в поле, на открытом воздухе, я накопил немалый запас здоровья и сил, благодаря чему довольно успешно выдерживал впоследствии тот образ жизни, какой вел в Париже.

По окончании института я жил то в Риме, то в Париже, если не считать поездок ненадолго в Варшаву, куда меня время от времени вызывала тетушка, то ли стосковавшись по мне, то ли надеясь женить меня на какой-нибудь вертушке, которая пришла ей по нраву. Париж и парижская жизнь нравились мне безмерно. В те годы я был о себе высокого мнения, верил в свой

ум больше, чем теперь, и огличался той самонадеянностью, какую дает независимое положение. Однако некоторое время я вел себя на арене большого света как наивный новичок. Начал с того, что безумно влюбился в мадемуазель Ришемберг, актрису театра Comedie Francaise, и непременно хотел на ней жениться. Не буду описывать всех трагикомических перипетий — вспоминать эту историю мне теперь немного стыдно, а подчас и смешно. Позднее меня еще не раз оставляли в дураках, не раз мне случалось принимать фальшивую монету за настоящую. Француженки (да, впрочем, и польки тоже) — хотя бы принадлежали к самому лучшему обществу и при этом были добродетельны, — пока молоды, напоминают мне фехтовальщика на шпагах: ему необходимо ежедневно практиковаться, чтобы не утратить приобретенной ловкости, и они тоже фехтуют чувствами просто для тренировки. Так как я был человек молодой, из высшего круга и не урод, меня частенько приглашали для таких упражнений. А я по наивности принимал это фехтование всерьез, и потому мне не раз крепко доставалось. Правда, раны были не смертельные, но довольно болезненные. Впрочем, я убежден, что в таком обществе и в такой жизни, как наша, каждый неизбежно отдает дань наивности. Мои испытания продолжались сравнительно недолго. Затем наступил период «реванша». Я отплачивал за себя, и если меня иногда еще обманывали, то лишь потому, что я хотел быть обманутым.

Так как передо мной были открыты все двери, я имел возможность ознакомиться с различными кругами общества, начиная с легитимистов (в их домах я всегда скучал) и кончая новоиспеченной и пышно титулованной аристократией, созданной Бонапартами и Орлеанской династией и составляющей «высший свет» если и не Париза, то хотя бы Ниццы. Дюма-сын, Сарду и другие берут своих героев, графов, маркграфов и князей именно из этого круга, где люди, у которых нет великих исторических традиций, но титулов и денег хоть отбавляй, заняты только погоней за наслаждениями. К этому кругу принадлежат и крупные финансисты. В таком обществе я бывал главным образом ради женщин, которых там встречал. У женщин этого круга утонченные нервы, они жаждут впечатлений и наслаждений и, в сущности, не имеют никаких идеалов. Среди них часто встречаются развратницы, столь же безнравственные, как романы, которыми они зачитываются, ибо нравственность здесь не имеет опоры ни в религии, ни в обязывающих традициях. При все том это общество весьма блестящее. «Часы фехтования» в нем долги, продолжаются целые дни и почти и бывают опасны, ибо тут не в обычае надевать колпачки на острия рапир. Я и здесь получал весьма жестокие уроки, пока сам достаточно не натренировался. Распространяться о своих успехах было бы доказательством пустого тщеславия, а главное — дурного вкуса. Скажу только, что старался, как мог, поддерживать традиции отцовской молодости.

Низшие слои этого общества соприкасаются в какой-то мере с наивысшими кругами полусвета. А полусвет опаснее, чем это кажется на первый взгляд, — ибо он ничуть не стандартен. Его цинизм скрыт под маской «артистичности». И если меня там не слишком ощипали, то только потому, что я пришел туда уже с довольно хорошо отточенными клювом и когтями.

Вообще о парижской жизни можно сказать, что каждый, кто вырвется из этой мельницы, чувствует себя несколько усталым, особенно если, как я, оставляет ее лишь на время и возвращается обратно. Только позднее начинаешь понимать, что твои успехи — это пирровы победы. Мой крепкий от природы организм довольно сносно выдерживал такую жизнь, но нервы истрепались.

Зато Париж, во всяком случае, имеет одно преимущество перед всеми другими центрами культурной жизни. Я не знаю другого города в мире, где зачатки науки, искусства, всяких общечеловеческих идей до такой степени носились бы в воздухе и впитывались в умы, как в Париже. Здесь не только усваиваешь безотчетно все, что есть нового в умственной жизни человечества, но и обретаешь многогранность, становишься интеллигентнее и культурнее. Да, повторяю — культурнее. Ибо в Италии, Германии и Польше я встречал людей большого ума, не желавших, однако, допускать, что может существовать что-либо за пределами их влияния; людей, столь варварски замкнувшихся в своей скорлупе, что для тех, кто не хочет отказываться от своего собственного мировоззрения, общение с ними попросту невозможно.

Во Франции же, точнее говоря — в Париже, ничего подобного не встретишь. Как быстрый поток обтачивает камни, заставляя их тереться друг о друга, так здесь течение жизни шлифует ум людей; делает их свободомыслящими. Естественно, что под таким влиянием и мой кругозор стал кругозором просвещенного человека. Я многое могу понять, не поднимая крик, как самонадеянный павлин, когда слышу что-либо противоречащее моим взглядам или совершенно новое для меня. Быть может, такая широкая терпимость приводит к некоторому безразличию и лишает воли к действию, но мне себя уже не переделать.

Умственные течения моего времени увлекали меня. Светская жизнь, салоны, будуары, клубы отнимали много времени, но не поглощали меня целиком. Я завел многочисленные знакомства в мире науки и искусства и жил жизнью этого мира, живу ею до сих пор. Из врожденной любознательности я очень много читал, и так как я легко усваиваю прочитанное, то, смею сказать, значительно пополнил свое образование, иду более или менее в ногу с умственным прогрессом своего века.

Я — человек, досконально познавший самого себя. Иногда я мысленно посылаю к черту свое второе «я», которое вечно наблюдает, критикует меня, не дает отдалиться целиком никакому впечатлению, никакому действию или чувству, никакому наслаждению, никакой страсти. Быть может, самопознание — признак выс-

шего умственного развития, но оно вместе с тем сильно ослабляет восприимчивость. Заниматься всегда бдительной самокритикой — это значит выключить из внутренней жизни какую-то часть души и мозга, которая этим занята, — следовательно, жить не всем существом, а только другой его частью.

Это так же мучительно, как для птицы — летать на одном крыле. Кроме того, чересчур усиленное познание самого себя лишает человека способности действовать. Если бы не это, Гамлет сразу в первом же акте трагедии проткнул бы шпагой своего дядю и преспокойно унаследовал бы королевский престол.

Мое самопознание хотя порой и служит мне защитой, удерживая от какого-нибудь необдуманного шага, но в гораздо большей степени докучает мне, не давая сосредоточиться и всецело отдаться одному делу. Во мне словно сидят два человека — один вечно все взвешивает и критикует, другой живет как бы только наполовину и теряет всякую решительность. Меня гнетет мысль, что я уже не освобожусь никогда от этого ярма, — ведь, несомненно, чем шире будет становиться мой кругозор, тем углубленнее самоизучение, и даже в свой смертный час я не перестану критиковать умирающего Леона Плошовского, если только горячка не помутит моего сознания.

Должно быть, я унаследовал от отца синтетический ум: я всегда стремлюсь обобщать явления, и ни одна наука не увлекала меня так, как философия. Однако во времена наших отцов философия была всеобъемлюща — сферой своей она считала не более не менее как всю вселенную и всеобщее бытие, а потому у нее имелся готовый ответ на любые вопросы. Ныне она образумилась. Признав, что философии всеобъемлющей не существует, она стала философией отдельных отраслей знания. Право, думая об этом, хочется сказать, что и человеческий разум пережил трагедию, и началась она именно с признания им своего бессилия. Поскольку дневник — дело личное, я буду говорить в нем о таких вещах только с моей личной точки зрения. Я не считаю философию своей специальностью, — как уже сказано, я человек без всякой специальности. Но, как все мыслящие люди, я интересуюсь новейшим течением в философии, я — под его влиянием и имею полное право говорить о том, что влияло на формирование моей души и ума.

Прежде всего должен отметить, что религиозные верования, вынесенные мною нетронутыми из коллегии в Метце, не устояли, когда я стал читать книги по философии естествознания. Но из этого вовсе не следует, что я стал атеистом. О нет! Это было хорошо в былые времена, — тогда, если кто не признавал «духа», он мог признавать власть материи и на этом успокаивался. А ныне только доморощенные философы занимают такую отсталую позицию. Ныне философия таких вопросов не предпринимает, она отвечает на них «не знаю». И это свое «не знаю» усиленно внушает нам. Современная же психология занимается весьма точ-

ным анализом различных психологических явлений, а на вопрос о бессмертии души также отвечает «не знаю». И она действительно этого не знает, да и знать не может.

Теперь мне будет легче охарактеризовать состояние моего сознания. «Не знаю, не знаю, не знаю!» — вот чем оно исчерпывается. Это осознанное бессилие человеческого разума — подлинная трагедия. Не говоря уже о том, что человеческая душа всегда будет вопить, требуя ответа на волнующие ее вопросы, — ведь это же вопросы величайшей важности, реальнейшего значения для человека. Если на том свете есть что-то и нас ждет там вечность, то несчастья и утраты в земной жизни — ничто и о них можно было бы сказать словами Гамлета: «Черт с ним, с трауром, надену соболью мантию». «Я согласен умереть, — говорит Ренан, — если буду знать, на что нужна человеку смерть». А философия отвечает: «*Не знаю*».

Человек мечется в этой страшной неизвестности, чувствуя, что, если бы мог уверовать во что-то одно, ему было бы легче и спокойнее. Но как же быть? Винить философию в том, что она не создает больше тех теорий, которые каждый день рассыпались подобно картонным домикам, а признала свое бессилие и занялась изучением и систематизацией явлений в границах, доступных человеческому уму? Нет! Но думается все-таки, что я и всякий другой человек вправе сказать ей: «Я восхищаюсь твоей трезвостью, преклоняюсь перед точностью твоих анализов, но при всем том ты сделала меня несчастным. Ты сама признаешь, что не в силах ответить на вопросы первостепенной для меня важности. Однако у тебя хватило силы подорвать мою веру, которая на эти вопросы давала мне ответ не только твердый, но и полный отрады и утешения. Не говори, что ты, ничего не утверждая, тем самым позволяешь мне верить во что угодно. Неправда! Твои методы, твой дух, самая сущность твоя, все это — сомнения и критика. Твой научный метод — скептицизм и критику — ты так успешно привила моей душе, что они стали моей второй натурой. Словно каленым железом, выжгла ты во мне все те фибры души, которыми люди веруют просто и бесхитростно, так что сейчас, если бы я и хотел веровать, мне больше веровать *нечем*. Ты не запрещаешь мне ходить в церковь, если хочется, но отравила меня скептицизмом настолько, что теперь я скептически отношусь даже к тебе, даже к собственному неверию, и не знаю, не знаю, ничего не знаю, и мучаюсь, и бешусь в этой тьме!..»

Рим, 12 января

Вчера я писал с некоторой запальчивостью, но объясняется это, вероятно, тем, что пришлось коснуться язв и моей собственной и вообще человеческой души. Бывают в моей жизни периоды равнодушия к этим вопросам, но по временам они меня мучают немилосердно, тем более что их таишь в себе от всех. Лучше

было бы, пожалуй, о них не думать, но это невозможно — слишком они важны. В конце концов человек хочет знать, что его ожидает и как ему прожить свою жизнь! Правда, я не раз пробовал убеждать себя: «Довольно! Из этого заколдованного круга не выйдешь, так нечего и входить в него!» У меня есть все для того, чтобы стать сытым и веселым животным, — но не всегда я могу этим удовлетворяться. Говорят, у славян природная склонность к мистицизму, интерес к потустороннему миру. Я заметил, например, что все наши великие писатели в конце концов впадали в мистицизм. Что же удивительного в том, что мучаются и обыкновенные люди? Я не мог не написать об этой внутренней тревоге: хочу дать ясную картину состояния своей души. К тому же человек по временам испытывает потребность оправдаться перед самим собой. Вот, например, я, нося в душе вечное «не знаю», соблюдаю, однако, предписания религии и все же не считаю себя человеком неискренним. Моя религиозность была бы лицемерием лишь в том случае, если бы я вместо «не знаю» мог сказать: «Знаю, что ничего этого нет». А наш современный скептицизм не есть прямое отрицание: нет, это скорее болезненно-мучительное подозрение, что, может быть, ничего нет. Это — густой туман, который царит у нас в мозгу, давит грудь, заслоняет нам свет. И я простираю руки к солнцу, которое, быть может, сияет за этой завесой тумана. И думаю, что в таком положении нахожусь не я один и что молитвы многих, очень многих из тех, кто ходит по воскресеньям к обедне, сводятся к трем словам: «Боже, рассей тьму!»

Я не могу хладнокровно писать о таких вещах. Предписания религии я соблюдаю еще и потому, что жажду веры. Ибо я воспитан в отрадном убеждении, что непременное следствие веры — благодать божья, и вот я жду этой благодати. Жду, чтобы мне было ниспослано свыше такое состояние души, при котором я мог бы веровать глубоко, без тени сомнений, как веровал ребенком. Таковы мои высшие стремления — в них нет ни капли своекорыстия, ибо гораздо выгоднее быть только сытым и веселым животным.

А захоти я объяснить свою внешнюю религиозность менее высокими и более практическими мотивами, их у меня найдется множество. Во-первых, выполнение некоторых обрядов с детства стало для меня почти неистребимой привычкой. Во-вторых, подобно Генриху Четвертому, который говорил, что «Париж стоит мессы», я говорю себе: «Спокойствие моих близких стоит мессы». Люди нашего круга соблюдают предписания религии, и моя совесть стала бы против этого восставать лишь в том случае, если бы я мог сказать себе нечто более положительное, чем «не знаю». Наконец я хожу в костел еще и потому, что я скептик в квадрате, то есть скептически отношусь даже к собственному неверию.

И оттого мне тяжело. Душа моя влачит одно крыло по земле. Но было бы еще хуже, если бы я эти вопросы всегда принимал так близко к сердцу, как сейчас, когда писал эти две странички дневника. К счастью, это не так. Как я уже говорил, у меня бывают периоды равнодушия к «проклятым вопросам». А порой жизнь заключает меня в объятия, и, хотя я знаю, чего стоят ее прелести, я отдаюсь ей весь, тогда гамлетовское «быть или не быть?» теряет для меня всякое значение. И вот удивительное явление, над которым люди еще мало задумываются: огромную роль играет при этом влияние окружающей атмосферы. В Париже, например, я гораздо спокойнее — не только потому, что меня оглушает шум этого водоворота, что я киплю в нем вместе с другими, что сердце мое и ум заняты «фехтованием», а потому, что там люди (быть может, безотчетно) живут так, как будто все они глубоко уверены, что в жизнь эту надо вложить все свои силы, ибо после нее не будет ничего, только химическое разложение. В Париже пульс мой начинает биться в унисон с общим пульсом, и я настраиваюсь соответственно окружающему меня настроению. Веселюсь я или скучаю, одерживаю победы или терплю поражения, — душа моя относительно покойна.

Рим, Бабуино, 13 января

До отъезда осталось только каких-нибудь четыре дня, а я хочу еще подытожить все то, что говорил о себе. Итак, я — человек несколько утомленный жизнью, крайне впечатлительный и нервный. Я довел до высокой степени свою способность самопознания, чему помогает сравнительно широкое образование, и, в общем, могу считать себя человеком умственно развитым.

Скептицизм мой, — так сказать, скептицизм в квадрате, — исключает наличие всяких непоколебимых убеждений. Я созерцаю, наблюдаю, критикую, и временами мне кажется, что улавливаю суть вещей; однако я всегда готов и в этом усомниться. Об отношении моем к религии я уже говорил. Что же касается политических убеждений, я — консерватор постольку, поскольку в моем положении быть им обязан, и к тому же консерватизм в известной степени отвечает моим вкусам и склонностям. Не приходится объяснять, как я далек от возведения консерватизма в непогрешимый догмат, не подлежащий критике. Я — человек слишком просвещенный, чтобы стать безоговорочно на сторону аристократии или демократии. Такие вещи занимают уже только нашу мелкопоместную шляхту или людей в тех далеких странах, куда идеи доходят, как и моды, с опозданием лет на двадцать. С тех пор как нет более привилегий, вопрос, по-моему, исчерпан; там же, где он еще существует вследствие отсталости общества, это уже вопрос не принципов, а пустого тщеславия и нервов. О себе скажу одно — я люблю людей развитых, с утонченной восприимчивостью, а ищу их там, где мне их легче найти.

Я люблю их так же, как люблю произведения искусства, красоты природы и прелестных женщин. Я, пожалуй, даже чересчур тонко чувствую красоту. Виною этому и врожденная впечатлительность, и полученное мною воспитание. Эта эстетическая восприимчивость приносит мне столько же радостей, сколько огорчений. Но она оказывала и оказывает мне одну большую услугу: спасает от цинизма, а значит — от окончательного развращения, и в известной мере заменяет мне нравственные устои. Многого я не мог бы делать не столько потому, что это дурно, сколько потому, что это некрасиво. Моя чувствительность к красоте — источник также и тонкости чувств. В общем, я, как мне кажется, человек, хотя и немного испорченный, но, во всяком случае, порядочный, однако, если говорить честно, вишу в воздухе, не опираясь ни на какие догматы, ни религиозные, ни общественно-политические. Нет у меня и цели, которой я мог бы посвятить жизнь.

В заключение еще несколько слов о моих способностях. Отец, тетушка, мои товарищи, а подчас и люди посторонние считают их попросту выдающимися. Допускаю, что ум мой не лишен блеска. Но как же «l'improductivité slave»? Не развеет ли эта «славянская пассивность» возлагаемых на меня надежд? Учитывая то, что я до сих пор сделал, — вернее, то, что я до сих пор ничего не сделал не только для других, но даже для себя, — надо думать, что надежды эти не сбудутся.

Такое сознание стоило мне дороже, чем это может показаться. Ирония, с которой я отношусь к себе, имеет сильный привкус горечи. Видно, бесплодна та глина, из которой бог сотворил Плошовских: на ней все так легко и пышно всходит, но не дает зерна. Если бы при таком бесплодии и отсутствии действительной силы я обладал даже гениальными способностями, все равно из меня вышел бы лишь своеобразный тип «гения без портфеля», как бывают министры без портфеля.

Это определение «гений без портфеля», по-моему, довольно точно передает суть дела. Я мог бы взять патент на свое изобретение. Тут я утешаюсь все тем же: ведь не я один, ей-богу, не один я заслуживаю этого названия! Имя нам легион! «L'improductivité slave» существует сама по себе, а «гений без портфеля» — сам по себе, он — продукт исключительно наш, польский, с берегов Вислы. Я не знаю ни одного уголка земли, где пропадало бы напрасно столько блестящих дарований и где даже те, кто дает кое-что миру, дают так мало, такую ничтожную малость по сравнению с тем, чем наградил их господь!

Рим, Бабуино, 14 января

Второе письмо от тетушки. Настаивает, чтобы я поскорее приезжал. Еду, дорогая тетя, еду — и видит бог, только из любви к тебе, иначе предпочел бы остаться здесь. Отец нездоров, у него

по временам немеет вся левая половина тела. Уступая моим просьбам, он вызвал врача, но я уверен, что прописанные ему лекарства он, по своему обыкновению, запрет в шкаф — и только. Так он поступает уже много лет. Как-то раз он открыл шкаф и, указывая на целую батарею склянок, бутылок, банок, баночек, коробочек, сказал мне: «Помилуй, если бы все это проглотить и выпить, то самый крепкий, здоровый человек не выдержал бы, а что уж говорить о больном». До сих пор такое отношение отца к медицине не имело особенно дурных последствий, но меня тревожит будущее.

Второе, из-за чего мне не хочется ехать в Польшу, — замыслы тетушки. Ясно, что она хочет меня женить. Не знаю, есть ли у нее уже кто на примете, — и дай бог, чтобы не было! — но намерений своих она вовсе не скрывает. «Легко предугадать, что из-за такого жениха, как ты, сразу же вспыхнет война Алой и Белой розы», — пишет она. Но я устал, не хочу быть причиной какой бы то ни было войны, а главное — не хотел бы, как некогда Генрих VII, женитьбой положить конец войне Роз. Есть еще кое-что, чего я тебе, разумеется, сказать не могу, но от самого себя не скрываю: я не люблю полек. Мне тридцать пять лет, и у меня, как у всякого пожившего человека, были в прошлом разные любовные истории. Сходилась я и с польками и из всех этих встреч и связей вынес впечатление, что польки — настоящие мучительницы, самые несносные женщины на свете. Может, они и добродетельнее француженок или итальянок, не знаю; одно только знаю — что они гораздо охотнее пускают в ход патетику. Меня бросает в дрожь, как подумаю об этом. Я понимаю элегию над разбитым кувшином, когда в первый раз увидишь у ног своих его черепки. Но декламировать эту элегию с тем же пафосом над кувшином, который много раз уже разбивался и потом скреплялся проволокой, — это, право же, смахивает на оперетку. Хороша роль «растроганного слушателя», который, приличия ради, вынужден принимать это всерьез!

Странные, непостижимые женщины, женщины с пылким воображением и рыбьей кровью! В любви их нет ни радости, ни простоты. Они увлекаются внешними формами чувства, мало интересуясь его внутренним содержанием. Поэтому никогда невозможно предвидеть, как полька поведет себя. Имея дело с француженкой или итальянкой, ты, если твои предпосылки логичны, можешь более или менее уверенно предсказать следствие. С полькой — никогда! Кто-то сказал: иногда мужчина, ошибаясь, утверждает, что дважды два — пять, и его можно поправить. Женщина же будет утверждать, что дважды два — лампа, и тогда хоть головой об стену бейся! Так вот по логике полек иногда выходит, что дважды два — не четыре, а лампа, любовь, ненависть, кот, слезы, долг, воробей, презрение... Словом, тут ничего невозможно предвидеть и рассчитывать, и ты ни от чего не застрахован. Быть может, благодаря этим волчьим ямам доб-

родетель полек в большей безопасности, чем добродетель других женщин, — уже хотя бы потому, что осаждающих скоро одолевает скука смертная. Но вот что я заметил и вот чего не могу простить нашим польским дамам: их капканы, западни, ограды, их отчаянная самозащита — все это пускается в ход не для решительного отпора противнику, а ради сильных ощущений, которые дает борьба.

Однажды я заговорил об этом (разумеется, усиленно стараясь позолотить пилюлю) с одной умной женщиной, полькой только наполовину, так как отец ее — итальянец. Выслушав меня, она сказала:

— У вас на этот счет такая же точка зрения, как у лисы на голубятник. Лисе не нравится, что голуби живут так высоко и летают выше кур. Вас сердит это самое. А ведь все, что вы говорили, — скорее похвала полькам.

— Как так?

— Очень просто: чем несноснее для вас полька, когда она — чужая жена, тем желательнее она в качестве вашей собственной.

Меня, как говорится, приперли к стене, и я ничего не мог возразить. Притом, может быть, я и вправду немного напоминаю лисицу у голубятни. И несомненно одно: если бы я вздумал жениться, а в частности — жениться на польке, я искал бы эту польку среди голубей, летающих высоко, и более того — среди белых голубей.

Впрочем, я вполне согласен с той рыбой, которая на вопрос, под каким соусом она хочет быть приготовлена, отвечает, что прежде всего она вообще не хочет быть съедена. И тут я снова возвращаюсь к упрекам вам, милые соотечественницы. Вам драма в любви милее, чем сама любовь. В каждой из вас сидит королева, и этим вы резко отличаетесь от других женщин; каждая из вас полагает, что, позволив себя любить, она уже этим одним оказывает великую милость и благодеяние, ни одна не согласится заполнить собой только часть жизни мужчины, а ведь перед ним стоят и другие цели. Вы хотите, чтобы мы существовали для вас, а не вы — для нас. Наконец, детей своих вы любите больше, чем мужа. Удел его — удел сателлита, я это замечал не раз. Да, все вы таковы. Только иногда попадают исключения, как алмазы, сверкающие среди простого песка. Нет, мои королевы, позвольте мне поклоняться вам издали.

Раз навсегда отодвинуть на второй план все цели, все идеалы, чтобы изо дня в день кадить пред алтарем женщины — и притом собственной жены! Ну, нет, сударыни, это маловато для мужчины!

Правда, голос трезвой самокритики тут же меня вопрошает: «А, собственно, что ты можешь делать лучшего? Есть у тебя какие-нибудь планы, цели в жизни? Если кто создан для того, чтобы стать жертвенным агнцем на чем-нибудь алтаре, — так это ты».

Нет, черт возьми! Жениться — значит переменить образ жизни, отказаться от своих привычек, удобств, склонностей, вкусов, и вознаградить за это могла бы разве только любовь подлинно великая. А со мной так не будет. Для женитьбы нужны безграничная вера в женщину и сильная воля, а у меня ни того, ни другого. Повторяю: «Не хочу я, чтобы меня съели под каким бы то ни было соусом».

Варшава, 21 января

Я приехал только сегодня утром. По дороге сделал остановку в Вене, так что дорога меня не очень утомила. Уже поздно, но нервы расходились и не дают мне уснуть. Поэтому принимаюся за дневник. А ведь занятие это действительно вошло у меня в привычку и доставляет мне некоторое удовольствие.

Как обрадовались мне дома! И какая славная женщина моя тетушка! От радости она за обедом ничего не ела, а теперь, наверное, не спит, как и я. В Плошове она постоянно ссорится со своим управляющим, паном Хвастовским, весьма строптивым шляхтичем, который ей спуску не дает и огрызается на каждое замечание. Но когда их спор обостряется настолько, что разрыв кажется неизбежным, тетушка умолкает и начинает есть с большим аппетитом, даже с каким-то ожесточением. Сегодня ей пришлось удовольствоваться только тем, что она бранила прислугу, а этого ей мало. Все-таки она весь день пребывала в чудесном настроении, и во взглядах, которые она все время бросала на меня из-под очков, было столько безграничной нежности, что просто описать невозможно. Все знакомые твердят, что я ее кумир, и тетушку это очень сердит.

Конечно, мои предположения и опасения были справедливы. Здесь не только замышляют меня женить, но уже кого-то для меня присмотрели. Тетя имеет привычку после обеда ходить большими шагами из угла в угол и думать вслух. Таким образом, как ни старалась она сохранить все в тайне, я услышал следующий монолог:

— Молод, красив, богат, гениален — дура она будет, если не влюбитсЯ в него с первого взгляда!

Завтра едем на праздник, который молодежь устраивает для дам. Уверяют, что будет очень весело.

Варшава, 25 января

Как homo sapiens, я часто на балах скучаю, а как всякий кандидат в мужья, их не выношу, но иногда наслаждаюсь ими, как художник, — разумеется, художник без портфеля. До чего же красива, например, широкая, ярко освещенная и убранная цветами лестница, по которой поднимаются дамы в бальных

нарядах! Все они в это время кажутся очень высокими, а когдамотришь снизу, как они идут, волоча за собой по ступенямдлинные шлейфы, приходят на память ангелы, которых виделво сне Иаков. Люблю оживление балов, залитые огнями залы,цветы, легкие ткани, светлой дымкой облегающие молодых девушек. А как хороши обнаженные шеи, груди и плечи, когда, освобожденные от накидок, они как будто застывают и кажутся мраморными. Здесь все тешит не только глаз, но и обоняние: я обожаю хорошие духи.

Праздник удался на славу. Надо отдать справедливость Сташевскому — он умеет устраивать такие развлечения. Я приехал с тетушкой, но в вестибюле нас тотчас разлучили — Сташевский сошел с лестницы специально для того, чтобы предложить ей руку и повести наверх. Моя старушка во всех торжественных случаях неизменно появляется в длинной горностаевой накидке, которую все знакомые шутливо называют «заслуженная пелерина».

Войдя в зал, я остановился неподалеку от двери, чтобы осмотреться. А странное испытываешь чувство, когда после многолетнего отсутствия вдруг очутишься среди земляков! Я тогда остро сознаю, что они мне ближе всех, кого я встречал на чужбине, но в то же время пытливо в них всматриваюсь, наблюдаю их со стороны, как иностранец. В особенности интересно мне наблюдать женщин.

Что ни говори, общество у нас в Польше блестящее. Я видел вокруг лица красивые и некрасивые, но на всех лежал отпечаток утонченной, создававшейся веками культуры. Шеи и плечи женщин напоминали северский фарфор, и этому не мешала даже заметная у иных округлость форм. В них есть какое-то спокойное изящество и законченность очертаний. Какие ножки я видел, какие руки, какие линии головы! Право, здесь не подражают Европе, здесь — подлинная Европа.

Я простоял у дверей с четверть часа, размышляя так и пытаясь угадать, какую из этих головок, какой из этих стройных станов тетушка предназначает для меня. Между тем приехали Снятынские. С ним я виделся в Риме несколько месяцев назад, с ней тоже знаком. Она мне очень нравится — у нее удивительно милое лицо, и она из тех редких в Польше женщин, которые не требуют, чтобы муж посвятил им всю жизнь, а отдают ему свою.

Через минуту к нам подошла какая-то молодая девица, поздоровалась со Снятынской, потом протянула мне ручку в белой перчатке и спросила:

— Не узнаешь меня, Леон?

Ее вопрос меня озадачил — в первую минуту я действительно не мог припомнить, кто она. Тем не менее я, не желая показаться неучтивым, потряс ей руку, закивал головой и с улыбкой пробормотал: «А как же! Как же! Конечно, узнаю». Должно

быть, у меня при этом был довольно глупый вид, так как Снятынская рассмеялась и сказала:

— Да вы ее и впрямь не узнаете! Ведь это Анелька П.

Анелька! Моя двоюродная сестра! Не удивительно, что я ее не узнал! В последний раз я видел ее лет десять — одиннадцать назад, когда она еще ходила в платьицах до колен. Помню один день в плошовском саду. На Анельке были розовые носочки, комары жестоко кусали ей ноги, и она топала ими, как лошадка. Как же я мог сейчас догадаться, что эта грудь, украшенная фиалками, эти белые плечи и прелестное лицо с темными глазами, — словом, эта девушка в полном расцвете молодости — та самая птичка-невеличка на тонких ножках! Ах, какая же она стала красивая! Какая бабочка вышла из той личинки! Я поспешил поздороваться с Анелькой вторично, и теперь уже с величайшей сердечностью. Когда Снятынские отошли, она сказала мне, что ее послали за мной ее мать и тетя. Я взял ее под руку, и мы пошли в глубь зала.

Вдруг меня словно осенило: да ведь это, наверное, Анельку тетушка прочит мне в жены! Вот и весь секрет, вот какой мне приготовлен сюрприз! Тетушка всегда очень любила эту девочку и принимала близко к сердцу материальные затруднения ее матери, пани П. Одно меня удивляло: почему мать и дочь, приехав в Варшаву, не остановились в доме тетушки? Но я не стал над этим раздумывать — мне хотелось присмотреться к Анельке. Естественно, сейчас она меня уже интересовала больше, чем всякая другая. У меня было достаточно времени и для разговора, и для этого «экзамена», пока мы шли в другой конец зала, так как толчея вокруг мешала идти быстро. Теперь в моде перчатки средней длины, не доходящие до локтя, и я прежде всего заметил, что обнаженная рука Анельки, опирающаяся на мою, покрыта пушком, довольно густым, который придает коже темноватый тон. А между тем Анелька не брюнетка, хотя на первый взгляд может показаться брюнеткой. Волосы у нее отливают бронзой, глаза светлые и только кажутся черными из-за очень длинных ресниц, а брови действительно черные и очень красивые. Характерная особенность ее головки с невысоким лбом — именно эта пышность волос, густота бровей, ресниц и пушка на щеках, нежного, как шелк, и совсем светлого. Все это вместе может с годами несколько испортить ее красоту, но сейчас, когда Анелька так молода, это только признак щедрого избытка жизненных сил и делает ее не холодной куклой, а живой, пылкой и очаровательной девушкой.

Я разборчив, избалован, и нервы мои отзываются далеко не на всякие впечатления, а тут, не скрою, красота Анельки сразу сильно на меня подействовала. Это — мой любимый тип. Тетушка если и слышала о Дарвине, то, наверное, считает его «еретиком» и «путаником», — а между тем она безотчетно руководится его теорией естественного отбора. Да, Анелька в моем

вкусе! На этот раз на крючок насажена нешуточная приманка.

Словно электрический ток перебегал из ее руки в мою. Я видел к тому же, что и я произвел на нее выгодное впечатление, а это всегда ободряет человека. Экзамен, которому я ее подверг, как художник, тоже меня удовлетворил. Есть лица, в которых словно запечатлена музыка или поэзия. Такое именно лицо у Анельки. В ней нет ничего шаблонного.

Девушкам из дворянских семей у нас воспитанием прививают скромность, как детям прививают оспу. И в Анельке заметна такая скромность, невинность, но за этой невинностью чувствуется пылкий темперамент. Что за сочетание! Это все равно что сказать «невинный бесенок».

Возможно, впрочем, что при всей своей чистоте Анелька немного кокетка: я уже заметил, что она сознает силу своих чар. Так, например, зная, что у нее очень красивые ресницы, она то и дело без всякой надобности опускает и поднимает их. Еще у нее премилая манера откидывать голову, когда она смотрит на кого-нибудь. В начале нашего разговора она робела и потому держала себя немного натянуто, но через минуту-другую мы уже болтали так непринужденно, как будто и не расставались со времени наших встреч в Плошове.

Тетушкины размышления вслух великолепны,— но быть с нею в заговоре я бы не хотел. Едва мы с Анелькой подошли и я, поздоровавшись с пани П., обменялся с нею несколькими словами, как тетушка, заметив, что я оживлен и весел, вся просияла и, обратясь к матери Анельки, сказала громко:

— Как к ней идут фиалки! Пожалуй, мы удачно придумали, чтобы он увидел ее в первый раз на балу.

Мать Анельки ужасно смутилась, Анелька тоже, а я тут только понял, почему они не остановились у тетушки. Наверно, так пожелала пани П. Должно быть, она и тетя уже давно обо всем договорились. Думаю, что Анельку в это не посвящали, но девушки в таких случаях бывают проникательны, и она могла сама обо всем догадаться.

Чтобы вывести всех из неловкого положения, я обратился к Анельке.

— Предупреждаю,— сказал я ей,— что танцую я плохо. Но все же обещаю тебе один вальс. На большее я не рассчитываю — тебя, наверное, то и дело будут похищать другие кавалеры.

Анелька вместо ответа протянула мне свой carnet¹ и сказала решительно:

— Запиши что хочешь.

Признаюсь, мне претит роль марионетки, которую дергают за веревочку. Не люблю, когда на меня насаждают. И чтобы сразу

¹ Книжечка, в которой дама на балу записывает, с кем общалась танцевать и какой танец (*фр.*).

активно вмешаться в политику двух старых дам, я взял книжечку Анельки и написал: «Ты поняла, что нас хотят поженить?»

Анелька прочла и переменялась в лице, чуточку побледнела. С минуту она молчала, словно боясь, как бы голос ей не изменил, или не зная, что ответить. Наконец взметнула красивые ресницы и, глянув мне прямо в глаза, промолвила:

— Да.

Теперь наступил ее черед спрашивать — правда, спрашивала она не словами, а взглядом. Я, видимо, ей поправился, и к тому же, если она догадывалась о планах матери и тетки, то мысли ее, наверно, были сильно заняты мною. И сейчас ее глаза ясно говорили:

«Знаю, что мама и тетя хотят, чтобы мы с тобой ближе узнали друг друга. А ты что об этом думаешь?..»

Но вместо ответа я обнял ее за талию, слегка привлек к себе и закружил в вальсе. Мне вспомнились «уроки фехтования».

Такого рода немой ответ мог внушить надежду девушке, особенно после того, что я написал ей в книжечку. Но я подумал: «А почему бы ей и не пометать? Я, во всяком случае, не пойду дальше, чем захочу, а как далеко зайдет она — это меня еще мало интересует».

Танцует Анелька превосходно, и этот вальс она танцевала именно так, как женщина должна танцевать вальс, — самозабвенно покоряясь своему кавалеру. Я заметил, как дрожат фиалки на ее груди, — этого нельзя было объяснить темпом вальса, довольно-таки медленным. Мне стало ясно, что в ней что-то просыпается. Любовь — попросту физиологическая потребность. Хотя в девушках, принадлежащих к высшим слоям общества, эту потребность старательно подавляют, она непреодолима. И когда девушке говорят: «Этого тебе можно любить», — часто бывает, что она спешит воспользоваться разрешением.

Анелька, видно, надеялась, что если я решил написать в ее записной книжке то, что написал, то после вальса, несомненно, заведу разговор на ту же тему. Но я нарочно отошел в сторону, оставив ее в ожидании.

К тому же мне хотелось присмотреться к ней издали. Да, положительно, это — мой тип. Такие женщины притягивают меня, как магнит. Ах, если бы ей было лет тридцать и если бы она не была барышней, которую мне сватают!

Варшава, 30 января

Пани П. с дочерью перебрались к нам. Вчера я весь день провел с Анелькой. В душе ее больше страниц, чем обычно бывает у девушек ее возраста. Многие из этих страниц заполнит только будущее, но и сейчас уже заметно, что на них есть место для самых прекрасных вещей. Анеля чувствует и понимает все, и притом слушательница она несравненная, слушает сосредото-

чаю, не сводя с собеседника широко раскрытых умных глаз. Уметь слушать — это еще лишний шанс понравиться мужчине, ибо такое внимание льстит его самолюбию. Не знаю, понимает ли это Анелька, или ей это подсказывает лишь драгоценный женский инстинкт. А может быть, она столько наслышалась обо мне от тети, что каждое мое слово воспринимает, как изречение оракула. Впрочем, она не лишена кокетства. Сегодня на мой вопрос, чего ей хочется более всего в жизни, она ответила: «Увидеть Рим», — и опустила свои бахромчатые ресницы. В эту минуту она была удивительно хороша. Она отлично понимает, что нравится мне, и радуется этому. А кокетство ее прелестно, потому что оно от переполненного счастьем сердца, которое жаждет полюбить другому, избранному им сердцу. Нет ни малейшего сомнения, что эта душа летит ко мне, как мотылек на огонь. Бедная девочка, угадав согласие старших, воспользовалась им даже чересчур поспешно. Это с каждым часом становится заметнее.

Пожалуй, мне следовало бы спросить себя: если ты не намерен жениться, зачем же ты делаешь все, чтобы влюбить в себя девушку? Но мне не хочется отвечать на этот вопрос. У меня сейчас так хорошо на душе, так покойно! И собственно говоря, что я такого делаю! Не стараюсь казаться глупее, неприятнее и грубее, чем в действительности, — вот и все.

Анелька вышла сегодня к утреннему кофе в какой-то широкой полосатой блузке, под которой ее формы только угадывались, но от одной этой догадки можно было потерять голову. Глаза у нее были немного заspanные, и чувствовалось еще в ней тепло постели... До чего же она мне нравится и волнует меня!

31 января

Тетя устраивает званый вечер для Анельки. Я делаю визиты. Навестил Снятынских и сидел у них долго — хорошо мне с ними. Снятынские постоянно ссорятся, но совсем не так, как другие супруги. Обычно ссоры у людей бывают из-за того, что на двоих есть только одно пальто, и каждый тянет его к себе. А Снятынские спорят из-за того, что он хочет отдать все ей, а она — ему. Я их очень люблю, и только, глядя на них, я убеждаюсь, что счастье не выдумка романистов, что оно возможно и в жизни. Кроме того, Снятынский — человек острого ума, чуткий, как скрипка Страдивариуса, и умеет ценить свое счастье. Он его хотел — и добился. В этом я ему завидую. Беседовать с ним — одно удовольствие. Меня угостили превосходным черным кофе, — пожалуй, только у литераторов бывает такой, — и стали расспрашивать, какой я нашел Варшаву после столь долгого отсутствия и как поживают мои близкие. Зашел разговор и о недавнем бале. Его поддерживала главным образом Снятынская, — она, кажется, догадывается о тетушкиных планах, а так как она родом с Во-

лыни, как и Анелька, и хорошо с нею знакома, то не прочь сунуть свой розовый носик в это дело.

Я, разумеется, уклонился от разговора о делах личных, и мы много говорили только о нашем обществе. Я похвалил его за изысканность, и Снятынский (хотя сам он подчас резко критикует это общество, но так жадно подхватывает каждое доброе слово о нем, что это граничит с шовинизмом) тотчас пришел в прекрасное настроение и начал мне поддакивать.

— Я особенно рад слышать такие речи именно от тебя, — сказал он в заключение. — Во-первых, ты более других видел и имел возможность сравнивать, а во-вторых, ты изрядный пессимист.

— Ах, милый мой, я не уверен, что и это мое суждение не пессимистично, — ответил я ему.

— Как так? Не понимаю.

— Видишь ли, на столь рафинированной культуре можно бы написать, как на ящиках со стеклом или фарфором: «Fragile»¹. Тебе, духовному сыну Афин, мне, другому, третьему, десятому приятно жить среди людей с такой тонкой духовной организацией. Но если вздумаешь что-нибудь строить на таком фундаменте, то предупреждаю: балки полетят тебе на голову. Ты как же полагаешь — эти дилетанты не окажутся побежденными в борьбе за существование, борьбе с людьми, у которых крепкие нервы, мощные мускулы и толстая кожа?

Снятынский со свойственной ему стремительностью вскочил с места, забежал по комнате, потом яростно накинулся на меня.

— Утонченность — только одна из черт наших людей, и черта положительная, как ты сам признаешь. Не воображай, что у нас ничего больше нет за душой. Приехал из-за моря, а судишь так смело, как будто всю жизнь здесь прожил!

— Не знаю, что у вас «за душой», но знаю, что нигде во всем мире не замечается такого отсутствия равновесия между культурами различных классов, как здесь, в Польше. С одной стороны — расцвет или, может, уже отцветание культуры, с другой — полнейшее варварство и темнота.

Мы заспорили, и я до самых сумерек просидел у Снятынских. Он сказал, что, если я буду навещать их чаще, он берется познакомить меня с представителями средних слоев нашего общества — эти люди не чересчур изысканны и не страдают дилетантизмом, а в то же время они далеко не такие темные, как я воображаю. Словом, он мне покажет людей здоровых духом, которые что-то делают в жизни и знают, чего хотят. Мы спорили запальчиво, перебивая друг друга, тем более что после кофе выпили по несколько рюмок коньяку. Когда я был уже на улице, Снятынский, стоя на лестнице, еще кричал мне вслед:

— Из таких, как ты, ничего уже не выйдет, но твои дети

¹ Хрупкий, ломкий (фр.).

еще могут стать настоящими людьми. Для этого ты и тебе подобные должны сначала обанкротиться, иначе и внуки ваши не примутся ни за какую работу!

Мне все-таки думается, что, в общем, прав я, а не Снятынский. Записал же я наш разговор именно потому, что с самого приезда сюда все время думаю об этом «отсутствии равновесия». Ведь неоспоримый факт, что у нас в Польше классы разделяет пропасть, которая делает абсолютно невозможным всякое взаимное понимание и сотрудничество.

Снятынскому придется согласиться со мной, что общество наше состоит из людей в известном смысле чересчур культурных и людей совершенно некультурных. Так мне по крайней мере кажется. Изделия из севрского фарфора — и простая, грубая глина, а между ними — ничего. Одни — «*très fragile*», другие — Овидиевы «*rudis indigestaque moles*»¹. Разумеется, севрский фарфор рано или поздно разобьется, а из глины будущее вылепит то, что ему угодно.

2 февраля

Вчера у нас был танцевальный вечер. Анелька обращала на себя всеобщее внимание.

Ее белые плечи выступали из волн тюля (или газа, или кто его знает, из какого там материала), как плечи Венеры, встающей из пены морской. В Варшаве уже разнесся слух, будто я женюсь на ней. Я заметил, что вчера Анелька, танцуя, на каждом повороте искала меня глазами и то, что говорили ей кавалеры, слушала рассеянно. Бедная девочка ничего не умеет скрыть, и разве слепой не заметит, что у нее на душе. А со мной так кротка, тиха и так счастлива, когда я подхожу к ней! Она все больше мне нравится, и я начинаю сдаваться. Ведь вот Снятынские так счастливы вместе! Не впервые я задаю себе вопрос: глупее ли меня Снятынский или мудрее? Я из всех поставленных жизнью задач не решил ни единой, я — ничто. Скептицизм меня заел, я до сих пор не знал счастья и уже устал. А Снятынский — человек с интеллектом, развитым не менее, чем у меня, и притом он трудится. У него красивая жена, его жизненная философия — основа его счастья. Нет, право, я глупее! Ключ к философии Снятынского — его жизненные догматы. Еще до своей женитьбы он говорил мне: «Есть вещи, перед которыми отступает мой скептицизм, их я не критикую и никогда не стану критиковать. Таким догматом для меня как писателя является общество, а для меня как человека — любимая женщина». И я, слушая его, думал тогда: «Нет, видно, у меня ум смелее, я не отступаю перед анализом даже и таких чувств». Сейчас же я вижу, что эта сме-

¹ неотесанные глыбы (лат.).

лость ни к чему меня не привела. И к тому же он так очарователен, этот мой догмат с длинными ресницами! Твердость моя явно слабеет. То, что меня так сильно влечет к Анельке, нельзя объяснить одним лишь законом естественного отбора. Нет, есть в этом нечто большее, и я даже знаю, что именно. Анелька полюбила меня такой чистой и честной любовью, какой меня еще никто не любил. Ох, как же это не похоже на «часы фехтования», когда я наносил и парировал удары. Женщина, которая очень нравится мужчине и сама его любит крепко, непременно им завладеет, если будет стойкой и терпеливой. «Заблудшая птица», как выражается Словацкий, вернется к ней, как возвращаются к тишине и покою, вернется тем скорее, чем тяжелее будет ей одиночество и блуждания. Ничто так не покоряет, не трогает, не привлекает сердца мужчины, как сознание, что он любим. Выше я писал бог знает что о польках, но сильно ошибается тот, кто думает, будто из-за одной какой-то глупой странички или со страху быть уличенным в непоследовательности я не сделаю того, что в данном случае сочту за благо.

Просто поразительно, до чего эта девушка радует мой глаз художника! После бала, когда гости разъехались и в доме наступила блаженная тишина, мы вчетвером уселись пить чай в гостиной. Желая взглянуть, что делается на дворе, я подошел к окну и раздвинул портьеры. Было уже восемь часов утра, в комнату проник дневной свет. В мерцании еще горевших ламп он казался таким синим, что я даже удивился. Еще больше я был поражен, когда увидел Анельку в этом освещении. Казалось, она стоит в Лазурном гроте на Капри. Какие тона были на ее обнаженных руках и плечах! И (что подделаешь, такая уж у меня впечатлительная натура!) в эту минуту я был окончательно покорен, Анелька так завладела моим сердцем, как будто ее красота была ее заслугой. Желая ей доброй ночи, я долго и как-то совсем по-новому жал ей руку, а она, не отнимая ее, сказала:

— Не доброй ночи, а доброго утра, доброго утра!

И если я не слеп, глаза ее говорили то же, что музыка ее голоса:

— Люблю, люблю!

— Да и я влюблен... почти.

Тетя, глядя на нас, что-то радостно пробормотала про себя. Я видел у нее на глазах слезы.

Мы едем в Плошов.

Плошов, 5 февраля

Уже второй день мы в деревне. Дорога была чудесная. Солнце, мороз. Снег скрипел под полозьями, искрился на полях. При закате бескрайняя белая равнина отливала фиолетовым блеском. На липах у въезда в Плошов оглушительно каркали и суетились целые стаи ворон.

Зима у нас суровая, но до чего же хороша! Есть в ней какая-то сила и величие, а главное — смелая откровенность. Как откровенный друг режет тебе правду в глаза без обиняков, так и она беспощадно хватается за уши. Зато ее бодрящая свежесть передается людям. Все мы были довольны тем, что едем в деревню. Кроме того, обе старушки радовались еще и тому, что их заветная мечта близка к осуществлению, а я — тому, что плеча моего касалось плечо сидевшей рядом Анельки. И, быть может, потому и она казалась такой счастливой. Раз два она ни с того ни с сего, просто от избытка чувств, поцеловала, наклонясь, руки у тетюшки. К ней удивительно шло пушистое боа и меховая шапочка, из-под которой едва видны были темные глаза, почти еще детские, и раздурянные морозом щеки. От нее так и веет молодостью.

В Плошове хорошо, тихо. Особенно люблю я в здешнем доме большие старинные камины. Тетя лес бережет как зеницу ока, но все же дров не жалеет, и камины топят с утра до вечера, огонь в них гудит, трещит, веселит душу. Вчера после обеда мы долго сидели у камина, я много рассказывал о Риме и его достопримечательностях, и меня слушали с таким благоговейным вниманием, что я даже в душе посмеялся над собой. Когда я говорю, тетя не сводит глаз с лица Анельки, ревниво проверяя, выражает ли оно надлежащий восторг. А восторга более чем достаточно. Вчера Анелька сказала мне:

— Другой человек мог бы всю жизнь там прожить, но не увидеть и половины тех красот, которые видишь ты.

А тетя немедленно встала тоном, не допускающим возражений:

— Я всегда это говорила.

Хорошо, что здесь нет ни одного скептика вроде меня, иначе я оказался бы в крайне неловком положении.

Некоторый диссонанс в общее настроение вносит только мать Анельки. Эта женщина столько перенесла в жизни, столько у нее было забот, что веселость покинула ее навсегда, ее словно побил морозом. Она просто боится будущего, боится всякой перемены и безотчетно подозревает даже в явном благополучии какую-то скрытую западню. Она была очень несчастлива с мужем, а после его смерти переживала тысячи тревожных, пытаясь сохранить свое поместье, большое, но сильно обремененное долгами. Вдобавок ко всему она страдает мигренями.

Анелька же, как мне кажется, принадлежит к категории женщин (более многочисленной у нас, чем это думают), которых никогда не волнуют дела материальные. Это мне нравится, ибо как-никак доказывает, что у нее есть высшие запросы. Впрочем, меня сейчас в ней все восхищает. Нежность растет на почве чувственного влечения так же быстро, как трава после теплого дождя. Сегодня утром я встретил в коридоре горничную, которая несла Анельке платье и туфли. И меня почему-то особенно рас-

трогали эти туфельки, как будто обладание ими было венцом всех добродетелей Анельки.

Мы, мужчины, вообще ужасно податливы. Я держу палец на своем пульсе и слежу за ходом любовной горячки. Пульс уже очень частый.

Плошов, 8 или 9 февраля

Тетя снова воюет с паном Хвастовским. Эта война настолько своеобразна, что, право, стоит привести здесь какой-нибудь из их споров. Тете они определенно нужны для возбуждения аппетита, Хвастовский же (к слову сказать, он управляет Плошовом превосходно) — шляхтич вспыльчивый, настоящий порох, и никому себя в обиду не даст, так что сражения между ними бывают ожесточенные. Не успевают оба войти в столовую, как начинают злоесть поглядывать друг на друга. За супом первый выпад делает обычно тетушка, начиная, к примеру, так:

— Я невесть с каких пор допытываюсь у вас, пан Хвастовский, в каком состоянии наша озимь, а вы как назло говорите о чем угодно, только не об этом.

— Пани графиня, осенью она всходила хорошо. А теперь на ней лежит снег толщиной в добрый метр — так что же я могу увидеть? Я же не господь бог.

— Пан Хвастовский, не поминайте имя божие всуе!

— Я к нему под снег не заглядываю, значит, ничем его не оскорбляю.

— Так, по-вашему, это я его оскорбляю?

— Выходит, что так.

— Пан Хвастовский, вы несносный человек!

— Ох, сносный, сносный, потому что многое сношу.

Вот в таком духе, все разгораясь, идет перепалка. Редкий обед проходит без колкостей с обеих сторон. Наконец тетушка умолкает и начинает с ожесточением есть, словно вымещая свой гнев на кушаньях. У нее действительно после этих ссор появляется замечательный аппетит. С каждым блюдом настроение у нее улучшается и становится в конце концов совершенно безоблачным. После обеда мы идем в гостиную пить черный кофе. Я веду под руку мать Анели, а Хвастовский — тетушку, и оба беседуют самым мирным образом. Тетя расспрашивает его об его сыновьях, он целует у нее руки. Они ведь, в сущности, любят и уважают друг друга. Сыновей Хвастовского я видывал еще в те времена, когда учился в университете. Они, кажется, славные ребята, но отчаянные радикалы.

Анельку вначале немного пугали эти стычки за обедом. Но я ей объяснил, что они не опасны, и теперь она, когда начинается спор между тетушкой и управляющим, украдкой поглядывает на меня из-под длинных ресниц и улыбается уголками губ.

При этом она до того мила, что так бы и съел ее, кажется! Ни у одной женщины не видел я таких почти алебастровых висков с голубыми жилками на них.

12 февраля

И в природе и во мне происходят сущие Овидиевы метаморфозы. Мороз сдал, солнце скрылось, и царит тьма египетская. Не могу подыскать более подходящего слова для описания того, что делается вокруг, чем слово «гниль». Нет, все-таки у нас ужасный климат! В Риме при самой плохой погоде десять раз в день проглядывает солнце, а здесь вот уже два дня так темно, что в комнатах с утра до ночи не тушат ламп. Эта черная противная слякоть словно просачивается в мозг, окрашивает мысли в черное и душит их. Она действует на меня убийственно. Да и не только на меня. Тетя и Хвастовский ссорились сегодня яростнее обычного. Хвастовский утверждал, что тетя, не позволяя рубить лес, портит его, так как старые деревья погибают. А тетя на это отвечала, что и так у нас в Польше достаточно вырубают лесов, и она не желает в этом участвовать. «Я старею, так пусть себе и лес мой стареет». Эта логика напоминает мне анекдот про одного шляхтича: владея обширными и превосходными землями, он в своем имении обрабатывал лишь ровно столько, сколько «собака может обжевать и облаять». Ну, да что об этом толковать! Сегодня мать Анели, сама того не желая, сильно испортила мне настроение. Встретившись со мной в оранжерее, она с материнской гордостью, неприятно смахивавшей на хвастовство, стала мне рассказывать, как один наш общий знакомый, Кромницкий, добывался руки Анельки. Я слушал ее с таким ощущением, как будто мне кто вилкой выковыривает занозу. Новость эта сразу охладила мое чувство к Анельке, хотя она-то тут ничем не виновата. Вот точно так же, недавно лазурный свет утра, очень красивший ее, вызвал во мне прилив нежности к ней, хотя в том не было никакой ее заслуги. Эту обезьяну Кромницкого я знаю уже не один год и терпеть его не могу. Он родом из австрийской Силезии, где, по его словам, Кромницкие когда-то владели пожалованными им огромными имениями. В Риме он всем рассказывал, что его предкам еще в XV веке дарован был графский титул, и в отелях записывался «граф фон Кромницкий». Если бы не черные глазки, похожие на жареные кофейные зерна, и черные же волосы, он напоминал бы человека, вырезанного для забавы из сырной корки — кожа у него как раз такого цвета. Вообще у него лицо трупа, он всегда вызывал во мне физическое отвращение. Фи, как ухаживание такого субъекта уронило в моих глазах Анельку! Я прекрасно понимаю, что она не может отвечать за Кромницкого и его намерения, но все-таки она мне стала неприятна.

Не знаю, с какой целью ее мать так распространялась об этом. Если она хотела «пришпорить» меня, то сильно ошиблась.

Пани П., конечно, женщина с большими достоинствами, раз она сумела справиться с таким множеством затруднений в жизни и воспитать такую дочь. Но она бестактна и может порядком надоесть своими мигренями и макаронизмами.

— Признаюсь, я была за этот брак,— говорила она мне.— Порой я просто изнемогаю под бременем забот. Я — женщина, в делах ничего не смыслю, и если немного и научилась в них разбираться, потеряв на этом все свое здоровье, то только потому, что это нужно было ради моего ребенка. А Кромницкий — человек умный, оборотистый. У него крупнейшие дела в Одессе, какие-то поставки, сделки с нефтью в Баку... *que sais-je?*¹ Но он не польский подданный, и это, видимо, мешает его карьере. Вот я и думала, что если он женится на Анеле, то очистит от долгов ее имение и, вступив во владение им, сможет хлопотать о перемене подданства.

— А что же Анелька? — перебил я ее, потеряв терпение.

— Я видела, что Анельке он не особенно нравится, но она такая преданная дочь... К тому же, когда я умру, некому будет о ней заботиться. Так что...

Я больше ни о чем не спрашивал, потому что был раздражен до крайности. Теперь мне ясно: брак этот не состоялся только потому, что не захотела Анелька. А все-таки меня возмущает то, что она позволяла ухаживать за собой такому противному субъекту, а главное — что могла хоть секунду колебаться.

Будь я на ее месте, у меня бы просто нервы не выдержали. Но я забываю об одном: не у всех такие нервы, как у меня, а Кромницкого, несмотря на его землистый цвет лица и сходство с мертвой головой, женщины считают «видным мужчиной».

Интересно, какие такие дела у него? Я забыл спросить, в Варшаве ли он сейчас. Очень может быть, что здесь,— он, кажется, сюда наезжает каждую зиму. А насчет его дел думаю только одно: может, они и блестящи, но вряд ли имеют под собой солидную и прочную основу. Я отнюдь не дилетант и не сумел бы повернуть ни одной биржевой сделки, но у меня хватает ума сознать это. Притом я наблюдателен и умею делать выводы. Поэтому я не верю в якобы гениальные деловые способности нашей шляхты. Боюсь, что «оборотистость» Кромницкого — отнюдь не наследственная или врожденная черта, а просто особая форма невроза. Видал я подобные примеры. Появится вдруг на сцену шляхтич-коммерсант; бывает даже, что поначалу ему везет, и он быстро наживает состояние. Но я не встречал ни одного, который в конце концов не стал бы банкротом.

Нет, такого рода способности либо наследуешь, либо приобретаешь выучкой, начиная с азов. Сыновья Хвастовского, быть может, и пробьют себе дорогу, потому что отец их по несчастной случайности потерял все, и они начинают с азбуки. Но кто, имея

¹ почему я знаю? (фр.)

состояние, берется за коммерческие дела без специальных знаний и навыков, тот неизбежно сломает себе шею. Повторяю, у наших шляхтичей это попросту невроз, лихорадка наживы. Спекуляции не могут держаться на иллюзиях, а один бог знает, сколько в этих шляхетских спекуляциях пустой игры фантазии.

Впрочем, желаю удачи господину «фон Кромцкому».

14 февраля

*Рах! Рах! Рах!*¹ Неприятного осадка как не бывало. До чего же чутка Анелька! Я притворялся спокойным и веселым, и в моем обращении с нею была разве только едва ощутимая тень нового, но она и эту тень уловила и приняла к сердцу. Сегодня, когда мы, оставшись вдвоем (это бывает часто, ибо нам умышленно стараются не мешать), просматривали альбомы, она вдруг смутилась, переменялась в лице. Я тотчас понял, что она хочет мне что-то сказать, но не решается. Через минуту мне пришла в голову шальная мысль, что я сейчас услышу признание в любви. Но я тут же вспомнил, что имею дело с полькой. Такая вот польская сопливая девчонка (или, если хотите, такая королевна) скорее умрет, чем первая скажет «люблю». Если она на твой вопрос пролепечет «да», и это уже с ее стороны великая милость.

Анелька быстро вывела меня из заблуждения. Она вдруг захлопнула альбом и, немного запинаясь от смущения, спросила:

— Что с тобой, Леон? Ведь с тобой что-то случилось, правда?

Я стал ее уверять, что все в порядке, смеяся, успокаивал ее, но она, качая головой, твердила свое:

— Вот уже два дня я вижу, что у тебя что-то на душе. Я понимаю, такого человека, как ты, каждый пустяк может расстроить... и все себя проверяю, не я ли в этом виновата, не сказала ли чего такого, или...

Голос ее дрогнул, но она храбро посмотрела мне в глаза:

— Я тебя ничем не обидела? Скажи.

Была минута, когда у меня чуть не сорвалось с языка: «Если мне чего не хватает, так только тебя, моя драгоценная!» Но какой-то страх, выражаясь языком Гомера, ухватил меня за волосы. Анелька тут была ни при чем, я просто испугался, что сейчас щелкнет замок — и прощай моя свобода! Я поцеловал у Анельки руку и сказал как можно веселее:

— Не беспокойся, моя дорогая, ничего со мной не случилось. Не тебе обо мне, а мне следует заботиться, чтобы тебе было здесь хорошо. Ведь ты — наша гостья.

И я вторично поцеловал ее ручку, на этот раз даже обе. Все это можно было, на худой конец, отнести за счет родственных чувств, и — так жалка натура человеческая! — это сознание придало мне смелости, подобно калитке, за которой можно

¹ Мир (лат.).

укрыться. Я называю это жалкой трусостью, ибо мне ведь придется отвечать только перед самим собой, а себя-то я уж, во всяком случае, не обману. Да и страх ответственности, кажется, не останавливает меня,— чувства всегда вели меня, куда им было угодно, а чувства мои к Анельке всецело властвуют надо мной. Вот еще и сейчас я ощущаю на губах прикосновение ее руки — и блаженству моему, страстным желаниям нет границ. Рано или поздно я сам захлопну ту калитку, через которую сегодня мог бы еще бежать на свободу... А мог бы я и вправду бежать? Да, если бы что-нибудь со стороны мне помогло.

А между тем мне уже совершенно ясно, что Анелька любит меня. Все толкает меня к ней.

Сегодня я задал себе вопрос: если это неизбежно, зачем я медлю?

И ответ был таков: не хочу упустить ничего, хочу изведать полностью все волнения, трепетные минуты, волшебство недосказанных слов, вопрошающих взглядов, ожидания. Хочу своим романом насладиться полностью. Я упрекал женщин в том, что для них внешние проявления чувства значат больше, чем само чувство, а теперь и я стремлюсь не упустить ни единого из этих проявлений. Когда человек уже не молод, они так ему нужны! Кроме того, я часто замечал, что у мужчин с обостренной впечатлительностью появляется в характере что-то женское. Я же, помимо всего, в любви немного эпикуреец.

После того разговора с Анелькой оба мы пришли в чудесное настроение. Вечером я помогал ей вырезать из бумаги абажуры, чтобы можно было при этом касаться ее рук и платья. Я нарочно мешал ей работать, а она распалилась, как ребенок, и по временам дурашливо зывала к тете, твердя однотонной скороговоркой, как жалуются всегда маленькие девочки:

— Тетя, Леон меня дразнит!

21 февраля

Дернуло же меня поехать в Варшаву на прием к советнику С.! Здесь были одни мужчины. Советник усиленно старается собирать у себя представителей различных лагерей, полагая, что за чаем с тартинками им легче будет прийти к соглашению, хотя он сам вряд ли ясно себе представляет, в чем, собственно, должно заключаться это соглашение. Я, как человек, живущий почти постоянно за границей, приехал на это сборище для того, чтобы узнать, что творится в умах моих соотечественников, и послушать их рассуждения. Но шумная толчея вызывала скуку, все было так, как обычно бывает на слишком многолюдных собраниях. Люди одинаковых взглядов собирались отдельными группами и беседовали на интересные их темы, поддакивая друг другу, обмениваясь любезностями и так далее.

Я познакомился со многими здешними советниками, с представителями прессы. За границей между писателем и журналистом — большая дистанция. Там писатель в глазах общества — художник и мыслитель, журналист — ремесленник (другого слова подобрать не могу). Здесь же, в Польше, такой разницы не существует, и представителей обеих категорий окрестили одним общим именем: литератор. Большинство из них одновременно и писатели и журналисты. И, как правило, они — люди гораздо более порядочные, чем иностранные журналисты. Не люблю газет и считаю, что они — бич человечества. Быстрота, с которой они осведомляют публику о событиях, не искупает поверхностности этих сообщений и того, что, вводя в заблуждение общественное мнение, они создают неслыханную путаницу в умах. Этого не может не заметить всякий непредубежденный человек. Газеты виноваты в том, что люди разучились отличать правду от лжи, исчезло чувство справедливости, понятие о законности и беззаконии, зло обнаглело, кривда заговорила языком правды, — словом, душа человечества стала слепой и безразличной.

На этом собрании был, между прочим, и Ставовский — по общему мнению, самая умная голова во всем лагере крайних прогрессистов. Судя по его выступлениям, он — человек способный, но страдает двумя болезнями: болезнью печени и «ячеством». Он носится со своим «я», как с полным стаканом воды, и всегда как будто хочет сказать: «Осторожнее, не то пролью». Этот страх в силу внушения передается всем окружающим до такой степени, что при Ставовском никто не смеет оспаривать его точку зрения. Авторитет его держится еще и на другом: он верит в то, что говорит. Этого человека напрасно считают скептиком. Напротив, у него темперамент фанатика. Родись Ставовский несколько сот лет назад, он заседал бы в трибунале и приговаривал бы людей к вырыванию языка за богохульство. В наши дни его фанатизм обращен на другое, теперь Ставовский полон ненависти к тому, что страстно защищал бы в те времена, но, в сущности, это — тот же самый фанатизм.

Я заметил, что наши консерваторы вертятся вокруг Ставовского не только из любопытства — это бы еще куда ни шло, — нет, они, кажется, осторожно загрызают с ним. У нас в Польше — а может, и везде? — эта партия особой смелостью не отличается. Каждый консерватор, подходя к Ставовскому, смотрел на него умильно, и на лбу у него как будто было написано: «Хоть я и консерватор, однако...» Это «однако» было как бы преддверием раскаяния и всякого рода уступок. Это было совершенно ясно, и когда я, скептически относящийся ко всем партиям, заспорил со Ставовским не как представитель определенного лагеря, а просто как человек, не согласный с каким-то его мнением, подобная дерзость вызвала всеобщее удивление. Речь шла о так называемых эксплуатируемых классах. Ставовский начал разглагольствовать об их безвыходном положении, слабости, неспособности

обороняться, и вокруг него уже толпилось много народу, когда я перебил его:

— Скажите, пожалуйста, вы признаете теорию Дарвина о борьбе за существование?

Ставовский, естествовед по специальности, охотно перевел дискуссию на эти новые рельсы.

— Конечно, признаю, — отвечал он.

— Тогда разрешите вам сказать, что вы непоследовательны. Вот если бы я, как христианин, заступался за слабых, беззащитных, угнетенных, это было бы резонно: мне Христос так велел. Но вы, с позиции борьбы за существование, должны были бы сказать себе: «Они слабы и глупы, следовательно, их удел — стать чьей-нибудь добычей, таков основной закон природы. И, значит, черт с ними!» Почему же вы этого не говорите? Чем объяснить такое противоречие?

Огорошила ли Ставовского непривычная для него оппозиция, или он в самом деле до сих пор не задумывался над этим вопросом, — как бы то ни было, он смутился, не знал, что ответить, и не догадался даже пустить в ход слово «альтруизм», — слово, впрочем, довольно бессодержательное.

После такого конфуза наши консерваторы дружно переключались на мою сторону, и я легко мог бы стать героем вечера. Но было уже поздно, меня одолевала скука и хотелось вернуться еще до ночи в Плошов. Да и другие гости понемногу стали расходиться.

Я был уже в шубе и в нетерпении искал свое пенсне, затесавшееся куда-то между шубой и сюртуком, когда ко мне подошел Ставовский, только сейчас, видно, придумав ответ, и начал:

— Вы у меня спрашивали, почему я...

Но я не дал ему договорить, потому что все еще искал пенсне и злился, не находя его.

— По правде сказать, этот вопрос меня мало интересует, — отрезал я. — Вы видите, уже поздно, все уходит. Кроме того, я приблизительно догадываюсь, что вы можете мне сказать. Так что разрешите откланяться и пожелать вам доброй ночи.

Кажется, я этой последней отповедью нажил себе в нем смертельного врага.

В Плошов я приехал в первом часу ночи и вдруг — приятный сюрприз: Анелька дожидалась меня в столовой, чтобы напиться чаем. Она была совсем одета, только волосы уже причесаны на ночь. Радость, которую я почувствовал, увидев ее, показала мне, как глубоко эта девушка закралась ко мне в сердце. Что за милое существо и как она хороша в этой прическе, когда косы заколоты низко на затылке! А ведь стоит мне сказать одно слово — и через месяц-два я буду иметь право расплести эти косы, распустить их по плечам! Не могу и думать об этом спокойно. Не верится даже, что счастье так доступно человеку.

Я побранил ее за то, что она так поздно еще на ногах, но она ответила:

— Мне ни чуточки не хотелось спать, и я попросила у мамы и тети позволения дождаться тебя. Мама сначала твердила, что это неприлично, но я ей объяснила, что мы с тобой родственники, значит, ничего тут такого нет. И знаешь, кто меня поддерживал? Тетя.

— Тетушка у нас молодчина! Напьешься со мной чаю?

— С удовольствием.

Она захлопотала, стала разливать чай в чашки. Я смотрел на ее проворные красивые руки, и мне хотелось целовать их. Анелька время от времени поднимала глаза, но, встречая мой взгляд, тотчас опускала их. За чаем она стала меня расспрашивать, как я провел вечер. Мы говорили вполголоса, хотя спальни тети и пани П. далеко от столовой и мы никак не могли разбудить старушек. Между нами в этот вечер установилась такая доверчивая и сердечная близость, какая бывает между любящими родственниками. Я рассказывал Анельке о том, что видел, как рассказываешь лучшему другу. Потом заговорил о том впечатлении, какое производит здешнее общество на человека, приехавшего из чужих стран. Анеля притихла и слушала меня, широко раскрыв глаза, счастливая тем, что я делюсь с ней своими мыслями.

Когда я замолчал, она сказала:

— А почему бы тебе, Леон, не написать обо всем этом? Что такие мысли не приходят в голову мне — это не удивительно, но они и никому здесь в голову не приходят.

— Почему не пишу? Да по многим, очень многим причинам, я тебе это объясню как-нибудь в другой раз. Между прочим, одна из причин та, что нет у меня никого, кто бы почаще спрашивал вот так, как ты: «Почему ты ничего не делаешь, Леон?»

Мы оба примолкли. Никогда еще ресницы Анельки не опускались так низко на щеки, и я, кажется, почти слышал, почти видел, как билось под платьем ее сердце. Ведь она действительно вправе была ожидать, что я сейчас добавлю: «Хочешь быть всегда со мной и спрашивать меня об этом?» Но мне так нравилась эта игра, когда словно скользишь вниз по скату и все висит на волоске, я так наслаждался волнением этого сердца, которое точно билось у меня на ладони, что мне не хотелось, чтобы это кончилось.

— Ну, покойной ночи, — сказал я через минуту.

Эта девушка — ангел. Она ничем не выдала своего разочарования. Встала и с легкой грустью в голосе, но без малейшей досады ответила мне:

— Покойной ночи.

И мы, пожав друг другу руки, разошлись в разные стороны. Но, уже открывая дверь, я вдруг остановился.

— Анелька!

Мы снова сошлись у стола.

— Скажи мне, но только совершенно откровенно — ты в душе не осуждаешь меня за то, что я фантазер, чудака?

— Нет, что ты! Чудака? О нет! Иногда мне кажется, что ты — человек со странностями, но я тут же говорю себе, что такие, как ты, всегда кажутся другим странными.

— Еще один вопрос: когда тебе в первый раз пришло в голову, что я странный человек?

Анелъка вдруг покраснела. Как она была мила в этот миг, когда румянец разлился по ее щекам, лбу, шее! Она ответила не сразу:

— Н-нет... трудно сказать... Не помню...

— Ну, хорошо, но если я угадаю, ты мне скажи «да». Я тебе напомню это двумя словами.

— Какими? — спросила она с заметным беспокойством.

— Записная книжка. Верно?

— Да, — сказала Анелъка, потупив голову.

— Ну, так я тебе объясню, для чего я тогда на балу написал в твоей книжке ту фразу: во-первых, для того, чтобы между нами сразу оказалось что-то общее, наша общая тайна, а во-вторых...

Я указал на букет, принесенный утром садовником из оранжереи.

— А во-вторых, видишь ли, все цветы лучше расцветают в ясные дни. Вот мне и хотелось, чтобы между нами все было ясно.

— Я не всегда тебя понимаю, — отозвалась Анелъка, помолчав. — Но я так верю в тебя!.. Так верю!..

Снова минута молчания. Наконец я протянул ей руку на прощанье.

В дверях мы оба одновременно обернулись, и глаза наши встретились. Ах, поток чувств все разливается, разливается все шире! Он каждый миг может выйти из берегов.

23 февраля

Человек — как море: у него бывают свои приливы и отливы. Сегодня у меня отлив воли, энергии, охоты делать что-нибудь, охоты жить. Пашло это на меня без всякой причины — вот так, вдруг. Нервы! Но именно поэтому я предаюсь горькому раздумью. Вправе ли жениться такой человек, как я, утомленный жизнью, постаревший душой? Невольно приходят на ум слова Гамлета: «К чему тебе плодить грешников — ступай в монастырь!» Я, конечно, в монастырь не собираюсь. Потомство мое, эти грядущие «грешники», будут похожи на меня — нервные, болезненно впечатлительны, ни к чему не годны, — словом, гении без портфеля. Ну, и черт с ними! Не о них я сейчас думаю, а об Анелъке. Вправе ли я на ней жениться? Можно ли связывать

эту молодую, свежую жизнь, полную веры в людей и бога, с моими сомнениями, духовным бессилием, безнадежным скептицизмом, вечной критикой и с моими нервами? Что из этого выйдет? Для меня уже не наступит второе цветение, вторая душевная молодость, мне нечего ждать возрождения. Мозг мой не изменится, нервы не окрепнут. Так что же,— значит, Анеле суждено увянуть, живя со мной? Не чудовищно ли это? Могу ли я стать полипом, который высасывает свою жертву и питается ее кровью?

У меня просто голова идет кругом. Если это так,— зачем я дал увлечь себя до той границы, на которой стою теперь? Что я делал с того дня, как познакомился с Анелькой? Перебирая струны ее души, устраивал себе концерты. Но если для меня это соната *Quasi una fantasia*¹, то для нее, быть может, соната *Quasi un dolore*². Да, да! Я играю на струнах этой души с утра до вечера, более того — несмотря на все упреки, которые я сейчас делаю себе, знаю, что и впредь не смогу от этого удержаться, так же буду играть и завтра и послезавтра, как играл вчера и третьего дня, потому что меня это влечет непреодолимо, как ничто другое на свете. Я жажду обладать этой девушкой, я влюблен в нее. К чему себя обманывать? Я люблю.

Но как же быть? Отступить, бежать в Рим? Это значит — заставить ее пережить разочарование, сделать ее несчастной. Кто знает, насколько глубоко это чувство пустило корни в ее сердце? А если я женюсь на ней, она станет моей жертвой, будет так же несчастна, только на иной лад. Вот заколдованный круг! Только люди из породы Плошовских могут попасть в такое положение. И для меня, право, весьма слабое утешение, что таких Плошовских у нас много, что имя им легион. Как бесповоротно эта порода обречена на гибель и как нам, помимо всей нашей неспособленности, еще и не везет в жизни! Ведь мог же я встретить такую Анельку десять лет назад, когда еще мои паруса не были так дырявы, как сейчас!

Если бы моя почтенная тетушка знала, какое зло она без всякого умысла, с самыми добрыми намерениями, причинила мне, она была бы глубоко огорчена. Мало мне было трагического сознания своего ничтожества и того мрака, в котором я блуждаю,— не хватало еще этих новых мучений. «Быть или не быть?» Нет,— где там! — дело обстоит еще гораздо хуже.

26 февраля

Вчера я опять ездил в Варшаву, надо было увидеться с Юлиушем Кв. — в его имение я вложил часть денег, оставленных мне матерью. Теперь пан Кв. получил ссуду в Кредитном товариществе и хочет вернуть мне мои деньги.

¹ Соната — фантазия (ит.).

² Соната скорби (ит.).

Черт бы побрал методы ведения дел в этой стране! Кв. сам вызвал меня, сам назначил время, а я прождал его напрасно целый день. Он меня вызовет, наверное, еще раз пять — и все пять раз не явится. Человек он состоятельный, сам пожелал вернуть мне деньги и может это сделать по первому требованию. Но такие уж здесь порядки.

На основании собственных наблюдений я давно пришел к выводу, что мы, поляки, в денежных делах — самые легкомысленные и неаккуратные люди. Так как я люблю во всем доискиваться причин, я не раз размышлял об этом. И вот что я думаю. По-моему, явление это объясняется тем, что главное занятие нашего народа — сельское хозяйство. Торговлей занимались у нас евреи, да и те не могли приучить нас к точности. Земледельцу часто приходится быть неаккуратным и не соблюдать сроков, ибо земля не признает никаких правил и сроков. Это ее свойство передается и тем, кто в ней копается, потом становится характерной чертой всего народа и мало-помалу — наследственным пороком. Но, право же, найденное мною объяснение ничуть меня не утешило, так как из-за неаккуратности Кв. мне на целый день пришлось расстаться с Анелькой, а главное — то же самое грозит повториться через несколько дней. Но ничего тут не поделаешь.

На варшавской квартире тети я нашел визитные карточки Кромницкого, одну для меня, две для наших дам. Опасаясь, как бы он не вздумал явиться с визитом в Плошов, я решил завезти ему свою визитную карточку, — благо мне все равно надо было как-нибудь убить время. Но, на беду, я застал Кромницкого дома, и пришлось посидеть у него с полчаса.

Он мне объявил, что собирается навестить нас в Плошове, на что я ответил, что мы уехали туда отдохнуть и не сегодня-завтра вернемся в Варшаву. Потом он осведомился о здоровье Анелькиной матери и — очень осторожно — о самой Анельке. Он явно хотел дать мне понять, что интересуется ею совершенно бескорыстно, только как знакомый. Но я настолько впечатлителен, что даже это меня кольнуло. До чего же мне противен этот субъект! Должно быть, татары Батыя после победы под Лигницей изрядно покуролесили и в нынешней австрийской Силезии; без сомнения, глазки Кромницкого, похожие на кофейные зерна, никак не силезского происхождения.

Он со мной необыкновенно любезен, так как я человек со средствами. Собственно, ему от меня ничего не надо, да я и не дам ему ничего, так что ему от моего богатства ни тепло ни холодно, но он уже проникся тем поклонением деньгам, какое отличает финансистов. Мы сначала потолковали о затруднениях, с которыми приходилось, да и сейчас еще приходится бороться матери Анели. По мнению Кромницкого, многое удалось бы сохранить, если бы пани П. согласилась продать свое поместье. Ее упорство он считает «чистейшим романтизмом» и говорит, что оно было бы еще понятно, если бы можно было избежать про-

дажи Глухова, но ведь, если дела будут идти так же, поместье все равно в конце концов будет продано — разве что откуда-нибудь возьмутся деньги. «Если появятся денежки, тогда другое дело».

Кромицкий, человек словоохотливый, без конца сетовал на нашу польскую беспомощность. Деньги, мол, валяются у нас под ногами, стоит только нагнуться. Он приводил в пример себя: отец его жил так же, как всякий большой барин, и наделал столько долгов, что оставил сыну не более ста тысяч гульденов. А теперь что?

— Теперь, если мне удастся одно дело в Туркестане, я себя обеспечу и смогу сразу уйти на покой. Евреи и греки нажили миллионы на поставках. Так я вас спрашиваю — почему и мы не можем заняться тем же? Я себя в пример не ставлю, я только спрашиваю: почему? Заработков там на всех хватит.

Мне кажется, этот Кромицкий — человек с некоторой деловой сметкой, но, в общем, глупый. Что мы, поляки, — люди непредприимчивые и беспомощные, это старая песня. Что какой-нибудь одиночка может нажить на поставках миллионы, — верю, но народ в целом должен трудиться у себя на родине, а не гоняться за миллионами в Туркестане.

Слава богу, что Анелька не связала свою жизнь с Кромицким. Может, у него есть достоинства, но это человек совсем иного морального облика. А если ее избранником действительно может оказаться кто-нибудь хуже меня, так следует ли мне колебаться?

28 февраля

Старушки наши уже начинают немного беспокоиться оттого, что дело подвигается вперед не так быстро, как им бы хотелось. Особенно угнетает это, вероятно, тетущку — она по натуре женщина нетерпеливая. Впрочем, обеих успокаивает и ободряет выражение безмятежного счастья на лице Анельки. Она-то верит мне так, как только можно верить, и в ее глазах, устремленных на меня, я читаю это безграничное доверие. Мысли мои всецело заняты ею, и я с утра до вечера не могу от них оторваться. Меня все сильнее влечет к Анельке. Не нужны мне больше концерты на струнах ее души, нужна она сама.

4 марта

Нынешний день закончился для меня так, что мне нужно призвать на помощь все хладнокровие, на какое я способен, чтобы описать этот день по порядку, а не начать с конца. Нет, не могу, должен все-таки сказать: жребий брошен или все равно что брошен. Я не мог бы писать далее, если бы прежде всего не сказал этого.

А теперь можно рассказывать все по порядку. Около полудня к нам на ранний обед приехали Снятынский с женой. Сегодня в театре идет его новая пьеса, и им нужно было к вечеру вернуться в город. Как ни хорошо нам в глуши, в деревне, мы очень обрадовались таким гостям. Анелька искренне любит Снятынскую, и к тому же она, быть может, испытывает потребность излить перед кем-нибудь душу. Снятынская сразу смекнула, как обстоят дела, и усердно старалась подставить и свои плечики под наш воз, чтобы поскорее сдвинуть его с места. Не успели они приехать, как она завела разговор о нашей уединенной деревенской жизни и сказала, обращаясь к тете:

— Ах, какая тут у вас благодать, какая тишина! Не удивительно, что и этой молодой паре здесь хорошо вдвоем и они не скучают по Варшаве.

И я и Анелька отлично поняли, что, называя нас «молодой парой», Снятынская имела в виду вовсе не наш возраст. Да и за обедом она раз десять нарочно повторяла то «молодая пара», то «молодые», как бы противопоставляя нас старым членам семьи.

Но в ее взглядах было столько сочувствия, она с таким чисто женским любопытством навостряла уши, чтобы услышать, о чем мы с Анелей говорим между собой, и так мило все у нее получалось, что я охотно прощал ей эту дружескую навязчивость. Я уже дошел до того, что умышленное сочетание наших с Анелькой имен не раздражает, а напротив — приятно мне.

Анельке это, кажется, тоже доставляло удовольствие. В ее приветливости к Снятынским, в том, как она за обедом их потчевала, было как бы радушие молодой хозяйки, в первый раз принимающей дорогих гостей в своем доме.

Тетушка тоже это подметила, душа в ней взыграла, и она все время расточала Снятынским любезности. При этом я наблюдал удивительную вещь — ни за что бы этому не поверил, если бы не видел своими глазами: у Снятынской краснеют уши всякий раз, когда кто-нибудь похвалит ее мужа! Краснеть от гордости за мужа после восьми лет совместной жизни! Уж не было ли величайшей глупостью то, что я писал о польках?

Обед прошел очень весело. Одна такая супружеская чета может толкнуть на брак множество людей — каждый, глядя на них, невольно скажет себе: «Эге, если так, то женюсь и я». Я по крайней мере впервые увидел брак в таком радужном свете, а не в сером сумраке житейской прозы, будничности, более или менее скрываемого равнодушия.

Анельке, должно быть, наше будущее тоже представлялось таким светлым. Я угадывал это по ее сияющему лицу.

После обеда мы со Снятынским остались в столовой вдвоем — я знаю, что он любит после кофе выпить рюмочку-другую коньяку. Тетя и пани П. перешли в боковую гостиную, Анелька же и пани Снятынская убежали наверх за какими-то альбомами с видами Волыни. Я заговорил со Снятынским об его пьесе, за

которую он был не совсем спокоен. Потом разговор зашел о былых временах, когда оба мы только пробовали взлететь на еще не окрепших крыльях. Снятынский рассказывал мне, как постепенно добился признания, как часто сомневался в себе и сейчас еще иногда сомневается, хотя он уже до известной степени выдвинулся.

— Скажи, что ты делаешь со своей славой? — спросил я.

— То есть как это — что делаю?

— Ну, носишь ее на голове, как митру, или на плечах, как золотое руно, или она стоит у тебя на письменном столе, или висит в гостиной? Я спрашиваю потому, что понятия не имею, что такое слава и что с нею делают те, кому она достается!

— Допустим, что мне она досталась. И вот что я тебе отвечаю: только человек самого дешевого сорта рядится в так называемую славу, носит ее на голове, на шее, ставит на письменный стол или вешает в гостиной. Сознаюсь, вначале она льстит самолюбию, но только духовному парвеню она может заполнить жизнь и заменить все остальные виды счастья. Совершенно другое дело — сознавать, что ты творишь нечто, заслужившее у людей признание, вызывающее отклики, это может дать удовлетворение человеку, который хочет служить обществу. Ну, неужели же счастье в том, что кто-нибудь в светском салоне скажет мне с глупой миной: «Ах, вы доставили нам столько приятных минут!» — а когда я съем что-нибудь неудобоваримое, та или иная газета немедленно объявит: «Сообщаем читателям печальную новость: у нашего знаменитого Х. Х. болит живот». Неужели это может меня осчастливить? Фи, за кого ты меня принимаешь?

— Послушай, — возразил я. — Я тоже не заражен глупым тщеславием, но каждому хочется, чтобы люди его уважали. Это потребность органическая. Видит бог, я не пустой человек, но честно тебе сознаюсь: когда люди находят во мне какие-то способности, говорят о них, жалеют, что они пропадают даром, — мне это льстит, доставляет некоторую — пусть горькую — радость, хотя я тогда еще яснее сознаю собственное ничтожество.

— Похвалы тебя радуют потому, что ты себя жалеешь, — впрочем, с полным основанием. Но ты не затемняй вопроса! Я вовсе не стремлюсь тебе доказать, что кто-либо может испытывать удовлетворение от того, что его называют ослом.

— Но ведь уважение людей следует за славой. Как же не ценить ее?

Снятынский, человек очень живой, имеет привычку во время разговора бегать по комнате, присаживаясь где попало, на все стулья и столы. На этот раз он присел на подоконник и ответил:

— Уважение? Ошибаешься, мой милый. У нас общество своеобразное, в нем царит чисто республиканская зависть. Вот, скажем, я пишу комедии, работаю для театра — хорошо. Я приобрел некоторую известность — еще лучше. Но, думаешь, завидовать мне будут здесь только другие драматурги? Ничуть не бы-

вало! Мне будет завидовать инженер, банковский чиновник, педагог, лекарь, железнодорожный агент,— словом, люди, которые все равно никогда не стали бы писать комедии. Все они, встречаясь со мною, стараются дать мне почувствовать, что я, по их мнению, ничего не стою, а за глаза нарочно будут отзываться обо мне пренебрежительно, умаляя мои достоинства для того, чтобы себе придать больше весу. Если кто-нибудь из них заказал сюртук у моего портного, то при первом удобном случае он, пожимая плечами, скажет: «Снятынский? Подумаешь, какое светило! Он шьет у того же Пацыкевича, что и я!» Вот такие у нас нравы, вот что влечет за собой твоя вожденная слава!

— Но, должно быть, она чего-нибудь да стоит, если люди ради нее готовы шею себе сломать.

Снятынский призадумался на минуту, потом сказал серьезно:

— В личной жизни слава кое-чего стоит, из нее можно сделать скамеечку под ноги любимой женщине.

— Ого, да ты этим изречением стяжаешь себе новую славу! Снятынский подскочил ко мне и крикнул запальчиво:

— Да, да! Уложи лавры в футляр, ступай с ними к любимой и скажи ей: «Вот то, из-за чего люди ломают себе шею, то, что считают за счастье, ценят наравне с богатством,— и это я добыл, а теперь ставь на него свои ножки!» Если ты так поступишь, то будешь любим всю жизнь, понятно? Ты хотел знать, чего стоит слава,— так вот, теперь знаешь.

Приход его жены и Анельки помешал Снятынскому продолжать. Обе дамы собирались идти в оранжереи.

Что за бесенок сидит в Снятынской! Она пришла якобы затем, чтобы попросить у мужа разрешения идти в оранжерею, а когда он разрешил, наказав ей одеться потеплее, она повернулась ко мне и с кошачьим лукавством спросила:

— А вы отпустите со мной Анельку?

Что Анелька покраснела до ушей, это естественно. Но что я, старый хрыч, отточенный, как бритва, на всяких оселках, в первую минуту тоже смутился,— этого я не могу себе простить. Все-таки я с напускным апломбом подошел к Анельке, поднес к губам ее руку и сказал:

— Здесь у Плошове приказывает Анелька, а я первый готов подчиняться ее приказам.

Я хотел было сказать Снятынскому: «А не пойти ли и нам в оранжерею?» — но передумал. Я испытывал потребность поговорить об Анельке, о моей будущей женитьбе и понимал, что Снятынский в конце концов затронет эту тему. Я даже облегчил ему задачу, спросив, как только дамы вышли:

— Итак, ты нерушимо веруешь в свои жизненные догматы?

— Да, теперь более, чем когда-либо Или, вернее — всегда одинаково. На свете нет более затрепанного слова, чем «любовь»,

так что неприятно даже повторять его. Но тебе, с глазу на глаз, я скажу: любовь в широком смысле слова, любовь в частном смысле — и к черту критику! Да, таковы мои жизненные каноны! А философия моя состоит в том, что на эту тему не следует философствовать, и, ей-богу, я вовсе не считаю себя глупее других. С любовью жизнь имеет цену, без нее — не стоит ломаного гроша.

— Ну, хорошо, поговорим об этой «любви в частном смысле», или, проще говоря, — о любви к женщине.

— Ладно, пусть будет «к женщине».

— Так вот, дорогой мой, разве ты не видишь, на каком хрупком фундаменте строишь свое личное счастье?

— На столь же хрупком, как и сама жизнь, — не более.

Но я, говоря о непрочности, имел в виду не разлуку и не ту пропасть, которую раскрывает перед нами смерть. И я сказал Снятынскому:

— Помилуй, зачем же обобщать? Тебе в браке повезло, а другому может не повезти.

Но Снятынский и слышать ничего не хотел. Он утверждал, что в девяноста случаях из ста браки бывают удачны, ибо женщины лучше, чище и благороднее нас, мужчин.

— Мы просто дрянь в сравнении с ними! — кричал он, размахивая руками и тряся своим русым чубом. — Да, дрянь, и больше ничего. Это я тебе говорю, а я умею наблюдать жизнь хотя бы потому, что я — писатель.

Он сел верхом на стул и, напирая им на меня, продолжал все с той же горячностью:

— Дюма говорит, что есть обезьяны из страны Нод, которых ничем не укротишь и не приручишь. Однако на то у тебя глаза, чтобы не выбрать такой обезьяны. А в общем, женщина никогда не обманет мужа, не изменит ему, если сам он не развратит ее или не растопчет ее сердца, не возмутит и не оттолкнет ее своим ничтожеством, эгоизмом, ограниченностью, дрянной и мелкой душонкой. Кроме того, ее любить надо! Пусть она чувствует, что она для тебя не только самка, а дорогой человек, твой ребенок, твой друг. Носи ее за пазухой, чтобы ей было тепло, — а тогда можешь быть спокоен, она будет с каждым годом крепче лнуть к тебе, и вы в конце концов срастетесь, как сямские близнецы. А если не дашь ей этого, испортишь ее или оттолкнешь, — она от тебя уйдет. Уйдет, как только протянутся к ней чьи-нибудь более достойные руки, уйдет непременно, потому что нежность и уважение ей нужны, как воздух.

В своем увлечении Снятынский так напирал на меня стулом, что мне приходилось все время отодвигаться, и мы скоро оказались у самого окна. Тут он вскочил и продолжал:

— Какие вы, однако, глупцы! В наш век духовной засухи, век без общего счастья, без устоев и перспектив, как не создать себе по крайней мере личного счастья, этой опоры в жизни?

Мерзнуть на форуме — да еще и дома не натопить жарко печки! Что может быть глупее? Говорю тебе — женись!

Увидев в окно свою жену и Анельку, возвращавшихся из оранжерей, он указал мне на Анельку.

— Вот где твоё счастье. Вот оно бежит в меховых сапожках по снегу! Повторяю: женись! Цени ее на вес золота... нет, на караты, ясно? У тебя нет постоянного места жительства не только в физическом, но и в духовном и нравственном смысле слова. Нет опоры, нет покоя — и все это она даст тебе. Смотри же, не профилософствуй ее, как профилософствовал свои таланты и свои тридцать пять лет жизни.

Ничто не могло быть разумнее и благороднее этих слов, как нельзя более согласных с моими желаниями. Я пожал Снятынскому руку и ответил:

— Нет, ее я не профилософствую, потому что люблю ее.

И мы дружески обнялись. В эту минуту вошли наши дамы, Снятынская, увидев, что мы обнимаемся, сказала:

— Уходя, мы слышали какой-то спор, но он, по-видимому, окончился мирно. Можно узнать, о чем шла речь?

— О женщинах, — сказал я.

— И каков результат?

— Как видите — объятия. А дальнейшие результаты не замедлят последовать.

Но этих результатов Снятынские не дождались, скоро за ними приехали сани. Короткий зимний день сменился сумерками, и им пора было уезжать. А так как погода стояла прекрасная, тихая и снег в аллее был гладок, как паркет, мы с Анелькой решили проводить их до шоссе.

Простившись с этими милыми людьми, мы возвращались домой. Смеркалось, но вечерняя заря еще не угасала, и при свете ее я хорошо видел лицо Анельки. Она была чем-то взволнована. Я догадался, что у них с Снятынской произошел откровенный разговор. А может, она надеялась, что я сейчас произнесу желанное слово. Слово это было уже у меня на языке. Но удивительная вещь — я, до сих пор считавший себя великим мастером любовных дел, я, который проявлял в этих случаях редкое самообладание и во времена «фехтований» отражал самые ловкие удары, — если и не очень искусно, то, во всяком случае, совершенно хладнокровно, сейчас волновался, как мальчишка! До чего же ново было это чувство! Я боялся, что не смогу связать двух слов, — и молчал.

Так молча шли мы к дому. Я подал Анельке руку, чтобы она не поскользнулась на укатанном полозьями снегу, и, когда она оперлась на нее, снова почувствовал, как сильно меня влечет к этой девушке. Через минуту я уже весь трепетал внутренне, и словно искры пробегали по моим нервам.

Мы вошли в прихожую. Там не было никого, еще и ламп не зажгли, и только сквозь вырезы в печных дверцах мерцали

отблески огня. Все так же молча я в темноте стал снимать с Анели шубку, и, когда из-под этой шубки на меня вдруг пахнуло теплом, я обнял Анельку и, притянув ее к себе, коснулся губами ее лба.

Сделал я это почти безотчетно. Анелька же, должно быть от неожиданности, обомлела и не пыталась сопротивляться. Правда, она тотчас выскользнула из моих объятий, так как в коридоре послышались шаги лакея, несшего сюда лампу, и убежала к себе наверх. А я, глубоко взволнованный, вошел в столовую.

У каждого мужчины, не лишнего предпринимчивости, бывают в жизни такие минуты. Бывали они и у меня, — но прежде я в подобных случаях оставался довольно спокоен и вполне владел собой. А сейчас мысли и впечатления вихрем пронеслись у меня в мозгу. К счастью, столовая была пуста: тетя и пани П. сидели в маленькой гостиной.

Я пошел к ним, но голова моя настолько занята была другим, что я едва понимал обращенные ко мне слова. Меня мучило беспокойство. Я представлял себе, как Анелька сидит у себя в комнате, сжимая виски руками. Я пытался угадать и почувствовать все то, что творится сейчас в ее сердце.

Она скоро пришла, — и я вздохнул свободнее: не знаю почему, я до этой минуты был уверен, что она сегодня вечером не выйдет из своей комнаты. На щеках у нее пылал лихорадочный румянец, глаза блестели, как со сна. Видно, она пыталась освежить разгоряченное лицо — на левом виске остались следы пудры. Все это меня глубоко тронуло. Я чувствовал, что крепко люблю ее.

Занявшись каким-то рукоделем, Анеля сидела, низко опустив голову, но я все же заметил, как неровно и часто она дышит, а раз-другой перехватил ее беглый взгляд, вопросительный и тревожный.

Чтобы рассеять ее тревогу, я вмешался в разговор наших почтенных дам, толковавших о Снятынских, и сказал:

— Сегодня Снятынский упрекал меня в том, что я истый Гамлет, слишком много философствую. Но я ему докажу, что это не так, докажу не далее как завтра.

Это «завтра» я произнес с ударением, и Анелька, видимо, прекрасно меня поняла — она внимательно посмотрела на меня. Тетя же, ни о чем не догадываясь, спросила:

— Так ты с ним завтра опять увидишься?

— Да, следует посмотреть премьеру его пьесы. Если Анелька не против, мы с ней, пожалуй, завтра поедем в театр.

Моя милая Анелька устремила на меня застенчивый, но полный доверия взгляд и сказала удивительно мягко:

— Я на все согласна.

Была минута, когда мне хотелось тут же сразу сказать решительное слово, — и, пожалуй, я должен был это сделать. Но я уже сказал «завтра», и это меня удержало.

Я подобен сейчас человеку, который, зажав пальцами уши и поздри, закрыв глаза, собирается нырнуть в воду. Но зато я уверен, что на дне найду настоящую жемчужину.

6 марта, Рим, Каза Озориа

Со вчерашнего дня я в Риме. Отец болен не так тяжело, как я боялся. У него частично парализована вся левая половина тела, но врачи успокаивают меня, заверяя, что сердцу паралич не угрожает и в таком состоянии отец может прожить годы.

7 марта

Итак, Анелька осталась в неизвестности, в ожидании и душевной тревоге. Но я не мог поступить иначе. На другой день после визита Снятыньских, то есть в тот самый день, когда я намеревался сделать предложение Анельке, из Рима пришло письмо от отца с известием о его болезни. «Поспеши, дорогой мой мальчик,— писал он,— я хотел бы еще раз обнять тебя перед смертью, ибо чувствую, что ладья, которая унесет меня, уже подходит к берегу». И, конечно, получив такое письмо, я уехал первым же поездом и ехал без остановок до самого Рима.

Уезжая из Плошова, я думал, что не застаю уже отца в живых. Тщетно тетушка меня успокаивала, говоря, что, если бы отцу угрожала непосредственная опасность, он вызвал бы меня — или поручил кому-нибудь вызвать — не письмом, а телеграммой. Я знал, что у отца есть свои причуды и среди них — отвращение к телеграммам. Да и тетушка только притворялась спокойной, а на самом деле волновалась не меньше меня.

В такой спешке и переполохе, поглощенный страшной мыслью о возможной смерти отца, я не мог и не хотел просить руки Анельки. Было бы противоестественно и цинично с моей стороны шептать слова любви, когда, быть может, в эту самую минуту отец прощался с жизнью. Это понимали все, а главное — понимала Анелька. Прощаясь, я сказал ей: «Я тебе напишу из Рима», она же ответила: «Дай бог, чтобы ты успокоился,— это главное». Она верит мне безгранично. А ведь у меня, заслуженно или незаслуженно, репутация ветреного сердцееда, и это, конечно, дошло уже до ушей Анельки. Но, быть может, именно потому славная девушка старается выказать мне еще больше доверия. Я угадываю ее мысли и чувства и словно слышу, как эта чистая душа говорит мне: «Люди к тебе несправедливы. Обвинять тебя в легкомыслии могут только те, кто не любит тебя так искренне и глубоко, как я люблю». И Анелька права. Если есть у меня некоторая склонность к легкомыслию,— породила ее, несомненно, та распущенность, суетность и пуста душа, на которые я наталкивался в своей среде: она могла бы совершенно исковеркать, иссушить мою душу, и тогда такому существу, как

Анелка, пришлось бы расплачиваться за чужую вину. Но думаю, что спасение еще возможно и благословенный исцелитель никогда не приходит слишком поздно. Да и кто знает, бывает ли когда-либо «слишком поздно» и не дано ли чистому и благородному женскому сердцу всегда воскрешать мертвых.

А может быть, сердце мужчины больше, чем это думают, одарено способностью возрождаться. Существует легенда о розе Иерихона, которая, совершенно увянув, от одной капли дождя оживает и дает новые листья. Я замечал, что в мужском характере вообще гораздо больше упругости, чем в женском. Иной мужчина погрязнет в разврате столь мерзком, что половина этого яда навсегда разъела бы губительной проказой душу женщины, а между тем этот сын Адама способен не только побороть болезнь, но и легко обретает вновь нравственное здоровье и свежесть — ну, просто девственность сердца. То же самое можно сказать и о чувствах. Я знал женщин с сердцем настолько опустошенным, что они совершенно утратили способность любить и даже уважать кого бы то ни было или что бы то ни было. А таких мужчин я не встречал. Решительно, нам, мужчинам, любовь возвращает целомудрие.

Подобные утверждения могут показаться странными в устах скептика. Но прежде всего я своим сомнениям верю не более, чем всякого рода утверждениям, аксиомам и выводам, на которые другие люди опираются в жизни. Я в любую минуту готов согласиться, что мои сомнения, быть может, так же далеки от сути вещей, как и те аксиомы. Это во-первых. Во-вторых, я сейчас в плену моего чувства к Анелке, которая и сама не знает, какой она выбрала мудрый путь, безгранично доверившись мне, как она этим тронула и покорила мое сердце, как привязала меня к себе!

И, наконец, третье: говорю ли я о любви или о другом явлении жизни, — я говорю и пишу всегда то, что мне в этот момент думается. Что я буду думать об этом завтра, не знаю. Ах, если бы я знал, что какое-либо мое убеждение, воззрение, принцип устоит и завтра и послезавтра против духа скептицизма, — я бы ухватился за это убеждение обеими руками, сделал бы его своим канонам — и поплыл бы, как Снятынский, на всех парусах, под солнцем, а не блуждал бы в пустоте и мраке.

Но не буду больше возвращаться к своей душевной драме. Глядя на жизнь и все ее явления глазами скептика, я мог бы и о любви вообще сказать Соломоново *vanitas vanitatum*¹. Но я не так слеп, чтобы не видеть, что из всех жизненных факторов любовь — самый могучий, она так всеильна, что всякий раз, как я об этом подумаю и окину мысленным взором вечное море бытия, меня просто ошеломяет ее всемогущество. Да оно ведь и всеми признано, так же всем знакомо, как восход солнца, как прили-

¹ суета сует (лат.).

вы и отливы в океане,— и все же это могущество неизменно поражает нас. После Эмпедокла, который высказал догадку, что это Эрос извлек мир из недр хаоса, метафизика не сделала ни шага вперед. Одна лишь смерть — такая же беспощадная сила, как любовь, но в вековой борьбе этих двух сил любовь берет смерть за горло, становится коленом ей на грудь, побеждает ее днем и ночью, побеждает каждой весной, ходит за ней по пятам и в каждую вырытую смертью яму бросает семена новой жизни. Люди, занятые своими повседневными делами, забывают или не хотят помнить, что они служат только любви. Странно, как подумаешь, что воин, государственный муж, земледелец, купец, банкир трудами своими, как будто не имеющими ничего общего с любовью, в сущности служат только ей, выполняют тот закон природы, в силу которого руки мужчины тянутся к женщине. Если бы сказали Бисмарку, что конечная и единственная цель всех его усилий в том, чтобы уста Германа слились с устами Доротеи, каким диким парадоксом показалось бы ему это! Да и мне сейчас то, что я написал, кажется парадоксом, а все-таки... Все-таки Бисмарк ставил себе целью могущество немцев, а это могущество может быть достигнуто только через счастье Германа и Доротеи. Так что еще делать Бисмарку, как не добиваться политикой или штыком таких условий, при которых Герман и Доротея могли бы спокойно любить друг друга и в счастливом союзе растить новое поколение?

Я еще в университете читал одну арабскую газель, в которой сила любви сравнивается с силой адских клещей. Я забыл имя поэта, но мысль его осталась у меня в памяти. Действительно, голова кружится, как подумаешь о могуществе любви! В конце концов все явления жизни — лишь разнообразные формы одной и той же сущности, которую элейцы выражали словами «ἐκλήϊα»¹. Она одна вечна, одна властвует, соединяет, поддерживает, творит.

10 марта

Сегодня я написал и разорвал три или четыре письма к Анеле. После обеда пошел в рабочий кабинет к отцу, чтобы поговорить с ним о планах тетушки. Он рассматривал сквозь увеличительное стекло присланные ему из Пелопоннеса эпихлрионы², еще не очищенные от земли. В своей комнате-музее с переменчивым освещением (так как в одних окнах белые, а в других цветные стекла), комнате, полной этрусских ваз, обломков статуй и всякого рода памятников старины, греческих и римских, отец выглядел очень эффектно. Эта обстановка как-то особенно подчеркивала его благородную внешность, и я подумал, что, наверное, такое лицо было у «божественного» Платона или

¹ все в одном (греч.).

² светильники (греч.).

другого греческого мудреца. Когда я вошел, отец оторвался от своего занятия. Он выслушал меня с интересом, а потом спросил:

— Значит, ты еще колеблешься?

— Не колеблюсь, а размышляю, пытаюсь понять, почему мне этого хочется.

— Ну, так я тебе вот что скажу: в молодости я не меньше, чем ты, любил анализировать себя и все явления жизни. Но когда встретил твою мать, сразу утратил эту способность. Я знал только одно: что хочу обладать ею. И ничего больше знать не хотел.

— И что же?

— Если ты любишь так же сильно — женись. Нет, я не хотел сказать: если ты так сильно любишь, ты все равно женишься без чужих советов и содействия и будешь так же счастлив, как был я, пока жива была твоя мать.

Некоторое время мы оба молчали. Слова отца меня не радовали — они не отвечали полностью тому, что я переживал. Я, несомненно, люблю Анельку, но не дошел еще до того, чтобы в душе моей не было места никакой рефлексии. Впрочем, в этом нет ничего плохого — просто мое поколение поднялось на более высокую ступень сознания. Во мне всегда сидят два человека: актер и зритель. Часто зритель бывает недоволен актером, но на этот раз между ними полное согласие.

Отец первый прервал молчание:

— Опиши мне ее.

Описание — самый беспомощный способ создавать чей-нибудь портрет, поэтому я принес отцу большую и очень удачную фотографию Анели.

Он с жадным любопытством стал ее рассматривать. Я же с не меньшим интересом наблюдал за ним. В нем сразу проснулся художник, а вместе с тем и бывлой тонкий знаток и поклонник женщин, прежний «Leon l'Invincible». Прислонив фотографию к рукаву своей бедной, уже полумертвой левой руки, он правой схватил лупу и, то приближая, то отдаляя ее, сказал:

— Если бы не кое-какие особенности, это было бы лицо в духе Ари Шеффера. Она была бы прелестна со слезами на глазах... Некоторые люди не любят женщин с ангельским выражением лица, а по-моему, научить ангела быть женщиной — это верх достижения... Да, очень хороша, и красота незаурядная. *Enfin, tout ce qu'il y a de plus beau au monde — c'est la femme!*¹

Он снова принялся орудовать лупой и наконец сказал:

— Когда судишь по лицу, в особенности по фотографии, легко ошибиться, но у меня есть некоторый опыт. И, по-моему, эта девушка — глубоко честная натура. Так мне кажется. Женщины этого типа дорожат чистотой своих перышек... Дай бог

¹ В конце концов, женщина — это самое прекрасное, что есть в мире (*фр.*).

тебе счастья, мой мальчик, — очень мне нравится твоя Анелька... Я всегда боялся, что ты женишься на какой-нибудь иностранке... Хорошо, что ты выбрал Анельку!

Я подошел к нему, а он здоровой правой рукой обнял меня за шею и притянул к себе со словами:

— Эх, если бы дожить до того дня, когда вот так же смогу обнять свою сноху!

Я стал его уверять, что непременно так и будет. Потом мы обсудили мой план вызвать в Рим тетю и Анельку с матерью. После того как я в письме попрошу руки Анельки, я смогу настоять на их приезде, а они, без сомнения, согласятся, приняв во внимание болезнь отца. Тогда свадьба может состояться в Риме — и очень скоро.

Отцу чрезвычайно понравился этот план — люди пожилые и больные любят видеть вокруг себя жизнь и движение. Я знал, что Анелька будет счастлива, когда узнает о нашем плане, а потому и сам с каждой минутой все больше жаждал ее приезда. Все можно было устроить за одну неделю. Я сознавал, что такая энергия и решительность несколько не в моем характере, но меня тем более радовала мысль, что я сумею их проявить. Дав волю воображению, я уже представлял себе, как буду показывать Анеле Рим. Только те, кто живет в этом городе, понимают, какое это наслаждение — знакомить кого-нибудь с его памятниками старины, а в особенности — осматривать их вместе с любимой женщиной.

Продолжать разговор нам с отцом помешал приход супругов Дэвис, которые каждый день его навещают. Он — английский еврей, она — знатная итальянка, вышедшая за него по расчету. Дэвис — настоящая развалина, он пользовался жизнью вдвое щедрее, чем это позволял его организм, слабый от природы. Теперь ему грозит размягчение мозга, он — больной, ко всему равнодушный человек, таких встречаешь в гидропатических лечебницах. А г-жа Дэвис — настоящая Юнона. У нее сросшиеся брови и формы греческой статуи. Не нравится мне эта женщина. Она, как Пизанская башня, вечно клонится, но не падает. В прошлом году я приударял за нею, да и она усердно со мной кокетничала, но оба мы тем и ограничились. Отец мой питает к ней непобедимую слабость. Я даже подозреваю, что он когда-то был в нее влюблен. Во всяком случае, он ею восхищается, как художник и мыслитель, ибо она действительно и красавица,¹ и чрезвычайно интеллигентна. Они с отцом ведут нескончаемые диспуты, которые отец называет «Causeries Romaines»¹. Они всегда доставляют ему удовольствие — быть может, потому, что такие беседы с красивой женщиной о всяких явлениях жизни кажутся ему чем-то подлинно итальянским, поэтичным и достойным времен Возрождения. Я же редко принимаю участие в этих

¹ «Римские беседы» (фр.).

диспутах, так как не верю в искренность г-жи Дэвис. Сдается мне, что ее незаурядная интеллигентность — только головная, а не душевная, и на самом деле ее ничто не интересует, кроме собственной красоты и собственного благополучия. Я не раз встречал здесь таких женщин — можно подумать, что у них высокие духовные запросы, а в сущности, религия, философия, искусство, литература — для них как бы принадлежности их туалета: они ряжутся то в одно, то в другое, полагая, что это им к лицу. И я подозреваю, что именно из таких побуждений г-жа Дэвис щеголяет своим интересом то к житейским проблемам, то к Древней Греции и Риму, то к «Божественной комедии», то к эпохе Возрождения или церквям, галерее Боргезе или Колонна, и так далее. Когда какая-нибудь яркая личность воображает, что она — пуп земли, это еще можно понять. Но в женщинах, занятых всякими пустяками, такой эгоцентризм и смешон и противен. Я нередко задавал себе вопрос, чем объясняются дружеские чувства г-жи Дэвис к моему отцу — нет, более того, ее увлечение им. И, кажется, нашел ответ. Этот старец с прекрасной головой патриция и философа, с манерами, напоминающими о восемнадцатом веке, для нее своего рода *objet d'art*¹, а главное — дивное мыслящее зеркало, в котором г-жа Дэвис может досыта любоваться своим умом и красотой. К тому же она благодарна отцу за то, что он ее не критикует, что очень к ней расположен. Быть может, все это привязало ее к нему, — во всяком случае, он стал ей нужен. Кроме того, у г-жи Дэвис в свете репутация кокетки, и, бывая ежедневно у отца, она тем самым как бы опровергает общее мнение. «Это неправда, — как бы говорит она. — Вот ведь Плошовский — семидесятилетний старик, и никто не может заподозрить меня в желании покорить его сердце, а между тем он мне милее всех моих поклонников». И наконец, еще одно: она, правда, старого знатного рода, но муж ее, хотя и колоссально богат, — не более как «мистер Дэвис». Так что дружба с моим отцом укрепляет их положение в высшем свете.

Одно время я спрашивал себя, уж не ради меня ли — или отчасти ради меня — г-жа Дэвис ежедневно бывает у нас? Кто знает... Но, конечно, эту женщину привлекают не мои достоинства, и тем менее можно ее подозревать в нежных чувствах ко мне. Нет, она понимает, что я отношусь к ней скептически, и это не дает ей покоя. Быть может, она даже меня ненавидит, но была бы рада увидеть меня у своих ног. И я, пожалуй, готов стать на колени перед таким великолепным образцом человеческой породы, сделал бы это хотя бы ради ее сросшихся бровей и плеч, достойных Юноны, — но за цену, на которую она не согласится.

Как только пришли Дэвисы, отец сразу пустился в философские рассуждения. Перескакивая с одного вопроса на другой,

¹ произведение искусства (*фр.*).

разговор закончился анализом человеческих чувств. Г-жа Дэвис высказала несколько очень метких суждений. Из отцовского «музея» мы перешли на террасу, когорая выходит в сад. Сегодня только десятое марта, а здесь уже все в цвету. В нынешнем году весна ранняя. Днем — жара; магнолии, как снегом, покрыты цветами; ночи теплые, точно в июле. Как все здесь не похоже на Плошов! Я словно в другой мир попал. И дышу полной грудью.

На нашей террасе, при свете полной луны, г-жа Дэвис была прекрасна, как греза древнего эллина. Я видел, что и ее волнует волшебная римская ночь. Голос ее звучал мелодичнее и тише обычного. Впрочем, она, быть может, и сейчас, как всегда, думала только о себе и все воспринимала в применении к себе: рядилась в лунный свет, тишину и аромат магнолий, как будто примеряла шляпку или шаль. И должен сказать — этот наряд удивительно оттенял ее красоту. Не будь мое сердце занято Анелькой, я не устоял бы перед нею. Притом она высказывала мысли, которые не каждому мужчине придут в голову.

Однако, присутствуя на этих *Causeries Romaines*, я всегда выношу впечатление, что отец, я, г-жа Дэвис — словом, все мы, люди определенного круга, в сущности, оторваны от реальной действительности. Под нами что-то творится, возникает, кипит борьба за существование, за кусок хлеба, идет жизнь реальная, полная муравьиного труда, животных потребностей, appetitов, страстей, ежедневных тяжких усилий, жизнь потрясающе осязаемая, полная сумятицы, шумная, бурлящая, как море, — а мы вечно сидим себе на каких-то террасах, рассуждаем об искусстве, литературе, любви, женщинах, чуждые жизни, далекие от нее. Мы вычеркиваем из семи дней недели шесть будничных и даже не сознаем того, что наши интересы, увлечения, нервы и души годны только для праздников. Погрузившись в блаженный дилетантизм, как в теплую ванну, мы живем словно в полусне. Неторопливо растрачивая унаследованное достояние и наследственный запас мышечных и нервных сил, мы постепенно теряем почву под ногами. Мы — как пух, носимый ветром. Едва за что-нибудь зацепимся, реальная жизнь сметает нас с места — и мы покоряемся, ибо не чувствуем себя в силах дать ей отпор.

Когда я думаю об этом, меня всегда поражает то, что в нас уживаются тысячи противоречий. Так, мы считаем себя цветом цивилизации, ее высшей ступенью, а между тем утратили всякую веру в себя. Лишь самые глупые из нас еще верят в смысл своего существования. Мы инстинктивно ищем в жизни ее праздничные стороны, наслаждение и счастье, но не верим и в счастье тоже. Пессимизм наш, правда, неглубок, он легок, как дым наших гавайских сигар, тем не менее заслоняет нам все горизонты. И за этим заслоном, в этом дыму, мы создаем себе отдельный мир, оторванный от огромной вселенной, замкнутый в себе, несколько суежный и сонный.

И если бы дело шло только о так называемой аристократии, родовой или денежной, было бы еще с полбеды. Но к нашему изолированному миру в той или иной степени принадлежат и все представители высшей культуры, да отчасти и наша наука, литература и искусство. Как-то так вышло, что все они существуют не в самой гуще жизни, а в отрыве от нее, в замкнутом кругу, вследствие чего и вянут, выдыхаются и не имеют влияния на миллионы людей, которые копошатся внизу, не смягчают их животных инстинктов.

Я говорю об этом не как реформатор, — какой уж я реформатор, на это у меня не хватает сил. И наконец, какое мне до этого дело? Будет так, как быть должно! Но порой у меня бывает смутное предчувствие какой-то страшной опасности, грозящей всей нашей культуре. Волна, которая смоет нас с поверхности земли, унесет больше, чем та, что в свое время смыла мир пудренных париков и жабо. Впрочем, и в ту эпоху гибнущим поколениям казалось, что с ними гибнет цивилизация.

А все-таки приятно посидеть иногда в теплый лунный вечер на террасе и беседовать вполголоса об искусстве, литературе, любви и женщинах, поглядывая на освещенный серебряным светом божественный профиль такой женщины, как г-жа Дэвис.

10 марта

Горы, скалы и долины, по мере того как мы от них отдаляемся, заслоняет от наших глаз синяя дымка. И я замечаю, что такая же «психологическая» дымка заслоняет нам тех, кто от нас далеко. Смерть — то же отдаление, но столь безмерное, что люди, которых она от нас уносит, даже самые любимые и близкие, постепенно утрачивают в нашей памяти реальный облик, затуманиваются, становятся лишь дорогими тенями. Это понимал эллинский гений, населяя толпой теней поля Елисейские. Не буду, однако, злоупотреблять этими грустными сравнениями, так как хочу говорить о живой Анельке. Я совершенно уверен, что любовь моя к ней не ослабела, а между тем Анелька сейчас и в мыслях моих тоже словно окутана синей мглой, не так реальна, как была в Плошове. Исчезла непосредственность чувственного восприятия. Сейчас Анеля стала для меня скорее дорогой и близкой душой, а в Плошове была желанной женщиной. Хуже это или лучше? С одной стороны — лучше: ведь желанной могла бы быть для меня даже г-жа Дэвис. Но кто знает — быть может, именно из-за этой перемены в чувствах я до сих пор ни разу не написал отсюда Анеле? Я нисколько не сомневаюсь, что профиль г-жи Дэвис, неотступно стоящий у меня перед глазами, — впечатление мимолетное и не имеющее никакого значения. Напротив, когда я сравниваю этих двух женщин, чувство мое к Анеле становится нежнее. И, несмотря на это, я оставляю ее в неизвестности и мучительном ожидании.

Сегодня отец написал тете, чтобы она не тревожилась, так как ему уже лучше, а я дописал к письму несколько строк, ограничившись только приветом Анельке и ее матери. Правда, в приписке много не скажешь, но ведь мог же я хотя бы обещать, что скоро напишу им отдельно и подробно. Такое обещание было бы бальзамом для Анельки и обеих старушек. Но я не сделал и этого — не мог. Сегодня у меня снова день «отлива». Любовь к жизни и вера в будущее отхлынула далеко, так далеко, что их и не видать, а видно только дно, сухое и песчаное. Я говорю себе: жениться на Анеле я вправе только в том случае, если буду искренне уверен, что этот брак принесет счастье нам обоим. Именно в этом я должен буду уверить Анельку, но тогда я солгу, обману ее раньше, чем ксендз соединит наши руки, ибо нет у меня веры в это, есть только сомнения во всем и отвращение к жизни.

Анеле тяжело ждать и оставаться в неизвестности, но мне еще хуже, чем ей,— и тем хуже, чем сильнее я ее люблю.

11 марта

Когда я во время нашей *causerie* при луне высказал г-же Дэвис приблизительно то же, что ранее писал здесь, в дневнике, о всемогуществе любви, она назвала меня Анакреоном и посоветовала украсить чело венком из виноградных лисьев. Затем спросила уже серьезно:

— Если это так, почему же вы разыгрываете из себя пессимиста? Вера в такое божество должна делать человека счастливым.

В самом деле, почему?

Я не ответил ей, но в душе хорошо знаю почему. Любовь побеждает даже смерть, но бессмертие дано только *роду*. А что мне из того, что род сохранится, если я, человек, познавший любовь, обречен на неумолимую и неизбежную гибель? Разве не утонченно жесток закон, в силу которого чувство, доступное только индивиду, служит лишь сохранению рода? Чувствовать в себе трепет этой бессмертной силы и при этом знать, что ты должен умереть,— что может быть ужаснее? В действительности существуют только индивиды, а род — понятие отвлеченное и для отдельной личности — совершенно то же, что представление о нирване. Мне понятна любовь человека к своему сыну, внуку, правнуку, то есть к отдельным людям, смертным, как и он. Но патриотизм по отношению к своему роду — чувство надуманное, искренне его может питать только глупейший доктринер. Теперь становится понятно, почему после Эмпедокла через много веков появились в мире Шопенгауэр и Гартман.

Мозг мой наболел так, как может наболеть спина грузчика, таскающего непосильные тяжести. Но этот рабочий хоть зарабатывает себе таким трудом кусок хлеба и покой!

Мне все вспоминаются слова Снятынского: «Смотри же, не философствуй ее, как философствовал свои таланты и тридцать пять лет жизни». Знаю, что это ни к чему не ведет, что это вредно — но не могу не думать.

13 марта

Сегодня на рассвете умер отец. После второго удара он не прожил и суток.

22 марта, Пельи, вилла «Лаура»

Смерть... Мы знаем, что всем придется сойти в эту бездну, но всякий раз, когда в ней исчезает кто-нибудь из близких и дорогих нам людей, у нас, оставшихся наверху, сердце разрывается от тоски, страха, отчаяния. Все логические рассуждения обрываются на краю этой бездны, и хочется только взывать о спасении, которое ниоткуда прийти не может. Единственным спасением и утешением могла бы быть вера. А тот, у кого ее нет, кому этот свет не светит, может просто обезуметь при мысли об ожидающей нас вечной ночи. Десять раз в день я говорю себе, что этого не может быть, что было бы слишком страшно, если бы со смертью кончалось все. И десять раз в день я чувствую, что это именно так.

23 марта

Приехав из Плошова, я застал отца в таком хорошем состоянии, что мысль о близости конца мне и в голову не приходила. Какие странные выверты чувств таятся в душе человеческой! Бог свидетель, найдя отца почти здоровым, я искренне, от всей души этому обрадовался, а вместе с тем, — так как до этого я был уверен, что он умрет, и в своем воображении уже видел его лежащим среди погребальных свечей и себя — на коленях у его гроба, — во мне зашевелилось что-то вроде разочарования, как будто мне обидно было за напрасно пережитое горе. И сейчас воспоминание об этом преследует меня, как вечный горький укор.

Глубоко несчастлив человек, чья душа и чувства утратили простоту! Как угрызения совести мучают меня воспоминание о том, что, когда отец умирал у меня на глазах, во мне словно сидели два человека: искренне горевавший сын, который кусал пальцы, пытаясь заглушить рыдания, — и холодный умник, изучавший в эти минуты психологию умирающего. Я невыразимо несчастен потому, что мне дан судьбой такой несчастный характер.

Отец умирал в полном сознании. В субботу вечером он почувствовал себя плохо. Я послал за доктором и попросил на всякий случай остаться у нас. Доктор прописал какое-то лекарство, а

отец тотчас начал с ним воевать, доказывая, что лекарство это может ускорить приступ. Доктор успокаивал меня, говоря: «После первого удара никогда нельзя быть уверенным, что за ним не последует второй, но пока я не вижу непосредственной опасности и думаю, что ваш отец может прожить лет пятнадцать — двадцать».

Об этих пятнадцати — двадцати годах он сказал и отцу, но тот только рукой махнул и буркнул: «Увидим». Отец всю жизнь воевал с докторами и любил их поддразнивать, рассуждая о беспомощности медицины. Поэтому его замечание меня не встревожило. Но около десяти, когда мы пили чай, он вдруг приподнялся и крикнул:

— Леон! Скорее сюда!

Через четверть часа он уже лежал в постели, а через час началась агония.

24 марта

Я убедился, что человек до последней минуты сохраняет не только все черты своего характера, но и свои причуды. И мой отец даже в эти торжественно-серьезные минуты близости смерти был, кажется, очень доволен тем, что прав оказался он, а не врач, и что оправдалось его недоверие к медицине. Я слушал все, что он говорил в последние часы жизни, я читал его мысли по лицу. Было в них и сознание важности приближающейся минуты, был интерес к тому, каким окажется иной мир. Ни тени сомнения в том, что этот иной мир существует, только легкое беспокойство при мысли, хорошо ли его там примут, — и вместе с тем какая-то безотчетная, наивная уверенность, что его-то, во всяком случае, примут не как первого попавшегося. Я так умирать не буду — нет в моей жизни таких основ, которые поддерживали бы меня даже в смертный час.

Отец, прощаясь с жизнью, был полон глубокой веры и раскаяния, как истинный христианин. Он принимал святое причастие со светлой умиротворенностью праведника. Таким он навсегда останется у меня в памяти.

Как же убог и жалок мой скептицизм по сравнению с этой огромной силой веры, которая еще властнее, чем любовь, торжествует над смертью. После причастия и последнего соборования отец, глубоко растроганный, схватил меня за руку, крепко, почти судорожно, и не выпускал ее, словно пытаясь уцепиться за жизнь. Но не из страха, не от отчаяния. Ему ничуть не было страшно. Через минуту я заметил, что его глаза, все время устремленные на меня, становятся неподвижны и мутнеют, а на лбу, словно капли росы, выступает пот. Лицо его все больше бледнело, он несколько раз открывал рот, словно ему воздуха не хватало. В последний раз глубоко вздохнул — и скончался.

При бальзамировании я не присутствовал, это было выше моих сил. Но после бальзамирования я ни на миг не отходил от тела, боясь, что те, кто обряжал его, будут обращаться с ним как с вещью. Как ужасен погребальный обряд: катафалки, свечи, монахи с опущенными на лицо капюшонами, эти песнопения! До сих пор у меня в ушах звучит «Anima eius» и «Requiem aeternam»¹. От всего этого веет страшным холодом смерти.

Гроб вынесли из церкви Санта Мария Маджоре, и тут я в последний раз бросил взгляд на родное прекрасное лицо. Кладбище Кампо Санта уже напоминает зеленый островок. Весна в этом году удивительно ранняя. Деревья в цвету, белые мраморные памятники на могилах купаются в солнечном свете. Пробуждающаяся вокруг жизнь, зелень, солнце, птичий гомон — и похороны. Какой печальный контраст! Гроб до самого кладбища провожала толпа народу, — отец был в Риме известен своей благотворительностью так же, как тетушка — в Варшаве. Но меня раздражал этот наплыв чужих людей, на чьих оживленных лицах читалось весеннее настроение. Толпа, особенно в Италии, жаждет зрелищ, и привлекло ее сюда не столько сочувствие, сколько желание поглазеть на пышные похороны. Эгоизм человеческий не имеет границ, и я уверен, что даже люди нравственно и умственно развитые, идя за гробом, испытывают бессознательное удовлетворение оттого, что несчастье случилось не с ними, хоронят не их.

Приехала тетушка — я вызвал ее телеграммой. Постигший нас удар она приняла гораздо спокойнее, чем я, — как человек глубоко верующий она видит в смерти только счастливейшую из всех перемен. Правда, это не мешало ей плакать искренними слезами над гробом брата, но она сохранила душевное спокойствие. После похорон она завела со мной сердечный и откровенный разговор, но я тогда неверно истолковал ее слова, о чем теперь жалею. Она ни словом не обмолвилась об Анельке, говорила только о моем одиночестве и настойчиво звала меня в Плошов, уверяя, что там мне легче будет перенести утрату, ибо я найду там любящие сердца, а прежде всего — ее старое сердце, которому я дорожу всего на свете. Я же видел в ее словах только желание продолжать сватовство, и сейчас, когда еще так свежо было мое горе, это показалось мне неприличным и очень рассердило меня. Не до помолвок и свадеб мне сейчас, мне и жизнь постыла с того дня, как ее омрачила тень смерти. В сердцах я решительно, даже резко отказался ехать с тетушкой. Я сказал ей, что отправлюсь путешествовать, — вернее всего, на Корфу, а потом вернусь на несколько недель в Рим, чтобы заняться отцовским наследством, и только после этого поеду в Плошов.

Тетушка не настаивала. Понимая, как мне тяжело, она была ко мне нежнее, чем когда-либо. Через три дня после похорон она

¹ «Дух его» и «Вечный покой» (лат.).

уехала. А я на Корфу так и не попал: Дэвисы сразу же увезли меня на свою виллу в Пелли, и вот уже несколько дней, как я здесь. Искренна ли г-жа Дэвис или нет, не знаю и не хочу над этим задумываться. Знаю только, что и от родной сестры нельзя было ожидать столько сочувствия и заботы. Отравленный скептицизмом, я склонен всем и всегда не доверять, но если бы оказалось, что на сей раз я ошибся, я чувствовал бы себя сильно виноватым перед этой женщиной, так как ее доброта ко мне поистине не знает границ.

26 марта

Из моих окон видна немыслимо прекрасная лазурь Средиземного моря, замкнутая на горизонте полосой темного сапфира. Близ нашей виллы рябь на воде сверкает огненной чешуей, а дальше поверхность моря гладка, недвижна, словно убаюканная тишиной. Там и сям белеют латинские паруса рыбацких лодок; раз в день проходит из Марселя в Геную пароход, оставляя за собой пушистую струю дыма, которая чернеет над морем, как туча, пока не растает в воздухе. Здесь чудесно отдыхаешь. Мысли рассеиваются, как этот пароходный дымок между лазурью неба и моря, и человек живет блаженной растительной жизнью. Вчера я чувствовал себя крайне утомленным, а сегодня полной грудью вдыхаю свежий морской ветерок, оставляющий на губах влажные крупинки соли. Что ни говори, а Ривьера — настоящее чудо. Воображаю, какая теперь в Плошове слякоть, какая тьма и внезапные мартовские переходы от холода к теплу, от снежной крупы из проходящих туч — к минутным проблескам солнца. А здесь всегда сияет безоблачное небо и дует морской ветер, который сейчас холодит мне лоб, словно ласкает его. В открытые окна вливается упоительный аромат резеды, геллиотропа и роз, поднимаясь от садовых цветников, как фимиам из каминов. Волшебный край, «где лимоны зреют»! Да и вилла Дэвисов — настоящий волшебный замок, ибо здесь есть все, что могли создать миллионы Дэвиса и прекрасный вкус его жены. Меня окружают шедевры искусства, картины, статуи, несравненная керамика, золотые изделия Бенвенуто. Глаза, упоенные красотой природы, наслаждаются здесь красотой искусства и разбегаются, не зная, на что раньше смотреть, пока не остановятся на владелице этих сокровищ, прекрасной язычнице, которая знает только одну религию — поклонение красоте.

Впрочем, не следовало бы мне называть ее язычницей: ведь она, искренне или неискренне, делит со мной мое горе и старается облегчить его. Мы с нею по целым часам беседуем о моем отце, и часто при этом я вижу у нее на глазах слезы. Приметив, что музыка успокаивает мои издерганные нервы, она до поздней ночи играет мне на рояле. Я часто сижу впотьмах у себя в комнате, бездумно смотрю в открытое окно на подернутое серебряной рябью

море и слушаю эти мелодии, слитые с плеском волн. Слушаю, пока не приходит забытье, полусон, в котором не помнишь уже о действительности и всех ее невзгодах.

29 марта

Мне неохота даже писать каждый день. Мы с г-жой Дэвис читаем вместе «Божественную комедию», вернее — ее последнюю часть. Когда-то мне больше нравились жуткие картины «Ада». Теперь же я с наслаждением погружаюсь в светлый туман дантовского «Рая», населенный еще более светлыми духами. Иногда мне среди этого сияния чудятся черты знакомого, дорогого лица, и скорбь моя становится тогда почти сладостной. Только теперь я почувствовал по-настоящему все красоты дантовского «Рая». Нигде дух человеческий не раскидывает свои крылья так широко, не объемлет так много, не заимствует столько у бесконечности, как в этой бессмертной поэме. Третьего дня, вчера и сегодня мы читали ее в лодке. Обычно мы отъезжаем очень далеко от берега, и если море совершенно спокойно, я спускаю парус, и мы читаем, покачиваясь на волнах, — вернее, читает г-жа Дэвис, а я слушаю. Вчера после заката все небо было в огне. Она сидела против меня и вдохновенно читала. По временам она поднимала глаза, и в них отражался свет вечерней зари. В этом зареве заката, сидя в лодке среди моря рядом с этой красавицей и слушая Данте, я забыл о действительности.

30 марта

По временам боль, казалось, уже утихавшая, просыпается с новой силой, и тогда мне хочется бежать отсюда

31 марта, вилла «Лаура»

Сегодня я много думал об Анельке. Странное у меня чувство — словно нас разделяют огромные пространства суши и морей. Как будто Плошов лежит где-то на краю света, в гиперборейских странах. Это одна из тех иллюзий, когда свои личные ощущения принимаешь за объективную действительность. Нет, не Анелька далеко от меня, а я все дальше отхожу от того Леона, чьи мысли и сердце были всецело заняты ею. Из этого вовсе не следует, что моя любовь к ней совсем остыла. Но, анализируя это чувство, я убеждаюсь, что оно утратило свою действенность. Еще несколько недель назад я, полюбив, к чему-то стремился. Сейчас я ее еще люблю, но ни к чему не стремлюсь. Смерть отца как бы разрядила напряжение моего чувства. Так было бы, например, если бы я писал литературное произведение, а какие-нибудь злополучные обстоятельства оторвали меня от него. И не только в этом дело. Все струны души моей до недавнего времени были натянуты, как

тетива лука, а сейчас их расслабило горе, сильная усталость, влияние этого дивного климата и лазурного моря, которое баюкает меня, как ребенка. Живу растительной жизнью, отдыхаю, как человек, изнемогший от трудов, и меня сковывает какая-то истома, словно я сижу в теплой ванне. Никогда я еще не чувствовал себя менее способным к каким бы то ни было действиям, и самая мысль о них мне неприятна. Если бы я захотел придумать себе девиз, я выбрал бы слова: «Не будите меня!»

Что будет, когда я проснусь,— не знаю. Пока же мне хоть и грустно, но хорошо. И потому я не хочу просыпаться и не считаю это нужным. Трудно себе представить, как далек я от прежнего Леона Плошовского, который чувствовал себя связанным с Анелькой. Связан? Чем? Почему? Что было между нами? Одно беглое, почти неуловимое прикосновение губ к ее лбу, которое вполне можно объяснить родственными чувствами... Нет, что за нелепая щепетильность! Насколько же крепче были мои связи с другими женщинами,— да и те я рвал без малейших угрызений совести. Не будь мы с ней в близком родстве — ну, тогда другое дело. Правда, Анелька иначе поняла то, что произошло между нами. И сознаюсь (я ведь себе никогда не лгу), тогда я тоже понимал это иначе, но... Ну, что ж, пусть так, пусть у меня грех на совести. Мало ли каждый час в мире совершается преступлений, по сравнению с коими огорчение, причиненное мною Анеле,— просто чепуха. Упрекать меня за это совесть может разве только тогда, когда ей больше делать нечего и она позволяет себе эту роскошь. Такого рода «грешкам» так же далеко до подлинных преступлений, как нашей праздной болтовни на террасах — до трудной и тяжелой действительности.

В общем, я вперед не загадываю, но сейчас хочу прежде всего покоя и предпочитаю ни о чем не думать. «Не будите меня». Сегодня за обедом говорилось о том, что в середине апреля, когда начнется жара, мы уедем из Пельи в Швейцарию. Меня даже эта перемена пугает. Беднягу Дэвиса, кажется, придется поместить в лечебницу. Он проявляет признаки помешательства. Целые дни молчит, уставившись в землю, и только по временам принимается разглядывать свои ногти,— его преследует страх, что они отвалятся. Все это — последствия бурной жизни и пристрастия к морфию.

Кончаю писать, так как подошел час нашей прогулки по морю.

2 апреля

Вчера была гроза. Южный ветер пригнал тучи, как табун лошадей. Он то рвал их в клочья, то, разметав по небу, снова сгонял вместе, потом подмал их под себя и изо всех сил обрушил на море, а оно вмиг потемнело, как темнеет лицо человека в гневе, забурило и стало в отместку швырять вверх пену. То была

настоящая схватка двух бешеных стихий, которые наступали друг на друга под гром и блеск молний. Это длилось недолго, но нам все-таки пришлось отказаться от обычной прогулки по морю — слишком оно разбушевало. Мы с г-жой Дэвис наблюдали грозу с застекленного балкона. По временам глаза наши встречались... Теперь уже трудно себя обманывать: между нами что-то начинается, возникает нечто новое. Ни она, ни я ни разу не произнесли ни единого слова, выходящего за рамки обыкновенной дружбы. Не делали никаких признаний друг другу. Но, беседуя, мы оба чувствуем, что слова наши — только ширма, скрывающая что-то. То же самое бывает, когда мы катаемся в лодке, или читаем вместе, или я слушаю ее игру на рояле. Все, что мы делаем, делается как будто только для виду, и под этой обманчивой видимостью скрывается какая-то тайная правда, пока еще немая и с закрытым лицом, но всегда следующая за нами, как тень. Никто из нас не хочет ее назвать, но мы постоянно ощущаем ее присутствие. Вероятно, так бывает всегда, когда мужчина и женщина почувствуют влечение друг к другу. Когда это началось у нас с Лаурой, не могу сказать. Скажу только, что пришло это не совсем неожиданно.

Я принял приглашение Дэвисов, так как Лаура была дружна с моим отцом и после его смерти проявила такое участие ко мне, как никто в Риме. Но я привык все анализировать, как бы раздваиваться внутренне, и сразу по приезде в Пельи, несмотря на свежее еще горе, почувствовал, что между мной и этой женщиной зарождается что-то новое и в отношениях наших должна наступить перемена. Я негодовал на себя за то, что чуть не на другой день после кончины отца способен думать о таких вещах, но предчувствие это меня не покидало. И вот сейчас оно сбывается. Я сказал, что правда о наших отношениях еще скрывается под маской, ибо не знаю, когда наступит перелом и в какой форме. Но суть этой перемены мне ясна и волнует меня. Конечно, наивно было бы думать, что Лаура Дэвис менее прозорлива, чем я. Вероятно, она еще яснее отдает себе во всем отчет. И, наверное, готовится эту перемену она, и все, что происходит, происходит по ее воле и холодному расчету. Диана-охотница расставляет сети на зверя! Ну, да мне-то чего бояться? Что мне терять? Как почти всякий мужчина, я из тех опасных зверей, которые подпускают к себе охотника только затем, чтобы в подходящую минуту самому на него напасть. В таких случаях все мы проявляем достаточную энергию. В этом состязании, по самой природе вещей, победа должна остаться за нами. Я отлично знаю, что жена Дэвиса в меня не влюблена, но ведь и я ее не люблю. Тяготение наше друг к другу в лучшем случае — взаимное влечение двух языческих натур, высокоартистичных и чувственных. В Лауре говорит также и самолюбие, но тем хуже для нее, — в такой игре легко потерять голову и дойти до того, к чему ведет настоящая любовь.

Я-то так далеко не зайду. Я не чувствую к Лауре Дэвис ни капли привязанности и нежности, только восхищение шедевром красоты и физическое влечение, естественное в мужчине, когда этот шедевр — женщина из плоти и крови. Отец говаривал, что высшая победа мужчины в том, чтобы ангела превратить в женщину. Я же думаю, что не меньший триумф для мужчины — ощутить вокруг своей шеи теплые руки флорентийской Венеры.

А женщина эта -- воплощение того, чего может пожелать самое пылкое и утонченное воображение. Это — Фрина. Поистине можно голову потерять, когда видишь ее, например, в амазонке, так плотно облегающей тело, что все формы его можно созерцать, как формы статуй. Когда она читает Данте в лодке, она похожа на Сивиллу, и мне становится понятна святотатственная страсть Нерона. Она так красива, что красота ее почти пугает. Только сросшиеся черные брови напоминают о том, что она живая и современная женщина, — и это еще больше возбуждает чувственность. Поправляя волосы, Лаура имеет привычку закидывать руки за голову, и при этом плечи ее поднимаются, она вся изгибается, грудь обрисовывается, и нужно большое усилие воли, чтобы не схватить ее и не унести на руках далеко от людских глаз.

В каждом из нас сидит сатир. А я притом человек необычайно впечатлительный, и как подумаю, что между мной и этой живой статуей Юпона что-то начинается, что какая-то сила неумолимо толкает нас друг к другу, у меня даже голова кружится, и я спрашиваю себя: может ли жизнь дать мне что-либо упонительнее этого?

3 апреля

Ни одна женщина не может уделить другу, которого постигла тяжелая утрата, больше внимания и сочувствия, чем Лаура уделяет мне. Однако — странная вещь! — ее доброта напоминает мне лунный свет: она светит, но не греет. Она выражается в самых совершенных формах, но души в ней нет; она — обдуманная, головная, а не сердечная. Снова во мне заговорил скептик, но что поделаешь — никогда я не влюбляюсь настолько, чтобы в опьянении утратить наблюдательность. Если бы моя богиня была добра по натуре, она была бы добра ко всем. Но ее отношение к мужу, например, доказывает обратное. У несчастного Дэвиса, правда, кровь настолько остыла, что ему холодно даже на солнцепеке, — но как же леденит его равнодушие жены! Я не замечал в ней никогда даже искры сострадания к нему. Она его попросту не замечает и знать не хочет. Миллионер этот среди окружающей его роскоши ходит, как нищий, — даже жалость берет. Ему как будто все стало безразлично, но человек, сохранивший хоть искру сознания, всегда чувствует доброе отношение к себе. Лучшее доказательство тому — благодарность, которую чувствует ко мне Дэвис только за то, что я иногда беседую с ним о его здоровье.

А быть может, в нем говорит то бессознательное чувство, которое заставляет существо слабое и беспомощное лгнуть к более сильному. Мне действительно искренне жаль его, когда я смотрю на его белое, как мел, лицо с кулачок, на эти ноги, сухие, как палки, и все его тщедушное тело, даже в зной укутанное теплым пледом. Но не хочу и самому себе казаться лучше, чем я есть: сострадание к Дэвису ни от чего меня не удержит. Как говорит Шекспир, уклейка для того и существует, чтобы жуке было что есть. Я не раз замечал — когда дело идет о женщине, мужчины бывают безжалостны друг к другу. Этот остаточный животный инстинкт толкает нас на борьбу за самку, борьбу не на жизнь, а на смерть. В такой борьбе, какие бы формы она ни принимала, — горе слабым! Даже чувство чести не обуздает сильного. И безусловно осуждает эту борьбу только религия.

12 апреля

Дней десять не записывал ничего в дневник. Перелом наступил неделю назад. Я заранее был уверен, что это произойдет на море: такие женщины, как Лаура, и в минуты опьянения не забывают о подходящей обстановке. Если они даже добрые дела творят лишь потому, что это их красит, — тем более им нужна красота при падении. Тут играет роль и страсть ко всему необычайному, порожденная не романтикой, а желанием драпироваться во все, что только может украсить. Я еще не окончательно потерял голову и смотрю на Лауру по-прежнему трезвыми глазами, но порой думаю: а может, она вправе быть такой, как она есть, и считать, что даже солнце и звезды существуют лишь для того, чтобы служить ей украшением? Абсолютная красота по самой природе вещей должна быть безмерно эгоистична и все подчинять себе. А Лаура — воплощение такой красоты, и никто не имеет права требовать от нее большего. Я, во всяком случае, требую от нее лишь одного — чтобы она всегда и везде была прекрасна...

Слава богу, я — хороший гребец, и благодаря этому мы можем выходить на лодке в море только вдвоем. На прошлой неделе Лаура в самую жаркую пору дня вдруг объявила, что хочет покататься по морю. Она, как Геката, обожает зной и солнце. Легкий ветер вскоре отнес лодку довольно далеко от берега и затем неожиданно улегся. Парус наш повис вдоль мачты. Яркие лучи солнца, отражаясь от зеркальной поверхности моря, еще усиливали жару, хотя было уже далеко за полдень. Лаура растянулась на индийской циновке, постланной на дне нашего суденышка, и, опустив голову на подушки, лежала неподвижно, залитая красноватым светом солнца, просачивавшимся сквозь навес. Страшная истома овладела мною, и, глядя на эту женщину, чьи классические формы обрисовывались под легкой одеждой, я испытывал трепет восторга. Лауру тоже разморило, глаза ее затуманились, губы были полуоткрыты, и во всей фигуре чувствовалась лень и

расслабленность. Когда я на нее смотрел, она опускала веки, словно жалуясь на бессилие...

И я скоро предоставил лодке плыть по воле волн.

На виллу мы вернулись очень поздно. Это возвращение навсегда останется у меня в памяти. После заката солнца, сплавившего небо и море в одно ослепительное сияние без конца и границ, наступил вечер, такой дивный, какого я никогда не видывал даже на Ривьере. Из-за моря встал огромный красный месяц, пронизал мрак своим мягким светом, а на море проложил широкую сверкающую дорогу, по которой мы плыли до самого берега. Море слегка колыхалось, как всегда в ночные часы. Казалось, грудь его поднимали глубокие вздохи. Из маленькой бухты долетали голоса лигурийских рыбаков — они пели хором. Снова поднялся ветерок, но теперь он дул с берега и приносил запах цветущих апельсиновых деревьев. При всей своей неспособности отдаваться целиком одному впечатлению, я был весь во власти волшебной тишины, царившей над сушей и морем и словно оседавшей, как роса, на предметах и душах. По временам я смотрел на Лауру, сидевшую передо мной в свете месяца, как Елена Троянская, и мне чудилось, что мы живем во времена древней Эллады и плывем сейчас куда-то к священным оливковым рощам, где свершаются элевсинские таинства. И пережитые восторги страсти казались мне не порывом чувственности, а каким-то культом, мистически связывавшим нас с этой ночью, весной, со всей природой.

15 апреля

Пришло время уезжать, а мы всё не едем. Моя Геката не боится солнца. Дэвису оно полезно, а мне все равно, где быть, — здесь или в Швейцарии. Мне приходит в голову одна неожиданная мысль. Она меня немного пугает, но выскажу ее откровенно: иногда мне думается, что душа христианина, даже если в ней иссяк совершенно источник веры, не может жить одной красотой формы. Печальное для меня открытие! Ведь, если это верно, я теряю почву под ногами. А мысль эта упорно возвращается и не дает мне покоя. Мы — не древние эллины, мы — люди иной культуры. Наши души отличаются готическими извилинами и стремлением ввысь, чуждым душе эллина. Никогда нам от этого не избавиться. Наши души неудержимо стремятся вверх, а души греков с безмятежной простотой стлались над землей. Те из нас, в ком еще силе дух Эллады, испытывают, правда, большую потребность в красоте и ревниво ищут ее повсюду, но и они безотчетно жаждут, чтобы у Аспасии были глаза Дантовой Беатриче. Такие желания таятся и во мне. Как подумаю, что это великолепное животное, Лаура, теперь — моя и будет моей, пока я этого хочу, я радуюсь вдвойне — и как мужчина, и как поклонник красоты. А все-таки чего-то мне не хватает, и нечем дышать. На алтаре моего греческого храма стоит мраморная богиня, — но мой готический храм

пуст. Я признаю, что встретил сейчас нечто близкое к совершенству, но не могу отделаться от мысли, что за этим совершенством — мрак. Я прежде думал, что в словах Гете: «Будьте подобны бытам и животным», — вся мудрость жизни. А теперь, когда я выполняю завет Гете, я чувствую, что он сказал не все. Ему следовало еще добавить: «Будьте подобны ангелам».

17 апреля

Сегодня Дэвис вошел в комнату, когда я сидел на скамеечке у ног Лауры, положив голову к ней на колени. Его бескровное лицо и тусклые глаза ни на секунду не утратили своего угнетенного и равнодушного выражения. Неслышно ступая в мягких туфлях, расшитых индийским рисунком — солницами, — он, как призрак, прошел мимо нас в соседнюю комнату, где помещалась библиотека. Лаура была великолепна в эту минуту, ее глаза сверкали неудержимым гневом. Я встал, ожидая, что будет дальше. В первый момент я вообразил, что Дэвис сейчас выйдет из библиотеки с револьвером в руке, и решил, что тогда выброшу его через окно вместе с пледом, револьвером и индийскими туфлями. Но Дэвис не вышел. Я ждал долго и напрасно. Не знаю, что он там делал: размышлял о своей горькой судьбе или плакал? А может, остался совершенно равнодушен? Мы встретились все трое только за завтраком. Сидели за столом как ни в чем не бывало. Быть может, это моя фантазия, — но мне казалось, что Лаура бросает на мужа грозные взгляды, а сквозь его обычную апатию проглядывает сегодня тайная мука. Признаюсь, такая развязка была мне неприятнее всякой другой. Передо мной потом весь день стояло лицо Дэвиса, стоит и сейчас немым укором. Я не забывая, но готов отвечать за свои поступки. И наконец, я шляхтич и предпочел бы, чтобы моим соперником был не этот тщедушный, больной, незащитный и несчастный человечиска. На душе у меня такой противный осадок, как будто я надавал пощечин паралитику, — и редко я чувствовал такое отвращение к самому себе.

Все же мы, как обычно, отправились на прогулку по морю — я не хотел от нее отказываться, чтобы Лаура не подумала, будто я боюсь Дэвиса. Но в лодке мы в первый раз повздорили. Я признался, что меня мучает совесть, а когда она меня высмеяла, сказал ей напрямик:

— Не к лицу тебе этот смех, а ты помни, что тебе все можно, кроме того, что тебе не к лицу.

Лаура нахмурила сросшиеся брови и ответила с горечью:

— Ну конечно, после того, что между нами было, ты можешь оскорблять меня еще более безнаказанно, чем Дэвиса.

Выслушав такой упрек, я принужден был извиниться. Мы быстро помирились, и Лаура стала рассказывать о себе. При этом я, лишний раз смог убедиться в остроте ее ума. У всех женщин, которых я знал, при подобных обстоятельствах появлялось

непобедимое желание рассказать свою историю. Я их за это и не виню, понимая, что им хотелось оправдаться и перед собой и передо мной, — потребность, которой мы, мужчины, вовсе не испытываем. Однако я ни разу не встречал женщины, достаточно разумной, чтобы соблюдать в этих признаниях должную эстетическую меру, и достаточно правдивой, чтобы не разрешать себе «лжи во спасение». То же самое утверждают все мужчины, и они же могут засвидетельствовать, что все эти истории падения удивительно похожи одна на другую и поэтому нестерпимо скучны. Лаура начала говорить о себе тоже с излишней готовностью и некоторым самодовольством, но тем и ограничилось ее сходство с другими падшими ангелами. В том, что она говорила, сквозило, пожалуй, желание порисоваться оригинальностью, но никак не изобразить себя жертвой. Зная, что я скептик, она не хотела нарваться на снисходительную усмешку недоверия. Искренность ее граничила с дерзостью и была бы цинична, если бы не то, что речь шла о своего рода системе, где эстетика полностью заменяла этику. Лаура хочет, чтобы у ее жизни были черты Аполлона, а не горб Полишинеля, — вот ее философия. За Дэвиса она вышла не просто ради его миллионов, а для того, чтобы с помощью этих миллионов, насколько это в силах человеческих, создать себе жизнь красивую не в обывательском, а в самом высшем эстетическом смысле слова. Она, по ее словам, не чувствует себя ничем обязанной мужу, — она его заранее обо всем предупредила. Он ей и жалок и противен. А так как ему теперь все на свете безразлично, то и нет нужды с ним считаться — он для нее все равно что умер. Да и вообще, добавила Лаура, она не считается ни с чем, что нарушает красоту жизни и мешает ею наслаждаться. Общественное мнение ее мало интересует, и я очень ошибаюсь, если думаю иначе. С отцом моим она подружилась не потому, что он был человек с большими связями, а потому, что он был чудесным образцом человеческой породы. Меня же она любит давно. Она понимает, что я больше дорожил бы ею, если бы победа досталась мне не так легко, но она не хотела торговаться со своим счастьем.

Удивительное впечатление производили на меня эти декларации, произнесенные ее прелестными устами, голосом мягким, тихим, но полным металлических нот. Говоря все это, Лаура то и дело подбирала платье, как бы желая освободить мне место рядом с собой. Порой провожала глазами пролетающих чаек, потом снова внимательно вглядывалась в мое лицо, словно пытаясь прочесть мои мысли. А я слушал ее с чувством удовлетворения, находя в ее словах доказательство, что я разгадал эту женщину. Впрочем, было в них и нечто совершенно для меня новое. Так, преклоняясь перед умом Лауры, я все же думал, что в жизни она руководится скорее инстинктами и свойствами своей натуры. Я не предполагал, что она способна создать целую теорию для философского обоснования и оправдания своих склонностей и

стремлений. Это в известной мере возвысило ее в моих глазах: оказывается, в тех случаях, когда я подозревал ее в разных низменных и мелочных расчетах, она действовала согласно своим принципам,— быть может, дурным и даже страшным, но как-никак принципам. Например, мне казалось, что она втайне рассчитывает выйти за меня после смерти Дэвиса,— а сейчас она мне доказала, что я заблуждался. Она первая заговорила об этом. Призналась, что, если бы я просил ее руки, она, вероятно, была бы не в силах отказать мне, потому что любит меня сильнее, чем я думаю (в эту минуту, клянусь, я видел, как жаркий румянец облил ей лицо и шею). Но она знает, что этого никогда не будет, что рано или поздно я с легким сердцем ее брошу. Так что же из этого? «Вот я погрузила руки в воду и ощущаю чудесную прохладу,— так неужели же отказать себе в этом наслаждении только потому, что через минуту-другую солнце высушит холодную влагу на моих руках?»

Говоря это, она перегнулась через борт лодки (при этом грудь ее обрисовалась под платьем во всей своей безупречной красоте) и, обмакнув руки в воду, протянула их затем ко мне, влажные, порозовевшие, словно пронизанные солнцем.

Я сжал эти мокрые руки в своих, а она, словно вторя тому, что я чувствовал, шепнула нежно, с томной лаской в голосе:

— Иди ко мне!..

20 апреля

Вчера я весь день не видел Лауры. Она простудилась, сидя допоздна на балконе, и теперь у нее болят зубы. Как мне скучно! К счастью, позавчера вечером сюда приехал врач, который отныне постоянно будет при Дэвисе. Если бы не он, не с кем было бы и словом перемолвиться. Врач этот — молодой итальянец, черный, как жук, малорослый, с большой головой и умными глазами. Он производит впечатление человека очень интеллигентного. Видимо, ему с первого же вечера стало ясно положение вещей в этом доме, он нашел все это вполне естественным и без колебаний признал меня настоящим хозяином дома. Я не мог удержаться от улыбки, когда он сегодня утром спросил меня, можно ли ему повидать больную «госпожу графиню» и прописать ей лекарство. Своеобразные нравы и обычаи в этой стране! Везде в других странах, когда на замужнюю женщину падает подозрение в измене мужу, все общество дружно ополчается против нее и травит ее часто с бессмысленной жестокостью. Здесь же так почитают любовь, что все тотчас становится на сторону грешницы и готовы тайно помогать влюбленным. Я сказал итальянцу, что спрошу у «госпожи графини», угодно ли ей его принять. И вот сегодня после завтрака я вторгся в будуар Лауры. Она впустила меня неохотно: у нее немного опухла щека, и ей не хотелось показываться мне в таком виде. Действительно, увидев ее, я вспомнил то время, ког-

да брал уроки живописи. Я еще тогда заметил, что когда пишешь портрет современника, то при всех недочетах и даже изменениях, внесенных портретистом, сходство ничуть не пострадает, если передано выражение, «идея» лица. Другое дело — копировать классиков: здесь каждый петочный штрих, каждое отклонение нарушает гармонию лица и меняет его. Сейчас я проверил это на Лауре. Припухлость щеки была весьма незначительна, да я ее почти и не разглядел, так как Лаура упорно повертывалась ко мне здоровой щекой. Но глаза у нее были немного красны, а веки набрякли — и вот лицо стало уже какое-то другое, утратило строгую гармонию линий и далеко не так красиво, как всегда. Разумеется, я и виду не показал, что это замечаю, но Лаура принимала мои ласки с каким-то беспокойством, словно ее мучили угрызения совести. Видно, с ее точки зрения, флюс — смертный грех.

Да, что ни говори, — своеобразное мировоззрение! Во мне тоже, несомненно, живет языческая душа древнего грека, но есть и кое-что другое. Лауру ее философия может когда-нибудь сделать очень несчастной. Сделать своей религией поклонение красоте — это еще можно понять. Но сотворить себе кумир из собственной красоты — значит готовить себе несчастье. Что уж это за религия, которую может пошатнуть первый флюс, а прыщик на носу способен и совсем уничтожить!

25 апреля

Пора, однако, ехать в Швейцарию, — жара здесь становится невыносима. К тому же еще по временам налетает сирокко, словно жаркое дыхание Африки. Правда, море охлаждает это дыхание пустыни, но все же оно очень неприятно.

На Дэвиса сирокко действует убийственно. Теперь доктор следит за тем, чтобы его пациент не злоупотреблял морфием, и потому Дэвис бывает то раздражителен до крайности, то впадает в полнейшую апатию. Однако я заметил, что даже в состоянии дикого раздражения он боится и Лауры и меня. Кто знает, не пачинается ли у этого полупомешанного мания преследования и не грызет ли его подозрение, что мы задумали его убить или утопить? Вообще для меня отношения с Дэвисом — одна из темных сторон моей здешней жизни. Я сказал «одна из ее темных сторон», так как ясно вижу и ряд других. Я не был бы самим собой, если бы не сознавал, что не только коснею, но быстро и явно развращаюсь в объятиях этой женщины. Никакими словами не опишешь, сколько омерзения к себе, и горечи, и раскаяния вызывала во мне вначале мысль, что я так быстро после смерти отца очертя голову ринулся в этот омут чувственных наслаждений! Восставала против этого и моя совесть, и та чуткость душевная, которая мне бесспорно присуща. И мне было так тяжело, что писать об этом я не мог. Сейчас все это во мне притупилось. Порой делаю себе те

же упреки, мысли мои остались прежними, но совесть меня больше не мучает.

Об Анеле стараюсь забыть, потому что думать о ней мучительно, а вернее — потому, что без душевного разлада не могу вспомнить этот плошовский эпизод моей жизни! То думается, что я ее не стою, то — что я вел себя как осел и попросту сыграл смешную роль в истории с девушкой, которая ничем не отличается от дюжины других. Это ранит мое самолюбие, и я даже досажую на Анельку. Бывает, что меня коробит сознание вины перед ней, а через какой-нибудь час это мне уже кажется глупым ребячеством. В общем, я не нравлюсь себе таким, каким я был в Плошове, не мирюсь и с тем, каким стал сейчас. Я перестаю четко различать добро и зло, а главное — и к тому и другому становлюсь равнодушен. Это — следствие какого-то душевного застоя. С другой стороны, эта апатия меня спасает: измученный внутренним разладом, я слышу ее голос: «Ну, допустим, что ты хуже, чем был,— так что же? Стоит ли из-за чего бы то ни было терзаться?»

Я замечаю в себе и еще одну перемену. Постепенно я привык даже к тому, что вначале так возмущало мое чувство чести,— и теперь уже довольно хладнокровно быю лежачего. Вот уже с некоторого времени я ловлю себя на том, что делаю тысячи вещей, на которые никогда бы не отважился, если бы Дэвис физически и умственно был не таким немощным Лазарем, а человеком сильным, способным защищать свою честь и собственность. Мы с Лаурой больше не стесняемся и не утруждаем себя поездками в лодке... Никак я не думал, что моя нравственная щепетильность может так притупиться. Правда, я легко мог бы сказать себе: «Что мне за дело до этого жалкого левантинца?», но, ей-богу, я часто не могу отделаться от мысли, что моя черноволосая богиня с бровями Юноны вовсе не Юнона, а Цирцея, прикосновением своим превращающая людей в ... (как бы это выразиться в духе греческой мифологии?) ...в питомцев Эвмея.

А когда я задаю себе вопрос: «В чем же тут дело?» — ответ равносильен банкротству многих моих прежних воззрений. Да, любовь наша — влечение плоти, а не душ. Но меня не покидает мысль, что современный человек не может этим удовлетворяться. Мы с Лаурой подобны лишь богам и животным, но никогда — людям. В сущности, наше чувство нельзя даже назвать любовью, ибо мы друг другу только желанны, но ничуть не дороги. Будь Лаура другой и я — другим, мы могли бы быть во сто раз счастливее, и не казалось бы мне сейчас, что мне место среди свиней Эвмея. Я понимаю, что любовь, желающая быть только духовной, останется лишь тенью. Но, когда она совершенно без души, она обращается в мерзость. Впрочем, люди, которых коснулся волшебный жезл Цирцеи, наслаждаются этой мерзостью.

Как странно и грустно мне, человеку с душой эллина, писать такие вещи! Но я начинаю скептически относиться и к созданной

мною для себя Элладе. Начинаю сомневаться, возможно ли жить давно отжившими формами жизни. И так как я остался правдивым, то и пишу, что думаю.

30 апреля

Вчера на меня, как снег на голову, свалилось письмо тетушки. Мне переслали его из Рима. Писано оно две недели назад, и непонятно, почему так долго пролежало в Каза Озорна. Тетя уверена, что я ездил на Корфу. Решив, что я уже, наверное, оттуда возвратился, она пишет мне в Рим следующее:

«С большим беспокойством и нетерпением ждем вестей от тебя. Я, старуха, крепко уже вросла в землю, и меня никакой ветер не расшатает, но на Анельку жалко смотреть. Она, должно быть, ожидала от тебя письма еще из Вены или из Рима, а не получив его, затревожилась. Потом умер твой отец. Я нарочно говорила при Анельке, что, мол, теперь ты не можешь думать ни о чем, кроме своего горя, но пройдет несколько недель, ты встряхнешься и вернешься к деятельной жизни. Мы с Анелькой не говорим о тебе откровенно, но отлично друг друга понимаем. И я видела, что она успокоилась. Но когда прошел целый месяц, а ты ни разу не дал знать о себе, она снова стала беспокоиться — главным образом о твоём здоровье, но ее мучило, верно, и то, что ты нас совсем забыл. Я тоже тревожусь, писала несколько раз на Корфу до востребования, как мы с тобой условились, но не получила никакого ответа. Сейчас на всякий случай пишу тебе в Рим, потому что страх, что ты, быть может, болен, отравляет нам жизнь. Напиши хоть несколько слов, а главное, дорогой мой, встряхнись и приди в себя. Буду с тобой откровенна: страдает Анелька еще и оттого, что кто-то наговорил ее матери, будто ты — всем известный волокита и обольститель. Представь себе мое возмущение! Целина пришла в отчаяние и рассказала это дочери, и теперь у одной постоянно мигрени, другая похудела, побледнела, бедняжка, измешилась так, что жалость берет. А какая она славная девочка, что за ангельская доброта! Чтобы не егорчать мать, она притворяется веселой, но я отлично вижу, что с ней творится, и у меня сердце разрывается на части. Дорогой мой Леон, я не говорила об этом с тобой в Риме из уважения к твоему горю, но такое горе, как смерть близких, воля божья, с ним приходится мириться и не падать духом. Написал бы ты хоть словечко, — такое, какое бы нас успокоило! Сжался над девочкой. Не скрою, мое самое горячее желание — чтобы по окончании траура, хотя бы через год или два, вы с Анелей поженились, потому что эта девушка, по-моему, настоящее сокровище. Однако если ты решил иначе, лучше все-таки как-нибудь дать нам это понять».

Ты меня знаешь, я к преувеличениям не склонна и пишу тебе об этом потому, что серьезно опасаясь за здоровье Анельки. Притом сейчас дело идет об ее будущем. Кромичкий зачастил к нам и, очевидно, имеет серьезные намерения. Я было хотела по-своему, без церемоний, выпроводить его (тем более что это, наверное, он наболтал Целине о твоей ветрености), но Целина умолила меня не делать этого. Она в полном отчаянии и ни чуточки не верит в твою любовь к Анельке. Что мне было делать? А вдруг материнское чутье ее не обманывает? Напиши же, милый Леон, как можно скорее. Обнимаю тебя крепко. Прими благословение старухи, у которой нет никого на свете ближе тебя. Анелька после смерти твоего отца хотела тебе написать — выразить соболезнование, но Целина ей не позволила. У меня с ней из-за этого даже вышла ссора. Целина — превосходная женщина, но часто меня раздражает. Все тебе сердечно кланяются. Молодой Хвастовский открывает у нас здесь пивоварню: немного денег у него есть, остальные я ему дала займы».

Сначала это письмо на меня как будто не произвело никакого впечатления. Но затем я почувствовал, что это не так, и в волнении стал ходить из угла в угол. Волнение мое возрастало с каждой минутой и наконец стало невыносимо. Через час я уже озадаченно сказал себе: «Что за черт? Да я же ни о чем другом думать не могу!» Просто удивительно, с какой силой нахлынули на меня самые разнообразные чувства, пробегая стремительно в душе одно за другим, как гонимые ветром облака. Какой же я нервный! Прежде всего мне стало жаль Анелю. Все то, что я еще недавно чувствовал к ней и что еще до сих пор таилось где-то в закоулках души, вдруг вырвалось наружу, как пар из котла. Ехать к ней, успокоить ее, обнять, подарить счастье — таково было первое мое побуждение, первый порыв сердца, далекий от ясно сформулированного решения, но очень властный. А когда я представил себе ее полные слез глаза и ручки в моих руках, влечение к ней воскресло с прежней силой. Потом я мысленно сравнил Анельку с Лаурой, — и это сравнение было роковым для Лауры. Та жизнь, которую я вел здесь, сразу стала мне поперек горла. Я жаждал дышать чистым воздухом, не тем, каким я дышу здесь, жаждал покоя и душевной отрады, а более всего — любви чистой и честной. Я радовался при мысли, что ничто еще не потеряно, все можно исправить и зависит это только от моего желания. Но вдруг вспомнил о Кромичком, об Анелькиной матери, которая, не веря мне, видимо, стала на его сторону. И тут вспыхнул во мне гнев. Он рос и рос, заглушая все другие чувства. Чем настойчивее рассудок твердил мне, что пани Целина имеет полное право сомневаться в моем постоянстве, тем острее было чувство обиды на нее за то, что она смеет не доверять мне. В конце концов я дошел до какой-то отчаянной злости на себя и на всех. Все, что

я думал и чувствовал, вылилось в нескольких словах: «Ну что же, пусть так!»

Письмо тетушки пришло вчера. Сегодня, уже спокойнее разбираясь в себе, я с удивлением замечая, что обида глубоко проникла мне в душу и сейчас она, пожалуй, острее, чем была. Чувство это всецело овладело мною. Я говорю себе все, что может сказать человек трезво мыслящий. — и все же не могу простить этого Кромицкого не только пани Целшне, но и ее дочери. Ведь в конце концов Анелька могла бы одним словом прекратить его визиты в Плошов, а если не сделала этого, значит, идет на уступки матери, жертвует мной, чтобы избавить мать от мигреши. И наконец, ухаживание Кромицкого оскверняет в моих глазах Анельку, низводит ее до пошлого типа «девицы на выданье». Не могу и писать об этом спокойно!

Быть может, я сейчас рассуждаю и воспринимаю все, как человек до крайности раздраженный. Быть может, во мне говорит болезненное самолюбие. Я умею смотреть на себя глазами постороннего наблюдателя, но и это сейчас не помогает: я все больше злюсь, горечь и обида все сильнее. Даже писать об этом — пытка для нервов, и потому я откладываю дневник в сторону.

1 мая

Ночью я думал: «Авось завтра буду спокойнее». Где там! Растет во мне ожесточение какое-то против Анелькиной матери, самой Анели, тетушки и против себя самого. Разная бывает кожа у людей — моя дьявольски тонка, и этого тетушка не учла.

Да и чем мне плохо здесь, в Пельи? Лаура подобна цельной глыбе мрамора, но, оставаясь с ней, я по крайней мере не страдаю, ибо, кроме красоты, в ней нет ничего. Довольно с меня этих утонченных и чувствительных душ!.. Пусть их утешает Кромицкий.

2 мая

Я сам отнес сегодня на почту письмо к тетушке. Написал, что желаю счастья пану Кромицкому с панной Анелей, а панне Анеле — с паном Кромицким. Тетушка требовала решительного ответа, так вот она его и получила.

3 мая

Мне вдруг пришла в голову новая мысль: а вдруг то, что тетушка написала о Кромицком, — просто женская дипломатия, попытка меня «пришпорить»? В таком случае остается поздравить тетушку с ее изобретательностью и знанием людей!

Прошла неделя. Всю эту неделю я не писал, потому что был как в чад. Меня неотвязно гложут страшная тоска и сожаления. Анелюшка мне была близка, да я и сейчас не могу думать о ней равнодушно. Приходят на память слова Гамлета: «Я любил Офелию, как сорок тысяч братьев любить не могут». Только я сказал бы иначе: «Я Анелюшку любил больше, чем сорок тысяч Лаур». И надо же было, чтобы именно я своими руками причинил ей зло! Иногда я утешаюсь мыслью, что несчастьем для нее, напротив, был бы брак с таким человеком, как я. Но это неверно! Если бы она стала моей, я был бы добр к ней. Мучает меня только подозрение, что ей, быть может, достаточно и Кромницкого.

Стоит только об этом подумать — и снова во мне все кипит и я готов написать второе такое же письмо.

Свершилось! Это сознание — единственное утешение для таких, как я, потому что оно дает возможность сложить руки и прозябать по-прежнему. Быть может, это признак исключительной слабости, но в этом «свершилось!» я нахожу некоторое облегчение.

Теперь я уже способен рассуждать спокойнее. И вот, ударяя себя по лбу, я пытаюсь понять, как же человек, который не только хвастает своей необычно развитой способностью самоанализа, но и действительно обладает ею, столько дней поступал исключительно под влиянием рефлексов. К чему тогда сознание, если оно при первом же раздражении нервов уходит в какие-то закоулки мозга и остается пассивным свидетелем рефлексорных действий? Значит, оно служит только для анализа *post factum*? Не знаю, что мне толку в этом, но, раз уж не остается ничего другого, надо использовать его хотя бы для этого. Итак: почему я поступил так с Анелей? Потому разве, что я человек интеллигентный, пожалуй даже очень интеллигентный (будь я проклят, если говорю это, чтобы польстить себе или похвастаться), но неразумный? Главное — не дано мне спокойной мужской рассудительности. Нервов своих я не умею держать в узде, я болезненно впечатлителен, меня, по выражению поэта, можно ранить даже сложенным вдвое лепестком розы. В моей интеллигентности есть что-то женское. Быть может, я не исключение, и много есть среди мужчин (особенно у нас в Польше) людей такого сорта. Но это для меня слабое утешение. Такого рода ум, как мой, может многое понять, но руководиться им в жизни трудно: он всегда беспокойно мечется, колеблется, слишком долго взвешивает каждое решение и в конце концов застревает на перепутье. Оттого у человека парализуется дееспособность, развивается слабость характера, этот весьма распространенный у нас органический недостаток. Вот, например, я ставлю себе второй вопрос: не будь в письме тетки упоминания о Кромницком, развязка была бы иная? Ей-ей, я не решаюсь ответить «да». Развязка наступила бы не так скоро — это

несомненно. Но кто знает, была ли бы она благополучной. Слабые характеры нуждаются в бесконечных побрякушках, только для сильных людей препятствия служат стимулом к действию. Лаура, вероятно, это понимает,— она в некоторых отношениях весьма проницательна,— и, быть может, потому была ко мне так... милостива.

Но что же в конце концов из этого следует? Что я тряпка, размазня? Вовсе нет! Я никогда себя не щажу, не скрываю от себя горькой правды, не скрывал бы и этого,— но это неправда, я чувствую, что мог бы, не раздумывая долго, отправиться на Северный полюс или стать миссионером и поехать в глубь Африки. Во мне есть некоторая неугомонность, наследственная отвага, я способен на всякие смелые замыслы, рискованные предприятия. Темперамент у меня живой, я подвижен и легок на подъем чрезвычайно, хотя и не в такой степени, как, например, Снятынский.

И только когда требуется решить какой-нибудь жизненно важный вопрос, мой скептицизм делает меня бессильным, ум теряется в лабиринте предположений и выводов, воле не на что опереться, и мои поступки тогда зависят частично от внешних случайных обстоятельств.

12 мая

Я никогда не любил Лауру, только был и до сих пор еще остаюсь во власти ее физического очарования. Может, это на первый взгляд и кажется странным, но это довольно обычное явление: можно даже быть страстно влюбленным — и не любить. Сколько раз мне доводилось видеть страсть, горькую, мучительную, ранящую именно тем, что в ней не было любви. Я уже, кажется, говорил, что Снятынский связывает не только любовь, но и безмерная дружба и нежность. Поэтому им хорошо вместе... Ах, я чувствую, что и я вот так же нежно любил бы Анельку, и мы с ней жили бы очень дружно... Лучше об этом не думать!.. А Лаура — та, может быть, встречала в жизни много людей, которые безумно влюблялись в ее черные волосы, классически-прекрасную фигуру, ее брови, голос, взгляд, посадку головы, — но я уверен, что ее никто никогда не любил. Эта удивительная женщина влечет к себе непреодолимо, но в то же время отталкивает, ничего в ней нет, кроме красоты, потому что даже ее необычайная интеллигентность — только раба, которая ползает у ног ее красоты и завязывает ей котурны. Не далее как неделю назад я видел, как Лаура подавала милостыню ребенку недавно утонувшего рыбака, и при этом мне подумалось: она с такой же грацией совершенно спокойно выколола бы глаза этому ребенку, если бы думала, что это ей больше к лицу. Это всегда чувствуется, и потому-то, встретив такую женщину, можно потерять голову, но нежно любить ее невозможно. А Лаура понимает все, — кроме этого. Но до чего же она хороша! Когда она на днях сходила со ступе-

ней террасы в сад, покачивая дивными бедрами, мне, как говорит Словацкий, «казалось, что я умру». Решительно — я во власти двух сил, одна меня притягивает, другая отталкивает. Хочу ехать в Швейцарию — и в то же время хочу вернуться в Рим. Чем это кончится, не знаю. Правильно говорит Рибо, что «хочу» — это только состояние сознания, а не акт воли; а уж двойственное «хочу» — тем более не акт воли. Я получил письмо от своего нотариуса, он вызывает меня в Рим по делам наследства. Нужно выполнить какие-то формальности. Вероятно, все можно было бы сделать и без меня, если бы я сильно захотел остаться здесь. Но ведь это — благовидный предлог для отъезда... С некоторых пор я люблю Лауру еще меньше, чем прежде. Она ничуть не виновата, она всегда одинакова, но дело в том, что я недоволюсь собой перенес и на нее. В минуты внутреннего разлада я искал в ее объятиях не только успокоения — нет, я как бы стремился сознательно унизиться и теперь злюсь на нее за это. Она же ничего не знает о моих душевных тревожностях. Какое ей дело до всего того, что не может служить ей украшением? Она заметила только, что я стал нервнее и раздражительнее, спросила раз-другой, отчего, но ответа не добивалась.

Быть может, мое влечение к ней все-таки одержит верх, и я не уеду, но, во всяком случае, скажу ей завтра или еще сегодня, что должен ехать. Интересно, как она примет эту новость, тем более интересно, что я это неясно себе представляю. Подозреваю, что при всей ее страсти ко мне, такой же, как у меня к ней, она тоже меня не любит (разумеется, если она вообще спускается до того, чтобы любить или не любить кого-либо). В душах наших много сходного, но в тысячу раз больше противоположного.

Устал я страшно. Не могу не думать о том, какое впечатление мое письмо произвело в Плошове. Думаю об этом постоянно, даже тогда, когда со мной Лаура, и вижу перед собой Ансельку и тетю. Какая же Лаура счастливица, завидую ее неизменному спокойствию. А мне так трудно справиться с собой.

Я рад предстоящей перемене места. В Пельи, хоть это и морской курорт, сейчас совсем пусто. Жара стоит невозможная. Море не шелхнется в своем ленивом покое, и ни на миг не плеснет волной у берега, словно обессилев от зноя. Порой подует жаркий ветер, поднимет облака белой пыли, и она оседает толстым слоем на листьях пальм, букса, смоковниц и миртов, проникает даже в дом сквозь опущенные жалюзи. У меня болят глаза — здесь все стены отражают блеск солнца так ослепительно, что днем невозможно на них смотреть.

В Швейцарию или в Рим — лишь бы уехать отсюда! Мне кажется, везде будет лучше, чем здесь. В общем, мы все собираемся в путь. Дэвиса я не видел уже четыре, а то и пять дней. Боюсь, что он не сегодня-завтра окончательно свихнется. Доктор говорил мне, что бешенство то и дело предлагает ему померяться силами. Это, по мнению врачей, очень скверный симптом.

Видно, мне было необходимо уединение. Сейчас я чувствую себя так, как в первое время в Пельи,— мне и грустно и хорошо. Даже лучше, чем было в Пельи,— здесь я не чувствую того беспокойства, какое вызывала во мне с самого начала близость Лауры. Брожу по темному, пустому дому, нахожу тысячи мелочей, напоминающих об отце, и память о нем опять свежа в душе моей. Образ его уже окутала было синяя дымка дали, а теперь я на каждом шагу встречаюсь с его прежней реальной жизнью. На столе в рабочем кабинете лежат лупы, через которые он рассматривал всякие образцы, бронзовые иглы для выковыривания сухой земли из отрытых при раскопках сосудов, краски, кисточки, начатые рукописи, записи, касающиеся его коллекций,— словом, тысяча мелочей. По временам мне чудится, будто отец только вышел ненадолго и вернется к своим обычным занятиям, а когда эта иллюзия рассеивается, во мне просыпается тоска по нем, искренняя и глубокая, и я чувствую, что люблю отца не как воспоминание, люблю его самого, спящего вечным сном на Кампо Санто.

Но эта печаль настолько чище всех тех чувств, которые в последнее время владели мною, что мне с нею хорошо, я чувствую себя как бы облагороженным ею, уже не таким развратным, каким я себе казался... И еще я убедился, что как бы отчаянно человек ни мудрил над собой, это не может помешать ему радоваться, когда он замечает в себе какие-нибудь добрые задатки. Откуда это неудержимое стремление людей к добру? Начав разматывать этот клубок, я захожу иногда очень далеко. Как разум наш есть отражение логической закономерности всеобщего бытия, так, быть может, и наше понятие добра — это отблеск какого-то абсолютного добра? Если бы это было так, человек мог бы разом покончить со всеми своими сомнениями и воскликнуть не только «Эврика!», но и «Аллилуйя!». Боюсь, однако, как бы эта моя теория не рассыпалась, подобно множеству других,— и потому не решаюсь ее строить. В общем, все это подсказывают мне скорее чувства, чем логические рассуждения. Я еще непременно вернусь к этому вопросу, ибо тут дело идет об извлечении занозы не из поги, а из души. Но сейчас я слишком измучен, слишком мне грустно, хотя вместе с тем на душе хорошо и покойно.

Кажется, человек — единственное из всех живых существ, которое способно поступать часто против своей воли. Оказываясь, мне давно хотелось покинуть Пельи, между тем дни шли за днями, а я не двигался с места. Даже накануне отъезда я был почти уверен, что останусь. Неожиданно мне пришла на помощь сама Лаура.

Я сообщил ей о письме нотариуса и о моем предстоящем отъезде только для того, чтобы увидеть, какое это произведет впечат-

ление. Мы были одни в комнате. Я ждал какого-нибудь восклицания, признаков волнения, протестов... Ничего подобного!

Услышав новость, Лаура повернулась ко мне и, прислонясь щекой к моей щеке, пересбирая пальцами мои волосы, спросила:

— Но ты вернешься, не правда ли?

Право, для меня до сих пор остается загадкой, что это означало. Думала ли она, что я обязательно должен ехать? Или, уверенная в силе своей красоты, ни минуты не сомневалась, что я вернусь? А может быть, ухватила за первую представившуюся возможность избавиться от меня — ибо после такого вопроса мне не оставалось ничего другого, как уехать. Ласка, которой сопровождался ее вопрос, как будто опровергает такое предположение, но все же оно мне кажется наиболее правдоподобным. Бывают минуты, когда я почти уверен, что Лаура хотела мне сказать: «Не ты мне, а я тебе даю отставку». Признаюсь, если то была отставка, то ловкость Лауры необычайна, она тем более поразительна, что проделано было это самым ласковым и милым образом, и я так и остался в неведении, посмеялась ли она надо мной или нет. Но к чему обманывать себя? Своим вопросом Лаура выиграла игру. Возможно, в любом другом случае мое самолюбие было бы этим уязвлено, но теперь это мне безразлично.

В тот последний вечер мы не только не стали холоднее, напротив, — были друг к другу нежнее, чем всегда. Расстались очень поздно. И сейчас еще вижу, как Лаура, заслоня рукой свечу, с опущенными глазами провожала меня до двери. Она была так хороша, что мне просто жаль было покидать ее. На другой день она простилась со мной на вокзале. Букет чайных роз я довез до Генуи и там где-то обронил. Да, удивительная женщина! Чем дальше я отъезжал, тем большее испытывал облегчение наряду с физической тоской по ней. Я ехал без остановок до самого Рима и теперь чувствую себя, как птица, вылетевшая из клетки на волю.

22 мая

Я не застал в городе почти никого из знакомых. Жара выгнала всех на виллы или в горы. Днем на улицах мало прохожих, встречаются только иностранцы, большей частью — англичане в пробковых шляпах, обмотанных кисей, с красным «Бедкером» в руках и вечным «Very interesting»¹ на устах. В середине дня на нашей Бабуино бывает так пусто, что шаги немногих прохожих гулким эхом раскатываются по тротуарам. Зато по вечерам улицы кишат народом. Меня всегда в эти часы мучает одышка и какое-то нервное беспокойство, и я выхожу на свежий воздух, брожу до изнеможения, — после этого мне бывает гораздо легче. Прогулка моя обычно кончается на Пинччо. Я часто три-четыре

¹ Очень интересно (англ.).

раза прохожу по этой великолепной террасе. В эти часы по ней кружит множество влюбленных пар. Одни гуляют под руку, сблизив головы висок к виску и подняв глаза к небу, словно от избытка блаженства. Другие сидят на скамейках под деревьями, где царит полный мрак. По временам мерцающий свет фонаря выхватывает из глубины этого мрака то профиль берсальера, полускрытый перьями шляпы, то светлое платье девушки, то лицо рабочего или студента. До моих ушей все время долетают шепот, клятвы и мольбы, тихое пение. Кажется, будто ты на весеннем карнавале, и удивительно приятно бывает затеряться в толпе и отдохнуть душой в атмосфере здорового веселья. Как просто и счастливо эти люди! Я словно вбираю в себя их простоту, и она лучше всякого хлорала успокаивает мне нервы. Вечера стоят теплые и светлые, только иногда поднимается свежий ветер. Из-за Тринита-дель-Монти встает луна и серебряной ладьей плывет над этим людским муравейником, освещая верхушки деревьев, крыши и башни. У подножия террасы шумит и сияет огнями город, а вдали в серебристой мгле темнеет силуэт собора св. Петра с куполом, светящимся, как вторая луна. Давно Рим не казался мне таким прекрасным! Я нахожу в нем какое-то новое очарование. Каждый вечер возвращаюсь домой поздно и ложусь спать почти счастливый при мысли, что завтра проснусь снова в Риме. А как сплю! Не знаю,— может, это от усталости я засыпаю мертвым сном и даже утром еще хожу как одурманенный.

По утрам у меня совещания с нотариусом. Иногда я составляю для себя опись отцовских коллекций. Отец не завещал их городу, так что и коллекции перешли ко мне, как единственному наследнику. Выполняя волю отца, я без колебаний подарил бы их Риму, но боюсь, что отец, смущенный соображениями тетюшки, не оставил никакого распоряжения умышленно, для того, чтобы его коллекции когда-нибудь можно было перевезти на нашу родину. Что он в последние часы жизни думал о ней, видно из многочисленных пунктов завещания. Много им завещано небольших сумм дальним родственникам, а одна записка тронула меня сильнее, чем могу выразить: «Голову Мадонны Сассофerrато завещаю моей будущей снохе».

25 мая

Скульптор Лукомский вот уже месяц как лепит фигуру отца во весь рост, по бюсту, который он же делал несколько лет назад. И я часто хожу к нему смотреть, как идет работа. Его мастерская словно переносит меня в другой мир. Это что-то вроде сарая с одним огромным окном наверху, выходящим на север, так что мастерская освещена холодным и матовым светом. Сидя здесь, забываешь, что ты в Риме. И это обманчивое впечатление довершает сам Лукомский: у него голова северянина, светлая борода, синие, затуманенные глаза мистика. Оба его помощни-

ка — поляки. В саду бегают две собаки с польскими кличками — Крук и Курта; словом, это какой-то гиперборейский остров в южном море. Я люблю бывать здесь, в этой своеобразной обстановке. Люблю также наблюдать, как работает Лукомский. Чувствуется в нем тогда сила и простота. Особенно интересно на него смотреть, когда он отходит от скульптуры, чтобы лучше в нее взглядеться, потом быстро возвращается к ней, словно в атаку идет. Он очень даровитый скульптор. Фигура отца растет под его руками и поражает сходством. Это будет не только портрет, но настоящее произведение искусства.

Лукомский — тип человека, влюбленного в красоту формы. Он, кажется, даже мыслит не идеями, а формами, и притом формами классическими — греческими носами, торсами, руками, головами. В Риме он живет уже лет пятнадцать, а до сих пор ходит по музеям и картинным галереям, как будто вчера приехал. Оказывается, такая страсть может заполнить жизнь целиком и стать для человека религией, — однако при том условии, если он станет ее жрецом. Лукомский смотрит на красиво сложенных людей, как набожный христианин — на иконы. Я как-то спросил у него, кто самая красивая женщина в Риме? Он, не задумываясь, ответил: «Жена Дэвиса», и тут жестал чертить в воздухе большими пальцами обеих рук контуры ее фигуры с той свободой и выразительностью жестов, которую наблюдаешь обычно у художников. Лукомский, человек замкнутый, меланхолик, в эту минуту оживился, и даже глаза его утратили свое мистическое выражение.

— Вот это, например... смотрите!.. — повторял он, чертя в воздухе все новые линии. — Или вот это... Да, она самая красивая женщина не только в Риме, но и во всем мире!

Особенно восхищается он шеей Лауры. Говорит, что, когда Лаура поднимает голову, шея ее продолжает линии лица, ибо она ничуть не уже самого лица, что встречается очень редко. Только иногда на Трансвере можно увидеть у женщины из народа такую шею, но никогда она не бывает столь совершенной, как у Лауры. Это верно — тот, кто вздумает искать у Лауры какой-нибудь физический недостаток, только даром потратит время. Лукомский зашел даже так далеко, что стал утверждать, будто статуи таких женщин следует ставить на Форуме еще при их жизни. Я, конечно, не стал с ним спорить.

29 мая

Итальянская длительная пропекура утверждения в правах наследства начинает мне надоедать. Как медленно итальянцы делают все, несмотря на их природную живость, и как много говорят! Заговорили меня совсем. Я достал несколько новейших французских романов и по целым дням читаю. Авторы их, на мой взгляд, отлично рисуют характеры. Как искусно и быстро набра-

сывают они каждый образ, сколько силы и выразительности в их обрисовке! Техника у них непревзойденная. Но о людях, которых они описывают, я должен повторить то, что сказал уже раньше: любят они в других только внешность и больше ничего. Это бывает в жизни как исключение. Но что во всей Франции, из конца в конец, никто не способен любить иначе — это пусть они скажут кому-нибудь другому, только не мне! Я хорошо знаю Францию и знаю, что французы в жизни лучше, чем в их литературе. Погоня за наглядной, реальной правдой делает роман фальшивым. Человек любит в другом личность, а личность составляют не только черты и выражение лица, взгляд, голос, фигура, а еще и склад ума, характер, образ мышления — словом, множество духовных и нравственных черт. Мое отношение к Лауре — наилучшее доказательство, что чувство, основанное только на увлечении внешностью, недостойно даже называться любовью. Впрочем, Лаура — исключение.

31 мая

Вчера завтракал с Лукомским, а вечером, как всегда, бродил на Пинчио. Моя фантазия порой уводит меня от действительности. Я ходил и воображал, что веду под руку Анельку. Мы с ней разговаривали, как двое людей, любящих друг друга больше всего на свете. И мне было так хорошо, как никогда не бывало с Лаурой. Но зато, когда воображение перестало работать, — каким одиноким я себя почувствовал! Домой идти не хотелось. Всю ночь я не мог уснуть. Все-таки жизнь моя ужасно бессмысленна. Это вечное копание в себе приводит только к опустошенности. А между тем я чувствую, что могло быть иначе. Даже удивительно, что воспоминания мои об Анельке так живучи. Ну, почему, например, я никогда не воображаю, что иду под руку с Лаурой, и сейчас, упомянув ее имя, добавил мысленно: «Ну ее к черту!» Да, мне часто думается, что я уже держал счастье за оба крыла, но дал ему улететь.

2 июня

Давно меня никто так не удивлял, как удивил сегодня Лукомский. Мы с ним пошли вместе в музей на Капитолии. Уже у статуи Венеры мой скульптор меня озадачил: поворачивая статую на подвижной подставке во все стороны, он сказал, что предпочитает этой Венере неаполитанскую Психею Праксителя, потому что в ней больше одухотворенности. Это странно было слышать от такого поклонника пластики! Еще большая неожиданность ждала меня дальше, у статуи умирающего гладиатора (Галла). Лукомский чуть не полчаса молча смотрел на него, потом сказал сквозь зубы, — как всегда, когда его что-нибудь волнует:

— Уже сто раз говорилось, что у него лицо славянского типа... но ведь это и в самом деле что-то поразительное! Мой брат в Польше арендует около Серпца имение Козлувек. И там был ~~ко-~~нх Михна... В прошлом году он утонул в реке, купая лошадей. Верите ли, у этого Галла то же самое лицо, точь-в-точь! Я здесь простаиваю иногда целый час,— душа требует...

Я не верил ушам своим, я недоумевал, как это потолок Капитолия не валится нам на головы. Серпец, Козлувек, Михна,— здесь, в этом мире античной культуры и классических форм! И от кого я слышу это? От Лукомского! Сразу из-за скульптора взглянул человек. «Такой-то ты поклонник античной пластики, братец? — подумал я. — Вот тебе и грек и римлянин по духу! Ты приходишь сюда смотреть на гладиатора не ради его форм, а потому, что он тебе напоминает какого-то Михну из Козлувека? Теперь мне понятна твоя меланхолия и молчаливость!»

Лукомский, должно быть, угадал мои мысли — он опустил свои «мистические» глаза и заговорил отрывисто и стремительно, словно оправдываясь:

— Тут, в Риме, только бы жить, не умирать. И мне везет... Грех жаловаться. Я торчу здесь, потому что так надо... Но, верите ли, заела тоска по родине!.. Когда мои псы залются ночью в саду, я готов на стену лезть, и мне начинает чудиться, что я у нас в деревне. Я бы взбесился, если бы хоть раз в год не ездил туда. И вот опять поеду скоро, потому что мне уже вог...

Он провел пальцем по горлу и сжал губы, чтобы скрыть их дрожь. Это был настоящий взрыв чувств, такой неожиданный у человека его склада! И меня привела в волнение мысль о той огромной разнице, какая существует между мной и такими людьми, как Лукомский или Снятынский. Я еще и сейчас с какой-то тревогой думаю об этом. Да ведь перед ними открыты горизонты, мне попросту недоступные! Какую сокровищницу чувств несут в себе эти люди! Хорошо ли им от этого или плохо, но они же богачи в сравнении со мной. Им не грозит опустошенность, голод души. У каждого из них запас жизненных сил на десятерых. Я тоже чувствую себя как-то связанным с родиной, со своей средой, но чувство это не так непосредственно, не горит во мне огнем, не составляет часть моей души. Я могу жить без всякого Козлувека, Михны или Плошова. Там, где для таких, как Лукомский или Снятынский, бьют живые родники, из которых они черпают смысл жизни, я пахожу лишь сухие пески. И даже если бы у этих двоих не было такой опоры, у них остаются: у одного — его влияние, у другого — его литературная работа. Может показаться попросту невероятным, что человек, как я, у которого столько возможностей быть счастливым, не только не счастлив, но не знает, зачем живет. Несомненно, виноваты в этом условия, в которых я воспитывался, мое окружение — Рим, Мец, Париж и опять Рим. Я был как дерево, вырванное из своей земли и плохо пересаженное на чужую. Но тут есть и моя вина, я ставил

вопросительный знак и философствовал там, где другие просто любят. И вот в результате ничего мне эта философия не дала, а только выпотрошила сердце.

8 июня

Записываю все, что произошло за неделю. Я получил несколько писем, одно из них — от Снятынского. Этот славный человек настолько расстроен тем, что история с Анелей приняла такой оборот, что даже уже меня не бранит. Он пишет только, что его жена на меня страшно сердита, слышать обо мне не хочет и называет меня чудовищем, для которого первейшее удовольствие — издеваться над своими жертвами. А я на этот раз, как истинный христианин, не только не обиделся на Снятынскую, но, даже еще больше стал ценить ее. Какое горячее и благородное сердце!

Снятынский, видимо, считает, что это дело пропащее, вернее — окончательно решенное; он воздержался от советов и только соболезнует. «Дай бог, чтобы ты нашел другую такую», — пишет он. Но — странное дело! — мне, как подумаю, кажется, что не нужна мне никакая другая, похожая на Анельку, — мне нужна только сама Анелька. Говорю «мне кажется», ибо это чувство еще неясное, не выкристаллизовавшееся во мне. Я словно ношу в себе моток сильно спутанного шелка, мучаюсь, а не умею его распутать. Воображаю, что познал самого себя, а не знаю, отчего мне так больно — оттого ли, что люблю Анельку сильнее, чем думал, или оттого только, что чувствую: я *мог бы* горячо любить ее. Снятынский как будто дает мне на это ответ. Вот что он пишет:

«Я слышал или читал где-то, что золотые самородки бывают иногда покрыты кварцевой оболочкой, из которой их трудно извлечь. Видно, и сердце твое заключено в такую оболочку. Под ней — драгоценный металл, но проклятая скорлупа не вся расплавилась во время твоего пребывания в Плошове. Слишком недолго ты там пробыл и не успел достаточно полюбить эту девушку. Быть может, у тебя хватает энергии действовать, но нет ни капли решительности. Впрочем, ты обрел бы и ее, если бы тобой владело сильное чувство. Но ты уехал, стал, по своему обыкновению, раздумывать, проверять себя — и случилось то, что я предсказывал: профилософствовал ты и свое и чужое счастье».

Слова Снятынского меня поразили: они — словно повторение того, что когда-то говорил мне отец. Снятынский, однако, поощряет меня лучше — он тут же добавляет:

«Старая история — кто чересчур в себе копается, тот кончает душевным разладом. А кто с собой не в ладу, тот не способен принимать решения. Эх, мы живем в больном веке, ныне только ослы еще не целиком утратили волю. А все, у кого есть хоть капля разума, непременно начинают во всем сомневаться и убеждать себя, что, в сущности, не стоит ничего хотеть». Такую мысль уже

раньше высказал кто-то из французских писателей, и, прочтя это, я подумал, что он, ей-богу, прав.

Бывают минуты, когда я жалею, зачем Снятынский просто-напросто не выругал меня вместо того, чтобы начинать свое письмо такими, например, фразами: «При всех твоих достоинствах ты можешь в конце концов стать постоянным источником горя и тревог для самых близких и дорогих тебе людей». Эти слова тем ужаснее, что они истинная правда. Ведь я причинил много горя Анеле, тете, Анелиной матери и, наконец, себе самому. Зато мне даже смешно стало, когда я прочел дальше: «По закону жизни, в человеке что-то должно расти. Так берегись же, чтобы в тебе не выросла какая-нибудь ядовитая трава, которая тебя первого отравит». Нет! Уж это-то, во всяком случае, мне не грозит. Вот выросла же во мне какая-то плесень, посеянная рукой Лауры, но выросла только на той кварцевой оболочке, о которой пишет Снятынский. Она не сумела пустить корни глубже и не отравила ни меня, ни Лауру. Такую плесень не требуется даже вырывать, достаточно ее стереть, как пыль. Снятынский более прав, когда, став самым собою и защищая свой догмат веры, который всегда носит в душе, говорит:

«Если ты себя считаешь человеком высшего типа, так я скажу тебе, что сумма таких «высших» дает в общественном смысле минус». Какой я к черту высший тип — разве что по сравнению с Кромицким? Но вообще Снятынский верно говорит. Такие, как я, только в том случае не «дают в сумме минус», если они не принадлежат к категории «гениев без портфеля», то есть если это — великие ученые или великие художники. Часто они даже бывают реформаторами. Я же мог бы быть реформатором только самого себя. С этой идеей я носился целый день. И действительно, как это человек, так хорошо сознающий свои недостатки, не пытается от них избавиться? Ведь, если бы я сейчас полдня колебался, выйти мне на улицу или нет, я бы мог в конце концов взять себя за шиворот и заставить себя сойти вниз. Я скептик, да, — но разве я не могу приказать себе поступать так, как будто я им никогда и не был? Кому какое дело, будет ли в моих действиях меньше или больше убежденности? Ну, что я, например, мог бы сделать сейчас? Да хотя бы приказать, чтобы уложили мои вещи, и уехать в Плошов. Легко могу так поступить. Что из этого выйдет, видно будет потом, — а пока было бы что-то сделано. Правда, Снятынский пишет: «Обезьяна эта теперь все дни торчит в Плошове и донимает бедных женщин, которые и без того стали похожи на тени». Так, может, уже слишком поздно? Снятынский не сообщает, давно ли он был в Плошове. Быть может, с тех пор прошла неделя, а то и две, и за это время сватовство могло сильно подвинуться вперед. Да, но мне-то об этом неизвестно. И наконец, что может быть хуже моего нынешнего положения? Мне ясно, что человек, обладающий хоть каплей решительности, на моем месте поехал бы в Плошов. И если я так сделаю, я стану

за это себя уважать, тем более что даже Снятынский меня уже не уговаривает ехать, а он ведь человек очень предприимчивый и энергичный.

При одной мысли об этой поездке у меня светлеет в глазах, и вижу одно лицо, такое милое, что в эту минуту оно мне дороже всего на свете, и — *рег Вассхо!*¹ — я, вероятно, сделаю-таки то, что замышляю.

9 июня

*La nuit porte conseil!*² В Плошов я сейчас не поеду, это значило бы действовать вслепую. Вместо этого я написал тетушке длинное письмо в совершенно пном тоне, чем первое мое письмо из Пельи. Через восемь, самое большее — десять дней должен прийти от нее ответ, и, смотря по тому, каков он будет, я поеду в Плошов или... не поеду, и вообще не знаю, что сделаю! На благоприятный ответ я мог бы твердо рассчитывать, если бы написал примерно вот что: «Дорогая тетя, умоляю вас, гоните Кромического ко всем чертям. Люблю Анельку, прошу ее простить меня и быть моей женой». Конечно, в том случае, если они уже обвенчаны, моя просьба была бы напрасна, но я не думаю, чтобы дело подвинулось так быстро.

Однако я не написал тетушке ничего подобного. Мое письмо должно было сыграть роль разведчика, который движется впереди войска и обследует местность. Я написал его таким образом, чтобы из ответа тетушки мне стало ясно, что говорится не только в Плошове, но и в сердце Анельки. Если говорить всю правду, я боялся писать решительнее, потому что привык не доверять себе, — этому научил меня опыт. Ах, если бы Анелька, несмотря на довольно естественное чувство обиды на меня, отказала Кромическому, — как я был бы ей благодарен, насколько она в моих глазах стала бы выше того неспособного типа «девицы на выданье», у которой одна задача, одна цель — найти себе мужа! Жаль, что я узнал о сватовстве Кромического. Если бы не это, я, птицей отлетев от ног Лауры (это все равно рано или поздно должно было случиться), по всей вероятности, лег бы у ног Анельки. Славная моя тетушка показала, что у нее тяжелая рука, доложив мне о намерениях Кромического и поддержке, которую оказывает ему пани Целина. В наш первый век не только женщины, но и мужчины чувствительны, как мимоза. Одно неосторожное прикосновение — и душа свертывается, замыкается часто навсегда. Знаю, что это глупо и нехорошо, но это так. Для того чтобы измениться, я должен был бы заказать себе у какого-нибудь анатома другие нервы, а свои приберечь для особых случаев. Никто, даже жена Снятынского, которая сейчас видит во мне чудовище, не относит-

¹ черт побери! (*ит.*)

² Утро вечера мудренее! (*фр.*)

ся ко мне так критически, как я сам. Но разве этот Кромичский лучше меня? Разве *его* невроз, пошлая мания наживы, достойнее моего? Без всякого хвастовства могу сказать, что у меня и чувства в десять раз тоньше, и порывы благороднее, и душа добрее и впечатлительнее, — и даже родная мать Кромичского не стала бы отрицать, что он меня глупее. Правда, я никогда в жизни не наживу не только миллиарда, но и десятой доли его, однако пока еще Кромичский тоже не нажил и сотой доли. Ручаюсь, что моей жене будет и теплее и светлее в жизни, чем жене Кромичского, что жизнь ее будет шире и возвышеннее.

Не первый раз я в мыслях невольно сравниваю себя с Кромичским, и это меня даже сердит — настолько я считаю себя выше этого человека. Я и он — жители разных планет. И, сравнивая наши души, я сказал бы, что к моей нужно подниматься вверх (при этом легко сломать себе шею). А к душе Кромичского такая девушка, как Анелька, определенно должна была бы спуститься вниз.

А может, ей это было бы не так трудно? Гнусный вопрос! Но я видел в жизни такие невообразимые вещи (в особенности у нас в Польше, где женщины вообще стоят выше мужчин), что не могу не задать себе этот вопрос. Я встречал девушек с такими высокими стремлениями, что их можно назвать крылатыми, чутких ко всему прекрасному и не шаблонному, — и эти девушки не только выходили замуж за болванов самого низкого пошиба, но на другой день после свадьбы переходили, так сказать, в веру супруга, заражались от него пошлостью, суетностью, эгоизмом, узостью взглядов, мелочностью. Мало того — некоторые даже этим щеголяли, как будто считая, что прежние их идеалы следовало после свадьбы выбросить за окно вместе с миртовым венком. Они были уверены, что именно это значит быть доброй женой, и не отдавали себе отчета, что каждая из них жертвует взлетами души в угоду склонностям обезьяны. Правда, рано или поздно во многих случаях наступала реакция, но, в общем, шекспировская Титания у нас — тип распространенный, и каждый, наверное, встречал его в жизни.

Я — скептик до мозга костей, но скептицизм мой порожден болью сердца, ибо мне и в самом деле очень больно, как подумаю, что это самое может случиться с Анелькой. Быть может, скоро и она тоже, вспоминая свои девичьи мечты и порывы, будет пожимать плечами, убежденная, что поставки для Туркестана — вот это вещь, столь же важная, как и реальная, и такими вещами только и стоит заниматься в жизни. При этой мысли я прихожу в дикую ярость. А ведь если с Анелькой произойдет такая метаморфоза, то отчасти по моей вине.

Однако мои раздумья и колебания объясняются не только нерешительностью, о которой пишет Снятынский. Есть и другая причина. У меня очень высокие требования к браку, и это лишает меня отваги. Знаю, часто муж и жена сходятся характерами не

более, чем две кривые доски пристаю́т друг к другу, — а между тем живут же как-то. Но меня такой брак удовлетворить не может. Именно потому, что, в общем, я в счастье не очень-то верю, я говорю себе: пусть хоть в браке мне новезет. А возможно ли это? Странное дело, причина моих колебаний и нерешительности — не те неудачные браки, какие я видел, а некоторые известные мне счастливые супружества. Вспоминая их, я говорю себе: «Да, вот это — настоящее! Не только в книжках бывают счастливые браки! Надо суметь найти!»

11 июня

За последнее время мы с Лукомским очень подружились. Он уже не так замкнут и молчалив в моем обществе, как прежде. Вчера он зашел ко мне вечером, и мы отправились бродить, дошли до самых терм Каракаллы. Потом я пригласил его к себе, и мы просидели почти до полуночи. Разговор наш я хочу записать, потому что он меня несколько взволновал. Лукомскому, видно, было немного стыдно за свой порыв откровенности у статуи умирающего гладиатора, но я нарочно заговорил о Польше, выпытал все, что лежало у него на душе, и в конце концов, когда разговор стал уже совсем дружеским, сказал:

— Вы меня извините, пап Юзеф, за нескромный вопрос, — но я, право, не пойму одного: почему, если вы нуждаетесь в родном окружении, вы не поинтите себе подругу жизни среди наших соотечественниц? Того ощущения связи с родиной, которое она может вам дать, не даст ни ваша мастерская, ни ваши помощники — поляки, и уж, разумеется, ни Крук и Курта.

Лукомский усмехнулся и, показывая кольцо на своем пальце, ответил:

— А я как раз собираюсь жениться, как только моя невеста снимет траур по отцу. Через два месяца поеду к ней.

— В окрестности Серпца?

— Нет, они из-под Вилькомира.

— А что вы делали в Вилькомире?

— Я там и не был. Мы познакомились случайно в Риме, на Корсо.

— Счастливая случайность!

— Да, самая счастливая в моей жизни.

— Это было во время карнавала?

— Вовсе нет. Раз утром шел я по виа Кондотти, вижу — какие-то две дамы, блондинки, видимо мать и дочь, на ломаном итальянском языке расспрашивают прохожих, как пройти к Капитолию. Они твердили «Капитолио», «Капитоле», «Капитол», но их никто не понимал — по той простой причине, что, как вы знаете, надо говорить «Кампидольо». Я догадался, что они польки, — земляков я сразу узнаю. Дамы страшно обрадовались, когда

я заговорил с ними по-польски. Я тоже был рад этой встрече и не только указал им дорогу, но сам проводил их до Капитолия.

— И что же дальше? Вы себе не представляете, как меня интересует эта история! Значит, вы пошли вместе?

— Да. По дороге я успел заметить, что девушка стройна, как тополь, прекрасно сложена и красива, головка небольшая, уши точенные, лицо очень выразительное, а ресницы совсем золотые. Такие лица только у полек бывают, здесь их не увидишь — разве только в Венеции, и то редко. Понравилось мне и то, что она так внимательна к матери, которая очень тосковала по недавно умершему мужу. Я решил, что у этой девушки, наверное, доброе сердце. С неделю я сопровождал их в качестве чичероне, а потом посватался.

— Как? Через неделю?

— Да. Потому что они собрались ехать обратно во Флоренцию.

— Ну, вы, я вижу, не из тех, кто долго раздумывает!

— Будь это в Польше, я бы, наверное, раздумывал дольше, но здесь, на чужбине, я готов был целовать у нее руки только за то, что она полька.

— Понятно. Но все же... Брак — это такой перелом в жизни...

— Это верно. Но что я мог бы придумать лучшего, если бы раздумывал не одну, а две или три недели? Признаюсь, были у меня причины колебаться. Не очень-то приятно говорить об этом, — ну, да... Видите ли, у нас в роду наследственная глухота. Дед под старость не слышал ничего, отец мой оглох в сорок лет... С этим можно жить, но, что ни говори, это тяжелый крест, особенно для окружающих, потому что глухие бывают раздражительны. И вот я задавал себе вопрос: вправе ли я связать свою жизнь с такой девушкой, раз мне грозит это несчастье, — ведь трудно будет ей со мной жить?

Слушая Лукомского, я только тут заметил, что у него в выражении глаз, в движениях головы, в манере слушать есть что-то такое, что всегда обличает глухоту. Слышит он пока отлично, но, видимо, постоянно проверяет, не ослабел ли уже у него слух.

Я стал его успокаивать, а он сказал:

— Я тоже так подумал. Не стоит из-за только предполагаемой опасности портить жизнь себе и другому человеку. Ведь вот в Италии бывает эпидемия холеры, но было бы глупо, если бы ни один итальянец не женился, боясь, что может умереть от холеры и оставить жену и детей без опеки. И я сделал то, что считал своим долгом. Сказал панне Ванде, что люблю ее и жизнь бы отдал за то, чтобы она стала моей, но есть вот такое препятствие. И знаете, что она мне ответила? «Если мне нельзя будет говорить вам, что я вас люблю, то я буду это писать». Не обошлось без сдвез, но через час мы уже смеялись над моими страхами, и я нарочно притворялся глухим, чтобы заставить ее написать «люблю».

Разговор с Лукомским не выходит у меня из головы. Снятинский ошибается, говоря, что у нас только ослы еще сохранили силу воли. У этого скульптора были серьезные причины раздумывать и колебаться, а ему достаточно было недели, чтобы принять такое серьезное решение. Может, у него способность к самоанализу не так развита, как у меня, но он умный человек. А какая мужественная девушка эта будущая пани Лукомская! Как мне нравится ее ответ!.. И чутье мне подсказывает, что Анелька — девушка такого же типа. Если бы я, скажем, ослеп, Лаура увидела бы в моей слепоте только возможность навязать мне роль какого-нибудь феокийца Демодока, поющего песни на пирах. Но Анелька — та, конечно, не оставила бы меня, хотя бы я и не был еще ее мужем. Готов дать руку на отсечение, что это так.

Однако когда есть такая уверенность, то и на неделю незачем бы откладывать решение, а я раздумываю уже пять месяцев. Даже и последнее мое письмо к тете не говорит об окончательном решении.

Впрочем, я утешаю себя мыслью, что тетушка — женщина умная и любит меня, так что догадается, чего я хочу, и по-своему придет ко мне на помощь. Кроме того, в сердце мое стучится надежда, что Анелька будет ей союзницей. Все-таки жаль, что я в письме не высказался яснее. У меня руки чешутся написать второе, но я не даю себе воли. Надо подождать ответа на первое письмо. Счастливы такие люди, как Лукомский, они начинают прямо с дела.

15 июня

Как ни назови то чувство, которое я питаю к Анеле, — любовью или как-нибудь иначе — есть огромная разница между ним и всеми теми чувствами, когорые до сих пор возникали в моем сердце. Я думаю об этом с утра до ночи. Чувство к этой девушке стало событием моей душевной жизни, и я чувствую себя ответственным за него перед самим собой. Прежде этого со мной никогда не бывало. Я сходил с женщинами, а через некоторое время расходился, и связи эти оставляли по себе грусть, недолгую или довольно длительную, иногда приятное воспоминание, иногда — неприятный осадок, но никогда они не поглощали до такой степени всего меня. В пустой светской жизни, которую ведем мы все, те, у кого нет высоких целей, кто не служит никакой идее и не вынужден работать для куска хлеба, женщина не сходит со сцены: она всегда в центре нашего внимания, за нею ухаживают, но в конце концов она становится в наших глазах чем-то повседневным, связь с нею — одним из обычных «грешков» в нашей жизни. Обманывая женщин, мы редко испытываем угрызения совести, еще реже испытывают их женщины, обманывающие нас. При всей чувствительности своей натуры я тоже один из таких мужчин с притупленной совестью. Бывали случаи, ко-

гда я думал: «Вот теперь следовало бы делать себе патетические упрёки», но всегда только отмахивался и предпочитал размышлять о чем-нибудь более приятном. Сейчас не то. Порой голова у меня бывает занята совсем другим, — и вдруг я чувствую, что мне чего-то недостает, нападает на меня беспокойство, страх, как будто я упустил что-то крайне важное, чего-то не сделал, и, наконец, мне становится ясно, что это думы об Анельке снова прорываются сквозь все заслоны и овладевают мной. Точат они меня день и ночь, как тот жучок-древоточец, о котором писал Мицкевич. Когда я пожимаю плечами и силюсь подавить или даже осмеять это чувство, моя ирония и скептицизм не спасают меня, вернее — спасают ненадолго, а потом я снова оказываюсь в заколдованном круге. Собственно, это не тоска и даже не угрызения; скорее — мучительная прикованность мыслей к одному предмету и при этом такое лихорадочное, тревожное желание знать, что будет дальше, как будто от этого «дальше» зависит моя жизнь.

Если бы я не так усердно заглядывал в себя, я считал бы, что чувство мое — большая и необыкновенная любовь. Однако я замечаю, что мои тревоги и раздумья вызваны не только желанием, чтобы Анелька стала моей. Она, несомненно, оставила в душе моей глубокое и сильное впечатление. Но Снятынский прав: если бы я полюбил ее так сильно, как, например, он — свою жену, я прежде всего стремился бы обладать ею. А я (мне это совершенно ясно) не столько жажду ею обладать, сколько боюсь ее потерять. Не всякий, пожалуй, поймет, что между этими чувствами есть огромная и любопытная разница. Но я твердо убежден, что, если бы не Кромицкий и опасение навсегда потерять Анельку, я не испытывал бы ни такого страха, ни волнения. Это до некоторой степени распутывает клубок запутанных переживаний и ясно доказывает, что я не столько люблю Анельку, сколько чувствую, что мог бы ее любить, и мне ужасно жаль утратить эту надежду на счастье, эту единственную возможность заполнить им жизнь. А еще больше боюсь я той пустоты, которая откроется передо мной, если Анелька будет для меня потеряна. Я замечаю, что глубочайшие пессимисты, когда судьба или люди хотят отнять у них что-нибудь, так же отчаянно отбиваются руками и ногами и так же вопят, как самые жизнелюбивые оптимисты. И я сейчас именно в таком положении. Кричать, правда, не кричу, но полон страха при мысли, что, быть может, не сегодня-завтра не буду знать, что мне с собой делать и зачем жить на свете.

16 июня

Узнал кое-что о Лауре: сообщил мне это мой нотариус, который ведет и дела Дэвисов. Дэвис уже в психиатрической лечебнице, а она живет в Интерлакене, у подножия горы Юнгфрау.

Наверное, собирается взойти на ее вершину. Воображаю, как она рядится в Альпы, их снега, туманы, солнечные восходы, как плавают по озерам и стоит над пропастями. В разговоре с нотариусом я пожалел Дэвиса, а также и его жену, которая такой молодой осталась одна и без всякой опеки. Но насчет ее старый юрист успокоил меня, сказав, что с неделю тому назад к ней в Швейцарию уехал ее родственник, граф Малески. Знаю, знаю этого неаполитанца! Красив, как Антиной, но картежник и, говорят, трус изрядный. Кажется, я напрасно в свое время сравнивал Лауру с Пизанской башней.

Впервые в жизни я вспоминаю с таким недобрým чувством женщину, которую, в сущности, не любил, но обманывал, говоря, что люблю. По отношению к Лауре я оказываюсь человеком неблагодарным и невеликодушным, — мне просто стыдно за себя. В самом деле, чем я могу оправдать свою антипатию к ней? Чего я ей не могу простить? Да, видимо, того, что с самого начала нашей связи я, — правда, не по ее вине, но из-за близости с нею, — совершил тысячу дурных и дрянных поступков, которых никогда не совершал в жизни. Я не уважил своего траура, не пощадил больного и беспомощного Дэвиса, опустил, разложился, написал тетушке то роковое письмо... Все это *моя вина!* Но когда слепец, споткнувшись о камень, падает на дороге, он всегда клянет камень, хотя, в сущности, в его падении виновата только его слепота.

17 июня

Я отнес сегодня деньги Лукомскому, а нотариусу оставил доверенность. Вещи упакованы, и я на всякий случай приготовился к отъезду. Рим начинает мне сильно надоедать.

18 июня

По моему расчету, ответ тетушки должен бы уже прийти. Гоня от себя наихудшие предположения, я пытаюсь угадать, что она мне сообщит. И — в который уже раз! — жалею, что не написал ей яснее. Впрочем, писал же я ей, что приехал бы в Плошов, если бы был уверен, что присутствие мое не будет неприятно ее гостям, и посылал этим гостям сердечный привет. Упомянул я еще, что в последнее время в Пельи был нездоров, сильно расстроен и не сознавал, что делаю. Когда я писал это письмо, оно мне казалось весьма разумным, а теперь иногда кажется верхом глупости. Просто самолюбие не позволило мне ясно и решительно отказаться от того, что я прежде написал ей из Пельи. Я надеялся, что тетушка обрадуется возможности все уладить и я приеду в Плошов этаким великодушным благодетелем. Как ничтожна натура человеческая! Теперь мне остается одно — цепляться за надежду, что тетя непременно догадается, чего я хочу.

Тревога моя растет с каждой минутой, чувствую, что мог бы сильно любить Анельку и вообще мог бы быть несравненно лучшим человеком. Зачем же, собственно, я поступаю так, словно, кроме эгоизма и расстроенных нервов, ничего во мне нет? А если ничего больше нет, почему мой самоанализ не подсказал мне этого? У меня хватает смелости делать окончательные выводы, и я не таю от себя истины, а между тем *такой* вывод всегда отвергаю. Почему же? Да потому, что во мне живет непоколебимая уверенность: я лучше, чем мои поступки. А объясняются эти поступки какой-то неприспособленностью к жизни, чертой отчасти родовой, отчасти же — порожденной болезнью нашего века, вечным самоанализом, который не дает нам никогда отдаться первому непосредственному порыву. Мы критикуем все, доходя до полного бессилия души. В детстве я забавлялся тем, что укладывал монеты одна на другую столбиком, пока столбик этот не наклонился под влиянием собственной тяжести и, рассыпавшись, превращался в беспорядочную кучку. Теперь я делаю то же с моими мыслями и намерениями — нагромождаю их до тех пор, пока они не рассыпаются в полном беспорядке. Поэтому мне решиться на что-либо негативное гораздо легче, чем на положительное, легче разрушать, чем создавать. Мне кажется, многие интеллигентные люди страдают той же болезнью. Критика всего и самих себя выела у нас волю к добру. Нам недостает устоев, исходной точки, веры в жизнь. Вот оттого-то я, например, не столько хочу обладать Анелькой, сколько боюсь потерять ее.

Однако, коснувшись болезни века, я не хочу ограничиться разговором только о себе. Если кто-нибудь во время эпидемии сляжет в постель, это явление самое обыкновенное, а ныне критика всего существующего стала эпидемией, свирепствующей во всем мире. Отсюда прямой вывод: крыши всех видов, под которыми жили люди, валяются им на голову. Само слово «религия» означает «связь», а религия распадается. Вера стала неустойчива даже в душах верующих. Сквозь ту крышу, которую мы называем отчизной, начинают проникать социальные течения. Остался только один идеал, перед которым снимают шапки даже самые отчаянные скептики: народ. Но на цоколе этой святыни разные озорники уже начинают писать довольно циничные остроты, — и удивительнее всего то, что первые туманы сомнения выползают из тех голов, которые по природе вещей должны были бы ниже всех склоняться перед этой святыней. В конце концов придет какой-нибудь гениальный скептик, второй Гейне, будет оплевывать и зашугать этого божка (как в свое время зашугал его Аристофан), но теперь уже во имя свободы мысли и свободы сомнения, — и что тогда будет, не знаю. Вероятно, на этой огромной пустой странице дьявол станет писать сонеты своей возлюбленной.

Можно ли предотвратить это? Но прежде всего — мне-то что за дело? Стремиться к чему-нибудь — не мой удел. Я для этого

чересчур хорошо воспитанный сын своего века. Но если все, что думается, делается и возникает, должно служить увеличению суммы счастья, то я позволю себе сделать одно замечание, оговорившись притом, что имею в виду не материальное благосостояние, а душевный мир, в котором я нуждаюсь так же, как всякий другой: дед мой был счастливее, чем мой отец, отец — счастливее меня, а мой сын, если он у меня родится, будет попросту достоин жалости.

Флоренция, 20 июня

Карточный домик рассыпался. Я получил письмо от тети. Анелька выходит замуж за Кромницкого. Свадьба через несколько недель. Анелька сама пожелала, чтобы она состоялась так скоро. Получив эту весть, я сел в поезд, чтобы ехать в Плошов, хотя и сознавал, что это — глупость и авантюра, которая ни к чему не приведет. Вот почему я оказался во Флоренции. Порыв чувств подхватил меня и понес, но, собрав остатки рассудка и воли, я остановился здесь.

Флоренция, 22 июня

Одновременно с письмом от тети я получил «faire part»¹, на котором адрес был написан женским почерком. Этого не могла сделать ни Анелька, ни ее мать — они на такое не способны. Вероятно, это — злая шутка Снятынской. Ну, да все равно Меня ударили обухом по голове, и я оглушен. Я вижу, что потрясение сильнее боли. Не знаю, что будет потом: говорят, пулевой раны тоже сперва не чувствуешь. Все-таки я не застрелился, не сошел с ума. Смотрю на Лjung, Арно и даже раскладывал бы пасьянс, если б умел. . Словом, я спокоен.

Что собаки загрызли зайца в присутствии его добрых друзей — это старая история... Итак, тетушка сочла своим христианским долгом передать Анеле то, что я написал из Пельи.

Флоренция, 23 июня

С той минуты как я просыпаюсь по утрам, — вернее, открываю глаза, — я твержу себе, что мне это не снилось, что Анелька выходит за Кромницкого, та самая добрая и любящая Анелька, которая не ложилась спать, ожидая моего возвращения из Варшавы, которая смотрела мне в глаза, слушая меня, и каждым взглядом говорила, что она моя. И она не только станет госпожой Кромницкой, но через неделю после свадьбы уже сама будет удивляться, как она могла колебаться в выборе между таким, как я,

¹ извещение о свадьбе, смерти и проч. (фр.).

и таким Юпитером, как Кромицкий. Странные, однако, творятся дела на свете, и как ужасно то, что ничему нет возврата... Окончательно пропадает всякая охота жить. Сейчас пани Целина и Снятынская, наверное, принимают *al pari*¹ Кромицкого и перевозят его — умышленно, чтобы он выиграл в сравнении со мной. Лучше бы они оставили Анельку в покое. И как могла тетушка допустить все это? О себе уж не говорю, но ведь она знает и видит, что Анелька не может с ним быть счастлива. Сама же она пишет мне, что Анелька выходит за него с отчаяния.

Вот оно, это проклятое длинное послание.

«Спасибо тебе за письмо — ты хорошо сделал, что написал его, так как первое твое письмо из Пельи было не только решительным, но и жестоким. Трудно мне было поверить, что ты не чувствуешь к этой девушке не только привязанности, но и ни капли дружбы и жалости. Ведь я же не требовала и не уговаривала тебя, дорогой мой, чтобы ты немедленно сделал предложение Анельке. Я только просила, чтобы ты написал ей несколько ласковых слов если не отдельно, то хотя бы в письме ко мне. И верь мне, этого было бы достаточно, потому что она любила тебя так, как только может любить подобная девушка. Но войди же и в мое положение: что мне было делать после твоего письма? Совесть не позволяла дольше оставлять Анелю в заблуждении и в тревоге, которая заметно подрывала ее здоровье. За почтой Хвастовский всегда посылает нарочного в Варшаву и приносит нам письма к утреннему чаю. Анелька знала, что есть письмо от тебя, — бедняжка всегда подстерегала Хвастовского и брала у него из рук письма, якобы для того, чтобы положить их у моего прибора, а на самом деле — чтобы убедиться, нет ли вестей от тебя. Ну, вот она в то утро и увидела твое письмо. И когда разливала чай, то все ложечки звенели в чашках. А меня вдруг словно ужалило злое предчувствие. Я было решила отложить письмо и прочесть его потом у себя в комнате, но не выдержала — очень уж хотелось узнать, не болен ли ты. Бог знает, чего мне стоило не выдать своих чувств, — я видела, что Анелька не сводит с меня глаз. Я кое-как взяла себя в руки и даже сказала вслух: «Леон все еще грустит, но, слава богу, здоров и посылает вам поклон». Анелька тотчас спросила, как бы между прочим: «А долго он еще пробудет в Италии?» Я понимала, как много скрыто в этом вопросе, но у меня не хватило духу сказать ей правду, — тем более что тут был и Хвастовский и слуги. И я ответила: «Нет, недолго. Думаю, что скоро выберется к нам». Если б ты видел, как она вспыхнула, как обрадовалась и какие делала усилия не расплакаться! Бедная девочка! Вспомню это — и мне самой плакать хочется. Ты себе не представляешь, что я пережила, сидя потом у себя в комнате. Но ведь ты написал ясно: «Желаю ей счастья

¹ как равного (ит.).

с Кромницким», — и совесть мне велела открыть глаза Анельке. Звать ее не пришлось — сама прибежала. И вот что я сказала ей: «Анелька, я знаю, ты девушка хорошая и покоришься воле божьей. Нам надо поговорить откровенно. Знаю, дитя мое, что между тобою и Леоном начиналось что-то похожее на любовь, и, поверь, я от всей души этого желала. Но, видно, не судил бог. Если у тебя были какие-нибудь надежды, забудь их». Она побледнела как смерть, и я обняла ее, боясь, что она упадет в обморок, но, к счастью, этого не случилось. Она только стала передо мной на колени и твердила одно и то же: «Тетя, что он велел мне передать? Тетя, что он велел мне передать?» Я сначала отмалчивалась, не хотела повторять твоих слов, но потом подумала, что для нее будет лучше, если она узнает всю правду, — и сказала, что ты ей желаешь счастья с Кромницким. Тогда она поднялась и через минуту сказала уже совсем другим голосом: «Что ж, поблагодарите его от меня». И сразу ушла. Боюсь, ты будешь недоволен тем, что я в точности передала твои слова, не позолотив пилюлю. Но раз ты решительно не хочешь жениться на Анельке, — надо же было, чтобы она это поняла раз навсегда. Если она будет убеждена, что ты поступил с ней дурно, она скорее тебя забудет. И наконец, если тебе это неприятно, ты подумай, как мы тут пострадали по твоей милости все трое, а пуще всего — Анелька. Правда, она замечательно владеет собой, я даже этого от нее не ожидала. За весь тот день и слезинки не пролила, виду не показала, что ей тяжело, — она очень боится за здоровье матери. Все только льнула к ней и ко мне и так меня этим растрогала, что мне плакать хотелось. В тот день приезжал к нам Снятынский, по лицу Анельки он ничего не заметил, но я сама ему все рассказала — ведь он твой друг. Он был ужас как огорчен и так тебя ругал, что я даже на него рассердилась. Невесть чего говорил — ты же его знаешь.

Раз ты Анельку не любишь, ты не способен понять, как ты был бы с нею счастлив. Но с твоей стороны грешно было, Леон, оставлять ее в заблуждении, будто ты ее любишь. Мы все так думали, не только она. Из-за этого она так страдала, а теперь сразу решила принять предложение Кромницкого. Я отлично понимаю, что сделала она это с отчаяния. Должно быть, у нее с матерью был какой-то разговор о нем, и тогда она решилась. На другой день после твоего письма приехал Кромницкий. Она приняла его совсем иначе, чем прежде, так что через неделю он посватался и получил согласие. Снятынский узнал об этом только несколько дней назад и просто волосы на себе рвет. А что со мной было вначале, об этом и писать тебе не хочу.

Я на тебя гневалась сильно, как никогда в жизни, и только второе твое письмо меня немного смягчило, хотя из него я окончательно вижу, что мои воздушные замки разлетелись по ветру. Признаюсь, после первого твоего письма, пока Кромницкий не посватался, мне все еще думалось: «Авось бог будет к нам мило-

стив, и Леон перерешит. Может, он это в сердцах написал». Однако, когда ты потом приписал несколько сердечных слов Анельке, но не отказался все-таки от того, что написал в первом письме, я поняла, что нечего себя обманывать.

Свадьба назначена на 25 июля. Объясню тебе, почему так скоро. Целина и в самом деле тяжело больна, предвидит свой близкий конец и боится, что потом, из-за траура по ней, свадьба надолго будет отложена. Она хочет перед смертью увидеть дочь под опекой мужа. Кромницкий спешит потому, что у него неотложные дела на Востоке, а Анелька — та хочет как можно скорее испить чашу. Ах, милый Леон, зачем все так вышло и зачем эта девочка так несчастна!

Я ни за что на свете не допустила бы, чтобы она вышла за Кромницкого. Но сейчас я и слова сказать не смею, потому что и без того виновата перед Анелькой. Очень уж мне хотелось жечь тебя, и я не подозревала, чем это может кончиться для Анельки. Да, я виновата, но очень страдаю и молюсь денно и нощно за эту девочку.

После свадьбы молодые едут на Волинь, а Целина будет жить у меня в Варшаве. У нее были какие-то планы насчет Одессы, но я ее туда ни за что не пущу. Ты сам знаешь, родной мой, как я была бы счастлива тебя увидеть, но пока не приезжай в Плошов. Сделай это для Анельки. Если хочешь, я сразу после их отъезда приеду к тебе. Анельку теперь надо щадить».

К чему обманывать себя? Всякий раз, как я перечитываю это письмо, мне хочется биться головой о стену — и уже не от гнева, не из ревности, а от горя!

23 июня

Не могу, никак не могу сложить руки и считать, что все пропало. Ужасный это был бы брак! И я сегодня, в четверг, послал Снятынскому телеграмму, в которой заклинал его всем святым приехать в воскресенье в Краков. Выеду туда завтра. Еще я просил Снятынского никому ни слова не говорить о моей телеграмме. Посоветуюсь с ним, вернее — буду его умолять, я чтобы он от моего имени переговорил с Анелькой. Я рассчитываю на его влияние. Анелька его уважает и очень любит. Я не обратился за этим к тете, рассудив, что мы, мужчины, лучше друг друга поймем. Снятынскому, знатоку человеческой души, легче будет понять весь тот проклятый психологический процесс, который я пережил в последнее время. Ему я могу рассказать и о Лауре, а заикнись я об этом тете, она только в ужасе перекрестится. Сначала я хотел писать прямо Анельке, но письмо к ней от меня привлекло бы общее внимание, вызвало бы переполох. Мне известна честность Анельки, знаю, она сразу показала бы письмо матери, а та, наверное, меня теперь ненавидит и не преминула

бы истолковать письмо по-своему, в чем ей помог бы Кромичий. Нет, нужно, чтобы Снятынский поговорил с Анелькой с глазу на глаз, это сумеет устроить его жена. Авось он согласится взять на себя эту миссию, хотя я хорошо понимаю, какая она щекотливая. Я уже несколько ночей не сплю. Как только закрою глаза, мне вспоминается Анелька, ее лицо, волосы, глаза, манера говорить, улыбка... Вижу ее так ясно, словно она стоит передо мной... Не могу я так жить!

Краков, 26 июня

Снятынский здесь. Он на все согласился. Какой славный малый, награди его бог! Сейчас четыре часа ночи, но мне все еще не спится. Сажусь за дневник, потому что не знаю, что с собой делать. Мы со Снятынским проговорили до трех часов, спорили, совещались. Сейчас он спит в соседней комнате и, наверно, уже поворачивается на другой бок. Не сразу удалось мне его уговорить. Он все твердил: милый мой, по какому праву я, посторонний человек, стану вмешиваться в ваши семейные дела, да еще такого щекотливого свойства? Панна Анеля может мне заткнуть рот одним только вопросом: «Вам-то что за дело?»

Я клялся, что Анелька так не скажет, клялся так горячо, как будто у меня в руках была ее расписка. Я соглашался с высказанными им соображениями, но говорил, что бывают положения, когда ни с чем не следует считаться. Наконец Снятынского убедил мой аргумент, что дело идет не обо мне, а об Анельке. Но, в общем, он только из жалости ко мне согласился поговорить с ней. За последние два дня я сильно осунулся. Снятынский сам мне это сказал, и я видел, что его это тронуло. Кроме того, он терпеть не может Кромичкого, они совершенно разные люди. Снятынский считает, что заниматься биржевыми спекуляциями — это все равно что выгребать деньги из чужих карманов и перекладывать в свой. Он осуждает Кромичкого за многое и сказал о нем так: «Я бы еще простил ему, если бы он гнался за деньгами ради какой-нибудь высшей и благородной цели, но он наживает деньги только ради денег!»

Предстоящий брак Кромичкого с Анелькой возмущает Снятынского почти так же, как меня, — он думает, что Анелька готовит себе несчастье. Сдавшись на мои просьбы, он едет в Варшаву уже завтра, утренним поездом.

Послезавтра они с женой побывают в Плошове, и если там не удастся поговорить с Анелькой по душам, увезут ее на день-два к себе. Снятынский обещал рассказать Анельке, как я страдаю, и передать, что жизнь моя в ее руках. Он это сумеет. Будет говорить с нею серьезно, ласково и разумно, убедит ее, что женщина, как бы ни была глубока рана ее сердца, не вправе выйти замуж за человека, которого не любит, что, поступая так, она поступает нечестно. И точно так же она не должна отталкивать

любимого человека и ломать ему жизнь только потому, что он в порыве ревности совершил поступок, в котором сейчас раскаивается от всей души.

— Я все сделаю, но под одним условием,— сказал мне на прощанье Снятынский. — Дай честное слово, что в случае неудачи ты не помчишься в Плошов и не наделаешь там глупостей, которые могут тяжело отразиться на твоей тетушке, пане Целине и Анеле. Можешь тогда написать Анеле, если хочешь, но на глаза ей не показывайся,— разве что она сама позовет тебя.

За кого он меня принимает? Я, конечно, дал требуемое обещание, хотя его слова меня сразу встревожили. Но я надеюсь на сердце Анельки и красноречие Снятынского. Ах, как он умеет говорить! Меня он не очень-то обнадеживает, но я хорошо вижу, что в душе он надеется на успех. Он намерен в крайнем случае добиться от Анельки, чтобы она отложила свадьбу на полгода. Тогда — победа, потому что Кромницкий наверняка сам отступится.

Долго я буду помнить сегодняшний день! Снятынский, когда видит искренние страдания, бывает деликатен и бережно-нежен, как женщина. Он всячески щадил мое самолюбие, но дорого стоит человеку сознаваться в своих сумасбродствах, грехах, слабостях, отдавать судьбу свою в чужие руки вместо того, чтобы самому с нею бороться. Впрочем, какое все это имеет значение, когда дело идет о том, чтобы не потерять Анельку?

27 июня

Снятынский уехал сегодня утром. Я проводил его на вокзал и дорогой все время давал ему разные наставления, как будто он — круглый идиот. А он, поддразнивая меня, уверял, что как только все кончится благополучно, я снова начну философствовать. Я готов был его отколотить.

Уезжал он полный радужных надежд, не было никакого сомнения, что он уверен в успехе. Проводив его, я пошел в костел Девы Марии, и тут я, скептик, философ, твердивший всегда «не знаю, не знаю, не знаю», заказал молебен за здравие Леона и Анели. Я не только прослушал всю обедню, но сейчас пишу черным по белому: пропади пропадом всякий скептицизм, философия и с нею заодно мое «не знаю»!

28 июня

Час дня. В это время Снятынские должны были ехать в Плошов. Анелька не может не согласиться хотя бы на то, чтобы отложить свадьбу. Не имеет она права отказать мне в этом... Целый день в голове моей гудят разные мысли. Кромницкий любит деньги — в этом нет никакого сомнения, — так почему же он не искал более выгодной партии? Имение у Анельки большое, но

обременено долгами. Может быть, оно ему нужно для того, чтобы его не считали в Польше пришельцем без роду и племени и чтобы он мог скорее получить польское подданство? Да, но Кромницкий слывет богачом и мог бы жениться так, чтобы, кроме всего этого, получить и приданое. Видно, Анеля ему нравится, и давно нравится. Да и что в этом удивительного?

Подумать только, что она ждала, как счастья, как спасения, одного только моего слова! Ведь тетя пишет, что «бедняжка подстерегала Хвастовского, чтобы первой взять у него письма из рук». Мне страшно думать, что все это не будет мне даровано судьбой и что я, как все мне подобные, обречен на гибель.

Десять часов вечера

Днем меня страшно мучила невралгическая головная боль. Сейчас она прошла, но от этой боли, бессонницы и тревоги я словно под гипнозом. Мысли сосредоточены на одном, и я так ясно, как никогда в жизни, предвижу, что будет. Мне чудится, что я в Плошове, что слышу ответ Анельки Снятынского, — и не понимаю, как я мог себя обманывать. Нет, она не сжалится надо мной. Это не предположение, а полнейшая уверенность... Право, со мной творится что-то необыкновенное. Я так проникнут сейчас сознанием страшной серьезности жизни, что мне кажется, будто до сих пор я был просто ребенком. И притом мне очень, очень грустно. Кажется, я не снесу всего этого и заболēju. Я взял со Снятынского слово, что он мне сразу же телеграфирует. А телеграммы до сих пор нет и нет. Впрочем, я заранее знаю, что она не скажет мне ничего нового.

29 июня

Пришла телеграмма от Снятынского, и вот что я прочел в ней:

«Ничего не вышло. Соберись с силами и отправляйся путешествовать».

Так я и сделаю, моя Анелька!

Париж, 2 апреля

Я забросил свой дневник — не писал больше десяти месяцев. Хотя я так привык к этому занятию, что мне его недоставало, но я говорил себе: к чему это? Меня угнетало сознание, что хоть бы я заносил в свой дневник мысли достойные Паскаля, глубже океанских глубин и выше Альп, — они не изменят того простого факта, что Анеля вышла замуж. И у меня опускались руки. Иногда жизнь вся сосредоточивается на чем-нибудь одном. И хотя бы это единственное казалось относительно малым, — ко-

гда его нет, рутина жизни теряет для человека всякий смысл. Странно и даже смешно вспомнить — я долго был в таком состоянии, что, одеваясь, выходя на улицу, в театр или клуб, не мог отделаться от мысли: «К чему это?» И часто проходили долгие минуты раньше, чем я, опомнившись, мог убедить себя, что ведь обедал же я, стригся и делал все остальное и до того, как узнал Анельку. В первые месяцы я много путешествовал, занесло меня даже в Исландию. Но при виде озер Швеции, фиордов Норвегии, исландских гейзеров я не испытывал непосредственных впечатлений — я только пытался себе представить, что почувствовала бы Анелька, любуясь всем этим, что она сказала бы, — словом, я глядел на все ее глазами, думал ее мыслями, чувствовал ее сердцем. А потом, вспомнив, что она теперь папи Кромницкая, спешил сесть на пароход или в поезд и ехал дальше, потому что все, что я видел вокруг, теряло для меня всякий интерес.

Я знаю, эта история — лишь одна из житейских драм, столь обычных, что они служат даже предметом шуток, их переживали тысячи глупцов до меня. Но какое мне до этого дело? Умирают все, но каждому умирающему кажется, что вместе с ним гибнет мир. И мир действительно гибнет!

Я не знаю, да и не пробовал разбираться, насколько то, что я чувствовал в первые месяцы, было близко к безысходному отчаянию. Все на свете относительно. Знаю одно — что весь я был поглощен этой женщиной и впервые понял, какую пустоту может создать в жизни смерть горячо любимого человека.

Однако мало-помалу привычная жизнь — но не ее соблазны! — брала верх. Это, я думаю, бывает довольно часто. Я знал людей с тяжким горем в душе, которые по инерции внешне оставались веселы. Неизбежно должен был наступить такой час и для меня. Я перестал, например, ощущать зубную боль только как боль, которую могла бы чувствовать Анелька. Словом, я был как бы парализован, по в конце концов нашел лекарство в отравившем меня яде. Читал я когда-то в книге путешествий Фарини: кафры лечатся от укуса скорпиона тем, что дают скорпиону ужалить себя вторично в то же место. И таким скорпионом, таким противоядием, заключенным в самом яде, стало для меня (как, в сущности, бывает и со всеми) слово «свершилось».

Свершилось — и я страдаю. Свершилось — и я перестаю страдать. В сознании, что ничего уже нельзя изменить, кроется некоторое умиротворение. Я всегда вспоминаю того индейца, лодку которого унесло в Ниагару. Сперва он с силой, которую придает человеку только отчаяние, боролся с мощным течением, а когда понял, что спасения нет, бросил весла, растянулся на дне лодки и запел. Я сейчас именно в таком состоянии. Попавшему в Ниагару лучше, чем мне: она, если кого подхватит, то уже в муку сметет. А в других случаях волны выбрасывают человека на песчаную отмель, пустынную и безводную. Именно это случилось со мной.

Мой злой гений не предвидел только одного: что человек глубоко несчастный и сильно угнетенный жизнью гораздо меньше дорожит собой, чем человек счастливый, и тем самым до некоторой степени обезоруживает завистницу-судьбу. Я давно уже в таком настроении, что, если бы разгневанная фортуна, представ передо мной, сказала мне: «Черт тебя возьми!» — я ответил бы ей: «Ладно, пусть берет». И ответил бы так вовсе не из-за безнадёжной доски по Анельке, а потому, что я стал глубоко равнодушен ко всему вокруг меня и во мне.

Это своего рода броня превосходной закалки. Она не только охраняет человека, но и делает его небезопасным: ибо тот, кто не склонен падать себя, не станет падать и других. Даже заповедь божья не приказывает любить ближнего *больше*, чем самого себя.

Однако из этого вовсе не следует, что я намереваюсь в ближайшем времени перерезать кому-нибудь горло. Все, что я говорю, — главным образом теоретические рассуждения. В жизни никто от них особенно не пострадает: подобное безразличие ослабляет альтруизм, но оно в такой же мере уменьшает и эгоизм. Если бы мне пришлось спать с моим ближним под одним плащом, я не отдал бы ему всего плаща, но и не завладел бы этим плащом безраздельно. А опасным, — быть может, даже очень опасным, — такой человек бывает только тогда, когда люди нарушают его покой, основанный на ограничении своего «я», и принуждают к усиленным действиям. Тогда он обретает уверенность движений и вместе с тем безжалостную силу машины.

Эту механическую уверенность я уже обрел. С некоторого времени я замечаю, что теперь внушаю людям свой образ мыслей и свою волю гораздо успешнее, чем раньше, хотя ничуть за этим не гонюсь. Самолюбие, суетность и стремление нравиться — неисчерпаемый источник внутренней неуверенности и слабости. Человек почти безотчетно хочет нравиться другим и вызывать к себе сочувствие, а ища путей к этому, тысячи раз отступает от своей внутренней правды. Во мне это кокетство теперь если и не совсем исчезло, то стало гораздо слабее, и равнодушие к тому, нравлюсь я людям или нет, дает холодное и спокойное чувство превосходства. Я это заметил во время своих путешествий, а еще острее чувствую сейчас в Париже. Здесь было когда-то много людей, превосходство коих я признавал; теперь превосходство на моей стороне именно потому, что я в этом меньше заинтересован, чем они.

В общем, я вижу в себе человека, который мог бы быть энергичным, но не стремится к этому, ибо воля прямо пропорциональна страстям, а мои страсти прежде всего негативны. У меня еще сохранилась привычка отдавать себе во всем отчет, и вот я объясняю это тем, что в известных условиях можно упорно жаждать жизни, а в других — так же упорно не хотеть ее. Вероятно, мое равнодушие ко всему — это сгущенное ожесточение

против жизни. Потому оно так мало похоже на безразличие Дэвиса.

Я стал человеком несравненно более беспощадным, чем прежде, и могу повторить слова Гамлета, что есть во мне что-то опасное. К счастью, никто не становится мне поперек дороги. Все мне так глубоко безразлично, такие же чужие, как я им. Одна только тетушка где-то там, в Варшаве, любит меня по-прежнему, но возможно, что ее любовь тоже утратила свой деятельный характер, — хотя бы настолько, что в будущем мне уже не грозят никакие ее matrimониальные проекты.

3 апреля

Увы, мое равнодушие, которое я сравнивал с чистой водой, безвкусной и бесцветной, только кажется таким. Всматриваясь в него пристальнее, я замечаю, что прозрачность его туманят какие-то облачка. Это всякие виды идиосинкразии. Ничего во мне не осталось, а они остались. Не люблю никого, но и ни к кому не питаю активной ненависти, — а вот некоторые люди внушают мне отвращение. В том числе и Кромичкий. Не потому, что он отнял у меня Анельку, а потому, что у него длинные ноги с огромными ступнями и коленями и что фигура его напоминает жердь, а голос — треск кофейной мельницы. Он всегда был мне противен, и говорю я сейчас об этом главным образом потому, что такие антипатии во мне удивительно живучи: я постоянно вспоминаю людей, которые приводят меня в нервное содрогание. Если бы это были только Кромичкий и пани Целина, можно бы еще понять мое чувство, счесть его замаскированной ненавистью. Но рядом с ними в памяти моей назойливо встают и всякие другие люди, внушавшие мне когда-то антипатию или омерзение. Этого я не могу объяснить состоянием здоровья — я совершенно здоров — и объясняю это вот чем: люди отняли у меня любовь, время усыпило ненависть. А так как человек, пока жив, должен что-то чувствовать, то я и чувствую, как умею, живу тем, что во мне еще сохранилось. Должен, однако, сказать, что тем, кто *так* живет и чувствует, немного выпадает счастья на долю...

Я почти совсем охладел к людям, прежде мне приятным. О Снятынском вспоминаю прямо-таки с неприязнью, и никакие доводы рассудка не могут заглушить это чувство. У Снятынского, бесспорно, много прекрасных качеств, но он не только другим, он и себе нравится и потому частенько «позирует», говоря языком художников. Знаю, очень редко бывает, чтобы человек, заметив, что его поступки, индивидуальные черты и особенности людям нравятся, и сам не влюбился в себя и не стал в конце концов себя переоценивать. Снятынский слишком старается быть всегда и везде Снятынским, а потому бывает неестественным и ради позы насилует свою врожденную деликатность. Не говорю уже о той сухой телеграмме, которую он послал мне в Краков

после своей неудачной миссии: «Отправляйся путешествовать!» — как будто я и без его совета не поехал бы. А в Христиании я получил от него письмо, писанное сразу после замужества Анельки, якобы сердечное, а на самом деле такое же сухое и напыщенное. Содержание его сводилось к следующему: «Анеля уже стала пани Кромичкой, свершилось — мне жаль тебя, — нежно тебя обнимаю. Но не воображай, что от этого перевернется мир, — черт побери, есть на свете вещи поважнее! А хороша, должно быть, Норвегия? Вернись и принимайся за какое-нибудь дело, будь здоров» и т. д. Не привожу всего письма дословно, но тон его был именно таков и неприятно поразил меня. Во-первых, я не просил у Снятынского аршина для измерения моего несчастья. Во-вторых, я считал его умнее: он мог бы понять, что его «более важные вещи» только тогда не остаются пустым звуком, когда речь идет о чувствах, живущих в душе человека. Я хотел было ему тут же написать, что прошу избавить меня от духовной опеки. Но, поразмыслив, не ответил вовсе на письмо — и думаю, что это самый удобный способ порвать отношения.

Однако, заглянув в себя поглубже, я понял, что мои дружеские чувства к Снятынскому охладели не только из-за его телеграммы или письма. Честно говоря, я не могу ему простить того, за что должен бы быть ему благодарен, — то есть его посредничества между мной и Анелькой. Я сам умолял его взять это на себя, но именно потому, что умолял, что верил ему свою судьбу, и, признав свое бессилие, как бы взял его в опекуны, и, наконец, еще потому, что мое унижение и несчастье ему первому стали известны, — у меня в глубине души осталась какая-то досада на него. Я зол на себя, но одновременно и на Снятынского, который участвовал во всей этой истории. Знаю, я не прав, но дружба моя догорела, как свеча, и я ничего не могу с этим поделать.

Собственно, я не особенно легко схожусь с людьми. Со Снятынским мы были близки, быть может, именно потому, что жили в разных концах Европы. А других приятелей у меня не было. Я вообще из тех, кого зовут «нелюдимами». Помню, я часто думал об этом с некоторым самодовольством, считая это доказательством силы. Действительно, в мире животных объединяются только слабые, те же, которых природа наделила мощными клыками и когтями, ходят в одиночку, ибо им достаточно собственной силы. Однако это наблюдение только в исключительных случаях применимо к людям. Чаще всего неспособность человека к дружбе — доказательство не силы, а холодности сердца. Я же, кроме того, всегда был крайне робок и впечатлителен. Сердце у меня, как мимоза, замыкалось при каждом к нему прикосновении. А то, что я никогда в жизни не дружил ни с одной женщиной, имеет и свою особую причину. Я искал дружбы лишь тех женщин, от которых ожидал и кое-чего большего, так что дружба между нами не могла быть бескорыстной. Я очень часто только прикидывался бескорыстным другом, подобно тому как лисица притво-

рется мертвой, чтобы усыпить подозрительность ворон и тем вернее спанать одну из них. Я не хочу этим сказать, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Во-первых, я не глупец, который меряет все на свой аршин, и не подлец, который всех готов подозревать в нечестности. Во-вторых, я много раз в жизни убеждался, что такая дружба вполне возможна. Раз существует взаимная любовь брата и сестры, то почему мужчина и женщина, хотя бы чужие, не могут полюбить друг друга, как брат и сестра? Более того — любить так способны избранные натуры с врожденной склонностью к чувствам платоническим и души поэтов, художников, философов, — вообще людей, созданных не по обычной мерке. Раз я к таким отношениям не склонен, значит, нет во мне задатков поэта, художника или вообще одаренного человека. Что ж, тем хуже для меня. Да, очевидно, таких задатков во мне не было, если я в жизни стал лишь Леоном Плошовским и ничем больше.

В свое время мне казалось, что, став моей, Анелька была бы мне не только женой или возлюбленной, но и другом. Но к чему теперь об этом думать? И так уже призраки прошлого посещают меня слишком часто, и мне нечего ждать покоя душевного, если я не сумею навсегда от них избавиться.

4 апреля

Я довольно часто встречаю здесь Лауру Дэвис, даже бываю у нее. И ничего! Изрядная доля антипатии, немного презрения под толстым слоем пепла, а в общем — обычные светские отношения. Она все так же хороша, слишком хороша, чтобы вызывать во мне идиосинкразию, любить ее я не могу, а ненавидеть не стоит труда. Лаура сразу все поняла и, примирившись с этим, ведет себя соответственно. Ее немного задевает моя, новая для нее, уверенность в себе и независимость, но именно потому она со мной считается. Нельзя не удивляться той легкости, с какой женщина от самых близких отношений снова переходит к прежним, то есть обычному знакомству. Мы с Лаурой не только на людях, но даже когда случается нам остаться вдвоем, держим себя так, как будто между нами ничего не было. Ей это ничего не стоит, в ее поведении незаметно ни малейшей принужденности: она любезна, в меру холодна, в меру приветлива, а ее тон и настроение передаются мне настолько, что мне просто и в голову не приходит, например, назвать ее по имени.

Неаполитанский кузен Лауры, Малески, встречая меня у нее, вначале вращал глазами так грозно, что я даже счел долгом осведомиться, зачем он их так переутомляет. Наконец он успокоился, видя, что у нас с Лаурой отношения самые невинные, и мы с ним теперь приятели. Он уже тут дрался на дуэли из-за Лауры и, хотя в Италии у него репутация труса, вел себя на этой дуэли вполне пристойно. Бедняга Дэвис вот уже несколько

месяцев как переселился в обитель блаженных, и я думаю, что по окончании траура Лаура выйдет за Малески. Это будет самая красивая пара на свете. У молодого итальянца торс и голова Антиноя и вдобавок золотистая кожа, волосы цвета воронова крыла, а глаза синие, как воды Средиземного моря. Лаура, может, его и любит, но по какой-то неведомой мне причине иногда явно его третирует. Она несколько раз при мне обошлась с ним так грубо, что я даже удивился: не думал я, что она, эстетка, способна на такие вспышки. Видно, в ней сидит не только Аспасия, но и Ксантипа. Я не раз замечал, что женщина, не обладающая никакими достоинствами, кроме красоты, и слывающая среди людей «звездой», на самом деле не звезда, а целое созвездие и даже два созвездия: она — Большая Медведица для своего окружения и Крест — для мужа. Лаура была Крестом для Дэвиса, а для Малески она — Большая Медведица. Может быть, она теперь была бы Большой Медведицей и в отношении меня, но она чувствует себя довольно чужой в парижском обществе и понимает, что ей выгоднее здесь иметь во мне союзника, а не врага. А кстати — странная вещь: в Париже Лаура не имеет такого успеха, как в Италии и вообще на берегах Средиземного моря. Видно, она чересчур красива, и красота ее чересчур классическая для Парижа: здесь вкусы несколько нездоровые, что заметно и в литературе и в искусстве, здесь пикантная некрасивость сильнее возбуждает притупленные нервы, чем строгая красота. Легко заметить, что самые знаменитые звезды парижского полусвета скорее некрасивы, чем хороши собой. Кроме того, сравнительно скромный успех Лауры на берегах Сены объясняется еще и другим. Ум у нее, правда, незаурядный, но тоже чересчур прямолинейный для здешнего общества, недостаточно живой и гибкий. Здесь есть множество людей мыслящих, серьезных, с широким кругозором, но в светском обществе рукоплещут прежде всего такому уму, который умеет уцепиться за любой предмет, как обезьяна зацепляется хвостом за ветку, и ловко кувыркатся. Чем замысловатее и неожиданнее эти выверты, тем успех вернее. Лаура это понимает, но вместе с тем чувствует, что для нее подобная гимнастика ума так же невозможна, как хождение по канату. Меня она считает более искусным и опытным в этом деле, и потому я ей нужен.

Чтобы привлечь побольше людей в свою гостиную, Лаура превратила ее в храм музыки. Во-первых, сама она поет, как сирена, и действительно покоряет этим людей. Затем я часто встречаю у нее пианистку Клару Хильст, молодую красивую немку огромного роста, которую один из парижских художников охарактеризовал следующим образом: «C'est beau, mais c'est deux fois grandeur naturelle!»¹ Клара хоть и немка, но имеет в Париже в последнее время большой успех. Я же, видно, человек старой

¹ Она красива, но вдвое превышает нормальные человеческие размеры (фр.).

школы и не понимаю нынешней маперы исполнения: главным достоинством пианиста считается сила удара, пианист словно стремится выбить зубы роялю. В прошлый раз, слушая игру Клары в гостиной Лауры, я мысленно сказал себе: «Она так яростно колотит по клавишам, как будто фортепиано — человек, соблазвивший ее сестру». Клара Хильст играет и на фисгармонии. А сочинения ее пользуются великим успехом в здешнем музыкальном мире, о них говорят, что они полны глубокого смысла, — вероятно, потому, что, прослушав их в десятый раз, человек думает: «Авось в одиннадцатый я что-нибудь пойму». Признаю, что эти насмешки с моей стороны — нахальство, так как в музыке я профан. Но все же задаю себе вопрос: разве музыка, которую понять может только профессор консерватории, музыка, к которой нет ключа не только у профанов, но даже у людей культурных и получивших музыкальное образование, — это то, что нам нужно? Боюсь, как бы музыканты, идя по такому пути, не стали с течением времени кастой египетских жрецов, хранящих знания и красоту исключительно для себя.

Говорю я это потому, что, по моим наблюдениям, музыка со времен Вагнера идет прямо противоположными путями, чем, например, живопись. Новейшая живопись добровольно сужает границы своей компетенции, освобождаясь от идей литературных и философских, не соблазняясь передачей речей, проповедей, исторических событий, требующих комментариев, и даже аллегорий, которых нельзя было бы понять с первого взгляда. Словом, она совершенно сознательно ограничивается отображением форм и красочных мазков. Музыка же со времен Вагнера, как раз наоборот, стремится быть не только гармонией тонов, но и философией этой гармонии. Думаю, что скоро появится среди музыкантов какой-нибудь великий гений и, как некогда Гегель, скажет: «Только один меня понимал — да и тот не понял меня».

Клара Хильст принадлежит к категории философствующих в музыке, и это тем более странно, что человек она в высшей степени простодушный. У этой кариатиды глаза ясные и невинные, как у ребенка, и она, как ребенок, искренна и добра.

Здесь многие ухаживают за Klarой, — их привлекает как ее красота, так и ореол, окружающий всякую женщину, приобщившуюся к искусству. Но, хотя она и окружена мужчинами, ни малейшая тень не омрачает ее репутации. Даже женщины отзываются о ней хорошо, — она их обезоруживает своей поистине необыкновенной добротой, простотой и веселостью. Она жизнерадостна, как уличный мальчишка, и я не раз слышал, как она хочет, — без удержу, до слез, как школьница. Это могло бы шокировать окружающих, но артистке все прощается. В общем, Клара — женщина с прекрасной душой, но не очень богато одаренная, если не считать ее музыкальности. Лаура, которая втайне ее недолюбливает, не раз давала мне понять, что «кариатида» в меня влюблена. Думаю, что это не так, но могло бы быть так,

если бы я этого добивался. Верно только то, что Клара очень ко мне расположена, она с первой встречи почувствовала ко мне симпатию. Я отвечаю ей тем же, но не думаю покушаться на ее целомудрие. По старой привычке, я, встретив в первый раз женщину, смотрю на нее как на будущую добычу, — но это скорее мозговой рефлекс. Через минуту я уже думаю о другом. На женщин я теперь смотрю, как бывший ювелир на драгоценные камни: увидит он какой-нибудь редкий экземпляр и говорит себе: «А стоило бы его приобрести», — но тут же вспоминает, что он уже бросил свою профессию, и проходит мимо.

Впрочем, скажу всю правду: помимо указанных выше причин, Клару спасает от моих покушений ее слишком высокий рост. Да, такие высокие женщины никогда мне не нравились.

Все-таки я как-то стал полнше уговаривать Клару съездить на гастроли в Варшаву. Обещал даже сопровождать ее в качестве почетного импресарио. Не буду отрицать — такая поездка меня до некоторой степени прельщает.

А в Польшу я действительно собираюсь. Тетушка подарила мне свой дом в Варшаве и вызывает меня для формальной передачи его мне во владение. Она всегда приезжает в Варшаву на скачки. Кто бы подумал, что столь почтенная дама, занятая хозяйством, молитвами, благотворительностью, имеет такую слабость. Это даже не слабость, а настоящая страсть. Быть может, в ней находят выход наследственные рыцарские инстинкты, которые передаются женщинам так же, как и мужчинам. Наши лошади участвуют в скачках уже бог знает сколько лет — и никогда не получают призов. Но тетушка в своем увлечении не пропускает ни одного состязания. Когда скачут наши лошади, она, опершись на палку, в съехавшей набок шляпе, стоит на заднем сиденье коляски и жадно следит за ними, а потом приходит в неописуемую ярость и целыми месяцами отравляет жизнь Хвостовскому. Теперь она вырастила у себя в Плошове какую-то чудо-лошадь и зовет меня в Варшаву, чтобы я мог увидеть ее триумф. Что ж, поеду.

Ехать туда мне нужно и по многим другим причинам. Как я уже говорил, я сейчас относительно спокоен, ничего не хочу, ни на что не надеюсь и по мере сил укрощаю свое «я», — словом, примирился с духовным параличом, а там наступит и физический и унесет меня, как унес моего отца. Но не могу ничего забыть, и потому паралич у меня не полный и не окончательный. То единственное существо, которое я любил в своей жизни, теперь словно разделилось в моей душе на два отдельных. Одно из них — пани Кромницкая, другое — Анелька. Пани Кромницкая мне чужая и ничуть меня не трогает, Анелька же меня навещает, а с нею приходит сознание моей вины, глупости, душевного бессилия, боль утраты и горечь разочарования. О великодушный и благодетельный призрак! Как было бы хорошо, если бы мне вырезали ту мозговую извилину, в которой заключена память! Можно,

правда, жить и с нею, но такая жизнь нестерпимо тяжела, потому что человек постоянно сознает себя какой-то телегой без колес. Я гоню от себя как можно дальше мысль о том, что могло бы быть, если бы все сложилось иначе. Но не всегда это удается. Мой добрый ангел возвращается и снова высыпает мне на голову целый рог изобилия. И в иные минуты мне кажется, что пани Кромницкая убивает в моей душе Анельку. Вот я и хочу съездить туда, поглядеть на ее счастье, на ее жизнь, присмотреться ко всем тем неизбежным переменам, которые, должно быть, произошли в ней и сделали ее совершенно непохожей на прежнюю Анельку. По всей вероятности, я застану ее в Плошове. Не может быть, чтобы после десятимесячной разлуки она не навестила больную мать, которая по-прежнему живет там.

Думаю, что я не ошибаюсь и *ceci tuera cela*¹. Я на это рассчитываю, зная свои нервы, — их все больно задевает. Помню, когда я познакомился с Анелькой и ее чары начали на меня действовать непреодолимо, одна только мысль о том, что какой-то Кромницкий приближается к ней, отталкивала меня от нее, и она становилась мне уже менее дорога. А что же теперь, когда она — жена этого Кромницкого, принадлежит ему душой и телом! Я почти наверняка могу предсказать, что все в ней на каждом шагу будет отталкивать меня, оскорблять — и *ceci tuera cela*!

А, наконец, если и нет, если будет иначе — не все ли равно? Что мне терять? Выиграть я не стремлюсь, но если бы обстоятельства помогли мне убедиться, что виноват не я один и не на мне одном лежит ответственность за то, что произошло, так что бремя этой вины следовало бы разложить на двоих, — может быть, это дало бы мне некоторое удовлетворение. Говорю «может быть», потому что не могу за это поручиться. Мысль о какой-то мести от меня далека. За обманутые надежды мстят только на сцене. В жизни же уходят с тяжелым осадком на душе, — и все. Чтобы доказать нынешней пани Кромницкой, что она поступила дурно, отвергнув мое раскаяние, я прежде всего должен сам быть в этом непоколебимо уверен, а у меня бывают и такие минуты, когда я, ей-ей, ни в чем не уверен.

5 апреля

Я уже знаю наверное, что увижу пани Кромницкую: тетя пишет, что Кромницкий продал имение Анельки на Волини и уехал по делам на Дальний Восток, так что Анельке не остается ничего другого, как только вернуться к матери в Плошов. В первую минуту эта новость не нарушила моего равновесия. Но впечатление, которое она произвела, становится все сильнее — такова особенность моей душевной организации. Теперь я уже ни о чем другом думать не могу. Кромницкий через десять месяцев после женитьбы продал земли, расположенные в местах красоты не-

¹ это убьет то (фр.).

сравненной, земли, которыми предки Анельки владели четыреста лет! Продажа поместья — событие огромного значения для пани Целины и Анельки. Пани Целина всю жизнь из сил выбивалась, стараясь сохранить это имение, а Кромницкий пришел — и с легким сердцем продал его только потому, что ему за него дали хорошую цену и эти деньги обеспечат ему барыши на востоке.

Допустим, что он наживет на них миллион, — но какой удар для матери и дочери и что они теперь могут думать об этом человеке! Тетя пишет, что она сидит сейчас у постели пани Целины, которая, узнав о продаже имения, еще сильнее расхворалась. Анелька, подписывая доверенность мужу на продажу, конечно, не понимала, что делает. Я в этом совершенно уверен. Но перед людьми она его защищает, тетя в своем письме приводит ее слова: «Случилось несчастье, но несчастье неизбежное, и Кароля в нем винить пельзя». Защищай его, защищай, верная и преданная супруга! Но это не мешает мне думать, что он ранил тебя вдвойне, и в душе ты глубоко презираешь его. Его объятья и ласки не сотрут в твоей памяти одного слова «продал!». И что думает сейчас пани Целина, которая покровительствовала его сватовству в надежде, что первым делом он после женитьбы очистит от долгов имение Анельки при помощи своих миллионов?.. А я, сударыня, человек без громких фраз, не продал бы имения из одной хотя бы чуткости, из любви к вам, из опасения, что это будет для вас ударом. Но для спекуляций нужны наличные деньги. Не могу утверждать ничего наверное, но иногда эти миллионы Кромницкого кажутся мне сомнительными. Может, он их еще и добудет и продажа имения этому будет способствовать, — но если бы они сейчас у него были, он не причинил бы жене такого горя и не лишил бы ее крова. Тетя пишет, что он сразу после продажи уехал в Баку, а оттуда поедет в Туркестан, Анелька же слишком молода, чтобы жить одной, и потому до его возвращения будет жить с матерью. А мать остается в Плошове, во-первых, потому, что больна и не может никуда ехать, во-вторых, — тетя ее не отпускает, а она не хочет сердить тетю. Я достаточно хорошо узнал Анельку и ни за что не поверю, что у нее есть какие-то расчеты. Она — воплощенное бескорыстие. Но ее мать, которая рада бы весь мир захватить для своей единственной дочки, рассчитывает, конечно, на то, что тетя не забудет Анельку в своем завещании. И она не ошибается. Тетя (она никогда всерьез не верила в миллионы Кромницкого) несколько раз намекала мне на это с тревогой и некоторым смущением, так как считает, что все ее имущество должно остаться в нашем роду, и боится обидеть меня тем, что завещает кое-что Анельке. Как плохо она меня знает! Да если бы Анелька сегодня осталась без башмаков и за пару башмаков для нее нужно было бы отдать Плошов и все мое состояние, я, не задумываясь, сделал бы это. Может, к этому меня побудило бы и злорадное желание подчеркнуть разницу между мной и Кромницким, но я, несомненно, поступил бы так.

Однако довольно об этом. Меня не оставляет мысль, что Анеля с матерью уже в Плошове и проживут там до тех пор, пока не вернется из своего путешествия Кромичкий, а это еще когда будет! Значит, я каждый день буду видеться с пани Кромичкой. Меня охватывает беспокойство, в котором есть и доля любопытства: как же сложатся наши отношения? Я представляю себе разные случаи, которые могли бы произойти, если бы я относился к Анельке иначе. Я никогда себе не лгу: повторяю, я еду лечиться, пани Кромичкую не люблю и любить не буду, напротив — надеюсь, что встречи с нею вытеснят из моего сердца прежнюю Анельку гораздо успешнее, чем это сделали бы всякие фиорды и гейзеры. Но, будучи тем, что я есть, человеком, который долго жил и много думал, я не могу не предвидеть опасностей, какие могли бы возникнуть при других условиях.

Если бы я хотел мстить, если бы не отталкивало меня до такой степени даже самое имя «пани Кромичкая», — что могло бы меня остановить? Ведь в тихом уединении Плошова мы были бы только вдвоем, если не считать двух старушек, наивных, как дети, в своей безупречной добродетели. Знаю я с этой стороны и тетюшку мою и пани Целину. В высших кругах нашего общества часто встречаются женщины изрядно развращенные, но есть и такие, — в особенности среди старшего поколения, — которые прожили жизнь, можно сказать, чистыми, как ангелы, ни разу не осквернив себя грешным помыслом, не имея понятия о зле мирском. Таким, как моя тетюшка или пани Целина, и в голову не может прийти, что Анельке, замужней женщине, грозит какое-нибудь искушение. Анелька и сама принадлежит к этой категории женщин. Она не отвергла бы моей просьбы, если бы не то, что она уже дала слово Кромичкому. Польская женщина этого типа не нарушит данного слова, хотя бы у нее разбилось сердце. Меня это берет, как подумаю об этом. Я подавляю в себе присущую каждому человеку потребность доказать свою правоту и ничего не хочу доказывать пани Кромичкой, но я был бы очень, очень счастлив, если бы нашелся кто-нибудь, кто объяснил бы ей, что нельзя безнаказанно попираť законы природы и права сердца, что эти права сильнее надуманных этических доктрин и нарушение их мстит за себя. Правда, я очень виноват перед Анелькой, но ведь я искренне хотел все исправить, и она это знала — и все-таки оттолкнула меня. Оттолкнула, вероятно, затем, чтобы можно было сказать себе: «Я не похожа на Леона Плошовского. — я дала слово Кромичкому и сдержу его». Это не добродетель, а холодность сердца, это не героизм, а глупость, не совестливость, а тщеславие. Нет, не могу, не могу забыть!..

Впрочем, мне поможет сама пани Кромичкая. Когда я увижу ее, довольную своим героизмом, холодную, сытую супружескими ласками, искренне или притворно влюбленную в мужа, с любопытством наблюдающую, достаточно ли сильно мое горе, — то эта верная супруга, упоенная счастьем и собственной добро-

детелью, мне станет так противна, что я, быть может, опять умчусь куда-нибудь к северным оленям. Но тогда уже воспоминание об Анельке не полетит за мной, как чайка за кораблем.

Возможно также, что пани Кромницкая вздумает играть роль моей жертвы и всем своим поведением внушать мне, что я виноват. Ладно! Видал я в жизни и такое. Искусственные цветы плохи тем, что не пахнут, а искусственные терновые венцы хороши тем, что не колют, и дамы их охотно надевают на голову, как шляпу, которая им к лицу. Всякий раз, как я встречал такую «жертву», вышедшую замуж якобы с отчаяния, мне хотелось ей сказать: «Лжешь! Ты, может, и была жертвой или по крайней мере искренне в это верила, но только до тех пор, пока он, твой избранник, в первый раз не подошел к тебе в почных туфлях. А с той минуты ты перестала быть трогательной и стала пошлой и смешной, тем пошлее и смешнее, чем усерднее разыгрываешь из себя жертву».

6 апреля

Как прекрасно и разумно греческое слово «анапке»¹. Да, было предначертано, что из-за этой женщины я потеряю покой и не обрету его даже тогда, когда она мне станет безразлична. Меня ужасно взволновала весть о продаже имения и приезде Анели в Плошов. Прошлой ночью мне не спалось, разные вопросы теснились в голове, и я искал на них ответа. Так я пытался решить, вправе ли я совратить пани Кромницкую с пути долга, или не вправе? Я этого не хочу и не сделаю, так как она меня не прельщает,— но имел бы я на это право? Вот такими «to be or not to be?»² я заполняю дни и ночи, потому что мне больше нечем жить. А подобные размышления — отнюдь не самое большое из земных наслаждений, ибо чаще всего напоминают попытки собаки поймать собственный хвост. Ничего я не поймаю, ничего не докажу и только устану смертельно. Утешаюсь лишь тем, что вот прошел еще один день или еще одна ночь. При всем своем скептицизме я способен предъявлять себе моральные требования, достойные сельского vicar. Душа современного человека сплетена из стольких нитей, что, желая распутать этот клубок, только больше запутываешься. Тщетно я сегодня ночью твердил себе, что, хотя все это чистейшая теория, но совратить пани Кромницкую я имею право. Какой-то голос с церковной паперти упорно возражал мне: «Нет! Нет! Нет!» Но я должен победить в себе эту совесть, иначе не обрету душевного равновесия. Сегодня вечером у меня настроение для этого подходящее. Днем я был в гостях у одного знакомого художника и слышал там, как г-жа Дэвис объясняла двум французским литераторам, что женщина должна всю жизнь оставаться неприступной хотя бы только «pour

¹ предопределение.

² «быть или не быть?» (англ.).

la netteté du plumage»¹. Малески ей поддакивал: «Oui, oui, du plumage!»² А я в эту минуту представил себе, как все крабы Средиземного моря, опрокинувшись на спину, протянули к небу свои клешни, моля Юпитера ударить громом. (Кстати фразу насчет «la netteté du plumage» Лаура Дэвис заимствовала у меня, а я — у Фелье.) Слушая ее, я сохранял полную серьезность, не позволил себе даже улыбнуться, но пришел в веселое и циничное настроение, и оно еще до сих пор не оставило меня. Это — самое лучшее оружие против излишних угрызений совести.

Итак, продолжаю. Имею ли я моральное право влюбить в себя пани Кромлицкую и, в случае успеха, совратить ее с пути долга? Для меня это прежде всего вопрос чести, как был бы для всякого, кто считает себя джентльменом и кого все остальные считают таковым. И вот я не нахожу ни единого пункта, который запрещал бы мне поступить так. Правда, этот наш кодекс чести, на первый взгляд, — самый странный из всех кодексов на свете. Если я украду деньги, то, по светскому кодексу чести, я — вор и навсегда опозорил себя, а обокраденный остается чист. Если же я украду у кого-нибудь жену, то я, вор, остаюсь чист, а позор падает на обокраденного. Что же это такое? Попросту извращение моральных понятий, или между кражей кошелька и кражей жены такая большая разница, что этих двух поступков и сопоставлять нельзя? Я не раз об этом думал и пришел к убеждению, что это не одно и то же. Человек не может быть собственностью другого, как вещь, и роман с чужой женой есть акт обоюдной воли. Почему я должен признавать права мужа, если этих прав не признает его жена? Какое мне до него дело? Я встречаю женщину, которая хочет быть моей, — и беру ее. Ее муж для меня не существует, а клятва верности, которую она давала перед алтарем, меня ни к чему не обязывает.

Так что же должно меня удерживать — уважение к институту брака? Но если бы я любил, если бы я мог полюбить жену Кромлицкого, все во мне отчаянно протестовало бы против ее брака, против какого-то ее долга по отношению к Кромлицкому! Этот брак раздавил меня, как червяка, я корчусь от боли, — и мне, который при последнем издыхании жаждет укусить растоптавшую меня ногу, велят еще ее уважать! За что? С какой стати? Я должен считаться с таким общественным порядком, который выпил из меня всю кровь, всю любовь к жизни? Конечно, то, что люди питаются рыбой, — закон природы, но заставьте-ка рыбу уважать такой закон, в силу которого ее живьем потрошат раньше, чем положить в кастрюлю! Нет, я протестую и кусаюсь, — вот мой ответ. Спенсеровский идеал человека в совершенстве развитого, у которого личные стремления в полнейшей гармонии с общественным порядком, — это только постулат. Знаю, отлично знаю, — Сня-

¹ «ради чистоты своих перышек» (фр.).

² «Да, да, перышек!» (фр.)

тынский побил бы меня одним вопросом: «Значит, ты за свободную любовь?» Нет, я только за самого себя. I am for myself!¹ И, наконец, я и знать не хочу ваших теорий! Если ты полюбишь другую женщину или твоя жена полюбит другого мужчину, — тогда посмотрим, помогут ли тебе все ваши моральные правила и обязательное уважение к традициям общества. В худшем случае меня можно обвинить в непоследовательности. Ту же непоследовательность я проявил, когда я, скептик, заказал в костеле обедню за здоровье Леона и Анели и молился, глотая слезы, как глупый ребенок. Впредь даю себе слово быть непоследовательным во всех тех случаях, когда мне это будет удобнее, легче, когда я от этого буду счастливее. В мире существует лишь одна логика — логика страсти. Рассудок предостерегает нас только до поры до времени, а потом, когда кони неудержимо рвутся вперед, он садится на козлы и уже только следит, чтобы они не разнесли экипаж. Сердце человеческое не может уберечься от любви, а любовь — это стихия, такая же сила, как морской прилив и отлив. Если женщина любит мужа, ее сам дьявол не оторвет от него. И клятва в верности, которую она дала перед алтарем, — лишь освящение любви. Но когда эта клятва — обязательство без любви, тогда первый прилив выбросит ее на песок, какдохлую рыбу. Я не могу дать обязательство в том, что у меня не вырастет борода или что я не состарюсь, — а если я дам его, то закон жизни раздавит меня со всеми моими обязательствами.

Удивительная вещь: ведь все, что я пишу, — только теоретические рассуждения, и нет у меня никаких таких замыслов, в которых я должен был бы оправдываться перед собой, а между тем эти размышления меня волнуют, и вот сейчас так взбудоражили, что придется отложить дневник.

Да, видно, спокойствие мое чертовски непрочное, оно только искусственное... Я добрый час ходил из угла в угол и в конце концов понял, что меня так растревожило...

Уже очень поздно. Из моих окон виден купол Дома Инвалидов, он сверкает в лунном свете, как сверкал купол собора св. Петра в те вечера, когда я, окрыленный надеждой, бродил по Пинчио с мыслями об Анельке. Я невольно отдался воспоминаниям. А все-таки бесспорно то, что я мог быть счастливее и она тоже могла бы быть в десять — нет, во сто раз счастливее. И если бы даже были у меня какие-нибудь тайные замыслы и она была бы для меня невестой каким-то соблазном, я и сейчас отказался бы от всего из страха сделать ее несчастной. Ни за что на свете я не пойду на это! Одна уже мысль об этом парализовала бы во мне всякую предприимчивость и решительность. Жизнь моя сложилась так, что отрицательные черты характера развились, а положительные заглохли, но сердце у меня не злое, и в нем таился огромный запас нежности к Анельке.

¹ Я за самого себя (англ.).

Ну, да это дело прошлое... Спящий во мне скептик подсказывает мне вопрос иного рода: а вправду ли она, изменив с тобой мужу, была бы так несчастна? По моим наблюдениям, женщины страдают, только пока борются с собой. Как только борьба окончена, наступает (независимо от результата) период покоя, блаженства, счастья... Когда-то я здесь, в Париже, встретил женщину, которая три года боролась с собой и терпела страшную муку, а потом, когда сердце победило, упрекала себя до конца жизни только в одном — в том, что так долго ему противилась.

Однако к чему задавать себе все эти вопросы и решать их? Знаю, каждое утверждение можно доказать, в каждом доказательстве усомниться. Миновали те добрые старые времена, когда люди сомневались в чем угодно, только не в способности нашего разума отличать истину от лжи, добро от зла. Ныне вокруг — бездорожье, одно бездорожье... Лучше уж буду думать о предстоящей мне вскоре поездке... Да, значит, Кромийский продал-таки имение жены и глубоко ранил ее... Мне захотелось написать это здесь черным по белому, иначе не верится, что это правда.

10 апреля

Пришел вчера с прощальным визитом к Лауре и попал на настоящий концерт. Лаура, кажется, не на шутку стала увлекаться музыкой. Клара Хильст играла на фисгармонии. Я всегда рад ее видеть, но особенно она нравится мне, когда сидит за фисгармонией и берет первые аккорды, не поднимая глаз от клавиатуры. Есть в ней в такие минуты какая-то сосредоточенность, серьезность и удивительное спокойствие. Она напоминает мне тогда святую Цецилию, самую привлекательную из святых, в которую я непременно влюбился бы, если бы жил в ее время. У Клары тот же чистый, спокойный профиль, тот же благородный облик древней христианки. Жаль, что Клара такая рослая, — впрочем, когда она играет, об этом забываешь. Порой она поднимает к потолку опущенные глаза, словно пытается припомнить какую-то мелодию, услышанную в минуту вдохновения. Как идет к ней ее имя «Клара»: более светлой и прозрачной души я не встречал! Я люблю на нее смотреть, но не слушать ее: музыку ее, увы, не понимаю, во всяком случае с трудом улавливаю ее содержание. Все-таки, несмотря на все мои дерзкие и саркастические замечания, я полагаю, что у нее незаурядный талант.

Когда она перестала играть, я подошел к ней и полуслуштя объявил, что пришло время ехать в Варшаву и, памятуя наш уговор, я ее прошу подготовиться к отъезду. К моему удивлению, Клара приняла мои слова всерьез. Она ответила, что действительно давно надумала ехать в Варшаву, а готовиться ей незачем, — заберет с собой старушку родственницу, которая повсю-

ду ее сопровождает, да немую клавиатуру, на которой играет гаммы даже в поезде,— и можно ехать.

Я был немного ошарашен: если Клара и в самом деле поедет, придется остаться в Варшаве и помогать ей в устройстве концерта, а мне хотелось сразу ехать в Плошов. Но я тут же решил, что в крайнем случае сдам ее с рук на руки Снятынскому, который будет ей полезнее, чем я. Кроме того, Клара — дочь богатого франкфуртского промышленника, и материальный успех концертов ее не интересует.

Однако меня озадачила поспешность, с какой она согласилась на эту поездку. В первую минуту я даже хотел ей сказать, что ее немое фортепиано мне не мешает, но вот мысль взять с собой старую родственницу я считаю менее удачной. Мы, мужчины, так привыкли всегда и везде охотиться на женщин, что к молодой и красивой никогда ни один не подходит без задней мысли. Кто утверждает противное, тот просто хочет обмануть женщину, чтобы легче заманить ее в ловушку. Вот я, например, сейчас всецело занят другим, и все же сперва был недоволен тем, что с Кларой едет старая родственница, которая будет нам мешать,— тем более что Клара едет, вероятно, отчасти ради меня. Ведь в Париже музыканту открывается более широкое поле для триумфов, чем в Варшаве, а раз за деньгами Клара тоже не гонится,— зачем же она хочет ехать? Лаура давно мне намекала, что Клара питает ко мне чувства погорячее дружбы. Странная женщина эта Лаура! Чистоте Клары она завидует, но так, как завидовала бы, если бы у Клары было какое-нибудь оригинальное украшение — красивая диадема или редкие кружева... Для Лауры все лишь предмет украшения, не больше. Вероятно, поэтому она рада бы толкнуть этого большого ребенка в мои объятия. Меня Лаура не ревнует, я ведь для нее тоже только украшение, которое она уже носила на шее.

Эта женщина, вовсе того не желая, причинила мне столько зла, что я бы должен ее ненавидеть,— но не могу. Во-первых, совесть говорит мне, что если бы на моем жизненном пути не попала Лаура, я нашел бы какой-нибудь другой, столь же успешный способ погубить свое счастье. Во-вторых, так же, как сатана — это падший ангел, ненависть — это выродившаяся любовь, а я Лауры никогда не любил. Я ее немножко презираю, но это другое дело, да и она мне платит тем же. По-моему, она относится ко мне даже менее доброжелательно, чем я к ней.

А ведь относительно чувств, которые Клара питает ко мне, Лаура, пожалуй, сказала правду. Сегодня мне это показалось более очевидным, чем когда-либо. Если это так, я очень благодарен Кларе. Впервые в жизни мне хочется завести дружбу с женщиной и не обмануть ее доверия. Моя беспокойная душа может в такой дружбе найти утешение.

Мы сегодня разговорились с Кларой совсем по-приятельски. Кругозор ее не очень широк, но зато у нее ясный ум, четко раз-

личающий то, что она считает добром и красотой, от того, что, по ее мнению, дурно и безобразно. Оттого она не знает сомнений и безмятежно спокойна. В ней чувствуется то душевное здоровье, какое часто встречаешь у немцев. Общаясь с ними, я замечал, что людей такого типа, как, например, я, среди них очень мало. Немцы, как и англичане, люди положительные, они знают, чего хотят. Конечно, и они часто погружаются в безбрежное море сомнений, но делают это с методичностью ученых, а не как люди эмоциональные или такие вот «гении без портфеля», — и потому их новая трансцендентальная философия, их нынешний научный пессимизм и романтическая «мировая скорбь» представляют лишь чисто теоретический интерес. На практике же эти люди превосходно приспособляются к условиям жизни. Гартман утверждает, что человечество тем несчастнее, чем оно просвещеннее и могущественнее. И тот же Гартман на практике со всем апломбом немца-культуртрегера проповедует обогащение немецкого народа за счет населения Познани. Впрочем, пройдем мимо этого факта, который является одним из примеров человеческой подлости. В общем, немцы теориями особенно не увлекаются, поэтому они покойны и деятельны. Эта черта есть и у Клары. Конечно, многое такое, что способно перевернуть человеку душу, достигало и ее ушей, но оно как-то с нее соскальзывало, не проникая в кровь, и потому Клара никогда не сомневается в том, что считает истинной, а также в своей музыке. Если она действительно питает ко мне нечто большее, чем дружеское расположение, то это, наверное, чувство безотчетное и ничего не требующее. С той минуты, как оно станет другим, начнется душевная драма Клары, так как я не смогу отвечать ей взаимностью. Я мог бы только воспользоваться ее чувством и сделать ее несчастной. Я не настолько самоуверен, чтобы воображать, что ни одна женщина не устоит передо мной. Думаю только, что ни одна женщина не в силах устоять перед тем, кого она по-настоящему любит. Выражения «осаждать крепость», «взять крепость», правда, стали избитыми и нестерпимо банальными, но они отражают истину; и они еще во сто раз вернее, когда речь идет о женщине, которая за стенами своей добродетели носит в груди такого предателя, как влюбленное сердце. Но Клара может быть спокойна. Мы благополучно доедем всей компанией — она, я, старая родственница и немая клавиатура.

16 апреля

Вот уже три дня я в Варшаве, а до сих пор еще не смог отправиться в Плошов, так как сразу по приезде у меня разболелись зубы и начался флюс. А в таком виде я не хочу показываться на глаза моим дамам.

Со Снятыньским я уже виделся, тетя тоже была у меня и приветствовала меня, как блудного сына. Анелька вернулась в Пло-

шов на прошлой неделе. Мать ее тяжело больна; врачи, сначала посылавшие ее в Висбаден, теперь объявили, что она не перенесет никакой поездки. Так что она останется в Плошове, пока не выздоровеет или не умрет;— и Анелька будет жить с нею, потому что Кромницкий пока еще не управился со своими делами и не считает возможным окончательно осесть где-нибудь. Из слов тети я понял, что он будет в отъезде еще несколько месяцев. Я старался узнать как можно больше об Анеле, и это было нетрудно: тетушка говорила со мною совершенно не стесняясь,— старушке в голову не приходит, что замужняя женщина может интересоваться кого-нибудь не только как родственница, для нее и вопроса такого не существует. Она говорила со мной откровенно и о продаже имения — она тоже не может простить этого Кромницкому. Рассказывая мне все подробности, она так рассердилась, что, рванув цепочку на шее, разорвала ее, и часики упали на пол.

— Я ему прямо в глаза скажу,— кипятилась она,— что это двойная низость! Уж лучше бы занял у меня эти деньги. Впрочем, какой от них толк! Его спекуляции — настоящая бездонная бочка: он все в них ухлопывает, а что еще из них выйдет, неизвестно. Пусть только он явится, я ему тут же все выложу. Так и скажу: «Ты, пан, и Анельку погубишь и Целину, и в конце концов станешь банкротом. На что этим женщинам твои миллионы, если им каждый грош приходится слезами обливаться? Низость, и больше ничего! Я всегда видеть не могла этот сушеный гриб — вот и оказалась права».

Я спросил у тети, говорила ли она об этом откровенно с Анелькой.

— С Анелькой? Хорошо, что ты приехал, теперь у меня будет с кем душу отвести. А с Анелькой говорить об этом нет никакой возможности. Один раз я не вытерпела и начала, так она рассердилась на меня, а потом — в слезы. Твердит одно: «Он вынужден был продать!» — и все. Она слова не дает против него сказать, хочет скрыть от людей все его недостатки. Но меня, старуху, не проведешь: вижу, что в душе она так же, как я, осуждает его за продажу Глухова.

— Значит, вы думаете, тетя, что она его не любит?

Тетушка посмотрела на меня с удивлением.

— Что-о? А кого же ей любить? Потому и убивается, что любит. Можно любить человека и все-таки видеть его дурные стороны. Одно другому не мешает.

У меня на этот счет несколько иное мнение, но я предпочел не излагать его тетушке. Она продолжала:

— Больше всего я осуждаю его за то, что он врет. Уверил Целину и Анельку, что через год, самое большее — через два, он выкупит обратно их имение. Ну, скажи сам, как это возможно? А обе они внушают себе, что он это сделает.

— По-моему, это совершенно невозможно. Он никогда не перестанет спекулировать.

— И он это знает лучше их, — а значит, сознательно обманывает Анельку и Целину.

— Может, для того, чтобы они не очень горевали?

Тетушка еще больше рассердилась.

— То есть как это «не горевали»? Не продал бы, так они бы не горевали. Напрасно ты его защищаешь! Его все осуждают, все! Хвастовский — тот просто вне себя от возмущения. Он разобрался в этом деле и говорит, что если бы даже имение не давало ни гроша доходу, он взялся бы за несколько лет очистить его от долгов. А деньги я первая дала бы, да и ты бы дал. Ведь дал бы? Ну, вот видишь. А теперь все пропало.

Я осведомился о здоровье Анельки. Расспрашивал я об этом тетушку с тайной, необъяснимой тревогой, — кажется, я боялся услышать нечто такое, что было бы вполне естественно и в порядке вещей, но — не знаю отчего — вконец изранило бы мне нервы. Несчастный я человек! Но тетушка, слава богу, отлично поняла меня и ответила так же сердито:

— Ничего не ожидается. Имение продать сумел, а больше ни на что не способен!

Я поспешил переменить тему и рассказал, что со мной одновременно, тем же поездом приехала в Варшаву известнейшая современная пианистка. Она — женщина очень состоятельная и ничего так не жаждет, как дать несколько концертов в пользу бедных. Тетушка прежде всего разворчалась, негодуя на Клару за то, что та не приехала зимой, в сезон концертов. Затем она решила, что все-таки время еще не окончательно упущено, и сразу хотела со всех ног мчаться к Кларе. С трудом растолковал я ей, что лучше будет предупредить Клару об ее визите. Тетушка возглавляет несколько благотворительных обществ и считает долгом чести загребать для них все, что только можно, в ущерб другим таким же обществам. Вот она и боится, как бы ее кто не опередил.

Уходя, она спросила:

— Когда же ты переберешься в Плошов?

Я ответил, что не переберусь совсем. Еще по дороге сюда я решил жить в Варшаве. До Плошова отсюда всего какая-нибудь миля, буду ездить туда каждое утро и оставаться там до вечера. Для меня это безразлично, а люди не будут иметь повода для пересудов. Да и не хочу я, чтобы пани Кромницкая думала, что меня соблазняет возможность жить с нею под одной крышей. В разговоре со Снятыньским я как-то между прочим упомянул, как о незначительной подробности, что не собираюсь поселиться в Плошове. Видно было, что Снятыньский это одобряет. Он даже пробовал завести пространный разговор об Анельке. Снятыньский — человек безусловно интеллигентный, но не понимает, что перемена обстоятельств может вызвать и перемену в отношениях между самыми близкими друзьями. Он пришел ко мне, как к тому Леону Плошовскому, который в Кракове, дрожа, как лист,

молил его о помощи. Подошел с той же самой суровой откровенностью и сразу хотел погрузить руку по локоть в мою душу. Но я немедленно его осадил. Сначала он был удивлен и несколько рассержен, но потом стал отвечать мне в тон, и мы беседовали так, как будто свидания нашего в Кракове никогда и не было. Однако я видел, что Снятыньскому хочется понять мое теперешнее настроение: не имея возможности спрашивать напрямик, он стал косвенным образом выпытывать у меня то, что хотел узнать, со всей неловкостью писателя-художника, который является глубоким психологом и тонким аналитиком, когда сидит за письменным столом, а в практической жизни наивен, как мальчик.

Жаль, не было у меня под рукой флейты, а то я мог бы, как некогда Гамлет, протянуть ее Снятыньскому со словами: «Сыграй, пожалуйста! Ах, не умеешь? Так если не умеешь извлекать звуки из этого куска дерева, как же ты берешься разыгрывать, что вздувается, на струнах моей души?»

Я как раз вчера ночью перечитывал «Гамлета» — уж не знаю в который раз. Отсюда это сравнение. Просто непостижимо, что в наше время человек в любом положении, любом душевном состоянии, вполне современном и сложном, находит более всего сходства со своими переживаниями в этой трагедии, в основу которой положена примитивная и кровавая легенда Голиншеда. Гамлет — это душа человеческая в прошлом, настоящем и будущем. По-моему, в этой трагедии Шекспир перешел все границы, существующие даже для гения. Гомер или Данте мне понятны на фоне их эпохи. Я понимаю, как они могли создать то, что ими создано. Но каким образом англичанин Шекспир мог в семнадцатом веке предвидеть все психозы, порожденные веком девятнадцатым, — это навсегда останется для меня загадкой, сколько бы я ни прочел исследований о Гамлете.

Итак, я протянул Снятыньскому воображаемую флейту Гамлета и затем, поручив Клару его опеке, завел с ним разговор о его догматах. Я сказал, что приехать в Варшаву побудила меня тоска по родине и чувство долга. Но сказал я это таким легким тоном, что Снятыньский не знал, шучу ли я или говорю серьезно. И снова повторилось то, о чем я писал еще в Париже. Чувство своего морального превосходства, которое Снятыньскому внушило мое поведение за последнее время, таяло с каждой минутой. Он не знал, что думать, и понимал только одно: что прежним ключом меня не отопрешь. Когда я на прощанье снова попросил его помочь Кларе, он хитро посмотрел на меня и спросил:

— А тебе это так важно?

— Очень. Я с этой девушкой в большой дружбе и глубоко ее уважаю.

Таким образом, я все его внимание отвлек на Клару: теперь он, конечно, будет думать, что она — моя новая любовь. Он ушел злой — это было заметно, он ведь ничего не умеет скрыть. За-

хлопнул за собой дверь энергичнее, чем следовало, а когда я, проводив его на лестницу, входил в прихожую, я слышал, как он сбегал вниз, перескакивая через четыре ступеньки разом, и громко свистел, что всегда служит у него признаком неудовольствия.

Ну что же, ведь я сказал ему только правду о своем отношении к Кларе. Я сегодня ей написал, объяснил, почему до сих пор не мог побывать у нее, — и только что получил ответ. Клара в восторге от Варшавы, а более всего — от варшавян. За эти три дня ее успели посетить все здешние знаменитые музыканты, наперерыв предлагали ей свои услуги и рассыпались в любезностях. Она пишет, что таких доброжелательных людей не встречала нигде. Боюсь, что если бы она вздумала поселиться здесь навсегда, они не были бы с ней так любезны. Впрочем, у Клары настоящий дар везде находить друзей. Она уже немного ознакомилась с городом, и больше всего ей понравились Лазенки. Меня радуют восторги Клары, тем более что, когда мы переехали границу, польский ландшафт произвел на нее гнетущее впечатление. Действительно, в пустынной и плоской местности глазу отдохнуть не на чем, и нужно родиться в этом краю, чтобы находить в нем какую-то прелесть. Клара, глядя в окно вагона, все время повторяла: «Ах, теперь я понимаю Шопена!» Но в этом она, конечно, ошибается: Шопена она ни понимать, ни чувствовать не может, так же как не могла почувствовать нашей природы.

Мне же, хоть я и духовный сын чужой страны, в силу какого-то атавизма эта природа — родная, и не раз, возвращаясь весной в Польшу, я с удивлением замечал, что просто наглядеться не могу на здешние места. А, собственно говоря, какие тут красоты? Я порой нарочно старался вообразить себя на месте художника-чужестранца, который объективно, без всякого пристрастия, созерцает наши пейзажи. И в такие минуты они напоминали мне рисунки ребенка, умеющего выводить только палочки, или рисунки дикаря. Плоские перелogi, мокрые луга, хаты с прямоугольными очертаниями, усадебные тополя на горизонте, а дальше — поля, окаймленные лесами, «десять миль ничего», как говорят немцы, — все это представляется мне всегда каким-то примитивным, поражающим убожеством замысла и линий. Строго говоря, это еще только фон. Но с той минуты, как я перестаю смотреть глазами чужака, я начинаю чувствовать простоту открывающейся передо мной картины, погружаюсь душой в ее безмерность, в которой всякая резкая черта тонет, как душа в nirване. И картина эта не только обретает очарование примитива, но и умиротворяет душу. Я могу восторгаться Апенниннами, но душа не способна проникнуться ими, остается где-то вне их и противится их очарованию, отбивается от него локтями. Из-за этого рано или поздно на смену восторгам приходит усталость. Человек по-настоящему отдыхает душой только тогда, когда сливается с окружающим, а слиться с природой можно лишь в том случае, если душе сродни окружающая природа. Ностальгия рождается имен-

но оттого, что душа выключается из родного ей окружения. Пожалуй, эту идею психического сродства можно было бы развить еще шире. Быть может, странно, что я, выросший за границей и насквозь пропитанный чужой культурой, высказываю подобные взгляды, но скажу больше: вот, например, в иностранке, хотя бы красавице из красавиц, я всегда буду видеть прежде всего лишь представительницу женского пола, а не женскую душу.

Помню, что я в свое время писал о польках. Но одно другому не мешает. Я вижу их недостатки, однако они мне ближе, чем иностранки. К тому же мои прежние взгляды большей частью уже истрепались, как старая одежда.

Но довольно об этом. Со стыдом и удивлением замечаю, что писал все это только затем, чтобы отвлечься, заглушить неотвязные мысли все о том же. Да, да! Я рассуждаю о ландшафте, ностальгии, а мысли мои в Плошове. Не хотелось бы в этом сознаваться, да приходится. У меня все время сердце щемит, словно от беспокойства. Очень может быть, что в Плошове мне будет несравненно легче, чем я себе представляю. Всякие ожидания, всякий канун невыносимы. В молодости я раз дрался на дуэли и помню, что волновался только накануне. Тогда, как и теперь, я пытался думать о другом, но попытки эти были так же тщетны. Мысли мои о панн Кромницкой лишены всякой нежности и даже приязни, но так и снуют в голове и не дают мне покоя; они налетают на меня, как потревоженные пчелы, и я не могу от них отбиться.

17 апреля

Сегодня был там. Все оказалось совсем не так, как я воображал. Из Варшавы я, наняв извозчика, выехал в семь часов утра, рассчитывая к восьми быть в Плошове: тетушка говорила мне, что Анеля и Целина встают рано. Мысли все так же неутомонно метались в голове, сердце мучительно щемило, не давая передышки. Я решил не строить заранее никаких планов встречи и дальнейшего моего поведения — пусть все будет так, как само сложится и как быть должно. Я не мог, однако, не думать о том, какой я увижу Анельку, как она меня встретит, что даст мне понять, как отнесется ко мне. Сам не приняв и не желая принимать никаких решений, я почему-то был уверен, что у нее все заранее обдумано. И, думая так, я то злился на Анельку, то, понимая, что и она тоже окажется в трудном и неловком положении, испытывал что-то вроде жалости к ней. Мысли мои и воображение были до того заняты ею, что она как будто стояла передо мной. Удивительно ясно помнились высоко зачесанные над лбом каштановые волосы, длинные ресницы, глаза, тонкое личико. Я пробовал угадать, как она будет одета. Вспоминались разные ее слова, движения, выражения лица, ее платья. И настойчивее всего приходила на память та минута, когда Анеля вернулась в гости-

ную из своей комнаты наверху, напудрив разгоревшееся от волнения лицо. Наконец эти воспоминания стали так яркие, что уже походили на галлюцинации. «Вот опять я одержим ею», — подумал я и, чтобы отвлечься, завязал разговор с извозчиком. Спросил, женат ли он, на что он ответил: «Без бабы никак не проживешь». Он говорил еще что-то, но я уже его не слушал, так как в это время вдаль замаячили плоховские тополя. Я и не заметил, как мы проехали несколько верст от засады.

При виде Плохова я почувствовал, что мое внутреннее беспокойство усиливается, и мысли еще быстрее заронились в мозг. Я старался сосредоточить внимание на окружающем, на переменах, произошедших здесь за время моего отсутствия, новых домах вдоль дороги. Механически твердил себе, что погода прекрасная, что весна в этом году удивительно ранняя. День и в самом деле был чудесный, в прозрачном воздухе чувствовалась бодрящая утренняя свежесть. Около домов цвели яблони, и опавший цвет их снегом покрывал землю. Передо мной словно развертывались полотна художников новой школы. Куда ни глянь — ослепительный и прозрачный *pleine air*¹, в глубине мелькали фигуры людей, работавших у домов и в поле. Однако странно — я все видел, все примечал, но не мог всецело отдаться этим впечатлениям. Они меня почему-то не волновали и словно скоплялись только на поверхности мозга, не проникая вглубь, где таились иные мысли. В таком-то состоянии раздвоенного сознания я въехал в Плохов. Тут охватили меня сразу тень и прохлада липовой аллеи, в глубине которой блестели окна дома. Вспугнутые тревожные мыслишки еще беспокойнее закопошились во мне. Сам не знаю, почему я, вместо того чтобы въехать во двор, расплатился с извозчиком у ворот и, не слушая выражений его благодарности, пешком зашагал к дому.

Почему, собственно, я так волновался? Потому ли, что в этом столь знакомом доме меня ждало что-то неизвестное, но трагически связанное с моим прошлым? Пока я шел по двору, сердце у меня так сжималось, что дух перехватывало. «Что за чертовщина?» — твердил я мысленно. Так как я остановил извозчика за воротами, приезд мой не был замечен, и никто не вышел навстречу. Прихожая была пуста. Я вошел в столовую и решил здесь подождать дам. Они должны были скоро сойти вниз, — стол был уже накрыт, чашки расставлены, и самовар гудел и ворчал, пуская к потолку клубы пара. Здесь тоже ни одна подробность не ускользнула от моего внимания. Я заметил, например, что в столовой холодно и темновато — окна ее выходили на север. Потом засмотрелся на три мерцающие дорожки на полу — это свет, падавший из трех окон, отражался в темном, навощенном паркете. Потом стал разглядывать, как что-то новое, буфет, знакомый с детских лет. И тут мне вспомнился разговор со Снятыньским в

¹ открытый воздух (*фр.*).

этой самой комнате, когда мы смотрели из окна на его жену и Анелю, шедших по снегу в оранжереи.

Наконец мною овладели тоска и ощущение пустоты. Я сел у окна, чтобы быть поближе к свету и полюбоваться на сад. Мне никак не удавалось избавиться от все того же внутреннего раздвоения: я не переставал думать о том, что скоро, через минуту-другую, увижу ее, должен буду поздороваться, говорить с нею, а потом в течение нескольких месяцев видеть ее каждый день. Вопросы: «Как же это будет? Что будет?» — теснились в моей голове, опережая друг друга.

Есть люди, которые со страху совершают подвиги, проявляя безумную отвагу, а со мной часто бывает так, что тревога, нерешимость и состояние неизвестности сменяются вдруг взрывом нетерпения и гнева. Так случилось и теперь. Разница между прежней Анелькой и нынешней пани Кромницкой представилась мне так ясно, как еще ни разу до сих пор.

«Да хоть бы у тебя звезда была во лбу, — думал я, — хоть бы ты была во сто раз красивее, во сто раз обворожительнее, ты для меня теперь ничто. Более того — все в тебе будет меня отталкивать».

Гнев мой еще усилился, когда я почему-то вообразил, что Анелька и сейчас и в дальнейшем будет стараться всем своим поведением доказать мне обратное — то есть, что я обманываю себя и что она навек останется для меня страстно желанной и навек недоступной. «Посмотрим!» — отвечал я ей мысленно, готовясь к какому-то странному поединку с этой женщиной, борьбе, в которой я и проиграю и выиграю, ибо утрачу воспоминания, но зато обрету покой. В эти минуты мне казалось, что у меня хватит сил и отваги на то, чтобы отразить все атаки.

Но вот дверь тихо отворилась, и в столовую вошла Анелька.

У меня зашумело в голове, похолодели кончики пальцев. Женщина, в эту минуту стоявшая передо мной, называлась, правда, пани Кромницкой, но у нее были милые, обожаемые черты и невыразимая прелесть моей прежней Анельки. В хаосе, бушевавшем во мне, один голос звучал громче всех других: Анелька! Анелька! Анелька! А она то ли не сразу меня заметила, то ли приняла за кого-то другого, — я стоял спиной к свету. Только когда я подошел к ней, она подняла глаза — да так и застыла на месте. Невозможно описать то смешанное выражение испуга, смущения, волнения и покорности, какое я увидел на ее лице. Она побледнела так, что я боялся, как бы она не лишилась чувств. Когда я взял ее руку в свои, мне показалось, что я держу кусочек льда. Всего я ожидал — только не такой встречи. Еще минуту назад я был уверен: мне сразу дадут почувствовать, что передо мной пани Кромницкая. А между тем передо мной стояла прежняя моя Анелька, взволнованная и робеющая. Я сделал ее несчастной, я был виноват, страшно виноват перед ней, а она смотрела на меня так, словно сама просила у меня прощения.

И вмиг прежняя любовь, раскаяние, жалость нахлынули на меня с такой силой, что я совсем потерял голову. Я с трудом поборол желание схватить ее, прижать к груди и успокаивать словами, которые говорят только горячо любимому человеку. А сердце мое было до краев полно такими словами. Меня до того взволновало и ошеломило это неожиданное, невероятное появление вместо пани Кромницкой прежней Анельки, что я только жал ей руку и ни слова не мог выговорить. Однако молчать дольше было невозможно. И, собрав остатки самообладания, я спросил глухим, не своим голосом:

— Разве тетя не сказала тебе, что я приеду?

— Тетя... говорила... — с усилием вымолвила Анелька.

И оба мы снова замолчали. Я понимал, что следует осведомиться о здоровье ее матери и ее собственном, но не в силах был это сделать и от всей души желал, чтобы пришел кто-нибудь и выручил нас обоих. К счастью, вошли тетушка и молодой лекарь Хвостовский, младший сын управляющего, — он уже с месяц как находится при больной пани Целине. Анелька тотчас отошла к столу и стала разливать чай, а я поздоровался, завел разговор с тетей. К этому времени я совсем уже овладел собой. Мы сели завтракать. Я спросил, как чувствует себя пани Целина. Тетя, отвечая мне, то и дело ссылаясь на молодого доктора, а тот давал объяснения с оттенком снисходительного презрения, как новоиспеченный ученый специалист разговаривает с профаном и вместе с тем как демократ (бдительно оберегающий свое достоинство даже тогда, когда никто и не думает его унижать) отвечает человеку, которого относит к аристократам. Он показался мне очень уж самоуверенным — я с ним говорил гораздо учтивее, чем он со мной. Беседа за столом немного развлекла меня и дала возможность прийти в равновесие, хотя мысли мои мешались, когда я смотрел на Анельку. А я время от времени поглядывал на нее через стол и с чувством, близким к отчаянию, говорил себе: «Да, те же черты, то же тонкое личико, и волосы над лбом. Та же Анелька, почти девочка! Да, это она, любовь моя, мое счастье, теперь уже навсегда утраченное!» Была в этом сознании и великая отрада, и острая боль.

Анелька уже кое-как справилась с волнением, но все еще как будто робела. Чтобы как-нибудь смягчить неловкость и сделать наши отношения менее напряженными, я отважился несколько раз обратиться к ней с вопросами о ее матери, — и мне удалось ее немного ободрить. Она даже сказала: «Мама будет рада тебя видеть». Я этому не поверил, но голос ее слушал с закрытыми глазами, как самую чудесную музыку. Разговор наш становился все непринужденнее. Тетушка была в прекрасном настроении — этому способствовал мой приезд и то, что Клара, у которой она уже успела побывать, обещала ей дать концерт в пользу ее бедных. Уходя от Клары, тетушка на лестнице встретила двух дам — патронесс других благотворительных обществ, — они опозда-

ли, и это больше всего тешило тетушку. Она стала расспрашивать меня о Кларе, которая произвела на нее самое лучшее впечатление. К концу завтрака я, отвечая на вопросы, вынужден был рассказать кое-что о своих путешествиях. Тетя удивилась тому, что я побывал даже в Исландии, и, расспросив, как там живут люди, объявила:

— Только разве с отчаяния можно поехать в такое место.

— А мне действительно было тогда очень тяжело,— отозвался я.

Анелка глянула на меня, и снова в глазах ее я прочел испуг и покорность. Ощущение у меня было такое, словно чья-то рука больно сжала мне сердце. Я настолько был готов к тому, что она встретит меня с видом холодно торжествующим, с гордым сознанием своего превосходства и некоторым злорадством, что теперь меня особенно трогало и вместе с тем угнетало ее ангельское сочувствие. Все ожидания, все предчувствия обманули меня. Прежде я думал: «Если бы даже она захотела, чтобы я не увидел в ней пани Кромлицкую, ей это не удастся, она этим только оттолкнет меня». А между тем она даже не похожа была на замужнюю женщину. Мне сейчас приходилось себе напоминать, что она — чужая жена, и это будило во мне уже не отвращение, а невыразимую печаль.

У меня есть склонность в минуты душевных невзгод беречь свои раны. Это самое я хотел сделать сейчас — начать разговор о ее муже. Но не смог: мне казалось, что это было бы жестоко и профанацией наших чувств. И вместо этого я выразил вслух желание навестить пани Целину. Анелка пошла узнать, может ли больная принять меня, и, вернувшись через минуту, сказала:

— Мама просит тебя зайти к ней хотя бы сейчас.

Мы пошли на другую половину дома, и тетя с нами. Мне хотелось сказать Анелке какие-нибудь добрые слова, чтобы ее успокоить, но стесняло присутствие тети. Однако затем я подумал, что при ней будет даже лучше сказать Анеле то, что я хочу. И, остановившись у дверей пани Целины, я сказал:

— Дай руку, родная моя сестричка.

Анелка протянула мне руку. Я видел, что она мне благодарна за это слово «сестричка», что у нее камень с души свалился, и своим ответным горячим пожатием она хочет мне сказать: «Будем друзьями, и простим друг другу все».

— Я вижу, между вами мир и согласие,— буркнула тетушка, глядя на нас.

— Да, да! Он такой добрый! — отозвалась Анелка.

Сердце мое в эту минуту и в самом деле было полно доброты. Войдя в комнату пани Целины, я поздоровался с нею очень сердечно, но она отвечала мне несколько припущенно: видно было, что, если бы не боязнь обидеть тетю, она встретила бы меня весьма холодно. Впрочем, я не ставлю ей этого в вину: она имеет

полное право сердиться на меня. А может, она считает, что и в продаже ее родового поместья до некоторой степени виноват я: ведь, если бы я в свое время повел себя иначе, этого бы не случилось.

Пани Целина сильно изменилась. С некоторых пор она уже не встает с кресла на колесах, и на этом кресле ее в хорошую погоду вывозят в сад. Лицо ее, и прежде худощавое, стало совсем восковым. Видно, что когда-то эта женщина была очень хороша собой и что всю жизнь была очень несчастна.

Я стал расспрашивать ее о здоровье и выразил надежду, что живительное действие весны восстановит ее силы. Пани Целина выслушала меня с грустной усмешкой и покачала головой. Потом две крупные слезы покатались по ее щекам. Она не утирала их.

— А ты знаешь, что Глухов продан? — спросила она у меня.

Видно, мысль об этом не оставляла ее ни на минуту, постоянно грызла и мучила.

Услышав ее вопрос, Анелька сразу вспыхнула. Нехороший это был румянец — краска досады и стыда.

— Знаю, — ответил я пани Целине. — Может, это еще поправимо, тогда унывать не надо. А если непоправимо, надо покориться силе божьей.

Анелька взглядом поблагодарила меня, а пани Целина возразила:

— Нет, я уже больше себя не обманываю.

Однако это была неправда: она еще надеялась. Она не отводила глаз от моих губ, ожидая слов, которые укрепили бы ее тайную надежду. И, желая быть великодушным до конца, я сказал:

— Что делать, все мы подчиняемся необходимости, и винить за это человека трудно. Но я думаю, милая тетя, что нет на свете таких преград, которых нельзя было бы преодолеть стойкостью и соответствующими средствами.

И я стал объяснять, что мне известны случаи, когда продажа признавалась недействительной из-за неточностей в купчей. Кстати сказать, это было вранье, но я видел, что мои слова — попросту целебный бальзам для сердца пани Целины. Притом я тут косвенно выступал в защиту Кромницкого, хотя и не называл его. Впрочем, имя его ни разу не было названо и никем из остальных.

Должен, однако, сказать правду: великодушные руководило мною только отчасти. Главным же образом я говорил все это для того, чтобы слова мои расположили ко мне Анельку и представили ей меня в ореоле доброты и благородства.

И Анелька была мне признательна: когда мы с тетей наконец вышли, она побежала за нами и, протянув мне руку, шепнула:

— Спасибо тебе за маму.

А я в ответ молча поцеловал ее руку.

Тетушку тоже тронула моя доброта. Расставшись с ней, я вышел в сад — нужно было разобраться в своих впечатлениях и при-

вести мысли в порядок. Но в саду я встретил молодого Хвастовского, совершавшего свою обычную утреннюю прогулку. И так как мне хотелось расположить к себе всех в Плошове, я заговорил с ним о здоровье его пациентки, подчеркивая свое уважение к его знаниям и авторитету. Я видел, что ему это очень льстит. Скоро он спрятал в карман свою демократическую бдительность, перестал ошестиниваться при каждом слове и заговорил о болезни Анелькиной матери с готовностью и даже увлечением, присущим молодым adeptам науки, еще не оравленными сомнениями. При этом он то и дело вставлял в свои пояснения латинские термины, как будто беседовал с кем-либо из коллег-медиков. Этот крепыш, в чьих речах и взглядах чувствуется большая энергия, произвел на меня хорошее впечатление — я увидел в нем представителя того нового поколения, о котором мне столько говорил Снятынский, поколения, совсем непохожего на «гениев без портфеля». Бродя по длинным аллеям парка, мы завели в конце концов так называемый «интеллигентный разговор», состоявший главным образом из перечисления имен авторов и заглавий книг. Хвастовский то, что знает, знает, вероятно, основательнее меня, но я читал больше и, кажется, очень поразил его своей начитанностью. Временами он поглядывал на меня почти враждебно, — должно быть, считал узурпацией чужих прав то, что человек, которого он причисляет к аристократам, позволяет себе знать такие-то книги или таких-то авторов. Зато я подкупил его своим свободомыслием. Правда, либерализм мой состоит в том, что я допускаю все, ибо во всем сомневаюсь, но уже одно то, что человек с моим состоянием и положением в свете не является реакционером, окончательно расположило ко мне молодого радикала. Под конец мы беседовали как люди, друг друга понимающие и нашедшие общий язык.

Полагаю, что отныне доктор Хвастовский будет видеть во мне исключение из общего правила. Я уже давно заметил, что у нас в Польше у каждого демократа есть «свой» аристократ, к которому он питает особую слабость, подобно тому как у всякого шляхтича есть «свой» еврей, на которого не распространяется его неприязнь к евреям.

Перед тем как мы разошлись, я спросил Хвастовского о его братьях. Он рассказал, что один из них открыл в Плошове пивоварню (об этом я знал и раньше из письма тети), у другого — в Варшаве книжная лавка, где продаются учебники, третий окончил коммерческую школу, и Кромницкий взял его в помощники и увез на восток.

— Больше всех преуспевает наш пивовар, — сказал мне молодой доктор, — но все мы работаем не жалея сил и, может, чего-нибудь добьемся в жизни. Какое счастье, что отец потерял состояние, не то были бы мы теперь *glebae adscripti*¹, сидели бы каж-

¹ прикреплены к земле (лат.).

дый в своей деревеньке и еще, пожалуй, в конце концов разорились бы, как отец.

Несмотря на то что мысли мои были не только заняты, но прямо-таки поглощены другим, я слушал доктора с некоторым интересом. Вот они, люди не чересчур «рафинированные», но уже вышедшие из тьмы невежества! Оказывается, у нас в Польше есть люди, способные что-то делать и составляющие здоровое звено между расцветом культуры и варварством. Может быть, эти слои общества создаются только в больших городах, где они постоянно пополняются сыновьями разорившейся шляхты, которые, обладая крепкими мускулами и нервами, в силу необходимости усваивают менщанскую традицию труда. Я невольно вспомнил, как Снятынский раз кричал мне вслед на лестнице: «От таких, как ты, уже толку не будет, но из ваших детей могут еще выйти люди. Однако для этого нужно, чтобы вы разорились, иначе и внуки ваши не примутся за работу». А вот сыновья Хвастовского принялись за нее и прокладывают себе путь собственными руками. Не будь у меня состояния, я тоже был бы вынужден как-нибудь добывать средства к существованию. И, может, развил бы в себе энергию и решительность, которых мне так не хватало всегда.

Доктор скоро распрощался со мной — ему нужно было навестить еще одного пациента в Плошове, молодого студента варшавской духовной семинарии, сына плошовского крестьянина. У студента была последняя стадия чахотки. Тетя поместила его у себя в усадьбе, во флигеле, и каждый день она и Анелька навещали его. Узнав об этом, я тоже отправился к нему и, против ожидания, увидел не умирающего, а жизнерадостного, веселого юношу с лицом худощавым, но румяным. Однако, если верить доктору, эта бодрость — последняя вспышка догорающей лампы. За молодым ксендзом ухаживала его мать, и, благодарная моей тетюшке за ее заботы, она сразу излила на меня такой поток благословений, что я рисковал в нем утонуть.

Анелька не пришла навестить больного: она весь тот день не отходила от матери. Я увидел ее только за обедом, так же как и пани Целину, которую привозят к столу в кресле. То, что Анелька весь день провела у матери, было вполне естественно, но я вообразил, что она избегает встреч со мной. Наши отношения должны постепенно наладиться, но вначале, конечно, это будет делом трудным и щекотливым. Анелька так чутка, впечатлительна и добра, что ее не может не волновать положение, в котором мы очутились. Притом ей недостает светской опытности, которая помогает сохранять внешнюю непринужденность во всех самых трудных положениях. Такая выдержка приходит с годами, когда у человека начинают высыхать живые источники чувств и душа приспособляется к окружающим условиям.

Во всяком случае, я дал понять Анельке, что не испытываю ни обиды, ни ненависти, — так подсказало мне сердце. Я решил никогда не напоминать ей о прошлом и потому не добивался се-

годня разговора с глазу на глаз. За вечерним чаем мы беседовали на общие темы, о том, что нового у нас и за границей. Тетя расспрашивала меня о Кларе, которая очень ее заинтересовала. Я сообщил ей все, что знаю, и разговор незаметно перешел на артистов вообще. Для тети артисты — это люди, для того и созданные господом богом, чтобы было кому давать иногда благотворительные концерты или устраивать всякие зрелища с той же целью. Я утверждал, что артист, если сердце у него чисто и полно не жалкого себялюбия, а любви к искусству, может быть самым счастливым человеком на свете, ибо постоянно соприкасается с миром идеально прекрасного и бесконечного. Жизнь — источник всякого зла, искусство — источник только счастья. Это мое искреннее убеждение, основанное на наблюдениях. Анелюшка меня поддерживала, и я потому и записываю этот разговор, что меня поразило одно ее замечание, очень простое, но для меня полное значения. Когда речь шла о радости, доставляемой искусством, она промолвила: «Да, музыка дает наилучшее утешение». Я увидел в этих словах невольное признание, что она несчастлива и сознает это. Впрочем, я и раньше нисколько в этом не сомневался.

Разве такое лицо бывает у женщины счастливой? Анелюшка еще похорошела, с виду как будто покойна, даже весела, но лицо ее не светится бьющей из души радостью, и в нем заметна какая-то сосредоточенность, которой я прежде в нем не замечал. Днем мне бросилось в глаза, что на висках у нее кожа имеет желтоватый тон слоновой кости. И я не мог отвести от нее глаз. Смотреть на Анелюшку было неизъяснимым наслаждением. Я как бы припоминал ее и с каким-то странным, дразнящим и вместе сладостным чувством убеждался, что это то самое лицо, те же длинные ресницы, те же глаза, которые кажутся черными, хотя они не черные, те же затененные пушком губы. Я просто насытиться не мог этим превращением воспоминаний в реальную действительность. Есть в Анелюшке что-то неотразимо меня притягивающее. Если бы я увидел ее впервые среди тысячи прекраснейших женщин и мне предложили бы выбрать одну из этой тысячи, я знаю, что подошел бы прямо к ней, Анелюшке, и сказал: «Вот моя избранница!» Есть, быть может, и женщины красивее, но для меня ни одна не соответствует в такой степени тому типу женщины, который каждый мужчина хранит в своем воображении. Думается, Анелюшка не могла не заметить, что я все время ею люблюсь.

Уехал я в сумерки. Я настолько был поглощен впечатлениями этого дня и мои прежние предположения и надежды до такой степени разбиты в пух и прах, что я еще и сейчас не в силах разобраться в себе. Я ожидал встретить пани Кромпцкую, а нашел Анелюшку. Да, снова повторяю это. И один бог знает, чем это кончится для нас обоих. Я думаю об этом с чувством огромного счастья, но и какого-то замешательства. Ибо теоретически я был вправе предполагать, что в Анелюшке после замужества могут произойти психологические перемены, как в каждой женщине на ее

месте, и мог ожидать, что она хотя бы намекнет мне, будто она очень довольна, что выбрала не меня. Всякая другая не преминула бы таким образом потешить свое самолюбие... А я, зная себя, свою впечатлительность и нервность, готов был поклясться, что после этого уеду из Плошова, полный горечи, сарказма и гнева, но исцеленный. В действительности же все вышло совсем иначе. Доброта и прямота этой женщины так беспредельны, что никакой обычной мерой их не измерить. Что будет дальше, что станется со мной, об этом не хочу и думать. Жизнь моя могла плыть тихой и спокойной рекой в то море, куда уплывает все, — а теперь она водопадом низвергнется в пропасть. Будь что будет! В худшем случае меня ждут тяжкие муки. Но и до сих пор с этой пустотой в душе я не почивал на розах. Не помню кто, — кажется, мой отец, — говаривал, что из каждой жизни должно что-нибудь вырасти, ибо таков закон природы. Что же, если должно вырасти, значит вырастет. Ведь даже в пустыне скрытые силы жизни поднимают из недр земли пальмы в оазисах.

21 апреля

Считается, что я живу в Варшаве, но четыре дня подряд я провел в Плошове. Пани Целине лучше, а молодой ксендз Латыш умер позавчера. Доктор Хвастовский назвал его болезнь «образцовым процессом туберкулеза легких» и с трудом скрывает свое удовлетворение тем, что он с точностью чуть не до часа предсказал конец этого «образцового процесса». Мы навестили больного за двенадцать часов до его смерти, и он шутил с нами, был полон надежд, так как температура упала, — а между тем это понижение температуры объяснялось ослаблением организма. Вчера утром, когда мы с Анелькой сидели на крыльце, пришла мать бедного юноши и стала рассказывать нам о его кончине с характерной для крестьян смесью горя и полнейшей покорности судьбе. В моем сочувствии к ней крылось и любопытство: я до сих пор редко общался с простым народом и уделял ему мало внимания. Каким замечательным языком говорят эти люди! Я старался запомнить выражения старой крестьянки, чтобы потом их записать. Здороваясь, она сначала молча поклонилась в ноги мне и Анельке, а потом, прикрыв глаза ладонью, запричитала:

— Ох, Иисусе родимый, ох, пресвятая Мария! Помер мой сыночек, помер сердечный! Захотел уйти к господу, не остался с отцом-матерью! Не спасли его и заботы нашей пани... Напрасно ему вина давали, и вино не помогло. Ох, господи Иисусе Христе, ох, Иисусе, Иисусе!

В голосе ее звучало неподдельное материнское горе, но меня поразило, что в этих воплях и причитаниях звучит что-то вроде обрядового напева. Я никогда не слышал, как крестьянки оплакивают смерть близких, но готов поручиться, что все они вот так же голосят, словно соблюдая деревенскую традицию.

Анелюка со слезами на глазах и с чисто женским горячим состраданием стала расспрашивать старуху, как все случилось, понимая, что ей станет легче, когда она выговорится. И старая мать действительно чуть не с жадностью ухватилась за эту возможность.

— Как ушел от него ксендз со святыми дарами,— рассказывала она,— я ему и говорю: помрешь или не помрешь, на то воля божья. К смерти ты хорошо приготовился, как полагается, а теперь спи! Он говорит: «Ладно»,— и задремал, а я тоже, потому что, не в обиду господу богу будь сказано, целых три ночи перед тем без сна промаялась. Только после первых петухов пришел мой старик, разбудил меня, и сидим оба, а он все спит и спит. Я говорю старику: «Ох, уж не помер ли?» А старик мне: «Может, и помер». Тронул его, а он проснулся и говорит: «Мне лучше». Полежал спокойно так. Вижу — в потолок глядит и усмехается. Тут меня зло взяло. «Ты что же это, рыжий, говорю, над моим горем смеешься?» А это он смерти своей усмехался. Сразу задышал тяжело, бедняжка, и к рассвету его не стало...

Она снова заголосила, потом предложила нам пойти взглянуть на покойника.

— Я уже его обрядила, лежит красивый, как картинка.

Анелюка хотела было пойти с ней, но я ее удержал. Кстати, старуха через минуту уже забыла о своем предложении и стала нам рассказывать, как они бедны. Муж ее когда-то был зажиточным хозяином, но весь достаток пошел на ученье сына. Соседи откупали у них морг за моргом, и теперь у них осталась только хата, а земли ни клочочка. Тысячу двести рублей истратили на сына. Думали, на старости лет проживут при нем на покое, а сына-то бог прибрал.

Старушка с чисто мужицкой покорностью объяснила нам, что они с мужем уже решили — сразу после похорон пойдут «христардничать». Ее это, кажется, ничуть не пугало. Она говорила об этом даже как будто с удовлетворением, опасалась только, как бы в волостном правлении не было волокиты с выдачей свидетельства, которое ей зачем-то понадобилось. В ее рассказах тысяча конкретных подробностей перемежались с воззваниями к Иисусу и пресвятой богородице, слезами и причитаниями.

Анелюка побежала в дом и через минуту вернулась с деньгами, которые хотела отдать старухе, но тут мне пришла в голову мысль, сразу показавшаяся удачной, я остановил Анелюку и, обратясь к старухе, спросил:

— Так вы говорите, что истратили тысячу двести рублей на ученье сына?

— Да, ясновельможный пан. Думала, как дадут ему приход, будем жить при нем. А бог судил иначе, и вместо плебании пойдем мы на паперть милостыню просить.

— Так я вам дам эти тысячу двести рублей. Обзаведитесь всем, что нужно, и живите себе спокойно.

Я хотел тут же выполнить обещание, но у меня не было при себе денег. Решив взять нужную сумму у тети, я велел старухе прийти через час. Она была так ошеломлена, что несколько минут смотрела на меня молча, выпучив глаза, а потом с криком повалилась мне в ноги. Но мне удалось довольно быстро от нее отделаться — главным образом потому, что ей хотелось поскорее бежать к мужу с этой доброй вестью. Мы с Анелькой остались вдвоем, она тоже была взволнована и в первую минуту не находила слов. Потом стала повторять:

— Какой же ты добрый! Какой добрый!

А я пожал плечами и ответил так небрежно, как будто речь шла об естественном и самом обыкновенном деле:

— Ах, моя дорогая, я это сделал вовсе не по доброте и не ради этих людей, которых в первый раз вижу. Ты их жалеешь, вот я и захотел доставить тебе удовольствие. Иначе я отделался бы от них какой-нибудь мелкой подачкой.

Я сказал истинную правду. Эти люди интересовали меня не более, чем первый попавшийся нищий. А для того чтобы порадовать Анельку, я, не задумываясь, дал бы им вдвое или втрое больше. Сказал же я ей об этом умышленно, отлично понимая, что такие слова, сказанные женщине, означают очень много: это — почти признание в любви, хотя и облеченное в иную форму. Это все равно что сказать ей: «Для тебя я готов сделать все, потому что ты для меня — все». И при этом ни одна женщина не может отмахнуться от такого признания и не вправе оскорбиться. Я сказал это Анельке еще и потому, что именно так чувствовал. Я только замаскировал тайный смысл моих слов, сказав их тоном, каким говорят нечто само собой разумеющееся.

Однако Анелька поняла значение моих слов — она опустила глаза и не нашла, что ответить. Наконец она в явном замешательстве сказала, что ей нужно идти к матери, и оставила меня одного.

Я хорошо понимаю, что, поступая таким образом, вселяю в душу Анельки мысли ей чуждые и беспокойные. Но, испытывая угрызения совести и мучительную боязнь нарушить покой существа, за которое я отдал бы жизнь, я одновременно с удивлением замечаю в себе какую-то хищную радость — как будто я удовлетворяю присущие человеку разрушительные инстинкты. Кроме того, я уверен, что никакое сознание содеянного зла, никакие угрызения совести меня не остановят. У меня слишком сильный темперамент, чтобы я смог обуздать себя и устоять перед непреодолимым, невыразимым очарованием этой женщины. Вот теперь я поистине уподобился тому индейцу, который, попав в водоворот, сложил весла и отдался на волю волн. Я даже не думаю о моей вине, о том, что все могло быть по-другому и мне стоило только протянуть руку, чтобы она стала моей, эта женщина, о которой я сейчас говорю себе: «Для чего же стоит жить, как не для нее? Кого стоит любить, если не ее?» Я выпадаю в детерминизм, и мне уже часто кажется, что иначе и быть не могло, что

моя непригодность в жизни — наследие поколений, уже давно исчерпавших свой запас жизненных сил, что я был и буду таким, каким быть обречен, и мне не остается ничего другого, как только сложить весла.

Сегодня утром тетя, я и Анелька были на похоронах молодого Латыша. Погода все время стоит хорошая, и похороны не утомили моих дам, так как до костела и кладбища от нас недалеко. Удивительно своеобразны деревенские похороны. Во главе процессии ксендз, за ним едет телега с гробом, а дальше — тесно сбитая толпа крестьян и крестьянок. Все поют, и эти до жути унылые погребальные напевы напоминают какую-то халдейскую музыку. В хвосте процессии люди уже толкуют между собой сонными протяжными голосами, начиная каждую фразу словами: «Ох, милые вы мои», — которые слышались каждую минуту. Странно было видеть на похоронах яркую пестроту девичьих платков. Мы шли до костела рябиновой аллеей, и когда толпа выходила на просеки между деревьями, эти платки, желтые, алые, голубые, так и горели на солнце и придавали всему шествию такой веселый вид, что, если бы не присутствие ксендза, не телега с гробом и запах можжевельника, можно было подумать, что это свадьба, а не похороны. Вообще я заметил, что деревенские люди идут за гробом охотно, даже весело. Смерть не производит на них никакого впечатления — быть может, она им представляется вечным отдыхом и праздником?

Когда мы стояли у вырытой могилы, я видел на лицах вокруг только сосредоточенное внимание и любопытство: ни следа, ни тени раздумья о неумолимом конце, за которым следует что-то страшное и неведомое. Я посмотрел на Анельку в тот момент, когда она нагнулась, чтобы бросить горсть земли на гроб. Она была немного бледна, и по ее лицу, ярко освещенному солнцем, можно было читать как в открытой книге. Я готов был поклясться, что она в эту минуту думала о своей смерти. Мне же казалась просто дикой и чудовищной мысль, что это лицо, такое выразительное, полное щедрой молодости, о которой говорил и пушок на губе, и эти длинные густые ресницы, и вся его неповторимая прелесть, могло когда-нибудь стать мертвенно-белым, застывшим, исчезнуть в вечном мраке могилы.

Однако в это мгновение словно мороз сковал мои мысли. Мне пришло в голову, что первый обряд, на котором мы с Анелей вместе присутствуем в Плошове, — похороны. Как смертельно больной, не веря больше в медицину, готов поверить в снадобья знахарей, так смертельно больная душа, во всем сомневающаяся, цепляется даже за предрассудки и суеверия. Вероятно, никто так не близок к бездне мистицизма, как абсолютный скептик. Те, кто усомнился в идеях религиозных и социологических, кто не верит больше в могущество знания и разума человеческого, вся эта масса людей, мечущихся без догматов, людей высоко развитых, но не видящих перед собой дороги и утративших все надежды, в

наше время все глубже погружается в туман мистицизма. Мистицизм этот — бурная реакция против современной жизни, основанной на позитивном ограничении человеческой мысли, угашении идеалов, погоне за наслаждениями, на бездушном прагматизме. Дух человеческий начинает разрывать клетку, которая ему отведена, ибо это жилище слишком уж похоже на биржу. Кончается какая-то эпоха, наступает какая-то эволюция во всех областях. Я не раз с превеликим удивлением задумывался над тем, что, например, и крупнейшие и моднейшие наши писатели сами не знают, как недалеко они от мистицизма. Некоторые из них, впрочем, уже открыто признают себя мистиками. Какую бы книгу я ни раскрыл в последнее время, я нахожу в ней не отображение человеческой души, воли и страстей человеческих, а какие-то отвлеченные роковые силы, олицетворенные в страшных образах, силы, не зависящие от отдельных явлений и живущие сами в себе, как гетевские матери.

Я тоже, несомненно, стою на краю бездны. Вижу это, и мне не страшно. Бездна влечет людей, а меня она влечет даже так сильно, что, если бы было возможно, я бы сейчас уже опустился на самое дно ее — и опущусь, как только смогу.

28 апреля

Упиваюсь жизнью в Плошове, ежедневными встречами с Анелькой и забываю, что она жена другого. Этот Кромницкий, который застрял в Баку или где-то еще дальше, представляется мне не живым человеком, а призраком, чем-то нереальным, несчастьем, которое рано или поздно должно прийти так же неизбежно, как приходит смерть, — но ведь о смерти не думаешь постоянно. Однако вчера одна мелочь, самая обыденная, послужила мне чем-то вроде «*memento mori!*»¹. Анельке утром за чаем подали сразу два письма. Тетушка спросила у нее: «От мужа?» — и она ответила: «Да». Услышав это, я почувствовал то же, что, вероятно, чувствует приговоренный к смерти, которому в ночь перед казнью снится сладкий сон, а его внезапно разбудили и объявили, что пора стричь волосы и идти под нож гильотины. Я с необыкновенной ясностью постиг вдруг всю глубину своего несчастья, и целый день меня не оставляло это зловещее чувство, а тут еще тетушка словно задалась целью мучить меня: Анелька хотела отложить чтение писем на после завтрака, но тетя приказала ей читать сейчас, а затем осведомилась, как поживает Кромницкий.

— Спасибо, тетя, хорошо, — отвечала Анелька.

— А как его дела?

— Слава богу. Лучше, чем он ожидал.

— Когда же он вернется?

— Пишет, что выедет, как только будет возможно.

¹ «помни о смерти» (лат.).

И я вынужден был слушать эти вопросы и ответы. Если бы тетя и Анелька затеяли какой-нибудь невероятно циничный разговор, он меньше терзал бы мои нервы. Впервые со дня приезда сюда я почувствовал к Анельке неприязнь глубоко оскорбленного человека.

«Имей же хоть каплю человеколюбия и не говори при мне об этом человеке! Не благодари за вопросы о его здоровье и не говори «слава богу», — думал я. Анелька между тем распечатала второе письмо. Взглянув на дату, она сказала: «Это писано раньше», — и начала читать. Я смотрел на ее склоненную голову — пробор в волосах, лоб и опущенные веки, — и мне казалось, что чтение это длится невыносимо долго. Вместе с тем я понимал, что ее и Кромницкого объединяет целый мир общих интересов и целей, что они связаны неразрывными узами и, следовательно, не могут не ощущать эту тесную связь и близость друг другу. Я понял, что, если бы даже Анелька отвечала мне любовью на любовь, я, в силу вещей, останусь навсегда вне ее жизни. С того дня, когда я вновь увидел Анельку, и до сих пор я только чутьем угадывал всю глубину моего несчастья — так, как угадываешь глубину пропасти, которую заслоняет от тебя туман. Сейчас туман рассеялся, и я, заглянув в пропасть, увидел ее до самого дна.

Есть у меня, однако, свойство — когда что-нибудь уж очень гнет меня к земле, я неожиданно распрямляюсь. Любовь моя до сих пор не смела чего бы то ни было желать, но сейчас под влиянием ревности яростно жаждет поцеловать и уничтожить все неумолимые законы, узы и зависимость, отнимающие у меня любимую.

Анелька читала две-три минуты, не больше, но я за это время прошел всю шкалу душевных пыток. Притом меня, как всегда, осаждали мысли, содержавшие анализ и критику моих чувств. Я говорил себе, что мое возмущение и горечь почти смешны и похожи на женские капризы, что с такими нервами жить невозможно. Наконец я спросил себя: если такой простой факт, что муж пишет жене, а она читает его письма, совершенно выводит меня из душевного равновесия, что же будет, когда он придет, и ты каждую минуту будешь воочию убеждаться в их взаимной близости?

Я мысленно отвечал себе: «Тогда я его убью!» — и в то же время понимал, как это смешно и глупо.

Легко догадаться, что подобные мысли не способствовали моему успокоению. Анелька, кончив читать, сразу заметила, что я сам не свой, и с беспокойством поглядывала на меня. Этой нежной душе необходима дружеская атмосфера, иначе ей и тяжело и страшно. Объясняется это ее безмерной чуткостью. Помню, в те времена, когда старый Хвастовский еще обедал не у сына-пивовара, а в плоховской усадьбе, и тетушка моя за столом всегда с ним ссорилась, Анельку пугали и огорчали эти ссоры, пока она не убедилась в их безобидности. Сейчас ее, видимо, обеспокоило мое волнение, хотя она и не догадывалась о его причинах. Она

несколько раз заговаривала со мной о концерте Клары, а глаза ее спрашивали: «Что с тобой?»

Я отвечал ей холодными взглядами: я не мог простить ей этих писем и разговора с тетей. Как только мы отпили чай, я поднялся и объявил, что мне нужно ехать в Варшаву.

Тетя настаивала, чтобы я остался обедать, а после обеда, как и предполагалось раньше, поехал с нею вместе на концерт. Но я возразил, что у меня есть еще всякие дела в Варшаве. В действительности же мне просто хотелось побыть одному. Я велел запрягать.

— Надо бы как-нибудь отблагодарить панну Хильст, — сказала тетушка. — Вот думаю — не пригласить ли ее на денек в Плошов?

Тетушка, очевидно, считала приглашение в Плошов столь великой честью, что еще сомневалась, не будет ли это для Клары чересчур много.

Помолчав, она добавила:

— Если бы только я была уверена, что эта девушка из вполне приличного круга.

— Панна Хильст — друг румынской королевы, — сказал я резко. — И каждый год гостит у нее несколько недель. Если уж говорить о чести, то это она нам окажет честь...

— Ну, ну! — проворчала тетя.

Уже уходя, я спросил у Анельки:

— А ты поедешь с тетей на концерт?

— Нет, не могу оставить маму. И потом мне нужно писать письма.

— Ах да, я не принял в расчет чувств тоскующей супруги! Что ж, не стану тебе мешать...

Этим взрывом иронии я облегчил душу. Пусть знает, что я ревную! Она, как и ее мать и тетушка, — женщина из породы ангелов, не допускающих существования порока. Пусть же поймет, что я влюблен, пусть освоится с этой мыслью и начнет волноваться, бороться с нею. Внести в ее душу такой чуждый ей разлагающий фермент — это уже частичная победа. Увидим, что будет дальше.

Я испытал облегчение временное, но сильное, похожее на злорадство. Не успел я, однако, сесть в экипаж, как меня одолел гнев на себя. На душе оставался неприятный осадок, все, что я думал, и то, что сказал Анельке, казалось мне уже мелочным, ничтожным, следствием издерганных и привередливых нервов. Да, я вел себя не как мужчина, а как истеричная женщина...

Тяжело мне было во время этой поездки в Варшаву, тяжелее даже, чем тогда, когда я, вернувшись из-за границы, ехал в первый раз в Плошов. Я думал о том, что убийственная нежизнеспособность, роковым образом тяготеющая над такими людьми, как я, и надо мной в частности, объясняется преобладанием в нашей натуре женского начала над мужским. Я не хочу этим ска-

зять, что мы, как женщины, физически слабы, трусливы, лишены энергии. Нет, дело не в том! Предприимчивости и смелости у нас если не больше, то уж во всяком случае не меньше, чем у других, каждый из нас готов вскочить на необъезженного коня и ехать куда угодно. Но что касается психологии, то о мужчине такого сорта можно было бы говорить «она», а не «он». Наша духовная организация лишена спокойного синтетического равновесия, нечувствительного к мелочам. Все нас ранит, обескураживает, заставляет отступать, и оттого мы на каждом шагу жертвуем безмерно важным для безмерно малого. Мое прошлое служит лучшим тому доказательством. Ведь я пожертвовал огромным счастьем целой жизни, своим будущим и будущим любимой женщины только потому, что узнал из письма тетки о намерении Кромницкого посвататься к Анельке. Нервы мои встали на дыбы и понесли меня не туда, куда влекли мои желания. Это было проявлением болезни воли. А такой болезнью страдают женщины, а не мужчины. И потому не удивительно, что я и сейчас веду себя как истеричка. С этим проклятием я родился на свет, в нем виноваты поколения моих предков и все те условия, в каких приходится жить.

Сняв с себя такими рассуждениями всякую ответственность, я, однако, ничуть не утешился. В Варшаве я собирался посетить Клару, но помешала ужасная головная боль. Она прошла только к вечеру, перед самым приездом тети.

Тетя застала меня уже одетым, и мы скоро отправились на концерт. Он прошел очень удачно. Слава Клары привлекла на этот концерт весь музыкальный мир и всю интеллигенцию Варшавы, а благотворительная цель концерта — все высшее общество. Зал был переполнен. Я встретил здесь множество знакомых, в том числе и Снятыньских. Но я был в таком дурном настроении и нервы мои так развинтились, что меня все бесило. Неизвестно почему, на меня напал страх, что Клара потерпит фиаско. Случилось, что, выходя на эстраду, она потащила за собой по полу афишу, зацепившуюся за оборку ее платья. Я боялся, что это делает ее смешной. В бальном туалете, отделенная от толпы пустым пространством эстрады, Клара казалась мне чужой — как будто это была какая-то незнакомая пианистка, а не моя близкая приятельница. Я невольно спрашивал себя, неужели это та самая Клара, с которой меня связывает крепкая дружба. Но вот утихли приветственные аплодисменты. На лицах появилось то сосредоточенно-серьезное и «умное» выражение, которое помогает людям, ничего не понимающим в искусстве, изображать из себя знатоков и судей. Клара села за рояль и, как ни был я зол и на нее и на весь свет, я в душе не мог не признать, что у нее голова благородного рисунка и свободно сидит на стройной шее, что держит себя Клара, как подобает настоящей артистке, просто, без всякой рисовки. Она заиграла концерт Мендельсона, который я помню наизусть, — и потому ли, что знала, как много от нее ждут, или

была взволнована необычайно сердечным приемом публики,—но вначале она играла хуже, чем я надеялся. Разочарованный, я с удивлением посмотрел на Клару, и на одно мгновение глаза наши встретились. Выражение моего лица окончательно ее смутило, и следующие аккорды прозвучали так же бледно, без надлежащей силы и экспрессии. Теперь я уже не сомневался, что она потерпит фиаско. Никогда еще рояль, звуки которого еще приглушало теперь расстояние и плохая акустика зала, не представлялся мне таким жалким инструментом. По временам мне казалось, что я слышу не рояль, а прерывистые звуки арфы. Через некоторое время Клара заиграла увереннее, но все же, по-моему, весь концерт сыграла не очень хорошо. Каково же было мое удивление, когда по окончании его грянули такие аплодисменты, каких я ни разу не слышал даже в Париже, где Клару принимали с исключительным энтузиазмом. Музыковеды встали с мест и оживленно беседовали с рецензентами. На их улыбающихся лицах ясно читалось восхищение. Аплодисменты не смолкали до тех пор, пока Клара не появилась на эстраде. Она не поднимала глаз, и лицо ее, по которому я хорошо умею читать, словно говорило: «Вы очень добры, благодарю вас, но я играла плохо, и мне хочется плакать». Я хлопал вместе с остальными, за что Клара бросила на меня беглый укоризненный взгляд. Она настолько любит музыку, что ее не могут удовлетворить незаслуженные овации. Мне стало ее жаль. Я хотел было пойти за кулисы и ободрить ее подходящими словами, но неумолкавшие аплодисменты и крики «браво!» не давали ей уйти с эстрады. Она снова села за рояль и заиграла Сонату *cis-moll* Бетховена, которой не было в программе.

Ни одно музыкальное произведение не передает с такой выразительностью терзания великой души, охваченной каким-то трагическим беспокойством. Я говорю главным образом о третьей части сонаты, *presto agitato*. Музыка ее, видимо, отвечала волнению, пережитому в этот вечер Кларой, и уж, несомненно, гармонировала с *моим* настроением: в жизни не слыхал я *такого* исполнения Бетховена и не чувствовал так сильно его музыки! Я не музыкант, но думается, и музыканты до этого вечера не знали всего, что кроется в этой сонате. Определить впечатление, которое эта соната произвела на всех, можно только словом «гнет». Казалось, свершается что-то мистическое, рождалось видение потусторонней бесформенной пустоты, жуткой и печальной, едва озаренной лунным светом, а среди этой пустыни вопило, рыдало и рвало на себе волосы безнадежное отчаяние. Было это страшно и потрясающе, так как свершалось словно за пределами жизни,—и вместе с тем непреодолимо захватывало, ибо никакая музыка не приближает так человека к абсолютному. По крайней мере могу сказать это о себе. Я не более впечатлителен, чем другие, а слушая эту сонату, дошел чуть не до галлюцинаций. Мне чудилось, что в пустоте и бесформенном могильном мраке я ищу ко-

го-то, кто мне дороже целого мира, без кого я не могу и не хочу жить,— и вот ищу, сознавая, что мне суждено искать целую вечность и никогда не найти. Сердце у меня сжалось так сильно, что трудно было дышать. Я больше не обращал внимания на качество исполнения, но оно, видимо, было на такой высоте, когда уже и вопроса о нем не возникает. Весь зал был под таким же впечатлением, как и я,— все, не исключая и самой Клары.

Кончив, она несколько минут еще сидела за роялем, откинув голову и глядя куда-то вверх. Щеки ее побледнели, губы были полуоткрыты. Это не было эффектной позой, нет,— это, несомненно, было подлинное вдохновение и самозабвение. В зале стояла мертвая тишина, как будто люди еще чего-то ждали или, окаменев от скорби, ловили последние отголоски того рыдающего отчаяния, которое унес уже вихрь загробного мира. Потом началось нечто такое, что, вероятно, никогда еще не бывало ни на одном концерте: поднялся такой крик, словно слушателям грозила катастрофа. Несколько рецензентов и музыкантов подошли к эстраде. Я видел, как они наклонялись к руке Клары. У Клары слезы повисли на ресницах, но лицо ее было вдохновенно, ясно и спокойно. Я тоже подошел, чтобы пожать ей руку.

С первой минуты нашего знакомства и до этого вечера Клара всегда говорила со мной по-французски.

А сейчас она в первый раз, горячо отвечая на мое рукопожатие, спросила по-немецки:

— Haben sie mich verstanden? ¹

— Ja,— отвечал я. — Und ich war sehr undglücklich ².

И это была правда.

Продолжение концерта стало сплошным триумфом Клары. После концерта Снятынские увезли ее к себе на званый вечер. Я не захотел к ним ехать. Вернувшись домой, я почувствовал такую усталость, что, не раздеваясь, повалился на диван и пролежал добрый час без сна. Только позднее, собираясь сесть за дневник, я поймал себя на том, что все время не перестаю думать о похоронах молодого ксендза, об Анельке и о смерти. Я приказал подать себе свечу и взялся за перо.

29 апреля

Полученные Анелей письма Кромичского расстроили меня настолько, что я до сих пор не могу отделаться от скверного настроения. Правда, мой безрассудный гнев на Анелю уже проходит, чем яснее я вижу, что был незаслуженно суров с ней, тем сильнее раскаиваюсь и с тем большей нежностью думаю о ней. Я отлично понимаю, что самая сила фактов неумолимо связывает этих двух людей. Со вчерашнего дня я в когтях у этой мысли и

¹ Вы поняли меня? (нем.)

² Да. И я чувствовал себя очень несчастным (нем.).

потому не поехал сегодня в Плошов. Там пришлось бы следить за собой, и если не быть, то притворяться спокойным, а я сейчас на это не способен. Все во мне — мысли, чувства, ощущения — восстает против того, что случилось. Не знаю, что может быть ужаснее такого состояния, когда человек не приемлет совершившегося, протестует каждым фибром мозга и сердца, — и в то же время сознает, что он бессилен перед фактом. И, конечно, это еще только начало, только предвкушение того, что меня ждет. Ничего нельзя сделать, ровно ничего! Она замужем, она — жена Кромницкого, принадлежит ему и будет принадлежать всегда, а я не могу с этим примириться, потому что мне тогда жизнь будет не в жизнь, — и все-таки *должен* примириться. Это в порядке вещей — женщина, выйдя замуж, принадлежит мужу. Протестовать против этого порядка вещей? С таким же успехом я мог бы протестовать против силы земного притяжения. Так что же делать? Примириться? Но что проку в пустом, бессмысленном и напрасном слове «согласен», если душа никак на это не соглашается? Бывают минуты, когда я решаю уехать. Но я чувствую, что без этой единственной женщины жизнь для меня станет смертью, — а главное, я заранее знаю, что не уеду, не хватит силы. Не раз в жизни что-то подсказывало мне, что горе человеческое может превзойти всякое человеческое воображение, и бывает так, что о горе уже больше не думаешь, а оно, как море, разливается все шире и шире. И вот сейчас, кажется, меня самого унесло в это море.

Нет, это не совсем так. Кое-что мне еще остается. Я читал когда-то в мемуарах Амьеля, что поступок — это лишь мысль, сгущенная до материальности. Однако мысль может остаться и отвлеченной, чувство — никогда. Теоретически я эту аксиому знал и раньше, но только сейчас проверил ее на себе самом. Со дня моего возвращения в Плошов и до этой минуты я ни разу не сказал себе ясно и определенно, что жажду любви Анельки, но это ничего не значит. На самом деле я знал, что все еще хочу обладать ею. Каждый мой взгляд, каждое слово и поступок были устремлены к этой единственной цели. Чувство, оторванное от желания и действия, — ничто. Так пусть же слово будет сказано: да, я хочу! Хочу стать для Анельки самым желанным и любимым человеком, каким она стала для меня. Хочу, чтобы она, ее любовь, все ее мысли, душа ее принадлежали мне, — и не намерен ставить границ моим желаниям. Сделаю все, что велит мне сердце, пушу в ход все средства, какие разум найдет подходящими, чтобы добиться ее взаимности. Отниму у Кромницкого такую часть Анели, какую только смогу, и отниму ее всю, если только она на это согласится. Тогда у меня будет цель в жизни, я буду знать, для чего встаю утром, для чего подкрепляюсь пищей днем и сном ночью. Полного счастья я не узнаю — для этого мне нужно было бы не только иметь ее всю для себя, но и отомстить тому, кто ею обладал. Но у меня будет чем жить, а в

этом мое спасение. Это я понял давно, а сейчас я только выразил в словах все то, что творилось во мне, те желания и стремления, что заложены в любви и неотделимы от нее.

К черту все сомнения! Страх, что Анелька, полюбив меня, будет несчастна, должен отступить перед той великой, как мир, правдой, что любовь одна наполняет жизнь, питает ее и во сто тысяч раз дороже, чем жизнь без любви, жизнь в пустоте.

Уже не одну тысячу лет люди знают: хорошо и нравственно лишь то, что придает силы жить, а пустота и убожество жизни — путь в царство зла. Та минута, когда голова любимой склонится ко мне на грудь и дорогие губы прильнут к моим губам, будет торжеством добра и правды. И в гуще сомнений, заполнивших мой мозг, лишь эта мысль светит ясно, лишь о ней я могу сказать: верую, что это так. Теперь я постиг, что в жизни — самое надежное. Я прекрасно знаю, как велик разрыв между этой верой и ходячей условной моралью, выработанной для повседневного употребления в человеческом обществе. Знаю, что и для Анельки этот мой мир будет миром чуждых ей и устрашающих понятий, но я возьму ее за руку и введу в него, ибо с искренним убеждением могу ей сказать: «Вот где добро и правда».

В этих мыслях я нахожу поддержку. Но все-таки большую часть дня я был в очень тяжелом настроении: мучило сознание своего бессилия в тех условиях, в которых находимся мы с Анелей. Мне даже думалось: «А может, она любит Кромницкого?» И одно это предположение сводило меня с ума. К счастью, размышления мои прервал приезд доктора Хвастовского. Он приехал после полудня из Плошова, чтобы посоветоваться с пожилым врачом, раньше лечившим пани Целину, а перед отъездом зашел ко мне. От него я узнал, что пани Целина чувствует себя все так же, а у пани Кромницкой так сильно болела голова, что она даже не вышла в столовую к утреннему чаю.

Потом он еще долго говорил об Анельке, а я охотно слушал — это немного заменяло мне ее общество. Хвастовский, при всей своей молодости, человек интеллигентный. Он объявил мне, что поставил себе за правило относиться к людям недоверчиво — не потому, что они только этого и заслуживают, но потому, что так для него безопаснее. Однако о пани Кромницкой он с полным убеждением может сказать, что это натура высшая во всех отношениях. Он вообще говорил об Анельке с таким жаром, что у меня мелькнуло подозрение, не питает ли он к ней в глубине души чувство более пылкое, чем восхищение.

Это подозрение ничуть меня не рассердило, — вероятно, потому, что слишком велика дистанция между вчерашним студентом и Анелей. Напротив, я был ему признателен за то, что он сумел оценить Анельку, и долго не отпускал его от себя, так как разговор с ним спасал меня на время от тяжких мыслей. Между прочим, я спросил, какие у него планы на будущее. Он ответил, что прежде всего ему надо скопить немного денег на поездку за

границу, чтобы там поработать в клиниках, а по возвращении оттуда он намерен обосноваться в Варшаве.

— Что вы называете «обосноваться»?

— Я имею в виду научную работу при какой-нибудь больнице, возможно, и врачебную практику.

— И, конечно, женитесь?

— И для этого придет время, но сейчас я об этом еще не думаю.

— Не думаете, пока не придет любовь и не продиктует вам свою волю. Вы, как врач, знаете, что любовь — физиологическая потребность.

Молодой Хвастовский, видимо, хотел показать себя человеком трезвого ума, стоящим выше общечеловеческих слабостей. Он пожал широкими плечами, погладил подстриженные ежиком волосы и наконец изрек:

— Потребность эту я признаю, но не намерен отводить ей в жизни больше места, чем следует. Каждую потребность можно обуздать.

Сказав это, он победоносно усмехнулся. Однако тон моего ответа был вполне серьезен:

— Но если поглубже разобраться, то, пожалуй, любовь — единственное, ради чего стоит жить.

Хвастовский подумал с минуту.

— Нет! Есть много другого, ради чего стоит жить, — вот хотя бы наука, общественные обязанности. Я не против брака: человеку следует жениться и ради себя, и для того, чтобы иметь детей, это ведь тоже общественная обязанность. Но одно дело — брак, другое — вечные романы.

— Что вы хотите этим сказать?

— Хочу сказать, что мы, муравьи, строящие муравейник, мы, люди труда, не можем посвящать свою жизнь женщинам и любви. У нас на это просто нет времени. Это годится только для тех, кто может ничего не делать или не хочет ничем другим заниматься.

Хвастовский сказал это веско, тоном человека, который выступает от имени мудрейших и дельнейших в стране. Я же с удовольствием наблюдал этого здорового духом представителя человеческой породы. Должен признать — то, что он говорил, было вовсе не глупо, хотя меня несколько корбило его юношеское, почти мальчишеское самомнение. Это верно, в жизни людей труда и людей, ставящих перед собой серьезные задачи и цели, женщина и любовь к ней не играют такой огромной роли. Крестьянин женится, чтобы жениться и завести свое хозяйство. Способность его к глубокому чувству очень невелика, хотя поэты и романисты стараются убедить нас в обратном. Ученый, государственный деятель, полководец, политический вождь отводят женщине только небольшое место в своей жизни. Исключение составляют артисты. Любовь — их специальность, ибо само искусство

живо лишь любовью. А в общем, только в кругу людей богатых, где многие уклоняются от всякого труда, женщина властвует безраздельно и заполняет этим людям жизнь. Она занимает все их мысли, становится двигателем их поступков, единственной целью их усилий и стремлений. Иначе и быть не может. Возьмем, к примеру, меня. Правда, вращаясь я в обществе людей не таких уж богатых, но сам я — человек состоятельный. Благодаря этому я никогда ничем не занимался, а потому не было у меня и нет определенной цели в жизни. Быть может, было бы иначе, если бы я родился англичанином или немцем. Но надо мной, помимо всего прочего, тяготеет тот роковой «первородный грех», который получил название «l'improductivité slave». Ни одна из составных частей современной культуры не увлекала меня и не заполняла мне душу по той простой причине, что культура эта немощна и пропитана скепсисом. Если она сама предчувствует свой конец и не верит в себя, трудно требовать, чтобы я в нее верил и посвящал ей жизнь. И, в общем, я жил, как человек, висящий в воздухе, ибо не мог за что-либо уцепиться на земле. Будь я человеком сухим или очень тупым, с холодной душой и животной чувственностью, я свел бы жизнь к жалкому прозябанию или удовлетворению животных потребностей — и существовал бы кое-как. Но произошло как раз обратное. Я родился на свет с живым умом, с натурой страстной и незаурядными жизненными силами. Силам этим нужен был выход, и они могли найти его только в любви к женщине. Ничего другого мне не оставалось. Я сознаю это и покоряюсь, так как бороться с этой силой было бы тщетно. Любовь к женщине — вот единственный смысл, единственное оправдание моей жизни. Вся моя беда в том, что я, дитя большой цивилизации, рос криво, а потому и любовь моя — какая-то искривленная.

Простота понятий дала бы мне узнать счастье, но что уж об этом говорить! Каждый горбун рад бы избавиться от своего горба, но это невозможно, ибо он был горбатым еще в утробе матери. Так же моими «горбами» наградили меня ненормальная цивилизация и эпоха, породившая меня. Но, горбатый или прямой, я должен любить — и хочу любить!

4 мая

Разум мой окончательно подчинился чувству. Он превратился в такого возницу, который следит только за тем, чтобы экипаж не разбился. Вот уже несколько дней я в Плошове и все, что говорю и делаю, — только тактика любви. Доктор Хвастовский поступил очень умно, прописав Анельке моцион. Сегодня утром я встретил ее в парке. Бывают минуты, когда чувство, которое таишь в душе, прорывается вдруг необычайно бурно и почти пугает своей силой, хотя ты и раньше знал о нем. Такую минуту пережил я сегодня, когда на повороте аллеи увидел Анель-

ку. Никогда еще она не казалась мне такой прелестной и желанной, никогда еще не чувствовал я так сильно, что она *должна* быть моей. Она — единственная женщина, которой, в силу каких-то таинственных, еще только названных, но не исследованных наукой законов, суждено притягивать меня к себе, как магнит — железо, владеть мною, стать целью и содержанием моей жизни. Сегодня, когда я подходил к ней в парке, я подумал, что в ней слилось ее собственное очарование с прелестью этого утреннего часа, светлой солнечной весны, радостью птиц и растений, и она для меня больше, чем женщина, она — воплощение красоты, всех чар и благодатной щедрости природы. И еще я подумал: если природа создала ее такой, что она пленяет меня сильнее, чем всякого другого мужчину, то тем самым она предназначила ее мне. А между тем мои права на нее попорчены ее замужеством. Кто знает, может быть, все уродства жизни порождены нарушением такого рода прав, и не в этом ли причина несовершенства нашего мира.

Неверно люди говорят, что у любви повязка на глазах. Напротив — ничто, ни одна мельчайшая черта не ускользает от ее взора. В любимом видишь все, все замечаешь, — но это «все», расплавленное в огне чувства, сливается в одно великое и простое «люблю». Подходя к Анельке, я заметил, что глаза у нее блестят словно со сна, а по лицу и светлому ситцевому платью скользят зелено-золотые отблески солнечных лучей, просочившихся сквозь молодую листву грабов. Видел я и то, что волосы ее заколоты кое-как, свободная блузка удивительно изящно обрисовывает стройный стан и плечи, что в ее прическе и туалете заметна некоторая утренняя небрежность и от нее так и веет свежестью, делающей ее еще в тысячу раз пленительнее. Не ускользнуло от моего жадного внимания и то, что в этой аллее высоких грабов Анелька кажется миниатюрной и такой юной, почти девочкой. Словом, я видел все, но все эти впечатления слились в восторг человека, который любит без меры.

На мое «доброе утро!» Анелька ответила как-то смущенно. Последние дни она меня боится, потому что я гипнотизирую ее каждым словом, каждым взглядом. Я уже возмущил покой ее души, заронил в нее фермент. Она не могла не понять, что я все еще люблю ее, но ясно, что она ни за что на свете не хочет в этом признаться даже себе самой. По временам у меня бывает такое ощущение, словно я держу в руке голубя и слышу, как под моими пальцами тревожно бьется его испуганное сердечко.

Мы шли рядом в неловком молчании. Я умышленно не прерывал его. Знаю, что эта неловкость между нами Анелю мучает, но это делает ее в некотором роде моей соучастницей и приближает меня к цели. В окружавшей нас тишине слышен был только скрип песка под ногами да веселый свист иволг, которых здесь в парке множество.

Наконец я завел разговор, направляя его, как хотел. Ум мой теперь замкнут для всех внешних впечатлений, не связанных с моей любовью, зато в области чувства я проявляю удвоенную восприимчивость и прозорливость — так люди, погруженные в магнетический сон, видят кое-что яснее, чем в нормальном состоянии.

Разговор быстро перешел на личные переживания, и я рассказывал Анельке о себе тоном интимно-доверительным, как говорят с самым близким человеком, который один имеет право все знать о тебе. Таким образом, между нами возникло чувство близости и взаимного понимания, целый мир общих интересов, в котором было место только для нас двоих. Такая близость должна бы существовать только между нею и мужем, — значит, я как бы вел ее к духовной измене мужу и вел так осторожно, чтобы она не могла этого заметить.

Однако эта чуткая душа инстинктивно понимала, что мы вступили на какой-то необычный путь. Я словно вел ее за руку, уводя все дальше и дальше, но все время при этом ощущал с ее стороны какое-то внутреннее сопротивление. Мне было совершенно ясно, что сопротивление это усилится, как только я быстрее увлеку ее вперед и опасность станет уже менее неуловима. Но я был все-таки уверен, что преимущество на моей стороне и что я постепенно смогу довести ее до того, чего хочу.

Пока же я умышленно говорил о прошлом.

— Помнишь, в старые добрые времена ты раз спросила меня, почему я не живу здесь, на родине, и зачем допускаю, чтобы пропадали даром те способности, которые видят во мне люди. Я помню каждое твое слово. Это было в тот вечер, когда я поздно вернулся из города, а ты меня дождалась... Ты себе не представляешь, какое влияние ты имеешь на меня. В то время я не мог сразу подыскать себе какое-нибудь дело, так как пришлось уехать в Рим. А потом умер отец. Но слова твои запали мне в душу, и скажу откровенно: то, что я вернулся в Польшу и решил тут поселиться навсегда и чем-нибудь заняться, это твоя заслуга. И если я в конце концов сделаю что-либо путное в жизни, этим я буду обязан тебе.

С минуту оба мы молчали. В парке стояла тишина, только по-прежнему свистели иволги. Анелька, видимо, искала слов для ответа. Наконец она сказала:

— Не могу поверить, чтобы такой человек, как ты, не имел других, более серьезных причин переменить свою жизнь. Ты отлично знаешь, что это — твой долг. А *то* — дело прошлое, с тех пор все переменялось...

— Кое-что переменялось, а кое-что нет, — возразил я. — Может, принявшись за какое-нибудь дело, я со временем увлекусь им и оно станет любимым делом моей жизни. Но такой человек, как я, который, что ни говори, никогда не считал нужным заниматься чем-нибудь, должен иметь особые личные причины для

коренной перемены жизни. И чем более жизнь ему в тягость, тем нужнее такой душевный толчок.... Я несчастлив — к чему лгать тебе? Сознание общественного долга — вещь прекрасная, но, к сожалению, у меня его нет. Ты лучше меня, благороднее, ты могла бы мне его внушить... Вышло иначе... Но я и сейчас помню, чего ты когда-то от меня требовала. Только ради тебя и при твоей помощи я смогу за что-нибудь приняться.

Анелюшка пошла быстрее, словно торопясь вернуться в дом, и почти шепотом сказала:

— Не говори так, Леон, прошу тебя, не надо! Ты сам понимаешь, что я не могу согласиться на такие отношения...

— Почему? Не пойми меня превратно. Ты для меня навсегда останешься горячо любимой сестрой. Только это я и хотел сказать.

Анелюшка стремительно протянула мне руку, а я поднес эту руку к губам медленно и с глубочайшей почтительностью.

— Да, всегда, всегда буду тебе сестрой, — торопливо сказала она.

Я видел, что у нее камень с души свалился, так успокоило ее, тронуло и подкупило одно это слово «сестра». Это помогло и мне сохранить самообладание, — а в первое мгновение, когда я коснулся губами дорогой руки, у меня даже в глазах потемнело и страстно захотелось обнять Анелюшку, прижать к груди и сказать ей всю правду.

А у Анелюшки лицо прояснилось, она повеселела. Чем ближе мы подходили к дому, тем она становилась спокойнее, а я, удивившись, что такой тактикой легче завоевать ее доверие, продолжал тоном обычного разговора:

— Видишь ли, сестренка, вокруг меня — такая страшная пустота. Отец умер, тетя — святая женщина, но нам с ней трудно найти общий язык, она не понимает новые времена и новых людей. У нее и у меня на все совершенно разные взгляды. Жениться я никогда не женюсь... Подумай только, как я одинок! Никого у меня нет. Не с кем поделиться мыслями или планами, некому поверять свои огорчения... Пустыня — и только. Скажи сама — удивительно ли, что я ищу сочувствия там, где надеюсь найти его? Я похож на нищего калеку — стоит он у ворот и ждет, не вынесут ли ему несколько грошей. Сейчас этот попрошайка и вправду очень бедный, стоит под твоим окном и вымаливает каплю милосердия и дружеского сочувствия. Он и думать не смеет ни о чем, кроме милостыни. А в милостыне ты ведь ему не откажешь, да?

— Да, Леон, да, — отвечала Анелюшка. — Тем более если тебе так тяжело...

Она не договорила — голос ее оборвался, губы дрожали. Опять потребовалось мне огромное усилие воли, чтобы не упасть к ее ногам. Ее волнение так меня тронуло, что к горлу подступил комок,

— Анелька, Анелька! — произнес я, не находя других слов. А она замахала руками, словно обороняясь, и наконец шепнула сквозь слезы:

— Сейчас... сейчас пройдет... Не могу я такой войти в дом... Извини...

И она быстро ушла.

— Прости меня, Анелька! — крикнул я ей вслед.

В первый момент я хотел бежать за ней, потом подумал, что лучше ей побыть одной, и только проводил ее глазами. Она побежала назад, в ту же аллею, по которой мы гуляли, потом свернула в сторону. По временам она скрывалась за деревьями, затем светлое платье снова мелькало среди них, белея на солнце. Я видел издали, как она то закрывала, то открывала зонтик, словно этими механическими движениями пробовала себя успокоить. А я все время говорил ей мысленно самые нежные слова, какие может изобрести любовь. Я не мог себя заставить уйти, не заглянув еще хоть раз ей в лицо. Мне пришлось ждать довольно долго. Наконец она вернулась, но поспешно прошла мимо, словно опасаясь нового волнения. Только на ходу улыбнулась мне ангельски-кроткой улыбкой и сказала:

— Прошло! Прошло!

На ее лице, разбурявшемся от быстрой ходьбы, уже не видно было слез. Я остался один, опьяненный безумной радостью. Душа была полна надежды, а в голове — одна мысль: «Она любит меня, она пробует защищаться, не поддается, обманывает себя, но она любит». Иногда самый рассудительный человек от избытка чувств может дойти до сумасшествия, и я в эти минуты был к нему близок. Мне хотелось бежать в глубь парка, кататься там по траве и кричать во весь голос, что Анелька меня любит, любит!

Сейчас, уже спокойнее вспоминая этот взрыв радости, я вижу, что она складывалась из множества чувств. Был тут и восторг художника, который чувствует, что задуманный шедевр ему удастся, было, пожалуй, и удовольствие паука, уверенного, что мухе не миновать его сетей. Но была и нежность, и жалость, и все те добрые человеческие чувства, которым, по словам поэта, радуются ангелы на небесах. Жаль мне было этой незащищенной бедняжки, которая непременно попадет ко мне в руки, и в то же время эта жалость разжигала любовь, а значит, и жажду обладать Анелькой. Я испытывал угрызения совести из-за того, что ее обманываю, и вместе с тем чувствовал, что еще никогда в жизни не говорил так искренне и от всего сердца.

Ведь не лгал же я, моля ее о сочувствии и дружбе! Они тоже мне нужны, как воздух. Я только не высказал ей всех своих желаний, — для этого еще не пришло время. Я не сказал всей правды, чтобы не испугать этой дорогой мне, робкой души. В конце концов я ведь стремлюсь и к своему и к ее счастью, избрав ту дорогу, которая вернее других ведет к нему,

Небо безоблачно, и отношения между нами — тоже. Анелька спокойна и счастлива. Она свято верит, что я питаю к ней одни лишь братские чувства, и, так как любить меня, как брата, совесть ей разрешает, она дала волю сердцу. Я один знаю, что это только лояльный способ обманывать самое себя и мужа, ибо под прикрытием «сестринской привязанности» таится и растет в ней иное чувство; но, разумеется, я и не подумал вывести ее из заблуждения, пока это чувство не станет непреодолимым... Скоро оно охватит ее, как огонь, и его не погасит ни воля, ни сознание долга, ни стыдливость этой женщины с душой белоснежной, как лебедь. Пока и мне хорошо, так хорошо, что, кажется, ничего больше не желал бы, но только при том условии, чтобы никто другой не имел на нее никаких прав. Мне все чаще и чаще приходит мысль, что, любя ее больше, чем все, я имею на нее и наибольшие права. Что может быть логичнее и справедливее? Ведь по этике всех народов и всех религий мира основой союза мужчины и женщины должна быть любовь.

Но сейчас я так умиротворен и счастлив, что хочу не рассуждать, а жить одними чувствами. Между нами установились самые сердечные и непринужденные отношения, как между старыми друзьями. Да, мы созданы друг для друга. Как нас тянет друг к другу, как бедная девочка отогревается и блаженствует в соблазнительном тепле моих «братских» чувств! За все время, что я здесь, на родине, я не видел Анельку такой веселой, как сейчас. Раньше я не раз, глядя на нее, вспоминал шекспировского «бедного Тома». Таким натурам любовь нужна, как воздух, а этот Кромидский, занятый коммерцией, недостаточно ее любит, да и не способен любить. Она вправе была бы жаловаться и повторять за Шекспиром: «Бедному Тому холодно». Я не могу думать об этом без волнения и в душе даю себе клятву, что, пока я жив, ей не будет холодно.

Если бы в любви нашей было что-то дурное, мы не знали бы такого душевного мира. Хотя Анелька и не называет своего чувства по имени, все равно — это любовь. Весь нынешний день был для нас настоящей идиллией. Я прежде не любил воскресенья, а сегодня узнал, что воскресенье может все, с утра до вечера, быть сплошной поэмой, в особенности в деревне. Сразу после чая мы пошли в костел к ранней обедне. С нами пошла и тетущка. Даже пани Целина, по случаю чудесной погоды, попросила, чтобы ее отвезли туда в кресле. Молящихся в костеле было немного, — большинство ходит только к «большой», то есть поздней обедне. Сидя на скамье подле Анельки, я блаженствовал, воображая, будто она моя невеста. По временам я поглядывал на ее милый профиль, на руки, сложенные на пюпитре, и мне невольно передавалась та глубокая сосредоточенность, которая была в ее позе и лице. Страсть моя дремала, мысли были чисты,

и я любил ее в эти минуты любовью идеальной, чувствуя, как никогда, что она ничуть не похожа на тех женщин, которых я знал до нее,— и во сто крат чище и лучше их.

Давно я не был в таком настроении, как в это утро в деревенском костеле. Создавало его и присутствие Анельки, и атмосфера торжественности, царившая в костеле, слабое мерцание свеч во мраке алтаря, и радужные лучи света, струившиеся сквозь цветные стекла, и чирикание воробьев за окнами, и громкий голос ксендза, служившего обедню. Во всем этом чувствовалась еще как бы сонная нега раннего утра, и все действовало необыкновенно успокоительно. Мысли мои струились так же плавно и тихо, как дым из каминов перед алтарем. В душе просыпалась готовность к самоотречению, и внутренний голос твердил: «Не мутиты этой прозрачной воды, пощади ее чистоту».

Между тем обедня кончилась, и мы вышли из костела. У входа я с немалым изумлением увидел старых родителей умершего Латыша: они сидели на земле с деревянными чашками в руках и просили милостыню. Тетушка, которой было известно о моем даре, увидев их, вскипела и стала их бранить, но старуха Латыш, протягивая нам свою чашку, спокойно возразила:

— Что пан нам пожаловал, то само по себе, а воля божья сама по себе. Супротив божьей воли нельзя идти. Коли нам Иисус велел тут сидеть, так и будем сидеть. Ныне и присно и во веки веков, аминь.

Против таких умозаключений спорить трудно. Меня особенно восхитило это «во веки веков, аминь», так что я даже, забавляясь оригинальностью положения, подал им милостыню. Народ наш верует главным образом в предопределение и, слепо ему покорный, по-своему сочетает эту веру с христианской религией. Старики Латыши, получив от меня тысячу двести рублей, теперь богаче, чем были когда-либо, и все-таки пошли побираться в убеждении, что им так предопределено, и это предопределение старушка называет по-своему: «Божья воля».

Мы возвращались домой. Колокола уже сзывали к поздней обедне, и навстречу нам к церкви шли толпы прихожан. Крестьяне и крестьянки с дальних хуторов гуськом брели межой через поля, среди хлебов, хотя еще зеленых, но поднявшихся уже высоко благодаря ранней весне. Куда ни глянь, пестрели в воздухе платки девушек, как разноцветные маки среди зелени. Кстати сказать, нигде во всей Европе не встретишь таких широких просторов, как у нас. И еще поражает необычайно праздничное настроение, царящее здесь по воскресеньям не только среди людей, но как будто и в природе. Правда, погода вообще стояла великопная, но казалось, что ветер не дует сегодня только по случаю воскресенья, и хлеба не колышутся в поле, и листья на тополях недвижны, ибо празднуют с нами воскресенье. Повсюду,

царила блаженная тишь, глубокий покой, повсюду — море света и веселая пестрота воскресных нарядов.

Я стал объяснять Анельке с точки зрения художника, в чем красота окружающего нас пейзажа и красочных пятен, удивительно гармонирующих с голубыми тонами воздуха. Потом мы говорили о крестьянах. Признаюсь, я вижу в них только сборище более или менее живописных моделей. Анелька же относится к ним совсем иначе. Она рассказала мне много характерных подробностей их жизни, и печальных и веселых. Разговор и прогулка ее оживили, и она была так прелестна, что я, глядя на нее, невольно твердил про себя четыре последних строчки стихотворения, которое написал еще в университетские годы и успел позабыть все, кроме этих строк:

Дивлюсь только я, что цветы
Не растут у тебя под ногами.
Ведь ты — воплощение весны,
Ты — май, к нам слетевший из рая.

Разговор опять зашел о Латышах, вернее — о старой Латышихе, рассуждения которой нас изрядно насмешили. Пользуясь тем, что тетушка осталась позади с пани Целиной, которую слуга вез в кресле, я мог говорить свободно и, применив к себе философию Латышихи, напомнил Анельке о нашей недавней прогулке в парке.

— Я тоже просил милостыни, — сказал я. — И ты мне ее подала. Ну, а теперь я знаю, что это меня ни к чему не обязывает, и я вправе сесть на паперти с деревянной чашкой в руках.

— Ага, и просить подаяния у других добрых душ! — подхватила Анелька. — Тетя как раз собирается пригласить одну такую добрую душу на завтра в Плошов. Теперь я понимаю!

Я возразил, что такая громадина, как Клара Хильст, в одном сердце не поместится, так что любить ее надо было бы по меньшей мере втроем. Но Анелька не переставала меня поддразнивать и, грозя пальцем, повторяла:

— Знаю твой секрет, знаю!

— Напрасные подозрения! Сердце мое полно одних лишь братских чувств, и в нем царит безраздельно та злючка, которая меня сейчас дожимает насмешками.

Анелька перестала смеяться и грозить мне пальцем. Она замедлила шаг, и через минуту старшие поравнялись с нами. Все-таки весь день прошел безоблачно и так весело, что я часто чувствовал себя снова студентом. Глазами я, правда, говорил Анельке «люблю», но страсти во мне молчали: слишком дорога была она мне в тот день. Тетушка тотчас после завтрака уехала в Варшаву, а я остаток дня просидел в комнате пани Целины — читал ей вслух письма Монталамбера, с которым отец мой когда то переписывался. Письма эти нагнали бы на меня изрядную скуку, если бы не присутствие Анельки. Поднимая глаза от книги, я

встречал ее взгляд, и сердце мое ширилось от радости, ибо, если чутье мне еще не изменило, она смотрела на меня, как смотрит женщина чистая и невинная, которая, сама того не зная, любит всем сердцем. Что за счастливый день! Вечером вернулась тетя и объявила, что завтра приедут гости: Снятынские и Клара Хильст.

Уже довольно поздно, но мне не спится — жаль расставаться с впечатлениями сегодняшнего дня. Никакой сон не может быть чудеснее их. Притом парк весь звенит соловьиными песнями, а во мне еще крепко сидит старый романтик! Ночь такая же прекрасная, каким был день, небо усыпано звездами. Думаю об Анельке и говорю ей мысленно: «Покойной ночи!» Сто раз повторяю эти слова. Вижу, что во мне, кроме «l'improductivité slave», есть еще вдобавок типично польская сентиментальность. Не знал этого до сих пор. Ну, да все равно. Как я ее люблю!

13 мая

Клара и Снятынские не приехали. Они известили нас, что приедут завтра, если погода будет подходящая. Сегодня над Плошовом пронеслась такая гроза, какой здесь и старожилы не помнят. Около десяти часов утра поднялся жаркий вихрь и затмил свет облаками пыли. Он дул не все время, но до полудня его покровы были так часты и так сильны, что деревья гнулись до земли. Наш прекрасный парк наполнился треском ломавшихся сучьев, среди клубов пыли кружились тучи сорванных ветром листьев. Могучая липа, росшая у правого флигеля, где умер молодой Латыш, раскололась надвое. Было нестерпимо душно, легким не хватало воздуха. Казалось, этот ветер выходит из пасти какой-то раскаленной печи и несет с собой смертельный угар. Привыкнув в Италии к сирокко, я переносил это довольно легко, но пани Целина жестоко страдала, Анелька страдала за нее, тетя в раздражении задала головомойку старому Хвастовскому за опустошения в парке. Вспыльчивый шляхтич за словом в карман не полез и, до сих пор помня «Одиссею» (видно, в школе его не раз драли за уши, чтобы лучше учил Гомера), ответил тетушке, что если бы он был богом ветра Эолом, то не служил бы у нее управляющим и не должен был бы терпеть несправедливые нападки. Тетя на сей раз быстро уgomонилась, — вероятно, потому, что небо грозило новыми бедствиями. После полудня буря внезапно утихла, но стали надвигаться огромные гряды туч, то траурно-черные, то медно-красные с золотой опушкой. По временам становилось темно, как ночью, и пани Целина просила зажечь лампы, потом мрак сменялся зловещим красным светом. Вся природа как будто замерла от страха. Хвастовский побежал распорядиться, чтобы пригнали скотину с поля, но оказалось, что пастухи уже до его приказа сами догадались это сделать: скоро мы услышали жалобное мычанье коров, в этом затишье перед бурей доносившееся

до самой усадьбы. Тетя, схватив лоретанский звонок, забегала вокруг дома, неистово звоня. Я даже не пытался объяснить ей, что этот звон в таком неподвижном воздухе может скорее вызвать, а никак не предотвратить гром и молнию. Отлично зная, что ничем ей помочь не могу, я все-таки сопровождал ее в этой экспедиции, потому что совестно было оставлять ее одну в опасности. Тетушка была просто великолепна, когда, подняв голову, глядела с вызовом на громады черных и медных туч и грозила им своим звонком. Я не жалел, что пошел с нею, ведь я видел перед собой как бы символическую картину: в минуту, когда все живое трепещет и, припадая к земле, замирает от страха перед грозой, одна лишь вера ничего не боится, вызывает стихии на бой. Да, что ни говори, а вера — это источник неизмеримой силы в душе человеческой.

Мы вернулись в дом, когда первые удары грома покатались по небу. Через несколько минут грохот стал непрерывным. Создавалось впечатление, будто гром ударяет по настилу из туч, настил этот каждый миг рушится и с неописуемым треском валится на землю. Молния ударила в пруд в конце парка, а затем тотчас же вторая — где-то ближе, и даже стены нашего дома задрожали до самого основания. Дамы мои начали молиться, а я переживал минуты крайне неприятные: мне казалось, что молиться вместе с ними будет с моей стороны лицемерием, а стоять в стороне — похоже на позу плохо воспитанного умника, который не желает считаться с освященным веками деревенским обычаем, а главное — естественным страхом слабых женщин. Впрочем, я скоро понял, что ошибаюсь, приписывая им страх: лица их были спокойны и даже ясны. Видно, эта традиционная молитва казалась им такой надежной защитой от всяких опасностей, что в сердцах их больше не было страха. Глядя на них, я думал еще, что я такой чужой среди этих трех польских женщин. Каждая из них знает в десять раз меньше меня, но, если мерить их обычной человеческой мерой, стоит в десять раз больше меня. Они подобны книге с небольшим числом страниц, но полной ясных и простых правил, а я — многотомному изданию, в котором нет ни единой бесспорной истины, и в каждой из этих истин я первый готов сомневаться.

Но эти неприятные размышления продолжались очень недолго — их рассеяла гроза, принимавшая все более угрожающие размеры. Снова налетел ветер, да такой сильный, что парк клонился под его напором. В иные минуты ветер вдруг утихал, и тогда потоки дождя поливали землю. Я видел не капли, а непрерывные струи воды, словно сеть соединявшие небо и землю. Аллея парка превратилась в бурные реки. Порой внезапный страшный порыв ветра распылял влагу, висевшую в воздухе, — и все кругом закрывал туман, такой густой, что за шаг ничего не было видно. Оглушительная канонада грома не утихала ни на мгновение. Воздух был насыщен электричеством. Я чувство-

вал, как кровь стучит у меня в висках,— даже в комнатах ощущался тот удушливый запах бури, который распространяется после ударов грома. В конце концов и мысли мои и страсти разбушевались по примеру стихий. Я забыл о грозе, я видел только одну Анельку и, уже совершенно не владея собой, подошел к ней и спросил:

— Хочешь поглядеть на грозу?

— Хочу.

— Так пойдем в ту комнату... Там венецианское окно.

Она пошла за мной, и мы стали у окна. Вдруг наступил сплошной мрак, и каждые несколько секунд этот мрак рассекали молнии, белые и багровые, открывая глубину небес, освещая наши лица и залитый дождем мир за окном. Анелька была спокойна и с каждым блеском молнии, освещавшим ее, казалась мне все более желанной.

— Не страшно тебе? — спросил я шепотом.

— Нет.

— Дай руку.

Она удивленно посмотрела на меня. Еще миг — и я схватил бы ее в объятия, припал бы губами к ее губам, а там — будь что будет, пусть хоть весь Плошов провалится под землю! Но Анельку испугала не гроза, а мой шепот и выражение моего лица. Быстро отойдя от окна, она вернулась в соседнюю комнату, где сидели мать и тетка.

А я остался один, рассерженный и униженный. Если бы она не ушла, я, несомненно, злоупотребил бы ее доверием, но сейчас считал, что она оскорбила меня своей недоверчивостью. И решил дать ей это понять. Взволнованный тем, что произошло, я не скоро пришел в равновесие. Еще добрый час стоял я у окна, бессмысленно глядя на слепящие молнии. А между тем за окном становилось светлее, и наконец в щель меж разорвавшихся туч выглянуло солнце, такое яркое, словно вымытое; оно как бы удивлялось тому, что натворила гроза.

А бед она принесла немало: по аллеям парка еще текли желтые пенящиеся ручьи, унося сломанные ветви. Там и сям лежали сваленные бурей деревья, а на стволах тех, что уцелели, даже издалека заметны были ссадины, точно зияющие раны. Куда ни глянь, везде опустошение и смерть, как после боя.

Когда вода немного схлынула, я пошел к прудам, чтобы осмотреть повреждения. Весь парк неожиданно закишел людьми, которые весело, с удивительной энергией стали собирать сломанные сучья, рубить упавшие деревья. Это окрестные безземельные крестьяне пробрались с топорами в наш парк через поваленный бурей забор, чтобы запастись дровами. В сущности, мне это было безразлично, но так как они вторглись в парк без разрешения и вели себя, как дикари, а я и без того был зол, то я стал разгонять их с гневом, возраставшим из-за их сопротивления. Я уже пригрозил им, что пожалуюсь войту, но вдруг за моей спиной

самый дорогой для меня в мире голос произнес по-французски:

— Разве это плохо, Леон, что они очистят парк?

Я обернулся и увидел Анельку в платочке, завязанном под подбородком. Обеими руками она подобрала платье, открыв по щиколотку маленькие ноги в высоких сапожках, и, наклонясь вперед, просительно смотрела на меня.

Гнев мой вмиг испарился, я забыл недавнюю обиду и только смотрел, смотрел на нее, не мог досыта наглядеться.

— Ты приказываешь? — спросил я. Затем обратился к крестьянам: — Благодарите пани и можете забирать дрова.

Этот приказ они выполнили очень охотно. А мне доставляло огромное удовольствие то, что некоторые из них, не зная, кто такая Анелька, называли ее «паненка». Был бы Плошов мой, я бы по одному ее слову позволил им вырубить весь парк... Через полчаса весь бурелом был убран, и парк действительно принял более веселый вид. Бродя вдвоем по аллеям, мы с Анелькой находили множество ласгочек и других птиц, мертвых и полуживых, насквозь промокших. Я подбирал их и, передавая Анельке, касался при этом ее рук, смотрел ей в глаза, и на душе у меня было легко и радостно. Снова наступила идиллия, а с нею непринужденная веселость. Я ликовал в душе, видя то, чего не сознавала Анелька, — что в нашей якобы братской дружбе было вдвое больше нежности, чем может и должно быть между самыми любящими родственниками. Я больше не сомневался, что Анелька, сама того не сознавая, питает ко мне чувства совершенно такого же рода, как мои — к ней. Итак, мои надежды и планы уже более чем наполовину осуществились, оставалось только добиться, чтобы Анелька поняла, что любит меня, и перестала бороться со своей любовью.

Думая об этом сейчас, я счастлив и с бьющимся сердцем говорю себе то, что уже когда-то писал в дневнике: ни одна женщина не может противиться мужчине, если он дорог ее сердцу.

15 мая

Гости наши приехали не вчера, а только сегодня, — и хорошо сделали, так как уже основательно подсохло и погода стоит прекрасная. Этот день пятнадцатого мая будет одним из самых памятных в моей жизни. Сейчас уже за полночь, но я не сплю и ~~спать не~~ лягу: сон отлетел за тридевять земель, и я так возбужден, что не чувствую ни малейшей усталости и намерен писать до утра. Преодолею искушение начать с конца и запишу все по порядку. Мне в этом поможет привычка.

Тетушка послала лошадей за Снятыньскими и Кларой очень рано, и около полудня они уже были в Плошове. Обе дамы приехали веселые, свежее и бодрые и чирикали без умолку, как воробьи, — их радовала и хорошая погода, и поездка за город. Что

за туалеты! Какие сногсшибательные шляпы! Клара была в светлом полосатом платье, в нем она казалась не такой огромной. Я заметил, что Анелька с первой же минуты встречи пытливо присматривалась к Кларе и, кажется, была удивлена ее красотой, о которой я до сих пор в наших разговорах о Кларе почти не упоминал, и вовсе не из какого-то расчета — нет, просто я настолько поглощен Анелькой, что многое ускользает от моего внимания. Так, например, хотя я дважды побывал у Снятыньских, я только сейчас, в Плошове, заметил, что Снятынская коротко остригла волосы и это к ней очень идет. Спадающая на лоб светлая челка делает ее похожей на розового бойкого мальчика. Мы с ней теперь в большой дружбе. Одно время она так злилась на меня за Анельку, что готова была утопить меня в ложке воды. Но, должно быть, муж ей рассказал, сколько я выстрадал, а женщины вообще питают особую слабость к людям, страдающим от любви, — вот она и простила мне все грехи и стала ко мне очень милостива. Присутствие этой живой, простой и милой женщины очень помогло сломать первый лед между Анелькой и Кларой. Тетя, благодарная Кларе за благотворительный концерт, приняла ее чрезвычайно сердечно. Анелька же, при всей своей приветливости и врожденной мягкости, держалась как-то натянуто и несмело. И только за завтраком, во время общего веселого разговора, она и Клара успели подружиться. Клару поразила красота Анельки, а так как эта простодушная женщина привыкла свободно высказывать свои мнения, она выразила свое восхищение при Анельке, но так мило и с такой искренней горячностью, что это не могло не тронуть Анельку. А пани Целина, завтракавшая в это утро вместе со всеми в столовой, от похвал Анельке просто расцвела у нас на глазах и, хотя, наверное, впервые в жизни оказалась в обществе представительницы артистического мира, все благосклоннее поглядывала на Клару. В конце концов она, обратившись к Кларе, сказала, что, хотя неудобно хвалить родную дочь, но она должна признать, что Анелька в детстве была очень недурна и обещала стать еще лучше. Оба Снятыньские тоже вмешались в этот разговор. Он немедленно заспорил с Кларой о различных типах женской красоты и при этом обсуждал «тип» Анельки и степень его совершенства с такой забавной объективностью, как будто Анелька — портрет, висящий на стене, а не живая и присутствующая здесь женщина. Слушая его, она краснела, как девочка, и опускала густые ресницы, что придавало ей еще больше очарования.

Не вступая в разговор, я мысленно сравнивал лица трех молодых женщин, сидевших за столом, стараясь судить так же беспристрастно, как Снятынский, то есть независимо от того, что в Анельку я влюблен и поэтому она для меня самая привлекательная из женщин. Впрочем, сравнение все равно было в ее пользу. У Снятынской, в особенности теперь, когда она коротко подстригла волосы, — прелестная головка, но такие увидишь в любом анг-

лийском Кеерсаке¹. Красота Клары — в ее спокойных приятных чертах, а главное — голубых глазах и отличающей немой тонкой, почти прозрачной коже. Но если бы не то, что она — артистка и, глядя на нее, невольно думаешь о музыке, — ее лицо казалось бы, самое большое, миловидным. У Анельки же не только правильные черты лица: вся она словно задумана и создана художником в самом благородном стиле, и есть в ней при этом нечто настолько своеобразное, что ее невозможно отнести ни к какому общему типу. Быть может, своеобразие это кроется в том, что Анелька, не будучи ни брюнеткой, ни блондинкой, наружностью своей производит впечатление брюнетки, а складом души — впечатление блондинки. Или, может быть, дело тут в удивительной пышности волос при тонком личике. Во всяком случае, красота ее — единственная в своем роде. Анелька даже лучше Лауры Дэвис: красота Лауры безупречна, но это красота статуи. Она будила во мне только восхищение и чувственность, Анелька же будит во мне, кроме того, идеалиста, очарованного поэзией ее лица, поэзиейновой, ранее ему неизвестной.

Однако не стоит и сравнивать двух столь различных женщин. Мне эти мысли потому пришли в голову, что за завтраком об этом шел разговор, а мне всегда очень приятно слышать суждения о красоте Анельки. Разговор наш прервала тетушка, полагая, что ей, как радушной хозяйке, следует побеседовать с Klarой об ее недавнем концерте. И говорила она на эту тему много и дельно. Я даже не подозревал, что она так хорошо знает и понимает музыку. А свои комплименты Klarе она делала с такой изысканной любезностью знатной дамы, так красноречиво и мило, как это умеют только люди старшего поколения, кое-что позаимствовавшие у восемнадцатого века. Словом, я с удивлением убедился, что моя прямолинейная и резковатая тетушка способна, когда захочет, вспомнить век париков и мушек. Klarу это подкупило, и она не осталась в долгу, отвечая любезностями на любезности.

— В Варшаве я всегда буду хорошо играть, — говорила она. — Потому что здесь публика меня понимает. Но лучше всего я играю в тесном кругу знакомых, где мне все по душе. И, если позволите, я вам это докажу тотчас после завтрака.

Тете очень хотелось, чтобы пани Целина и Анелька услышали игру Klarы, но она сомневалась, удобно ли просить об этом гостью. Поэтому она обрадовалась предложению Klarы и пришла в прекрасное настроение. Я стал рассказывать о выступлениях Klarы в Париже, об ее триумфах в зале Эрара, а Снятынский рассказал, что говорят о ней в Варшаве. Так прошел завтрак. Когда мы встали из-за стола, Клара сама взялась за ручки кресла, в котором сидела пани Целина, чтобы перевезти ее в гостиную. Не позволив никому помочь ей, она сказала со смехом, что

¹ Иллюстрированный альбом (англ.).

наверняка сильнее всех нас и не боится устать. Через минуту она уже села за фортепиано. Сегодня, видно, ее настроению больше всего отвечала музыка Моцарта: она заиграла «Дон-Жуана». Едва прозвучали первые аккорды, как мы увидели перед собой совсем другую Клару: не того милого и веселого ребенка, с которым болтали за завтраком, а живое олицетворение святой Цецилии. Казалось, существует какое-то таинственное сродство между ее внешним обликом и музыкой. В ней чувствовались душевное величие и гармония, которые делали ее выше обыкновенных женщин. В эти минуты я сделал одно открытие: влюбленный мужчина находит пищу для своей любви даже в том, что явно не в пользу любимой женщины. Когда я подумал, как далеко моей Анельке до этой Сивиллы, когда увидел ее в уголку гостиной, маленькую, притихшую и словно чем-то подавленную, я почувствовал, что люблю ее еще больше, что такой она мне еще дороже. Мне думается, женщина в действительности не такова, какой кажется большинству людей, а такова, какой ее видит влюбленный в нее мужчина. А потому ее безотносительное совершенство прямо пропорционально силе любви, которую она сумела внушить. У меня не было времени подумать как следует, но мысль эта мне очень понравилась, ибо уже смутно напрашивался вывод, что во имя этого женщина должна принадлежать тому, кто более всего ее любит.

Клара играла чудесно. Я старался по лицам слушателей угадать их впечатления и скоро заметил, что Анелька с той же целью наблюдает за мной. Было ли это простое любопытство, или безотчетная тревога сердца, которое не знает, чего опасается, но, несомненно, чего-то опасается? Я подумал: «Если я угадал верно, то это — новое доказательство ее любви ко мне». И от одной этой мысли почувствовал себя счастливым и решил сегодня же узнать правду.

С этой минуты я не отходил от Клары. Я беседовал с нею дольше и сердечнее, чем когда-либо до этого дня. В лесу, куда мы отправились всей компанией, я гулял только с Klarой и время от времени поглядывал украдкой на Анельку, шедшую поодаль со Снятыньскими. Клара восгоргалась нашим лесом — он и в самом деле очень хорош, в нем много лиственных деревьев, и под темным сводом сосен они образуют второй свод, гораздо светлее и веселее.

Солнце щедро посылало свои лучи в чашу леса сквозь просветы в листве и расшивало папоротники мерцающим золотым узором. Как всегда весной, вокруг куковали кукушки, где-то дятел долбил дерево.

Когда подошли Снятыньские и Анелька, я попросил Klarу, чтобы она, когда вернемся домой, перевела нам на язык музыки этот лес, солнце, шелест деревьев и всю картину весны. А она ответила, что у нее в душе уже звучит песнь весны, и она попробует ее сыграть. По ее лицу и в самом деле видно было, что в ней

что-то поет. В сущности, она подобна большой арфе, изливающей свой чувства лишь в музыке.

Лицо Клары сияло, на щеках пылал румянец. Анелька же, напротив, казалась чем-то угнетенной, хотя усердно старалась не отставать от Снятыньских, которые расшалились, как дети. В конце концов они стали гоняться друг за другом по лесу. За ними побежала и Клара, которой этого делать не следовало бы: движения ее крупного тела не могли быть ловкими, и широкие бедра пресмешно колыхались на бегу.

В то время как остальные бегали наперегонки, я оставался с Анелькой. Согласно моей тактике следовало довести до ее сознания истинную причину ее тревоги. И я сказал:

— Что с тобой сегодня, Анелька?

— Со мной? Ровно ничего.

— А мне кажется, что ты чем-то недовольна. Может, тебе не нравится Клара?

— Она мне очень нравится. Не удивительно, что люди так ею восхищаются.

Разговор наш оборвался, так как подошли Клара и Снятыньские. Пора было возвращаться. По дороге Снятыньский спросил у Клары, действительно ли она так довольна своей поездкой в Варшаву.

— Лучшее доказательство — то, что я еще не собираюсь уезжать, — ответила она весело.

— Мы постараемся, чтобы вы остались с нами навсегда, — вставил я.

Клара слишком бесхитростна, чтобы подозревать скрытый смысл в том, что ей говорят, но на этот раз она вопросительно посмотрела на меня и, неожиданно смутившись, сказала:

— Все здесь так добры ко мне!..

Я знал, что моя фраза до некоторой степени — жульническая, так как может ввести Клару в заблуждение. Но мне важно было одно: увидеть, какое впечатление эти слова произведут на Анельку. К сожалению, я ничего не увидел, — Анелька как раз в этот момент стала застегивать перчатки и опустила голову так низко, что поля шляпы совершенно заслонили ее лицо. Однако ее внезапный жест я счел добрым предзнаменованием.

Мы вернулись домой. Нас уже ждал обед, и затянулся он до девяти часов вчера. Потом Клара импровизировала на фортепиано свою «Весеннюю песнь». Думаю, с тех пор как существует Плошов, здесь не слышали такой музыки. Но в этот вечер я слушал ее рассеянно, мысли мои были слишком заняты Анелькой. Я сидел рядом с ней. В гостиной царил полумрак: Клара не позволила принести сюда лампы. Снятыньский все время размахивал рукой, словно дирижируя, а жену его, видно, это раздражало, и она то и дело дергала его за рукав. Анелька сидела неподвижно. Быть может, и она, как я, уйдя в свои мысли, не слушала Кларину «Весеннюю песнь». Я был почти уверен, что она в эти ми-

нуты думает обо мне и Кларе, а главное — о смысле тех слов, что я сказал Кларе в лесу. Легко было угадать, что, если она и не влюблена в меня, если даже не догадывается, что чувство мое к ней гораздо сильнее братской привязанности, все же сейчас одно подозрение, будто другая женщина может отнять меня у нее, вызывает в ее душе ревность, чувство одиночества и горечи. Когда женщина несчастна в браке, она цепляется за каждое теплое чувство к ней, хотя бы это была только дружба, обвивается вокруг него, как плющ вокруг дерева, и боится лишиться этой опоры. Я нисколько не сомневаюсь, что, упави я сейчас перед ней на колени и признавши ей в любви, она, ошеломленная этим признанием, вместе с тем обрадовалась бы, как человек, которому вернули нечто очень для него дорогое. «А если так, говорил я себе,— то не следует ли поторопиться с признанием? Только надо сделать это так, чтобы как можно меньше испугать ее и как можно больше обрадовать».

И я тотчас стал обдумывать форму признания, от которого, быть может, все будет зависеть. Оно должно было сразу обезоружить Анельку и не дать ей оттолкнуть меня навсегда. Мозг мой работал усиленно — задача была не из легких. Волнение мое все росло, и странно: я волновался не столько за себя, сколько за Анельку. Хорошо понимая, что это будет крутой перелом в ее жизни, я боялся за нее.

Между тем в гостиной стало светлее: из-за деревьев парка выплыла луна и отпечатала на полу четыре светлых квадрата, отражения окон. Звуки «Весенней песни» все еще наполняли комнату. А в открытую стеклянную дверь из глубины парка Кларе вторил соловей. Необыкновенный то был вечер — теплая майская ночь, музыка и любовь! Я невольно подумал: «Если жизнь не дает счастья, то по крайней мере часто дает подходящее для него обрамление».

В этом прозрачном сумраке я пытался встретиться глазами с Анелькой, но она упорно смотрела на Клару, которая в эти минуты казалась каким-то волшебным видением. Лунный свет, проникая все дальше в глубь гостиной, освещал теперь нашу пианистку за фортепиано, и Клара в своем светлом платье казалась серебряным духом музыки.

Однако иллюзия недолго длилась. Клара доиграла свою «Весеннюю песню», и Спятынская немедленно подала сигнал к отъезду, она торопилась домой. Так как вечер был удивительно теплый, я предложил дойти всем пешком до самого шоссе, — до него от нас полверсты. Затеял я эти проводы, рассчитывая, что обратно мне придется возвращаться вдвоем с Анелькой: Анельке будет неудобно отказаться проводить гостей, а тетя с нами не пойдет. Расчет был верный. Я распорядился, чтобы экипаж ждал на шоссе, и мы двинулись пешком по липовой аллее, которая ведет от дома до самой дороги. Я предложил руку Кларе, но шли мы все рядом,

Нас провожал хор лягушек в плошовских прудах. Клара вдруг остановилась и долго прислушивалась к этому хору, то утихавшему, то еще громче разносившемуся вокруг. Наконец она промолвила:

— Вот вам финал моей «Весенней песни».

— Какая чудная ночь! — откликнулся Снятынский и стал декламировать прелестный отрывок из «Венецианского купца»:

Как сладко дремлет лунный свет на горке!
Дай сядем здесь — пусть музыки звучанье
Нам слух ласкает; тишине и ночи
Подходит звук гармонии сладчайшей...

Дальше он не мог вспомнить, но я помнил и докончил за него:

Сядь, милый друг! Взгляни, как небосвод
Весь выложен кружками золотыми;
И самый малый из всех тех, что видишь,
Поет в своем движении, точно ангел,
И вторит светлооким херувимам.
Гармония подобная живет
В бессмертных душах, но пока они
Земною грубой оболочкой праха
Укрыты плотно, мы ее не слышим.

Клара не понимает по-польски, и я повторил ей весь отрывок по-французски, в собственном, наскоро импровизированном переводе. Слушая, она, сама того не замечая, подняла глаза к небу и, когда я кончил, сказала, указывая на звезды:

— Я всегда знала, что они поют.

Оказалось, что и Снятынская так думает. Она утверждала, что не раз говорила это мужу, но он никак не мог этого припомнить. Между супругами произошла перепалка, очень насмешливая меня и Клару. Одна Анелька почти все время молчала, не вмешиваясь в разговор. «Уж не сердится ли на меня моя дорогая девочка за то, что я взял под руку Клару и уделяю ей больше внимания?» — подумал я. Одно это предположение делало меня счастливым. Я всячески старался рассуждать здраво. «Не обольщайся надеждой, будто она сознательно тебя ревнует, — говорил я себе. — Нет, она огорчена, а может, немного обижена — и только». В эти минуты я отдал бы легион таких артисток, как Клара, за то, чтобы можно было сказать Анельке, что я весь принадлежу ей. Снятынский говорил что-то об астрономии, но я слушал рассеянно, хотя меня безмерно интересует эта наука, которая по природе вещей не может ни себе, ни уму человеческому ставить пределов. Предел ее, как и духа человеческого, — Бесконечность.

Наконец мы дошли до шоссе, и там Снятынские с Кларой

сели в коляску. Застучали колеса, донеслось уже издали последнее «до свиданья!» — и мы с Анелькой остались одни.

Мы сразу же повернули обратно к дому и долго шли молча. Квакуанья лягушек больше не было слышно, только издалека, от усадебных служб, доносились свистки ночных сторожей и лай собак. Я нарочно не заговаривал с Анелькой: такого рода молчание всегда означает, что между двумя людьми что-то есть. Пусть же мое молчание наведет на эту мысль и Анельку. Только, когда мы прошли уже полдороги, я сказал:

— Как чудесно мы провели сегодня день, не правда ли?

— Давно я не слышала такой музыки, — отозвалась Анелька.

— А все-таки ты была как будто чем-то недовольна. Меня не обманешь — я так внимательно присматриваюсь к тебе, что от меня не укроется малейшая тень на твоём лице.

— Ну, сегодня тебе было не до меня, ты был занят гостями. Спасибо за внимание, Леон, но, право же, ты ошибаешься. Я всем довольна.

— Сегодня я, как и всегда, занят был тобой одной. В доказательство я, с твоего позволения, сейчас скажу тебе, о чем ты думала весь день.

И, не ожидая этого позволения, я продолжал:

— Ты думала, что я поступаю примерно так же, как старик Латыши. Что я лгал тебе, говоря с пустоте, в которой живу. И, наконец, ты думала, что мне незачем было искать твоей дружбы, потому что я уже ранее нашел ее у другой. Угадал? Отвечай мне прямо.

С заметным усилием Анелька ответила:

— Что ж, если ты непременно хочешь... Ну, да... Пожалуй... Но это меня только радует.

— Что тебя радует?

— Твоя дружба с Кларой.

— Я к ней очень хорошо отношусь, но, как женщина, она мне безразлична, и не только она, но и все остальные. А знаешь почему?

С внутренней дрожью я сказал себе, что настала решительная минута. Подождав, пока Анелька повторит мой вопрос, я сказал, стараясь говорить как можно спокойнее:

— Ведь ты не можешь не видеть и не понимать, что я весь твой, тебя одну любил и люблю до сих пор безумно.

Анелька так и застыла на месте. Лицо мое похолодело, я почувствовал, что бледнею. Ведь не только у бедной Анельки в эту минуту земля уходила из-под ног, — дело шло и о моей душе. Но, зная, какого рода женщина передо мной, я поспешил ее обезоружить раньше, чем она опомнится и оттолкнет меня.

— Ты можешь не отвечать мне, — сказал я быстро. — Я ничего не хочу, ничего от тебя не добиваюсь — ничего, слышишь? Я хотел только сказать тебе, что ты завладела моей жизнью, и она твоя. Да ты и сама уже поняла это, так что мне молчать не-

зачем. Повторяю, я ничего не жду и не требую. Не нужно меня отталкивать — ведь я тебе не навязываюсь... Я говорю с тобой об этом только как с другом или сестрой. Прихожу к тебе излить душу, потому что больше некому. Прихожу и жалуюсь, что мне тяжело, потому что люблю женщину, которая принадлежит другому, а люблю я ее без памяти, моя Анелька, люблю безгранично.

Мы дошли уже до ворот и остановились в густой тьме под деревьями. Одно мгновение мне казалось, что Анелька сейчас склонится ко мне, как надломленный цветок, упадет в мои объятия. Но я ошибся. Справившись со своим волнением, Анелька вдруг стала повторять с какой-то страстной энергией, которой я в ней и не подозревал:

— Я не хочу этого слушать, Леон! Не хочу, не хочу, не хочу!

И метнулась в освещенный лунной двор. Да, попросту убежала от меня, от моих слов и признаний. Через минуту она скрылась на крыльце, и я остался один со своей тревогой, страхом, горячей жалостью к ней и вместе с тем чувством торжества — да, я радовался, что слова, которые откроют нам обоим новую жизнь, уже наконец произнесены. Правда, пока я ни на что больше не мог рассчитывать, но семя, из которого что-то должно вырасти, было брошено в землю.

Войдя в дом, я уже не увидел Анельки, застал там только тетушку. Ходя по комнате, она бормотала молитву, а в промежутках, по обыкновению, разговаривала вслух сама с собой. Я пожелал ей спокойной ночи — мне хотелось поскорей уйти к себе. Я думал, что если стану записывать в дневник впечатления сегодняшнего дня, это меня успокоит и приведет в порядок возбужденные мысли. Но я только еще больше устал и решил завтра (вернее, сегодня, ибо за окнами уже белый день) ехать в Варшаву. Пусть Анелька окончательно убедится, что я ничего не добиваюсь, а главное — надо дать ей время успокоиться и освоиться с тем, что я сказал ей. Но, если уж говорить всю правду, я хочу уехать еще и потому, что боюсь встречи с нею и хочу эту встречу оттянуть. По временам я упрекаю себя в том, что совершил нечто неслыханное, внеся элемент моей развращенности в эту душу, доселе такую чистую. Но, собственно говоря, разве корень зла не в том, что она стала женой человека, которого не любит и любить не может? Что же безнравственнее: моя любовь, проявление великого закона природы, или брак Анельки с таким человеком, брак, который грубо попирает этот закон? Законнейший союз мужчины и женщины становится постыдным, если он не основан на любви. Мне это совершенно ясно, но я такой слабый человек, что мне страшно даже задеть отжившую мораль. К счастью, это страх преходящий. Если бы я даже не был до конца убежден в своей правоте, в одном я ничуть не сомневаюсь: сторонники этой морали не правы. И, наконец, все подобные сомнения рассеивает одно слово «люблю».

Сердце мое тает при мысли, что и она, быть может, сейчас не спит, плачет и борется с собой. Вот еще одно доказательство, что я ее люблю! И, значит, все, что происходит между нами и еще произойдет, неизбежно.

19 мая

Приехав в Варшаву, я весь тот день проспал мертвым сном. В Плошове я не сплю — днем дорожу каждой минутой, которую могу провести с Анелькой, а по ночам пишу. И оттого я устал до смерти, как-то осовел, но думать это мне не мешает. Мне немного стыдно, что я сбежал из Плошова и оставил Анельку одну под впечатлением моего признания. Но в отношениях с любимой женщиной некоторая трусость — не беда. И я, наверное, не сбежал бы, если бы это не требовалось для моего будущего счастья. В эти несколько дней Анелька, вставая утром, молясь, гуляя по парку, ухаживая за больной матерью, невольно будет твердить себе: «Он меня любит», — и это постепенно станет казаться ей все менее невозможным, все менее страшным. Человек привыкает ко всему, а женщина тем более легко осваивается с мыслью, что любима, в особенности если сама любит. Вопрос, любит ли она меня, я задал себе в первую же минуту, когда понял, что люблю ее, и с тех пор беспрестанно обдумываю этот вопрос со всех сторон, стараюсь взвесить все обстоятельства так беспристрастно, словно дело идет не обо мне, а о ком-то другом. И прихожу к заключению, что любит. Выходя замуж, она любила меня, а не Кромпицкого; она только с отчаяния согласилась на брак с ним. Если бы она вышла замуж за человека незаурядного, который привлек ее славой своей или идеями, если бы еще муж этот обладал какими-то исключительными чертами характера, она, может быть, забыла бы меня. Но Кромпицкий не мог увлечь ее своим маниакальным стремлением разбогатеть. Кроме того, он уехал вскоре после свадьбы, да еще продал Глухов, который для матери и дочери был целью жизни. На самый объективный взгляд, Кромпицкий — маленький человек, и нет в нем ничего такого, чем он мог бы пленить эту женщину, полную идеальных чувств и порывов. Тут приехал я. Любовь ко мне в ней еще, вероятно, не угасла, а я с первых же дней волновал ее сердце воспоминаниями, каждым своим словом, каждым взглядом. Я старался ее увлечь, и помогал мне в этом приобретенный в жизни опыт, а главным образом та магнетическая сила, которую рождает истинная любовь. Прибавьте к этому и то, что Анельке было известно от Снятынского, сколько я выстрадал из-за ее решения, что она, должно быть, жалела меня, и жалость эта живет в ней до сих пор... Думая об этом, я говорю себе: в этой игре я ставлю жизнь на карту, но условия игры таковы, что я не могу проиграть.

Я прав так же, как прав всякий, кто защищает свою жизнь. Говорю это не в пылу увлечения, а совершенно спокойно и об-

ективно. Нет у меня никаких убеждений, верований, принципов, никакой твердой почвы под ногами,— все то, что служит человеку опорой, выела во мне рефлексия и критика. Есть только врожденные жизненные силы, и они, не находя себе выхода и применения, сосредоточились на любви к этой женщине. Вот я и хватаюсь за нее, как утопающий за соломинку. Если не будет у меня и этой соломинки, я, наверно, пойду ко дну. Когда рассудок спрашивает, почему я, полюбив Анельку, попросту не женился на ней, я отвечаю то, что уже говорил раньше: не женился «попросту» потому, что я — человек не простой, а исковерканный. Таким вырастили меня две мои няньки: рефлексия и критика. Почему именно эта, а не другая женщина стала для меня якорем спасения — не знаю. Над этим я не властен.

Если бы она сегодня стала свободна, я взял бы ее без колебаний. Но если бы не было этого ее замужества, кто знает... Стыдно признаться... Быть может, я меньше желал бы ее.

И это вовсе не романтика, это не потому, что брак мне представляется пошлой прозой жизни. Мне смешны такие устарелые взгляды. Нет, перебирая факты моего прошлого, я думаю, что, будь Анелька и сейчас незамужем, я стал бы без конца анализировать ее и свои чувства,— до тех пор, пока кто-нибудь не отнял бы ее у меня.

Лучше об этом не думать, потому что эта мысль приводит меня в ярость.

20 мая

Сегодня я призадумался над тем, что будет, когда я добьюсь любви Анельки,— вернее, ее признания. Будет счастье, да, но как мне тогда действовать? Этого я не знаю. Пожалуй, если вымолвить в Плошове при наших трех дамах слово «развод»,— земля расступится и поглотит дом. О разводе не может быть и речи. Ни тетя, ни пани Целина не пережили бы такого удара. Я не обманываю себя и относительно Анельки: у нее такие же понятия обо всем, как у обеих старушек. Но как только она признается, что любит меня, я скажу это слово, и ей придется примириться с мыслью о разводе. Иного выхода у нас нет, но, пока живы тетя и пани Целина, придется ждать. Ничего другого не остается. Кромичкий, может, согласится на развод, а может, и нет. Если нет, я увезу от него Анельку на край света, хотя бы в Индию. И дело о разводе или аннулировании их брака начну против его воли. К счастью, денег у меня для этого достаточно. Я готов на все, и глубочайшее внутреннее убеждение совершенно оправдывает меня в собственных глазах. Теперь у меня не банальный роман, а любовь, в которую я вложил всю душу. Искренность и сила этого чувства оправдывают и мое поведение относительно Анельки. Я ее обманываю, внушаю ей, что мне нужна от нее только сестринская привязанность; лгу ей, уверяя, что ничего не добива-

юсь, — но все это было бы гнусным коварством соблазнителя лишь в том случае, если бы самая любовь была обманом. А когда есть настоящее чувство, то все это только тактика, только дипломатия любви, один из ее ходов. Ведь пускаются же на всякие хитрости обрученные, чтобы добиться признаний. А я искренен даже тогда, когда лгу.

21 мая

Я сказал Анельке, что намерен чем-нибудь заняться, и действительно хочу найти себе дело, хотя бы уже потому, что обещал ей это. Для начала я решил перевезти в Варшаву коллекции покойного отца и основать здесь музей имени Плошовского. Это будет заслугой Анельки и первым полезным делом, к которому побудила меня наша любовь. Предвижу, что итальянское правительство этому воспротивится: в Италии существует какой-то закон, запрещающий вывоз из страны памятников старины и ценных произведений искусства. Но улаживать это будет мой адвокат. Кстати, я вспомнил, что в коллекции находится и та Мадонна Сассоферрато, которую отец завещал своей будущей снохе. Прикажу выслать ее мне немедленно, она мне здесь пригодится.

22 мая

Как люди злы! Этот Кромичский, который где-то в дальних степях из кожи лезет, чтобы нажить миллионы, в то время как здесь его жене напештывают слова любви, мне только смешно. И я рад, что та же мысль должна прийти в голову Анельке. А если не придет сама собой, я постараюсь внушить ее Анельке в самом обнаженном виде, без всяких прикрас. Кромичского лучше всего характеризует то, что, продав Глухов, он оставил обеих женщин без крыши над головой. Он, вероятно, думал, что они поселятся в Одессе или Киеве, но болезнь пани Целины привела Анельку в Плошов.

Однако знал же он, какое слабое здоровье у пани Целины, и должен был предвидеть, что она может тяжело захворать, и тогда Анелька будет одна нести бремя горя и забот. Возможно, его дела требуют, чтобы он жил на Дальнем Востоке, — но зачем он тогда женился?

Завтра еду обратно в Плошов. Очень уж здесь тоскливо, а кроме того, хочется поскорее встретиться с Анелькой лицом к лицу: иногда у меня такое чувство, словно я бежал от ответственности. Уехать после моего признания следовало, но теперь пора вернуться. Кто знает, — а вдруг судьба ко мне милостивее, чем я думаю? Может, Анелька тоже тоскует по мне?..

Сегодня побывал у Снятынских, у Клары (ее я не застал дома) и у знаменитой здешней красавицы, пани Корицкой. Она носит свою историческую фамилию, как жокейскую шапочку, а

остроумием пользуется, как хлыстом, хлещет им всех по лицу. Впрочем, я вышел от нее без единой царапины, — напротив, со мной даже пококетничали. Потом я заезжал к доброму десятку знакомых, оставил свои визитные карточки. Хочу, чтобы в свете думали, что я теперь постоянно живу в Варшаве.

Перевозкой отцовских коллекций я не ограничусь — какая же это работа, для этого потребуются только мое согласие и мои деньги. И вот я думаю, чем бы заняться, помимо этого? У людей моего круга обычно одно лишь занятие — они управляют своими имениями и своим состоянием и, кстати сказать, за немногими исключениями, распоряжаются им очень плохо, гораздо хуже, чем я. Очень немногие из них принимают какое-либо участие в общественной жизни. Здесь, в Польше, люди еще играют в аристократию и демократию, и есть среди них такие, которые цель своей жизни видят в борьбе с демократическим движением и в защите общественной иерархии. Я же вижу в этом только спорт, не хуже и не лучше всякого другого, и, поскольку я не спортсмен, он меня не занимает. Если бы это даже было не просто игрой, если бы в этом крылся какой-то практический смысл, — все равно: я слишком скептически отношусь к обоим лагерям, чтобы присоединиться к одному из них. Мои нервы не выносят демократов — я имею в виду, конечно, не простой народ, а всяких патентованных демократов. Ну, а об аристократии могу сказать одно: если действительно ее существование оправдывается историческими заслугами предков, то у нас большая часть этих заслуг такого сорта, что потомкам следовало бы надеть на себя власяницу и посыпать головы пеплом. А в общем, люди обоих лагерей, за исключением немногих безнадежных тупиц, сами в себя не верят. Они в личных целях прикидываются искренними, я же никогда не лицемерю, и, значит, участие в этой борьбе — не для меня.

Есть еще синтетика вроде Снятынского: они стоят вне обоих лагерей и стремятся слить оба лагеря в один. Они в большинстве своем — люди разумные, но если бы я даже и разделял их точку зрения, убеждения — еще не работа, при этом надо было бы что-то делать, в чем-то их проявлять. Вот Снятынский пишет пьесы. А я... Право, если внимательно присмотреться, — я существую как-то за скобками и не знаю, как попасть в них. Что ни говори, а это странно: человек с большими средствами, образованием, способностями, не лишенный силы воли, не находит, к чему руки приложить. Снова просятся на язык проклятия, — вижу ясно, что и тут виновата чрезмерная утонченность моей психики. На мне можно изучать симптомы одряхления нашего века и нашей культуры, ибо болезнь эта у меня приняла типический характер. Кто скептически относится ко всему: к вере и науке, консерватизму и прогрессу, тому поистине трудно что-нибудь сделать в жизни.

А вдобавок, стремления мои удовлетворить очень трудно. Везде и всюду жизнь держится на труде. Трудятся люди и у нас в Польше, этого нельзя отрицать. Но труд их — труд ломовых ло-

падей, которые, надрываясь, возят снопы в овин. Я, если бы даже хотел, для этого не гожусь. Я — кровный рысак и мог бы, пожалуй, везти какую-нибудь карету, но обыкновенную телегу по песчаной дороге любая кляча будет везти ровнее и спокойнее, чем я. На постройке дома я никак не смог бы перетаскивать кирпичи, пригодился бы разве для орнаментировки, но, к несчастью, когда строится простое жилище, такие мастера не требуются.

Впрочем, если бы я испытывал внутреннюю потребность работать или жаждал что-нибудь делать во имя догматов Снятын-ского, — может быть, я и заставил бы себя взяться за черную работу. Но, в сущности, мне нужна только видимость работы, нужна для того, чтобы понравиться любимой женщине. Анелька этот вопрос принимает так близко к сердцу, и ее бы это непременно подкупило. Но именно потому и самолюбие и расчет побуждают меня занять такое положение, которое возвысило бы меня в ее глазах. Ну, да там видно будет. Мне еще надо хорошенько осмотреться. А пока пушу в ход свой кошелек. Перевезу сюда отцовские коллекции, буду финансировать всякие учреждения и раздавать деньги направо и налево.

Удивительное влияние оказывает такая женщина, как Анелька! Вот встретился с нею типичный «гений без портфеля», такой ни к чему не пригодный человек, как я, — и едва только узнал ее, как без малейшего менторства с ее стороны уже чувствует себя обязанным ко многому, стремится к тому, к чему раньше вовсе не стремился. Черт побери, да мне никогда бы и в голову не пришло прельстить парижанку или венку тем, что перевезу мои коллекции в Париж или Вену!

Еду опять в Плошов — не терпится увидеть поскорее моего доброго гения.

23 мая

Я уезжал на время из Плошова еще и для того, чтобы дать Анельке время решиться на что-нибудь. В Варшаве и на обратном пути в Плошов я все время гадал: что же она решит? Я понимал, что не может она написать мужу прямо: «Приезжай и увези меня, потому что Плошовский преследует меня своей любовью». Она не сделала бы так даже в том случае, если бы меня ненавидела, — не такой у нее характер. Кроме того, это неизбежно вызвало бы столкновение между мной и Кромичким, и Анельке пришлось бы тогда оставить больную мать, так как пани Целину в ее состоянии нельзя увезти из Плошова.

Положение у Анельки действительно трудное, и я это принял в расчет, когда объяснялся ей в любви. Но сейчас, когда я возвращался в Плошов, меня испугала вдруг мысль, что она решит избегать меня и по возможности не выходить из комнаты матери. Однако через минуту-другую я успокоился. Живя в деревне, да еще под одной крышей, никак невозможно избежать

встреч. Да и, кроме того, такое поведение Анельки бросилось бы в глаза и тете, и Анелькиной матери, возбудило бы подозрения и могло скверно отразиться на здоровье пани Целины.

По правде говоря, я бессовестно пользуюсь создавшимся положением, но кто же этого не делает, когда любит? Я догадывался, что Анелька, как бы горячо она меня ни любила, не позволит мне повторить мое признание, что она будет сопротивляться гораздо упорнее, чем обычно сопротивляются замужние женщины, так как при ее скромности и нравственных правилах малейшая уступка будет ей казаться неслыханным преступлением. Но разве она может помешать мне говорить о своей любви? Есть один только способ: добиться моего добровольного согласия. Я предполагал, что Анелька захочет решительного объяснения,— и не ошибся.

По приезде в Плошов я заметил, что она осунулась. Но смотрела она на меня довольно смело и спокойно. Видно, у бедняжки были наготове аргументы, в силу которых она свято верила; верила, что, когда она их выскажет, мне останется только склонить голову и замолчать навсегда. Наивное заблуждение ангельской души, воображающей, что есть только одна правда на свете! Милая моя Анелька, не вступай ты никогда со мною в философский спор! Если я и верую в какую-то правду и в какие-то аргументы, то только в правду и права любви. И притом я достаточно хитер, чтобы каждый твой аргумент вывернуть, как перчатку, и сделать его оружием против тебя же. Не спасут тебя ни твои рассуждения, ни моя нежность и жалость к тебе. Чем чище и прекраснее твоя душа, чем сильнее ты меня умилишь и растрогаешь, тем страстнее будет моя любовь, тем желаннее ты станешь мне. Ты можешь ждать от меня лишь крокодиловых слез, а слезы эти еще подстегнут мои хищные инстинкты. Таков заколдованный круг любви.

Как только я увидел Анельку, я почувствовал себя в этом заколдованном кругу. В самый день моего возвращения, после полудня, когда пани Целина крепко уснула на веранде, Анелька сделала мне знак идти за нею в глубь сада. По ее лицу, поразившему меня своей необычной серьезностью, я понял, что настала минута решительного объяснения, и торопливо пошел за нею. Но чем дальше мы отходили от веранды, тем больше таяло мужество Анельки. Она побледнела и явно испугалась собственной решимости. Но отступить было уже поздно.

— Если бы ты знал,— заговорила она дрожащим голосом,— как мне было тяжело все эти дни!..

— А мне, думаешь, легко? — отозвался я.

— Нет, этого я не думаю. И потому хочу обратиться к тебе с большой просьбой... Знаю, ты все можешь понять, ты добр и великодушен и не откажешь мне. Да, да я в этом уверена, я знаю тебя.

— Ну, скажи же, чего ты хочешь?

— Леон, уезжай за границу и не возвращайся до тех пор, пока моя мама не будет в состоянии уехать из Плошова. Так нужно, Леон!

Я знал заранее, что она именно этого потребует, но с минуту молчал, как бы не находя ответа.

— Ты можешь распоряжаться мною как хочешь,— промолвил я наконец. — Но скажи мне хотя бы, за что ты меня приговариваешь к изгнанию.

— Это не изгнание. Ты сам знаешь, почему тебе следует уехать.

— Знаю,— подтвердил я с непритворной грустью и покорностью. — Это потому, что я готов отдать за тебя всю свою кровь до последней капли. Потому, что, если бы сейчас молния должна была ударить в одного из нас, я заслонил бы тебя и подставил ей свою голову. Потому, что я готов взять на себя все несчастья, какие могут тебя встретить в жизни. Это потому, что я люблю тебя больше жизни... Да, все это поистине тяжкие грехи.

— Нет,— с неожиданной твердостью перебила меня Анелька. — Ты должен уехать потому, что я — жена другого. Я его люблю и уважаю — и не хочу слышать от тебя больше таких слов!

Гневное возмущение, подобно электрической искре, всколыхнуло меня всего. Я знал, что Анелька говорит неправду. Все замужние женщины, когда оказываются на распутье, пробуют, как щитом, заслониться любовью и уважением к мужу, хотя бы в сердце у них не было и следа этих чувств. Тем не менее слова Анельки так резнули меня по нервам, что я едва удержался, чтобы не крикнуть ей: «Лжешь, не любишь ты его и не уважаешь!» Но я тут же подумал, что ее решимость скоро растает, и ответил почти смиренно:

— Не сердись, Анелька, я уеду...

Я видел, что моя покорность ее обезоружила, что ей уже меня жаль. Она вдруг сорвала листок с низко свисавшей ветки и стала нервно разрывать его. Слезы душили ее, и она делала невероятные усилия, чтобы не разрыдаться.

Я тоже был взволнован до глубины души и с трудом заговорил:

— Но ты не удивляйся, что я медлю... Ведь это жестокая несправедливость... Я уже тебе говорил, что ничего больше не хочу — только дышать с тобой одним воздухом, смотреть на тебя. Бог видит, не так уж это много! И в этом все мое счастье. А ты у меня отнимаешь и его. Подумай только: ведь каждый может сюда приехать, говорить с тобою, глядеть на тебя,— а мне это запрещается только потому, что мне ты дороже, чем другим. Какая утонченная жестокость судьбы! Вообрази себя хоть на миг на моем месте. Это будет тебе нелегко, ты ведь не ощущаешь такой пустоты в душе, ты любишь мужа или тебе кажется, что любишь, а это почти одно и то же... Но ты все-таки вообрази себя

на моем месте — и поймешь, что это познание для меня хуже смертного приговора. Надо же и меня пожалеть немного! Знаешь ли ты, что, прогоняя меня, отнимаешь у меня не только счастье видеть тебя, но и единственную зацепку в жизни? Я уже тебе говорил, что вернулся на родину, чтобы стать ей полезным. Быть может, в этом я нашел бы забвение и покой душевный; может, искупил бы свои старые грехи. Вот недавно я решил перевезти сюда из Италии отцовские коллекции, а ты мне велишь отказаться от всего, все бросить и ехать куда глаза глядят, снова вести ту же бесцельную и беспросветную жизнь! Хорошо, я уеду! Но уеду лишь в том случае, если ты через три дня повторíš свое приказание, потому что до сих пор ты еще, быть может, не понимала, что оно для меня значит. Теперь ты это знаешь. И я прошу у тебя только три дня отсрочки, не больше.

Анелка закрыла глаза рукой и прошептала:

— О, боже! боже! боже!

Это было так трогательно, как жалоба ребенка на свою беспомощность, и сердце мое захлестнула великая жалость. Была минута, когда я хотел упасть к ее ногам и согласиться на все, чего она требовала. Но в ее жалобе чувствовалось, что моя победа близка, и я не смог отказаться от плодов этой победы.

— Послушай, Анелка,— сказал я,— я уехал бы немедленно, еще сегодня, и далеко, за моря и океаны, если бы знал, что это тебе нужно не только для того, чтобы присутствие несчастного человека не смущало твой покой, а еще и для успокоения собственного сердца. Говорю с тобой сейчас, как твой друг и брат. От тети я знаю, что ты меня любила. Если эта любовь еще живет в твоём сердце, меня завтра же здесь не будет.

Мне подсказала эти слова искренняя душевная боль, но в то же время они были опасной ловушкой для Анелки, ибо могли вырвать у нее признание. Если бы так случилось, я, возможно, и в самом деле уехал бы завтра, но в ту минуту, видит бог, не вытерпел бы и сжал бы ее в объятиях. Однако Анелка только вздрогнула, словно я неосторожно дотронулся до ее открытой раны, и лицо ее вспыхнуло от возмущения.

— Нет! — воскликнула она запальчиво. — Неправда это, неправда! Уезжай или оставайся, как хочешь, но это неправда! Неправда!

Ее горячность убеждала меня, что это правда. И мною овладело желание сказать ей это прямо в глаза, безжалостно и грубо. Но вдруг я увидел шедшую к нам тетю. Анелка не успела овладеть собой, и тетюшка при первом взгляде на нее тотчас спросила:

— Что с тобой? О чем это вы говорили с Леоном?

— Анелка рассказывала мне, как тяжело продажа Глухова отозвалась на здоровье ее матери,— сказал я. — И не удивительно, что она взволнована...

То ли душевные силы Анельки были уже вконец истощены, то ли моя ложь, которую она как бы подтвердила своим вынужденным молчанием, была последней каплей, переполнившей чашу горечи,— как бы то ни было, она вдруг расплакалась. Неудержимые рыдания сотрясали ее тело. Тетя обняла ее и прижала к себе, как ребенка.

— Родная моя деточка, что ж поделаешь! На все воля божья,— сказала она. — У меня вот во время недавней бури град побил весь хлеб на пяти фольварках, а я даже пану Хвастовскому слова не сказала.

Это упоминание о граде и пяти фольварках показалось мне таким эгоистичным и все огорчения тетюшки такими ничтожными в сравнении с единой слезой Анельки, что я вдруг страшно разозлился.

— Ах, при чем тут ваши фольварки, когда речь идет о здоровье ее матери! — бросил я резко и ушел.

Я страдал, чувствуя, что мучаю женщину, которую люблю больше всего на свете. Я как будто одержал полную победу, а между тем на душе у меня было так тяжело, словно мне грозило что-то страшное и неведомое.

25 мая

После нашего последнего разговора прошло три дня. Анелька не повторила своего требования, так что я остаюсь. Она редко говорит со мной, все больше сидит у себя в комнате, но нельзя сказать, чтобы она решительно избегала меня. Вероятно, боится, как бы на это не обратили внимания тетя и пани Целина. Я к ней нежен, внимателен, всячески выражаю дружеские чувства, но общества своего ей не навязываю. Пусть думает, что моя любовь сама себя выдает, я же делаю все, чтобы скрыть ее. Она увидит, конечно, что любовь моя крепнет,— она действительно крепнет с каждой минутой. Не может быть, чтобы на Анельку это не подействовало. Во всяком случае, у нас с ней уже есть свой отдельный мирок, в котором нас только двое. У нас есть общие тайны от тети и пани Целины. Когда мы разговариваем о вещах посторонних, когда на людях стараемся сохранять видимость прежних отношений, мы оба одинаково чувствуем, что в глубине души скрываем что-то иное. И, наконец, у меня есть уже слова и взгляды, которые понимает только она, Анелька. Это вышло само собой, хотя против ее воли, и создает между нами близость. Время, привычка, терпение сделают остальное. Я опутаю ее тысячью нитей моей любви, и они будут связывать нас все крепче и крепче. Все это было бы напрасно лишь в том случае, если бы она любила мужа; тогда я, вероятно, своими усилиями внушил бы ей только ненависть. Но прошлое — за меня, а настоящее тоже не в пользу Кромидского. Я думаю об этом

с объективностью постороннего человека и все снова и снова прихожу к убеждению, что Анелька его любить не может. Сопротивление ее — это внутренняя борьба души необычайно чистой, которая не допускает и мысли о вероломстве. Но в этой борьбе ей не на что опереться. Я не обманываю себя, знаю, что сопротивление ее будет длительным, сломить его будет трудно. Придется всегда быть начеку, все предвидеть и принимать во внимание. Я должен ткать мою сеть из тончайших, почти невидимых нитей. Мне нельзя будет никогда нажать какую-нибудь клавишу преждевременно или чересчур сильно. Но все равно я буду остерегаться промахов и не успокоюсь до тех пор, пока не переделаю эту душу на свой лад. В конце концов, если я в чем и ошибусь, источником этих ошибок будет любовь, а потому я надеюсь, что и они мне не повредят, а помогут.

26 мая

Сегодня я сообщил Снятыньскому, что твердо решил перевести отповские коллекции в Варшаву. Написал я ему это, рассчитывая, что от него новость узнают в редакциях газет, а те не замедлят мое решение объявить великой гражданской доблестью. Анелька невольно станет сравнивать меня и Крамицкого, и сравнение, конечно, будет в мою пользу. Я телеграфировал в Рим, чтобы мне как можно скорее отдельно переслали Мадонну Сассо-феррато.

За завтраком я нарочно при всех сказал Анельке, что мой отец завещал ей эту картину. Она смутилась, догадавшись сразу, что отец считал ее тогда своей будущей снохой. На самом деле, в завещании даже не было упомянуто ее имя, сказано только: «Голову Мадонны номер такой-то завещаю моей будущей снохе». Но именно поэтому я и захотел отдать ее Анельке. Намерка на этот пункт завещания было достаточно, чтобы всколыхнуть в нас обоих целый рой воспоминаний. Затем-то я и заговорил о Мадонне, чтобы напомнить Анельке то время, когда она меня любила и ничто не мешало ей любить меня. Я знаю, в ее сердце с того времени осталось много горечи и много обиды на меня. Иначе и быть не может. Я бы окончательно пал в ее глазах, если бы не моя мольба, переданная через Снятыньского в последний момент. Это — единственное, что смягчает мою вину. Анелька не может не помнить, что я хотел все исправить, что я ее любил, страдал, раскаялся и каюсь до сих пор, что если мы оба теперь несчастливы, то в этом есть доля ее вины. Такие мысли заставят ее простить мне мой грех, пожалеть о прошлом. И она в мечтах будет упиваться картинами того счастья, какое было бы сейчас возможно, если бы не моя вина и ее суровость.

Я и сейчас прочел по ее лицу, что она боится этих упоительных видений и старается рассеять их беседой о вещах ей безразличных. Тетушка так сейчас поглощена предстоящими

скачками, что ни о чем другом думать не может. Она надеется, что наш Ноти-бой получит первый приз. Анелька затеяла с нею разговор о скачках, но говорила о них рассеянно, лишь бы не молчать, и задала тете несколько таких вопросов, что та наконец вознегодовала и сказала ей с досадой:

— Дитя мое, да ты, я вижу, никакого понятия не имеешь о скачках!

А я взглядом сказал Анельке: «Знаю, что ты сейчас пробуешь заглушить в себе», — и она поняла меня так хорошо, как будто я сказал это вслух. Я почти уверен, что она, как и я, думает только о наших отношениях. Мысль о любви вне брака уже посеяна в ее душе, растет в ней и не оставляет ее ни на минуту. Анельке придется с нею жить и сжиться с нею. При таких условиях сердце женщины, даже если она любит мужа, может от него отвернуться. Капля камень долбит. Если Анелька любит меня хоть немножко, если ей дорого наше прошлое, она должна стать моей. Не могу и думать об этом спокойно, у меня дух захватывает от предчувствия счастья.

На морских побережьях встречаются кое-где зыбучие пески. Человеку, ступившему на них, нет спасения. И вот иногда мне кажется, что моя любовь похожа на такие пески. Я увлекаю на них Анельку, но и сам погружаюсь в них все глубже.

Пусть мы погибнем — лишь бы вместе!

28 мая

Тетушка проводит теперь по шесть — восемь часов в день в Бужанах, на одном из своих хуторов в миле от Плошова, упиваясь лицемерием Ноти-боя и надзирая за англичанином Уэбом, который тренирует ее любимца перед скачками.

Вчера и я провел там часа полтора. Ноти-бой и в самом деле конек многообещающий, авось он не окажется чересчур «naughty»¹, когда придет время себя показать.

Но что мне до всего этого!

Разные дела требуют моего присутствия в городе, но мне не хочется отлучаться из Плошова. Пани Целине хуже. Правда, «молодой Хваст» (как его называет тетя) считает, что это ухудшение временное, но все-таки он советует не оставлять больную одну и стараться ее развлечь, а то бедная женщина все думает об утрате любимого Глухова, и это еще больше расстраивает ей нервы. Я проявляю по отношению к ней сыновнюю заботливость — для того, конечно, чтобы заслужить благодарность Анельки и приучить ее видеть во мне самого близкого человека. В сердце моем нет больше прежней горькой обиды на пани Целину, — она так несчастна, а кроме того, я уже начинаю любить всех близких Анельки — всех, кроме одного!

¹ капризный, своенравный (англ.).

Вчера и сегодня я несколько часов сидел у больной вместе с Анелькой и «Хвостом», читали, разговаривали. Пани Целина не спит по ночам, а доктор не разрешает ей принимать снотворное, так что днем она после каждого долгого разговора крепко засыпает. И удивительная вещь — будит ее только тишина! Поэтому, когда она засыпает, мы продолжаем читать вслух и разговаривать в ее комнате. Не будь здесь доктора, я мог бы совершенно свободно говорить с Анелей.

Газеты сегодня сообщают об окончании бракоразводного процесса красавицы Корицкой. Этой историей живо интересуется вся Варшава, а в особенности моя тетушка, так как она в дальнем родстве с Корицким. Я решил воспользоваться случаем и заронить в ум Анельки некоторые понятия, которые ей до сих пор были чужды.

— Напрасно тетя так возмущается поступком Корицкой, она не права, — сказал я Анельке тоном глубочайшего убеждения. — По-моему, Корицкая поступила разумно и честно. Воля человека кончается там, где начинается любовь. С этим даже тетя не может не согласиться. Если Корицкая любит другого, единственное, что ей остается, — это разойтись с мужем. Догадываюсь, что сказала бы на это тетя и что ты, Анелька, вероятно, думаешь сейчас. Ты думаешь, что ей остается еще выполнение долга — так, что ли?

— Да, ведь и ты, наверное, так думаешь, — ответила Анелька.

— Конечно. Надо только решить вопрос, в чем состоит долг Корицкой...

Тут наш молодой доктор зачем-то счел нужным нас предупредить, что он не признает свободы воли. Но затем он стал слушать меня внимательно, не перебивая, так как ему нравилась смелость моих суждений. Лицо Анельки выразило удивление. Увидев это, я продолжал:

— Дико и бесчеловечно требовать от кого-нибудь, чтобы он пожертвовал любимым человеком для нелюбимого. Религии могут во многом сильно отличаться друг от друга, но этика у них всех одна. И согласно этой этике брак должен быть основан на любви. Что представляет собой брак? Союз нерасторжимый и священный, если основа его — любовь, в противном же случае — это только сделка, противоречащая требованиям и морали и религии, и, как безнравственная сделка, он должен быть расторгнут. Другими словами, долг жены налагается любовью, а вовсе не рядом торжественных обрядов, которые сами по себе — только формальность. Говорю я это потому, что сущность вещей ценю выше, чем форму. Знаю, слова «измена», «нарушение клятвы, данной перед алтарем» звучат очень страшно. Но не воображайте, будто женщина изменяет мужу только тогда, когда бросает его. Нет, она изменила ему уже в тот час, когда почувствовала, что больше его не любит. Дальнейшее зависит от ее способности

поступать логично, от ее мужества, от того, может ли ее сердце полюбить еще раз, или не может. Корицкая любила того человека, ради которого она сейчас разводится, еще до брака с ее нынешним мужем. Она не вышла за него по какому-то недоразумению, приняв порыв ревности с его стороны за равнодушие. Это была ее главная ошибка. А если она теперь хочет свою ошибку исправить, если она поняла, что нельзя жертвовать любимым ради нелюбимого и что ее долг — долг перед любовью, а не перед «приличиями», — то порицать ее способны только ханжи или люди с повязкой на глазах.

В том, что я говорил, было столько же лжи, сколько искренности. Я прекрасно понимал, что тетушка ни за что на свете не согласилась бы с теорией, будто воля кончается там, где начинается любовь, но сослался на нее умышленно, чтобы внушить Анельке, что это истина, не подлежащая ни малейшему сомнению. Знал я также, что Корицкая — женщина легкомысленная, и в защиту ее не стоит выдвигать тяжелую артиллерию принципов. Историю ее первой любви я просто выдумал для полной аналогии с историей Анельки. Зато, говоря о правах и обязанностях любви, я выражал свое искреннее убеждение. Может быть, я не ратовал бы за эту теорию так горячо, если бы она не была мне на руку, но люди судят всегда несколько субъективно, а тем более такой человек, как я, изверившийся во всех объективных истинах.

Я защищал свои интересы, и дурак бы я был, если бы говорил против себя. Я рассчитывал, что, внушая Анельке такие понятия, ускорю желательный перелом в ее сознании, так как они ей придадут смелости и помогут оправдаться в собственных глазах. Зная ее восприимчивость, я надеялся, что эта «прививка» окажет хоть какое-нибудь действие. Анелька меня отлично понимала, легко было заметить, что каждое мое слово ударяет по ее нервам, как по струнам. На щеках ее все ярче пылали розовые пятна, она несколько раз прикладывала к ним руки, словно пытаясь их охладить, когда я кончил, сказала:

— Все можно доказать рассуждениями. Но когда поступаешь дурно, совесть всегда твердит: «Нехорошо, нехорошо», — и ничем ее не убедишь.

Молодой Хвастовский, вероятно, подумал, что Анелька в философии полнейший профан. Я же, признаюсь, в первую минуту испытал ощущение фехтовальщика, острием шпаги наткнувшегося на стену. Возражение Анельки своей прямой и догматичностью обратило в ничто все мои доводы. Ибо, если утверждение, что воля кончается там, где начинается любовь, может еще вызывать сомнения, то, безусловно, аксиомой является то, что, где появляется на сцену догмат, там конец всяким логическим рассуждениям. Женщины, а в особенности польские женщины, следуют логике лишь до тех пор, пока она им ничем не грозит. Почуввав же опасность, они укрываются в крепости простых верова-

ний и катехизических истин, и крепость эту может разрушить только чувство, разум же перед ней бессилён. В этом их слабость и одновременно их сила, ибо мышление их менее развито, чем у мужчин, зато добродетель в известных условиях может быть непобедима. Дьявол может довести женщину до падения тогда только, когда вселит в нее страсть. Если же он попытается искушать ее философскими рассуждениями, ничего он не добьется, хотя бы рассуждал совершенно правильно.

Придя к такому заключению, я сильно пал духом. Я говорил себе, что, как бы искусны ни были мои построения, сколько бы труда они мне ни стоили, Анелька опрокинет их одним окриком: «Это дурно! Совесть этого не позволяет!» — и я буду бессилён. Притом я должен соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не испугать ее чрезмерной смелостью идей, которые я ей внушаю, и не оттолкнуть ее этим от себя.

А все-таки не могу я отказаться от таких попыток. Правда, они не сыграют существенной роли в процессе покорения ее души. Но они могут сыграть роль вспомогательную и ускорить развязку. Все мои усилия окажутся ни к чему лишь в том случае, если она меня не любит. Какая страшная была бы ошибка! Но все равно — даже и тогда должна же наступить какая-то развязка.

29 мая

Сегодня я застал Анельку в столовой. Она стояла на стуле перед большими стенными часами, в которых что-то испортилось. В тот момент, когда она поднялась на цыпочки, чтобы перевести стрелку, стул под ней покачнулся. Я только успел крикнуть «упадешь!» и, подхватив ее на руки, поставил на пол. Одно мгновение я прижимал к груди это любимое тело, волосы ее коснулись моего лица, я ощутил ее дыхание. У меня так закружилась голова, что я вынужден был и сам ухватиться за ручку кресла, чтобы не упасть.

Анелька это видела. Она знает, что я люблю ее без памяти! Не могу больше писать сегодня...

30 мая

День испорчен: опять Анелька утром получила письмо от Кромницкого. Я слышал, как она говорила тете, что он еще сам не знает, когда сможет приехать: быть может, скоро, а быть может, только через два месяца. Представить себе не могу, как я буду терпеть его присутствие здесь в качестве мужа Анельки. Порой мне кажется, что я этого не вынесу. Надеюсь только, что благоприятные обстоятельства задержат его на Востоке. Хвостовский объявил, что пани Целине, как только позволит состояние ее здоровья, следует ехать в Гаштейн. Это так далеко от Баку,

что Кромичский, я надеюсь, туда не поедет. А я поеду, как бог свят, поеду! Счастливая мысль пришла в голову нашему доктору! Счастливая и для меня и для пани Целины, — тамошние ванны могут восстановить ее силы. Я тоже очень устал и хочу подышать горным воздухом, а главное — побыть там с Анелькой. Завтра поеду в Варшаву и телеграфирую в курортное управление, чтобы для моих дам сняли квартиру. Если все окажется занято, я готов купить целую виллу. Когда пани Целина заговорила о связанных с этой поездкой трудностях и хлопотах, которые свалятся на Анельку, я сказал: «Все это предоставьте мне». Затем, повернувшись к Анельке, добавил тихо: «Сделаю все как для родной матери». Я видел, что пани Целина (она все меньше верит в миллионы Кромичского) опасается, как бы я не устроил все на слишком широкую ногу и не ввел их в большие расходы. И я тут же решил показать ей фиктивный расчет и взять на себя большую часть расходов. Разумеется, я им еще и не заикнулся, что собираюсь тоже ехать в Гаштейн. Я намерен так ловко повести дело, чтобы тетя сама мне предложила сопровождать их. И думаю, что мне это удастся, так как она далека от каких бы то ни было подозрений. Я почти уверен, что, когда стану с ней советоваться, куда бы мне поехать летом отдохнуть, тетюшка скажет: «Да поезжай с нашими, и тебе и им будет веселее». Знаю, Анелька испугается, но, может быть, в каком-то тайном уголке души и обрадуется. Быть может, она вспомнит строки из «Кордиана»: «Ты везде — надо мной, подле меня и во мне». И в самом деле, моя любовь заключила ее в заколдованный круг, она ее окружает, обязывает, подкупает, вкрадывается к ней в сердце под видом заботливости о ней и ее матери, под видом услуг, которых отклонить Анелька не может из страха, что тогда мать поймет все и это ухудшит ее состояние. Любовь проникает к ней в душу в виде благодарности мне и сочувствия моим тяжким страданиям, и наконец, ее навязывает ей власть воспоминаний.

С утра до вечера Анелька слышит только похвалы мне: тетюшка, как всегда, слепо обожает меня, молодой Хвастовский, желая показать, что люди его лагеря умеют быть беспристрастными, утверждает, что я исключение в своей «гнилой среде». Я расположил к себе даже пани Целину сердечным к ней отношением, она теперь — можно сказать, против воли — привязалась ко мне и, наверное, в глубине души сожалеет, что не я муж Анельки. Словом, все вокруг Анельки — и люди и природа — словно внушают ей любовь ко мне.

И ты, любимая, разве устоишь перед всем этим? Когда же ты придешь ко мне и скажешь: «Я больше не в силах бороться — возьми меня, потому что я тебя люблю»?

Пани Л., патронесса одного из здешних благотворительных обществ, просила Клару дать второй концерт — в пользу этого общества. Но Клара ей отказала, пояснив, что работает сейчас над большим музыкальным сочинением и должна всецело сосредоточиться на этой работе. К письму с безукоризненно вежливым отказом она приложила сумму, равную сбору с ее первого благотворительного концерта. Легко себе представить, какое впечатление это произвело в Варшаве. Газеты до сих пор еще шумят о поступке Клары, превознося до небес пианистку и ее великодушные. И, конечно, в их передаче состояние ее отца, человека действительно очень богатого, возросло втрое. Не знаю, откуда пошла в варшавском свете молва, будто я женюсь на Кларе. Быть может, повод к этому дала наша старая дружба, а также преувеличенные слухи об ее миллионах. Я сначала злился, но, подумав, решил не опровергать этих слухов. Они полезны, так как отведут всякие подозрения насчет моих отношений с Анелькой.

Сегодня, на дневном приеме у Клары, ко мне подошла с лужавой миной Корицкая и при всех, — а было там человек двадцать представителей музыкального мира и нашего варшавского высшего света, — сказала громко:

— Кузен, кто это в мифологии не смог устоять перед пением сирены?

— Никто не устоял, кузина, кроме Одиссея, — отвечал я. — Да и он спасся только благодаря тому, что был привязан к мачте.

— А ты оказался менее предусмотрительным?

Я видел, что кое-кто из гостей, в ожидании моего ответа, уже прикусил губу, сдерживая усмешку.

— Иногда никакая предусмотрительность не помогает. Ты лучше всех знаешь, что любовь разрывает все узы.

Корицкая смутилась, утратив на минуту всю свою самоуверенность. Так я одержал одну из тех маленьких побед, которые в светских беседах неизменно характеризуются словами: «Нашла коса на камень».

Пусть себе люди болтают, что я женюсь на Кларе. Мне это безразлично — нет, как я уже говорил, мне это даже выгодно. Я не знал только одного: что мой визит к Кларе окончится так неприятно — и по ее вине. Когда гости разошлись и остались только мы со Снятыньским, Клара сыграла нам свой только что законченный концерт, такой великолепный, что мы не находили слов для похвалы. По нашей просьбе она вторично сыграла его финал и, кончив, вдруг сказала:

— Это на прощанье. Да, все на свете кончается прощаньем.

— Как, неужели вы собираетесь нас покинуть? — спросил Снятыньский.

— Да, не позже как через десять дней я должна быть во Франкфурте.

Снятынский повернулся ко мне:

— Ну-с, а ты что на это скажешь? Ты же в Плошове обнадежил нас, что панна Хильст останется с нами!

— И могу еще раз повторить, что в нашей памяти панна Хильст останется навсегда.

— Я так это и поняла,— с наивным выражением грустной покорности отозвалась Клара.

Меня обуял гнев на себя, на Снятынского, на Клару. Не такой уж я глупец и тщеславный пошляк, чтобы тешиться каждой победой над женщиной. Мысль, что Клара, быть может, по-настоящему любит меня и питает несбыточные надежды, была мне невыразимо неприятна. Я знал, разумеется, о каком-то неясном чувстве ее ко мне, которое при известных условиях могло сильно завладеть ею, но никак не ожидал, что она смеет чего-то требовать от меня и на что-то рассчитывать. Мне вдруг пришло в голову, что Клара объявила нам о своем отъезде только затем, чтобы проверить, как я отнесусь к этой вести. И потому я принял ее весьма холодно. Казалось бы, такая любовь, как моя любовь к Анельке, должна научить человека состраданию. А между тем грусть Клары и ее упоминание об отъезде не только не тронули меня, но показались прямо-таки дерзкой и обидной для меня претензией.

Почему? Уж во всяком случае не из аристократических предрассудков. Я далек от них. В тот момент я не мог разобраться в своих чувствах, но сейчас объясняю эту странность моей исключительной, безграничной верностью Анельке. Мне кажется, что всякая женщина, которая хочет заставить мое сердце хоть на миг забиться сильнее, тем самым посягает на права Анельки. И этим объяснением я удовлетворюсь.

Я, конечно, прощусь с Klarой очень сердечно, когда она будет уже в вагоне, но ее предупреждение об отъезде оставило в моей душе пренеприятный осадок! Ах, одной только Анельке разрешается безнаказанно терзать мои нервы! После слов Клары я впервые посмотрел на нее недружелюбно и критически и словно впервые заметил, что пышность ее форм, белизна кожи, темные волосы, чересчур выпуклые голубые глаза и вишневые губы,— словом, весь тип ее красоты напоминает безвкусные изображения гаремных гурий или, что еще хуже, олеографии, украшающие стены второразрядных гостиниц. Я ушел от Клары в отвратительном настроении и направился прямо в книжный магазин, чтобы купить несколько книг для Анельки.

Целую неделю я раздумывал, что бы такое выбрать ей для чтения. Не следовало пренебрегать и таким средством. Правда, я не возлагаю на него больших надежд, ибо средство это действует очень медленно. Притом я замечал, что для наших женщин, у которых фантазия гораздо буйнее их темперамента, книга

всегда остается чем-то далеким от действительности. Даже у женщин очень впечатлительных книги в лучшем случае создают в голове какой-то отдельный мир, совершенно оторванный от реальной жизни. Пожалуй, ни одной из наших женщин не придет в голову руководиться в своей личной жизни идеями, почерпнутыми из книг. Я уверен, что если бы какой-нибудь великий и знаменитый писатель в книгах своих пытался, например, доказать Анельке, что чистота души и мыслей женщине не только не нужна, но с точки зрения нравственности даже предосудительна, и более того — каким-то чудом сумел бы ее в этом убедить, Анелька все-таки считала бы, что это правило годится для всего света, но только не для нее.

Я могу рассчитывать самое большее на то, что чтение подходящих книг привьет Анельке некоторый либерализм мыслей и чувств. Мне, собственно, только того и нужно. Любя ее всем сердцем, я жажду взаимности, всячески ищу к этому путей, ни единого средства не упускаю, — вот и все. Не имея обыкновения себя обманывать, я откровенно признаюсь: да, хочу довести Анельку до того, чтобы она ради меня оставила мужа, но не хочу ее развращать, грязнить чистоту ее души. И пусть мне не говорят, что одно исключает другое и что это софистика. Во мне и без того сидит бес скептицизма и докучает мне, вечно нашептывая: ты сочинил эту теорию, потому что она тебе на руку, а если бы тебе это было выгодно, утверждал бы обратное. Измена всегда ведет к нравственной испорченности. Какая мука! Но я возражаю моему бесу: что ж, противоположную теорию точно так же можно оспаривать. Я придумываю все, что возможно, в защиту моей любви, это мое естественное право. Другое, еще более естественное право — любить. Бывают чувства банальные и мелкие, а бывают высокие и исключительные. Если женщина, хотя бы и связанная браком, слушается голоса великой любви, она не утратит благородства души. Такую великую, исключительную любовь я и хочу пробудить в сердце Анельки и потому вправе утверждать, что я ее не испорчу, не развращу.

В конце концов эти споры с самим собой ни к чему не ведут. Если бы я даже нимало не сомневался, что поступаю дурно, если бы не мог восторжествовать в споре с моим бесом, я бы из-за этого любить не перестал и все равно пошел бы туда, куда влечет меня сила более могучая, то есть слушался бы живого чувства, а не отвлеченных умозаключений.

Однако подлинная драма всех современных людей с аналитическим складом ума, вечно наблюдающих самих себя, состоит в том, что, не веря результатам самоанализа, они все же остаются жертвами непобедимой страсти копаться в себе. То же самое происходит и со мной. С некоторых пор меня мучает вопрос, как это возможно, что я, весь поглощенный любовью, способен проявлять такую бдительность, взвешивать и обдумывать всякие средства, которыми смогу достигнуть цели, рассчитывать

все так хладнокровно, как если бы это делал за меня кто-то другой.

И вот что я могу на это ответить. Во-первых, человек нашего времени всегда какую-то часть души использует для наблюдения за остальной ее частью. Кроме того, все усилия любви, расчеты, даже хитрости, вся эта на вид хладнокровная и обдуманная тактика прямо пропорциональна температуре чувства. Чем оно горячее, тем энергичнее оно принуждает холодный разум усердно служить ему. Ибо, повторяю, напрасно люди представляют себе любовь с повязкой на глазах. Она не затемняет разума — так же, как не глушит биения сердца и не останавливает дыхания, — она его только покоряет себе. Разум становится первым ее советчиком и орудием. Словом, тем, чем был Агриппа для императора Августа. Разум мобилизует все силы, ведет войска в бой, одерживает победы, возводит своего владыку на триумфальную колесницу и, наконец, воздвигает не Пантеон, как Агриппа, а Монотеон, в котором на коленях служит единственному божеству своего императора. В том микрокосме, которым является человек, роль разума выше, чем роль полководца, ибо он до бесконечности отражает сознание всего и себя самого, как система соответственно установленных зеркал отражает до бесконечности какой-нибудь предмет.

1 июня

Вчера получил ответ из Гапштейна. Квартира для Анельки с матерью снята. Я сразу известил их об этом и послал Анельке целую пачку книг — Жорж Санд и Бальзака. Сегодня воскресенье, первый день скачек. Тетушка приехала из Плошова и остановилась у меня. Она, разумеется, уже побывала на скачках и всецело занята ими. Наши лошади, Ноти-бой и Аврора, которые уже два дня находятся в моей конюшне вместе с Уэбом и жокеем Джеком Гузом, будут участвовать в состязаниях только в будущий четверг. Так что первый день скачек интересовал тетущку, так сказать, платонически. Но что у нас творится, описать трудно! Конюшни превратились в крепость. Тетушка воображает, будто жокеи других коневодов трепещут при одной мысли о ее Ноти-бое и готовы на все, только бы сделать его неспособным к состязанию. Поэтому в каждом торговце апельсинами, в каждом шарманщике она видит переодетого врага, который прокрался к нам во двор с коварными намерениями. Швейцару и дворнику отдан строжайший приказ следить за каждым, кто войдет в ворота. Конюшню стерегут еще бдительнее. Тренер Уэб, как истый англичанин, сохраняет хладнокровие, несчастный же Джек Гуз (он родом из Бужан, и настоящее его имя, Куба Гусак, в точном переводе с польского превратилось в «Джек Гуз») совершенно теряет голову, так как тетущка беспрерывно ругает его и двух конюхов, тоже приехавших из Бужан для надзора за

лошадьми. Она не отходила от своего Ноти-боя, и я ее почти не видел эти дни. Только перед отъездом она мне сообщила добрую весть: пани Целине опять лучше, и она решила, что Анельке непременно следует побывать в четверг на скачках. Вероятно, пани Целина догадалась, что тетушке это будет приятно, она же один день вполне может оставаться без Анельки, под присмотром служанки и доктора. Анелька сидит в Плошове, как замурованная, и ей действительно не мешает развлечься. А для меня это будет большой радостью. Одна мысль, что она будет жить в моем доме, наполняет меня блаженством. В этом доме я полюбил ее, а быть может, и ее сердце впервые забилося для меня сильнее после того бала, который тетя устроила тогда для нее. Все здесь будет напоминать ей те минуты.

2 июня

Хорошо, что я не успел переделать зал под будущий музей, — мне пришла идея пригласить после скачек на обед гостей, выбрав тех, к кому Анелька расположена; таким образом, я задержу ее у себя в доме еще на несколько часов и, кроме того, она поймет, что это обед в ее честь.

3 июня

Я накупил массу цветов и велел убрать ими лестницу и два зала. Комната Анельки осталась в таком точно виде, как тогда, когда она здесь гостила у тети. Вероятно, дамы приедут утром, и Анелька захочет переодеться перед скачками, поэтому в ее комнату я приказал перенести большое зеркало и все, что нужно для дамского туалета. Комната превратилась в настоящий будуар. Анелька на каждом шагу будет встречать доказательства моей заботы и любви, увидит, что я храню память о прошлом. Только сейчас, когда я пишу об этом, я понял, что мне гораздо легче, когда я чем-нибудь занят, когда необходимость действовать вырывает меня из заколдованного круга рефлексии и раздумья о самом себе. Право же, вбивать в стену гвозди, на которых будут висеть картины будущего музея, гораздо полезнее, чем беспрерывно наворачивать одну мысль на другую. Ах, почему я не могу быть простым человеком! Если бы я в свое время не мудрил, я был бы сейчас одним из счастливейших людей на свете!

4 июня

Ездил сегодня приглашать на обед Снятынских и еще нескольких знакомых. Снятынский, как мне и хотелось, раструбил уже повсюду, что я перевожу отцовские коллекции в Варшаву и учреждаю музей, открытый для всех. И вот я — герой дня. Все газеты пишут об этом событии и, пользуясь случаем, обрушива-

ются на других богатых людей, которые, мол, только убивают время и транжирят свои деньги за границей, и так далее. Мне хорошо знакомы стиль и манера газетных писак, и я заранее предвидел, что они напишут, начиная с содержания заметок и кончая такими фразами, как «noblesse oblige»¹ и т. п. Но все это мне выгодно. Я собрал целую кипу газет, чтобы показать их теще и Анельке.

5 июня

Скачки назначены днем раньше из-за того, что завтра праздник. Анелька и тетя приехали сегодня утром в сопровождении горничной и привезли груды картонок с туалетами. При первом взгляде на Анельку я испугался. Она очень похудела, побледнела, лицо утратило свои прежние теплые тона и было словно затуманено, оно напомнило мне живопись Пюви де Шаванна. Тетя и мать Анельки не замечают ничего, так как видят ее постоянно, мне же, после нескольких дней разлуки, перемена эта сразу бросилась в глаза. Меня уже мучает раскаяние и жалость. Должно быть, всему причиной — разлад и тайная борьба в ее душе. Если бы она перестала бороться с собой, если бы послушалась голоса сердца (а сердце это — мое, стократ мое, и говорит за меня!), наступил бы конец ее волнениям и началось бы счастье.

Я все глубже погружаюсь в зыбучие пески. Ведь вот, кажется, изучил я каждую черту, каждую мельчайшую подробность в лице Анельки и, когда ее не вижу, представляю ее себе так живо, словно она стоит передо мной. А между тем всякий раз, как мы встречаемся после нескольких дней разлуки, я открываю в ней что-нибудь новое, пленительное, люблю ее еще больше прежнего. И сказать не могу, до какой степени она удовлетворяет меня эстетически, как глубоко я чувствую, что это — мой тип, мой идеал красоты, моя женщина. Это чувство будит во мне какую-то полумистическую веру, что она создана для меня. И когда я, услышав во дворе стук коляски, сбежал по лестнице навстречу Анеле, я снова почувствовал себя во власти ее обаяния и снова действительность показалась мне чудеснее того образа, который я хранил в душе.

Анелька приехала в легком дорожном плаще из шелка-сырца и шляпке с длинной серой вуалью, завязанной под подбородком по английской моде. Из этой серой рамки улыбалось мне прелестное любимое лицо, лицо девочки, а не замужней женщины. Она поздоровалась со мной удивительно сердечно и весело. Вероятно, утренняя поездка и предстоящие развлечения привели ее в хорошее настроение. А я, решив, что она рада меня видеть и Плошов без меня кажется ей пустым и скучным, почувствовал

¹ положение обязывает (фр.).

себя счастливым. Как гостеприимный хозяин, я предложил одну руку тете, другую — Анельке, благо широкая лестница позволяла идти по ней втроем, и повел дам наверх. При виде этой великолепно убранной цветами лестницы они очень удивились, а я сказал:

— Я хотел устроить вам сюрприз.

При этом я прижал к себе руку Анельки, так легонько, что мой жест мог показаться случайным и невольным. Затем обратился к тетушке:

— Я даю званый обед в честь победы Плошовских.

Тетушку это очень тронуло. Если бы она знала, как мало меня интересовал ее Ноти-бой и все победы, какие могут одержать лошади Плошовских на ристалищах всей Европы! Анелька, видимо, догадывалась об этом, но она была сегодня в таком приподнятом настроении, что только мельком взглянула на меня и с усмешкой прикусила губу.

Я чуть не потерял голову. В обращении со мной Анельки сегодня мне почудился оттенок веселого кокетства, какого я ни разу не замечал до сих пор. «Ведь не может быть, чтобы у нее совсем не было самолюбия и чтобы ей нисколько не льстило то, что я все делаю только для нее», — говорил я себе.

Тетушка между тем сняла пальто и пошла взглянуть на Ноти-боя и Аврору. А я подал Анельке список приглашенных на обед и сказал:

— Я старался подобрать людей тебе приятных. Но если велишь позвать кого-нибудь еще, я сейчас же пошлю приглашения или съезжу сам.

— Ты этот список покажи тете, — отозвалась Анелька. — Пусть она выбирает.

— Нет. Тетю я усажу во главе стола, и к ней все будут обращаться с поздравлениями или выражениями соболезнования. Но роль хозяйки в этом доме я предназначил тебе.

Анелька слегка покраснела и, желая переменить разговор, спросила:

— А как ты думаешь, Леон, Ноти-бой победит? Тетя так на это рассчитывает, и ей так этого хочется!

— Не знаю, повезет ли Ноти-бою, а мне уже повезло, — у меня в доме такая дорогая гостья, как ты!

— Ты все шутишь, а у меня и вправду душа не на месте...

— Видишь ли, — сказал я уже серьезнее, — тетя даже в случае провала на скачках скоро утешится. Через несколько недель мои коллекции будут уже в Варшаве, а она об этом мечтала много лет и горячо уговаривала отца перевезти их на родину. То-то обрадуется! Все газеты уже трубят об этом, — и ты не можешь себе представить, какие мне расточают похвалы.

Милое личико Анельки вмиг просияло.

— Покажи, прочти мне! — попросила она.

Мне хотелось целовать у нее руки за этот порыв радости. Ведь он служил новым доказательством: если бы я ей был безразличен, разве радовали бы ее так похвалы мне?

— Нет, не сейчас. Прочту, когда тетя вернется. Или еще лучше, пожалуй, пусть читает сама, а я спрячусь на это время за твою спину, чтобы вы — а главное ты — не видели, какая у меня будет глупая физиономия!

— Почему глупая?

— Да потому, что все это — вовсе не моя, а твоя заслуга. И похвалы следует адресовать тебе. Ах, как бы я хотел сказать господам журналистам: если вы считаете мой поступок таким великим подвигом, то отправляйтесь всей компанией в Плошов и поклонитесь в ноги одной женщине.

— Леон! Леон! — остановила меня Анелька.

— Тсс, злючка, иначе и я сейчас упаду перед тобой на колени. И не встану, пока ты не признаешь, что это твое влияние.

Анелька не нашла, что ответить. Слова мои были словами страстно влюбленного, но тон, непринужденный, шутливо-веселый, мешал отнестись к этим словам с полной серьезностью.

А я радовался тому, что нашел новый способ многое ей высказать, сделать много признаний.

Не желая, однако, этим способом злоупотреблять, я тотчас заговорил уже серьезно о переделках, которые затеваю у себя в доме.

— Я отведу под музей весь второй этаж, кроме одной комнаты, где ты жила прошлой зимой. Она останется нетронутой. Я позволил себе только сегодня украсить ее немного в честь твоего приезда.

Говоря это, я подвел ее к двери. Анелька остановилась на пороге и невольно ахнула:

— Ой, какие цветы!

— Ты сама — самый чудесный цветок на свете, — сказал я тихо. И, помолчав, добавил: — Поверишь ли, Анелька, в этой комнате я хотел бы умереть, когда придет мой час.

О, как искренне я это говорил! Лицо Анельки затуманилось, веселость ее угасла. Я видел, что мои слова ее глубоко взволновали, как волнуется каждый искренний вопль души. Она дрогнула, наклонилась вперед, словно какая-то сила толкнула ее ко мне. Но и на этот раз поборола себя. Одно мгновение она стояла передо мной, опустив веки, затем сказала печально и строго:

— Не огорчай меня. Мне хотелось бы чувствовать себя свободно в твоём обществе.

— Хорошо, Анелька. Так и будет, вот тебе моя рука!

И я протянул ей руку. Она сжала ее так крепко, словно этим пожатием хотела выразить все, что запретила себе говорить. И оно заменило мне тысячу слов, опьянило меня так, что я едва устоял на ногах. Впервые со дня моего возвращения я ясно почувствовал, что любимая женщина — моя душой и телом. Сча-

стве было так безмерно, что к нему прилепился даже какой-то страх. Передо мной открывался новый, неведомый мир. С этой минуты я был уверен, что сопротивление Анельки недолго будет длиться, что все зависит от времени и от моей смелости.

Тетушка вернулась из конюшни в самом радужном настроении, убедившись, что не было никакого покушения на драгоценное здоровье ее Ноти-боя. Тренер Уэб на все ее вопросы отвечал только: «All right!»¹ А Джек Гуз был полон энтузиазма. Мы подошли к окнам, чтобы посмотреть, как будущего победителя выведут из конюшни, ибо пора было отправлять его на Мокотовское поле, где он, топчась на месте, станет дожидаться своей очереди. Действительно, через несколько минут мы увидели, как два конюха вывели его во двор, но полюбоваться им как следует не смогли, — он был словно зашит в попону. Видны были сквозь прорези только большие кроткие глаза да стройные ноги, словно отлитые из стали. За ним шагал Уэб, а замыкал шествие наш доморощенный «англичанин», юный Джек Гуз в новом кафтане поверх жокейской куртки и в жокейских сапогах. Я крикнул ему в открытое окно:

— Смотри же, Куба, не ударь в грязь лицом!

А он снял шапку и, указав на Ноти-боя, ответил весело на чпстейшем, отнюдь не лондонском, а бужанском диалекте:

— Не бойтесь, ясновельможный граф, они увидят только его зад!

Завтракали мы наспех, но тетя нашла все-таки время прочесть за кофе все, что писали газеты о перевозке коллекций моего отца из Рима в Варшаву. Как женщины чувствительны ко всякой похвале в печати по адресу близких им людей! Тетушка расцвела от радости. Она была просто несравненна, когда, каждую минуту отрываясь от чтения, смотрела сквозь очки на меня с обожанием, а на Анельку — испытующе, и то и дело произносила тоном, не допускающим возражений:

— Ничуть не преувеличено! Ты всегда был такой!

Я мысленно благодарил бога, что здесь нет какого-нибудь мужчины-скептика, ибо у меня был, вероятно, преглупый вид.

Настало время дамам переодеваться. Выходя из столовой, тетушка с притворным равнодушием сказала:

— Надо поторопиться. Я обещала заехать за молодой Завиловской. Ее должен был повезти на скачки отец, но у него на днях был приступ подагры.

Когда она вышла, мы с Анелькой переглянулись. Анелька хитро усмехнулась уголками губ, а я сказал:

— Слыхала, Анелька? Новое сватовство!

Она приложила палец к губам, как бы предостерегая меня, чтобы я не говорил слишком громко, и скрылась в своей комнате, но через минуту высунула голову из-за двери:

¹ Все в порядке (англ.).

— Знаешь, что я вспомнила? Ты не пригласил панны Хильст!

— Да, не пригласил.

— Но почему же?

— А я люблю с ней встречаться с глазу на глаз,— ответил я со смехом.

— Нет, серьезно,— отчего ты ее не пригласил?

— Если хочешь, могу еще пригласить.

— Это твое дело,— бросила Анелька, снова скрываясь за дверью.

И я предпочел не звать Клару Хильст.

Через час мы уже ехали по Бельведерским Аллеям. На Анельке было желтоватое платье, отделанное кружевами. Я так научился говорить ей все глазами, что она легко могла прочесть в них мое восхищение. И прочла — я угадал это по ее покрасневшему и смущенному лицу. По дороге мы остановились у особняка Завиловских. Не успел я позвонить, как дверь распахнулась, и панна Елена в серебристо-сером наряде встала передо мной,— а вернее проплыла мимо, с высоты своего величия едва удостоив меня кивком. Панна Елена — блондинка с холодными голубыми глазами, неулыбающимся лицом и в высшей степени церемонными манерами. Красивой ее назвать нельзя. Но она считается образцом благовоспитанности, и я готов согласиться с этим, если благовоспитанностью называть чопорность. Обхождение ее со мной так же холодно, как ее глаза, но это холодность настолько преувеличенная, что вряд ли она искренна. Нет, это — попросту метод, которым панна Елена рассчитывает дразнить мое самолюбие. Метод неумный, ибо он меня ничуть не подстегивает и только нагоняет скуку. Я уделяю панне Завиловской лишь то внимание, какого требует простая учтивость.

Сегодня, впрочем, я занимал ее несколько усерднее: мне это нужно было, чтобы отвлечь внимание любопытных и рассеять подозрения, которые могли бы у них возникнуть при виде Анельки, сидящей со мной в экипаже. Мы двигались медленно — день был прекрасный, и на ипподром направлялось множество людей, веренице экипажей не видно было конца. Впереди и за нами колыхалось море раскрытых зонтиков, и это было, в сущности, красивое зрелище — они яркими красками горели на солнце, а под ними, в их разноцветной тени, мелькали женские головки, лица с тонкими точеными чертами. В Варшаве довольно много красивых женщин, но им недостает темперамента. Не замечал я его даже у дам из денежной аристократии — они только делают вид, что он у них есть. Открытые экипажи, кое-где — оригинальные запряжки, светлые платья дам на фоне зеленой листвы, обилие нарядно одетых породистых людей и породистых лошадей, — все придавало этой процессии вид весьма изысканный и не лишенный красочности. Я с удовольствием отметил про себя, что движение и оживленная толчея вокруг веселят и зани-

мают Анельку. Отвечая на мои замечания, она поглядывала на меня с благодарностью, как будто это я устроил для нее такое развлечение.

Сидя против нее, я имел возможность все время смотреть на нее, но старался чаще заговаривать с панной Завиловской, от которой веяло холодом, как от графина с ледяной водой. Эта молодая особа своим поведением уже попросту забавляла меня — она как будто подчеркивала, что отвечает на мои вопросы и терпит мое общество только из благовоспитанности и светской учтивости. Я умышленно стал еще усерднее любезничать с ней, но любезность моя была не лишена оттенка пезлобивого юмора, и это в конце концов начало ее бесить. Так доехали мы до Моко-товских полей. Для экипажа тетушки было оставлено обычное место у трибуны, и, как только мы подъехали, нас окружили знакомые с билетами на шляпах, приветствуя тетушку и восторгаясь прекрасными и многообещающими «статьями» Ноти-боя. Один известнейший коннозаводчик сказал ей, что это лошадь великолепная; она, пожалуй, недостаточно тренирована, но, так как ночью шел дождь и почва еще мягкая, то такой сильный рысак, как Ноти-бой, имеет все шансы победить. Мне показалось, что он сказал это с иронией, и я забеспокоился: поражение Ноти-боя испортило бы весь день тетушке, а значит — и мне, ибо ее дурное настроение помешало бы нам веселиться. Я прошел вдоль вереницы экипажей, осматривая поле, отыскивая глазами знакомых. Везде было полно народу, на трибунах — сплошная, тесно сбитая масса, расцвеченная яркими красками женских платьев. Вся арена была опоясана широким кольцом зрителей; городской вал тоже усеян любопытными. По обе стороны трибун, словно два крыла, тянулись бесконечные ряды экипажей, и каждый из них напоминал корзину цветов.

Шагах в ста от трибун я увидел в коляске задорный носик и розовое лицо Снятынской. Когда я подошел поздороваться, она сказала мне, что муж отправился разыскивать панну Хильст. Потом, не переводя дыхания, задала мне множество вопросов: как здоровье тетушки и пани Целины? Приехала ли Анелька на скачки? Каким образом они с матерью могут ехать в Гаштейн, если пани Целина не встает с постели? Победит ли Ноти-бой? И что будет, если не победит? Сколько человек будет сегодня у меня на обеде? Пока я стоял у ее коляски и на меня сыпались все эти вопросы, я успел заметить, что у Снятынской удивительно доброе выражение глаз и очень красивая ножка. Я попытался было ответить на все ее вопросы «залпом», так же как они были заданы, но для этого (как говорит шекспировская Розалина) нужны были бы уста Гаргантюа. Поэтому, ответив кое-как, с пятого на десятое, и попросив, чтобы она и муж после скачек ехали прямо ко мне, я тоже следом за Снятынским пошел искать Клару, считая, что мне следует хотя бы подойти к ее экипажу. Оказалось, что он стоит неподалеку от нашего. Клара

напоминала холмик, покрытый цветами гелiotропа. Ее коляску обступили артисты и меломаны, и она весело болтала с ними. Увидев же меня, сдвинула брови и поздоровалась несколько холодно. Впрочем, я понимал, что при первом моем дружеском слове холодность эта сменится искренней сердечностью. Однако я остался холоден и после пятнадцатиминутной церемонной беседы пошел дальше. Обменявшись на ходу несколькими словами с другими знакомыми, я вернулся к нашему экипажу, так как за это время два первых состязания кончились и настала очередь Ноти-боя.

Я взглянул на тетушку: лицо у нее было торжественно-серьезное, ей явно стоило больших усилий сохранять хладнокровие. Зато Анелька не могла скрыть своего беспокойства. Мы довольно долго ожидали, пока вывели лошадей, — взвешивание сегодня почему-то продолжалось дольше обычного. Между тем примчался Снятынский; он уже издали махал нам длинными руками и показывал билеты, купленные в тотализаторе.

— Я поставил миллионы на вашего Ноти-боя! — крикнул он. — И если он меня подведет, я потребую закладную на Плюшов.

— Надеюсь, что вы... — с достоинством начала тетушка.

Но она не договорила: в эту самую минуту над темной массой людей, теснившихся у трибуны, запестрели куртки жокеев. Лошадей выводили на беговую дорожку. Одни, очутившись на свободе, сразу же галопом неслись к месту, откуда начинаются скачки, другие шли спокойным, неторопливым шагом. После старта наездники промчались мимо нас тесной кавалькадой, не очень быстро, так как предстояла еще вторая скачка и следовало беречь силы лошадей. Но уже на втором повороте кавалькада развернулась цепью. Казалось, ветер разнес по полю горсть цветочных лепестков. Впереди мчался жокей в белом, за ним — второй, в голубом с красными рукавами и в красной шапочке, далее скакали двое рядом, один весь в красном, другой — в красно-желтом, а наш оранжевый Куба занял предпоследнее место, имея за собой очень близко только жокея в белом и синем. Однако недолго они скакали в таком порядке. Когда лошади дошли до противоположной границы круга, в экипажах началось движение: наиболее заинтересованные дамы стали на сиденья, чтобы не упустить ни единого момента скачек; их примеру последовала и моя тетушка, — она уже не могла устоять на месте.

Анелька уступила свое место панне Завиловской, и та, после церемонного отказа, все же стала рядом с тетей, Анельку же я поставил на передней скамейке, и так как здесь не на что опереться, то я встал рядом с ней и поддерживал ее. Сознаюсь, в эти минуты я чуть не забыл о скачках и думал только о том, что эта дорогая хрупкая рука лежит в моей и Анелька ее не отнимает. Спина тетушки отчасти заслоняла мне зрелище, но, встав на цыпочки, я окинул взглядом все поле и жокеев, достигших

уже поворота на другой стороне поля. Издали они были похожи на каких-то светлых жуков, летящих по воздуху. С такого расстояния скачка казалась медленной, и в движениях передних и задних конских ног было что-то автоматическое. Однако эта разноцветная вереница при всей кажущейся медленности движения быстро оставляла за собой пространство. Жокеи уже снова поменились местами. Впереди по-прежнему шел белый жокей, за ним — красный, но на третьем месте был теперь наш Куба. Остальные сильно отстали, и расстояние между ними и передними увеличивалось с каждой минутой. По-видимому, Ноти-бой был конек не из плохих. Я на миг потерял всех из виду, но увидел их снова, когда они пронеслись близко от нас. Красный жокей уже догонял белого, а Куба был еще ближе к ним обоим. Теперь я был уверен, что белый отстанет, так как лошадь под ним взмокла, бока у нее блестели, словно облитые водой. Красный жокей был грозным соперником, но я подумал, что в худшем случае Ноти-бой возьмет второй приз, и, значит, провал не будет полным. Обнадеживало меня и то, что он шел так хладнокровно и выбрасывал ноги спокойно и мерно, словно выполняя какую-то обычную работу. Интерес зрителей все возрастал.

— Ноти-бой проиграл? — шепотом спросила у меня Анелька, увидев, что Куба позади.

— Нет, милая, остается еще один круг, — ответил я, слегка пожимая ее пальцы.

Она и теперь не отняла руки. Правда, все ее внимание было поглощено скачкой. Когда лошади появились с другой стороны ипподрома, заслоненной от нас трибуной, Куба был уже на втором месте, а лошадь белого жокея настолько обессилела, что и трое оставшихся позади наездников догоняли ее. Всем уже было ясно, что борьба пойдет теперь только между красным жокеем и оранжево-черным. Куба еще больше приблизился к красному, между ними теперь было расстояние, на котором могло поместиться лошадей пять-шесть. Так они обскакали значительную часть поля. Вдруг шум на трибунах возвестил, что происходит что-то необычайное. Гляжу — Куба решительно догоняет своего соперника. Жужжание голосов на трибуне перешло в громкий говор. Анелька была так увлечена, что сама теперь нервно сжимала мою руку и поминутно спрашивала: «Ну, что? Как там?» Лошади шли уже по левой стороне поля. Красный, несколько раз подстегнув свою кобылу, снова вылетел вперед, но наш Ноти-бой уже почти касался мордой ее хвоста. Оба бешеным галопом поравнялись с трибунами и опять скрылись с глаз. Состязание подходило к концу. На трибунах наступила тишина, но через мгновение она сменилась громкими криками. Толпа зрителей хлынула к веревкам, которыми был оцеплен ипподром. И в ту же минуту мы вдруг увидели красные ноздри и голову лошади с вытянутой в струну шеей, а над ней — что-то оранжевое с черным, и все это пронеслось вихрем мимо нас. На трибуне раздал-

ся звонок — победа была за нами, красный жокей остался далеко позади.

Надо отдать тетушке справедливость — она сумела сохранить спокойствие. Только на лбу у нее выступил пот, и она стала обмахиваться платком. Анелька была взволнована, обрадована, просто счастлива. Мы оба стали поздравлять тетушку, и даже панна Завиловская изрекла несколько французских фраз, словно извлеченных из «Бесед» г-жи Бокель. А затем нашу коляску обступили знакомые. Триумф был полный.

Я тоже был в упоении, вновь и вновь переживая те мгновения, когда Анелька сжимала мне руку. Напрасно говорил я себе, что она делала это, быть может, бессознательно, напрасно напоминал себе, что сопротивление женщины часто ослабевает в минуты сильного волнения, самозабвенного увлечения чем-нибудь, будь то красоты природы, или какое-нибудь зрелище, или что-либо другое из ряда вон выходящее. Легко понять, что в такие минуты взвинченные нервы нарушают душевное равновесие. В таком именно состоянии была Анелька, а я, предположив, что она уже перестает бороться с овладевшим ею чувством, давал себе слово действовать решительно.

Думаю, в Плошове у меня будет для этого немало удобных случаев. Завтра мы туда возвращаемся. Сегодняшний званый обед, разговоры, развлечения — все сыграло роль наркотиков. Анелька не знает, сколько счастья нас ждет впереди, но для этого она должна отдать мне свое сердце целиком, без оговорок и без оглядки.

Хотя тетя и предупредила пани Целину, что они с Анелькой, возможно, останутся в Варшаве до завтра, мы собирались уехать еще сегодня, после званого обеда. Однако нас задержало одно происшествие: обед и чаепитие затянулись до десяти часов вечера, а когда ушли последние гости, тетушке пришлось сказать, что Ноти-бой захворал. Поднялась невообразимая суматоха. Пока послали за ветеринаром, пока его разыскали, время подошло к полуночи. И тетя слышать не хотела об отъезде.

Анелька, напротив, пожелала ехать, но, видя, что я намерен под любым предлогом ее сопровождать, не стала настаивать: она еще меня опасается. К тому же тетя сказала ей, что, вернувшись в Плошов в такой поздний час, она разбудит весь дом и свою мать.

— Я считаю, что и в этом варшавском доме я у себя, — добавила затем тетушка. — И Леон на меня за это не в обиде. Так что ты здесь вроде как у меня в гостях. Ну, все равно, как если бы я отдала Леону Плошов, но продолжала там жить и тебя с матерью не отпустила бы, пока Цеся не поправится.

Этим тетя окончательно убедила Анельку остаться.

Сейчас три часа ночи. Уже светает, но на дворе и у конюшен еще мелькают фонарики тех, кто ухаживает за больным

Ноти-боем. Когда мы расходились на ночь по своим комнатам, тетя сказала, что пробудет в Варшаве еще и завтрашний день. Тогда я объявил, что в Плошове оставил нужные мне бумаги и пфеду завтра за ними, а заодно отвезу Анельку.

Мы будем с ней одни в экипаже — и я не стану больше медлить и колебаться. Вся кровь приливает к сердцу, как представлю себе, что буду везти мою любимую в объятиях, прижав ее к груди, и услышу признание, что и она любит меня так, как я ее.

Пасмурно, моросит дождь, но уже светает. Всего лишь несколько часов отделяет меня от той минуты, когда начнется новая жизнь... Конечно, я не сплю, не мог бы уснуть ни за что на свете. Ни малейшего утомления, веки мои ничуть не отяжелели, и я пишу, вспоминаю... Ладонь еще хранит тепло Анелькиной руки и дрожь ее пальцев. Я завоевал эту душу, я воспитал ее и подготовил к любви. Я чувствую себя как полководец, который все предусмотрел, обдумал, рассчитал, но все-таки бодрствует накануне дня, когда решится его судьба.

Зато Анелька спит там, в другом конце дома, и я верю, что даже сон ее — мой союзник; быть может, она видит меня во сне и протягивает ко мне руки. Я с трепетом радости думаю об этом.

В этом мире зла, глупости, непрочности и ненадежности всего есть одно, ради чего стоит жить, — любовь, любовь, не знающая сомнений, сильная, как смерть. И вне ее нет ничего...

6 июня

Сегодня отвез Анельку в Плошов и теперь спрашиваю себя: ну, не безумец ли я? Нет, не привез я ее в объятиях, не услышал от нее признаний! Меня оттолкнули так решительно, с таким возмущением и багровым румянцем стыда, что я совсем уничижен! Но что же это значит? Либо я глупец, либо у нее нет сердца. С чем я борюсь? Обо что разбились мои надежды? Почему она меня отталкивает? В голове у меня такой хаос, что не могу ни думать, ни писать, ни рассуждать здраво — и только повторяю все тот же вопрос: обо что я разбился?

7 июня

Я допустил в чем-то огромную ошибку, проглядел что-то в этой женщине и ошибся в расчетах. Два дня пытался понять, что же случилось, но хаос в мозгу мешал мне думать. Сейчас я взял себя в руки и хочу хладнокровно во всем разобраться. Поведение Анельки было бы вполне ясно, если бы ее от меня защищала любовь к мужу. Тогда были бы понятны то негодование и оскорбленная стыдливость, с какими эта женщина, такая кроткая и ласковая, оттолкнула меня. Но этому я поверить не могу. У меня еще достаточно ума, чтобы понимать, что смотреть на

все сквозь черные очки так же безрассудно, как видеть все в розовом свете. Откуда могла взяться у Анельки любовь к Кромницкому? Посмотрим и еще раз взвесим все. Вышла она за него не любя. За то время, что они провели вместе, он успел обмануть ее доверие: продал ее родное гнездо и этим довел ее мать до тяжелой нервной болезни. Детей у них нет. Да если бы и были — ребенок вовсе не побуждает женщину сильнее любить мужа, — нет, он только как бы гарантирует ее верность, заставляет ее больше считаться с отцом семьи. Другими словами, ребенок крепче связывает супругов, но не их сердца. Наконец, Анелька не из тех женщин, которые способны после свадьбы вдруг вспылать любовью к мужу, — такие женщины либо сильнее, чем она, тоскуют по мужу, либо легче заводят любовника. Я говорю это так прямо и грубо, что себе самому причиняю боль, но к чему щадить себя? Нет, я положительно уверен, что Анелька не питает к Кромницкому никакого чувства, хоть сколько-нибудь похожего на любовь, и даже никакого уважения. Она только не позволяет себе презирать его. Таково состояние ее души. Я считаю это доказанным раз навсегда, — если это не так, значит, я слеп.

Если сердце Анельки в то время, когда я вернулся из-за границы, было *tabula rasa*¹, то я, несомненно, на этой *tabula rasa* что-то начертал. Ведь в других случаях мне не раз это удавалось, а тут мне этого так хотелось, мне это было важнее, чем когда бы то ни было. Я будил в душе Анельки чувство дружбы, жалости, будил воспоминания, ничего не упуская, все принимая в расчет. Мне помогала сила истинной любви. И вот теперь я хватаюсь за голову и говорю себе: человек, ведь ты же не провинциальный «лев», убежденный, что ни одна женщина не может перед тобой устоять. Так не обманывался ли ты, воображая, что она тебя любит, что сердце ее принадлежит тебе?

Где же доказательства, что я ошибался? Прежде всего ее сопротивление. Но я никогда и думать не смел, что она не будет сопротивляться. Допустим, какая-нибудь замужняя женщина без памяти влюблена в другого, — но и в таком случае женщина не отдастся любимому без всякого сопротивления, не борясь с собой и с ним до потери сил.

Сопротивление рождается не любовью, но если эти две силы могут существовать бок о бок, как две птицы в одном гнезде, значит, они не исключают друг друга.

Я веду дневник не только потому, что это уже превратилось у меня в страсть, стало моей второй жизнью, и не потому лишь, что это единственная возможность отводить душу: дневник помогает сызнова обозревать мысленно ход событий, осознавать их, отдавать себе во всем отчет. Вот я сейчас перечитываю страницы, на которых записана вся история моих отношений с Анелькой с

¹ чистая доска (лат.).

момента моего возвращения в Плошов. Здесь запечатлен чуть ли не каждый ее взгляд, каждый наш разговор, каждая ее улыбка и слеза, каждый подмеченный мною трепет ее души. И анализ мой верен, я не заблуждался, нет! То были слова, слезы, взгляды и улыбки женщины, может быть, несчастной, но не равнодушной.

Мое поведение не могло не отразиться на ней. Я ведь не слеп и вижу с болью в сердце, как она день ото дня худеет, руки становятся прозрачнее, а лицо словно меньше, — и при мысли, что эта душевная борьба будет ей стоить здоровья, у меня от ужаса волосы встают дыбом. Все это — неопровержимые доказательства. Да, ее сердце принадлежит мне, ее мысли заняты мною. Именно поэтому она так же несчастна, как я, — а может, еще несчастнее.

Я перечел те строки, в которых писал, что я не смел и надеяться на покорность Анельки. Правда, так было вначале, после моего приезда в Плошов, но в последний раз, когда мы ехали вместе из Варшавы, я уже был уверен, что она не станет сопротивляться. И ошибся. Она не сделала мне ни малейшей уступки, ничуть не сжалась, она с таким ужасом отказывалась слушать меня, как будто слова мои были кощунством. Я видел в ее глазах гнев и возмущение, она вырвала свои руки, когда я стал покрывать их поцелуями, и не переставая твердила: «Ты меня оскорбляешь!» Ее решительность победила мою, ибо я никак не ожидал такого взрыва. Не помня себя от гнева, Анелька даже пригрозила, что выскочит из коляски и пешком пойдет в Плошов под проливным дождем. Слово «развод» словно ожгло ее каленым железом. Ничего, ровно ничего я не добился ни страстными протестами, ни дерзостью, ни мольбами, ни словами любви. Все это Анелька воспринимала как оскорбление, все было ею отвергнуто и растоптано. Сегодня, когда я вижу, как она ходит по дому, ласковая и кроткая, мне начинает казаться, что тогда, в экипаже, была какая-то другая женщина. Не буду скрывать от себя — я потерпел поражение столь полное, что, если бы у меня хватило на то мужества, если бы у меня была еще какая-нибудь цель в жизни, я должен был бы сегодня же уехать отсюда.

Допустим даже, что она меня любит. Но что мне с того, если ее любовь никогда не разорвет тех уз, которые ее связывают, не вырвется наружу, не откроется мне ни единым словом и поступком? С тем же успехом я мог бы вообразить, что меня любит Елена Троянская, Клеопатра, Беатриче или Марья Стюарт! Такова ее любовь, ничего не жаждущая и ни к чему не обязывающая. Быть может, ее сердце и принадлежит мне, но какое же это робкое и бессильное сердце! Она, быть может, позирует перед собой в роли благородной героини, жертвующей любовью во имя долга, — и в такой роли очень нравится себе. Ради этого стоит кое-чем пожертвовать! Ладно! Жертвой мной, но если ты думаешь, что, отрекаясь от своей любви, приносишь такую уж

великую жертву и удовлетворишь этим требования долга, то ты ошибаешься.

Не могу, не могу больше об этом думать и писать спокойно!

8 июня

Кокетка — тот же ростовщик: дает мало, а требует огромные проценты. Сегодня я спокойнее, мысли мои пришли в порядок, и я должен признать, что в кокетстве Анельку никак нельзя упрекнуть. Она ничем меня не поощряла и ничего от меня не требовала. То, что я в Варшаве принял за легкое кокетство с ее стороны, было только минутной веселостью и хорошим настроением. Да, во всем, что между нами произошло, виноват я один, это я сделал ряд ошибок, и они привели к тому, что случилось.

Знать что-нибудь и принимать в расчет — вещи совершенно разные. Мы можем прекрасно разбираться в чуждых нам побуждениях другого человека, но, общаясь с ним, чаще всего все-таки исходим из *своих* чувств и меряем все на свой аршин. Так случилось и со мной. Я знал, — во всяком случае, чувствовал, что я и Анелька — люди настолько разные, словно мы — жители разных планет, но не способен был всегда об этом помнить. И я бессознательно надеялся, что она поступит так, как поступил бы я на ее месте.

Да, хотя я чутьем угадывал, что нет под солнцем двух более разных людей, чем я и она, что мы — как два противоположных полюса, но и сейчас пишу это с каким-то удивлением, мне трудно освоиться с этой мыслью. А между тем это правда. Я в тысячу раз больше похож на Лауру Дэвис, чем на Анельку.

Теперь я понял, о какую стену я разбился. Эта стена — догматическая прямота ее души, то свойство, которое во мне отсутствует совершенно. Отсутствие его, правда, дало полную свободу моим мыслям, раскрепостило их, но оно же зародило во мне смертельный недуг и стало моей трагедией.

Сейчас я это понимаю, — впрочем, быть может, еще недостаточно глубоко, потому что я — человек настолько сложный, что утратил способность понимать простоту... «Слышу голос твой, но не вижу тебя». Я страдаю своего рода духовным дальтонизмом, не различаю некоторых цветов.

У меня просто в голове не укладывается, как можно не рассмотреть со всех сторон каждую истину, хотя бы освященную веками, не разложить ее на части, частицы, атомы, — словом, разбирать до тех пор, пока она не рассыплется в прах и больше невозможно будет собрать ее снова воедино.

Анелька же себе даже не представляет, что правило, признанное нравственным и освященное религией, можно считать для себя необязательным.

Мне все равно, сознательное ли это у нее убеждение, или инстинктивное, выработанное своим умом или привитое, — доста-

точно того, что оно вошло ей в плоть и кровь. Я мог бы об этом догадаться уже раньше, когда в разговоре о разводе Корыцкой Анелька сказала: «Доказать можно что угодно, но когда поступаешь дурно, совесть всегда твердит тебе: «Это дурно, это дурно», — и ее ничем не переубедишь».

Тогда я не придавал ее словам серьезного значения, а они этого заслуживали. Анелька не знает никаких сомнений и компромиссов. Душа ее отделяет плевелы от зерна так тщательно, что о смешении их не может быть и речи. Она не старается создать себе свои собственные правила поведения, она берет их готовыми у религии и общепринятой морали, но прониклась ими так глубоко, что они стали ее собственными, частью ее самой.

Чем прямолинейнее человек различает добро и зло, тем более он уверен в своей правоте и тем он неумолимее. В этом нравственном кодексе смягчающим обстоятельствам нет места. По этому кодексу жена должна принадлежать мужу, а значит, если она отдается другому, она поступает дурно. Тут ничто не принимается во внимание, никакие рассуждения и толкования не допускаются. Праведники — одесную, грешники — ошую, над теми и другими милосердие божие, но между ними — ничего, никакой середины!

Таков кодекс «достопочтенного Варфоломея и праведницы Магды», столь примитивный, что такие люди, как я, перестают его понимать. Нам думается, что жизнь и душа человеческая слишком сложны, чтобы уложиться в этот кодекс. И в самом деле, быть может, нам и не следует в него укладываться. К несчастью, мы не придумали взамен ничего другого, и потому наш удел — метаться, как заблудившиеся птицы, в пустоте и тревоге.

Но большинство женщин, в особенности у нас в Польше, еще признают этот кодекс нравственности. Даже те, которые в жизни отступают от его предписаний, не позволяют себе ни на миг усомниться в его законности и святости. Где он начинается, там кончаются всякие рассуждения.

У поэтов неверное представление о женщине. Они называют ее загадкой, живым сфинксом. В действительности же мужчина — загадка во сто раз более сложная, он во сто раз более сфинкс, чем женщина. Нормальная, здоровая женщина, не истеричка, бывает злой или доброй, сильной или слабой, но душой она проще мужчины. Ее во все времена удовлетворяли десять заповедей, независимо от того, соблюдает ли она их, или, по слабости своей, нарушает.

Душа женщины настолько склонна к догматизму, что у некоторых из них (я знавал таких) даже атеизм принимает характер и все особенности религии.

Характерно, что у иных женщин светлый ум, усиленная работа мысли и высокий полет ее как-то совмещаются с преклонением перед кодексом «праведной Магды».

Душа женщины чем-то схожа с колибри. Сия птичка умеет свободно порхать среди густых зарослей, не зацепив ни единой ветки, не задев ни единого листка.

Это можно сказать прежде всего об Анельке. В ней величайшая тонкость чувств и мыслей сочетается с величайшей простотой моральных понятий. Ее десять заповедей — это те же десять заповедей Магды, но у Магды, они вышиты на дерюге, а у Анельки — на ткани тонкой, как кружево.

Почему я об этом говорю? Да потому, что это же для меня не отвлеченный вопрос, а чуть ли не вопрос жизни, это — причина моего несчастья, моей муки душевной. Я чувствую, что простых десяти заповедей мне не победить своей сложной и путаной философией любви. Да и как мне их преодолеть, если я первый не безусловно верю в свою философию, а часто даже просто в ней сомневаюсь, тогда как Анелька верит в свои заповеди твердо и нерушимо.

Только те уста, что пили уже из чаши сомнений, можно убедить, что запретный поцелуй не грех. Женщину религиозную «грешная» любовь может подхватить и унести, как ураган — щепку, но никогда эта женщина не перестанет считать свою любовь грешной.

Удастся ли мне когда-нибудь увлечь Анельку? Быть может, охватившее меня безнадежное отчаяние временно, и завтра я с надеждой буду смотреть в будущее, но сейчас это мне кажется совершенно невозможным.

Я когда-то писал в моем дневнике, что у нас в некоторых семьях девушкам прививают скромность, как оспу. И мне следует помнить, что правило «жена должна принадлежать мужу», в которое Анелька свято верует, соблюдается ею еще из стыдливости, которая пустила в ее натуре такие крепкие корни, что мне легче представить себе Анельку мертвой, чем обнажающей грудь при мне.

И я еще могу обманываться, ожидать чего-нибудь от такой женщины! Ведь это просто безумие!

Но что же мне делать? Уехать? Нет, не уеду! Не хочу и не могу.

Останусь здесь. Если моя любовь — безумие, что ж, буду безумствовать. Довольно планов, расчетов, предусмотрительности! Пусть будет так, как она хочет. Иной путь не приведет ни к чему.

9 июня

Анельке не легче, чем мне. То, что я сегодня видел, убедило меня в этом. В душе ее идет тяжкая борьба, и силы для этой борьбы ей приходится черпать только в себе самой. Мысли мои путаются, никак не могу успокоиться.

После отъезда из Плошова Завиловского с дочкой, которые сегодня были у нас в гостях, тетя намеренно завела разговор

о панне Елене и стала превозносить ее достоинства. Тут меня вдруг прорвало. Я был утомлен, не выспался, нервы у меня совсем развинтились. И, дав волю раздражению, я закричал:

— Ну, хорошо! Если вы непременно хотите, чтобы я женился, и вам безразлично, буду я счастлив или нет, так я хоть завтра могу сделать предложение панне Завиловской. В конце концов мне все равно!

Разумеется, было ясно, что говорю я это в раздражении и ни за что так не поступлю. Но лицо Анельки вдруг стало блее бумаги. Без всякой надобности встав с места, она принялась развязывать шнуры оконной шторы. Руки у нее дрожали, как в лихорадке. К счастью, тетя на нее не смотрела — она и сама была в таком замешательстве, в каком я ее никогда еще не видел. Не помню, что она мне ответила, — в эту минуту я видел одну только Анельку, все окружающее для меня перестало существовать.

Правда, я и до этого в мыслях приходил к выводу, что занял какое-то место в ее сердце, но одно дело — догадываться, другое — *видеть*. До своего смертного часа не забуду я этого побледневшего лица и дрожащих рук! Теперь у меня было неопровержимое доказательство. Ее волнение никак нельзя было объяснить только неожиданностью моей вспышки. Нет, внезапная весть не только о браке, но даже о смерти человека, ей безразличного, не заставила бы ее так побледнеть.

Несколько дней назад я еще говорил себе: «Если она и любит меня, что мне из того, раз любовь эта останется навсегда скрытой в ее сердце?» А вот сегодня, когда я воочию убедился, что любим, все мои надежды сразу воскресли, все сомнения рассеялись. Снова замаячила впереди победа, снова я почувствовал уверенность, что непременно наступит час, когда любовь Анельки станет сильнее ее, и тогда она будет моей.

Увы, я тотчас же убедился, что это только иллюзия. Когда тетушка, сказав еще что-то, вышла, — быть может, чтобы где-нибудь в уголке утереть слезы обиды, — я торопливо подошел к Анельке и сказал:

— Анельця, я за все сокровища мира не согласился бы жениться на панне Завиловской. Ты пойми меня и прости: мало ли у меня горя, а тут еще и тетушка со своими проектами. Ты лучше всех знаешь, что никогда этого не будет.

— Почему же?.. Я была бы рада, если бы ты женился, — выговорила она с усилием.

— Неправда! Я видел, как ты побледнела! Да, видел!

— Извини, я уйду...

— Но ты же любишь меня, моя Анелька! Не лги себе и мне: любишь.

У нее снова побелели губы.

— Нет, не люблю, — сказала она быстро. — И боюсь, что тебя возненавижу.

Она ушла к матери. Знаю, когда женщина борется со своей любовью, ей, должно быть, часто кажется то, о чем только что сказала мне Анелька, любовь ее, запретная и горькая, принимает именно такую окраску. И все-таки слова Анельки погасили мою радость, как ветер — свечу. В жизни много такого, чего, как бы ни было оно естественно, не в силах вынести нервы человеческие. Я сейчас как-то особенно остро осознал одну истину, которая и раньше была мне известна, которая известна всем: любовь к чужой жене, если это любовь только по имени, — мерзость, если же это любовь настоящая, она — великое несчастье, и тем большее, чем более эта женщина достойна любви. Меня мучает горькое любопытство — хочу знать, что было бы, если бы я сказал Анельке: «Либо ты сейчас же обвинишь меня и признаешься, что любишь, либо я на твоих глазах пушу себе пулю в лоб»? Знаю, это было бы подло, и никогда я не решусь на такой шантаж и насилие — ведь, как бы то ни было, я порядочный человек. Но не могу не гадать: что бы тогда сделала Анелька? И, право, я почти уверен, что она не сдалась бы и тогда, хотя, быть может, не пережила бы своего горя и своего презрения ко мне. Думая об этом, я ее и проклинать готов — и еще больше обожаю, ненавижу — и люблю, люблю еще сильнее. Да, надо прямо сказать, на меня обрушилось страшное несчастье. Самое худшее — то, что я не вижу спасения от него, нет у меня сил вырваться из его тисков. К порывам страсти, которую эта женщина всегда будила во мне, прибавилась теперь собачья привязанность. Глаза, мысли, все приковано к ней, я гляжу и не наглажусь на ее волосы, губы, глаза, плечи. И чувствую, что она для меня уже не только самая желанная, но и самый дорогой человек на свете. Ни с одной женщиной не связывала меня такая двойная и нерушимая связь. Иногда ее влияние на меня кажется мне просто непостижимым, а иногда я себе его объясняю и — как всегда — самым невыгодным для себя образом.

Я жил быстро и прошел уже свой зенит. Теперь дорога моя идет вниз, в долину холода и мрака. Однако я чувствую, что в этой единственной женщине обрел бы снова свою молодость, и силу, и жажду жизни. Если Анелька для меня потеряна, значит, пропала жизнь и остается только прозябание, унылое, как предвкушение смерти. Потому я люблю Анельку не только сердцем, не только страстью мужчины, но и всей силой инстинкта самосохранения. В любви этой — мое спасение от страха небытия.

Анелька этого не знает. Но, думается, она меня очень жалует: ведь вот и я, немилосердно ее мучая, душу бы отдал за то, чтобы ей было легче. И как же мне не говорить, что любовь к чужой жене — несчастье, если она доводит человека до того, например, что он вынужден терзать ту, за кого с радостью отдал бы жизнь. И на каждом шагу — тысячи таких заколдованных кругов! В конечном счете мы оба глубоко несчастны. Но у тебя,

моя Анеля, есть какая-то опора в жизни, есть свой догмат, а я — как лодка без руля и ветрил.

Мне что-то нездоровится. Плохо сплю, вернее — совсем не сплю, да иначе и быть не может. А хотелось бы заболеть серьезно: пролежать бы этак с месяц без сознания, в беспамятстве, отдохнуть за все годы моей жизни. Это было бы для меня чем-то вроде каникул. Вчера Хвастовский-сын долго ко мне приглядывался, а потом ударился в философию. Сказал, что у меня нервная система уже отживающей породы людей, но вместе с тем я получил в наследство и большой запас физических сил. Пожалуй, он прав. Если бы не это, я не мог бы справиться со своими нервами. Кто знает — быть может, отчасти поэтому чувство мое к Анельке целиком поглотило всего меня? Силам моим нужно было какое-нибудь применение, нужен был выход, и, не найдя его ни в науке, ни в какой-либо деятельности, они устремились в одно русло: любовь к женщине. Но (тут опять-таки виноваты мои нервы) поток этот течет мутно и бурно, избрал кривой путь. Да, это главное — кривой путь!

Сколько волнений каждый день! Вечером ко мне пришла моя милая тетушка просить прощения за похвалы панне Завиловской. А я, покрывая ее руки поцелуями, в свою очередь извинялся за свою вспышку.

— Клянусь тебе, — говорила она, — я больше никогда и слова не скажу об этой девушке. Конечно, милый Леон, я всей душой хотела бы, чтобы ты женился, — ведь ты последний в роде. Но, видит бог, самое главное для меня — чтобы ты был счастлив, дорогой, любимый мой мальчик!

Я, как умел, успокоил ее и в заключение сказал:

— Вы же знаете, тетя, я до некоторой степени — баба, нервная баба!

Но тетушка немедленно возмутилась:

— Это ты-то баба? Заблуждаться каждый может. Но если бы у всех был твой ум и характер, на свете все шло бы иначе!

Ну, как рассеять подобные иллюзии? Иногда меня охватывает отчаяние, и я твержу себе: «Что мне делать здесь, в этом доме, среди женщин, позаимствовавших у ангелов все их добродетели?» Мне уже поздно переходить в их веру, а оставаясь самим собой, сколько я могу причинить им горя, разочарований и бед!

10 июня

Получил сегодня два письма: одно от моего поверенного в Риме, другое — от Снятынского. Из Рима мне сообщают, что препятствия со стороны итальянского правительства, которое обычно противится вывозу памятников старины и ценных произведений искусства, можно будет устранить, вернее — обойти. Коллекции отца были его частной собственностью, государству

никак не принадлежат, и их можно переслать за границу просто как мебель.

Надо будет сейчас же заняться переделками в моем варшавском доме, приспособить его под музей. Я с неудовольствием думаю об этом, так как затея перевезти в Польшу коллекции больше ничуть меня не увлекает. На что это мне теперь? Я не откажусь от своего намерения только потому, что сам же о нем говорил повсюду и о нем так много уже писали в газетах.

Состояние души у меня сейчас такое же мучительное, как во время моих странствий после свадьбы Анели. Как и тогда, я все делаю, вижу и воспринимаю с единственной мыслью об Анеле, и стал совершенно нечувствителен к непосредственным впечатлениям. Мысли, на дне которых я не нахожу ее, кажутся мне совершенно пустыми и лишенными всякого значения. Вот яркая иллюстрация того, как человек может потерять себя. Сегодня утром я читал статью Бунге «Витализм и механистическая теория». Читал с огромным интересом: автор научно обосновывает то, что давно уже бродило в моей голове скорее в виде смутных догадок, чем четких идей. В этой статье наука создается в недоверии к самой себе и подтверждает не только свое бессилие, но и позитивное существование какого-то мира, который есть нечто большее, чем материя и движение, — познать этот мир не помогает ни физика, ни химия. А мне уже все равно, будет ли этот мир надстройкой над материей, или подчинен ей. Поистине игра словами! Я не ученый, не обязан быть осторожным в своих выводах — и очертя голову кидаюсь в открытую дверь. Пусть себе наука сто раз твердит, что за дверью этой мрак, а я предчувствую, что мне там все будет виднее, чем по эту сторону. Я читал статью Бунге с жадностью, с чувством громадного облегчения. Только закоснелые глупцы не создают, как материализм нас гнетет и нагоняет тоску смертную, только они не боятся, как бы учение это случайно не оказалось истинным, не ждут новой эволюции науки и не радуются, как узники, когда открывается любая калитка, через которую можно вырваться на свежий воздух. Все дело в том, что дух наш уже порядком пришиблен, и мы не смеем ни свободно вздохнуть, ни поверить в свое счастье. Ну, а я смею, и читал я эту статью с таким чувством, словно вышел на волю из душного подвала. Быть может, и это только мимолетное впечатление. Я же понимаю, что неовитализм не делает эпохи в науке, и, может, я завтра добровольно вернусь в свою тюрьму. Не знаю! Но пока мне было хорошо. Я каждую минуту говорил себе: «Если это так, если даже путем скептицизма приходишь к твердой уверенности, что существует мир сверхчувственный, который «смеется над всякими механистическими теориями» и лежит абсолютно вне сферы «физико-химических открытий», то все возможно: всякая вера, всякий догмат, всякого рода мистицизм! А значит, можно думать, что существует не только бесконечное пространство, но и бесконеч-

ный разум, бесконечная благодать. Можно надеяться, что какая-то необъятная сутана укрывает вселенную, и под ней, под эгой сутаной, можно найти прибежище, и есть над нами чья-то опека, под которой отдохнут измученные. А если так, то я знаю, по крайней мере, для чего живу и страдаю. Какое безмерное утешение!

Повторяю: я не обязан быть осторожным и робким в своих выводах, и я уже писал, что скептик ближе к мистицизму, чем кто бы то ни было. Это я проверил теперь на самом себе: я похож на долго просидевшую в клетке и выпущенную на волю птицу, которая носится повсюду, блаженствует, купаясь в пространстве. Я видел новые сферы, в которых рождалась новая жизнь. Не знаю, было ли это на какой-то другой планете или где-то в межпланетном пространстве, но эта жизнь, эти места были совсем иные, чем у нас. Там сиял мягкий свет, в воздухе ощущалась чудесная прохлада, а главное — там связь между душой человека и душой всеобщей гораздо ближе, чем у нас, так близка, что невозможно различить, где кончается личное и начинается общее. При этом я понимал, что именно на неопределенности этой границы основано счастье жизни в том мире. Ибо там человек не выключается из своего окружения, не противопоставляет себя ему, а живет в полной гармонии с ним и, следовательно, во всю мощь общей жизни.

То не были видения. Нет, я только перешел черту, за которой кончается четкая работа мысли и начинаются чувства и ощущения. Эти чувства оставались еще некоторым образом выводами из прежних предпосылок, но они зашли уже так далеко, что стали почти неуловимыми, как золотая нить, которую вытягиваешь до бесконечности. Я не был еще способен ни целиком перевоплотиться в человека этих новых сфер, ни как следует раствориться в новой жизни и отказаться от самого себя. В какой-то степени я сохранял свою обособленность, чего-то мне не хватало, я, казалось, искал чего-то вокруг себя. И вдруг понял: пишу Анельку. Да, конечно, только ее, всегда ее! Без нее мне эта иная жизнь ни к чему. В конце концов я ее нашел, и мы стали блуждать с ней вместе, как тени Паоло и Франчески да Римини...

Зачем я пишу об этом? Да затем, что я вижу здесь устрашающее доказательство того, до какой степени всего меня поглотила любовь к этой женщине. Что за черт! Что общего между Бунге с его неовитализмом и Анелей? Тем не менее я даже тогда, когда размышляю об отвлеченных вещах, в конце концов прихожу к мыслям о ней. Науку, искусство, природу, жизнь — все я привожу теперь к этому одному знаменателю. Анелька для меня — ось, вокруг которой вращается мир.

Поэтому совершенно невероятно, чтобы я когда-нибудь впал в гонимую рассудка, который время от времени еще твердит мне слабо, приглушенно: «Уезжай! Беги!»

Знаю, добром это не кончится, не может кончиться. Но откуда я возьму силы, волю, энергию, если все это у меня отнято? С таким же успехом я мог бы приказать безному: «Встань и иди!» На чем? И еще скажу: куда? зачем? Здесь — жизнь моя!

Порой хочется дать Анельке прочесть мой дневник. Но я этого не сделаю. Прочтя его, она, быть может, стала бы еще больше жалеть меня, но, несомненно, меньше любить. Если бы Анелька была моей, она искала бы во мне опоры, душевного успокоения и непоколебимой веры, веры за двоих в то, что мы поступили, как должно, поступили хорошо. Но она нашла бы во мне сомнения даже и в этом. Думаю, что если бы даже она умом поняла все, что я пережил и что во мне творится, многое она не способна почувствовать: мы с ней такие разные люди! Я, например, даже тогда, когда впадаю в мистицизм и твержу себе, что все возможно, представляю себе жизнь за гробом не так, как принято, а значит — ненормально (если эти общепринятые верования можно считать нормальными). Но почему? Если все возможно, то и ад, и чистилище, и рай так же возможны, как светлое царство, созданное моим воображением. Притом видения Данте величественнее и внушительнее моих. Так почему же? По двум причинам. Во-первых, мой скептицизм, отравляясь порожденными им сомнениями, как скорпион — собственным ядом, все же способен еще извлекать из разнородных предположений идеи простые и общепринятые. А во-вторых... Во вторых, я не могу вообразить себя в этой дантовской обители вдвоем с Анелькой. А без нее я не хочу такого загробного существования...

Все то, что я пишу и думаю, занимает только какую-то часть моего мозга. Остальное полно Анелькой. Я еще вижу в эту минуту свет, падающий из ее окна на кусты барбариса внизу. Бедная моя девочка тоже не спит по ночам! Я видел сегодня, как она задремала над своим рукодельем. В большом кресле она казалась еще более миниатюрной и глубоко вздыхала от усталости. А я смотрел на нее с таким чувством, с каким отец смотрит на своего ребенка.

11 июня

Мне наконец прислали голову Мадонны Сассофerratо. Я отдал ее Анельке в присутствии тети и пани Целины, сказав, что это ее собственность, завещанная ей моим отцом, так что она никак не могла не принять ее. Потом сам повесил картину в ее будуаре. Она очень хороша. Я не в восторге от Мадонн Сассофerratо, но у этой такое простое, ясное лицо и так хороши светлые тона картины. Мне отроду думать, что Анелька всякий раз, как на нее взглянет, невольно вспомнит, что это я подарил ей образ святой Мадонны и что он дар любви. Таким образом,

любовь моя, которую она считает грешной, в мыслях ее теперь будет сочетаться с воспоминанием о святине. Детское утешение! Но когда нет другого, хорошо и это.

Сегодня я пережил радостную минуту. Когда я повесил картину, Анелька подошла ко мне, желая меня поблагодарить. Так как пани Целина сидела довольно далеко, я осмелился задержать руку Анельки в своей и спросил вполголоса:

— Анелька, неужто ты и в самом деле меня ненавидишь? Она как-то грустно покачала головой:

— О нет!

И сколько содержания было в этом коротком ответе!

Я писал, что если чувствам любимой женщины ко мне не суждено никогда проявиться, то мне все равно, любит она меня или нет. Но это одни слова. Нет, совсем мне не все равно! Пусть я владею хоть этим ее даром! Я не отдал бы его ни за что на свете. Иначе мне нечем было бы жить.

12 июня

Я — в Варшаве: третьего дня получил от Снятынского письмо, в котором он звал меня на прощальный обед по случаю отъезда Клары. На обед я не поехал, а с Klarой простился сегодня на вокзале и сейчас только вернулся оттуда. Эта славная девушка уезжала, несомненно, обиженная на меня и разочарованная, но, увидев меня, все мне простила, и прощание было трогательное. Я тоже чувствовал, что мне будет недоставать Клары и пустота вокруг станет еще ощутимее. В моих мистических сферах не будет прощаний! Сегодня на вокзале мне стало очень грустно. Вечер к тому же был пасмурный и дождливый, дождь зарядил, наверное, на несколько дней. Он не мешал, однако, множеству людей прийти провожать Klarу. Ее купе было так завалено венками и цветами, что напоминало погребальную колесницу. Придется ей все это выбросить, чтобы не задохнуться. Последние минуты Клара (насколько было возможно в такой обстановке) посвятила мне одному, не считаясь с тем, что подумают люди. Я вошел к ней в купе, мы разговаривали, как близкие друзья, не обращая внимания на сидевшую тут же и, как всегда, безмолвную старую родственницу Клары и на провожающих, которые в конце концов один за другим деликатно удалились в коридор.

Я держал обе руки Клары, а она смотрела на меня своими честными голубыми глазами и взволнованно говорила:

— Вам одному я скажу откровенно, что ниоткуда мне не было так жаль уезжать, как из Варшавы... Из-за этой суматохи перед отъездом не осталось даже времени высказать то, что у меня на душе... Но мне так грустно! Во Франкфурте я встречаюсь со многими образованными людьми и с артистами, но все-таки... сама не знаю... есть какая-то разница между ними

и здешними людьми. Вы, поляки, — как бы более чуткие инструменты. А уж о вас лично нечего и говорить!

— Вы позволите писать вам?

— Да, я как раз хотела вас просить об этом. И я тоже буду вам писать. Хотя у меня есть музыка, но мне иногда уже ее одной недостаточно. Может, и вам когда-нибудь захочется поговорить со мною хотя бы в письмах. У вас много друзей, но, наверно, ни одного такого преданного, как я, и так горячо желающего вам добра... Ох, я такая глупая, все меня волнует, а тут сейчас уже поезд отойдет...

— Мы ведь оба постоянно кочуем по белу свету, Клара: вы — артистка, а я — цыган. Так что можем сказать друг другу не «прощай», а «до свиданья».

— Да, до свиданья! До самого скорого свиданья! Вы тоже артист. Можно не играть, не писать, не рисовать — и все же душой быть артистом. Я это поняла с первой минуты знакомства с вами. И еще другое поняла: что вы как будто и счастливый человек, а на сердце у вас, быть может, очень тяжело. Так не забывайте, что есть на свете одна немка, которая любит вас, как сестра.

Я поцеловал ей руку, а она, думая, что я уже с ней прощаюсь, сказала торопливо:

— Еще есть время. Был только второй звонок.

Мне, по правде говоря, уже хотелось уйти. До чего же у меня развинулись нервы! На родственнице Клары был резиновый дождевой плащ, который нестерпимо шуршал при каждом ее движении, и это шуршание — вернее, свист резины — доводило меня просто до иступления. Кроме того, до отхода поезда оставалось уже только две-три минуты. Наконец в купе вбежала Снятынская, и я вышел на перрон.

— Пишите по адресу «Франкфурт, Хильсту», — крикнула мне вдогонку Клара. — А из дому мне письмо перешлют, где бы я ни была.

И вот я стою уже на перроне под окном ее вагона, а вокруг провожающие что-то кричат, прощаясь с Klarой, и с этим гоном сливается шипенье пара, шумное пыхтенье локомотива, выкрики поездной бригады. Вдруг окно купе опустилось, и я еще раз увидел милое лицо Клары.

— Где вы проведете лето? — спросила она.

— Не знаю еще. Я вам напишу.

Тут локомотив запыхтел еще громче, послышался свисток, и поезд тронулся. Мы прокричали последние приветствия, а Клара посылала нам воздушные поцелуи, пока поезд не скрылся в темноте.

— Вы очень будете тосковать? — спросила у меня вдруг Снятынская.

— Очень, — ответил я и, простясь с ней поклоном, ушел с вокзала.

У меня действительно было такое чувство, словно уехал человек, который чем-то мог мне помочь. Я был очень расстроен. Быть может, виноват был отчасти и этот унылый вечер, дождливый и такой туманный, что уличные фонари в густой мгле издали походили на радужные круги. Последняя искорка надежды угасла во мне. Мой пессимизм, казалось, уже не оставался внутри, а, как воздух, обнимал весь окружающий мир, оседал на предметах и людях, проникал во все щели, пропитывал все и всех.

Я шел домой угнетенный, испытывая тяжкую тревогу, непонятное беспокойство, словно предчувствие какой-то неведомой опасности. В душе проснулась на минуту безумная тоска по солнцу и ясному небу, по тем краям, где не бывает таких дождей, мрака и туманов. Казалось, если я умчусь туда, где так светло, то самый свет там будет мне защитой, не допустит до меня чего-то страшного. Все мои мысли сосредоточились на одном слове, которое я твердил, как эхо: «Уехать! Уехать!» Но вдруг с ужасом вспомнил, что, уехав, оставлю здесь Анельку одну в жертву той неведомой опасности, от которой сам хочу бежать. Знаю, что это — моя фантазия, что ей было бы легче, если бы я уехал, но не могу отделаться от ощущения, что бежать было бы трусостью и подлостью с моей стороны... И это сильнее всех доводов рассудка. Да и вообще разговор об отъезде — только пустые слова. Я могу их сколько угодно повторять, верить в них, но если бы вздумал от них перейти к действиям, то оказалось бы, что из всех действий, какие в моих силах, отъезд — наименее возможное. Я вложил в эту любовь столько себя, она так крепко вросла в мою жизнь, что мне легче, кажется, дать растерзать себя на куски, чем от нее оторваться.

У меня настолько развиты способность контролировать свои мысли и самоанализ, что не верится, чтобы я мог сойти с ума. Никак я этого себе не представляю, а между тем по временам чувствую, что нервы мои уже натянуты до предела.

Жаль, что уехала Клара. Я редко виделся с ней в последнее время, но отраднo было знать, что она близко. Теперь Анелька завладеет мною всецело, ей будет принадлежать и та часть души, которую я отдавал спокойной привязанности и дружбе.

Вернувшись домой, я застал у себя молодого Хвастовского. Он приехал вечером, чтобы посоветоваться со своим братом-книгопродавцем: они здесь открывают магазин школьных учебников. Эти братья всегда что-нибудь затевают, вечно чем-то заняты, и потому жизнь их полна до краев. Я обрадовался Хвастовскому, как ребенок, который, боясь привидений, счастлив, когда кто-нибудь войдет в комнату. Вот до чего дошло! Душевное здоровье этого молодого человека действует на меня благотворно, бодрость его как будто передается и мне. Он сказал, что пани Целлина заметно поправляется и через недельку сможет ехать в Гаштейн. Вот и прекрасно, хоть бы поскорее переменить обстановку!

Я всеми силами постараюсь ускорить наш отъезд. Уговорю и тетюшку ехать. Она это сделает ради меня, а тогда никого не удивит, если и я отправлюсь с ними. Ну, вот, теперь я по крайней мере чего-то хочу, и хочу сильно! Там мне представится возможность окружить Анельку заботами. И мы будем еще ближе друг к другу, чем в Плошове.

Я вздохнул с облегчением после этого убийственного дня. Ничто так не гнетет меня, как ненастная погода. Еще и сейчас слышно, как дождь барабанит по желобам, но в просветах между тучами уже кое-где мигают звезды.

12 июня

Сегодня приехал Кромницкий...

Гаштейн, 23 июня

Вот уже неделя, как мы прибыли в Гаштейн всем домом, то есть Анелька, тетя, пани Целина, я и Кромницкий. Я некоторое время не вел дневника, но не потому, что мне это надоело или я не испытывал в этом потребности. Мешало писать состояние души. Никакими словами не опишешь, что со мной творилось. А пока человек, не переводя дыхания, борется с обрушившейся на него силой, у него нет ни настроения, ни времени заниматься чем-либо другим. Я был в таком точно состоянии, как тот осужденный, о котором рассказывает Сансон в своих записках: с него сдирали кожу и заливали раны расплавленным оловом, а он в безумном иступлении кричал: «Епсоре! Епсоре!»¹ — пока не потерял сознания. И я уже дошел до полного бесчувствия, обессилел и окончательно сдался.

Меня словно придавила к земле чья-то грозная рука, огромная, как те горы, среди которых мы сейчас живем.

Но что же мне делать? Пусть давит, я не сброшу ее с себя. Не знал я до сих пор, что можно найти если не утешение, то некоторое успокоение в сознании своего бессилия и всей глубины своего несчастья.

Только бы не приходить в себя, только бы мое нынешнее состояние продолжалось как можно дольше! Я записывал бы все, что со мной происходит, объективно, как посторонний человек. Но я уже по опыту знаю, что день на день не приходится, — и боюсь того, что может принести с собой завтрашний день.

24 июня

В один из последних дней перед отъездом из Варшавы я писал в дневнике следующее: «Любовь к чужой жене, если это любовь только по имени, — мерзость, если же это любовь настоя-

¹ Еще! Еще! (фр.)

щая, она — величайшее из человеческих несчастий». Однако до приезда Кромницкого я еще понятия не имел, из чего складывается это несчастье. Я его представлял себе более возвышенным, чем оно есть в действительности. А теперь вижу, что наряду с глубокими страданиями здесь и мелкие унижения, сознание собственного ничтожества и того, что ты смешон, и необходимость лгать, притворяться, и тысячи вынужденных жалких поступков, соблюдение тысячи недостойных порядочного человека предосторожностей... ну и букет! Право, аромат у этих цветов удушающий!

Бог знает, с каким наслаждением я вцепился бы Кромницкому в горло, прижал бы его к стене и крикнул прямо в глаза: «Я люблю твою жену!» А вместо этого я должен всеми силами стараться, чтобы он не заподозрил даже того, что она мне нравится. Красивая роль по отношению к Анельке! Что она может обо мне подумать? И это — только один цветок из всего букета.

25 июня

Не забуду, пока жив, того дня, когда приехал Кромницкий. В Варшаве он прямо с вокзала явился ко мне. Вернувшись домой поздно вечером, я увидел в прихожей чемоданы и свертки. Но мне почему-то в голову не пришло, что это могут быть вещи Кромницкого. Вдруг он сам выглянул из соседней комнаты и, увидев меня, бросился с распростертыми объятиями приветствовать нового родственника, да так поспешно, что выронил из глаза монокль. Я, как сквозь сон, видел перед собой его голову, похожую на череп мертвеца, блестящие глазки и черные волосы. Меня обнимали, казалось, руки деревянного манекена. В сущности, приезда Кромницкого можно было ожидать, но у меня было такое ощущение, словно я увидел смерть лицом к лицу. Мне как будто снился страшный сон, слова: «Здравствуй, Леон», — звучали как-то неправдоподобно, фантастически. И вдруг меня захлестнула волна такого бешенства, омерзения и ужаса, что только огромным усилием воли я преодолел желание броситься на этого человека, свалить его на пол, размозжить ему череп.

У меня и прежде бывали вспышки ярости и отвращения, но примешавшийся к ним на этот раз страх был для меня чем-то новым и непонятным: это был инстинктивный страх, какой испытываешь при виде мертвеца. Я долго не в силах был выговорить ни слова. К счастью, Кромницкий мог объяснить мое поведение тем, что я его не узнал или что я удивился, когда он, человек едва мне знакомый, сразу перешел на «ты» и обошелся со мной, как с близким родственником... Кстати, это «ты» до сих пор бесит меня ужасно.

Я пытался сохранить хладнокровие. А он вставил монокль в глаз и снова принялся жать мне руку, говоря:

— Ну, как поживаешь? Как там Анелька? А мамаша? Все болеет, да? А тетушка?

Со смесью удивления и пенетового возмущения я слушал, как он говорит о самых близких и дорогих мне женщинах таким тоном, словно они столь же близки ему. Светский человек все сумеет перенести, скрыв свое истинное настроение, нас к этому приучают с детства. Но я чувствовал, что еще немного — и я не выдержу. Я позвал слуг, приказал подать чай, пытаюсь выйти из оцепенения и занять мысли чем-нибудь другим. Но Кромницкого встревожило мое молчание, и, опять уронив монокль, он с живостью спросил:

— Почему ты ничего не отвечаешь? Уж не случилось ли там что-нибудь?

— Нет, все здоровы.

Неожиданно у меня мелькнула мысль, что мое волнение с первой же минуты дает этому ненавистному человеку преимущество передо мной. И этого было достаточно, чтобы я мигом овладел собой.

Я повел его в столовую, усадил за стол.

— А у тебя что нового? Надолго ты приехал?

— Сам еще не знаю, — ответил Кромницкий. — Приехал потому, что соскучился по Анельке. Да и она, я думаю, по мне скучает. Ведь мы только два месяца и прожили вместе. Для молодоженов это маловато, а?

Он рассмеялся своим деревянным смехом и сказал:

— Кроме того, у меня и здесь дело есть. Ох, дела, дела, всегда дела!

Он принялся подробно рассказывать о своей коммерческой деятельности, но я не вслушивался и ничего не мог понять. Только каждую минуту в моих ушах звучало слово «капитал», а перед глазами мелькал монокль. Удивительно, до чего даже в минуты тяжких страданий могут раздражать какие-то мелочи. Не знаю, со всеми ли так бывает или только со мной, — но это слово «капитал» и монокль вызывали во мне иступленное чувство омерзения. В первые минуты встречи с Кромницким и я был почти невменяемым, тем не менее мысленно подсчитывал, сколько раз он вставлял и вынимал монокль. То же самое продолжается и сейчас, всегда, когда я нахожусь в его обществе.

После чая я проводил Кромницкого в комнату, отведенную ему на ночь. Тут он, не переставая рассказывать о своих делах, стал с помощью слуги распаковывать чемоданы. Время от времени он прерывал свою болтовню, чтобы показать мне какие-нибудь редкости, привезенные с Дальнего Востока. И, развязав ремни, в которых, кроме пледа, были уложены два восточных коврика, объявил:

— Купил в Батуме. Хороши, а? Будут лежать у наших кроватей.

Устав наконец, он отпустил слугу и, развалившись в кресле, продолжал говорить о своих торговых операциях на Востоке и планах на будущее, а я не слушал и думал о другом. Когда не можешь уберечься от несчастья в целом, то единственное спасение — избавляться хотя бы от его отдельных элементов. И для меня сейчас самый главный вопрос — поедет Кромницкий в Гаштейн или не поедет. Поэтому я, выждав несколько минут, сказал:

— Я тебя до сих пор мало знал, но теперь верю, что ты составишь себе состояние. Ты человек ничуть не легкомысленный и не станешь жертвовать серьезными делами ради всяких сентиментальностей.

Кромницкий горячо пожал мне руку.

— Если бы ты знал, как мне важно заслужить твое доверие!

В первую минуту я не придавал его словам особого значения. Я думал о том, что вот уже моя первая ложь Кромницкому и подлость по отношению к нему. Ложь — ибо я не верил в его коммерческие способности, а подлость — в том, что я ему льщу, хотя рад бы утопить его в ложке воды. Но мне было необходимо прежде всего отговорить его от поездки в Гаштейн, и я очертя голову ринулся дальше по этому пути.

— Вижу, что поездка наших дам в Гаштейн тебе не на руку, — сказал я.

Он стал сетовать на слабое здоровье пани Целины, как пошлый эгоист, который все воспринимает лишь постольку, поскольку это затрагивает его лично.

— Разумеется, эта поездка весьма некстати, — сказал он. — Между нами говоря, я думаю, что можно бы без нее обойтись. Всему должны быть границы — и дочерней любви тоже. Замужняя женщина должна понимать, что прежде всего обязана заботиться о муже. Притом эта мать, вечно сидящая за стеной в соседней комнате, стесняет нас, мешает мужу и жене сжиться, существовать только друг для друга. Не спорю, любовь детей к родителям похвальна, но когда она доведена до абсурда, то становится в жизни помехой.

Он долго разглагольствовал на эту тему, изрек множество подобных же сентенций, нестерпимо плоских и банальных, которые бесили меня тем сильнее, что в них была доля истины. В заключение Кромницкий сказал:

— Ну, да что поделаешь! Я поступаю, как купец: знал, какой контракт заключаю, и готов выполнить все свои обязательства.

— Значит, поедешь в Гаштейн?

— Да. Прежде всего это в моих интересах. Я хочу поближе сойтись с тобой и тетушкой и заслужить ваше полное доверие. Мы еще вернемся с тобой к этому разговору. У меня есть месяца полтора свободных. Я оставил вместо себя на Востоке Люциана Хвастовского, и он блюдет там мои интересы, — это, как говорят

англичане, а *solid man*...¹ Ну, и потом, ты сам понимаешь, когда имеешь такую жену, как Анелька, то хочется пожить с нею под одной крышей... Понимаешь, а?

Он хихикнул, оскалив желтые гнилые зубы, и потрепал меня по колену. А у меня точно струя холода оледенила мозг, я чувствовал, что бледнею. Я поспешно встал, повернувшись спиной к свету, чтобы Кромницкий не заметил выражения моего лица, и, собрав все свое мужество, спросил:

— Когда ты думаешь ехать в Илошов?

— Завтра же, непременно завтра!

— Ну, покойной ночи!

— Покойной ночи! — отозвался он, выронив монокль из глаза. Потом протянул мне обе руки и добавил: — Я счастлив, что мы с тобой теперь близко сойдемся. Я всегда питал к тебе слабость... Уверен, что мы отлично пойдем друг друга.

Мы с ним пойдем друг друга? Боже, какой безнадельный идиот! Но чем он глупее, тем страшнее думать, что Анелька его собственность, ну попросту его вещь. В эту ночь я не пытался уснуть, я даже не разделся. Никогда еще мне не было так ясно, что бывают положения, когда нет больше слов, когда теряешь способность сознать и ощущать свое несчастье, когда всему конец, только не самому несчастью. Да, поистине прекрасную жизнь уготовила мне судьба! Достаточно сказать, что жизнь моя до сих пор, которую я считал пределом страданий, потому что Анелька отвергла мою любовь, теперь уже казалась мне сказочным блаженством. Если бы тогда или даже сейчас явился ко мне сатана и дал подписать договор, обещав, что все останется таким, как до сих пор, и Анелька вечно будет попираť мои чувства, но зато Кромницкий никогда не придет, — я бы, не раздумывая, подписал договор и за эту цену продал дьяволу душу. Когда женщина отталкивает мужчину, он невольно воображает ее как бы стоящей на высокой башне, на недоступной высоте, на которую не смеешь и глаз поднять. Так и я, помимо воли, думал об Анельке. И вот на сцену появляется господин Кромницкий с двумя ковриками из Батума и без церемоний стаскивает ее с высокой башни прямо на свои коврики — это ее-то, непреклонную, неумолимую, святую! Как ужасно то, что человеку дана способность мыслить, дано богатое воображение, — а при этом он бывает так омерзительно жалок и смешон! Как много я философствовал, сколько насочинял теорий, как только не утруждал свой мозг, доказывая себе, что любовь сильнее брачных контрактов, что я имею право любить Анельку, а она — меня! А теперь я останусь при своих теориях, а Кромницкий — с Анелькой.

«Человек, — думал я, — может поднять только какую-то определенную тяжесть. Если же ему взвоят на спину больше, он

¹ надежный человек (*англ.*).

на ногах не устоит». В своей безмерной муке и унижении, в своей глупости, столь же безмерной и смешной, я с момента приезда Кромницкого стал презирать Анельку. Почему? Никакими разумными человеческими мотивами я объяснить этого не могу. Жена должна принадлежать мужу. Эту истину я знаю не хуже каждого другого глупца, но в моих глазах она опошляет любимую мною чужую жену. Ах, какое мне дело до всех таких истин и суждений! Знаю одно: я презираю Анельку, и это уже последняя капля, переполнившая чашу, это больше, чем я могу вынести! Я чувствую, что жить при этих условиях мне совершенно невозможно и, несомненно, все должно коренным образом измениться.

Однако какие же это будут перемены? Хорошо, если презрение убьет мою любовь, как волк убивает овцу. Но я предчувствую, что наступит нечто иное. Я не презирал бы Анельку, если бы не любил ее; значит, презрение это — только лишняя цепь на моей шее. Я четко сознаю, что, кроме Кромницкой, ее мужа и их взаимоотношений, меня ничто больше не волнует — ни свет, ни мрак, ни война, ни мир, ничто, происходящее в мире. Она, Анелька, или, вернее, сейчас уже оба они и моя роль в их жизни — вот единственное содержание *моей* жизни. Если именно поэтому я больше жить не могу, что же будет? Мне вдруг показалось удивительным, как это до сих пор мне не пришел в голову самый простой выход: смерть. Какая же невероятная сила в человеческих руках — эта возможность перерезать нить своей жизни! Жду тебя, мой злой гений, и скажу я тебе так: «Ты будешь взваливать на спину мне все новое бремя только до тех пор, пока я на это согласен. Когда же станет уж слишком тяжело, я отшвырну тебя прочь вместе с твоим грузом. А там — e poi eterna silenza...¹ нирвана, четвертое измерение Цельнера...» Впрочем, почему я знаю, что наступит затем! Но одна мысль, что в конечном счете все зависит от меня, доставляет мне огромное облегчение... С час я, лежа на диване, обдумывал, когда и как сделать *это*. И, отвлекшись мыслями от Кромницкого, его приезда, от моей ревности, в какой-то мере отдохнул душой. Самоубийство требует некоторых предварительных хлопот, конкретных действий, — и приходится думать не только о своем горе, но и о всяких других вещах. Я вспомнил, например, что мой дорожный револьвер слишком малого калибра. Встал, осмотрел его и решил купить другой.

Потом я стал обдумывать, каким образом можно было бы придать моему самоубийству видимость несчастного случая. Но все это, в сущности, были чисто отвлеченные размышления. Никакое определенное решение не выкристаллизовывалось у меня в мозгу. То было скорее сознание, что есть у меня такой выход, как самоубийство. И в глубине души я чувствовал, что еще не скоро решусь на это. «Уж если я знаю, что выход есть, и всегда

¹ вечное молчание (ит.).

могу освободиться, то спешить некуда, — думал я. — Поживу еще, посмотрю, до какого предела может довести меня злой рок и какие новые муки изобретет он для меня». Меня сжигало непреодолимое болезненное любопытство: что будет дальше, как сложится совместная жизнь этих двоих, как Анелька будет смотреть мне в глаза? В конце концов я так устал, что заснул, не раздеваясь, тяжелым сном, полным видений. Мне снились монокль Кромического, револьверы, какой-то хаос, в котором были перемешаны люди и вещи. Проснулся я поздно, и слуга сказал мне, что Кромический уже уехал в Плошов. Первой моей мыслью было ехать вслед за ним, увидеть их вместе. Но, уже сев в коляску, я вдруг почувствовал, что мне этого не вынести, слишком это будет тяжело и противно и может ускорить мой добровольный уход в иной, неведомый мир. И я приказал везти себя не в Плошов, а в другое место.

Всякий человек, даже самый отъявленный пессимист, инстинктивно бежит от зла и всеми силами обороняется от него. Поэтому он хватается за каждую надежду и от каждой перемены ждет лучшего. Вот и мне сейчас так загорелось ехать со всеми в Гаштейн, как будто меня там ждало спасение. «Только бы увести их поскорее из Плошова!» — эта мысль не давала мне покоя, преследовала меня так неотступно, что я весь тот день старался ускорить ее осуществление.

Это оказалось нетрудным. Дамы уже почти закончили сборы. Кромический не писал им ничего о своем приезде (должно быть, хотел сделать жене сюрприз), и мы предполагали через несколько дней тронуться в путь. Теперь же следовало бы, конечно, дать ему отдохнуть в Плошове и узнать, когда он сможет ехать с нами. Но я решил не считаться с ним, как будто его и не было здесь, отправился на вокзал, заказал на следующий день места в спальном вагоне до Вены, после чего послал слугу в Плошов с письмом к тете. В письме я уведомил ее, что билеты куплены, и так как все места на остальные дни этой недели уже распроданы, то надо выезжать завтра.

26 июня

Хочу вернуться опять к последним часам перед нашим отъездом из Варшавы. Они настолько врезались мне в память, что я не могу о них умолчать. Странное чувство испытывал я на другой день после приезда Кромического. Мне казалось, что я уже не люблю Анельку, — но все-таки не могу без нее жить. Впервые я переживал такое психическое раздвоение. Прежде, когда чувство любви зарождалось и росло во мне как-то закономернее, я говорил себе: «Я ее люблю, а значит, и хочу ею обладать», — здесь та же логика, что и в суждении Декарта: «Я мыслю, следовательно, я существую». Теперь я говорил: «Не люблю, но жажду», — и обе части этого заключения жили во мне словно

высеченные на двух разных скрижалях. Обе меня терзали невыразимо. Я не скоро понял, что это «не люблю» — самообман. Я люблю ее, как и прежде, но теперь любовь моя так мучительна, горька и так отравлена, что не имеет ничего общего со счастьем.

Иногда я думаю, что если бы даже Анелька сейчас призналась мне в любви, если бы она развелась с мужем или овдовела и стала моей, я все равно не узнал бы счастья. Я готов бы жизнью заплатить за такую минуту, но, право, не знаю, могли бы я превратить ее в минуту истинного счастья. Не парализованы ли уже во мне те нервы, которыми человек ощущает счастье? Возможно. Но если так — на что мне жизнь?

Накануне отъезда в Гаштейн я зашел в оружейный магазин. Какой интересный старик продавал мне револьвер! Не будь он оружейных дел мастером, он мог бы стать профессором психологии. Войдя в лавку, я сразу сказал ему, что мне нужен хороший револьвер крупного калибра, все равно какой системы — Кольта или Смит и Вессона. Старик выбрал для меня револьвер, я взял его без возражений.

— Вам, наверно, нужны к нему и патроны? — спросил он затем.

— Да, да. Я как раз хотел вас об этом просить.

Оружейник остановил на мне пыливый взгляд.

— А футляр для револьвера не потребуется?

— Как же, как же! Давайте и футляр.

— Отлично, — сказал он. — В таком случае я подберу вам патроны с тем же номером, что и у револьвера.

Теперь уже я в свою очередь посмотрел на него пристально и с удивлением.

— Я, сударь, сорок лет занимаюсь своим делом и за это время немало научился. У меня люди часто покупали оружие, чтобы пустить себе пулю в лоб. И не было случая, чтобы такой человек купил и футляр. Что вы на это скажете? Всегда бывало так: приходит покупатель и говорит: «Мне нужен револьвер». — «В футляре?» — «Нет, футляра не нужно». Удивительное дело! Уж коли решил застрелиться, чего тут рубль экономить? Но такова человеческая натура... Каждый, должно быть, думает: «На кой черт мне футляр?» И вот, сударь, когда приходит покупатель, я сразу узнаю, задумал он пустить себе пулю в лоб или нет.

— Это очень интересно, — сказал я.

— И когда я это заметил, — продолжал оружейник, — я вот что придумал: если человек покупает револьвер без футляра, я, как будто по ошибке, отпускаю ему патроны на один номер больше. Пустить себе пулю в лоб — дело нешуточное. Для этого нужно черт знает как крепко взять себя в руки, собрать все свое мужество. Ну, решился наконец человек — и хватает револьвер. А тут патроны не подходят. Хоть головой о стенку бей-

ся, а приходится отложить до завтра. Вы как думаете, сударь, легко второй раз на такое решиться? Если бы не патроны, он был бы уже мертвецом сегодня. Ну, а как заглянул смерти в глаза, завтра уже стреляться не станет! Таких немало. Некоторые приходили на другой день ко мне — купить футляр... А меня смех разбирает. «Получай футляр и живи себе на здоровье».

Я записываю в дневник этот разговор, так как меня теперь очень интересует все, что связано с самоубийствами. А слова старого оружейника — любопытный психологический материал.

27 июня

По временам напоминаю себе, что Анелька меня любила. Я мог на ней тогда жениться, и жизнь моя была бы светлой и счастливой. Все зависело от меня, а я упустил свое счастье все из-за той же нежизнеспособности. В такие минуты я задаю себе вопрос, не схожу ли я с ума и действительно ли она могла стать моей навеки. Но я же отлично помню весь ход событий с нашей первой встречи и до сегодняшнего дня. И подумать только, что такая женщина была бы моей и так верна мне, как верна теперь этому Кромичскому, — нет, во сто раз вернее, потому что любила меня всем сердцем! Да, врожденная нежизнеспособность — вот мое несчастье. Но даже если бы это полностью меня оправдывало в собственных глазах, что толку? Я не нахожу в этом никакого утешения. Немного легче становится при мысли, что и потомков выродившихся поколений, и людей поколения сильного и цветущего — всех одинаково в конце концов засыпят землей. Это несколько сглаживает разницу между мной и так называемыми настоящими людьми. Вся беда моя и мне подобных — в нашей обособленности. Какое нелепое представление существует не только у писателей, но и у профессионалов-психологов, и даже физиологов о нас, потомках отживших родов! Эти люди воображают, что внутренней нежизнеспособности всегда соответствует невзрачная внешность, малый рост, вялые мускулы, анемичный мозг и убогий интеллект. Может, в отдельных случаях так и бывает, но утверждать, что это общее правило, — значит грубо ошибаться и педантично твердить одно и то же. Болезнь потомков старых родов — не отсутствие жизненных сил, а отсутствие гармонии, равновесия между этими силами. Вот я — человек физически здоровый и крепкий, да и безмозглым меня никто не назовет. Знал я и других представителей моего круга, людей, сложенных, как античные статуи, обладающих острым умом, даровитых, а жить они не умели и плохо кончали — всё из-за неуравновешенности их чрезмерно даже буйных жизненных сил. Силы эти в нас я сравнил бы с неправильно организованным обществом, в котором неизвестно, где начинаются права одних и кончаются права других. Мы «держимся

анархией», а, как известно, анархией долго не продержисься. Каждая из наших сил работает только на себя, тянет нас в свою сторону и часто перетягивает остальные силы, — а отсюда — трагедии маниакальности. Я, например, сейчас болен именно этим — для меня ничто не существует, кроме Анельки, ничто другое меня не интересует и не привязывает к жизни. Но люди не понимают, что такое отсутствие гармонии, анархия жизненных сил, — тяжелая болезнь, тяжелее физической и душевной анемии. В этом-то разгадка. Когда-то жизнь и общественные обязанности нас спасали, требуя от нас действий и в какой-то мере принуждая к ним. А ныне, когда мы отошли от жизни, отравлены философствованием и скепсисом, недуг наш еще обострился в этих нездоровых условиях. В конце концов мы дошли до того, что способны уже не к действиям, а только к душевным эксцессам, поэтому именно наиболее способные и одаренные из нас кончают обычно каким-нибудь видом безумия. В сущности, из всего, что составляет жизнь, осталось нам только одно — женщина. И вот мы — одно из двух — либо размениваемся, тратя по грошу свой жизненный капитал на разврат, либо, уцепившись за любовь к какой-нибудь женщине, как за ветку, растущую над пропастью, висим в воздухе, рискуя сорваться и сломить себе шею, тем более что чаще всего выбираем любовь незаконную, носящую в себе зачатки трагедии. Знаю, и моя любовь к Анеле добром не кончится, но не пытаюсь даже защищаться, так как отказ от нее был бы моей гибелью.

28 июня

Ванны, а в особенности здешний свежий воздух благотворно действуют на пани Целину. Она с каждым днем бодрее. И так как я окружаю ее заботами, как родную мать, она мне благодарна и все дружелюбнее относится ко мне. Анелька это видит и тоже не может не чувствовать ко мне признательности, но я уверен, что к этому чувству примешивается все больше горечи, потому что ей теперь еще яснее, как мы все были бы счастливы, если бы произошло то, что было прежде так возможно. Я теперь окончательно уверен, что она не любит мужа. Она ему верна и останется верна, но я заметил, что в его присутствии лицо ее принимает какое-то натянутое и угнетенное выражение. Я вижу ясно, что всякий раз, когда Кромницкий (может быть, он действительно в нее влюблен, а может, больше старается показать, что они с Анелькой — влюбленная пара) гладит ее руки или волосы или целует в лоб, она готова сквозь землю провалиться — так ей трудно терпеть эти ласки при мне и других. Она их терпит все же и вынуждена еще и улыбаться. Я тоже терплю и улыбаюсь, — только для развлечения сую тогда пальцы в свою рану, стараясь еще больше разбередить ее. Порой у меня мелькает мысль, что эта жрица Дианы, когда оста-

ется с мужем наедине, вероятно, не так сдержанна и, не стесняясь, проявляет свои чувства... Но давать волю этой мысли я остерегаюсь: чувствую, что еще одна капля — и я окончательно выйду из равновесия и перестану владеть собой. Мое отношение к Анельке теперь ужасно и для нее и для меня. Любовь моя начинает походить на ненависть, презрение, пронию. Это мучает и пугает Анельку. Она по временам смотрит на меня так, словно хочет спросить: «Чем я виновата?» Я и сам часто твержу себе: «Чем она виновата?» Но не могу, не могу, видиг бог, относиться к ней иначе. Чем более угнетенной и смущенной она кажется, тем сильнее разгорается во мне злоба на нее, на Кромицкого, на самого себя и весь свет. И это не потому, что я не жалею любимую женщину, которая так же несчастлива, как я. Но подобно тому как вода не только не гасит слишком разбушевавшийся пожар, но еще сильнее раздувает пламя, так и во мне все другие чувства только усиливают ожесточение и отчаяние. Когда я казнию презрением мою единственную любовь, женщину, самую дорогую мне в мире, когда даю волю гневу и сарказму, — я совершаю жестокость по отношению к себе такую же, как по отношению к ней, — нет, даже бóльшую, потому что Анелька способна простить мне, я же не прошу этого себе никогда!

29 июня

Человек этот заметил, что я словно обижен на его жену, и объясняет это по-своему. Такое объяснение вполне достойно его: он вообразил, будто я ненавижу Анелю за то, что она предпochла его мне. По его мнению, во мне говорит попросту оскорбленное самолюбие, и больше ничего. Так слеп может быть только муж! Додумавшись до этого, он старается вознаградить Анелю усиленной нежностью, а со мной разговаривает снисходительным тоном великодушного победителя. Только самомнение способно так оглуплять человека. Станный субъект этот Кромицкий! Каждый день ходит в отель Штраубингера, подсматривает за гуляющими под Вандельбаном парами и потом с каким-то злорадством высказывает на их счет самые гнусные предположения; скаля все свои гнилые зубы, смеется над обманутыми (по его мнению) мужьями, и каждое новое открытие в этом роде приводит его в такой восторг, что он десять раз в минуту то вынимает из глаза монокль, то снова вставляет его. Для него супружеская измена — только подходящая тема для дешевых острот. В несчастии других обманутых мужей он видит только фарс, а коснись это его самого, он считал бы неверность жены величайшей трагедией, тягчайшим преступлением, вопил бы к небу о мщении. С какой стати, глупец? Что ты собой представляешь? Подойди к зеркалу, посмотри на себя. Ползубуйся на свои монгольские глаза, волосы, подобно черной ермолке облегающие череп, свой монокль, длинные голени. А по-

том загляни внутрь себя, узри все убожество своего интеллекта, всю свою серость и банальность — и посуди сам, обязана ли такая женщина, как Анеля, быть тебе верной хоть один час? Каким образом досталась она тебе, физический и духовный выскочка? Разве не чудовищно, не противоестественно то, что ты — ее муж? Если бы Дантова Беатриче стала женой самого худшего из подонков Флоренции, это было бы более равным браком, чем ваш брак с Анелькой.

Я перестал писать, потому что снова вышел из себя, теряя спокойствие, а ведь я уже было совсем окаменел! В конце концов Кромницкий может утешиться: по совести говоря, я ничуть не выше его. Если даже допустить, что я создан из более ценного материала, — в этом мало утешения, ибо поступаю я хуже, чем он. Ему передо мной притворяться не нужно, я же вынужден лицемерить, таить правду и подлаживаться к нему, обманывать его и подсиживать. Мне хочется схватить его за горло, а я довольствуюсь тем, что ругаю его в своем дневнике, — что может быть пошлее? Такое «заочное» удовлетворение может себе позволить и раб по отношению к своему господину.

Кромницкий, наверное, никогда не казался себе таким подлецом, каким чувствовал себя я, когда проделывал тысячу низостей, пускался на всякие недостойные хитрости, чтобы только поместить его подальше от Анельки в нанятой мною вилле. Вдобавок мне это и не удалось. Одной простой фразой: «Я хочу быть около жены», — сказанной совершенно открыто, он разрушил все мои планы. И вот — живет «около жены»... Притом совершенно невыносимо то, что Анеле ясен смысл каждого моего поступка, понятно каждое мое слово и тайное намерение. Вероятно, ей часто бывает стыдно за меня...

Вот и все, чем я теперь живу изо дня в день. Думается, долго не выдержу, ибо я не на высоте создавшегося положения — то есть не настолько еще подл, насколько того требуют обстоятельства.

30 июня

Сегодня я услышал с веранды конец разговора между Кромницким и Анелькой. Оба говорили, повысив голос.

— С ним я сам потолкую, — сказал Кромницкий. — А ты объясни тете, как обстоят дела.

— Ни за что на свете! — возразила Анелька.

— А я тебя *очень* прошу, — с ударением произнес Кромницкий.

Не желая быть тайным свидетелем их дальнейшего разговора, я вошел в комнату. Лицо Анельки выражало огорчение и сильнейшую досаду, которые она постаралась скрыть, когда увидела меня. Кромницкий был бледен от гнева, но с улыбкой протянул мне руку. В первую минуту я с беспокойством,

даже со страхом подумал, что Анелька во всем призналась мужу. Боялся я не Кромичкого, а того, что он может увезти Анельку, и тогда прекратятся мои муки, тревожения и унижения. А ведь они — единственная пища сейчас для моей души, без них я умру с голоду. Все, что угодно, — только не разлука с Анелькой! Я пытался угадать, о чем они могли говорить? Наиболее вероятным мне казалось, что Анелька что-то рассказала мужу. Но тогда его обхождение со мной должно было измениться, а между тем он стал как будто еще любезнее. Вообще, если бы у меня не было причин его ненавидеть, я не мог бы ни в чем упрекнуть его: он всегда со мной вежлив, дружелюбен, даже сердечен, уступает мне во всем, как нервной женщине. Он старается завоевать мое доверие. Его не отталкивает и то, что я иногда отвечаю ему резко или проницательно, весьма бесцеремонно уличаю его в необразованности и недостаточной утонченности. Я никогда не упускаю случая в присутствии Анельки подчеркнуть убожество и вульгарность его ума и сердца по сравнению с нашими. А он терпелив. Быть может, только со мной? Сегодня я в первый раз видел, как он рассердился на Анельку. Он даже позеленел от злости, как люди, чей гнев холоден, а значит — упорен и свиреп. Анелька, вероятно, его боится. Впрочем, она всех боится, а теперь уже и меня. Иной раз трудно бывает понять, откуда берется такая поразительная сила воли у этой женщины, кроткой, как голубка. В свое время я воображал, что у нее пассивная натура и она не сможет мне противиться. Как я ошибался! Стойкость ее столь же упорна, сколь для меня неожиданна. Не знаю, о чем они говорили с Кромичким, но уверен: раз она ему объявила, что не сделает того, чего он от нее требует, то и не сделает, — будет трястись от страха, а не сделает. Если бы она была моя, я любил бы ее, как преданный пес хозяина. Носил бы ее на руках, сдувал бы с ее дороги каждую пылинку, любил бы больше жизни.

1 июля

Ревность моя была бы жалка, если бы не было в ней душевной муки верующего, на глазах у которого профанируют его божество. Ах, если бы я мог вознести ее на вершину неприступной горы, к которой никто не смел бы и подойти близко! Ради этого я готов был бы и себе отказать во всем, даже в прикосновении к ее руке.

2 июля

Нет, я не окаменел, — мне только так казалось. То, что было временным состоянием нервов, я принимал за окончательное состояние души. Впрочем, я уже и прежде подозревал, что оно долго не продлится.

Очевидно, между ними все-таки что-то произошло. Оба скрывают недовольство друг другом, но я все вижу. В последние дни я ни разу не замечал, чтоб Кромницкий, как прежде, брал Анелю за руки и целовал их — сначала одну, потом другую, — чтобы он гладил ее по волосам или целовал в лоб. Я было обрадовался, но радость эту отравила Анелька: она явно старается умиловить мужа, развеселить его и восстановить прежние отношения. Я взбесился, и это, конечно, отразилось на моем обращении с нею. Я был к ней, а тем самым и к себе, жесток, как никогда.

Сегодня я, возвращаясь с прогулки, встретил Анелю на мостике против водопада. Она круто остановилась и что-то сказала, но шум воды заглушил ее слова. Меня это разозлило — я в последнее время стал очень раздражителен, — и, когда мы, сойдя с мостика, пошли в сторону нашей виллы, я сказал сердито:

— Я не расслышал, что ты сказала.

— Я хотела спросить, почему ты стал так относиться ко мне? — промолвила она огорченно. — Почему у тебя нет ни капли жалости ко мне?

От этих слов вся кровь прилила к моему сердцу.

— Разве ты не видишь, что я люблю тебя без памяти? — сказал я стремительно. — Как можно ни в грош не ставить такое чувство? Слушай! Я от тебя больше ничего не требую. Скажи мне только, что любишь, отдай мне душу свою — и я все вытерплю, всему покорюсь и отдам тебе взамен жизнь, буду служить тебе до последнего вздоха. Анелька, скажи: ведь любишь меня, правда? В этом одном слове — мое спасение. Скажи же его!

Лицо Анельки стало белее пены водопада. Казалось, ледяной ветер пронизал ее и заморозил кровь в ее жилах. В первую минуту она не могла выговорить ни слова, потом с величайшим усилием сказала:

— Ради всего святого, не говори так со мной!

— Значит, никогда? Никогда я не услышу от тебя этого слова?

— Никогда.

— Так это не у меня, а у тебя ко мне нет ни капли...

Я не договорил. Меня вдруг ужалила мысль, что Кромницкому она не отказала бы, если бы он захотел услышать от нее слова любви. И от бешенства и отчаяния у меня зашумело в голове, потемнело в глазах. Не помня себя, я бросил ей в лицо такие страшные, циничные слова, каких ни один мужчина не позволил бы себе сказать незащищенной женщине. Я просто не решаюсь привести их здесь. Как сквозь сон, помню, что Анелька

одно мгновение смотрела на меня с удивлением и ужасом, потом схватила меня за рукав и, порывисто теребя его, твердила:

— Что с тобой, Леон? Что с тобой?

А со мной было то, что я потерял всякую власть над собой. Вырвав у Анельки руку, я зашагал в другую сторону. Через несколько минут вернулся, но ее уже не было. Тогда я сознавал только одно: что пришло время покончить со всем. Мысль эта сразу лучом света прорезала мрак, царивший в моем мозгу. Я был в том странном состоянии, когда сознание человека сосредоточивается на чем-то одном. Я не отдавал себе ясного отчета в том, что произошло, почти не помнил ни о себе, ни об Анельке, — зато о смерти думал, как человек в полном сознании, совершенно спокойно. Так, например, я трезво рассудил, что, если брошусь со скалы в пропасть, это может сойти за несчастный случай, если же застрелюсь у себя в комнате, тетя такого удара не переживет. Еще удивительнее было то, что, сознавая это, я, однако, не способен был сделать выбор — как будто между моим разумом и волей порвалась всякая связь. Совершенно ясно понимая, что броситься со скалы лучше, чем застрелиться, я все-таки шел на виллу за револьвером. Почему? Не знаю. Помню только, что я шагал все быстрее, спешил ужасно и, стрелой взлетев по лестнице наверх, стал искать ключ от чемодана, в котором лежал револьвер. Вдруг быстрые шаги на лестнице вывели меня из состояния отрешенности, отвлекли от мысли о самоубийстве. Я подумал, что это Анелька угадала мое намерение и спешит ему помешать. Дверь распахнулась, и я увидел тетушку. Она крикнула, задышав:

— Леон, беги за доктором, Анелька заболела!

Услышав это, я забыл обо всем и выбежал из дому без шляпы. Через четверть часа я привел врача из отеля Штраубингера. Но пока я ходил, все кончилось благополучно. Доктор пошел к Анельке, а я остался с тетей на веранде и спросил у нее, что случилось.

— Полчаса назад Анелька пришла домой, — сказала тетя, — и лицо у нее было такое красное, что мы с Целиной забеспокоились. Спрашиваем, что с ней, а она отвечает: «Ничего, решительно ничего!» — да так нетерпеливо! Но мы видели, что это неправда. Целина стала допытываться уже настойчивее, и тут Анелька из себя вышла — первый раз в жизни я видела ее в таком гневе. Стала кричать: «За что меня здесь все мучают!» Потом с ней начались какие-то спазмы, и она не то плакала, не то смеялась. Мы страшно перепугались, и я побежала за тобой. Слава богу, это скоро прошло. Она только плакала, бедняжка, и все просила у нас прощения за свою вспыльчивость.

Я молчал — сердце у меня разрывалось от боли. Тетя стала ходить большими шагами по веранде, потом остановилась передо мной и сказала:

— Знаешь, мальчик, что мне думается? Мы все недолюбли-

ваем этого Кромницкого... Да, все, Целина тоже его едва выносит. И странное дело — он так старается нас расположить к себе, а при всем том остается чужим... Нехорошо это с нашей стороны. Анелька все видит и страдает...

— А вы думаете, тетя, что она так сильно его любит?

— Ну, ты уж сейчас «сильно! сильно!». Любит, потому что он ей муж. И, разумеется, ей неприятно, что мы к нему плохо относимся.

— Да из чего это видно? Кто его обижает? По-моему, она просто с ним несчастлива — вот и все.

— Упаси боже! — вздохнула тетушка. — Не спорю, она могла сделать лучшую партию. Но, собственно говоря, в чем его можно упрекнуть? Он, видимо, очень к ней привязан. Правда, Целина не может ему простить продажи Глухова, да и я этого никогда ему не забуду. Но Анелька его защищала изо всех сил.

— Быть может, защищала скрепя сердце?

— А хоть бы и так, — это еще больше доказывает, что она его любит. Ну, а его коммерческие дела... Беда в том, что никто из нас толком не знает, как они обстоят, — и потому Целина все время в тревоге. Но, по совести говоря, разве в деньгах счастье? И, кроме того, я тебе уже сказала, что не забуду Анельку в своем завещании, и ты на это согласился. Ведь так? Ты не возражаешь? Мы оба, мой милый Леон, обязаны о ней позаботиться, и притом она такая милая, хорошая девочка, она этого вполне заслуживает.

— Совершенно с тобой согласен, дорогая тетя. У меня нет сестры, о ком же мне больше заботиться, как не об Анельке? Покуда я жив, она ни в чем не будет нуждаться.

— Я на это крепко надеюсь и потому умру спокойно, — сказала тетушка и бросилась меня обнимать, но тут на веранду вышел доктор. Он несколькими словами окончательно успокоил нас.

— Небольшое расстройство нервов, это часто наблюдается в первое время после здешних ванн. Пусть несколько дней их не принимает, побольше бывает на воздухе, вот и все. Организм у нее здоровый, крепкий — и, значит, все будет в порядке.

В благодарность я столько насовал доктору в карман, что он надел шляпу только уже за воротами нашей виллы. Я отдал бы несколько лет жизни за возможность сейчас же пойти к Анельке и, целуя у нее ноги, просить прощения за все то зло, что я ей причинил. Я давал себе клятву отныне вести себя иначе, терпеливо переносить присутствие Кромницкого, не возмущаться и даже не роптать. Раскаяние, полное и глубокое раскаяние — вот чем была полна моя душа. Как я люблю — этого не выразить никакими словами.

Около полудня вернулся с дальней прогулки Кромницкий. Я тут же постарался обойтись с ним ласково. Он принял это за выражение сочувствия и проникся ко мне искренней благодар-

ностью. Вдвоем с пани Целиной он весь день провел у постели Анельки. После полудня она хотела одеться и выйти, но ее не пустили. Я и этим не позволил себе возмущаться. Такой великой победы над собой я не одерживал еще, кажется, ни разу в жизни. «Это ради тебя, любимая»,— мысленно говорил я Анельке. Весь день я был в глупейшем состоянии — мне, как малому ребенку, хотелось плакать. Вот и сейчас меня душат слезы. Да, набедокурил я, но зато теперь искупаю это честно.

5 июля

После вчерашних волнений сегодня полнейшее спокойствие,— как затишье после бури. Грозовые тучи разрядили весь свой запас электричества. Я ощущаю какую-то душевную и физическую расслабленность. Анельке лучше. Утром мы с ней оказались одни на веранде. Я усадил ее в кресло на колесах и, укутав пледом (утра здесь холодные), сказал:

— Дорогая моя, от всего сердца прошу прощения за то, что я наговорил тебе вчера. Прости и забудь — достаточно и того, что сам я никогда себе этого не прощу и не забуду.

Она в ответ стремительно протянула мне руку, а я так и впился в эту руку губами. Мне понадобилось огромное усилие воли, чтоб не застонать громко,— так сильна была мука неудовлетворенной любви. Анелька это хорошо понимала и не скоро отняла руку. Она тоже боролась с волнением, а быть может, и с порывом сердца, толкавшим ее ко мне. Ее шея и грудь трепетали, словно от рвавшихся наружу рыданий. Чувствует же она, что я люблю ее больше всего на свете, что такую любовь далеко не всегда встретишь и она могла бы стать счастьем целой жизни.

Однако она скоро взяла себя в руки, и лицо ее стало ясно и спокойно. В нем можно было прочесть лишь покорность судьбе и безмерную нежность.

— Значит, мир и согласие, да? — спросила она.

— Да.

— И уже навсегда?

— Что я могу ответить тебе на это, мой ангел? Ты сама хорошо знаешь, что во мне творится.

Глаза Анельки снова затуманились, но она превозмогла себя.

— Не надо об этом... — промолвила она. — Ты так добр ко мне...

— Я? — воскликнул я с искренним негодованием. — Да знаешь ли ты, что, если бы не твоя болезнь, я бы вчера на себя...

Я не договорил, поняв вдруг, что было бы подло таким образом обезоруживать ее, внушая ей страх за мою жизнь. Нет, такие способы не для меня! Мне стало очень стыдно, когда Анелька, сразу встревожившись, внимательно посмотрела на меня и спросила:

— Что ты хотел сказать?

— То, что было бы меня недостойно, да и теперь уже не имеет значения.

— Нет, Леон, я непременно хочу знать это, иначе ни минуты не буду спокойна.

Ветер смахнул ей на лоб прядь волос. Я встал и принялся укладывать эту прядку на прежнее место так бережно и заботливо, как это сделала бы ее мать.

— Анелька, родная, не заставляй меня говорить то, чего говорить не следует. Ты и без того можешь быть спокойна. Даю тебе слово, что больше у тебя не будет никаких причин тревожиться.

Она подняла глаза.

— Обещаешь?

— Да, торжественно и твердо. Что за страхи тебе мерещатся? Что это взбрело в твою дорогую головку?

Разговор наш прервал почтальон, принесший целую пачку писем. Тут были письма Кромницкому с Востока, Анельке — от Снятыньских (я узнал его почерк на конверте) и одно письмо мне от Клары. Эта славная девушка о себе писала мало, зато усердно расспрашивала меня, как я живу. Я сказал Анельке, что письмо от Клары, и она, желая, должно быть, окончательно восстановить между нами дружескую непринужденность, принялась подшучивать над моим «романом». Я в долгу не остался и объявил, что, по моим наблюдениям, Снятыньский в последнее время совсем потерял голову. Так мы оба некоторое время шутили и смеялись. Сердце человеческое, как пчела, ищет меду даже в горьких цветах. Самый несчастный человек — и тот стремится отыскать хоть капельку счастья даже в собственных муках и хватается за малейшую тень, за малейшую видимость этого счастья. Мне иногда думается: такая неутолимая потребность счастья — не доказательство ли, что нас еще ждет оно после смерти? Я убежден, что и пессимизм порожден этой именно потребностью, — ведь, если несчастья всего человечества облечь в философскую формулу, это может служить некоторым утешением. Да, пессимизм призван был усыпить стремление к познанию и правде, а что такое счастье, как не длительное усыпление?

А может быть, любовь — такой неисчерпаемый источник счастья, что, даже когда она безнадежно мрачна, мрак ее бывает пронизан лучами света? Вот такой лучик сегодня светил мне и Анельке. А я уже на это не надеялся! Не думал я, что человек, не знающий границ своим желаньям, жаждущий обладать *все*м, способен в своей тяжелой доле удовлетвориться малостью, почти ничем. Но примером тому оказался я сам.

Едва мы дочитали письма, как в дверях появилась пани Царлина (она уже ходит без чужой помощи). Она принесла Анельке скамеечку под ноги.

— Ах, мама! — с досадой сказала Анелька. — Как это можно!

— А ты мало ли нянчилась со мной, когда я болела? — возразила пани Целина.

Я взял из ее рук скамеечку и, опустившись перед Анелькой на колени, ждал, чтобы она поставила на нее свои ножки. Эта секунда ошастливила меня на целый день. Да! Нищий, всего лишенный, живет крохами и, собирая их, еще благодарно улыбается сквозь слезы.

6 июля

Сердце у меня искалеченное, но оно способно любить. Только теперь я понимаю Снятынского. Если бы я не был человеком, утратившим душевное равновесие, вывихнутым, отравленным скептицизмом, критическим самоанализом и критикой этого самоанализа, если бы любовь моя была законной и правой, я обрел бы в Анельке свой жизненный догмат, а за этим догматом появились бы и другие. Впрочем, кто знает — может быть, я способен любить только так, против человеческих законов и правил, и в этом именно сказывается моя нежизнеспособность. Как бы там ни было, то, что должно было вернуть мне душевное здоровье и быть моим спасением, стало для меня смертельным недугом и гибелью. И — странное дело! — люди как будто предвидели, что меня постигнет: предостережений было немало. Мне все вспоминается то, что написал Снятынский, когда я жил у Дэвисов в Пельи: «Жизнь дает всякие выходы. Смотри же, чтобы в твоей жизни не выросло что-нибудь такое, что станет несчастьем для тебя и твоих близких». В то время я посмеялся над его словами, — а между тем как верно он предсказал мое будущее! Да и отец не раз говорил со мной так, словно взор его проникал сквозь завесу будущего. Но сейчас поздно вспоминать об этом. Знаю, что размышления эти ни к чему не приведут, но не могу не предаваться им, потому что мне жаль не только себя, но и Анельку. Со мной она была бы во сто раз счастливее, чем с Кромницким. Может, я вначале и критиковал бы ее, находя в ней множество недостатков, но все равно любил бы ее всем сердцем. Она была бы моей, и, значит, на нее распространялась бы моя эгоистическая любовь к самому себе. Ее недостатки я рассматривал бы как свои собственные, а ведь себе человек все прощает и, как бы резко ни критиковал себя, всегда заботится о своем благе, остается себе дорог. Так и Анелька была бы мне дорога, а к тому же она настолько выше меня, что со временем стала бы моей гордостью, лучшей и благороднейшей частью моей души, и, сознавая всю неуместность моей критики, я перешел бы в ее веру, и она стала бы моей спасительницей.

Да, так могло быть, но все загублено, испорчено, стало трагедией для нее, трагедией и злом для меня.

Перечитывая то, что писал вчера, я задумался над последней фразой,— я писал, что любовь моя, будь она законной, могла бы спасти меня, а вместо этого стала источником зла... С этой мыслью трудно примириться. Каким образом любовь к такому чистому существу, как Анелька, может породить зло? Объяснить это можно одним словом: любовь моя — любовь неправая. В конце концов надо в этом сознаться. Если бы мне, человеку цивилизованному, с впечатлительными нервами, человеку, который всегда жил в ладу с уголовным кодексом уже хотя бы потому, что нравственные понятия не позволяют ему жить иначе, два года назад кто-нибудь предсказал, что я буду целыми днями и ночами думать о том, как бы любым способом, хотя бы убийством, избавиться от человека, который стоит у меня на дороге, я считал бы такого пророка сумасшедшим. Однако это так — вот до чего я дошел! Кромический мешает мне жить, отнимает у меня землю, воду и воздух. Я не могу жить оттого, что он живет на свете, — и потому ни на минуту не расстаюсь с мыслью о его смерти. Если бы он умер, как просто разрешилось бы все! Наступил бы конец всем страданиям. Ведь вот гипнотизер может сказать своему медиуму: «Спи!» — и медиум засыпает. Так почему та же сила, но еще более напряженная, не может усыпить кого-нибудь навеки? Побуждаемый этой мыслью, я выписал себе недавно несколько книг о гипнотизме, а пока невольно каждым взглядом говорю Кромическому: «Умри!» — и если бы такого внушения было достаточно, Кромического давно бы не было на свете. Между тем он жив и здоров, остается, как и был, мужем Анельки, а я сознаю, что мое поведение преступно, глупо, смешно, недостойно человека действия, — и все сильнее и сильнее презираю себя.

Это не мешает мне, однако, по-прежнему «гипнотизировать» Кромического. Вот так же иногда человек интеллигентный, когда врачи бессильны излечить его от тяжелой болезни, обращается к знахарям. Я стремлюсь умертвить соперника гипнотизмом, но при этом только яснее вижу свое ничтожество, и мне становится еще хуже. Все-таки должен признаться: всякий раз, как я остаюсь один, я ловлю себя на мыслях об уничтожении ненавистного соперника любыми средствами, какие доступны человеку. Долгое время я носился с мыслью убить его на дуэли. Но это ни к чему бы не привело. Анелька не могла бы выйти за убийцу своего мужа. Потом я, как самый настоящий преступник, стал обдумывать иные способы. И любопытно, что я придумал множество таких, которых не могло бы раскрыть никакое человеческое правосудие.

Ах, все это — глупости, пустые фантазии! Кромический может спать спокойно — мои замыслы никогда не перейдут в действия. Я его не убью, хотя бы знал, что отвечать за это не буду, как не отвечаешь за то, что раздавил паука. Даже если бы мы с ним жили одни на необитаемом острове, я и тогда не убил бы его.

Но если бы возможно было разрезать пополам череп человека, как яблоко, и увидеть скрытые в нем мысли,— все увидели бы, как червяк преступления точит мой мозг. Более того: я отдаю себе ясный отчет, что не убью Кромницкого вовсе не из высших нравственных побуждений, выраженных в заповеди «Не убий!». Эту заповедь я уже в себе растоптал. Нет, не убью я только потому, что, пожалуй, мне этого не позволят какие-то остатки рыцарских традиций, а еще потому, что я, человек с утонченными нервами, слишком далеко отошел от первобытного дикаря и не способен на жестокость. Словом, физически убить я не способен, но мысленно я убиваю Кромницкого каждый день. И потому задаю себе вопрос: не буду ли я отвечать за это перед каким-то судом, который выше всякого суда человеческого, отвечать так же, как за убийство свершенное?

Правда, если бы можно было, вскрыв череп, увидеть тайные мысли человека, то, вероятно, даже в мозгу самого добродетельного из людей нашлись бы такие мысли, от которых волосы у всех встали бы дыбом. Помню, в детстве у меня был период такой набожности, что я молился горячо с утра до вечера, по вместе с тем в минуты высшего религиозного экстаза в голове у меня проносились всякие греховные мысли — как будто их мне навевал ветер или нашептывал какой-то злой демон. Точно так же меня иногда посещали кошмарные мысли о людях, которых я любил больше всего на свете и за которых без колебания отдал бы жизнь. Помню, для меня, ребенка, это было трагедией, я искренне страдал. Так вот я думаю, что за грешные или преступные мысли мы не ответственны, ибо они порождены злом, которое мы видим вокруг, и вовсе не свидетельствуют о зле, укоренившемся в нашей душе. Вот почему человеку кажется, будто это бес нашептывает ему такие мысли. И человек слышит их, но если он не склонен ко злу, то гонит их от себя. В этом, пожалуй, даже есть некоторая заслуга.

Но со мной дело обстоит иначе. Мысль избавиться от Кромницкого приходит ко мне не извне, она растет и крепнет внутри меня. Я уже нравственно дошел до того, что способен убить, и если не решаюсь и не решусь никогда на это, то, как я уже говорил, только из-за своих первов. Роль моего демона сводится к тому, что он издевается надо мной, шепча мне в уши, будто убийство Кромницкого лишь доказало бы мою способность к действию и вовсе не было бы преступнее, чем желание убить.

Вот оно, то распутье, на котором я сейчас стою. Никогда я не думал, что зайду так далеко, и с удивлением смотрю в глубь своей души. Не знаю, искупил ли я хотя бы отчасти это падение своими неслыханными муками. Знаю только одно: тот, чья жизнь не укладывается в простой кодекс, признанный Анелькой и людьми ей подобными, тот, у кого душа перехлестывает через край такого сосуда, неизбежно будет повержен в прах.

Сегодня в читальне Кромичкий указал мне какого-то англичанина, которого сопровождала необыкновенно красивая женщина, и рассказал их историю. Красавица эта, румынка по происхождению, была замужем за каким-то разорившимся румынским боярином, англичанин же, встретив их в Остенде, попросту купил ее у мужа. О таких случаях я слышал в жизни раз десять. Кромичкий даже назвал мне сумму, уплаченную за красавицу. Рассказ его произвел на меня странное впечатление. Я подумал: «Что ж, и это — способ. Конечно, постыдный и для продающего и покупающего, зато простой». От женщины в этих случаях можно скрыть сделку, а самой сделке придать по возможности приличный вид. Я невольно стал «пробовать» этот способ к нашему положению. А что, если... Но у такого решения две стороны: по отношению к Анельке оно мне представлялось гнусной профанацией, по отношению же к Кромичкому — способом не только допустимым, но и могущим удовлетворить мою ненависть и презрение к нему. Если бы он на это согласился, тут-то и стало бы ясно, какой он мерзавец и каким чудовищным преступлением было выдать за него Анельку. Тогда сразу были бы оправданы все мои старания отнять у него жену. Но согласится ли он? «Ты его ненавидишь и потому готов приписать ему самое дурное», — говорил я себе. Однако, как я ни пытался быть объективным, я не мог забыть, что этот человек продал Глухов, коварно воспользовавшись доверенностью, полученной от жены, что он, в сущности, обманул Анельку и пани Целину, что, наконец, жажда наживы в нем явно сильнее всего. И не я один считал его одержимым «золотой лихорадкой». То же самое думал о нем и Снятынский, и моя тетушка, и пани Целина. А нравственный недуг такого рода всегда может довести человека до падения. Разумеется, все будет зависеть от состояния его дел. А каково оно, никто из нас толком не знает. Тетя предполагает, что неблагополучно. Мне думается, что он все свои деньги вложил в какое-то предприятие, рассчитывая получить от этого посева обильный урожай. Но получит ли? В этом он и сам, по-видимому, не уверен, и оттого он в постоянной тревоге и шлет десятки писем молодому Хвастовскому, своему уполномоченному на Востоке...

Мне вдруг пришло в голову, что можно ведь от этого самого Хвастовского узнать о положении дел. Но на это нужно время. Пожалуй, съезжу на день в Вену, увижусь с доктором Хвастовским (он там работает в клинике) и через него, быть может, что-нибудь узнаю: братья, наверно, переписываются. А пока постараюсь выведать кое-что у самого Кромичкого, — очень осторожно, чтобы не возбудить у него подозрений. Прежде всего я завтра же спрошу у него, что он думает о том румынском боярине, который продал жену англичанину. Предвижу, что Кромичкий не

будет со мной до конца откровенным, но постараюсь хоть отчасти этого добиться, а остальное угадаю сам.

Все эти размышления и замыслы меня немного оживили. Самое страшное — страдать пассивно, сложа руки, и я рад всему, что выводит меня из этого состояния. «Вот завтра и послезавтра ты по крайней мере что-то предпримешь, попробуешь что-то сделать для своей любви», — твержу я себе и в этом черпаю бодрость. От полнейшей инертности перехожу к лихорадочной деятельности. Мой мозг и чувства нуждаются в разрядке. Я дал Анельке слово, что не покончу с собой, так что и этого выхода у меня уже нет. А так жить, как я живу, больше невозможно. Если путь, на который я хочу вступить, позорен, то, во всяком случае, для Кромницкого он будет позорнее, чем для меня. Я *должен* их разлучить не только ради себя, но и ради Анельки...

У меня, кажется, самая настоящая лихорадка. Здешние купанья полезны всем, только не мне.

10 июля

Даже здесь, в Гаштейне, бывают знойные дни. Что за пекло! Анелька носит платья из белой фланели, так одеваются англичанки для игры в теннис. По утрам мы пьем кофе на воздухе. Анелька приходит с купанья свежая, как снег на восходе солнца. Мягкая ткань платья как-то особенно рельефно обрисовывает ее стройное тело, а утреннее солнце освещает ее так ярко, что я вижу каждый волосок ее бровей и ресниц, вижу пушок на нежных щеках. Волосы ее кажутся мокрыми и в этом утреннем освещении еще светлее, а глаза — прозрачнее. Как она молода, как прелестна! В ней — вся моя жизнь, в ней все, чего я жажду. Нет, не откажусь я от нее, не смогу! Гляжу на нее и теряю голову от упоения и вместе от мучительного сознания, что вот сидит с нею рядом — муж. Нет, так продолжаться не может, пусть она будет ничья, только бы ему не принадлежала!

Анелька отчасти понимает, какая боль терзает мне первы, — но только отчасти. Мужа она не любит, но жить с ним считает своей законной обязанностью, я же при одной этой мысли скрежещу зубами, потому что мне кажется, что, покоряясь этой «законности», она себя позорит, опошляет! А этого я не могу позволить даже ей. Лучше бы она умерла! Тогда она будет моей, ибо этот «законный муж» останется здесь, на земле, а я — нет. Поэтому у меня больше прав на нее.

Со мной по временам творится что-то странное. Когда я очень устану, измучаюсь, когда моему мозгу, перенапряженному мыслями об одном и том же, дано увидеть какие-то дали, которых в нормальном состоянии не видишь, бывают у меня минуты уверенности, что Анелька судьбой предназначена мне, что каким-то образом она уже стала или станет моей. Уверенность эта так глубока, что я, очнувшись, с удивлением вспоминаю о существо-

вашии Кромического. Быть может, в такие минуты я перехожу границу, которую люди при жизни обычно не переходят, и вижу все таким, каким оно должно бы быть в действительности, но существует лишь в идеале? Почему эти два мира не соответствуют друг другу? Как это возможно? Не знаю. Не раз пытался я это понять, но теряюсь. Такое несоответствие непостижимо, и я чувствую только, что в нем корень несовершенства и зла. Это сознание меня поддерживает: ведь в таком случае то, что Анелька — жена Кромического, тоже проявление зла.

11 июля

Снова разочарование, снова рушились мои планы, хотя есть еще искра надежды, что это крушение не окончательное. Я говорил сегодня с Кромическим о румыне, продавшем жену, и, чтобы вызвать Кромического на откровенность, придумал целую историю.

Мы встретили у водопада англичанина с купленной женой. Я тотчас стал восторгаться ее необычайной красотой, потом добавил:

— Мне здешний врач рассказывал, как совершилась эта купля-продажа. Ты слишком сурово судишь молдавского боярина.

— Он мне прежде всего смешон, — отозвался Кромический.

— Видишь ли, имеются смягчающие обстоятельства. Боярин этот — владелец крупных кожевенных заводов и вел дело на чужие деньги, полученные в виде ссуд. Неожиданно ввоз шкур в Румынию был запрещен ввиду эпизоотии. Боярин знал, что если он не продержится до конца карантина, то не только сам обанкротится, но и разорит сотни семей, доверивших ему свои деньги. Ну, что же, коли ты купец, так должен соблюдать купеческую честность. Быть может, их этика отличается от общепринятой, но кто ее признал...

— Тот вправе продать даже свою жену? — подхватил Кромический. — Ну, нет! Нельзя ради одних обязанностей жертвовать другими, да еще, быть может, более священными...

Высказавшись, как подобает человеку порядочному, Кромический этим до крайности разочаровал и разозлил меня. Впрочем, я не отчаивался, зная, что у самого дрянного человека всегда имеется запас громких фраз. И я продолжал:

— Ты одного не принял во внимание, мой милый: ведь, разорившись, этот человек обрек бы на нищету вместе с собой и свою жену. Отнять у близкого человека последний кусок хлеба — это, согласись, странный способ выполнять свои обязанности по отношению к нему.

— Вот не подозревал, что ты станешь так трезво рассуждать! — сказал Кромический.

«Дурак! — подумал я. — Ты не понимаешь, что это точка зрения не моя, а та, которую я хочу внушить тебе!»

— Я просто пытаюсь войти в положение этого мужа, — сказал я вслух. — А может, жена его не любила? Может, она любила англичанина и муж знал об этом?

— В таком случае они оба друг друга стоят.

— Не в этом дело. Надо смотреть глубже. Если она, любив англичанина, оставалась все же верна мужу, то она лучше, чем ты полагаешь. Ну, а муж... Может, он и подлец, не знаю. Но скажи, что делать мужу, когда к нему приходит другой человек и говорит: вы — двойной банкрот, ибо у вас есть долги, которых вы не в состоянии уплатить, и жена, которая вас не любит. Разведитесь с этой женщиной, и тогда я, во-первых, обеспечу ей богатую и, насколько это от меня зависит, счастливую жизнь, во-вторых, уплачу все ваши долги. И это только так говорится: «Продай! Продай!» — а, собственно, какая же тут продажа? Ты учи, что купец этот, согласившись на такую сделку, избавил от страданий любимую женщину (и еще вопрос, не правильнее ли *такое* понимание своих обязанностей) и одновременно избавил от нужды всех тех, кто ему доверился...

Кромицкий подумал с минуту, вынул из глаза монокль и сказал:

— Дорогой мой, лъщу себя надеждой, что в коммерческих делах я понимаю больше тебя, но в дискуссии с тобой вступать не могу, так как ты меня мигом загонишь в угол. Если бы ты не получил в наследство миллионов и стал адвокатом, ты бы все равно их нажил... После того как ты эту историю мне представил в таком виде, я уж, ей-богу, не знаю, что думать об этом румынском хлыще. Одно знаю: тут был какой-то сговор относительно жены, и, значит, что ни говори, это грязное дело. А поскольку я сам в некотором роде купец, скажу тебе еще вот что: у банкрота всегда есть выход — либо вторично сколотить состояние и заплатить старые долги, либо пустить себе пулю в лоб. В последнем случае он за неимением денег расплачивается кровью, а жену, если она у него есть, избавляет от себя и дает ей возможность найти новое счастье.

Меня распирала тайная ярость, и я дорого дал бы за то, чтобы можно было крикнуть ему: «Ты тоже банкрот, хотя бы потому, что жена тебя не любит! Видишь этот водонад? Бросайся же в него, избавь жену от себя и открой ей новую жизнь, в которой она будет во сто раз счастливее!»

Но я молчал, переживая новое и полное горечи открытие, что Кромицкий, хоть он и жалкий человек, способный на такие поступки, как, например, продажа Глухова и злоупотребление доверием жены, — все-таки не такая подлая душонка, как я воображал. Это было для меня разочарованием, разрушало те планы, за которые я в последнее время цеплялся из последних сил. Теперь я снова ощущал свою беспомощность, снова впереди зияла

пустота, и я словно повис в воздухе. Но я не хотел выпускать из рук последней соломинки, хорошо понимая, что смогу кое-как жить, только если буду действовать, буду что-то предпринимать, — иначе я сойду с ума.

«Подготовлю хотя бы почву для будущего и на всякий случай заставлю Кромницкого освоиться с мыслью о разлуке с Анелькой», — говорил я себе.

Повторяю, я не знал, каково его материальное положение, но допускал, что тот, кто занимается коммерцией, имеет одинаковые шансы и разбогатеть и все потерять. И я сказал:

— Не знаю, насколько твои слова совместимы с купеческой моралью, но должен с удовольствием признать, что они достойны благородного человека. Значит, если я верно тебя понял, ты утверждаешь, что муж, которому грозит разорение, не вправе увлечь за собой жену в бездну нищеты?

— Я сказал только, что продать жену при всех обстоятельствах — подлость. Вообще же говоря, жена должна делить участь мужа. Нечего сказать, хороша та жена, которая согласна расторгнуть брак только потому, что муж обеднел!

— Ну, может, жена и не согласится, но муж может развестись с нею и помимо ее воли. Каждый должен помнить свой долг... Притом, если жена видит, что развод с ней может спасти мужа, то правильно понятый долг велит ей согласиться на это.

— О таких вещах даже говорить противно.

— Почему? Или ты уже жалеешь румына?

— Боже упаси! В моих глазах он всегда останется подлецом.

— Тебе недостает объективности. Но это и не удивительно: человеку, у которого все идет как по маслу, никогда не понять психологии банкрота. Для этого надо быть философом, а философия несовместима с погоней за миллионами...

Я больше не хотел продолжать этот разговор — мне было невыразимо противно собственное коварство и лицемерие. Я воображал, будто мне удалось-таки посеять какое-то зерно, — правда, слишком ничтожное, чтобы оно могло дать всходы. Все-таки я по крайней мере снова ухватился за какую-то нить. Одно наблюдение меня воодушевило. Когда я стал внушать Кромницкому (делая вид, будто это его собственное мнение), что разорившийся муж должен дать жене свободу, на лице его выразилось беспокойство и смущение. А при упоминании о его миллионах он тихонько вздохнул. Делать из этого вывод, что ему грозит разорение, было бы преждевременно, но я предполагаю, что дела его не особенно надежны и могут принять дурной оборот.

Я решил это проверить. Во мне как будто сидело два человека. Один мысленно твердил Кромницкому: «Если ты хоть чуточку пошатнешься, я помогу тебе упасть. И, хотя бы мне пришлось пожертвовать всем своим состоянием, я одним ударом свалю тебя. Тогда я буду иметь дело с разбитым человеком, и по-

смотрим, не найдешь ли ты для предложенной мною сделки более приличного названия, чем «подлость».

Но, думая так, я в то же время ясно сознавал, что подобный образ действий не в моем характере. Вероятно, я о чем-то таком или слышал, или читал, и если бы не мое отчаянное положение, ни за что не пошел бы на то, что мне претит и чуждо моей натуре. Деньги не играют в моей жизни никакой роли, никогда не были для меня ни средством, ни целью. Я не способен действовать таким оружием. Понимая, как унижительно было бы и для меня и для Анельки вводить этот элемент в наши отношения, я испытывал нестерпимое омерзение и спрашивал себя: «Неужели ты не остановишься и перед таким нравственным падением? Неужели и эта чаша не минет тебя? Смотри, ты все больше опускаешься — ведь прежде тебе и в голову не пришло бы поступить таким образом. А в довершение всего ты, быть может, и этим ничего не добьешься и только окончательно опротивеешь самому себе».

В самом деле, прежде, когда тетя иногда заговаривала о денежных делах Кромницкого и откровенно высказывала вслух подозрение, что они неблагополучны, меня это корбило. Предвидя, что он может когда-нибудь обратиться ко мне за помощью или предложить мне участвовать в его операциях, я давал себе слово решительно отказать ему и в том и в другом, настолько мне претила мысль, что в мои отношения с Анелькой вмешиваются деньги. Помню, я видел в этом доказательство своей щепетильности и благородства. А сейчас я дошел до того, что хватаюсь за это оружие, как банкир, который всю жизнь воевал только им.

Вижу совершенно ясно, что мои поступки и мысли хуже, чем я сам, — и часто не отдаю себе отчета, как же это случилось. Вероятно, причина в том, что я застрял на бездорожье и не могу выбраться на верный путь. Я люблю женщину высокой души, люблю горячо, однако это создает только ложное положение и заколдованный круг, в котором портится мой характер и даже исчезает тонкость чувств. В былые времена, когда случались минуты падения и я отбрасывал прочь всякую мораль, у меня всегда оставалось что-то взамен, эстетическое чувство, что ли, помогавшее мне различать зло. Теперь не осталось и этого чувства, вернее — оно беспильно. Ах, если бы я по крайней мере утратил душевную брезгливость! Но я сохранил ее полностью. Только теперь она перестала быть для меня уздой, сдерживающим началом и только усиливает мои терзания. В душе моей больше нет места ни для чего, кроме любви к Анельке, но сознанию ведь и не требуется никакого места. Оно сохраняется и в любви, и в ненависти, и в боли, так же, как рак гнездится в больном организме. Кто не был в таком положении, как я, тот не может себе его представить. Я знал, конечно, что тревожения любви бывают весьма мучительны, но не вполне верил этому. Я не

представлял себе, что эти муки бывают так реатыны и невыносимы. Только теперь я познал разницу между «знать» и «верить» и по-настоящему понимаю слова французского мыслителя: «Мы знаем, что должны умереть, но не верим в это».

12 июля

Сегодня сердце мое бьется неровно, в голове шум, и при воспоминании о том, что произошло, каждый нерв во мне дрожит как в лихорадке.

День был прекрасный, а лунный вечер еще прекраснее. Мы решили совершить прогулку в Гофгаштейн, и только одна пани Целина захотела остаться дома. Тетушка, я и Кромницкий вышли к воротам виллы, Кромницкий отправился к Штраубингеру нанять коляску, а мы с тетей остались ждать Анельку, которая почему-то замешкалась у себя в комнате. Так как она долго не выходила, я побежал за нею и встретил ее на крутой наружной лестнице, которая со второго этажа виллы ведет прямо в сад.

Луна освещала только другую сторону дома, на этой же было совсем темно, а лестница — винтовая и почти отвесная. Поэтому Анелька спускалась очень медленно. Наступила минута, когда ноги ее оказались на уровне моей головы, и в ту же минуту я бережно обнял их обеими руками и стал жадно целовать. Я сознавал, что придется расплачиваться потом за эту минуту счастья, но не в силах был от нее отказаться. К тому же бог знает, как благоговейно касались мои губы этих дорогих ножек, от которых не могли оторваться, и какими муками я заслужил эту минуту. Если бы Анелька не противилась, я поставил бы ее ножку к себе на голову в знак того, что я навсегда ее слуга и раб. Но она вырвалась и отступила на верхнюю ступеньку. Тогда я соскочил вниз и закричал громко, чтобы стоявшая у ворот тетя меня услышала:

— Анелька сейчас идет!

Теперь Анельке не оставалось ничего другого, как сойти вниз, и она могла это сделать без всякой опаски, так как я пошел вперед. В эту минуту подъехал в коляске Кромницкий. Но Анелька, подойдя к нам, сказала:

— Извините, тетя, я передумала, не хочу оставлять маму одну. Вы поезжайте, а я вас дождусь, и будем чай пить вместе.

— Но ведь Целина прекрасно себя чувствует, — с легкой досадой возразила тетушка. — Она сама предложила нам ехать — и главным образом ради тебя.

— Все-таки я... — начала было Анелька.

Но тут подошел Кромницкий и, узнав, в чем дело, сказал сухо:

— Пожалуйста, не порть нам прогулки.

И Анелька, ни говоря ни слова, села в коляску.

Волнение не помешало мне заметить тон Кромницкого и без-

молвную покорность Анельки. Они привлекли мое внимание главным образом потому, что Кромичкий весь тот день разговаривал с Анелькой еще холоднее прежнего. Видимо, размолвка между ними, возникшая по неизвестным мне причинам, продолжалась и зашла еще дальше.

Однако я не стал об этом думать — не до того мне было. Я весь был во власти ощущений, которые испытал только что, осыпая поцелуями ноги Анельки. В душе моей смешались блаженство, радость — и страх. Блаженство я испытывал и прежде всякий раз, когда касался хотя бы руки Анельки. Но откуда эта радость? Ее породило то, что непреклонная и добродетельная Анелька не смогла все-таки решительно оттолкнуть меня. Я догадывался, что в эту минуту она говорит себе: «Я тоже стою на наклонной плоскости и не могу смело смотреть людям в глаза — ведь только что у ног моих был человек, который меня любит, и я отчасти его сообщница, потому что не приду к мужу и не скажу ему: «Накажи его, а меня увези отсюда».

Я тоже понимал, что она так поступить не может, чтобы не нарушить мира в нашей семье, а если бы даже и могла, не делает этого, чтобы не вызвать столкновения между мной и Кромичким. И какой-то внутренний голос шептал мне: «Кто знает, за кого из нас двоих она боится больше?»

Положение у Анельки было в самом деле исключительно трудное, и я пользовался этим сознательно, без зазрения совести, как полководец на поле битвы пользуется невыгодным положением противника. Я задавал себе только один вопрос: «Поступил бы ты так, если бы знал, что Кромичкий заставит тебя ответить за это?» На этот вопрос я мог честно ответить — «да», и потому считал, что на все остальное не стоит обращать внимания.

Да, Кромичкий мне страшен только тем, что он может увезти от меня Анельку бог знает куда. При одной мысли об этом я прихожу в отчаяние.

Но тогда, в коляске, я боялся прежде всего Анельки. Что-то будет завтра? Как она отнесется к тому, что я сделал? Увидит в этом дерзость или порыв благоговейного восторга и обожания? Я чувствовал себя, как нашкодивший пес, который боится, что его накажут. Сидя против Анельки, я пытался по ее лицу, освещенному луной, угадать, что меня ждет. Глядел на нее так смиренно, был так несчастен, что сам жалел себя, и надеялся, что она тоже не может не пожалеть меня. Но Анелька не смотрела на меня и слушала со вниманием, — притворным, быть может, — то, что говорил Кромичкий. А он подробно объяснял тетушке, что он предпринял бы и как добился бы огромных доходов, если бы Гаштейн принадлежал ему. Тетя только головой кивала, а он то и дело повторял: «Ну, разве я не прав?» Он явно хотел убедить ее, что он — человек деловой, оборотистый и из каждого гроша сумеет сделать десять.

Дорога в Гофгаштейн прорублена в горах и вьется все время

над пропастью. На многочисленных ее поворотах свет луны падал попеременно то на нас, то на сидевших напротив дам. В чертах Анельки я читал только тихую грусть, но меня ободряло уже то, что в них не было суровости. Она ни разу не взглянула на меня, но я утешался мыслью, что, когда лунный свет падает на меня, а ее лицо в тени, она, быть может, незаметно смотрит на меня и думает: «Никто во всем мире не любит меня так, как он, и никто не страдает так из-за меня». И ведь это правда.

Мы оба молчали. Говорил все время только Кромичский, и гулос его мешался с шумом реки, протекавшей по дну ущелья, и с противным визгом тормоза, который кучер то и дело подкладывал под колеса. Этот визг терзал мне нервы, но их успокаивал теплый и светлый вечер. Было полнолуние. Месяц поднялся из-за гор и плыл в просторах небес, освещая макушки Бокштейнкогля, ледники Тишлькара, изрезанные ущельями склоны Гранкогля. Снега на вершинах гор мерцали светло-зеленым металлическим блеском, а так как ниже лежащие склоны сливались с вечерним мраком в одну сплошную серую массу, то казалось, что снеговые вершины парят в воздухе, легкие, неземные. Вокруг была такая мирная зачарованная тишь, таким покоем веяло от этих уснувших гор, что мне пришли на память слова поэта:

Ах, вот когда два сердца вместе плачут,
И коль простить они должны, так, значит,
Они простят. Проси у них забвенья —
Они дадут.

А что, собственно, Анелька должна простить? Только то, что я целовал ее ноги. Если бы она была статуя святой и стояла в костеле, разве она стала бы гневаться и обижаться на такой знак благоговейного поклонения? Когда настанет время объяснить, я ей так и скажу — это должно ее убедить.

Я часто чувствую себя глубоко и несправедливо обиженным тем, что Анелька, — безотчетно, быть может, и не называя вещей по имени, — считает мою любовь чисто земным порывом чувственной страсти. Не спорю, чувство мое соткано из разных элементов. Но Анелька, кажется, не понимает, что есть в нем и элементы идеального, настоящей поэзии. Часто страсть во мне дремлет, и я люблю Анельку только душою — такой представляется нам первая наша юношеская любовь. Порой мое второе «я», тот критик, что сидит во мне и все анализирует, проверяет, а часто и высмеивает, говорит мне: «Вот как! А я и не знал, что ты любишь, как студент и как романтик». Да, именно так! Быть может, это смешно, но так я люблю и верю, что чувство это глубоко искренне, в нем нет ничего надуманного. Оттого-то любовь моя так всецело захватила меня, оттого она печальна, тем печальнее, чем сильнее дает себя знать и чем одностороннее она кажется Анельке.

В тот вечер я как раз переживал такие минуты усыпления

страсти и мысленно говорил Анельке: «Неужели ты думаешь, что в моей любви нет ничего идеального? Вот сейчас я люблю тебя так чисто и самоотверженно, что ты можешь и должна эту любовь принять, и жаль, если ты ее отвергнешь,— ведь ты могла бы, ничем не поступаясь, спасти меня. Я сказал бы себе тогда: «Вот те пределы, в которых мне можно жить, вот мой мир»,— и у меня было бы хоть что-нибудь, я старался бы переделать себя, перейти в твою веру навсегда».

Я воображал, что Анелька может и должна согласиться на такое условие, и тогда между нами будет мир и оба мы успокоимся. Я давал себе слово все это ей объяснить, а когда мы решим навсегда душой принадлежать друг другу, тогда можно даже и расстаться, уехать. Меня окрыляла надежда, что Анелька согласится на такое решение. Она должна понять, что иначе жизнь нам обоим станет невозможной.

Было уже девять часов, когда мы доехали до Гофганштейна. В деревне царил тишина, перед отелями — ни одного экипажа, в домах темно. Светились только окна на постоянных дворах, да у Мегера хор из нескольких очень недурных мужских голосов пел тирольские песни, «иодли». Я вышел из экипажа, чтобы предложить певцам показать нам свое искусство. Но оказалось, что это были не здешние крестьяне, а какие-то альпинисты из Вены, им неудобно было предлагать плату. Я купил два букета эдельвейсов и других альпийских цветов. Вернувшись к коляске, один поднес Анельке, другой развязал — якобы нечаянно, — и цветы посыпались к ее ногам.

— Не надо, пусть тут и лежат, — сказал я, когда Анелька нагнулась, чтобы их подобрать. И пошел за третьим букетом, для тетушки. Подходя с ним к экипажу, я услышал голос Кромницкого:

— И если тут, в Гофганштейне, открыть второй благоустроенный курзал, можно получать сто процентов прибыли.

— А ты все о том же? — сказал я небрежно.

Вопрос я задал умышленно — это ведь было все равно, что сказать Анельке: «Смотри — я весь полон тобой одной, а твой супруг, хотя ты рядом, думает только о деньгах. Сравни наши чувства к тебе — и сравни нас самих!»

И я почти уверен, что она меня поняла.

На обратном пути я несколько раз пробовал завести разговор, но мне так и не удалось вовлечь в него Анельку. Когда мы остановили коляску у ворот нашей виллы, Кромницкий пошел с дамами наверх, а я остался, чтобы расплатиться с извозчиком. Войдя затем в дом, я уже не застал Анельки за чайным столом, она, по словам тетушки, очень устала и захотела сразу лечь. Немало обеспокоенный, я уже стал упрекать себя в том, что мучаю ее. Когда любишь по-настоящему, нет ничего тяжелее сознания, что ты причиняешь зло любимой. Мы пили чай молча — тетя кле-вала носом, Кромницкий был словно чем-то встревожен, а я тер-

зался все сильнее. «Должно быть, ее очнь взволновало мое поведение там, на лестнице,— думал я. — Она во всем видит дурную сторону». Я предчувствовал, что завтра Анелька будет меня избегать. Она, конечно, считает, что я нарушил заключенный между нами мир. Эти мысли меня пугали, и я решил завтра ехать в Вену — попросту говоря, сбежать отсюда. Во-первых, я боялся Анельки, во-вторых, хотел увидеться с Хвастовским, в-третьих, подумал (один бог знает, с какой горечью!), что лучше дать Анельке отдохнуть хоть два дня, освободив ее от моего присутствия.

15 июля

Целый ряд событий и случайностей! Не знаю, с чего начать. Последние впечатления — самые сильные. Никогда еще я не имел столь веского доказательства, что Анелька ко мне все-таки неравнодушна. Мне трудно рассказывать по порядку... Теперь я почти верю, что Анелька согласится на условия, которые я предложу ей. По временам у меня голова идет кругом... Но я сделаю над собой усилие и буду записывать все по порядку, с самого начала.

Я ездил в Вену. Вернулся сегодня вечером с кое-какими новостями, которыми поделюсь с тетей.

Я виделся с Хвастовским, переговорил с ним. Какой он молодчина! Работает в клинике как вол, дома пишет для народа брошюрки по гигиене, а брат его, книгоиздатель, будет выпускать их дешевым изданием ценой в несколько грошей. Кроме того, наш доктор — деятельный член разных медицинских и не медицинских обществ и еще находит время для веселых, — может быть, даже слишком веселых, — походов в районе Кэртнерштрассе. Не знаю, право, когда этот человек спит. И при всем том он выглядит таким ярмарочным Геркулесом. Сколько в нем жизни! Так и бурлит, так и кипит!

Я без обиняков рассказал ему, что привело меня в Вену.

— Не знаю, известно ли вам, что тетушка и я располагаем довольно значительными средствами, — начал я. — Пускать эти деньги в оборот нам нужды нет. Но если бы представилась возможность вложить их в предприятие, верное и приносящее солидные барыши, то это принесло бы пользу нашей родине. Возможно, что и пану Кромпцкому мы таким путем можем оказать услугу, — в этом случае польза была бы двойная. Скажу вам откровенно, сам он нам довольно безразличен, но раз мы с ним породнились, — отчего бы не помочь ему? Разумеется, мы должны быть уверены, что не потерпим при этом убытка.

— Так что вы хотели бы узнать, как обстоят его дела?

— Совершенно верно. Он-то, конечно, полон самых радужных надежд, и я не сомневаюсь, что искренне верит в свой будущий успех. Вопрос только в том, не ошибается ли он. Поэтому,

если брат вам писал что-нибудь об этом и писал не по секрету,— расскажите мне, что именно. Кроме того, попросите его, чтобы он специально написал мне как можно точнее о положении дел Кромического. Тетя рассчитывает на его расположение к ней — ведь ваша семья связана с ней гораздо крепче, чем с Кромичским.

— Ладно, я напишу брату,— сказал доктор. — Да он как-то уже писал мне об этом, но не помню, что именно,— меня это мало интересовало.

Сказав это, он принялся рыться в бумагах на письменном столе, скоро нашел письмо брата и стал читать его вслух:

«Подыхаю с тоски. Женщин тут очень мало, а красивых и днем с огнем не сыщешь...»

Хвостовский рассмеялся и, прервав чтение, сказал:

— Нет, это не о том... Ему бы в Вену попасть — как сыр в масле катался бы... Ага, вот оно!

И, перевернув страницу, он дал мне прочесть несколько строк, в которых упоминалось о Кромичском:

«С нефтью у Кромического дело лопнуло. С Ротшильдами борьба немыслима, а он вздумал с ними тягаться. Кое-как мы выкарабкались, но с большими убытками. Теперь вложили огромные деньги в поставки и добились монополии. Дело сулит миллионные барыши, но ответственность большая. Все зависит от наших усилий. Мы стараемся работать как можно честнее и потому надеемся на лучшее. Но нужны деньги и деньги, так как нам платят в строго установленные сроки, а те, у кого мы забираем товар, требуют денег немедленно и вдобавок часто отпускают плохой материал. Все теперь — на моих плечах...»

— Деньги мы дадим,— сказал я, прочитав это.

На обратном пути в Гаштейн я усиленно размышлял об этом деле, и во мне заговорили более благородные инстинкты. «Как бы то ни было,— думал я,— вместо того чтобы губить Кромического, не будет ли проще и честнее помочь ему? Ведь Анелька оценит такой поступок, ее тронет мое бескорыстие. А будущее — в руках providения».

Впрочем, поглубже заглянув в себя, я убедился, что и в моих «благородных» побуждениях есть доля эгоизма. Я рассчитывал, что Кромичский, получив деньги, немедленно уедет из Гаштейна, и я избавлюсь от душевных мук, которые доставляло мне его присутствие и близость с Анелькой. Анелька останется одна, лицом к лицу с моей любовью, благодарная мне за помощь, а быть может, и досадующая на мужа за то, что он эту помощь принял. Мне казалось, что все это открывает передо мной новые перспективы. Но прежде всего хотелось во что бы то ни стало спроводить Кромического.

Всю дорогу я был так поглощен мыслями об Анельке и наших отношениях, что и не заметил, как мы доехали до Ленд-Гаштейна. В Ленде я увидел множество раненых и убитых и узнал, что произошло крушение поезда на боковой ветке к Целлу. Но как только я снова сел в экипаж, впечатление, произведенное на меня видом ран и крови, рассеялось, и я вернулся к тем же мыслям. Я смутно чувствовал, что мои отношения с Анелькой надо как-то изменить, необходимо что-то сделать, иначе и мне и ей несдобровать! Но что? Ясно было только одно: она мучает и убивает меня, а я — ее. Я жажду всего, а она не идет ни на какие уступки, и это создает между нами такой трагический разлад, что для нее было бы лучше броситься в озеро, а для меня — слететь сейчас в пропасть вместе с экипажем и лошадьми. Кроме того, я прихожу к убеждению, что даже та замужняя женщина, которая остается верна мужу, не может избежать тяжелой внутренней борьбы, когда ее полюбит кто-то другой. Вот Анелька не сделала мне до сих пор ни малейшей уступки, но все-таки я по временам целую у нее руки и ноги, все-таки она вынуждена слушать мои признания и многое скрывать от матери и мужа. Ей приходится все время быть настороже, чтобы не выдать нашу тайну, следить за собой, да и за мной, ибо она не знает, до чего я еще могу дойти. При таких условиях жизнь становится нам обоим невыносима. Пора кончать.

Мне наконец показалось, что я нашел выход. Пусть Анелька не отвергает больше мою любовь, примет ее и скажет мне: «Я — твоя, душой и сердцем твоя и всегда буду твоей. Но ты этим должен ограничиться. Если ты согласен, то отныне мы связаны навеки».

И я, конечно, соглашусь на это. Я заранее рисовал себе, как протяну ей руку и скажу: «Беру тебя и обещаю, что больше ничего от тебя не потребую, что союз наш будет только союзом сердец, но в моих глазах наши взаимные обязательства будут браком, и ты — моей женой».

Возможен ли такой договор, положил бы он конец страданиям? Для меня он означал жесточайшее ограничение желаний и надежд, но создавал мой собственный мир, в котором Анелька принадлежала мне безраздельно. Наряду с этим такой договор узаконивал мою любовь, а для меня это было так важно, что я готов был на любую жертву, только бы Анелька признала мою любовь. Не доказывало ли это, как сильно я люблю ее и как жажду хоть каким бы то ни было образом обладать ею?

Да, я уже настолько переменялся, настолько себя переломил, что готов был согласиться на любые ограничения.

Итак, я с величайшим усилием сосредоточил свои мысли на одном вопросе: согласится ли Анелька? И мне казалось, что она должна согласиться.

Я уже заранее слышал, как говорю ей твердо и решительно: «Если ты действительно меня любишь, не все ли равно, пойми,

скажешь ли ты мне это или нет? Что может быть выше и святее такой любви, какой я молю у тебя? Я и так уже отдал тебе жизнь мою, потому что не могу иначе. Так спроси же у своей совести, не должна ли ты хотя бы принять этот дар, как принимала Беатриче любовь Данте? *Так* любить друг друга не запрещается даже ангелам. Ты будешь мне близка, как только может душа быть близка другой душе, но в то же время так далека, как будто ты живешь на вершине самой высокой из здешних гор. Если это любовь неземная, если обыкновенные люди не способны на такую любовь — тем более ты не должна ее отвергать. Дав ей волю, ты останешься бела, как снег, меня спасешь, а сама обретешь душевный покой и столько счастья, сколько можно узнать в нашей земной жизни».

Я искренне считал себя способным на такую любовь, почти мистическую, которая верит, что из земной брэнной личинки рождается бессмертный мотылек и, оторвавшись от земной жизни, летает с планеты на планету, пока не сольется с душой вселенской. Впервые мне пришла мысль, что я и Анелька в земном нашем воплощении уйдем из жизни, любовь же наша может нас пережить, остаться вечной, и в ней-то наше бессмертие. «Кто знает, — думал я, — не есть ли это единственный вид бессмертия?» Ибо я очень ясно чувствовал, что в любви моей есть нечто вечное, неподвластное закону перемен. Чтобы быть способным на такие чувства и мысли, надо сильно любить и притом быть несчастным, а может, и быть на грани безумия. Я, пожалуй, еще не стою на грани безумия, но все больше впадаю в мистицизм и только тогда и чувствую себя счастливым, когда вот так растворяюсь в том, что вечно, когда теряю свое «я» и не могу вновь обрести его. И мне понятно, почему это так. Мое внутреннее раздвоение и вечная критика разрушали все основы жизни и отравляли то относительное счастье, какое могут дать эти основы. А в сфере, где место силлогизмов занимают чувства и фантазия, моему скептицизму делать нечего, и я отдыхаю, испытывая безмерное облегчение.

Так я отдыхал, подъезжая к Гаштейну. Я видел в своем воображении Анельку и себя, успокоенных, связанных мистическим браком. Гордость поднималась во мне при мысли, что я все-таки сумел вырваться из заколдованного круга и нашел путь к счастью. Я был уверен, что Анелька с радостью подаст мне руку и пойдет со мной по этому пути.

Вдруг я словно очнулся от сна, увидев, что у меня вся рука в крови. Оказалось, что в этом экипаже перед тем перевозили раненых, пострадавших при железнодорожной катастрофе. Кучер не заметил, что в складки подушек натекло много крови, и не вытер ее. Мистицизм не завел меня еще так далеко, чтобы я мог верить во вмешательство сил неземных в человеческую жизнь, в особенности в виде каких-то знамений, примет и предостережений свыше. Но, хотя я не суеверен, мне весьма понятен ход мыс-

лей суеверного человека, а следовательно, я легко мог угадать, что именно в том или ином совпадении могло бы поразить его. В данном случае странным было, во-первых, то, что в экипаже, где я размышлял о новой жизни, незадолго перед тем, вероятно, угасла чья-то жизнь, во-вторых, — что я с окровавленными руками думал о мире и согласии. Такие совпадения могут в душе каждого первого человека пробудить если не дурные предчувствия, то, во всяком случае, грустные мысли и омрачить его настроение.

Несомненно, это случилось бы и со мной, если бы не то, что мы уже подъезжали к Вильдбаду. В то время как мы медленно поднимались в гору, я вдруг увидел коляску, мчавшуюся во весь опор вниз, нам навстречу. «Вот и тут может сейчас произойти несчастье! Ведь на этой крутой дороге надо ехать с крайними предосторожностями», — подумал я. Но в эту минуту кучер встречной коляски изо всех сил затормозил ее, так что лошади пошли чуть не шагом... И неожиданно я с величайшим удивлением увидел в коляске мою тетюшку и Анельку, а они при виде меня закричали:

— Вот он! Вот он! Леон! Леон!

Вмиг очутился я подле них. Тетя обеими руками обхватила мою шею и, повторяя: «Слава богу! Слава богу!», дышала так тяжело, словно она пешком бежала от самого Вильдбада. Анелька же схватила меня за руку и не выпускала ее. Вдруг лицо ее выразило ужас, и она вскрикнула:

— Ты ранен!

Сразу поняв, что ее испугало, я поспешил ответить:

— Нет, нет! Меня не было в том поезде. Я испачкал руку в коляске, в ней прежде перевозили раненых.

— Это правда? Правда? — спрашивала тетя.

— Ну, конечно.

— А какой же поезд потерпел крушение?

— Тот, что шел в Целл.

— О, боже, боже! А в телеграмме было сказано, что венский! Я чуть не умерла. Боже, какое счастье! Слава тебе господи!

Тетюшка стала утирать пот со лба. Анелька была бледна как смерть. Выпустив наконец мою руку, она отвернулась, чтобы я не увидел, что губы у нее дрожат, а глаза полны слез.

— Мы были одни дома, — рассказывала тетюшка. — Кромичкий ушел с бельгийцами в Нассфельд. А тут приходит наш хозяин с известием, что на железной дороге крушение. Я знала, что ты должен сегодня приехать. Вообрази, что со мной было! Я тотчас же послала хозяина нанять коляску. Анелька, добрая душа, не захотела отпустить меня одну... Боже... что мы пережили! Но бог милостив, отделались только страхом!.. А ты видел, раненых?

Я поцеловал руки у тети и у Анельки и стал рассказывать им, что видел в Ленд-Гаштейне. От них я узнал, что в кургауз пришла телеграмма, в которой было сказано: «В Ленд-Гаштейне

очень много раненых и убитых». И все решили, что катастрофа случилась на линии Вена — Зальцбург. Я рассказывал бессвязно, потому что в голове у меня стучала одна только радостная мысль: Анелька не захотела дожидаться дома возвращения тети, поехала с нею ко мне навстречу! Или она так поступила только ради тети? Я был уверен, что нет. От меня не укрылись ее тревога и растерянность, ее ужас, когда она увидела кровь на моих руках, радость на ее проспавшем лице, когда она узнала, что меня не было в потерпевшем крушение поезде. Я видел, что она еще и сейчас взволнована и ей хочется плакать от счастья. Если бы я взял ее за руки в эту минуту и сказал «люблю», она бы, наверное, разрыдалась и не отняла своих рук. И когда все это стало мне ясно как день, я решил, что пришел конец моим мученьям, что теперь в жизни моей наступит перелом, начнется новый этап. Нечего и пытаться описать словами, что я чувствовал тогда, какая радость распирала мне грудь. Я поглядывал время от времени на Анельку, стараясь сосредоточить во взгляде всю силу моей любви, а она улыбалась мне. Я заметил, что на ней не было ни пальто, ни перчаток, — видно, впопыхах, в сильном волнении забыла их надеть. Между тем похолодало, и я накинул ей на плечи свое пальто. Она было воспротивилась, но тетюшка приказала ей не снимать его.

Когда мы приехали на виллу, пани Целина встретила меня так сердечно, так бурно изливала свою радость, как будто в случае моей смерти Анелька не становилась единственной наследницей Плошовских. Днем с огнем не сыщешь таких благородных женщин! А вот за Кромичкого не ручаюсь, — наверное, он, вернувшись из Нассфельда и узнав о случившемся, вздохнул украдкой и подумал, что в мире ничего бы не изменилось, если бы из него исчезли Плошовские.

Он вернулся из Нассфельда усталый, в кислом настроении. Рассказывая о бельгийцах, с которыми свел знакомство и ездил туда, он несколько раз обозвал их идиотами за то, что они довольствуются тремя процентами прибыли со своих капиталов (это были капиталисты из Антверпена). Уходя спать, он сказал мне, что завтра хочет поговорить со мной о важном деле. Раньше меня это встревожило бы, теперь же я догадываюсь, что речь пойдет о деньгах. Я мог бы, не откладывая до завтра, выгнать его на этот разговор, но мне хотелось остаться одному со своими мыслями, со своим счастьем, с образом моей Анельки в душе. Пожелав ей доброй ночи, я сжал ее руку не как брат, а как влюбленный, и она ответила мне таким же горячимжатием. Так ты и в самом деле уже моя?

16 июля

Утром, едва я успел одеться, пришла ко мне в комнату тетюшка и, поздоровавшись, без всякого вступления начала:

бог — Знаешь, Леон когда ты был в Вене, Кромницкий предложил мне войти с ним в долю.

— И что же вы ему ответили?

— Отказала наотрез. Я ему сказала так: «Мой милый, у меня, слава богу, своего достаточно, а Леон после моей смерти будет одним из самых богатых людей в Польше. Так на что нам искушать судьбу и пускаться на всякие авантюры? Если ты считаешь своими поставками нажить миллионы, наживай их для себя. Если прогоришь, — зачем нам прогорать с тобой вместе? Я в твоей коммерции не разбираюсь, а впутываться в дела, в которых я ничего не смыслю, не в моих правилах». Как по-твоему, Леон, права я или нет?

— Совершенно правы.

— Ну, вот это я и хотела тебе рассказать и очень рада, что ты со мной согласен. Он, видишь ли, немного обиделся, когда я назвала его дела «авантюрами», и давай расписывать мне, какие у него виды на будущее, и подробно объяснять всю свою затею с поставками. Если это все верно, то он, пожалуй, в самом деле наживет миллионы. Что ж, дай ему бог! Но если дела у него так хороши, на что ему компаньоны? Я у него так прямо и спросила. А он ответил, что чем больше денег вложишь, тем больше извлечешь. Тут, мол, все решает наличный капитал, и ему приятнее делиться барышами со своими людьми, а не с чужими. Я его поблагодарила за родственные чувства, но решения своего не переменила. Ему это, видно, очень не понравилось. Он выразил сожаление, что никто из нас ничего не смыслит в коммерческих делах и все мы только проедаем свое наследство. При этом он мне прямо в глаза объявил, что это — грех против общества. Тут я, конечно, рассердилась. «Вот что, мой милый, говорю, может, хозяйствовала я по-бабьи, но ни гроша не потеряла, напротив — еще увеличила свое состояние. Ну, а насчет грехов перед обществом не тебе толковать после того, как ты продал Глухов. Ты хотел услышать всю правду — так вот и получай! Если бы ты не продал Глухов, у меня было бы к тебе больше доверия. А о твоих делах не только я, но и никто ничего толком не знает. Одно мне ясно — будь они и вправду так блестящи, как ты уверяешь, ты бы компаньонов не искал и отказ мой не огорчил бы тебя так. Если ищешь компаньонов, значит, они тебе нужны. Но ты и сейчас не был со мной совершенно откровенен, а я этого не люблю».

— И что же он?

— Он сказал, что прежде всего не понимает, почему его одного винят в продаже Глухова. Имение потеряно потому, что его владельцы по своей беспечности, неразумию, беспомощности и расточительности не смогли его сохранить и сделали продажу необходимой. У Анельки, когда она выходила за него, были одни только долги. А он спас больше, чем кто-либо другой мог бы спасти, и за это, вместо благодарности, слышит только попреки и...—

постой, стой, как это он выразился? — да! только попреки и патетическую декламацию.

— Врет! — вставил я. — Глухов можно было спасти.

— Это самое и я ему сказала. И еще добавила, что для спасения Глухова я одолжила бы им денег. «Ты же мог, — говорю ему, — раньше, чем продавать, написать Анеле, чтобы она со мной переговорила, а я, бог свидетель, ни минуты бы не колебалась. Но такая уж у тебя система: действовать втихомолку, чтобы никто ничего не знал. Все мы верили в твои миллионы, и только поэтому я не предлагала Анельке свою помощь». Тут Кромницкий проницательно засмеялся. «Анелюшка, говорит, слишком гордая шляхтянка и идеальное существо, чтобы снизойти до каких-то ничтожных денежных дел или хлопот за мужа. Вот, например, я ее дважды просил поговорить с вами насчет участия в деле, а она оба раза категорически отказалась. Ну, а Глухов... теперь, когда помощь уже ни к чему, вам легко говорить. Но после сегодняшнего вашего отказа я вправе думать, что и с Глуховым было бы то же самое...»

Я стал слушать уже с интересом — сейчас мне стала ясна причина размолвки между Кромницким и Анелей. А тетушка между тем продолжала:

— Я ему говорю: «Вот видишь, как мало в твоих речах искренности! Сначала ты уверял, что приглашаешь меня в компаньоны только затем, чтобы обогатить не чужих, а свою родню, теперь же оказывается, что ты сам в помощи нуждаешься». А он — изворотлив, нечего сказать! — отвечал, что в такого рода делах польза должна быть обоюдная. Ему, конечно, наше участие тоже выгодно: чем большими капиталами он будет располагать, тем надежнее успех — таков закон коммерции. И вообще, мол, взяв Анелюшку без приданого, он надеялся, что может рассчитывать на помощь ее родни хотя бы в тех случаях, когда это им самим выгодно. Зол он был ужасно, в особенности когда я сказала, что Анелюшка не бесприданница, что я ей завещаю пожизненную ренту.

— Вот как! Вы ему это сказали?

— Да. Все высказала, что было у меня на сердце. Что Анелюшка я люблю, как родную дочь, и потому-то, чтобы ее обеспечить, завещаю ей не капитал, а доход с него. «Капитал, говорю, мог бы пропасть — ведь еще неизвестно, чем кончатся твои затеи. А рента обеспечит Анелюшку до конца жизни. Если у вас будут дети, они получат и капитал, но только после смерти Анелюшки. Вот такова моя главная помощь, а наряду с этим я всегда готова помочь вам и в остальном».

— Тем и кончился ваш разговор?

— Да, почти. Я видела, что он очень разозлился. Должно быть, ему обидно и то, что я завещаю Анелюшке не капитал, а пожизненный доход, — это показывает, как мало я ему доверяю. Уходя, объявил, что пошлет компаньонов среди чужих и, вероятно, встретит не меньше сочувствия и больше деловитости. Эти

колкости я выслушала молча. Вчера он поехал на экскурсию с бельгийцами, но вернулся расстроенный. Видно, хотел их пригласить в компаньоны, но и тут у него ничего не вышло. Знаешь, Леон, что я думаю? Его дела плохи, раз он так лихорадочно ищет компаньонов с деньгами. Эта мысль меня гложет; понимаешь, если это правда, то из простой осторожности не следует вкладывать деньги в его предприятие, но, с другой стороны, наша родственная обязанность — помочь ему хотя бы ради Анельки. Вот о чем я с тобой хотела посоветоваться.

— А кстати, его дела не так уж безнадежны, как вы думаете, — заметил я. И повторил тетушке то, что узнал от доктора Хвастовского. — Я давно уже по поведению Кромницкого догадывался, что ему нужны деньги и он ищет их повсюду, — сказал я ей. — Отчасти потому я и ездил в Вену.

Тетя была так восхищена моей прооницательностью и моей тактикой, что, ходя по комнате, начала говорить сама с собой, перемежая свой монолог беспрестанными восклицаниями вполголоса: «Гениален во всем!» Наконец она объявила, что дело это предоставляет решать мне и поступит так, как я скажу.

Она ушла, а я еще раз перечел вчерашнюю запись в дневнике и через полчаса тоже сошел в столовую. Все сидели за чаем, и я с первого взгляда заметил, что опять случилось что-то: у Анельки лицо было испуганное, у пани Целины — страдальческое, а лицо моей милой тетушки побагровело от гнева. Один только Кромницкий как будто спокойно читал газету, но мина у него была кислая. Я заметил, что он даже осунулся, как после болезни.

— Знаешь, какую новость мне преподнесла сегодня уже с утра эта негодница? — сказала тетушка, указав на Анельку.

— Нет, не знаю, — ответил я, садясь за стол.

— Что через две недели, если здоровье Целины позволит, они уедут от нас в Одессу или куда-то еще дальше!

Я был как громом поражен. В первую минуту у меня даже сердце замерло.

Я посмотрел на Анельку (а она покраснела, как будто ее уличили в чем-то дурном) и наконец спросил:

— Что такое? Куда? Зачем?

— А они, видишь ли, доставляют мне слишком много хлопот в Плошове, — сказала тетя, передразнивая Анельку. — Не хотят быть мне обузой — вот какие добрые души! Они, видно, думают, что мне нравится жить одной, что, если тебе придется куда-нибудь уехать из Плошова и я останусь на старости лет одна в четырех стенах, мне будет и веселее и для здоровья полезнее... Всю ночь, вместо того чтобы спать, они совещались — и вот придумали!

Еще больше рассердившись, тетя повернулась к Кромницкому и спросила:

— А ты председательствовал на этом семейном совете?

— Вовсе нет. Меня даже не звали,— ответил Кромницкий. — Но думаю, что моя супруга хочет ехать для того, чтобы быть поближе ко мне,— так что я должен благодарить ее за такое решение.

— Это еще только проект,— сказала Анелька.

Забыв всякую осторожность, я смотрел на нее, не отрываясь, а она не смела поднять глаз, и это еще больше убедило меня, что она хочет уехать из-за меня. Никакими словами не опишешь того, что я чувствовал в эти минуты, какая смертельная горечь наполняла мое сердце. Анелька отлично знала, что я живу только ею и для нее, что все мои думы о ней, все, что я делаю, имеет одну цель — завоевать ее любовь, что это для меня вопрос жизни или смерти. Да, все это она знала — и совершенно спокойно приняла решение уехать! А что я без нее зачехну или разобью себе голову о стену, об этом она и не подумала. Это в счет не идет! Ей в Одессе будет спокойнее, никто не будет у нее на глазах корчиться от мук, как жук на булавке, никто не будет целовать ее ног, смущать ее добродетель, а это — все, что ей требуется. Можно ли колебаться, когда такой безмятежный покой покупается столь ничтожной ценой, как чье-то перерезанное горло!

Тысячи таких мыслей проносились у меня в голове, на языке были слова, полные яда. «Ты добродетельна и такой останешься,— говорил я в душе Анельке. — Но это потому, что у тебя нет сердца. Если бы собака была к тебе так привязана, как я, то и она заступивалась бы хоть каплю твоего внимания. Ты ни разу не сделала мне ни малейшей уступки, не подарила ни искры сочувствия, ни слова признания, а отняла все, что только могла отнять. Ты, если бы могла, не позволила бы мне даже смотреть на тебя, хотя была бы уверена, что, не видя тебя, глаза мои угаснут навеки. Но теперь я наконец понял тебя и знаю: твоя непреклонность так велика потому, что сердце твое так мало. Ты — холодная, бесчувственная женщина, и добродетель твоя — только величайший эгоизм. Ты хочешь прежде всего покоя и ради этого покоя готова все принести в жертву».

До конца завтрака я не произнес ни единого слова. Когда же он кончился, я ушел к себе наверх и здесь, схватившись за голову, пытался разобраться в том, что случилось. Мысли, ворочавшиеся в моем утомленном мозгу, были все так же горьки. Да, женщины с холодным сердцем часто крепко держатся за свою ханжескую мещанскую добродетель. Они, как любой лавочник, прежде всего заботятся о том, чтобы их бухгалтерия была в порядке. Любви они боятся, как буржуа боится уличных беспорядков, войны, рожденных в горячих головах великих слов и смелых идей, отважных до дерзости замыслов и взлетов. Ему прежде всего нужен мир и покой, ибо только при полном спокойствии в стране можно делать хорошие, надежные и прибыльные дела. Все, что выходит за рамки обыденной, благоразумной и шаблонной жизни, с точки зрения таких господ,— зло и достойно презрения

людей рассудительных. Да, добродетель имеет свои вершины и пропасти, но имеет также свои плоские равнины. И вот теперь меня нестерпимо мучает один вопрос: неужели Анелька — одна из тех плоско-добродетельных женщин, которые хотят сохранять в своей жизни вот такой неукоснительный порядок, как купец в своих счетных книгах, и отвергают любовь потому, что она не умещается в тесноте их душ и мозгов? Я мысленно озираю все прошлое, ища в нем доказательств. Может быть, именно на этом и держится ее примитивный кодекс, который меня угнетает и обезоруживает? Мне часто казалось, что Анелька — натура исключительная, непохожа на других женщин, неприступна, как снежные вершины Альп, которые не имеют никаких отлогостей и отвесно поднимаются к небу. Но вот ведь эта устремленная в небо вершина находит вполне естественным, что ночные туфли мужа топчут ее снега! Что же это такое?

Когда такие мысли осаждают меня, я чувствую, что близок к помешательству, и прихожу в такую ярость, что, если бы мог, опрокинул бы одним ударом и потом топтал и плевал эту гнусную жизнь, погрузил бы весь мир в хаос и стер бы с лица земли все живое.

Возвращаясь из Вены, я строил в своем воображении воздушный замок, где буду любить Анельку так, как Данте любил Беатриче. Я строил этот рай на муках, в которых любовь моя очистилась, как в огне, на отречениях и жертвах, готовый на все, только бы я и моя любимая хотя бы душою принадлежали друг другу. А теперь я думал: «Не стоит и говорить ей об этом, она не поймет, не стоит возводить ее на эти высоты, ей там трудно будет дышать. Она, быть может, в душе не против того, чтобы я ее любил и страдал, — это все-таки лыстят самолюбию. Но ни на какой союз, хотя бы чисто духовный, ни на какую близость, хотя бы то была близость Данте и Беатриче, она не согласится, ибо она меня не понимает, она считает, что должна принадлежать только мужу, признает только права этого законного мужа в халате, и душа ее не в силах воспарить над пошлой и убогой бухгалтерией супружеской любви и верности.

Я теперь искренне и горячо сожалел, что не ехал в том поезде, который слетел под откос: очень уж я был возмущен жестокостью Анельки и дошел до полного истощения физических и душевных сил. Я жаждал смерти, как жаждет отдыха человек, который провел много бессонных ночей у постели больного. И тут же мелькала мысль, что если бы меня привезли в Гаштейн изувеченного, окровавленного, то, может быть, что-то дрогнуло бы в душе этой женщины. Думая так, я вдруг вспомнил, как Анелька вчера помчалась с тетей искать меня, вспомнил ее ужас, а потом радость, глаза, полные слез, растрепавшиеся волосы, — и безмерная нежность, во сто крат убедительнее всех моих выводов и рассуждений, затопила мне сердце. То был минутный бурный порыв любви, но он быстро уступил место ядовитым сомнениям,

Все, что я видел вчера в коляске, могло объясняться иначе. Кто знает, не тревожилась ли Анелька больше за тетю, чем за меня? Да, наконец, впечатлительные женщины обладают большим запасом сочувствия даже к чужим, не только к родным, в особенности когда несчастье случается неожиданно. Почему же и Анельку не могла ужаснуть весть о моей гибели, а потом обрадовать встреча со мной, живым и невредимым? Если бы у тети гостила не она, а Снятынская, та, вероятно, так же сильно испугалась бы, а потом обрадовалась, и я увидел бы ее в экипаже такой же, как Анельку, без перчаток и шляпы, с растрепавшейся прической. Мне казалось, что в этом нечего и сомневаться. Анелька отлично знает, что для меня ее отъезд — катастрофа, более серьезная и опасная, чем крушение поезда, во время которого я мог сломать себе шею или лишиться руки или ноги. Однако она ни минуты не колебалась, принимая решение уехать. Я прекрасно понимал, что это придумала она, и никто другой. Ей «хочется быть поближе к мужу», а что будет со мной — это ей все равно!

И опять я почувствовал, что бледнею от гнева, ревности, возмущения, что от такого состояния один шаг до безумия. «Постой, постой! — уговаривал я себя, сжимая руками виски. — А вдруг она уезжает лишь оттого, что любит тебя и не в силах дольше тебе противиться?» Да, и такие мысли мелькали у меня, но, как семена, упавшие на каменистую почву, быстро пропадали и только оставляли по себе полную отчаяния прогнившую борозду. «Как же, любит она тебя! — говорил я себе. — Эта любовь похожа на страдание тех, кто вытаскивает из-под головы умирающего подушку, чтобы он не так громко хрипел и поскорее отмычился. Я скорее отмычусь, а Кромницкому будет удобнее навещать супругу и доставлять ей те законные утехи, которых это идеальное создание привыкло ждать от него».

В эти минуты Анелька была мне ненавистна. Первый раз в жизни я готов был пожелать, чтобы она действительно любила Кромницкого, — тогда она не была бы мне так противна. Гнев и ожесточение туманили мой рассудок, ясно мне было только одно: если я сейчас не предприму чего-нибудь, не помешаю планам Анельки, не отомщу ей, то со мной произойдет что-то страшное. Эта мысль словно ожгла меня раскаленным железом. Я вскочил и, схватив шляпу, побежал разыскивать Кромницкого.

Не найдя его ни в доме, ни в саду, я пошел к Вандельбану, заглянул в читальню, но его и там не оказалось. Через некоторое время я остановился на мостике у водопада, раздумывая, где же еще искать Кромницкого? Ветер дул со стороны каскадов и бросал мне в лицо водяную пыль. Это доставляло мне огромное наслаждение. Сняв шляпу, я подставил ей голову, и скоро волосы мои стали совсем мокры. Блаженное ощущение прохлады принесло мне огромное облегчение, помогло прийти в себя. От прежнего смятения чувств осталось только твердое решение помешать планам Анельки. «Не уедешь, так и знай! — говорил я мысленно. —

И я буду обходиться с тобой, как человек, который заплатил за тебя». Мне уже ясно было, каким путем идти к цели, и я не опасался, что сделаю глупость во время переговоров с Кромницким: я теперь вполне владел собой.

Кромницкий сидел на веранде отеля Штраубингера и читал газету. Увидев меня, он вынул из глаза монокль и сказал:

— А я как раз собирался идти к тебе.

— Пойдем на Кайзервег.

И мы пошли.

Я не стал ждать, чтобы Кромницкий высказался первый, и сразу приступил к делу.

— Тетя пересказала мне ваш вчерашний разговор с ней...

— Да, я очень сожалею, что затеял его, — отозвался Кромницкий.

— Это потому, что вы оба говорили не так хладнокровно, как следует говорить о делах. Разреши мне быть с тобой совершенно откровенным. Мою тетюшку надо знать. Она — достойнейшая из женщин, но есть у нее одна слабость, — впрочем, вполне понятная: она любит показать свой здравый смысл, — а его у нее действительно много, — и поэтому ко всему подходит сначала с недоверием, пожалуй, даже преувеличенным. По этой же причине она чаще всего на всякие предложения отвечает отказом. Старый Хвостовский мог бы тебе кое-что порассказать об этом. Надо дать ей время подумать, а главное — не раздражать ее, иначе она еще больше заартачится. А ты этого не учел.

— Но чем я мог ее рассердить? Уж я-то умею вести деловой разговор!

— Напрасно ты сказал ей, что взял Анельку без приданого. Тетя до сих пор на тебя зла.

— Я сказал это, когда она начала меня упрекать в продаже Глухова. И в конце концов это же правда: Глухов был так обременен долгами, что Анельке уже там ничего не принадлежало.

— А собственно говоря, зачем тебе было продавать этот злосчастный Глухов?

— Я хотел удружить одному человеку, от которого зависит все мое будущее благосостояние, а значит, и судьба моя. Когда выбора нет, делаешь, что приходится. Кроме того, мне дали хорошую цену.

— Ну, ладно, оставим это. Тетю твои слова задела за живое еще и потому, что она намерена обеспечить Анельку.

— Знаю: завещать ей ренту.

— Скажу тебе по секрету, что это неправда. Она вчера тебе так сказала только потому, что ты ее разозлил, — это я знаю на верное. Она хотела показать, что не верит в твои коммерческие способности. На самом деле у нее относительно Анельки другие намерения. Она не раз со мной об этом говорила, да и кому же знать это, как не мне, ее будущему наследнику?

Кромницкий хитро посмотрел на меня.

— А ты теряешь ведь в таком случае часть наследства...

— Ну, я не проживаю даже своих собственных доходов и потому отношусь к этому очень спокойно. Тебе, дельцу, это может показаться странным. Ну что ж, если так, допусти, что я — чужак. Бывают же чудачки на свете. Так вот слушай: во-первых, я не собираюсь умерять щедрость тети, во-вторых, знаю наверное, что тетя оставит Анельке не ренту, а наличные деньги. Разумеется, мое влияние на тетю может сыграть тут большую роль, и верь или не верь, как хочешь, а я тебе говорю, что употребляю это влияние тебе на пользу, а никак не во вред.

Кромицкий крепко пожал мне руку. Плечи его при этом задрожали совсем как у деревянного манекена. Как этот человек мне противен! Думается, он в душе называл меня не чудачком, а болваном, но он мне поверил, а мне только этого и надо было. И, кстати сказать, верил он мне на напрасно, — я в эту минуту твердо решил, что Анелька получит не ренту, а капитал на руки.

Я догадывался, что Кромицкому сильно хочется спросить у меня: сколько? И когда? Но, понимая, что это было бы слишком уж бестактно, он молчал — якобы от сильного душевного волнения. А я продолжал:

— Вам обоим следует помнить одно — к тете надо уметь подойти. Что она обеспечит Анельку, за это я ручаюсь, но, пока она эти деньги не выложила на стол и ты их не спрятал в карман, все зависит от ее воли и даже от любого минутного каприза. А вы что делаете? Вчера ее рассердил ты, сегодня — Анелька, и сильно притом. Как будущий наследник тети, я должен был бы этому радоваться, но, как видишь, стараюсь вас предостеречь и образумить. Тетя очень недовольна решением Анельки. К тебе она сегодня за столом обратилась как будто резко, но с тайной надеждой, что ты станешь на ее сторону. А ты вместо этого вроде как одобрил решение жены и тещи...

— Ах, дорогой мой! — Кромицкий опять пожал мне руку. — По правде говоря, я это сделал отчасти в отместку тете. А в сущности, проект Анельки не выдерживает никакой критики. Не выношу экзальтации, а у моих дам ее хоть отбавляй. Они всегда твердят, что мы злоупотребляем вашим гостеприимством, что нельзя же вечно гостить в Плошове, и так далее. Надоело это мне хуже горькой редьки... Дела обстоят вот как: везти с собой в Туркестан Анельку с матерью я, разумеется, не могу. А раз я должен пока быть там, мне решительно все равно, будет ли Анелька жить в Одессе или в Варшаве. Вот разделаюсь с этими поставками в дальних краях, вернусь домой — и, надеюсь, с немалым состоянием, — а тогда уже где-нибудь устроимся как следует. Это будет самое большее через год. И от тех, кому я передам свое дело, я ведь тоже получу отступного. Конечно, не будь Плошова, пришлось бы поискать какого-нибудь временного пристанища для моих дам, но раз тетя их приглашает и ей самой желательно, чтобы они у нее жили, было бы глупо искать другого

места. Теща только месяц-другой как встала с постели. Кто знает, что с ней дальше будет. Если она опять свалится, все заботы лягут на Анельку, а она так молода и неопытна. Я сейчас никак не могу оставаться с ними. И так уже сижу как на иголках, и, если говорить откровенно, меня здесь удерживала только надежда привлечь к участию в деле тебя или тетю. Вот я сказал тебе все, что у меня на душе,— и теперь ты ответь мне: могу я в какой-то мере рассчитывать на вашу поддержку?

Я вздохнул с облегчением. Итак, план Анельки провалился! Я был очень доволен тем, что поставил на своем. К тому же, хотя любовь моя к Анельке сейчас скорее походила на страстную ненависть,— ненависть эта, составлявшая единственное содержание моей жизни, как и любовь, требовала пищи. А пищу ей могло давать только присутствие Анельки. Наконец из слов Кромичкого я понял, что могу заодно осуществить и свое самое горячее желание — избавиться от этого господина на неопределенное время. Но я старательно скрывал свои чувства, сообразив, что будет лучше, если мы с тетей не сразу пойдем ему навстречу и заставим его еще поклоняться. Поэтому я сказал:

— Ничего не могу заранее тебе обещать. Сначала ты мне подробно объясни, в каком состоянии твои дела.

Кромичкий заговорил охотно, даже с увлечением,— видно было, что сел на своего любимого конька. Каждую минуту он останавливался и то брал меня за пуговицу, то прижимал к придорожной скале. Сказав что-нибудь, по его мнению, очень убедительное, он с удивительной быстротой вставлял в глаз монокль и смотрел мне в лицо, словно проверяя, какое впечатление его слова произвели на меня. Все это, а также его скрипучий деревянный голос и беспрестанные «а? что?», которыми он уснащал свою речь, нестерпимо раздражали меня. Но надо отдать ему справедливость: он не лгал. Он рассказал мне приблизительно то же, что я прочел в письме молодого Хвастовского. Дело представлялось мне в следующем виде: в поставки были вложены уже огромные деньги, и можно было бы ожидать больших барышей, тем более что контракт давал Кромичкому монополию на некоторые поставки. Опасность же заключалась в том, что все деньги нужно было выложить вперед, а возвращали их после длинной канцелярской волокиты очень медленно, и, кроме того, Кромичкому приходилось покупать все у частных торговцев, которым было выгодно отпускать самый плохой товар, а ответственность за качество поставок лежала на нем одном. Это обстоятельство ставило его в полнейшую зависимость от интенданства, которое, конечно, имело право принимать только доброкачественный товар. Таким образом, Кромичкому грозили опасности немалые.

Выслушав его объяснения, которые длились добрый час, я сказал:

— Ну, вот что, голубчик: при таком положении дел ни я, ни тетя не можем стать твоими компаньонами...

У Кромницкого тотчас пожелтело лицо.

— Но почему же?

— Да потому что ты, несмотря на все предосторожности, можешь попасть под суд, а мы не хотим быть замешаны в судебном процессе.

— Если так рассуждать, то ни одного дела нельзя затевать!

— А нам нет ни малейшей надобности их затевать. Тызовешь нас в компаньоны. А скажи — с каким капиталом?

— Что об этом теперь толковать!.. Но если бы вложили, скажем, хоть семьдесят пять тысяч...

— Нет, не вложим и не считаем себя обязанными это сделать. Но так как ты наш родственник... то есть стал им теперь, я хочу тебе помочь. Короче говоря, я тебе дам займы семьдесят пять тысяч под простой торговый вексель.

Кромницкий остановился и смотрел на меня, моргая глазами, как человек, внезапно разбуженный от сна. Но это длилось только одну минуту. Он, видимо, сообразил, что выказать слишком большую радость будет с его стороны недипломатично. Купеческая осторожность взяла верх, хотя по отношению ко мне она была и смешна и ненужна. Он пожал мне руку и сказал:

— Спасибо тебе. А под какие проценты?

— Об этом потолкуем дома. Мне пора возвращаться. Я хочу переговорить с тетей.

И я ушел. На обратном пути я спрашивал себя, не удивит ли Кромницкого мое поведение и не заподозрит ли он чего-нибудь. Но опасения мои были напрасны. Мужей делает слепыми чаще всего не любовь к жене, а чрезмерное самолюбие. Притом Кромницкий с высоты своей купеческой деловитости смотрит на нас с тетушкой, как на фантазеров без капли практической сметки, насквозь пропитанных старомодными понятиями, к которым относятся и уважение к родственным обязанностям. Да, он во многих отношениях человек совсем другого сорта, и потому мы невольно смотрим на него, как на вторгшегося к нам чужака.

Придя на виллу, я встретил в саду Анельку, она покупала землянику у местной крестьянки. Проходя мимо, я бросил ей резким тоном:

— Ты не уедешь, потому что я этого не хочу!

И ушел к себе в комнату.

За обедом опять зашел разговор об отъезде Анельки и пани Целины. На этот раз слово взял Кромницкий и, пожимая плечами, назвал этот проект ребячеством, над которым человек со здравым смыслом может только посмеяться. Свои соображения он высказывал в форме довольно нетактичной по отношению к жене и теще, — его вообще нельзя назвать человеком деликатным. Я в разговор не вмешивался, делая вид, что вопрос этот меня, в сущности, мало интересует. Однако Анелька, по-моему, отлично поняла, что Кромницкий пляшет под мою дудку. Я видел, что ей стыдно за мужа, что она чувствует себя глубоко униженной. И мне

это доставляло злорадное удовольствие — уж очень много обиды на нее скопилось у меня в душе.

Я по-прежнему чувствую себя больно уязвленным и до сих пор не могу успокоиться, не могу простить этого Анельке. И надо же было всему случиться как раз тогда, когда я решил заключить с ней союз, отречься от всех чувственных порывов и желаний, переломить себя! Если бы не это, мое разочарование не было бы так сильно. Но после того, как я из любви к ней хотел переродиться, когда я поднялся на высоты, которых никогда не достигал, — только для того, чтобы быть рядом с нею, — очень уж жестоким мне показалось то, что она без всякой жалости хочет толкнуть меня в бездну отчаяния, на самое ее дно, не задумываясь о том, что будет со мной... Эти мысли отравляют меня, мешают радоваться тому, что Кромицкий уезжает, а она остается. Будущее принесет с собой развязку, но я так измучен, что даже не стану гадать какую. Если бы я помешался, это было бы самой простой развязкой. Может, со временем так и будет, потому что я все время терзаюсь, а по ночам не могу уснуть и пишу. При этом я выкуриваю множество сигар, доходя от них до одурения, и почти каждую ночь просиживаю до рассвета.

30 июля

Не писал целых две недели. Я ездил с Кромицким в Вену, чтобы выполнить всякие формальности, а после нашего возвращения он прожил здесь в Гаштейне еще три дня. В то время у меня начались такие головные боли, что я не был в состоянии писать. Вот уже неделя, как пани Целина закончила курс лечения, и мы остаемся здесь только потому, что везде, где нет гор, стоит страшная жара. Отъезд Кромицкого принес большое облегчение мне, пани Целине (которую он раздражает до такой степени, что, не будь он ее зятем, она бы его возненавидела), тете, а быть может, и Анельке. Анелька не может ему простить того, что он втянул меня в свои дела. Ему и в голову не приходило, что между его женой и мною могут быть не только обычные родственные отношения, и потому он не делал тайны из того, что занял у меня деньги. Анелька же всей душой была против этого. Она, очевидно, не решилась ему ничего открыть — может, боялась утратить последние остатки уважения к нему, если он и после этого оставит ее у тети. Думается мне иногда, что она и ее мать, скрывая это друг от друга, в глубине души потеряли к нему всякое доверие с тех пор, как он продал Глухов, и считают его еще хуже, чем он есть. Я же думаю о нем, что это — духовный парvenu с душой холодной, деревянной, неспособной к тонким мыслям и чувствам. Не замечал я в нем ни великодушия, ни высокого благородства. Это — натура неглубокая и невосприимчивая, но он — человек порядочный в общепринятом смысле слова. Способствует этому некоторый врожденный педантизм, который у

Кромицкого странным образом уживается с тем, что я называл бы «денежным неврозом». Невроз его есть не что иное, как извращенная фантазия, нашедшая себе выход в погоне за обогащением.

А в общем, этот человек мне так ненавистен, так невыразимо противен весь со своим моноклем, косыми глазами, длинными ногами и желтым лицом без всякой растительности, что я даже удивляюсь, как это я способен объективно судить о нем. Знаю: если он не потеряет всего, то и мои деньги за ним не пропадут. Но скажу прямо: я предпочел бы, чтобы он лишился всех денег, рассудка, жизни и чтобы я избавился от него навсегда.

Я болен. Анельку вижу редко последние дни. То из-за головной боли сижу у себя наверху, то умышленно избегаю встреч, чтобы дать ей почувствовать свой гнев и обиду. А мне это нелегко, — глаза мои жаждут ее, как света. Я уже как-то говорил, что Анелька при всей стойкости характера несколько робка. Она попросту страдает, когда на нее сердятся, боится того, кто гневается, старается его умиловить. Она тогда бывает тиха и ласкова, смотрит в глаза, как ребенок, который боится наказания. Меня это всегда глубоко трогало и вместе с тем радовало, так как я тепил себя надеждой, что, если я открою ей объятия, она бросится ко мне, положит голову мне на грудь — хотя бы только для того, чтобы смягчить мой гнев. Никак не могу отказаться от этих иллюзий. Хоть и знаю, что им суждено рассеяться, в сердце моем и сейчас еще таится надежда, что, когда мы в конце концов помиримся, Анелька пойдет на уступки и станет мне ближе. С другой стороны, в нашем взаимном недовольстве я усматриваю как бы невольное признание Анельки, что я имею право ее любить. Если она признает законным мой гнев, порожденный любовью, то должна признать и эту любовь. Все это — права эфемерные, как сон, не имеющие плоти и крови, но я спасаюсь ими от полной апатии, я ими живу.

2 августа

Опять письмо от Клары. Она, видно, кое о чем догадывается: в словах ее столько нежного сочувствия, точно она понимает, до какой степени мне тяжело. Не знаю и не стремлюсь узнать, любит ли она меня, как сестра, или по-иному, но чувствую, что любит крепко. Я ответил на ее письмо так сердечно, как только способен человек, когда он несчастен, писать единственному сочувствующему ему другу. Клара собирается в Берлин, а к началу зимы — в Варшаву. Она уговаривает меня хоть на несколько дней приехать в Берлин. В Берлин я не поеду, не могу отрешиться от вечной моей заботы. Но буду рад увидиться с Klarой в Варшаве.

С Анелькой мы разговариваем только о самых обычных и повседневных вещах, чтобы наши старушки не заметили разговоров между нами. Когда же остаемся на минуту одни, молчим

оба. Я несколько раз видел, что ей хочется мне что-то сказать, но мешает робость. Я же мог бы сказать ей только одно слово — «люблю», но оно так слабо выражает то, что я чувствую, сказать его — значит почти ничего не сказать, ибо к моей любви теперь примешалась горечь. Меня неотвязно мучит мысль, что бог дал этой женщине холодное сердце, неспособное к большим чувствам, и в этом — секрет ее непреклонности. Сейчас я уже могу думать об этом спокойнее и снова прихожу к убеждению, что Анелька, пожалуй, и питает ко мне нежное чувство, в котором есть благодарность, сострадание, трогательные воспоминания, но чувство это не имеет действительной силы, оно не заставит ее ни на что решиться, даже признать его существование. Она свою любовь осуждает, считает ее грешной, стыдится ее, скрывает, и любовь эта по сравнению с моей — все равно что горчичное зерно по сравнению с окружающими нас здесь Альпами. От Анельки можно ожидать, что она всеми силами постарается не давать воли своему чувству, сделает все, чтобы задушить его в себе. Я ни на что уже не надеюсь, знаю, что мне нечего от нее ждать, — и так мне трудно жить с этим сознанием!

4 августа

Некоторое время я в глубине души надеялся, что Анелька, возмущенная поступками мужа, в один прекрасный день придет ко мне и скажет: «Раз ты за меня заплатил, бери меня». Очередной самообман! Быть может, так поступили бы многие экзальтированные женщины, воспитанные на французских романах. Так, несомненно, поступила бы каждая, тайно жаждущая броситься в объятия любимого и ожидающая только повода к этому. Но Анелька — нет, она этого не сделает. И такая мысль могла прийти мне в голову только потому, что и я начитался книг о всяких псевдотрагедиях, якобы переживаемых женщинами, которые на самом деле больше всего жаждут пустить по ветру свою добродетель. Анельку могло толкнуть в мои объятия только сердце, а не воображаемая драма, не фразы и ложная экзальтация. Так что этого опасаться нечего.

Великое это несчастье — полюбить искренне и глубоко чужую жену, хотя бы ее муж был самый дюжинный или никчемный человек. Но верх несчастья — полюбить женщину добродетельную. В моей любви к Анельке есть нечто такое, о чем я никогда не слышал и не читал: у нее нет выхода, нет и не может быть развязки. Развязка — бывает ли это катастрофа или исполнение желаний — всегда приносит с собой что-то определенное, а тут только мучительный заколдованный круг. Если Анелька останется верна себе, а я не смогу ее разлюбить, то впереди только муки и больше ничего. А я с отчаянием убеждаюсь, что и она не изменится и я не разлюблю. Если у нее и в самом деле холодное сердце, ей это ничего не будет стоить. Я же душой был бы рад сбро-

сильно с себя ярмо, да не могу. Я часто твержу себе, что это необходимо, борюсь с собой, напрягая все силы, как утопающий ради своего спасения. Иногда начинает казаться, что я уже крепко взял себя в руки, но стоит мне увидеть ее за окном — и меня охватывает страшное волнение, и вся бездонная глубина моей любви внезапно открывается мне, как грозовой ночью при блеске молнии раскрывается нутро туч.

Боже, какое мучение иметь дело с добродетелью холодной и неумолимой, как буква закона!

Но если бы даже у Анельки совсем не было сердца, я все равно любил бы ее так, как любишь своего единственного ребенка, хотя бы он был калекой или уродом. В такой любви только больше жалости и душевной боли.

5 августа

Каким плохим и неверным мерилom бывает наш разум, когда приходится мерить им нечто великое, гениальное или грозное! Этот разум, который хорошо служит нам в обычных условиях, становится в таких случаях просто старым шутком вроде шекспировского Полония. И точно так же, мне кажется, обычная мещанская этика не может быть мерилom для великих страстей. Видеть в таком исключительном, таком огромном чувстве, как мое, только нарушение каких-то правил, и ничего больше, не понимать, что это — стихия, часть той силы, которая превышает всяких ничтожных предписаний, силы божественной, творящей, неизмеримой, на которой держится мир, — это своего рода слепота и убожество... Анелька же, увы, только так и способна смотреть на мою любовь к ней. Вероятно, она воображает, что я, во всяком случае, должен ее за это уважать, я же (видит бог, не потому, что дело идет обо мне) часто вынужден бороться с чувством презрения к ней и говорю ей мысленно: «Да меряй же ты другой мерой, ведь эта недостойна тебя». Я во сто раз больше уважал и ценил бы ее, будь она способна другими глазами смотреть если не на наши с ней отношения, то на любовь вообще.

6 августа

Гаштейн действительно дарит людям здоровье! Сегодня я обратил внимание на то, что Анелька загорела на здешнем горном воздухе и выглядит очень хорошо. А между тем и у нее немало забот и огорчений. Ее угнетают размолвки с мужем, гордость ее страдает оттого, что он занял у меня деньги, да и моя любовь вносит в ее душу разлад и смущает ее покой. Но, несмотря на все это, ее нежное лицо дышит здоровьем, румянец стал свежее и ярче. Помню, как она в начале лета прямо-таки таяла на глазах и у меня волосы вставали дыбом при мысли, что ее здоровье, а может быть, и жизнь в опасности. Сейчас этого по край-

ней мере бояться нечего. Если бы я знал, что она будет еще безжалостнее ко мне, еще меньше считаться со мной и моим чувством к ней, но зато будет здорова, я сказал бы: пусть не падит меня, пусть пренебрегает мною, лишь бы была здорова! Истинная любовь — не в одной только жажде счастья, но и в заботе о любимом человеке, в нежности и крепкой привязанности.

Вчера Анелька надела не то одно из своих девичьих платьев, не то новое, но чем-то очень их напоминающее. Я это сразу заметил — и все прошлое словно воскресло у меня перед глазами. Что со мной творилось, один бог знает!

7 августа

Тетя давно перестала сердиться на Анельку. Она так ее любит, что, умри я, она не все потеряла бы в жизни, если бы с ней осталась Анелька. Сегодня моя славная старушка сокрушалась о том, что Анелька скучает, постоянно сидит дома и ничего в Гаштейне так и не повидала, кроме дороги из Вильдбада в Гофгаштейн.

— Если бы мои ноги меня слушались, — говорила она Анельке, — я бы повсюду с тобой ходила. Не понимаю, почему твой муж не удосужился показать тебе хотя бы ближние окрестности. Ведь сам он носился с утра до вечера.

Анелька стала ее уверять, что дома ей хорошо и нет надобности много ходить. Тут я вмешался в разговор и сказал безразличным тоном:

— Мне решительно нечего делать и гуляю я много, так что мог бы сопровождать Анельку и показать ей все, что есть тут интересного хотя бы поблизости.

И, помолчав, прибавил еще равнодушнее:

— Не вижу в этом ничего предосудительного. На курортах даже малознакомые люди ходят вместе на прогулки. А мы ведь родственники.

Анелька ничего не ответила, но тетя и пани Целина объявили, что я совершенно прав.

Завтра мы с Анелькой идем вместе на Шрекбрюке.

8 августа

Договор между нами заключен, и отныне для нас обоих начнется новая жизнь. Она будет иной, чем я рисовал себе, придется вместить ее в эти новые рамки. Все будет теперь ясно и определено. Ничего не произойдет, ни на что больше надеяться я не могу, но я хотя бы не буду чувствовать себя бездомным странником на земле.

Вчера мы в конце дня побывали на Шрекбрюке.

Тетя и пани Целина отправились с нами, но сразу за водопадом уселись на первой попавшейся скамье, а мы с Анелькой пошли дальше. Не только я, но, кажется, и она понимала, что настало время поговорить о самом главном. Я сперва намеревался показать Анельке здепшие места и сообщить их названия, но назвал только Шарек, а там умолк: говорить о посторонних вещах, скрывая то, что у нас на душе, казалось мне слишком нелепым и не соответствующим нашему настроению. Можно было говорить только о нас самих или молчать. И мы в молчании шли довольно долго, так что я успел до некоторой степени овладеть собой, преодолеть то нервное беспокойство, какое охватывает нас перед важными минутами в жизни. Я старался настолько сохранить хладнокровие, чтобы заговорить о моей любви обдуманно, спокойно и непринужденно, как о чем-то уже известном и признанном. Я знал по опыту, что во время встреч с женщинами можно создать такое настроение, какое хочешь. Ничто так не действует на них, как тон беседы, и если мужчина, объясняясь в любви, делает это в волнении и страхе, словно за его признанием должно последовать светопреставление, и убежден, что делает нечто неслыханное, то этот страх и ощущение необычайности передаются женщине. Когда же мужчина держит себя по-другому, то и все происходит совершенно иначе: признание теряет свою значительность и торжественность, но зато проходит гладко и встречает меньше сопротивления.

Мое объяснение в любви произошло уже раньше, и сейчас мне важно было только добиться того, чтобы Анелька не запротестовала при первом же моем слове. В конце концов, если так будет всегда, то никакой разговор между нами не состоится, а надо же нам как-то наладить наши будущие отношения. Помня это, я начал как можно спокойнее:

— Ты, может быть, даже не отдаешь себе отчета, Анелька, как больно ты мне сделала своим решением уехать. Я отлично понимаю, что все твои доводы — только ширма, а на самом деле ты хотела уехать из-за меня. И не подумала только об одном: что будет со мной без тебя? Это в счет не шло. А знаешь ли, что твой отъезд задел бы меня не так больно, как сознание, что ты ничуть не думаешь обо мне. Ты, пожалуй, скажешь, что хотела это сделать для моего же блага, чтобы исцелить меня... Ах, не трудись, не лечи ты меня, пожалуйста, такими средствами, потому что это лекарство может принести мне больше вреда, чем ты думаешь.

Щеки у Анельки вспыхнули. Видимо, мои слова сильно ее взволновали. Неизвестно, что она ответила бы на них, если бы в эту минуту один случай не прервал ход ее мыслей. Из высокой травы у обочины дороги поднялся вдруг один из тех кретинов, которыми кишат окрестности Гаштейна, человек с огромной голо-

вой, с зобом и бессмысленным выражением глаз, и стал знаками просить милостыню. Он появился так неожиданно, что Анелька вскрикнула от испуга. Пока она опомнилась и достала деньги (у меня не было при себе мелочи), прошло несколько минут, за это время впечатление от моих слов отчасти рассеялось, и когда мы наконец пошли дальше, она, помолчав немного, ответила мне грустно, но ласково:

— Ты часто бываешь ко мне несправедлив, а сейчас в особенности. Ты думаешь, что мне легко, что я какая-то бесчувственная. Но мне ничуть не легче, чем тебе...

Голос ее оборвался. У меня кровь молотом застучала в висках. Казалось, еще одно усилие — и я вырву у нее признание!

— Ради всего святого, объясни, что ты хотела сказать! — воскликнул я.

— Я хочу сказать вот что: пусть я буду несчастна, но дай мне хотя бы остаться честной женщиной. Родной мой, умоляю тебя, сжался надо мной! Ты не знаешь, как я несчастна! Я всем готова для тебя пожертвовать, только не честью. Не требуй же этого от меня. Этого я не могу, этого нельзя! Не отнимай у утраченного единственную доску, за которую он держится, мой дорогой, мой любимый!

Сложив руки, она смотрела на меня вся дрожа, умоляющими, полными слез глазами. Не знаю — быть может, если бы в эту минуту я обнял ее, она была бы не в силах мне противиться, хотя потом умерла бы со стыда и горя...

Но я повел себя, как человек, которому любимая дороже всего на свете, — я забыл о себе и видел только ее. В эту минуту я бросил ей под ноги свою страсть, все эгоистические желания и чувства. Какая это была малость по сравнению с болью за нее! Слезы любимой, если они не лицемерны, а льются от настоящей душевной боли, — лучшая ей защита. Когда женщина *так* плачет, она непобедима.

Я взял обе руки Анельки в свои и, целуя их с восторгом и благоговением, сказал:

— Все будет так, как ты хочешь. Клянусь тебе в этом моей любовью.

Некоторое время мы оба не могли выговорить ни слова. Признаюсь, я казался себе в эти минуты лучше и благороднее, чем до сих пор. Я походил на человека, который был тяжело болен, перенес кризис и теперь еще очень слаб, но радуется возвращению к жизни. Через минуту-другую я заговорил с Анелькой спокойно и мягко, — не только как влюбленный, но и как лучший ее друг, который прежде всего думает о счастье дорогого ему человека.

— Боишься трудных дорог? — сказал я. — Тогда я больше не буду пытаться свести тебя с той, которую ты выбрала. Ты сделала меня другим человеком, да и все те страдания, через которые я прошел, тоже переродили меня. Благодаря тебе я понял, что

страсть — одно, любовь — другое. Не обещаю разлюбить тебя, это не в моих силах, и, обещая это, я солгал бы и тебе и себе. Ты — моя жизнь. Говорю это не в увлечении, а как человек, умеющий разбираться в себе и отличать правду от самообмана. Но отныне я буду любить тебя так, как любят умерших, — душу твою буду любить. Согласна ты на это, моя дорогая? Это любовь скорбная, но безгрешная, как любовь ангелов. Ее ты можешь принять и отвечать мне такой же. Я клянусь любить тебя только так, и клятва эта столь же священна, как та, что даешь перед алтарем. Я никогда не женюсь на другой женщине, буду жить только для тебя, и душа моя будет принадлежать тебе. И ты тоже люби меня, как умершего. Ни о чем больше я не молю, а в этом ты не откажи мне, никакого греха тут нет. Если сомневаешься, спроси на исповеди у своего духовника. Ведь ты читала Данте? Вспомни, он был женат, но любил Беатриче именно той любовью, о какой я молю тебя. Он открыто признавался в этой любви, — однако церковь его стихи считает чуть ли не священными. Если есть в душе твоей такое чувство, протяни мне руку, и пусть отныне между нами будет вечный мир и согласие.

Анелька после минутного молчания протянула мне руку.

— Такую дружбу я всегда питала к тебе, — промолвила она. — И от всего сердца обещаю ее тебе.

Честно говоря, меня кольнуло слово «дружба». Мне хотелось большего, мне казалось, что этого слишком мало в *такую* минуту. Но я ничего не сказал. Слово «любовь» ее еще пугает, — подумал я. — Ей нужно к нему привыкнуть. Если оба мы имеем в виду одно и то же чувство, то стоит ли из-за названия нарушать согласие между нами и омрачать то счастье, которое мы наконец извлекли из-под целых залежей горечи, недоразумений, огорчений и терзаний? Мы оба уже так измучены и так нуждаемся в отдыхе, что для него можно кое-чем и поступиться.

В конце концов все пережитое рассеялось как тень в свете сознания, что любимая — все-таки моя, верная моя духовная жена. Чего я бы не дал, чтобы на прямой вопрос: «Ты моя?» — услышать от нее: «Твоя!» Я спрашивал бы это сто раз в день и не мог бы вдоволь насладиться ее ответом, — но в эту минуту боялся спугнуть счастье. Как же мне, человеку способному все понять, было не понять и того, что есть слова, которые женщине, а особенно такой, как Анелька, трудно вымолвить, хотя они и выражают то, что она чувствует и что уже известно другому. Разве все, что говорила Анелька, не было признанием в любви, разве она не согласилась на союз наших душ? Чего же еще я мог желать?

Дойдя до Шрекбрюке, мы повернули обратно. По дороге домой оба мы словно осваивались с новым положением, подобно тому как люди осматриваются в новом доме и пробуют к нему привыкнуть. Это требовало некоторых усилий и мешало чувствовать себя непринужденно. Но меня радовало даже это: так, наверное,

бывает с новобрачными в первые часы после свадьбы, когда они уже связаны навеки, но еще не привыкли друг к другу. Я много говорил Анельке о нас обоих. Объяснял ей, как чист и свят такой союз, как наш. Старался внушить ей уверенность и спокойствие. Она слушала меня, то и дело обращая ко мне свои красивые глаза, и лицо у нее было асное, умиротворенное. А вокруг царил такая же блаженная тишина, как в наших сердцах. Солнце уже зашло, Альпы, как всегда в предвечерний час, сияли пурпурным светом, и отблески его играли на лице Анельки.

Я взял ее под руку, и мы пошли рядом.

Вдруг я заметил, что она замедлила шаг, словно чего-то боясь, и притом сильно побледнела. Это длилось только минуту, но было очень заметно. Я и сам испугался и стал допытываться, что с ней.

Сначала она ничего не хотела говорить, но, когда я стал настаивать, призналась, что ей вспомнился тот несчастный кретин, которого мы встретили сегодня, и она почему-то была уверена, что он опять неожиданно вынырнет откуда-нибудь.

— Сама не знаю, почему он так испугал меня. Мне просто стыдно за мою глупую нервность. Не могу его забыть и страшно боюсь опять его увидеть.

Я успокаивал ее, говоря, что, когда я с ней, ей ничего не грозит. Она некоторое время еще тревожно поглядывала вокруг, но скоро наш дальнейший разговор рассеял ее невольную тревогу. Уже смеркалось, когда мы дошли до водопада, но вечер был удивительно теплый. На площади перед отелем Штраубингера множество людей слушало игру бродячих арфисток. Почему-то в этот вечер здешнее горное ущелье напомнило мне Италию. Я вспомнил, как в Риме, бродя по вечерам на Пинчио, думал о том, какое бы это было счастье, если бы со мной была Анелька. Сейчас я ощущал ее руку в своей, а еще сильнее — ее душу, слитую с моей.

И так, в полном согласии, утешенные и счастливые, мы пошли домой.

10 августа

Сегодня я весь день думал о том, что сказала мне Анелька на Шрекбрюке. Особенно потрясло меня вырвавшееся у нее восклицание: «Ты не знаешь, как я несчастна!» Сколько тяжкого горя было в этой жалобе! Было и невольное признание, что она не любит мужа, не может любить его, и сердце ее, вопреки всем усилиям воли, принадлежит мне. Значит, и она страдала так же, как я! Я говорю «страдала», потому что сейчас это уже не так. Сегодня она может сказать себе: «Я буду верна мужу, останусь честной, а остальное — в божьей воле».

11 августа

Мне приходит в голову, что я не имел права требовать и ожидать от нее, чтобы она всем для меня пожертвовала. Неверно это, что любви приносят все в жертву. Вот, например, если бы у меня

вышла ссора с Кромичким и Анелька, во имя нашей любви, приказала бы мне на коленях просить у него прощения, я не сделал бы этого. Предположение нелепое и фантастическое, однако при одной мысли об этом кровь бросается мне в голову. Да, Анелька, ты права: есть вещи, которых нельзя и не должно делать даже ради любви.

12 августа

Сегодня утром мы побывали на вершине Виндишгрец. Ходьбы туда три четверти часа, поэтому я достал для Анельки верховую лошадь. Всю дорогу я вел лошадь под уздцы и, опираясь одной рукой на ее шею, касался при этом платья Анельки, а садясь в седло, она на миг оперлась на мое плечо — и во мне тотчас ожил прежний человек. Чтобы его в себе убить, мне надо было бы уничтожить свою телесную оболочку и стать духом. Я обязался держать в узде свои страсти — и держу. Но я не обещал, что их у меня не будет, как не мог бы обещать, что перестану дышать. Если бы прикосновение ее руки волновало меня не более, чем прикосновение куска дерева, это означало бы, что я ее разлюбил, и тогда все обязательства были бы излишни. Я не лгал, говоря Анельке, что под ее влиянием переродился, — я просто не сумел объяснить того, что со мной произошло. В действительности я только преодолел себя. Отрекся от полного счастья, чтобы обладать хотя бы половинчатым: лучше было хоть так сохранить Анельку, чем совсем потерять ее. Думаю, что каждый, кто любил, легко поймет меня. Поэты иногда сравнивают страсти со свирепыми псами. Так вот я этих псов в себе посадил на цепь и буду их морить голодом, но я не властен помешать им рваться с привязи и выть.

Я вполне отдаю себе отчет, что я обещал, — и сдержу обещание, так как другого выхода нет. Непреклонность Анельки исключает какое-либо проявление с моей стороны доброй или злой воли. Достаточной уздой будет для меня также страх утратить и то, что мне обещано. И я теперь даже преувеличенно осторожен в своем стремлении не спугнуть той птицы, которую я называю «духовной любовью», а Анелька — «дружбой». Я запомнил это ее слово, ибо оно подействовало на меня как легкий укус, который сначала нечувствителен, а потом вызывает зуд и боль. В первый миг слово «дружба» показалось мне попросту слишком невыразительным, а теперь я уже вижу в нем чрезмерную осторожность и суровое предостережение. Странная это черта у женщин — боязнь называть вещи своими именами! Я ведь ясно сказал Анельке, чего я прошу у нее, и она также ясно меня поняла, а все-таки назвала наш союз «дружбой», словно желая заслониться этим словом от меня, от себя самой и от бога.

Правда, такие оторванные от земли чувства можно называть как угодно... В этом сознании много горечи и печали. Такая ос-

торожность, свойственная очень чистым женщинам, несомненно объясняется их крайней стыдливостью, — но она же мешает им быть великодушными. Я мог бы сказать Анельке: «Я ради тебя уже отрекся от половины своего «я», а ты торгуешься даже из-за слова. Куда это годится?» В душе я говорю ей это с горькой обидой. Так трудно представить себе любовь без великодушия, без самоотверженности.

Сегодня на Виндишгреце мы с Анелькой беседовали, как близкие и любящие друг друга люди, но ведь так же могли беседовать между собой и любящие родственники или друзья. Будь это до нашего уговора на Шрекбрюке, я пытался бы целовать ее руки, ноги, обнять ее хоть на мгновение, — сегодня же я шел рядом с ней спокойно, глядя ей в глаза, как человек, которого пугают даже ее нахмуренные брови. Более того — я почти не заговаривал об этой нашей «духовной любви». Впрочем, молчал я отчасти умышленно — чтобы заслужить доверие и милость Анельки. Своим молчанием я как бы говорил ей: «Видишь, я тебя не обману, я скорее готов умалить свои права друга, чем нарушить наш уговор».

Однако немного обидно, когда твою жертву принимают с такой же готовностью, с какой ты ее приносишь. Тут уж невольно в душе заклинаешь любимую: «Хоть бы ты на этот раз не осталась у меня в долгу».

Молил об этом и я — но тщетно. Что из этого следует? Некоторое разочарование для меня. Я думал, что, заключив договор с Анелькой, я в его пределах буду свободен как птица, с утра до вечера смогу повторять слово «люблю» и буду с утра до вечера его слышать. Я надеялся, что мне возместятся долгие мучительные страдания, что я буду королем в новом моем королевстве. А между тем до сих пор все складывается как-то так, что перспективы сужаются, а в душе возникают сомнения, рождается вопрос: чего же ты добился?

Я стараюсь гнать от себя такие мысли. Нет, кое-чего я все-таки добился. Я вижу ее счастливое, сияющее лицо, встречаю ее улыбку. Ее ясные глаза теперь смело смотрят в мои. И если мне пока тесно и неуютно в новом доме, то это потому, что я еще не освоился в нем как следует.

В конце концов я и прежде был бездомным, и если я еще не вижу ясно, что выиграл, зато хорошо знаю, что терять мне было нечего. И это я буду помнить всегда.

14 августа

Тетушка уже поговаривает о возвращении в Плошов. Она все больше скучает по дому. Я спросил как-то у Анельки, хочется ли и ей в Плошов. Она ответила утвердительно — так что теперь и мне загорелось ехать туда. В былые времена у меня всегда с

переменой места связывались какие-то смутные надежды. Теперь я уже ни на что не надеюсь. Но с Плошовым связано столько блаженных воспоминаний, что я рад буду снова его увидеть.

16 августа

Дни проходят все однообразнее — я размышляю и отдыхаю. Думы мои часто бывают невеселы, иногда не без горечи, но я так устал душевно, что наслаждаюсь отдыхом. Он помог мне осознать, насколько мне сейчас лучше, чем было. Я много времени провожу с Анелькой, читаем, беседуем о прочитанном. Что бы я ни говорил, все это тем или иным образом связано с нашей любовью, раскрывает ее, наполняет ее содержанием. Но странно — я ловлю себя на том, что почти никогда не говорю о ней прямо, как будто мне передалась чисто женская боязнь называть вещи по имени. Я и сам не понимаю, почему это, но так оно есть. Это меня удручает, порой даже сильно удручает, но и радует, потому что я вижу, что Анелька этим довольна и даже стала ко мне нежнее. Желая создать между нами как можно большую духовную близость, я стал говорить ей о себе. Мне думалось, что после нашего договора я ничего не должен от нее таить. Умалчивал я только о таких вещах, которые могли оскорбить чистоту ее мыслей и нравственную щепетильность. Я старался раскрыть ей свою душевную драму, порожденную скепсисом и отсутствием всякой опоры в жизни. Я сказал ей напрямик, что, кроме ее души, у меня нет ничего на свете, описал, что со мной творилось, когда она вышла замуж, какие потрясения и перемены произошли в моем мозгу и сердце после возвращения моего в Плошов. Говорил я обо всем этом тем охотнее, что, поверяя ей свои переживания, в сущности, беспрестанно признавался ей в любви, и все, что я говорил, означало: «Я тебя любил, люблю и всегда буду любить больше всего на свете». Анелька, обманутая формой моих признаний, слушала так, словно это не о ней шла речь, — с волнением и сочувствием, а быть может, и с бессознательным удовольствием. Я видел, как глаза ее не раз наполнялись слезами, как бурно вздымалась грудь, чувствовал, что вся душа ее стремится ко мне, и словно слышал немой призыв: «Приди, потому что и ты заслужил немного счастья». А я, понимая это, отвечал ей глазами: «Я никогда больше ничего не буду домогаться и полагаюсь на твою великодушность».

Я поверял ей все еще и для того, чтобы такая откровенность вошла и у нее в привычку; я хотел внушить Анельке, что при наших отношениях так и должно быть, и заставить ее платить мне тем же, рассказывать все, что она думает и чувствует. Но это мне не удавалось. Я пробовал расспрашивать, но отвечала она так неохотно, видно было, что ей это очень трудно... И я скоро перестал задавать вопросы. Если бы Анелька захотела быть со мной вполне откровенной, ей пришлось бы говорить о том, что она чувствует ко мне и как относится к мужу. Именно этого мне и хотелось, но

этого не позволяла ей стыдливость и честность по отношению к Кромницкому.

Я все это прекрасно понимаю, но не могу отделаться от весьма неприятного чувства; мой пессимизм нашептывает мне, что я один, так сказать, несу издержки, отдаю Анельке все, а взамен почти ничего не получаю, верю, что ее душа принадлежит мне, а между тем душа эта для меня закрыта,— так что же я, собственно, обрел?

Я понимаю, что все это верно,— и рассчитываю уже только на будущее.

17 августа

Мне часто вспоминаются теперь слова Мицкевича: «Увы, я был спасен только наполовину». И если бы даже в моем «полуспасении» не было столько отрицательных сторон, оно все равно не принесло бы мне полного душевного покоя. Он был бы возможен только в том случае, если бы я ничего больше не желал, то есть если бы разлюбил. Все чаще и чаще бывают у меня приступы уныния, когда я говорю себе, что я только из одного заколдованного круга попал в другой. Правда, мне полегчало, я не испытываю больше прежних невыносимых мучений. Но облегчить боль еще не значит исцелиться от нее. Когда умирающий от жажды араб в пустыне берет в рот вместо воды камушки, он этим жажды не утоляет, только пытается обмануть ее. Спрашивается, не обманываю ли и я вот так себя самого? Опять во мне проснулось два человека: зритель и актер. Первый начинает критиковать второго, а частенько и насмехаться над ним. Плошовский-скептик, далеко не твердо верующий в существование души, любит душу женщины, только ее душу! Этот Плошовский мне уже смешон. Что такое наш союз с Анелькой? Порой я вижу в нем только искусственный плод моей болезненной экзальтации. Вот теперь я уж несомненно похож на птицу, которая волочит по земле подбитое крыло. Я обрек на паралич половину своего «я», живу вполовину и приказываю себе любить только половинчатой любовью. Тщетные усилия! Отделить любовь от жажды обладания так же невозможно, как отделить сознание от бытия. Я способен мыслить и любить только так, как свойственно человеку. Даже свои религиозные чувства, самые идеальные из всех, человек выражает словами, коленопреклонением, целует священные предметы. А я хотел, чтобы моя любовь к женщине была бесплотна, утратила всякую связь с землей и существовала в жизни как явление иного мира.

Что значит любовь? Желать и стремиться. А что я хотел отнять у своей любви? Желания и стремления. Это все равно, что прийти к Анельке и сказать ей: «Так как я люблю тебя больше всего на свете, я даю обет не любить тебя».

В этом кроется какая-то чудовищная ошибка. Я был похож на человека, заблудившегося в пустыне, и не удивительно, что видел мираж.

18 августа

Вчера мне не давали уснуть всякие гнетущие мысли. И, чтобы не бередить себя, я перестал углубляться в мрак пессимизма и стал думать об Анельке, вызывать в памяти ее образ. Это всегда приносит мне облегчение. Взволнованное воображение 'рисовало' мне ее так живо, что хотелось заговорить с ней. Я вспомнил тот бал, на котором впервые увидел ее взрослой девушкой. Вспомнил все так ясно, словно это было вчера: белое платье, украшенное фиалками, обнаженные руки, несколько миниатюрное, свежее, как утро, личико, которому придавали столько своеобразия смелый рисунок бровей, удивительно длинные ресницы и густой пушок на щеках... Я так и слышу ее голос: «Не узнаешь меня, Леон?» В те дни я записал в своем дневнике, что лицо ее — музыка, запечатленная в человеческих чертах. В ней было одновременно очарование юной девушки и соблазнительной женщины. Никогда ни к какой женщине не влекло меня так сильно, как к Анельке, и только разлука и семейная катастрофа, а потом — такая Цирцея, как Лаура, виноваты в том, что я позволил отнять у себя мою избранницу, почти невесту.

Я, как никто другой, знаю, что слова: «Я во власти твоих чар», — могут быть не поэтической метафорой, а жестокой действительностью. Да, Анелька меня околдовала. Я не только влюблен, не только хочу обладать ею, — она мне бесконечно дорога. Она совершенно в моем вкусе, она удовлетворяет всем моим представлениям о женской красоте и прелести, она притягивает меня с необъяснимой силой, как магнит железо. Иначе и быть не может: ведь это та же прежняя Анелька, она ничуть не переменилась. То же сочетание чистой девушки и пленительной женщины, то же выражение глаз, те же ресницы, брови, губы, руки, стройная фигура. Теперь я нахожу в ней еще новое очарование: очарование потерянного рая.

Но какая глубокая пропасть между нашими прежними отношениями и теперешними!

Когда я вспоминаю ту прежнюю Анельку, как спасения ожидавшую от меня слов «будь моей», мне просто не верится, что и вправду было такое время. Я думаю о нем с таким чувством, с каким, вероятно, вспоминает прошлое разорившийся вельможа, который в годы блеска сорил деньгами, удивляя всех, а теперь живет милостыней и подачками.

Сегодня ночью, когда я думал об Анельке и мысленным взором вглядывался в нее, мне вдруг пришло в голову, что с нее никогда не писали портрета, и вдруг ужасно захотелось иметь ее портрет. Я жадно ухватился за эту мысль и так ей обрадовался,

что мне окончательно расхотелось спать. «Вот тогда ты будешь со мной всегда,— говорил я Анельке,— я смогу целовать твои руки, глаза, губы, и ты не оттолкнешь меня». Я тут же стал сообщать, как это устроить. Не мог ведь я пойти к Анельке и сказать ей: «Закажи свой портрет, а я уплачу художнику». Но от тетушки я всегда добивался, чего хотел, и она по моему наущению, конечно, выразит желание иметь портрет Анельки. В Плошове есть целая галерея фамильных портретов, гордость тетушки. Меня они приводят в отчаяние, ибо некоторые из них ужасны, но тетушка настойчиво желает, чтобы в галерее были все наши более или менее близкие родственники. К Анеле она очень привязана, и я был уверен, что даже ее обрадую, подсказав ей идею заказать портрет Анели. Пятиминутного разговора будет достаточно, чтобы уладить дело. Но кому же заказать портрет? Размышляя об этом, я со вздохом сказал себе, что никак не удастся уговорить моих дам ехать для этого в Париж, где я мог бы выбирать между точностью и объективностью Боннэ, смелостью и размахом Шарля Дюрана и мягкой лиричностью Шаплена. Закрыв глаза, я представлял себе, как справился бы со своей задачей каждый из этих художников, и любовался воображаемыми портретами Анельки. Но это была несбыточная затея. Я заранее знал: тетя пожелает, чтобы Анельку писал польский художник. Помня, что на выставках в Варшаве и Кракове я видел портреты ничуть не хуже полотен знаменитых заграничных мастеров, я не стал бы возражать против такого желания тетушки, но меня пугала проволочка. Есть в моей натуре и эта женская черта: если надумал что-нибудь сегодня, хочу, чтобы желание мое исполнилось уже завтра. И так как мы находились в Германии, близ Мюнхена и Вены, я стал вспоминать известных мне немецких художников. Выбрал наконец два имени: Ленбаха и Ангели. Мне доводилось видеть превосходные портреты кисти Ленбаха, но всё мужские. Кроме того, меня раздражала самоуверенность и поверхностность этого мастера — их я прощаю только французам, так как страстно влюблен во французскую живопись. Не особенно нравились мне и женские портреты Ангели, но надо отдать ему справедливость: в его манере есть тонкое изящество, а этого как раз и требовало лицо Анельки. Притом ехать к Ленбаху было бы дальше, к Ангели же нам по пути — довод, который стыдно приводить, если не хочешь прослыть филистером. Но на этот раз все дело было во времени. «Мертвые мчатся быстро», — сказал поэт. А влюбленные — еще быстрее. Да и все равно я выбрал бы Ангели. Итак, я решил, что именно он будет писать портрет Анельки. Вообще я не люблю портретов дам в балльных нарядах, но хотел непременно, чтобы Анелька позировала в белом платье с фиалками. Тогда я, глядя на ее портрет, смогу воображать, что она — прежняя моя Анелька. Ничто на этом портрете не должно мне напоминать, что она теперь жена Кромццкого. К тому же это белое платье мне дорого как воспоминание.

Я не мог дожидаться утра — так мне не терпелось поговорить с тетей. План свой я несколько изменил, рассудив, что если предоставлю ей заказать портрет, то она непременно захочет обратиться к польскому художнику. Поэтому я решил, что сам закажу портрет Анельки — в подарок тете к ее именинам, которые будут в конце октября. Таким образом Анелька не сможет отказаться позировать. И, разумеется, я закажу себе копию с этого портрета.

Я почти не спал, но то была добрая ночь, ибо все часы ее были заполнены такими размышлениями. Задремал я только около пяти, а в восемь был уже на ногах. Сразу пошел к Штраубингеру и отправил в бюро «Дома художников» телеграмму с запросом, в Вене ли сейчас Ангели. Вернувшись оттуда домой к чаю, застал всех уже за столом и прямо приступил к делу.

— Анелька, — начал я, — должен тебе покаяться, сегодня ночью я вместо того, чтобы спокойно спать, решал твою судьбу. И вот теперь прошу на это твоего согласия.

Анелька испуганно уставилась на меня. Быть может, она подумала, что я сошел с ума или решился на отчаянную откровенность в присутствии тети и пани Целины. Но спокойное и даже равнодушное выражение моего лица рассеяло ее подозрения, и она спросила:

— А что же ты решил?

Вместо ответа я обратился к тетушке:

— Я сначала хотел устроить вам сюрприз, но вижу, что это никак не выйдет. Так что придется рассказать, какой подарок я придумал поднести вам на именины.

И рассказал. Лучшего подарка для тети нельзя было и придумать (мой портрет, и очень хороший, она получила еще года три назад), и она стала горячо меня благодарить. Я заметил, что и Анелька довольна, и мне уже одного этого было достаточно. Тотчас дамы начали с живостью обсуждать, когда и кто будет писать портрет, как Анельке одеться, и так далее. Эти вещи ведь чрезвычайно занимают женщин. А у меня были уже готовы ответы на все их вопросы. Притом я сообразил, что могу воспользоваться случаем получить еще кое-что, кроме портрета.

— Много времени на это не потребуется, — сказал я. — Я уже запросил телеграммой, где сейчас Ангели, и думаю, что портрет не очень задержит наш отъезд в Плошов. Анельке придется позировать раза четыре или пять, не больше, а нам ведь все равно надо будет пробыть в Вене несколько дней из-за Нотнагеля, так что это нас не задержит. Ангели может платье написать позже, без Анели, а лицо за пять сеансов он закончит. Надо только заранее послать ему фотографию Анельки, — ну, хотя бы ту, что тетя Целина привезла с собой, — и прядку ее волос. Волосы я попрошу тебя, Анелька, срезать и отдать мне сейчас же. Таким образом, Ангели до нашего приезда сделает общий набросок, и потом ему останется только закончить портрет.

Может, то, что я говорил, было до некоторой степени и верно, но, требуя от Анельки прядь ее волос, я рассчитывал на то, что ни одна из моих дам незнакома с процессом писания портретов. Прядка нужна была не Ангели, а мне. Ему она пригодилась бы только в том случае, если бы он писал портрет с фотографии, а на это такой художник, как Ангели, ни за что не согласится. Я же, требуя этот локон, делал вид, будто от него зависит участь портрета. Через два часа после завтрака пришел ответ на мою телеграмму: Ангели в Вене и кончает портрет княгини М. Я немедленно написал ему и вложил в конверт фотографию, взятую у пани Целины. Когда письмо было написано, я, увидев в окно гулявшую по саду Анельку, сошел к ней.

— А где же твои волосы? Письмо надо отправить до двух.

Она побежала к себе в комнату и через несколько минут вернулась с прядкой волос. Когда я брал у нее эту прядь, рука у меня немного дрожала, но я смотрел Анельке прямо в глаза, спрашивая взглядом:

«Ты догадалась, что волосы твои я попросил для себя и они будут самым драгоценным из всего, что у меня есть?»

Анелька ничего не сказала, только опустила глаза и покраснела, как девушка, услышавшая первое признание в любви. Значит, догадалась! А я в этот миг чувствовал, что за одно прикосновение ее губ не жаль отдать жизнь. Любовь моя к ней по временам бывает так сильна, что переходит в боль.

Ну вот, теперь я владею физической частицей моей Анельки. Добыл я ее хитростью. Да, да, я, премудрый скептик, постоянно анализирующий и наблюдающий себя со стороны, пускаюсь на хитрости, и чувства и поступки мои достойны гётевского Зибеля.

Но я говорю себе: ну что ж, допустим, я сентиментален и смешон, но не более. А кто знает, не глупее ли, смешнее и ничтожнее во сто крат тот двойник мой, человек не сентиментальный, который все исследует и осмысливает? Так анализировать — это все равно что ощипывать цветок. Только губишь этим красоту жизни, а значит и счастье, то есть единственное, ради чего стоит жить.

122 августа

После того как пани Целина закончила курс лечения, мы еще несколько недель оставались здесь, ожидая, пока спадет жара на равнинах. И дождались отвратительной ненастной погоды! Теперь опять ждем первого ясного дня, чтобы двинуться отсюда в Вену. Но вот уже третий день здесь царит тьма египетская. Всю неделю на вершинах гор скоплялись тучи, теперь они сползли с этих высоких гнезд, где высиживали дождь и снег, и, нагнувшись на Гаштейн, закрыли своим тяжелым лоном все небо над долиной. Мы живем в такой мгле, что даже в полдень трудно отыскать дорогу от Штраубингера до нашей виллы. Дома и деревья, горы и водопады — все скрыто в беловатом сыром тумане,

который стирает все очертания, оседает на предметах да, кажется, и на душах. С двух часов дня приходится зажигать лампы. Дамы кончают укладываться. Мы бы уже давно уехали, несмотря на туман, если бы не то, что дорога в одном месте за Гофгаштейном размыта горными потоками. У пани Целины опять начались мигрени; тетя получила от старого Хвастовского письмо с вестями о сборе урожая и чуть не весь день ходила большими шагами по столовой, вслух препираясь с Хвастовским и ругая его. Анелька сегодня утром очень плохо выглядела. Она призналась нам, что с вечера ей приснился тот кретин, который встретился нам на дороге к Шрекбрюке. Проснувшись, она уже не спала до утра, и всю ночь ее мучил какой-то нервный страх. Странно, что этот несчастный нищий произвел на нее такое сильное впечатление! Я пытался развлечь ее веселой болтовней, и мне это до некоторой степени удалось — вообще со времени нашего договора на Шрекбрюке Анелька стала гораздо спокойнее, веселее и счастливее.

Видя это, я не смею больше роптать на судьбу, хотя мне часто думается, что отношения между нами держатся на отсутствии всякой близости. Заключая уговор, я хорошо знал, чего хочу и какие формы примет наша любовь. А сейчас эти формы как-то расплываются, становятся все более неопределенными и неуловимыми, как будто и они растворились в тумане, окутавшем Гаштейн. Я все время чувствую, что Анелька не признает обещанных мне прав, а настаивать на них не решаюсь. Не решаюсь потому, что всякая борьба утомляет, тем более — борьба с любимым человеком. А я борюсь вот уже полгода и, ровно ничего не добившись, измотался до такой степени, что сейчас предпочитаю какой ни на есть покой прежним бесплодным усилиям.

Однако есть, пожалуй, и другая причина. Если настоящее положение вещей и не таково, как я надеялся, зато оно явно расположило ко мне Анельку. Ей кажется, что я люблю ее теперь любовью более возвышенной, и она за это меня больше ценит (не смею сказать «любит»). Хотя внешне это ни в чем не проявляется, я чувствую, что не ошибся, и это придает мне сил. Я твержу себе: если таким путем можно укрепить ее любовь, терпи, не сходи с этого пути, и авось дождешься, что любовь пересилит в ней волю к сопротивлению.

Все люди, а в особенности женщины, считают, что так называемая платоническая любовь — это какой-то особый вид любви, весьма редкий и необыкновенно возвышенный. Но это попросту путаница понятий. Могут существовать платонические отношения, а платоническая любовь — такая же бессмыслица, как, например, несветящее солнце. Даже любовь к умершему — это тоска не только по душе, но и по земной оболочке любимого. А между живыми такая любовь — это отречение. Когда я говорил Анельке: «Буду любить тебя такой любовью, как любят умерших», — это не было сознательной ложью. Но отречение не исклю-

чает надежды. Несмотря на все пережитые, разочарования, на глубокую уверенность, что мечты не сбудутся, где-то на дне души моей таилась и все еще таится надежда, что нынешние отношения с Анелькой — только этап на пути нашей любви. Я могу сто раз твердить себе: «Это самообман», — но пока не умерли желания, до тех пор не умрет и надежда — они нераздельны. Я вынужден был согласиться на «платонический» союз потому, что лучше такая близость, чем полное отсутствие всякой близости. Но, хотя согласие мое было искренне, я почти помимо воли смотрю на него как на игру, как на дипломатию, которая должна привести к полному, а не половинчатому счастью.

Но вот что меня поражает и угнетает, чего я никак понять не могу: я и тут терплю поражение. Победы мои маячат где-то в тумане будущего, как призраки, как мираж, а в настоящем я, при всем своем знании жизни и человеческой души, при всех своих дипломатических хитростях, пасую перед женщиной, которая несравненно простодушнее меня, менее опытна в житейской тактике, далеко не так дальновидна, не способна рассчитывать каждый свой шаг. Да, слов нет, — я побежден. Каковы теперешние наши отношения? Это, в сущности, отношения любящих родственников, а следовательно — именно то, чего хотела она, а я не хотел. Прежде я плыл по бурному морю, беспрестанно терпел аварии, но по крайней мере сам управлял своей ладьей. Теперь Анелька правит обеими, а я плыву ровнее, медленнее, но чувствую, что плыву туда, куда мне вовсе не хочется. Я понимаю, почему Анелька, как только я заговорил о любви Данте к Беатриче, протянула мне обе руки: она решила вести меня! А может быть, она лучше меня умеет все предвидеть и рассчитывать? Нет, это невероятно, я не знаю человека, менее способного на какие-либо расчеты. Однако не могу отделаться от почти мистического чувства, что Анелька поступает так, словно кто-то рассчитывает за нее.

Да и обстановка вокруг нас создалась какая-то необычная. Странно и то, что я позволяю себя ограничивать, что я сам придумал эту форму близости, так противоречащую моей натуре, моим воззрениям и самым горячим желаниям. Если бы до моей встречи с Анелькой кто-нибудь мне предсказал, что со временем я буду носиться с такими идеями, я счел бы его сумасшедшим и добрый месяц у меня была бы тема для выпучивания такого пророка, да и себя самого. Я — и платоническая любовь! Да меня и теперь еще иногда смех разбирает при этой мысли.

Но я не скрываю от себя, что меня привела к этому горькая необходимость.

23 августа

Завтра едем. Небо проясняется, ветер западный, а это предвещает хорошую погоду. Туман медленно уползает к горам длинными белесыми валами, похожими на громадных Левиафанов.

Мы с Анелькой побывали на Кайзервеге. У меня с утра не выходил из головы вопрос: что было бы, если бы отношения, установившиеся между нами, перестали удовлетворять и Анельку? Я не считаю себя вправе переступить границу и боюсь это сделать. А что, если и она чувствует то же самое? Природная робость и стыдливость и так уже для нее непреодолимая преграда, а если она еще притом считает наш договор обязательным для себя точно так же, как для меня,— то у нас никогда не дойдет до объяснения и мы будем напрасно страдать.

Однако, подумав хорошенько, я понял, как вздорны мои опасения. Анельке даже эти платонические отношения кажутся чересчур «вольными», и она, сознательно или бессознательно, их ограничивает, она даже в этих тесных рамках не позволяет мне того, на что я имею право,— так неужели же она первая, по собственному почину, предоставит мне более широкие права?

Но так уже создан человек, что даже в аду еще на что-то надеется. Несмотря на явную неосновательность моих предположений, я решил на всякий случай сказать Анельке, что наш договор обязателен только для меня,— остальное зависит от ее желаний.

Хотелось сказать ей еще многое другое: что судьба ко мне жестока, что сердце мое жаждет слышать от нее слово «люблю»,— и не раз, а часто, каждый день, что этим только я могу жить и оставаться на высоте. Но в это утро Анелька была так непринужденно весела, так ласкова ко мне, что у меня не хватило духу смутить ее ясное спокойствие. Вчера я не понимал, как эта женщина, такая простодушная, берет надо мной верх, побеждает даже там, где, по всем человеческим понятиям, победителем должен быть я. Сегодня это мне уже понятнее, и у меня возникла очень печальная гипотеза: все дело в том, что я ее люблю сильнее, чем она меня.

Один мой знакомый часто употреблял выражение «я не в счет». И было бы не удивительно, если бы я теперь стал повторять это выражение. Порой так хочется высказать то, что, как раскаленный уголь, жжет мне язык, да боюсь спугнуть ее веселость, улыбку, испортить ей хорошее настроение,— и молчу. Сколько раз так бывало!

То, что я ее больше люблю, чем она меня, сто раз приходило мне в голову, но о наших отношениях я сегодня думаю одно, завтра — другое, теряюсь, сам себе противоречу, все представляется мне каждый день в ином свете. То кажется, что Анелька и меня не так уж любит, да и вообще не способна любить сильно. То я не только думаю, но и чувствую, что у нее самое большое и любящее сердце, какое я встречал в своей жизни. И всегда нахожу доказательства и тому и другому. Я спрашиваю себя: если бы, например, любовь ее ко мне возросла в три, четыре, в десять раз, наступил бы в конце концов день, когда любовь эта победила бы ее сопротивление? Да! Значит, все

дело в том, что сейчас ее чувство ко мне недостаточно сильно? Нет! Если бы это чувство было вправду слабым или его вовсе не было бы, Анелька не страдала бы так, — а ведь я видел, что она почти так же несчастлива, как я сам. На все доводы против нее у меня один ответ: я *видел!*

Сегодня у нее вырвались слова, которые я запомню, ибо в них тоже нашел ответ на мои сомнения. Она не сказала бы этих слов, если бы речь шла о нас и нашей любви. Но я говорил общими фразами, как всегда говорю теперь на эти темы. Я доказывал, что любовь по природе своей — сила действенная, что она направляет волю человека и заставляет его действовать. Выслушав меня, Анелька промолвила:

— Или страдать.

Да, конечно, — страдать. Этими двумя словами она заставила меня замолчать и наполнила сердце глубоким уважением к ней. В такие минуты я и счастлив и вместе несчастен, ибо снова верится, что она любит меня, как я — ее, но хочет оставаться чистой перед богом, людьми и собой. А я этого храма не разрушу.

Сколько я ни разбираюсь в ее душе и чувствах, ничего не могу утверждать наверное. По-прежнему стою на распутье. Ко всем моим «не знаю» в вопросах религиозных, философских и общественных прибавилось еще одно, личное, самое для меня главное, ибо я отлично понимаю, что на этом «не знаю» могу сломать себе шею.

Я сам ковал ту цепь, что связала меня с Анелей, и связала навсегда, — нечего и думать, что она когда-нибудь разорвется, — я люблю Анельку безумно, но еще вопрос, здоровая ли это любовь. Будь я моложе, здоровее духом и телом, будь я более нормальным, не таким вывихнутым человеком, я, может, и разорвал бы эти оковы и, во всяком случае, пытался бы от них освободиться, убедившись, что, грубо говоря, ничего не добьюсь от Анельки и никогда она не раскроет мне объятий. А сейчас я и не пытаюсь бороться, я люблю ее, как только может любить человек с больными нервами, и любовь эта похожа на манию. Так любят старики, которые изо всех сил цепляются за свою последнюю любовь, ибо она становится для них вопросом жизни. Так держится за ветку человек, висящий над пропастью.

Любовь к Анельке — то единственное, что расцвело в моей жизни, и потому так неестественно буйно это цветение. Такое явление вполне нормально и будет повторяться тем чаще, чем больше на свете будет людей подобных мне, то есть заеденных самоанализом скептиков и при том истериков, с пустотой в душе и сильнейшим неврозом в крови. Этакий современный продукт уходящей в прошлое эпохи может и вовсе не знать любви или отождествлять любовь с развратом. Но если все его жизненные силы вдруг сосредоточатся на каком-нибудь чувстве и тут вмешается еще его невроз, это чувство овладеет им целиком и ста-

нет таким упорным, как бывают только болезни. Этого, может быть, еще не поняли психологи и, безусловно, не понимают до сих пор романисты, изучающие душу современного человека.

Вена, 25 августа

Сегодня мы приехали в Вену. В дороге мне довелось слышать разговор между пани Целиной и Анелькой, и так как разговор этот как-то странно взволновал Анельку, я хочу его записать. В вагоне, кроме нас четверых, никого не было, и мы толковали о портрете Анельки, в частности о том, что от белого платья придется отказаться, так как для того, чтобы его сшить, потребовалось бы слишком много времени. Неожиданно пани Целина (она прекрасно помнит всякие даты и вечно напоминает о них другим) сказала, обращаясь к Анельке:

— А ведь сегодня ровно два месяца, как твой муж приехал в Плошов?

— Да, кажется,— отозвалась Анелька и вдруг густо покраснела.

Чтобы скрыть это, она встала и принялась снимать с вагонной сетки дорожную сумку. Когда она снова обернулась к нам, румянец еще не совсем сошел с ее щек и лицо имело страдальческое, угрюмое выражение. Тетя и пани Целина ничего не заметили, так как они в эту минуту заговорили о том, в какой именно день приехал Кромичский. Но я все увидел и понял. Ведь в тот самый день ей пришлось терпеть ласки и поцелуи мужа... При этой мысли мною овладело бешенство, и вместе с тем стыдно стало за этот ее румянец. Да, в любви моей много острых терний, не меньше и больно ранящих омерзительных мелочей. До замечания пани Целины я был почти счастлив, тешась иллюзией, будто мы с Анелькой едем вместе как новобрачные, совершающие свое свадебное путешествие. И вот — в одно мгновение блаженство кончилось. Я злился на Анельку, и это сразу сказалось на моем обращении с ней. Она это почувствовала. И в Вене, когда мы на минуту остались вдвоем в зале ожидания, спросила меня:

— Ты за что-то на меня сердишься?

— Нет, я тебя люблю,— ответил я резким тоном.

Ее лицо снова омрачилось. Быть может, она подумала, что мне надоели наши мирные отношения и я опять стал прежним Леоном. А я был зол вдвойне от сознания, что ни мое раздвоение, ни разум не помогают мне обороняться от всякого неприятного впечатления. Единственным лекарством бывают новые впечатления, которые вытесняют прежние, а философия моя в этих случаях бессильна.

Сразу по приезде я отправился к Ангели, но попал к нему только в шесть часов, и студия была уже заперта. Анелька до завтра будет отдыхать с дороги, а завтра мы пойдем к нему уже вместе. Я передумал, не хочу, чтобы Ангели писал ее в белом

платье. Пусть на портрете я не увижу ее обнаженных плеч, зато она будет на нем такая, какой я вижу ее каждый день и какой больше всего люблю.

Вечером нас навестил доктор Хвастовский. Он, как всегда, здоров и полон энергии.

26 августа

Этой ночью я видел скверный сон. Начну с него описание событий сегодняшнего дня: самый сон — чепуха, но я убежден, что здоровый мозг не может порождать такие видения. Я давно страдаю бессонницей, а вчера почему-то, едва закрыл глаза, как впал в забытие. Не знаю, в котором часу ночи мне приснилась эта чепуха, но, кажется, на заре: когда я проснулся, было уже светло, а спал я, должно быть, недолго. Мне снилось, что из всех щелей между матрацем и кроватью лезут целые полчища большущих жуков, каждый не меньше спичечной коробки. Они поползли вверх по стене. И странно, до чего же реально бывают такие сны: я совершенно отчетливо слышал, как шуршали обоим под лапками жуков. Подняв глаза, я увидел в углу под потолком целые гроздья уже других насекомых, — эти были белые с черными пятнами и еще крупнее. Кое-где я различал брюшко и два ряда ножек, похожих на ребра. Во сне все это казалось естественным. Мне было противно, но я не испытывал ни страха, ни удивления. И только когда я проснулся и мысль моя уже работала ясно, отвращение стало нестерпимым и перешло в непонятный страх — страх смерти. Первый раз в жизни я испытывал подобное чувство. Этот страх смерти можно было бы словами выразить так: «Кто знает, какими мерзкими существами кишит мрак загробного мира?» Позднее я припомнил, что таких громадных жуков, белых с черными пятнами, я видел где-то в музее. Но в первые минуты они мне казались фантастическим видением страшного потустороннего мира. Я вскочил с постели, поднял шторы, и дневной свет совершенно успокоил меня. На улице уже началось движение; собаки тащили тележки с зеленью, служанки шли на рынок, рабочие — на фабрики. Картина обыденной человеческой жизни — самое лучшее лекарство от подобных фантазмагорий. Я сейчас ощущаю страстную жажду света и жизни. Все это вместе взятое показывает, что я не совсем здоров. Моя душевная драма гложет меня изнутри, как червь. То, что в волосах моих уже появилась седина, в порядке вещей. Но лицо мое, особенно по утрам, имеет восковой оттенок, а руки стали прозрачными. Я не хуюеу, скорее даже полнею, но при всем том вижу, что у меня развивается анемия, чувствую, что мои жизненные силы на исходе, и добром это не кончится.

С ума я не сойду. Никак не могу себе представить, что может наступить такой час, когда я утрачу власть над собой. И, наконец, один видный врач, а главное — разумный человек, говорил

мне, что на известной ступени развития сознания помешательство становится невозможным. Да я, кажется, уже об этом писал. Однако и не слюдя с ума можно заболеть тяжелой нервной болезнью,— а я немного уже знаю, что это такое, и скажу честно: предпочел бы любую другую болезнь.

Вообще говоря, я докторам не доверяю, особенно таким, которые верят в медицину. Но все-таки надо будет, пожалуй, с кем-либо из них посоветоваться, тем более что и тетя этого хочет. Собственно, я и так знаю вернейшее лекарство от своей болезни: если бы Кромицкий умер, а я женился бы на Анельке,— я выздоровел бы сразу. Если бы она пришла ко мне и сказала: «Я вся безраздельно твоя»,— это бы меня сразу исцелило. Болезни, порожденные нервами, нервами же надо лечить.

Но Анелька не захочет меня излечить таким образом, хотя бы дело шло о моей жизни.

Ходил с псью и тетей к Ангели. Сегодня Анелька в первый раз ему позировала. Как же я был прав, утверждая, что она — одна из самых красивых женщин, каких я встречал в жизни, ибо в ее красоте нет ничего шаблонного! Ангели всматривался в нее с таким восхищением, как будто созерцал великое и благородное произведение искусства. Он пришел в прекрасное настроение, писал с увлечением и откровенно объяснял нам, чем он так доволен.

— В нашей практике это редкость,— говорил он. — Совсем иначе работает, когда перед глазами *такая* модель... Что за лицо! Какое выражение!

А между тем лицо это было не так пленительно, как всегда, потому что застенчивая Анелька чувствовала себя неловко и с трудом сохраняла естественную позу и выражение. Впрочем, Ангели и это понял.

— На следующих сеансах дело скорее пойдет на лад,— сказал он. — С каждым положением человеку нужно освоиться.

И, работая, поминутно восклицал:

— Вот это будет портрет!

Он и на тетюшку поглядывал с удовольствием,— вероятно, потому, что в ее аристократическом лице виден характер, энергия и удивительная широта натуры. Обращение ее с Ангели в своем роде несравненно: это — наивная беспереборность знатной дамы, которая никогда не нарушает требований хорошего вкуса, но не признает ничего авторитета. Ангели, человек, привыкший к поклонению, но очень умный, это уловил,— и я видел, что его это забавляет.

Решено было, что Анелька будет позировать в черном шелковом платье, очень изящном. Как хорошо оно обрисовывает ее фигуру, стройную и не лишенную полноты! Не могу ни думать, ни писать об этом спокойно... Ангели, обращаясь к Анельке, назвал ее «мадемуазель». Женщины, даже женщины-ангелы,— удивительный народ: я видел, что моей любимой это приятно.

Еще большее удовлетворение выразило ее милое личико, когда художник после того, как я его поправил, сказал:

— Но я все время буду ошибаться! Глядя на *madame*, трудно не ошибиться...

И в самом деле, Анелька, вспыхнувшая от смущения, была в эти минуты так обворожительна, что мне снова вспомнились — на этот раз уже точнее — стихи, что я сочинил когда-то. Каждая строфа кончалась так:

Дивлюсь только я, что цветы
Не растут у тебя под ногами.
Ведь ты — воплощение весны,
О птица моя золотая,
Ты май, к нам слетевший из рая.

Когда при выходе из студии тетушка немного от нас отстала, я шепнул Анельке на ухо:

— Ты сама не знаешь, понятия не имеешь, как ты хороша!

Она ничего не ответила, только, как всегда в таких случаях, опустила глаза. Но я весь день подмечал в ее обхождении со мной легкий оттенок бессознательного кокетства: так действовали на нее слова Ангели и мои. Она чувствовала, что я от всей души восхищаюсь ею, и была мне благодарна.

А я не только любовался ею. Я говорил — нет, вопил! — в душе:

— К черту все договоры! Хочу любить ее без всяких запретов и ограничений.

Вечером мы были в опере на вагнеровском «Летучем Голландце». Я вряд ли слышал что-нибудь, вернее говоря, — я воспринимал музыку только чувственно, только через мою любовь.

Я мысленно спрашивал Вагнера: «Какое впечатление производит твоя музыка на *нее*? Проникает ли в ее душу, располагает ли к любви, переносит ли в какие-то миры, где любовь — высший закон?» Только это меня интересовало.

Женщины, мне кажется, не способны любить так беззаветно. Они всегда сохраняют какую-то часть души для себя, для мира и разных его впечатлений.

27 августа

Тетушка объявила, что уезжает. Она стремится в Плошов и говорит, что в Вене ей сидеть незачем и будет даже лучше, если она уедет, — тогда нас никто торопить не будет, мы сможем оставаться здесь до тех пор, пока художник не кончит работу. Все мы пробовали ее отговорить от поездки, доказывая, что в ее возрасте нельзя путешествовать одной. Я считал своим долгом (хотя мне это было нелегко) сказать тете, что, если она непременно хочет ехать, я буду ее сопровождать. Признаюсь, я с некоторым внутренним трепетом ждал ее ответа. К счастью, моя славная старушка с живостью возразила:

— И не думай! А если Целина будет нездорова или утомлена, кто проводит Анельку к художнику? Не может же она одна к нему ходить!

Тут она погрозила Анельке пальцем и прибавила, грозно хмурия брови, но с невольной улыбкой:

— Тем более что твой художник поглядывает на нее чаще, чем требует его работа, а она и рада. Ого! Знаю я ее!

— Да ведь он уже немолод, тетя! — со смехом сказала Анелька, целуя руки у старушки.

А тетушка заворчала:

— Ох ты, тихоня! Немолод! А комплиментами так и сыплет. Ты за ними обоими смотри в оба, Леон!

Я с тайным восторгом отказался от поездки в Плошов, приняв во внимание соображения тети. Пани Целина стала ее уговаривать взять с собой хотя бы горничную, которая была с нами в Гаштейне. Тетушка сначала упрячилась, но уступила, когда Анелька сказала ей, что, живя в отеле, они с матерью отлично обойдутся без горничной.

Она немедленно распорядилась, чтобы уложили ее чемоданы. Тетушка моя не любит ничего откладывать и решила ехать завтра утром. За обедом я поддразнивал ее, говоря, что ее скаковые лошади ей милее нас и это к ним, конечно, она так спешит. А она твердила: «Ах, какой ты дурак! Будет тебе!» — но через минуту, задумавшись, начала вслух разговаривать сама с собой о своих жеребцах.

Сегодня Анелька позировала лучше и очень долго. Лицо уже подмалевано.

28 августа

Тетя утренним поездом уехала из Вены. К Ангели мы ходили втроем с пани Целиной, и она, увидев на портрете первый набросок лица, с трудом удержалась от гневного восклицания. Она не имеет ни малейшего представления о работе художника и тех фазах, которые должен пройти портрет раньше, чем он готов. Вот она и вообразила, что лицо Анельки таким и останется — ничуть не похожим и некрасивым. Пришлось мне ее успокаивать, да и Ангели, догадавшись, в чем дело, со смехом заверил ее, что она видит только личинку, которая скоро превратится в бабочку.

А на прощанье он сказал нам еще кое-что утешительное:

— Думаю, что это будет одна из лучших моих работ. Давно я не писал ничего так *сop amore*¹.

Дай бог, чтобы его предсказание оправдалось.

После сеанса у Ангели я пошел покупать билеты в оперу. Вернувшись, застал Анельку одну — и внезапно страсть налете-

¹ с любовью (ит.).

ла на меня, как ураган. Я представил себе, какое бы это было счастье, если бы Анелька сейчас очутилась в моих объятиях, и почувствовал, что бледнею, пульс мой бился усиленно, я дрожал всем телом и задыхался. Шторы были до половины опущены, и в комнате царил полумрак. Я делал сверхчеловеческие усилия обуздать непреодолимое влечение к Анельке. Мне казалось, что от нее веет жаром, что те же чувства бурлят и в ее душе. Конечно, я мог бы схватить ее, прижать к груди, целовать ее губы и глаза. И какой-то внутренний голос шептал мне: «Целуй — а там хоть смерть!» Анелька заметила, что я сам не свой, и в глазах ее мелькнул испуг, но она тотчас овладела собой и торопливо сказала:

— Придется тебе опекать меня до возвращения мамы. Прежде я тебя боялась, а теперь так тебе верю и мне так хорошо с тобой!..

Я бросился целовать ей руки и сдавленным голосом повторил:

— Если бы ты только знала... если бы знала, что со мной творится!

А она отвечала печально, с нежным сочувствием:

— Знаю... И от этого ты мне кажешься еще лучше, еще благороднее...

Несколько минут я боролся с собой, но в конце концов она меня обезоружила, и я не посмел дать волю страсти. Зато Анелька потом весь день старалась меня вознаградить. Никогда еще она не была ко мне так нежна, никогда еще не смотрела на меня с такой любовью. Быть может, это — самый верный путь, какой я мог бы избрать? Что, если таким именно образом любовь пустит крепкие корни в сердце Анельки и скорее победит его? Не знаю. Теряю голову.

Ведь, с другой стороны, избрав такой путь, я на каждом шагу во имя любви жертвую любовью.

29 августа

Сегодня в студии произошло что-то непонятное и тревожное. Анелька, спокойно позировавшая Ангели, вдруг сильно вздрогнула, лицо ее залилось жарким румянцем, потом побелело как полотно. Мы с Ангели страшно испугались. Он сразу перестал работать и предложил Анельке отдохнуть, а я принес ей воды. Через минуту она оправилась и захотела позировать, но я видел, что она себя пересиливает и чем-то встревожена. Или это просто усталость? День был очень душный, от стен веяло жаром. Я увел ее домой раньше, чем вчера. Она и дорогой не стала веселее, а за обедом лицо у нее опять вдруг побагровело. Я и пани Целина стали допытываться, что с ней. Она уверяла, что ничего. На мой вопрос, не позвать ли доктора, она с несвойственной ей горячностью, даже с раздражением возразила, что в этом нет никакой

надобности, что она совершенно здорова. Однако весь тот день она была бледна, то и дело хмурила свои черные брови, и на лице ее появлялось суровое выражение. Со мной она была как-то холоднее, чем вчера, и порой мне казалось, что она избегает моих взглядов. Не понимаю, что с ней. И страшно беспокоюсь. Опять впереди бессонная ночь. А если и усну, то, наверное, увижу сон вроде того, который я описал недавно.

30 августа

Вокруг меня происходит что-то непонятное. В полдень я постучался в номер моих дам, намереваясь сопровождать Анельку к художнику. Но их не оказалось дома. Горничная отеля объяснила, что они часа два назад послали за извозчиком и уехали в город. Я был несколько удивлен и решил их подождать. Через полчаса они вернулись, но Анелька прошла мимо меня; не остановившись, только молча поздоровалась за руку — и скрылась в своей комнате. Я успел, однако, заметить, что она чем-то взволнована. Полагая, что она ушла только переодеться, я все еще ждал, пока папи Целина не сказала мне:

— Леон, голубчик, будь так добр, сходи к художнику, извинись за Анелю. Скажи, что она сегодня не придет. Она так нервничалась, что никак не может позировать.

— А что с ней? — спросил я, охваченный сильнейшим беспокойством.

Пани Целина помолчала в какой-то перешимости, потом ответила:

— Не знаю. Я возила ее к доктору, но мы не застали его дома. Я оставила ему записку с просьбой приехать к нам в отель... Впрочем... не знаю...

Больше я от нее ничего не добился и поехал к Ангели. Когда я сказал, что Анелька сегодня не может приехать, мне показалось, что он посмотрел на меня как-то подозрительно. Впрочем, это понятно — должно быть, ему бросилось в глаза мое беспокойство. Но в ту минуту я подумал: уж не боится ли он, что мы решили не заказывать портрет и хотим отвертеться? Ведь он нас не знает и может предположить, что причина моей растерянности — просто денежные затруднения. Чтобы рассеять такое подозрение, я хотел уплатить за портрет вперед. Ангели горячо протестовал, говоря, что деньги он берет только по окончании работы. Но я возразил, что деньги оставила мне тетюшка для передачи ему, а так как мне, наверное, придется уехать из Вены, то я хочу раздаться с этим поручением. После долгого, изрядно мне наскучившего спора я поставил-таки на своем. Мы уговорились, что Анелька будет позировать ему завтра в обычное время, а если нездоровье помешает ей прийти, то я предунрежу его об этом до десяти часов.

Вернувшись в гостиницу, я сразу пошел к пани Целине. Анелька была у себя в комнате, а от пани Целины я узнал, что врач только что ушел, не сказав ничего определенного и предписав больной полный покой. Мне опять показалось, что пани Целина словно чего-то недоговаривает. «Но, может быть, она просто растеряна, тревожится за Анельку? — подумал я. — Это легко понять, ведь и я чувствую то же самое».

Я шел к себе с тяжелым чувством вины, думая о том, что наши отношения с Анелькой, та душевная борьба, которую она, несомненно, переживает, угадывая, как я ее люблю и как страдаю, — все это не могло не отразиться на ее здоровье. Чувства мои можно было бы выразить словами: «Лучше бы мне умереть, чем ей хворать из-за меня».

Мысль, что Анелька, вероятно, не придет вниз к обеду, так меня ужасала, как будто от этого бог весть что зависело. К счастью, она пришла, но за обедом была какая-то странная. Увидев меня, смутилась, потом старалась держать себя, как обычно, но ничего у нее не выходило. Казалось, ее что-то тайно мучает. И, должно быть, она была бледнее, чем всегда: ведь волосы у нее не очень темные, но в этот день она казалась брюнеткой.

Теперь я теряюсь в догадках: уж не пришли ли дурные вести от Кромичко? А если да, то какие? Может, мои деньги в опасности? Ну и черт с ними! Все мое состояние не стоит того, чтобы Анелька из-за него хоть пять минут волновалась.

Завтра непременно все выясню. Я почти уверен, что дело тут в Кромичком и что причины ее огорчения — не материального, а морального характера. Что он мог опять выкинуть? Ведь не продал же второго Глухова — по той простой причине, что такового не имеется.

Берлин, 5 сентября

Я в Берлине, а очутился здесь потому, что бежал из Вены и надо было куда-нибудь деваться. В Плошов ехать не могу — туда поедет она.

Я был твердо уверен, что никакая человеческая сила не оторвет меня от нее, даже самая мысль порвать с ней казалась мне дикой. Но, оказывается, ничего нельзя предугадать: вот я уехал, и между нами все кончено. Я в Берлине. В голове у меня словно маховик работает, вертится так быстро, что даже больно, — но все же я не сошел с ума, все помню, во всем отдаю себе отчет. Мой знакомый лекарь был прав: свихнуться может только человек со слабой головой. Мне это не грозит еще и потому, что в пных случаях сойти с ума — великое счастье.

Все же по временам мне кажется, что мозг мой весь выкипит. То, что нормальная женщина, прожив с мужем несколько месяцев, может оказаться беременной,— явление совершенно естественное, а мне это естественное явление кажется таким чудовищным, что просто в голове не укладывается. Нельзя одновременно и понимать, что это — закон природы, и ужасаться этому, как чему-то чудовищному. Никакая голова этого не выдержит. Да что же это такое? Напрягая все свои мыслительные способности, я твержу себе, что людей сокрушает сила необычайных обстоятельств, а со мной случилось обратное: меня раздавил нормальный порядок вещей.

И чем естественнее то, что случилось, тем оно ужаснее.

Сплошные противоречия. Она не виновата — это я понимаю, ведь я не сумасшедший. Она осталась честной, но мне легче было бы простить ей какое угодно преступление. И не могу я, клянусь богом, не могу простить тебе именно потому, что я так тебя любил! Поверишь ли, нет в мире женщины, которую я презирал бы так, как презираю тебя сейчас. Ведь ты же, в сущности, делила себя между двоими: я был для платонической любви, Кромницкий — для супружеской. И мне сейчас хочется биться головой о стену, но в то же время, ей-богу, хочется смеяться...

Не знал я, что есть средство оторвать меня от тебя. Но оно нашлось — и подействовало.

8 сентября

Когда подумаю, что все кончено, порвано, ничего не осталось, что я уехал уже навсегда,— не верится. Нет у меня больше Анельки! А что же есть? Ничего.

Так для чего мне жить? Не знаю. Не для того же, чтобы узнать, кого бог пошлет Кромницкому, сына или дочь!

Я постоянно думаю: «Как это все естественно!» — и голова у меня готова треснуть.

Странная вещь: мне следовало бы быть к этому готовым, а мне ни разу ничего подобного и на ум не приходило. Это было как гром с ясного неба.

Но ведь Кромницкий из Варшавы сразу поехал в Плошов, прожил там некоторое время, потом был с Анелькой вместе в дороге, в Вене, в Гаштейне...

А я создавал для пани Кромницкой любовную атмосферу! Это щекотало ей нервы, волновало сердце — и вот... Право, эта история имеет убийственно смешные стороны.

Я непозволительно глуп. Если я мирился с совместной жизнью четы Кромницких, то должен мужественно нести и ее последствия. Но, видит бог, против этого восстает не мое сознание, а нервы. Есть люди, у которых эти две силы мирно ужи-

ваются, во мне же они грызутся, как собаки. Это тоже — настоящее бедствие.

Но почему я не предвидел ничего подобного? Мне следовало бы знать, что если возможно в жизни какое-нибудь страшное стечение обстоятельств, какой-нибудь удар, тягчайший из всех, — то он меня не минует.

Иногда я готов думать, что меня попросту преследует провидение. Ему мало того, что установленная им логика фактов мстит сама за себя, — нет, оно этим не ограничивается, оно еще специально вникает в мои поступки и карает меня за них. Но почему судьба так жестока ко мне? Мало ли людей влюбляются в чужих жен? Или они страдают меньше, чем я, потому что любят легкомысленнее, не так верно, сильно и свято? Но тогда где же справедливость?

Нет, нет! В этих вещах высшей воли, закономерности искать нечего. Все происходит случайно, как придется.

10 сентября

Не покидает меня мысль, что до сих пор причиной человеческих трагедий бывали всякие исключительные случаи и несчастья, а моя трагедия порождена естественным ходом вещей. Право, не знаю, что хуже. Мириться с этой «естественностью» положительно выше моих сил.

11 сентября

Я слышал, что человек, пораженный молнией, столбенеет и падает не сразу. Я тоже держался до сих пор силой поразившего меня удара, но думаю, что теперь свалюсь. Плохо мое дело. Как только начинает смеркаться, со мной делается что-то странное: мне душно, я задыхаюсь, у меня такое ощущение, словно воздух не хочет входить в глубь моих легких, и я дышу только частью их. Днем и ночью меня по временам охватывает какой-то смутный страх неизвестно перед чем. Мне все кажется, что впереди что-то ужасное, несравненно худшее, чем смерть.

Вчера я задал себе вопрос: что было бы, если бы я вдруг в этом незнакомом городе забыл свое имя, адрес и побрел бы в темноте куда глаза глядят, без цели, как безумный?

Это нездоровые фантазии. И, наконец, тогда с моим телом стало бы лишь то, что уже произошло с душой, — ведь и душа моя не ведает, где ее приют, бредет во мраке, без цели, как одержимая.

Меня страшит все — кроме смерти. Вернее, у меня странное ощущение, будто не я боюсь, а живет во мне страх, как отдельное существо, — и существо это трепещет.

Я теперь не выношу темноты. По вечерам до полного изнеможения хожу по ярко освещенным улицам. Если бы встретил ко-

го-нибудь из знакомых, бежал бы от него на край света, но толпа вокруг мне необходима. Когда улицы пустеют, мне становится жутко. Я всегда с ужасом жду ночи. А ночи так невыносимо долги!

Почти всегда у меня металлический вкус во рту. Впервые я ощутил это в Варшаве, когда, проводив Клару и вернувшись с вокзала, застал у себя Кромического. Во второй раз — сейчас, в Вене, когда пани Целина сообщила мне «великую новость».

Что это был за день! После вторичного визита врача я пришел узнать о здоровье Анельки. Я был далек от того, чтобы подозревать истину. Не понял ничего даже тогда, когда пани Целина сказала:

— Доктор уверяет, что все это — чисто нервное и почти не связано с ее положением.

Видя, что я все еще ни о чем не догадываюсь, она продолжала уже в замешательстве:

— Да, должна тебе сказать — у нас великая новость...

И сообщила мне эту «великую новость». Услышав ее, я почувствовал во рту вкус цинка и у меня словно похолодел мозг — совсем как тогда, когда я неожиданно увидел Кромического.

Я вернулся к себе в гостиницу. Ясно помню, что, несмотря на терзавшие меня чувства, мне хотелось смеяться: так вот оно, идеальное существо, женщина, которой даже платоническая любовь казалась чем-то недозволенным и которая вместо «любовь» говорила «дружба»!

Да, меня разбирал смех — и хотелось биться головой о стену.

Но я сохранял какую-то механическую способность мыслить. Сознывая, что все кончено раз навсегда и мне надо уехать, нельзя здесь оставаться, я, как автомат, делал приготовления к отъезду.

Я до такой степени сохранил присутствие духа, что даже не забыл соблудить все приличия. К чему? Не знаю. То были, вероятно, какие-то механические рефлексy мозга, привыкшего в течение месяцев и лет таить правду и подменять ее видимостью для сохранения приличий. Я сказал пани Целине, что был у врача, что он нашел у меня болезнь сердца и велел, не теряя ни минуты, ехать в Берлин. И она поверила.

Но Анелька — нет. Я видел ее глаза, расширенные от страха, видел их взгляд, выражение опозоренной мученицы, и во мне боролись два человека. Один говорил: чем она виновата? Другому хотелось плюнуть ей в лицо.

Ах, зачем я так полюбил эту женщину!

12 сентября

Скоро две недели как я уехал из Вены. Они, наверное, уже вернулись в Плошов. Сегодня я написал тете, потому что боялся, как бы она, беспокоясь за меня, не вздумала сюда приехать.

Иногда мне странно, что есть на свете человек, которому я по-настоящему дорог.

13 сентября

Есть люди, которые соблазняют чужих жен, обманывают их, а потом, растоптав их любовь, бросают их и спокойно уходят. Я ничего подобного не сделал; если бы Анелька отдалась мне, я бы каждую пылинку с ее дороги сдувал, лежал бы у ее ног и никакими человеческими силами нельзя было бы оторвать меня от нее. Значит, есть любовь более преступная, чем моя, а между тем на меня обрушилось такое бремя страданий, что я невольно принимаю его за страшную кару и, измеряя тяжестью этой кары свою вину, не могу отделаться от ощущения, что любовь моя была страшным преступлением.

Это ощущение — что-то вроде инстинктивной тревоги, от которой не избавляет никакой скептицизм.

А ведь самые строгие моралисты не могут не согласиться, что гораздо большее преступление — увлечь женщину, не любя ее, делать хладнокровно, с расчетом то, что я делал из потребности сердца. Неужели за любовь сильную, всепоглощающую ответственность тяжелее, чем за чувства мелкие и ничтожные?

Нет, этого не может быть! Любовь моя прежде всего — страшное несчастье.

Человек без предрассудков может все же себе представить, что он чувствовал бы в том или другом случае, если бы был суеверен. Так же точно скептик может вообразить, как он молился бы, если бы был верующим. Я не только это ясно чувствую, но душа моя скорбит так, что я почти искренне обращаюсь к господу богу с молитвой: «Если я и виновен, то ведь я искупил свою вину такими мучениями, что было бы не удивительно, если бы ты смилдовался надо мной».

Однако не представляю себе, в чем могло бы проявиться такое милосердие. Нет, на это нечего надеяться.

14 сентября

Они уже, должно быть, в Плошове. Думаю об Апельке еще часто. Ведь порвать с прошлым может только тот, у кого есть что-то впереди, а у меня — ничего, ровно ничего. Был бы я верующим, пошел бы в монахи. Был бы атеистом, решительно отвергающим существование бога, — может, уверовал бы в него. Но та часть души, которой верует человек, во мне высохла, как пересыхает иногда река. Знаю одно: религия не может дать мне утешения в горе.

Когда Анелька вышла за Кромницкого, я думал, что между нами все кончено. Но тогда я ошибался. Только теперь я глубоко уверен, что это конец, ибо нас разлучили не добровольное ре-

шение и не мой отъезд, а нечто вне нас, не зависящая от нас сила вещей.

И вот — пути наши окончательно разошлись, их ничто скрестить не может, даже наша добрая воля. На пути Анельки будут страдания, но будут и новые чувства, новый мир, новая жизнь, а у меня впереди — безнадежно пусто. И она, конечно, понимает это так же хорошо, как и я.

А интересно, говорит ли она себе когда-нибудь: «Я погубила человека. Быть может, это не моя вина, но я его погубила»?

Но если и говорит, что мне в том? И все-таки хотелось бы, чтобы она меня хотя бы жалела.

Что ж, может, она и будет меня жалеть — до тех пор, пока не появится на свет ее ребенок. А после этого все ее чувства устремятся по другому руслу, и я перестану для нее существовать. Это тоже — сила вещей, закон природы. Превосходный закон!

16 сентября

Сегодня мне бросилась в глаза афиша с напечатанным огромными буквами именем Клары Хильст. А я и забыл, что еще в Гаштейне получил от нее письмо, в котором она писала, что будет выступать в Берлине. Объявлено уже несколько ее концертов. Сначала я отнесся к этому безразлично, но потом в душе началась борьба противоречивых чувств, и, как всегда при этом, меня охватило нервное беспокойство. Сознание, что в этом городе есть знакомый и дружески расположенный ко мне человек, как-то ободряет меня, — но мне достаточно этого сознания, а видеть Клару не хочется. Я доказываю себе, что все-таки надо ее навестить, но эта встреча мне ничуть не улыбается. Клара из дружеской заботливости и интереса к людям стремится все о них знать. Кроме того, она склонна ко всяким романтическим предположениям и верит, что дружба залечивает все раны. А быть с нею откровенным — выше моих сил. Я часто даже думать не в состоянии о том, что произошло.

17 сентября

Зачем я встаю каждое утро? Зачем живу? На что мне знакомые, все люди вообще? Я так и не пошел к Кларе, потому что все, что она может мне сказать, мне совсем неинтересно и уже заранее нагоняет скуку. Весь мир мне глубоко безразличен, не нужен, так же как я — ему.

18 сентября

Как хорошо, что я написал тете! Если бы не написал, она бы примчалась в Берлин. Вот что она мне пишет:

«Письмо твое я получила в тот самый день, когда приехали Целина с Анелькой. Как ты сейчас чувствуешь себя, родной мой? Ты пишешь, что хорошо, но совсем ли оправился? Что сказали тебе берлинские доктора и долго ли ты там пробудешь? Телеграфируй, застану ли я тебя еще в Берлине, тогда я выеду немедленно. Целина говорила мне, что твой внезапный отъезд сильно встревожил ее и Анельку. Если бы ты не написал, что тебе, по всей вероятности, пропишут путешествие по морю, я бы по получении твоего письма сразу же выехала в Берлин. Ведь езды туда только пятнадцать часов, а я чувствую себя прекрасно, приливы больше ни разу не повторялись. Тревожит меня твое морское путешествие. Правда, для тебя это дело привычное, но я дрожу при одной мысли о кораблях и штормах.

Целина чувствует себя хорошо, Анелька тоже не плохо. Знаю, что тебе уже известна новость. Перед отъездом из Вены они еще раз пригласили специалиста, и он сказал, что беременность Анельки вне всякого сомнения. Целина счастлива, я тоже рада. А вот это заставит Кромницкого бросить дела на краю света и поселиться на родине. Да и Анелька, разумеется, будет счастливее теперь, когда у нее есть цель в жизни. Приехала она какая-то усталая, пришибленная,— может быть, дорога ее утомила. У Снятыньских ребенок был очень болен крупом, но уже поправился».

Читая письмо тетушки, я почувствовал, что мне нет места там, у них, в особенности около Анельки. Ей скоро даже вспоминать обо мне будет неприятно.

19 сентября

Не могу себе представить, что пройдет год, два, три, а я буду жить. Что я буду делать? Когда нет никакой цели, то нет и жизни. В сущности, мне нет места на земле.

20 сентября

К Кларе я не пошел, но встретил ее на Фридрихштрассе. Увидев меня, она даже побледнела от волнения и радости и с такой искренней сердечностью поздоровалась со мной, что меня это тронуло, но не могу сказать, чтобы было приятно, потому что я сознавал, что моя сердечность только внешняя и я даже не рад встрече с Кларой. А Клара, когда ее волнение улеглось, заметила перемену во мне и встревожилась. Действительно, вид у меня не блестящий, и в волосах появилась седина. Клара начала расспрашивать о здоровье, а я, при всей моей дружбе и благодарности к ней, чувствовал, что слишком частые встречи будут для меня испытанием не по силам. Чтобы их избежать, я сказал, что я болен и вынужден на днях уехать в теплые края. Она все-таки

затащила меня к себе. Разговор зашел о тете, Анельке и пани Целине. Я отделивался общими фразами. А мысленно говорил себе, что Клара, пожалуй,—единственный человек, способный меня понять, но ни за что на свете я не открою ей своей тайны.

Однако человеческая доброта меня трогает. Когда добрые голубые глаза Клары всматривались в меня с нежностью и так пытливо, словно она хотела заглянуть в самую глубину моей души, ее доброта смиряла меня до такой степени, что хотелось плакать. В конце концов, несмотря на все мои усилия, Клара почувствовала, что перед нею не прежний Леон Плошовский, а совсем другой человек. Женским инстинктом она угадала, что я живу, говорю, думаю почти механически, а душа во мне уже полумертва. Поняв это, она больше ни о чем не спрашивала, не допытывалась и только стала ко мне еще нежнее.

Я видел, что она уже боится показаться навязчивой и только старается дать мне понять, что сердечностью своей она не подкупить меня хочет, а только добиться, чтобы мне было с нею хорошо.

И мне было хорошо, но все-таки я не мог побороть и чувства досады. Не в состоянии я сейчас ни на чем сосредоточиться, мой ум не способен ни к каким усилиям, даже таким небольшим, какие требуются для обычного разговора с друзьями. А кроме того, теперь, когда великая цель моей жизни исчезла, все кажется мне таким ненужным и ничтожным, что я постоянно спрашиваю себя: «К чему это? Что это мне даст?»

21 сентября

Никогда еще не переживал я такой ужасной ночи. Терзаемый беспокойством, я словно спускался по бесконечной лестнице все глубже во мрак, где творилось что-то неведомое и страшное. Наутро я решил уехать из Берлина, под здешним свинцовым небом можно задохнуться. Вернусь в Рим, в свой дом на Бабуино, и там поселюсь навсегда. Думаю, что не только с Анелей, но и со всем миром счеты у меня покончены, и мне остается спокойно прозябать в Риме, пока не придет смертный час. Хоть бы душа обрела покой! Вчерашняя встреча с Кларой показала мне, что я при всем желании не смогу уже жить с людьми и мне нечем даже заплатить им за их доброту ко мне. Я выключен из окружающей жизни, стою вне ее и, как ни страшна пустота впереди, у меня нет охоты вернуться назад.

Мысль о возвращении в Рим, в мою одинокую обитель на Бабуино, мне улыбается. Правда, улыбается слабо и невесело, но лучше это, чем что-либо другое. Оттуда я вылетел на свет божий, как итенец из гнезда, и туда придется мне теперь дотачиться на сломанных крыльях и ждать там конца.

Пишу теперь только по утрам, так как каждую ночь углубляюсь в те тайники души моей, где обитает страх. Сегодня пойду

на концерт Клары, прощусь с нею и завтра уеду. По дороге остановлюсь в Вене. Может быть, зайду там к Ангели. Но я в этом не уверен. Я теперь никогда не знаю сегодня, чего захочу и что буду делать завтра.

Получил от Клары письмо, просит прийти к ней после концерта. На концерт я пойду, — там будет много здоровых людей, среди них я чувствую себя как бы под защитой, а волновать меня они не могут, так как я никого из них не знаю, они для меня — только толпа. А к Кларе не пойду. Она слишком добра. Говорят, будто люди, умирающие голодной смертью, за некоторое время перед концом уже не могут принимать пищу. Так и моя душа уже не в состоянии выносить нежности и утешений.

Нестерпимы и воспоминания. Быть может, это и пустяк, но теперь я понял, почему мне так тяжело было с Кларой. Дело тут не только в моем нервном состоянии: она душится теми же духами, какие я привез Анельке из Вены в Гаштейн. А я и раньше примечал, что ничто так живо не напоминает о женщине, как запах ее любимых духов.

22 сентября

Я болен не на шутку. Простудился вчера вечером, возвращаясь домой, так как в концертном зале было ужасно жарко, а я, чтобы освежиться, вышел на улицу, не надев пальто, и пришел в отель продрогший до костей. Каждый вздох причиняет мне такую боль, как если бы легкие, расширяясь, натыкались под лопатками на острые булавки. Мне то жарко, то знобит, и мучает неутолимая жажда. По временам я так слабею, что не мог бы сойти с лестницы. Об отъезде не может быть и речи, — без посторонней помощи мне даже не войти в вагон. Вот пишу сейчас и слышу свое дыхание, оно гораздо чаще и шумнее, чем обычно. Я уверен, что, если бы нервы мои были в порядке, вчерашний холод не принес бы мне вреда, я не простудился бы. Но в нынешнем моем состоянии организм утратил способность сопротивления. У меня, несомненно, воспаление легких.

Но буду держаться на ногах, пока смогу. Утром, как только я почувствовал, что болен, я поспешил написать тете, что я совершенно здоров и на днях отсюда уезжаю. А через несколько дней, если только буду в сознании и достанет сил, опять напишу ей то же самое. Я просил, чтобы все письма и телеграммы, которые придут в Плошов на мое имя, она переслала банкиру Б. в Берлин. Надо, чтобы в Плошове никто не узнал о моей болезни. Как хорошо, что я еще вчера простился с Кларой!

23 сентября

Мне хуже, но я еще на ногах. У меня жар, и по временам в мозгу встают какие-то горячечные видения. В особенности когда закрываю глаза, почти стирается граница между действитель-

ностью и бредом. Все-таки большую часть дня я был в памяти, но боюсь, что горячка меня одолеет и я потеряю сознание.

Я все думаю: вот я, человек, которому судьба дала больше, чем другим, который мог бы создать себе домашний очаг, семью, окружить себя любящими людьми, сижу теперь одинокий, больной в чужом городе и некому мне стакан воды подать. А ведь Анелька могла быть со мной. Не могу больше писать...

14 октября

Берусь за перо после трехнедельного перерыва. Клары больше нет со мной. Убедившись, что за здоровье мое уже нечего опасаться, она уехала в Ганновер, но через десять дней вернется. Она ухаживала за мной все время болезни, приглашала врачей, и, если бы не ее заботы, я бы, наверное, не выжил. На третий или на четвертый день моей болезни она пришла ко мне. Я был в сознании, но так болен, что к ее появлению отнесся совершенно безразлично — как будто она пришла не ко мне или в ее приходе не было ничего необычного. Она привела доктора, и я почему-то обратил внимание только на его густые и очень белокурые курчавые волосы. Я был в каком-то странном состоянии. Осмотрев меня, врач стал задавать разные вопросы, сперва по-немецки, потом по-французски, но я, отлично понимая эти вопросы, не отвечал на них ни слова, — не мог заставить себя говорить, как будто воля моя так же ослабела, как тело.

В тот день мне ставили бапки, потом я, измученный, лежал спокойно, ничего не чувствуя. По временам думал, что, наверное, умру, но это меня не трогало, так же как не трогало все, что происходило вокруг. Быть может, во время тяжелой болезни, если даже человек в памяти, он не способен отличать важное от неважного, и внимание его почему-то привлекают разные мелочи. Меня в тот день, кроме шевелюры доктора, занимало главным образом шелканье верхней и нижней задвижек у двери в соседний номер, куда перебралась Клара. Помню, я глаз не спускал с этой двери, как будто ожидал, что, когда она откроется, произойдет что-то очень для меня интересное.

Скоро пришел фельдшер, который должен был за мной ухаживать под надзором Клары. Он заговорил со мной, но Клара приказала ему молчать...

Бросаю писать — меня это еще очень утомляет.

16 октября

Болезнь ослабила нервное напряжение, в котором я жил. Меня уже не томит прежнее беспокойство, и только хочется, чтобы Клара вернулась поскорее. Я не тоскую по ней, это только эгоизм больного, который понимает, что ничто не заменит ему

ее нежной заботливости. Я знаю, что Клара больше не будет жить здесь в отеле, рядом со мной, но все равно — ее присутствие меня поддерживало бы. Слабость и беспомощность заставляют меня тянуться к моей покровительнице, как ребенок тянется к матери. Я убежден, что никакая другая женщина не сделала бы для меня того, что Клара, ни одна не пожертвовала бы приличиями, чтобы спасти человека. Думаю об этом с горечью, и в мыслях у меня одно имя... Но эти мысли лучше гнать от себя, нет сил с ними справиться... Клара спала, не раздеваясь, на диване в соседней комнате. Дверь она оставляла открытой, и стоило мне шевельнуться, как она оказывалась у моей постели. По ночам, открывая глаза, я видел, как она сидит, склонившись надо мной, растрепанная, утомленная, моргая красными от бессонницы веками. Она сама давала мне лекарства, сама приподнимала меня, поправляла подушки. Когда я, приходя в себя, пытался ее благодарить, она прикладывала палец к губам, напоминая этим, что доктор запретил мне разговаривать. Не знаю уж, сколько ночей она не спала. Она была так переутомлена, что днем, сидя в кресле у моей кровати, иногда засыпала, не докончив фразы. Проснется, улыбнется мне — и опять дремлет. По ночам она, чтобы не заснуть, иногда долго ходила у себя в комнате из угла в угол, но так бесшумно, что я и не знал бы этого, если бы в открытую дверь не видел, как ее тень мелькает на стене. Раз, когда она сидела подле меня, я, не зная, как выразить свою благодарность, поднес к губам ее руку, а она стремительно нагнулась и поцеловала мою, раньше чем я успел ее отдернуть. Признаюсь, я не всегда помнил, чем я ей обязан. Больного всякая мелочь раздражает — и меня раздражал высокий рост Клары. Я даже вроде как досадовал на нее за то, что она не такая, как Анелька. Объяснялось это, вероятно, тем, что я давно уже привык ценить только красоту и изящество такого типа, как у Анельки. Иногда я, с тайным раздражением глядя на Клару, ловил себя на престранной мысли, что красота Клары — не дар природы или расы, а счастливая случайность. Впрочем, не раз красивые женские лица производили на меня именно такое впечатление. В красоте есть оттенки, которые улавливаются только очень утонченными и впечатлительными нервами.

Однако бывали минуты, — особенно по ночам, — когда, всматриваясь в похудевшее, истомленное бессонницей лицо Клары, я воображал, что вижу *ту*... Это чудилось мне чаще всего тогда, когда Клара сидела поодаль от меня, в темноте. Иллюзию поддерживали лихорадка и больной мозг, для которого ничего невозможного нет. И по временам я по-настоящему бредил и — черт бы меня побрал! — звал Клару именем той, говорил с нею, как с той. Помню это смутно, как сквозь сон.

17 октября

Банкир Б. переслал мне несколько писем тети. Она спрашивает, как я живу, какие у меня планы. Сообщает даже про обмолот, но о тех, кто живет с нею в Плошове, — ни слова. Не знаю даже, живы они или нет. Что за нелепая, несносная манера писать письма! Очень меня интересует обмолот и все плошовское хозяйство! Я ответил ей сразу же и в письме не сумел скрыть своего недовольства.

18 октября

Сегодня мне переслали телеграмму Кромницкого, адресованную им в Варшаву. Тетушка, вместо того чтобы телеграфировать ее содержание, просто вложила ее в конверт и послала по почте. Кромницкий умоляет послать ему еще двадцать пять тысяч рублей, так как от этого зависит его участь и участь тех денег, что я дал ему раньше. Я прочел — и только плечами пожал. Какое мне теперь дело до Кромницкого, что мне эти деньги — пусть пропадают! Если бы Кромницкий знал, что меня побудило в свое время дать ему эти деньги, он бы ничего больше у меня не просил. Пусть же перенесет свои потери так же стойко, как я переношу свою. И, наконец, его ждет «великая новость», пусть утешится ею. Радуйтесь же, сколько хотите, рожайте детей, сколько вздумается, но требовать от меня, чтобы я заботился об их судьбе, — это уж слишком.

Если бы она по крайней мере не пожертвовала мною с таким беспощадным эгоизмом ради так называемых нравственных правил... Но довольно об этом, у меня мозг в голове переворачивается. Пусть мне дадут хотя бы спокойно болеть...

20 октября

Нет, нашли-таки меня и здесь! Опять я два дня не знаю покоя, опять сжимаю руками голову, потому что череп у меня готов треснуть и внутри него как будто бешено вращается маховое колесо. Опять неотвязные думы о Плошове, о ней — и о пустоте, которая меня ждет впереди. Какой это ужас, когда внезапно лишаешься того единственного, чем жил! Не знаю, может быть, разум у меня ослабел от болезни, — но я просто не понимаю многого, что творится у меня в душе. Вот, например, мне кажется, что в ней ревность пережила любовь.

И ревность эта — двойная, она распространяется не только на факты, но и на чувства: душа у меня разрывается при мысли, что ребенок, который должен появиться на свет, завладеет сердцем Анелки, а главное (это для меня всего ужаснее) сблизит ее с Кромницким.

Я теперь не желал бы обладать этой женщиной, если бы она и была свободна, но не могу вынести мысли, что она будет любить мужа. Я бы отдал весь остаток жизни за то, чтобы она никого больше никогда не любила и ее никто не любил. Только при таком условии я еще мог бы существовать.

21 октября

Если не спасет меня то, что я задумал, то я опять чем-нибудь захвораю или сойду с ума. Вот подвожу итоги. Что мне еще осталось в жизни? Ничего. Что меня ждет? Ничего. А если так, то почему бы мне не подарить себя кому-то, кого этот дар может ошастливать? Моя жизнь, душа, способности, весь я в собственных глазах не стою теперь ломаного гроша. Вдобавок я не люблю Клару. Но если она любит меня, если в жизни со мной видит высшее счастье, было бы жестоко отказать ей в том, чем я сам так мало дорожу. Я только сочту своим долгом объяснить ей, что я собой представляю, чтобы она знала, что берет. Если это ее не испугает, — что ж, тем хуже для нее. Это уж ее дело.

Меня такое решение прельщает только тем, что оно еще углубит пропасть между мной и Анелей. Я докажу ей, что если она рыла эту пропасть со своей стороны, то и я сумею сделать то же самое со своей. Тогда уже со всем этим будет покончено навсегда. А пока я еще о ней думаю и с яростью сознаюсь себе в этом.

Быть может, это уже не любовь, а ненависть, но, во всяком случае, еще не равнодушные.

Пани Кромницкая, вероятно, воображает, что я ушел от нее, потому что *должен* был уйти, а я ей докажу, что *хочу* этого. Чем плотнее будет стена, которую я воздвигну между нами, тем надежнее она скроет от меня эту женщину и тем скорее и основательнее я ее забуду.

А Клара... Повторяю: я не люблю ее, но знаю, что она любит меня. Кроме того, я ей многим обязан. Во время моей болезни бывали минуты, когда ее самоотверженные заботы обо мне я в душе называл «немецкой сентиментальностью», но надо же признать, что *та* не решилась бы проявить такую «сентиментальность». Она скорее дала бы человеку умереть без помощи, чем согласилась бы увидеть его без галстука. При ее высокой добродетели она такую привилегию предоставляет только законному супругу. Клара ни на что не посмотрела: ради меня бросила музыку, не побоялась тяжелого труда и бессонных ночей, да и неизбежных сплетен, — все вынесла, чтобы поставить меня на ноги. Я у нее в долгу — и уплачу этот долг. Плата, правда, ничтожная и притом фальшивой монетой. Я ей отдаю себя потому, что ничуть собой не дорожу, мне теперь все безразлично, и я уже не человек, а обломок человека. Но если Кларе этот обломок дороже жизни, пусть берет его.

Только тетю этот брак огорчит, заденет ее патриотизм и фамильную гордость. Но если бы она могла прочесть в моем сердце то, что творилось в нем последнее время, она наверняка решила бы, что лучше брак с Кларой, чем грешная любовь к жене Кромического. В этом я ничуть не сомневаюсь.

Эка важность, что предки Клары были, вероятно, ткачами! Я не раб принципов, слушаюсь только своих нервов, а случайно создавшиеся у меня убеждения преимущественно либеральны. Я давно пришел к выводу, что либералы часто бывают людьми с более ограниченным кругозором, чем консерваторы, но либеральные воззрения сами по себе шире консервативных и более согласны с учением Христа.

Впрочем, мне все равно. Об этих убеждениях даже говорить не стоит. Только в несчастье постигаешь все их бессилие.

Помимо воли думаю все время о том, как примет Анелька весть о моем браке. Я до такой степени привык во всем «применяться» к ней, что не могу до сих пор отделаться от этой мучительной привычки.

22 октября

Сегодня утром отправил письмо Кларе. Ответа жду завтра, — а может быть, Клара сама придет еще сегодня вечером.

После полудня получил пересланную мне тетей вторую телеграмму Кромического. В ней столько отчаяния, сколько можно вместить в несколько фраз. Видно, дела его приняли очень скверный оборот. Я не ожидал, что крах наступит так скоро. Должно быть, произошло какое-то неожиданное стечение обстоятельств, которого Кромический не предвидел.

Я-то не очень пострадаю от потери одолженных ему денег и останусь более чем состоятельным человеком, — но Кромический!..

К чему себя обманывать? Где-то в тайниках души я рад его разорению. Подумать только, что эти люди в будущем смогут существовать только на средства моей тетушки, которая сама себя называет «хранительницей наследия Плошовских».

Пока я отвечать Кромическому не собираюсь. А если бы я вздумал написать, то вместо ответа только поздравил бы его с рождением наследника. Позднее — дело другое, позднее я дам им обоим хлеб насущный и даже многое к этому хлебу.

23 октября

Клара вчера не приехала, и сегодня я до сих пор (а уже вечер) напрасно ждал ее ответа. Это тем удивительнее, что она со времени отъезда писала мне ежедневно, справляясь о моем здоровье. Ее молчание кажется странным, потому что я не сомневался, что ей не потребуется и десяти минут на размышление.

Буду терпеливо ждать, — но лучше бы она не медлила с от-

ветом. Знаю: если бы мое письмо к ней не было отослано, я, быть может, написал бы ей второе такого же содержания. Но если бы я сейчас мог то письмо вернуть обратно, я бы, вероятно, это сделал.

24 октября

Вот что пишет мне Клара:

«Дорогой мой мсье Леон! Прочитав ваше письмо, я потеряла голову от счастья и хотела сразу ехать в Берлин. Но именно потому, что я вас горячо люблю, я послушалась внутреннего голоса, который говорит мне, что настоящая любовь не должна быть эгоистичной. И я не могу допустить, чтобы вы пожертвовали собой ради меня.

Вы не любите меня. Я отдала бы жизнь за то, чтобы было иначе, но знаю: вы меня не любите. Ваше письмо написано в порыве благодарности и какого-то отчаяния. С первой минуты нашей встречи в Берлине я заметила, что вы больны и несчастливы, и тревога за вас была так сильна, что, хотя вы собирались уезжать и попрощались со мной, я все-таки послала в отель узнать, действительно ли вы уехали, и справлялась о вас потом каждый день, пока мне не ответили, что вы больны. Ухаживая за вами во время болезни, я убедилась, что и второе мое опасение верно — у вас какое-то большое тайное горе или вы пережили одно из тех мучительных разочарований, после которых трудно бывает мириться с жизнью.

Теперь я поняла — и один бог знает, как мне это тяжело, — что связать свою судьбу с моей вы хотите для того, чтобы заглушить свою боль, забыть прошлое и отрезать себе путь к чему-то. Угадав это, как я могу принять ваше предложение? Отказавшись стать вашей женой, я, может быть, буду всю жизнь несчастна, но зато никогда не придется мне сказать себе: «Я ему в тягость, я — кандалы на его ногах». Я полюбила вас с первой встречи, люблю давно и больше всего на свете — и уже свыклась за это время с болью разлуки, с горьким сознанием, что вы меня не любите, с жизнью без надежд. Печальна такая жизнь, но это горе я еще могу изливать в слезах, как всякая женщина, или в музыке, как артистка. И у меня остается утешение, что вы, вспоминая меня иногда, подумаете обо мне: «Добрая моя сестра». Этим я живу. А если бы я, став вашей женой, увидела, что вы сожалеете о своем порыве, что вы не только не стали счастливее, но возненавидели меня, — я бы, наверное, не пережила этого.

Притом я спрашиваю себя: что я такого сделала, чем заслужила такое безмерное счастье? Ведь о таком счастье мне даже подумать страшно. Понимаете ли вы, что можно любить всем сердцем, ничего не требуя взамен? Я знаю, что можно, — потому что вот так, смиренно, люблю вас.

Я уже и то считаю дерзостью, что все-таки не хватает у меня мужества навек отречься от всякой надежды на счастье. И вы

меня за это не осуждайте: господь бог так милосерден, а человек так жаждет счастья, что нет сил раз навсегда запретить перед ним дверь. Если через полгода, или через год, или вообще когда-нибудь в жизни вы мне повторите, что все еще хотите, чтобы я стала вашей женой,— тогда я буду вознаграждена за все, что я уже выстрадала, и за те слезы, которых не могу удержать сейчас.

Клара».

Во мне еще жив человек, способный прочувствовать и оценить каждое слово этого письма. Ничто в нем не пропало для меня даром, и я твержу себе: у нее еще более благородное, честное и любящее сердце, чем я думал, и тем более стоит повторить свое предложение.

Но я — человек измученный, у меня больше нет сил жить, и мое сочувствие Кларе не любовь, ибо я всего себя вложил в любовь к той, другой. И я ясно чувствую, что если теперь уйду от Клары, то уже вряд ли вернусь к ней когда-нибудь.

28 октября

Я глубоко уверен, что Клара в Берлине не вернется, более того — что она, уезжая в Ганновер, твердо решила не возвращаться сюда. Она хотела избежать моих выражений благодарности. Я думаю о ней с сожалением и признательностью. Как жаль, что она полюбила меня, а не человека совсем иного склада. Во всем этом есть какая-то прония судьбы: если бы я чувствовал к Кларе хоть соую долю того, что чувствовал к Анельке, эта любовь могла бы дать нам счастье на всю жизнь. Но что толку себя обманывать? Я все еще во власти воспоминаний. Вспоминается Анелька такой, какой была она в Плошове, в Варшаве, в Гаштейне,— и мысли не хотят отрываться от этого прошлого. Да и не удивительно — ведь столько вложено в него сил и жизни. Труднее всего забыть.

Я каждую минуту ловлю себя на мыслях об Анельке и, пытаясь от них отделаться, напоминаю себе, что она уже не та, что чувства ее направлены теперь, вероятно, на другое и я для нее больше не существую.

Прежде я старался об этом не думать, потому что у меня голова шла кругом. Теперь я порой нарочно думаю об этом, чтобы заглушить голос, который все чаще звучит во мне и спрашивает: «Разве она виновата, что ей навязали этого ребенка? Откуда ты знаешь, что творится в ее душе? Конечно, она женщина и не может не любить ребенка, когда он родится, но кто тебе сказал, что она сейчас не чувствует себя такой же несчастной, как ты?»

Тогда я начинаю думать, что она, быть может, еще несчастнее меня, и в такие минуты мне хочется опять заболеть воспалением легких. Жить с этим хаосом в душе невозможно.

Выздоровливая, я все чаще возвращаюсь в тот же прежний заколдованный круг. Доктор уверяет, что через несколько дней мне уже можно будет ехать. Что ж, и поеду. Здесь слишком близко к Варшаве и Плошову. Быть может, это просто фантазия, но мне кажется, что в Риме, на Бабуино, я обрету душевный покой. Не ручаюсь, что и там не буду думать о прошлом, — вернее всего, буду думать о нем с утра до вечера, но так, как думает о нем монах за монастырской решеткой. Впрочем, не стоит гадать, что будет, — знаю только, что здесь мне не усидеть. По дороге заеду к Ангели: непременно хочу, чтобы в Риме у меня был ее портрет.

2 ноября

Покидаю Берлин. Я раздумал ехать в Рим и возвращаюсь в Плошов. Как-то я писал в своем дневнике: «Она для меня — не только страстно любимая женщина, но и самое дорогое на свете». Так оно и есть! Как бы это ни называлось — невроз или старческое безумие, — мне все равно. Это чувство вошло мне в кровь и в душу. Поеду в Плошов, буду ей служить, заботиться о ней, и в награду хочу только одного — видеть ее каждый день. Не понимаю, как я мог воображать, что буду в состоянии жить, не видя ее. Письмо тети словно осветило мне то, что я таил от самого себя. Вот что пишет она мне в этом письме:

«Я не писала тебе подробно о нас, потому что не могла сообщить ничего радостного, а врать не умею, так что лучше было молчать, чем тревожить тебя, когда ты нездоров. Меня сильно расстраивают дела Кромницкого, и я хочу с тобой посоветоваться. Старый Хвостовский показал мне письмо от сына, тот пишет, что дела Кромницкого в ужасном состоянии и ему грозит судебный процесс. Все его там обманули. Потребовали от него срочной поставки огромной партии товара, и так как времени на это дали очень мало, он не успел проверить качество материала. А материал весь оказался очень плохого качества и забракован, — теперь Кромницкого еще вдобавок обвиняют в мошенничестве и хотят отдать под суд. Дай-то бог, чтобы хоть этого не случилось, тем более что он тут ни в чем не виноват. Разорение все-таки не так страшно, как позор. Я совсем потеряла голову: не знаю, что делать, как его спасти? Боюсь рисковать теми деньгами, которые предназначала для Анельки, а между тем необходимо хотя бы избавить его от суда. Жду твоего совета, Леон, при твоём уме ты сможешь что-нибудь придумать. Ни Целине, ни Анельке я не сказала ни слова, ведь обе они нездоровы. Особенно Анелька меня ужасно тревожит. Ты представить себе не можешь, что с ней делается. Целина — хорошая женщина, но она всегда была черес-

чур prude¹ и в этом же духе воспитала дочь. Не сомневаюсь, что Анелька будет отличной матерью, но сейчас меня иной раз даже зло берет, как на нее погляжу. Когда выходишь замуж, надо быть готовой к последствиям, Анелька же в таком отчаянии, как будто беременность — это позор. Каждый день замечаю на ее лице следы слез. Жалко смотреть на ее похудевшее лицо, синие круги под глазами. А в глазах у нее — какая-то боль и стыд, и всегда кажется, что она сейчас расплачется. В жизни своей не видела, чтобы женщина так тяжело переживала свое положение. Пробовала ее уговаривать, бранить — ничего не помогает. То ли я ее слишком люблю, то ли под старость уже не хватает у меня энергии. Притом это такая добрая девочка! Если бы ты знал, как она каждый день расспрашивает о тебе: не было ли письма, здоров ли, куда думаешь ехать, долго ли еще пробудешь в Берлине? Она знает, что я люблю поговорить о тебе, и целыми часами готова вести со мной такие разговоры. Молю бога, чтобы он сжалился над ней и дал ей силы перенести ту беду, которая ее ожидает. Я так боюсь за ее здоровье, что не решаюсь ни единым словом намекнуть на неудачи ее мужа. Но ведь рано или поздно она все узнает. Целине я тоже ничего не говорю, ее и без того убивает состояние Анельки, и она не может понять, почему Анелька так трагически относится к своей беременности».

Почему? Один я это понимаю, я один мог бы ответить на этот вопрос. И потому я возвращаюсь в Плошов.

Нет, не беременность свою она переживает трагически, а мое бегство, мое отчаяние, о котором догадывается, разрыв наших отношений, которые стали ей дороги с тех пор, как после стольких усилий и страданий она наконец сумела их сделать чистыми. Я сейчас как бы вхожу в ее сердце и думаю за нее. Ее трагедия стоит моей. Со времени моего возвращения на родину любовь в этой необычайно честной душе боролась с чувством долга. Она хотела остаться чистой и верной тому, кому дала клятву верности, так как ей противны ложь и грязь. Но вместе с тем она не могла противиться своему чувству к человеку, которого любила первой любовью, который к тому же был подле нее, любил ее и был несчастлив.

Месяцы проходили в страшном внутреннем разладе. Когда же, наконец, настало успокоение и ей уже казалось, что любовь преобразилась в мистический союз душ, не нарушающий ни чистоты мыслей, ни ее верности мужу, все вдруг рухнуло и она осталась одна, с такой же пустотой впереди, как и у меня. Вот она, причина ее отчаяния!

Я теперь читаю в ее душе, как в открытой книге, — и потому еду в Плошов.

Понимаю я теперь и то, что, вероятно, не покинул бы ее, если бы был твердо уверен, что ее любовь ко мне выдержит вся-

¹ чрезмерно стыдлива (фр.).

кие испытания. Даже животная ревность, наполняющая сердце яростью, а воображение — отвратительными картинами близости любимой с другим, не смогли бы оторвать меня от этой женщины, в которой заключается для меня весь мир. Но я думал, что этот ребенок еще до того, как появится на свет, завладеет ею целиком, сблизит ее с мужем, а меня навсегда вычеркнет даже из ее памяти.

Я не обманываюсь: знаю, что не буду больше для нее тем, чем был, а главное — тем, чем мог бы стать, если бы не роковое стечение обстоятельств. Я мог стать для нее единственным дорогим человеком, связывающим ее с жизнью и давшим ей счастье, а теперь этого не будет. Но пока в ней теплится хоть искра чувства ко мне, я не уйду от нее, потому что уйти нет сил, да и некуда.

Итак, я вернусь, начну раздувать эту искру и согреваться ею. Иначе я замерзну окончательно.

Перечитываю письмо тети: «Если бы ты знал, как она каждый день расспрашивает, не было ли письма от тебя, здоров ли ты, долго ли пробудешь в Берлине...» — и насытиться не могу этими словами, как умирающий с голоду, которому кто-то неожиданно принес кусок хлеба: ест, и плакать ему хочется от благодарности. Может, бог наконец сжалился надо мной?

Чувствую, что за последние дни я уже переменялся и прежний Леон замер во мне. Не буду больше восставать против ее воли, все вынесу, успокою ее, утешу и даже выручу ее мужа...

4 ноября

Я решил остаться в Берлине еще на два дня. Это — жертва, так как мне не терпится ехать в Плошов, но нужно было сперва известить письмом о своем приезде. Телеграмма могла бы напугать Анельку, и мое неожиданное появление — тоже. Я написал тете веселое письмо и в конце его послал сердечный привет Анельке, как будто между нами ничего не произошло. Я хочу дать ей понять, что примирился со своей участью и возвращаюсь к ней таким, каким был.

А тетя, наверное, тайне надеялась, что я приеду.

Варшава, 6 ноября

Я приехал сегодня утром. Предупрежденная моим письмом тетюшка ожидала меня в Варшаве.

В Плошове все довольно благополучно, Анелька стала спокойнее. От Кромницкого за последнее время не было никаких вестей.

Бедная тетя, увидев меня, вскрикнула: «Боже, Леон, что с тобой случилось?» Она не знала, что я болел воспалением легких, а я от долгой болезни, видно, очень исхудал. Кроме того, волосы на висках совсем поседели, так что я даже подумываю, не

подкрасить ли их. Не хочу теперь ни стареть, ни выглядеть постаревшим.

Да и тетя за последнее время сильно изменилась. Ведь не так давно мы с ней расстались, а я нашел в ней за это время большую перемену. Лицо ее утратило прежнее решительное выражение, а вместе с тем и свою подвижность. Мне сразу бросилось в глаза, что голова у нее стала немного трястись, это особенно заметно, когда она внимательно слушает. Я с беспокойством стал допытываться, здорова ли она, а она ответила со свойственной ей прямоотой:

— После Гаштейна я чувствовала себя прекрасно, но теперь все идет под гору... Чувствую, что близок мой час.

И, помолчав, прибавила:

— Все Плошовские кончают параличом,— и у меня теперь левая рука по утрам немеет... Ну, да все в божьей воле, что об этом толковать!

Больше она не хотела говорить на эту тему, и мы стали совещаться, как помочь Кромницкому. Решили не допустить, чтобы его отдали под суд, чего бы это нам ни стоило. Спасти его от банкротства мы могли бы только ценой собственного разорения, а на это пойти нельзя было, чтобы не губить Анельку. И я придумал план избавить Кромницкого от суда, заставить вернуться на родину и заняться хозяйством в деревне. Я внутренне содрогался при мысли, что он теперь всегда будет жить под одной крышей с Анелькой, но, чтобы мое самоотречение было полным, решил испить и эту чашу до дна.

Тетя намерена отдать ему один из своих фольварков близ Плошова, а я дам нужный для хозяйства капитал, и все это вместе будет приданым Анельке. Но Кромницкий должен будет дать обещание навсегда прекратить свои коммерческие спекуляции. А пока мы пошлем к нему на выручку одного из здешних адвокатов, снабдив его средствами, нужными для прекращения судебного процесса.

Покончив с этим вопросом, я стал расспрашивать тетю об Анельке. Тетюшка рассказывала о ней подробно и охотно, сообщила между прочим, что она уже очень переменилась и подурнела. Это только усилило мою нежность и жалость к Анельке. Ничто теперь уже не может оттолкнуть меня от той, что мне дороже всех на свете.

Я хотел сегодня же, сразу после нашего семейного совета, ехать в Плошов, но тетюшка объявила, что очень устала и хочет почевать в Варшаве. Так как я ей признался, что болел воспалением легких, то подозреваю, что она осталась здесь нарочно, чтобы я не ехал в такую погоду. Ведь сегодня с утра льет дождь.

Итак, сегодня ехать не удалось, да и завтра выберемся, вероятно, только к вечеру. Дело Кромницкого не терпит отлагательства. Надо завтра же переговорить с каким-нибудь адвокатом и как можно скорее отправить его на Восток.

Мы приехали в Плошов в семь часов вечера. Сейчас уже полночь, и все в доме спят. Слава богу, встреча не слишком взволновала Анельку. Она вышла ко мне смущенная, неуверенная, видно было, что ей неловко, и в глазах ее я прочел стыд и что-то, похожее на страх. Но я заранее дал себе слово, что буду держаться так непринужденно и естественно, словно мы расстались только вчера. И благодаря моим усилиям в нашей встрече не было и тени торжественности, ничего похожего на примирение, прощение и так далее. Увидев Анельку, я быстро подошел, протянул ей руку и воскликнул почти весело:

— Здравствуй, милая, как поживаешь? Я так соскучился по вам всем, что отложил свое морское путешествие.

Анелька сразу поняла, что ради ее спокойствия я самоотверженно решил примириться со всем и вернуться к ней. На мгновение ее лицо выразило такое глубокое волнение, что я испугался: казалось, она не сможет с ним совладать. Она хотела что-то сказать — и не могла, только крепко пожала мне руку. Я думал, что она сейчас расплчется, и, чтобы дать ей успокоиться, поспешно продолжал тем же веселым тоном:

— Ну, как портрет? Ведь, когда ты уезжала, голова была уже написана, правда? Но Ангели его пришлет не скоро — он мне сам говорил, что это будет его шедевром. Он, вероятно, выставит его в Вене, в Мюнхене и в Париже. Хорошо, что я заказал второй экземпляр, иначе нам пришлось бы ждать еще с год. Ну, и, кроме того, мне тоже хочется иметь твой портрет.

Что бы ни происходило в душе Анельки, ей пришлось отвечать мне в тон, а тут еще в разговор вмешались тетя и панн Целина. Так прошли первые минуты. Все, что я говорил, имело целью замаскировать то, что оба мы переживали.

И весь вечер я не выходил из взятой на себя роли, хоть и чувствовал, что меня пот прошибает от этих усилий над собой. Я был еще очень слаб после недавней болезни, и, кроме того, так трудно было держать себя в руках! За ужином я видел, с какой тревогой и волнением Анелька поглядывает на мое бледное лицо и поседевшие виски; она, должно быть, поняла, что я пережил. Но я и о моих берлинских злоключениях рассказывал почти шутливо. При этом я старался не смотреть на ее изменившуюся фигуру, чтобы не дать ей почувствовать, что перемена эта меня поразила. К концу вечера я уже несколько раз был близок к обмороку, но превозмог себя, и Анелька могла читать в моих глазах только спокойствие, глубокую нежность и полнейшее примирение со своей участью. Она очень чутка, все понимает и угадывает, но на этот раз я превзошел себя, держался так естественно и непринужденно, чтобы она могла в конце концов поверить, что я решил примириться с неизбежным. Если даже в душе ее и оставались сомнения на этот счет, зато в одном я убедил ее окон-

чительно: что я люблю ее, как любил, и что она всегда останется для меня прежней обожаемой Анелькой.

Я видел, что у нее потеплело на душе. И поистине мог гордиться собой, так как сразу внес луч радости в этот дом, где царило такое унылое настроение. И тетя и пани Целина это оценили. Когда я желал им доброй ночи, пани Целина сказала:

— Слава богу, что ты приехал. Теперь нам будет веселее. Анелька же, нежно пожимая мне руку, спросила:

— Ты поживешь с нами подольше, не скоро уедешь?..

— Нет, Анелька, никуда больше не уеду,— ответил я ей. И ушел — вернее, убежал к себе наверх, чувствуя, что больше не выдержу. В этот вечер я так остро ощутил свое несчастье, что еще и сейчас меня душат слезы. Есть малые отречения, которые обходятся нам дороже самых больших.

8 ноября

Почему я так часто твержу себе, что эта женщина мне дороже всего на свете? Да потому, что действительно надо любить ее больше жизни, и не только как женщину, но и как дорогого, близкого человека, чтобы не бежать от нее при таких обстоятельствах. Я уверен, что от всякой другой меня оттолкнуло бы уже одно физическое отвращение, а вот эту я не оставил и не оставляю. И снова мне приходит на мысль, что любовь моя — своего рода болезнь, какая-то нервная аномалия, и будь я нормальным и здоровым человеком, я не мог бы любить так. Современный человек, все объясняющий неврозом и все анализирующий, лишен даже того утешения, какое может дать сознание своей верности. Ибо, когда говоришь себе: «Верность твоя и постоянство — болезнь, а не заслуга», — в душе остается только горечь. Если, осознавая такие вещи, люди все больше отравляют себе жизнь, — зачем мы так стремимся к самоанализу?

Только сегодня, при дневном свете, я разглядел, как сильно изменилось даже лицо Анельки, — и сердце у меня рвется на части. Губы у нее распухли, лоб, прежде такой безупречно красивый, утратил чистоту линий. Тетя была права — от красоты Анельки почти не осталось следа, только глаза прежние. Но мне и этого довольно. Ее изменившееся лицо только усиливает во мне нежность и жалость и словно стало мне еще милее. Хотя бы она еще в десять раз больше подурнела, я любить ее не перестану. Если это болезнь, — пусть будет так. Я не желаю от нее выздороветь, лучше умереть от такой болезни, чем от всякой другой.

9 ноября

Придет время, беременность кончится, и красота ее вернется. Сегодня, думая об этом, я задавал себе вопрос: как же сложатся наши отношения в будущем, изменятся ли они? Я уверен, что

нет. Я уже знаю, что значит жить без нее, и не сделаю ничего такого, что заставило бы ее меня оттолкнуть, — а она останется такой, как была. Теперь я уже ничуть не сомневаюсь, что я ей нужен, но никогда она даже в душе не назовет своего чувства ко мне иначе, чем большой сестринской привязанностью. Чем бы это чувство ни было в основе своей, — для нее оно будет оставаться всегда идеальной близостью душ, а значит — чем-то дозволенным, возможным и между родственниками. Если бы не это, она снова начала бы борьбу со своим чувством ко мне.

Да, на этот счет я не создаю себе никаких иллюзий. Как я уже говорил, наши отношения стали ей дороги с того времени, как они изменились и она поверила в их чистоту. Пусть же они такими и останутся, только бы она не перестала дорожить ими!

10 ноября

Как неверно мнение, будто в наше время люди стали менее чувствительны. Я вот думаю иногда как раз обратное. Ведь, когда у человека вместо двух осталось только одно легкое, он поневоле дышит им усиленно. А у нас, современных людей, отнято то, чем прежде жил человек, остались только нервы, более издерганные и впечатлительные, чем у прежних людей. Если нехватка красных шариков в крови делает и чувства наши болезненными, ненормальными, — то ведь тем трагичнее наши переживания. Трагедия наших душ страшнее потому, что прежде человек, которому не повезло в любви, мог находить утешение в религии или в сознании своего общественного долга. Нам же эти утешения уже недоступны. Прежде тормозом для бурных страстей была воля, характер. Теперь сильные характеры встречаются все реже и должны исчезнуть под влиянием разлагающего нас скептицизма. Он, как бацилла, источил человеческую душу, ослабил и уничтожил ее сопротивляемость физиологическим прихотям нервов, которые в довершение всего у нас больные. Современный человек все осознает и анализирует, но бессилен что-либо изменить.

11 ноября

От Кромичского довольно давно нет никаких вестей, даже Анельке он не пишет. Я известил его телеграммой о выезде адвоката, затем написал письмо, но все адресовал наугад: как знать, где он сейчас находится? Конечно, и письмо и телеграмма в конце концов дойдут до него, но когда — неизвестно. Старик Хвастовский написал сыну. Может быть, он раньше нас получит ответ.

Я теперь целые часы провожу с Анелькой, — и никто нам не мешает, даже пани Целина: мы с тетей объяснили ей истинное положение вещей, и она просила меня как-нибудь подготовить Анельку к тем вестям, которые не сегодня-завтра могут прийти от Кромичского. Я уже говорил Анельке, что затеи ее мужа могут

кончиться плохо, но подчеркнул, что это только мое личное предположение. Я сказал, что, если даже Кромницкий все потеряет, не надо принимать этого близко к сердцу, что это в некотором смысле будет самый лучший исход, так как она заживет наконец без тревог. Я совершенно успокоил ее относительно моих денег, одолженных Кромницкому, заверив, что они никак пропасть не могут. А в заключение упомянул и о планах тетушки. Анелька выслушала меня довольно спокойно. Ее поддерживает главным образом сознание, что она среди людей, любящих ее, а таких людей подле нее достаточно. Никакими словами не выразить, как я теперь люблю ее,— и она это видит, читает по моему лицу. Когда мне удастся ее развеселить, вызвать у нее улыбку, я испытываю такую радость, что сердце не вмещает ее. В моей любви к Анельке есть сейчас что-то от слепой преданности слуги к обожаемой госпоже. Я испытываю по временам непреодолимую потребность смиренно покоряться ей, чувствую, что мое место — у ее ног. Пусть она подурнеет, изменится, постареет — для меня она всегда останется прежней, от нее я все приму, на все соглашусь, и ничто не изменит моего обожания.

12 ноября

Кромницкого нет больше в живых! Катастрофа поразила нас всех как громом. Дай бог, чтобы с Анелькой, когда она узнает, не случилось чего плохого в ее положении! Сегодня пришла телеграмма, что Кромницкому, обвиненному в мошенничестве, грозила тюрьма и он покончил с собой. Чего угодно, а этого я от него не ожидал...

Итак, Кромницкий умер, Анелька свободна! Но как она перенесет это? Телеграмма получена несколько часов назад, а я все еще то и дело ее перечитываю, и мне кажется, что это сон, я не смею верить своим глазам, хотя подпись Хвастовского на телеграмме — ручательство, что все это правда. Я знал, что добром эта история не кончится, но никак не думал, что конец будет такой внезапный и трагический. Нет, ничего подобного мне и на ум не приходило,— и меня точно обухом по голове хватило. Если и сейчас у меня не помутится рассудок, значит, все могу выдержать. Совесть моя чиста — я и в первый раз помог Кромницкому и недавно послал ему на выручку адвоката. Правда, было время, когда я от всей души желал ему смерти, но, несмотря на это, я пытался спасти его — и в этом моя заслуга. И вдруг смерть унесла его не вследствие моих усилий, а вопреки им,— и Анелька свободна! Странно — я это знаю, но еще не вполне в это верю. Хожу как во сне. Кромницкий был мне чужой, и притом самой главной помехой в моей жизни. Помехи этой больше нет, так что мне бы радоваться без меры, а я не могу, не смею радоваться,— быть может, потому, что страшно боюсь за Анельку. Первой моей мыслью по прочтении телеграммы было: как Анелька перенесет эту весть, что будет с ней? Храни ее бог! Она этого человека не лю-

била, но в ее положении потрясение может убить. Я уже подумываю о том, как бы ее увезти отсюда.

Какое счастье, что телеграмму мне передали у меня в комнате, а не в столовой или гостиной! Не знаю, удалось ли бы мне скрыть свое волнение. Некоторое время я не мог прийти в себя. Наконец сошел вниз, к тетушке, но и ей не сразу показал телеграмму, сказал только:

— Я получил очень дурные вести о Кромницком.

— Какие? Что случилось?

— Вы не пугайтесь, тетя...

— Он уже попал под суд? Да?..

— Нет... Хуже... Он уже перед судом, но не человеческим... Тетя заморгала глазами.

— Что такое ты говоришь, Леон?

Тут я протянул ей телеграмму. Прочитав ее, она не сказала ни слова, отошла к навою и, опустившись на колени, закрыв лицо руками, начала молиться. А помолвившись, встала и сказала:

— Анельке это может стоить жизни. Что нам делать?

— Надо, чтобы она ничего не узнала, пока не родит.

— Но как от нее скрыть? Об этом все будут говорить, да и в газетах... Как тут ее уберечь?

— Тетя, дорогая, я вижу только один выход. Надо вызвать врача — и пусть он предпишет Анельке уехать, сказав, что этого требует состояние ее здоровья. Тогда я увезу ее и пани Целину в Рим, — у меня там свой дом, и я сделаю так, чтобы никакие вести до нее не дошли. А здесь это будет трудно, особенно когда наши люди узнают...

— Но сможет ли она ехать в таком состоянии?

— Не знаю. Это решит доктор. Я еще сегодня его привезу.

Тетя одобрила мой план. Да ничего лучше и в самом деле нельзя было придумать. Мы решили посвятить пани Целину в тайну для того, чтобы она поддержала нас. Прислуге было строго приказано не передавать Анельке никаких вестей, а газеты, телеграммы и все письма относить прямо ко мне в комнату.

Тетя долго ходила как оглушенная. По ее понятиям, самоубийство — тягчайший из грехов, какие человек может совершить. Поэтому к чувству сожаления о покойнике у нее примешивается ужас и негодование. Она каждую минуту твердит: «Он не должен был так поступить, ведь знал же, что скоро станет отцом!» А я допускаю, что он так и не узнал этого. В последнее время он, вероятно, метался как в лихорадке, переезжая с места на место, как этого требовали его запутанные дела. Я не решаюсь его осуждать и, откровенно говоря, не могу отказать ему в некотором уважении. Иные люди после того, как они справедливо осуждены за всякие мошенничества или злоупотребления, распивают шампанское даже в тюрьме, ведут веселую жизнь. А Кромницкий до такого падения не дошел — он решил смертью смыть с себя незаслужен-

ный позор. Может, он помнил, кто он. Я меньше жалел бы его, если бы он покончил с собой только из-за разорения. Но думается, что и это одно могло довести его до самоубийства. Помню, какие мысли он высказывал в Гаштейне. Если моя любовь — невроз, то уж несомненно его лихорадка наживы была тем же. И когда он потерпел поражение, потерял почву под ногами, он увидел перед собой такую же бездну и пустоту, как я, когда бежал от Анельки в Берлин. После этого что могло его остановить? Мысль об Анельке? Но он был уверен, что мы ее не оставим, и к тому же — кто знает? — быть может, чувствовал, что не очень любим ею. Как бы то ни было, а я ошибался в нем, считал его ничтожнее, чем он был в действительности. Да, не ожидал я от него такого мужества — и, признаюсь, был несправедлив к нему.

Я было уже отложил перо, но снова берусь за него: все равно, о сне нечего и мечтать, а когда пишешь, немного успокаиваешься, так авось уляжется бешеный вихрь мыслей в моей голове. Анелька свободна, свободна! Я повторяю эти слова без конца, но еще не постиг всего их значения. Мне кажется, что я с ума сойду от радости, — но тут же меня охватывает какой-то непонятный страх. Неужели и вправду начинается для меня новая жизнь? Что это — ловушка, расставленная мне судьбой, или бог смиловался надо мной за то, что я так тяжело страдал и так любил? Или, может, есть такой закон бытия, мистическая сила, отдающая женщину тому мужчине, кто сильнее всех ее любит, чтобы исполнился извечный закон создания жизни? Не знаю. Я только испытываю такое ощущение, словно меня и всех вокруг несет мощная волна, в которой тонет всякая человеческая воля и все человеческие усилия...

Меня оторвали от дневника — вернулся экипаж, посланный за доктором. Доктор не приехал: у него сегодня операционный день. Обещал приехать завтра утром. Я добьюсь, чтобы он оставался в Плошове до нашего отъезда и сопровождал нас в Рим. А в Риме найдутся другие.

Поздняя ночь. Анелька спит, не подозревая, что над ней нависло, какая огромная перемена произошла в ее судьбе. Хоть бы эта перемена принесла ей счастье и покой! Она заслужила их. Может, это над ней, а не надо мной сжалился господь?

Нервы мои так напряжены, что пугает каждый звук, — как услышу собачий лай из деревни или трещотку ночного сторожа, мне уже кажется, что это пришла какая-то новая весть и может дойти до Анельки.

Пытаясь успокоиться, я эту странную тревогу, которая меня одолела, объясняю страхом за Анельку. Твержу себе, что, если бы не ее беременность, мне нечего было бы бояться, что страхи мои пройдут, как проходит все, и начнется новая жизнь.

Мне еще нужно привыкнуть к мысли, что Кромницкий умер. Эта катастрофа принесет мне счастье, о котором я и мечтать не

смел. Но есть в нас какое-то нравственное чувство, запрещающее радоваться смерти ближнего, даже смерти врага. Притом самый факт смерти внушает ужас. У гроба люди всегда говорят шепотом. Вот почему я не смею радоваться.

13 ноября

Все мои планы рушатся. Утром приехал врач и, осмотрев Анельку, сказал нам, что о путешествии не может быть и речи, это было бы опасно для ее жизни. Он нашел у нее какие-то осложнения. Что за мученье слушать эти медицинские термины, каждый из них словно грозит смертью моей любимой. Я рассказал доктору, в каком мы положении. На это он ответил, что из двух зол выбирают меньшее.

Больше всего меня возмутил и ужаснул его совет подготовить Анельку и сообщить ей о смерти мужа. К сожалению, должен признать, что рассуждает он довольно разумно. Вот что он нам сказал: «Если вы совершенно уверены, что сумеете устроить так, чтобы эта весть не дошла до пани Кромницкой в течение нескольких месяцев, тогда, конечно, лучше ей ничего не говорить. Но если не уверены, — лучше будет осторожно подготовить ее и затем сообщить, потому что внезапное потрясение может вызвать вторую катастрофу».

Как быть? Допустим, что я устрою вокруг Плошова настоящий кордон, не буду подпускать близко ни человека, ни письма, ни газет, объясню всей прислуге, что говорить, даже как смотреть... Какое впечатление производят такого рода вести даже на человека, к ним подготовленного, я сегодня имел случай убедиться, когда нам пришлось наконец сказать правду пани Целине. Она дважды падала в обморок, и у нее начались спазмы. Я чуть с ума не сошел от страха, что весь дом услышит ее стоны. А ведь она не так уж любила зятя. Ее тоже больше всего ужасает мысль, что будет с Анелькой.

Я всячески прогивлюсь предложению врача и, думается, никогда на него не соглашусь. Я не могу им сказать того, что знаю я один: Анелька не любила мужа, и тем сильнее потрясет ее известие о его смерти. Скорбь об умершем дорогом человеке не так тяжела, как угрызения совести. Анельку же будет мучить мысль, что если бы она любила мужа, то он больше дорожил бы жизнью. Несправедливые, напрасные, неосновательные упреки! Ведь то, что зависело от ее воли, она заставила себя сделать — отвергла мою любовь и осталась чиста и верна мужу. Но, зная эту душу, столь требовательную к себе, я понимаю, как она будет терзаться и тотчас станет спрашивать себя, нет ли какой-то связи между скрытой в ее душе жаждой свободы и смертью ее мужа, не соответствует ли эта смерть ее тайным желаниям, в которых она не смела себе сознаться. У меня волосы встают дыбом, когда я об этом думаю. Ведь смерть Кромницкого действительно

открывает перед Анелькой новую жизнь, — так что ее ждет двойное потрясение, два удара грома разразятся над бедной дорогой голвкой... И этого не знают ни доктор, ни тетя, ни пани Целина.

Нет, Анелька не должна ничего узнать до самого конца. Какое несчастье, что ей нельзя никуда уехать! Здесь будет трудно, вряд ли даже возможно уберечь ее: она по лицам окружающих угадает, что случилось. Любое слово или взгляд могут привлечь ее внимание и вызвать подозрения. Вот, например, сегодня ее удивил неожиданный приезд доктора, и (как сказала мне ее мать) она стала допытываться, зачем его пригласили и не грозит ли ей какая-нибудь опасность. К счастью, тетя нашлась и ответила, что женщине в таком положении всегда нужно время от времени советоваться с врачами. Анелька так неопытна, что сразу ей поверила.

Но как, например, воздействовать на наших людей, чтобы они не делали таинственных мий? А они уже и сейчас догадываются кое о чем именно из-за моих наказов и предостережений, и, конечно, скоро узнают о случившемся. Но не могу же я разогнать всех слуг?

Кроме того, Анельку может павести на подозрения и то, что так часто приходят телеграммы. Сегодня я получил вторую телеграмму из Баку, от Хвастовского, — спрашивает, как поступить с телом покойного. Я ответил, чтобы он пока похоронил его там на месте. А старого Хвастовского попросил съездить в Варшаву и оттуда отправить мою телеграмму, а также перевести сыну деньги на расходы. Но я даже не знаю, можно ли из Варшавы в Баку переводить деньги по телеграфу.

13 ноября

Просматривал вчерашние газеты. В двух из них напечатано сообщение по телеграфу о смерти Кромницкого. Неужели это сделал молодой Хвастовский? С ума он сошел, что ли? Слуги наши знают уже все. Лица у них такие, что удивительно, как Анелька еще ничего не замечала. За обедом она была весела и необычно оживленна. Меня немного успокаивает только присутствие в доме врача. Смерть Кромницкого его ничуть не трогает, и он беседует с Анелькой, шутит с нею, учит ее играть в шахматы. А вот пани Целина — та приводит меня в отчаяние! Сегодня, например, чем веселее становилась Анелька, тем физиономия ее матери принимала все более похоронное выражение. За это я даже отчитал пани Целину — и, пожалуй, слишком сурово.

14 ноября

Мы все в Варшаве. Прпехали сюда по совету доктора. Анельке сказано, что в Плошове у нас будут ставить калориферы и потому надо на несколько недель освободить дом. Дорога ее очень

утомила, погода скверная, но я доволен тем, что мы в Варшаве, — здешние мои слуги надежнее. В доме некоторый беспорядок, повсюду лежат распакованные, но не повешенные еще картины. Анелька, несмотря на усталость, захотела их посмотреть, и я взял на себя роль экскурсовода. При этом я сказал ей, что моя заветная мечта — когда-нибудь быть ей гидом в Риме, а она ответила с легкой грустью:

— Я тоже мечтаю увидеть Рим, но иногда мне кажется, что я так никогда и не побываю там.

У меня сердце сжалось — все теперь меня пугает, родит предчувствия, в каждом слове я готов увидеть пророчество. Но я ответил Анельке веселым тоном:

— А я тебе клятвенно обещаю, что ты туда поедешь, и притом надолго.

Удивительно быстро человек осваивается с каждым положением и со своими новыми правами: я уже невольно считаю Анельку своей и берегу ее, как свою собственность.

А ведь доктор был прав, и хорошо, что мы перебрались в Варшаву. Во-первых, здесь легче получить всякого рода помощь; во-вторых, здесь можно не принимать визитеров, в Плошове же было бы невозможно давать приезжим гостям «поворот от ворот». А всякие знакомые, несомненно, стали бы приезжать, чтобы выразить нам соболезнование. И, наконец, в Плошове уже создавалась такая унылая и полная таинственности атмосфера, что все мои усилия придавать разговорам веселый тон казались поразительно неуместными. Возможно, этого не избежать и в Варшаве. Но здесь по крайней мере Анельку будет отвлекать и занимать тысяча различных впечатлений, которыми полна городская жизнь, тогда как в Плошове от ее внимания не укрылась бы малейшая перемена в настроении окружающих.

Она здесь не будет выходить из дому одна и вообще будет выходить редко. Правда, врач велит ей побольше гулять, но я и тут нашел средство: за конюшнями у меня довольно большой сад, и к нему примыкает галерея. Я велю эту галерею застеклить, и она будет служить Анельке местом прогулок зимой и особенно в ненастные дни.

Ужасно мучителен этот нависший над нами постоянный страх.

15 ноября

Как это случилось? Почему ей пришло в голову подозрение? Не могу понять. Но оно пришло. Сегодня за завтраком она вдруг подняла глаза и, обводя нас всех испытующим взглядом, сказала:

— Не знаю, почему мне кажется, что вы от меня что-то скрываете.

Я почувствовал, что бледнею. Пани Целина вела себя самым недопустимым образом. И только милая, славная моя тетюшка не растерялась и сказала ворчливо:

— Как же, как же! Мы скрывали от тебя до сих пор, что считаем тебя дурочкой, но больше этого скрывать не станем. Вот, например, вчера Леон говорил, что ты никогда не научишься играть в шахматы, потому что тебе не хватает сообразительности.

Я, разумеется, немедленно ухватился за эту тему и стал шутить, смеяться. Анелька ушла к себе как будто успокоенная, но я был уверен, что нам не вполне удалось рассеять ее подозрения, а моя веселость могла показаться ей притворной. И тетя и пани Целина были ужасно испуганы, а я — попросту в отчаянии: мне сразу стало ясно, как безнадежны наши старания надолго сохранить все в тайне. Сейчас Анелька, быть может, подозревает нас только в том, что мы скрыли от нее какие-то денежные затруднения Кромницкого, но что будет, когда пройдет неделя, две, месяц, а она не получит ни одного письма от мужа? Что мы тогда ей скажем? Чем объясним его молчание?

Около полудня пришел доктор. Мы тотчас рассказали ему, что произошло, и он повторил прежний свой совет — сообщить Анельке всю правду.

— Ведь пани Кромницкая, не получая от мужа писем, начнет скоро тревожиться и будет строить самые худшие предположения, — говорил он.

Но я хотел еще на некоторое время оттянуть эту развязку и возразил, что именно беспокойство и подготовит Анельку к печальной вести.

— Да, — сказал доктор, — но длительные волнения — плохая подготовка организма к тому испытанию, которое ему предстоит. Тем более что роды, вероятно, и при благоприятных условиях будут не очень-то легкие.

Быть может, он и прав, но сердце у меня так и замирает от страха. Все имеет границы, и мужество человеческое — тоже. Что-то во мне отчаянно противится такому решению, и внутренний голос твердит «нет!». Но тетя и пани Целина уже почти решились завтра все сказать Анельке. Не буду больше вмешиваться... Я понятия не имел, что возможно *так* чего-либо страшиться. Но ведь это естественно — дело идет об Анельке.

16 ноября

До вечера все было благополучно, а вечером внезапно началось кровотечение. Ведь я говорил!..

Три часа ночи. Она только что уснула. Доктор дежурит около нее. Надо взять себя в руки и сохранять спокойствие. Надо! Это ради нее — должен же хоть один человек в доме не терять головы.

17 ноября

Доктор говорит, что «первый период болезни протекает правильно». Как это понимать? Неужели это значит, что она умрет?

Температура у нее невысокая. Говорят, так всегда бывает первые два дня. Анелька в полном сознании. Слаба, но не очень страдает. Доктор предупредил нас, что температура может дойти до сорока градусов и начнутся сильные боли, беспамятство, отек ног. Да, вот что он сулит! Эх, пропади все пропадом! Боже, если это — кара за мои грехи, то, клянусь, я уеду, я никогда в жизни не буду пытаться увидеть ее — только спаси ее!

18 ноября

Я до сих пор еще не навестил ее. Дежурю снаружи у ее дверей, но не вхожу — боюсь, как бы ей не стало хуже и не повысилась температура.

Минутами приходит страшная мысль, что я могу сойти с ума и какой-нибудь безумной выходкой убить Анельку. Поэтому я заставляю себя писать и буду писать все дни — мне кажется, это помогает мне держать себя в узде.

19 ноября

Слышал из-за двери ее голос и стоны. При этой болезни боли бывают ужасные. По словам доктора, это — «нормальное явление», а по-моему — слепая жестокость! Тетя говорила мне, что Анелька то и дело протягивает руки, обнимает за шею то ее, то мать и молит спасти ее. А помочь ничем нельзя, хоть бейся головой о стену!

Боли усиливаются. Ноги сильно отекли. Ее мучает тошнота и слабость.

Доктор ничего не обещает, говорит, что все может кончиться плохо, а может и благополучно. Это я и без него знаю. Температура — сорок. Она все время в сознании.

20 ноября

Я уже знаю. Никто мне этого не говорил, но я знаю наверное, что она умрет. Я владею собой и даже спокоен... Анелька умрет! Сегодня ночью, сидя у ее двери, я увидел это так ясно, как сейчас вижу солнце. Бывает такое состояние, когда человек видит вещи, которые и не сняты людям, неспособным сосредоточить все мысли и чувства на чем-нибудь одном. Перед рассветом мне вдруг стала так ясна неизбежность конца, словно кто снял завесу с глаз моих и мозга. Ничто на свете не спасет Анельку. Я знаю это лучше всех врачей. И я перестал метаться. Это не поможет ни ей, ни мне. Приговор нам обоим произнесен. Я ведь не слепой, я вижу, что какая-то сила, всемогущая, как сама жизнь, отрывает нас друг от друга. Что это за сила, как ее назвать — не знаю. Знаю только, что, если упаду на колени, буду биться головой о пол и молиться, я, может быть, мольбами своими сдвину горы, — но *этой* силы не умолю.

Теперь вырвать у меня Анельку могла одна только смерть — и вот Анельке суждено умереть. Если во всем этом и есть своя неумолимая логика — все равно я с разлукой не примирюсь.

21 ноября

Сегодня Анелька пожелала меня видеть. Тетя выслала всех из комнаты — она была уверена, что больная хочет просить меня, чтобы я позаботился об ее матери. Так оно и было. Я увидел мою ненаглядную, любовь мою. Она в полном сознании, глаза блестят, и чувствуется в ней подъем душевных сил. Боли почти утихли. Все признаки беременности исчезли, и лицо ее ангельски прекрасно. Она улыбнулась мне, я тоже улыбнулся в ответ. Со вчерашнего дня я знаю, что нас ожидает, и мне кажется, что я уже мертв, так что внешне я вполне спокоен. Взяв меня за руки, Анелька заговорила о матери. Потом она долго смотрела на меня — словно наглядеться хотела, раньше чем глаза ее угаснут, и сказала:

— Ты не бойся Леон, мне гораздо лучше, но я на всякий случай хочу, чтобы у тебя осталось что-то на память обо мне... Может, нехорошо делать такое признание сразу после смерти мужа, но ведь я могу умереть. Поэтому я хочу тебе сказать, что я тебя очень, очень любила.

— Знаю, моя родная!

Я держал ее руки в своих, и мы смотрели в глаза друг другу. Впервые в жизни она улыбалась мне, как невеста своему избраннику. И я в эти минуты обручался с нею навечно. Нам было хорошо, хотя над нами витала печаль, сильная, как смерть. Я ушел только тогда, когда нам сказали, что приехал ксендз пригласить Анельку. Анелька еще раньше предупредила меня об этом и просила не пугаться, говоря, что, когда человек болен, нужно успокоить душу, и потому она позвала ксендза, а вовсе не потому, что думает о смерти.

Когда ксендз ушел, я вернулся в комнату. Она скоро уснула, утомленная столькими бессонными ночами. Она и сейчас еще спит. А когда проснется, я уже не отойду от ее постели, пока она не уснет опять.

22 ноября

Наступило значительное улучшение. Пани Целлина не помнит себя от радости. Из всей нашей семьи один я знаю, что означает это улучшение. Доктор мог бы и не говорить мне, что это наступает паралич кишечника.

23 ноября

Анелька умерла сегодня утром...

Я мог стать твоим счастьем, а стал несчастьем. Это я — виновник твоей смерти. Будь я другим человеком, не лишенным всего того, что составляет устои жизни, не выпали бы тебе на долю те потрясения, которые убили тебя.

Я это понял уже в последние твои часы на земле и в душе поклялся уйти за тобой. Этот обет я дал у твоего смертного одра, и теперь первый мой долг — быть с тобой.

Твоей матери я оставляю все свое состояние, тетю поручаю милости божией. Пусть она найдет в ней утешение в последние годы своей жизни, а я иду за тобой, ибо так нужно!

Думаешь, я не боюсь смерти? Боюсь, так как не знаю, что там, за гробом. Вижу там только мрак без границ и содрогаюсь. Не знаю, что там ждет нас — небытие или какое-то иное существование вне пространства и времени. Или, может быть, межпланетный вихрь переносит монаду души человеческой со звезды на звезду и вселяет ее во всё новые и новые жизни. Не знаю, царит ли там вечное движение или великий покой, такой безмерный и блаженный, какой только могли создать всемогущество и всеблагость.

Но если тебя убило мое «не знаю», как мне оставаться в этом мире, как жить?

И чем сильнее я боюсь, чем больше не ведаю, что ждет нас там, за гробом, — тем мне яснее, что не могу я отпустить тебя туда одну. Не могу, моя Анелька, — и пойду за тобой.

Пусть мы там вместе канем в небытие или совершим вместе предназначенный нам путь. А здесь, где мы так страдали, оставим по себе только молчание.

ПРИМЕЧАНИЯ

Сенкевич задумал свой роман в начале 1889 года и обещал его варшавской газете «Слово». «Название — это моя слабая сторона, — пишет он 12 февраля 1889 года писателю и критику А. Креховецкому, в то время редактору «Газеты львовской». — «Слово» объявило название «В путях», и Вы можете так обещать. Но не изменю ли я этого названия, не ручаюсь». Писатель начал роман в форме повествования от третьего лица. В процессе работы он изменил заглавие романа и назвал его «Без догмата». Одновременно изменилась форма повествования, роман стал дневником Плошовского. В июне 1890 года роман был окончен.

Роман «Без догмата» печатался в варшавском «Слове» в 1889—1890 годах и тогда же перепечатывался краковским «Часом» и «Дзенником познаньским». Отдельное издание вышло в 1891 году.

После трилогии читатели ждали от Сенкевича романа о современности (об этом писал, например, друживший с писателем К. М. Гурский). Исследователи предполагают, что сыграл свою роль также большой успех романа Б. Пруса «Кукла», печатавшегося в 1887—1889 годах и вышедшего отдельным изданием в 1890 году. «При внимательном чтении «Без догмата», — писал известный критик Анджей Ставар, автор обстоятельной монографии о Сенкевиче, — можно найти в нем не одну реплику в адрес «Куклы».

При сопоставлении романа с близкими по теме произведениями других литератур обычно называют роман П. Бурже «Ученик» (1889) (с которым, правда, Сенкевич познакомился уже в ходе работы над своим произведением, но, возможно, именно под его влиянием проблемы «догмата» взяли в романе верх над историей любви), «Интимный дневник» швейцарца А. Ф. Амьеля¹, изданный после смерти автора в 1883—1884 годах и вызвавший сенсацию в Европе, а также «Евгения Онегина» Пушкина и «Героя нашего времени» Лермонтова.

Надо, однако, иметь в виду, что Плошовский в некотором смысле имел предшественников в творчестве самого Сенкевича: это студент из его повести «Напрасно», Юзефович из драмы «На одну карту», юноша Генрик из повести «Гаяя».

¹ «Я уже кончаю первый том, — пишет Сенкевич Ядвиге Янчевской, сестре своей первой жены, в январе 1890 г., — пришли мне Амьеля... Ты знаешь, что я его еще не читал, и это меня успокаивает, но в любом случае я хочу его прочитать, чтобы хоть на будущее избежать сходства, если оно есть».

Многие исследователи считают, что история генезиса «Без догмата» — это одновременно и история духовной жизни самого писателя.

А. Ставар, говоря о близости автора и героя романа, замечает: «Сенкевич мог бы сказать: «Плошовский — это я», с большим основанием, чем Флобер о своей героине». «Без догмата» представляется исследователю наиболее личной книгой Сенкевича.

Работая над новым произведением, писатель отдавал себе отчет, какая пропасть отделяет его героя от персонажей трилогии. «Те, которые надеются, что найдут здесь каких-нибудь современных Иеремий, Чарнецких и т. д., — писал он Янчевской, — должны будут разочароваться хотя бы потому, что таких людей теперь нет, но те, которые любят размышлять над разными вещами, найдут поле для наблюдений над человеческой душой».

Главную роль в возникновении романа сыграла распространенность в обществе того времени самого типа «бездогматовца», отражающего упадочные тенденции «конца века». Б. Прус в одной из статей 1886 года приводит характерное признание современника: «Я окончил два университета и ничего не делаю в обществе; у меня амбиции Цезаря, но у меня нет даже капельки воли, чтобы одеться без посторонней помощи; у меня большое состояние, а вместе с тем я чувствую себя несчастнейшим из людей, не имея никакой цели в жизни, никакой работы, которая не показалась бы мне слишком трудной, никакого развлечения, которое бы вскоре мне не наскучило... Я совсем не чудовище, а только обычный тип человека моей сферы и нашей эпохи».

По мысли Сенкевича, роман должен был стать «предостережением против всего того, к чему ведут жизнь «без догмата», скептический, утонченный ум, лишенный простоты и точки опоры. Это, правда, не спасет Плошовских, но обратит внимание на причины, которые порождают Плошовских».

Читательское восприятие не вполне соответствовало замыслу Сенкевича. Плошовский породил легион подражателей. Один из современников писателя критик Вл. Рабский писал: «Герой Сенкевича стал модой. Люди начали осознать изображенную писателем психологию и «носить» ее на груди как орденскую ленту, как гербовый знак духовной аристократии».

Подобный тип, как порождение «болезни века», появляется и в многочисленных литературных произведениях. Александр Маньковский написал роман «Граф Август», а после «Без догмата» были написаны романы «В нервный век» Лео Бельмонта, «В силках» Теодора Еске-Хоинского, «Мгла» Мариана Гавалевича, «Самые молодые» Адама Креховецкого и др. К этому же типу произведений относятся рассказы Элизы Ожешко из сборника «Меланхолики» и роман «Два полюса».

«В этом романе нет никакой условности, — пишет Сенкевич в ходе работы над «Без догмата». — Дневник местами производит впечатление не литературного произведения, а чего-то совершенно реального, что действительно имело место. Конечно, будут мнения за и против, хотя бы потому, что вещь эта новая, хотя бы потому, что она так нетрадиционна».

Сенкевич не ошибся. Действительно, роман вызвал споры, в которых, пожалуй, было больше голосов против, чем за. Консерваторы были недовольны тем, что роман недостаточно дидактичен, «Он всюду и везде худож-

ник, даже там, где хотел бы быть моралистом», — писал о Сенкевиче ксендз Гпатовский. Ортодоксальным католикам не по душе была симпатия, с которой изображался главный герой, самоубийца.

Критики либерально-прогрессивной ориентации были недовольны антипозитивистской направленностью произведения, критикой материализма. Некоторые из них ставили под сомнение «догматы», силу которых утверждал Сенкевич. Многие считали, что симпатии автора к Плошовскому фактически перечеркнула его критику и привела к неверному прочтению романа. Не снискала одобрения критиков-прогрессистов и героиня романа.

В целом роман «Без догмата» не был оценен по достоинству польскими критиками того времени. «Они не могли подняться до справедливой оценки, — пишет современный исследователь, — не понимали, что имеют дело с талантливым психологическим романом... Ни один из героев польской литературы не вызвал столько ложных, необоснованных и противоречащих друг другу суждений, как Плошовский. «Нигилист», «декадент», «обольститель» и тому подобные эпитеты... Роман «Без догмата» не дождался в Польше заслуженного признания».

Сенкевич имел возможность сопоставить замечания польских критиков с зарубежными отзывами. «Роман в переводах имеет огромный успех», — писал он Э. Любовскому. В другом письме — из Австрии: «Роман имеет здесь во сто раз больший успех, чем у нас. То же самое и в Германии».

Высокую оценку получил роман «Без догмата» в русской критике того времени. Он заслужил одобрительные отзывы многих русских писателей. Р. Левенфельд в своей книге «Беседы с Львом Толстым» рассказывает, как он в доме Толстого наблюдал чтение номера журнала «Русская мысль», где печаталось продолжение «Без догмата»: «Сейчас же дочери Толстого набросились на этот номер, поскольку все, не исключая Толстого, этот роман читали... Толстой сказал: роман... нравится мне чрезвычайно. Судя по нему — Сенкевич превосходный писатель». 18 марта 1890 г. Толстой записывает в дневнике: «Вечером читал Сенкевича. Очень блестящ»¹.

Русскому писателю особенно понравилось в этом романе описание любви. В записной книжке Толстого за 1890 год читаем: «По случаю «Без догмата», славянского толкования любви к женщине думал: хорошо бы написать историю чистой любви, не могущей перейти в чувственную»². И еще одна запись. В дневнике от 23 июня 1890 года Толстой пишет: «Вчера читал «Без догмата». Очень тонко описана любовь к женщине — нежно, гораздо тоньше, чем у французов, где чувственно, у англичан, где фарисейно, и у немцев — напыщенно, и думал: написать роман любви целомудренной... Хорошо написать это»³.

А. П. Чехов, который впоследствии критически отнесся к «Семье Поланецких», высказал некоторые замечания и по поводу «Без догмата», однако высоко оценил пластичность описаний Сенкевича. Он писал В. М. Лав-

¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 51. М., «Художественная литература», 1952, с. 30.

² Там же, с. 140.

³ Там же, с. 53. В свою очередь, польские исследователи отмечают возможную инспирацию, идущую к Сенкевичу от произведений Толстого,

рову: «Прочел «Без догмата» с большим удовольствием. Вещь умная и интересная, но в ней такое множество рассуждений, афоризмов, ссылок на Гамлета и Эмпедокла, повторений и подчеркиваний, что местами утомляешься, точно читаешь поэму в стихах. Много кокетства и мало простоты. Но все-таки красиво, тепло и ярко, и когда читаешь, хочется жениться на Анельке и позавтракать в Плошове»¹.

Роман «Без догмата» произвел большое впечатление на А. И. Эртеля. Он находил это произведение глубоко выдающимся. По его мнению, Сенкевич ничего лучшего не написал, да и в других литературах такие романы редкость.

А. И. Куприн высоко оценил мастерство психологического анализа в «Без догмата». «Едва уловимые, крайне сложные и капризные оттенки душевных движений,— писал он,— переданы тут с тонкостью и отчетливостью почтине пазумительными. Вообще по мастерству выполнения и по отступлениям, часто глубоким и оригинальным, этот психологический роман ставит автора наряду с наиболее выдающимися писателями нашего времени»².

«Образ Леона Плошовского оказался родственным целой галерее так называемых «лишних людей» в русской литературе,— писал о романе Сенкевича критик М. Протопопов,— из наших стариков разверните Тургенева, а из нашей молодежи Чехова, и вы сразу почувствуете, что между ними и Сенкевичем очень много общего»³. Русская критика увидела в Плошовском черты, родственные Онегину, Печорину, Рудину. При этом некоторые критики упрекали писателя в том, что он лишил своего героя общественных интересов и стремлений, считая это отличием Плошовского от «лишних людей» в русской литературе. «Рудины будили мысль общества и тем делали свое дело,— писала Мария Цебрикова. — Тургеневский герой оказался несостоятельным как практик, несостоятельным перед любовью девушки, но Рудины умели умирать не как маньяки эротизма. Плошовский же даже не искатель исповеднического дела...»⁴

Вместе с тем русские критики не учитывали в то время, что в своем романе Сенкевич отразил другой, более поздний этап общественного развития, когда «лишний человек» претерпел значительную эволюцию и начал вырождаться. На эту эволюцию позднее обратил внимание А. М. Горький в работе «Разрушение личности» (1909). Он отметил постепенное вырождение героя-индивидуалиста, увидев в Плошовском промежуточную стадию между героем «Исповеди сына века» Альфреда де Мюссе, с одной стороны, и Сашным Арцыбашева, а также Фальком Пшибышевского — с другой.

Русские критики конца XIX века называли «Без догмата» лучшим произведением польского писателя. «Истинной твердыней славы Сенкевича среди интеллигентных читателей и основой его значения в современной

¹ Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем в 30 томах. Письма, т. 5. М., «Наука», 1977, с. 246.

² А. К. (Куприн А.). Г. Сенкевич. — Журнал для всех. № 5, с. 517—518.

³ Протопопов М. Вина или несчастье? — Русская мысль, 1893, кн. 3, с. 126.

⁴ Николаева М. (Цебрикова). Поиски спасающего догмата. — Новое слово, 1895, кн. II, с. 36.

всемирной литературе является, несомненно, его знаменитый психологический роман «Без догмата», — писал И. А. Гофштеттер, — он дал самую тонкую, самую изящную разработку психологии современного скептицизма, современного безверия»¹.

Стр. 8. ...как имена *Цешковского, Либельта и других*. — **Цешковский** Август (1814—1894) — польский философ и экономист, создатель системы так называемой «национальной философии», пытался критически осмыслить ряд положений гегельянства, разделял идеи польского мессианизма. **Либельт** Кароль (1807—1875) — польский философ и эстетик, литературный критик и публицист, сторонник «национальной философии» и мессианизма, участник патриотического движения в Великопольше.

Стр. 9. ...удивительная мешанина идей Гегеля с идеями *Гене-Вронского*. — **Гене-Вронский** Юзеф Мария (1776—1853) — польский философ, математик, астроном (с 1800 г. жил во Франции), один из основных представителей польского мессианизма.

Стр. 34. ...«заблудшая птица», как выражается *Словацкий*... — **Словацкий** Юлиуш (1809—1849) — великий польский поэт, революционный романтик. ...в питомцев *Эвмея*... — то есть в свиней. Эвмей — свинопас, раб Одиссея.

Стр. 159. ...тетя, схватив *лоретанский звонок*... — освященный звонок, звон которого якобы предотвращает грозу (слово это произошло от названия итальянского города Лорето).

Стр. 167. ...стал декламировать... отрывок из «*Венецианского купца*»... — Цитата из пьесы У. Шекспира дана в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник.

Стр. 184. *Быть может, она вспомнит строки из «Кордиана»*. — «Кордиан» — драма Ю. Словацкого.

Стр. 243. *Ах, вот когда два сердца вместе плачут*... — Строки из поэмы Ю. Словацкого «В Швейцарии». (Перевод Л. Мартынова.)

Стр. 321. ...оставим по себе только молчание. — Парафраза из «Гамлета» У. Шекспира (The rest is silence).

Е. Цыбенко

¹ Гофштеттер И. А. Генрик Сенкевич. — Север, 1897, № 52, с. 1667.

ТОМ СЕДЬМОЙ

СЕМЬЯ
ПОЛАНЕЦКИХ

РОМАН



Перевод
Н. Подольской

ГЛАВА I

Был час пополудни, когда Поланецкий подъезжал к кшеменьской усадьбе. В детстве он дважды бывал там на каникулах с матерью, дальней родственницей первой жены нынешнего владельца Кшеменя, и теперь пытался припомнить эти места, но давалось ему это с трудом. Ночью, при луне, все принимало иные очертания. Над кустарником, лугами и пашней низко стлался белесый туман, преображая все в безбрежное озеро, и впечатление это еще усиливалось благодаря дружному лягушачьему кваканью. Была ясная, лунная июльская ночь. По временам, когда умолкали лягушки, с росистых лугов доносился крик дергачей, а на заболоченных прудах за ольховником изредка, будто из-под земли, ухала выпь.

Поланецкий не мог не поддаться очарованию этой ночи. От нее повеяло на него чем-то родным, близким, и близость эту ощущал он тем сильнее, что давно не был здесь, всего два года как вернувшись домой из-за границы, где провел раннюю молодость и занимался коммерцией. И, подъезжая сейчас к спящей деревне, он вспомнил детство, мать, которой уже пять лет не было в живых, и все огорчения и беды той далекой поры показались сущими пустяками по сравнению с теперешними.

Наконец бричка въехала в деревню. У околицы на бугре стоял сильно покосившийся крест, готовый вот-вот упасть. Поланецкий помнил этот крест: здесь когда-то зарыли человека, который повесился в ближнем лесу, и люди долго боялись потом проходить ночью мимо.

За крестом начинались первые хаты. По в деревне все уже спали. Ни одного оконца не светило, лишь, насколько хватал глаз, в лунном сиянии купались кровли, казавшиеся на фоне ночного неба серебристо-белыми. Стены мазанок отсвечивали бледно-зеленым, иные же, в гуще вишневых садов, за высокими подсолнухами или тычковой фасолью, совсем тонули в тени. Во дворах тявкали собаки, но сонно, как бы вторя вразнобой отдаленному кваканью лягушек, крикам выпь, дергачей и всем тем звукам, которые полнят летнюю ночь, лишь усиливая впечатление тишины.

Медленно катившаяся по рыхлой песчаной дороге бричка въехала в темную аллею, испещренную бликами лунного света,

проникавшего сквозь листву. Слышно стало, как пересвистываются ночные сторожа. В конце аллеи белел дом, несколько окон еще светились. На стук колес на крыльцо выбежал мальчик и помог Поланецкому вылезти. Подошел и ночной сторож с двумя белыми дворнягами, как видно, молодыми и добрыми: вместо лая обе принялись ластиться к приезжему, прыгая на него и так бурно выражая свою радость, что сторож палкой вынужден был умирить их пыл.

Мальчик вынес вещи из брички, и спустя мгновение Поланецкий очутился в столовой, где его ждал накрытый к чаю стол. У одной стены стоял ореховый буфет, рядом с ним — часы с массивными гирями и кукушкой. На другой стене висело два скверных портрета, изображавших дам в нарядах восемнадцатого века; посередине стоял стол под белой скатертью, вокруг него — стулья с высокими спинками. Ярко освещенная комната с кипящим самоваром, от которого подымался пар, выглядела уютно и приветливо.

Поланецкий стал прохаживаться вдоль стола, но сапоги слишком резко скрипели в этой тишине, и он подошел к окну, глядя на залитый лунной двор, где встретившие его так радостно белые дворняжки гонялись теперь друг за дружкой.

Немного погодя дверь из соседней комнаты отворилась, и вошла молоденькая девушка — дочь владельца имения от второго брака, как догадался Поланецкий. При ее появлении он отошел от окна и, приблизившись в своих скрипучих сапогах к столу, поклонился и представился.

— Мы из телеграммы узнали о вашем приезде, — проговорила, протягивая ему руку, девушка. — Отец уже лег, ему нездоровится, но завтра он будет рад вас видеть.

— Извините, что так поздно, — ответил Поланецкий, — но поезд приходит в Чернёв только в одиннадцать часов.

— И до Кшеменя еще две версты. Отец говорит, вы здесь бывали раньше.

— Да, приезжал с матерью, когда вас еще на свете не было.

— Знаю. Вы — папин родственник.

— Собственно, родственник первой жены пана Плавицкого.

— Родственными связями отец очень дорожит, даже самыми дальними.

Она стала наливать чай, другой рукой отгоняя от самовара пар, который застилал ей глаза. Разговор прервался, слышалось только тиканье часов. Поланецкий, который интересовался молодыми женщинами, стал присматриваться к ней. Среднего роста, довольно стройная, темноволосая, с тронутым загаром, кротким, но как бы угасшим лицом. Голубые глаза и красиво очерченный рот.

Судя по лицу, права она была спокойного и мягкого. «Не красавица, но и не дурнушка», — подумал Поланецкий. Во всяком случае, мила и, наверное, добра, — за этой довольно зауряд-

ной внешностью должно скрываться множество добродетелей, присущих обычно деревенским барышням. Хотя он был еще молод, жизнь успела его научить, что мужчины при ближайшем знакомстве, как правило, проигрывают, а женщины выигрывают. Он слышал также, что все имение, правда, крайне расстроенное, лежит на панне Плавичкой и ей вечно некогда. Однако, несмотря на обременяющие ее заботы, казалась она спокойной и приветливой. «Наверно, ей спать хочется», — подумал он, заметив, что она невольно щурится при ярком свете висячей лампы.

Итог наблюдений был бы совсем положительный, если бы не обрывавшийся то и дело разговор. Впрочем, ведь она видела его впервые. И кроме того, сама его принимала — не легкое дело для молодой девушки. Наконец, она догадывалась, что Поланецкий приехал не в гости, а за деньгами. Так оно, кстати, и было. Много лет назад мать его дала в долг двадцать с лишним тысяч под залог Кшемения, и Поланецкий хотел теперь получить их обратно. Во-первых, проценты платились ему донельзя неаккуратно; во-вторых, будучи компаньоном торгового дома в Варшаве, он нуждался в капитале для заключения сделок. И он заранее дал себе слово ни на какие уступки не идти и любой ценой добиться своего. В делах такого рода он всегда старался быть твердым и непреклонным. Возможно, он не был таким по натуре, но возвел непреклонность в принцип, от которого не отступал из самослюбия. В результате он часто ставил себя в ложное положение, как это бывает с людьми, которые руководствуются в жизни придуманным для себя идеалом.

И сейчас, глядя на эту милую, сонную девушку, Поланецкий твердил себе, вопреки шевельнувшейся у него симпатии: «Все это очень мило, но вы мне все равно заплатите».

— Я слышал, — сказал он, помолчав, — что все дела по имению лежат на вас. Вы любите заниматься хозяйством?

— Я люблю Кшемень, — отвечала она.

— И я тоже любил в детстве. Но хозяйством заниматься... Уж больно условия сейчас неблагоприятные.

— Да, верно... Но мы делаем все, что в наших силах.

— То есть *вы* делаете все, что в *ваших* силах.

— Я помогаю отцу, он часто хворает.

— Я не знаток по этой части, но из того, что вижу и слышу, прихожу к выводу, что положение помещиков едва ли изменится к лучшему в ближайшем будущем.

— Мы уповаем на провидение.

— Это никому не возбраняется, но кредиторов к нему не отошлешь.

Она покраснела, и наступило неловкое молчание.

«Начал, так продолжай», — сказал себе Поланецкий и произнес вслух:

— Разрешите объяснить цель моего приезда.

Во взгляде, каким посмотрела на него девушка, можно было прочесть: «Ты ведь только что приехал, время уже позднее, и я с ног валюсь от усталости, неужели же самая простая вежливость не подсказывает тебе отложить этот разговор?»

— Я знаю, зачем вы приехали,— сказала она. — Но, может, вам лучше поговорить с отцом?

— Хорошо. Простите меня,— произнес Поланецкий.

— Это мне надо просить прощения, а не вам. Каждый вправе требовать своего, к этому я привыкла. Но сегодня суббота, а в субботу всегда пропасть дел. И потом, понимаете, в делах такого рода... По мелочам я ипой раз сама все улаживаю с евреями... Но в этом случае я бы предпочла, чтобы вы поговорили с паной. Так будет лучше для вас и для меня.

— Итак, до завтра,— сказал Поланецкий; у него язык не повернулся признаться, что в денежных вопросах он предпочитает, чтобы между ним и евреями не проводили никакой разницы.

— Разрешите налить вам еще чаю.

— Нет, спасибо. Спокойной ночи.

Он встал и протянул ей руку: девушка подала свою значительно сдержанней, чем при встрече, едва коснувшись кончиков его пальцев.

— Мальчик вас проводит в вашу комнату...

Поланецкий остался один. Он испытывал некоторую неловкость и был недоволен собой, хотя не хотел себе в этом признаваться. И стал даже себя уверять, что поступил совершенно правильно. Ведь он же за деньгами приехал сюда, а не любезностями обмениваться. Какое ему, собственно, дело до панны Плавницкой? Не детей с ней крестить. Грубияном его сочла, что ж, тем лучше: нахрапистого кредитора побыстрее стараются удовлетворить.

Недовольство собой было, однако, сильнее доводов рассудка. Внутренний голос шептал Поланецкому, что дело тут не в вежливости, а в сочувствии к усталой женщине. Он чувствовал: его бесцеремонность — поза, и он поступает так вопреки велению сердца и своим врожденным склонностям. Злился он и на панну Плавницкую, тем более что она ему понравилась. От девушки этой, как и от спящей деревушки, от лунной ночи, повеяло на него чем-то бесконечно близким, чего тщетно искал он в женщинах за границей и что сверх всяких ожиданий его растрогало. Но мы часто стыдимся своих душевных порывов. И Поланецкий устыдился, что вдруг расчувствовался, решив быть немолчимым и, невзирая ни на что, припереть завтра к стенке старика Плавницкого.

Мальчик провел его в спальню. Сразу же отпустив его, Поланецкий остался один. Это была та самая комната, в которой он останавливался, приезжая сюда с матерью еще при жизни первой жены Плавницкого. И его вновь обступили воспоминания.

Окна выходили в сад, за садом был пруд, в котором отражалась луна. Пруд был виден лучше, чем в прошлые времена: тогда его заслонял могучий старый ясень, поваленный, наверно, бурей,— на том месте торчал теперь лишь обломанный ствол. Свежий облом особенно ярко сверкал в лунном свете. И все это дышало безграничным спокойствием. На Поланецкого, который жил в городе и занимался коммерцией, пребывая в вечной тревоге, вечном напряжении, умственном и физическом, окружившая его сельская тишина подействовала, как теплая ванна после изнурительного труда. И на душе у него стало легко. Он попытался было вернуться мыслями к делам, подумать, какой они примут оборот, принесут прибыль или убыток, вспомнить, наконец, о Бигеле, своем компаньоне,— как-то он там управляется без него; но не смог. И вместо этого стал думать о панне Плавицкой. Хотя она произвела на него хорошее впечатление, но как женщина оставила равнодушным, заинтересовав лишь как определенный человеческий тип,— быть может, оттого, что они едва успели познакомиться. Было ему тридцать с небольшим, возраст, когда инстинкт с неумолимой силой толкает мужчину создать домашний очаг, обзавестись женой и потомством. Даже самый отчаянный пессимизм отступает пред этим инстинктом, от которого не спасают ни искусство, ни любая другая жизненная задача. В конце концов, вопреки своей философии, женятся и мизантропы, женятся, невзирая на искусство, и натуры артистические, равно как все, утверждающие, что целиком посвятили себя какой-либо цели. Нельзя жить, лицемерно обманывая естественные влечения, и исключения лишь подтверждают это правило. Не женятся обычно лишь те, кому помешала та самая сила, которая связует взаимными узами, а именно обманувшиеся в любви. Поэтому жизнь старого холостяка если не всегда, то зачастую таит какую-нибудь трагедию.

Поланецкий не был ни мизантропом, ни сторонником теории безбрачия. Напротив, он хотел и считал, что должен жениться. Он чувствовал, что время его подошло, и подыскивал себе пару. Этим объяснялось его повышенное внимание к женщинам и особенно к девушкам. И, проведя несколько лет во Франции и Бельгии, связей с замужними женщинами он не искал, разве что с очень уж податливыми. Человек энергичный и деятельный, он полагал, что заводить романы с замужними женщинами могут себе позволить разве бездельники и что вообще волокитство процветает там, где у людей избыток денег, недостаток порядочности и отсутствие занятий, то есть в обществе, где издавна существует имущее сословие, погрязшее в изощренной праздности, а стало быть, и развращенности. Поскольку сам он был занят и любовь для него связывалась прежде всего с мыслью о женитьбе, его как нравственно, так и физически влекли женщины незамужние. Знакомясь с девушкой, он тотчас задавался вопросом: «Может, она?», или: «Может, такая вот?» И сейчас из головы

у него не выходила панна Плавицкая. Еще раньше от родственницы ее, живущей в Варшаве, он слышал о ней много хорошего и даже трогательного. И перед глазами у него возникало ее спокойное доброе лицо. Вспоминались и ее слегка загорелые, но красивые, с длинными пальцами руки, и голубые глаза, и родимое пятнышко над верхней губой. И голос у нее тоже был приятный. И хотя он упорно повторял себе, что ни на какие уступки не пойдет и добьется своего, его огорчало, что в Кшемень судьба его привела в роли кредитора. «Товар-то хорош,— выражаясь торгашеским языком, говорил он себе,— но не за тем я ехал сюда, так нечего на него и паялиться».

И однако же «паялился» — и даже раздевшись и улегшись, все никак не мог уснуть. Уже запели петухи, в окна заглянул рассвет, а Поланецкому, как крепко ни зажмуривался он, все виделись гладкий лоб панны Плавицкой, родинка над губой, руки, разливающие чай. И в сонном забытии, которое наконец овладело им, представилось, будто он берет эти руки в свои и притягивает к себе панну Плавицкую. Проснулся он на другой день поздно и, вспомнив девушку опять, подумал: «Так, значит, вот она какая!»

ГЛАВА II

Проснулся он, собственно, разбуженный мальчиком, который принес кофе и взял почистить его платье. Когда он вернулся, Поланецкий спросил, разве в доме не принято к завтраку всем сходиться в столовой.

— Нет,— ответил тот,— барышня встает рано, а старый пан спит допоздна.

— А барышня встала уже?

— Она в костеле.

— Ах, верно, сегодня же воскресенье. А разве барышня не с отцом ездит в костел?

— Нет, она к заутрене ездит, а старый барин — к поздней обедне, а потом еще у ксендза сидит.

— А по воскресеньям что делают господа?

— Дома сидят. К обеду пан Гонтовский приезжает.

Поланецкий помнил Гонтовского толстым, нескладным и угрюмым мальчиком, прозванным им «медвежонком». Отец Гонтовского, рассказывал казачок, лет шесть как помер, молодой барин теперь полновластный хозяин Ялбжикова.

— И каждое воскресенье здесь бывает?

— Иной раз и в будни наведывается, по вечерам.

«Жених!» — промелькнуло в голове у Поланецкого.

— А что, барин уже встал? — спросил он немного погодя.

— Должно, звонил, коли Юзеф к нему пошел.

— Какой Юзеф?

— Камердинер.

— А ты кто?

— Я помощник его.

— Так ступай спроси, когда барин может меня принять.

Казачок вышел и вскоре вернулся.

— Барин велели сказать, что попросят вас, когда оденутся.

С тем он удалился. Поланецкий довольно долго прождал, вернее, проскучал в одиночестве. Когда ждать стало уже невтерпёж, он встал было, решив прогуляться, но вошел тот самый Юзеф и доложил, что старый пан просит его.

Через сени провел он его в комнату на другом конце дома. В первую минуту Поланецкий не узнал Плавического. Он помнил его весьма видным мужчиной в расцвете сил, а сейчас перед ним стоял старик со сморщенным, как печеное яблоко, лицом; не молодили его и крашенные усики. Как и черные, с боковым пробором волосы, они указывали лишь, что в нем еще не совсем угас интерес к своей особе.

— Стах! Как поживаешь, дорогой мальчик? — воскликнул Плавический, раскрывая объятия, и прибавил, указывая на свой белый жилет: — Поди ко мне!

Он прижал голову Поланецкого к своей груди, которая приподнималась от прерывистого дыхания.

Объятие было долгим, для Поланецкого — даже чересчур.

— Дай на тебя взглянуть, — проговорил наконец старик. — Копия, точная копия Анны! Бедная, дорогая Анна!

Плавический всхлипнул и безымянным пальцем притронулся к правому веку, словно желая смахнуть несуществующую слезу. — Точная копия Анны! — повторил он. — Из всех родных самой преданной, самой расположенной ко мне была твоя мать.

Поланецкий стоял, несколько сконфуженный и одуревший от неожиданного приема и запаха фиксатуара, пудры и разных духов, которыми благоухало лицо, усы и жилет Плавического.

— А вы как поживаете, дядюшка? — спросил он наконец, полагая, что это обращение времен его детства больше всего соответствует торжественности момента.

— Как я поживаю? — переспросил Плавический. — Да недолго уж осталось мне поживать на этом свете! Недолго! Потому и рад я тебе... По-отечески рад... что вижу тебя в своем доме. И если благословение человека, стоящего на краю могилы, благословение старшего в семье что-нибудь значит в твоих глазах, я тебя благословляю.

И, прижав снова к груди голову Поланецкого, он поцеловал его и перекрестил. Молодой человек растерялся еще больше, и на лице его выразилась досада. Мать его была родственницей и подругой первой жены Плавического. Но с ним, насколько он помнил, ее не связывали сколько-нибудь близкие отношения, и сердечность приема, к которой волей-неволей приходилось подлаживаться, только его оттолкнула. Никогда не питавший

к Плавицкому родственных чувств, Поланецкий подумал про себя: «Эта обезьяна хочет вместо денег отделаться от меня благословением», и его взяла злость; впрочем, так легче было перейти к делу.

— Садись, мой мальчик, и будь как дома,— продолжал между тем Плавицкий.

Поланецкий сел.

— Дорогой дядя,— сказал он,— мне очень приятно видеть вас, и я, конечно, вас бы навестил и помимо всякой практической цели, но, как вы знаете, моя мать...

Плавицкий неожиданно положил ему руку на колено.

— А кофе ты пил?

— Пил,— отвечал сбитый с толку Поланецкий.

— А то ведь Марыня имеет обыкновение ни свет ни заря в костел уезжать. И ты прости, что я свою комнату тебе не уступил, но я стар... и привык к своей старицкой норе...

И плавным движением руки он обвел комнату.

Поланецкий невольно последовал взглядом за его жестом. Когда-то он за счастье почитал попасть в эту комнату, где развешано было оружие пана Плавицкого. С тех давних пор переменялись здесь только обои, теперь розовые с бесчисленными квадратами, в каждом из которых удила рыбу юная пастушка, одетая в манере Ватто. У окна возвышался белый умывальник с зеркалом в серебряной раме, весь уставленный баночками, коробочками, флаконами, щетками, гребенками, пилочками для ногтей и другими туалетными принадлежностями. Рядом, в углу, на подставке — трубки с янтарными мундштуками; над диваном — кабанья голова, под ней — две двустволки, ягдташ, охотничий рог и прочее охотничье снаряжение. В глубине комнаты виднелся стол с разложенными на нем бумагами и дубовые полки с книгами; всюду множество вещей, вероятно, нужных и красивых, но доказывавших прежде всего, что все в доме, как вокруг оси, обращается вокруг хозяина этой комнаты, который и сам не забывает позаботиться о себе. Словом, это была комната отнюдь не распростившегося с былыми замашками, пекущегося о мелких прихотях старого холостяка и эгоиста. И не требовалось особой пронизательности, чтобы понять: старик ни за что, никому своей комнаты бы не уступил.

— Ты удобно устроился?— Как спал? — продолжал расспрашивать гостеприимный хозяин.

— Спасибо, хорошо; встал поздно.

— Надеюсь, погостишь у нас недельку.

Поланецкий, отличавшийся живым нравом, чуть не подскокил на стуле.

— Вы разве, дядя, не знаете, что у меня в Варшаве дела? И компаньон, которому трудно управляться одному. Так что мне надо вернуться как можно скорее и еще сегодня покончить с делом, из-за которого я приехал.

— Нет, мой мальчик,— проникновенно и с достоинством заговорил Плавичкий. — Во-первых, нынче воскресенье, а во-вторых, родственные чувства превыше всяких дел. Сегодня ты для меня родственник, а завтра, если угодно, можешь быть кредитором. Вот так-то! Сегодня ко мне пожаловал мой дорогой Стах, сын незабвенной Анны. И останется Стахом до завтра! Это говорит тебе старший в семье, и ты должен послушаться меня, своего любящего дядюшки...

— Хорошо, пусть будет по-вашему,— слегка поморщившись, согласился Поланецкий.

— Вот сейчас твоими устами заговорила Анна... Трубку куришь?

— Нет. Я курю папиросы.

— И напрасно, поверь мне. Но для дорогого гостя найдутся и папиросы.

Разговор был прерван стуком подъехавшего к крыльцу экипажа.

— Это Марыня вернулась от ранней обедни.

Поланецкий взглянул в окно и увидел барышню в розовом платье и соломенной шляпке, вылезавшую из шарабана.

— Ты познакомился? — спросил Плавичкий.

— Еще вчера имел удовольствие...

— Единственное мое дорогое дитя! Сам понимаешь, только ради нее и живу я.

Дверь приоткрылась, и молодой голос спросил:

— Можно?

— Можно! Можно! У меня Стах,— отвечал Плавичкий.

Марыня с соломенной шляпой, перекинутой на лентях через руку, стремительной походкой вошла в комнату и, поцеловав отца, протянула руку Поланецкому. В розовом ситцевом платье выглядела она очень стройной и хорошенькой. Что-то праздничное, воскресное было во всем ее облике, от нее будто веяло свежестью этого ясного погожего утра. Волосы у нее слегка растрепались, щеки зарумянились — она была само воплощение молодости. Ее оживленное лицо показалось Поланецкому красивей, чем вчера.

— Сегодня обедня начнется немного позже,— обратилась она к отцу. — Каноник сразу после службы уехал на мельницу причащать Святковскую. Она совсем плоха. Так что у тебя есть еще полчаса.

— Вот и хорошо,— сказал Плавичкий. — А пока познакомьтесь со Стахом поближе. Ей-богу, вылитая Анна! Впрочем, ты ведь ее не видела. Завтра он, Марыня, будет нашим кредитором, если пожелает, но сегодня — он наш родственник и гость.

— Чудесно,— отвечала Марыня,— значит, проведем воскресенье весело.

— Вы так поздно легли вчера,— заметил Поланецкий,— а сегодня к заутрене поехали!

— К заутрене ездим я да повар, чтобы с обедом успеть,— ответила она непринужденно.

— Я забыл вчера: вам кланяется пани Эмилия Хвастовская,— сказал Поланецкий.

— С Эмилькой мы уже полтора года не виделись, но переписываемся довольно часто. Я слышала, она с дочкой собирается в Райхенгалль.

— Да, на днях уезжают.

— Как девчужка?

— Очень рослая для своих двенадцати лет, но бледная. Вообще вид у нее нездоровый.

— А вы часто видаетесь с пани Эмилией?

— Довольно часто. Это почти единственный дом в Варшаве, где я бываю, она очень симпатичная.

— Скажи, мой мальчик,— перебил Плавцкий, беря со стола пару свежих перчаток и кладя в боковой карман,— чем ты, собственно, занимаешься в Варшаве?

— Я, как теперь принято говорить, коммерсант. У меня торгово-посредническая контора на пару с неким Бигелем. Мы покупаем и перепродаем зерно, сахар, лес, вообще что придется.

— Я слышал, ты — инженер?

— Да, техник. Но мне не удалось найти работу на фабрике после заграницы, вот я и занялся торговлей, тем более что немного в этом разбирался, все-таки четыре года был компаньоном Бигеля, хотя дела-то вел он. Но узкая моя специальность — красивое дело.

— Как ты сказал?

— Красильное дело.

— Чем только в нынешнее время не приходится заниматься,— глубокомысленно заметил Плавцкий. — Но я не ставлю тебе этого в вину. Важно старинные семейные традиции блюсти, а работа, она не унижает человека.

Поланецкого, который при появлении Марыни пришел в хорошее расположение духа, развеселила «grandezza»¹ Плавцкого.

— Ну и слава богу,— откликнулся он и улыбнулся, показывая крепкие белые зубы.

Марыня улыбнулась в ответ.

— Эмилька — кстати, она тоже вам симпатизирует — писала мне о вашем умении вести дела.

— В сущности, это несложно — ведь конкуренции почти нет, если не считать предпринимателей-евреев. Но и с теми вполне можно поладить, если только ты не антисемит, палки в колеса они не будут ставить. А что до пани Эмилии, в делах она смыслит не больше своей Литки.

¹ важность (ит.).

— Да, практичной ее не назовешь. Если бы не брат ее покойного мужа, Теофил Хвостовский, она бы давно состояния лишилась. Теофил очень любит Литку.

— Да разве ее можно не любить? Я и сам в ней души не чаю. Девочка чуждая, необыкновенная. Я питаю к ней решительную слабость.

«Резковат немного,— подумала Марыня, глядя на его открытое, выразительное лицо,— но, похоже, добрый».

Плавицкий между тем напомнил, что пора к обедне, и стал прощаться с Марыней, словно перед дальней дорогой, наконец, перекрестив ее, взялся за шляпу. Марыня пожала руку Поланецкому сердечней, чем при встрече, а он, садясь в кабриолет, повторял про себя: «Мила и хороша собой!..»

Миновав аллею, по которой Поланецкий вчера приехал, экипаж выехал на дорогу, вдоль нее редким строем на разном расстоянии друг от друга тянулись старые, дуплистые березы. По одну сторону дороги росла картонка, по другую раскинулось необозримое поле ржи с уже отяжелевшими, клонившимися долу колосьями. Казалось, нива дремлет в тишине, пригреваемая солнцем. Впереди меж деревьев перепархивали сороки и удоны. Поодаль шли межой деревенские девки, по грудь утопая в желтеющем море ржи, похожие в своих красных платках на цветущие маки.

— Хороша рожь,— сказал Поланецкий.

— Да, недурна. Трудимся в поте лица, а там что бог даст. Ты еще молод, дорогой, так вот, прими совет, пригодится в жизни. Делай все, что в твоих силах, а в остальном положишься на бога. Ему одному ведомо, что человеку нужно. Что урожай хороший будет, я заранее знал, потому что, когда господь хочет покарать меня, то посылает мне знамение.

— Что? — удивился Поланецкий.

— Перед тем, как случиться беде, из-за подставки с трубами — не знаю, заметил ли ты ее,— несколько дней кряду появляется мышь.

— Там, наверное, дыра в полу?

— Нет там никакой дыры,— произнес Плавицкий, прикрыв глаза и таинственно покачивая головой.

— Вам бы кошку завести.

— Зачем? Если богу угодно, чтобы мышь служила мне знаменiem и предостережением, я не стану противиться его воле. Так вот, в нынешнем году она не показывалась ни разу. Я говорил Марыне... Может, это знак, что господь нас не оставит. Я ведь знаю, дорогой мой, ходят слухи, будто мы разорены, во всяком случае, что дела наши из рук вон плохи. Но суди сам: Кшмень со Скоками, Магерувкой и Сухотином — это около двухсот пятидесяти влук земли. Под них в Обществе поземельного кредита взято шестьдесят тысяч, не больше, да по закладным, считая с твоими деньгами, у меня сто тысяч долгу. Всего это

составит сто шестьдесят тысяч рублей. Теперь, беря даже по три тысячи за влук, получаем семьсот пятьдесят тысяч рублей, да те сто шестьдесят, вот тебе девятьсот десять тысяч...

— Как так? — перебил его озадаченный Поланецкий. — Вы и долги присчитываете к стоимости имения?

— Если бы оно ничего не стоило, никто под него гроша бы не дал, значит, надо и долг причислить к общей стоимости.

«Сумасшедший, что с ним толковать», — подумал Поланецкий и молча стал слушать.

— Магерувку я разобью на участки и продам. Мельницу тоже продам, а в Скоках и Сухотине залегает мергель. Знаешь, на сколько его там? Я подсчитал. На два миллиона рублей!

— А покупатель есть?

— Приезжал два года назад некто Шаум, осматривал поля. Правда, уехал, ничего не сказав, но я уверен: вернется. Иначе за трубами опять показалась бы мышь...

— Ну, дай бог, чтоб вернулся.

— Знаешь, что мне в голову пришло? Коли ты коммерсант, подыщи себе компаньонов да возмись-ка за это сам.

— Мне не по зубам.

— Тогда покупателя найди! Десять процентов вырученной суммы тебе дам.

— А Марыня что думает о мергеле?

— Марыня? Ну, что она может думать! Марыня — сущий клад, но совершенное дитя. Но и она верит, что провидение не оставит нас.

— Это я вчера слышал от нее.

Они приближались к Вонторам, где среди лип возвышался на пригорке костел. У пригорка сгрудилось десятка полтора крестьянских телег с решетчатыми грядами, несколько бричек и шарабанов.

Плавицкий перекрестился.

— Вот и наш костел, ты должен помнить его. Здесь все Плавицкие лежат, скоро и я сюда лягу. Мне как-то особенно нравится здесь молиться.

— Народу, видно, много будет, — заметил Поланецкий.

— Вон бричка Гонтовского, коляска Зазимских, шарaban Ямшей, еще других соседей. Ямшей ты помнишь, наверное. Она — замечательная женщина, а он — тюфяк и пальца ее не стоит, хотя советник и большим знатоком агрономии мнит себя.

Тут зазвонил колокол.

— Нас заметили, — сказал Плавицкий, — сейчас начнут. После обедни отведу тебя на могилу моей первой жены. Помогись за нее — тетка все-таки тебе... Достойная была женщина, упокой, господи, ее душу.

И Плавицкий снова поднес палец к правому глазу, словно смахивая слезу.

— Пани Ямиш когда-то красавицей слыла. Это та самая? — спросил Поланецкий, чтобы переменить разговор.

Лицо Плавицкого сразу прояснилось. Он плутовато облизнул губы под крашеными усами и коснулся колена Поланецкого.

— Она и сейчас хоть кого может в грех ввести! — сказал он.

Наконец они подъехали и, чтобы не проталкиваться, обогнули костел и вошли сбоку через ризницу. Господа сидели на боковых скамьях. Плавицкий направился к передней, ктиторской, скамье, где расположились супруги Ямиши: он — с умным измученным лицом, выглядевший совершенным стариком, она — в ситцевом платье и соломенной шляпке под стать Марыне, невзирая на свои без малого шестьдесят. Судя по тому, как почтительно поклонился ей Плавицкий и как любезно кивнула она в ответ, отношения между ними были самые дружественные, исполненные взаимного понимания. Поднеся к глазам лорнет, пани Ямиш стала разглядывать Поланецкого, недоумевая, кто бы это мог сопровождать Плавицкого. Позади них, пока обедня не началась, один помещик спешил что-то досказать другому, очевидно, об охоте, так как повторял: «У меня гончие патасканные...» Потом они принялись злословить о Плавицком и пани Ямиш, так громко, что Поланецкий слышал каждое слово.

Наконец вышел ксендз. Костел и служба вновь напомнили Поланецкому детство, когда он бывал здесь с матерью. И он с невольным удивлением подумал, как мало все меняется в деревне, кроме разве людей; одни обращаются в прах, другие рождаются, но жизнь новая вливается в старые формы, и оттого приезжему после долгого отсутствия кажется, будто он был здесь только вчера. Все тот же костел, те же серые серяги, русые мужицкие головы, красные и желтые платки, у девок цветы в волосах, все тот же запах ладана, аира и человеческих тел. За окном та же знакомая береза, чьи тонкие ветки перебирал ветер, клоня их к стеклу, — и костел наполнялся тогда зеленоватым светом. Только люди не те: кто воротился в землю и встал над нею травой; кто согнулся, поник, став словно меньше, будто сходя понемногу в могилу. Поланецкий, гордившийся тем, что ему чужды отвлеченные размышления, на деле со своей не свободной еще от языческого пантеизма славянской душой, невольно постоянно им предавался. Вот и сейчас задумался он о том, какая зияющая пропасть разверзлась между прирожденным человеку страстным желанием жить и неизбежностью смерти. Не оттого ли, подумал он, и исчезают бесследно все философские системы, а церковная служба правится по-прежнему, ведь она приобщает к жизни вечной.

Воспитанный за границей, он не очень-то верил во все это или, по крайней мере, сомневался. Но и к материализму, как все нынешнее молодое поколение, испытывал непреодолимое

отвращение, а где искать выход, не знал; более того, ему казалось, что он и не искал его. Подобно всем, ждущим чего-то несбыточного от жизни, впал он в безотчетный пессимизм, который заглушал, с головой уходя в ставшую второй натурой работу и только в минуты крайнего отчаяния задаваясь вопросом: к чему все это? К чему наживать состояние, трудиться, жениться, обзаводиться потомством, если конец все равно известен? Но то были лишь временные настроения, не переходившие в неизменное состояние. От этого спасали его молодость, хотя не первая, но и не ушедшая, душевное и физическое здоровье, инстинкт самосохранения, привычка к труду, живой нрав и, наконец, та естественная сила, что влечет мужчину в женские объятия. Так и сейчас, отвлекшись от воспоминаний детства, от мыслей о смерти и бессмысленности женитьбы, подумал он, кому же отдать то хорошее, что еще есть в нем, и перед его внутренним взором предстала Марыня Плавицкая в розовом платье, облегающем стройное молодое тело. Вспомнил он, как пани Эмилия, большая приятельница его и Марыни, смеясь, сказала ему перед отъездом: «Смотрите, если не влюбитесь в Марыню, я вас на порог больше не пушу». А он ответил весело, что едет за деньгами, а вовсе не влюбляться, но это была неправда. Он бы и не подумал ехать в Кшмень, если б не Марыня,— тормозил бы Плавицкого попрежнему письмами или подал на него в суд. Уже в дороге стал он думать о ней, пытаясь представить себе, как она выглядит, и досадуя, что поехал из-за денег. Взяв за правило быть твердым, особенно в такого рода делах, он и теперь решил настоять на своем и скорее пересолить, чем недосолить. Решение это в первый вечер, при встрече с Марыней Плавицкой, только окрепло, потому что она хотя и понравилась ему, но не произвела ожидаемого впечатления. Сегодня же он увидел ее точно другими глазами. «Хороша, как это утро, и знает, что хороша,— подумал он. — Женщины всегда это сознают».

После такого открытия ему захотелось поскорее обратно в Кшмень — продолжить свои наблюдения над обитающим там типом женщин. Плавицкий, не дожидаясь конца обедни, перекрестясь, вышел; его ждали две важные обязанности: во-первых, помолиться на могилах своих жеп возле костела, во-вторых, проводить пани Ямиш до экипажа, и, поскольку пренебречь ни тем, ни другим нельзя было, приходилось поторапливаться. Полавецкий вышел с ним вместе, и вскоре они остановились перед двумя могильными плитами, вмурованными одна подле другой в стену костела. Преклонив колена и сделав строгое лицо, Плавицкий помолился, затем отер слезы, на сей раз истинные, и взял Полавецкого под руку.

— Обоих схоронил, а сам вот живу,— проговорил он.

В эту минуту пани Ямиш вышла из костела в сопровождении мужа, двух помещиков, которые о ней сплетничали перед обедней, и молодого Гонтовского.

— Будет садиться, обрати внимание, какие у нее стройные ножки,— шепнул Поланецкому Плавницкий.

Они присоединились к компании; последовали взаимные поклоны и приветствия. Плавницкий представил Поланецкого.

— Приехал вот дядюшку к груди прижать... чтобы покрепче поприжать,— прибавил он, обращаясь к пани Ямиш, довольный своим каламбуром.

— Разрешаем только первое, в противном случае ему придется иметь дело с нами,— отвечала дама.

— Имение мое недаром называется Кшемень¹,— продолжал Плавницкий,— он, хоть и молод, может себе зубы об него обломать.

— Какое блистательное остроумие... C'est inouï!² — закаты-вая глазки, проговорила пани Ямиш. — Как вы себя чувствуете сегодня?

— Возле вас я молод и здоров.

— А Марыня?

— Она у ранней обедни была. Ждем вас к пяти часам. Моя маленькая хозяйка ломает себе голову, как бы вас получше угостить. Однако какой сегодня чудесный день!..

— Если мигрень моя позволит... и, конечно, муж. Приедем непременно.

— А вы, господа?

— Благодарствуйте,— проямлил помещик.

— Итак, au revoir!³

— Au revoir! — отвечала дама, протягивая руку Поланецкому. — Очень приятно с вами познакомиться.

Плавницкий подал свою и довел пани Ямиш до экипажа. Оба соседа-помещика укатили, и Поланецкий остался наедине с Гонтовским, который поглядывал на него без особого дружелюбия. Поланецкий помнил его неуклюжим мальчиком, теперь же прежний увалень превратился в рослого, быть может, не отличающегося особым изяществом, но, бесспорно, видного мужчину с пышными русыми усами. Поланецкому не хотелось первым начинать разговор, но и Гонтовский, засунув руки в карманы, упорно молчал.

«Однако хорошим манерам он так и не научился», — подумал Поланецкий, в свою очередь почувствовав неприязнь к этому бирюку.

Тем временем вернулся Плавницкий, спросив первым делом у Поланецкого: «Видал?», а затем обратиться к Гонтовскому:

— Ты, Гонтошь, на своей бричке поезжай, у нас только два места.

¹ Кшемень — кремень (пол.).

² Это поразительно (фр.).

³ до свидания (фр.).

— Я в бричке поеду, потому что собаку везу для панны Марыни, — ответил молодой человек и, поклонясь, удалился.

Минуту спустя Плавницкий с Поланецким уже катили по дороге в Кшемень.

— Гонтовский, кажется, родня вам? — спросил Поланецкий.

— Так, седьмая вода на киселе. Они совсем обеднели. У этого, Адольфа, хуторок один остался и в карманах пусто.

— Зато сердце есть.

Плавницкий поморщился.

— Тем хуже для него, если на что-нибудь такое рассчитывает. Человек он, может, неплохой, да не нашего круга. Ни воспитания, ни образования, ни состояния. Марыня его привечает, вернее, терпит.

— А! Терпит все-таки?

— Видишь ли: я жертвую собой ради Марыни и сижу в деревне, она жертвует собой ради меня и тоже сидит в деревне. Вот как дело обстоит. А какое в деревне общество? Пани Ямш много старше ее, молодежи нет, развлечений никаких, что тут делать? Запомни, мой мальчик: в жизни всегда приходится чем-то жертвовать. Надо это понять — умом и сердцем. В особенности тем, кто принадлежит к почтенным, старинным семьям. А что до Гонтовского, он всегда у нас обедает по воскресеньям, а сегодня, как ты слышал, еще и собаку Марыне везет.

Они замолчали, экипаж медленно катил по песчаной дороге. Перед ними с березы на березу — теперь уже в сторону Кшменя — перепархивали сороки. Сзади ехал в своей бричке Гонтовский, размышляя приблизительно так: «Если он явился выжимать из них деньги, я сверну ему шею, а вздумает свататься к Марыне — тоже сверну».

Он с детства невзлюбил Поланецкого. Когда они изредка встречались раньше, Поланецкий его высмеивал, а то и поколачивал, будучи старше на несколько лет.

Наконец они приехали и через полчаса все вместе с Марыней сидели в столовой. Щенок Гонтовского, пользуясь привилегией гостя, вертелся под столом и без стеснения вскакивал всем на колени, радостно виляя хвостом.

— Гордон-сеттер, — сказал Гонтовский, — глупый еще, но вообще эти собаки умные и очень привязчивые.

— Чудесный песик. Большое вам спасибо! — сказала Марыня, любуясь щенком, его черной блестящей шерстью и желтыми надбровьями.

— Пожалуй, ласков чересчур, — промолвил Плавницкий, прикрывая колени салфеткой.

— И для охоты лучше, чем обыкновенные сеттеры.

— А вы любительница охотиться? — спросил Поланецкий.

— Нет, меня это никогда не привлекало. А вы?

— Да мне редко удается. Я ведь городской житель.

— А у кого ты бываешь? — спросил Плавницкий.

— Почти ни у кого. У пани Эмилии, у Бигеля, моего компаньона, да Васковского, бывшего моего гимназического учителя, большого оригинала,— вот и все. По делам приходится, конечно, и еще с разными людьми встречаться.

— Никуда не годится, мой мальчик. Молодой человек обязан бывать в обществе, особенно если вхож в него по праву рождения. Ты ведь не выскочка какой-нибудь, перед тобой все двери открыты. Нет, ты послушай меня. Вот и с Марыней точно такая же история. Два года назад, когда ей сравнялось восемнадцать, отвез ее на зиму в Варшаву. Просто так это не делается, сам понимаешь, потребовались некоторые затраты и усилия с моей стороны. И что же? Сидела с пани Эмилией по целым дням и книжки читала. Как родилась дикаркой, так дикаркой и останется. Можете пожать друг другу руки.

— Вашу руку! — весело воскликнул Поланецкий.

— Нет, по совести — не могу! — засмеялась она. — Потому что было не совсем так. Книжки мы читали, но я часто и выезжала с папой. Патамцевалась, кажется, на всю жизнь.

— Ну, не зарекайтесь.

— Я не зарекаюсь, но ни капельки не жалею.

— Значит, не сохранилось приятных воспоминаний.

— Одно дело вспоминать, а другое — держать в памяти.

— Что вы этим хотите сказать?

— Память — это как огромный склад, где хранится все прошлое, а воспоминания — крупинцы, которые извлекаешь оттуда.

И, словно испугавшись собственной смелости, с какой она пустилась в отвлеченные дефиниции памяти и воспоминаний, Марыня залилась краской.

«Мила и притом неглупа», — подумал Поланецкий и сказал вслух:

— Верно! Мне бы и в голову не пришло!

И взглянул на нее с симпатией. Смущенная и вместе польщенная похвалой, Марыня и впрямь была мила. Еще сильнее она покраснела, когда молодой человек продолжил самоуверенно:

— Завтра, перед отъездом, надо будет попросить и для меня оставить на складе хотя бы... местечко.

Но тон был шутливый, так что невозможно было обижаться.

— Хорошо, но тогда и я попрошу о том же... — сказала она не без кокетства.

— Ну, в таком случае и зачашу же я на свой склад, придется мне, видно, насовсем там поселиться!

Для недавнего знакомства это было, пожалуй, несколько нескромно, но Плавичский воскликнул:

— Молодец! Не то что Гонтось, молчит, как воды в рот набрал.

— Я привык руками работать, а не языком, — уныло отозвался молодой человек.

— Тогда бери вилку и ешь.

Поланецкий засмеялся, но Марыня даже не улыбнулась: ей стало жалко Гонтовского, и она заговорила о вещах более доступных.

«Что это, кокетство или доброта?» — спрашивал себя Поланецкий.

Размышления его были прерваны вопросом Плавицкого, вспомнившего, видимо, свою последнюю поездку в Варшаву.

— Скажи, Стах, ты знаешь Букацкого?

— А как же! Ведь он и мне родня, даже еще более близкая.

— Мы чуть не с целым светом в родстве, буквально с целым светом! Букацкий был самым усердным Марыниным кавалером: все вечера подряд с ней танцевал.

— А теперь в награду отправлен пылиться на склад! — засмеялся Поланецкий. — Хотя этот, положим, не запылится, он так ревностно следит за собой, вроде вас, дядюшка. Первый франт в Варшаве! Что он подделывает, спрашиваете? Воздухом дышит, то есть выходит или выезжает прогуляться в хорошую погоду. А вообще он — порядочный оригинал, голова у него совсем по-особенному устроена. Такое замечает, на что другой внимания бы не обратил. Встречаемся мы как-то после его возвращения из Венеции, спрашиваю, что он видел. «Видел, говорит, плывут по каналу Скьявони, пол яичной скорлупы и пол-лимона; встречаются, сталкиваются друг с дружкой, расходятся, опять сходятся, и вдруг — раз! — лимон оказался в скорлупе, и дальше поплыли уже вместе. Видишь, что значит гармония!» Вот все его занятия, хотя человек он образованный и большой знаток искусства.

— Говорят, он не без способностей?

— Возможно, только проку от них мало. Типичный небокоптителъ. И был бы при этом хоть весел, а то еще вдобавок меланхолик. Да, забыл сказать: он в пани Эмилию влюблен.

— У Эмилии много бывает гостей? — спросила Марыня.

— Да нет. Я бываю, Васковский, Букацкий, ну, Машко еще, адвокат, — покупкой и перепродажей имений занимается.

— Ну да, она столько времени Литке уделяет, куда тут принимать гостей.

— Да, Литка, бедняжечка, — вздохнул Поланецкий. — Может, подлечится в Райхенгалле, дай-то бог!

И беззаботное лицо его омрачилось. Теперь Марыня в свой черед взглянула на него с симпатией. «Да, наверно, он добрый», — подумала она опять.

— Машко, Машко... — повторил, как бы про себя, Плавицкий. — Тоже за Марыней увивался. Но не понравился ей. А что до перепродажи имений, при нынешних жалких ценах...

— По словам Машко, именно сейчас выгодно их покупать.

Между тем обед подошел к концу, и они перешли в гостиную пить кофе. Плавицкий подшучивал над Гонтовским, что обыкновенно служило у него признаком хорошего настроения,

а молодой человек довольно терпеливо сносил насмешки ради Марыни, но с такой миной, которая ясно говорила: «Кабы не она, ты бы у меня запел по-другому!» После кофе Плавичкий стал раскладывать пасьянс, а Марыня села за фортепьяно. Играла она не бог весть как, но было приятно смотреть на ее милостивую головку, которая с такой спокойной грацией вырисовывалась за люпитром. Около пяти часов Плавичкий сказал, глянув на часы:

— Что-то Ямиши не едут.

— Приедут,— успокоила его Марыня.

Но с этой минуты он беспрестанно посматривал на часы, восклицая: «Что-то Ямиши не едут!» А около шести объявил замогильным голосом:

— Что-то случилось!

— Горе прямо с ним! — тихо сказала Марыня подошедшему к ней Поланецкому. — Ничего там не случилось, но папа весь вечер будет теперь не в духе. .

У Поланецкого чуть было не вырвалось: выпится, дескать, и завтра опять повеселеет, но, видя неподдельную заботу на лице девушки, он сказал:

— Насколько мне помнится, это недалеко. Пошлите узнать, что там приключилось.

— Папа, может, послать кого-нибудь к Ямишам?

— Не изволь беспокоиться,— язвительно сказал Плавичкий. — Я поеду сам.

И, позвонив, велел запрягать.

— Enfin¹, — в раздумье проговорил он, — почему бы девушке не остаться наедине с молодым человеком, никто не осудит, даже если застанет, это ведь не город. И потом, ты наш родственник... Гонтось, проводи-ка меня, пожалуйста, ты мне можешь понадобиться.

На лице молодого человека изобразилось крайнее неудовольствие.

— Я панне Марыне обещал лодку на воду столкнуть, садовник никак не может справиться,— сказал он, проведя рукой по светлым волосам. — А прошлое воскресенье дождь лил как из ведра, она мне не позволила.

— Ну так беги сейчас, до пруда тридцать шагов, успеешь обернуться.

И Гонтовскому волей-неволей пришлось отправиться в сад.

— Мигрень! Пари держу, что у нее мигрень! — твердил Плавичкий вслух, расхаживая по комнате и не обращая внимания на дочь и Поланецкого. — Гонтовский в случае нужды хоть доктора привезет, а этот тюфяк Ямиш, конечно, не догадается... Советник этот, которому все надо советовать, сам ничего не сделает. — И, обратясь к Поланецкому, словно ища, кому излить

¹ В конце концов (фр.).

свое раздражение, в сердцах прибавил: — Ты и не представляешь, какой он тюфяк и растяпа!

— Кто?

— Ямиш.

— Папа... — начала было Марыня.

Но Плавичкий не дал ей договорить.

— Не нравится, знаю, не нравится тебе, что она питает ко мне капельку дружеского участия, — с нарастающим гневом сказал он. — Ну и читай на здоровье агрономические трактаты папа Ямиша, боготвори его, превозноси до небес, но и мне позвошь самому выбрать себе друзей.

И тут Поланецкому еще раз представилась возможность удостовериться в Марыниной кротости: вместо того чтобы обидеться на отца, она подбежала к нему и, прижимаясь щекой к его крашеным ушкам, стала приговаривать:

— Сейчас запрягут, сейчас, сейчас! Может, и мне с тобой поехать?.. Только не сердись, противный папка, а то еще заболеешь.

Плавичкий, видимо, действительно очень к ней привязанный, поцеловал ее в лоб.

— Знаю, знаю, ты у меня добрая девочка, — сказал он. — Но куда же это Гонтовский запропастился?

И, подойдя к открытой двери в сад, он стал звать молодого человека. Тот вскоре явился.

— Слишком далеко на берег вытащили, — сказал он, еле переводя дух, — и полна воды. Попробовал, да ничего не вышло.

— Ну, бери шляпу, и едем. Я слышу, экипаж уже подали.

Минуту спустя Марыня осталась с гостем одна.

— Папе не хватает в деревне общества, — сказала она, — поэтому он и дорожит так дружбой с пани Ямиш, но и муж ее на редкость благородный и образованный человек.

— Я видел его в костеле. У него вид был какой-то удрученный.

— Болен и утомлен: очень много работает.

— Совсем как вы.

— Нет, не как я. Пан Ямиш — образцовый хозяин, к тому же много пишет о сельском хозяйстве. Пан Ямиш — наша слава и гордость. Она женщина тоже хорошая, только, по-моему, немножко претенциозная.

— Экс-красавица.

— Вот именно. Я это отчасти приписываю деревенской жизни, накладывающей свой отпечаток. В городе в постоянном общении все наши странности и чудачества, наверно, больше сглаживаются, а здесь... отвыкаешь понемногу от людей, дичаешь иходишь в общении с ними до полной неестественности. Городским жителям все мы должны казаться смешными бирюками и чудаками.

— Не все! Не все! — запротестовал Поланецкий. — Вот вы, например, совсем не кажетесь.

— Это лишь вопрос времени, — улыбнулась Марыня.

— Но время несет с собой перемены.

— У нас мало что меняется, а если и меняется, большей частью к худшему.

— Но в девичьей жизни эти перемены нетрудно и предсказывать.

— Для меня важнее всего сейчас, чтобы у папы уладилось все с Кшемением.

— Значит, единственные цели ваши, главное в жизни — это папа и Кшемень?

— Да. Но я мало смыслю в делах, и помощница из меня плохая.

— Отец и Кшемень — больше ничего? — повторил Поланецкий.

Наступило молчание. Марыня спросила, не хочет ли он пройтись. Они спустились в сад и очутились вскоре на берегу пруда. Поланецкий, занимавшийся за границей спортом в разных клубах, сделал то, что не удалось Гонтовскому: спустил лодку на воду, но кататься на ней было нельзя из-за течи.

— Вот вам образчик моего хозяйства: дыра на дыре! — сказала со смехом Марыня. — И вину свалить не на кого: и сад, и пруд находятся всецело в моем ведении. Ну, да ладно, велю починить еще до того, как спустят пруд.

— Небось еще та самая лодка, на которой мне запрещалось кататься, когда я был мальчишкой.

— Очень может быть. Вещи меньше подвержены переменам и долговечней людей, вы разве не замечали? Грустно это со-знавать.

— Авось мы окажемся долговечней этой утлой ладьи, насквозь пропитанной водой. Если это та же самая лодка, мне с ней положительно не везет. Раньше кататься не разрешали, сейчас вот оцарапался об какой-то ржавый гвоздь.

И, вытащив из кармана носовой платок, он левой рукой попытался перевязать палец на правой.

— У вас не получится, давайте лучше я, — сказала Марыня, следя за его неловкими попытками.

И стала завязывать ему руку, а он нарочно поворачивал ее, чтобы продлить удовольствие от этих нежных прикосновений. Затруднясь помехой, она взглянула на него, и глаза их встретились. Поняв его умысел, она покраснела и еще ниже опустила голову, будто целиком поглощенная своим занятием. У Поланецкого от ее близости, от исходившего от нее тепла забилося сердце.

— У меня сохранились очень приятные воспоминания о каникулах, которые я здесь проводил. Но те, что я теперь увезу, будут во сто крат приятней, — сказал он. — Вы так ко мне доб-

ры... Вы тут как цветок, в этом Кшемене. Нет, право же, я не преувеличиваю.

Марыня чувствовала, он говорит от чистого сердца, а смелость его приписала непосредственности натуры, а не желанию воспользоваться тем, что он остался с ней наедине, и потому не обиделась, а только сказала с притворной строгостью своим приятным негромким голосом:

— Пожалуйста, без комплиментов, а то я руку плохо перевяжу, это раз. А два — убегу.

— Нет, уж лучше перевяжите плохо, только не убегайте. Смотрите, какой чудесный вечер...

Марыня кончила, и они пошли дальше. Вечер в самом деле был чудесный. Солнце садилось, и зеркальная поверхность пруда пламенела золотым огнем. Вдали, за прудом, темнел ольховник; ближайшие деревья необычайно четко вырисовывались на розовом закатном небе. За домом, во дворе, клеточали айсты.

— Как хорошо! Как здесь хорошо! — повторял Поланецкий.

— Очень! — отозвалась Марыня.

— Теперь я понимаю вашу привязанность к этим местам. И потом, труд... Чем больше его вкладываешь в какое-то дело, тем оно становится дороже. Да, в деревне бывают отрадные минуты, вот как сейчас, например. Да и вообще тут чудесно. А в городе иногда охватывает такая апатия, особенно когда день-деньской проверяешь счета... К тому же я совсем одинок. У Бигеля, моего компаньона, есть дети, жена, ему хорошо! Не то что мне. Порой я говорю себе: ну что проку в этой работе? Допустим, скоплю немного денег, а дальше что? Ничего не ждет, кроме работы. Сегодня, завтра — вечно одно и то же. Видите ли, всякое дело, в том числе и наживание денег, затягивает, и возникает иллюзия, будто это и есть цель. Но иной раз вдруг подумаешь: а может, прав этот чудаковатый Васковский, который говорит: у кого фамилия оканчивается на «—ский» или «—ич», тот не может всю душу вложить в одну только работу и тем удовлетворяться. В нас, по его словам, еще слишком свежа память о нашем предсуществовании — и вообще, мол, у славян совсем иное предназначение. Большой оригинал, философ и мистик. Я спорю с ним — и наживаю капитал всеми доступными мне способами. Но вот сейчас, когда гуляю с вами в саду, — начинаю думать, что он прав.

Некоторое время шли молча. Закат отбрасывал на их лица свой румяный отсвет. Они чувствовали взаимную приязнь, углублявшуюся с каждой минутой. Им было хорошо и спокойно вдвоем.

Поланецкий ощутил это, видимо, с особенной силой.

— А правду говорила пани Эмилия, — сказал он, помолчав. — Теперь я сам вижу: через какой-нибудь час к вам начинаешь испытывать большее доверие, чем к иному человеку через

месяц. Кажется, будто мы знакомы с вами много лет. Наверно, только доброта располагает так к себе людей.

— Эмилька меня любит, вот и хвалит,— ответила Марыня просто. — Но если даже так, я бываю доброй не со всеми.

— Да, вчера вы производили другое впечатление, но вы устали и вам хотелось спать.

— Пожалуй.

— Что же вы не легли? Чай и слуга мог подать; наконец, обошелся бы и без чаю.

— Что вы, не настолько уж мы негостеприимны. Кто-то из нас, сказал папа, должен вас встретить. Я побоялась, что он сам станет дожидаться — а ему вредно ложиться поздно, — и осталась за него.

«Как бы не так, стал бы он меня дожидаться! А ты — добрая душа, оберегаешь покой этого старого эгоиста», — подумал Поланецкий и сказал:

— Простите, что вчера я сразу же заговорил о деньгах. Привычка делового человека! Потом я страшно ругал себя за это. Право, мне очень совестно, простите меня.

— За что же? Вы ни в чем не виноваты. Вам сказали, что я всем ведаю, вы и обратились ко мне.

Вечерняя заря разгоралась все багровей. Они пошли домой, но вечер был так хорош, что остались на веранде, выходявшей в сад. Поланецкий отлучился в гостиную и вернулся со скамеечкой, которую, опустясь на одно колено, подставил Марыне под ноги.

— Благодарю вас, — сказала она, наклонясь и придерживая платье руками. — Вы очень добры!.. Благодарю вас.

— Вообще-то я к людям невнимателен, — ответил Поланецкий. — Но знаете, благодаря кому я немножко научился заботиться о других? Благодаря Литке. Ее постоянно приходится опекать, и пани Эмилия заботится о ней неусыпно.

— Да, она самоотверженная мать, — отвечала Марыня, — и мы все ей будем помогать. Я пригласила бы их к нам, если б они в Райхенгалль не поехали.

— А я бы без приглашения приехал следом за Литкой. Приглашаю вас впредь от папиного имени в любое время.

— Не бросайтесь словами, а то я могу злоупотребить вашей любезностью. У вас здесь очень хорошо, и, как только мне будет плохо в Варшаве, прилечу сюда под ваш кров...

Поланецкий уже сознательно говорил так, в расчете больше приблизиться к ней, и вместе — совершенно искренне, любясь этим милым девичьим личиком, которое в лучах заходящего солнца показалось ему еще спокойней, чем прежде. А Марыня, подняв на него голубые глаза, будто спрашивая: «Ты серьезно или шутишь?», ответила, понижая голос:

— Хорошо.

И оба замолчали, словно связанные незримой нитью этого взаимного обещания.

— Странно, что папы так долго нет,— сказала наконец Марыня.

И в самом деле, солнце уже зашло: в розоватых закатных сумерках бесшумно шныряла летучая мышь, с пруда доносилось кваканье лягушек.

Поланецкий промолчал, словно размышляя о своем.

— Я принимаю жизнь такой, какая она есть, мне некогда ее оценивать,— заговорил он немного погодя. — Когда мне хорошо, вот как сейчас, я доволен, когда плохо — огорчен, вот и все. Но лет пять-шесть назад было иначе. Мы собирались небольшой компанией и рассуждали о смысле жизни. Было среди нас несколько ученых и один писатель, теперь довольно известный в Бельгии. Мы спрашивали себя: куда идет человечество, в чем суть и цель всего этого, значение и конец? Читали философ-пессимистов, теряясь в неразрешимых загадках, доходя прямо до умопомрачения,— один мой знакомый, ассистент на кафедре астрономии, забрался в такие глубины мироздания, что и в самом деле лишился рассудка. Вообразил, будто по параболе уносится в бесконечность. Потом, правда, выздоровел — и стал священником. Мы тоже изнывали в бесконечной погоне за истиной... Как птицы, летящие над морем: негде присесть и передохнуть. В конце концов я отметил про себя две вещи: во-первых, мои друзья бельгийцы не относятся к этому так уж серьезно... Мы гораздо простодушней их... А во-вторых, у меня пропадает всякая охота трудиться, и я становлюсь тряпкой, бессильным размазней. Тогда я взял себя в руки и занялся всерьез красивным делом. Жизнь, сказал я себе,— это веление природы, и не в том суть, хорошо это или плохо, а в том, что она тебе дана. Значит, живи и бери от жизни, что можно. И я хочу взять. Правда, Васковский считает, будто мы, славяне, не можем удовольствоваться этим, но это еще не факт. Если он имеет в виду деньги, тогда еще куда ни шло, можно с ним сгласиться. Но я, кроме денег, ценю в жизни спокойствие, п... знаете еще ради чего стоит, по-моему, жить?.. Ради женщины. Надо иметь близкое существо, чтобы делиться с ним печалью и радостью. Все мы смертны — это верно! Перед лицом смерти человек бессилен. *That's not my business*¹, — как говорят англичане. Но пока ты жив, надо с кем-то поделиться своим достоинством, своим добытком — деньгами, почетом или славой... Будь на Луне даже алмазные россыпи, какой в них толк, если некому их оценить? Так и человек: надо, чтоб кто-то его оценил. Вот я и думаю: кто же оценит меня, как не женщина — бесконечно добрая, преданная, горячо любимая и безраздельно мне принадлежащая. Без этого душевный покой невозможен, а без него жизнь теряет всякий

¹ Дальше я уже не властен (англ.).

смысл. Это вам говорит не романтик, не поэт, а коммерсант, человек практического склада. Иметь рядом близкое, дорогое существо — это и есть цель в жизни. А там что бог даст. Вот моя жизненная философия.

Хотя Поланецкий утверждал, что говорит, как коммерсант, он размечтался; летний вечер и присутствие молодой девушки, которая во многом соответствовала его идеалу, подействовали на него. Видимо, он и сам это почувствовал.

— Вот как я смотрю на жизнь, хотя далеко не всем это высказываю. Но сегодня вот потянуло на откровенность; права была пани Эмилия: с вами за день ближе сойдешься, чем с другим за год. Это все ваша бесконечная доброта, наверно. Ах, как было бы глупо не поехать в Кшемень! А теперь с вашего позволения буду часто сюда приезжать.

— Приезжайте, пожалуйста... когда захотите.

— Спасибо.

Они протянули друг другу руки, словно заключая союз между собой.

Ведь и он ей очень понравился — энергичный, с живыми глазами и обрамленным темной шевелюрой, открытым, мужественным лицом. С ним повеяло в Кшемene чем-то новым, чего ей так не хватало, — горизонты словно раздвинулись, замкнутые до той поры прудом да ольховником. И за один этот день они сблизились, насколько это вообще возможно за день.

Наступило молчание, но и молча они, казалось, шли и шли вперед. Марыня подняла руку, указывая на встающий из-за ольховника свет.

— Луна, — сказала она.

— Да, луна! — повторил Поланецкий.

Красная, с колесо, луна медленно выкатывалась из-за деревьев. Но тут залаяли собаки, из-за дома донесся стук экипажа, и минутой спустя в гостиной, куда перед тем внесли лампу, горка казалась Плавницкий.

Марыня перешла с террасы в гостиную, с нею — и Поланецкий.

— Ничего особенного, — сказал Плавницкий. — Просто неожиданно заехала Хромецкая; они думали, она скоро уедет, и не дали нам знать. Ямишу немного нездоровится, но он собирается завтра в Варшаву. А она общала навестить нас послезавтра.

— Значит, все благополучно? — спросила Марыня.

— Выходит, так. А вы что делали?

— Лягушек слушали, — сказал Поланецкий, — и наслаждались.

— Что ж, и лягушки зачем-то созданы, не буду на бога роптать, хотя они спать мне не дают. Марыня, вели-ка чай подавать.

Чай уже ждал их в соседней комнате. За столом Плавницкий рассказывал о визите к Ямишам. А молодые люди молчали, лишь

по временам обмениваясь сияющими взглядами, и на прощанье крепко пожали друг другу руки.

Ложась спать, Марыня испытывала тяжесть во всем теле, как от сильной усталости, но усталость эта была особенная, приятная. И, опуская голову на подушку, она думала не о том, что завтра — понедельник, начало новой хлопотной будничной недели; думала она о Поланецком, и в ушах ее звучали слова: «Кто оценит меня, как не женщина — бесконечно добрая, преданная, горячо любимая и безраздельно мне принадлежащая».

А Поланецкий, закуривая в постели папироску, говорил себе: «И добра, и мила, и собой хороша, чего же больше?»

ГЛАВА III

Наутро погода была пасмурная, и Марыня проснулась с неспокойной совестью. Ей казалось, что вчера, словно подхваченная каким-то течением, она позволила себя увлечь слишком далеко и повела себя как самая настоящая кокетка. И это было тем неприятней, что Поланецкий ведь приехал за деньгами. Вчера она об этом позабыла, а сегодня говорила себе: «Он, наверно, решил, что я хочу его завлечь и задобрить», — и при мысли об этом вся кровь бросилась ей в лицо. В ней, девушке прямой, самолюбивой, все возмущалось от сознания, что ее могут заподозрить в хитрости. И одно лишь это предположение сразу настроило ее против Поланецкого. Особенно мучительно было знать, что кшеменьская касса пуста и вообще у них нет ни гроша, а если что и появится после продажи магерувской земли, отец прежде Поланецкого постарается удовлетворить других, полагая долги им более важными. И хотя она поклялась себе сделать все, чтобы долг непременно и без проволочек был возвращен Поланецкому, но понимала, как мало от нее зависит. Отец охотно предоставляет ей вести хозяйство, но денежные дела ведет сам, не спрашивая ее совета. Тактика его в этом отношении сводилась к тому, чтобы всеми правдами и неправдами отделиться от кредиторов, отводя им глаза несбыточными планами и обещаниями, в которые он сам не верил. И так как взыскивать по закладным — дело вообще хлопотное и волокитное, которое можно оттягивать чуть не до бесконечности, Плавичский благодаря своей тактике до сих пор оставался владельцем Кшеменя. В конце концов все это грозило полным и неизбежным крахом, но покамест старик всерьез уверился, что у него «практический ум», и советы и мнения дочери слушал с крайней неохотой, угадывая за ними сомнения в его «практичности», очень задевавшие его самолюбие.

Эта пресловутая практичность со всеми вытекающими последствиями уже принесла Марыне немало огорчений. И жизнь ее, исполненная труда на лоне природы, разве лишь со стороны

могла показаться идиллической. Приходилось испытывать немало неприятностей и унижений, и спокойное выражение ее лица говорило не только о кротости, но и о большой выдержке и силе характера. Однако никогда еще, как ей казалось, не попадала она в положение более унижительное, чем сейчас.

«Лишь бы хоть он ни в чем меня не заподозрил», — повторяла она себе. Но что тут можно было сделать? Первой ее мыслью было поговорить с ним, прежде чем он увидится с отцом, и чистосердечно открыть ему положение дел как человеку, которому доверяешь. Но потом она подумала, что такой разговор может быть истолкован как попытка разжалобить, упрямство о снисхождении, а значит, обернется новым унижением. Тем не менее Марыня, вопреки всему, возможно, и пошла бы на это, не догадываясь она полуинтуитивно, с женской чуткостью к своим и чужим душевным движениям, что встреча их не случайна, что между ними уже что-то есть или, во всяком случае, обнаружится в будущем. А коли так, всякое откровенное объяснение исключено. Оставалось только одно: увидеться и своим поведением развеять вчерашнее впечатление, порвать протянувшиеся между ними нити взаимной симпатии и предоставить ему полную свободу действий. Такой выход казался самым приемлемым, и, узнав от прислуги, что Поланецкий уже встал, напился чаю и пошел пройтись к проселку, она решила разыскать его.

Это оказалось несложным: он уже вернулся и, стоя за увитым диким виноградом крыльцом, ласкал тех самых собак, которые с такой радостью кинулись к нему накануне. Марыни он не заметил, и она, спускаясь, услышала его голос:

— Что, песики, еду небось получаете, а дом кто будет сторожить? И на чужих не лаете, даже еще ласкаетесь. Ах, глупые дворняги, ах, дармоеды!

Трепля их по белым головам, он вдруг в просвете между листьями увидел Марыню и кинулся к ней с сияющей улыбкой.

— Добрый день! А я тут с собаками беседую. Как спали?

— Благодарю, хорошо, — сказала она и холодно протянула руку; а он глядел на нее во все глаза, не скрывая радости и удовольствия.

«Бедная Марыня тоже ему обрадовалась, обрадовалась от души. И сердце у нее сжалось оттого, что на его искреннее приветствие нужно отвечать так сдержанно и церемонно.

— Вы по хозяйству вышли? Разрешите мне с вами. Я сегодня же должен возвращаться, поэтому хочется с вами побыть. С удовольствием погостил бы подольше, да, видит бог, не могу. Но теперь уж узнал сюда дорогу.

— Милости просим, если будет время.

Поланецкий посмотрел на нее с недоумением, только сейчас обратив внимание на ее ледяной тон и каменное лицо. Марыня ошибалась, думая, что он поступит так же, как поступили бы

другие: возьмет ее тон. С его живостью и непосредственностью он не мог не спросить напрямик о причине.

— Вы чем-то огорчены?

— Нет, вам просто показалось... — смешалась она.

— Неправда. Я вижу прекрасно, и сами вы знаете, что не показалось. Вы такая сейчас, как в первый вечер. Но тогда я сам был виноват, заговорив некстати о деньгах. Вчера я попросил прощения, и все было хорошо — да еще как! А нынче опять. Скажите, почему?

Самый изощренный дипломат не поставил бы Марыню в более затруднительное положение. Ей казалось, она оттолкнет его своим поведением, а добилась обратного. Этот вопрос в упор задавался тоном не охладевшего, а незаслуженно обиженного человека.

— Скажите откровенно, что произошло? — продолжал он. — Скажите, прошу вас! Если вы считаете, как ваш отец, будто вчера я был гостем, а сегодня — кредитор, это же глупость... то есть ерунда! Я различий таких не признаю и никогда не буду вашим кредитором — скорее уж должником, я и сейчас в долгу перед вами за вашу вчерашнюю доброту. И, видит бог, как бы мне хотелось остаться вашим должником.

С этими словами он заглянул ей в глаза в надежде вызвать давешнюю улыбку; но Марыня, хотя сердце у нее сжималось, не отступила от своего решения: во-первых, потому, что оно уже принято, а во-вторых, из опасения, как бы, признав его правоту, не пришлось пускаться в объяснения.

— Уверяю вас, — сказала она не совсем твердо, — вы или вчера меня не поняли, или сегодня. Я всегда одинакова и буду рада, если у вас сохранятся добрые воспоминания о нас.

Любезные слова, но в устах девушки, настолько непохожей на вчерашнюю, что на лице Поланецкого изобразились раздражение и гнев.

— Если вам угодно, чтобы я сделал вид, будто верю вам, извольте. Но унесу все равно убеждение: в деревне в воскресенье ведут себя иначе, нежели в понедельник.

Марыню это задело; значит, Поланецкий успел уже невесть что вообразить об их отношениях.

— Я, право, не виновата, — скорее печально, чем сердито, возразила она, и ушла под предлогом, что торопится к отцу.

Оставшись один, Поланецкий со злостью отогнал собак, которые опять стали ластиться к нему.

«Что же это такое? — рассуждал он сам с собой. — Вчера мила, сегодня дуется. Будто подменили! Как это глупо и пошло! Вчера — родня, а нынче — кредитор! Как можно так рассуждать! И кто дал ей право третировать меня, как тварь последнюю? Что я, ограбил кого-нибудь? И вчера небось знала, зачем я приехал. Хорошо же! Хотите видеть во мне кредитора — извольте! Пропади оно все пропадом!»

Марыня вбежала к отцу. Плавицкий уже встал и в халате сидел за столом с разложенными бумагами. Обернувшись, он поздоровался и снова углубился в чтение.

— Папа,— сказала Марыня,— я пришла поговорить насчет пана Поланецкого, ты...

— Я с твоим Поланецким в два счета управлюсь,— перебил он, не отрываясь от бумаг.

— Не думаю. Мне, во всяком случае, хотелось бы возвратить ему долг в первую очередь, чего бы нам это ни стоило.

Плавицкий повернулся и посмотрел на дочь.

— Как прикажешь тебя понимать: это опека над ним или надо мной? — спросил он ледяным тоном.

— Это дело нашей чести...

— И ты полагаешь, я нуждаюсь в твоих советах?

— Нет, но...

— К чему вообще этот пафос! Что с тобой сегодня?

— Папа, я прошу тебя, ради всего...

— А я тоже прошу предоставить это мне. Ты меня от хозяйства отстранила, я уступил, потому что не хочу отравлять оставшиеся мне годы ссорами с родной дочерью. Но не лишай меня хотя бы последнего угла, единственной этой комнаты, и не вмешивайся не в свое дело.

— Папочка, я ведь прошу только...

— Чтобы я на хутор перебрался? Какую же пзбу ты мне предназначаешь?

Пафос Плавицкий считал, видимо, своей привилегией: он даже привстал в своем персидском халате, ухватясь за ручки кресла,— ни дать ни взять король Лир, который всем своим видом давал понять бездушной дочери, что вот-вот рухнет, сраженный ее жестокостью. У Марыни слезы павернулись на глаза, горькое сознание своего бессилия подступило к горлу. Она постояла с минуту молча и, боясь расплакаться, сказала тихо:

— Прости, папа...

И вышла из комнаты.

А через четверть часа в ту же комнату вошел по приглашению хозяина Поланецкий, раздраженный и злой, хотя старавшийся не показывать вида.

Плавицкий поздоровался, усадил его на стул, предусмотрительно поставленный рядом.

— Скажи, Стах,— заговорил он, кладя Поланецкому руку на плечо,— ведь ты не собираешься крова нас лишить? И не желаешь смерти мне, который тебя встретил, как родного? И дочь мою не хочешь оставить сиротой, не правда ли?

— Ни крова, ни жизни лишать я вас не собираюсь,— отвечал Поланецкий,— и дочь чтобы ваша осталась сиротой, тоже не желаю. И прошу таких вещей не говорить, вы этим ничего не добьетесь, а мне неприятно это слушать.

— Хорошо, — ответил Плавицкий, несколько задетый тем, что его прочувственная речь не произвела должного впечатления. — Но не забывай, что ты бывал в моем доме еще ребенком.

— Да, бывал, с матерью, которая приезжала и после смерти тети Елены, потому что вы процентов не платили. Но это не имеет никакого отношения к делу. Долг числится за вами двадцать один год. С процентами это составляет двадцать четыре тысячи рублей. Для круглого счета, скажем, двадцать. Но эти двадцать тысяч вы обязаны вернуть, я для этого приехал.

— Приехал из-за денег... — поник Плавицкий головой. — Допустим; но почему же, Стах, вчера ты был совсем другой?

Поланецкого, который полчаса назад о том же спрашивал Марыню, вопрос этот совсем вывел из себя. Сдержавшись, он сказал:

— Давайте перейдем к делу.

— Не возражаю; но позволь мне сперва сказать несколько слов и не перебивай. Ты говоришь, процентов не платил. Верно. Но знаешь, какой у меня был расчет? Твоя мать не весь свой капитал мне отдала, не знаю, к вашей ли пользе, но это дело другое. Она бы и не могла без согласия опекунского совета. Так вот. Взял я деньги и подумал про себя: осталась женщина одна с ребенком на руках, неизвестно еще, как у нее сложится жизнь, пускай хоть эти деньги, отданные в долг, останутся у нее про черный день, пусть проценты нарастают, со временем они ей пригодятся. И с тех пор я все равно что вапа сберегательная касса. Твоя мать дала мне двадцать тысяч, а сейчас за мной двадцать четыре. Видишь, сколько! И ты за это хочешь мне отплатить неблагодарностью?

— Дорогой дядюшка, — сказал Поланецкий в ответ, — да вы, никак, меня за дурака или слабоумного принимаете. Предупреждаю заранее: меня на эту удочку не поймаете. Вы сказали, мне двадцать четыре тысячи причитается, где же они? Верните мне их в таком случае! И пожалуйста, без этих жалких слов...

— А ты имей, пожалуйста, терпение и не горячись, хотя бы из уважения к моему возрасту, — полным оскорбленного достоинства тоном возразил Плавицкий.

— Мой компаньон через месяц вносит двенадцать тысяч в одно дело, моя доля составляет столько же. Я, кажется, ясно сказал и еще раз заявляю: после двух лет бессмысленной переписки я не могу и не желаю больше ждать.

Плавицкий облокотился на стол, молча прикрыв рукою лицо.

Поланецкий с растущей неприязнью смотрел на него, ожидая ответа и спрашивая себя: «Кто он, плут или безумец? Или законченный эгоист, который добро и зло меряет собственной выгодой? Или воплощение того, другого и третьего?»

Плавицкий по-прежнему сидел, заслонив лоб, и молчал.

— Мне все-таки хотелось бы знать... — начал Поланецкий. Но тот сделал знак, чтобы не мешал.

Наконец отнял руку от лица: оно сияло.

— Стах,— сказал он,— к чему нам ссориться, когда такой простой выход есть?

— Какой?

— Мергель!

— Что?!

— Привози своего компаньона, найди специалиста, пусть залежь оценит, и втроем оснуем компанию. Твой... как бишь его, Бигель, пусть вносит свою долю, ты тоже доплатишь, если нужно,— и дело пойдет, прибыль можно получить колоссальную.

Поланецкий встал.

— Извините, но я не привык, чтобы надо мной насмехались. Мне нужны деньги, а не мергель, и все, что вы говорите,— глупые и недостойные уловки.

Наступило тягостное молчание. Плавицкий нахмурил лоб и насупил брови с видом разгневанного Юпитера. С минуту он взглядом испепелял смельчака, потом, шагнув к стене, на которой висело оружие, снял с гвоздя охотничий нож и протянул Поланецкому.

— Есть и другой выход: убей! — И распахнул полы халата, но потерявший терпение Поланецкий оттолкнул его руку.

— Перестаньте комедию ломать! — повысил он голос. — Я не желаю терять время на пустые разговоры. Хорошо, я уезжаю, надоели вы мне вот так с вашим Кшеменем, но имейте в виду, первому попавшемуся маклеру продаю закладную, даже за полцены, уж он-то не станет с вами церемониться.

— Иди! — театральным жестом простирая руку вперед, вскричал Плавицкий. — Продавай жидам родное гнездо, но помни: мое проклятие и тех, кто здесь жил, всюду настигнет тебя!

С побледневшим от ярости лицом Поланецкий выскочил из комнаты, ища в гостиной шляпу и бранясь на чем свет стоит. Шляпа наконец нашлась, но только он хотел пойти посмотреть, не подана ли бричка, как вошла Марыня. При виде ее он поостыл немного, но, сообразив, что она всем тут заправляет, снова вспыхнул:

— Прощайте! Не желаю больше иметь никакого дела с вашим батюшкой. Вместо того чтобы деньги вернуть, он сначала меня благословил, потом мергель предложил, а напоследок проклял. Ничего себе, оригинальный способ долги платить!...

В первую минуту Марыня хотела протянуть ему руку и сказать: «Негодование ваше мне понятно. Я сама была только что у отца, упраскивала его уплатить вам в первую очередь. Вы вольны поступать с нами, с Кшеменем как вам угодно, но не вините меня в злонамеренности, не думайте обо мне плохо».

Рука уже готова была протянуться, слова — слететь с губ, но Поланецкий, распалась, совсем потерял самообладание.

— Довожу это до вашего сведения,— прибавил он,— потому что в первый вечер, когда я заговорил о деньгах, вы изволили

оскорбиться и отослала меня к отцу. Благодарю за дельный совет, но он выгоден вам, а не мне, так что о дальнейшем я уж сам позабочусь.

Марыня закусил губы, на глазах ее выступили слезы негодования и обиды.

— Вы, конечно, можете меня оскорблять, заступиться за меня некому,— вскинув голову, сказала она.

И пошла к двери, чувствуя себя безмерно униженной и думая с горечью: вот награда за труд, в который она вкладывает все силы, весь пыл своей юной, чистой души. Поланецкий понял, что хватил через край. Он был отходчив, и гнев его моментально сменился жалостью. Он кинулся было за ней, готовый просить прощения, но поздно: Марыня удалилась.

Это еще больше его разъярило. Но злился он теперь и на самого себя. Ни с кем не простясь, уселся он в бричку, которую тем временем подали к крыльцу, и покинул Кшемень. Гнев душил его, и он ни о чем не мог думать, кроме мести. «Продам, за треть цены продам, пусть имущество описывают! Продам, даже если деньги не понадобятся,— просто назло!»

Гневное намерение сменилось твердым и непоколебимым решением. А поскольку Поланецкий был не из числа тех, кто не держит слова, данного даже самому себе, теперь оставалось только найти охотника приобрести закладную, взыскать деньги по которой значило, впрочем, в полном смысле обломать зубы о кремень¹.

Бричка меж тем из аллеи выехала на открытую полевою дорогу. Поланецкий, придя понемногу в себя, стал думать о Марыне; мысли и впечатления сменялись, как в калейдоскопе: то он представлял себе ее лицо и фигуру, то вспоминал их воскресный разговор и как она была мила, и неприязненное чувство сменялось жалостью к ней, а жалость — опять злостью, ожесточением и недовольством собой, которое еще сильнее восстанавливало против нее. И каждое чувство, попеременно овладевая им, освещало все своим светом. Вспоминая ее стройную фигуру, глаза и темные волосы, большой, но красиво очерченный рот, кроткое лицо, он не испытывал к ней ничего, кроме симпатии. «Что-то чистое, девичье есть в ней»,— подумал он; но вместе с тем губы, стан и плечи выдавали женщину, и было это особенно привлекательно. Вспомнились и ее приятный голос, спокойный взгляд и несомненная доброта. И он стал клясть себя при мысли, как груб был с ней перед отъездом, каким разговаривал тоном. «Если отец ее — старый фигляр, плут и дурак,— говорил он себе,— и она это знает, тем горше ее положение. Что же из этого следует? А то, что любой человек, у кого есть хоть капля сострадания, понял бы это и пожалел бедную, измученную девушку, а не накидывался на нее, как это сделал я». И он

¹ Игра слов: «кшемень» — кремень.

готов был пощечин себе надавать, представляя, как бы их сблизило и как она была бы ему признательна, прояви он после ссоры с ее отцом должную деликатность. Она протянула бы обе руки на прощанье, он бы поцеловал их, и они расстались друзьями. «Черт бы побрал эти деньги,— повторял он мысленно,— а заодно и меня!» Совершена непоправимая ошибка, и сознание этого лишало всякого душевного равновесия, толкая на путь, неправильность которого была для него очевидна. И он опять принимался за свой монолог: «И черт с ним, пускай все прахом идет! Продам закладную, и пусть у них описывают имущество, из дома выгоняют, поступит старик в какую-нибудь должность, а она — в гувернантки или за Гонтовского пойдет...» Нет, что угодно, только не это! Да он шею ему свернет! Пусть выходит за кого хочет, но не за этого болвана, увальня, невежу. И на голову бедняги Гонтовского так и посыпались нелестные эпитеты; вся злость обратилась против него, точно он был всему причиной. Свирепей людоеда приехал он в Чернёв на станцию, и попадись ему сейчас Гонтовский, он зубами впился бы ему в загривок, совсем как Уголино. К счастью, вместо Гонтовского он увидел несколько железнодорожных служащих, мужиков да евреев — и умное, страдальческое лицо советника Ямша. Тот узнал его и, когда подошел поезд, пригласил к себе в отдельное купе, представившееся ему по знакомству с начальником станции.

— Знал, знал я вашего батюшку,— сказал он,— знал еще в лучшие его времена. Жена моя родом из тех мест. Помните, Звихов, Бженчонца, Моцаже и Розвады принадлежали ему в Люблинском воеводстве. Знатное сословие! Дедушка ваш был в тех краях одним из самых крупных землевладельцев. А теперь... земли, наверно, в другие руки перешли?

— Не теперь, давно уже. Отец еще при жизни все состояние потерял. Болел, приходилось в Ницце жить, и хозяйство без присмотра в полный упадок пришло. Не получил мать наследство, уже после его смерти, нам совсем было бы худо.

— Зато вы преуспеваете. Имел я с вашей конторой дело через Абдульского — хмель вам продавал.

— Через посредство Абдульского?

— Да, и признаться, остался доволен. Ценой меня не обидели, и я убедился, что дело у вас ведется честно.

— Иначе нельзя. Компаньон мой, Бигель,— человек порядочный, я тоже Плавницкому не чета,— отвечал Поланецкий.

— Почему Плавницкому? — спросил удивленный Ямш.

И Поланецкий, чье раздражение еще не улеглось, рассказал о происшедшем.

— Гм! В таком случае разрешите мне ответить откровенностью на откровенность, хоть он вам и родня,— заметил Ямш.

— Какая родня! Его первая жена была родственницей и подругой моей матери — только и всего.

— Я его с детства знаю. Человек он неплохой, но испорченный. Единственный сын, которого сначала баловали родители, а потом — жены. Добрые, кроткого нрава, они обе молились на него. Всю жизнь он был словно солнце, вокруг которого остальные обращались как планеты, ну и привык считать, что люди ему всем обязаны, а он им — ничем. Когда единственным мерилом добра и зла становятся собственные удобства, очень легко о всякой морали позабыть. Плавицкий — человек самовлюбленный и распущенный; самовлюбленный потому, что всегда высоко мнил о себе, распущенный оттого, что никогда ни в чем не знал отказа. Постепенно то и другое так глубоко въелось, что стало второй натурой. Позже обстоятельства изменились к худшему, чтобы противостоять им, нужен был характер, а он всегда был бесхарактерным и начал прибегать к разным уверткам, ну и привык так жить в конце концов. Земля, скажу я вам, нас и облагораживает, и развращает. Один мой знакомый, обанкротившись, все, бывало, говаривал: «Это не я верчусь, она мной вертит». И он прав отчасти. Все мы рабы собственности, особенно земельной.

— Знаете,— сказал Поланецкий,— меня, хотя в роду моем все полагали свое благополучие в земле, к сельскому хозяйству не тянет. Знаю, что земледелие всегда будет существовать, без этого нельзя, но в теперешнем виде у него будущности нет. Все мы обречены.

— Я тоже на этот счет не обольщаюсь. Во всей Европе сельское хозяйство переживает упадок, это общеизвестно. Возьмем, к примеру, какого-нибудь помещика, у которого четверо сыновей, каждому, стало быть, достанется четверть отцовского достояния. Но каждый привык сызмала жить, как жил отец,— развязку легко предвидеть. Или же из четверых, те, кто поспособнее, изберут себе иное поприще, а на земле останется самый неспособный, это уж обязательно. А бывает и так: один какой-нибудь вертопрах возьмет и промотает все, накопленное трудами многих поколений. И потом: землю возделывать мы еще умеем, а вот хозяйством управлять... А ведь хорошим администратором быть, пожалуй, поважнее, чем хорошим земледельцем. Что следует из этого? А то, что земля останется, мы же, ее владельцы, будем вынуждены ее покинуть. Но вот увидите: когда-нибудь, может быть, еще вернемся.

— Как так?

— Вот вы сказали, что вас не тянет к земле, но это неверно. Она тянет — и притягательная сила ее так велика, что в известном возрасте и с известными средствами нельзя устоять и не приобрести хотя бы клочок земли. И с вами будет то же самое. И это лишь естественно. Потому что любое богатство, кроме земли, в конечном счете — фикция. Все из нее исходит, и все существует для нее. Промышленность, торговля и прочее по отношению к земле — как казначейский билет, который подлежит

обмену на золото, хранящееся в банке. И вы, человек от земли, к ней и вернетесь.

— Только не я.

— Разве можно знать наперед? Сейчас вы наживаете состояние, ну, а наживете, тогда что? В жизни должна быть цель. Поланецкие испокон века имели дело с землей, а вы, один из них, избрали другое занятие. Но ведь большинство помещичьих детей поневоле поступает так. Кто-то погибнет, а кто-то разбогатеет и вернется, вернется не только с капиталом, но и с новой энергией и тем запасом знаний и умением расчетливо хозяйничать, которое дается практической деятельностью. Вернется, уступая влечению к земле и, наконец, чувству долга; последнее вам нет нужды объяснять.

— Хорошая сторона всего этого разве что одна: значит, мой так называемый дядюшка тоже обречен?

— Сколько ниточка ни тянется, а все равно оборвется,— сказал Ямиш после минутного раздумья. — По-моему, Кшемень им не удержать, даже если распродать Магерувку. Кого мне жаль, так это Марыню. Очень славная девушка. Вы, вероятно, не знаете, что два года назад старик вознамерился продать Кшемень и перебраться в город и отказался от этого не в последнюю очередь благодаря настояниям Марыни. То ли из-за матери, которая тут покоится, из уважения к ее памяти, то ли чтение на нее так повлияло — в последнее время много говорят и пишут о нашем долге перед землей, обязанности ее держать, — но она сделала все от нее зависящее, чтобы не допустить продажи. Бедняжка воображала: нужно только поусердней взяться за дело, и все образуется. Отказывает себе во всем ради этого Кшеменя. И когда ниточка оборвется, а оборвется непременно, для нее это будет страшным ударом. Жалко девочку!

— Вы добрый человек, пан советник! — с присущей ему непосредственностью воскликнул Поланецкий.

Старик улыбнулся.

— Привязался к ней, — я ведь в некотором роде ее наставник по агрономической части. Очень будет ее не хватать.

Поланецкий помолчал, покусывая ус.

— Пусть замуж за кого-нибудь из соседей выходит, — сказал он, — вот и не придется уезжать.

— Замуж... замуж... Не так-то это просто для бесприданницы. Да и где тут у нас женихи? Гонтовский разве что. Он бы женился. Человек, кстати, неплохой и вовсе не такой ограниченный, как говорят. Но у нее-то чувства нет к нему, а не по любви она замуж не пойдет. К тому же Ялбжиков — именице крохотное. А старик еще в голову себе забрал, будто Гонтовские не ровня Плавицким, — тот, кажется, и сам в это уверовал. У нас ведь, вы знаете, всяк, кому не лень, барина из себя корчит. Один нос дерет оттого, что разбогател, другой — оттого, что разорился: а что ему остается делать. Люди посмеются, а там, гля-

дишь, и привыкнут. Но не о том речь. Я знаю одно: кто на Марыне женится, приобретет сокровище.

У Поланецкого у самого было такое чувство, даже убеждение. И он, примолкнув, снова стал вспоминать о Марыне, воскрешать в памяти ее образ. И подумал, что будет тосковать по ней; но тотчас прогнал эту мысль, сказав себе, что такие встречи уже не раз бывали и неизменно забывались. Тем не менее, когда поезд подходил к Варшаве, продолжал думать о ней и, выходя на вокзале из вагона, пробормотал сквозь зубы:

— Как нелепо получилось! Как нелепо!

ГЛАВА IV

Первый вечер по возвращении в Варшаву Поланецкий провел у Бигеля, своего компаньона и друга еще со школьной скамьи. Чех по происхождению, но из давно осевшей в Польше семьи, Бигель еще до объединения с Поланецким держал небольшую торгово-банковскую контору, пользуясь репутацией осторожного, но чрезвычайно добросовестного и аккуратного дельца. По вхождении же в дело Поланецкого — еще до окончательного возвращения из-за границы — их торговый дом, значительно расширив свои операции, стал совсем солидной фирмой. Компаньоны превосходно дополняли друг друга. У Поланецкого, живого и предприимчивого, рождались смелые замыслы, он был дельцом проницательным и дальновидным, а Бигель — превосходным исполнителем. Поланецкий был незаменим, когда нужно было действовать решительно, припереть кого-нибудь к стенке; когда же требовалась осмотрительность, терпеливость, умение обдумать, прикинуть, повернуть так и этак, появлялся на сцене Бигель. Словом, это были натуры противоположные, но, может быть, поэтому и крепко дружившие. В делах, правда, главенство принадлежало Поланецкому. Бигель верил в его недюжинные способности, а несколько идей, поданных Поланецким после вступления в дело и оказавшихся весьма прибыльными, еще больше эту веру укрепили. Мечтой обоих было сколотить капитал, достаточный, чтобы построить ситценабивную фабрику; технической стороной этого предприятия ведал бы Поланецкий, а административной — Бигель. Но хотя оба уже были люди состоятельные, до этой цели пока еще было далеко. Нетерпеливый, имевший широкие связи Поланецкий попытался было после заграницы привлечь «отечественные» капиталы, но столкнулся с общим недоверием. Как ни странно, фамилия его, раскрывая перед ним все двери, в делах скорее вредила, чем помогала. У тех, к кому он обращался, казалось, не укладывалось в голове, как это человек их круга, из хорошей семьи, с чисто польской фамилией может заниматься гешефтом. Поначалу это его страшно бесило, и рассудительному Бигелю долго приходилось ему втол-

ковывать, что недоверие их оправдано, это плод многолетнего и горького опыта. Зная подноготную разных торгово-промышленных компаний, он называл ему множество имен от государственного казначея Тизенгаузена и Теллюсов вплоть до директоров всевозможных земельных банков, которые к земле не имели ровно никакого отношения. «Время еще не пришло, — говорил Бигель, — но оно придет, вернее, уже наступает. На смеку аферистам и дилетантам идут люди сведушие».

Не лишенный наблюдательности, несмотря на свою горячность, Поланецкий успел сделать немало любопытных открытий в кругах, куда имел доступ благодаря своим связям. К тому, что он занят делом, все относились в общем с одобрением. О нем отзывались даже с преувеличенной похвалой; но в этом одобрении слышалась как бы снисходительная нотка. Все подчеркивали, что уважают и считают его деятельность полезной, но не могли отнестись к ней как к вещи самой естественной и обыкновенной. «Они на меня поглядывают свысока», — думал Поланецкий и не ошибался. И пришел к заключению, что попроси он руки какой-нибудь барышни из так называемого «хорошего» общества, его торговые дела и репутация «коммерсанта» скорее повредили бы ему, чем помогли, несмотря на всеобщее уважение. Любую из этих девиц выдали бы за него куда охотней, будь у него вместо прибыльного предприятия обремененное долгами имение или живи он на широкую ногу, проедая проценты с капитала, а то и сам капитал.

После таких наблюдений Поланецкий охладел к светской жизни и в конце концов вовсе перестал бывать в обществе, довольствуясь лишь домом Бигеля, Эмили Хвастовской да своей более тесной холостяцкой компанией. Обедал у François с Букацким, стариком Васковским и адвокатом Машко, ведя с ними нескончаемые беседы и споры по разным поводам. Часто ходил в театр и другие публичные места, но в общем вел жизнь довольно уединенную и все не женился, несмотря на расположение к тому, подкрепляемое доводами рассудка, и достаток.

Поехав почти прямо с вокзала к Бигелям, Поланецкий первым делом излил злость, накопившуюся против «дядюшки», думая найти в лице хозяина дома благосклонного и сочувственного слушателя; но Бигель не выразил никакого особого волнения.

— Знаю я этот тип людей, — сказал он. — Да и, по правде говоря, откуда ему взять деньги, если у него их нет? Со всеми этими закладными надо ангельское терпение иметь. Земля быстро забирает денежки, а отдавать не торопится.

— Слушай, Бигель, — отвечал Поланецкий, — с тех пор, как ты спать стал после обеда и толстеть, с тобой тоже терпение нужно ангельское.

— А ты скажи по совести, — продолжал невозмутимо Бигель, — так уж тебе необходимы эти деньги? Разве нет у тебя суммы для уговоренного между нами пая?

— Интересно, а какое это имеет касательство к тебе или Плавицкому? Он должен, значит, пусть возвращает, и все тут!

Спор прекратило появление пани Бигель со стойкой детиспек. Это была еще молодая, голубоглазая и темноволосая женщина, очень добрая и вечно занятая детьми, которых было шестеро и которых Поланецкий очень любил. За это она платила ему искренней дружбой, связывавшей ее и с Эмилией Хвостовской. Обе женщины знали и любили Марыню Плавицкую, порешив между собой женить на ней Поланецкого и настойчиво уговаривая его съездить в Кшмень. И теперь пани Бигель не терпелось узнать о его впечатлениях.

Но разговаривать не давали дети. Ясь, младший из умевших ходить, обхватив Поланецкого за ногу, тянул его к себе, крича: «Пам! Пам!», что на его языке означало: «Пан! Пан!»; девчужки, Эва и Иоася, без церемоний взобрались ему на колени, а Эдя с Юзей подступили к нему с серьезным разговором. Они прочли «Завоевание Мексики» и теперь в него играли. И Эдя, подняв брови и разводя руками, с жаром объяснял:

— Хорошо! Кортесом буду я, Юзя — конным конвоиром, но как быть, если ни Эвка, ни Иоася не хотят быть Монтесумой? Так ведь нельзя играть, правда? Кто-то же должен Монтесумой быть, иначе у мексиканцев не будет предводителя.

— А где у вас мексиканцы? — спросил Поланецкий.

— Вот эти стулья — мексиканцы, а те — испанцы, — отвечает Юзя.

— Ну, держитесь! Я буду Монтесумой, ну-ка, попробуйте теперь Мексику завоевать!

Поднялась невообразимая возня. Живой и непосредственный Поланецкий мгновенно обратился в ребенка и стал так отчаянно сопротивляться Кортесу, что тот запротестовал, заявив, и не без основания, что это противоречит истории: раз Монтесума был побежден, значит, пусть даст себя победить. Но Монтесума отвечал, что это его не касается, и продолжал сражаться. Игра затягивалась.

И пани Бигель спросила мужа, не дожидаясь конца:

— Ну, как визит в Кшмень?

— Он там проделал в точности, что и сейчас, — флегматично отозвался Бигель. — Перевернул все вверх дном и уехал.

— О ней он что-нибудь рассказывал?

— Про Марыню я не успел расспросить, а с Плавицким расстался — хуже не придумаешь. Хочет продать закладную, а это, само собой, поведет к полному разрыву.

— Жалко, — промолвила пани Бигель и за чаем, когда дети пошли спать, прямо спросила Поланецкого про Марыню.

— Красива или нет, не знаю, — отвечал тот. — Я не задумывался над этим.

— Неправда! — возразила пани Бигель.

— Ну и пускай неправда. Ну и пускай мила, хороша собой и все что хотите. Да, можно влюбиться, да, можно жениться, но только ноги моей больше не будет в этом доме. Догадываюсь, зачем вы меня туда посылали. Надо было только предупредить заранее, что за птица ее отец; наверняка она характером в него, а раз так, благодарю покорно.

— Подумайте, что вы говорите: «Мила, хороша собой, можно влюбиться» — и «характером в него». Одно с другим не вяжется.

— Может быть, но что из этого. Не повезло, и баста!

— А я вам вот что скажу: Марыня произвела на вас сильное впечатление — это раз. А два: другой такой замечательной девушки я в жизни не встречала, и кто на ней женится, будет только счастлив.

— Тогда почему же на ней никто не женился до сих пор?

— Да ведь ей двадцать один всего, она только в свет выезжать начала. И, пожалуйста, не думайте, будто нет на ее руку претендентов.

— Ну вот и пусть выходит за них.

Но он кривил душой: ему неприятна была мысль, что она может выйти за другого. И тайне был признателен пани Бигель за похвалы Марыне.

— Оставимте это,— сказал он. — Во всяком случае, вы ей настоящий друг.

— Не только ей, но и вам! Признайтесь-ка откровенно, только совершенно откровенно: понравилась она вам?

— Понравилась ли? Говоря откровенно, очень!

— Ну вот видите! — воскликнула пани Бигель, просяив от удовольствия.

— Что я вижу? Ничего не вижу! Да, понравилась, не отрицаю. Трудно представить себе создание милее и очаровательнее. К тому же она, наверно, еще и добрая! Но что из этого? В Кшемь мне дороги больше нет. Я такого наговорил ей и Плавницкому, что об этом и думать нечего.

— Что, много натворили глупостей?

— Да уж немало.

— Это дело поправимое: напишите письмо...

— Писать Плавницкому и извиняться? Да ни за что! Ведь он же меня напоследок еще и проклял.

— Проклял?

— Да, по праву старшинства. От собственного лица и от имени всех предков. Он мне до того отвратителен, что я двух слов не смогу написать. Старый, надутый фигляр! Скорее уж у нее прощения попросить... да что это даст? Она будет на стороне отца, и это можно понять. В лучшем случае ответит, что не сердится, на том наше знакомство и прекратится.

— Вот Эмилия вернется из Райхенгалля, и мы под каким-нибудь предлогом залучим Марыню сюда, тогда и постарайтесь заглядеть недоразумение.

— Поздно уже, поздно! — твердил Поланецкий. — Я себе дал слово продать закладную и продажам.

— А может, это и лучше.

— Нет, хуже! — вмешался Бигель. — Я вот уговариваю его не продавать. А впрочем, думаю, и покупателя-то не найдется.

— Так что до тех пор Эмилия как раз успеет подлечить Литку и вернуться, — сказала пани Бигель и продолжала, обращаясь к Поланецкому: — После Марыни вам на других и смотреть не захочется, попомните мое слово. С Марыней я не так близка, как Эмилия, но попробую написать ей при случае и попытаться, какого она мнения о вас.

На том и кончился разговор. По дороге домой Поланецкий отметил про себя, что Марыня уже прочно завладела его помыслами. По правде говоря, он ни о чем другом и думать-то не мог. Но вместе с тем понимал, что знакомство завязалось при неблагоприятных обстоятельствах и лучше, пока не поздно, выкинуть эту девушку из головы. Будучи отнюдь не слабовольным, а скорее сильным духом и не склонный тешить себя мечтаниями, решил он трезво и всесторонне разобраться в своем положении. Девушка, действительно, обладала почти всеми достоинствами, какие хотелось бы видеть в своей будущей жене, к тому же пришла к нему по сердцу. Но у нее отец, которого он и сейчас-то не переносит, а кроме того, такая тяжелая обуза, как этот Кшемень, настоящий камень на шею. «С этой напыщенной старой обезьяной я нипочем не уживусь, — размышлял Поланецкий. — Одно из двух: или под его дудку плясать, на что я, безусловно, неспособен, или ежедневно цапаться с ним, как вот в Кшемене. В первом случае я, независимый человек, попал бы в кабалу к старому эгоисту, во втором — в незавидном положении очутится моя жена, отчего пострадали бы наши отношения».

«По-моему, это трезво и логично, — продолжал рассуждать сам с собой Поланецкий. — Неправ я был бы, будь я в нее влюблен. Но надеюсь, это не так; я увлечен, но не влюблен. А это разные вещи. Ergo¹, надо перестать о ней думать, пусть себе выходит за кого угодно».

При этой мысли у него опять шевельнулось ревнивое чувство, но он подумал: «Что удивительного, я ведь ею увлечен. И вообще, столько уже пережито подобных неприятностей, перенесу и эту. С каждым днем она будет все менее ощутимой».

Но скоро понял, что вместе с ревностью колет его и сожаление о том, что открывшаяся было перспектива исчезла. Завеса будущего словно приподнялась и, показав, как могло бы все быть, снова опустилась, и жизнь вернулась в прежнюю колею, которая вела в никуда, в пустоту. «А прав, пожалуй, Васковский, — подумал он, — деньги — лишь средство». А смысл жизни в другом. Должна быть цель, серьезное дело, и прямое, честное

¹ Итак (лат.).

отношение к нему дает удовлетворение. Это удовлетворение и есть душа жизни, а без этого нет в ней ничего. Поланецкий был сыном своего века и носил в себе его великое смятение — этот недуг нашей клонящейся к упадку эпохи. Он разочаровался в догмах, на которых прежде зиждилась жизнь. Усомнился и в рационализме: может ли он, спотыкающийся на каждом шагу, заменить веру; но и веры не обрел. От современных «декадентов» отличался он, однако, тем, что не носился с собой, со своими нервами и сомнениями, своей душевной драмой и не считал ее патентом на праздность. Напротив, у него было более или менее ясное чувство: жизнь, загадка она или не загадка, должна быть исполнена трудов и усилий. Ибо, коль скоро на все ее бесчисленные «почему» нельзя ответить, надо хотя бы что-то делать, — дело само отчасти и будет на них ответом. Пусть неполным, но, по крайней мере, облегчающим ответственность. Итак, где выход? В создании семьи и работе на благо общества. И то и другое предназначено, наверно, самой природой, ибо иначе люди не женились бы и не сплачивались в сообщества. Доводами рассудка подкрепляла эта философия естественный мужской инстинкт, указывавший на брак как одну из главных жизненных целей, к которой Поланецкий давно всеми помыслами стремился. И в какой-то миг уверовал, что Марыня и есть та самая тихая гавань, куда «корабль бег направил в ненастную ночь». Когда же стало ясно: огни в этой гавани зажжены не для него и надо дальше плыть по неведомым водам, им овладели усталость и тоска. Но, посчитав свои рассуждения по сему поводу вполне логичными, он вернулся домой почти убежденный, что это еще «не то» и придется подождать.

Придя на другой день в ресторан обедать, он застал там Васьковского с Букацким. Вскоре явился и Машко в белом жилете, с моноклем в глазу, с пышными бакенбардами, обрамлявшими его покрытую красными пятнами самодовольную физиономию. Поздоровавшись, они принялись расспрашивать Поланецкого о поездке в Кшмень: им было известно, почему на ней настаивали дамы, и о Марыне Плавицкой знали от пани Эмили.

Выслушав рассказ, Букацкий, с лицом бледнее севрского фарфора, сказал с обычной своей флегмой:

— Значит, война? Коль скоро эта девушка так поразила твое воображение, сейчас бы самая пора повести на нее наступление. Женщины охотней принимают руку на каменистой дороге, чем на ровной.

— Ну, так и подавай ей руку сам, — ответил раздраженно Поланецкий.

— Видишь ли, мой милый, я этого не могу по трем причинам: во-первых, мое воображение пленено пани Эмилией; во-вторых, у меня по утрам болят шея и затылок — верное предвестие менингита; а в-третьих, я гол как сокол.

— Ты?

— Во всяком случае, сейчас — я купил несколько полотен Фалька, все *avant la lettre*¹, и по крайней мере с месяц окажусь на мели. А если еще получу из Италии картину Мазаччо, о которой веду переговоры, то придется затянуть пояс на целый год.

Васковский, внешне чем-то напоминавший Машко, скорей всего, румянцем, но гораздо старше его и с лицом, дышавшим добротой, устремил свои голубые глаза на Букацкого.

— Тоже болезнь века, — сказал он. — Коллекционерство, одно коллекционерство, куда ни глянь.

— Ого! Сейчас начнется спор, — заметил Машко.

— Что ж, послушаем, все равно делать нечего, — сказал Поланецкий.

— А что вы имеете против коллекционерства? — принял вызов Букацкий.

— Ничего, — отвечал Васковский. — Это старческая — вполне в духе нашего времени — манера поклоняться искусству. Вам не кажется это признаком одряхления? По-моему, явление очень характерное. Раньше любители искусства шли к нему, любуясь им в музеях, храмах, — так сказать, на месте; теперь его стремятся перетащить к себе в кабинет. Раньше увлечение им завершалось коллекционированием, а теперь с него начинают — и собирают далеко не лучшие образцы. Я даже не про Букацкого — сейчас любой мальчуган обязательно что-нибудь коллекционирует, если есть на что купить. Причем не какие-нибудь художественные произведения, а так, жалкие поделки, а то и просто всякие пустяки. Видите ли, мои милые, я всегда считал, что любовь и увлечение — вещи разные; по-моему, кто увлекается женщинами, на большое чувство не способен.

— Пожалуй, доля правды в этом есть! — воскликнул Поланецкий.

— Меня это мало трогает, — сказал Машко, запуская пальцы в свои длинные, по английской моде, бакенбарды. — Мне в этом слышится брюзжанье старого учителя на нынешние времена.

— Учителя? — переспросил Васковский. — Я к избению младенцев не причастен и в роли Ирода не выступаю, с тех пор как по чистой случайности имею кусок хлеба. И потом, вы ошибаетесь, считая меня брюзгой. Напротив, я с радостью отмечаю приметы, предвещающие конец нашей эпохи и начало новой.

— Мы в открытом море и к берегу не скоро пристанем, — пробурчал Машко.

— Не перебивай! — сказал Поланецкий.

Но Васковского нелегко было сбить с толку.

— Дилетантство мельчит вкусы, и высокие идеалы гибнут. Их место занимает страсть к потреблению. А это не что иное, как идолопоклонство. Мы просто не отдаем себе отчета, на-

¹ подлинные (*фр.*).

сколько в нем погрязли. И что же остается? Остается дух, та духовность ариев, которая не коснеет, не замирает,— отмеченная печатью божественности, она несет в себе созидательное начало; ей уже тесно в языческих путах, она уже бунтует, и недалеко новое возрождение во Христе в искусстве и всюду... В этом нет сомнения.

И глаза Васковского, простодушно-детские, словно лишь отражающие окружающие предметы, и вместе устремленные в бесконечность, обратились к окну, за которым сквозь серые тучи там и сям пробивались солнечные лучи.

— Жаль, что не доживу из-за своей головы; интересное будет время,— сказал Букацкий.

Машко, недолюбливавший Васковского за бесконечные разглагольствования по всякому поводу и без повода и окрестивший его «пилой», вынул сигару из бокового кармана куртки, откусил кончик и сказал, обращаясь к Поланецкому:

— Слушай, Стась, ты правда решил закладную продать?

— Да. А почему ты спрашиваешь?

— Хочу как следует обмозговать.

— Ты?

— А что? Ты знаешь ведь, я интересуюсь такими делами. Мы об этом еще потолкуем. Сегодня ничего определенного не могу тебе сказать, а завтра посмотрю по кадастровым книгам и решу, стоящее ли это дело. Приходи после обеда ко мне, и, может, мы за чашкой кофе о чем договоримся.

— Ладно. Договоримся или нет, желательно только поскорее. Хочу уехать, как позволят наши с Бигелем дела.

— А куда ты собираешься? — спросил Букацкий.

— Сам не знаю еще. Жарко уж очень в городе. Куда-нибудь, где лес и вода.

— Это устарелый предрассудок,— сказал Букацкий. — Одна сторона улицы в городе всегда в тени, не то что в деревне. Я вот хожу по теневой стороне и на жару не жалуюсь и на лето не выезжаю никогда.

— А вы едете куда-нибудь? — спросил Поланецкий у Васковского.

— Пани Эмилия зовет в Райхенгалль. Может, и выберусь к ним.

— Поедемте вместе. Мне ведь все равно куда. А Зальцбург я люблю, и пани Эмилию с Литкой приятно будет повидать.

Букацкий протянул свою худую прозрачную руку, взял зубочистку из стаканчика и, ковыряя в зубах, промолвил бесстрастным, безучастным голосом:

— У меня в душе подымается такая буря ревности, что я готов лететь за вами. Берегись, Поланецкий, а то взорвусь, как динамит.

Тон, каким это было сказано, настолько не соответствовал угрозе, что Поланецкий рассмеялся.

— Мне и в голову не приходило влюбляться в пани Эмилию. Благодарю за идею!

— Горе вам обоим! — сказал Букацкий, продолжая ковырять в зубах.

ГЛАВА V

На другой день после раннего обеда у Бигелей Поланецкий в условленный час направился к Машко. Видимо, его ждали: в кабинете стояли изящные кофейные чашечки и ликерные рюмки. Но сам хозяин отсутствовал: принимал, по словам лакея, клиентов. Из-за дверей гостиной вместе с его басом долетали женские голоса.

Коротая время, Поланецкий стал рассматривать развешанные по стенам портреты предков Машко, подлинность которых вызывала сомнения у приятелей молодого адвоката. Особенно один раскосый прелат служил мишенью неистощимых острот для Букацкого, но Машко это нимало не смущало. Он решил во что бы то ни стало выдать себя за человека знатного происхождения, с недюжинными деловыми качествами, зная, что в обществе, в котором он жил, может, и посмеются над ним, но ни у кого не достанет духу его одернуть. Сам же, напористый и беспардонный сверх всякой меры и, надо отдать ему должное, оборотистый, намеревался добиться успеха с помощью этих своих качеств. Люди, к нему не расположенные, называли его наглцом — так оно и было, с той разницей, что наглость его была сознательной. Едва ли даже шляхтич родом, он со знатью держался так, словно был куда знатнее, с богачами — словно был куда богаче. И подобная тактика не только сходила ему с рук, но и возымела свое действие. Боялся он только зарваться; впрочем, и это понятие толковал достаточно расплывчато. И в результате добился, чего хотел: был всюду вхож и пользовался неограниченным кредитом. Среди дел, которые ему поручались, бывали прибыльные, но денег он не копил. Время, полагал он, еще не пришло — будущее, чтобы оправдать возлагаемые на него надежды, требовало затрат. Что вовсе, однако, не означало, будто он сорил деньгами или роскошествовал, так, по его представлению, вели себя лишь парвеню, — но когда нужно, умел быть, по его выражению, «благоразумно щедр». За Машко установилась репутация дельца ловкого и обязательного.

Обязательность его основывалась на предоставляемом ему кредите, поддерживая, в свой черед, этот кредит, что позволяло ему ворочать поистине крупными суммами. И он ни перед чем не останавливался. Кроме смелости, ему присуща была азартность, исключаяющая долгие размышления, и вера в свою звезду. А сопутствовавший ему успех укрепил эту веру. Он сам толком не знал, какими средствами располагал, но распоряжался большими капиталами и слыл богатым человеком.

Но главной пружиной его жизни было не корыстолюбие, а тщеславие. Богатство, конечно, тоже прельщало его, но пуще всего он стремился походить на важного барина в английском вкусе. Даже внешность свою заставил он служить этой слабости, чуть ли не гордясь тем, что был некрасив, находя в этом признак аристократизма. И если не примечательное, то нечто необычное было-таки в его наружности: в толстых губах, широких ноздрах, пятнах, рдевших на щеках. Самоуверенная надменность придавала ему сходство с англичанином, и впечатление это еще усиливалось тем, что он носил монокль, вскидывая поэтому голову — и задирая ее еще выше благодаря привычке расчесывать пальцами свои русые бакенбарды.

Поланецкий поначалу терпеть его не мог и не скрывал этого. Но постепенно свыкся с ним; отчасти потому, что с ним Машко держался иначе, чем с другими: может быть, питал к нему уважение в глубине души. А может, понимал: важничать с человеком таким горячим означало идти на риск немедля получить отпор, да еще весьма резкого свойства. В конце концов, часто встречаясь, молодые люди стали снисходительно относиться к взаимным слабостям, и выпроводивший посетительниц Машко отбросил всякую важность, заговорив с Поланецким как самый обыкновенный смертный, а не какой-нибудь вельможа или английский лорд.

— Хуже нет с бабьем дело иметь. *C'est toujours une mer à boire!*¹ Поместил их капитал в дело и регулярно плачу проценты — так нет же! По крайней мере, раз в неделю приходят справиться, не стряслось ли чего.

— А мне ты что скажешь? — спросил Поланецкий.

— Кофе прежде выпей, — сказал Машко, зажигая спиртовку под кофейником. — С тобой хоть канители не будет. Видел я опись и закладную. Дело не легкое, хотя и не пропащее. Конечно, издержки будут, разъезды и так далее, поэтому целиком всей суммы дать я тебе не могу. Две трети выплачу в течение года в три приема.

— Ну что ж, согласен. Я ведь еще больше собирался уступить. Когда же первый платеж?

— Через три месяца.

— Я оставлю доверенность Бигелю на случай, если меня не будет.

— А сейчас едешь в Райхенгалль?

— Вероятно.

— Ого... это уж не Букацкий ли подал мысль?..

— Каждому свое... Ты же вот покупаешь зачем-то кшменскую закладную? Сущая ведь мелочь для тебя.

— Мелкие дела крупным не помеха. Но тебе я могу сказать: деньги у меня, ты знаешь, есть и кредит имеется. Но кусок зем-

¹ Хлопот не оберешься! (фр.)

ли, и притом большой, во всех смыслах — неплохое обеспечение. Плавицкий мне самому однажды говорил, что охотно продал бы Кшемень. А теперь, я думаю, пойдет на это еще охотней и отдаст дешевле, гораздо дешевле, с уплатой только части вперед, а остальное — в рассрочку, в виде какой-нибудь там *rente viagère*¹. Вообще посмотрим. Приведу имение в порядок, почищу его слегка, как лошадь перед ярмаркой, и, может, опять продам. А пока что буду числиться помещиком, чему я, *entre nous*², придаю некоторое значение.

Поланецкий, с трудом заставив себя выслушать Машко, сказал:

— Откровенность за откровенность: купить будет не так-то просто. Панна Плавицкая решительно не хочет его продавать. Женщина, что поделаешь! Привязалась к своему Кшеменю и сделает все, чтобы имение осталось у них.

— Ну, что же, в крайнем случае стану кредитором Плавицкого, — не беспокойся, деньги мои не пропадут. Во-первых, могу продать закладную по твоему примеру. Во-вторых, у меня, как адвоката, побольше возможностей взыскать с него долг. Наконец придумаю что-нибудь, какой-нибудь хитрый способ и Плавицкому подкажу.

— Можешь сам пустить имение с молотка и сам же приобрести его на аукционе.

— Нет! Так пусть поступает кто-нибудь другой, но не Машко, черт побери! Есть и еще средство; как знать, может, оно больше устроит панну Плавицкую, чьи достоинства мне, кстати, безразличны.

Поланецкий, допив чашку, со стуком поставил ее на стол.

— Ах, вот что! — сказал он. — Конечно, можно и так помещиком стать.

И в порыве досады и гнева хотел было встать и уйти, сказав Машко: «Я раздумал», но сдержался.

— А почему бы и нет?.. — проговорил Машко, расчесывая пальцами бакенбарды. — У меня таких намерений не было, честное слово, и никаких определенных планов я не строю. А все-таки... чем черт не шутит? С панной Плавицкой я как-то зимой познакомился в Варшаве, она мне очень понравилась. Из хорошей семьи, имение расстроенное, правда, но большое, его еще можно в порядок привести. Как знать? И эту возможность стоит в соображение принять. Я с тобой начистоту, как всегда. Ты за долгом поехал, но я-то знал, зачем тебя туда направляют дамы. А вернулся злой как черт, и я допускаю, что на барышню ты видов не имел. Но если я ошибаюсь, то немедленно отступлюсь, не от планов — я тебя уверяю, их не было, — но даже от мыслей таких. Даю слово! Но в противном случае не будь собакой на

¹ пожизненной ренты (*фр.*).

² между нами (*фр.*).

сене и не становись девушке поперек дороги. А теперь давай, я слушаю тебя.

Поланецкий вспомнил свои вчерашние размышления и подумал, что Машко прав: ни к чему становиться Марыне поперек дороги.

— Никаких видов у меня на девушку нет,— сказал он, помолчав. — Женишься ты на ней или нет — дело твое. Но скажу честно: одно мне во всем этом не нравится, хотя это в моих же интересах,— что закладную покупаешь ты. Что у тебя нет сейчас намерений, я верю, ну, а если появятся? Это будет довольно странно... Будто ты расставил сети, хочешь оказать давление на нее... Впрочем, дело твое...

— Вот именно! И скажи мне это кто-нибудь другой, уж я бы сумел его поставить на место. А тебе ручаюсь: буде у меня такое намерение явилось, в чем я сомневаюсь, я не стал бы требовать руки панны Плавицкой в счет процентов. Коль скоро я, положа руку на сердце, могу себе сказать, что купил бы закладную в любом случае, значит, и могу со спокойной совестью ее купить. Хочу купить Кшемень, потому что он мне нужен: вот как дело обстоит. А значит, вправе прибегнуть к потребным для этой цели средствам.

— Ну, ладно. Согласен. Вели составить контракт и пришли мне на подпись или сам занеси.

— Контракт мой помощник уже заготовил: дело только за твоей подписью.

И через четверть часа контракт был подписан. Вечером того же дня Поланецкий в прескверном настроении сидел у Бигелей; пани Бигель тоже была огорчена и не скрывала этого. И Бигель, пораскинув умом, протянул с обычной своей рассудительной осторожностью:

— Что Машко такой возможности не исключает, сомнений нет. Вопрос разве в том, обманывает он только тебя, отрицая это, или себя тоже.

— Боже ее упаси от Машко,— промолвила пани Бигель. — Мы все видели, какое большое впечатление она на него произвела.

— Мне всегда казалось,— заметил Бигель,— что для таких людей, как Машко, важнее всего состояние, но я могу ошибаться. Может, у него другой расчет: взять жену из хорошей, старинной семьи, умножив тем свои связи, подняв свой престиж, и стать поверенным в делах целого широкого общественного слоя. Расчет вовсе неплохой: если он воспользуется имеющимся у него кредитом, то при своей сноровке сумеет со временем очистить Кшемень от долгов.

— Вы сказали, панна Плавицкая произвела на него большое впечатление,— вставил Поланецкий,— помнится, ее отец тоже об этом поминал.

— Что же теперь делать? — спросила пани Бигель,

— Да ничего. Пусть выходит за Машко, если хочет,— отвечал Поланецкий.

— А вы?

— А я пока что еду в Райхенгалль.

ГЛАВА VI

И правда, через неделю он уехал в Райхенгалль, еще перед тем получив письмо от пани Эмили, которая справлялась о поезде в Кшмень. На письмо он не ответил, решив рассказать все при встрече. А Машко накануне его отъезда отправился в Кшмень — известие об этом действовало на Поланецкого сильнее, чем можно было ожидать. Он убеждал себя, что уже в Вене забудет об этом, но не мог и, гадая о том, выйдет ли Марыня за Машко, даже послал из Зальцбурга письмо Бигелю, якобы деловое, а на самом деле в надежде что-нибудь разузнать. С пятого на десятое слушал он рассуждения своего попутчика, Васковского, о взаимоотношениях национальностей в Австро-Венгерской империи и о миссии современных народов вообще. Порой, поглощенный мыслями о Марыне, он даже забывал отвечать на вопросы. И удивительное дело: уже не образ ее, а точно она сама, живая, возникала у него перед глазами, до того отчетливо он видел ее. Видел милое, кроткое лицо с красиво очерченным ртом и родинкой над верхней губой, спокойный взгляд ее глаз — внимательный и сосредоточенный, когда она слушала его; видел всю эту стройную, грациозную фигурку, от которой веяло пылким и вместе чистым молодым одушевлением. Вспомнил ее светлое платье и выглядывающую из-под него туфельку, нежные, покрытые легким загаром руки и темные волосы, которыми в саду играл ветерок. Никогда он не предполагал, что воспоминания, причем о человеке, виденном мимоходом, могут быть почти осязаемы. И, почти это за лишнее доказательство того, сколь глубокое она произвела на него впечатление, никак не мог свыкнуться с мыслью, что оставившее в его душе такой след существо достанется Машко. Ему становилось не по себе, и — в полном согласии с его деятельной натурой — являлось неудержимое желание любой ценой этому помешать. Но он тут же напоминал себе, что добровольно отказался от панны Плавицкой и это вопрос уже решенный.

В Райхенгалль приехали рано утром, и в первый же день повстречали пани Хвостовскую с Литкой в городском саду, еще не успев узнать ее адрес. Не ожидавшая их встретить, особенно Поланецкого, пани Эмилия искренне обрадовалась. Радость ее омрачилась лишь одним: Литка, девочка очень впечатлительная, страдавшая астмой и с больным сердцем, обрадовалась еще больше, и от сердцебиения и удушья чуть не потеряла сознание.

Но это с ней случалось часто, и, едва приступ прошел, все опять повеселело. По дороге домой девочка не отпускала руки «пана Стаха», время от времени еще крепче ее сжимая, точно желая удостовериться, что он тут, рядом с ней в Райхенгалле, и ее обычно печальное личико освещалось радостью. И Поланецкому не удалось улучшить минуту, чтобы поговорить с пани Эмилией, и она тоже не могла его ни о чем расспросить: Литка, без умолку болтая, водила гостя по Райхенгаллю, за один раз пытаясь показать ему все тамошние достопримечательности.

— Это еще что! — твердила она поминутно. — На Тумзее — вот где красиво, но туда мы завтра пойдем. — И переспрашивала: — Мамочка, ты ведь позволишь? Мне уже много можно ходить. А это совсем недалеко. Позволишь, да?

Иногда же, отстранясь немного и не выпуская руки Поланецкого, взглядывала на него своими большими глазами и повторяла:

— Пан Стах! Пан Стах!

Поланецкий, со своей стороны, обращался с ней с заботливой нежностью старшего брата, лишь по временам добродушно ее удерживая:

— Не спеши, котенок, а то запыхаешься.

— Да ладно вам, пан Стах! — надувая губки, будто с неохотой соглашалась она и прижималась к нему.

Поланецкий нет-нет, да и поглядывал на светившееся радостью лицо пани Эмили, словно давая ей понять, что хотел бы поговорить. Но безрезультатно: та, не желая огорчать Литку, предпочла отдать их общего друга в ее полное распоряжение. И лишь после обеда в саду, где Васковский среди зелени под чириканье воробьев принялся рассказывать, как любил птиц Франциск Ассизский, и девочка заслушалась, подперев голову рукой, Поланецкий улучил момент.

— Может, пройдемся с вами? — обратился он к Хвостовской.

— С удовольствием, — отвечала та. — Литка, посиди с паном Васковским, мы сейчас вернемся. Ну, что? — спросила она, отойдя на несколько шагов.

Поланецкий начал рассказывать, но то ли, зная утонченно-нежную натуру пани Эмили, побоялся уронить себя в ее глазах, то ли последние размышления о Марыне лиричнее настроили его, только все в его рассказе предстало в ином свете. Ссоры с Плавичким он, правда, от нее не утаил, но умолчал, что и с Марыней обошелся перед отъездом прямо-таки невежливо, зато не поскупился на похвалы ей.

— И так как долг этот с самого начала встал между мной и Плавичким, поведа к разговору, что не могло не отразиться на наших с панной Марыней отношениях, я решил продать закладную — и продал ее Машко перед отъездом сюда, — закончил он.

— И хорошо сделали. В таких делах не должно быть места никаким денежным соображениям, — с поистине святой простотой

заметила пани Эмилия, не имевшая ни малейшего представления о практической жизни.

— Да, конечно!.. Вернее, нет!.. — возразил Поланецкий, устыдясь, что вводит в заблуждение этого ангела. — Мне кажется, я поступил дурно. И Бигель того же мнения. Ведь Машко будет притеснять их, предъявлять разные требования, может продать Кшемень с аукциона... Нет, благородным мой поступок не назовешь, и сблизить он нас не сблизит. Я бы никогда так не поступил, если бы не был убежден, что все это надо выбросить из головы.

— Нет, нет! Не говорите так. Я верю в предопределение, верю, что вы самым небом предназначены друг для друга.

— Это мне непонятно. Выходит, не пужно ничего предпринимать, уж коли мне все равно суждено жениться на панне Плавицкой.

— Нет. Конечно, я со своим женским умом, может быть, говорю глупости, но мне кажется, провидение печется о всеобщем благе, оставляя нам свободу действий, и в мире столько горя как раз оттого, что люди противятся своему предназначению.

— Может, вы и правы. Но и доводам рассудка противиться трудно. Разум — это светоч, данный нам богом. И потом, кто поручится, что панна Марыня пошла бы за меня?

— Странно, что до сих пор нет письма от нее. Пора бы ей уже написать о вашем посещении. Думаю, самое позднее завтра получу от нее весточку — мы пишем друг дружке каждую неделю. Она знает, что вы здесь?

— Нет. Я сам в Кшемене еще не знал, куда поеду.

— Это хорошо. Тем она будет откровенней, хотя и всегда правдива.

На том и кончился в первый день их разговор. Вечером, уступая просьбам Литки, порешили отправиться завтра на Тумзее, — выйти пораньше, пообедать на берегу озера и до захода солнца вернуться в экипаже или, если девочка не очень устанет, пешком. Не было еще девяти, когда Поланецкий в сопровождении Васковского приблизились к вилле, где жила с дочкой пани Эмилия. Обе, уже готовые, поджидали их на террасе, являя собой такое восхитительное зрелище, что даже старик Васковский умилился.

— Создает же господь бог людей по образу и подобию цветов! — промолвил он, указывая на мать с дочкой.

Недаром в Райхенгалле все ими восхищались. Пани Эмилия со своим одухотворенным ангельским личиком была воплощением материнской любви, нежности и самоотверженности; при виде больших, печальных Литкиных глаз, белокурых волос и тонких, точеных черт казалось, что это не живая девочка, а произведение искусства. Декадент Букацкий говорил про нее: она соткана из тумана, чуть тронутого розовым светом зари. В ней и впрямь было что-то неземное, а болезнь, чрезмерная впечатлительность и экзальтированность лишь подчеркивали это. Мать души в ней не

чаяла, знакомые тоже, но общая любовь не испортила эту добрую от природы девочку.

В Варшаве Поланецкий по несколько раз в неделю бывал у них, искренне привязавшись к обеим. В городе женская честь уважается меньше, чем где бы ни было, и эти частые посещения тоже послужили поводом для сплетен — совершенно необоснованных: пани Эмилия была чиста, как дитя, и в ее восторженной головке не умещалась сама мысль о пороке. Она была столь невинна, что не догадывалась даже считаться с так называемыми условностями. Радужно принимая всех, кого любила Литка, она отказалась от нескольких выгодных партий, дав ясно понять, что живет лишь ради дочери. Один только Букацкий осмеливался утверждать, будто испытывает к ней нежные чувства. Для Поланецкого же эта кристально чистая женщина находилась на такой недосягаемой высоте, что даже намек на любовное влечение не закрадывалось в его отношение к ней. И сейчас на замечание Васковского он отозвался простодушно:

— Да, обе восхитительны!

А поздоровавшись, повторил приблизительно то же, словно делясь впечатлением. Пани Эмилия улыбнулась, не скрывая удовольствия оттого, что похвала в равной мере относилась к Литке.

— Я получила сегодня утром письмо и нарочно захватила с собой, чтобы показать вам, — сказала она, подбирая на ходу подол длинного платья.

— Можно сейчас прочесть?

— Извольте.

Лесной дорогой пошли они на Тумзее; впереди — пани Эмилия с Васковским и Литкой, позади склонивший голову над письмом Поланецкий.

Письмо было такого содержания:

«Дорогая Эмилька! Получила нынче твое письмо и спешу ответить на твои многочисленные вопросы. По правде говоря, мне и самой не терпится поделиться с тобой своими впечатлениями. Пан Поланецкий уехал от нас в понедельник, то есть два дня назад. В первый день я приняла его обычно, как всех, и ничего такого мне в голову не пришло. На другой день, в воскресенье, я была свободна, и мы всю вторую половину дня провели вдвоем, так как папа уехал к Ямишам. Что тебе сказать о нем? Он интересный, простой и при этом настоящий мужчина! А когда речь зашла о тебе и Литке, я поняла, что он к тому же добрый. Мы долго гуляли в саду и по берегу пруда. Он поцарапался об лодку, и я перевязала ему руку. Он так умно говорил, что я просто заслушалась. Ах, Эмилька, дорогая, стыдно признаться, но в тот вечер он вскружил мне, несчастной, голову. Ты знаешь, до чего я одинока, замучена работой, как редко вижу таких людей. Мне показалось, что передо мной пришел из какого-то другого, лучшего мира. Он не просто мне понравился, а покорила своей добротой, мысли о нем долго не давали мне заснуть. На другой день

он, правда, поссорился с папой, досталось заодно и мне, хотя видит бог, как много я бы дала, чтобы между нами никаких денежных счетов не было. В первую минуту было очень обидно, и знай он, гадкий человек, сколько слез я пролила в своей комнате, так пожалел бы меня. Но потом я подумала: папа неправ, а он, видно, вспыльчив, и не сержусь больше на него. Скажу тебе по секрету: внутренний голос подсказывает мне, что он свою закладную на Кшмень не продаст, хотя бы для того, чтобы еще раз к нам приехать. А то, что они так плохо расстались с папой, еще ни о чем не говорит. Папа сам не придает этому большого значения, это просто обычный его прием, который ничего общего не имеет с его убеждениями и чувствами. Во мне пап Поланецкий всегда найдет преданного друга, и я все сделаю, чтобы после продажи Магерувки устранить причины для недоразумений и вообще, чтобы не было больше между нами этих противных денежных расчетов. Ему волей-неволей придется еще приехать, хотя бы за деньгами, правда ведь? Может, и я ему понравилась немного, а что у вспыльчивого человека вырвется иной раз резкость — не беда. Только не говори ему ничего при встрече и, ради бога, не брани его. Я верю почему-то, что ни нам с папой, ни моему любимому Кшменю ничего плохого он не сделает; и еще думаю, как хорошо было бы на свете, будь все другие похожи на него. Крепко тебя обнимаю, моя дорогая, и Литку тоже. Напиши поподробней о ее здоровье. Любящая тебя *Марыня*».

Дочитав, Поланецкий сунул письмо в боковой карман куртки, застегнулся на все пуговицы, сдвинул шляпу на затылок и почувствовал неодолимое желание разломать свою трость на мелкие куски и выбросить ее в ручей; однако ничего такого не сделал, пробормотав только сквозь стиснутые зубы: «Ну и прекрасно! Вообразила, что знаешь Поланецкого? Как же, надейся, не обидит он тебя! Смотри не просчитайся!» И закончил тираду, обращаясь к самому себе: «Так тебе и надо! Она — ангел, и ты ее не стоишь».

И его снова охватило желание разломать трость. Девушка, как явствовало из письма, попадаясь на него, целиком вверясь его порядочности, а он жестоко и низко обманул ее; такие вещи не забываются, становясь источником постоянных страданий. Продать закладную — еще полбеда, но продать такому вот Машко, который покупал ее с видами вполне определенными, значило сказать ей: «Мне до тебя дела нет, иди за него, если хочешь». Какое горькое разочарование для нее, особенно после всего сказанного ей в то воскресенье, сказанного дружески и попросту, но и не без тайного умысла понравиться ей. Да, такое намерение у него было, и Поланецкий знал, что преуспел в нем. И теперь мог сколько угодно твердить себе, что это его ни к чему не обязывает, что мужчина при первом знакомстве в разговоре с женщиной только разведывает почву, наподобие улитки выставляет рожки. От этого ему было не легче. Впрочем, он не был склонен оправды-

вать себя, напротив, готов был пощечин себе надавать. Впервые он ясно понял, что рука и сердце Марыни могли бы принадлежать ему, и, чем реальней представлялась такая возможность, тем безвозвратней казалась утрата. И в довершение всего это письмо, которое произвело в нем форменный переворот. Все его отступнические доводы показались ему вдруг глупыми и плоскими. При всех своих недостатках Поланецкий не был черств, и письмо, свидетельствовавшее о Марыниной доброте, великодушии и готовности полюбить, тронуло его до глубины души. В результате облик Марыни предстал перед ним в столь розовом свете, что он подумал: «Ей-богу, теперь я в нее влюблюсь!»

И его охватило такое умиление, что и злость на себя прошла. Обогнав своих спутников, он увлек пани Эмилию за собой.

— Подарите мне это письмо,— сказал он.

— С превеликим удовольствием. Какое чистосердечное, правда? А вы вот утаили от меня, что и ей от вас досталось перед отъездом. Но не хочу вам выговаривать, раз уж она простила.

— Я бы тут же дал себя поколотить, если б думал, что это поможет. Но что об этом говорить, теперь уж не поправишь.

Пани Эмилия, однако, не разделяла его мнения. Напротив, видя, как близко к сердцу приняли оба это недоразумение, она преисполнилась радужных надежд. И ее милое, доброе лицо сияло от радости.

— Посмотрим, что-то еще будет через несколько месяцев,— сказала она.

— А что же может быть? Вы разве не догадываетесь,— ответил Поланецкий, думая о Машко.

— Помните одно: кто однажды снискал расположение Марыни, тот никогда его не потеряет,— возразила пани Эмилия.

— Не сомневаюсь,— печально отозвался Поланецкий,— но такие натуры и обид не прощают никогда.

Тут Васковский с Литкой их нагнали, и разговор поневоле прервался. Как всегда, Литка целиком завладела Поланецким. В мягком свете погожего утра они шли по лесу, и девочка живо всем интересовалась: то спрашивала, как называется дерево, то восклицала радостно: «Ой, рыжик!»

— Рыжик, рыжик, мой котеночек,— машинально отвечал занятый своими мыслями Поланецкий.

Но вот дорога пошла под уклон, и перед ними открылось озеро. Через полчаса они вышли на мощеную дорогу вдоль самого берега; там и сям в воду вдавались деревянные мостки. Литке захотелось рассмотреть поближе больших рыб, плававших в прозрачной воде. Поланецкий, взяв ее за руку, повел на один из таких мостков. Привыкшие, что здесь их кормят хлебными крошками, рыбы подплыли ближе, полукружьем расположась у ног девочки. В голубоватой воде виднелись коричневато-золотистые спины карпов и серая крапчатая форель; круглые рыбы глаза уставились на девочку будто в ожидании.

— На обратном пути хлеба с собой прихватим,— сказала Литка. — Как странно они на меня смотрят! О чем они думают?

— Они тугодумы, очень медленно соображают,— сказал Поланецкий. — Только через час или два дойдет до них: «А-а, вот тут стояла белокурая девочка в розовом платье и черных чулочках».

— А про вас что подумают они?

— Что я цыган: у меня ведь волосы темные.

— Ну нет, у цыган не бывает дома.

— И у меня, Литка, дома тоже нет. Мог быгь, да я его продал.

Голос его дрогнул, и в нем против обыкновения послышалась печаль. Девочка пристально поглядела на него, и на ее впечатлительном личике тоже отразилась печаль, как в воде — ее собственная фигурка. И после, когда они присоединились к остальным, она все подымала на него тревожно и вопросительно грустные глаза.

— Что с вами, пан Стах? — спросила Литка наконец, крепче сжав его руку.

— Ничего, детка. Просто люблюсь озером, вот и молчу.

— Вчера я так обрадовалась, что смогу вам Тумзее показать...

— Да, очень красиво здесь, хотя и нет скал. А что в том домике, вон, на другом берегу?

— Там мы будем обедать.

Пани Эмилия меж тем оживленно беседовала с Васковским; тот, ежеминутно снимая шляпу и шаря по карманам в поисках носового платка, чтобы лысину отереть, делился с ней своими наблюдениями над Букацким.

— Также арийской духовностью томится,— заключил старик. — Вечная тревога, вечная, неутолимая жажда покоя. Чтобы заполнить жизнь, скупает картины и гравюры. Ах, как тяжело на все на это смотреть! В душе у этих детищ века — пропасть, бездонная, как вот это озеро, а они всё думают заполнить ее какими-то картинами, офортами, своими дилетантскими увлечениями, Бодлером, Ибсеном и Метерлинком, псевдонаучным знанием, наконец. Бедные бьющиеся в клетке птицы! Это все равно, что бросить вон тот камешек в Тумзее и воображать, будто озеро полно.

— А чем же заполнить жизнь?

— Любой высокой идеей, всяким большим чувством — при условии, если они зиждятся на вере. И Букацкий обрел бы покой, которого он бессознательно ищет, любя он искусство по-христиански.

— А вы ему об этом говорили?

— Говорил, много чего говорил — ему и Поланецкому. Убеждал их житие Франциска Ассизского почитать, а они отмахиваются да смеются. А ведь это поистине великий, святой человек, равного ему не было в средние века, мир ему обязан своим об-

новлением. Появился в наши дни подобный праведник, заветы Христа возродились бы еще шире, еще полнее.

Приближался полдень. Лес дышал смолистым зноем, голубое небо без единого облачка смотрелось в неподвижную водную гладь, которая, казалось, дремала в напоенной солнцем тишине.

Наконец они подошли к дому в саду, где помещался ресторан, и сели в тени за накрытый под буком столик. Поланецкий, подозвав кельнера в засаленном фраке, заказал обед, и они в ожидании молча стали любоваться озером и окрестными горами.

В нескольких шагах цвели ирисы, орошаемые бьющим из каменной фонтанчиком.

— Мне это озеро и эти ирисы почему-то напоминают Италию, — проговорила пани Эмилия, глядя на цветы.

— Потому, что нигде больше нет такого множества ирисов и такого множества озер, — отвечал Поланецкий.

— И нигде человек не испытывает такого умиротворения, — прибавил Васковский. — Вот уже много лет подряд я каждую осень езжу в Италию в поисках, где провести остаток дней своих. Я долго колебался, не зная, что предпочесть: Перуджию или Ассизи, но в прошлом году остановился на Риме. Он — как преддверие иного мира, откуда видно уже сияние его. В октябре опять туда поеду.

— Очень завидую вам, — сказала Хвостовская.

— Литке уже двенадцать лет... — начал Васковский.

— И три месяца, — вставила Литка.

— И три месяца... И хотя для своих лет она еще сущее дитя и у нее ветер в голове, пора бы ей кое-что в Риме показать, — продолжал Васковский. — Впечатления детства — самые долговечные. Не беда, если умом и сердцем не все еще можно постичь, это придет потом, зато как приятно, когда, будто озаренные внезапным светом, всплывают в памяти давнишние картины. Давайте поедемте вместе в Италию в октябре.

— Нет, только не в октябре! У меня есть свои женские заботы, удерживающие в Варшаве.

— Какие же это заботы?

— Первая, самая важная и самая женская, — смеясь, сказала пани Эмилия, указывая на Поланецкого, — женить вот этого господина, который сидит сейчас насупясь, оттого что без памяти влюблен...

Поланецкий, очнувшись от задумчивости, махнул рукой.

— В Марыню? В Плавницкую? — спросил Васковский с детской непосредственностью.

— Да, в нее, — отвечала пани Эмилия. — Был вот в Кшемене и напрасно старается скрыть, что она покорила его сердце.

— А я этого и не скрываю.

Но дальнейшему разговору помешало печальное обстоятельство: Литке вдруг сделалось дурно. Удушье, сердцебиение: так всегда начинались эти приступы, вызывавшие опасение за ее

жизнь даже у докторов. Мать тотчас подхватила ее на руки. Поланецкий опрометью кинулся на кухню за льдом. Старик Васковский с усилием подтащил садовую скамейку — лежа девочке легче было дышать.

— Устала, детка? — шептала мать побелевшими губами. — Вот видишь, для тебя слишком далеко, золотко мое... Хотя доктор разрешил... Уж очень сегодня жарко! Ну, ничего, ничего, сейчас все пройдет! Сокровище ты мое, доченька любимая!..

И стала покрывать поцелуями влажный лоб ребенка. Прибежал Поланецкий со льдом, за ним — хозяйка ресторана с подушкой. Девочку уложили на скамейку, и, пока мать заворачивала лед в салфетку, Поланецкий, наклонясь, спросил:

— Ну, как ты, котенок?

— Ничего, только дышать трудно, — отвечала она, хватая воздух, как рыба, открытым ртом.

Но улучшения пока не наступало, и даже под платьем было заметно, как лихорадочно бьется ее маленькое больное сердце.

Понемногу лед принес облегчение, и приступ прошел, осталась лишь усталость. Литка улыбнулась матери, которая не сразу пришла в себя от испуга. Перед обратной дорогой необходимо было подкрепиться, и Поланецкий велел подать обед, но, кроме Литки, никто почти к нему не притронулся: все с затаенной тревогой поглядывали на нее, боясь, как бы приступ не повторился. Так прошел час. В ресторан начала стекаться публика, и пани Эмилия заторопилась домой; но пришлось дожидаться экипажа, за которым Поланецкий послал в Райхенгалль.

Наконец экипаж приехал, но в дороге их ждала новая неприятность. Хотя лошади шли шагом и дорога была ровная, возле Райхенгалля Литка от тряски опять стала задыхаться. Она попросилась из экипажа, но пешком ей тоже трудно было идти. Пани Эмилия хотела было взять ее на руки, но Поланецкий, воспротивясь этому акту материнской самоотверженности, к тому же непосильному, сказал девочке:

— Давай-ка, Литка, я тебя понесу. А то мама устанет и заболит.

И без дальних слов легко поднял ее и понес, обхватив одной рукой, чтобы показать: это совсем не трудно, еще и подшучивая для вящей убедительности:

— Невелик наш котенок, вот только ножонки длиннющие, до самой земли достают. Обними-ка меня за шею, не так тряско будет.

И он двинулся с осторожностью, но ходко, чтобы, не мешкая, показать ее врачу. Плечом он чувствовал, как частит ее сердечко, она же, обняв его худыми ручонками за шею, все твердила:

— Пустите, пан Стах!.. Не хочу... Пустите меня!

— Не пуццу! — отвечал он. — Сама видишь, как вредно тебе ходить пешком. Мы всегда теперь будем брать с собой большое удобное кресло на колесиках, устанешь — посажу и повезу.

— Нет, нет! — возражала Литка со слезами в голосе.

Так нес он ее, бережно, как старший брат или отец, и сердце его переполняла нежность. Ведь он и правда любил эту девочку, а кроме того, впервые осознал, в чем до сих пор не отдавал себе ясного отчета: что брак сулил ему отцовство со всеми его радостями. И, неся на руках эту чужую, но дорогую ему девочку, понял, что создан быть не только супругом, но и отцом, — что цель и назначение жизни не в чем ином, как в этом.

И, устремясь мыслями к Марыне, с удвоенной силой ощутил, что именно ее, а не какую-либо другую женщину хотелось бы ему видеть своей женой и матерью своих детей.

ГЛАВА VII

В следующие дни Литка чувствовала себя все еще неважно, но и ослабевшую ее ненадолго выводили гулять по настоятельному совету доктора. Васковский решил сам к нему сходить и расспросить подробней о ее здоровье. Поланецкий, поджидавший его в читальном зале, по лицу догадался, что вести неутешительные.

— Доктор говорит, что непосредственной опасности сейчас нет, но долго она все равно не проживет, — сказал Васковский. — Велит не спускать с нее глаз, так как ни за что не может поручиться.

Поланецкий закрыл руками лицо.

— Вот несчастье! Какой для матери удар! Она этого не перенесет. Такая девочка — и обречена! Просто верить не хочется.

В глазах Васковского стояли слезы.

— Я спрашивал, будет ли она при этом страдать. Он сказал, что нет, не обязательно, может и тихо угаснуть, словно заснет.

— Матери он не говорил?

— Нет. Сказал только, что порок сердца и что у детей это часто проходит бесследно. Но сам он не надеется на благоприятный исход.

Однако смиряться с несчастьем было не в правилах Поланецкого.

— Мнение одного врача еще ничего не значит, — заявил он. — Надо сделать все для ее спасения, пока есть хоть малейшая надежда. Доктор мог и ошибиться. Отвезти ее в Мюнхен к специалисту или его пригласить сюда. Правда, пани Эмилия напугается, но что делать. А впрочем, погодите. Я могу пригласить его прямо сейчас. А пани Эмилии мы скажем, будто к одному больному приехал известный специалист и грех не посоветоваться с ним о Литке. Надо спасти девочку. Но придется ему заранее написать, чтобы знал, как вести себя с матерью.

— А кому ты собираешься писать?

— Кому? Сам не знаю! Да здешний доктор укажет. Пойдемте к нему, сейчас каждая минута дорога.

В тот же день все устроилось, и вечером они пошли к пани Эмилии. Литка чувствовала себя хорошо, но была молчалива и грустна. Матери и другу своему, правда, улыбалась, словно благодаря за заботу, но развеселить ее Поланецкому не удалось. Непрестанно беспокоясь о ней, он и настроение ее считал грозным знаком прогрессирующей болезни, предчувствием близкой смерти и с ужасом говорил себе: «Она уже не такая, как прежде, нити, связывающие ее с жизнью, постепенно обрываются». Еще больше испугался он при словах пани Эмилии:

— Литке лучше, но знаете, о чем она просит? Вернуться поскорее в Варшаву.

Поланецкий сделал над собой усилие, чтобы не показать, как это его встревожило.

— Ах, негодница! — с напускной веселостью сказал он девочке. — И тебе не жалко озеро бросать?

— Нет, — ответила девочка не сразу, покачав белокурой головкой, и опустила глаза, чтобы скрыть навернувшиеся слезы.

«Что с ней?» — встревожился Поланецкий.

А все объяснялось очень просто. Здесь, у этого самого озера, она узнала, что у нее хотят отнять «пана Стаха», ее дорогого друга и товарища. Он, оказывается, любит Марыню Плавичкую, а она-то думала, только ее и маму. Мама хочет женить его на Марыне, а она-то считала, что он всецело принадлежит ей. И ее охватил безотчетный страх лишиться «пана Стаха», чувство грозящей ей несправедливости, первой в жизни. И если б еще кто-нибудь другой готовил ей обиду, а то сама мама и «пан Стах». Заколдованный круг, из которого бедняжка не знала, как выйти. Жаловаться им на них же самих? Видно ведь, что они этого хотят, что таково их желание; им это нужно, и они будут довольны, если это случится. Сказала же мама: «пан Стах» влюблен в Марыню, и он этого не отрицал; значит, надо смириться, проглотить обиду и даже маме ничего не говорить.

И Литка затаила впервые постигшее ее горе. Да, придется смириться. Горе, однако, — плохой врачеватель, а если еще сердце больное, все это могло копчиться трагичней, чем кто-либо из окружающих был в состоянии подозревать.

Специалист из Мюнхена приехал и, проведя два дня в Райхенгалле, подтвердил диагноз местного врача. Пани Эмилию он постарался успокоить. А Поланецкому сказал: девочка может прожить — и месяцы, и годы, но жизнь ее всегда будет на волоске, готовом от самой малости оборваться, и велел неунышно следить за ней, оберегая от любых волнений, приятных и неприятных.

Литку окружили вниманием и лаской, охраняя от малейших волнений, но от самого большого, каким были для нее письма Марыни, не уберегли. Она ко всему теперь прислушивалась, и до ее чутких ушей дошли отголоски разговоров о новом письме из Кшемения, полученном неделю спустя. И хотя оно, казалось, должно было рассеять ее опасения насчет «пана Стаха», она страшно

огорчилась. Пани Эмилия сначала не решалась показать это письмо Поланецкому. Но он ежедневно справлялся, нет ли вестей из Кшеменя, и, значит, пришлось бы лгать. Она же, напротив, чувствовала себя обязанной сказать правду, чтобы он знал, каких затруднений ожидать.

На другой день вечером, уложив Литку спать, она сама завела об этом разговор.

— Марыня очень расстроена тем, что вы продали закладную.

— Что, пришло письмо?

— Да.

— Можно мне прочесть?

— Нет, я сама вам прочту некоторые выдержки. Марыня просто подавлена.

— Она знает, что я здесь?

— Она, должно быть, до сих пор не получила моего письма, хотя странно, почему Машко, будучи у них, ей об этом не сказал.

— Машко уехал раньше меня и точно не знал, поеду ли я в Райхенгалль. Тем более я сам перед отъездом говорил, что могу и передумать.

Пани Эмилия пошла к бюро, принесла бювар, поправила лампу и, сев напротив Поланецкого, вынула из конверта письмо.

— Видите ли,— сказала она, прежде чем приступить к чтению,— ее огорчает даже не сама продажа закладной, а как бы вам сказать... Она размечталась, все это приобрело для нее другой, значительный смысл... Да, вы ей причинили большое разочарование.

— Никому другому я этого не сказал бы,— отозвался Поланецкий,— но вам признаюсь откровенно: большей глупости я в жизни не совершал, но ни за одну и не платился так жестоко.

Она с сочувствием посмотрела на него своими добрыми бледно-голубыми глазами.

— Бедный! Вы и в самом деле так увлечены Марыней? Я спрашиваю не из любопытства, а из расположения к вам... Чтобы помочь вам, хочется быть уверенной...

— А знаете, что меня доконало? — с жаром перебил Поланецкий. — То, прошлое ее письмо. Она мне еще в Кшемене понравилась, когда мы познакомились. И я все думал о ней, говоря себе: «Такой славной, милой девушки мне еще встречать не доводилось! Вот о какой я мечтал!» Но что поделаешь! Я давно себе дал слово не быть размазней, своего не упускать. А когда человек поставит себе что-нибудь за правило, он уж от него не отступит, понимаете, хотя бы из самолюбия. И потом, в каждом из нас сидят как бы двое, и один критикует другого. Вот этот другой и стал меня убеждать: «Ничего из этого не выйдет! Все равно с отцом ее не уживешься». Он и правда несносный субъект! И я решил поставить на этом крест. И продал закладную. Вот как было дело. Потом я заметил, что все время думаю о панне Плавицкой и не

могу отвязаться от мысли: «Вот о ком ты мечтал!» И я понял, что сделал глупость. И пожалел об этом. А после того письма, когда мне стало ясно, что и с ее стороны что-то было, — что и она могла бы меня полюбить, стать моей женой, я почувствовал, что люблю. Право, я или с ума схожу, или это так! Когда у тебя самого разыграется фантазия, это одно, а вот если убедишься: и ты небезразличен, — это уже совсем другое! Вот почему письмо это меня доконало, я просто не знаю, что теперь делать!

— Не стану читать вам все подряд, — помолчав, сказала пани Эмилия. — Вот тут она пишет: пробуждение после краткого сна было слишком неожиданным. Пан Машко, по ее словам, в денежных делах очень деликатен, хотя не скрывает, что преследует собственную выгоду.

— Ей-богу, она выйдет за него!

— Вы ее не знаете. О Кшемене она пишет вот что: «Папа хочет продать имение и поселиться в Варшаве. Ты знаешь, как люблю я Кшемень, как сроднилась с ним, но после всего происшедшего я сама усомнилась, не напрасно ли стараюсь. Последнюю попытку сделаю отстоять этот милый моему сердцу уголок. Папа говорит, совесть ему не позволяет меня в деревне похоронить, но от сознания, что все это ради меня, только еще тяжелей. Какая ирония судьбы! Пан Машко предлагает папе три тысячи ежегодно до скончания дней и всю сумму сполна от продажи Магерувки. Он свою выгоду блюдет, это естественно, но если дело примет такой оборот, имение достанется ему почти задаром. Даже папа сказал: «В таком случае, если я год проживу, то получу за имение три тысячи, — ведь Магерувка и так мне принадлежит». На что Машко ответил: при теперешнем положении дел деньги за Магерувку все равно пойдут кредиторам, а на его условиях папа получит их наличными и может жить себе на здоровье хоть тридцать лет, а то и больше. Это тоже верно. Я знаю, папу его предложение в принципе устраивает, но он хочет выторговать побольше. Во всем этом одно утешение: в Варшаве я буду чаще видаться с тобой и Литкой. Обоих вас люблю искренне, от души и знаю, что на вашу дружбу, по крайней мере, могу всегда рассчитывать».

Наступило молчание.

— Ну что ж, — сказал Поланецкий, — я отнял у нее Кшемень, зато взамен послал жениха.

Он и не подозревал, что Марыня почти теми же словами выразилась в письме, и пани Эмилия пропустила их единственно из жалости. Машко неприкрыто ухаживал за Марыней, когда Плавницкие в последний раз были в Варшаве, и теперь ей не требовалось особой проницательности, чтобы догадаться, зачем эта перекупка закладной и приезд в деревню. Вот откуда вся горечь, переполнявшая сердце Марыни, и глубокая ее обида на Поланецкого.

— Надо непременно все это распутать, — сказала пани Эмилия.

— Сам послал ей жениха! — повторил Поланецкий. — И не могу даже сказать в свое оправдание, что не знал о его намерениях.

Пани Эмилия повертела письмо в своих тонких пальцах.

— Так нельзя это оставить! — сказала она. — Я хотела соединить вас из симпатии к вам обоим, и ваше огорчение — лишний довод в пользу этого. Меня совесть замучит, если оставлю вас в беде. Не отчаивайтесь... Есть прекрасная французская поговорка, — по-польски она звучит ужасно, — о том, что может женщина, если захочет. Так вот, я очень хочу вам помочь.

Поланецкий схватил ее руку и поднес к губам.

— Более доброго и благородного человека, чем вы, я еще не встречал.

— Мне дано было счастье в жизни, — отвечала пани Эмилия, — а так как путь к нему, по-моему, лишь один, мне хочется, чтобы его избрали, кто мне дороги.

— Вы правы! Другого пути нет и быть не может! Если тебе дана жизнь, проживи ее с пользой для себя и близкого существа.

— Вот и я, уж коли взялась в первый раз за роль свахи, тоже хочу сыграть ее с пользой, — засмеялась пани Эмилия. — Надо только обдумать хорошенько, что же нам предпринять.

И она подняла глаза. Свет лампы упал на ее еще очень молодое личико, на светлые волосы, слегка вьющиеся надо лбом, — во внешности ее было столько очарования, девственной чистоты, что Поланецкому, хотя мысли его были заняты другим, невольно вспоминалось прозвище, данное ей Букацким: вдова-девица.

— Марыня сама очень прямодушная, — после минутного молчания сказала она, — поэтому лучше напишем ей все как есть. Я напишу, как вы мне сказали: что она понравилась вам и вы поступили так, не подумав, единственно из опасения не поладить с ее отцом, и теперь очень об этом жалеете, просите не ставить вам в укор и не лишать надежды на прощение.

— А я напишу Машко, что откупаю у него закладную с выгодой для него.

— Вот он, трезвый, расчетливый Поланецкий! — засмеялась пани Эмилия. — А еще похвалялся, что победил свой польский характер, свое польское легкомыслие.

— Так оно и есть! — воскликнул повеселевший Поланецкий. — Расчетливость мне как раз и говорит, что дело стоит затрат. — Но, помрачнев, добавил: — А вдруг она ответит, что они с Машко обрuchились?

— Не думаю. Вполне возможно, что пан Машко — достойнейший человек, но ей не пара. Не по склонности она замуж не пойдет, а он, насколько мне известно, ей не нравится. Этого опасаться нечего. Плохо вы знаете Марыню. Сделайте все от вас зависящее, а уж насчет Машко не тревожьтесь.

— Я лучше ему сегодня же телеграмму пошлю вместо письма. Не будет он долго в Кшемене сидеть, как раз по возвращении в Варшаву и получит.

Через два дня пришел ответ от Машко: «Вчера купил Кшемень». Хотя такого оборота дела можно было ожидать и письмо Марыни должно было подготовить к нему Поланецкого, известие поразило его, точно удар грома. Словно из-за него стряслось неожиданное, непоправимое несчастье. У пани Эмилии, хорошо знавшей привязанность Марыни к Кшеменю и не скрывавшей от Поланецкого, что его продажа не облегчит их сближения, тоже шевельнулось недоброе предчувствие.

— Если Машко не женится на ней, — сказал Поланецкий, — он обдерет как липку ее отца. Его-то репутация не пострадает, а старик останется без гроша. Продай я закладную любому ростовщику, старик изворачивался бы, платил по мелочам, но больше отделялся посулами — и катастрофа, нависшая над имением, отодвинулась бы на годы. А там, глядишь, обстоятельства бы переменились; во всяком случае, можно было бы хоть получить настоящую цену. А теперь, если они разорятся, я буду виноват.

Пани Эмилия смотрела на дело и с другой стороны.

— Что Кшемень продан, еще полбеды, — сказала она, — но все выглядело бы совсем иначе, сделай это кто-нибудь другой, а не вы, тем более вскоре после знакомства с Марыней. Хуже всего, что от вас-то она как раз такого не ожидала.

Поланецкий сам прекрасно это сознавал и, привыкнув во всем отдавать себе ясный отчет, должен был себе сказать: Марыня для него потеряна навсегда. Оставалось одно: примириться с этим, забыть ее и поискать себе другую спутницу жизни. Но все в нем восставало против этого. И хотя чувство его к Марыне вспыхнуло внезапно и, не подкрепленное ни временем, ни более близким знакомством, питалось главным образом воспоминаниями о ее облике, оно за последние недели окрепло. Способствовало этому и письмо, утвердившее Поланецкого в убеждении, что он поступил с ней нехорошо. Жалость и раскаяние, имеющие столь большую власть над мужским сердцем, подогрели его чувство к ней. Вдобавок этот сильный человек, чью энергию трудности только возбуждали, не привык подчиняться обстоятельствам. Не такого он был права. И, наконец, отказаться от Марыни не позволяло ему также самолюбие. Одна мысль о том, что когда-нибудь придется себе признаться: ты был орудием в руках Машко, который воспользовался тобой для достижения своей цели, позволил ему это, приводила его в ярость. Пусть Машко и не добьется Марыниной руки, пусть дело ограничится только покупкой Кшеменя, для Поланецкого и этого было больше чем достаточно. И ему нестерпимо захотелось чинить всякие препятствия Машко, вставлять ему палки в колеса, спутать, во всяком случае, его дальнейшие планы, чтобы знал: одной адвокатской верткости мало, когда имеешь дело с настоящей волей и энергией.

Все эти благовидные и менее благовидные доводы неудержимо побуждали к одному: действию, делу. А между тем обстоятельства складывались так, что ничего сделать было нельзя. В этом и заключался трагизм его положения. Сидеть в Райхенгалле, предоставляя Машко осуществлять свои планы, раскидывать сети, искать Марыниной руки? Нет, ни за что на свете! Но как же тогда быть? На этот вопрос Поланецкий не находил ответа. Впервые в жизни было у него ощущение, будто его посадили на цепь, и чем непривычней оно было, тем тяжелей он его переносил. Впервые посетила его также раздражительность и бессонница. И в довершение всего Литка почувствовала себя снова хуже, и в свинцово-тяжкой, гнетущей атмосфере жизнь стала невыносимой.

Через неделю пришло новое письмо от Марыни... На сей раз она ни словом не поминала ни Поланецкого, ни Машко. Не сетуя и не сообщая никаких подробностей, коротко извещала о продаже Кшемения. Но это лишь подтверждало, как ей трудно.

Поланецкий предпочел бы, чтобы она его обвиняла. Он прекрасно понимал: молчание о нем означало, что он окончательно изгнан из ее сердца. Умолчание же о Машко могло означать и нечто совсем другое. Если Кшемений ей так уж дорог, она, может статься, отдаст руку теперешнему его владельцу, чтобы туда вернуться,— и уже склоняется к этому. У Плавицкого был, правда, шляхетский гонор, и Поланецкий принимал это в расчет, но старик эгоист до мозга костей и ради своего благополучия пожертвует и гонором, и дочерью.

Сидеть сложа руки в Райхенгалле в ожидании, соизволит ли Машко сделать Марыне предложение, стало для Поланецкого поистине пыткой. К тому же и Литка опять и опять просилась в Варшаву, и Поланецкий решил вернуться, тем более что приближался срок уговора с Бигелем начинать новое дело.

Решив возвратиться, он сразу почувствовал облегчение. Приедет, посмотрит на месте, как обстоят дела, и увидит, что можно предпринять. Во всяком случае, лучше, чем сидеть в Райхенгалле. Для пани Эмилии и Литки отъезд его не был неожиданностью. Они с самого начала знали, что он приехал на несколько недель, и надеялись вскоре увидеться в Варшаве. В середине августа пани Эмилия тоже собиралась уезжать. А до конца месяца решила пожить вместе с Васковским в Зальцбурге и уже оттуда вернуться в Варшаву. Поланецкому она пообещала регулярно сообщать о здоровье Литки и написать Марыне, чтобы выяснить ее отношение к Машко.

В день отъезда все трое приехали на вокзал проводить его. В вагоне он вдруг почувствовал, что ему жалко уезжать. Что-то еще ждет его в Варшаве, неизвестно, а тут, по крайней мере, самые близкие ему на свете люди. И, высунувшись из окна, он глядел в устремленные на него печальные Литкины глаза, на приветливое лицо пани Эмилии с ощущением, будто это его семья. И вновь его поразила необычайная красота молодой вдовы, ее до

неправдоподобия изящное, ангельски доброе лицо и тонкая девчья фигура в черном платье.

— Будьте здоровы,— говорила она,— пишите нам. Увидимся недели через три.

— Через три... — откликнулся Поланецкий. — Непременно напишу. До свидания, Литуся!

— До свиданья! Передайте привет Эве и Иоасе!

— Передам! — И он протянул руку в окно. — Не забывайте своего друга!

— Не забудем! Не забудем! Хотите, закажем молебен и девять дней будем молиться за ваши успехи? — пошутила пани Эмилия.

— Нет, спасибо! Я и так вам благодарен. До встречи, Васковский!

Поезд тронулся. Пани Эмилия и Литка махали зонтиками, пока клубы дыма и пара, выпускаемые набравшим скорость паровозом, не заслонили окно, в которое выглядывал Поланецкий.

— Мама, а правда нужно помолиться за пана Стаха? — спросила Литка.

— Правда, Литуся. Он так добр к нам. Надо попросить бога послать ему счастья.

— А разве он несчастлив?

— Нет... То есть... видишь ли, у всех свои огорчения. Есть они и у него.

— Знаю, я слышала на Тумзее,— отозвалась девочка, прибавив тихонько: — Я помолюсь...

Едва Литка их немного опередила, Васковский, который при всех своих достоинствах не умел держать язык за зубами, сказал пани Эмили:

— У него золотое сердце, и он вас обеих любит, как родной брат. Теперь, когда профессор подтвердил, что опасности нет, я могу все рассказать. Так вот, это Поланецкий его специально пригласил, так он испугался за девочку на Тумзее.

— Так это он? — переспросила тронутая до слез пани Эмилия. — Вот видите, какой он человек! За это я добуду ему Марыню,— поспешила она добавить.

Поланецкий тоже уезжал, преисполненный нежности и благодарности: в минуты невезенья и уныния дружеское участие всегда особенно ценно. Забившись в угол вагона и вспоминая пани Эмилию, он говорил себе: «Вот бы влюбиться в нее! С ней я обрел бы покой, уверенность в своем счастье! И цель была бы в жизни: знал бы, для кого тружусь, знал бы, что нужен кому-то, что существование мое имеет смысл. Она, правда, говорит, что никогда замуж не выйдет, но за меня... как знать. А у той при всех ее совершенствах может быть сердце черствое».

И вдруг спохватился, что о пани Эмили может думать спокойно, а при мысли о той к горлу подступает томительное и сладостное волнение. К той влекло неудержимо. Только что пожимал

он руку пани Эмилии и никакого трепета не испытывал, а при одном воспоминании о теплой Марыниной ладони его до сих пор бросало в дрожь.

И так до самого Зальцбурга он думал только о Марыне, пусть не решая ничего, но задаваясь вопросами, что же делать и в чем его обязанность перед ней в сложившихся обстоятельствах.

«Что Кшемень продан по моей вине, отрицать не приходится,— рассуждал он. — Кшемень дорог ей не из материальных соображений, не из-за денег, которые можно бы выручить, не потопишь они с продажей. Он дорог ее сердцу. А я лишил ее и денег, и привязанности. Словом, обездолил. Закона я не преступил, но совесть — не свод законов, для ее спокойствия мало такого оправдания. Да, я виноват и не отрицаю этого, а коли так, надо искупить свою вину.

Но как?

«Откупить Кшемень у Машко денег не хватит. Оно и хватило бы, пожалуй, но тогда придется выйти из дела и изъять свой капитал, что практически невозможно. Бигель может разориться из-за этого, значит, это исключается. Остается одно: невзирая ни на что, поддерживать знакомство с Плавицкими и, немного выждав, сделать предложение панне Марыне, а если откажут, по крайней мере, совесть будет чиста».

Но тут послышался другой, внутренний голос, который о себе уже заявлял: «Совесть тут ни при чем. Будь панна Плавицкая некрасива и старше на десять лет и поступи ты точно так же — лиши ее имения и прочего,— тебе и в голову бы не пришло просить ее руки. Уж признайся, что тебя ее личико, глазки, губки, плечи, фигурка влекут, притягивают, как магнит, и не лицемерь».

Но Поланецкий не церемонился со своим вторым «я», порой бывая с ним весьма резок, и сейчас, не отступая от этого обычновения, возразил: «А почему ты знаешь, дурак, как я бы поступил и в этом случае, чтобы загладить свою вину? И если сейчас, заглаживая ее, я намерен сделать предложение, что тут удивительного? Обычно предложение делают женщинам, которые нравятся, а не тем, которые отталкивают. Не можешь ничего умнее сказать, лучше помалкивай».

Внутренний голос попытался еще робко предостеречь Поланецкого, напомнив, что Плавицкий может приказать спустить его с лестницы или, в лучшем случае, укажет на дверь. Но Поланецкий не испугался. «В наше время к таким способам не прибегают,— подумал он,— а не примут меня Плавицкие, тем хуже для них».

Однако не могут же они его не принять, хотя бы из чистой вежливости. А впрочем, с Марыней можно будет встретиться и у пани Эмилии.

Размышляя таким образом, доехал он до Зальцбурга. Оставался еще час до мюнхенского поезда, который должен был до-

ставить его в Вену, и он решил пройтись по городу; но в ресторанном зале неожиданно наткнулся на Букацкого в светлом клетчатом пиджаке, с обычным его моноклем в глазу, в маленькой мягкой шляпе на маленькой головке.

— Ты ли это? Или дух твой? — воскликнул Поланецкий.

— Я, я, успокойся, — ответил Букацкий флегматично, как будто они расстались час назад. — Как живешь?

— А ты что тут делаешь?

— Ем котлету на маргарине.

— В Райхенгалль направляешься?

— Да. А ты — домой?

— Домой.

— Сделал пани Эмилии предложение?

— Нет.

— Тогда у меня нет к тебе претензий. Езжай с богом.

— Твои шуточки неуместны. Литка смертельно больна.

— А-я-яй! — подняв брови, воскликнул Букацкий, и лицо его приняло серьезное выражение. — А ты не преувеличиваешь?

Поланецкий кратко изложил ему диагноз.

— Как тут не быть пессимистом! — помолчав, сказал Букацкий. — Бедная девочка и бедная мать! Если это случится, уж и не знаю, что с ней будет.

— Она верующая, но страшно даже подумать.

— Выйдем в город, тут дышать нечем...

Они вышли на улицу.

— Как тут не быть пессимистом! — все повторял Букацкий по дороге. — Литка, эта голубка! Как ее не пожалеть, а вот смерть не пожалеет.

Поланецкий молчал.

— Теперь и сам не знаю, — продолжал Букацкий, — ехать ли в Райхенгалль. Без пани Эмилии мне жизнь не в жизнь. Когда она в Варшаве, я хоть предложение ей делаю раз в месяц — и каждый месяц получаю отказ. Так и живу с первого числа по первое, как на жалованье. Сейчас вот первое прошло, и мне чего-то недостает, как будто жалование кончилось. А матери известна вся серьезность положения?

— Нет. Жизнь девочки на волоске, но так может продолжаться и еще несколько лет.

— Гм! А кто может поручиться, что нам отпущено больше? Скажи, ты часто думаешь о смерти?

— Нет. А какой смысл? В этой тяжбе я в заведомом проигрыше, чего же ее и затевать, особенно прежде времени.

— В заведомом-то заведомом, а все-таки тягеемся с ней до самого конца. В том и смысл: иначе жизнь была бы скучнейшим фарсом. А так она хоть глупая драма. Что до меня, я могу выбрать одно из трех: повеситься, поехать в Райхенгалль или в Мюнхен — еще раз посмотреть Бёклина. Если быть последовательным, надо бы выбрать первое, но поскольку мне это несвойственно, я

предпочту Райхенгалль. Ни изяществом рисунка, ни колористичностью пани Эмилия не уступит Бёклину.

— А в Варшаве что слышно? — невпопад спросил Поланецкий: вопрос этот вертелся у него на языке с самого начала разговора. — Ты видел Машко?

— Видел. Он купил Кшемень и теперь, что ни говори, богатый помещик, хотя у него хватает ума не важничать. Он благосклонен, снисходителен, милостив, доступен, словом, изменился к лучшему; мне это, правда, безразлично — какая мне от этого польза! Но ему это явно на пользу пошло.

— На Плавицкой он не собирается жениться?

— Говорят, собирается. Твой компаньон Бигель упоминал об этом — и еще Кшемень купил он очень выгодно. Да, впрочем, приедешь, сам узнаешь.

— А где сейчас Плавицкие?

— В Варшаве. В гостинице «Рим». А барышня собой недурственная. Я был у них на правах кузена, разговаривал о тебе.

— Мог бы найти более приятную для них тему.

— А Плавицкий рад случившемуся. По его словам, ты, сам того не желая, оказал им услугу... Я спросил барышню, как это она раньше не познакомилась с тобой? Она ответила, что ты, наверно, за границей был, когда они в Варшаву приезжали.

— Да, в Берлин ездил по делам и пробыл там довольно долго.

— Незаметно по ним, чтобы они сердились. Хотя, по слухам, барышня с таким увлечением занималась хозяйством, что ей впору бы дуться на тебя: как-никак ты лишил ее любимых занятий. Но мне она ничего такого не говорила.

— Вероятно, скажет мне, такая возможность у нее будет, я сразу по приезде нанесу им визит.

— В таком случае сделай одолжение: женись на ней. Мне больше улыбается видеть тебя своим кузеном, чем этого Машно.

— Ладно, — отрывисто сказал Поланецкий.

ГЛАВА IX

Вернувшись в Варшаву, Поланецкий первым делом отправился к Бигелю, и тот подробно ему рассказал, на каких условиях продан Кшемень. Условия были чрезвычайно выгодны для Машко. По прошествии года он обязался уплатить Плавицкому тридцать пять тысяч рублей, которые должен был выручить за Магерувку, а кроме того, пожизненно выплачивать ему по три тысячи рублей в год. Поначалу сделка не показалась Поланецкому такой уж невыгодной для Плавицких, но Бигель был на этот счет другого мнения.

— Не в моих правилах осуждать людей, — сказал Бигель, — но этот Плавицкий явно старый эгоист: ему лишь бы в свое удо-

вольствие пожить, а о дочери не подумал, пожертвовал ее будущностью ради собственного удобства. Но при этом поступил крайне легкомысленно. Считается, что обеспечением его ренты служит Кшемень, но это фикция, так как имение разорено, в него надо вкладывать деньги. Приведет его Машко в порядок — хорошо, нет — ренту будет выплачивать неисправно, это в лучшем случае, и Плавицкий может на целые годы остаться без гроша. Что тогда делать? Отнять Кшемень. Но Машко к тому времени залезет в новые долги, хотя бы для того, чтобы уплатить старые, а обанкротится, на Кшемень наложат свою лапу кредиторы — им же несть числа. В конечном счете все зависит от порядочности Машко. Очень может быть, что он честный человек, но дела ведет рискованно: один какой-нибудь неверный шаг — и он погиб. Как знать, не такой ли шаг — и покупка Кшеменя? Ведь чтобы привести имение в порядок, ему придется полностью исчерпать свой кредит. Знавал я людей, которые преуспевали, а приобрели крупную земельную собственность — и конец.

— Но у Плавицкого в любом случае останется капитал от продажи Магерувки, — заметил Поланецкий, словно отгоняя собственные сомнения.

— Если старик его не проест, не проиграет, не промотает.

— Надо что-то предпринимать. Я виноват, что имение продано, я должен им теперь и помочь.

— Ты? — удивился Бигель. — Я думал, ты порвал с ними всякие отношения.

— Попытаюсь их опять возобновить. Завтра иду к ним с визитом.

— Не знаю, обрадуются ли они тебе.

— Я тоже не знаю.

— Хочешь, вместе пойдем? Тут важно лед сломать. Могут ведь не принять тебя одного... Жалко, жены нет, я в городе один... Сижу дома вечерами, играю на виолончели, но днем у меня времени много, могу с тобой пойти.

Однако Поланецкий отклонил его предложение, и на другой день, одевшись с особой тщательностью, отправился к Плавицким один. Он знал, что недурен собой, и, хотя обычно не придавал этому значения, на сей раз решил для успеха предприятия ничем не пренебрегать. И по дороге стал обдумывать, что говорить, как поступать, заранее пытаясь представить себе, как его примут.

«Лучшее, что можно придумать, — это искренность и простота», — решил он, сам не заметив, как очутился перед «Римом». Сердце у него забилось сильнее.

«Хорошо бы, их не оказалось дома, — промелькнуло у него в голове. — Оставляю визитную карточку и посмотрю, отдаст мне визит Плавицкий или нет». Но тут же сказал себе: «Не трусь!» — и вошел в гостиницу.

Узнав у портье, что Плавицкий у себя, он послал визитную карточку, и его тотчас попросили подняться в номер.

Плавицкий сидел за столом и писал письма, посасывая трубку с большим янтарным мундштуком. При появлении Поланецкого он поднял голову и, глядя на него через пенсне в золотой оправе, сказал:

— Милости прошу!

— Я узнал от Бигеля, что вы в Варшаве, и пришел засвидетельствовать свое почтение.

— Очень мило с твоей стороны,— отвечал Плавицкий,— я, по правде говоря, от тебя этого не ждал. Мы плохо с тобой расстались, причем по твоей вине. Но если ты почел своей обязанностью навестить меня, я как старший снова принимаю тебя в свои объятия.

Но объятий на этот раз не последовало, старик ограничился тем, что протянул через стол руку Поланецкому, которую тот пожал, подумав про себя: «Как же, тебя навестить, ничем я тебе не обязан».

— Переезжаете в Варшаву? — после небольшой паузы спросил он.

— Да. Всю жизнь вот в деревне провел, привык с петухами вставать, хлопотать по хозяйству... Нелегко мне будет привыкать к вашей Варшаве. Но девушке не годится жить затворницей, и пришлось эту жертву принести; впрочем, мне это не впервой.

Поланецкий две ночи провел в Кшмене и был свидетелем, что Плавицкий вставал около одиннадцати, а хлопоты его... они хозяйства не касались; но он промолчал: его мысли были заняты другим. Из номера Плавицкого открытая дверь вела в соседнюю комнату,— должно быть, Марынину. Косясь на эту дверь, Поланецкий подумал вдруг, что Марыня вообще может не выйти к нему.

— А панну Марию буду я иметь честь повидать? — спросил он.

— Марыня пошла квартиру посмотреть, которую я утром приискал. Сейчас вернется, это недалеко. Квартирка, скажу я тебе,— просто загляденье! У меня будут кабинет и спальня, у Марыни — тоже славная комнатка. Столовая, правда, темновата, зато гостиная точно бонбоньерка...

И он многословно принялся описывать квартиру, точно довольный ребенок или предвкушающий наслаждение сибарит.

— Только приехал — и квартиру нашел. Варшаву я хорошо знаю, мы с ней старые знакомые,— заключил он.

В соседнюю комнату кто-то вошел.

— Наверно, Марыня,— сказал Плавицкий и спросил громко: — Марыня, ты?

— Я,— отозвался молодой голос.

— Иди сюда, у нас гость.

В дверях появилась Марыня. При виде Поланецкого на лице ее изобразилось удивление.

Поланецкий встал, поклонился, а когда она приблизилась к столу, протянул руку. Она ответила столь же вежливым, сколь и холодным пожатием. И сразу же обратилась к отцу, словно в комнате никого другого не было:

— Квартирu я посмотрела. Уютная, удобная. Одно меня смущает: не слишком ли улица шумная?

— Здесь улицы все шумные, это не деревня,— заметил Плавицкий.

— Извините, я пойду сниму шляпу,— сказала Марыня, ушла и долго не показывалась.

«Больше не выйдет»,— подумал Поланецкий.

Но она, наверно, только поправляла волосы перед зеркалом, потому что опять вернулась, спросив:

— Я не помешаю?

— Нет,— ответил отец,— дел с ним у нас теперь никаких нет, чему я, кстати, очень рад. Пан Поланецкий к нам с визитом. Поланецкий слегка покраснел.

— Я только что из Райхенгалля,— сказал он, чтобы переменить тему. — Пани Эмилия и Литка кланяются вам. Отчасти поэтому осмелился я к вам явиться.

Лицо Марыни на минуту утратило выражение холодного спокойствия.

— Эмилька писала, что у Литки был сердечный приступ,— сказала она. — А как она сейчас себя чувствует?

— Больше приступа не было.

— Я жду письма от нее, может быть, оно и пришло, но, наверно, по старому, кшменскому адресу, вот я и не получила.

— Перешлют,— сказал Плавицкий,— я распорядился все пересылать сюда.

— Вы больше не вернетесь в деревню? — спросил Поланецкий.

— Нет, не вернемся,— сказала Марыня, и лицо ее приняло прежнее отчужденное выражение.

Наступило минутное молчание. Поланецкий смотрел на девушку, и в душе его происходила борьба. Он не мог глаз оторвать от ее лица, и ему все ясней становилось, что она, да, она в его вкусе, что именно такую мог бы он полюбить, что это его идеал женщины, и тем невыносимей была для него ее холодность. Как много бы он дал за то, чтобы увидеть на ее лице прежнее внимание, то любопытство, с каким она слушала его в Кшмене, тот неподдельный интерес в лучащихся улыбкой глазах. Как много дал бы, чтобы все это вернуть, но не знал, прямой выбрать путь или обходной, и потому колебался. Наконец избрал тот, который больше отвечал его натуре.

— Я знал,— сказал он вдруг,— как вам дорог Кшмень, и сам же, вероятно, способствовал его продаже. — Мне очень жаль, если это так, и я, признаюсь вам открыто, всегда буду сожалеть об этом. Не могу даже сказать в свое оправдание, что поступил

необдуманно или сгоряча. Напротив, я долго размышлял, но соображения мои были злы и неразумны. Тем сильнее я виноват, и очень прошу простить меня.

С этими словами он встал. Щеки его пылали, взгляд выражал искренность и правдивость, но сказанное им не возымело никакого действия. Поланецкий избрал неверный путь. Он слишком мало знал женщин и не понимал, насколько их суждения, особенно о мужчинах, зависят от их чувств — стойких или сиюминутных. Под властью этих чувств они могут все истолковать и в хорошую, и дурную сторону, и справедливо, и несправедливо, повернуть так и эдак: глупость принять за ум, ум — за глупость, эгоизм — за самоотверженность, самоотверженность — за себялюбие, грубость — за откровенность, откровенность — за бестактность. Мужчина, чем-либо навлекший на себя неприязнь, не может быть в глазах женщины искренен, справедлив или хорошо воспитан. А Марыня со времени приезда Машко в Кшмень питала глубокую неприязнь к Поланецкому и не поверила в его искренность. «Что же это за человек, — подумала она, — если считает сегодня злым и неразумным то, что вчера совершил в полном разумении?..» Кшмень, его продажа, приезд Машко и цель его, которая была для нее очевидна, — все это причиняло боль, как незаживавшая рана. И Поланецкий, казалось ей, бесчувственно и грубо бередил теперь эту рану.

Он встал, глядя ей прямо в лицо в ожидании, что она протянет руку в знак дружбы и прощения, ясно сознавая: сейчас решается его судьба; но глаза ее потемнели, словно от боли и гнева, и стали еще более непроницаемыми.

— Можете не беспокоиться, — с вежливой холодностью ответила она, — папа вполне доволен продажей и никаких претензий к пану Машко не имеет.

С этими словами она тоже встала, полагая, что Поланецкий хочет проститься. Он постоял еще, уязвленный, разочарованный, с униженным чувством, что его отвергли, и закипая гневом от этого оскорбления.

— Если так, — сказал он, — то мне и правда нечего беспокоиться.

— Да, да, — подтвердил Плавичкий. — Сделка очень выгодная.

Поланецкий вышел, нахлобучив шляпу и перескакивая сразу через несколько ступенек, все твердил про себя на лестнице: «Ноги моей больше у вас не будет».

Но домой возвращаться, оставаться наедине с собой не хотелось, — он чувствовал, гнев его задушит, и пошел куда глаза глядят. Ему показалось, он разлюбил Марыню, больше того: возненавидел; однако не переставая думал о ней и, прики его мысли более спокойный оборот, понял бы, как глубоко затронула его эта новая встреча. Он вновь увидел ее, смотрел на нее, сравнивая с тем образом, который запечатлелся в памяти, — и образ этот, об-

рета живые краски, стал еще привлекательней, еще сильнее завладел его воображением. И, несмотря на гнев, в глубине его души росли восхищение и симпатия. Теперь для него существовало как бы две Марыни: одна — кшеменьская, кроткая, расположенная, жадно ему внимающая и готовая полюбить, и другая, варшавская, которая оттолкнула его с таким холодным пренебрежением. Женщина часто предстает перед мужчиной как бы в двух обликах, и непреклонная подчас больше ему импонирует, чем благосклонная. Поланецкий не ожидал увидеть Марыню такой, и к гневу его примешивалось удивление. Зная себе цену и будучи достаточно самоуверен, он был убежден, хотя сам себе в этом не признавался, что стоит ему только протянуть палец — и за него тотчас ухватятся. А вышло не так. Эта кроткая Марыня неожиданно-негаданно обернулась судьей, выносящим свой приговор, королевой, дарующей милость и немилость. И Поланецкий не мог освоиться с этой мыслью, гнал ее прочь; но такова уж природа человеческая: когда он понял, что совсем не столь желанен для нее, даже, по ее мнению, недостоин, она, несмотря на весь гнев, обиду и ожесточение, сильно возвысилась в его глазах. Самолестию его был нанесен удар; но воля, поистине твердая, сопротивлялась, восставая против препятствия. Мысли беспорядочно кружились у него в голове, мысли, а вернее, чувства, оскорбленные и терзающие душу. Он сто раз повторял себе: забыть все, хочу и должен забыть, но, не в силах совладать с собой, в то же самое время втайне, в сокровенной глубине души надеялся на скорый приезд пани Эмили и на ее помощь.

В этом душевном смятении он и не заметил, как очутился на середине Съезда. «Какого черта понесло меня на Прагу?» — спросил он себя и остановился. Погожий день клонился к вечеру. Внизу блестела Висла, за ней и ближайшими купами деревьев расстилалась бескрайняя равнина, подернутая розовато-сизой дымкой на горизонте. Там где-то, за этой дымкой, был Кшемень, который так любила, а теперь потеряла Марыня.

«Интересно, а что она делает, если я верну ей его?» — подумал Поланецкий, вглядываясь в далекую дымку.

Но представить себе толком не мог, зато ясно представил, какое горе для нее лишиться этого клочка земли. И его охватила жалость к ней, потеснив и как бы приглушив обиду. Совесть стала ему нашептывать, что получил он по заслугам.

«Странно все-таки, что я беспрерывно думаю об этом», — сказал он себе на обратном пути.

И в самом деле: никакие финансовые операции, даже самые важные, не занимали его еще до такой степени, не заставляли и вполтину так волноваться. И снова вспомнились ему слова Васковского, что добывание денег не может для него стать всем, не таков он по натуре. И никогда с такой очевидностью не всплывала догадка, что бывают дела куда поважней и позначительней. Второй раз за этот день испытал он чувство удивления.

Уже около девяти завернул он к Бигелю. Один в просторной пустой квартире, Бигель сидел в дверях выходящей в сад веранды и играл на виолончели так проникновенно, что в доме все гудело.

— Ты был у Плавицкого? — прервав тремоло, спросил он при виде Поланецкого.

— Был.

— Ну и как она?

— Как графин воды со льда. В такой жаркий день даже приятно. Впрочем, они были весьма любезны.

— Так я и думал.

— Играй дальше.

Бигель заиграл «Грезы», то закрывая при этом глаза, то устремляя их на луну. Раздававшаяся в тишине мелодия, казалось, наполнила истомой дом, сад и самую ночь.

— Знаешь что? — кончив и помолчав немного, сказал Бигель. — Вот вернется пани Эмилия, и жена пригласит ее в деревню вместе с Марыней Плавицкой. Может, там скорей лед тронется.

— Сыграй еще раз.

Снова полились звуки, навевая грезы и покой. Поланецкий был молод и потому не совсем чужд мечтательности. И ему представилось, как любящая и бесконечно любимая им Марыня, прильнув головой к его груди, с рукой в его руке, слушает «Грезы» вместе с ним.

ГЛАВА X

Плавицкий был человеком, что называется, хорошо воспитанным и отдал визит Поланецкому на третий день. Не на второй — такая поспешность означала бы желание войти в близкие отношения. Но и не на четвертый или на пятый, ибо это разошлось бы со светскими обычаями. Словом, не раньше и не позже, а в точном согласии с правилом «*savoir vivre*»¹. Он всю жизнь гордился глубоким знанием этого правила во всех тонкостях и оттенках, соблюдение которого почитал верхом мудрости. Чуждый ограниченности, он допускал, правда, существование и других отраслей знания, но с непременным условием не переоценивать их значения и не навязывать людям хорошо воспитанным.

Поланецкий, готовый терпеть все, лишь бы сохранить отношения с Марыней, с трудом скрыл радость, охватившую его при виде Плавицкого. С гостем был он на радостях сама любезность и доброжелательность, не без удивления отметив про себя, как преобразилась его внешность в городе. Шелюра цвета воронова крыла по части безупречной черноты пришла в полное соответствие с маленькими, закрученными кверху усиками, статную грудь

¹ уметь жить (фр.).

облегал белый жилет, а пунцовая гвоздика в петлице сюртука сообщала его внешности совсем праздничный вид.

— Право, дядюшка, я не сразу вас и узнал! — воскликнул Поланецкий. — Подумал, юноша какой-то.

— *Bonjour, bonjour!*¹ — отвечал Плавицкий. — Пасмурно нынче, да и темновато у тебя, вот ты и принял меня за юношу.

— Темнота тут ни при чем — фигура-то какая! — И Поланецкий, схватив его без церемоний за бока, стал вертеть во все стороны, приговаривая: — Талия прямо как у барышни! И я бы не прочь такую иметь.

Плавицкий, несколько шокированный столь бесцеремонным обращением и вместе польщенный восхищением, вызванным его особой, повторял, отмахиваясь от Поланецкого:

— *Voyons!*² Ты с ума сошел! Я ведь и обидеться могу! С ума сошел!

— Ну, дядюшка, успех вам у женщин обеспечен.

— Как ты сказал? — опускаясь в кресло, переспросил Плавицкий.

— Я говорю, вы, дядюшка, сердца покорять сюда приехали...

— Вот уж о чем не думал. Ты вправду сумасшедший!

— А пани Ямиш? Как будто я сам не видел...

— Что? — прижмурил один глаз Плавицкий, высунув кончик языка, но тотчас поднял брови, спохватясь: — Пани Ямиш... Видишь ли, она хороша для Кшеменя. Я, между нами, не выношу аффектации, это ужасно отдает провинцией. Она меня просто замучила этой своей аффектацией, ну да бог с ней! Женщина должна иметь мужество состариться, иначе отношения вместо дружбы переходят в пытку.

— Значит, вы, дядюшка, почувствовали себя мотыльком в сачке?

— Пожалуйста, не говори так, — произнес Плавицкий с достоинством, — не воображай, будто между нами что-то было. А если даже так, ты от меня об этом ни слова не услышишь. Видишь ли, в этих вещах между вами и нами, старшим поколением, — огромная разница. Мы тоже не были святыми, но умели молчать, а это великое достоинство, без него немислимо то, что именуются истинным благородством.

— Из этого я заключаю, что вы мне не откроете, куда это вы направляетесь с такой великолепной гвоздикой в петлице.

— Нет, отчего же?... Изволь... Машко пригласил позавтракать с ним, меня и еще там несколько человек. Я было отказался, не хотел Марыню одну оставлять... Но я ради нее уже столько дома в деревне насиделся, что не мешает немного и развлечься. А ты не зван?

— Нет.

¹ Здравствуй, добрый день! (*фр.*)

² Здесь: ну ладно! (*фр.*)

— Странно... Ты хотя и коммерсант, как ты себя называешь, но из хорошей семьи. Впрочем, Машко и сам адвокат... Однако, скажу я тебе, как сумел он себя поставить, вот не ожидал.

— Машко и на голову сумеет встать.

— Всюду бывает, все его принимают... Раньше я был против него предубежден.

— А теперь?

— Надо отдать ему должное, во всей этой истории с Кшемением он вел себя, как джентльмен.

— И панна Марыня того же мнения?

— Наверно... хотя, я думаю, Кшемень она не сможет позавидеть... Продал-то я его ради нее, но не все в молодости доступно пониманию. Положим, я это предвидел, так что готов с покорностью снести. Что же до Машко... пожалуй, ей не в чем его упрекнуть. Кшемень, правда, он купил, но...

— Готов его вернуть?..

— Мы люди свои, и, между нами говоря, сдается мне, что да... Он еще в прошлый наш приезд увлекся Марыней, хотя тогда у них как-то не пошло. Марыня была еще очень молода, и он ей не понравился, да и меня корбило немного это его происхождение. А тут еще Букацкий проезжался на его счет. В общем, кончилось ничем.

— Как же ничем, если опять начинается.

— А я узнал, что он из старинного рода, только итальянского; его предки — выходцы из Италии. Когда-то они были Маско и сюда попали с королевой Боной, а потом осели в Белоруссии. Он даже и похож немножко на итальянца, ты не находишь?

— Скорее на португальца.

— Ну, какая разница... И в конце концов, сам посуди: продать имение и все-таки остаться при нем — это, знаешь, надо придумать... А Машко... ну да, по-моему, у него именно такие намерения, но Марыня — странная девушка. Как это ни прискорбно, приходится признаться, что чужого человека скорей поймешь, чем собственную дочь. Но если она скажет себе: «Paris vaut la messe»¹, как говорил Талейран...

— Талейран? А я думал, Генрих Четвертый.

— Конечно, ты же коммерсант, человек другого времени. Что вам, молодым, история, прошлое, вам бы только деньги делать... Так что все зависит от Марыни, но настаивать я не буду; при наших связях может представиться партия и получше. Надо только показаться на люди, старые знакомства возобновить. Это, конечно, требует усилий, но раз нужно, так нужно. Думаешь, хочется мне идти на этот завтрак? Нисколько! Но ведь и мне придется молодежь у себя принимать. Надеюсь, и ты нас не забудешь...

— Разумеется...

¹ Париж стоит мессы (фр.).

— А знаешь, что про тебя говорят? Что ты чертовски ловко деньгу умсешь наживать. Ну и ну! И в кого ты такой уродился, не в отца, во всяком случае. Но я тебя за это не осуждаю — нет, нет!.. Хотя напал ты на меня беспощадно, чуть не слопал, как волк ягненка, но ты мне нравишься — что-то в тебе есть, словом, я тебе симпатизирую.

— А я вам!

Плавицкий не лукавил. Деньги вызывали у него невольное благоговение, и к этому молодому человеку, который умел их наживать, он испытывал уважение, граничащее с симпатией. Это не какой-нибудь ждущий подачек бедный родственник, и Плавицкий, хотя не имел пока на него никаких видов, решил сохранять с ним добрые отношения.

— А ты неплохо устроился! — сказал он перед уходом, осмотревшись по сторонам.

И это была тоже правда. Квартира Поланецкого обставлена была так, будто он не сегодня завтра собирался жениться. Такое убранство само по себе доставляло ему удовольствие, придавая его мечтам видимость реальности.

Оглядев гостиную, которая сообщалась с другой комнатой, поменьше, обставленной тоже с большим вкусом, Плавицкий спросил:

— Отчего ты не женишься?

— Женюсь непременно, и в самое ближайшее время.

— А я знаю на ком, а я знаю на ком!.. — плутовато протянул Плавицкий, трепля Поланецкого по колену.

— Вы у нас — голова! От вас разве укроешься!

— Что, угадал? На вдовушке, да? На вдовушке?

— Милый дядюшка...

— Ась? Благослови тебя бог, а я тебя благословляю. Ну, пора идти, на завтрак нужно поспеть, а вечером — на концерт, в «Долину».

— В обществе Машко?

— Нет, с Марыней, но Машко тоже будет.

— И мы с Бигелем собираемся.

— Так, стало быть, увидимся. Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда могут сойтись.

— Как сказал Талейран...

— Ну, до свидания.

Поланецкий не прочь был иной раз послушать музыку, но на этот концерт идти не собирался. Однако едва Плавицкий обмолвился о Марыне, ему сразу захотелось ее увидеть. Оставшись один, он поразмышлял некоторое время, идти или нет, но, так сказать, только для проформы, заранее зная, что не устоит и пойдет. Бигель, заглянувший к нему по делу после полудня, не заставил себя долго уговаривать, и около четырех часов они оказались в «Долине». День, ясный и теплый, несмотря на сентябрь, привлек многочисленную публику, одетую совсем по-летнему. Молодые

женщины в светлых платьях, со светлыми зонтиками напоминали рой пестрых мотыльков на солнышке. И в этом рое любимых и влюбленных, слетевшихся сюда послушать музыку и пофлиртовать, должна была где-то находиться и Марыня. Поланецкому вспомнились студенческие годы, когда он влюблялся в незнакомку и, в надежде на новую встречу отыскивая их потом в толпе, поминутно ошибался, вводимый в заблуждение положей шляпкой, прической или фигурой. И сейчас принял издали за Марыню уже нескольких чем-то похожих барышень, и всякий раз, когда говорил себе: «Она», сердце у него, как и давным-давно, вздрагивало и замирало. Но теперь он злился, находя себя смешным — понимая: такие поиски свидания, всепоглощающая сосредоточенность на одном существе только сильнее привязывают к нему, подогревают увлечение.

Между тем, прежде чем он увидел ту, которую искал, заиграл оркестр. Пришлось сесть и слушать, что он и сделал безо всякого удовольствия, презирая в душе Бигеля, который при первых звуках музыки замер и закрыл глаза. В антракте он заметил наконец блестящий цилиндр и черные усики Плавицкого, а рядом — Марыни профиль. С ними сидел и Машко, величественно-невозмутимый, с видом английского лорда. Время от времени обращался он к Марыне, которая отвечала ему легким кивком.

— Плавицкие здесь, — сказал Поланецкий, — надо пойти поздороваться.

— Где ты их увидел?

— А вон, рядом с Машко.

— Верно. Пойдем.

И они направились к ним. Марыня, которая дружила с женой Бигеля, сердечно с ним поздоровалась, а Поланецкому лишь кивнула сдержанно, хотя и не настолько, чтобы это бросалось в глаза, и принялась расспрашивать его спутника о здоровье жены и детей. Бигель в ответ усиленно приглашал ее с отцом к себе на дачу в будущее воскресенье.

— Жена будет очень, очень рада! — повторял он. — Может быть, и пани Эмилия вернется к тому времени.

Марыня пыталась отказаться, но Плавицкий, жаждавший развлечений и знавший по прошлому своему приезду, что Бигели живут широко, принял приглашение. Было решено, что они приедут к обеду и вечером вернутся. Поездка необременительная, так как дача была недалеко, у первой пригородной станции.

— А пока садитесь с нами, — предложил Плавицкий, — тут как раз несколько свободных стульев.

— Вы не получали от пани Эмилии писем? — прежде чем сесть, осведомился у Марыни Поланецкий.

— Я как раз хотела спросить у вас то же самое, — отвечала она.

— Нет. Но я завтра справлюсь по телеграфу о здоровье Литки.

На этом разговор прекратился. Бигель подсел к Плавицкому, Поланецкий пристроился с краю. Марыня снова обернулась к Машко — виден был только ее профиль, и то не вполне. За несколько недель, проведенных в городе, она как будто немного осунулась, во всяком случае, стала бледнее, прозрачнее, отчего длинные ресницы казались еще темней и гуще. И во всей ее внешности было особенное изящество, чему немало способствовали изысканный туалет и тщательная прическа, непохожая на прежнюю. Раньше она закалывала волосы ниже, теперь, по последней моде, зашпилила высоко, под самой шляпкой. Поланецкий окинул взглядом ее стройную фигуру и восхитился ее грациозностью, которая проглядывала во всем, даже в манере держать руку на коленях. Она показалась ему по-настоящему красивой. И он снова всем существом почувствовал: если у каждого мужчины есть свой идеал красоты, которым определяется для него мера женского очарования, то Марыня очень к нему близка, если не тождественна.

И, глядя на нее, все повторял про себя: «Ах, иметь бы такую жену, такую жену!»

Но она беседовала с Машко, обращаясь к нему, пожалуй, чересчур часто, — и сохраняя Поланецкий хладнокровие, он спохватился бы: а не нарочно ли, назло ему она это делает? Так оно, видимо, и было. Но, судя по румянцу, вспыхивавшему на ее щеках, разговор шел оживленный.

«Да она с ним просто-напросто кокетничает!» — стиснув зубы, подумал Поланецкий.

И ему страшно захотелось узнать, о чем они говорят. Но расслышать было трудно. Публика во время продолжительного антракта вела себя довольно шумно, и между ними сидели два человека. Но в перерыве между номерами до него донеслись отрывистые фразы Машко, который имел обыкновение для большего веса говорить с ударением.

— Он мне нравится... У всех свои слабости, его слабость — деньги... Я ему благодарен, что надоумил... Кшемень — это он... К вам он, по-моему, искренне расположен, потому что не скупился... и, признаться, заинтриговал...

Марыня с живостью ему отвечала, потом до Поланецкого снова долетел обрывок фразы:

— Характер еще не выработался... Энергии хоть отбавляй, но рассудительности... хотя по натуре он добрый...

Поланецкий не сомневался, что речь идет о нем, разгадал он и тактику Машко. Отзыватьсь по видимости доброжелательно и беспристрастно, скорее хвалить, во всяком случае, признавать достоинства и вместе с тем бросать тень — это был излюбленный прием молодого адвоката. Себе он тем самым отводил особое место нелицеприятного судьи. Поланецкий понимал: Машко не столько хотел принизить его, сколько сам возвыситься — и, наверно, говорил бы точно так же про любого, в ком чужал соперника.

Окажись Поланецкий в его положении, он, может быть, сам избрал бы подобную тактику. Но это не помешало ему счесть поведение Машко подлостью, за которую он поклялся отомстить при первом удобном случае.

Под конец концерта Поланецкому представилась возможность убедиться, насколько Машко освоился с ролью жениха. Когда Марыня сняла перчатки, чтобы завязать вуалетку, и они соскользнули с ее колен, Машко их поднял и держал с зонтиком вместе, потом снял со спинки стула ее пелерину, перекинув через руку, чтобы подать, когда они выйдут из сада; словом, он откровенно ухаживал, хотя и со спокойным тактом вполне светского человека.

Вид у него был уверенный и довольный. И в самом деле: исключая короткий разговор с Бигелем, Марыня все остальное время, пока не слушала музыку, разговаривала исключительно с ним. И сейчас, направляясь к выходу, прошла с ним вместе впереди отца, и Поланецкий снова увидел ее обращенное к Машко улыбающееся лицо. Разговаривая, они смотрели прямо в глаза друг дружке, и слушала она Машко с очевидным увлечением. Вне всякого сомнения, кокетничала! Понимал это и сам Машко, но и тот при всей своей проницательности не догадывался, что она хочет подразнить Поланецкого.

У входа в сад их ждал экипаж. Машко, усадив ее и Плавицкого, стал прощаться. Но Марыня сказала, наклонясь к нему:

— Как? Ведь папа звал вас к нам? Правда, папа?

— Да, был такой уговор.

Машко уселся, и они укатили, раскланявшись с Бигелем и Поланецким. Довольно долго приятели шли молча. Наконец Поланецкий сказал, стараясь не выдать волнения:

— Интересно, сделал он уже ей предложение?

— Не думаю, но к тому идет.

— По-моему, тоже.

— Мне всегда казалось, Машко за состоянием будет охотиться. А он возьми и влюбись. Выходит, никто от этого не застрахован, даже помышляющие единственно о карьере... Машко влюблен! Кстати, женись он, ему и деньги за Кшемень выплачивать не придется. Да, не такое уж и невыгодное дельце, как может показаться. А уж хороша... что правда, то правда!

И оба опять замолчали. Но у Поланецкого было тяжело на душе, и ему хотелось выговориться.

— Скажу тебе прямо,— начал он,— мне просто нестерпима мысль о том, что она может выйти за него. И еще это ощущение полнейшей своей беспомощности! Хуже не придумаешь. Какую глупую и нелепую роль сыграл я во всем этом!

— Да, ты опрометчиво поступил, но с кем не бывает. Всею виной необычное стечение обстоятельств: ее отец оказался твоим должником. Твое представление о денежных делах — и его... Вы

как с разных планет. Вот и конфликт налицо. Конечно, ты немного перегнул; но, с другой стороны, слишком уступать ты тоже не мог, хотя бы из-за Марыни. Уступал бы, уступал бы ради нее — и что? Получилось бы, что она отцу пособница, задобрила тебя, не так ли? Нет, с этим надо было кончать!

Бигель задумался и, помолчав, заключил с обычной своей рассудительностью:

— Тебе ничего другого не остается, как только полностью устранить и предоставить делу идти своим чередом, сказав себе: я сам этого хотел.

— Да какой мне прок говорить так, когда это не так! — вскричал с живостью Поланецкий. — Потому что не так! Все не так! Вовсе я этого не хотел. Вот уж дурацкое положение, ничего себе. Заварил кашу, а теперь расхлебывай. Всегда знал, чего хочу, и вот поступил не знаю как.

— Дело сделано, чего теперь жалеть.

— Сказать-то, милый, легко, а мне жить не хочется. Планы строить, как раньше? Думаешь, очень меня заботит, здоров я буду или болен, обеднею или разбогатею... При одной мысли о будущем скучно и тошно становится. Ты свою жизнь устроил и привязан к ней, а я что? Блеснула надежда, и нет ее. Это, знаешь, здорово обескураживает.

— На панне Плавицкой в конце концов свет клином не сошелся.

— Это все слова! То-то и оно, что сошелся, иначе я себе и голову бы не сушил, а нашел другую. Да что говорить! В том-то и дело, что мне нужна она, и никуда от этого не денешься. А через год мне, может, на голову кирпич упадет или другую полную, вообще, что завтра будет, я не знаю, а вот что мне сейчас плохо, это факт. Тут еще много чего другого примешивается, о чем сейчас не хочется говорить. Для спокойной жизни надо иметь свой честно заработанный кусок хлеба, не так ли? Но тот же покой потребен и для жизни внутренней. И нельзя с этим тянуть, а я все откладывал до женитьбы, думал: с образом жизни и образ мыслей переменится; сперва с одним покончу, а потом примусь за другое. А тут, как нарочно, все запуталось! Мало сказать, запуталось — прахом пошло! И так всегда: только мелькнуло — исчезло. Вечно пребываешь в неизвестности. По мне, уж лучше бы они обручились, по крайней мере, все было бы ясно.

— Вот что я тебе на это скажу, — заметил Бигель, — когда мне случалось в детстве занозиться, я вытаскивал занозу сам, это не так больно.

— Ты прав! — ответил Поланецкий, но тут же прибавил: — Видишь ли, занозу можно вытащить, если только не глубоко задела и есть за что ухватить... Впрочем, к чему эти сравнения! С занозой человек ничего не теряет, а я лишуюсь видов на будущее.

— Это верно, но если нет другого выхода...

— Трудно с этим смириться, если только ты не последний туюфак.

Разговор прервался. Прощаясь, Поланецкий сказал:

— Знаешь, что? Наверно, я не буду у вас в воскресенье.

— И правильно сделаешь, — отвечал Бигель.

ГЛАВА XI

Дома ждал Поланецкого приятный сюрприз — телеграмма от пани Эмилии: «Приезжаем завтра утром. Литка здорова». На столь скорый приезд Поланецкий не рассчитывал, но так как о нездоровье Литки речи не было, он догадался: пани Эмилия спешит заняться его делами, и ощутил прилив благодарности к ней. «Вот добрая душа! — говорил он себе. — Вот истинный друг!» И вместе с благодарностью в сердце его закралась надежда, что Марыня будет принадлежать ему, словно пани Эмилия обладала каким-то чудодейственным талисманом или волшебной палочкой. Как это свершится, Поланецкий не представлял, но знал одно: теперь, по крайней мере, есть искренне расположенный к нему человек, который вступится, отзовется о нем с похвалой, рассеет предубеждения, накопившиеся по воле обстоятельств. Уж пани Эмилия проявит должную настойчивость — он полагал это даже ее долгом. Оказываясь в затруднении, мы часто склонны переложить долю ответственности на другого. Так и Поланецкому, особенно в минуты отчаяния, казалось, что пани Эмилия потворствовала его чувству к Марыне: не покажи она ему того письма об ответной готовности полюбить, он, может быть, и сумел вытравить ее образ из сердца и позабыть. Отчасти так оно и было, ибо письмо решительно повлияло на его отношение к Марыне. Он убедился, что счастье было близко, почти реально, что Марыня уже склонялась к взаимности. Расставаться с надеждой, когда она почти сбылась, особенно трудно, и Поланецкий, может быть, не жалел так о неудаче и легче с ней примирился, если б не это письмо. О том, что он сам просил его показать, Поланецкий уже забыл, и теперь, несмотря на всю дружескую признательность пани Эмилии, считал ее ни мало ни много как обязанной помочь. Впрочем, по его представлению, отчасти это должно произойти само собой, благодаря частым встречам с Марыней в благоприятной обстановке, в доме, где хозяйева любят его и ценят, а значит, и гости будут относиться не хуже. Все это вселяло в него новую надежду, которая еще сильнее приковывала его мысли к Марыне. И, решив перед тем не ехать к Бигелям, он теперь передумал: ведь если Литка здорова, пани Эмилия тоже непременно будет там. И независимо от своих чувств к Марыне, он от души радовался, что повидает обеих, особенно Литку, к которой успел крепко привязаться.

В тот же вечер короткой запиской он сообщил Плавицкому о приезде пани Эмилии, полагая, что Марыня будет ему благодар-

на за это посредничество, и дал знать на квартиру Хвастовских, чтобы приготовили чай. А сам нанял извозчика, доставить их с вокзала домой, и наутро уже в пять часов явился на вокзал.

Было свежо, и Поланецкий, чтобы согреться, быстрым шагом прохаживался по перрону в ожидании поезда. Дали, станционные постройки, вагоны на запасных путях окутывал туман — понизу густой, выше он редел и розовел, что предвещало погожий день. На перроне, кроме железнодорожных служащих и чиновников, в этот ранний час никого не было, но понемногу начала появляться и публика. И внезапно из тумана выступили две женские фигуры; в одной Поланецкий с бьющимся сердцем узнал Марыню — она пришла с горничной встретить пани Эмилию. Не ожидая ее увидеть, он в первую минуту растерялся. Она тоже остановилась, смущенная и удивленная. Но в следующее же мгновение он подошел, протягивая руку.

— Доброе утро! — сказал он. — Оно и правда обещает быть добрым к нам. Если, конечно, наши путешественники придут.

— Значит, это еще не наверняка? — спросила Марыня.

— Нет, отчего же? Разве что-нибудь непредвиденное случится. Вчера вечером я получил телеграмму и послал записку пану Плавицкому, думая обрадовать вас новостью.

— Спасибо. Такая приятная неожиданность!..

— То, что вы так рано встали, — лучшее тому свидетельство.

— Еще старая моя привычка.

— Но мы слишком уж рано пришли. Поезд прибывает только через полчаса. Мой совет — лучше погуляйте, не стойте на месте: утро прохладное; хотя день обещает быть хорошим.

— Да, туман рассеивается, — сказала Марыня, поднимая вверх голубые глаза, которые в утреннем свете показались Поланецкому фиолетовыми.

— Не хотите ли пройтись по перрону?

— Спасибо. Я лучше в зале посижу.

И, кивнув, ушла. Поланецкий снова стал быстрыми шагами ходить по перрону. Ему было немного досадно, что она не захотела остаться, но он подумал, что это, может быть, не принято. А мысль, как должен сблизить их приезд пани Эмили и сколько встреч сулит, еще больше его ободрила. И удивительный подъем и одушевление овладели им, нарастая с каждой минутой. Представляя себе фиолетовые очи Марыни, ее порозовевшие от утренней прохлады щеки и проходя мимо окон зала, где она сидела, он с веселым задором повторял про себя: «Что сидишь там, прячешься от меня, все равно тебя найду!»

И с небывалой силой ощутил, как мог бы полюбить ее, будь она к нему хоть чуточку снисходительней.

Между тем раздался звонок, и через несколько минут в тумане, который все еще стлался по земле, хотя вверху уже голубело небо, неясно проступили очертания поезда, все более четкие по

мере приближения. Замедляя ход, паровоз в клубах дыма подка-тил к перрону и остановился, с оглушительным шипением выпу-ская под передние колеса пар.

Поланецкий устремился к спальному вагону, и первое лицо, мелькнувшее в окне, было Литкино, которое прореяло при виде его, словно осветясь солнцем. Девочка радостно замахала ему ру-ками, и спустя мгновение Поланецкий был в вагоне.

— Котеночек мой дорогой! — вскричал он, сжимая Литкины руки в своих. — Выспалась? Здорова?

— Здорова! Вот мы и вернулись наконец! И будем теперь вместе! Доброе утро, пан Стах!

Рядом с девочкой стояла пани Эмилия; «пан Стах» и ей с чув-ством поцеловал руку.

— Доброе утро, дорогая пани! Извозчик ждет, — торопливо, как всегда при встрече, стал он объяснять. — Вы можете сразу же ехать, багаж получит мой человек, дайте только квитанцию. Дома вас ожидают с чаем. Пожалуйста, квитанцию. Панна Плавиц-кая тоже здесь.

Марыня стояла подле вагона, и обе, радостно улыбаясь, бро-сились пожимать друг дружке руки. Литка помедлила словно в нерешительности, но потом с обычной безоглядной искренностью кинулась ей на шею.

— Марыня, поедem к нам пить чай, — сказала пани Эми-лия. — Нас ждут дома, а ты, поди, и не завтракала? Поедем, а?

— Вы же устали: всю ночь в дороге.

— Мы от самой границы спали как убитые, только-только успели одеться и умыться. Все равно будем чай пить, так что ты нам ничуть не помешаешь.

— В таком случае с удовольствием.

— Мапочка, а пан Стах? — спросила Литка, дергая мать за платье.

— Ну конечно, и пан Стах. Он обо всем позаботился, все для нас приготовил, значит, и он должен поехать.

— Должен! Должен! — воскликнула, оборачиваясь к нему, Литка.

— Не должен, а хочет, — шутливо возразил он.

Вчетвером уселись они в пролетку. Поланецкий был в отмен-ном настроении — еще бы! Напротив сидит Марыня, рядом — Литка. На душе у него стало светло, как в этот утренний час, и проснулась уверенность, что отныне все пойдет хорошо. Во всяком случае, он принадлежит к тесному кружку людей, связанных об-щими интересами и взаимной симпатией, и к нему же будет при-надлежать Марыня. Вот и сейчас она близ него, а главное, их сближает общая приязнь к пани Эмилии и Литке.

Все четверо непринужденно болтали по дороге.

— Отчего вы, Эмилька, приехали раньше срока? — спросила Марыня.

— Литка все время просилась домой.

— Тебе не нравится за границей?

— Нет.

— По Варшаве соскучилась?

— Да.

— А по мне? Ну-ка, отвечай, не то плохо будет.

Обведя взглядом мать, Марыню, Поланецкого, Литка сказала наконец:

— И по вас, пан Стах, тоже соскучилась.

— Вот тебе за это, получай! — сказал Поланецкий и, схватив ее руку, хотел поцеловать, но она стала вырывать ее и в конце концов спрятала руки за спину. А он, поворачиваясь к Марыне, проговорил с улыбкой, показывая свои крепкие белые зубы: — Вот видите, вечно мы с ней воюем и, однако, любим друг друга.

— Так всегда обыкновенно и бывает, — отвечала Марыня.

— Эх, кабы всегда! — возразил он, глядя ей в глаза серьезно и прямо.

Марыня, покраснев слегка, приняла сосредоточенный вид и, не отвечая ничего, заговорила с пани Эмилией.

— А пан Васьковский? — обратился Поланецкий к Литке. — В Италию уехал?

— Нет, он в Ченстохове сошел и приедет послезавтра.

— Здоров он?

— Здоров, — ответила девочка и, взглянув на своего друга, сказала: — Пан Стах похудел, правда, мама?

— Вы и в самом деле неважно выглядите, — заметила пани Эмилия.

Поланецкий осунулся пемного — он плохо спал, и виновница его бессонницы сидела напротив в пролетке. Но он сослался на множество хлопот и дел. Тут они подъехали к дому.

Пани Эмилия пошла поздороваться с прислугой, Литка побежала следом, и Поланецкий с Марыней на короткое время остались одни в столовой.

— У вас, наверно, нет здесь никого ближе пани Эмилии? — спросил Поланецкий.

— Ни ближе, ни дороже.

— Трудно жить без душевного тепла... а она так добра, так отзывчива. У меня нет своей семьи, а у них я как в родном доме. И когда они здесь, Варшава кажется мне совсем другой, — сказал он, прибавив уже менее уверенно: — А на этот раз я радуюсь и за вас и хочу надеяться, что благодаря им мы ближе познакомимся... избежим новых недоразумений.

И с мольбой посмотрел на нее, словно желая сказать: «Я не могу так жить! Ну, протяни же руку в знак примирения, будь добрее со мной, хотя бы ради сегодняшнего дня».

Но именно потому, что безразлично относиться к нему она не могла, он вызывал у нее растущую неприязнь. И чем добросердечней и симпатичней он казался, тем невероятней и непростительней выглядел в ее глазах его поступок.

Деликатной и скорее робкой по натуре Марыне не хотелось омрачать этот день резким ответом, и она предпочла промолчать. Но он и не нуждался в словесной отповеди, прочтя во взгляде ее приблизительно следующее: «Чем меньше ты будешь стараться возобновить наши отношения, тем лучше, а еще лучше вообще держаться подальше друг от друга».

И радость его тотчас померкла, сменившись негодованием и печалью, которая была сильнее, потому что его неодолимо влекло к Марыне, хотя пропасть между ними — это было очевидно — увеличивалась с каждым днем.

И он только глядел на ее милое, доброе лицо, чувствуя: чем безвозвратней он ее теряет, тем дороже она ему становится.

Появление Литки положило конец этой невыразимо тягостной сцене. Оживленная, улыбающаяся, растрепанная, вбежала она в комнату, но, увидев их, остановилась, всмотрелась своими темными глазами сначала в него, потом в нее и, притихнув, села к чайному столу. И хотя Поланецкий скрепя сердце старался быть за завтраком оживленным и разговорчивым, ее тоже не удалось развеселить.

Обращаясь к Марыне он избегал, беседуя преимущественно с Литкой и пани Эмилией, и, странное дело, Марыню это уязвило. И к прежним обидам прибавилась еще одна.

Вечером другого дня пани Эмилия с Литкой были приглашены на чашку чая к Плавицким. Зван был и Поланецкий, но не пришел. И это — так уж устроен человек — в свой черед задело Марыню. Тот, кого ненавидишь, должен быть рядом, как и любимый. И Марыня невольно весь вечер посматривала на дверь, а когда стало ясно, что Поланецкий не придет, она, к удивлению пани Эмилии, начала кокетничать с Машко.

ГЛАВА XII

Машко был неглуп, но чрезвычайно высокого мнения о себе и потому принимал за чистую монету изъясняемое ему Марыней расположение. Да и не было особых оснований сомневаться. Нервность ее поведения он приписывал отчасти кокетству, отчасти настроению, и хотя такая переменчивость немного беспокоила его, но не настолько, чтобы удержаться от решительного шага.

Бигель был недалек от истины, говоря, что Машко влюблен. Так оно и было. Марыня и раньше нравилась ему, а точный подсчет всех плюсов и минусов окончательно убедил его, что плюсов больше. Конечно, большую цену для молодого адвоката представляло бы состояние, но трезвый взгляд на вещи и доскональное знание общества, в котором он вращался, подсказывали, что богатой невесты ему не найти — ее попросту не отдадут за него. По-настоящему богатые невесты принадлежали или к родовой аристократии, — а в столь высокие сферы он доступа не имел, —

или к финансовому миру, который, со своей стороны, желал вступить в родственные отношения с более или менее знатными фамилиями. И Машко прекрасно понимал: аляповатые портреты епископов и рыцарей — предмет насмешек Букацкого — не приблизят его к банкирским сейфам. И не будь даже предки плодом его фантазии, сама адвокатура послужила бы для финансовых тузов неким *deminutionem capitis*¹. Да и у него по известным национальным причинам брак такого рода вызывал несколько безразличное чувство, тогда как женитьба на девушке из хорошей дворянской семьи неизъяснимо прельщала, как всякого парвеню.

Приданого у Марыни, правда, нет или почти нет. Зато женитьба на ней освобождает от денежных обязательств, налагаемых покупкой Кшеменя. И потом, породнившись со старинным шляхетским семейством, можно заполучить дворянскую клиентуру, что уже само по себе немало. А там, благодаря связям Плавичких, к нему перешли бы дела двух-трех, а то и целого десятка по-настоящему состоятельных семей, на что давно уже были направлены его усилия.

У Плавичких, как у всех помещиков средней руки, были родственники, которых они чурались, но были и такие, которые чурались их самих, — не то чтобы из гордости; это получалось как-то само собой, в силу некоего закона социального отбора, сближающего людей более или менее одного общественного уровня. Однако важнейшие семейные торжества на время скрепляют ослабевшие семейные узы, и Машко не просто льстило, что на свадьбе его будут сливки общества, — он рассчитывал в будущем извлечь из этого выгоду для себя. Надо только ловко намекнуть им, как удобно и надежно для них поручить свои дела известному своей энергией адвокату, причем не постороннему, более того: родственнику. Дать им понять, что это доброхотное даяние с их стороны как бы на приданое бедной девушке. Приняв все это в соображение, Машко решил, что сумеет войти к ним в доверие, а со временем и прибрать к рукам. Сначала, по расчетам Машко, будут просто между прочим, в разговоре спрашивать совета как у знакомого или дальнего родственника, больше сведущего в юридических заках; если же советы окажутся дельными, станут обращаться все чаще и в конце концов во всем положатся на него. Таким образом, помогая им, он поможет себе. Расширит поле своей деятельности, очистит Кшемень от долгов и, нажив состояние, бросит наконец адвокатскую практику, которой занимался лишь поневоле, рассматривая ее как средство для достижения цели: занять высокое положение, подобающее человеку со средствами и крупному землевладельцу, представителю большой и сильной общественной партии. Прежде чем сделать предложение Марыне, он все предусмотрел, рассчитал и взвесил.

¹ понижающим обстоятельством (лат.).

Не предусмотрел только, что может влюбиться.

За это он порядком рассердился на себя, поскольку полагал, что светский человек, как и во всем, в любви должен быть умерен: одно из его стойких заблуждений. Принадлежи он к высшему обществу по рождению, а не старайся в него втереться, он не боялся бы любить, как диктует сердце. Несмотря на весь свой ум, он не понимал, что высшая привилегия этого почитаемого привилегированного общества есть свобода. И поэтому был не очень доволен собой, теряясь против обыкновения и млея в присутствии Марыни. Но вместе с тем цель, к которой он стремился, стала постепенно сливаться в его представлении со счастьем, которым наслаждался он до упоения.

Все это было ново для него, настолько, что даже слепило открывшимися перед ним горизонтами. Дожив до тридцати с лишним лет, Машко не знал, что такое увлечение, и лишь теперь понял, сколько в этом прелести и очарования. Случалось, Плавицкий принимал его у себя, и, если Марыня была в соседней комнате, он мыслями переносился к ней, с трудом понимая, о чем идет разговор. При ней же им овладевали, смягчая и облагораживая, неведомые ему дотоле умиление и нежность. Его голубые глаза утрачивали в такие минуты холодный, стальной блеск и глядели с кротким, восторженным выражением; красные пятна на щеках, придававшие ему некоторое сходство с Васковским, рдели еще ярче; вся важность соскакивала с него, и свои темные бакенбарды теребил он не как английский лорд, а как простой влюбленный смертный. О ее счастье думалось ему как о своем — потому, наверно, что добро рисовалось в его и только его, Машко, обличье: вот до каких высот он дошел.

Любовь его возросла настолько, что, отвергнутая, могла стать опасной, особенно при его безудержной, безоглядной решительности и отсутствии твердых нравственных правил. До той поры он не любил, и Марыня первая разбудила его сердце. Не красавица, она в высшей степени обладала тем, что называется очарованием женственности, — это и делало ее особенно привлекательной именно в глазах мужчин решительных, энергичных. Ее грациозная фигура приводила на память гибкое растение, и, хотя наружность не была чем-либо примечательна, приглядевшись, каждый, не обладая даже воображением, не мог не ощутить: есть в этом открытом лице, ясном взоре, немного чувственных губках нечто влекуще-незаурядное, достойное любви.

Но если Машко, сознавая это сам, становился лучше, то Марыня после переезда в Варшаву чувствовала себя душевно оскудевшей. Продажа Кшемения лишила ее привычных занятий и здоровой нравственной опоры. Исчезла цель, делающая жизнь осмысленной. И вдобавок горести и неприятности, выпавшие на ее долю и тоже не прошедшие бесследно. Марыня сама ощущала происшедшую в ней перемену и спустя несколько дней после того, как весь вечер напрасно прождала Поланецкого, первая заговорила

об этом, сидя в сумерках с пани Эмилней в примыкавшей к детской маленькой гостиной.

— Я вижу,— сказала она,— мы уже не так откровенны друг с другом. Хотелось бы поговорить с тобой по душам, но я не решаюсь: мне кажется, я недостойна твоей дружбы.

Пани Эмилия склонилась к Марыне и поцеловала ее в висок. Лицо ее светилось добротой.

— Ах, Марыня, Марыня! Всегда такая уверенная, благодушная, и вдруг такие речи?

— Да, в Кшемене я была, наверно, лучше. Ты не представляешь, как дорог мне был этот уголок. Все дни мои были заполнены, а главное, во мне жила какая-то безотчетная надежда, что впереди меня ждет счастье. А теперь ничего этого нет, в Варшаве я себя словно потеряла, хуже того, испортилась. Я видела, как ты удивлялась, что я кокетничаю с Машко. Не говори, будто не заметила. Думаешь, я сама знаю, зачем? Наверно, оттого, что испорченная или обозлилась на себя, на него, на весь мир. Я ведь не люблю его и никогда за него не выйду, значит, поступаю бесчестно и признаюсь в этом со стыдом; но иногда словно нарочно хочется кому-то досадить. Нет, я недостойна твоей дружбы, потому что совсем не такая, как была.

И по лицу ее заструились слезы. Пани Эмилия стала еще ласковей ее утешать.

— Пан Машко явно добивается твоей руки,— сказала она ей,— и мне казалось, что ты согласна. Признаться, меня это огорчило: Машко тебе не пара, но, зная, что такое Кшемень для тебя... Я подумала, ты не хочешь его лишиться.

— Да, сначала у меня была такая мысль... Я все пытаюсь себя убедить, что он нравится мне, не надо его отталкивать... Ради Кшеменя. И по другим причинам. Но не сумела... Не могу даже из-за Кшеменя платить такой дорогой ценой. Вот это-то и дурно! Зачем тогда кривить душой, обманывать пана Машко? Ведь это же просто нечестно!

— Водить его за нос, конечно, нехорошо, но, кажется, я догадываюсь, откуда это у тебя. Ты обижена и сердита на другого, правда ведь? Но ты успокойся, беда это поправимая, только завтра же переменись с Машко, чтобы он ни на что не рассчитывал... Смотри, Марыня: пока еще не поздно, пока ты не связана обещанием.

— Я сама знаю, Эмилька, и понимаю. С тобой я себя чувствую честной и порядочной — прежней; понимаю, что не только слова обязывают, но и поведение. И он вправе меня упрекнуть...

— А ты скажи, что хотела его полюбить, но не смогла. Все равно лучшего выхода нет...

Они помолчали. Но обе понимали, что весь разговор впереди, что они еще не коснулись главного, больше всего занимавшего их или, по крайней мере, пани Эмилию.

— Признайся, Марыня, — сказала она, беря ее за обе руки, — ты с ним кокетничала, чтобы досадить пану Станиславу?

— Да, — упавшим голосом ответила Марыня.

— Значит, его приезд в Кшменъ и ваши разговоры настолько тебе запомнились?

— Да, лучше было бы забыть.

Пани Эмилия погладила ее по темным волосам.

— Ты не представляешь, какой это добрый, порядочный и благородный человек. Он наш друг и всегда любил Литку, за что я ему бесконечно признательна. Но ты сама знаешь, что такое дружеские отношения, обычно от них ни тепло ни холодно. А он и в этом смысле — исключение. Ты не поверишь, до чего он мил и отзывчив был в Райхенгалле: когда Литка заболела, он вызвал к ней известного доктора из Мюнхена, а мне, чтобы не волновать, сказал, будто он приехал к другому больному и надо просто воспользоваться случаем. Это человек надежный, на него можно положиться, порядочный и притом сильный. Бывают люди интеллигентные, но слабохарактерные; у других характер есть, но нет чуткости, душевной тонкости. А он соединяет в себе и то, и другое. Да, я забыла: когда доверь взялся устроить наши дела, так как Литке грозила опасность вообще остаться без всего, ему помог в этом Поланецкий. Будь Литка постарше, я бы ей лучшего мужа не пожелала. Даже передать не могу, сколько он хорошего нам сделал.

— Если столько же, сколько мне — плохого, значит, много.

— Марыня, он же не со зла. Знала бы ты, как он казнит себя, как горько раскаивается.

— Он мне сам говорил, — отвечала Марыня. — Я, Эмилька, много об этом думала; сказать по правде, ни о чем другом и думать не могла и не считаю, что он передо мною виноват. В Кшмене он был со мной предупредителен, так предупредителен, что мне даже показалось... Одной тебе могу я признаться, — правда, я уже писала: после того воскресного вечера, что мы провели с ним, я заснуть не могла, все думала о нем, стыдно даже вспомнить теперь... Казалось, еще один день, еще приветливое слово, и я люблю на всю жизнь... И он меня — так мне казалось. А наутро он уехал, рассерженный... И из-за папы, и из-за меня, поэтому я его не осуждала: помнишь, что я тебе писала в Райхенгалль? Доверила я ему, как и ты... Так вот, он уехал... Сама не знаю почему, но я думала: приедет. Или напишет. А он не приехал и не написал. Внутренний голос шептал мне: Кшмена он не отнимет. Отнял... А потом... Я знаю, у Машко был с ним откровенный разговор, и он заверил его, что никаких таких видов не имеет... Ах, Эмилька, дорогая!.. Может, он и не виноват, но столько горя причинить. Из-за него я не только милого моему сердцу уголка лишилась, любимых занятий, я больше потеряла: веру в жизнь, в людей... в то, что добро и справедливость восторжествуют над злом и низостью. И сама стала хуже. Я себя не узнаю: правда, правда.

Имел он право поступить, как поступил со мной? Допустим. Я готова признать и его не виню. Только, видишь ли: из-за этого во мне что-то надломилось. И тут уж ничего не поделаешь, этого не поправить. Ну, правда же: разве мне легче оттого, что он потом одумался, жалеет о своем поступке, жениться даже готов? Как же легче, если я, уже почти полюбив, теперь не только его не люблю, но просто еле выношу. Он мне ненавистен, а это даже хуже полного безразличия... Я знаю, что ты задумала, но строить жизнь можно только на любви, а не на ненависти. Отдать ему руку, тая в душе такую муку и обиду, не в силах простить горя, которое он мне вольно или невольно причинил? Не думай, будто я не замечаю его достоинств, но чем они очевидней, тем мне неприятней, и я ничего не могу с собой поделать; приндись мне между ним и Машко выбирать, я предпочла бы Машко, пускай и без его достоинств. Против твоих похвал ему мне нечего возразить, но знай: я его не люблю и не люблю ни-когда...

Теперь слезы выступили уже на глазах у пани Эмилии.

— Бедный пан Стах! — сказала она, как бы думая вслух, и спросила, помолчав: — И тебе его ничуть не жалко?

— Жалко, когда вспомню, каким он был в Кшемене, жалко, когда его не вижу, но стоит увидеть — не жалко. Одна только неприязнь.

— Это потому, что ты не знаешь, какой он несчастный был в Райхенгалле. А сейчас ему еще хуже. Он ведь совсем одинок.

— А ты, твоя дружба? А Литка, которую он любит?..

— Это, Марыня, совсем не то! Я ему очень благодарна за его любовь к Литке, но ты сама понимаешь, это же другое, тебя он иначе любит, и во сто раз сильнее, чем Литку.

В комнате сделалось совсем темно; слуга внес зажженную лампу и, поставив на стол, вышел. При свете ее пани Эмилия заметила возле двери в детскую маленькую, съжившуюся на козетке фигурку в белом.

— Литка, ты?

— Я, мамочка.

В голосе ее пани Эмилии почудилось что-то необычное. Она встала и быстро подошла к девочке.

— Почему ты здесь? Что с тобой?

— Мне грустно и плохо.

Присев на козетку, мать притянула девочку к себе и заметила слезы у нее на глазах.

— Литуся, ты плачешь? Что с тобой?

— Мне грустно, очень грустно!

И, уткнувшись головой в материнское плечо, она заплакала. Ей было отчего грустить: она узнала, что «пан Стах» сейчас еще несчастней, чем в Райхенгалле, и что Марыню он любит в сто раз больше, чем ее.

В тот же вечер перед сном, уже в ночной рубашке, Литка, привстав на цыпочки, прошептала матери на ухо:

— Мамочка, у меня большой грех на совести...

— Какой же, бедненькая ты моя?

— Я не люблю Марыню... — прошептала она еще тише.

ГЛАВА XIII

Пани Эмилия с Литкой и Марыня с отцом отправились к Бигелям обедать на дачу, расположенную в лесу в двух с половиной часах езды от города. Был ясный сентябрьский день, в воздухе и на стерне поблескивали нити паутины. Листва была еще зеленая, лишь кое-где перелески пестрели будто желто-красными гроздьями и букетами. Эта бледно-золотистая осень напомнила Марыне сельские работы, запах ржи в закромах, усеянные скирдами поля, открытые взору просторы, окаймленные ольхами на горизонте. И ей жаль стало той покойно-размеренной жизни, в сравнении с которой вседневно бурлящая, но чуждая городская казалась суетной и ничтожной. Та, полная для нее смысла и значения, теперь, как подсказывало ей чувство, потеряна безвозвратно, и впереди нет ничего, что могло бы заменить или возместить эту потерю. Прежнее можно было обрести вновь, сделавшись женой Машко, но при одной мысли об этом ее брала тоска, и Машко со своим столичным гонором, своими бакепбардами и пятнами на щеках, строивший из себя лорда, становился ей противен. Никогда еще не испытывала она столь острой неприязни к Поланецкому, который лишил ее Кшеменя, вместо него подсунув Машко. Последнего она презирала, а того, казалось, ненавидела. Ей представилась жизнь с отцом среди городской суеты без цели, без дела, без идеала, только тоска о прошлом — и пустота, пустота в будущем. И от этого погожего осеннего денька вместо умиротворения повеяло на нее горькой печалью. Поездка вообще была невеселая. Литка сидела насупясь, потому что «пана Стаха» с ними не было. Пани Эмилия поглядывала на нее с тревогой, опасаясь, что угрюмость эта — признак нездоровья. Один только Плавицкий был в отменном расположении духа, особенно поначалу. В светлом пальто поверх наглухо застегнутого сюртука с красной гвоздикой в петлице, с торчащими пиками усами, он мнил себя неотразимым, ощущая прилив бодрости и сил, тем более что донимавший его время от времени ревматизм не беспокоил благодаря хорошей погоде. К тому же напротив сидела одна из красивейших женщин Варшавы, и он надеялся, что его неоспоримые мужские достоинства не оставят ее равнодушной, во всяком случае, будут отмечены и оценены. На худой конец пусть хотя бы подумает: «Ах, какой, наверно, был красавец!» За неимением лучшего пан Плавицкий удовольствовался бы и таким, сказанным в прошедшем времени комплиментом. И в надежде на это он был поисти-

не обворожителен: то отечески снисходителен, то игриво-шаловлив; нынешняя молодежь, по его понятиям, не умела ухаживать за дамами, и, любезничая с пани Эмилией, он ударялся даже в мифологию, что отчасти было и оправдано, ибо он пожирал ее взглядом, как сатир.

Но поскольку все это принималось лишь со слабой улыбкой и без должного внимания, он в конце концов омрачился и перешел на другое, в частности, на то, что благодаря знакомствам дочери сошелся с «буржуазией», чему отчасти и рад,— до сих пор ему доводилось видеть подобное общество только на сцене, а между тем надо и в жизни общаться с самыми разными людьми, это всегда поучительно. И в заключение прибавил, что люди известного круга должны не отталкивать, а привлекать к себе всех остальных, дабы внушать им правильные взгляды, и он не собирается отказываться от этой своей гражданской миссии. Тут его исполненное благородства лицо приняло меланхолическое выражение, и так они подъезжали к даче Бигелей.

Дача и еще два-три домика рядом стояли прямо в сосновом бору среди вековых сосен, местами вырубленных, а местами стоявших группами, иногда по несколько десятков. Они, казалось, дивились, откуда здесь, в былой глуши, этот дом, но гостеприимно заслоняли его от ветра, а в тихие дни овеивали целебным смолистым ароматом.

Бигели в окружении стайки детишек вышли навстречу гостям. Особенно сердечно пани Бигель поздоровалась с Марыней, которую искренне любила, а кроме того, надеялась: чем лучше будет Марыне в их обществе, тем скорее смягчится ее сердце для Поланецкого. Плавицкий, который познакомился с Бигелями у пани Эмилии в свой прошлый приезд и оставив у них тогда в виде ответного жеста лишь визитную карточку, теперь держался таким всемирнолюбивым вельможей, как и подобает благовоспитанному человеку, взявшему на себя к тому же миссию привлекать на свою сторону «буржуазию». Он поцеловал пани Бигель руку, сказав ее супругу добродушно-покровительственным тоном:

— По нынешним временам каждому лестно посетить дом такого человека, а мне особенно, поскольку мой племянник, занявшись коммерцией, стал вашим компаньоном.

— Поланецкий — дельный человек,— ответил Бигель просто, пожимающая протянутую ему руку в перчатке.

Дамы пошли в дом снять шляпы и, так как было совсем тепло, тотчас вернулись на веранду.

— Что, пана Поланецкого нет еще? — спросила пани Эмилия.

— Он здесь с самого утра,— отвечала пани Бигель,— а сейчас пошел навестить Краславскую. Это тут рядом,— объяснила она Марыне,— полуверсты не будет... Тут вокруг много дач, а эти дамы — наши ближайшие соседки.

— Я видела Терезу Краславскую на карнавале,— заметила Марыня. — Помнится, она всегда очень бледная была.

— Она и сейчас малокровьем страдает. Хотя и провела прошлую зиму в По.

Меньшие Бигели увлекли тем временем Литку, которую обожали, под сосны поиграть. Девочки стали ей показывать свои маленькие садики, разбитые на песке, в которых, собственно, всерьез ничего не росло. Осмотр то и дело прерывался поцелуями: девчурки, встав на цыпочки, чмокали Литку в щеку, а она, наклоняя русую головку, с нежностью целовала их в ответ.

Мальчики тоже не хотели отставать. Сначала вытоптали всю клумбу перед домом, выбирая для Литки георгины покрасивей, потом заспорили, какие она любит игры, и направились к пани Эмили за разрешением спора.

— Я знаю, больше всего она любит серсо,— закричал Эдик, имевший обыкновение говорить очень громко, закрывая при этом глаза,— но мы не знаем, можно ли ей...

— Можно, только бегать нельзя.

— Хорошо, тетя Эмилия! Мы будем так бросать, чтобы кольца прямо к ней летели. А Юзек, если не умеет, пусть не бросает.

— Нет, я тоже хочу! — заныл Юзек.

И при мысли, что может лишиться такого удовольствия, выгнул губы подковой, готовясь зареветь.

— Юзек, я сама буду бросать тебе серсо, часто-часто! — поспешила Литка предотвратить взрыв отчаяния.

И глаза Юзека, уже наполнившиеся слезами, мигом просохли и заулыбались.

— Не бойтесь, они ее не обидят,— успокаивал пани Эмилию Бигель. — Такие сорванцы, но удивительно, до чего с ней озоржны! Это Поланецкий им внушил заботиться о ней.

— На редкость славные дети! — сказала пани Эмилия.

Детвора сбилась в кучу, разбирая кольца и палки. Литка, самая старшая и самая высокая, стояла в середине, и, хотя детей Бигеля никак нельзя было назвать некрасивыми, она со своим нежным, одухотворенным личиком и до неправдоподобия тонкими чертами казалась в окружении их пухлых здоровых мордашек существом с другой планеты. Первой обратила на это внимание пани Бигель.

— Смотрите, прямо королева! Честное слово, не могу ею налюбоваться.

— И сколько благородства,— прибавил Бигель.

Пани Эмилия с бесконечной любовью смотрела на дочь. Дети разбежались, образовав большой круг и разноцветными пятнами заперев на блеклом фоне опавшей хвои, будто яркие грибочки, выросшие под соснами-исполинами.

Спустясь с веранды, Марыня встала рядом с Литкой последить, чтобы девочка не слишком утомилась, бегая за кольцами.

В это время на ведущей к даче широкой лесной дороге показался Поланецкий. Дети заметили его не сразу, он же, окинув

взглядом веранду, поляну перед домом и заметив светлое платье Марыни под соснами, ускорил шаг.

Не желая волновать мать, которая боялась каждого ее быстрого движения, Литка оставалась на месте, ловя только кольца, летевшие прямо на нее, а за остальными бегала Марыня. От беготни волосы у нее растрепались, она поминутно их поправляла и, когда Поланецкий входил в калитку, как раз стояла, подняв руки и откинувшись назад.

Поланецкий не мог оторвать от нее глаз, никого не видя, кроме нее; казавшаяся на просторной поляне чуть ниже ростом и моложе, она была так девственно прекрасна, словно самой природой создана для того, чтобы, заключив ее в объятия, прижать к груди как женщину и вместе самое дорогое на свете существо. Ни разу еще не ощущал он с такой силой, как страстно ее любит.

Увидев его, дети побросали кольца и палки и с визгом кинулись навстречу. Игра прекратилась. Литка тоже устремилась было за ними, но внезапно остановилась, переводя свои большие глаза с Поланецкого на Марыню и обратно.

— А ты не хочешь разве побежать навстречу пану Поланецкому? — спросила Марыня.

— Нет...

— Почему, Литуся?

— Потому что...

Бедная девочка слегка покраснела, но не смогла или не посмела сказать вслух, что думала: «Потому что он любит тебя больше, чем меня, и смотрит только на тебя».

Поланецкий шел, отбиваясь от детей и твердя:

— Отстаньте, сорванцы, не то всех сейчас на землю уложу!

И, приблизясь, протянул сначала руку Марыне — в его глазах читалась просьба улыбнуться ему приветливо, встретить хоть чуточку теплее; потом спросил у Литки:

— Ну что, котенок, здоров?

Увидев его и услышав, девочка позабыла о своем горе и потянулась к нему обеими руками.

— Здоров, здоров! Вы к нам не пришли вчера, пан Стах, и было очень скучно, идите за это к маме на расправу.

Спустя минуту все были на веранде.

— Ну, что Краславские? — спросила пани Эмилия.

— Здоровы, собираются зайти после обеда, — ответил Поланецкий.

К самому обеду приехал Васковский с Букацким, который вернулся в Варшаву накануне. Коротко знакомый с Бигелями, он мог позволить себе явиться без приглашения, к тому же слишком большим искушением было и присутствие пани Эмилии. Впрочем, поздоровался он с ней в обычной своей шутливой манере, безо всяких сантиментов. Она обрадовалась ему: он развлекал ее своими экстравагантными суждениями.

— Вы, кажется, собирались в Мюнхен, а потом в Италию? — спросила она Букацкого, когда все сели за стол.

— Да, — отвечал он, — но я забыл разрезательный нож и вернулся за ним с дороги.

— О, это, конечно, уважительная причина!

— Ну да, всегда все объясняют важными причинами, терпеть этого не могу. И почему это надо важным причинам оказывать предпочтение перед неважными? Впрочем, вчера я по чистой случайности сделал действительно важное дело: последний долг отдал своему другу. Был на похоронах Лисовича.

— Это маленький такой, худощавый спортсмен? — спросил Бигель.

— Да, — сказал Букацкий. — И никак не могу прийти в себя от удивления: он, всю жизнь занимавшийся этой чепухой, вдруг отважился на такой серьезный поступок, как смерть. Просто не узнаю Лисовича! Неожиданности на каждом шагу.

— Кстати, — сказал Поланецкий, — от Краславских я слышал, будто Плошовский, кумир всех варшавянок, застрелился в Риме.

— Он мне родня, — заметил Плавицкий.

Больше всего взволновало это известие пани Эмилию. Самого Плошовского она не знала, но видела несколько раз его тетку, — старший брат ее мужа, прожив свое состояние, служил у нее управляющим. И ей известно было, как Плошовская привязана к племяннику.

— Господи, какое несчастье! — ахнула она. — Неужели правда? Такой молодой, богатый и одаренный человек... Бедная тетушка Плошовская!

— И такое огромное состояние без наследника! — добавил Бигель. — Имение их здесь, под Варшавой, так что кое-что я о них знаю. У Плошовской не было никого, кроме одной дальней родственницы, Кромичкой, и племянника Леона. И вот обоих нет больше в живых.

Теперь взволновался Плавицкий. Он и впрямь приходился Плошовской дальней родней и даже видел ее раза два-три, хотя вспоминал об этих встречах с содроганием, ибо она неизменно резала ему всю правду в глаза — проще говоря, ругала напропалую. И он впоследствии всячески избегал ее, и они не поддерживали отношений, что не мешало ему в светской беседе вернуть словечко о знатной, богатой родне. Плавицкий принадлежал к категории людей, весьма у нас многочисленной, которые убеждены, что сам господь бог придумал для них этот легкий способ разбогатеть: получить наследство, и едва забрезжит хоть малейшая надежда, они уже принимают ее за очевидность.

— А может, небо рассудило, что другие руки сумеют лучше распорядиться этим состоянием, — сказал он, торжествующим взглядом обведя присутствующих.

— Мы встретились как-то с Плошовским за границей,— заметил Поланецкий,— он показался мне человеком незаурядным. Помню его очень хорошо.

— Говорят, прекрасный и милейший был человек,— отозвалась пани Бигель.

— Да простит ему бог,— сказал Васковский. — Я тоже его знал: это был истинный ария!

— Озория,— поправил Плавицкий.

— Ария,— настаивал Васковский.

— Озория... — подчеркнул Плавицкий с достоинством.

И оба старика на потеху Букацкому уставились друг на друга, недоумевая, о чем, собственно, спорят.

— Ну так как же: ария или Озория? — спросил Букацкий, вставляя монокль.

Конец недоразумению положил Поланецкий, объяснив, что Озория — название герба Плошовских, а следовательно, можно одновременно быть арией и Озорией, с чем Плавицкий не очень согласился, заметив вскользь, что честное имя носить не стыдно и незачем переименовывать его.

— Я приемлю только один род самоубийства,— обычным своим безразличным тоном сказал Букацкий, обращаясь к пани Эмилии,— самоубийство из-за несчастной любви. почему и пытаюсь вот уже несколько лет решиться на это, но пока не могу.

— Говорят, самоубийство — признак трусости,— заметила Марыня.

— Выходит, я не лишаю себя жизни от избытка храбрости.

— Давайте лучше о жизни, а не о смерти поговорим,— предложил Бигель,— и о том, что в жизни всего важнее,— о здоровье. За здоровье пани Эмилии!

— И Литки! — прибавил Поланецкий и, обратясь к Марыне: — За здоровье наших общих друзей!

— С удовольствием! — ответила Марыня.

— Видите ли,— продолжал он, понижая голос,— я их не только друзьями считаю, но... как бы это лучше выразиться?.. Заступницами своим. Литка, она, конечно, еще дитя, но пани Эмилия не будет приближать к себе недостойных, и если кто-то предубежден против меня, пускай даже справедливо,— если я поступил не так или просто нехорошо и этот «кто-то» видит, как я мучаюсь этим, ему не может не прийти в голову: раз пани Эмилия искренне расположена ко мне, значит, не такой уж я плохой человек.

Марыня смешалась, ей стало жаль его, а он докончил еще тише:

— А я и правда мучаюсь! Меня все это очень тяготит!

Но прежде чем она успела ответить, Плавицкий провозгласил тост за здоровье пани Бигель, произнеся по этому поводу целую речь, смысл которой сводился к следующему: женщи-

на — венец творения и перед ней все должны склонять голову, как перед королевой, и сам он всегда склонял и склоняет голову перед женщинами вообще, а перед пани Бигель сейчас в особенности.

Поланецкий от души пожелал ему провалиться. Такой удобный момент — он чувствовал, Марыня уже готова была сменить гнев на милость, — и вот упущен. Марыня, подойдя к пани Бигель, обняла ее, а вернувшись на свое место, не поддержала начатого разговора. Прямо же переспросить Поланецкий не решился.

Сразу после обеда прибыли Краславские: мать, женщина лет пятидесяти, живая, самоуверенная и очень разговорчивая, и дочь — в противоположность ей чопорная, холодная и сухая, которая вместо «так» говорила «тэк», впрочем, с довольно красивым, хотя и бледным лицом, напоминающим гольбейновских мадонн.

Поланецкий начал развлекать ее со злости, нет-нет, да и поглядывая на Марыню, на ее свежее румяное личико и голубые глаза, и твердя про себя: «Хоть бы словечко доброе сказала! Ох ты... ох ты, бессердечная!»

Так злился, распалялся он все больше и, когда девушка вместо «мама» проронила «меме», переспросил довольно нелюбезно:

— Кто?

А «меме» вываливала меж тем запас новостей, вернее, домыслов о самоубийстве Плошовского.

— Вообразите, господи, — с жаром тараторила она, — он из-за Кромницкой застрелился; я сразу подумала. Вот уж кокетка была, упокой господи ее душу, — никогда я ее не любила. Вовсю с ним кокетничала, я даже избегала бывать с Терезой там, где они могли повстречаться, — дурной ведь пример для молодой девушки. Упокой господи душу ее... Тереза ее тоже недолюбливала.

— Ах, пани, но я слышала, это был сущий ангел! — воскликнула пани Эмилия.

А Букацкий, никогда в жизни не видевший Кромницкую, подтвердил флегматично:

— Madame, это архангел был, *je vous donne ma parole d'honneur*¹.

Краславская смолкла на минуту, не найдя, что ответить, и, осердясь в душе, чуть было не отплатила колкостью; остановило ее то обстоятельство, что Букацкий, человек состоятельный, — хорошая партия для Терезы. Поланецкий пользовался ее благосклонностью по тем же соображениям, — из-за них решила она поддерживать этим летом знакомство с Бигелями, что, впрочем, не мешало ей не узнавать их на улице.

¹ Мадам... даю вам честное слово (*фр.*).

— Для вас, мужчин,— заявила она,— каждая красивая женщина — ангел или архангел. А я вот не люблю, даже когда мне про Терезу так говорят. А Кромичка, может, и добрая была, но бестактная, это уж верно!

На этом разговор о Плошовском прекратился, тем более что Краславскую отвлекал Поланецкий, который любезничал с Терезой. Любезничал он отчасти со злости на себя, отчасти назло Марыне, стараясь внушить себе, что ему с Терезой хорошо и она не лишена даже известной привлекательности, но нашел, что шея у нее тонка и глаза маленькие и тусклые, которые как-то вдруг, ни с того ни с сего оживляются и вопросительно смотрят на него. Отметил он про себя также, что она — тихий деспот: стоило матери заговорить громче, она подносила к глазам лорнет, пристально смотрела на нее, пока та под действием этого магнетического взгляда не понижала голоса или вовсе не умолкала. В общем она порядком ему надоела, и он продолжал оказывать ей внимание единственно от отчаяния, силясь вызвать хоть некое подобие ревности у Марыни. Неудачи в любви даже умных людей вынуждают порой прибегать к самым неумным приемам. Ибо результат получается обратный: с одной стороны, чувство разгорается лишь у того, кто к ним прибегает; с другой — они плодят новые недоразумения, не облегчая, а усложняя сближение. Дошло до того, что истосковавшийся по Марыне Поланецкий готов был уже любую ее резкость снести, лишь бы подойти и поговорить, но сделать это казалось еще трудней, чем час назад.

И он вздохнул с облегчением, когда наступил вечер и гости собрались уходить. Однако перед тем Литка шепнула что-то матери, обняв ее за шею, и та, кивнув, сказала Поланецкому:

— Пан Станислав, если вы не думаете здесь заночевать, поедьте с нами. Литка сидит между мной и Марыней, так что места хватит.

— Благодарю. Это очень кстати, так как остаться я не могу,— сказал Поланецкий и, догадавшись, кому принадлежала эта идея, обернулся к Литке: — Ах ты, котенок мой дорогой...

А та, прижимаясь к матери и подняв на него глаза, печальные и вместе счастливые, спросила тихо:

— Вы рады, пан Стах?

Через несколько минут они отправились в путь. Чудесный день сменился чудесной ночью, немного прохладной, но ясной, озаренной серебристым лунным сиянием. После тягостного и пустого для него времяпрепровождения Поланецкий наконец почувствовал себя свободным и почти счастливым: два дорогих, близких ему существа сидели напротив и одно — бесконечно любимое. Лицо Марыни в лунном свете казалось исполненным кротости и покоя. И Поланецкому подумалось, что и чувства ее должны быть сейчас такими же мягкими и умиротворенными —

и, может быть, неприязнь к нему растаяла в этом разлитом вокруг безмятежном спокойствии.

Литка уселась поглубже и, казалось, задремала. Поланецкий прикрыл ей ноги шалью пани Эмилии, и некоторое время они ехали молча.

Затем пани Эмилия заговорила о Плошовском, — ее потрясло известие о его смерти.

— За всем этим, несомненно, таится драма, — сказал Поланецкий, — и пани Краславская, наверно, отчасти права, утверждая, что между двумя этими смертями есть какая-то связь.

— Ужасно, что, осуждая самоубийство, а его должно осуждать, мы как бы заодно отказываемся сочувствовать несчастью.

— Сочувствовать надо тем, кто способен чувствовать, то есть живым, — отозвался Поланецкий.

Разговор прекратился, и снова несколько минут прошло в молчании. Когда проезжали мимо стоящего в глубине парка дома с освещенными окнами, Поланецкий указал на него:

— Вилла Краславских.

— Не могу ей простить, как она отзывалась об этой несчастной Кромницкой, — заметила пани Эмилия.

— А она очень жестокой может быть, — сказал Поланецкий. — И знаете, почему? Из-за дочки. Окружающий мир для нее — только фон, и чем он черней, тем ярче на нем выделяется ее Тереза. Мамаша, может статься, имела свои виды на Плошовского, а Кромницкую считала помехой, вот и возненавидела ее.

— Тереза — красивая девушка, — заметила Марыня.

— Для некоторых, кроме светских отношений, существуют еще другие, более глубокие; а для Терезы этими светскими все начинается и кончается. Она — сущий автомат, и сердце у нее начинает биться, лишь когда мать заведет его ключиком. Впрочем, таких много, и даже те, кто производят лучшее впечатление, на деле ничем от них не отличаются. Вечная история Галатей... И представьте, в куклу эту, в погашенную эту свечку, без памяти влюбился несколько лет назад один мой знакомый, молодой врач. Дважды он делал ей предложение и дважды получал отказ, как видно, мама с дочкой метили выше. Тогда он завербовался на службу в голландские колонии — и умер, наверно, там от лихорадки, потому что поначалу часто писал мне, справляясь о своем автомате, а потом письма перестали приходить.

— А она об этом знает?

— Знает, я, встречаясь с ней, всегда о нем поминаю. И, что самое удивительное, такое упоминание ни на минуту не смущает ее покоя. Она о нем говорит, как о любом другом знакомом. И если бедняга надеялся смертью своей пробудить у нее жалость, он глубоко заблуждался... Я покажу вам как-нибудь одно его письмо. Я попытался сткрыть ему глаза на предмет его страсти, а он ответил: «Я ее не идеализую, но ничего не

могу с собой поделаться...» А, между прочим, скептиком был, позитивистом, одним словом, сыном своего века... Но что любви разные там философские школы и веяния. Все проходит, а она была, есть и будет... Он как-то сказал мне: «Я предпочел бы быть несчастным с ней, чем счастливым с другой...» Да что тут толковать! Самый что ни на есть трезвый ум не может с сердцем совладать, и дело с концом!

Опять наступило молчание. Они ехали по обсаженной каштанами дороге, и мелькающие стволы в свете каретных фонарей казались розоватыми.

— Несчастен — значит, терпи! — как бы подытожил Поланецкий вслух свои мысли.

Пани Эмилия склонилась над Литкой.

— Ты спишь, деточка? — спросила она.

— Нет, мамочка, — отвечала девочка.

ГЛАВА XIV

— Никогда я не стремился разбогатеть, но если providению угодно отдать нам хотя бы часть этого огромного состояния, я противиться его неисповедимой воле не стану... — сказал Плавицкий. — Мне-то оно ни к чему, мне, кроме четырех досок да тихих дочерних слез, скоро уже ничего не нужно будет; но тут речь о Марыне, ради которой я жил.

— Хочу обратить ваше внимание, — заметил Машко хладнокровно, — что, во-первых, шансов очень мало...

— Но почему же не принять их в расчет?..

— Во-вторых, Плошовская еще жива...

— По из старушки песок уже сыплется... Ей сто лет в обед!

— В-третьих, она может завещать состояние на благотворительные цели...

— Но разве нельзя этому как-нибудь воспрепятствовать?

— В-четвертых, вы приходите к ней очень дальней родней. Этак всех можно в Польше за родственников считать.

— Но более близких у нее же нет.

— А Поланецкий тоже ведь ваш родственник?

— Ничего подобного! Моя первая жена была в родстве с ним, а не я.

— А Букацкий?

— Да что вы! Букацкий — двоюродный брат жены моего шурина.

— А другой родни у вас нет?

— Гонтовские из Ялбжикова считают, что мы в родстве. Но знаете ведь, как оно бывает... Каждый говорит о себе то, что ему лестно... Так что оставим Гонтовского.

Машко нарочно разрисовывал сначала трудности, прежде чем подать какую-то надежду.

— У нас все охочи до наследства и, едва где что объявится, слетаются со всех сторон, как воробьи на пшеницу... Так что все зависит от того, кто раньше заявит свои права, чем их подкрепит и, наконец, кто будет их защищать. Не забывайте: опытный, предприимчивый адвокат и самую малость может обратить на пользу дела, а неопытный и пассивный при обилии доказательств ничего не добьется.

— Это я сам знаю. У меня всегда дел было — вот...

И он провел по горлу.

— Вдобавок легко стать игрушкой в чьих-нибудь руках, жулик может ободрать вас как липку, — прибавил Машко.

— Я надеюсь, вы не откажете нам в дружеской услуге в случае надобности.

— Можете не сомневаться, — изрек Машко с важностью, — к вам и панне Марыне я питаю истинно родственные чувства.

— Благодарю вас от имени сироты, — ответил Плавицкий. Волнение помешало ему продолжить.

— Если хотите, чтобы я защищал ваши интересы в этом деле, — Машко принял серьезный вид, — в деле, которое, как я вас предупредил, может кончиться ничем, дайте мне полномочия, и в этом деле, и в остальных... Вы догадываетесь, уважаемый пан Плавицкий, что я имею в виду. — И молодой человек взял Плавицкого за локоть. — Так сделайте одолжение, выслушайте меня внимательно.

Он понизил голос и, хотя в комнате никого не было, заговорил совсем доверительно. Доверительно, но вместе с тем с достоинством и сдержанностью, подобающей человеку, который знает себе цену.

Плавицкий то закрывал глаза, то пожимал Машко руку и под конец сказал:

— Прошу в гостиную, я пришлю туда Марыню. Что уж она скажет, не знаю, но все в божьей воле. Я всегда вас ценил, а сейчас ценю еще больше... И — вот вам мой ответ! .

Он широко раскрыл объятия, а Машко склонился к нему, повторяя не без волнения, но со значительностью:

— Благодарю вас, благодарю!

В следующую минуту он уже был в гостиной.

Марыня вышла к нему с лицом очень бледным, но спокойным. Машко подвинул ей стул и сел сам.

— Я здесь с ведома и разрешения вашего отца, — заговорил он. — И в том, что я сейчас скажу, не будет для вас ничего неожиданного. Молчание мое говорило о том же — и вы догадывались, что оно значит. Но настало время словами выразить мои чувства, и я делаю это, обращаясь к вашему сердцу и вашему разуму. Я вас люблю и готов быть опорой в вашей жизни, а вам вверяю свою и от души прошу стать моей спутницей до конца дней.

Марыня помолчала, как бы подыскивая слова.

— Я должна сказать вам прямо и честно, хотя признание это нелегко, очень нелегко; но не хочу вводить в заблуждение такого человека, как вы: я не любила вас, не люблю и никогда за вас не пойду, даже если мне вообще не суждено будет выйти замуж.

Воцарилось долгое молчание. Красные пятна на лице Машко зардели еще ярче, глаза засветились холодным, стальным блеском.

— Ответ ваш столь же решителен, сколь неожидан и прискорбен для меня. Но, может быть, прежде чем давать такой решительный отказ, вы подумали бы несколько дней.

— Вы только что сами сказали, что я догадывалась о вашем чувстве, стало быть, у меня было время разобраться в себе, и ответ мой обдуман.

— Надеюсь, вы не станете отрицать, что ваше обращение со мной давало повод заговорить с вами об этом? — спросил Машко сухо и резко.

Он был убежден: Марыня станет оправдываться, говоря, что он неправильно истолковал ее поведение, что в нем не было ничего, подающего какую-либо надежду, словом, будет увиливать, как обычно кокетки, вынужденные искупать кокетство ложью. Но она, подняв на него глаза, сказала:

— Не отпираюсь, я не всегда держала себя с вами, как должно; я виновата и очень прошу меня простить.

Машко молчал. Женщина, которая изворачивается и хитрит, вызывает презрение; женщина, которая признается в своей вине, обезоруживает противника, если у того есть хоть капля благородства, прирожденного или привитого воспитанием. В таких случаях последний и единственный шанс тронуть женское сердце — великодушно простить. И Машко, хотя перед ним разверзлась пропасть, понял это и решил все поставить на карту.

От возмущения и уязвленного самолюбия он весь дрожал, но, овладев собой, взял шляпу и, подойдя к Марыне, поднес ее руку к губам.

— Я знал, как дорог вам Кшемень, — сказал он, — и купил его лишь затем, чтобы положить к вашим ногам. Теперь я понял, что избрал неверный путь, и с безграничным сожалением отступаю. Прощения просить должен я, а не вы. Вы ни в чем не виноваты. Ваш покой дороже мне собственного счастья, и я прошу как о единственном одолжении: не упрекайте себя ни в чем. А теперь прощайте!

И ушел.

Бледная и подавленная, Марыня долго сидела неподвижно. Такого благородства она от него не ожидала. И в голове у нее пронеслось: «Тот из своекорыстных побуждений отнял у меня Кшемень, а этот купил, чтобы мне вернуть!» И Поланецкий окончательно пал в ее глазах. В эту минуту она совсем забыла, что Машко купил Кшемень не у Поланецкого, а у ее отца, и

купил на выгодных условиях; вернуть же хотя и собирался, но с тем, чтобы одновременно завладеть ее рукой, избавляясь заодно от обременительной платы за него; и, наконец, Кшеменя, собственно, никто не отнимал: просто отец продал его по доброй воле, так как нашелся покупатель. Но в те минуты она не рассуждала, а противопоставляла Машко и Поланецкого, чисто по-женски превознося первого и незаслуженно принижая второго. Поступок Машко так ее растрогал, что, если б не отвращение к нему, она вернула бы его обратно. И в какой-то момент даже сказала себе, что обязана это сделать, но сил не достало.

А Машко, спускаясь по лестнице,— она не могла этого знать,— был вне себя от бешенства и отчаяния. Перед ним действительно разверзлась пропасть.

Его расчеты не оправдались; женщина, которую он полюбил по-настоящему, не отвечала ему взаимностью и отвергла его, и, хотя на словах старалась щадить его самолюбие, он был оскорблен, как никогда. До сих пор, предпринимая что-либо, Машко полагался только на свой ум и силы и всегда был уверен в успехе. Отказ Марыни поколебал эту уверенность. Впервые усомнился он в себе, впервые почувствовал, что звезда его может закатиться и его постигнет поражение на том поприще, на котором пока сопутствовала удача. Больше того: казалось, это уж случилось. Кшемень Машко купил очень выгодно, но такое большое имение было ему не по карману. Не откажи ему Марыня, он бы вышел из положения,— не пришлось бы тогда заботиться о пожизненной ренте Плавцкому и платеже за Магерувку, как это предусматривалось контрактом. Теперь же, кроме этих денег, придется, и безотлагательно, платить тяготеющие на имении долги, так как они растут с каждым днем из-за огромных процентов, грозя ему полным разорением. А он располагает лишь кредитом, еще не подорванным, правда, но держащимся буквально на нитке; и если ниточка эта лопнет, он погиб окончательно и бесповоротно.

Поэтому при мысли о Марыне, кроме горечи утраты и боли об утраченном счастье, Машко испытывал временами и приступы безграничного, почти безумного гнева и непреодолимую жажду мести. Человек с сильным характером, он никому не спускал обиды. И, входя к себе, цедил сквозь стиснутые зубы: «Не согласишься быть моей женой, я тебе этого не прощу, согласишься — все равно не прощу».

Меж тем к Марыне поспешил Плавцкий.

— Ты отказала ему, иначе он зашел бы ко мне перед уходом.

— Да, папа.

— И никакой надежды не подала?

— Нет... Я его уважаю бесконечно, но этого не могу.

— А он что тебе сказал?

— Все, что мог сказать такой благородный человек, как он.

— Новое несчастье,— промолвил Плавидский,— кто знает, не лишила ли ты меня куска хлеба на старости лет... Но я знал наперед: с этим ты считаться не станешь.

— Я не могла, не могла иначе.

— Не хочу тебя неволить. Пойду искать утешения там, где старики-соседи встречают сочувствие.

И пошел к Lours'у смотреть на игру в бильярд. На Машко он готов был согласиться, но блестящей партией его в общем не считал, полагая, что Марыне может представиться лучшая, и не слишком горевал о случившемся.

Спустя полчаса Марыня уже входила к пани Эмилии.

— Ну вот, камнем меньше на душе,— в дверях сказала она,— я нынче решительно отказала Машко.

Пани Эмилия молча ее обняла.

— Мне жаль его,— продолжала Марыня. — Он так благородно и деликатно поступил со мной; впрочем, много от него и нельзя ожидать, и любил я его чуточку, хоть сейчас дала бы свое согласие.

И она пересказала пани Эмилии разговор с ним. Действительно, трудно было его за что-либо упрекнуть, и пани Эмилия была даже несколько удивлена: Машко, по ее мнению, был по натуре груб, и она не предполагала, что в столь трудную для него минуту он поведет себя так достойно и благородно.

— Дорогая Эмилька,— сказала Марыня,— твои дружеские чувства к пану Поланецкому мне известны, но если судить этих двух людей по делам их, а не словам, сразу станет ясна вся разница. Сравни.

— Никогда я не стану сравнивать,— отвечала пани Эмилия. — Сравнения здесь просто неуместны. Пан Станислав, на мой взгляд, на целую голову выше Машко, а ты судишь предвзято. По какому ты праву говоришь: «Один отнял Кшемень, другой хотел вернуть». Это же не так. Поланецкий его не отнимал, а сейчас, будь это в его власти, отдал бы тебе с радостью. В тебе, Марыня, говорит предубеждение.

— Не предубеждение, а факты, с которыми нельзя не считаться.

— Ну, конечно, предубеждение,— повторила пани Эмилия, усадив ее рядом с собой. — И скажу, чем оно вызвано: он до сих пор тебе безразличен.

Марыня вздрогнула, как от прикосновения к открытой ране.

— Пан Поланецкий мне безразличен... Ты права... — помолчав, ответила она изменившимся голосом. — Но мое расположение обратилось в неприязнь, и знаешь, что, Эмилька: случись мне между ними выбирать, я, не колеблясь, предпочла бы Машко.

Пани Эмилия опустила голову, и Марыня обвила руками ее шею.

— Мне так неприятно огорчать тебя, но не умею я кривить душой. Сдается мне, что и ты меня разлюбишь, и останусь я на свете одна-одинешенька.

И она была не так далека от истины. Несмотря на объятия и поцелуи при расставании, обе молодые женщины почувствовали, будто меж ними и правда пробежала какая-то тень, охладив прежде столь сердечные отношения.

Пани Эмилия несколько дней колебалась, передавать ли Марынины слова Поланецкому, но он так горячо просил не скрывать от него ничего, что она подумала: может, и лучше сказать ему все как есть.

— Спасибо,— поблагодарил он, выслушав ее. — Если панна Плавицкая меня презирает, мне ничего не остается, как смириться с этим, но сам себя презирать я не согласен. Я и так зашел слишком далеко. Вы, дорогая пани, знаете, что если я и провинился перед ней, то старался загладить свою вину и заслужить прощение. Остальное не в моей власти. Не скрою, мне тяжело, но размазней я никогда не был и не буду и сумею побороть свое чувство к панне Плавицкой, выброшу его в окошко, как ненужный хлам. Клятвенно вам это обещаю!

— Я вам верю, но скольких это стоит мучений.

— Ничего! — отвечал он почти весело. — Будет невтерпеж, попрошу вас рану перевязать — и знаю наперед: от одного прикосновения ваших добрых рук станет легче. Литуся вам поможет, и я даже не пикну.

Вернувшись после этого домой, он почувствовал прилив сил и энергии. Ему казалось, он сумеет обуздать свое чувство, переломить, как ломают палку о колено. И на несколько дней этого подъема хватило. Он нигде не появлялся, кроме конторы, где разговаривал с Бигелем только о делах, работая все дни напролет и не позволяя себе даже думать о Марыне.

Но не мог отогнать этих дум в бессонные ночи. И тогда со всей ясностью сознавал, что Марыня могла бы его полюбить, и выйти за него, и что лучшей жены не найти, — с ней он был бы счастлив, как ни с какой другой, и любил, как никого на свете.

От размышлений этих копилась печаль, она заполонила его существование и не покидала, точа, разъедаая душу и тело, как ржавчина железо. И Поланецкий стал чахнуть.

Ломка чувства, как он убедился, влечет за собой и неизбежную ломку счастья. Никогда еще не ощущал он такой пустоты в себе и впереди себя и не понимал так ясно, что восполнить ее нечем. Понял он также, что можно любить женщину и не такой, какая она есть, а такой, какой бы могла быть. И то-сковал безмерно.

Но не терял власти над собой и избегал встреч с Марыней.

Зная заранее, в какие дни она бывает у пани Эмилии, он там не показывался.

Лишь когда Литка заболела, стал ежедневно бывать у пани Эмилии, проводя там целые дни и часами просиживая у постели больной вместе с Марыней.

ГЛАВА XV

Бедная девочка никак не могла оправиться после нового, небывало сильного сердечного приступа. Дни она проводила в гостиной на шезлонге: уступая ее просьбам, доктор и пани Эмилия разрешили ей подыматься на время с постели. Она любила, когда Поланецкий оставался подле нее, и болтала, о чем придется, с ним и матерью. С Марыней же, напротив, бывала молчалива, иногда подолгу всматриваясь в нее и подымая глаза к потолку, словно обдумывая что-то и стараясь понять, разобраться в себе. Случалось, и наедине с матерью впадала она в задумчивость, и как-то раз позвала, словно очнувшись ото сна:

— Мамочка, сядь, пожалуйста, поближе, вот сюда.

Пани Эмилия села; девочка обняла ее, склонив головку ей на плечо.

— Мамочка,— промолвила она нежным, ослабевшим от болезни голосом,— я хотела тебя о чем-то спросить, только не знаю, как это лучше сказать.

— О чем же, детка?

Литка помолчала, словно собираясь с мыслями, потом спросила:

— Мамочка, а если любишь кого-нибудь, что тогда?

— Если любишь, Литуся? — повторила вопрос пани Эмилия, не сразу поняв, что имеет в виду девочка.

Но та не умела выразиться ясней.

— Что тогда, мамочка?..

— Тогда хочется, чтобы любимый был здоров, вот как я тебе желаю здоровья.

— А еще?

— Чтобы он счастлив был и ему хорошо жилось на свете, а приключится с ним беда, хочется избавить его от страданий.

— А еще что?

— Чтобы всегда рядом был, как ты со мной, и любил, вот как ты меня любишь.

— Теперь я поняла,— сказала Литка задумчиво. — Я и сама так думала.

— Значит, верно думал, мой котик.

— Знаешь, мамочка, еще в Райхенгалле — помнишь, на Тумзее — я слыхала, что пан Стах любит Марыню. И теперь поняла: он, должно быть, очень несчастный, хотя ничего не говорит.

— Ты, котик, не устал? — спросила пани Эмилия, опасаясь, как бы девочка не разволновалась от этого разговора.

— Нет, нисколько! Я теперь поняла: он хотел, чтобы она его полюбила, а она его не любит, и еще ему хотелось всегда быть с ней, а она живет с отцом и не хочет на нем жениться.

— Выйти замуж за него...

— Да, замуж. А он огорчается, да, мамочка?

— Наверно, деточка.

— Я и сама знаю. А если б она вышла за него, то полюбила бы его?

— Наверно, котик, он ведь такой добрый.

— Теперь понимаю.

И девочка закрыла глаза. Пани Эмилия подумала, что она засыпает, но Литка немного погодя снова спросила:

— А нас он перестанет любить, если женится на Марыне?

— Нет, Литуся, он всегда будет нас любить.

— Но Марыню больше?

— Марыня была бы ему ближе. Но почему, котик, ты об этом расспрашиваешь?

— Это нехорошо?

— Нет, ничего плохого тут нет, ровно ничего! Просто боюсь, как бы ты не устала.

— Нет, нет! Все равно я и так думаю о пане Стахе. Только ты Марыне не говори.

После этого разговора Литка была несколько дней как-то особенно молчалива и еще пристальней прежнего всматривалась в Марыню. Иногда возьмет ее за руку, взглянет в лицо, словно собираясь о чем-то спросить. А если Марыня сидела возле нее с Поланецким, переводила глаза на него и опять закрывала. А они часто теперь приходили, каждый день по нескольку раз, — помочь пани Эмилии, которая по ночам сама дежурила возле Литки, не доверяя никому, и уже неделю не спала, прикладываясь лишь ненадолго днем по настоянию Литки. Насколько серьезно больна дочка, пани Эмилия не представляла, да и доктор, не в состоянии предугадать течение болезни, не знал, очередное это ухудшение или конец, и по просьбе Поланецкого лишь усиленно успокаивал мать.

Но предчувствие говорило ей, что жизнь девочки в опасности, и, несмотря на уверения доктора, сердце у нее порой замирало. При Литке она старалась быть оживленной и веселой, как и Поланецкий с Марыней, но от девочки, которая стала очень наблюдательной, не могло укрыться беспокойство, тщательно скрываемое матерью.

Однажды утром, оставшись наедине с Поланецким, который надувал глобус из шелковой тафты, принесенный ей в подарок, она сказала вдруг:

— Пан Стах, я иногда замечаю, что мама очень огорчается из-за моей болезни.

— Ничего подобного, — отвечал Поланецкий, перестав надувать шар. — Что за глупости тебе приходят в голову! Конечно, она предпочла бы видеть тебя здоровой, не радоваться же ей...

— Почему другие дети здоровы, а я вечно больна?

— Ничего себе здоровы! А Бигели — разве не переболели все по очереди коклюшем? Несколько месяцев подряд весь дом BLEЯЛ, как овчарня. А Юзек не схватил разве корь, по-твоему? Ребятишки вечно хворают, одно горе с ними.

— Это вы только так говорите, — покачала она головой, — они хворают, но потом выздоравливают... А у меня совсем не то. Мне надо все время лежать, иначе сердце начинает биться. Позавчера я услышала музыку, подошла к окну — мамы в комнате не было, вижу, похороны, и подумала: наверно, я скоро умру...

— Что ты болтаешь, Литка! — воскликнул Поланецкий и, чтобы скрыть волнение и показать, как мало значения придает ее словам, снова принялся надувать глобус.

Но девочка продолжала говорить о том, что ее занимало.

— Иногда я так задыхаюсь и сердце у меня так бьется, так бьется... Мама велит мне тогда повторять: «Святый боже», и я повторяю, потому что очень боюсь умереть! На небе хорошо, я знаю, но там мамочки не будет, а одной на кладбище... И ночью...

Поланецкий отложил шар и сел возле девочки.

— Литуся, дорогая, ради мамы, ради меня не думай ты об этом! — сказал он, беря ее за руку. — Все будет хорошо, но если мама узнает, чем ты себе головку забиваешь, вот тогда она огорчится не на шутку! Помни, ты только вредишь себе этим...

— Пан Стах, миленький, — молитвенно сложила руки Литка, — один еще только вопрос, один-единственный — последний!

Он склонился к ней.

— Ну, спрашивай, котик. Только, чур, без глупостей.

— Вы очень обо мне будете горевать?

— Видишь, какая ты нехорошая!

— Пан Стах! Ну, скажите...

— Я?.. Что за несносный ребенок! Ты же знаешь, как я люблю тебя... Очень люблю! Не дай бог... Ни о ком в целом свете я так не горевал бы... Перестанешь ты наконец, приста-вучка ты этакая, сокровище ты мое!..

Девочка подняла на него обрадованный взгляд.

— Перестала уже... Вы очень добрый, пан Стах! — И только спросила напоследок, когда вошла мать, а он собрался уходить: — Вы не сердитесь на меня, пан Стах?

— Нет, Литуся, — ответил Поланецкий.

В передней услышал он легкий стук в дверь — пани Эмилия распорядилась снять все звонки. Он открыл и увидел Марыню, приходившую обычно по вечерам.

— Как Литка? — спросила она, поздоровавшись.

— Как всегда.

— Доктор был?

— Был, но не сказал ничего нового. Разрешите? .

И он хотел было помочь ей снять пальто. Но она отстранилась, не желая принимать его услуг. Он же, взвинченный разговором с Литкой, неожиданно вспылал.

— Это же простая вежливость, но если б даже не так, неужели нельзя, переступив порог этого дома, оставить свою неприязнь ко мне: как-никак здесь больной ребенок, который дорог не только мне, но, кажется, и вам. Значит, вам не хватает не только доброты, но и обыкновенной тактичности! Я ведь и любой другой даме помог бы снять пальто — и, да будет вам известно, ни о чем не думаю сейчас, кроме Литки!

Он говорил с такой запальчивостью, что Марыня растерялась и капельку даже испугалась, покорно позволив снять с себя пальто и не только при этом не обидясь, но, наоборот, подумав: так может говорить лишь человек искренний, всерьез встревоженный и огорченный, а стало быть, глубоко чувствующий и, в сущности, добрый.

Быть может, эта внезапная вспышка гнева так на нее подействовала, но только впервые со встречи в Кшемене он не возбудил в ней антипатии, живо напомнив того энергичного молодого человека, с которым она гуляла по саду. Впечатление, правда, было мимолетное и не могло изменить их отношений, все же взгляд, устремленный на него, был скорее изумленный, чем сердитый.

— Простите... — промолвила она.

Но он, устыдясь, пришел уже в себя.

— Нет, это вы простите. Литка говорила мне сегодня, что умрет, и это так взбудоражило меня, что я сам не свой. Вы должны меня понять и извинить.

С этими словами он, крепко пожав ей руку, вышел.

ГЛАВА XVI

На другой день Марыня предложила пожить у пани Эмили, пока Литка не поправится. Литка присоединилась к ее просьбе, и пани Эмилия, колебавшись, согласилась. Она падала с ног от усталости: состояние девочки требовало постоянного и неуспянного внимания, ведь приступ мог повториться в любой момент. Положиться же на прислугу, даже самую преданную, было страшно: вдруг задремлет как раз, когда понадобится срочная помощь. Присутствие Марыни обещало измученной матери надежную поддержку и облегчение.

Плавицкий не возражал, так как все равно предпочитал обедать в ресторане. К тому же Марыня ежедневно забегала домой справиться о его здоровье, проверить счета, а потом возвращалась, оставаясь полночи при девочке.

Таким образом, Поланецкий, который проводил у пани Эмилии все свободное время, принимая, вернее, вежливо выпроваживая посетителей, приходивших справиться о здоровье больной, ежедневно виделся с Марыней.

И восхищался ею. Терпеливей и заботливей ухаживать за девочкой не смогла бы и сама пани Эмилия. От недосыпания и постоянной тревоги под глазами у Марыни появились темные круги, но сил и энергии, казалось, прибавлялось с каждой минутой. Притом она была сама нежность и доброта, оказывала Литке необходимые услуги так незаметно и деликатно, что девочке было с ней хорошо, несмотря на затаенную обиду, и, когда Марыня отлучалась на несколько часов к отцу, она с нетерпением поджидала его возвращения.

Кстати, и состояние ее немного улучшилось. Доктор решил ей вставать, ходить по комнате, сидеть в кресле, которое в солнечные дни подвигалось к балконной двери, чтобы девочке видны были прохожие и проезжающие мимо экипажи.

Тут же часто сидели Поланецкий, пани Эмилия и Марыня, и происходящее на улице служило предметом разговора. Порой Литка бывала задумчивой и утомленной, порой же природа брала свое, и тогда ее занимало все: и бледное октябрьское солнце, золотившее крыши, стены и зеркальные витрины магазинов, и наряды прохожих, и крики разносчиков. Казалось, могучая стихия жизни, бурлящий ее водоворот увлекают девочку и вливают в нее новые силы. Иногда странные наблюдения приходили ей в голову; так, однажды при виде проезжавшей телеги с лимонными деревьями в кадках, которые беспорядочно раскачивались при каждом сотрясении, несмотря на скреплявшую их цепь, она вдруг сказала:

— У них сердца нет. — И спросила, поглядев на Поланецкого: — Пан Стах, а деревья долго живут?

— Очень долго, некоторые тысячу лет.

— О, тогда я хотела бы деревом быть. Мамочка, а какое дерево тебе больше всех нравится?

— Береза.

— Тогда я хочу быть маленькой березкой. А мамочка была бы большой, и мы росли бы рядом. А вы, пан Стах, хотели бы березой быть?

— Да, если бы поблизости маленькая березка росла.

Литка посмотрела на него, грустно качая головой.

— О нет! — сказала она. — Я теперь все знаю. Знаю, с кем вы, пан Стах, хотели бы рядом расти.

Марыня, смутясь, опустила глаза на рукоделие, а Поланецкий стал поглаживать белокурую головку, приговаривая:

— Ах ты, мой котеночек, мой славный, мой любимый! Ах, ты мой...

Литка молчала, две слезинки повисли на ее длинных ресницах и медленно скатились по щекам.

Но тут же она подняла свое милое, просиявшее улыбкой личико.

— Я очень мамочку люблю,— сказала она,— и пана Стаха тоже... и Марыню...

ГЛАВА XVII

Ежедневно приходил узнать о Литкином здоровье Васковский, и хотя его большею частью не принимали, приносил ей цветы. Как-то, встретившись с ним за обедом, Поланецкий поблагодарил его от имени пани Эмилии.

— Но это же всего-навсего астры! — возразил он и спросил: — А как она себя чувствует сегодня?

— Сегодня как раз неплохо, но вообще неважно. Хуже, чем в Райхенгалле. Со страхом ждешь, что сулит наступающий день, и как подумаешь, что ее может не стать...

Он замолчал в волнении и, чтобы справиться с ним, сказал со злостью:

— Нечего уповать на какое-то там милосердие! Есть только голая логика: у кого больное сердце, тот должен умереть! Черт бы побрал всю эту жизнь!

Подошел Букацкий, тоже привязанный к Литке, и, узнав, о чем речь, в свой черед напал на старика, не желая мириться с мыслью о ее смерти.

— Как можно столько лет добровольно себя обманывать, проповедуя нечто для слепого рока совершенно безразличное.

— Дорогие мои, нельзя собственной брэнной меркой мерить милосердие и премудрость всевышнего,— спокойно возразил старик. — В пещере нас окружает тьма, но это еще не дает права утверждать, что там, снаружи, нет ясного неба и солнца, света и тепла...

— Вот так утешение! — перебил Поланецкий. — От такой философии и мухе радости мало, что же говорить о матери, у которой умирает единственная горячо любимая дочь.

Но голубые глаза старика уже устремились куда-то за грань земного.

— А мне кажется, эта девочка,— сказал он, помедлив, будто вглядываясь во что-то, но не вполне различая,— не затем в стольких сердцах пробудила любовь, чтобы явиться и сгинуть бесследно. Что-то тут есть... Что-то ей свыше было предназначено, и она не умрет, не исполнив своего предназначения.

— Мистика! — сказал Букацкий.

— Это бы хорошо! — перебил Поланецкий. — Мистика не мистика, а как бы хорошо! В несчастье даже тень надежды помогает. У меня тоже не умецается в голове, что она умрет.

— Как знать, может, она еще нас всех переживет,— прибавил Васковский.

Поланецкий достиг той стадии скептицизма, когда человек, во всем изверясь, полагает возможным самое невероятное оттого, что этого жаждет его душа. И, прибодрясь, он вздохнул облегченно.

— Может, смилуется небо над ней и пани Эмилией,— сказал он. — Я готов сто обеден заказать, лишь бы это помогло.

— Закажи хоть одну, но с искренней верой.

— И закажу, непременно закажу! А что до искренности, я и собственной шкуры искренней бы не спасал.

Васковский улыбнулся.

— Ты на верном пути,— сказал он,— ибо умеешь любить.

У всех отлегло от сердца. Букацкий, хотя в душе и не был согласен с Васковским, возражать не стал,— когда перед лицом неподдельного горя люди ищут утешения в религии, скептицизм, как глубоко ни укоренился, смущенно отступает и кажется себе ничтожным и жалким.

В эту минуту вошел Бигель и, видя повеселевшие лица, спросил:

— Машутке лучше?

— Нет, нет! — возразил Поланецкий. — Это слова нашего добрейшего Васковского целительно подействовали на нас.

— Ну и слава богу! Жена пошла в костел заказать обедню, а оттуда к пани Эмилии. А я отпущен на все четыре стороны и могу пообедать с вами. И если Литке лучше, сообщу и другую радостную новость.

— Какую?

— Только что я встретил Машко, кстати, он тоже сейчас здесь будет, поздравьте его, он женится.

— На ком? — спросил Поланецкий.

— На соседке на моей.

— На Краславской?

— Да.

— Понятно,— сказал Букацкий,— важностью своей, родословной и богатством повергнув их во прах, из одного слепил себе жену и тещу.

— Объясните мне одно,— сказал Васковский. — Ведь Машко молится богу...

— Постольку, поскольку он консерватор,— перебил Букацкий,— из приличия.

— ...как и эти дамы,— продолжал Васковский.

— Потому что так принято...

— Почему они не задумываются о жизни вечной?

— Машко, ты почему не задумываешься о жизни вечной? — обратился Букацкий ко входившему адвокату.

— Что ты сказал? — спросил Машко, подходя к ним.

— Я говорю: *tu, felix, Машко, nube!*¹

¹ ты, счастливцев... женись! (лат.)

Посыпались поздравления, он принимал их с подобающим достоинством, потом сказал:

— Дорогие друзья, поскольку все вы знаете мою невесту, не сомневаюсь в вашей искренности...

— И напрасно! — вставил Букацкий.

— ...а потому благодарю от всей души.

— Вот и пригодился тебе Кшемень, — прибавил Поланецкий.

И в самом деле, не оказался Машко владельцем имения, сватовство его могло быть и не принято. Но именно поэтому замечание Поланецкого его задело, и он сказал, досадливо поморщившись:

— Ты мне эту покупку облегчил, но я даже не знаю, благодарить или клясть тебя за это.

— Почему?

— Да этот твой дядюшка — не встречал субъекта несносней и надоедливей, а уж кузина твоя... Очень милая барышня, но только и знает, что с утра до вечера на все лады склоняет этот Кшемень, каждый раз проливая слезу. Тоска зеленая; ты редко у них бываешь, но уж поверь мне.

— Слушай, Машко, — глядя на него в упор, сказал Поланецкий, — я дядюшку своего честил на все корки, но из этого еще не следует, что позволю честить его в своем присутствии, особенно тому, кто на нем нажился. Что же до панны Марии, она жалеет о Кшемене, знаю, но это говорит лишь о том, что она не бездушная кукла, не манекен, а женщина, у которой сердце есть. Понял?

Воцарилось молчание. Машко отлично понял, в кого метил Поланецкий со своей куклой и манекеном, и пятна у него на лице побегрели, а губы вздрогнули. Но он сдержался. Машко был не робкого десятка, но бывают люди, с которыми и смельчаки предпочитают не связываться. Для него таким был Поланецкий.

— Чего ты кипятишься, — сказал он, пожимая плечами. — Если тебе это неприятно...

— Я не кипячусь, — перебил Поланецкий, по-прежнему глядя на него в упор, — но советую запомнить мои слова.

«Ссоры ищешь, изволь», — подумал Машко и сказал:

— Запомнить запомню, но со мной разговаривать таким тоном не советую — мне может это не понравиться, и я потребую объяснения.

— Черт возьми! — вскричал Букацкий. — Что у вас происходит?

Поланецкий, у которого давно уже копилось раздражение против Машко, не остановился бы на этом, если бы в эту минуту не вбежал запыхавшийся слуга пани Эмили.

— Барышня помирает! — доложил он.

Поланецкий побледнел и, схватив шляпу, кинулся к дверям. Наступило тягостное, продолжительное молчание, которое нарушил Машко.

— Я забыл, к нему надо быть сейчас снисходительным... — сказал он.

Васковский молился, закрыв руками лицо. Потом поднял голову:

— Поправший смерть и над смертью властен.

Через четверть часа Бигель получил записку от жены. В ней было всего два слова: «Приступ прошел».

ГЛАВА XVIII

Поланецкий мчался к дому пани Эмилии, боясь не застать Литку в живых, — слуга по дороге сообщил ему, что у девочки сделались судороги, и она кончается. Пани Эмилия выбежала ему навстречу.

— Лучше! Лучше! — выдохнула она через силу.

— Доктор здесь?

— Да.

— А Литка?

— Уснула.

Лицо пани Эмилии, еще бледное от пережитого страха, выражало робкую надежду и радость. Губы у нее были совершенно белые, глаза воспаленные и красные, щеки горели. Целые сутки она не спала и смертельно устала.

Доктор, энергичный молодой человек, считал, что опасность миновала.

— Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы приступ повторился, и мы этого не допустим.

Слова эти, сказанные уже при Поланецком, ободрили пани Эмилию. Они обнадеживали: ведь врач считал возможным предотвратить приступ. Но одновременно и предостерегали, что следующий может оказаться роковым. Но пани Эмилия цеплялась за малейшую надежду, как падающий в пропасть человек — за ветки деревьев, растущих на краю.

— Не допустим! Не допустим! — лихорадочно повторяла она, пожимая руку доктору.

Поланецкий украдкой глянул ему в глаза, словно желая удостовериться, не говорит ли он этого лишь для спокойствия матери, безотносительно к медицинским показаниям.

— Вы останетесь при больной? — не без умысла спросил он.

— Не вижу никакой необходимости, — отвечал врач. — Девочка измучена и, наверно, будет спать долго и крепко. Завтра я ее навещу, а сегодня со спокойной душой могу отправляться домой. — И обратился к пани Эмилии: — А вам тоже нужно непременно отдохнуть. Опасность миновала, и ни к чему больной

видеть по вашему лицу, что вы устали и встревожены. Она еще слишком слаба, волнение ей может повредить.

— Я не смогу заснуть... — сказала пани Эмилия.

Доктор пристально посмотрел на нее своими светло-голубыми глазами.

— Через час вы ляжете и заснете, — внятно и отдельно произнес он. — И проспите шесть или восемь часов. — Ну, скажем, восемь... А завтра почувствуете себя окрепшей и отдохнувшей. Спокойной ночи!

— А как же капли, если девочка проснется?

— Капли даст ей кто-нибудь другой. Спокойной ночи.

И доктор откланялся. Поланецкий хотел было выйти следом, чтобы с глазу на глаз расспросить о состоянии Литки, но раздумал, решив, что пани Эмилию это может встревожить, и дал себе слово завтра же зайти к нему домой и поговорить.

— Послушайтесь совета, — сказал Поланецкий, когда они остались вдвоем. — Вам нужно отдохнуть. А я пойду к Литке и обещаю ни на минуту не отлучаться.

Но она ничего не ответила, не переставая думать о девочке.

— Знаете, — сказала она немного погодя, — перед тем как заснуть, после приступа, она несколько раз спрашивала про вас... и про Марыню. «Где пан Стах?» — с этим вопросом и уснула.

— Бедная, дорогая девочка! Я все равно пришел бы после обеда. Мчался, не помня себя... Когда начался приступ?

— Перед полуднем. С утра она была грустная, будто уже чуяла. Вы ведь знаете, она всегда говорила мне, что чувствует себя хорошо, а тут видно было, что ей неможется, — перед тем как начался приступ, села возле меня и попросила взять ее за руку. А вчера — забыла вам сказать — странный вопрос мне задала: «Это правда, — говорит, — если больной ребенок попросит о чем-нибудь, ему никогда не отказывают?» Я сказала: правда, если, конечно, просьба выполнима. Что-то, видимо, не давало ей покоя, так как вечером, когда к нам заглянула Марыня, она опять спросила о том же. Перед сном повеселела, а с утра уже стала жаловаться, что задыхается. Хорошо, что я еще до начала приступа послала за доктором и он сразу приехал.

— А еще лучше, что ушел, уверенный, что приступ не повторится. По-моему, он действительно в этом убежден, — сказал Поланецкий.

— Велико милосердие господне! По бесконечной доброте своей... — подняла к небу глаза пани Эмилия, но, как ни крепилась, рыдания не дали ей договорить: радость, сменившая подавленную тревогу и отчаяние, разрешилась слезами.

Свойственная этой тонко чувствующей натуре экзальтированность всегда преобладала над рассудительностью, отчего пани Эмилия редко могла здраво оценить положение вещей. Так и сейчас она целиком отдалась убеждению, что с болезнью Литки

покончено и приступ это последний — девочка будет отныне совершенно здорова.

Поланецкому не достало ни духа, ни охоты остеречь ее от крайностей, удержать где-то посередине между отчаянием и радостью. Сердце сжалось у него от жалости, и он вновь небывало остро ощутил, как привязан, пускай совершенно платонически, к этой высокой души женщине. Будь она его сестрой, он обнял бы ее и прижал к груди.

— Слава богу, слава богу! — сказал он, поцеловав ее нежную исхудалую руку. — А теперь, дорогая пани Эмплия, вам надо подумать о себе, а я иду к Литке и не отлучусь, пока она не проснется.

Он оставил ее. У Литки царил полумрак: жалюзи были спущены, и лишь красноватые лучи заходящего солнца, проникая в щели между планками, слабо освещали комнату; но небо вскоре заволоклось тучами. Литка крепко спала. Поланецкий сел подле нее, всмотрелся в ее спящее личико, и у него упало сердце. Она лежала навзничь; худые, прозрачные руки неподвижно покоились на одеяле, вокруг сомкнутых век залегла глубокая тень. Бледность, казавшаяся в красноватом сумраке восковой, приоткрытый рот и сам мертвый сон — все это придавало ее лицу выражение отрешенности, какое бывает у покойников. И только по тому, как едва приметно приподымались на груди оборки ночной кофточки, можно было заключить, что ребенок жив. Дыхание было спокойное и равномерное. Поланецкий долго всматривался в ее болезненное личико, чувствуя то же, что всегда при мысли о собственной жизни: самой природой предназначено ему быть отцом; наравне с женой он безгранично любил бы детей, в чем и нашел бы весь смысл и цель существования. Чувство это еще больше обострили жалость и нежность к этой девочке, чужой ему, но в эту минуту дорогой, как родное дитя. «Линнись она матери, — думалось ему, — взял бы ее к себе и знал, зачем живу».

И еще ему подумалось: если б ценой своей жизни можно было выторговать у смерти этого «котенка», над которым она кружит, как хищная птица над голубкой, он бы не поколебался. И не испытанное дотоле умление охватило его: этот решительный, даже суровый человек готов был сейчас с такой нежностью целовать эти ручки и головку, на какую не всякая женщина способна.

Тем временем совсем стемнело. В комнату вошла пани Эмплия, рукой заслоняя голубоватый свет ночника.

— Спит? — шепотом спросила она, ставя ночник на столик в изголовье постели.

— Спит, — ответил Поланецкий тоже шепотом.

Мать стала всматриваться в спящую девочку.

— Видите, — продолжал тихо Поланецкий, — какое ровное и спокойное дыхание. Завтра ей будет лучше.

— Конечно,— с улыбкой отвечала мать.

— А теперь последуйте ее примеру. Идите спать! Не то я не на шутку рассержусь.

Глаза ее обратились на него, благодарно улыбаясь. В слабом голубоватом свете ночника она казалась волшебным видением. И, глядя на ее ангельское лицо, Поланецкий невольно подумал, что они с Литкой — точно неземные существа, по чистому недоразумению оказавшиеся в этом мире.

— Конечно,— повторила она. — Теперь я могу отдохнуть. Пришли Марыня с Васковским. Марыня хочет непременно остаться на ночь.

— Тем лучше. Она очень хорошо за ней ухаживает. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи.

Опять оставшись один, Поланецкий стал думать о Марыне. Узнав, что сейчас увидит ее, ни о чем другом он думать уже не мог и все спрашивал себя: в силу какой удивительной загадки природы полюбил он не пани Эмилию, хотя она явно красивей и, наверно, добрей и лучше, сама способна на самоотверженную любовь, а именно эту девушку, которую он несравненно меньше знал и, заслуженно или незаслуженно, меньше уважал? Стоило ей только появиться, и у него пробуждались чувства, которые мужчина испытывает лишь при виде своей избранницы, тогда как на пани Эмилию при всей ее женственности смотрел он, как на картину или статую. В чем тут дело, отчего, чем интеллигентней и утонченней человек, чем впечатлительней, тем большее он различие проводит между женщинами? И он не находил другого ответа, кроме того, который слышал от молодого доктора, влюбленного в Краславскую: «Я ее не идеализирую, но ничего не могу с собой поделать». Однако это лишь подтверждало факт, а не объясняло, но искать причину уже времени не было: дверь открылась, и вошла Марыня. Они обменялись кивком. Поланецкий бесшумно переставил кресло к кровати больной, знаком указав Марыне сесть.

— Идите чай пить,— первой заговорила, вернее, зашептала Марыня. — Там Васковский.

— А пани Эмилия?

— Пошла спать. Сказала, ей самой чудно, но такое чувство, что нужно лечь.

— Подозреваю, что это доктор ее загипнотизировал. И хорошо сделал. Ведь Литке действительно лучше.

Марыня посмотрела ему в глаза.

— Правда, лучше,— повторил он. — Если, конечно, приступ не повторится... а есть надежда, что нет.

— Ну и слава богу! Идите же пить чай.

Но он предпочитал сидеть с ней вот так, рядом и перешептываться доверительно.

— Ладно, пойду, только попозже,— сказал он. — Давайте уговоримся, что вы тоже пойдете отдохнуть. Мне говорили, ваш отец захворал. Пришлось, наверно, и с ним сидеть.

— Он поправился уже, и мне хочется непременно Эмильку сменить. Она сказала, прислуга прошлую ночь тоже не спала, так как Литке еще накануне нездоровилось... Возле нее постоянно должен кто-то находиться; давайте дежурить по очереди: я, вы и Эмилька.

— Хорошо. Но сегодня я уж не уйду, останусь — не здесь, так в соседней комнате, чтобы в случае чего быть под рукой. Когда вы узнали о приступе?

— Я не знала ничего. Просто зашла проведать, как обычно.

— А за мной слуга прибежал в ресторан. Представляете, как я сюда летел, боялся, в живых ее не застану. И самое удивительное, что за обедом мы с Букацким и Васковским говорили почти исключительно о Литке, пока Машко не пришел и не объявил, что женится.

— Машко женится?

— Да. Никто еще не знает, но нам он торжественно об этом объявил. На панне Краславской; помните, у Бигелей была в тот раз? Для Машко — хорошая партия.

Наступило молчание. Известие о том, как легко утешился молодой адвокат, должно было бы принести облегчение Марыне, которая, не любя Машко и отказав ему, после не раз упрекала себя, думая, что разбила его надежды и заставила страдать. Однако новость ее удивила и уколола. Женщине, которая кому-то сочувствует, хочется, во-первых, чтобы этот «кто-то» в самом деле был несчастен, а во-вторых — самой быть его утешительницей; если же в этой роли выступает другая, она бывает несколько разочарована. К тому же самолюбию Марыни был нанесен двойной удар. Она не предполагала, что ее можно так быстро забыть, и вынуждена была признаться себе, что напрасно считала Машко личностью незаурядной. До сих пор он был для нее чем-то вроде козырного туза в игре против Поланецкого; теперь козыря этого она лишилась — и почувствовала себя почти уязвленной. Что ей, правда, не помешало, не кривя душой сообщить Поланецкому, как она рада, хотя, в сущности, не очень приятно было вдобавок еще именно от него узнать об этом.

Поланецкий с некоторых пор был с ней очень сдержан и ничем не выдавал своих чувств. Но при этом, поскольку им приходилось часто встречаться, избегал и чрезмерной скованности, держась доброжелательно и непринужденно, что в ее глазах служило доказательством охлаждения к ней. И хотя прежняя обида не изгладилась, напротив, укоренилась еще сильнее, хотя то, первое разочарование стало постоянным источником горечи, мысль — так уж устроен человек, — что ее собственная холодность ему безразлична, была для Марыни просто невыносима. Ей даже почудилось, будто Поланецкий злорадствует, что она

обманулась в Машко и, потеряв возможность выбирать между ними двумя, которой как-никак еще недавно располагала, оказалась совсем уж в унижительном положении, словно бы ею пренебрегли.

Но Поланецкий был далек от чего-либо подобного. Конечно, он был доволен, что Марыня, предпочтя ему Машко, теперь убедилась, как глубоко она заблуждалась, но ему и в голову не приходило торжествовать или злорадствовать по поводу ее одиночества — ведь он больше чем когда-либо готов был раскрыть ей объятия и признаться в любви. Пускай он упорно, даже с ожесточением старался это чувство вытравить — делалось это исключительно из-за отсутствия какой бы то ни было надежды. Отдавать все душевные силы любви без взаимности — это казалось ему ниже всякого мужского достоинства. И он старался, по его собственному выражению, не «поддаваться», как мог, старался, хотя при этом прекрасно понимал, что такая борьба подтачивает, выматывает и, даже если кончится победой, вместо счастья принесет опустошенность. Кроме того, до победы ему было далеко. Ценой огромных усилий добился он лишь того, что к чувству его примешалась горечь. Фермент этот, как известно, разрушает любовь — по той простой причине, что отравляет ее, и со временем мог он ее уничтожить и в сердце Поланецкого. Но пока результат был ничтожный! Сидя неподалеку от Марыни, глядя на ее лицо при слабом свете ночника, он твердил про себя: «Если б она только захотела!» И, злясь сам на себя, честно признавался: пожелай только она, он тотчас с радостной готовностью склонился бы к ее ногам. Какой жалкий итог и какая безысходность! Ибо одновременно он сознавал: недоразумение между ними зашло так далеко, что Марыня при всем своем желании не могла бы опять стать такой, как в Кшемене, — самолюбие, невозможность переступить через самое себя сковали бы ей уста. Между ними была скорее мыслима любовь, чем понимание, — вот до чего запутались их отношения.

Недолгий разговор опять сменила тишина, нарушаемая лишь дыханием больной да унылым позваниванием стекол, которые кропил мелкий дождик. Надвигалась сырая, осенняя ночь — гнетущая, нагоняющая тоску и мрачные мысли. Печаль навела и сама комната — в темных ее углах, казалось, затаилась смерть. Время тянулось бесконечно медленно. И Поланецкого внезапно охватило дурное предчувствие. Глянув на Литку, он подумал: сущее безумие — надеяться, будто она может выжить. Тщетно они бодрствуют! Напрасно надеются! Зачем обольщаться? Эта девочка должна умереть! Должна потому, что слишком любима, слишком обожаема и добра. А за ней последует мать — и образуется пустота, абсолютная и безнадежная. Как жестока жизнь! Вот он, у которого в целом свете нет никого, кроме этих двух существ, которые его любят и которым он безразличен, а придется их лишиться. Пока они живы, у него есть зацепка в жизни,

а без них она опустеет; без них что ждет его, какое будущее? Слепое, глухое и бессмысленное, как лицо пидиота...

Самый сильный и деятельный человек нуждается в чьей-то любви. Иначе в душу ему заползает смерть и воля его противится жизни. Нечто подобное испытал в те минуты Поланецкий. «Почему бы, собственно, не пустить себе пулю в лоб,— подумал он.— Не с горя, а просто оттого, что жизнь без них лишится всякого смысла. А коли так, зачем и влечить ее, разве что из любопытства: до чего она еще может довести».

Не то чтобы у него созрело решение. Это был скорее порыв уставшего от цепей несчастья — минутное ожесточение, ищущее, на кого излиться. И вдруг нашедшее Марыню. Он сам не знал, почему ему внезапно почудилось, что все беды от нее, что это она внесла разлад в их тесный кружок, принесла огорчения, которых они не ведали: будто камень бросила в тихую заводь, и волны пошли во все стороны, достигнув не только его, но и Литки с пани Эмилией. Как человек, слушающийся голоса разума, а не чувств, он понимал нелепость подобных обвинений, но не мог отделаться от мысли, что до появления Марыни все было хорошо — настолько, что недалекое прошлое казалось даже счастливым. Любил он тогда Литку светлой, ничем не омраченной отцовской любовью. Кто знает, может, со временем полюбил бы и пани Эмилию? До сих пор их связывали лишь узы дружбы, но не оттого ли, что других сам он не искал? Как часто женщины из благородства не переступают границу, отделяющую дружбу от любви, не желая отягощать ею человека любимого, но не идущего навстречу. И тогда овладевает душой их тихая, затаенная грусть, и лишь в дружеской нежности остается черпать сладостное утешение.

Познакомившись с Марыней, Поланецкий всю душу отдал ей. Зачем? Для чего? Себе на горе. И в довершение всех бед умирает Литка — единственная его отрада; в любую минуту может умереть. Поланецкий снова устремил на нее взгляд, говоря ей мысленно:

«Хоть ты не покидай нас, деточка! Ты так нужна нам, и мне, и своей маме. Даже подумать страшно, как жить мы будем без тебя!»

Вдруг он спохватился, что глаза девочки смотрят на него.

Он подумал было, что ему почудилось, и сидел, не шевелясь, но девочка улыбнулась и прошептала:

— Пан Стах...

— Да, Литуся. Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, а где мама?

— Скоро придет. Мы еле уговорили ее лечь поспать.

Литка повернула голову, увидела Марыню.

— А, и тетя Марыня тут! — сказала она.

Последнее время она стала называть ее «тетей».

Марыня встала и, взяв с ночного столика пузырек, при свете ночника накапала капель в ложку и дала Литке, а когда та выпила, губами прикоснулась к ее лбу.

Некоторое время все молчали.

— Не будите маму,— проговорила девочка, ни к кому не обращаясь.

— Нет, нет, никто ее не разбудит. Все будет так, как ты захочешь,— отвечал Поланецкий, поглаживая лежащую поверх одеяла ручонку.

А Литка глядела на него, повторяя по своему обыкновению:

— Пан Стах... пан Стах...

Казалось, она вот-вот уснет. Но лоб у нее наморщился, словно она о чем-то усленно размышляла, и, приоткрыв глаза, она стала переводить их с Марыни на Поланецкого и опять на Марыню.

В комнате было тихо, только дождь барабанил по стеклу.

— Что с тобой, детка? — спросила Марыня.

— У меня к вам просьба, тетя Марыня,— сложив руки, едва слышно прошептала Литка,— большая-пребольшая... Но я не решаюсь сказать...

Марыня с нежностью склонилась к ней.

— Говори, дорогая! Сделаю все, что ты захочешь.

— Хочу, чтоб вы полюбили пана Стаха,— прошептала девочка, схватив ее руку и прижав к своим губам.

В наступившей тишине слышалось только учащенное дыхание девочки.

— Хорошо, милая,— раздался наконец спокойный голос Марыни.

Поланецкого душили слезы. Он забыл в этот миг обо всем, даже о Марыне,— видел одну лишь больную, обессиленную девочку, которая и перед смертью думает о нем.

— И замуж выйдете за него?

В голубоватом свете ночника лицо Марыни казалось очень бледным, губы у нее дрожали, но она ответила не колеблясь:

— Да, Литуся.

Девочка опять прильнула губами к ее руке. Потом откинулась на подушку и некоторое время лежала с закрытыми глазами. По щекам ее скатились две слезинки.

Воцарилось долгое молчание. Дождь стучал в окна. Поланецкий и Марыня сидели неподвижно, не глядя друг на друга, словно во сне. Они чувствовали: этой ночью решилась их судьба, но были слишком потрясены. Охваченные смятением, ни он, ни она даже не старались в себе разобраться.

Так, в молчании, которое они инстинктивно боялись нарушить, чтобы не встретиться случайно глазами, проходил час за часом. Пробило полночь, затем час. Около двух, точно тень, в комнату проскользнула пани Эмилия.

— Спит? — спросила она.

— Нет, мамочка,— отвечала Литка.

— Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, мамочка.

Пани Эмилия присела на край постели, и больная девочка, обвив руками ее шею, спрятала белокурую головку у нее на груди.

— Вот теперь я знаю, мамочка,— прошептала она,— если больной ребенок о чем-нибудь попросит, ему и правда не отказывают.

Молча прижалась она к матери. Потом протянула, едва выговаривая слова, как полусонные или очень ослабевшие дети:

— Мамочка, пан Стах не будет больше грустить, сейчас скажу тебе, почему...

Но тут мать почувствовала, что головка ее отяжелела, а на висках и руках выступил холодный пот.

— Литуся! — испуганно вскричала она.

— Как-то странно... Слабость какая-то... — промолвила девочка. — Море! Огромное... И мы плывем по нему! — Мысли у нее, видимо, путались. — Мама, мама!..

Начался новый, страшный и жестокий приступ. Тело девочки свело судорогой, глаза закатились. Сомнений не было: близилась смерть; все выдавало ее присутствие — и бледный свет ночника, и мрак, затаившийся в углах, и стук дождя в окна, и завывание ветра, в котором чудились жуткие требовательные крики.

Поланецкий вскочил и побежал за доктором. Через четверть часа оба уже стояли перед дверью, не зная, жива ли еще девочка; вошли — впереди Поланецкий, за ним доктор, все твердивший с той самой минуты, как его подвляли с постели:

— Наверно, волнение или испуг...

Слуги с сонными, встревоженными лицами замерли в коридоре, в квартире повисла тяжелая, гнетущая тишина.

Ее нарушил прерывающийся голос Марыни — бледная как полотно, она первая торопливо вышла из комнаты:

— Воды для пани Эмилии! Барышня умерла!

ГЛАВА XIX

В конце осени выдаются дни ясные, но печальные, как улыбка гаснущей от чахотки женщины. В такой ясный, погожий день хоронили Литку. Оставшиеся в живых продолжают чувствовать и думать за своих умерших и в том обретают утешение. Поланецкому, занятому похоронами, еще тоскливей стало от этой печальной осенней ясности, но, поставив себя на место Литки, он подумал: лучшего прощального дня и она не могла бы пожелать, и испытал некоторое облегчение. До сих пор он не осознавал всей тяжести утраты. Сознание этого приходит позже, после возвращения в опустелый дом, когда любимое существо остается на клад-

бище. К тому же хлопоты, связанные с похоронами, не оставляли времени для размышлений. Даже такой естественный акт, как смерть, люди сумели обставить разными затруднительными формальностями. Но Поланецкому хотелось отдать Литке последний долг, да, кроме него, и некому было этим заняться. У пани Эмилии все жизненные силы, благодаря которым человек мыслит, действует, принимает решения, со смертью дочери будто иссякли. Унесший ее дитя ветер оказался слишком силен для такого агнца, как она. К счастью, от непосильного горя сердце не только разрывается, но и цепенеет, становясь бесчувственным. Это именно и произошло с пани Эмилией. Поланецкий заметил, что лицо ее словно застыло: в нем читался один беспредельный ужас. Она не плакала, не жаловалась, лишь трагический и вместе наивно-детский лепет срывался изредка с ее губ, подтверждая: ум еще не в силах постигнуть несчастье во всей его безмерности, а цепляется за какие-то мелочи, занимаясь ими с таким усердием, точно девочка еще жива. В убранной крепком комнате на атласной подушке, утопая в цветах, покоилось тело, которое уже ни в чем не нуждалось; между тем влившаяся от горя в детство мать все беспокойлась, не забыла ли чего. Когда ее пытались оторвать от гроба, она не сопротивлялась, только начинала жалобно стонать, будто теряя от боли рассудок.

Поланецкий с деверем пани Эмилии, Хвастовским, приехавшим накануне похорон, хотели было увести ее после того, как гроб закрыли крышкой, но она стала звать Литку по имени, и у них не хватило духа настоять на своем. Наконец многолюдная процессия — с факелами и заунывным пением — тронулась, во главе шли священнослужители, за ней потянулась вереница карет. И сразу же стеклась толпа зевак, которые упиваются в наше время зрелищем человеческого горя, как в древности тешились льющейся на арене цирка кровью. Пани Эмилия с Марыней и поддерживавшим ее под руку деверем шла за катафалком с отрешенным, безучастным лицом. Глаза ее и мысли были прикованы к белокурой прядке Литкиных волос, которая случайно, когда закрывали гроб, выбилась из-под крышки. Всю дорогу бедная мать смотрела на нее и твердила не переставая: «Боже мой, волосики ребенку прищепили!»

От горя, усталости, нервного напряжения, еще усиленного бессонницей, Поланецкому было до того тяжело, что по временам его охватывало непреодолимое желание с полдороги вернуться домой и броситься на диван, ничего больше не зная, не думая, не требуя, не любя и вообще не чувствуя. Но эгоистическое это желание его самого удивило и возмутило; он знал, что не повернет назад и выпьет чашу до дна — не только потому, что так принято, а потому, что горе и любовь к Литке всего сильнее. Все остальное побледнело, отступило на задний план, стало для него, по крайней мере в те минуты, совершенно безразлично. Все внутри у него словно смешалось и застыло: горе и печаль чисто меха-

нически сосуществовали с мимолетными внешними впечатлениями, отрывочными наблюдениями. Он смотрел на дома, мимо которых двигалась похоронная процессия, и отмечал про себя, какого они цвета, то неизвестно зачем читал вывески, попадавшие на глаза, то вдруг спохватывался, что ксендзы перестали петь, и с суеверным страхом ждал продолжения. То начинал рассуждать, как будто только что очнулся и пытался понять, где он и что с ним происходит. «Это дома, это вывески, — говорил он себе, — это пахнуло смолой от горящих факелов, а там, наверху, лежит Литка, и мы идем на кладбище...» И его внезапно захлестывала жалость к девочке, которая была ему так дорога, с такой нежностью ему улыбалась. Он припоминал ее прежней, когда еще нес на Тумзее на руках, и на даче у Бигелей, потом у нее дома, когда она сказала, что хочет быть березкой, и, наконец, за несколько часов до смерти, когда Литка попросила Марыню выйти за него замуж. Конечно, Литка не могла его любить, как взрослая, и, как взрослая, пожертвовать собой, обручая с Марыней, этого он не думал; неосознанное чувство девочки нельзя было назвать настоящей любовью, но чутье безошибочно подсказывало: что-то подобное было и жертва была, жертва ради него, во имя глубокой, исключительной привязанности к нему. И так как утрату даже самых близких людей мы прежде всего измеряем уроном, какой она причинила нам, Поланецкий стал твердить себе: «Она одна любила меня по-настоящему! Теперь у меня никого на свете нет!» И, глядя на гроб, на развевающуюся белокурую прядь, называл ее всеми ласковыми именами, какими только звал при жизни. Но зов остался без ответа, и его начали душить слезы. Есть что-то надрывающее душу в безразличии мертвых. Когда существо, откликнувшееся на каждый твой взгляд и слово, становится безучастным, вчера еще любившее — охладевшим, сердечно и повседневно близкое тебе — величественно-недоступным, повторяй не повторяй себе: «Смерть», легче от этого не будет. Вместе с болью утраты растет разочарование, как бы душевная обида, наносимая покойником, который глух к нашему горю, к нашим стенаниям. И у Поланецкого возникло такое же чувство: как будто Литка, удалясь в лучший мир, сделавшись из близкой — далекой, возвышенно-недоступной, как святая, и вместе с тем совершенно равнодушной к отчаянию матери и горю покинутого друга, нанесла им всем кровную обиду. Отчасти это было чувство эгоистическое, но, не будь этого эгоизма, который мучается раньше всего собственной болью и собственным одиночеством, люди — особенно верящие в загробную жизнь и райское блаженство, — наверно, и не оплакивали бы покойников.

Наконец похоронная процессия из города вышла на открытое, свободное пространство и, миновав заставу, потянулась вдоль кладбищенской ограды, у которой стояли нищие и ряды венков из еловых веток и иммортеллей для украшения могил. Ксендзы в белых стихарях, могильщики с факелами, катафалк и следовав-

шие за ним остановились у ворот. Поланецкий, Букацкий, Хвастовский и Бигель, сняв гроб, понесли его на плечах к склепу, где был похоронен Литкин отец.

Пустота и тишина, которые обычно обступают лишь дома, по возвращении с похорон, на сей раз, казалось, поджидали уже на кладбище. День был ясный, по-осеннему бледный, и последние пожелтые листья бесшумно опадали с деревьев; погребальное шествие словно растворилось среди усеянных крестами блеклых просторов, которым, казалось, нет конца, будто кладбище уходило в бесконечность. Черные остовы оголенных деревьев с тоненькими, еле различимыми веточками вверху, похожие на привидения серые и белые надгробия, ковер из палых листьев, устилавший длинные, прямые аллеи,— все это, как Элизий, было исполнено глубокого покоя и дремотной меланхолии, навевая образ тех «стран хладных и печальных», к которым в мрачных раздумьях устремлялся Цезарь и куда готовилась вступить еще одна *anima vagula*¹.

Гроб приблизился наконец к открытой могиле. Послышались надрывающие душу слова: «*Requiem aeternam...*», а затем: «*Anima eius...*»² Сквозь пелену горя и туманившую зрение путаницу мыслей и впечатлений Поланецкий смутно, как во сне, различал застывшее лицо и остановившиеся глаза пани Эмилии, слезы Марыни, которые его почему-то раздражали, восковую бледность Букацкого,— обычное философическое настроение покинуло его у входа на кладбище,— гроб Литки. Когда на крышку со стуком упала первая горсть земли, он последовал общему примеру, но едва гроб на ремнях опустили в могилу и каменные створы склепа закрылись, горло у него снова перехватило; сознание почти оставило его — он ощущал только полнейшую пустоту. «Прощай, Литуся!» — повторял он, и два эти простые слова показались ему позже такими жалкими и ничтожными в сравнении с обуревавшей его душевной мукой. Все было кончено. Погребальное шествие стало быстро таять. Поланецкого привел в себя ветер, налетевший откуда-то из-за могильных крестов. У склепа остались только пани Эмилия, Марыня, жена Бигеля, Васковский и Литкин дядя. Поланецкий ждал, решив, что уйдет последним, и повторяя мысленно: «Прощай, Литка!» Он думал о смерти, о том, что и ему суждено стать обитателем этого града надгробий — вернее, океана, который поглощает все людские мысли, стремления, чувства... И ему представилось, будто он сам и все, кто стоял рядом и уже разошедшиеся, все плывут на корабле, несущемся в бездну. Загробная жизнь... До нее ли сейчас было.

Меж тем опустились ранние осенние сумерки. Очертания крестов стали еще призрачней. Учитель и Хвастовский повели пани Эмилию к выходу безо всякого сопротивления с ее стороны.

¹ маленькая странница-душа (лат.).

² «Вечный покой...», «Душа ее...» (лат.).

Поланецкий, повторив еще раз: «Прощай, деточка», направился следом.

Выйдя за кладбищенские ворота, он подумал: «Страшно даже представить себе, как это девочка теперь там одна. Слава богу, мать ничего не сознает. Мертвые покидают нас — и мы их тоже покидаем».

Издали глядел он на карету, увозившую пани Эмилию. И ему чудилось в этом нечто противоестественное.

Но когда сам сел на извозчика, то при мысли о том, что мучительный и тяжелый обряд совершен и теперь можно отдохнуть, почувствовал облегчение. Дома все показалось ему мрачным и неприютным: нечему радоваться, нечего ждать, не на что надеяться. Но, растянувшись со стаканом чая на диване, он испытал чисто физическое наслаждение человека, отдыхающего после тяжких трудов, — и на душе вновь стало легче, даже покойней: ну вот, похороны состоялись, с этим покончено. И память тут же подсказала изречение одного мыслителя: «Каковы преступники, не знаю, зато порядочные люди омерзительны». И Поланецкий сам себе стал противен.

Вечером он все-таки вспомнил: надо бы проведать пани Эмилию, которую Марыня на несколько недель хотела взять к себе. Уходя, увидел фотографию Литки на столе и поцеловал ее. А четверть часа спустя уже звонил в квартиру Плавницких.

Слуга доложил, что хозяина нет дома и у них, кроме пани Хвастовской, ксендз Хилиак и Васковский. В гостиной его встретила Марыня, растрепанная, с покрасневшими глазами, внешне сильно подурневшая. Зато обращение ее с Поланецким заметно переменилось к лучшему, словно перед общим горем отступили все обиды.

— Эмилька у меня, — прошептала она. — Она плоха, но стала хоть понимать, когда к ней обращаешься. Сейчас там Васковский... Он так хорошо умеет с ней разговаривать... Вам непременно нужно видеть Эмильку?

— Нет. Я зашел только узнать, как она, и сейчас же уйду.

— Может, ей и захочется вас увидеть, не знаю... Подождите минутку, я скажу ей. Наверно, ей будет приятно, ведь Литка так вас любила.

— Хорошо, — сказал Поланецкий.

Марыня исчезла в соседней комнате, но, видимо, ей не сразу удалось вставить слово: через полуотворенную дверь доносился голос Васковского, убежденно, настойчиво толковавший о чем-то, будто пытавшийся пробиться сквозь броню оцепенения и горя.

— ...как бы вышла в другую комнату за игрушкой и вернется сейчас... — говорил старик. — Она не вернется; но вы последуете за ней. Дорогая пани, попробуйте взглянуть на смерть не с нашей, житейской, а с высшей, небесной точки зрения. Девочка продолжает жизнь в вечности и счастлива, потому что разлука с вами для нее — одно мгновение. Она там, — продолжал он убеж-

денно, — и счастлива; она видит, что вы направляетесь к ней, и уже простирает к вам руки, зная: еще миг — и вы соединитесь, ибо с божественной, высшей точки зрения страдания наши и сама жизнь преходящи, за ее порогом нас ждет вечность... подумайте, вы навеки будете с Литкой, в покое и блаженстве... не страшась ни болезней, ни смерти. Века пройдут, а вы будете неразлучны.

«Если бы так... — с горечью подумал Поланецкий. — Не пойду туда, зачем, если я не разделяю таких чувств!»

Но наперекор себе все-таки вошел, даже не дожидаясь Марыни, подумав: пусть поступок его бессмыслен, но продиктован чувством долга, ибо сторониться чужого несчастья недостойно. Эгоизм, «уши заткнув средь стенающих ближних», ищет себе оправдания в том, что в настоящем горе никакие утешения якобы все равно не помогут. И понимавшему это Поланецкому совестно было отгораживаться от чужого несчастья ради собственного спокойствия. Войдя, он увидел пани Эмилию, сидевшую на софе; рядом стояла лампа, а под ней — пальма, бросавшая на голову несчастной тень, похожую на гигантские растопыренные пальцы. Васковский сидел с пани Эмилией, держа ее за руки и глядя ей в лицо. Поланецкий отнял у него ее руки и, склонясь над ними, молча стал покрывать поцелуями.

Она замигала, будто прогоняя сон, и в новом приливе горя вскричала:

— Помните, как она...

И зарыдала — надрывно, ломая руки и задыхаясь. Силы ее оставили, сознание помутилось. Едва она пришла в себя, Марыня увела ее к себе. А Поланецкий с Васковским перешли в гостиную, где их остановил Плавицкий, вернувшийся тем временем из города.

— Тяжело, когда такое в доме, — сказал он. — Хотелось бы больше покоя, свободы располагать собой, но как быть! Приходится чем-то поступиться, ну что же, я готов...

Через полчаса пришла Марыня с известием: пани Эмилия немного успокоилась и по ее просьбе прилегла. Гости простились и ушли.

На землю пал туман, который густой пеленой заволок улицы и радужными ореолами окружил фонари. У обоих на уме была Литка, которая первую свою ночь проведет вдали от матери, среди сонма мертвецов. И Поланецкому стало страшно — не за Литку, за пани Эмилию, которая не могла не думать о том же. Одновременно вспомнил он слова Васковского, обращенные к несчастной.

— Я слышал, что вы ей говорили... Если ей от этого легче, тогда хорошо. Но видите ли, будь все это так, нам сейчас бы впопору... ну, пир, что ли, устроить и ликовать по поводу Литкиной кончины.

— А откуда ты знаешь, может, после смерти мы и будем ликовать.

— Скажите лучше, откуда знаете вы.

— Я не знаю, я верю.

Возразить на это было нечего, и Поланецкий заговорил, слово рассуждая сам с собой:

— Милосердие, небесный свет, вечность, сонные души... Все это слова, а на деле что? Труп ребенка в могиле и убитая горем мать. Как может смерть укреплять веру, если она, напротив, возбуждает сомнения? Вам вот жалко девочку, мне — тем более, и сам собой возникает вопрос: зачем она умерла, к чему такая жестокость? Знаю, вопрос не нов, миллиарды людей уже им задавались, и нет на него ответа. Но если единственное утешение в смерти, на черта мне оно! Оттого зубами хочется скрежетать и выть от отчаяния... Рассудок отказывается это понимать и бунтует — и все тут! Вот мой вывод, и вряд ли вас он устроит.

— Христос воскрес, ибо был богом, — промолвил Васковский, тоже как бы про себя, — но, как человек, тоже перенес смерть. Что же мне, жалкому червяку, остается, как и в смерти не восславлять волю и промысел божий?

— Нам никогда друг друга не понять, — отозвался Поланецкий.

— Скользко, дай-ка руку, — сказал Васковский и, опершись на Поланецкого, продолжал: — Я знаю, у тебя доброе, любящее сердце, ты был к девочке очень привязан и все сделал бы для нее, правда ведь? Так вот, сделай для нее хотя бы такую малость: помолись за упокой ее души. Если, по-твоему, ей это не поможет, скажи себе в оправдание: больше я ничего для нее сделать не могу.

— Ах, да оставьте вы! — сказал Поланецкий.

— Ей, может, и не нужно это, но память твоя будет дорога, и, благодарная тебе, она станет заступницей твоей перед богом.

Поланецкий вспомнил, как, узнав о последнем Литкином приступе, Васковский сказал, будто девочке что-то предназначено свыше и она не умрет, не исполнив своего предназначенья. И уже готов был напустить на старика, но вдруг замер, пораженный мыслью: а ведь Литка обручила их перед смертью с Марыней.

И спросил себя невольно: «Может, для того и жила она на свете?» Но тут же с возмущением отбросил эту мысль. И внезапно ощутил прилив гнева на Марыню, даже презрение к ней.

«Нет, такой ценой мне ее не нужно! — подумал он, стискивая зубы. — Нет! Довольно я пострадался из-за нее. Дюжину таких я отдал бы за Литку!»

— Шагу нельзя ступить, ни зги не видно, — сетовал между тем ковылявший рядом Васковский. — И булыжник скользкий от сырости. Без тебя я давно бы упал.

— Видите ли, дорогой мой, — уже поостыв, сказал Поланецкий, — уж если ходить по земле, надо под ноги смотреть, а не устремлять очи горе.

— Ты крепко на ней стоишь.

— И вижу хорошо, даже в этой мгле. Все мы блуждаем во мгле, а что за ней — черт его знает. И рассуждать об этом — все равно что ветки сухие ломать да в воду бросать и утверждать, будто они зацветут. А они сгнивают, и больше ничего. Мне тоже что-то такое померещилось, из чего расцвел бы цветок, да вода унесла. Глупости это все!.. Но вот и дом ваш, спокойной ночи!

Они расстались. Поланецкий вернулся домой еле живой от усталости, а когда лег, его стали преследовать мучительные мысли и картины. И все представлялась убитая горем пани Эмилия с тенью от пальмовых листьев на лице, похожей на гигантскую, хинню растопыренную длань. «Так можно философствовать до самого утра, — бормотал он. — Жизнь — такая вот длань, которая бросает свою тень на нас! Длань зловещая, потому что, будь она помилованней, девочка не умерла бы, а разговоры Васковского... это все курам на смех!»

Тут ему вспомнилось, что Васковский не только о смерти рассуждал, но и просил помолиться за упокой Литкиной души. Поланецкий заколебался и долго боролся с собой. Он не верил, что молитва его может быть услышана Литкой и как-то помочь ей, и это скрывало язык. Стыдно было произносить неискренние слова, но и бездействовать казалось не лучше. «В конце концов, что мне об этом известно? — размышлял он. — Ничего! Тьма и тьма кругом. Пользы никакой, но что я могу еще сделать для моего котенка, для милой моей девчушки, которая даже в день смерти беспокоилась обо мне».

Еще несколько минут он крепился, потом привстал в постели на колени и произнес:

— Упокой, господи...

Но спокойней не стало, напротив, только еще больше жаль стало Литку, и одновременно поднялось раздражение против Васковского, который поставил его перед дилеммой: изменить самому себе или предать в каком-то смысле Литку. Наконец, почувствовав, что сыт по горло этими терзаниями, он решил завтра с утра отправиться в контору и заняться с Бигелем делами, чем придется, лишь бы вырваться из томительного, заколдованного круга своих мыслей.

Но Бигель, опередив его, сам явился к нему наутро, быть может, с намерением его отвлечь. И Поланецкий с головой окунувшись в текущие дела, но через час пришел Букацкий, проститься.

— Уезжаю сегодня в Италию, и бог весть, когда вернусь, — заявил он. — Хотелось вот повидаться и пожелать вам всех благ. Смерть девочки сильнее меня расстроила, чем можно было предполагать.

— И потому ты уезжаешь?

— Это долгий разговор. Видишь ли, у нас это называют буддизмом... Да назови как угодно, но все мы втайне во что-то веруем, на что-то уповаем... на какое-то там милосердие божье, — тем и жив человек. А на деле что получается? Жизнь, что ни день,

бьет нас по физиономии, и это порождает душевный разлад, неудовлетворенность, подавленность. Здесь поневоле к кому-то привязываешься, начинаешь сочувствовать чужому горю, это все слишком мучительно; больше не хочу.

— А при чем тут Италия?

— При чем Италия? Да при том, что там солнце, которого здесь нет, искусство, к которому я питаю слабость, кьянти, которое способствует пищеварению. И, наконец, там совершенно безразличные мне люди — пускай себе умирают хоть сотнями, мне от этого ни тепло ни холодно. Буду любоваться картинами, покупать, что приглянется, лечить свой ревматизм и свою головную боль, — и превращусь в более или менее гладкое, сытое и здоровое животное; это лучшее, о чем только можно мечтать, уж поверь мне. А тут я не могу быть вполне животным, как мне хочется.

— Наверно, ты прав, Букацкий. Вот и мы тут засели за счеты, чтобы голову себе забить и не думать ни о чем. Не знаю, как Бигель, а я, как наживу с твое, обязательно последую твоему примеру.

— Итак, до свидания — во времени и пространстве! — сказал Букацкий.

— Он прав, — повторил после его ухода Поланецкий. — Возьми меня: насколько я был бы счастливей, если б не привязанность к Литке и пани Эмилии. Добровольно отравлять себе жизнь: в этом отношении мы неисправимы, он прав. Вечно мы кого-то или что-то любим. Это наша наследственная болезнь. Неистребимая романтическая сентиментальность... и вечные тернии в сердце.

— Тебе кланяется старик Плавницкий, — перебил Бигель. — Вот он никого, кроме себя, не любит.

— Это, пожалуй, верно; но у него не хватает ума и смелости сказать себе, что ничего дурного и предосудительного в этом нет. Напротив, он убежден в обратном, и это его тяготит. У нас даже такой, как он, вынужден притворяться, будто к кому-то или чему-то равнодушен.

— А ты будешь сегодня у пани Эмилии?

— Непременно! Установить, что у тебя лихорадка, — еще не значит излечиться от нее.

В тот день он дважды заходил к Плавницким; в первый раз не застал Марыню и пани Эмилию дома, а Плавницкий на вопрос, где дочь, с подобающим случаю патетическим смирением ответил: «У меня теперь нет дочери!» Поланецкий, боясь сорваться и наговорить дерзостей, поспешно удалился и пришел вечером.

На этот раз к нему вышла Марыня, сказав, что пани Эмилия заснула, впервые после похорон. Сообщая об этом, она не отнимала у него руки, что, несмотря на полную сумятицу в мыслях, не ускользнуло от внимания Поланецкого. Он заглянул вопросительно ей в глаза; она слегка покраснела. Оба сели, и между ними завязался разговор.

— Мы на Повонзках были,— сказала Марыня,— я пообещала Эмильке ежедневно ездить с ней туда.

— А хорошо ли напоминать ей каждый день о покойной, раны беречь?

— Ах, да разве они затянулись,— отвечала Марыня. — И потом, как ей в этом отказать? Я тоже подумала сначала: ей будет очень тяжело; но убедилась, что это не так. Она выплакалась на кладбище, и ей стало легче. А на обратном пути все вспоминала Васковского, что он ей сказал тогда — это ее единственное утешение, единственное!

— Пусть хоть этим утешается,— отвечал Поланецкий.

— Знаете, первое время я избегала упоминать о Литке, но она сама о ней непрерывно говорит. И вы тоже не бойтесь разговаривать с ней о девочке, это ей доставляет облегчение. — И, понизив еще больше голос, Марыня продолжала не совсем уверенно: — Она все казнит себя за то, что в последнюю ночь послушалась доктора и пошла спать. Жаль потерянных мгновений, которые она могла бы провести с Литкой, вот что не дает ей покоя. Сегодня, когда мы вернулись с кладбища, она все до мельчайших подробностей стала выпрашивать: как Литка выглядела, долго ли спала, принимала ли лекарство, что говорила при этом, разговаривала ли с нами... И заклинала меня передать каждое ее слово.

— И вы ей рассказали?..

— Да.

— Как же она к этому отнеслась?

— Расплакалась.

Они замолчали. Марыня первая нарушила затянувшееся молчание.

— Пойду посмотрю, как она. — Но тотчас вернулась со словами: — Слава богу, спит.

В тот вечер Поланецкий так и не видел пани Эмилию — она впала словно в летаргический сон. При прощании Марыня опять пожалала ему руку, долго и крепко.

— Вы не сердитесь на меня за то, что я сказала Эмильке о последней Литкиной просьбе? — спросила она робко.

— Я не о себе сейчас думаю, а о пани Эмили, — сказал Поланецкий. — И если ей от этого легче, я могу быть вам только признателен.

— Значит, до завтра?

— До завтра.

Поланецкий попрощался и подумал, спускаясь по лестнице: «Она уже считает себя моей невестой».

Так оно и было. Марыня, действительно, смотрела на него, как на жениха. Безразличен он ей никогда не был; сама степень ее обиды и недоброжелательства указывала на это. И если себе он во время болезни и похорон Литки казался воплощением эгоизма, в ее глазах он был сама доброта, добрее всех. Остальное

довершили Литкины слова. Сердце ее было открыто для любви, и теперь, связав себя обещанием, поклявшись Литке перед смертью любить ее друга и выйти за него, она, по ее представлению, должна была бы, и не любя, полюбить Поланецкого. Любить его стало как бы обязанностью, долгом. Ибо жить для нее, как для цельной женской натуры, которые пока еще не перевелись, означало исполнять долг, причем не только добровольно, но и самоотверженно.

Понимаемый так долг сам порождает любовь, которая светит и греет, как солнце, умиротворяет, как ясное голубое небо. И жизнь уподобляется тогда не колючему, сухому терновнику, а пышному, благоуханному цветку.

Вот такая способность к жизни и счастью заложена была в этой выросшей в деревне, но здравомыслящей и тонко чувствовавшей девушке.

И когда Поланецкий ушел, она мысленно уже не называла его иначе, как «Стах». И в самом деле, в ее представлении, он был теперь ее Стахом.

А Поланецкий машинально все повторял про себя перед сном: «Она считает себя моей невестой».

Смерть Литки и переживания последних дней оттеснили Марыню не только в мыслях, но и в сердце его далеко на задний план.

Теперь же он снова стал думать о ней и своем будущем. И целый рой вопросов окружил его, ответить на которые он был не в состоянии, во всяком случае, сейчас.

Они его просто пугали, у него не было ни сил, ни желания опять возлагать на себя прежнее бремя. Опять начинать сначала, возвращаться в этот заколдованный круг, чтобы тревожиться и терзаться, стремиться к чему-то, что приносит лишь разочарование, мучиться любовью? Не лучше ли проверять с Бигелем счета, наживать деньги, а потом махнуть в Италию, как Букацкий, или еще куда-нибудь, где можно наслаждаться солнцем, искусством, пить вино, способствующее пищеварению, а главное, жить среди людей, тебе безразличных, чье счастье не согреет сердца, но зато и горе, смерть не заставят пролить ни слезинки.

ГЛАВА XX

Несмотря на душевные переживания Поланецкого, фирма процветала. Благодаря здравомыслию Бигеля, его осмотрительности и аккуратности дела велись безупречно, и у клиентов не было поводов для недовольства, жалоб и нареканий. Известность их торгового дома день ото дня росла, сфера его деятельности постепенно, но неуклонно расширялась, и положение упрочивалось. Поланецкий, хотя и лишился спокойствия, работал не меньше Бигеля. Утренние часы он ежедневно проводил в конторе и, чем тя-

желей было у него на душе, чем запутанней становились их отношения с Марыней после ее переезда в Варшаву, тем с большим рвением он трудился. Эта утомительная и порой требовавшая большого умственного напряжения работа, никак, однако, не касавшаяся его терзаний и не растравлявшая их, стала в конце концов для него чем-то вроде тихой пристани, где он мог укрыться от житейских бурь. И он даже ею увлекся. «Тут, по крайней мере, знаешь, что делаешь и чего добиваешься,— говорил он Бигелю,— тут все предельно ясно, и если работа и не заменит мне счастья, деньги дадут независимость и свободу, и чем разумней ими пользоваться, тем лучше». Последние события лишь утвердили его в этом. И в самом деле, сердечные привязанности приносили только неприятности. Плод их был горек, тогда как деловые успехи были истинной услугой и надежной защитой от невзгод. Во всяком случае, ему хотелось так думать, хотя это было и не так. Он сам понимал, что свести свою жизнь к занятиям в конторе — значит обеднить ее, но сам же себя убеждал: раз иного выхода нет, благоразумней удовольствоваться этим; лучше быть преуспевающим коммерсантом, чем неудачливым идеалистом. И после смерти Литки твердо решил искоренять в себе душевные порывы, которые все равно обречены оставаться безответными и доставлять одни огорчения. Бигель, разумеется, одобрял такую перемену в умонастроении своего компаньона, поскольку она шла на пользу дела.

Однако Поланецкий не мог за несколько недель перемениться настолько, чтобы охладеть ко всему, что еще недавно было ему дорого. И время от времени ходил на Литкину могилу, к надгробью, которое бывало уже по-зимнему заиндевевшим по утрам. Дважды встречал он на кладбище пани Эмилию с Марыней и один раз отвез их в город. Пани Эмилия поблагодарила его по дороге за память о дочке, и Поланецкий обратил внимание на ее почти спокойный тон. Причина стала ему ясна, когда она сказала при расставании: «Я все думаю, что в сравнении с вечностью разлука наша — как мгновенье ока, и Литка поэтому не тоскует; вы даже представить себе не можете, какое это утешение для меня!» «Да уж, чего не могу, того не могу», — сказал про себя Поланецкий. Но убежденность пани Эмилии его поразила. «Если это обман, — подумалось ему, — то обман во спасение, ведь даже в смерти понуждает он искать силы для жизни...»

И Марыня в первом же разговоре с ним подтвердила: да, пани Эмилия живет только этой надеждой, которая смягчает ее горе. По целым дням только о том и говорит, повторяя с какой-то одержимостью: разлука для живущих жизнью вечной — лишь краткий миг. И эта одержимость Марыню начинала даже беспокоить.

— Так говорит, будто Литка жива и они не сегодня завтра увидятся.

— Но в этом ее спасение,— заметил Поланецкий. — Васковский оказал ей огромную услугу. Пусть думает, как хочет, вреда от этого не будет.

— Да она и права, ведь так оно и есть.

— Не будем об этом спорить.

Хотя Марыню беспокоила навязчивость, с какой пани Эмилия возвращалась к мысли о жизни вечной, она сама ее разделяла, и скептицизм, сквозивший в словах Поланецкого, немного ее покоробил и огорчил.

Но, не желая этого показывать, она перешла на другое.

— Я отдала увеличить фотографию Литки. И из трех карточек, которые вчера принесли, одну решила отдать Эмильке. Хотя сперва побоялась, не слишком ли это ее взволнует. Но теперь вижу, что это, наоборот, будет ей очень приятно.

Марыня подошла к этажерке с книгами, на которой лежали завернутые в папиросную бумагу фотографии, и, присев к маленькому столику рядом с Поланецким, принялась их разворачивать.

— Эмилька вспомнила, как Литка незадолго перед смертью говорила: хорошо бы нам всем троим стать березками и расти рядом дышком. Помните? — спросила она.

— Помню. Ее еще поразило, что деревья живут так долго. И она задумалась, каким бы хотела стать, и решила: березкой, она ей особенно нравилась.

— А вы сказали, что хотели бы расти рядом... И мне захотелось здесь, на паспарту, нарисовать березы. Видите, даже начала, но плохо получается, давно уже не рисовала, и потом, я не умею так, по памяти.

И она показала Поланецкому березы, нарисованные акварелью на одной из фотографий, низко склонясь над нею, так как была немного близорука, и на мгновенье коснувшись волосами его виска.

Для него она давно уже была совсем не той Марыней, о которой он мечтал вечерами, возвращаясь от пани Эмилии, которая владела всеми его помыслами. Это время прошло, и мысли его были заняты другим. Но тот тип женщины, к которому она принадлежала, по-прежнему необычайно волновал его как мужчину. И когда волосы коснулись его виска и он совсем близко увидел ее матовое, чуть зарумянившееся личико, склоненный над рисунком стан, влечение к ней вспыхнуло с прежней силой, и кровь стремительней побежала в жилах, разгорячая воображение.

«А что, если сейчас поцеловать ее в глаза, в губы... — промелькнуло в голове. — Интересно, как она к этому отнесется?»

И им вдруг овладело страстное искушение уступить этому порыву, пускай даже и оскорбительному для нее. Хотя бы такой ценой вознаградить себя — и отомстить ей за долгое пренебрежение, за все горе, волнения и неприятности, которые он по ее милости испытал.

— Сегодня мне это кажется еще хуже,— продолжала меж тем Марыня, рассматривая рисунок. — К сожалению, деревья уже облетели, а я только с натуры умею рисовать.

— Нет, совсем неплохо,— возразил Поланецкий. — Но если эти березы должны изображать пани Эмилию, Литку и меня, почему же их четыре?

— Четвертая — это я,— немного смешавшись, ответила Марыня. — Мне тоже хотелось бы когда-нибудь расти вместе со всеми вами...

Поланецкий кинул на нее быстрый взгляд, а она торопливо заговорила, заворачивая фотографии:

— У меня столько воспоминаний связано с Литкой... В последнее время мы с ней и с Эмилькой почти не разлучались... И теперь Эмилька мне самый близкий человек... Я была им другом, как и вы... Не знаю, как бы это сказать... Нас было четверо, осталось трое, и общая память нас связывает... Литка нас связывает. Как вспомню о ней, тотчас начинаю думать об Эмильке и о... вас. Потому и нарисовала четыре березки. И фотографии три заказала, видите: одна Эмильке, другая мне, третья вам.

— Спасибо,— ответил Поланецкий.

— В память о ней,— крепко пожав протянутую им руку, сказала она,— мы должны простить друг другу все взаимные обиды.

— Я уже о них забыл,— отвечал Поланецкий. — Что до меня, я стремился к этому задолго до Литкиной смерти.

— Моя вина, что этого не случилось, простите меня.

Теперь она протянула ему руку. Поланецкий хотел было поднести ее к губам, но заколебался и вместо этого спросил:

— Итак, мир?

— И дружба,— сказала Марыня.

— И дружба.

Глаза ее светились тихой радостью, сообщая лицу такое доброе, доверчивое выражение, что Поланецкому невольно вспомнилась та, прежняя Марыня в лучах заходящего солнца на веранде кшменьской усадьбы.

Но после Литкиной смерти подобные воспоминания казались ему неуместными, поэтому он поднялся и стал прощаться.

— Вы не останетесь у нас на вечер? — спросила Марыня.

— Нет, мне пора.

— Я скажу Эмильке, что вы уходите,— сказала она, направляясь к двери в соседнюю комнату.

— Она о Литке думает или молится, иначе сама бы пришла. Не надо ей мешать, а я приду завтра.

— И завтра приходите, и каждый день, хорошо? Помните, вы теперь для нас «пан Стах»,— сказала Марыня, подходя к нему и с нежностью заглядывая в глаза.

Уже второй раз назвала она его так после Литкиной смерти, и Поланецкий задумался по дороге домой:

«Она ко мне очень переменилась. Держится так, словно уже моя невеста, и все оттого, что дала обещание умпрающей девочке. Обязалась меня полюбить — и обязательно себя заставит! Ну, таких у нас хоть отбавляй!»

И внезапная злость охватила его.

«Знаю я эти рыбы натуры с холодным сердцем и экзальтированной головой, набитой так называемыми принципами. Все ими делается из принципа, во имя долга, а чувств — ровно никаких! Я мог бы дух испустить у ее ног и не добиться ничего, но раз уж долг повелевает полюбить меня, она полюбит, причем всерьез».

В заграничных своих странствиях — или, во всяком случае, в прочитанных романах — Поланецкий сталкивался, видимо, совсем с иными женщинами. Но тут в нем пробудился здравый смысл.

«Послушай, Поланецкий, — заговорил голос рассудка, — но этим как раз и отличаются избранные, преданные натуры, на которые можно положиться, с кем можно связать свою жизнь. Не сходи с ума! Тебе ведь жена нужна, а не мимолетная любовная интрижка». Но Поланецкий не внял своему внутреннему голосу и продолжал упорствовать.

«Хочу, чтобы меня любили ради меня самого».

«Но ведь не важно, за что полюбили, — стал увещевать рассудок, — со временем полюбят и ради тебя самого, это в порядке вещей, важно, после скольких перипетий и взаимных обид пали вдруг все преграды, вот это почти что чудо, поистине божий промысел». Но Поланецкий все дулся.

Наконец на помощь рассудку пришло чувство — то влечение, которое он испытывал к Марыне, делавшее ее желанней всех остальных.

«Любишь ты ее или нет, — говорило оно, — но сегодня, когда ты ощутил ее близость, у тебя дыхание захватило. Отчего же тебя не бросает в дрожь рядом с другой женщиной? Подумай-ка!»

Но у Поланецкого был на все один ответ: «Рыба! Рыба с принципами!»

Однако в голове опять промелькнуло: «Лови же ее, если она все-таки предпочтительней остальных. Другие женятся, пора и тебе. Да и чего тебе, собственно, нужно?.. Той любви, над которой ты первый готов посмеяться? Ну, хорошо, любовь угасла, но осталось влечение и убеждение: она — девушка честная и надежная».

«Да, но любовь, безразлично, от ума она или от сердца, — размышлял он, — дает решимость, а какая у меня решимость? Одно колебания, сомнения, которых раньше не было. И вообще, надо еще взвесить, что лучше: панна Плавницкая или приходо-расходное сальдо фирмы «Бигель и Поланецкий»? Деньги — это могущество и свобода, а свободой вполне можно воспользоваться, лишь когда руки не связаны и сердце не занято».

Поглощенный этими мыслями, пришел он домой и лег спать. Во сне привиделись ему березы на песчаных косогорах, ясные голубые глаза, и повеяло теплом от лица, обрамленного темными волосами.

ГЛАВА ХХІ

Несколько дней спустя, когда Поланецкий собирался утром в контору, к нему пожаловал Машко.

— У меня к тебе просьба, даже две,— сказал он. — Начну с денежной, тут легче сказать «да» или «нет».

— Финансовыми делами я, мой дорогой, занимаюсь в конторе, поэтому начни лучше со второй.

— Контора ваша тут ни при чем, просьба у меня частная. Деньги мне нужны, потому что я, как ты знаешь, женюсь. Расходов у меня больше, чем волос на голове, и вдобавок уйма неотложных платежей. И тебе платить тоже подходит срок — первый взнос по кшменьской закладной. Так вот, не можешь ты отложить этот платеж еще на квартал?

— Если говорить совершенно откровенно, могу, но не хочу.

— Откровенность за откровенность: а что, если я не уплачу в срок?

— Что ж, со всяким бывает,— отвечал Поланецкий,— но ты, я знаю, заплатишь, не считай меня, пожалуйста, глупее, чем на самом деле.

— Почему ты так в этом уверен?

— Ты женишься, притом на богатой невесте; слухи о твоей несостоятельности могли бы тебе повредить. Из-под земли достанешь, но заплатишь.

— Из пустого кувшина сам Соломон ничего не выпедит.

— Выпедил бы, поучись он у тебя. Ты, между нами говоря, всю жизнь только этим и занимаешься.

— Так, значит, ты уверен, что заплачу?

— Да.

— Ты не ошибся. И я, конечно, не вправе просить тебя об одолжении. Но я устал от всего от этого. Без конца изворачиваться, просить у одного, чтобы заткнуть рот другому,— никаких сил не хватает!.. Но скоро я вроде бы брошу якорь. Через два месяца пристану к берегу, только пара мало в котлах... Что ж, не хочешь выручить, придется кшменьский лес вырубить, другого ничего не остается.

— Да какой там в Кшмене лес? Старик Плавницкий небось все уже повырубил.

— А за усадьбой, туда, к Недзялкову, большая дубрава.

— Верно, там есть.

— Вы, по-моему, с Бигелем и с такими делами управляетесь. Так вот, купите у меня лес. Мне, по крайней мере, покупателя не искать, а вы будете с барышом.

— Я поговорю с Бигелем.

— Значит, ты не против?

— Нет. Если дешево отдашь, может, я и сам... Но надо прежде прикинуть все выгоды и невыгоды такого дела. И ты тоже прикинь и давай твои условия. Пришли опишь, сколько там леса и какого сорта. Я не помню.

— Пришлю через час.

— Тогда я дам тебе вечером ответ.

— Но одно условие я хотел бы оговорить заранее: раньше двух месяцев лес не вырубать.

— Почему?

— Эта дубрава — истинное украшение Кшемена, и после свадьбы я ее у тебя откуплю, в накладе ты, разумеется, не останешься.

— Там видно будет.

— Кроме того, мергель. Помнишь, ты сам говорил. По оценке Плавицкого его там на миллионы, что, конечно, ерунда, но в умелых руках и это может оказаться делом прибыльным. Подумайте с Бигелем, я принял бы вас в долю.

— Если дело стоящее, почему бы и нет? Фирма наша для того и существует.

— Но об этом потом, давай вернемся к дубраве. В общих чертах сделка наша такова: я в обеспечение долга уступаю тебе дубраву — или часть ее, в зависимости от стоимости — вместо первого взноса по закладной, а ты обязуешься ее не вырубать в течение двух месяцев.

— Ну что ж, это меня, пожалуй, устраивает, — сказал Поланецкий. — Потом, конечно, возникнут такие вопросы, как доставка леса на железную дорогу и тому подобное, но это мы обсудим при заключении контракта, если вообще до этого дойдет.

— Ну, хоть эта забота с плеч! — вздохнул Машко, потирая лоб. — Мне ежедневно десятки таких вот дел приходится улаживать, представляешь, это не считая переговоров с пани Краславской, которые стоят всего остального. Да еще за невестой ухаживай... — махнул рукой Машко и, запнувшись, прибавил: — Тоже нелегко.

Поланецкий удивленно посмотрел на него. В устах Машко, который слова не скажет без оглядки на светские приличия, это было неожиданно.

— Но не в этом дело... — продолжал между тем Машко. — Помнишь, мы чуть не поссорились перед смертью Литки... Ты был расстроен и раздражен, я упустил из вида, как ты привязан к ней, и вел себя просто по-хамски... Прости меня, я сам во всем виноват.

— Кто старое помянет... — отвечал Поланецкий.

— Я к тому, что у меня еще одна просьба. Окажи услугу: друзей у меня нет, родственники, какие есть, того не стоят, а шаферы нужны, ума не приложу, где их взять, куда толкнуться...

Приходилось, конечно, вести дела разных знатных баричей... Но просить только ради титула первого попавшегося шута горохового неловко как-то, да и желания нет. А хочется, чтобы шаферами у меня были люди достойные и — скажу прямо — с положением. Теща и невеста придают этому большое значение. Короче: согласен ты быть моим шафером?

— В другое время я бы не отказал. Сейчас все объясню. Ты видишь, у меня ни крепа нет на шляпе, ни плерезов на сюртуке, вроде бы я не в трауре, но поверь: горюю так, будто собственного ребенка потерял.

— Прости, я не подумал об этом, — сказал Машко.

Его слова тронули Поланецкого.

— Если другого выхода не будет... и ты действительно никого не найдешь, придется, видно, согласиться, но, честно говоря, после таких похорон тяжело быть на свадьбе.

Он не сказал, правда, «на такой свадьбе», но Машко угадал его мысли.

— И потом еще одно, — продолжал Поланецкий. — Ты, наверно, слышал о бедняге докторе, который безнадежно был влюблен в твою невесту. Осуждать ее за то, что она не отвечала взаимностью, нельзя, конечно, но он за это жизнью заплатил: уехал куда-то к черту на куличики и умер, понимаешь? А мы в приятельских отношениях были, он мне свои горести поверял, плакался в жилетку... Ну скажи сам, могу я после этого быть шафером другого?..

— Неужто он и правда умер от любви к моей невесте?

— А ты что, не знал?

— Первый раз слышу и просто ушам своим не верю.

— Оказывается, уже помолвка, а не только женитьба меняет человека... Я тебя не узнаю.

— Я же тебе сказал, что устал безумно, просто дух вон, тут уж не до маски.

— До какой маски?

— До такой, что есть две категории людей. Одни живут, как бог на душу положит, поступая по обстоятельствам; у других есть жизненная программа, которой они более или менее придерживаются. Так вот, я отношусь к этим последним. Привык носить благопристойную личину, она стала моей второй натурой. Но представь, что идешь с кем-нибудь в страшную жару; тут и самый что ни на есть *comme il faut*¹ не выдержит и не только сюртук, но и жилет расстегнет... Вот и я позволил себе расстегнуться.

— То есть?

— То есть я просто потрясен, что кто-то мог без памяти влюбиться в мою невесту, в ней ведь все неестественно: и мысли, и движения, и слова — холодная, чопорная, будто заводная кукла, как ты однажды сказал в сердцах. Так оно и есть, совершенно с

¹ благовоспитанный (фр.).

тобой согласен. Но я не хочу, чтобы ты думал обо мне хуже, чем я заслуживаю. Да, я не люблю ее, и моя женитьба — это брак по расчету, такому же трезвому, холодному, как сама невеста. Влюблен я был в панну Плавичскую, но она меня отвергла. А на Краславской женюсь ради ее состояния. Ты скажешь, это непорядочно, на это я возражу тебе: тысячи так называемых порядочных людей, которым ты подаешь руку, поступали и поступают так же. И живут, пусть без особых радостей, и никакой трагедии в этом нет. Сначала хуже, потом лучше. Приходит на помощь привычка, сближают прожитые вместе годы, которые приносят что-то вроде привязанности, дети; так оно и идет, ни шатко ни валко. И таких браков большинство, потому что большинство предпочитает ходить по земле, а не витать в облаках. Гораздо хуже, если муж, скажем, существо земное, а жена — небесное создание или наоборот, тогда никакое согласие невозможно. Что до меня, я всю жизнь жили из себя тянул. Родом я из бедной семьи и не скрываю, что хочу выбиться в люди. Можно бы остаться безвестным адвокатишкой и только деньги копить, сколотил бы состояние — сыну открыл в жизни дорогу. Но как это не рожденных еще детей любить, я этого не умею. И потом, сам хочу что-то значить, определенное положение занимать, какое у нас возможно занять, весить в своем кругу. Так вот и вышло: что адвокат наживет, то grand seigneur¹ спустит. Положение, как известно, обязывает. Но мне уже надоело это безденежье и вечное верчение: там отрежешь, тут залатаешь. Вот почему я и женюсь на панне Краславской, а она, в свой черед, выходит за меня, принимая меня за того, за кого я себя выдаю, — за важного барина, который балуется адвокатурой... Так что мы квиты с ней, никакого подвоха, обмана тут нет, или, вернее, оба друг дружку обманываем одинаково. Вот тебе вся правда, можешь, если угодно, меня презирать.

— Клянусь, я никогда не уважал тебя больше, — отвечал Поланецкий. — Кроме чистосердечия, еще и удивительная смелость.

— Благодарю за комплимент, но при чем тут смелость?

— При том, что ты, нисколько не обольщаясь, все-таки женишься на ней.

— Это скорее свидетельствует об уме. Да, я хотел жениться на богатой, но не думай, что взял бы первую попавшуюся! Нет, любезный друг, вступая в брак с панной Краславской, я знаю, что делаю. У нее масса достоинств, для такого брака поистине неопенимых. Женой она будет малопривлекательной: холодной, надутой, даже высокомерной, если ее не приструнить. Зато соблюдение приличий для них с матерью — настоящее священнодействие, они до тонкостей знают, что «принято», что «не принято» и вообще все так называемые светские условности. Это во-первых. Во-вторых, она уж никак не авантюристка по натуре, и хотя совместная жизнь с ней радости не сулит, но не сулит и скандалов. И потом, она во

¹ вельможа (фр.).

всем очень педантична, а это немаловажно не только в отношении религиозных обрядов, но и будущих супружеских обязанностей. Счастья с ней я не узнаю, зато обрету покой, и, как знать, может, от жизни большего и требовать нельзя. И тебе, друг мой, тоже советую: выбирай жену прежде всего спокойную. Возлюбленная может быть какая угодно: пикантная, пылкая, романтическая, утонченная. Но в жене, с которой надо жизнь прожить, ищи того, на что можно опереться: уравновешенности.

— Никогда я тебя глупым не считал, но ты, оказывается, еще умнее, чем я думал.

— Возьми наших женщин, к примеру, из деловых, финансовых кругов. Они воспитываются на французских романах, и знаешь, кем потом становятся в собственных глазах?

— Представляю более или менее, но с удовольствием слушаю тебя, ты сегодня завидно красноречив.

— Непогрешимыми богинями и судительницами.

— А для мужей?

— Лицемерками и мучительницами.

— Это, пожалуй, больше относится к очень богатой и не имеющей традиций среде. Там — все внешность и туалет, а внутри — не душа, а более или менее изящный хищный зверек.

— Да, но именно этот мир с его богатством и роскошью, с его забавами и повальным дилетантизмом — художественным, литературным, даже религиозным, задает тон и всеми дирижирует.

— Нас это пока не коснулось.

— Нас пока еще не очень. Впрочем, бывают и исключения, тем более вне этой среды. Вот хотя бы панна Плавицкая. Какое спокойное, безмятежное счастье сулит жизнь с такой женщиной, притом очаровательной! Но увы, она не про меня.

— Ай да Машко! В уме твоём, должен признаться, я не сомневался, но пылкости такой не ожидал.

— А как ты думал! Ведь как-никак я в Плавицкую был влюблен, а женюсь вот на Краславской.

Последние слова Машко выговорил чуть ли не со злостью. Наступила минувшая пауза.

— Значит, ты отказываешься быть у меня шафером? — спросил он.

— Дай подумать.

— Через три дня я уезжаю.

— Куда?

— В Петербург. По делам. И пробуду там недель две.

— Когда вернешься, дам тебе ответ.

— Ладно. Сегодня же пришлю тебе план дубравы с указанием количества и размера стволов. Главное — пока не платить!

— А я сообщу тебе мои условия.

Машко простился и ушел, вскоре отправился к себе в контору в Поланецкий. Посоветовавшись с Бигелем, он решил сам купить лес, если дело окажется стоящим. Что-то тянуло

его зацепиться как-нибудь за Кшемень — что, он еще не отдавал себе отчета. Вернувшись домой, Поланецкий предался размышлениям о сказанном Машко про Марыню. Да, Машко прав, жизнь с такой женщиной будет не только безмятежно счастливой, но и полной очарования. Но при этом он не мог не отметить, что отдает предпочтение скорее вообще типу женщин, к которому принадлежала Марыня, чем ей самой. И стал уличать себя в явной непоследовательности. С одной стороны, ему до отвращения, даже злобы претили всякие сердечные узы и привязанности, которые только стесняют и мучают. При одной мысли об этом он внутренне содрогался. «Хватит! Довольно с меня! — говорил он себе. — Это недуг, который подрывает здоровье и выбивает из колеи». Но с другой стороны, он был чуть ли не в претензии на Марыню за то, что она не воспылала к нему такой нездоровой страстью, а склонна полюбить его скорей из чувства долга. И еще: отвергая любовь, он все-таки недоумевал, отчего она так быстро стала угасать и отчего Марыня была ему дороже, когда от него отвернулась, чем теперь, когда выказывает ему свое расположение.

«В конце концов, — рассуждал Поланецкий, — влюбленный становится сам не свой, теряет голову, словом, будь она неладна, эта любовь! У панны Плавицкой больше достоинств, чем она сама догадывается: обязательна, справедлива, спокойного нрава, хороша собой, и притом меня влечет к ней, — и все-таки я чувствую: она уже перестала быть для меня тем, чем была, что-то во мне, черт возьми, перегорело!»

«Но что именно? — продолжал он рассуждать. — Если способность любить, оно и к лучшему, — ведь я пришел к заключению, что любовь непростительная глупость; однако в таком случае надо бы радоваться, а я нисколько этому не рад».

Наверно, пришло ему на ум, у него сейчас просто упадок сил, как после тяжелой болезни или операции, и жизнь с ее каждодневными заботами поможет избыть это недомогание.

Под «каждодневными заботами» подразумевал он работу в конторе.

В ресторане, куда Поланецкий зашел пообедать, застал он Васковского; два официанта в сторонке поглядывали на старика и перемигивались, когда тот, подняв кверху вилку с куском мяса, застыл в такой позе или начинал бормотать что-то себе под нос. Последнее время Васковский возымел обыкновение разговаривать сам с собой, причем так громко, что прохожие оборачивались на улице. И сейчас он с отсутствующим видом поднял на Поланецкого голубые глаза и заговорил, точно очнувшись ото сна и следуя за ходом занимавшей его мысли:

- По ее словам, она так будет ближе к дочери.
- Кто «она»?
- Пани Эмилия.
- Что значит «ближе»?

— Она хочет вступить в общину милосердных сестер.

Поланецкий замолчал, пораженный этим известием. Сколько ни философствовал он, порицая чувство, рассуждая о нем как о недуге всего общества, две святыни оставались в его душе неприкосновенны: Литка и пани Эмилия. Литка теперь стала лишь дорогим для него воспоминанием, но к пани Эмилии он питал прежнюю братскую нежность, которой никогда не касались его сомнения.

Некоторое время он помолчал, собираясь с мыслями, потом сердито взглянул на Васковского.

— Это вы ее уговорили. Не собираюсь пускаться сейчас с вами в рассуждения о мистицизме, о ваших сомнительных, на мой взгляд, идеях, но знайте: вы будете повинны в ее смерти — у нее просто-напросто не хватит физических сил ходить за больными, и больше года она не протянет, понимаете?

— Дорогой мой,— отвечал Васковский,— вот ты уже и осудил меня, не выслушав. А задумывался ты когда-нибудь над значением слова «праведник»?

— Мне не до слов, когда речь идет о жизни близкого человека.

— Она вчера совершенно неожиданно сообщила мне о своем решении, и я спросил: «Дитя мое, а хватит ли у тебя сил, ведь это тяжелый труд?» А она улыбнулась и сказала: «Не отговаривайте меня, в этом мое утешение и счастье. Если окажется, что я непригодна, меня не возьмут, а примут и у меня не достанет сил, мы быстрее соединимся с Литкой: я так тоскую по ней!» И с такой простотой и верой сказала — разве я мог ей возразить? А ты сам как поступил бы на моем месте? Даже неверующий, и тот не осмелился бы сказать ей, что Литки нет и что исполненная труда, милосердия и самоотречения жизнь, благочестивая смерть могут не соединить их... Придумай для нее лучшее утешение, если можешь! Подай другую надежду, если найдешь; успокой, если знаешь как. Скажи откровенно, осмелишься ты ее отговорить, когда с ней увидишься?

— Нет,— ответил Поланецкий и прибавил: — Кругом сплошные огорчения!

— Единственное, что можно сделать,— продолжал Васковский,— это попытаться уговорить ее не обрекать себя на непосильный труд сестры, а удалиться в какой-нибудь монастырь. Есть такие, где человек, сей ничтожный атом, как бы растворяется в созерцании бога, переставая жить для себя, а стало быть, и страдать...

Поланецкий махнул рукой.

— Не разбираюсь в этом,— сказал он резко,— и не желаю разбираться.

— Я тут прихватил с собой итальянскую книжку о монашеском ордене назаретянок,— сказал Васковский, расстегивая сюр-

тук. — Вот только куда она подевалась? Помнится, в карман ее сунул перед уходом...

— На что мне ваши назаретянки?

Васковский между тем в поисках книжки за сюртуком расстегнул и жилет.

— Что ж это я ищу? — задумчиво спросил он. — Ах, да, итальянскую книжку. Через несколько дней я уезжаю в Рим. И надолго, очень надолго. Помнишь, я сказал как-то: этот город — преддверие иного мира? А мне пора в царство божие. Очень бы хотелось, чтобы пани Эмилия со мной поехала, но она никуда от своей дочки не уедет. Останется здесь ходить за болящими. Но может, все-таки устав назаретянок пришелся бы ей по сердцу?.. Он прост и ясен, как заповеди первых христиан... Скоро в путь... Не разум влечет меня туда — там лучше нас смыслят, но сердце, любящее сердце всех малых сих.

— Застегните жилетку, — сказал Поланецкий.

— Сейчас. Ты хотя и горяч, но человек с душой, и я бы поделился с тобой кое-какими заветными мыслями... Видишь ли, христианство не только что себя не исчерпало, как полагают иные философствующие недоумки, оно лишь половину своего пути проделало.

— Дорогой мой друг, — отозвался Поланецкий мягче, — я с удовольствием выслушаю вас, но только не сегодня, сейчас я ни о чем, кроме пани Эмилии, думать не могу; у меня комок в горле... Ведь это форменная катастрофа!

— Для нее — нет! И жизнь, и смерть — равное благо для нее.

— Господи, даже дружба страдания причиняет, — пробормотал Поланецкий, — что уж говорить о любви. Всякая привязанность несет одни огорчения. Прав Букацкий... Предайся мыслям — беда, отдайся чувствам — тоже, что за жизнь!..

На этом разговор прервался, верней, перешел в монолог Васковского о Риме и христианстве. Пообедав, они вместе вышли; мимо, позванивая бубенцами, проносились санки, и на улице было по-зимнему оживленно, с утра выпало много снега, а под вечер установилась ясная морозная погода.

— Застегните, пожалуйста, жилетку, — повторил Поланецкий, заметив, что Васковский по-прежнему расстегнут.

— Сейчас, — ответил тот, просовывая в жилетную петлю пуговицу от сюртука.

«Славный, однако, старик, — думал Поланецкий по дороге домой. — Но привяжись я к нему покрепче, с ним непременно приключится беда, просто рок какой-то. Хорошо, что он мне довольно безразличен».

Он, конечно, себя обманывал, стараясь внушить себе нечто прямо противоположное, ибо на самом деле питал самые добрые чувства к Васковскому и совсем не был равнодушен к его судьбе.

Первое, что он увидел дома, было улыбающееся личико Литки, глядевшее на него с портрета, присланного в его отсутствие Марыней. Поланецкого это взволновало до глубины души. Он всегда испытывал волнение при воспоминании о девочке или при виде ее карточки. Ему казалось тогда, что любовь к ней, схороненная в тайниках души, оживает с новой, неслабеющей силой, заливая его волной нежности и печали. И воскресающая эта печаль причиняла такую острую боль, что он избегал воспоминаний о Литке, как бессознательно избегают боли. Но на этот раз печаль была приятна. Литка улыбалась ему в свете лампы, словно говоря: «Пан Стах». А вокруг ее головки на белом паспарту зеленели четыре березки, нарисованные Марыней.

Долго он не сводил глаз с портрета. «Теперь я знаю, в чем счастье,— мелькнуло у него в голове,— оно в детях». Но тотчас же возразил себе: «Своих детей я никогда не буду так любить, как эту бедняжечку».

Вошел слуга и подал ему Марынино письмо, которое принесли вместе с портретом. «Папа просит вас зайти к нам вечером,— писала Марыня.— Эмилька сегодня перебралась к себе, ей хочется побыть одной. Посылаю фотографию Литки и очень прошу прийти — надо поговорить об Эмильке. Папа пригласил также пана Бигеля и обещался занять его, так что мы сможем побеседовать спокойно».

Пробежав письмо, Поланецкий переоделся, почитал немного и отправился к Плавицким.

Бигель уже четверть часа как пришел и играл с Плавицким в пикет; Марыня сидела поодаль у маленького столика с каким-то рукодельем. Поланецкий, поздоровавшись со всеми, подошел к ней.

— Большое спасибо за фотографию,— сказал он. — Увидел я ее неожиданно, и Литка возникла передо мной, как живая; я долго не мог опомниться. Вы знаете, такие мновения — истинное мерило нашего горя, всей глубины которого мы даже не сознаем. Спасибо вам! И за четыре березки тоже... Что до пани Эмилии, я уже все знаю от Васковского. Но что это — намерение или твердое решение?

— Скорее твердое решение.

— И что вы об этом думаете?

Марыня подняла на него глаза, словно ища поддержки.

— Ей это не под силу,— вымолвила она наконец.

Помолчав, Поланецкий беспомощно развел руками.

— Мы уже говорили с Васковским,— сказал он. — Я накинулся на него, подумав, что это его идея, но он клянется, что непричастен к этому. И сам стал спрашивать: а какое утешение можно дать ей взамен, и я не нашел ответа. И правда: что ей еще остается в жизни?

— Да,— тихо отозвалась Марыня.

— Думаете, я не знаю, откуда у нее это желание? Она хочет поскорей умереть, но религия не позволяет ей лишить себя жизни. И вот, зная, что труд этот ей не по силам, именно поэтому и берется за него.

— Да,— повторила Марыня, низко склоняясь над работой. Поланецкий видел только ровную ниточку пробора в ее темных волосах. Перед ней стояла коробочка с бисером, которым она расшивала разные вещицы для благотворительной лотереи, и слезы, смешиваясь с бисеринками, закапали из ее глаз.

— Я все равно вижу, что вы плачете,— сказал Поланецкий. Она подняла заплаканное лицо, словно и не стараясь скрыть от него слезы.

— Эмилька правильно поступает, я знаю, но очень жаль ее!..

Поланецкий, волнуясь и не находя слов, впервые со времени их знакомства поцеловал ей руку. Бисеринки из глаз Марыни посыпались еще чаще, и она вынуждена была встать и выйти.

Поланецкий подошел к игрокам, как раз когда Плавичкий кисло-сладким тоном говорил своему партнеру:

— Опять рубикон! Нелегко, нелегко. Но вы — представитель нового времени, а я — приверженец старых традиций... и должен быть побежден.

— Какое это имеет отношение к пикету? — невозмутимо отпарировал Бигель.

Вскоре Марыня вернулась, объявив, что чай подан. Глаза у нее слегка покраснели, но лицо было приветливо и спокойно. И после чая, когда Бигель с Плавичким снова засели за карты, она пустилась с Поланецким в такой тихий и доверительный разговор, какой бывает только между близкими людьми, которых многое связывает в жизни. И хотя их связали смерть Литки и горе пани Эмилии, это не мешало Марыниным глазам улыбаться Поланецкому — печально и вместе с тем радостно.

И поздно вечером, после ухода Поланецкого, он стал для нее в мыслях уже просто «Стахом».

А сам он впервые после смерти Литки вернулся домой в хорошем настроении. И, расхаживая по комнате, останавливался то и дело перед ее портретом с четырьмя березками, нарисованными Марыней, и думал, что узы, которыми их соединила Литка, безо всякого вмешательства, а просто сами собой, как бы некой таинственной силой вещей, становятся с каждым днем все крепче. И пусть прежней, давней охоты упрочить эти узы у него нет, решимости порвать их, особенно теперь, сразу после Литкиной смерти, тоже не хватает.

Уже ночью занялся он просмотром присланных Машко бумаг. Но не мог сосредоточиться и все делал ошибки в подсчетах,— ему виделась Марыня, как она сидит с поникшей головой и слезы ее падают в коробочку с бисером. На другой день он купил у Машко лес, кстати, очень выгодно.

Через две недели вернулся из Петербурга Машко, довольный удачным оборотом своих дел, и привез важную новость, сообщенную ему, как он уверял, конфиденциально и пока никому не известную. Прошлый урожай повсеместно был очень плох, и будущий год угрожал быть голодным. Уже сейчас появлялись зловещие признаки этого, а к весне, с истощением хлебных запасов, бедствие, как легко было предположить, могло стать всеобщим. Ввиду этого люди сведущие стали поговаривать о возможном запрете на вывоз зерна за границу, — такого рода слухи Машко и привез, утверждая, что они из самых надежных источников. Это известие произвело на Поланецкого большое впечатление, и он несколько дней провел взаперти с карандашом в руках, после чего отправился к Бигелю, предложив использовать все наличные деньги, а также кредит для оптовой закупки зерна.

Бигель вначале испугался — но его обыкновенно всякое начинание пугало. Поланецкий, впрочем, не скрыл, что это операция крупного масштаба, от которой зависит вся их дальнейшая судьба. Полная неудача была маловероятна, зато в случае успеха они сразу становились состоятельными людьми. Что из-за нехватки зерна цены на него и за границей подскочат, было заранее ясно. Можно было также ожидать, что возможность сделок с иностранными хлеботорговцами будет ограничена; но это едва ли коснется контрактов, заключенных перед тем. Так или иначе повышение цен на внутреннем рынке сомнений не вызывало. И Поланецкий, насколько был в силах, все это прикинул и рассчитал, так что Бигель как человек здравомыслящий при всей своей осторожности не мог не признать, что шансы у них есть и жаль их упускать.

После нескольких совещаний он наконец сдался, и Поланецкий настоял на своем: главный комиссионер фирмы Абдульский в скором времени выехал за границу с полномочиями закупать зерно этого и будущего урожая.

Вслед за Абдульским отправился в Пруссию Бигель, и Поланецкий остался один во главе фирмы, трудясь с раннего утра до позднего вечера и почти нигде не показываясь.

Но в предвкушении больших барышей, которые откроют ему широкое поле деятельности в будущем, он не замечал, как летело время. Взялся за это дело и вовлек в него Бигеля Поланецкий прежде всего потому, что считал его прибыльным. Но были у него и другие соображения. Их торговый дом, его операции предоставляли ему слишком тесное поприще, не дававшее — он это чувствовал — приложить все силы и способности, применить свои специальные знания. И какие это, в сущности, были операции? Подешевле купить, подороже продать и положить выручку в карман — только и всего. Самим заключать

сделки или посредничать — Поланецкому этого было мало. «Хотелось бы изготавливать что-нибудь или добывать, — говаривал он Бигелю, когда уставал или был не в духе. — По сути, мы всего лишь стараемся так направить находящийся в обращении денежный поток, чтобы хоть маленькая струйка забежала к нам в кассу, а производить ничего не производим». Так оно и было. Поланецкий же мечтал, нажив состояние и располагая капиталом, приняться за какое-нибудь дело, позволяющее развернуться, дающее выход творческой энергии.

Такой случай, по его убеждению, представился сейчас, и он ни за что не хотел его упускать.

«А об остальном подумаю потом», — повторял он про себя.

Под «остальным» подразумевал он потребности духовные и сердечные: свое отношение к вере, к людям, к родине и любви. Он понимал: только выяснив все это, можно обрести покой и твердую почву. Иные всю жизнь обходятся без этого, меняя свои взгляды в угоду любому веянию. Поланецкий этого не принимал. В теперешнем своем состоянии он скорее склонен был решать эти вопросы с прямолинейной трезвостью позитивиста или материалиста, но понимал, что решать необходимо.

«Надо знать, для чего я живу», — говорил он себе.

Тем временем он много работал и почти ни с кем не встречался. Но отгородиться от всех не мог. И убедился, что даже самое сокровенное, сокрытое в тайниках души не зависит только от тебя — на ход мыслей и продиктованные ими поступки влияют внешние обстоятельства и люди, как близкие нам, так и далекие. Это подтвердилось во время прощального визита к пани Эмили, которая в те дни с терпением ждала, когда ее примут в общину сестер.

Как ни был он занят, но к ней все-таки забегал, хотя несколько раз не заставал, а однажды столкнулся у нее с пани Бигель и Краславскими, матерью и дочкой, чье присутствие его очень стесняло. Наконец, когда Марыня сообщила, что пани Эмилия через несколько дней принимается в новицы, он пошел с ней проститься.

Она была спокойна, даже весела, но у него сердце сжалось при взгляде на ее бледное, отливающее перламутром лицо с голубыми жилками на висках. Она была красива, но какой-то уже неземной красотой, и Поланецкий подумал: «Мы прощаемся навсегда, она не протянет там и месяца; вот еще одна привязанность, от когорой только горе и страдания».

Пани Эмилия заговорила о своем решении как о чем-то обыденном, само собой разумеющемся, естественном следствии всего происшедшего, лишившего ее жизненной опоры, и он понял: отговаривать ее было бы бессмысленно и бесчеловечно.

— Вы останетесь здесь, в Варшаве? — спросил он.

— Да. Я хочу быть поближе к Литке, и общинная настоятельница разрешила мне остаться дома, пока я не приобрету

нужных навыков, а потом переберусь в одну из здешних больниц. Конечно, если ничего не помешает. Пока я буду дома, мне разрешат по воскресеньям навещать Литкину могилу.

Поланецкий молчал, стиснув зубы.

«И с такими руками она хочет ухаживать за больными?» — подумал он, взглянув на ее нежные, точно вылепленные из воска пальчики.

Но в то же время он догадывался, что хочет она совсем другого. Под ее внешним спокойствием и смирением скрывалась безмерная мука, которая была страшнее смерти и которую облегчить могла только смерть. Умереть, но не беря на душу греха, а в добродетели, воздаянием за каковую и будет ее соединение с Литкой...

И Поланецкий лишь теперь уразумел, что бывает разная степень горя и страдания. Ведь вот и он любил Литку, но скорбь и воспоминания о ней не вытеснили у него интереса к жизни, каких-то стремлений, мыслей, ожиданий. А у пани Эмилии не осталось ничего, будто она сама умерла вместе с дочерью, и если ее еще что-то занимало, если будило какие-то чувства к ближним, то лишь в связи с Литкой, из-за Литки, для Литки.

Поланецкому тяжело было это последнее свидание. Он искренне был привязан к пани Эмилии и чувствовал, что теперь эти узы порываются навсегда и пути их расходятся; он пойдет своим, а она делает все, чтобы поскорей погасить свою жизнь, возлагая на себя бремя благословенное, но непосильное, приближающее конец.

Мысль эта сковала ему язык. Но в последнюю минуту чувства прорвались наружу.

— Милая, бесконечно дорогая пани Эмилия! — в волнении вымолвил он, целуя ей руку. — Спаси и помилуй вас бог!

Ему не хватило слов, а она сказала, не отнимая у него руки:

— Я до самой смерти не забуду, как добры были вы к Литке. Марыня мне сказала, что Литка вас соединила, и я верю: вы будете счастливы, иначе господь не внушил бы ей этого. При каждой встрече с вами я буду думать, что ваше счастье — Литкина заслуга. Пусть ее желание исполнится побыстрее, и да благослови вас бог!

Поланецкий ничего не ответил, а по дороге домой подумал: «Литкино желание!.. Она не допускает даже мысли, что можно его не исполнить, — разве я мог ей сказать, что не питаю к панне Плавицкой прежних чувств...»

Вместе с тем ясно было, что дальше так продолжаться не может и отношения с Марыней в ближайшее же время надобно скрепить либо разорвать, положив конец неопределенности, чреватой недоразумениями и сложностями. Ясно было: нельзя тянуть, иначе это будет непорядочно. И его снова охватило беспо-

койство; казалось, как ни поступи, счастья это все равно не принесет.

Дома он нашел записку от Машко такого содержания:

«Заходил к тебе сегодня два раза. Какой-то полоумный в присутствии моих подчиненных нагрубил мне из-за того, что я продал дубраву. Фамилия его Гонтовский. Зайду к вечеру, надо переговорить».

Не прошло и часа, как Машко явился.

— Ты знаешь этого Гонтовского? — не снимая пальто, спросил он.

— Знаю. Сосед и дальний родственник Плавицкого. А что такое, что случилось?

— Понять не могу, откуда он узнал о продаже леса, — ответил Машко, снимая пальто. — Я никому ничего не говорил, мне же как раз важно было, чтобы не узнали.

— Абдульский, наш агент, ездил осматривать дубраву. От него он и мог узнать.

— Послушай, как все было. Сижу я у себя в конторе, приносят визитную карточку Гонтовского. Я понятия не имел, кто это такой, велю впустить. Входит какой-то субъект и прямо с порога начинает меня допрашивать: правда ли, что я продал дубраву и хочу продать часть земли? Я, естественно, вопросом на вопрос: а какое ему, собственно, дело? А он мне: вы, говорит, обязались выплачивать пожизненно пенсион Плавицкому, а если разорите имение таким хищническим хозяйствованием, с вас и взыскивать будет нечего. Ты догадываешься, конечно, что я ему посоветовал надеть шляпу, застегнуться хорошенько, чтобы не простудиться, и уходить, откуда пришел. Он раскричался, обозвал меня в присутствии всех лежецом и мошенником, сообщил, что остановился в гостинице «Саксония», и удалился. Ты случайно не знаешь, где тут собака зарыта и что сие все значит?

— Знаю. Во-первых, человек он недалекий и неотесанный. Во-вторых, он много лет влюблен в панну Плавицкую, вот и счел своим долгом рыцаря заступиться.

— Ты ведь знаешь, меня нелегко вывести из себя, но тут у меня такое ощущение, будто все это в каком-то сне. Чтобы меня кто-то посмел оскорбить за то, что я продаю свою же собственность, — нет, это уму непостижимо!

— Ну и что ты намерен предпринять? Плавицкий первый же намылит ему шею и заставит перед тобой извиниться.

Лицо Машко исказила такая холодная, бешеная злоба, что Поланецкому невольно подумалось: «Ну, заварил наш увалень кашу, не догадывается небось, что с Машко ему так просто ее не расхлебать».

— Я никому еще не позволял оскорблять себя безнаказанно и не позволю, — сказал Машко. — А он меня не только оскорбил, но еще и такую свинью подложил, сам даже не подозревает.

— Он молокосос и невменяемый к тому же.

— Бешеная собака тоже невменяема, однако ее пристреливают. Как видишь, я совершенно спокоен, так вот, послушай, что я тебе скажу: для меня это катастрофа, и еще вопрос, сумею ли я оправиться.

— Говоришь ты спокойно, но тебя душит злость, и поэтому ты преувеличиваешь.

— Нисколько. Наберись терпения и выслушай до конца. Дело вот как обстоит: если женитьба моя расстроится или хотя бы отложится на несколько месяцев, все полетит к черту: и моя репутация, и кредит, и Кшемень, все. Я уже тебе говорил: пар у меня в котлах на исходе, время остановиться. Краславская идет за меня не по любви, а потому что ей двадцать девять лет и в ее глазах это партия если и не блестящая, то, во всяком случае, вполне приличная. Но если окажется, что все это только одно звание, она тотчас порвет со мной. Узнай сегодня мамаша с дочкой, что я продал кшеменьскую дубраву, нуждаясь в деньгах, мне завтра же отставку дадут. Теперь вот и сообрази: скандал-то публичный был, при моих подчиненных. Утаить его не удастся. Допустим, продажу еще можно как-то объяснить, но оскорбление — от него никуда не денешься. Если я не потребую удовлетворения у Гонтовского, меня сочтут проходимцем, который не дорожит своей честью, а вызову (не забывай: они — ханжи, каких свет не видывал, этикет для них важнее всего), отвернутся от меня, как от скандалиста. Если застрелю Гонтовского, порвут со мной, как с убийцей, а он меня ранит — порвут, как с недотепою, который не умеет постоять за себя. Девианство шансов из ста, что они именно так и поступят. Теперь понятно тебе, почему я сказал, что я конченный человек и пропало все: и мой кредит, и репутация, и Кшемень?

Поланецкий махнул беспечно рукой с безучастностью мужчины к другому мужчине, до которого ему мало дела.

— Ба! — воскликнул он. — Кшемень могу и я у тебя купить. Но положение действительно пиковое. Как ты думаешь с Гонтовским поступить?

— Обиды я до сих пор никому не спускал, — ответил Машко. — Шафером моим ты отказался быть, так, может, согласишься быть секундантом?

— В этом не могу отказать.

— Благодарю. Гонтовский остановился в «Саксонии».

— Завтра я буду у него.

После ухода Машко Поланецкий собрался к Плавицким, думая провести у них остаток вечера.

«С Машко шутки плохи, — размышлял он по пути, — это может печально кончиться, но мне-то какое дело? И вообще, что они все для меня и что я им? Как, в сущности, одинок на свете человек!»

Но внезапно понял: Марыня — вот единственное небезразличное ему существо, которому и до него есть дело.

И едва вошел в комнату, как ее рукопожатие тотчас это подтвердило.

— Я знала, что вы придете, — сказала он своим приятным, спокойным голосом. — Видите, для вас и чашка поставлена.

ГЛАВА XXIII

У Плавицких Поланецкий застал Гонтовского. Молодые люди поздоровались сдержанно, с явным недружелюбием. Гонтовский в тот день чувствовал себя особенно несчастным. Старик Плавицкий, как обычно, подтрунивал над ним — даже больше обычного: он был в отменном расположении духа, рассчитывая на изрядное наследство после кончины Плошовской. Марыню сковывало присутствие Гонтовского, и, скрывая это, она была с ним подчеркнуто любезна и приветлива. Поланецкий же делал вид, будто вовсе его не замечает. Старик Плавицкий ничего, по-видимому, не знал, и Гонтовский боялся, как бы Поланецкий не выдал его, намекнув о ссоре с Машко.

Поланецкий сразу смекнул, что заинтересованный в его молчании «увалень» попал к нему в зависимость, и, хотя ради Машко не стал рассказывать о случившемся, не мог отказать себе в удовольствии подразнить Гонтовского. И принялся впервые после смерти Литки ухаживать в этот вечер за Марыней, что явно доставляло ей удовольствие. Оставив Гонтовского наедине с Плавицким, они прохаживались по комнате и оживленно беседовали. Потом сели возле пальмы, под которой Поланецкий после похорон видел пани Эмилию, и заговорили о поступлении ее в общину сестер. А Гонтовскому казалось, что так ворковать могут разве только обрученные, и он испытывал муки, какне переживает, наверно, лишь душа — и не в чистилище даже, ибо там еще есть надежда, а когда за ней закроются врата с надписью: «*Lasciate ogni speranza*»¹. Видя их вот так, рядом, он уверился, что дубраву купил Поланецкий, желая сохранить для Марыни хоть часть Кшемения, а значит, действовал с ее ведома и согласия. И при мысли, что он натворил, учинив Машко скандал, у него волосы вставали дыбом, и отвечал он Плавицкому невпопад, а то и вовсе нес околесцу, и тот тем откровенней потешался над «провинциалом», который последнего ума лишился в городе. Себя Плавицкий почитал уже варшавянином.

Но настал момент, когда молодые люди остались наедине: Марыня занялась в соседней комнате приготовлением чая, а Плавицкий пошел к себе за сигарой.

¹ Оставь надежду всяк сюда входящий (ит.).

— Выйдемте после чая вместе,— воспользовавшись этим, обратился Поланецкий к Гонтовскому,— нам с вами надо потолковать по поводу вашего столкновения с Машко.

— Ладно,— угрюмо буркнул тот, сообразив, что Поланецкий — секундант Машко.

Пришлось выпить чаю, а потом еще довольно долго посидеть — не любивший рано ложиться Плавницкий предложил Гонтовскому сыграть партию в шахматы. Пока они играли, Поланецкий с Марыней опять сели в сторонку и повели оживленный разговор, причиняя этим «увальню» невероятные страдания.

— Вам, верно, приятен приезд пана Гонтовского, он напоминает Кшменю,— сказал вдруг Поланецкий.

На лице Марыни выразилось удивление оттого, что Поланецкий заговорил о Кшмене, тогда как они по молчаливому уговору должны были избегать этого предмета.

— О Кшмене я больше не вспоминаю,— помолчав, ответила она.

Но она сказала неправду: в глубине души ей было бесконечно жаль тех мест, где она выросла, жаль своих трудов и неосуществившихся надежд. Но она считала, ее обязывает забыть долг и день ото дня растущее чувство к Поланецкому.

— Кшмень,— прибавила она взволнованно,— был причиной нашей ссоры, а я хочу мира между нами, мира навсегда.

И взглянула в глаза ему с тем очаровательным кокетством, на которое легкомысленная женщина способна всегда, а порядочная — лишь когда любит.

«Какая она добрая»,— подумал Поланецкий, а вслух сказал:

— У вас есть против меня неотразимое оружие. Это оружие — доброта, с ее помощью можно меня заманить хоть в ад...

— Я никуда не собираюсь вас заманивать,— сказала она.

И, словно в подтверждение, засмеялась, качая своей красивой темноволосой головой, а Поланецкий, глядя на ее лицо и чужь великоватый улыбающийся рот, думал: «Люблю я ее или нет, но притягивает она меня, как магнит».

И никогда прежде — даже когда он не сомневался еще в своем чувстве, стараясь его побороть,— она не правилась ему так и не вызывала такой симпатии.

Время было, однако, уже позднее, и, попрощавшись, они с Гонтовским вышли на улицу.

Поланецкий, не очень умевший сдерживаться, вдруг остановился и спросил злосчастного «увальня» почти вызывающе:

— Вы знали, что кшменскую дубраву купил я?

— Знал,— отвечал Гонтовский,— ваш агент, как его... который говорит, что татарин родом, заезжал ко мне в Ялбжиков и сказал, что вы.

— Почему же вы не мне скандал закатали, а Машко?

— Не устраивайте мне допрос, я прокурорского тона не люблю. Поскандалили мы с этим господином по той простой

причине, что вы Плавицким ничего не должны, а он ежегодно должен им выплачивать обещанную сумму, и, если разорит Кшпемь, с него взятки гладки. Вот вам ответ на вопрос, почему я с ним побранился.

Поланецкий не мог не признать, что ответ не лишен смысла, и решил подойти с другого конца.

— Пан Машко просил меня быть его секундантом,— начал он,— вот почему я в это вмешиваюсь. Но как секундант я с вами объяснюсь завтра, сегодня же как лицо частное и родственник Плавицких, хотя и дальний, хочу вам только заявить: вы оказали очень плохую услугу пану Плавицкому и, если они останутся с дочерью без куска хлеба, виноваты в этом будете вы. Да, только вы!

Гонтовский вытаращил глаза.

— Без куска хлеба?.. Я?..

— Да, вы,— повторил Поланецкий. — Послушайте-ка, что я вам скажу. Обстоятельства так складываются, что дуэль, независимо от исхода, может иметь роковые последствия для Плавицких. Вы их форменным образом разорите, лишив средств к существованию, можете мне поверить.

Если Гонтовский и впрямь не любил прокурорского тона, сейчас ему представлялась возможность это доказать. Но он совершенно растерялся и стоял, испуганно разинув рот, не в силах произнести ни слова.

— Каким образом? Почему? — помолчав, выдавил он. — Уверяю вас, до этого не дойдет, даже если мне Ялбжиков придется продать...

— Пан Гонтовский,— перебил Поланецкий,— к чему этот разговор! Я с детства знаю те места. Ну что такое ваш Ялбжиков? Какой от него доход?

Поланецкий попал в самую точку. Ялбжиков был маленьким именищем в сто тридцать пять десятин; кроме того, вместе с имением Гонтовский унаследовал, как водится, кучу долгов, и слова Поланецкого окончательно его сразили.

Но тут в голове у него мелькнуло: а что, если это все не так, мало ли чего наговорит Поланецкий, и он ухватился за эту мысль, как утопающий за соломинку.

— Что-то я вас не понимаю,— сказал он. — Бог свидетель, скорее я сам погибну, чем Плавицких погублю, и да будет вам известно, что этому господину Машко я с наслаждением шею бы свернул, но если надо, черт с ним, ради Плавицких я даже готов отступить. Но после инцидента с Машко я сейчас же к пану Ямишу пошел — он в Варшаву на выборы приехал — и все ему выложил. Он сказал, что я выкинул глупость, и отругал меня — что правда, то правда! И будь во мне дело, я рукой бы махнул: что там моя шкура, но коли речь о Плавицких, я уж поступлю, как пан Ямиш скажет,— и будь что будет! Пан Ямиш там же остановился, в гостинице «Саксония».

На том они и расстались, и Гонтовский побрел в гостиницу, кляня на чем свет стоит и Машко, и себя, и Поланецкого. Он догадывался, что Поланецкий не привирает, произошла непоправимая беда: он причинил вред панне Марии, ради которой жизни бы не пожалел. Если до сих пор у него оставалась некоторая надежда, теперь все кончено: Плавичкий откажет ему от дома; панна Мария выйдет за Поланецкого — разве что сам он не согласится. Но кто же не согласится взять ее в жены? И бедняга понял, что, придется ей выбирать, он оказался бы на последнем месте среди претендентов. «Да и что у меня есть! — рассуждал он сам с собой. — Паршивый Ялбжиков, и ничего больше. Ни ума, ни денег. У других хоть знания, а я и не знаю ничего! Другие что-то из себя представляют, а я ровно ничего. Поланецкий и богат, и образован, а что я люблю ее больше, какой от этого прок? Если вместо помощи я, болван, еще ей и навредил...»

Поланецкий на обратном пути примерно то же думал о Гонтовском, но ни капельки ему не сочувствовал. Дома застал он Машко; тот ждал его уже целый час и, едва он вошел, объявил:

— Вторым секундантом будет Кресовский.

Поланецкий поморщился недовольно.

— Видел я Гонтовского, — сказал он.

— Ну и что?

— Дурак он.

— В этом я не сомневаюсь. Но ты с ним переговорил от моего имени?

— От твоего — нет. Как родственник Плавичкого сказал ему, что он ему оказал медвежью услугу.

— И объяснений не потребовал?

— Нет. Слушай, Машко, ведь ты прежде всего удовлетворение хочешь получить, не так ли? Мне тоже совсем не требуется, чтобы один из вас продырявил башку другому. После всего услышанного он согласится на любые твои условия. К счастью, за советом Гонтовский обратился к Ямишу, а это человек спокойный и благоразумный, который понимает, что поступил он глупо, и уже его отчитал.

— Ладно, — сказал Машко, — дай мне перо и бумагу.

— Возьми на столе.

Машко присел и стал писать. Кончив, он протянул испи-санную четвертушку Поланецкому.

Тот прочел:

«Сим заявляю, что набросился на пана Машко с оскорблениями в нетрезвом виде и не соображая, что говорю. Сегодня, придя в себя, в присутствии свидетелей, моих и пана Машко, а также бывших при том лиц, признаю, что поступил необдуманно и по-хамски. Полагаясь на доброту и великодушие пана Машко, с глубоким сожалением и смирением прошу у него про-

щения и публично подтверждаю, что его поведение не подлежит обсуждению моему и лиц, мне подобных».

— Пусть прочтет это вслух и распишется, — сказал Машко.

— Но ведь это же чертовски жестоко! Кто на это пойдет?

— Ты согласен, что этот дурень вел себя со мной возмутительно?

— Согласен.

— И понимаешь, какие последствия может иметь для меня этот скандал?

— Это еще неизвестно.

— А мне вот известно. Во всяком случае, скажу тебе одно: они жалеют уже, что связали себя словом, и под любым благовидным предлогом порвут со мной. Эго как пить дать. Я пропал, окончательно и бесповоротно.

— Да брось ты!

— Нет, ты понимаешь: нужно же сорвать на ком-то досаду, и Гонтовский поплатится у меня так или иначе.

Поланецкий пожал плечами.

— Что ж, и мне тоже не с чего ему сочувствовать. Будь по-твоему.

— Кресовский будет у тебя завтра в девять утра.

— Хорошо.

— Ну, до свидания. Да, увидишь Плавницкого, передай: в Риме скончалась его родственница, некто Плошовская, — он ведь на наследство рассчитывает. Завещание ее здесь хранится, у нотариуса Подвойного, и завтра будет вскрыто.

— Плавницкий знает уже, она пять дней как умерла.

Оставшись один, Поланецкий задумался: а как же взыскать долг с Машко, если он обанкротится, и встревожился, не видя никакого способа. Однако сообразил, что долг этот ипотечный и будет числиться по закладной, держателем которой он так и так останется. Утешение, правда, слабое: с имения, как и с Машко, ничего не получишь; но ничего не поделаешь, приходится довольствоваться этим.

Потом в голову пришло другое. Подумалось о Литке, пани Эмплиц, Марыне, и поразила разница между миром женским, миром чувств, главная пружина которого — любовь и счастье ближних, и миром мужчин, полным соперничества, борьбы, раздоров, ссор, дуэлей, стремления к наживе — всего, что опустошает душу. И его осенило, как прежде: если возможны вообще на этом свете покой, счастье и умиротворение, то лишь с любящей женщиной. Это ощущение настолько не вязалось с его умонастроением последних дней, что он растерялся. Но, продолжая сравнивать два эти мира, не мог не признать, что мир женский, мир любящий, имеет свои преимущества и право на существование.

И будь он более сведущ в Священном писании, ему, несомненно, вспомнились бы слова: «Мария избрала благую часть».

Кресовский на следующее утро опоздал почти на целый час. Он был, что называется, небокоптителъ, то есть лицо без определенных занятий. Зато происходил из старинного рода и промотал довольно большое состояние. То и другое вполне оправдало его в глазах всех, позволяя безбедно существовать, всюду бывать и слыть порядочным человеком. Каким образом два вышеозначенных отличия делают это возможным — тайна больших городов. Но мало того: кроме признанного и прочного положения в обществе, считалось, что во всех щекотливых делах надлежит обращаться к нему. Кресовский неизменно оказывался арбитром на судах чести, секундантом — на дуэлях. Финансовые тузы охотно приглашали его на званые обеды, на свадьбы, крестины и прочие торжества, и его благородная лысина и истинно польская физиономия служили достойным украшением стола.

По сути же это был человек глубоко разочарованный, вдобавок страдавший чахоткой, а потому желчный и раздражительный, но не лишенный чувства юмора, которое позволяло ему подмечать смешное, даже в мелочах, чем он немного напоминал Букацкого. Трунил он и над собственной ворчливостью, не мешая и другим проезжаться на этот счет, но в меру. Если же кто забывался, то, выпятив грудь, напускался на путника, так что с ним предпочитали не связываться. По слухам, он не раз сохранял присутствие духа, когда иные терялись; словом, умел «быть на высоте». И, помимо собственной шляхетской особы, на все и вся смотрел с этого высока, не исключая времени, отчего всегда и везде опаздывал.

Но Поланецкому Кресовский, поздоровавшись, почел необходимым объяснить причину своего опоздания.

— Вы не замечали, — сказал он, — когда очень спешить и ни в коем случае нельзя опаздывать, вещи, самые нужные, как нарочно, все куда-то деваются, как сквозь землю проваливаются. Камердинер за шляпой — шляпы нет как нет, калош тоже нет, портмоне тоже обязательно куда-то пропадет. И так всегда. Пари держу, что всегда.

— Да, бывает, — отвечал Поланецкий.

— Я даже придумал способ, как с этим бороться. Пропало что-нибудь — я сяду и скажу себе вслух с улыбкой: «Люблю вещи терять; ищешь — сразу оживляешься, двигаешься: и время быстрее проходит, и для здоровья полезно; хорошо». И что же вы думаете? Пропажа тотчас находится.

— Стоит, пожалуй, запатентовать такое изобретение, — заметил Поланецкий. — Давайте, однако, поговорим о деле Машко.

— Придется к пану Ямишу идти. Машко прислал мне письмецо для передачи Гонтовскому. И ни слова не хочет менять, а в таком виде оно абсолютно неприемлемо, слишком рез-

кое, Гонтовский не подпишет... Так что дуэли не избежать, другого выхода я не вижу.

— Гонтовский целиком положился на пана Ямиша и все сделает, как он скажет. А Ямиш — человек мягкий и хворый, не будет горячиться, да и сам не одобряет Гонтовского, может, он даже и примет условия Машко, как знать.

— Ямиш — известный тюфяк! — бросил Кресовский. — По пойдемте, уже поздно.

Они вышли, и несколько минут спустя сани их остановились у гостиницы «Саксония». Ямиш их поджидал, но принял в халате по причине нездоровья. Кресовский, взглянув на его интеллигентное, но болезненно-одутловатое лицо, подумал: «Этот на любые уступки пойдет».

— Садитесь, господа, — говорил между тем Ямиш. — Я здесь всего три дня, да и чувствую себя неважно, но рад буду, если удастся уладить недоразумение. Я уже задал этому забияке головоломку, можете мне поверить. — И, передернув плечом, спросил у Поланецкого: — А что у Плавицких слышно? Я у них еще не был и по своей любимице, Марыне, скучаю...

— Панна Мария здорова, — отвечал Поланецкий.

— А старик?

— Его дальняя родственница умерла несколько дней назад, очень богатая, он наследства ждет. Вчера мне об этом говорил. Но я слышал, что она все на благотворительные цели завещала... Завещание сегодня или завтра будет вскрыто.

— Надоумил бы ее господь бог Марыне оставить что-нибудь... Но давайте ближе к делу. Наш долг, господа, сделать все возможное, чтобы кончилось оно полюбовно, думаю, объяснять вам это нет нужды.

Кресовский поклонился. Надоели ему подобные вступительные речи, он слышал их бог весть сколько раз.

— Сознаем, сознаем лежащую на нас ответственность! — перебил он.

— Не сомневаюсь, — добродушно ответил Ямиш. — И сам признаю: Гонтовский ни малейшего права не имел так поступать и заслуживает наказания, поэтому я готов его склонить к уступкам, и весьма значительным, дабы пан Машко получил желаемую сатисфакцию.

Кресовский достал из кармана сложенный листок бумаги и протянул Ямишу с усмешкой.

— Пан Машко ничего больше не желает, кроме того, чтобы пан Гонтовский огласил вот этот документик при свидетелях с обеих сторон и очевидцах скандала и затем поставил под ним свою досточтимую подпись.

Отыскав среди бумаг очки и нацепив их на нос, Ямиш углубился в чтение. Лицо его постепенно покраснело, потом побледнело, он засопел. Кресовский и Поланецкий с трудом верили своим глазам: перед ними был совсем не тот человек,

который за минуту перед тем готов был пойти на любые уступки.

— Господа,— произнес он прерывающимся голосом,— пан Гонтовский поступил как сумасброд и забияка... но пан Гонтовский — вляхтич. Прошу передать это пану Машко от его имени.

И, разорвав бумажку на четыре части, кинул ее с этими словами на пол.

Дело принимало непредвиденный оборот. Кресовский уже было подумал, будто поведение Ямиша оскорбительно для него как секунданта, и мгновенно застыл и оскалился, точно злая собака, но Поланецкому, который хорошо относился к Ямишу, поступок его понравился.

— Господин советник,— сказал он веско,— пану Машко нанесено оскорбление столь тяжкое, что меньшим он не удовлетворится. Но мы с паном Кресовским ожидали от вас такого ответа, который только увеличивает наше уважение к вам.

Ямиш сел, тяжело дыша,— он страдал астмой.

— Я мог бы поручиться за Гонтовского, что он готов извиниться перед паном Машко,— сказал он, немного отдышавшись,— но не в таких выражениях. Но не будем терять время понапрасну. Я вижу, тут возможно единственное удовлетворение: с оружием в руках. Сейчас придет Вильковский, другой секундант Гонтовского, если можете его подождать, мы обсудим условия дуэли.

— Вот это называется брать быка за рога,— заметил Кресовский, которого подкупила прямота Ямиша.

— Только по необходимости, печальной необходимости,— отозвался Ямиш.

Поланецкий глянул на часы.

— В одиннадцать мне надо быть в конторе,— сказал он,— если позволите, пан Ямиш, я забегу к вам около часа посмотреть и подписать условия дуэли.

— Хорошо. Заверяю вас: я понимаю, что эти условия не должны вызывать насмешливую улыбку, но, с другой стороны, надеюсь, что ни пан Кресовский, ни вы, пан Поланецкий, не станете настаивать на противоположной крайности.

— Нет. Можете быть спокойны. Я не собираюсь требовать крови во что бы то ни стало,— сказал Поланецкий.

С тем он ушел; в конторе ему действительно предстояло лично уладить несколько важных дел, так как Бигель все еще отсутствовал. В полдень он подписал условия дуэли: они были суровы, но не чрезмерно, и отправился обедать в ресторацию, надеясь встретить Машко.

Но Машко был, видимо, у Краславских, а Поланецкий, едва вошел, наткнулся на Плавичкого; как всегда, свежий, моложавый, безукоризненно одетый и побритый, он был, однако, мрачнее тучи.

— Что вы тут делаете, дорогой дядюшка? — спросил Пола-
нецкий.

— Я не обедаю дома, когда чем-нибудь расстроен, чтобы
не огорчать Марыню, — отвечал старик. — Зайду куда-нибудь,
съем крылышко куриное, проглочу ложку компота — мне и до-
вольно. Присаживайся, если у тебя нет компании повеселее.

— Что-нибудь случилось? — спросил Поланецкий.

— Старые традиции гибнут, только и всего!

— Ну, эта беда не одного вас касается.

Плавцкий хмуро и вместе многозначительно взглянул на
него.

— Сегодня вскрыли завещание, — сказал он.

— Ну, и что?

— Вот именно, «что»? Вся Варшава твердит небось теперь:
«Даже дальнюю родню не забыла!» Покорно благодарю за та-
кую память! В завещании есть запись в пользу Марыни, но ка-
кая? Четыреста рублей пожизненно ей отказала. И это называ-
ется миллионерша! Такую сумму прислуге можно завещать, но
не родственнице.

— А вам что, дядюшка?

— Мне — ничего. Управляющему пятнадцать тысяч, а обо
мне ни слова.

— Вот те на!

— Гибнут добрые старые традиции! Сколько, бывало, лю-
дей богатели вдруг благодаря наследству. А почему? Потому
что в семье мир да лад был.

— И сейчас, случается, тысячи в наследство получают, я
знаю таких.

— Да, есть такие, есть! И немало даже; но я не из их
числа. — И, подперев голову рукой, Плавцкий пожаловался,
точно произнося горестный монолог: — Вечно кто-то, кому-то,
что-то, где-то... — И со вздохом прибавил: — А мне никто, нигде,
никогда, ничего...

Поланецкому пришла на ум шальная мысль, и он, не чая
всей ее жестокости, ляпнул ему в утешение:

— Э, да ведь она в Риме умерла, а это завещание давно
составлено, поговаривают, будто есть и другое. Вот погодите,
придет из Рима поправочка, и проснетесь в одно прекрасное
утро миллионером.

— Не придет, — возразил старик.

Но слова Поланецкого произвели на него впечатление: он
принялся на него поглядывать и ерзать, как на иголках.

— А ты, значит, допускаешь?.. — не выдержав, спросил он
наконец.

— Не вижу в этом ничего невозможного, — с напускной серъ-
езностью ответил Поланецкий.

— Будь на то воля провидения...

— И это не исключено.

Плавицкий покосился на зал: он был пуст. Тогда, неожиданно отодвинувшись от стола, он ткнул себя пальцем в жилетку:

— Поди сюда, дай я тебя обниму, мой мальчик...

Поланецкий склонился к нему на грудь, и старик дважды поцеловал его в лоб, приговаривая растроганно:

— Спасибо, что ободрил и утешил... Конечно, на все воля божья, но спасибо на добром слове. Теперь я могу тебе признаться, что написал ей. Ничего такого, просто, чтобы напомнить ей о нас. Спросил, когда истекает аренда на один ее фольварк. Брать его в аренду я, понятно, не собирался... а так, намек... Дай тебе бог здоровья, утешил ты меня... Завещание, наверно, написано до моего письма, потом она поехала в Рим, по дороге, может быть, думала о письме, о нас с Марыней... Так ты полагаешь, что возможно?.. Дай тебе бог!

Он совершенно ожил и, причмокнув, хлопнул Поланецкого по колену.

— А знаешь что, мой мальчик? Не распить ли нам по этому случаю бутылочку «Мутон-Ротшильда»? Вдруг твое предсказание сбудется.

— Не могу, ей-богу, не могу,— стал отказываться Поланецкий, уже стыдясь немного своей выходки,— и не уговаривайте даже.

— Нет, ты должен.

— Честное слово, не могу. У меня дел полно, для этого нужна ясная голова.

— Вот упрямый осел! Ну, я один выпью полбутылочки — за исполнение желаний.

Он велел подать вина и поинтересовался:

— А что за дела?

— Да разные. После обеда к Васковскому наведаться надо.

— Что это за личность, кстати?

— Да, вот и он как раз наследство получил! — воскликнул Поланецкий. — После брата, горнозаводчика, и довольно значительное. Но он бедным деньги раздает.

— Бедным раздает, а сам в дорогих ресторациях обедает: вот так филантроп! Будь у меня что раздавать, я себе не оставил бы ни копейки.

— Он долго хворал, и доктор велел ему хорошо питаться. Но он заказывает только, что подешевле. Живет в тесной комнате и птиц разводит, а в двух больших комнатах у него знаете кто ночует? Беспризорные ребяташки, которых он с улицы приводит.

— Я так и думал, что у него тут... — И Плавицкий постукал себя пальцем по лбу.

Васковского Поланецкий не застал и около пяти часов, побывав перед тем у Машко, зашел к Марыне — его немного мучила совесть из-за галиматии, которую он наплел Плавицкому.

«Старик дорогое вино теперь будет пить в расчете на наследство,— думал он,— а они и так, по-моему, живут не по средствам. Нельзя слишком затягивать шутку».

Марыня вышла к нему в шляпе. Она собралась к Бигелям, но пригласила его войти. Он не отказался, так как все равно не собирался засиживаться.

— Поздравляю с наледством,— сказал он.

— И я тоже рада,— ответила она,— ведь это деньги верные, что в нашем положении очень важно. Да мне и вообще хочется богатой быть.

— Это зачем?

— Помните, вы сказали как-то, что хотели бы иметь капитал, чтобы основать фабрику, а не заниматься коммерцией? Мне это запомнилось. Ну, а мечтать всякий волен, вот и я мечтаю: иметь бы много-много денег.

Но, сдохвотаясь, не сказала ли лишнего и не выдала ли себя, она опустила глаза и стала разглаживать юбку на коленях.

— А я, знаете, пришел просить прощения у вас,— сказал Поланецкий. — Сегодня за обедом я наговорил каких-то глупостей вашему отцу насчет того, что покойница могла в его пользу завещание изменить. А он, представьте, поверил. Мне бы не хотелось, чтобы он напрасно обольщался, позвольте, я пойду к нему и постараюсь разубедить.

Марыня рассмеялась в ответ.

— Я уже пробовала, а он знает как меня разругал! Вот видите, что вы натворили. Вам и впрямь есть за что прощения просить.

— Так простите же меня!

Он взял ее руку и стал покрывать поцелуями, а она, не отнимая ее, шутливо и растроганно повторяла:

— Ах, какой вы нехороший, пан Стах! Какой нехороший!

И Поланецкий весь день, пока не лег спать, ощущал на губах тепло Марыниной руки, забыв и думать о Машко, о Гонтовском и только твердя про себя: «Пора на что-то решиться...»

ГЛАВА XXV

Кресовский с доктором и футляром с пистолетами ехали в одной пролетке, Машко с Поланецким — в другой; обе направлялись к Белянам. День был ясный, морозный, розоватая дымка застилала горизонт. Под колесами повизгивал снег, от заиндевелых лошадей шел пар; деревья покрывала густая изморозь.

— Морозец знатный,— заметил Машко. — Палец к курку примерзнет.

— Да, без шубы неуютно будет.

— Вот и не возитесь, избавьте от канители. Скажи Кресовскому, сделай милость, пусть сразу приступает к делу. Пока

доедем,— прибавил Машко, протирая запотевшие очки,— солнце подымется, глаза будет слепить.

— Ничего, скоро все будет позади,— отозвался Поланецкий.— Главное, Кресовский вовремя явился, а они привыкли вставать рано, их ждать долго не придется.

— Знаешь, о чем я думаю сейчас? — сказал Машко. — Есть в жизни одна вещь, о которой всегда почему-то забывают, строя планы или затеявая что-нибудь, а ведь из-за нее все может рухнуть, пойти прахом, развалиться. Это — глупость человеческая. Допустим, я вдесятеро умней и заботы у меня тоже посерьезней, что я не Машко, а крупный политический деятель, ну, Бисмарк или Кавур какой-нибудь, которому средства нужны для осуществления своих целей и который каждый свой шаг поэтому рассчитывает, каждое слово взвешивает... И вот является какой-то кретин — предвидеть этого не дано, будь ты хоть семи пядей во лбу,— и все летит к черту. В этом есть что-то фатальное! Застрелит он меня или нет — не то важно, а что из-за скотины этой все мои усилия пойдут насмарку!

— Так разве можно это предвидеть? Все равно, как если б кирпич на голову упал.

— Вот это меня и бесит!

— А насчет застрелит, нечего об этом думать.

Машко овладел собой и снова стал протирать очки.

— Милый мой, как будто я не вижу, что ты всю дорогу за мной наблюдаешь и подбодрить меня стараешься. Что ж, это вполне естественно. И я со своей стороны хочу тебя заверить: краснеть вам за меня не придется. Конечно, я волнуясь, вот тут, под ложечкой, сосет, но знаешь, почему? Опасность, выстрелы — это все пустое! Дай мне пистолет, отведи в лес — хоть полдня палить готов в этого идиота и полдня стоять под его выстрелами. Я уже раз участвовал в дуэли и знаю, что это такое. Волнуешься из-за самой комедии: приготовлений, секундантов,— от сознания, что на тебя смотрят, из боязни оплошать, осрамиться. Это как публичное выступление: самолюбие затрагивается, и ничего больше. Для нервных людей дуэль, конечно, большое испытание. Но у меня нервы крепкие. Есть у меня и еще преимущество: я привык на людях бывать, не то, что он. С другой стороны, такой остопоп лишен воображения, не может себе представить, как будет выглядеть его разлагающийся труп и прочее. Но собой владеть я умею лучше... И еще одно, к слову: философия философией, но все решает характер, темперамент. Мне эта дуэль ничего не дает и ни от чего не спасает, напротив, у меня из-за нее неприятности могут быть. И все-таки я не удержался... Возненавидел этого идиота, до того он меня довел, раздавить его хочу, уничтожить — тут уж не до рассуждений... Будь уверен, стоит мне только увидеть его ослиную рожу — сразу перестану волноваться, забуду всю эту комедию, никого, кроме него, не будет для меня существовать.

— Да, это мне знакомо,— сказал Поланецкий.

Пятна на лице Машко стали сизыми от холода, что его не красило, придавая ему прямо-таки зловещий вид.

Тем временем они приехали. И почти тотчас же, скрипя по снегу, показалась пролетка с Гонтовским, Ямишем и Вильковским. Выйдя, они раскланялись с противниками, и всемером, считая и доктора, направились в глубь леса, к месту, накануне выбранному Кресовским.

Извозчики поглядели вслед семерым мужчинам, чьи черные пальто резко выделялись на фоне белого снега, и перемигнулись.

— Кумекаете, чем дело пахнет? — спросил один.

— Нам, чай, не впервой! — ответил второй.

— Дураки дерутся — умный не встравай!

А те, с трудом вытаскивая из снега калоши, выдыхая целые клубы белого пара, шли по лесу к противоположной опушке. Ямиш в нарушение установленных правил приблизился по дороге к Поланецкому.

— Моим искренним желанием было, чтобы мой подопечный извинился перед паном Машко, но на таких условиях это унизительно,— сказал он.

— Я, со своей стороны, просил Машко смягчить выражения, но он уклонился...

— Так, значит, ничего другого не остается. Страшно нелепо, но другого выхода нет!

Поланецкий ничего не ответил, и некоторое время они шли молча.

— Да,— заговорил снова Ямиш.— До меня дошли слухи, будто Марыня Плавицкая получила что-то по завещанию.

— Да, хотя и немного.

— А старик?

— Злится, что не ему все состояние досталось.

— Он немножко того... — сказал Ямиш, постучав рукою в перчатке по лбу. Потом, оглядевшись, прибавил: — Что-то мы долго идем.

— Скоро будем на месте.

И они пошли дальше. Солнце уже поднялось над лесом. Деревья отбрасывали на снег голубоватые тени, но постепенно становилось все светлее. С верхушек, где гомозились вороны и галки, бесшумно осыпался сухой, мягкий, как пух, снежок, конусообразными грядками ложась вокруг стволов. Тишь и покой царили в лесу. А люди пришли нарушить их выстрелами друг в друга.

На опушке, куда они наконец вышли, было совсем светло. Краткое предисловие Ямиша о худом мире, который лучше доброй ссоры, дуэлянты выслушали, даже не опуская высоких, закрывавших уши меховых воротников; когда же Кресовский зарядил пистолеты, сразу взяли их и, сбросив шубы и подняв дула кверху, встали друг против друга.

Гонтовский тяжело дышал, лицо у него было красное, усы обмерзли. Весь вид его говорил о том, что он делает над собой невероятные усилия и, если б не выдержка и боязнь показаться смешным, не позволявшие поддаться чувству, он кинулся бы на противника и избил его рукояткой пистолета, а то и просто кулаками. Машко, который перед тем делал вид, будто не замечает Гонтовского, вперил в него взгляд, полный нескрываемой злобы, ненависти и презрения. Пятна на его щеках опять запылали. Но держался он хладнокровней Гонтовского и в своем долгополом сюртуке, в шляпе с высокой тульей и длинными бабенбардами походил на актера, играющего роль вызванного на дуэль невозмутимого джентльмена.

«Уложит нашего увальня как собаку», — промелькнуло у Поланецкого в голове.

Команда раздалась, и два выстрела нарушили лесную тишину. Затем послышался надменный голос Машко:

— Прошу еще раз зарядить пистолеты.

У ног его на снегу расплзлось меж тем кровавое пятно.

— Вы ранены, — сказал, подбегая, доктор.

— Возможно, но прошу зарядить...

Он покачнулся — пуля действительно угодила в него, зацепив коленную чашечку.

Дуэль была прервана. Один Гонтовский стоял на месте, выпучив глаза, не понимая, что произошло.

Когда раненому была оказана первая помощь, Ямиш подтолкнул Гонтовского к нему.

— Признаю, что незаслуженно оскорбил вас, и беру свои слова обратно... приношу свои извинения, — пробормотал он сбивчиво, но искренне. — Вы ранены... но я, право, этого не хотел.

Минуту спустя, когда в сопровождении Ямиша и Вильковского он покидал место дуэли, снова послышался его голос:

— Ей-богу, всему виной пистолет, я целил поверх его головы.

Машко за весь тот день не сказал больше ни слова и на вопрос врача, очень ли беспокоит рана, лишь молча покачал головой.

— Как будто и неглупый человек, — узнав о случившемся, сказал Поланецкому Бигель, который накануне с целым ворохом контрактов вернулся из Пруссии, — а тоже с придурью... С его хваткой, множеством выгодных дел этот Машко прекрасно мог бы зарабатывать, целое состояние сколотить, а вот поди ж ты! Лезет в авантюры, кредит исчерпывает без остатка, имение себе покупает, корчит важного барина, лорда английского, черт его знает кого, лишь бы самим собой не быть. Странно, а главное — ведь это очень распространено! Подумаешь иной раз: не так уж и плоха жизнь, но люди своей безалаберностью, дикими претензиями и причудами, — а у нас так их хоть отбавляй! — сами

портят ее, словно нарочно. Желание больше иметь, больше значить в обществе — все это можно понять, но зачем же добиваться этого, не считаясь с реальностью! Ни ума, ни предприимчивости у Машко не отнимешь, но если его поступки взвесить, то ей-богу... — И Бигель постучал себя пальцем по лбу.

Машко меж тем, стиснув зубы, молча страдал — рана была неопасная, но очень болезненная. Вечером в присутствии Поланецкого он дважды терял сознание от боли и так ослаб, что самообладание, помогавшее ему держаться весь день, совсем оставило его.

— Ну и везет же мне! — выдавил он, полежав молча после ухода врача, сделавшего перевязку.

— Не думай сейчас об этом, — сказал Поланецкий, — а то лихорадка прикинется.

— Посрамлен, ранен, разорен — и все сразу! — продолжал Машко.

— Перестань об этом думать, слышишь?

— Ах, оставь! — опершись локтем на подушку и зашипев от боли, вскинулся Машко. — Может, и случая больше не представится с порядочным человеком поговорить. Через неделю-другую от меня шарахаться начнут, а ты — лихорадка! Самое, пожалуй, невыносимое во всей этой катастрофе, в этом полнейшем фиаско, что теперь любой кретин, любая дура будут толковать: «Так я и знал! Мы давно это предвидели!» Да, они всё предвидят заранее... Особенно если это свершившийся факт. Они всегда готовы выставить попавшего в беду человека глупцом или безумцем.

Тут Поланецкому пришли на память слова Бигеля. И удивительное дело! Все дальнейшие речи Машко были как бы ответом на них.

— Думаешь, я не сознавал, что рискую, пру напролом, важничая, нос деру не по чину?.. Никто об этом не догадывался, но ты должен знать, что я-то понимал. Понимал — и говорил себе, так надо; иначе не пробьешься. И что же? Может, жизнь устроена не лучшим образом или вообще все шиворот-навыворот идет, но, если бы не этот нелепый случай, непредвиденный скандал, я бы своего добился — именно благодаря тому, что вел себя так, а не иначе... Будь я скромник, не видать бы мне панны Краславской как своих ушей... У нас непременно надо кого-то корчить из себя, и, если все прахом пошло, не мое тщеславие тому виной, а этот вот дурак.

— Невеста же еще не отказала тебе, черт возьми!

— Ну, милый мой, ты просто женщин этих не знаешь. Они скрепя сердце на Машко помирились, потому что Машко везло... Но чуть тень одна падет на меня, мое имя, репутацию человека состоятельного, они порвут со мной самым безжалостным образом, да еще очернят, чтобы себя в глазах света обелить... Да что ты, собственно, знаешь о них? Панна Краславская Марыне не чета! — И после минутного молчания Машко продолжал слабым голо-

сом: — Кто мог еще меня спасти, так это она... Ради нее нашел бы я пути побезопасней... И Кшемень был бы спасен... Надобность отпала бы долг выплачивать ей и пенсион тестю... Выпутался бы как-нибудь. Знаешь, я ведь по уши был в нее влюблен... Сам от себя ничего подобного не ожидал. Но ей больше улыбалось на тебя дуться, чем меня любить... Теперь-то я понял. Да поздно уже...

Полаонецкому неприятен был этот разговор, и он перебил Машко с некоторой даже горячностью:

— Удивительно, как это ты с твоей напористостью считаешь, что все потеряно, когда ничего еще не потеряно. Что до панны Плавицкой, ты сам сжег за собой все мосты, сделав предложение Краславской. Но в остальном дело обстоит не так уж плохо. Тебя оскорбили, да, но ты же дрался; пускай ранен, но легко и поправись через несколько дней; и, наконец, она ведь тебе еще не отказала. И пока это доподлинно неизвестно, ты унывать не имеешь права... Просто ты нездоров, вот и оплакиваешь себя прежде времени. А я тебе вот что скажу: надо им дать знать о случившемся. Хочешь, я к ним завтра зайду? Как они к этому отнесутся — их дело, но пусть лучше от очевидца узнают, чем от сплетников городских.

— Я все равно собирался ей писать, — сказал Машко после короткого раздумья, — но, если ты зайдешь, будет еще лучше. На благоприятный исход я, правда, не надеюсь, но надо сделать все от меня зависящее. Благодарю тебя. Ты сумеешь представить дело в нужном свете, в этом я не сомневаюсь. Только ни слова о денежных затруднениях!.. О дубраве скажи, что это пустяк, чистая любезность по отношению к тебе... Бесконечно тебе благодарен. Не забудь упомянуть, что Гонтовский извинился передо мной.

— А кто будет за тобой ходить?

— Мой камердинер с женой. Доктор сегодня еще раз придет вместе с фельдшером. Больно чертовски, но чувствую я себя сносно.

— Значит, до свидания.

— Спасибо. Ты...

— Спи спокойно.

Поланецкий ушел, не без раздражения думая по дороге домой: «Вот уж кому не свойственна сентиментальность, а ведь туда же: считает обязательным делать вид, что он тоже... Панна Плавицкая! Он, видите ли, ее любил... ради нее пошел бы другими путями... она бы его еще спасла... Дань романтике, причем вносимая фальшивой монетой: что же это за любовь, если месяца не прошло, как он делает предложение этой кукле — из голого расчета. Может, я просто глуп, но мне это непонятно, и в искренность страданий, от которых с такой легкостью излечиваются, я не верю. Мучайся я неразделенной любовью, не женился бы через месяц на другой. Будь я проклят, если не так! Но в одном он

прав: Марыню равнять с Краславской не приходится. Тут двух мнений быть не может. Ничего общего! Ровно ничего!..»

И это заключение было ему чрезвычайно приятно. Дома нашел он письмо из Италии от Букацкого и записку от Марыни, полную тревоги и недоумения по поводу дуэли; она просила известить ее завтра утром, как это произошло и что послужило причиной. Особенно ее беспокоило, кончилось ли дело этим, не последуют ли еще какие-нибудь неприятности.

Под впечатлением слов Машко, что Марыня Краславской не чета, он неожиданно для себя ответил ей сердечней, чем самому хотелось, и, отдав записку слуге, распорядился снести ее завтра в девять утра на квартиру Плавицких. Затем принялся за письмо Букацкого, которое с первых же строк привело его в недоумение.

«Да ниспошлет тебе Сакия-Муни блаженство нирваны,— писал Букацкий. — И передай, пожалуйста, Капланеру, чтобы не высылал мне трех тысяч рублей во Флоренцию, как было условлено, а придержал их у себя впредь до моего распоряжения. Подумываю, не стать ли вегетарианцем (видишь, какие глубокие мысли меня занимают?). Если раздумья эти меня не слишком утомят и я приму такое решение, а оно, в свой черед, не окажется для меня непосильным, то перестану быть животным плотоядным и значительно сокращу расходы на прожиток. Вот в чем все дело! Тебя же прошу поменьше волноваться, жизнь не стоит того.

Знаешь, я, кажется, понял, почему славяне синтез предпочитают анализу. Они лентяи, анализ же требует умственного напряжения. Размышлять обо всем и ни о чем можно и после сытного обеда с сигарой во рту. Впрочем, не спорю: бездельником быть приятно. Во Флоренции, особенно на Арно, совсем тепло. Я прогуливаюсь себе на солнышке и предаюсь размышлениям о флорентийской школе. Познакомился я тут с одним способным художником-акварелистом, который живет продажей своих работ; он, кстати, тоже славянин и утверждает: искусство — величайшее свинство, порожденное мещанским влечением к роскоши и избытком денег у одних за счет других. Словом, послушать его, так искусство — это подлость и обман. Напустился на меня, как на собаку, твердя, что искусство и буддизм нельзя совместить, это верх непоследовательности, но я на него набросился с не меньшей яростью, возражая, что предпочитать последовательность непоследовательности — верх обскурантизма и гнусной мещанской ограниченности. Он до того был ошарашен, что лишился дара речи. Уговариваю его повеситься, но он не хочет. Скажи, а ты уверял, что Земля вращается вокруг Солнца, не выдумка ли это? Впрочем, мне решительно все равно! Очень жаль было ту девочку, которая умерла. Я и здесь о ней часто думаю. Как нелепо! А что пани Эмилия поделывает? Каждому предопределено свое. ей — быть ангелом доброты и терпения. Но скажи: какой прок ей в этой доб-

родетели? Без этого жилось бы проще и веселее. Тебя же закликаю: не женись! Женишься — сын родится, будешь работать, чтобы оставить ему состояние, оставишь — он вырастет похожим на меня, а я, хотя малый неплохой, но сильно сомневаюсь, нужен ли кому-нибудь. Будь здоров, о ты, воплощенная энергия, душа и компаньон посреднической фирмы, будь здоров, брeнная телесная оболочка, заядлый труженик, неумейный накопитель, будущий отец семейства, погрязший в хлопотах поилец и кормилец! Обними Васковского за меня. Он тоже созерцатель. Да просветит тебя Сакья-Муни, дабы ты познал: на солнце теплей, чем в тени, а лежать лучше, чем стоять. Твой *Букацкий*».

«Вот так каша! — подумал Поланецкий. — Сплошные выверты, самообман, дошедший до крайности, ставший привычкой, второй натурой. А уж коли так, прощай, разум, воля к жизни! Душа начнет разлагаться, как труп. И тогда очертя голову только в омут, наподобие хоть Машко, хоть Букацкого. В обоих случаях пойдешь ко дну. Но черт возьми! Неужели же нельзя здоровую и нормальную жизнь вести, если только ты не совсем безголовый. Вот Бигель: живет не тужит. Жена любимая, ребятишки, в которых он души не чает; работает, правда, как вол, но и обществом не пренебрегает — и своей виолончелью: играет на ней при луне, подняв очи горé. Не скажешь ведь про него, что он завзятый материалист. Нет! В нем как-то уживается и то, и другое. И ему хорошо!»

Расхаживая по комнате, Поланецкий время от времени бросал взгляд на портрет, с которого смотрело на него улыбающееся личико Литки в обрамлении березок. И все сильнее овладевала им потребность произвести расчет с самим собой. И он как «коммерсант» стал сличать свой кредит и дебет, что оказалось довольно просто. В графе «приход» когда-то на главном месте значилась привязанность к Литке. И в свое время она была ему так дорога, что, будь ему еще год назад сказано: «Возьми ее и считай своей дочерью», он без колебаний сделал бы это, и у него явилась бы в жизни цель. Теперь это отошло в область воспоминаний, переместясь из графы «счастье» в графу «горе». Итак, что же в итоге? Во-первых, жизнь как таковая, во-вторых, интересы духовные, которые ее как-никак скрашивают, затем надежды на будущее, материальный достаток и, наконец, их торговый дом.. Так-то оно так, но чего-то во всем этом не доставало. Успехи их фирмы радовали, но род деятельности сам по себе особой радости не доставлял. Напротив, конторская работа не удовлетворяла, не давая развернуться, надоедала и раздражала. С другой стороны, духовные интересы, работа ума, книги — все это разнообразит жизнь, но не может заполнить ее целиком. «Букацкий, — продолжал Поланецкий рассуждать сам с собой, — ушел в это с головой, только этим живет, и в результате он конченный человек, опустошенный и больной. Любоваться цветами приятно, но только

их ароматом дышать — вредно и опасно». И действительно, не требовалось особой наблюдательности, чтобы заметить, как много вокруг людей полуневменяемых, чьи души отравлены духовным морфием дилетантизма.

Дилетантизм нанес вред и ему — из-за него он стал скептиком. От опасного недуга спасли его только здоровый от природы организм, дававший естественное направление избытку энергии, и работа. Но что дальше? И может ли вообще так продолжаться? На этот вопрос он со всей решительностью ответил себе: нет! Если дела их торгового дома не могут заполнить жизнь, а заполнять ее дилетантством опасно, надо найти для нее другое содержание, иные обязанности, открыть для себя иной мир, новые горизонты. И путь к этому один: женитьба.

Раньше при слове «женитьба», «жена» в его воображении возникало некое безликое и безымянное существо, воплощающее все мыслимые физические и нравственные достоинства. Теперь оно обрело реальные приметы. У него были ясные голубые глаза, темные волосы, крупный рот, и звалось оно Марыня Плавичкая. Кроме нее, никто ему не был нужен, и представлял он ее себе настолько живо, что сердце начинало биться сильнее. Вместе с тем он прекрасно сознавал, что его чувство лишилось некой мечтательной надежды, жажды обладания и заодно боязни утраты — той робости, трепета, обожания, которые побуждают пасть к ногам любимой, когда чувственная любовь отступает перед поклонением, и в отношении к женщине закрадывается нечто мистическое: мужчина ощущает себя возлюбленным и одновременно покорным ее рабом. Все это осталось позади. Теперь мысли его о Марыне были трезвы, даже дерзки. Он знал, что может прийти и взять ее, и если сделает это, так по двум причинам: во-первых, его влечет к ней, как ни к одной другой, а во-вторых, рассудок подсказывает жениться, причем именно на ней.

«Потому что на нее всецело можно положиться, — думал он. — Душа у нее не опустошена, не очерствела. Чувства не убиты эгоизмом, и с собой носить ее она не станет. Это сама порядочность, сам долг во плоти — скорее уж о том придется заботиться, чтобы она себя не слишком забывала. Если я и разумом за нее, к чему искать другую, это было бы глупо».

И не бесчестно ли с его стороны бросить теперь Марыню, стал он спрашивать себя. Теперь, когда Литка их соединила. При одной мысли о том, чтобы пойти против ее воли, пренебречь жертвой столь дорогого ему существа, сердце у него падало. Но разве он уже не исполнял все-таки ее воли? В противном случае надо было бы вести себя совсем иначе. Не являться после смерти Литки к ним в дом, не встречаться с Марыней, руки ей не целовать, не поддаваться чувству и не заходить так далеко, что отступить теперь — значит оскорбить ее; предстать перед ней в постыдной роли человека, который сам не знает, чего хочет. Не слеп ведь он,

чтобы не видеть: Марыня уже считает себя его невестой и, если не обеспокоена до сих пор его молчанием, так единственно потому, что приписывает это не оставившей их еще обоих скорби по Литке.

«Итак, все доводы рассудка в пользу женитьбы; инстинкт самосохранения, влечение, наконец, чувство порядочности. Так, стало быть?.. Так, стало быть, я бы последним олухом и прохвостом был, начни я опять колебаться, уходить от решения. Нет, нет, это дело решенное!»

Поланецкий вздохнул и стал прохаживаться. Под лампой лежало письмо Букацкого. Он взял его и наугад прочел:

«Тебя же заклинаю: не женись! Женишься — сын родится, будешь работать, чтобы оставить ему состояние, оставишь — он вырастет похожим на меня...»

— Так знай же, вертопрах: я женюсь! — сказал с вызовом Поланецкий. — Женюсь на Марыне Плавицкой, слышишь? И состояние наживу, а будет сын — постараюсь, чтобы не вырос декадентом, понял?

Он был доволен собой.

Тут взгляд его упал на портрет Литки, и им овладело волнение. Печаль и любовь к ней ожили в его сердце с новой силой. И он спросил вслух у девочки, как советуются с дорогими покойниками в важных случаях жизни:

— А ты доволен, котенок?

Личико ее в овале березок, нарисованных Марыней, улыбалось ему с портрета, словно подтверждая: «Да, да, пан Стах!»

Глаза у Поланецкого наполнились слезами.

Перед тем как ложиться, он взял у слуги записку, которую велел отнести утром Марыне, и написал другую, еще сердечнее:

«Дорогая пани! Гонтовский по нелепейшему поводу учинил Машко скандал, из-за чего и вышла дуэль. Машко легко ранен. Противник там же, на месте, принес ему извинения. Никаких последствий иметь это не будет, если не считать того, что я еще раз убедился, какая вы добрая, отзывчивая, хорошая, и завтра с вашего позволения приду вас поблагодарить и поцеловать милые ваши, дорогие ручки. Буду после полудня — утром, прямо из конторы, придется зайти к Краславским, потом забегу к Васковскому попрощаться, хотя, если б мог, предпочел бы начать день совсем, совсем не с них. *Поланецкий*».

Кончив, он глянул на часы и, хотя было уже одиннадцать, велел сегодня же отнести записку.

— Войди через кухню, — сказал он слуге, — и если барышня уже легла, оставь там.

И, отослав его, обратился в воображении к «барышне»: «Если ты не поймешь, зачем я завтра приду, значит, ты очень недогадлива».

Ранний визит Поланецкого очень удивил Краславскую, однако она приняла его, полагая, что он к ней неспроста. Поланецкий выложил все как есть, умолчав только о том, что могло повредить Машко: об угрожающем состоянии его дел.

Пожилая дама смотрела на него своими неподвижными, будто высеченными из камня, тускло-зелеными глазами, и ни один мускул в течение разговора не дрогнул на ее лице.

— Во всем этом непонятно мне только одно, — выслушав, сказала она, — зачем понадобилось продавать дубраву? Ведь лес — это украшение усадьбы.

— Лес там — поодаль от дома, — ответил Поланецкий, — и затеняет поле, так что оно пустует, а Машко — человек практичный. Говоря по правде, мы с ним старые знакомцы, и сделал он это по дружбе. Я, как вы знаете, занимаюсь перекупкой, и мне понадобился дубовый лес, вот он и продал мне, сколько мог.

— Тогда почему же этот молодой человек...

— Вы знакомы с паном Ямишем? — перебил Поланецкий. — Он по соседству с Кшеменем и Ялбжиковом живет, спросите у него, он вам скажет, что этот молодой человек немножко того, все в округе это знают.

— В таком случае не следовало бы пану Машко его вызывать.

— Видите ли, — теряя терпение, возразил Поланецкий, — у нас, у мужчин, несколько иные понятия на этот счет.

— Разрешите, я с дочкой поговорю.

«Самый подходящий момент встать и откланяться», — подумал Поланецкий; однако он пришел, так сказать, на разведку и должен был для Машко что-то разузнать.

— Я как раз иду к пану Машко, и если вам угодно что-нибудь передать... — предложил он.

— Одну минутку, — сказала Краславская и скрылась за дверью.

Поланецкий остался один и ждал так долго, что стал уже терять терпение. Наконец мать вышла к нему вместе с дочкой. В белой шемизетке с матросским воротником, небрежно причесанная, барышня показалась Поланецкому довольно миловидной, несмотря на покрасневшие глаза и прыщики на лбу, — правда, старательно запудренные. Наверно, она недавно встала и не успела еще как следует проснуться; томный вид и милый утренний туалет придавали ей некоторое очарование. Но бледное лицо не изображало никаких чувств.

Раскланявшись с Поланецким, она сказала своим холодным, невыразительным голосом:

— Передайте, пожалуйста, пану Машко, что я очень огорчена и встревожена. Рана действительно неопасная?

— Абсолютно.

— Я упросила маму поухаживать за паном Машко; мы поедем вместе, я подожду в экипаже, чтобы узнать, как его здоровье. А потом заеду за ней — и буду отвозить ее каждый день, пока пан Машко не поправится. Мама так добра, что согласилась, — передайте пану Машко.

Чуть приметный румянец окрасил ее бледные щеки и тотчас пропал. Поланецкий, который не ожидал от нее ничего подобного, был очень удивлен, — в эту минуту она показалась ему очень привлекательной.

«Однако женщины лучше, чем мы подчас о них думаем, — говорил себе Поланецкий, направляясь к Машко. — Обе кажутся порядочными ледышками, но дочка не совсем бесчувственная. Машко еще мало ее знает, это будет для него приятный сюрприз. Старуха придет, увидит всех этих епископов и горбоносых кастелянов, над которыми столько издевался Букацкий, и окончательно уверует в его знатность».

С этими мыслями пришел он к Машко, но у того как раз был врач, и Поланецкому пришлось подождать. Однако едва доктор вышел, Машко велел просить его.

— Ну что, был у них? — спросил он, даже не поздоровавшись.

— Как ты себя чувствуешь, как спал?

— Хорошо. Но не в этом дело... Ты у них был?

— Был. Вкратце вот что могу сказать: через четверть часа придет старшая Краславская, ходить за тобой, а дочка (она просила это передать) будет ждать на извозчике известий о твоём здоровье. И еще она просила передать, что очень огорчилась, испугалась и благодарит бога, что все легко обошлось. Вот видишь!.. А от себя прибавлю: она совсем, совсем недурна и мне понравилась. Ну, я побежал, мне некогда.

— Да подожди, сделай милость! Обожди хоть минутку! Нет у меня жара, не думай, можешь меня не щадить...

— Какой ты, однако, нуда! — перебил Поланецкий. — Слово тебе даю: это правда, зря ты клеветал на свою невесту.

Машко опустил на подушку голову.

— Я готов... ее полюбить... — помолчав, сказал он, словно рассуждая сам с собой.

— Вот и отлично! — отозвался Поланецкий. — Будь здоров! А я пойду, попрощаюсь с Васковским.

Но вместо Васковского зашел к Плавицким — и никого не застал. Старик вообще редко сидел дома, а Марыня, как ему сказали, ушла часом раньше. Мужчина, который идет к нравящейся ему женщине, обдумывая по дороге слова признания, и не застаёт ее дома, чувствует себя довольно глупо. В таком глупом положении оказался и Поланецкий, порядочно разозлившийся. Тем не менее он отправился в цветочный магазин и, накупив цветов, распорядился отослать их Плавицким. А представив себе, как обрадуется Марыня и с каким нетерпением будет ждать вечера,

сам повеселел и, пообедав в ресторане, заявился к Васковскому совсем в отличном расположении духа.

— Пришел с вами проститься,— сказал он.— Когда вы едете?

— Как поживаешь, дорогой? — вопросом на вопрос ответил старик. — С отъездом, пришлось немножко повременить — я, видишь ли, приютил тут на зиму нескольких мальчуганов...

— Из тех юных ариев, которые лазят по чужим карманам?

— Нет, нет... У них, как бы тебе сказать, задатки добрые... но их нельзя оставить без присмотра! И надо вот было приискать человека, который пожил бы здесь с ними.

— Да он тут изжарится. Как вы переносите такую духоту?

— Я дома сижу без сюртука — и не стану его с твоего позволения надевать. Да, у меня жарковато, но потоотделение полезно для организма, да и пернатые мои любят тепло.

Поланецкий огляделся по сторонам. В комнате было по меньшей мере с полдюжины овсянок, жаворонков, синиц и чижей, не говоря уже о воробьях: целая стайка их порхала за окном в ожидании кормежки. В комнате Васковский держал только птиц, купленных на птичьем рынке, а воробьев не пускал. «Куда их всех, а нескольких впустить — тоже несправедливо», — говорил он. Клетки висели по стенам и в оконной нише, но птицы только спали в них, а днем летали по всей комнате, наполняя ее щебетом и оставляя свои визитные карточки на книгах и рукописях, которыми завалены были столы и все углы.

Были пичуги совсем ручные, садившиеся Васковскому на голову. Под ногами хрустела конопляная шелуха. Для Поланецкого это была картина привычная, и он только плечами пожал.

— Все это, конечно, очень мило,— заметил он,— но позволять драться у себя на голове, по-моему, уже слишком. И потом пахнет.

— Франциск Ассизский всему виной,— отвечал Васковский. — Это благодаря ему полюбил я птиц. Есть у меня и парочка голубей, но они не летают, такие сидни.

— Вы, наверно, увидите с Букацким,— сказал Поланецкий. — Я от него письмо получил. Вот.

— Можно прочесть?

— Для того я его и прихватил.

Васковский взял письмо и, дочитав до конца, заметил:

— Люблю Букацкого за доброту. Но, по-моему, он немножечко того...

И Васковский постучал себя пальцем по лбу.

— Это уже становится забавным! — воскликнул Поланецкий. — Представьте себе, в последние дни я только и слышу про своих знакомых: «Он немножечко того...» — и пальчиком тук-тук по лбу. Ничего себе, приятное окружение!

— Так оно отчасти и есть!.. — с улыбкой отвечал Васковский. — А знаешь отчего? Это все беспокойный дух ариев, кото-

рый в нас, славянах, бродит сильнее, чем на Западе. Ведь мы — самые младшие арии, сердце и ум у нас еще не охладели. И чувством острее, принимаем ближе к сердцу, и думаем серьезней, все сразу стараемся к жизни приложить... Я много повидал на своем веку и давно это заметил... Славянская натура — она удивительная!.. Вот, например, немецкие студенты кутят — и что же? Это не мешает им прилежно учиться и вырастать дельными людьми. А попробуй начать таким же манером кутить славянин! Да он погибнет, ухнет насмерть. И так во всем. Немец-пессимист напишет целые трактаты о том, как безотраднa жизнь, но это не мешает ему пить пиво, плодить детей, наживать деньги, поливать свои клумбы и спать сном праведника под периной. А славянин или повесится, или погрязнет в распутстве, беспашанной жизни, сам влезет в грязь, которой и захлебнется... Встречал я, дорогой мой, таких байронистов, которые до смерти добайронничались... Как же, как же... Знал и таких народолюбцев, которые спивались по кабакам. Мы ни в чем не знаем меры и не будем знать, потому что безмерная увлеченность идеей всегда сочетается у нас с безмерным легкомыслием... и еще знаешь с чем? С тщеславием. Ах, боже мой, до чего же мы тщеславны! Вечно лезем вперед, хотим быть на виду, чтобы о нас говорили, удивлялись и восхищались. Возьми того же Букацкого: по уши погряз — вот именно погряз — в скептицизме, в пессимизме, в буддизме, в декадентстве и невесть в чем еще, полный хаос; в самое болото залез и отравляется этими миазмами. И бравирует еще. Удивительные натуры! Искренние, чуткие, все близко к сердцу принимающие и заодно — актерствующие. Думаешь о них с симпатией, но хочется одновременно и смеяться, и плакать.

И Поланецкий вспомнил, как в первое посещение Кшемения рассказывал Марыне о своем житье-бытье в Бельгии — как с несколькими друзьями-бельгийцами увлекся пессимистической философией, убедаясь, что не в пример им вкладывает в это всю душу и только портит себе жизнь.

— Это верно, — подтвердил он. — Мне тоже приходилось это замечать. Так что ни черта из всех нас не получится.

— Нет, наше назначение в другом, — сказал старый учитель, с отсутствующим видом глядя в замерзшее окно. — Наша горячность, способность увлекаться идеей — все это бесценные свойства для выполнения миссии, которую Христос возложил на славян. — И, указав на загаженную птицами рукопись, Васковский загадочно сказал: — Видишь, с чем я еду в Рим. Труд всей моей жизни... Хочешь, прочитаю?

— К сожалению, мне очень некогда. И поздно уже.

— Да. Смеркается. Ну тогда в двух словах... Я думаю — больше того: глубоко верю, — что славян ждет величайшая миссия... — Старик остановился, потирая лоб рукой. — Что за удивительное это число — три... Есть в нем какая-то тайна!

— Вы говорили о миссии славян,— нетерпеливо напомнил Поланецкий.

— Погоди, тут есть связь. Видишь ли, в Европе три племена: романское, германское и славянское. Первые два уже выполнили свое предназначение. И будущее принадлежит третьему.

— И что же должно оно совершить?

— Что там ни говори, но социальные отношения, закон, правила общежития и так называемая частная жизнь — все это опирается на христианское учение. Мы со своими пороками его искажаем, тем не менее все им держится. Но пройдена пока только половина, первая стадия!.. Некоторые считают, будто христианство исчерпало себя. Нет; оно лишь вступает в свою вторую стадию. Сейчас заветы евангельские блюдутся отдельными лицами и на историю не влияют, понимаешь? Ввести их в историю, положить в ее основу любовь к ближним, возвысить до степени отношений исторических — вот в чем миссия славян... Но они сами об этом еще не знают, и надо открыть им глаза.

Поланецкий молчал, не зная, что ответить.

— Вот над чем размышлял я долгие годы и что изложил в этом сочинении,— продолжал Васковский, указывая на рукопись. — Это труд всей моей жизни. Собственная моя высокая миссия.

«На которую пока что гадят овсянки. И бог весть сколько еще будут гадить»,— подумал Поланецкий. Вслух же сказал:

— И вы надеетесь, если труд этот напечатают?..

— Нет, я ни на что не надеюсь. Я — жалкий червь и умом своим не могу всего постигнуть, но я люблю своих ближних... Труд мой исчезнет, как камень, брошенный в воду, но он всколыхнет воду, и по ней пойдут круги. А потом, как знать, может, явится миру избранник... Чему быть, того не миновать. Не во власти нашей отказаться от возложенной на нас миссии, даже если самим этого захотеть... И не надо вообще отвлекать людей от их предназначения, стараться насильно его изменить. Что для других хорошо, для нас может быть плохо, коль скоро нам уготован совсем иной удел. Противиться, стало быть,— напрасный труд. И ты тоже напрасно внушаешь себе, будто хочешь только деньги делать, и ты тоже никуда не уйдешь от себя и своего предназначения.

— Я и не уйду, я женюсь. Верней, собираюсь жениться,¹ если отказа не получу.

Васковский обнял его за плечи.

— Ну и с богом! Вот это хорошо!.. Бог тебя благослови! Знаю, так вам наказывала дорогая наша девочка... Помнишь, я же говорил: у нее тоже есть свое предназначенье и она не умрет, пока его не исполнит. Пошли ей господь вечное блаженство, а вам — свое благословенье... Марыня — золото!

— А вам желаю счастливого пути и благополучного завершения вашей миссии!

— А тебе... тебе — исполнения желаний.

— Желаний?.. Я, пожалуй, не прочь этак с полдюжины маленьких миссионеров народить! — весело сказал Поланецкий.

— Ах, плут! Все бы тебе шутить! — ответил Васковский. — Ну, беги, я к вам еще загляну...

Выбежав, Поланецкий сел на извозчика и поехал к Плавицким. Дорогой он обдумывал, что скажет Марыне, и приготовил целую речь, в меру нежную и в меру здравую, как и пристало человеку солидному, который нашел себе избранницу по велению не только сердца, но также и ума.

Марыня, видно, не ждала его так рано — лампы в комнатах еще не были зажжены, хотя на небе догорали последние отблески заката.

При взгляде на Марыню вся умно составленная речь вылетела у Поланецкого из головы. Целуя ей руки, он только робко, взволнованно спросил:

— Вы получили письмо и цветы?

— Да...

— И догадались, зачем я?..

У Марыни сердце билось так сильно, что не давало говорить.

— Вы согласны исполнить Литкину волю? И стать моей женой? — запинаясь, спрашивал он.

— Да, — прозвучало в ответ.

Теперь уже Поланецкому не хватило слов, чтобы сказать, как он ей благодарен. Он только все крепче прижимал к губам ее руки и, не отпуская, привлекал ближе к себе. По жилам его вдруг пробежал огонь; он обнял ее и стал искать губами ее губы. Но она отвернулась, и он стал целовать ее в висок. В полутьме слышалось их прерывистое дыхание; наконец Марыня вырвалась из его объятий.

Спустя несколько минут горничная внесла зажженную лампу. Придя в себя, Поланецкий испугался собственной дерзости и с беспокойством взглянул на Марыню. Он был убежден, что оскорбил ее, и готов был просить прощения. Но, к радости своей, не заметил на ее лице никаких признаков гнева. Она потупилась, щеки ее пылали, прическа слегка растрепалась, все в ней выдавало смятение — она была точно в дурмане. Но то было сладостное смятение любящей женщины, которая понимает: жизнь ее вступила в новую полосу и требует от нее немалых жертв, но она идет на это по своей воле и желанию — любя, покоряется мужчине с полным сознанием его прав.

Поланецкий ощутил прилив нежности к ней. Ему показалось, он любит ее, как прежде, до смерти Литки. «Не нужно себя сдерживать, — подумал он, — стесняться своей доброты и нежности», — и снова почтительно поднес ее руку к губам.

— Знаю, что недостойн вас, это без слов ясно. Но, видит бог, все для вас сделаю, что в моих силах.

Марыня растроганно взглянула на него.

— Лишь бы вы были счастливы...

— Не быть с вами счастливым... невозможно. Я понял это еще в Кшемене. Но вы знаете сами, потом все расстроилось. Я думал, вы пойдете за Машко, и совсем истерзался!..

— Я сама в этом виновата, простите... милый Стах!

— Нет, недаром сегодня Васковский сказал: «Марыня — золото!» — с чувством воскликнул Поланецкий. — Это сущая правда. Все так говорят. И не просто золото — сокровище, драгоценный клад!

Ее добрые глаза заискрились смехом.

— Но не слишком ли тяжелый?..

— Не беспокойтесь, у меня достанет сил его нести... Вот теперь я знаю, ради чего жить.

— Я тоже... — отозвалась Марыня.

— Вам говорили, что я уже был сегодня у вас? Не застал и послал эти хризантемы. После вашего вчерашнего письма я сказал себе: это же просто ангел, надо бесчувственным чурбаном быть или безумцем, чтобы мешкать дольше.

— Я так встревожилась и огорчилась из-за этой дуэли. Скажите: правда, что все уже позади?

— Честное слово.

Марыне хотелось расспросить подробнее, но вернулся Плавичкий: слышно было, как он покашливает в передней, ставит палку, снимает пальто. Открыв дверь, он увидел их вдвоем.

— Что это вы сидите тут рядом?

Марыня подбежала к отцу, обняла его за шею и подставила лоб для поцелуя.

— Как жених и невеста, папа!

— Что, что ты сказала? — отстранив ее, переспросил Плавичкий.

— Я сказала, — спокойно глядя ему в глаза, отвечала Марыня, — что пан Станислав сделал мне предложение, и я очень счастлива...

Подойдя к Плавичкому, Поланецкий крепко обнял его.

— С вашего, дядюшка, согласия и благословения...

С возгласом «Дитя мое!» Плавичкий неверным шагом отступил к кушетке и тяжело опустился на нее.

— Извините, — лепетал он, — это все волнение... Пустяки, не обращайтесь внимания... Дети мои... если вы нуждаетесь в моем благословении, от души вас благословляю.

И, благословляя их, разволновался еще пуще: Марыню он искренне любил. Голос его прерывался, и молодые люди разбирали лишь отдельные слова и обрывки фраз: «Какой-нибудь уголок для меня... старику голову преклонить... который трудился всю жизнь... Сирота... Единственное дитя...»

Они наперебой его утешали и настолько в этом преуспели, что спустя полчаса старик хлопнул вдруг Поланецкого по плечу:

— Ах, разбойник! — сказал он. — Ты, стало быть, на Марыню виды имел, а я, грешным делом, думал, ты...

Остальное он договорил Поланецкому на ухо.

— Как вам такое могло в голову прийти! — воскликнул тот, покраснев. — Осмелюсь мне сказать это кто-нибудь другой...

— Но-но-но! — засмеялся Плавицкий. — Нет дыма без огня.

— У меня к вам просьба, — прощаясь в тот вечер с Поланецким, сказала Марыня. — Вы мне не откажете?

— Только прикажите.

— Я давно дала себе слово: если придет такой день, съездить вместе на могилу Литки.

— Ах, милая пани, — только и мог вымолвить Поланецкий.

— Что люди скажут, нам дела нет, ведь правда?

— Конечно! Неужто обращать внимание на пересуды? Спасибо вам от души, что подумали об этом. Милая моя пани... моя Марыня!

— Она, наверно, смотрит сейчас и молится за нас.

— Она — наша маленькая заступница.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

— До завтра.

— До завтра, — повторил он, целуя ей руки. — До завтра, до послезавтра и каждый день... до самой свадьбы! — прибавил он шепотом.

— До свадьбы! — ответила Марыня.

Поланецкий ушел, обуреваемый мыслями, чувствами, впечатлениями. Но в этой сумятице чувств главенствовало одно: значительность происшедшего. Главным было, что судьба его решена и с колебаниями, метаниями отныне покончено: надо начинать новую жизнь. И это ощущение не было неприятно, напротив, особенно упоительно было вспомнить, как он целовал Марыню в висок. При воспоминании об этом все недостававшее его чувству показалось бесконечно малым, ничтожным, и в голове мелькнуло: найдено все, что нужно для полного счастья. «Жизнь с ней не может быть в тягость!» — подумал он, и даже сама мысль об этом показалась ему кощунственной. Думал он и о Марыниной доброте, ее преданности, о том, что женщине с таким сердцем и характером можно целиком довериться, не опасаясь ничего, она не истерзает, не покалечит душу, сумеет по достоинству оценить все лучшее в нем, будет жить не для себя, а для него. И, раздумывая об этом, Поланецкий спрашивал себя: да разве можно найти жену лучше? И только дивился своим недавним сомнениям.

Однако и он чуял всю огромность, серьезность предстоящей перемены, и где-то в потаенном уголке души пробуждалась робость пред этим неведомым еще счастьем.

Но он гнал беспокойство, говоря себе: «Не трус же я и не рохля какой-нибудь. Путь только один — вперед, и я не отступлю».

А дома при взгляде на Литкин портрет перед ним вдруг словно открылись новые светлые горизонты. И у него тоже, у них с Марыней, будут дети! — пронеслось в голове. Вот такая же белокурая девчушка, которую он будет любить бесконечно! И у него сильней забилося сердце, и нахлынувшие чувства вызвали прилив бодрости, какой он не испытывал уже много лет. Он был счастлив вполне. Раздеваясь, он наткнулся в кармане на письмо Букацкого и, глянув в него мельком, расхохотался так громко, что камердинер с беспокойством заглянул в комнату. Поланецкого так и подмывало сказать ему о своей женитьбе.

Заснул он уже под утро, но встал бодрый, отдохнувший и, одевшись, помчался в контору сообщить поскорее радостную новость Бигелю.

Тот обнял его и, обдумав со свойственной ему основательностью услышанное, сказал:

— Пожалуй, это самый разумный шаг в твоей жизни. — И прибавил, указав на конторку с бумагами: — Вон те контракты сулят тебе доход, но этот — счастье.

— А что? Нет разве? — самодовольно воскликнул Поланецкий.

— Сбегаю домой, не терпится сказать жене, а ты ступай, можешь больше не приходить. Я заменю тебя до свадьбы и в медовый месяц.

— Ладно. Заскочу сейчас на минутку к Машко, а потом мы с Марыней съездим на кладбище к Литке.

— Что ж, она это заслужила.

По дороге Поланецкий снова накупил цветов и с запиской, что скоро придет, послал Марыне; сам же помчался к Машко.

Попечение Краславской явно пошло на пользу Машко; он и сейчас поджидал ее. Услышав новость, он с чувством пожал руку Поланецкому.

— Одно могу тебе сказать: будет ли она с тобой счастлива, не знаю, но ты с ней — несомненно.

— Да, женщины вообще лучше нас. Надеюсь, и ты после всего не станешь этого оспаривать, — ответил Поланецкий.

— Признаться, я до сих пор не могу прийти в себя от изумления. Они лучше нас и... загадочней. Представь себе...

Машко замялся, словно сомневаясь, продолжать ли.

— Ты о чем?

— А, ладно! Человек ты не болтливый и столько раз доказывал свою дружбу, что между нами не должно быть секретов. Так вот, представь, вчера после твоего ухода пришло анонимное письмо — у нас этот благородный обычай, как известно, в чести, — где сообщалось, что папаша Краславский живет и здравствует.

— Что за чепуха! Может, просто сплетни.

— А может, и нет. Будто бы он в Америке. Тут как раз была пани Краславская. Я ей ничего не сказал, но позже, когда она, посмотрев портреты, стала расспрашивать про мою родословную, в свою очередь спросил, давно ли она овдовела. И вот что она мне

ответила: «Мы уже девять лет как живем вдвоем с дочкой, но это печальная история, не хочется сейчас об этом говорить». Заметь, она не сказала прямо, когда умер ее муж.

— А ты что по этому поводу думаешь?

— Думаю, если папаша жив, он из тех личностей, о чьем существовании предпочитают умалчивать; «история», должно быть, поистине печальная.

— Ну, все давно бы вышло наружу.

— Мама с дочкой несколько лет жили за границей. Мало ли что там могло быть. Впрочем, моих планов это не меняет. Если пан Краславский сидит в Америке и не кажет сюда носа, значит, на то есть веские причины и я могу поступать, как если б его вообще на свете не было. Во всяком случае, уже есть надежда, что свадьба не расстроится: люди, которым приходится что-то скрывать, становятся менее разборчивыми.

— Прости за нескромный вопрос,— перебил Поланецкий, берясь за шляпу,— но меня интересует моя закладная и как ты собираешься поступить с Плавицким. Ты уверен, что у Краславских есть деньги?

— Откровенно говоря, подозреваю, что даже немалые, хотя карт своих они мне не раскрывают. Похоже, что у них большой наличный капитал. Мать не раз мне говорила: состояние мужа ее дочь мало заботит. Несгораемую кассу я видел собственными глазами. Живут они на широкую ногу. Я в Варшаве почти всех ростовщиков знаю, евреев и не-евреев, и мне доподлинно известно: никому из них они не должны ни гроша. Ты ведь сам знаешь, какая у них прекрасная вилла с Бигелями по соседству. Капитала они не трогают, для этого они слишком благоразумны.

— Но точная цифра тебе неизвестна?

— Я пробовал осторожно подъехать, но, не решив еще, породнюсь ли с ними, не старался особенно нажимать. Мне дали понять, что у них тысяч двести, а будет и больше.

Поланецкий попрощался. «Все какие-то тайны, сплошной мрак и риск,— думал он, направляясь к Плавицким. — Нет, это не по мне».

Полчаса спустя они уже ехали с Марыней на кладбище. День был по-весеннему теплый, но серый, город выглядел уныло и неряшливо. Подтаявший снег на кладбище пластами сползал с могил, обнажая жухлую, полусгнившую траву. С могильных крестов и голых ветвей падали крупные капли, и налетавший порывами теплый ветер бросал их в лицо Марыне и Поланецкому. Ветер так трепал ее юбку, что приходилось придерживать рукой. Наконец они остановились у Литкиной могилы.

И тут было мокро, уныло, грязно; из-под раскисшего снега вылезла осклизлая земля. Никак не уместалось в голове, что девочка, которую так берегли, любили и баловали, лежит здесь в сырости и непроглядной тьме. «Пусть смерть и естественное явление,— размышлял Поланецкий,— но примириться с этим невоз-

можно». Всякий раз, побывав на Литкиной могиле, возвращался он, ропща и негодуя в душе. И теперь его осаждали те же мысли; любить Литку, зная, что на глубине нескольких футов лежит в земле ее почерневшее, разлагающееся тело, — в этом было для него нечто чудовищное. «Не надо мне тут бывать, — твердил он себе, — только в ярость слепую приходишь от своего бессилия, всякая охота жить пропадает». Но еще больше мучило другое: сознание, что, сколько ни думай о смерти — а не думать о ней невозможно, — без веры все равно ничего не придумаешь, кроме каких-то безнадежно глупых, жалких, пошлых пустяков. «Речь ни много ни мало, как о самом существовании, а на уме одни избитые, общие места. Какой-то порочный круг!» И в самом деле: если при мысли о смерти все в жизни лишается смысла, а, к сожалению, это так, и если тысячи людей до него, приходя к тому же заключению, не находили ни отрады, ни удовлетворения, какое дает познание истины... Что же он мог тогда сказать по этому поводу утешительного и небанального? Легко было увидеть, что вся жизнь человеческая, история, философия, в сущности, лишь борьба со смертью, борьба неустанная, отчаянная, вполне объяснимая, но одновременно безмерно глупая и беспечельная, ибо исход ее заранее предрешен. Но понимание этого, в свой черед, не давало никакого облегчения, возвращая в тот же замкнутый круг. «Единственная цель всех усилий в том, чтобы выжить, а единственный результат — смерть. Полнейший абсурд, невероятный в своей нелепости, если б не сама отвратительно беспощадная действительность, которая живые, любимые существа обращает в тлен».

Такими и подобными мыслями терзался Поланецкий при каждом посещении кладбища. Но сегодня он надеялся, что его избавит от них присутствие Марыни, а оказалось наоборот. Подорвавшая в нем веру в смысл и нравственную целесообразность жизни смерть Литки поколебала и его первое, чистое и не ведавшее сомнений чувство к Марыне. И вот, стоя с ней у Литкиной могилы, он вдруг с удвоенной силой вновь ощутил присутствие и тлетворное дыхание смерти, о которой успел было позабыть. И снова жизнь, а с ней любовь показались ему миражем, а повседневные хлопоты — тщетой и суетой. Если не милосердие и разум правят миром, зачем тогда трудиться, любить, иметь семью? Неужто лишь затем, чтобы, произведя на свет детей и привязавшись к ним всем сердцем, беспомощно взирать потом, как слепая, нелепая, грубая и возмутительная сила душит их, как волк агнят, и воображать себе, приходя к ним на могилу, как они гниют там во мраке и сырости. Лежит же вот Литка в земле!

На редкость унылый день еще больше растравлял душу. В прежние приходы сюда кладбище представлялось Поланецкому некой бескрайней пустотой, которая поглощает всякую жизнь, но вместе с тем и печаль, навеяв сон и покой. Но сегодня умиротворения и покоя не было. Со стволов и могильных памятников кусками отваливался снег; среди мокрых деревьев с карканьем кру-

жило воронье. Внезапные, сильные порывы ветра срывали капли с ветвей, с какой-то суетливой безнадежностью кропя ими скопище бесстрастно застывших каменных крестов.

Помолясь, Марыня сказала, понизив голос, как говорят обычно на кладбище:

— Теперь душенька ее здесь, витает над нами.

Поланецкий не ответил, ему пришло в голову, что они с Марыней — точно обитатели разных планет. И еще подумалось: будь в ее словах хоть крупица правды, все его душевные терзания не стоят выеденного яйца. Ибо тогда выходило бы, что люди умирают, их зарывают, но смерти нет.

Марыня стала укладывать на могиле венки из иммортелей, которые они купили у кладбищенских ворот, а на него нахлынули не мысли даже, а смутные ощущения. «Нет в этом мире ни на что ответа, — следя за ними, думал он, — замкнутый круг, из которого нет выхода».

И внезапно поразился: а ведь не будь Марынино представление о смерти известным допущением веры, высказки его как гипотезу какой-нибудь философ, эту гипотезу сочли бы гениальнейшей из всех. И правда: все объясняет, на все дает ответ, освещает не только загадку жизни, но и темную тайну смерти. Человечество в изумлении преклонялось бы перед таким мудрецом и его теорией.

Но, с другой стороны, и сам он, казалось, чувствовал незримое присутствие Литки. Сама она стала прахом, но ее мысли, желания, чувства остались жить, разойдясь волнами. Вот они помирились с Марыней, стали женихом и невестой, стоят сейчас у ее могилы, потом заживут вместе, у них народятся дети, которые, в свою очередь, будут жить, любить, производить потомство, — что это, как не волны, идущие от этой девочки вдаль цепью явлений, которым несть конца. Но как же смертный может источать эту нескончаемую, бессмертную энергию, как это уразуметь? Марыня в своей безыскусной вере нашла ответ, а он, Поланецкий, не находит.

В одном Марыня права: душа Литки с ними. У Поланецкого даже забрезжило некое смутное, не имевшее четких логических очертаний предположение, что, может быть, все передуманное, пережитое нами в жизни, все наши помыслы, стремления, привязанности преобразуются в какую-то материю, стократ более неуловимую и тонкую, чем эфир, и из нее возникает некое наделенное самосознанием астральное сверхбытие, которое извечно либо же раз от раза себя воспроизводит, усложняясь и совершенствуясь, — и так до бесконечности. Может быть, мысли и чувства могут, как атомы, слагаться в отдельные особи, ибо родственны по происхождению, исходят из мозга и сердца и тяготеют друг к другу, как вот простые вещества, которые по столь же необъяснимой причине образуют, соединяясь, физическое тело. Размышлять об этом было, правда, некогда, но ему почудилось, буд-

то завеса перед глазами чуть раздвинулась. Он мог, конечно, заблуждаться, но, чувствуя в ту минуту, что Литка с ними, не видел, как это иначе истолковать.

На колокольне посреди кладбища зазвонили: показалась похоронная процессия. Поланецкий подал руку Марыне, и они направились к воротам.

— Теперь я уверена: мы будем счастливы,— очевидно, все еще с мыслью о Литке сказала Марыня и прижалась к его плечу, быть может, оттого, что становилось трудно идти против ветра, который все усиливался.

Внезапным порывом ветра ее вуаль забросило на шею Поланецкому, и это вернуло его к действительности. Он взял под руку любящую его женщину, думая: если любовь и не спасает от смерти, то, во всяком случае, примиряет с жизнью.

В пролетке он всю дорогу не выпускал Марыниной руки. Вновь стала оживать надежда, что эта милая, бесконечно добрая девушка сумеет исцелить его, вернуть утраченную полноту чувств. «Жена моя!» — повторял он про себя, глядя на нее и читая в ее глазах: «Твоя!»

Плавицкий еще не вернулся со своей предобеденной прогулки, и дома они оказались одни. Поланецкий подсел к Марыне.

— Вы сказали, что Литка с нами, и это правда! — заметил он под впечатлением своих мыслей. — Я всегда возвращался с кладбища совершенно разбитый, а теперь вот нет. Хорошо, что мы там побывали.

— Как будто она нас благословила, — отозвалась Марыня.

— И у меня такое же чувство. И еще мне кажется, это крепче связало, больше сблизило нас.

— Да. И с грустью, и с радостью будем ее вспоминать.

— Если вы уверены, что мы будем счастливы, — продолжал он, взяв ее руки в свои, — тогда зачем медлить? Моя хорошая, чудесная, я тоже верю: нам будет хорошо, поэтому давайте не откладывать свадьбу. Мы оба хотим начать новую жизнь, так начнем ее скорее.

— Как вы решите, так и будет.

Он привлек ее к себе, ища, как накануне, ее губы. И она, то ли считая, что у него теперь больше прав на нее, то ли под влиянием проснувшейся и у нее самой страсти, не отвернулась, а, закрыв глаза, подставила губы, словно давно жаждавшие этого поцелуя.

ГЛАВА XXVII

Для Поланецкого наступила пора предсвадебных хлопот и приготовлений. Квартира, правда, была готова уже с полгода назад, еще до знакомства с Марыней. В свое время, когда Букацкий подтрунивал над этим, говоря, что Поланецкому не терпится жениться, он и не возражал.

— Что ж, деньги есть, могу позволить себе такую роскошь,— отвечал он. — Тем более что уже предпринимаю кое-что в этом направлении, и планы мои даже близки к осуществлению.

Букацкий называл весьма похвальной его предусмотрительность, выражая только удивление, почему он и акушерку с нянькой заранее не приищет. Иногда такие разговоры кончались ссорой. Поланецкий не выносил, когда ставили под сомнение его трезвый взгляд на вещи. Букацкий же считал, что вить уютное гнездышко загодя — сентиментальность поистине птичья, достойная разве овсянки какой-нибудь. Один твердил: хочешь поймать птицу, заводи клетку, это логично; другой возражал: если нет птички ~~на~~ примете и неизвестно, попадется ли, нечего зря и аппетит дразнить. Стычка кончалась обычно намеками на тонкие ноги Букацкого: с такими и за бескрылыми не больно погоняешься, на что Букацкий отвечал довольным смехом.

И вот, хотя клетка была готова и птичка не только поймана, ~~но и приручена~~, оказалось, что дел еще непочатый край. Оставалось только недоумевать, почему такой естественный акт, как ~~женитьба~~, обставлялся в цивилизованном обществе столькими сложностями. Никому ведь не дается право вмешиваться в нравственную сторону этого дела, стеснять свободу выбора, зачем же тогда придавать такое значение формальностям.

Но Поланецкий негодовал только потому, что, во-первых, не знал законов, во-вторых, отличался нетерпеливым нравом, и бумажная волокита его раздражала, а в-третьих, просто как человек деловой, который хотел побыстрее это уладить, коль скоро уже решился, отбросив всякую рефлекссию и мудрствования. В этом отношении он даже гордился собой, особенно сравнивая себя, например, с Плошовским, чья любовная история была у всех на устах еще до того, как стала известна из его дневника. «Я из другого теста», — повторял он не без самодовольства. Вместе с тем, вспоминая Плошовского, — его фигуру, благородное лицо с тонкими, но характерными чертами, образованность его, гибкий, проницательный ум, необыкновенный дар привлекать к себе людей, особенно женщин, — Поланецкий не мог не признать, что он по натуре человек менее изысканный и утонченный, вообще сделан из более грубого материала. На что, однако, сейчас же являлось возражение: сами нынешние условия жизни требуют твердости и выносливости, чрезмерная изнеженность, утонченность, физическая и нравственная, просто пагубна. Так что он, Поланецкий, гораздо жизнеспособнее. «Наконец, я приношу пользу обществу, а он годился быть разве украшением гостиных, — думал Поланецкий. — Я всегда сумею на хлеб заработать, а он умел только хлебные шарики катать. Я умею, и неплохо, красить ситцы, а он только красавиц умел в краску вгонять. А какая разница между нами в отношении к женщине! Он подверг скрупулезному анализу свои чувства и чувства любимой женщины и в результате, так и не решив, достаточно ли сильно любит, погубил и ее, и себя. Я тоже

не уверен в цельности моего чувства, но тем не менее женюсь — и был бы тряпкой, а не мужчиной, если бы, страшась будущего, упустил счастье, которое оно мне сулит».

Но как Поланецкий ни зарекался, все-таки сам впал в грех анализа, хотя и не против себя, а против Марыни. Правда, пошел он на это, потому что заранее был уверен в благоприятном результате. Он понимал: для обоюдного счастья недостаточно доброй воли одного, она бессильна без поддержки другого. Но не сомневался в отзывчивости Марыни. Натура у нее была честная и прямая; к тому же необходимость с юных лет трудиться, условия жизни приучили ее больше заботиться о других, нежели о себе. В сердце ее, кроме того, словно неусыпное загробное благословение, жила память о матери; эту несчастливую женщину, ее кроткий нрав, простоту и честность по сей день добрым словом поминали в окрестностях Кшеменя. И Поланецкий был убежден, что не разочаруется, положась на сердце и характер Марыни. Не раз приходили ему на ум слова одной хорошей знакомой его матери. Когда ее спрашивали, чья будущность тревожит ее больше, дочерей или сыновей, она отвечала: «Конечно, сыновей; дочери в худшем случае будут лишь несчастливы». И правда, ведь на сыновей влияют потом школа, свет, и они могут сделаться негодяями; дочери же, которым дома привиты понятия порядочности, «в худшем случае будут лишь несчастливы». Так и Марыня, думал Поланецкий. Он рассматривал, анализировал ее характер не как ученый, стремящийся познать неизвестное и предугадать непредвиденное, а как ювелир, который любит свое сокровище.

И вдруг однажды они с Марыней серьезно поссорились. Поводом послужило письмо Васковского, полученное Поланецким из Рима через несколько недель после отъезда старого учителя и прочитанное от первого до последнего слова Марыне. Вот что в нем было:

«Дорогой друг! Я остановился на виа Тритоне, во Французском пансионе. Наведайся, пожалуйста, ко мне на квартиру, посмотри, не обижают ли Снопчинский моих мальцов и есть ли корм и вода у братии святого Франциска. С наступлением весны надо открыть окна и клетки: кто хочет, пусть остается, а кто не хочет — улетает. Меньших моих братьев из рода *homo sapiens*¹, то есть мальчишек, надлежит кормить досыта — деньги я оставил, побольше любить и поменьше досаждать правоучениями. Снопчинский всем хорош, но, к сожалению, меланхолик. Правда, он говорит, что виновата зима. Но когда на него нападает, как он выражается, хандра, он по целым неделям сидит сиднем, уставясь на носки своих сапог, и молчит, а с детьми, чтобы завоевать их доверие, непременно надо разговаривать. Вот и все, что касается Варшавы.

¹ человек разумный (лат.).

Сочинение, о котором я тебе говорил, труд моей жизни, печатается на французском языке в типографии журнала «Италия». Надо мной и моим французским языком здесь подсмеиваются, но к этому я привык. Сюда приехал Букацкий. Он добрый и славный малый, но всегда был со странностями, а сейчас совсем свихнулся: уверяет, будто прихрамывает на одну ногу, чего я не замечаю. Очень любит тебя и Марыню, вообще всех, только не хочет в этом признаваться. Зато как пойдет рассуждать — уши вянут. Бог тебя благослови, мой мальчик, тебя и твою славную Марыню. Хотелось бы присутствовать на вашей свадьбе, но не знаю, успеют ли до пасхи напечатать мою книгу; так что ты почитай пока, что я тут тебе напишу и для чего я, собственно, взялся за перо. И, пожалуйста, не относись к моим словам, как к стариковскому брюзжанию; ты ведь знаешь, я был учителем и занятие это оставил, только получив наследство от брата, успев много повидать и испытать. Если у вас будут дети, не мучай их занятиями, пусть себе резвятся на свободе. На том можно бы и кончить, но, зная твою слабость к цифрам, приведу тебе цифры. Так вот, ребенок занят в день столько же, сколько чиновник, с той разницей, что чиновник может поболтать с сослуживцами, покурить, а ребенок ни на минуту не может отвлечься, иначе перестанет понимать объяснения учителя. Вернувшись из присутствия, чиновник отдыхает, а ребенок готовит уроки на следующий день; даже у способного ученика уходит на это четыре часа, а у менее способного — и все шесть. Прибавь к этому еще, что детям из бедных семей самим приходится давать уроки, а детям состоятельных родителей — заниматься с репетиторами. В итоге получается, что ребенок работает двенадцать часов в сутки. Двенадцать часов!.. Ты понимаешь, к чему это приводит, отдаешь себе отчет? Дети растут болезненные, исковерканные, с нехорошими наклонностями, угрюмые и строптивые. Мы сами укорачиваем их век, и непонятно, почему эта изуверская метода до сих пор находит себе сторонников. В наше время даже на фабриках сокращают рабочий день, к детской же участи филантропы глухи. А какое тут широкое поле для деятельности, какое святое, благородное дело, честь и слава его поборникам! Не мучай своих деток ученьем, прошу тебя. И Марыню прошу, оба обещайте мне это. От чистого сердца прошу, а не для ради пустословия, как стал бы уверять Букацкий, это ведь величайшая реформа, которой ждет будущее, вторая по значению после слияния христианского учения с историей. Со мной несколько дней назад приключился странный случай в Перуджии, но об этом в другой раз, а пока обнимаю вас обоих».

Марыня слушала, уставясь на носки своих башмаков, наподобие Снопчинского, о котором шла речь в начале письма. Полавецкий же, дочитав, громко рассмеялся.

— Бесподобно! Мы еще не поженились, а он уже заступается за наших детей и жалеет их заранее. Совсем как я со своим гнездышком. Сам виноват, — прибавил он, — наобещал ему. — И за-

глядывая Марыне в глаза, спросил: — А вы что на это скажете?

Бывают в жизни каждого неудачные минуты, когда говоришь и делаешь тебе несвойственное. Так и с Поланецким. Резковатый иногда, но не грубый, он по внутренней деликатности не уступал и женщине. А между тем его взгляд и слова, обращенные к девушке, да еще такой скромной, как Марыня, походили на самую настоящую грубость. Она, конечно, знала, что в замужестве рождаются дети, но представление об этом имела самое общее и считала, что об этом не говорят, а если и говорят, то не прямо, а в сокровенную минуту с бьющимся сердцем на ухо любимой, как о чем-то заповедном, о некоем *sanctissimum*¹ будущей совместной жизни. Поэтому небрежный тон Поланецкого возмутил и задел ее. «Как он этого не понимает?» — пришло ей невольно в голову. Но и она отнеслась к его словам не так, как в другое время. Подобно всем робким людям, от смущения и досады она рассердилась на него сильнее, чем сама того хотела.

— Как вы ведете себя со мной? — вскричала она. — Как вы позволяете себе со мной разговаривать?

Поланецкий продолжал смеяться, желая все обратить в шутку.

— Зачем же сердиться? — спросил он наконец.

— Вы держитесь со мной неподобающим образом.

— Не понимаю, о чем вы.

— Тем хуже для вас.

Улыбка мигом сбежала с его лица, и, покраснев от гнева, он торопливо заговорил, не вполне уже отдавая себе отчет в своих словах:

— Может, я и глуп, но не настолько, чтобы не отличить доброты от злости. А злость терпеть я не хочу! Сами себя вините, что шум такой подымаете из-за пустяков, а я лучше уйду, коли уж мое присутствие так вас раздражает.

И, схватив шляпу, поклонился и вышел. Марыня не пыталась его удержать. Обида и гнев оттеснили в ту минуту все другие чувства, да и вообще все смешалось, как будто ее обухом ударили. Мысли разлетелись стаей вспугнутых птиц, и в голове стучало только: «Все кончено! Он больше не вернется!» Прекрасное здание, которое уже воздвигалось в ее воображении, вдруг превратилось в обломки. Одиночество, пустота, истерзанное сердце и мучительная, бесцельная жизнь — вот ее будущий удел. А счастье было так близко!.. Случившееся было настолько неожиданно и непонятно, что она не могла опомниться. Подойдя к бюро, машинально стала перебирать бумаги — с такой поспешностью, будто от этого зависела ее судьба. Скользнула взглядом по фотографии Литки и унала на стул, прижав руки к вискам. Но на ум пришло: воля Литки священна для них, они обязаны ей покориться, и в

¹ святое святых (лат.).

душе затеплилась искра надежды. Взволнованно заходила она по комнате, стараясь припомнить, что же, собственно, произошло и представляя себе Поланецкого, каким он был два-три дня назад, за неделю до этого. И обида сменилась сожалением, которое росло одновременно с симпатией к Поланецкому. Она стала себя упрекать за то, что напрасно вспылила, ее долг принимать его и любить таким, каков он есть, а не требовать, чтобы он приравливался к ней. «Ведь это живой человек, а не кукла», — несколько раз повторила она. И ее охватило чувство вины и раскаяния. Доброе, любящее ее сердце вступило в спор с трезвым голосом рассудка, которого она не была лишена, но который напрасно твердил ей на этот раз, что Поланецкий неправ и она ничем его не оскорбила. «Он вернется, если хоть чуточку любит», — возражала она, но при мысли о мужском самолюбии, достаточно развитом у Поланецкого, ей становилось страшно; она была слишком умна, чтобы не заметить его желания казаться человеком волевым. Со стороны и это можно было истолковать не в его пользу, но она еще больше к нему расположилась.

Получаса не прошло, как она уже сочла себя кругом виноватой: он и без того уже «натерпелся из-за нее», и надо уступить, то есть первой сделать шаг к примирению. Это означало, в ее представлении, написать ему и объясниться. «Разве он этого не заслужил, ведь как его намучила история с Кшеменем». И она готова уже была плакать от жалости к нему. Вместе с тем шевелилась и робкая надежда: а может, этот «гадкий, противный» Стах поймет, чего стоило ей написать первой, и вернется еще сегодня?

Чего, казалось бы, проще написать нескольких идущих от сердца теплых слов, которые пробудят отклик в другом сердце. Но не тут-то было! У письма ведь нет глаз, в которых стоят слезы, нет личика с печальной и нежной улыбкой, нет ни дрожащего от волнения голоса, ни протянутой руки. Письмо — это черные буковки на бездушной бумаге, которые можно прочесть и так, и этак.

Марыня рвала уже третий листок, когда в полуотворенную дверь просунулось сморщенное, как печеное яблоко, лицо отца с нафабренными усами.

— Поланецкого нет? — спросил он.

— Нет.

— А будет он еще сегодня?

— Не знаю, папа, — со вздохом ответила Марыня.

— Если придет, скажи ему, детка, что я вернусь самое позднее через час и хочу с ним поговорить.

«Ох, как бы я сама хотела с ним поговорить!» — подумала Марыня.

Разорвав третий листок бумаги и взяв четвертый, она задумалась: обратить все в шутку или просто прощения попросить? Шутка может показаться неуместной, а в просьбу о прощении

можно вложить больше чувства, но как это трудно! Не уйди он, стоило бы только руку протянуть, но он вылетел пулей, такой неспосный — и такой любимый...

Она подняла глаза к потолку — еще поломать свою темноволосяную головку, как вдруг в передней раздался звонок. Сердце молотом застучало в груди, в голове молнией пронеслось: «Он или не он?»

Дверь открылась. Это был он.

Поланецкий вошел, мрачно глядя исподлобья, как волк, не зная, как его примут. Марыня вскочила с сердцем, встрепенувшимся, как птица, с сияющими глазами, счастливая и бесконечно тронутая его поступком, и, подбежав, положила руки ему на плечи.

— Какой вы добрый! Великодушный! — сказала она. — А я хотела к вам писать!

Поланецкий молча прижимал ее руки к губам.

— Вы должны были приказать с лестницы меня спустить, — вымолвил он наконец.

И от переполнявшей его благодарной нежности стал целовать ее в глаза, губы, виски, в растрепавшиеся в его объятиях волосы. В такие минуты он не сомневался, что любит ее настоящей, безраздельной любовью.

— Вы слишком добры ко мне, — сказал он, выпуская ее из объятий. — Но это хорошо, ваша доброта меня обезоруживает. Я пришел прощения просить — ни на что уже не рассчитывая. Я сразу остыл... И ругал себя последними словами, не могу даже передать, как мне было больно. Ходил по улице в надежде увидеть вас в окне и по вашему лицу решить, стоит ли возвращаться.

— Это мне надо прощения просить, я во всем виновата. Видите, вон разорванные клочки?.. Это я все писала и писала.

А он пожирал ее глазами — эти волосы, которые она торопливо закалывала шпильками. С раскрасневшимся, радостным лицом и лучившимися счастьем глазами, она казалась ему красивей и желанней, чем когда-либо.

Марыня заметила, что он смотрит на ее волосы, и смущение боролось в ней с женским кокетством. Сделав вид, будто не может справиться с волосами, отпустила их, и они волной упали ей на плечи.

— Не смотрите так, а то уйду, — приговаривала она.

— Но ведь это сокровище принадлежит мне, — отозвался Поланецкий. — Ничего роскошней я еще не видывал. — И снова простер к ней руки, но Марыня увернулась от него.

— Нет, нет! — возражала она. — Мне и так стыдно, что я не ушла.

Наконец волосы были приведены в порядок, и они, сев рядом, стали разговаривать спокойней, хотя не отрывая глаз друг от друга.

— Вы и правда хотели мне писать? — спросил Поланецкий.

— Видите, вон порванная бумага...

— Нет, право же, вы слишком ко мне добры!

Она устремила взгляд на полку, висящую над бюро.

— Потому что я перед вами виновата. Кругом виновата! —

И, подумав, что еще недостаточно великодушна, прибавила, покраснев и опустив глаза: — Потому что пан Васковский прав, говоря... что ученье...

У Поланецкого было одно желание: опуститься перед ней на колени и ноги ей целовать. Красота ее и доброта окончательно его сразили и покорили.

— Я пропал, совсем пропал! — вскричал он, облекая в слова свое чувство. — Вы будете вертеть мной, как захотите!

Она затрясла головой и весело рассмеялась.

— Ой, не знаю! У меня характера не хватит.

— Это у вас-то? Послушайте, я расскажу вам одну презабавную историю. В Бельгии познакомился я с двумя сестрами по фамилии Уотерс. У них был кот Мату́, которого они обе обожали. Ласковый такой, кажется, мухи не обидит. И вот одной подарили ручного зайца. И что вы думаете? Кот его так боялся, что со страху прыгал на шкафы, на печь, куда попало. И вот пошли они как-то погулять и по дороге спохватились, что кот с зайцем остались. «А не обидит его Мату?» — спрашивает одна сестра другую. «Мату? Да у него поджилки от страха трясутся», — и спокойно идет себе дальше. Возвращаются через часок, и... угадайте, что случилось? От зайца одни уши остались! Вот и с женщинами так же. Делают вид, будто нас боятся, а потом от нас — рожки да ножки.

И Поланецкий рассмеялся, а Марыня вторила ему.

— И от меня рожки да ножки останутся, я уж знаю, — прибавил он, сам, впрочем, не веря себе, убежденный, что у них все будет иначе.

— Нет, у меня характер не такой, — задумчиво ответила Марыня.

— Тем лучше, — заметил Поланецкий. — Знаете, жизненный опыт подсказывает мне, что верховодит обычно тот, кто эгоистичней.

— Или кто меньше любит.

— Это одно и то же. Про себя одно могу сказать: свяжи меня жизнь с какой-нибудь мегерой, я бы ее вот как в руках держал (он растопырил пальцы и сжал их в кулак). Но с такой голубкой, как вы, совсем другое дело. С вами, боюсь, придется воевать, чтобы вы не слишком забывали о себе, думая о других. Такая уж у вас натура — я знаю, кого в жены беру. Впрочем, не только я так считаю, вон Машко, не бог весть какой мудрец, и тот сказал: «Она с тобой может быть несчастлива, но ты с ней — никогда». И он прав. Интересно, как он со своей женой будет обращаться. У него ведь рука твердая.

— Он сильно влюблен?

— Не так, как недавно, когда вы с ним кокетничали.

— А он заслужил примерным поведением, не то что некоторые.

— Машко и эта Краславская — странная пара. Она недурна собой, несмотря на бледность и на свои красные глаза. Но Машко женится из-за денег. Он думал, она его тоже не любит, и после дуэли с Гонтовским (тоже нашелся рыцарь!) не сомневался, что они воспользуются случаем и порвут с ним. Оказалось, ничего подобного, и представьте, теперь его тревожит, что все складывается слишком уж благополучно... Ему это кажется подозрительным. Вообще тут много загадочного. Говорят, отец невесты жив... Бог его знает!.. Нелепость какая-то. Счастья там не будет, во всяком случае, как я себе его представляю.

— А как вы представляете?

— По-моему, счастье — это когда жене во всем доверяешь, вот как я вам, и ясно видишь жизненную цель.

— А по-моему, счастье — быть любимой; но это еще не все.

— Что же еще?

— Быть достойной любви и... — запнулась Марыня, ища нужных слов, и докончила: — Мужа уважать... И трудиться вместе с ним.

ГЛАВА XXVIII

Поланецкий не ошибался. У Машко все шло настолько гладко, невеста и будущая теща вели себя так примерно, что это повергало его во все большее беспокойство. Он сам подсмеивался над своими страхами, но однажды, поскольку с некоторых пор не имел секретов от Поланецкого, заявил ему с цинической откровенностью:

— Они сущие ангелы, но у меня от их доброты волосы дыбом встают. Сдается мне, здесь что-то неладно.

— Ты лучше бога благодари!

— Нет, слишком уж они добродетельны! Никаких недостатков, даже тщеславия. Вчера, например, объясняя им, что адвокатскую практику веду из убеждения, что в наши дни даже выходцы из лучших семей должны делать что-то, работать, служить. Угадай, что они ответили? Что это, дескать, занятие ничуть не хуже другого и любой труд почетен, а стыдиться его могут только люди пустые и никчемные. Целый фейерверк общих мест выпустили, так что мне тоже захотелось подпустить какую-нибудь прописную истину вроде: «Добродетель — превыше всего», и тому подобное. Нет, что-то тут нечисто, уж поверь мне. Я думал, причина в папаше, но, оказывается, нет. У меня уже есть о нем кое-какие сведения: живет в Бордо, прозывается мосье де Лангле, у него семья — незаконная, но большая, которую он содержит на средства, посылаемые пани Краславской.

— Ну и чем тебе это мешает?
— Мне? Ничем.
— Если так, то несчастные они женщины, больше ничего.
— Да, если б их доход равнялся их несчастью. Я ведь в стесненных обстоятельствах, не забывай. Если же они и вправду состоятельные и вообще такие, какими кажутся, я еще, пожалуй, влюблюсь, что достаточно глупо. А если у них ничего нет — тоже могу влюбиться, что уже глупее глупого. Барышня начинает мне нравиться.

— Ты неправ, это совсем неглупо. Только помни о своих делах и немножко о моих. Приближается срок платежа, а я, как тебе известно, в таких вопросах непреклонен.

— Я еще не совсем выдохся, кредит имею. А вы все-таки обеспечены ипотекой. Впрочем, на днях у Краславских званый вечер, будет оглашена наша помолвка, после чего я рассчитываю узнать о них что-нибудь подостоверней. Нет, чтобы такой деловой человек, как я, и кинуться головой в омут... Просто уму непостижимо, — продолжал Машко свой монолог. — С другой стороны, даже у самых осведомленных людей нет и тени сомнения в состоятельности Краславских. Вот только это их благородство настораживает!..

— Твои опасения скорее всего необоснованны, — перебил с некоторым раздражением Поланецкий. — Хотя не такой уж ты и деловой человек, милый мой, все из себя барины строил и до сих пор строишь, вместо того чтобы просто заработок искать.

Через несколько дней у Краславской действительно состоялся раут по случаю помолвки дочери с Машко; была звана и Марыня — Краславская, которой импонировали Плавичские с их знатной родней, не уклонялась от знакомства с ними, не то что с Бигелями. Машко пригласил своих приятелей, блиставших больше именами, чем умом, — все молодых людей с моноклями в глазу и прямым пробором в волосах. Были среди них пять братьев Выжей: Мизя, Кизя, Бизя, Брелочек и Татусь, прозванных «спящими красавцами», потому что оживали они только на масленицу, на время балов, когда энергично работали ногами, а потом на весь пост опять впадали в спячку, во всяком случае, умственную. Букацкий любил их и все над ними потешался. Приглашен был также барон Кот, который, узнав случайно, что жил в незапамятные времена некий Кот из Дембна, стал прибавлять каждый раз, когда его представляли: «из Дембна», и на все, что ему ни говорили, отвечал: «*Quelle drôle d'histoire!*»¹ Машко был со всеми ними на «ты», хотя и несколько третиrowал, — так же, как Коповского, молодого человека с красивой прической и столь же красивыми, но совершенно бараньими глазами. Из людей более солидных были Поланецкий и Кресовский. Пригласила Краславская и десяток дам с доч-

¹ Вот забавная история! (фр.).

ками — за ними с привычной небрежностью ухаживали братья Выжи, но девичьи их сердца замирали лишь при приближении гамлетичного Коповского, чей ум вполне мог уместиться в «ореховой скорлупке», — на том и кончалось его сходство с Гамлетом, но их это не смущало. Несколько плешивых стариков дополняли собравшееся в гостиной общество.

Невеста в белом платье была хороша необыкновенно, но портили ее даже красные глаза. Загадочное, сонное выражение сообщало ее лицу какую-то особенную женственность и прелесть. Чем-то она напоминала картины Перуджино. Внезапно оживляясь, она вспыхивала, как лампа матового стекла, но быстро угасала, что, впрочем, не лишало ее очарования. В тот вечер в легком белом платье она казалась привлекательней обычного. И Поланецкий отметил про себя: эта женщина с холодным сердцем и холодным умом — вполне подходящая жена для такого вот Машко, для которого тоже важней всего светские приличия. Уже сейчас можно предсказать: их супружеская жизнь уподобится прохладному серому дню, когда солнце не греет, но зато и грозы можно не опасаться. Вот сидят оба в углу гостиной, в стороне от остального общества, но не дальше, чем предписывается правилами хорошего тона, и внимания оказывают друг другу ровно столько, сколько полагается; Машко с ней нежен, но в меру, в его обхождении угадывается прежде всего желание выглядеть вполне *correct*¹, — и она платит ему той же монетой. Любезно улыбаются, заглядывают друг дружке в глаза, он разговорчивей, как и пристало будущему главе семейства; словом, являют собой самую идеальную и образцовую пару, если подходить со светскими мерками. «Я бы не выдержал такой пытки», — думал Поланецкий. И вдруг вспомнил беднягу доктора, который так любил ее, а теперь гниет в могиле где-то в тропиках, всеми позабытый, будто его и не было на свете, а она сидит себе невозмутимая, вся в белом, со светской улыбкой на устах. Его взяла злость. Он не просто порицал ее спокойствие, ему претила бесчувственность, эта летаргия души, недуг, еще недавно столь модный и громогласно превозносимый поэтами, почитаемый за нечто демоническое, но с тех пор изрядно опошлившийся и ставший верным признаком умственной и моральной нищеты. «Дура самая настоящая, и еще бессердечная притом», — подумал он. И понял, почему Машко не верит в их благородство, и Машко сразу вырос в его глазах как пронизательный и умный человек.

Затем он принялся сравнивать с Краславской свою невесту и с удовлетворением установил: «Нет, Марыся на нее не похожа». Глядя на нее, он отдыхал душой. Краславская была словно теплый цветок, лишенный притока вольного воздуха, а от Марыни веяло свежестью и силой. Но, даже подходя со свет-

¹ корректно (*фр.*).

скими мерками, сравнение оказывалось в пользу Марыни. Полаонецкий не был противником так называемой светскости, которая если не всегда, то часто свидетельствовала, по его понятиям, о душевном благородстве, особенно у женщин. И, переводя взгляд с одной на другую, пришел к заключению, что Краславской светскость привита воспитанием, отчего она держится несколько неестественно, а у Марыни это врожденное. Это натура ее, родовая суть, облагороженная вековой культурой, у Краславской же — наружность, наряд. Не во всем соглашаясь с Букацким, но отдавая должное меткости его суждений, он вспомнил, как тот говорил: женщин, независимо от происхождения, можно разделить на патрицианок, у которых культура, нормы поведения, духовные потребности в самой крови, и на плебеек, для кого все это нечто вроде мантильи, накидываемой к приходу гостей.

И, любуясь благородным профилем Марыни, Полаонецкий с самодовольством парвеню, который женится на княжне, подумал, что будущая его жена в полном смысле слова патрицианка. К тому же патрицианка красивая. Женщине, чтобы заблистать, недостает подчас фона да капельки счастья. Так и Марыня, после Литкиных похорон показавшаяся Полаонецкому чуть не дурнушкой, поражала теперь своей красотой. По сравнению с ней Краславская была точно линияное платье рядом с новым, и, если бы приданое Марыни могло тягаться с ее внешностью, она прослыла бы здесь первой красавицей. Братья Выжи, вздевая пенсне на носы, уже и так с интересом обращали к ней свои лошадиные лица, а барон Кот «из Дембна» развязно заметил: хорошо, что она помолвлена, а то бы и он «втюрился».

В тот вечер Полаонецкий обнаружил, что ревнив, — свойство, которого он раньше за собой не замечал. Причем ревнив совершенно безосновательно: ведь он много раз имел возможность убедиться, что Марыня вне всяких подозрений и ей слепо можно верить. В свое время он ревновал ее к Машко, но то было понятно, а теперь сам становился в тупик: почему так бесит его, что какой-нибудь Коповский с личиком херувима и птичьими мозгами подсаживается к Марыне и из приличия занимает ее дурацким разговором, а она тоже из приличия любезно ему отвечает. «Не может же она, в самом деле, язык ему показать!» — стал он себя урезонивать. Но потом ему показалось, что она больно уж часто к нему поворачивается, слишком ласково смотрит и чересчур благосклонно с ним беседует. И за ужином, сев рядом с ней, он угрюмо молчал, а на вопрос, что с ним, не нашел ничего лучше, как сказать:

— Не хочу портить впечатление, произведенное на вас папом Коповским.

Ей приятно было, что он ревнует, и она, сделав усилие, чтобы не рассмеяться, взглянула на него с притворной серьезностью.

— Вы тоже находите, что в нем что-то есть?

— Еще бы! Когда он по улице идет, можно подумать, что прическу свою несет, проветривает, чтобы ее моль не съела.

— Гадкий ревнивец! — прошептала Марыня, все еще сдерживая смех, но в глазах ее запрыгали веселые искорки.

— Я? Вот уж нет.

— Ну так и быть, перескажу наш разговор. Вчера во время концерта — вы, наверно, слышали — у одного музыканта был каталептический обморок. Кто-то рядом с нами заговорил об этом, и я так, между прочим, спросила у Коповского, приходилось ли ему видеть случай каталепсии. Знаете, что он мне на это ответил? Что у каждого может быть свое мнение. Ну, как вам это нравится? Не правда ли, что-то в нем есть?

Полавецкий, перестав сердиться, рассмеялся.

— Он не понимает, о чем его спрашивают, вот и отвечает невпопад, — сказал он.

Остальную часть вечера они провели вместе в добром согласии. Прощаясь — Плавичкине не могли его подвезти в двухместной пролетке, — Марыня спросила:

— Придете к нам завтра обедать, противный вы насмешник?

— Приду, потому что люблю вас, — отвечал Полавецкий, укрывая ей ноги меховой полостью.

— И я вас, — шепнула она ему на ухо, словно сообщая великую тайну.

И хотя он сказал, что чувствовал, слова Марыни были ближе к правде.

Домой Полавецкий возвращался в сопровождении Машко. По дороге говорили о вечере. И Машко рассказал, что перед прибытием гостей попытался было поговорить с Краславской на деловую тему, но не получилось.

— Была удобная минута, — объяснял он, — и я совсем было решился, конечно, в самой деликатной форме, спросить. Но смелости не хватило. Да и вообще, почему, собственно, сомневаться, что у моей невесты есть приданое? Потому только, что они обходятся со мной лучше, чем я ожидал? Шутки шутками, но я боюсь заходить слишком далеко. Что, если мои опасения окажутся напрасными и деньги у них есть? Тогда моя чрезмерная настойчивость может показаться слишком уж утилитарной. Этого тоже не стоит упускать из вида, чтобы не потерпеть крушения у самой гавани.

— Ну ладно, допустим — и скорей всего это так, — что деньги у них есть. А если нет? Что ты намерен делать? Порвешь с ней или женишься все-таки?

— Нет, в любом случае не порву, потому что ничего не выгадаю. Если свадьба расстроится, все равно меня это от банкротства не спасет. Выложу им начистоту, в каком я положении, и, полагаю, панна Краславская сама мне откажет.

— А если не откажет?

— Тогда влюблюсь в нее и постараюсь как-нибудь поладить с кредиторами. Перестану, как ты говоришь, «барина из себя строить» и примусь зарабатывать на нас обоих. У меня репутация неплохого адвоката. Впрочем, ты знаешь.

— Весьма с твоей стороны похвально, но ни мне, ни Плавицким от этого еще не легче.

— Вы в лучшем положении, чем другие, — у вас на крайний случай остается Кшемень. Ты возьмешь имение в свои твердые руки и сумеешь выжать из него доход. Хуже с теми, кто верил мне на слово; честно говоря, это меня больше волнует. Я пользовался полным доверием — и до сих пор еще пользуюсь... Это мое самое больное место; но если б немножко пождали, выкрутился бы как-нибудь... А капелька семейного счастья только помогла бы работать...

Машко не дождался: они были у дома Поланецкого. Но перед тем, как попрощаться, он сказал вдруг:

— Я знаю, в глубине души ты меня считаешь мошенником. Но я честней, чем тебе кажется. Да, я важного барина из себя строил, как ты выражаешься, мне ужом приходилось изворачиваться, не всегда идти к цели прямым путем. Но я устал ловить, и, честно говоря, истосковался по счастью, которого в жизни не имел. Поэтому и хотел жениться на твоей теперешней невесте, хотя у нее нет состояния. А что до панны Краславской, веришь ли, иногда мне хочется, чтобы и у нее не оказалось денег, но чтобы она не отвернулась от меня, узнав, что и я весь тут. Честное слово... Ну, спокойной ночи!

«Ну и ну! — подумал Поланецкий. — Это что-то новое».

Войдя в ворота, он в удивлении остановился перед своей квартирой: оттуда доносились звуки фортепиано. Это оказался Бигель, который ждал его уже часа два, по словам слуги.

Сперва Поланецкий встревожился, но рассудил, что он не стал бы играть, случись что-нибудь. И действительно: Бигелю срочно понадобилась его подпись по делу, которое предстояло завершить завтра утром.

— Чего же ты не оставил бумагу и не пошел домой спать? — спросил Поланецкий.

— А я уже поспал у тебя на диване, а потом сел поиграть. Когда-то я изрядно играл на фортепиано... не хуже, чем на виолончели, но сейчас пальцы не слушаются. Твоя Марыня, кажется, играет. Когда в семье музицируют, это приятно!

— Моя Марыня? — засмеялся своим добрым, сердечным смехом Поланецкий. — Моя Марыня играет совсем по евангельскому изречению: «Не ведает левая, что творит правая». Она, бедняжка, ни на что не претендует, играет, разве уж очень попросят.

— Ты вроде бы подтруниваешь, но так трунят только влюбленные.

— А я и есть самый настоящий влюбленный. По крайней мере, мне так кажется. И в последнее время все чаще, должен тебе сказать. Выпьешь чаю?

— Пожалуй. Ты от Краславских?

— Да.

— Ну, и как там Машко? Пристает наконец к берегу?

— Мы только что расстались. Он меня проводил до самого дома. Машко — он иной раз такое скажет... Кто бы ожидал.

Обрадовавшись собеседнику — ему давно хотелось поговорить по душам, — Поланецкий пересказал Бигелю свой разговор с Машко, выразив удивление относительно того, что даже такому человеку не чужды романтические порывы.

— Он не мошенник, — сказал Бигель, — он только еще вступил на этот скользкий путь, и все из-за тщеславия и боязни, что скажут в свете. Но, с другой стороны, эта боязнь и спасает его от окончательного падения. А что до романтических порывов... — Бигель откусил кончик сигары, осторожно поднес к ней спичку, закурил, наморщив лоб, затем сел поудобней и продолжал: — Букацкий отпустил бы в связи с этим десяток иронических замечаний насчет нашего общества. Он вот издевается над тем, что мы не можем жить без привязанностей, — помнится, ты так мне говорил. Считает, что это глупо и бессмысленно, а по-моему, это добрый знак. Каждый должен в жизни что-то совершить, а мы что можем? Денег у нас нет, практического ума и дальновидности мы почти лишены, хозяйствовать не умеем; единственно, что нам дано, — кого-то или что-то любить: дар почти неосознанный, скорее настроение, склонность или потребность. Я ведь, знаешь, человек деловой, положительный, здраво на вещи смотрю. И об этом только из-за Букацкого говорю... Потому что в другой стране твой Машко был бы шельма первостатейный. Я много знаю таких. А у нас и под личной мошенника что-то человеческое можно обнаружить — и ничего удивительного тут нет! Ибо пока в душе глеет хоть искра добра, ты еще не совсем оскотинился, а в нас есть эта искра благодаря потребности любить.

— Ты мне Васковского напоминаешь. То, что ты говоришь, очень похоже на его теорию о миссии славян как самого молодого европейского народа.

— Васковский тут ни при чем! Я говорю, что думаю. И убежден: без этого мы на части распадемся, как бочка без обруча.

— Послушай, что я тебе скажу. Я давно это для себя решил. Любить или не любить что-то или кого-то — это каждый вправе выбирать. А вот вообще не любить, ничего и никого, — нельзя. Я много думал об этом. После смерти Литки казалось мне и кажется иногда до сих пор, будто что-то во мне перегорело. Бывают минуты — не знаю, как тебе объяснить, — апатии, опустошенности, сомнения меня одолевают, и если я все-таки

женюсь, то поступаю сознательно, чтобы эта неопределенная потребность в любви получила твердую, реальную почву...

— Не только поэтому, — возразил неумолимо логичный Бигель, — ты ведь не из чисто рассудочных побуждений женишься. Невеста твоя — славная, красивая девушка, тебя к ней влечет, и не внушай себе, будто это не так, а то я и тебя в притворстве заподозрю... А сомнения, милый мой, это перед женитьбой вещь обычная. Вот я, вроде бы никакой не философ, а перед свадьбой раз по десять на дню себя спрашивал: крепко ли я свою невесту люблю? И так ли, как надлежит? И может, это не любовь, а страсть? Бог знает что выдумывал! А женился — жена мне попалась хорошая — и успокоился. И вам с Марыней будет хорошо, только не надо усложнять, в себе копать, свои ощущения анализировать, это самое последнее дело.

— Может, и так, — отвечал Поланецкий. — Я не из числа тех, кто, лежа кверху брюхом, с утра до вечера копается в себе, но все же нельзя на некоторые факты глаза закрывать.

— На какие факты?

— На такие, например, что вначале мое чувство к Марыне было иным. Надеюсь, оно снова станет прежним, к этому, кажется, идет. Женюсь я вопреки этим своим наблюдениям, закрываю на них глаза, но совсем откинуть их не могу.

— Ну что ж, дело твое.

— Но еще я считаю, что лучше пусть окна выходят на солнечную сторону, иначе в квартире будет холодно.

— Вот это ты хорошо сказал.

ГЛАВА XXIX

Зима между тем пошла на убыль, пост близился к концу, а тем самым приближался и срок свадьбы как Поланецкого, так и Машку. Приглашенный шафером Бугацкий прислал Поланецкому письмо, в котором, между прочим, говорилось: «Выводить высшую творческую силу из естественного состояния абсолютного покоя и принуждать ее при помощи брака воплощаться в крикливое земное существо, которому потребна люлька и которое развлекается тем, что засовывает в рот большой палец ноги, преступно. Однако же, поскольку у вас топят лучше здешнего, я приеду».

И действительно, за неделю до праздников он приехал и привез в подарок Поланецкому искусно изукрашенный листок пергамента, вроде извещения о смерти, на котором под соответствующей эмблемой — песочными часами — значилось: «Станислав Поланецкий после продолжительной и тяжелой холостяцкой жизни...» и т. д.

Подарок понравился Поланецкому, и на завтра около полудня он понес его показать Марыне. У него совершенно вылетело из

головы, что было воскресенье, и, заранее предвкушая, как приятно они проведут время до обеда, он был огорчен и разочарован, увидев Марыню в шляпе.

— Вы уходите? — спросил он.

— Я в костел. Сегодня ведь воскресенье.

— Верно! Как же это я забыл? А я думал, мы вместе посидим... Так было бы славно...

— А служба божия? — спросила она просто, подняв на него свои спокойные голубые глаза.

Поланецкий не придавал ее словам особого значения, не предполагая, что в духовном перерождении, которое ему суждено будет пережить, они именно бесхитростностью своей окажут на него определенное действие.

— Служба божия, — повторил он машинально. — У меня есть время, пойдемте.

Марыня искренне обрадовалась.

— Чем я счастливей, тем сильнее верую, — призналась она по дороге.

— Это знак душевного здоровья, другие только в беде про бога вспоминают.

В костеле Поланецкому опять пришло на мысль то, о чем уже думалось ему в Вонторах, где в первое его посещение Кшеменя были они с Плавицким у обедни: «Философские учения и школы проходят бесследно, а служба — службу правят по-прежнему». В этом было для него что-то необъяснимое. Тяжело пережив смерть Литки, он постоянно возвращался мыслями к этим загадочным вопросам. Стоило только оказаться на кладбище, в костеле или в иных каких-то обстоятельствах, не связанных прямо с повседневностью, как он задумывался о загробной жизни. И его поражало, что, несмотря на все философствование и сомнения, люди живут, словно заранее уверенные в этой будущей жизни. Как много делается во имя ее; сколько мелких эгоистических желаний подавляется, сколько воздвигнуто костелов, больниц, приютов, домов призрения в надежде, что за это воздастся на небесах.

Еще сильней его поразило соображение: ведь чтобы примириться с жизнью, надо сперва примириться со смертью, а без веры в какое-то загробное воздаяние возможно ли это? Когда же веришь, вопрос отпадает сам собой, будто его и не было. Живи себе и радуйся жизни. Ибо если так, чего еще желать? Впереди иное бытие, манящее хотя бы уже своей неведомостью, и надежда на это несет мир и покой. Пример тому Марыня. Из-за близорукости она низко склонялась над молитвенником, но, едва подымала лицо, Поланецкий видел на нем такую безмятежность, отрешенность, просветленность — поистине ангельские. «Вот она счастлива и всегда будет счастлива, — говорил себе Поланецкий, — к тому же еще и умница; потому что, будь правда на противоположной стороне, исканье ее давало хотя бы какое-

то удовлетворение, а так... Изводится из-за неразрешимых загадок просто глупо».

Поланецкий не мог забыть выражения Марыниного лица и сказал на обратном пути:

— В костеле вы напомнили мне Фра Анджелико. У вас было такое безмятежное и счастливое выражение.

— А я и на самом деле счастлива. И знаете, почему? Потому что я сейчас лучше. Прежде я таила в сердце обиду и неприязнь и никакой надежды впереди, так было горько, даже вспомнить страшно! Говорят, несчастье облагораживает, но я, видно, не отношусь к таким избранным натурам. Не знаю, может, и облагораживает, но горечь, обида, озлобленность отравляют, как яд...

— А вы очень меня ненавидели?

— Очень. По целым дням только и думала о вас,— взглянув на него, ответила Марыня.

— В пронительности Машко не откажешь,— заметил Поланецкий. — Он сказал как-то: «Она не меня любит, а тебя ненавидит».

— Ой, да! Вот уж ненавидела...

За разговором они дошли до дома. Поланецкий не мог отказать себе в удовольствии показать Марыне пергамент. Но ей шутка не понравилась. Брак был освящен в ее представлении не только чувством, но и религией. «Таковыми вещами не шутят»,— сказала она, признавшись, что Букацкий ей неприятен.

Букацкий явился после обеда. За несколько месяцев, проведенных в Италии, он отощал еще больше, что говорило явно не в пользу кьянти, якобы исцеляющего от катара желудка. Нос его заострился наподобие кончика ножа, а уморительное, с кулачок, иронически улыбающееся личико стало словно фарфоровое. Он приходился родней и Поланецкому, и Марыне и потому без стеснения нес всякий вздор. Прямо с порога заявил, что ввиду участившихся везде случаев помешательства помолвка их несколько его не удивляет, хотя огорчает, и приехал он в надежде еще спасти их, но теперь видит, что поздно и остается только смириться. Марыня рассердилась.

— Побереги свое остроумие для свадебного застолья,— укорил и хорошо к нему относившийся Поланецкий. — Скажи лучше, как поживает Васковский?

— Он тоже помешался,— с серьезным видом заявил Букацкий.

— Так нельзя шутить,— возразила Марыня.

— И совсем это не смешно,— прибавил Поланецкий.

— Да, помешался,— все с тою же серьезностью продолжал Букацкий. — Вот вам доказательства: во-первых, рассказывает по Риму без шляпы, вернее, рассказывая, сейчас он в Перуджи; во-вторых, накинулся на одну хорошенькую молодую англичанку, доказывая, что англичане только в частной жизни сле-

дуют евангельским заветам, а в отношении Ирландии ведут себя не по-христиански; в-третьих, он печатает брошюру, где утверждается, будто миссия возродить и обновить историю посредством христианства возложена на самое юное арийское племя. Согласитесь, что доказательства веские.

— Это мы знали еще до его отъезда, и если больше с ним ничего не случилось, надеемся, что увидим его в добром здравии.

— А он не собирается возвращаться.

Поланецкий вынул записную книжку, написал несколько слов карандашом и протянул Марыне со словами:

— Прочтите и скажите, согласны ли вы?

— Ну, если в моем присутствии начинают обмениваться записками, то я уйду, — сказал Букацкий.

— Нет, нет, это не секрет!

Марыня покраснела от удовольствия и, словно не веря глазам, стала спрашивать:

— Да? Это вы правда?..

— Зависит только от вас.

— Ах, пан Стах, я даже мечтать об этом не смела. Пойду папе скажу.

И выбежала из комнаты.

— Будь я поэтом, я бы повесился, — сказал Букацкий.

— Почему?

— Если несколько слов, нацарапанных компаньоном торгового дома «Бигель и К°» могут произвести впечатление сильнее самого совершенного сонета, лучше в подмастерья к мельнику идти, чем писать стихи.

Марыня на радостях забыла записную книжку, и Поланецкий подал ее Букацкому.

— Прочти, — сказал он.

— «После свадьбы — Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь, согласны?» — вслух прочел Букацкий. — Итак, путешествие по Италии?

— Да. Представь, бедняжка еще не была за границей; Италия кажется ей заколдованным царством, куда вступить ей не дано. Это для нее большая радость, а мне доставить ей удовольствие хочется, черт возьми!

— Любовь и Италия! Боже мой, неужто тебе это еще не надоело! Ведь это старо, как мир.

— Неправда! Влюбись, и увидишь все в другом свете.

— Я, милый мой, свое отлюбил и больше не влюблюсь. Загадка сфинкса давно уже разгадана мной и больше не соблазняет.

— Женись, Букацкий!

— Не могу — по причине слабого зрения и большого желудка.

— Какое это имеет отношение к женитьбе?

— Видишь ли, женщина — это как лист бумаги, с одной стороны он исписан ангелом, с другой чертом, бумага просвечивает, слова сливаются — получается каша, которой ни разобрать, ни переварить.

— Как ты можешь всю жизнь шутить?

— Женатый, холостой — все равно от смерти не уйдешь.

Мы иной раз о ней позабываем, да она-то о нас нет.

Тут вернулась Марыня с отцом, который тотчас заключил Поланецкого в объятия.

— Марыня мне сказала, что вы после свадьбы в Италию собираетесь.

— Да, если будущая моя повелительница не возражает.

— Не только не возражает, — подхватила Марыня, — но от радости совсем голову потеряла и на одной ножке прыгать готова, как будто ей десять лет.

— Если благословение одинокого старца будет вам споспешествовать в далеком путешествии, то благословляю вас, — произнес Плавицкий, возводя очи горé и подымая длань на потеху Букацкому.

Но Марыня, схватив отцовскую руку, со смехом поцеловала ее.

— Папочка, ты еще успеешь, мы ведь только после свадьбы собираемся.

— И вообще, что особенного, — прибавил Букацкий, — купили билет, сдали вещи в багаж — и вся недолга. Садись да поезжай.

— Вы уже до того дошли, что благословение одинокого старца и отца почитаете излишним? — патетически спросил Плавицкий циника.

Букацкий обнял его вместо ответа за плечи и, поцеловав в жилетку, сказал:

— А не хотите, одинокий старец, в пикет сыграть? А эти двое безумцев пускай всласть наговорятся.

— Но с рубиконом?.. — осведомился старик.

— С чем вам только будет угодно, — ответствовал Букацкий и предложил молодой паре: — Давайте я буду вашим чичероне в Италии.

— Боже избави, — отвечал Поланецкий. — Я только в Бельгии и Франции побывал, в Италии не довелось, но хочется посмотреть, что покажется интересным нам, а не тебе. Знаю я таких оригиналов, для вас искусство — только предлог порисоваться своими познаниями. — И продолжал, обращаясь к Марыне: — Да, да, вот до чего доходят. Великого в своей простоте искусства они не понимают, им подавай что-нибудь поизысканней, чтобы пощекотать свой пресыщенный вкус и ученость свою продемонстрировать. Они за деревьями леса не видят. Их не великие произведения привлекают, которыми станем любоваться мы, а ничтожные, о которых никто не слышал; откапывают ка-

кие-то никому неведомые имена, рассуждают с ученым видом о разных живописных манерах, вбивая себе и другим в голову, что вещи слабые и недотянутые лучше сильных и совершенных. Воспользоваться его услугами — значит проглядеть храмы, тарачась в лупу на мелочи какие-то. Все это снобизм, пресыщенность, изощренность, а мы люди простые, вот что я вам скажу.

Марыня с гордостью смотрела на своего жениха, точно желая сказать: «Видите, как умно!» И гордость ее еще возросла при словах Букацкого:

— Ты совершенно прав. — Но тут же он прибавил: — Но будь ты даже неправ, этот суд все одно решит дело в твою пользу.

Это задело Марыню.

— Простите, не настолько уж я ослеплена.

— А я — вовсе не знаток искусства.

— Нет, знаток.

— А если так, то да будет вам известно, что доскональное, в подробностях знание предмета вовсе не исключает любви к искусству, поэтому верьте мне, а не Поланецкому.

— Нет! Я верю пану Стаху.

— Что и требовалось доказать, — отпарировал Букацкий.

Марыня растерянно переводила взгляд с одного на другого. Из затруднения ее вывело появление отца с картами. Жених с невестой стали рука об руку прохаживаться по комнатам. У Букацкого вид был скучающий, и скоро скука завладела им окончательно. Под конец вечера настроение у него совсем упало; маленькое его личико сморщилось еще больше, нос заострился сильнее, и он стал похож на увядший лист.

— Ты чего скис? — спросил Поланецкий, выходя от Плавицких.

— Да я ведь как паровоз, — отвечал Букацкий, — пока с утра есть топливо, еду, а к вечеру кончается — останавливаюсь.

— Какое же топливо ты предпочитаешь? — спросил Поланецкий, глядя на него испытующе.

— Разное есть. Идем ко мне, крепким кофе тебя угощу, это нас освежит.

— Прости, может, это неделикатно с моей стороны, но мне кто-то говорил, будто ты давно уже к морфию пристрастился.

— Совсем недавно, — отвечал Букацкий. — Но знал бы ты, какие манящие дали открываются.

— Побойся бога, ведь это вредно!

— Да, вредно. А тебе незнакома такая вещь, как тоска по смерти?

— Нет, — отвечал Поланецкий. — Я уж скорее тоскую по жизни.

С минуту они помолчали.

— Не беспокойся, ни морфия, ни опиума не стану тебе предлагать, — первым нарушил молчание Букацкий. — Угощу

тебя крепким кофе и настоящим бордо. Оргия вполне невинная.

Квартира Букацкого была жилищем человека богатого, немного удручающим своей неуютностью, но полным всяких художественных вещей, картин и гравюр. В комнатах горели лампы,—Букацкий, даже когда спал, не выносил темноты.

На столе появилось вино, в спиртовке под кофейником вспыхнуло голубое пламя.

— Глядя на меня,—растянувшись на диване, сказал вдруг Букацкий,—на такого хрупкого и изможденного, ты небось не подозреваешь, что смерти я нисколько не боюсь.

— Зато подозреваю, что своими вечными шуточками ты просто обманываешь себя и других, а по сути все это напускное, несвойственное тебе.

— Нет, отчего же, меня забавляет человеческая глупость.

— Если ты считаешь себя умней других, почему же ты так бестолково устроил свою жизнь? —спросил Поланецкий и, обведя взглядом книги, картины, прибавил: — Несмотря на эту обстановку, живешь ты довольно-таки бестолково.

— Не спорю.

— И ты тоже притворяешься! Какое-то повальное заболевание всего нашего общества. Ты просто позер!

— Может быть. Но это постепенно становится второй натурой.

Оживясь от выпитого вина, Букацкий стал разговорчивей, хотя прежняя веселость к нему и не вернулась.

— Видишь ли, перед собой, по крайней мере, я ничуть не притворяюсь,—заметил он. — И все, что могут обо мне сказать, я давно уже обдумал и сказал себе сам. Жизнь веду самую нелепую и никчемную, хуже не придумаешь. Но вокруг меня зияющая пустота — и я боюсь ее, вот и заполняю всей этой дребеденью, чтобы отогнать страх. Смерти-то можно не бояться: умереть — значит ни о чем не думать, ничего не чувствовать. Но это другое. После смерти я сам буду частью этой пустоты, но ощущать ее при жизни, постигать умом, осознавать... Ей-богу, препоганая штука! К тому же со здоровьем дело швах, на исходе последние силы. Огонь едва во мне тлеет, вот и приходится его искусственно поддерживать. И никакого позерства или притворства, как ты говоришь, тут нет. А что, разжегши огонь, я воспринимаю жизнь юмористически, так ведь и больной лежит на том боку, на каком ему удобней. Мне так удобней; поза, может быть, искусственная, согласен, но всякая иная будет причинять мне боль, только и всего.

— А почему бы тебе делом каким-нибудь не заняться?

— Ах, оставь! Во-первых, я много чего знаю, да ничего не умею, во-вторых, болен, в-третьих, не советуй паралитику, у которого ноги отнялись, ходить побольше. Давай на этом поставим точку! Выпей лучше, и давай о тебе поговорим. Панна

Плавицкая — хорошая девушка, и ты правильно делаешь, что женишься на ней. Что я днем болтал — это все не в счет! Она славная и любит тебя... — И, придя в еще большее возбуждение от вина, Букацкий продолжал торопливо: — То, что я днем болтаю, не в счет! Сейчас ночь, мы с тобой выпили, и хочется поговорить по душам. Тебе вина или кофе? Люблю этот запах: мокко пополам с цейлонским... Да, охота по душам поговорить! Так вот, взгляды мои в общем тебе известны. Не знаю уж, какое счастье приносит слава, не испытал, и шансов прославиться никаких: храм в Эфесе давно сожжен... Но думаю, так себе, небольшое, мышонка не прельстит, даже натошак, не только что после плотного завтрака в кладовке... Зато знаю, что такое достаток, поскольку имею небольшое состояние, и попутешествовать успел, сладость свободы вкусить, и женщин узнал, да, черт побери, даже слишком хорошо! И что книги дают, тоже узнал. Кроме того, собрал вот в этой комнате толику картин, гравюр и фарфора... Но слушай, что я тебе скажу: все это ерунда! Вздор! Прах! Ничто — в сравнении с любящим сердцем. Вот мой вывод, итог, только поздно я к нему пришел, в конце жизни, нормальные люди понимают это с самого начала.

Он замолчал, нервно помешивая ложечкой кофе, а Поланецкий вскочил и воскликнул со свойственной ему непосредственностью:

— Ах, скотина! Что ж ты болтал несколько месяцев назад, будто в Италию удираешь, так как там никому до тебя дела нет и тебе все безразличны. Ведь не будешь же ты отпираться?

— Мало ли что я сегодня утром тебе наговорил, тебе и твоей невесте. Сказал, что помешались. А теперь вот говорю: правильно! Ты логики в моих словах не ищи. Языком молоть и правду говорить — вещи разные. Сейчас, после двух бутылок, я правду тебе говорю.

— Ну, это уж ни на что не похоже! Вот она, сермяжная правда! Не дознаешься, пока к стенке не припрешь, — твердил, расхаживая по комнате, Поланецкий.

— Любить — хорошо, — продолжал Букацкий, наливая себе вторую чашку кофе дрожащей рукой, — но быть любимым лучше. Выше ничего нет! Я бы все отдал... Но не обо мне речь. Жизнь — бездарная и плоская комедия, даже неподдельное страдание выглядит в ней иногда пошлой мелодрамой; единственное, что в ней хорошего, — быть любимым. Представь: этого я не испытал, а вот ты не искал, а нашел...

— Не говори так, ты не знаешь, чего мне это стоило.

— Знаю. Васковский рассказывал... Какое это имеет значение. Важно, чтобы ты это ценил.

— Что ты имеешь в виду? Я сам знаю, что меня любят, женюсь — и дело с концом!

— Нет, Поланецкий... — положил Букацкий ему руку на плечо. — Я себя глупо веду, когда дело касается меня, но о дру-

гих судить могу довольно верно. Так вот, это не «конец», а только начало... Большинство так говорит: «Женюсь — и дело с концом!» — и глубоко заблуждается.

— Что-то слишком сложно для меня.

— Видишь ли, жениться — значит не только брать, но и давать, и женщина должна чувствовать это. Понял?

— Не совсем.

— Не прикидывайся! Женщина должна быть не только собственностью, но и собственницей. Сердце за сердце! Иначе все насмарку пойдет. Браки бывают удачные и неудачные. Супружество Машко по многим причинам будет неудачным, — в частности, по той, о которой я говорю.

— А он вот другого мнения. Жаль, что сам ты не женился, коли так хорошо осведомлен, как должно поступать.

— Одно дело знать, а другое — сообразно с этим поступать. Будь это одно и то же, мы бы не оступались столько и не удалялись пребольно. И потом, ты представь только меня в роли жениха!

Букацкий засмеялся своим пискливым смехом. Он развеселился и снова обрел способность видеть все в смешном свете.

— Ты и то смешон будешь в этой роли, что уж обо мне говорить. Умора — животики можно надорвать. Сам через две недели убедишься... Например, будешь одеваться, чтобы в костел ехать. У тебя любовь, предстоящая жизнь на уме, сердце замирает, а к тебе садовник с букетом, и фрак надо надевать, да запонки куда-то подевались, лакированные ботинки не лезут, галстук не завязывается — все разом, полный хаос, сплошная мешанина! Спаси, господи, и помилуй! Жаль милый, тебя, но ты не принимай, пожалуйста, всерьез, что я тут тебе наговорил. Сейчас, кажется, новолуние, оно всегда меня на сентиментальный лад настраивает. Все это чепуха!.. Просто новолуние! Расчувствовался, как овца, у которой ягненок отнялся. Будь я неладен, каких банальностей наговорил.

Но Поланецкий встал на дыбы.

— Много я видел разных странностей, но знаешь, что несуразней всего в тебе и тебе подобных? То, что вы, исповедуя полную свободу и не признавая никаких авторитетов, как огня боитесь даже крупницы правды только потому, что ее могли высказать до вас. Слов не хватает, до чего глупо! А что до тебя, мой дорогой, ты не сейчас самим собой был, а минуту назад. А сейчас опять дрессированному пуделю угодился, который на задних лапках ходит... Но меня и десяток таких пуделей не переубедит, все равно я знаю: мне крупный выигрыш достался в жизненной лотерее.

Рассерженный, покинул он Букацкого, но по дороге понемногу успокоился.

«Вот они какие! — твердил он про себя. — Вот в чем они признаются, Машко и даже Букацкий, в минуту откровенности.

А я одно знаю: мне выпало огромное счастье, и я уж сумею его сберечь».

Дома взглянул он на Литкин портрет и вслух сказал: «Котеночек ты мой милый!..» И, засыпая, думал о Марыне со спокойной нежностью человека, сознающего, что совершил шаг правильный и серьезный.

Ибо, несмотря на предупреждение Букацкого, был по-прежнему убежден, что женитьба все разрешит и всем сомнениям положит конец.

ГЛАВА XXX

«Катастрофа», по выражению Букацкого, наконец наступила. И Поланецкий сам убедился, что, если бывают в жизни дни, когда совершенно невозможно собраться с мыслями, это прежде всего свадьба. В голове даже не мысли кружились, а какие-то смутные обрывки впечатлений. Главное чувство было: в его жизни начинается новая эра, он принимает на себя серьезнейшие обязанности, выполнять которые должен старательно и добросовестно, но одновременно страшно тревожился, почему до сих пор кареты нет и, распаляемый тревогой, грозился про себя: «Пусть попробуют опоздать, негодяи, я им покажу!» Минутами же глубоко проникался торжественностью момента, ощущая страх перед будущим и той ответственностью, которую возлагал на себя, и в столь приподнятом настроении намыливал подбородок, не забывая подумать: а не лучше бы ради такого исключительного случая пригласить парикмахера — привести в порядок шевелюру. И все это время мысленно был с Марыней, представляя ее себе так отчетливо, будто она была здесь, рядом. Вот сейчас она одевается, думал он, стоит у себя перед зеркалом, разговаривает с горничной и всем своим существом стремится к нему, а у самой сердце замирает, и, умиленный, он обращался к ней с целым монологом: «Только не бойся, глупенькая, видит бог, я тебя не обижу», видя себя в воображении добрым и снисходительным мужем — и с особым волнением поглядывая на лакированные ботинки возле кресла, на котором лежал спитый к свадьбе фрак. А время от времени приговаривал себе в ободрение: «Жениться так жениться!» И твердил, что глупо было колебаться: второй такой Марыни на свете не найдешь, остро чувствуя, как любит ее, и попутно соображая: дождь бы не пошел и в костеле ордена визиток может быть холодно, хотя погода неплохая, и что лучше повязать белый галстук, чем надевать бабочкой, и что всего через час он будет стоять на коленях рядом с Марыней, и нет, пожалуй, обряда, важнее венчания, — есть в нем некое таинство, и нечего, черт побери, еще над всякими пустяками голову ломать, все это схлынет через час, а завтра они уедут и заживут размеренной, спокойной супружеской жизнью.

Но внезапно все мысли разлетались, как стая испуганных воробьев, и в голове становилось пусто. И он машинально, одними губами повторял бессмысленные фразы: «Восьмое апреля, завтра среда, где мои часы, завтра среда», спохватываясь и констатируя: «Совсем спятил», после чего разлетевшиеся мысли опять возвращались и принимались стаей кружиться в голове.

Тем делом приехал Абдульский, комиссионер торгового дома «Поланецкий, Бигель и К°», шафер вместе с Букацким. Татарин родом, с красивым смуглым лицом, он выглядел очень эффектно во фраке и белом галстуке, и Поланецкий выразил надежду, что он и сам вскоре женится. «Рад бы в рай, да грехи не пускают», — возразил тот, молча, как в пантомиме, пересчитывая несуществующие банкноты, и заговорил про Бигелей. Детишки, по его словам, рвутся в костел и на свадьбу, но родители берут только двоих старших, а разногласия и распри по этому поводу жена Бигеля пресекла при помощи шлепков. Чадолубивый Поланецкий был страшно возмущен.

— Я с ними сыграю шутку! Они уехали уже?

— Должно быть, да.

— Вот что: по дороге к Плавицким завернем к ним и прихватим всю ораву. Поставим пани Бигель перед свершившимся фактом.

Абдульский не советовал, но только подлил масла в огонь. Сели в карету, поехали за детьми. Поланецкий был в доме своим человеком, гувернантка не осмелилась ему перечить, и полчаса спустя он, к величайшему ужасу Бигельши, вошел в квартиру во главе стайки Бигелят в домашней одежонке, с завернувшимися воротничками, растрепанными, с испуганными, но счастливыми мордашками.

— Детей обидеть хотели! — подбегая к невесте и целуя ей руки в белых перчатках, воскликнул Поланецкий. — Ну, скажите, что я поступил правильно!

Марыня просияла от удовольствия, тронутая этим новым доказательством его доброты, и от души обрадовалась детям; ее забавляло, что гости поглядывали на ее будущего супруга как на чудака. Не омрачал ее радости и растерянный вид Бигельши, которая, торопливо поправляя воротнички, приговаривала: «Вот уж сумасшедший».

Мнение ее отчасти разделял и Плавицкий. Но Марыня с Поланецким были заняты собой и ничего вокруг не замечали. Оба волновались. Поланецкий смотрел на Марыню, едва узнавая ее. Вся в белом — от туфель до перчаток, с миртовым венком на голове, в длинной фате, она была совсем другая. В облике ее была какая-то торжественная отрешенность, напоминавшая Литку в гробу, — сравнение это прямо не пришло ему в голову, но его охватила робость перед Марыней в белом; он не мог себя чувствовать с ней так просто, как вчера, когда она была в обычном своем платье.

Однако же он заметил, что выглядит Марыня хуже обычного,—свадебный венок редко красит женщин, к тому же покрасневшее от волнения и беспокойства лицо на белом фоне казалось еще красней. Но, как ни странно, именно это особенно тронуло Поланецкого. И в его добром от природы сердце шевельнулось что-то похожее на жалость и умиление. «И у нее сердечко бьется, наверно, как у пойманной птички»,—подумал он и, чтобы успокоить ее, стал говорить ей самые ласковые слова, сам удивляясь, откуда они берутся и как легко слетают с языка. Причиной была сама Марыня, ее видимые трепет и полное доверие, с каким отдавала она сердце и душу, себя, свою жизнь на радости и на горе, до самой смерти,—это и чувствовал Поланецкий, становясь нежнее, ласковей и красноречивей. Держась за руки, они с любовью, с преданностью и верой в будущее смотрели друг другу в глаза. Доверие стало обоюдным. Еще несколько минут — и будущее станет настоящим. Головы их прояснились, беспокойство понемногу улеглось и с приближением венчанья сменилось глубокой сосредоточенностью. Мысли Поланецкого не металась больше стайкой вспугнутых воробьев, осталось только удивление, как это при своем скептицизме он с такой серьезностью относится к предстоящему обряду. Но, в сущности, скептиком он не был. И в глубине души даже сожалел об утрате веры, к которой если и не приобщился вновь, то лишь из-за непривычки да своей душевной лени. Скептицизм коснулся его лишь поверхностно: так ветер рябит водную гладь, не проникая в глубину. Он отвык от внешней, обрядовой стороны, но это было поправимо и зависело от Марыни, тем более что предстоящее уже сейчас казалось ему столь торжественным, значительным и священным, что он, низко склонив голову, готов был приступить к этому таинству.

Но церковному обряду предшествовала еще одна церемония, по сути не менее торжественная, но Поланецкому претившая: надо было преклонить колени перед Плавицким, которого он не уважал, принять его благословение и выслушать напутственную речь, которую тот, ясное дело, не преминет произнести. «Но коли уж я решил жениться,—стал себе заранее внушать Поланецкий,—то должен все исполнять, что требуется, а какая физиономия будет у этой обезьяны, Букацкого, мне безразлично». И он покорно опустился рядом с Марыней на колени и выслушал напутствие Плавицкого, которое, против ожидания, оказалось кратким. Старик был сам непритворно взволнован, руки у него и голос дрожали, и он с трудом выговорил лишь несколько слов, заклиная Поланецкого не запрещать Марыне хоть изредка приходить помолиться на его могилу, пока она совсем травой не зарастет.

Однако торжественность минуты была в некотором смысле нарушена: Юзек Бигель, видя на глазах у Плавицкого слезы,

а Поланецкого и Марыню — на коленях (что у них дома означало наказание, предшествуя часто еще более решительным педагогическим мерам), зажмурился от страха и сочувствия, разинул рот и громко заревел. А поскольку братья и сестры последовали его примеру, к тому же все заторопились в костел, слова Плавицкого о «заросшей могиле» не могли произвести должного впечатления.

В карете, сидя меж Абдульским и Букацким, Поланецкий не вступал в разговор, односложно отвечая на вопросы и рассуждая сам с собой. Через несколько минут, думалось ему, свершится то, о чем мечтал он в последнее время и что вплоть до смерти Литки составляло предмет его горячих, заветных желаний. И опять он внутренне содрогнулся, представив разницу между своими чувствами в недавнем прошлом и теперь. Разница ведь все-таки была. Раньше он стремился и жаждал, а теперь просто как бы соглашался без прежнего пыла. Он даже похолодел от этой мысли, подумав: а что, если у него нет тех нравственных качеств, без которых невозможно строить совместную жизнь? Но он умел справляться с собой и отгонять беспокойство и сказал себе твердо: «Во-первых, сейчас не время думать об этом, во-вторых, реальность не всегда соответствует мечтаниям, это давно известно». А вспомнив предостережение Букацкого — «не только брать, но и давать», — отмахнулся: все это нюансы, подобные тончайшей, паутинной пряже, а жизнь грубее и проще и не обязательно согласуется с априорными теориями. И опять повторил себе, как уже много раз до того: «Женюсь — и дело с концом!» Это вернуло его к действительности, к происходящему вот сейчас, и он ни о чем не думал больше, кроме Марыни, костела и венчания.

А Марыня дорогой потихоньку молилась, чтобы муж был с ней счастлив — и для себя просила капельку счастья, крепко веря в заступничество матери там, на небесах.

Потом сквозь толпу приглашенных и зевак их под руки повели к алтарю, и они, как в тумане, видели знакомые, незнакомые лица рядом и мерцающие свечи впереди. Заметили пани Эмилию в белой наkolке сестры милосердия, ее глаза, улыбающиеся сквозь слезы. И оба вспомнили Литку — и в голове промелькнуло, что это благодаря ей идут они сейчас к алтарю. Затем опустились на колени; перед ними возвышалась фигура ксендза, над ним сияли свечи, блистали позолотой иконные лики главного алтаря. Обряд венчания начался. Они стали повторять за ксендзом слова брачного обета, и Поланецкого, который держал Марыню за руку, неожиданно для него самого охватило волнение, какого он не испытывал с тех пор, как мать водила его к первому причастию. И в этой обычной, узаконенной церемонии, в силу которой мужчина обретает право на женщину, в этом единении рук, этом обете почудилось ему присутствие как бы некой таинственной высшей силы — самого бога, пред

коим смиряется душа и трепещет сердце. В тишине раздались торжественные слова: «*Quod Deus junxit, homo non disjungat*»¹, и Поланецкий всем существом ощутил, что Марыня отныне — плоть и кровь его, часть души его, и он для нее тоже. На хорах грянуло: «*Veni creator*»², и Поланецкие вышли из костела. Но перед тем пани Эмилия успела обнять Марыню и шепнуть: «Благослови вас бог». Они поехали к себе на свадебный обед, а она поспешила на кладбище к Литке с радостным известием, что «пан Стах» обвенчался сегодня с Марыней.

ГЛАВА XXXI

Две недели спустя портье гостиницы «Бауэр» в Венеции подал Поланецкому конверт с варшавским штемпелем. Они с женой как раз садились в гондолу, направляясь в храм Санта Мария делла Салуте; была годовщина смерти Марыниной матери, и они заказали там мессу за упокой ее души. Поланецкий опустил письмо в карман, не ожидая из Варшавы никаких важных новостей, и спросил:

— Не слишком ли рано приедем?

— Пожалуй; до службы еще целых полчаса.

— Может, хочешь поехать к Риальто?

Марыня на все соглашалась с радостью. Никогда не бывавшая до того за границей, она жила, как в волшебном сне. От избытка чувств она иногда кидалась вдруг мужу на шею, точно это он воздвиг Венецию и своей красотой город обязан исключительно ему.

— Смотрю и не верю своим глазам,— повторяла она то и дело.

Они направились к Риальто. Благодаря раннему часу движение было небольшое, каналы дремали, день был тихий, неяркий,— один из тех, когда от Канале гранде, несмотря на все великолепие, веет кладбищенским покоем, дворцы кажутся пустыми и заброшенными, а их неподвижное отражение в воде невыразимо печально, будто они канули в вечность. В такие минуты созерцаешь их в молчании, опасаясь словами нарушить лежащую на всем тишину.

Так и смотрела на них Марыня, а менее впечатлительный Поланецкий, вспомнив про письмо, достал его и углубился в чтение.

— А!.. И Машко женился,— сказал он. — Они свою свадьбу справили через три дня после нас.

— Что ты говоришь? — спросила Марыня, моргая глазами, будто только проснувшись.

¹ Что бог соединяет, человек не разъединит (лат.).

² Творец явился (лат.).

— Я говорю, моя милая мечтательница, что Машко обвенчался.

— Что мне Машко, когда у меня есть мой Стах,— отозвалась она и, положив голову мужу на плечо, заглянула ему в глаза.

Поланецкий улыбнулся улыбкой человека, который снисходительно позволяет любить себя, принимая это как должное, и, несколько рассеянно поцеловав жену в лоб, продолжал читать; письмо, видимо, его занимало.

— Это форменная катастрофа! — вскричал он вдруг, подскокив, как ужаленный.

— Что случилось?

— У его жены десять тысяч рублей, завещанных дядюшкой. И больше ни гроша.

— Но это совсем немало.

— Немало? Послушай, что он пишет: «Теперь мое банкротство — вещь неизбежная, объявление меня несостоятельным — только вопрос времени». Оба друг в дружке обманулись, понимаешь? Он рассчитывал на ее состояние, она — на его.

— Хорошо, что есть хотя бы на что жить.

— Да на жизнь-то хватит, но с долгами расплатиться... А это и нас с тобой касается, и твоего отца. Все ведь может пропасть.

— Стах,— не на шутку встревожилась Марыня,— если нужно твое присутствие, давай вернемся... Какой для папы удар!

— Я немедленно напишу Бигелю, чтобы действовал за меня и спас, что можно... Но не принимай, детка, этого так близко к сердцу. У меня хватит на прожиток — и нам, и твоему отцу.

— Ты добрый, Стах!.. — обняла его Марыня за шею. — С таким, как ты, мне не страшно ничего.

— Да и не все еще потеряно... Найдет Машко кредиторов — и вернет нам долг. Может быть, на Кшемень найдет покупателя. Да, вот он пишет как раз, чтобы я Букацкого спросил, не купит ли, просит его уговорить. Букацкий уезжает в Рим сегодня вечером, и я его пригласил позавтракать с нами... Что ж, спрошу. Человек он состоятельный, и занятие в жизни появилось бы. А интересно все-таки, как Машко будет жить с женой? Он пишет тут в конце: «Я не скрыл от нее состояния своих дел, она отнеслась к этому спокойно, зато ее мать рвет и мечет». Еще он пишет, что привязался в последнее время к жене, и расстанся они, это было бы для него большим ударом. Ну, да лирика эта мало меня трогает, хотя и любопытно, чем все это кончится.

— Она его не бросит,— заметила Марыня.

— Не знаю. Я тоже сначала так думал, а теперь вот сомневаюсь. Хочешь пари?

— Нет, я вовсе не стремлюсь выиграть. Ты, противный, плохо знаешь женщин.

— Напротив, хорошо и потому утверждаю: далеко не все они такие, как эта девочка рядом со мной в гондоле...

— В гондоле, в Венеции... со своим Стахом! — отозвалась она.

Тем временем подъехали к собору. Вернувшись от обедни, они застали поджидавшего их Букацкого в сером в клетку дорожном костюме, который был ему слишком свободен, в желтых ботинках и невообразимой расцветки галстук, повязаном со столь же невообразимой небрежностью.

— Сегодня еду, — сказал он, поздоровавшись с Марыней. — Снять вам квартиру во Флоренции? Или, может быть, палаццо?

— Значит, вы по дороге остановитесь во Флоренции?

— Да. Хочу дать знать в галерею Уффици о вашем приезде, чтобы ковер на лестнице постелили, и черного кофе выпить, — вообще-то в Италии он дрянной, но во Флоренции у Джакозо, на виа Торнабуони, отменнейший... Это единственное, ради чего стоит посетить этот город.

— Почему вам доставляет удовольствие говорить не то, что вы думаете?..

— Нет, в самом деле, я бы вам удобную квартирку прискал на Лунг-Арно.

— Мы сначала поедem в Верону.

— Из-за Ромео и Джульетты? Ну что ж, поезжайте, пока вы еще при этих именах не машете пренебрежительно рукой. Через месяц, пожалуй, поздно будет.

Марыня фыркнула, как рассерженная кошка.

— Стах, не позволяй этому господину меня дразнить.

— Ладно, — ответил Поланецкий, — давай я ему голову отрублю, но только после завтрака.

...Еще не рассвело.
Нас оглушил не жаворонка голос,
А пенье соловья... —

продекламировал Букацкий, и спросил у Марыни: — Он написал хоть один посвященный вам сонет?

— Нет...

— Дурной знак!.. Вот у вас балкон выходит на улицу. И он ни разу не появлялся там, внизу, с мандолиной?..

— Нет.

— Плохо ваше дело.

— Да там и встать-то негде — кругом вода...

— Мог бы на гондоле подплыть. У нас, конечно, не так, атмосфера другая, но в Италии, уж кто взаправду влюблен, либо сонеты сочиняет, либо серенады поет. Это установленный факт, объясняется он географическим положением страны, морскими течениями, химическим составом воздуха и воды, так что кто сонетов не пишет и под балконом не поет, тот просто-напросто

не любит. Хотите, назову авторитетные сочинения, трактующие об этом предмете.

— Придется, видно, прямо сейчас ему голову рубить,— встал Поланецкий.

Но до приведения приговора в исполнение дело не дошло, так как завтрак был подан. Они сидели за отдельным столиком, но в зале был и общий табльдот, для Марыни, которую все живо занимало,— добавочный источник впечатлений: еще бы, увидеть самых доподлинных англичан! Было ощущение, будто ты в таких экзотических краях, куда ни одного кшеменьского жителя не занесет и не заносило. Восторженность ее подавала Букацкому и даже Поланецкому повод для беспрестанных шуток, но вместе с тем доставляла неподдельное удовольствие. Букацкий признавался, что вспоминает свою молодость, а Поланецкий окрестил жену полевым цветочком, говоря, что путешествовать с такой, как она, большая радость.

Однако «полевой цветочек», отметил про себя Букацкий, тонко чувствовал искусство и держался очень естественно. Марыне многое было известно по книгам или гравюрам. Но, не зная чего-нибудь, она прямо в этом сознавалась, не повторяя плоских или высокопарных общих мест. Зато уж если ей нравилось что-то, восхищалась прямо-таки до слез. Букацкий то высмеивал ее безжалостно, то уверял, что все так называемые знатоки в шорах, а вот она — истинная ценительница как натура впечатлительная, непосредственная и неспорченная и будь ей лет десять, ей вообще не было бы равных.

Но на сей раз говорили не об искусстве, а о варшавских новостях.

— Я письмо от Машко получил,— сообщил Поланецкий.

— И я тоже,— сказал Букацкий.

— И ты? Значит, сроки в самом деле подпирают. Нужда, как видно, крайняя. Ну так, стало быть, тебе известно.

— Уговаривает меня купить, прямо заклиняет,— ну, ты знаешь что,— умышленно не договорил Букацкий, памятуя, что Кшемень был причиной размолвки между Поланецким и Марыней.

— Ах, господи! — догадавшись, отозвался Поланецкий. — Мы раньше избегали даже произносить это слово, это было как прикосновение к ране, но теперь что же, мы муж и жена... Нельзя же всю жизнь бояться этого.

Букацкий бросил на него быстрый взгляд, а Марыня покраснела.

— Стась совершенно прав,— сказала она. — Я знаю, речь о Кшемене.

— Да, о Кшемене.

— Ну и что? — спросил Поланецкий.

— Я не стал бы его покупать уже хотя бы потому, что пани Марыне может показаться, будто им перебрасываются, как мячиком.

— Но я и думать забыла о Кшемене,— еще сильнее покраснев, сказала Марыня и посмотрела на мужа.

— Это лишний раз доказывает, какая ты у меня умница,— похвалил он ее, одобрительно кивнув головой.

— Но если пан Машко разорится,— продолжала Марыня,— Кшмень распродадут по частям или он попадет к ростовщику, а это мне было бы неприятно...

— Как же так! — воскликнул Букацкий. — Вы ведь только что сказали, что думать забыли о нем!

Марыня снова взглянула на мужа, на сей раз — растерянно, а он рассмеялся.

— Что, попалась? — И сказал Букацкому: — Видно, ты для Машко якорь спасения.

— Якорь?.. Скорее уж соломинка, ты посмотри только на меня... Кто за такую соломинку схватится, ко дну пойдет. И потом, сам Машко говорил, что меня ничем не проймешь. Может, он и прав. Поэтому мне и нужны сильные ощущения... Если я помогу Машко и он выкарабкается, опять встанет на ноги, то начнет по-прежнему корчить из себя лорда, а его жена — важную даму, и оба будут до отвращения *comme il faut*... и передо мной в который уже раз разыграется прескучная комедия, вызывающая у меня зевоту. А без моей помощи он разорится, погибнет, произойдет что-то неожиданное, из ряда вон выходящее, даже трагическое, может быть, — а это меня расшевелит. Подумайте сами: за пошлую комедию мне деньги пришлось бы платить, и немалые, а трагедию я смогу задаром посмотреть. Чего же тут раздумывать!

— Фу, как вам не стыдно говорить так! — воскликнула Марыня.

— Я не только говорю, я и напишу ему об этом. Ведь он меня надул самым бессовестным образом.

— Как это?

— А так! Я думал: вот сноб, демонический характер, не ведающий угрызений совести и добрых порывов. А на проверку оказывается, что он не лишен порядочности: хочет расплатиться с кредиторами, любит эту свою куклу с красными глазами, жалеет ее и разлука с ней была бы страшным ударом для него... И у него еще хватает наглости писать мне об этом... Что за народ, ни на кого нельзя положиться!.. Вот почему я за границей, иначе просто невыносимо.

Марыня не на шутку рассердилась.

— Если вы будете такие вещи говорить, я заставлю Стася с вами раззнакомиться.

— Ты и правда готов ради красного словца голову заморочить себе и другим, никогда не рассудишь здраво, по-людски, — пожал плечами Поланецкий. — Пойми, это я тебе советую Кшмень купить, это в моих интересах, да и ты нашел бы себе какое-то дело, занятие...

Букацкий засмеялся.

— Я тебе уже говорил, что предпочитаю делать то, — сказал он, — что нахожу приятным, а так как мне всею приятней ничего не делать, то, не делая ничего, я и делаю самое приятное. Докажи, что это глупо, коли ты умник такой! И потом: я — в роли землепашца!.. Это уж превосходит всякое воображение. Я, кого погода занимает только в одном смысле: зонт брать или трость, и вдруг на старости лет стану, как журавль на одной ноге, в небо поглядывать и гадать, дождь будет или ведро? Мне — и вдруг беспокоиться из-за того, уродится ли пшеница, взойдет ли репа, не загниет ли картофель, успею я убрать горох, сумею поставить Ицку из Песьей Вольки столько мер зерна, сколько подрядился, не заболеют ли мои кони сапом, а овцы — ящуром? Совсем выжить под старость из ума и мямлить через каждые два слова: «сударь мой» и «как бишь его»? *Voyons! Pas si bête!*¹ Мне, свободно-му человеку, стать *glebae adscriptus*?² Чтобы меня «благодетелем» величали и «соседушкой», своим парнем прослыть, сарматом, ляхом?

И, разгоряченный вином, стал вполголоса цитировать Сляза из «Лиллы Венеды»:

Тому б я плюнул в очи, кто посмет
Назвать меня вдруг ляхом. Неужели
На лбу моем начертано семь смертных
Грехов, а также пьянство и обжорство,
И грубость, и влечение к гербам...

— Вот и говори с ним! — сказал Поланецкий. — Тем более что отчасти он прав!

Марыня же, приумолкшая с той минуты, как Букацкий стал перечислять сельские заботы, вдруг стряхнула с себя задумчивость.

— Когда папа бывал нездоров, — сказала она, — а в Кшемене он чувствовал себя гораздо хуже теперешнего, я помогала ему по хозяйству и понемногу привыкла к этому. И хотя, видит бог, хлопот всегда было довольно, мне хозяйственные дела доставляли такое удовольствие, что и сказать не могу. Сперва я не понимала, почему, но пан Ямиш мне растолковал. Сельским трудом, говорил он, жизнь держится, любой другой — только производный от него или же вообще лишний... Позже мне яснее стало многое, о чем он и не поминал. Выйдешь весной в поле, глянешь, как зеленеет все, и на душе радость. И я теперь знаю почему. Потому что люди не могут без лиги, а в земле — правда. Ее не обманешь, и она тоже может дать или не дать, но не обмануть... Приверженность к земле — это как к истине, и кто ее любит, того и она научит любить... Роса не только на хлеба, на траву ложится, она и в душу проникает, сердце оттаивает, и человек становится лучше, — ведь

¹ Нет уж! Нашли дурака! (*фр.*)

² приписанным к земле? (*лат.*)

правда и любовь к богу приближают. Вот почему я так любила Кшемень.

Невольный испуг, не наговорила ли она лишнего и не рассердился ли ее «Стах», волнение, вызванное воспоминаниями,— все это вдруг отразилось в ее глазах, осветило лицо, юное, как утренняя заря.

Букацкий не отводил от нее взгляда, будто созерцал какой-то неведомый, только обнаруженный шедевр венецианской школы; затем, полуприкрыв глаза, спрятал свое маленькое личико за огромным узлом замысловатого повязанного галстука.

— *Délicieuse!*..¹ — прошептал он и, высвободив опять подбородок, прибавил: — Вы правы, совершенно правы...

— Тогда, значит, вы не правы,— логично возразила Марыня, не поддаваясь комплименту.

— Это совсем другое. Вы правы потому, что это вам идет, женщины в таких случаях всегда правы.

— Стась! — обратилась она к мужу за поддержкой.

Столько очарования было в ней в эту минуту, что и он ответил ей восхищенным взглядом; лицо его лучилось улыбкой, поздри раздувались от волнения.

— Ах, детка! — произнес он, ладонью прикрыв ее руку, и, наклонясь, шепотом прибавил: — Будь мы одни, расцеловал бы эти милые глаза и губки.

И в этом таился немалый самообман: недостаточно видеть лишь внешнюю привлекательность, любоваться зардевшимся лицом, глазами, губами, надо было разглядеть ее душу, а он не разглядел, о чем свидетельствовало его снисходительное: «Ах, детка!» Марыня была для него очаровательной женщиной-ребенком, и большего он в ней не видел.

Между тем подали кофе.

— Так, значит, Машко ударился в лирику! Да еще после свадьбы,— сказал Поланецкий, чтобы покончить с этим разговором.

— Что после свадьбы, в том нет ничего странного,— ответил Букацкий, залпом выпив горячий кофе,— а вот что Машко... Немножко лирического настроения как раз после свадьбы... Впрочем, прошу прощения! Я чуть было не сказал банальность... Простите великодушно, не буду больше!.. Обещаю. Вовремя язык себе обжег, но я пью такой горячий, потому что мне сказали: от головной боли помогает, а голова так болит, так болит...

Он приложил руку к затылку и, закрыв глаза, посидел так некоторое время.

— Вот, мелю языком, а голова-то болит. Пойти бы мне домой, да художник один сюда придет, Свирский; мы вместе едем во Флоренцию. Замечательный акварелист, без преувеличения за-

¹ Прелестно!.. (*фр.*)

мечательный... Такого мастерства никто еще в акварели не достигал. Да вот и он!

Свирский оказался легок на помине. Выросши вдруг в дверях, он стал искать глазами Букацкого. И, заметив, направился к их столу.

Это был плотный, коренастый человек с могучей шеей и широкой грудью, смуглый и черноволосый, как итальянец. Лицо у него было ничем не примечательное, но глаза умные, пронзительные и добрые. На ходу он слегка раскачивался из стороны в сторону.

Букацкий в таких выражениях представил его Марыне:

— Разрешите вам представить пана Свирского, гениального художника, который не только талантлив, но и возымел несчастную мысль не зарывать свой талант в землю, как многие другие, хотя мог бы это сделать с не меньшим успехом... Но он предпочитает наводнять мир акварелями и упиваться славой.

— Хотелось бы, чтобы это была правда, — улыбнулся Свирский, показывая два ряда мелких, но крепких и белых, как слоновою кость, зубов.

— Сейчас объясню, почему он не погубил свой талант, — продолжал Букацкий. — Причина до того тривиальна, что порядочный художник постеснялся бы и признаться: из любви к Погнембину, это где-то возле Познани, да? А любит он свой Погнембин, потому что родился там. Родись он на Гваделупе, любил бы Гваделупу, что вдохновляло бы его точно так же. Вот что меня в нем возмущает, — по-вашему, я неправ?

Марыня подняла на Свирского свои лазоревые очи.

— Пан Букацкий совсем не такой плохой, каким старается показаться. Вас ведь лучше и нельзя было отрекомендовать.

— Умру в безвестности, — прошептал Букацкий.

А Свирский меж тем пожирал Марыню глазами — смотреть так на женщину, не оскорбляя ее, может позволить себе только художник. Во взгляде его читалось восторженное недоумение.

— Такое лицо — в Венеции... Просто невероятно! — пробормотал он наконец.

— Что ты сказал? — спросил Букацкий.

— У пани, говорю я, чисто польское лицо. Вот тут, например, очертил он большим пальцем свой нос, губы и подбородок. — И какая тонкость линий!

— Ага! — оживился Поланецкий. — Мне тоже всегда так казалось.

— Пари держу, что тебе это никогда и в голову не приходило, — возразил Букацкий.

Но Поланецкий польщен был и горд впечатлением, какое Марыня произвела на известного художника.

— Если бы вам доставило удовольствие написать портрет моей жены, мне доставило бы еще большее удовольствие иметь его, — сказал он.

— Извольте, буду рад,— ответил Свирский просто,— но я сегодня уезжаю в Рим. У меня начат портрет пани Основской.

— Мы тоже будем там не дальше чем через десять дней.

— Что ж, решено!

Марыня стала благодарить, покраснев до корней волос. Но Букацкий, попросившись, увлек художника за собой.

— У нас еще есть время,— сказал он, выходя. — Пошли к Флориани, выпьем по рюмке коньяка.

Пить Букацкий не любил и не умел, но с тех пор, как пристрастился к морфию, пил много и через силу, но безостановочно, так как слышал, будто одно другим обезвреживается.

— Приятная пара эти Поланецкие! — заметил Свирский.

— Недавно поженились.

— Оп, видно, души в ней не чают. Когда я похвалил ее, у него глаза заблестели, приосанился даже от гордости.

— Она его во сто раз больше любит.

— А ты почему знаешь?

Букацкий не ответил, вздернул только свой острый носик.

— В любви и супружестве отталкивает меня то,— заговорил он, словно рассуждая сам с собой,— что один всегда верховодит, а другой жертвует собой. Вот Поланецкий, человек он хороший, ну и что? Она ему и душевными качествами, и умом не уступит, но любит сильнее, и жизнь сложится у них примерно так: он будет, как солнце, благосклонно светить и дарить ее своим теплом, а она станет его принадлежностью, малой планетой, которая обращается вокруг него. Это уже сейчас обозначилось... Она уже вошла в сферу его притяжения. Есть в нем какая-то такая самоуверенность, которая меня бесит. Он к ней в придачу получит все прочее, она — только его, без всякой придачи. Он позволяет себя любить, почитая любовь к ней за особую свою милость, добродетель и достоинство; для нее же его любить — счастье и вместе долг... Скажите, какое благостно-лучезарное божество!.. Так и подмывает воротиться и выложить им все,— хоть немножко омрачить их безмятежное счастье!

Они дошли до кафе, сели на улице за столик; им тотчас подали коньяк. Свирский молчал, раздумывая о Поланецких.

— А если ей, невзирая ни на что, будет с ним хорошо? — сказал он наконец.

— Мало ли, ей и в очках будет хорошо: она близорука.

— Побойся бога! С таким лицом — и очки?!

— Видишь, тебя возмущает одно, а меня — другое.

— У тебя в голове, точно мельница кофейная: мелет и мелет, пока не перемелет все в мельчайший порошок. Чего ты, собственно, хочешь от любви?

— Я? От любви? Ровным счетом ничего. Черт бы ее совсем побрал! У меня от нее колотье под лопаткой начинается. Но был бы я совсем другим и ждал от нее чего-нибудь и меня бы спросили, какой она должна быть и чего я хочу...

- Ну? Начал, так кончай!
- Я бы хотел, чтобы чувственность и уважение уравновесили друг друга. — И прибавил, выпив рюмку коньяка: — Ну вот, сказал что-то, кажется, не такое уж глупое, если и не очень умное... А впрочем, все равно!..
- Нет, это не глупо.
- Ей-богу, мне все равно!

ГЛАВА XXXII

После недельного пребывания во Флоренции Поланецкий получил от Бигеля первое деловое письмо, и вести были настолько благоприятные, что превзошли самые смелые ожидания. Запрещение вывоза хлеба за границу из-за голода было обнародовано. Контора их успела к тому времени закупить и вывезти огромное количество хлеба, а так как цены за границей сразу подскочили, они оказались в барыше. Тщательно продуманная и с размахом проведенная, операция оказалась настолько выгодной, что из людей состоятельных они сделались чуть ли не богачами. Впрочем, Поланецкий, с самого начала уверенный в успехе, и не питал никаких опасений, но все же удача была не только кстати в финансовом отношении, но и льстила самолюбию. Успех всегда опьяняет, прибавляя самоуверенности. И Поланецкий не удержался, чтобы не дать понять в разговоре с женой, какой он незаурядный человек, на целую голову превосходящий остальных, вроде самого высокого дерева в лесу, как умеет всегда добиться своего, — словом, редкая птица среди неумеек и недотеп, которых в обществе полным-полно. И трудно было найти слушателя более благодарного, все принимающего на веру, нежели Марыня.

— Ты женщина, зачем мне тебе излагать все сначала и во всех подробностях, — говорил он не без некоторого покровительственного оттенка. — Как женщина ты лучше поймешь, если я так скажу: вчера я еще не мог купить тот медальон с черной жемчужиной, который мы видели у Годони, а сегодня могу — и куплю тебе.

Марыня стала его благодарить, прося не делать этого, но он обнял ее, заверяя, что не отступит, — это дело решенное и «Марыся» может уже считать себя обладательницей большой черной жемчужины, которая восхитительно будет выглядеть на ее белой шейке. И начал ее в эту шейку целовать, а нацеловавшись, стал за неимением другого слушателя рассуждать, улыбаясь жене и своим мыслям:

— Я уж не говорю о тех, кто ровно ничего не делает: Букацкий, например, куда он годен... Не буду говорить и о разных ослáх вроде Коповского — что ума у него ни на грош, всем известно; но взять даже таких, которые что-то делают и далеко не дураки. Бигель, к примеру: сумел бы он воспользоваться удобным

случаем? Да нет, стал бы раздумывать, тянуть, сегодня он решил, завтра отступил — и упущен момент. Здесь что важно? Голову надо, во-первых, иметь на плечах, а во-вторых, сесть спокойненько и все рассчитать. И если уж делать, то делать! При этом не заносясь и ничего из себя не воображая. Машко вроде бы и неглуп, а смотри, что натворил!.. Я по его стопам не ходил и не пойду.

И, расхаживая по комнате, встряхивал в подтверждение своей густой черной шевелюрой, а Марыня, которая во всем ему целиком доверяла, теперь, после одержанной победы, ловила каждое его слово как откровение.

— Знаешь, что я думаю? — сказал он, остановясь наконец перед ней. — Трезвость взгляда — вот признак ума. Можно быть интеллигентным, восприимчивым, как губка впитывать знания, но не уметь при этом здраво судить о вещах. Пример — Букацкий. Не сочти меня хвастуном, но обладай я такими же познаниями об искусстве, то и судил бы о нем основательней. Он же начался, нахвтался всего, а собственного мнения не имеет. Уверяю тебя, я бы из этих беспорядочных сведений сумел вывести что-нибудь свое.

— Еще бы, несколько не сомневаюсь! — ответила Марыня.

Быть может, Поланецкий в чем-то был и прав. Человек совсем неглупый и, пожалуй, более сосредоточенного и основательно-го ума, нежели Букацкий, он не обладал, однако, его живостью и разносторонностью, — что не приходило ему в голову. Не помышлял он и о том, что заносчивые суждения, какие позволил он себе высказать наедине с Марыней, у людей посторонних и более скептических встретили бы критику и насмешку. Но с ней он уже не стеснялся. Если позволительно капельку щегольнуть, то перед кем же, как не перед женой? Сам ведь говорил: «Женюсь — и дело с концом»; теперь-то она его.

Вообще никогда он еще не был так счастлив и доволен жизнью, как теперь. Будущее обеспечено благодаря удаче в делах. Жена у него молодая, привлекательная и умница, для которой слово его свято; да и как иначе, если губы ее весь день горели от поцелуев, а честное, доброе сердце было исполнено благодарности за его любовь. Чего было еще желать, чего ему недоставало? К тому же был он доволен и собой, полагая, что везением в жизни, сулящей благополучие и покой, в значительной мере обязан себе и своему уму. Он видел: другим плохо, а ему хорошо, и считал это своей заслугой. Он всегда думал, что для душевного равновесия нужно разобраться в самом себе, своем отношении к людям и богу. Первые два условия он полагал выполненными. У него были жена, работа, надежное будущее; он взял на себя и сделал все, что мог наметить и выполнить. Что касается отношения к людям, он позволял иногда себе покритиковать их, даже побранить, но чувствовал, что в глубине души любит их, не в силах не любить, даже если б захотел, и готов, коли надо, в огонь и в воду

ради них; стало быть, и тут все обстояло благополучно. Оставалась вера. Если и к ней отношение прояснится, определится, он мог бы на склоне лет сказать себе, что исполнил свое назначение на земле; знал, ради чего жил, к чему стремился и почему должен умереть. Не будучи ученым, Поланецкий был, однако, настолько сведущ в науках, чтобы понимать: искать разрешения всех сомнений и вопросов в так называемой философии бесполезно, скорее дать его могут здравый взгляд на вещи и особенно чувство, тоже, конечно, простое, здоровое, предохраняющее от разных экстравагантностей. И представлял себя в воображении — а он не был его лишен, — честным, порядочным, степенным человеком, примерным мужем и отцом семейства, который трудится, молится богу, водит детей в костел по воскресеньям и вообще ведет в нравственном отношении чрезвычайно здоровую жизнь. Идеальная эта картина так улыбалась ему, а чего только не сделаешь ради своих идеалов! Будь побольше полезных членов общества, думалось ему, оно само было бы жизнеспособней и здоровей, чем сейчас, когда низшие слои неразвиты, а высшие состоят из недоумков, дилетантов, декадентов и тому подобных сомнительных личностей с мозгами набекрень. Как-то вскоре после знакомства с Марыней Поланецкий пообещался себе и Бигелю, что едва разберется в себе и своем отношении к людям, как всерьез приступит к выяснению последнего, третьего вопроса. Время это теперь наступило или наступало. Он понимал, что для этого необходима самоуглубленность, а свадебное путешествие, новые ощущения и впечатления, жизнь в гостиницах и беготня по музеям к этому не располагали. Лишь в редкие минуты, когда ничто не отвлекало, обращался он мыслями к этому ставшему для него главным предмету. Поощряли его и разные внутренние влияния, казалось бы, незначительные, но делавшие свое уже потому, что он им не сопротивлялся. Поощряло прежде всего присутствие Марыни. Поланецкий не сознавал всей его благотворности, да и никогда бы не признал, но от постоянного общения с этой кроткой, искренне и бесхитростно верующей натурой, столь обязательной во всем, касающемся религии, у него возникало невольное ощущение покоя и умиротворенности, даваемое именно верой. И всякий раз, как он провожал Марыню в костел, ему приходил на память вопрос ее в Варшаве: «А служба божия?» И постепенно он привык ходить с женой в церковь, — сначала не хотел отпускать одну, а потом стал получать от этого и своего рода удовольствие, какое испытывает, например, ученый, наблюдая интересующее его явление. И таким образом, несмотря на неподходящие условия, переезды, на мешающую сосредоточиться смену впечатлений, продвигался вперед по новой стезе. И мысли его об этом стали принимать все большую смелость и определенность. «В конце концов, — говорил он себе, — я ведь чувствую бога! Чувствовал у гроба Литки, чувствовал, хотя и не признаваясь себе, в словах Васковского о смерти, чувствовал и во время венчания, и у нас,

на равнинах, и здесь, среди снежных вершин; только неясно еще, как его славить, чтить и любить? Как вздумается или как моя жена? И как учила меня мать?»

В Риме он первое время об этом не думал. Столько новых впечатлений, что было не до того. Вечером они с Марыней с ног валялись от усталости, и он со страхом вспоминал слова Букацкого, который для собственного удовольствия брал иногда на себя обязанности их гида, повторяя: «Вы и тысячной доли не видели, что здесь стоит посмотреть, хотя в общем-то совершенно безразлично, что дома сидеть, что сюда приезжать».

Им целиком овладел дух противоречия — в каждой следующей фразе утверждал он прямо противоположное предыдущей.

Из Перуджии приехал Васковский повидаться, и Марыня обрадовалась ему, как близкому родственнику. Но когда радость встречи улеглась, Марыня заметила печаль в его глазах.

— Что с вами? — спросила она. — Вам плохо здесь?

— Нет, дитя мое, — отвечал Васковский, — здесь хорошо, и в Перуджии, и в Риме... Очень, очень хорошо! Помни, когда ты ходишь по улицам этого города, у тебя под ногами — история. Это, как я всегда говорю, преддверие мира иного, только...

— Что «только»?..

— Только люди... не по злобе — тут, как всюду, хороших людей больше, чем плохих, — но мне больно, что и тут, как на родине, меня принимают за помешанного.

— Значит, причин огорчаться у вас не больше, чем дома? — заметил присутствовавший при разговоре Букацкий.

— Это верно, — отвечал Васковский, — но там у меня есть люди близкие, вот как вы, которые меня любят, а здесь я совсем одинок... Вот и тоскую. — И продолжал, обращаясь к Поланецкому: — В здешних газетах пишут про мою книгу. В некоторых — сплошные издевки; ну, да бог с ними! Другие соглашаются, что проникновение христианского духа в историю действительно означало бы начало новой эпохи. Кто-то признал, что в частной жизни люди живут по-христиански, а в политической — еще язычески, и даже назвал выдающейся мою мысль; но и он, и остальные смеются над утверждением, что эту обновительную миссию бог возложил на поляков и другие молодые арийские народы. А мне это больно... И недвусмысленно намекают, что у меня тут не того... — И бедняга постукал себя пальцем по лбу. Но через минуту поднял голову: — В сомнении и скорби бросает сеять свое зерно, но, пав на благодатную почву, оно, даст бог, и взойдет. — Потом стал расспрашивать про пани Эмилию и наконец, словно очнувшись, посмотрел на них своими наивными глазами: — А вам-то хорошо?

Марыня подбежала вместо ответа к мужу и, прижимаясь головой к его плечу, сказала:

— Нам — вот!.. Вот как хорошо!

Поланецкий погладил ее по темным волосам.

Неделю спустя Поланецкий повез Марыню на виа Маргутта к Свирскому, с которым они успели коротко сойтись, встречаясь чуть не каждый день, и который собирался как раз начать Марынин портрет. У него застали они Основских, знакомясь с ними тем легче, что дамы уже встречались как-то на балу, а Поланецкого в свое время представляли Основской в Остенде, и оставалось лишь возобновить знакомство. Правда, он не мог припомнить, задавался ли и в тот раз вопросом, как всегда при виде каждой хорошенькой женщины: «Не она ли?..» Во всяком случае, это было не исключено: пани Основская слыла девушкой красивой, хотя несколько взбалмошной. Теперь это была женщина лет двадцати шести или восьми, высокая, со смуглым, но свежим лицом, пунцовыми губами, спутанной челкой и раскосыми глазами фиалкового цвета, которые придавали ей сходство с китайкой и вместе сообщали лицу выражение насмешливое и плутоватое. Манера ходить у нее была странная: всем телом подавшись вперед с заложенными за спину руками; Букацкий острил, что она представляет свой бюст *en offrande*¹. Не успели они возобновить знакомство, как Марыне она уже сказала, что они обязательно подружатся, поскольку позируют одному художнику, Поланецкому — что помнит его по Остенде как превосходного танцора и *causeur*'а² и не преминет этим покорытоваться, и обоим — что рада встрече и в восторге от Рима, вилла Дориа — просто прелесть, вид с Пинчжо бесподобен, что она знакома с сочинениями Росси в переводе Аллара, а сейчас читает «Космополис» и надеется побывать с ними в катакомбах. И тотчас — сумасбродка, экзотический цветок, китайка, — пожав Свирскому руку и кокетливо улыбнувшись Поланецкому, упорхнула со словами, что уступает место достойнейшей. Основский — светлый блондин с ничем не примечательным, но добродушным лицом и очень молодой — вышел следом, не проронив почти ни слова.

— Ну, унеслась буря! — вздохнул Свирский с облегчением. — Минуты не усидит спокойно, невероятно трудно с ней.

— Какое интересное у нее лицо! — сказала Марыня. — А можно взглянуть на портрет?

— Пожалуйста. Почти окончен, — ответил Свирский.

Марыня и Поланецкий подошли ближе. Им не пришлось придумывать комплименты; восхищение их было неподдельным. Акварельный портрет по выразительности и теплоте колорита мог соперничать с написанным маслом и вместе с тем необычайно полно передавал характер Основской. Свирский спокойно выслушал похвалы, не скрывая, что портрет и ему самому нравится. Затем, прикрыв, отнес его в темный угол мастерской, усадил Ма-

¹ напоказ (*фр.*).

² собеседника (*фр.*).

рыню на заранее приготовленный стул и стал пристально в нее всматриваться.

Его упорный взгляд смущал ее, и она слегка покраснела. А Свирский бормотал с довольной ухмылкой:

— Другой тип, другой... как небо и земля!

Он то прищуривался, приводя Марыню в еще большее смущение, то отступал к мольберту, продолжая вглядываться в нее и говоря как бы сам с собой:

— Там чертовщинку надо было уловить, а тут — женственность.

— Ну, если вы сразу это подметили, — отозвался Поланецкий, — портрет выйдет что надо.

Свирский, отвернувшись от мольберта и Марыни и показав свои крепкие зубы, весело улыбнулся Поланецкому.

— В том и дело! Женственность — и сугубо польская — вот главное в лице вашей жены.

— Ее-то вы и ухватите, как черта на том портрете.

— Стась! — воскликнула Марыня.

— Я только повторяю слова пана Свирского.

— Ну, не черта, а скажем, чертенка, с вашего позволения...

И хорошенького, и опасного. Когда рисуешь, все это невольно подмечаешь. Пани Основская — любопытный тип.

— Почему же?

— А вы на ее мужа обратили внимание?

— Я была так поглощена ею, что не до него было.

— Вот видите, она его затмила, при ней его не замечаешь, но хуже то, что и она его не замечает, а он ведь добрейший малый, на редкость деликатен и хорошо воспитан, очень богат и совсем не глуп — и в придачу безумно ее любит. — Свирский сделал несколько штрихов, рассеянно протянув: — Любит безумно... По правьте, пожалуйста, волосы здесь, над ухом... Если ваш муж охотник поболтать, ему не повезло: я за работой рта не закрываю, Букацкий говорит, что слова не вставишь... Она, видите ли, кокетка, хотя, может, и чиста, как слеза... Холодное сердце и горячая голова... Опасное сочетание! Ух, какое опасное! Романы глотает дюжинами — само собой, французские... По ним психологию изучает, черпает представление о женской натуре, ее загадочности — и отыскивает загадочность в себе, хотя ей она ничуть не свойственна, нахватывается все новых претензий — ум свой разворачивает и развращенность эту принимает за ум, а мужа ни во что не ставит.

— Да вы, оказывается, страшный человек! — заметила Марыня.

— Пан Свирский, пан Свирский! — воскликнул Поланецкий. — Напугали, вот, мою жену, она завтра к вам ехать побоится.

— А чего же бояться. Она — совсем другой тип... Основский — не глуп, но вообще люди, особенно, прошу прощения, женщины, до того ограничены, что ценят только ум самоуверенный,

валящий наповал, как обух, полосующий, как бритва, или жалящий, как змея. Слава богу, наблюдал сто раз!.. — И снова устремил взгляд на Марыню, прищулив один глаз. — Вообще, до чего все недалекие! Я часто спрашивал себя: ну почему порядочность, чистосердечность и такая вещь, как доброта, ценятся меньше, чем так называемый ум? Почему к людям обычно подходят с двумя мерками: умен или глуп, а не говорят, к примеру, добродетельный или порочный; понятия эти даже из употребления вышли, кажутся смешными.

— Потому что ум — это светильник, озаряющий путь и порядочности, и доброте, и чистосердечию, — сказал Поланецкий. — Иначе они нос себе расквасят или — что еще хуже — разобьют носы другим.

Марыня не проронила ни слова, но на лице ее было написано: «Какой умница мой Стась!»

«Умница» прибавил между тем:

— К Основскому это не относится, я совсем его не знаю.

— Основский ее любит, как только можно любить жену или ребенка, как единственное свое счастье, а у нее голова набита разным вздором, и взаимностью она ему не отвечает. Я человек не-женатый, женщины мне интересны, и мы иногда по целым дням болтаем, вернее, болтали о них с Букацким, пока они его больше занимали. Так вот, женщин он делит на плебеек, то есть натуры низменные и недалекие, и на патрицианок, аристократок духа, которых отличают благородство и высокие стремления, разумея под этим твердые устои, а не громкие фразы. Отчасти это верно, но я предпочитаю свое деление, оно проще: сердца благодарные и неблагодарные. — Он отошел от рисунка, прищурился, взял зеркальце и, наведя на эскиз, стал изучать отражение. — Вы спрашиваете, что я под этим понимаю? — обратился он к Марыне, хотя она ни о чем его не спрашивала. — А вот что: благодарное сердце чувствует любовь, отзывается на нее, любит за эту любовь и все полнее отдается, ценит ее и чтит. А сердца неблагодарные только ищут любви и, чем она преданней, тем меньше ею дорожат, пренебрегая ею и попирая... Женщину с таким сердцем достаточно полюбить, чтобы она разлюбила. Когда рыбка попалась, рыбаку нечего беспокоиться; так и пани Основная: знает, что муж никуда не денется. По сути, это самая грубейшая форма эгоизма, простительная разве дикарям, так что храни бог пана Основского, а она со своими раскосыми фиалковыми глазками и подвитой челкой катись ко всем чертям! Писать ее занятно, но жену такую иметь — боже избави! Поверите ли, я из-за того и не женюсь, хотя мне уже за сорок; бессердечную полюбить боюсь.

— Но ведь это легко распознать, — заметила Марыня.

— Черта с два. Особенно если влюбиться без памяти. — Он подался своим атлетическим торсом вперед, приглядываясь к наброску. — Ну, хватит на сегодня! Развел скупищу, мухидохнут

небось. Завтра, когда надоест, хлопните только в ладоши — вот так... С Основской я так не болтаю — она сама любит поговорить. Названиями книжек так и сыплет. Ну да ладно! Что-то я еще хотел вам сказать... Да, вот у вас сердце благодарное!

Поланецкий рассмеялся и пригласил его пообедать с ними, посулив общество Букацкого и Васковского.

— С удовольствием, — отвечал Свирский, — я тут совсем оди-
чал в одиночестве. Небо сегодня ясное и, кстати, полнолуние, по-
едемте. Колизей посмотрим при луне.

Парадоксы расточать за столом было некому: Букацкий не пришел, сообщив запиской, что нездоров. Зато Свирский с Васков-
ским сразу сошлись и подружились. Свирский только за работой не давал никому слова сказать, а вообще любил и умел слушать, и хотя старик со своими воззрениями казался ему порой комич-
ным, его искренность и доброта располагали к себе. Художника поразила какая-то мистическая одержимость в выражении его
лица и глаз. Слушая его рассуждения об ариях, он уже начал мысленно набрасывать его портрет, пытаясь представить, как бу-
дет смотреться эта голова, если хорошенько схватить это выра-
жение.

Под конец обеда Васковский спросил, не хочет ли Марыня увидеть папу римского, потому что через три дня придут па-
ломники из Бельгии и можно к ним присоединиться. Свирский, у
которого была куча знакомых в Риме, в том числе из высшего
духовенства, прибавил, что это легко устроить.

— Вы здесь родились? — взглянув на него, спросил Васков-
ский.

— Живу с шестнадцати лет.

— Ах, вот как...

Боясь показаться навязчивым и смущаясь от этого, но желая
все-таки знать, кто этот симпатичный человек, Васковский спро-
сил, пересилив робость:

— Вы с Квиринала родом... или из Ватикана?

— Из Погнембина, — нахмуясь, ответил Свирский.

Обед кончился, а с ним и дальнейшие разговоры. Марыня
еле могла усидеть на месте, взволнованная тем, что увидит Ка-
питолий, Форум и Колизей при лунном свете. Но через несколько
минут они уже ехали к руинам по освещенному электрическими
фонарями Корсо.

Была тихая теплая ночь, и ни души близ Форума и Колизея,
как, впрочем, нередко и днем. Неподалеку от церкви Санта Мария
Либера тричче кто-то играл у открытого окна на флейте, и в тиши-
не отчетливо слышалась каждая нота. Передняя часть Форума
была в глубокой тени от Капитолийского холма и храма на нем,
но задний план заливал яркий зеленоватый свет, и Колизей ка-
зался в этом освещении серебряным. Экипаж остановился под
аркадами испанского цирка, и общество направилось к центру
арены, обходя громоздящиеся у стен обломки колонн, фриз,

груды камня, кирпича и торчащие там и сям низкие цоколи. Тишь и безлюдье невольно побуждали к молчанию. Через своды внутрь проникали снопы лунного света, сонными бликами озаряя арену и стену напротив, высвечивая выемки, трещины, серебра покрывающие ее мох и плющ. Терявшиеся в таинственном мраке остатки стен вдаль напоминали черные разверстые пасти. Из низко расположенных куникулов веяло духом запустения. В лабиринте стен, арок, чресполосице света и теней терялось ощущение реальности. Развалины гигантского здания казались чем-то прозрачным — вставшим в тишине и лунном сиянии грустно-величавым видением мучительного и кровавого прошлого.

Свирский первым нарушил молчание.

— Сколько слез, сколько страданий видело это место, — сказал он, понизив голос. — Какая безмерная трагедия! Что там ни говорите, а есть в христианстве некая сверхчеловеческая сила, этого не приходится оспаривать. — И продолжал вполголоса, обращаясь к Марыне: — Вообразите себе римскую державу: целый мир, миллионы людей, жестокие законы, сила, невиданная ни до, ни после, образцовая, не сравнимая ни с чем организация, величие, слава, сотни легионов, огромный город — властелин этого мира, а вон там — Палатин, властитель города. Казалось, нет такой мощи, которая сокрушила бы все это. И вот являются два иудея, Петр и Павел, и побеждают — не оружием, а словом; взгляните: кругом развалины, Палатин — в руинах, Форум — в руинах, а над городом — кресты, кресты и кресты...

Снова воцарилась тишина; только со стороны Санта Марии Либератриче доносились звуки флейты.

— И тут тоже был крест, — указал на арену Васковский, — но они его снесли...

Поланецкий задумался над словами Свирского, которые меньше поразили бы его, если б не продолжавшаяся исподволь душевная борьба.

— Да, в этом есть что-то сверхчеловеческое, — сказал он, следуя за ходом своих мыслей. — Тут истина светит, как эта вот луна.

Они медленно направились к выходу. Снаружи затарахтел экипаж, потом в темном проходе, ведущем к арене, послышались шаги, и из темноты выступили две высокие фигуры.

Одна — в сером платье, отливавшем в лунном свете сталью, — приблизилась, желая разглядеть посетителей.

— Добрый вечер! Ночь такая чудная, что мы тоже выбрались в Колизей. Какая ночь!

Поланецкий сразу узнал по голосу Основскую.

— Я скоро начну верить в предчувствия, — протягивая руку, сказала она ему голосом томным, как флейта, певшая у Санта Марии. — Что-то мне подсказывало: я непременно здесь встречу знакомых. Какая дивная ночь!

Возвратясь в гостиницу, Поланецкие нашли визитные карточки Основских — и удивились: ведь им как молодоженам полагалось бы нанести визит первыми. Не ответить на такую любезность было нельзя, и они на другой день поспешили отдать визит. Навестивший их перед тем Букацкий, хотя совершенно больной и еле державшийся на ногах, не преминул съязвить, по своему обыкновению, оставшись наедине с Поланецким:

— Она с тобой будет кокетничать, но ты не воображай, что она влюбится. Это, знаешь, как бритва, она в ремне нуждается, чтобы ее правили, вот ты и послужишь таким ремнем, не больше.

— Во-первых, ремнем я быть не собираюсь, а во-вторых, об этом вообще рано говорить.

— Рано? Значит, ты оставляешь для себя такую возможность?

— Нет, просто у меня сейчас совсем другое на уме, и потом я с каждым днем все больше люблю Марыню, так что «рано» означает в этом смысле уже и «поздно», и если я разохотил пани Основскую, боюсь, как бы ее охоты, наоборот, не притупить.

Поланецкий не кривил душой: голова его действительно была занята другим, и вообще помышлять о ком-либо, кроме жены, было не ко времени.

И он был настолько уверен в себе, что даже не прочь был подвергнуть себя испытанию. Иными словами, с удовольствием поводит бы Основскую за нос.

Позавтракав, Поланецкие поехали на сеанс к Свирскому, но продолжался он недолго: художник был членом жюри какого-то конкурса и спешил на заседание. Через четверть часа по возвращении к ним явился Основский.

После разговора со Свирским Поланецкий испытывал к нему нечто вроде пренебрежительной жалости. Но у Марыни он возбуждал живейшую симпатию. Все услышанное о его доброте, деликатности и привязанности к жене расположило ее к нему. И ей казалось, что все это написано у него на лице, довольно привлекательном, хотя и угрюмом.

— Я к вам с предложением, по поручению жены, — поздоровавшись, сказал Основский с непринужденностью, отличающей людей хорошего круга. — С визитами вежливости меж нами, слава богу, покончено, хотя за границей вообще бы можно этим пренебречь. Так вот, мы хотим вам предложить поехать сегодня вместе к святому Павлу, а потом в Тре Фонтане. Это уже за городом. Там старинный монастырь, и оттуда чудный вид открывается. Мы бы очень рады были, если б вы составили нам компанию.

Марыня, большая любительница прогулок, особенно в приятном обществе, вопросительно взглянула на мужа в ожидании его решения. Поланецкий видел, что ей хочется, а к тому же подумал: «Захотелось щелчок по носу получить — пожалуйста».

— Я бы с удовольствием, но что скажет моя высочайшая повелительница?

«Повелительница» не вполне уверена была в искренности своего верноподданного, но, видя его улыбку и хорошее настроение, решила наконец вынести и свое суждение:

— Большое спасибо, боюсь только, это вам доставит лишние хлопоты...

— Не хлопоты, а радость,— возразил Основский. — Итак, решено! Через четверть часа заезжаем за вами.

И четверть часа спустя они отправились в путь. Раскосые глаза Основской светились удовлетворением и торжеством. В лиловом фуляровом платье и мантилке, затейливой, как восьмое чудо света, она выглядела настоящей русалкой. И как уж это получилось, но прежде чем они доехали до монастыря, Основская, не обмолвясь ни словом, сумела дать своему новому знакомому понять: «Жена твоя мила, но провинциалка, а мой муж вообще не в счет. Только мы с тобой можем разделить и оценить наши обоюдные впечатления».

Поланецкий решил ее подразнить.

Когда подъехали к базилике святого Павла — кстати, Основская называла его не иначе, как «San Paolo fuori le Mura»¹, муж ее хотел выйти из экипажа, но она запротестовала.

— Остановимся на обратном пути, когда будем знать, сколько у нас еще времени, а сейчас едемте прямо в Тре Фонтане. — И добавила, обернувшись к Поланецкому: — На этом древнем подворье много такого, о чем я бы хотела вас порасспросить.

— Боюсь вас разочаровать,— ответил Поланецкий. — В этих вещах я полный профан.

Вскоре стало ясно, что лучше всех в достопримечательностях, мимо которых они проезжали, разбирался Основский. Бедняга целыми днями корпел над путеводителями — отчасти потому, что сам хотел быть гидом при своей жене, отчасти же в надежде завоевать ее благосклонность своими познаниями и объяснениями. Но поскольку они исходили от мужа, она пропускала их мимо ушей. Ей больше нравилась дерзкая самоуверенность, с какой признавался в своем невежестве Поланецкий.

За святым Павлом открылся вид на Компанью с ее акведуками, которые, казалось, торопливо сбегали вниз, к городу, и на Альбанские горы в голубоватой дымке вдали, задумчиво-величавые и светлые одновременно.

Устремив на них мечтательный взгляд, Основская спросила:

— Вы уже побывали в Альбапо, в Неми?

— Нет,— ответил Поланецкий. — Сеансы у Свирского разбивают день; пока не будет готов портрет, придется отказаться от дальних прогулок.

¹ Святой Павел за городскими стенами (ит.).

— А мы были, но если выберетесь туда, возьмите меня с собой... Пожалуйста, возьмите... Хорошо? Вы не возражаете? — обратилась она к Марыне. — Я буду, как говорится, третьим лишним; но постараюсь не мешать. Забьюсь в уголок — и ни гугу... Буду тихо-тихо сидеть.

— Ах, ты у меня совершенное дитя! — воскликнул Основский.

— Я просто влюбилась в Неми, но муж мне не хочет верить, — продолжала она. — Да, прямо-таки влюбилась. Мне там почудилось, будто христианство туда еще не проникло и по ночам на берег выходят жрецы и совершают свои языческие обряды у озера. Тишина и тайна — вот в двух словах что такое Неми. Поверите ли: мне отшельницей захотелось стать, и до сих пор это желание не проходит, вот до чего сильное впечатление. Поселиться бы там в уединенной обители над озером, в длинном сером балахоне ходить, как Франциск Ассизский, и босой... Да, стать пустынноницей! Чего бы я только за это не дала... Так и вижу себя там, на берегу...

— А я как же, Анетка? — полушутя, полусерьезно спросил Основский.

— Ты бы утешился, — последовал лаконичный ответ.

«Ну да, ты стала бы отшельницей при условии, что на другом берегу столпились бы дюжины две фатов и разглядывали бы тебя в лорнет, как она там выглядит да что поделявает», — подумал Поланецкий.

Как хорошо воспитанный человек, он не мог высказать этого вслух, но описал ей нечто подобное.

— Конечно! — засмеялась она. — Я жила бы подаяннем, значит, поневоле зависела бы от людей. Вот приехали бы вы, я вышла бы к вам с протянутой рукой и попросила тихонько: «Un soldo! Un soldo!»¹ — И протянула к нему свои маленькие ладошки, потрясая ими и умоляюще повторяя: — Un soldo per la povera! Un soldo!..²

При этом она смотрела ему в глаза.

— Место называется Тре Фонтане, потому что там три источника, — объяснял тем временем Марыне Основский. — Там обезглавили святого Павла, и, по преданию, голова его, скатившись, трижды ударилась о землю, и в этих трех местах забили источники. Теперь вся эта округа принадлежит ордену траппистов. Раньше тут свирепствовала лихорадка, опасно было почевать, но теперь стало здоровей благодаря тому, что все склоны засадили эвкалиптами. Вон, уже отсюда видно.

Основская же, откинувшись на спинку сиденья и прикрыв глаза, рассказывала Поланецкому:

— Здесь сам воздух пьянит меня... Дома я неприхотлива, довольствуюсь малым, а тут сама не своя, хочу чего-то. А чего,

¹ Одно сольдо! Одно сольдо! (ит.)

² Одно сольдо несчастной! Одно сольдо!.. (ит.)

сама не знаю. Какие-то смутные ожидания и предчувствия томят, непонятная тоска... Может, это дурно и нельзя говорить вам об этом. Но я всегда говорю, что думаю. Когда я маленькой была, меня называли простушкой. Пусть лучше муж увезет меня отсюда. Буду жить в своем тесном домике, как улитка или черепаха.

— Что хорошо для улитки или черепахи, не годится для птицы, к тому же райской, — отвечал Полаонецкий с полной серьезностью. — Существует легенда, будто у райских птиц ножек нет, поэтому они, не зная отдыха, все только летают и летают.

— Ах, какая восхитительная легенда... — отозвалась Основная. — И, подняв ладони, пошевелила ими наподобие крылышек, повторив: — Летают только и летают!

Сравнение с райской птицей ей польстило, а контраст серьезности и некоторой небрежности тона совместно с чуть насмешливой миной удивил. Заинтригованная, она подумала, что он умней и не так легко ей поддается, как казалось.

Тем временем доехали до Тре Фонтане.

Осмотрели сад, храм и часовню, где были в подземелье три источника. Основский своим мягким, несколько монотонным голосом излагал все, что вычитал перед тем. Марыня внимательно слушала, а Полаонецкий подумал: «Находиться в его обществе триста шестьдесят пять дней в году, пожалуй, скучновато».

Это соображение оправдывало до некоторой степени в его глазах пани Основскую; она же в своем новом амплуа райской птицы так и перепархивала не только с места на место, но и с одного предмета на другой также в разговоре. Отведав эвкалиптового ликера — монахи изготавливали его как средство против лихорадки, — она решительно заявила, что, будь женщиной, непременно вступила бы в орден траппистов; потом ухватила за мысль, что и моряком быть очень романтично: «Одно море и небо кругом — лазурь без конца и без края, словно при жизни в раю!» В конце концов над всем остальным одержало верх желание стать великим, величайшим писателем, передавать тончайшие движения души, неосознанные чувства, неуловимые впечатления, все контуры, цвета и оттенки. И она под секретом сообщила, что ведет дневник, которым «добряк Юзек» восторгается, но она-то знает, что это все пустое, и ничуть не обольщается ни насчет дневника, ни по поводу Юзека с его восторгами.

Юзек смотрел на нее влюбленными глазами, и немое обожание было написано на его угриватом лице.

— Нет, позволь, насчет дневника ты уж неправа! — не выдержал он.

В обратный путь отправились уже под вечер. Большое красное солнце клонилось к закату, и деревья отбрасывали длинные тени на дорогу, а горы и акведуки порозовели. Отъехали уже с полпути, когда у святого Павла зазвонили к вечерне. Тотчас отозвалась еще одна колокольня, потом еще и еще, и вот уже зазвони-

ли десятки колоколов. Как бы вторя друг другу, они слились в хор, столь многогласно протяженный, будто не в одном городе, а вся округа, равнина и горы, сам воздух звали к вечерне.

Поланецкий посмотрел на Марыню; лицо ее в золотистом свете зари было спокойно и сосредоточенно. На нем было то же молитвенное выражение, как и в Кшемене, когда благовестили в Вонторах. Всегда и всюду то же. И Поланецкому опять вспомнились ее слова: «А служба божия?» И послышалось в них что-то необыкновенно простое и умиротворяющее. И вместе с тем с приближением к городу открывалась вся крепость, жизнестойкость и огромность этой веры. «Все это стоит уже тысячи полторы лет,— думалось ему,— стоит своими храмами, колоколами, незыблемой силой креста, которой и обязан вечный этот город своею вечностью». И в памяти отдались слова Свирского: «Кругом развалины, Палатин — в руинах, Форум — в руинах, а над городом — кресты, кресты и кресты!» В этой незыблемости, думалось дальше, конечно же, нечто сверхчеловеческое. Колокола меж тем продолжали звонить, и небо над городом пламенело в лучах заката. Молитвенное настроение, объявшее Марыню и как бы разносимое вечерним благовестом над городом и всей землей, захватило и Поланецкого, его неиспорченную в глубине души, и у него зашевелилась мысль: «Какой я, однако, глупец и гордец, если, ища веры и бога, тщусь облечь в свои какие-то формы эту любовь и почитание, вместо того, чтобы принять те, которые Марыня называет «службой божией» и которые лучше, наверно, всяких иных, коль скоро человечество не отстует от них вот уже почти две тысячи лет!..» И, будучи человеком практического ума, поразился очевидности этой мысли, которую, ободрясь, и принялся развивать: «С одной стороны, тысячелетняя традиция, бог весть сколько поколений, сколько общественных устройств и авторитетных умов, которых эти формы удовлетворяли и которые они почитали за единственно возможные; а с другой стороны кто? Я! Какой-то там компаньон торговой фирмы «Бигель и Поланецкий», который вознамерился изобрести более совершенные формы общения с богом! Вот еще дурень нашелся! Я не привык лицемерить сам с собой, и вряд ли мне приятно будет выглядеть перед собой недоумком. И потом, так молилась моя мать, так молится моя жена, и ни в ком я не ощущал такого душевного спокойствия, как в них».

Он взглянул на Марыню. Она улыбнулась ему, кончив, видимо, свою мысленную молитву.

— Ты что молчишь? — спросила она.

— Мы все молчим, — ответил он.

Так оно и было, но по разным причинам. Пока Поланецкий предавался своим размышлениям, Основская несколько раз заговаривала с ним и бросала на него выразительные взгляды. Но он отвечал невпопад, взглядов вовсе не замечал, словом, обидел ее. Что он встретил ее намерение стать монахиней любезно завуалированной дерзостью, можно еще было простить, ей это даже поправи-

лось, но полное невнимание смертельно ее оскорбило, и в отместку она тоже перестала его замечать.

Но как женщина светская стала подчеркнуто любезна с Марыней. Выведав у нее планы на завтра и узнав, что Поланецкие собираются в Ватикан, сказала: у них тоже есть билеты, и они со своей стороны не преминут побывать там.

— А вы знаете, как надо одеться? — осведомилась она. — Черное платье и черная кружевная косынка на голове. Это немного старит, но так принято.

— Да, пан Свирский предупредил меня, — отвечала Марыня.

— Во время сеансов он только о вас и говорит. Он к вам очень расположен.

— И я к нему.

За этой беседой подъехали к гостинице. Поланецкому от его красивой спутницы досталось на прощанье такое вялое и прохладное рукопожатие, что, несмотря на всю свою рассеянность, он был озадачен.

«Что это, новая уловка или задел чем ненароком?» — промелькнуло у него в голове. И вечером он спросил у Марыни:

— Какого ты мнения об Основской?

— Наверно, пан Свирский отчасти прав, — ответила она.

— Пишет небось сейчас свой дневник, который Юзек считает шедевром... — заключил Поланецкий.

ГЛАВА XXXV

На другой день он едва узнал ее, когда она, одевшись, вошла к мужу. В черном платье и черной кружевной косынке Марыня казалась и выше, и стройнее, и смуглей, и старше своих лет. Но ему нравилась в пей эта спокойная серьезность, напоминавшая день их свадьбы. Полчаса спустя они выехали, и Марыня призналась по дороге, что у нее душа от страха замирает. Поланецкий шутил, успокаивал ее, хотя у самого сердце было не на месте, а под сводами огромной полукруглой колоннады у собора святого Петра оно забилось сильнее, — и явилось странное ощущение, будто он стал меньше ростом. У лестницы, где стояли пышно разодетые служители в ливреях, придуманных еще Микеланджело, поджидал их Свирский, и, смешавшись с толпой, преимущественно из бельгийцев, они поднялись наверх. Марыня, слегка оглушенная, сама не заметила, как очутилась в огромном зале, где народу было еще больше, лишь посередине, меж двумя шпалерами папских служителей, оставался свободный проход. В толпе тихо переговаривались по-французски и по-фламандски, обращая вдруг головы и взгляды к этому проходу, где, выходя из соседнего зала, появлялись время от времени фигуры в странных одеяниях, заставлявших Поланецкого переноситься воображением куда-то в антверпенские или

брюссельские картинные галереи. Перед ним словно воскресало средневековое: то явится средневековый рыцарь в шлеме, хотя не в таком точно, как на старинных картинах; то герольд в коротком красном плаще и красном берете. За приоткрытыми дверями мелькали пурпурные мантии кардиналов и фиолетовые — епископов, страусовые перья, кружева на черном бархате и убеленные сединами головы старцев с иссохшими, как у мумий, лицами. Но чувствовалось, что взоры скользят по этим причудливым одеяниям, ярким краскам и этим лицам как бы мимоходом, в ожидании чего-то более важного, высшего, что сердца и души замерли в напряженной жажде какого-то мгновения, которое бывает раз в жизни и навсегда остается в памяти. Рука Марыни, за которую держал ее Поланецкий, чтобы не потерять в толпе, вздрагивала от волнения, и сам он посреди этих притихших лиц, этого исторического действия, словно бы воскресшей седой старины, этого сосредоточенного ожидания снова испытал странное ощущение, будто становится меньше, меньше — таким ничтожно малым, как никогда еще в жизни.

Вдруг рядом послышался сдавленный шепот:

— Едва нашел вас. Теперь, кажется, уже скоро.

Но оказалось, не так скоро. Тогда Свирский, поздоровавшись со знакомым прелатом, сказал ему что-то, и тот любезно провел их в соседний, обитый красным штофом зал. Поланецкий с удивлением обнаружил, что и здесь полно, только в одном конце, отделенном почетной стражей, где на возвышении стояло кресло, не было никого, кроме нескольких прелатов и епископов, которые непринужденно беседовали между собой. Атмосфера напряженного ожидания чувствовалась тут еще сильнее. Все стояли, затаив дыхание, с таинственным и торжественным видом. Голубоватый дневной свет принимал необычный оттенок на пурпурном фоне обоев, и солнечные лучи, проникавшие сквозь оконные стекла, казались тоже багряными.

Еще некоторое время длилось ожидание; но вот из первого зала донеслись глухой шум, гомон, восклицания, и в распахнутых боковых дверях показалась папская гвардия, несущая фигуру в белом. Марыня судорожно сжала руку мужа, он ответил ей пожатием, и, как во время венчания, все теснящиеся мысли, впечатления слились в одно общее чувство исключительной важности и торжественности происходящего.

Один из кардиналов начал что-то говорить, но Поланецкий не слышал и не понимал его. Глаза, сознание, вся душа его прикованы были к фигуре в белом. Ничто не ускользнуло от его внимания. Поражали худоба, изможденность, болезненный вид этого старца, прозрачная бледность лица, как у покойника. Было в нем нечто бесплотное, полупризрачное: как брезжащий сквозь матовое стекло свет, дух сквозил чрез телесную оболочку, как бы лишь посредствующую между миром бренным и нетленным, человеческим и вместе сверхчеловеческим, еще земным и уже неземным. Плоть

представала в этом удивительном единстве словно чем-то нематериальным, а дух — чем-то реальным.

И когда все стали подходить под его благословение и он увидел у его ног Марыню, внезапно осознав: к этим коленям, почти уже бестелесным, можно склониться, как к отцовским, им овладело волнение столь сильное, что глаза затуманились. И впрямь, никогда еще не ощущал он себя до того малой песчинкой, однако же с благодарно бьющимся сердечком ребенка.

Вышли все в молчании. У Марыни глаза были такие, будто она только что проснулась, руки Васковского дрожали. К завтраку притащился Букацкий, но нездоровье помешало ему развлечь общество. Даже Свирский против обыкновения был немногословен за работой и все только приговаривал, возвращаясь к занимавшему его предмету:

— Нет, нет. Кто не видел этого, не поймет. Такое не забывается.

Под вечер Поланецкий с Марыней отправились полюбоваться закатом к Тринита деи Монти. Угасающий день был необычайно хорош. Город весь утонул в рассеянном золотистом сиянии, далеко внизу у их ног, на пьядца ди Эспанья, уже начинало смеркаться, но в мягком свете сумерек можно было ясно различить сирень, присы и белые лилии в витринах цветочных магазинов по обе стороны Кондотти. От всей картины веяло глубоким, невозмутимым покоем, она дышала обещанием мирной ночи и сна. Пьяцца ди Эспанья понемногу погружалась во тьму, только Тринита еще горела пурпуром.

Спокойствие это передалось и Поланецкому с Марыней. С умиротворенной душой спускались они по гигантским ступеням. Разлитый в небе закатный свет словно озарял и события минувшего дня, сообщая им тихую, величавую ясность.

— Знаешь, я вспомнил, что в детстве дома у нас припято было вместе молиться перед сном, — нарушил молчание Поланецкий, заглядывая вопросительно жене в глаза.

— Стах, милый, — ответила она взволнованно, — я не решалась сама тебе предложить... Как я тебя люблю!..

— Помнишь, ты сказала: «А служба божия?»

Она не помнила.

Сказано это было тогда просто и естественно, как нечто самое обычное, и не могло удержаться в памяти.

ГЛАВА XXXVI

У Основской Поланецкий был по-прежнему в немилости. Встречаясь с ним между сеансами у Свирского, она ограничивалась лишь ничего не значащими учтивыми фразами, которых требовала вежливость. Не заметить этого Поланецкий не мог и по временам спрашивал себя: «Чего ей, собственно, надо?» И хотя это

в общем мало его трогало, но трогало бы еще меньше, будь ей не двадцать восемь лет, а пятьдесят восемь и если б не эти фиалковые глазки и пунцовые губки. И хотя она вправду была ему безразлична и ровно никаких видов на нее у него не было, но такова уж натура человеческая, не может не соблазняться мыслью: а что, если бы он добивался ее благосклонности,— как далеко могли бы зайти их отношения?

Они совершили еще одну прогулку вчетвером — в катакомбы святого Калликста. Поланецкий не хотел оставаться в долгу, отплатив любезностью за любезность, то есть экипажем за экипаж. Но совместная прогулка ничего не изменила: натянутость оставалась.

Разговаривали они друг с другом только для соблюдения приличий, и Поланецкого это в конце концов начало злить. Из-за Основской между ними установилась какая-то особая таинственность, проистекавшая из того, что их взаимная неприязнь была известна лишь им одним и приходилось ее скрывать. Поланецкий надеялся, что все это прекратится, едва портрет ее будет закончен, но, хотя лицо было написано, оставалось много мелких доделок, требовавших присутствия обворожительной натурщицы.

Сталкивались они по той простой причине, что Свирскому не хотелось даром время терять, и Поланецкие являлись, когда в мастерской еще были Основские. Иногда они немного задерживались, чтобы, поздоровавшись, обменяться впечатлениями о вчерашнем дне; Основская, случалось, отсылала мужа с поручениями, и, уходя, он оставлял экипаж перед домом.

Однажды Марыня села позировать еще при Основской, и та, узнав, что Поланецкие накануне были в театре, и надевая перед зеркалом перчатки и шляпку, принялась расспрашивать об опере и актерах, а потом попросила Поланецкого проводить ее до экипажа.

Накинув мантилью, но не завязав на поясе пришитые сзади к подкладке тесемки, она вышла в прихожую и внезапно остановилась.

— Никак эти завязки не могу в перчатках найти,— сказала она. — Будьте добры, помогите!

Поланецкому в поисках завязок пришлось полуобнять ее за талию. И у него вдруг вспыхнуло острое желание, тем более что она к нему наклонилась и он ощутил вблизи ее дыхание и тепло ее тела.

— За что вы на меня сердитесь? — спросила она вполголоса. — Это просто нехорошо. Мне так не хватает дружеского участия. Что я вам сделала?

Наконец, отыскав завязки, он отстранился от нее и, придя в себя, с грубоватым торжеством человека прямолинейного, желающего подчеркнуть свой триумф и неудачу другого, отрезал:

— Ничего вы мне не сделали и сделать не можете!

Но она отразила его дерзость, как теннисный мячик.

— Впрочем, мне настолько безразлично чужое мнение, совершенно безразлично.

И, не обменявшись больше ни словом, они дошли до экипажа.

«Вон что,— думал, возвращаясь, Поланецкий. — Значит, тут можно пойти так далеко, как только захочешь».

И снова по всему телу пробежала искусительная дрожь.

«Как только захочешь»,— повторил он.

При всем том он безотчетно впадал в ошибку, какую постоянно совершают десятки мужчин — любителей поохотиться в чужих владениях.

Кокетка с черствым сердцем и развращенным умом, Основская все же была еще очень далека от грехопадения.

Вернулся Поланецкий в мастерскую с таким чувством, будто принес ради Марыни огромную жертву, и ему стало немного обидно, оттого что, во-первых, она об этом никогда не узнает, а во-вторых, узнай даже, не сумеет оценить его поступок. Это вызвало у него раздражение, и, посмотрев на жену, на ее чистые глаза, спокойное и красивое лицо добропорядочной женщины, он невольно сравнил обеих и сказал про себя: «Ах, что Марыня! Да она скорее сквозь землю провалится. Такая никогда не изменит!»

И удивительное дело: отдавая ей должное, он вместе с тем испытал как бы некоторое сожаление и разочарование. Она столь безусловно ему принадлежала, что не возникало даже потребности ею восхищаться.

И до конца сеанса он все возвращался мыслями к Основской. Казалось, после случившегося она перестанет подавать ему руку, но он опять ошибся. Напротив, желая показать, насколько безразличны ей сам он и его слова, она стала еще любезней прежнего. Зато у Основского вид был оскорбленный, и он день ото дня держался с ним все суше,— видимо, из-за наговоров своей «Анетки».

Но вскоре иные события вытеснили из памяти этот эпизод. Давно уже недомогавший Букацкий с некоторых пор стал жаловаться на особенно сильную головную боль и странную слабость во всем теле, как будто оно отказывается ему повиноваться. Остроумие его порой еще вспыхивало, но быстро гасло, как бенгальский огонь. Все реже являлся он и в отель пообедать с ними. И вот как-то утром прислал записку, где нетвердой рукой было нацарапано: «Мой дорогой, нынче ночью я понял, что придется скоро отбыть в дальний путь. Если хочешь со мной повидаться перед отъездом, загляни, если, разумеется, у тебя нет более интересного занятия».

Утаив записку от жены, Поланецкий тотчас отправился к Букацкому. Он застал его в постели и при нем доктора, которого тот сразу же отослал.

— Ты меня страшно напугал,— сказал Поланецкий. — Что с тобой?

— Да так, пустяки: левая половина тела парализована.

— Бог с тобой, что ты говоришь!

— Золотые слова! Самое время о боге подумать. Левая рука отнялась и левая нога — встать вот не могу. Нынче утром обнаружил, когда проснулся. Думал, и речи лишился, попробовал произнести вслух: «Per me si va»¹, — оказывается, нет! Язык работает, теперь в голове надо порядок навести.

— Почему ты увереи, что это паралич? Может быть, временное онемение.

— «Что — жизнь? Мгновение одно!» — продекламировал Букацкий. — Пошевелиться не могу, значит, конец — или, если угодно, начало!

— Это было бы ужасно, но я не верю. У каждого могут руки, ноги онеметь.

— Бывают иногда неприятные ощущения, сказал карась, когда кухарка соскабливала с него чешую. Признаться, мне сначала жутко сделалось. Как будто волосы дыбом встанут, — бывало у тебя когда-нибудь такое чувство? Приятным его не назовешь. Но сейчас я уже успокоился немного. Три часа прошло — и будто уже лет десять лежу в параличе. Дело привычки, как сказал рыжик, жарясь на сковороде. У меня времени в обрез, вот и несу всякий вздор. Пойми, дорогой: несколько дней — и Букацкого не будет!

— Ты и правда вздор несешь! И в параличе люди по тридцать лет живут.

— Даже по сорок! — подхватил Букацкий. — Паралич — это в некотором смысле роскошь, а я не из тех, которые могут себе ее позволить. Для здоровяка какого-нибудь с толстой шеей, крепкими плечами и ногами это даже, пожалуй, передышка, возможность в себя прийти после бурной молодости, мозгами пораскинуть, а для меня... Помнишь, ты все над моими тощими икрами издевался? Так вот, по сравнению со мной теперешним у меня тогда слоновая болезнь была! Это неправда, будто человеческое тело трехмерное, я — так просто плоскость, даже линия; кроме шуток, линия, уходящая в бесконечность!..

Полаонецкий, сердясь, возражал, приводил в пример какие-то случаи.

— Ах, оставь! — отмахнулся Букацкий. — Я-то чувствую и знаю: через несколько дней — паралич мозга. Я никому не говорил, но уже год живу в ожидании этого — и книжки медицинские штудировал... Еще удар — и готово! — Он помолчал. — Не думай, не боюсь, наоборот. Я ведь одинок как перст. Никого у меня на свете нет... Ухаживать и тут, и даже в Варшаве все равно будут чужие, нанятые люди. Неподвижный, никому не нужный — разве это жизнь? А если и язык отнимется, любая сиделка или санитар смогут меня спокойно съездить по физиономии, когда вздувается. Слушай: в первую минуту я правда испугался, когда

¹ Вот это по мне (ит.).

ясно стало, что паралич, но в моем немощном теле обитает гордый дух — помнишь, я тебе говорил, что смерти не боюсь? И не боюсь!

В глазах Букацкого вспыхнул на миг огонек мужества и решимости, не угасавший в глубине его расслабленной, изломанной души.

Сердце у Поланецкого дрогнуло.

— Адя, дорогой, — мягко сказал он, кладя ладонь на недвижную руку Букацкого, — не думай, что мы бросим тебя на произвол судьбы, и не говори, пожалуйста, будто у тебя никого на свете нет. А я, а моя жена? И Свирский, и Васковский, и Бигели. Ты не чужой нам. Перевезу тебя в Варшаву, помещу в больницу, станем о тебе заботиться, а если кто посмеет ударить тебя, как ты говоришь, по физиономии, я все кости ему переломаяю, а кроме того, у нас же милосердные сестры есть и среди них — пани Эмилия.

Букацкий был взволнован, хотя старался не подавать вида. Он слегка побледнел, глаза его затуманились.

— Ты добрый малый, — сказал он после затянувшегося молчания. — Чудо сотворил, сам того не подозревая: доказал мне, что у меня еще остались какие-то желания... В самом деле, как хотелось бы очутиться в Варшаве, быть со всеми вами... Вернуться опять в Варшаву — какое счастье!..

— А пока тебя надо поместить в какую-нибудь лечебницу, под постоянный присмотр. Свирский должен знать, какая лучше. Ты уж положишься на меня, ладно? И разреши за тебя распоряжаться.

— Делай как знаешь, — ответил Букацкий, на которого новые виды на будущее и энергичность Поланецкого подействовали ободряюще.

Поланецкий немедленно отправил с посыльным записки Свирскому и Васковскому. Полчаса спустя оба явились, Свирский — с известным в городе врачом, и Букацкого еще до обеда перевезли в больницу, поместив в светлой, уютной палате.

— Какой приятный, теплый тон, — сказал он, оглядывая золотистого цвета стены и потолок. — Красиво. — И обратился к Поланецкому: — Вечером зайди, а сейчас ступай к жене.

Тот попрощался и ушел. Дома он в осторожных выражениях рассказал о случившемся, опасаясь, как бы не напугать Марыню неожиданным известием, особенно если она теперь в положении. Марыня стала проситься к больному, если не сегодня же, то завтра утром, и Поланецкий согласился. Сеанса на другой день не было, и они сразу после завтрака отправились в больницу.

При Букачком все это время неотлучно находился Васковский. Едва больной освоился на новом месте, на больничной постели, старик рассказал ему, как однажды думал уже, что умирает, но после причастия и исповеди сразу почувствовал себя намного лучше.

— Это, уважаемый, метода известная,— усмехнулся Букацкий. — Знаю я, куда вы клоните.

Старик смешался, будто уличенный в чем-то нехорошем, и развел руками.

— Пари готов держать, что тебе бы это помогло.

— Ладно, ладно, через пару деньков на том свете разберусь, кому там что лучше помогает,— блеснув былым остроумием, ответил Букацкий.

Неожиданный приход Марыни тем больше его обрадовал, что он, по его уверениям, уже и не рассчитывал увидеть на этом свете женщину, вдобавок — землячку. Все это выкладывалось брюзгливым тоном, но видно было, что он растроган.

— Что вы за романтики! — твердил он. — Возиться с таким скелетом... Когда вы научитесь здраво на вещи смотреть? Ну к чему это? Зачем? Даже перед смертью навьючиваете меня обязанностью благодарить, хотя я и благодарен — искренне, за все!..

Но Марыня не дала ему рассуждать о смерти, заговорив о необходимости переехать в Варшаву, домой,— так спокойно и уверенно, как о чем-то не подлежащем никакому сомнению, и понемногу уверенность эта передалась и больному. Она советовала, как с этим лучше устроиться, а он внимал ей с жадностью. Ум его словно притушился, и он послушно позволял руководить собой, как ребенок, бедный, несчастный ребенок.

В тот же день навестил его и Основский, добрый, заботливый, как брат родной. Букацкий и не чаял ничего подобного. И когда поздно вечером к нему опять зашел Поланецкий, признался ему с глазу на глаз:

— Откровенно говоря, только сейчас я чувствую, в какой глупый фарс превратил свою жизнь, вся пошла псу под хвост. — И прибавил, помолчав немного: — И если б еще удовлетворение от нее получал, а то ведь и этого нет! В какое идиотское время мы живем! Человек почему-то раздваивается: все, что в нем лучшего, прячет, укрывает подальше, а сам корчит не то обезьяну какую-то, не то шута, вдобавок несчастного, обманывающего самого себя. Всячески себе внушать, что жизнь еще хуже, чем она есть,— что может быть нелепее! Одно утешение, что, во всяком случае, смерть не выдуманна, хотя опять же не резон звать ее, покуда жив...

— Дорогой, ты всегда был мастер изводить себя пустым философствованием. Перестань хоть сейчас.

— Наверно, ты прав. Но горько сознавать, что, пока на ногах был, более или менее здоров, вышучивал жизнь... А сейчас, скажу тебе по секрету, так хочется еще пожить.

— И поживешь.

— Да брось! Это все жена твоя убеждала меня, да я не верю уже. Тяжело мне. Загубил я себя. Но послушай, что я хочу сказать. Придется мне там ответ держать или нет, не знаю. Честь по чести, не знаю! Но что-то томит; беспокойно так, страшно... Зна-

ешь, отчего? Что не сделал ничего для своих, своей земли, а ведь мог бы, мог!.. Вот отчего и страх берет, правду говорю. Это же недостойно человека! Не сделал в жизни ничего хорошего, хлеб задаром ел... И вот — смерть. Если там — муки, мне они уготованы за это... Ох, Стах... Тяжело!..

И хотя он пытался говорить в своей обычной небрежной манере, лицо его было тревожно, губы побелели, на лбу выступили капли пота.

— Перестань! — перебил Поланецкий. — Выброси все это из головы! Вредишь себе только.

— Не перебивай, дай договорить! — не отступал Букацкий. — После меня останется довольно значительное состояние, хоть оно службу сослужит. Часть я завещаю тебе, а остальное употреби на что-нибудь полезное. Ты человек практичный, и Бигель тоже. Подумайте, на что пустить эти деньги, у меня, боюсь, времени уже не будет. Пообещай мне это!

— И это, и все, что скажешь!

— Спасибо. Странная какая-то тревога, и совесть мучает! Не могу отделаться от чувства вины. А возможности были, нет, это нехорошо. Хоть перед смертью сделать бы добро. Шуточное ли дело... смерть! Не заглянешь, не узнаешь, что там: покрыто мраком неизвестности... И протухать, гнить и разлагаться во мраке, в крошечной этой тьме... Скажи, ты верующий?

— Да.

— А я ни то ни се. Увлекался, помимо всего прочего, буддизмом. И если бы не сознание вины, было бы легче. Вот уж не думал, что это так мучительно. Я чувствую себя пчелой, которая ограбила собственный улей, а это же подло. Но ведь состояние не уйдет со мной, правда? Не так уж я много издержал, и все — на картины, а они тоже ведь останутся, верно? Эх, хотелось бы пожить, ну хоть годик, ну хоть столько, чтобы здесь, на чужбине, не умереть... — Он немного помолчал. — Мне ясно одно: жизнь может сложиться плохо, если не сумеешь ее устроить, но сама она — благо.

Поланецкий ушел уже поздно ночью. Всю следующую неделю состояние Букацкого то улучшалось, то ухудшалось. Доктора не могли сказать ничего определенного, но полагали, что дорога ему не повредит. Свицкий с Васковским вызвались сопровождать его. Тосковал он все сильнее, чуть не каждый день вспоминая пани Эмилию, сестру милосердия. Но в самый канун отъезда у него внезапно отнялся язык. У Поланецкого сердце надрывалось при виде его глаз, выражавших то безумную тревогу, то страстную немую мольбу. Он пытался что-то написать, но не смог. Вечером появились симптомы поражения мозга, и он скончался.

Временно его похоронили на Кампо-Санто. Поланецкий догадывался, что было в умоляющем взгляде Букацкого: желание, чтобы прах его перевезли на родину. Свицкий поддерживал его предположение.

Так лопнул этот мыльный пузырь, отливавший порой всеми цветами радуги, но, как любой мыльный пузырь, эфемерный и недолговечный...

Кончина его глубоко опечалила Поланецкого, и он целыми часами размышлял об этом странном человеке, не делясь своими мыслями с Марыней, — у него еще не вошло в привычку делиться с ней тем, что было на душе. Впрочем, размышляя о покойном, выводы он, как это часто бывает, делал в свою пользу.

«Букацкий, — рассуждал он, — жил в разладе с самим собой; не было у него житейской сметки, блуждал, как в лесу, — куда минутная прихоть поведет. И был бы от этого хоть какой-то прок, получай он хоть какое-никакое удовольствие, — ладно, имело бы смысл. А то ведь страдал. Ну правда: не глупо разве всю жизнь лпшать себя вина, уверяя, что это уксус. Я вот более здраво смотрю на вещи, во всяком случае, никогда не обманывал сам себя. Что там ни говори, а с жизнью и верой к какой-то ясности пришел».

Но он и прав был, и неправ. Особенно далеко было до ясности в отношениях с собственной женой.

Он думал: взял на свое попечение и обеспечение, обходится ласково, целует — вот и все обязательства перед ней. А между тем в их отношениях все чаще стало сказываться то, что он лишь как бы соизволял и позволял себя любить. Не раз Поланецкому приходилось сталкиваться со странным явлением: когда известный своей порядочностью человек совершит благородный поступок, все говорят, махнув рукой: «Ах, этот пан Х.! Это вполне естественно!» А поступи вдруг честно какой-нибудь прохвост, те же люди скажут с почтительным удивлением: «Не так-то он, значит, плох». Сотни раз убеждался Поланецкий, что грош, поданный скупцом, производит большее впечатление, нежели золотой, получаемый от человека щедрого. И вот сам бессознательно держался с Марыней точно так же. Она душу свою, всю себя дарила ему, а он как бы говорил, махнув рукой: «Ах, эта Марыня! Это же вполне естественно!» Не будь ее любовь столь беззаветна, доставайся она ему трудно, знай его жена, какое она сокровище и веди себя соответственно, мни себя божеством, которому надлежит поклоняться и требуй этого, он бы поклонялся и чтил ее. Таково уж сердце человеческое, лишь немногие светлые натуры умеют подняться выше этого общего уровня. Марыня отдавала Поланецкому свою любовь как принадлежащую ему по праву, и он принимал ее как должное. Его любовь почитала она за счастье, каковым он ее милостиво оделял, сам себя почитая неким божком для нее. Лишь единый лучик падал на преданное женское сердце, остальные божок приберегал для себя. Брал все, возвращая лишь малую долю. Не было в его чувстве той робкой преданности, которая сквозит в каждом ласковом движении, давая понять любимой: «Я у твоих ног».

Но оба еще этого не понимали.

— Я даже и не спрашиваю, счастлив ли ты,— говорил Бигель Поланецкому после его возвращения,— с такой женой быть несчастливым невозможно.

— Ты прав,— отвечал Поланецкий. — Марыня — чуждая женщина, лучше не найти. — И продолжал, обращаясь к его жене: — И мне, и ей хорошо, иначе и быть не может. Помните давние наши беседы о супружестве и любви? Помните, я боялся, как бы мне не попалась жена, которая захочет заслонить собой для мужа весь свет, завладеть всеми его помыслами, всеми чувствами, стать единственной целью его существования? Помните, я еще говорил вам с пани Эмилией, что любовь к женщине не может и не должна заменять мужчине все, что, кроме нее, есть в жизни и много другого?

— Да, помню, но помню и свой ответ: что домашние дела нисколько не мешают мне, к примеру, любить детей... Не знаю, но, по-моему, есть вещи, которые не расставишь строго по своим местам, как по полочкам.

— Она права,— поддерживал ее Бигель. — Я замечал, что мерки физических явлений часто переносят на чувства либо идеи, а это ошибка: тут речи быть не может о строгом порядке.

— Ты уж молчи, покорный муж! — пошутил Поланецкий.

— Ну и что, если мне так лучше,— возразил Бигель невозмутимо. — Да и тебя тоже покорят.

— Меня?

— Да, тебя. Лаской, добротой, нежностью.

— Это разные вещи. Одно дело — под обаянием, а другое — под башмаком. Не мешайте мне Марыню хвалить. Мне ведь необычайно повезло: она довольствуется моим чувством, не требуя никакого безоглядного поклонения. И я за то ее люблю! Бог уберет меня от жены, требующей от мужа, чтобы тот посвятил ей всего себя: ум, душу, жизнь *et cetera*¹, и хвала ему за это, ибо подобной жены я бы не вынес. Это возможно, я допускаю, но добровольно, а не насильно.

— Поймите, пан Станислав, — возразила пани Бигель, — все мы, женщины, в этом отношении одинаково требовательны. Но поначалу за истинное чувство часто принимаем лишь подобие его, а потом...

— А потом? — поддразнил Поланецкий.

— Потом... натуры благородные довольствуются тем, что для вас, мужчин, звук пустой, а для нас часто — единственная опора в жизни.

— Что же это за магический талисман?

— Смирение.

Поланецкий рассмеялся.

¹ и так далее (лат.).

— Покойный Букацкий говаривал, что смирение для женщин — род шляпки, которая им к лицу. Шляпка смиренности, вулька интересной томности — что, разве так уж плохо?

— Нет, неплохо... Да, если хотите, это всего-навсего наряд, но в нем легче в рай попасть.

— В таком случае моя Марыня попадет прямо в ад, потому что в такие одежды, надеюсь, никогда рядиться не станет. Кстати, вы ее сейчас увидите, она обещалась зайти к вам к концу наших конторских занятий. Опаздывает, как всегда, копуха она у меня, но должна вот-вот быть.

— Отец, наверно, задержал. Оставляйтесь, пообедайте с нами, попросту, без всяких церемоний, хорошо?

— Ладно, останемся.

— Мы сегодня обедаем не одни, еще гости будут. Пойду распоряджусь, чтобы для вас поставили приборы.

И она вышла.

— А кто у вас обедает? — спросил Поланецкий.

— Завиловский, наш новый письмоводитель.

— Какой Завиловский?

— Тот самый, известный поэт.

— С Парнаса за конторку? Как же так?

— Не помню уж, кто сказал, что наше общество держит своих гениев на голодной диете. Он талантлив, говорят, но стихами на жизнь не заработаешь. Цисковский ушел от нас в страховое общество, ты знаешь, ну, и на вakatное место явился Завиловский. Я заколебался сначала, но он сказал, что для него это кусок хлеба и возможность писать. И потом, откровенность его понравилась: сразу признался, что может переписываться на трех языках, но ни одним не владеет порядочно, а о деловой корреспонденции вообще понятия не имеет.

— Ну, это-то не беда, — сказал Поланецкий, — за неделю научится. Вопрос в том, надолго ли его хватит, не будет ли эта корреспонденция залеживаться... С поэтами хлопот не оберешься!

— Ну что ж, тогда дадим ему расчет. Но, видишь ли, раз уж сам пришел наниматься... Лучше взять такого вот Завиловского, чем неизвестно кого. Заступит на место через три дня. А пока я выплатил ему жалованье за месяц вперед.

— Он что, нуждается?

— Кажется, да. Я знаю старика Завиловского, ну того, богача, у которого дочка. Так вот, я спросил, не родственник ли он ему, он стал отнекиваться, но покраснел, так что я думаю, да. У нас ведь все наизусть: одни не хотят знать бедных родственников, другие — богатых. А все эта чертова амбиция и разные там причуды. Впрочем, тебе он наверняка понравится. Жене моей он понравился.

— Кто понравился твоей жене? — спросила, входя в комнату, пани Бигель.

— Завиловский.

— Я читала его стихотворение «На пороге», по-моему, очень хорошее. И потом, у него такой вид, будто он держит что-то в тайне.

— Бедность свою держит, вернее, она его.

— Нет, у него вид человека глубоко разочарованного.

— Ты видал такую фантазерку? Она уже успела мне сообщить, что он, наверно, много страдал в жизни, а я возразил: разве от золотухи в детстве или от глистов, и она, конечно, обиделась. Для нее это слишком прозаично.

— Но Марыня моя отличается... — посмотрел на часы Поланецкий и начал выражать нетерпение. — Вот копуха!

Но в ту же минуту «копуха» явилась. С пани Бигель встреча вышла не шумная, так как они уже виделись на вокзале. Поланецкий объявил жене, что они остаются обедать, и она с радостью согласилась. Тут гурьбой вбежали дети и стали здороваться.

Пришел вскоре и Завиловский; Бигель представил его Поланецкому. Это был еще молодой человек, лет двадцати семи или восьми, и Поланецкий, глядя на него, отметил про себя, что он вовсе не производит впечатления человека, много страдавшего в жизни. Просто, видимо, неловко себя чувствовал в обществе, наполовину ему незнакомом. У него было нервное лицо с сильно выдающимся, как у Вагнера, подбородком, живые черные глаза и высокий, очень нежный лоб, на котором жилы выступали в виде буквы «v».

— Я слышал, вы через три дня начинаете с нами сотрудничать? — обратился к нему Поланецкий.

— Да, сударь. То есть я собираюсь служить в вашей конторе.

— Ну вот еще, «сударь»! У нас не принято так друг друга величать, — рассмеялся Поланецкий. — Разве что жене моей польстит и возвысит ее в собственных глазах. — И спросил Марыню: — Слушай, хотелось бы тебе, чтобы тебя «сударыней» величали? Забавно, правда?

Завиловский сконфузился, но, услышав Марынин ответ, засмеялся вместе с остальными.

— Нет, не хотелось бы. «Сударыня» мне вот в таком чепце представляется, — развела она руками, — а я чепчиков терпеть не могу.

Среди этого добродушного веселья Завиловский почувствовал себя было свободнее, но опять смутился, когда Марыня с ним заговорила.

— А я давно знаю вас по вашим стихам. Только новых не читала, мы ведь недавно вернулись. Есть у вас что-нибудь новое?

— Нет, — ответил он. — Стихи для меня, как виолончель для пана Бигеля. Пишу в свободное время и для собственного удовольствия.

— Позвольте вам не поверить, — усомнилась пани Поланецкая.

И была права, потому что дело обстояло совсем не так. Ответ

был неискренним; но уклончивость Завиловского вызывалась желанием, чтобы в нем видели прежде всего письмоводителя, конторского служащего, а не поэта. И обращался он к Бигелю с Поланецким почтительно вовсе не из искренности, а давая понять, что не считает службу в конторе зазорной для себя, относится к ней серьезно, как к любой другой, и намерен так же относиться впредь. Но было тут еще кое-что. Несмотря на молодость, Завиловский успел приметить, как смешны те, кто, написав несколько стишков, принимают романтические позы и жаждут поклонения. И, боясь тоже показаться смешным, из болезненного самолюбия впал в другую крайность: чуть ли не стыдился своих стихов. Особенно в последнее время, из-за крайней нужды, стеснительность эта стала почти маниакальной, и малейший намек на стихи приводил его в таинную ярость.

Вместе с тем он понимал, что непоследователен, ибо в таком случае надо бы не писать их и не публиковать, но отказаться от этого не мог. Слава его еще не увенчала, но отблеск ее уже коснулся чела, осеняя его то ярче, то слабее, в зависимости от появления стихов. С каждым новым сиял он все заметней, и для Завиловского, столь же честолюбивого, сколь и талантливое, сияние славы, в сущности, было дороже всего на свете. Ему хотелось, чтобы только о нем и говорили, и если казалось, забывали, он испытывал тайные муки. Но чтобы говорили заглазно. Он страдал словно болезненным раздвоением самолюбия: жаждал славы и вместе с тем, из гордости и дикой застенчивости, ее чурался, — боясь, как бы не сказали: недостойн. Вообще в нем было много противоречивого: развитое воображение и тонкость чувств ему, человеку молодому и впечатлительному, мешали подчас найти себя. Служители муз часто держатся из-за этого неестественно.

За обедом заговорили, само собой, об Италии и о людях, с которыми Поланецкие там встречались. Поланецкий рассказал о Букацком, о его последних минутах и последней воле, согласно которой должен был получить значительные деньги. Но еще значительней была сумма, оставленная на благотворительные цели, — как ею распорядиться, предстояло решить с Бигелем. Букацкого все любили и жалели, а пани Бигель даже расчувствовалась, когда Марыня упомянула, что перед смертью он исповедался и умер, как подobaет христианину. Но жалость была такого свойства, что не помешала собравшимся с аппетитом отобедать, и если Букацкий всерьез мечтал о нирване, мечта его теперь сбылась, — забыли его столь же быстро, сколь и безболезненно, даже люди близкие и к нему расположенные. Неделя, месяц, год — и имя его кануло в Лету. Ничьей особенно глубокой любви он не завоевал, сам никого не любил, — такое дитя, Литка, и та оставила по себе след глубже в памяти и сердцах. Завиловский, его не знавший, заинтересовался было рассказом Поланецкого, но, выслушав до конца, задумался и сказал: «Эпигонская жизнь». Букацкого, имевшего обыкновение обращать все в шутку, огорчила бы такая эпитафия.

Марыня, желая придать разговору более веселое направление, принялась рассказывать о прогулках по Риму и его окрестностям, которые они совершали то вдвоем, то с Основскими или Свирским. Бигель с Основским были однокашниками и встретились изредка.

— Он раб двух маций,— сказал Бигель,— одна — любовь к жене, другая — ненависть к своей тучности. Он склонен к полноте, а вообще — чудесный малый.

— Но он совсем не толстый,— заметила Марыня.

— Два года назад был настоящий толстяк, но стал кататься на велосипеде, заниматься фехтованием, лечиться диетой по Беттингу, летом ездить в Карлсбад, зимой то в Италию, то в Египет, и похудел. Но я не точно выразился, полноты не переносит его жена! А он худеет в угоду ей. И ночи напролет ногами дрыгает на балах все для той же цели.

— *Sclavus saltans*¹,— сказал Поланецкий. — Свирский нам о нем рассказывал.

— Я понимаю, можно любить жену,— сказал Бигель,— беречь ее, что называется, как зеницу ока. Все это так. Но я слышал, что он стихи жене посвящает, по книге с закрытыми глазами гадает, любит она его или не любит. А выйдет, что нет,— впадает в черную меланхолию. Влюблен, короче говоря, как мальчишка. Каждый взгляд ловит, каждому ее слову придает особое значение; не только ей ручки-ножки целует, но даже перчатки украдкой, думая, что никто не видит... Черт знает что! И так уже много лет.

— Как трогательно! — воскликнула Марыня.

— А тебе хочется, чтобы и я был таким? — спросил Поланецкий.

— Нет,— подумав, ответила Марыня,— тогда ты был бы не тем, что ты есть.

— Ответ, достойный Макиавелли! — воскликнул Бигель. — Его стоит записать: тут тебе и похвала, и чуточка критики, и констатация, что так, как есть, хорошо, но бывает и получше. Ну, что тут скажешь!

— Я бы счел это похвалой,— отозвался Поланецкий и обернулся к хозяйке дома: — А вы бы истолковали как покорность?

— Нет, это любовь, покорность судьбе наступит позже; она как подкладка, которую подшивают в холода,— ответила, смеясь, пани Бигель.

Завиловский смотрел на Марыню с любопытством. Она казалась ему красивой и симпатичной, а ответ ее заставил задуматься. Сказать так могла только женщина очень любящая и беспрдельно преданная. И он с невольной завистью взглянул на Поланецкого, а поскольку был бесконечно одинок, припомнил слова песенки: «У соседа хата была, у соседа жинка мила...»

¹ Прыгающий раб (лат.).

До тех пор он не принимал участия в разговоре, отделиваясь односложными ответами, но тут решил, что молчать дольше неудобно. Однако мешали робость и зубная боль, утихшая, но временами напоминавшая о себе. Это окончательно лишало его смелости. Наконец, собравшись с духом, он спросил:

— А что пани Основская?

— У пани Основской есть муж, который любит за двоих, чего ей беспокоиться,— ответил Поланецкий. — Так, по крайней мере, считает Свирский. Что еще о ней сказать? Глаза как у китаянки, кличут Анетой, в переднем зубе пломба, которую видно, когда она смеется, поэтому она предпочитает улыбаться. Вообще как попка в клетке: вертит головкой и верещит: «Сахару! Сахару!»

— У твоего Свирского злой язык! — возразила Марыня. — Это очаровательная женщина, живая, остроумная. А любит ли она своего мужа, этого пан Свирский знать не может, в это она его не посвящала. И вообще это все досужие домыслы.

А Поланецкий подумал: во-первых, не домыслы; а во-вторых, жена его столь же добродетельна, сколь и наивна.

— Интересно, а если бы и она его любила, как он ее? — сказал Завиловский.

— Это была бы редкостная форма эгоизма: эгоизм вдвоем,— откликнулся Поланецкий. — Они были бы так заняты собой, что ничего и никого вокруг бы не видели.

— Свет, излучая тепло, от этого не меркнет,— улыбнулся Завиловский.

— В нашем сравнении больше поэзии, чем физики,— заметил Поланецкий.

Но обоим женщинам ответ Завиловского пришелся по душе, и они горячо его поддержали. Бигель к ним присоединился, и Поланецкий остался в меньшинстве.

Затем речь зашла о Машко и его жене. Машко, по словам Бигеля, взялся вести запутанное дело о признании недействительным завещания Плошовской, которое опротестовали ее дальние родственники, притязающие на миллионное наследство. Плавницкий писал об этом дочери в Италию, но Марыня считала, что все эти миллионы — такой же мираж, как надежды на кшменский мергель, и когда обмолвилась было мужу, он тоже махнул только рукой. Но выходило, что игра стоит того, коли Машко взялся, значит, полагал Бигель, не все формальности соблюдены, а уж выиграй он, сразу на ноги встанет, так как выговорил себе крупный гонорар. Поланецкого очень заинтересовало это известие.

— Машко, точно кошка, всегда на ноги падает,— заметил он.

— Молите бога, чтобы и на этот раз шею себе не свернул, для вас с отцом, пани Марыня, это очень важно,— сказал Бигель. — Один Плошов с фольварками в семьсот тысяч оцenen, а кроме того, солидный наличный капитал.

— Приятный был бы сюрприз,— отозвался Поланецкий.

Но Марыня огорчилась, узнав, что среди опротестовавших завещание оказался и ее отец. Ведь Стах — тоже человек состоятельный и, если захочет, сам наживет миллионы, она слепо верила в это; у отца пенсия, кроме того, она уступила ему ренту за Магерувку, так что нужда никому не грозила. Конечно, для Марыни было большим соблазном откупить Кшемень и возить туда на лето своего Стаха, но не такой ценой.

— А мне очень неприятно, — возразила она с горячностью. — Покойная прекрасно распорядилась. И нехорошо нарушать волю умерших, отнимать деньги, назначенные для бедняков и школ. Племянник ее покончил с собой, и она, может быть, думала хоть душу его спасти, заступиться перед всевышним! Нет, так не годится!.. Нельзя только о своей выгоде печься!..

Она даже раскраснелась.

— Ишь ты, какая решительная! — промолвил Поланецкий.

— Ну, Стах, скажи, разве я неправа, скажи, ведь я права? — повторяла она, как капризный ребенок, надув пухлые губки. — Ты обязан сказать.

— Ты права, без сомнения, но Машко может и выиграть процесс.

— В таком случае, я желаю ему неудачи! — ответила она.

— Ишь ты, решительная какая! — повторил он.

«И какая добрая притом, какая благородная!» — подумал Завиловский, и в его воображении поэта доброта и благородство тотчас приняли облик этой стройной, темноволосой и голубоглазой женщины с чуть широковатым ртом.

Бигель с Поланецким удалились после обеда посоветоваться за сигарами и кофе, как лучше распорядиться деньгами Букацкого. Некурящий Завиловский остался с дамами в гостиной. Марыня, как жена совладельца фирмы, почла своей обязанностью ободрить их будущего служащего.

— Мы с пани Бигель хотим жить одной большой, дружной семьей, поэтому считайте нас своими друзьями, — сказала она, подходя к молодому человеку.

— С превеликим удовольствием, с вашего позволения, — отвечал тот. — Я уже и так почел своим долгом засвидетельствовать вам свое почтение...

— Я только на свадьбе повидалась со всеми служащими, а потом мы сразу уехали, но теперь познакомимся поближе. Муж высказал желание, чтобы мы собирались раз в неделю поочередно у нас и у Бигелей. Мысль хорошая, но у меня одно условие.

— Какое? — спросила пани Бигель.

— На этих встречах — никаких разговоров о делах! Будем слушать музыку — пан Бигель, надеюсь, об этом позаботится, — читать стихи, такие, как «На пороге».

— Только в мое отсутствие, — сказал Завиловский с принужденной улыбкой.

— Отчего же? — спросила, взглянув на него, Марыня со свойственной ей прямою. — В обществе людей, искренне к вам расположенных? Мы, еще не будучи знакомы, не раз говорили, думали о вас, а теперь и сам бог велел.

Завиловский был совершенно обезоружен и подумал, что судьба свела его с людьми необыкновенными. Во всяком случае, пани Поланецкая представлялась ему именно такой. Боявшийся как огня насмешек над своими стихами, длинной шеей, острыми локтями, он утратил свою обычную скованность, перестав ее дичиться. Он чувствовал: она никогда не говорит ничего просто так, из светской любезности, — ее слова подсказывались добротой и отзывчивостью. К тому же его захватила, как Свицкого в Венеции, ее внешность. И по привычке облекать впечатления в словесную форму, он мысленно стал искать определений ее красоты, понимая, что они должны быть изысканны и вместе просты, выразительны и скромны, как сама ее красота, изящная и безыскусная. В нем заговорил поэт, нашедший тему.

Марыня между тем, движимая самыми лучшими побуждениями, стала расспрашивать его о семье, но появление в гостиной Бигеля и Поланецкого избавило его, к счастью, от неприятной, видимо, для него необходимости отвечать. Отец его, известный в свое время картежник и кутила, вот уже несколько лет как лишился рассудка и находился в больнице для умалишенных.

Конец этому щекотливому объяснению положила музыка. Бигель, посоветовавшись с Поланецким и подтвердив, что проект получается отличный, только надобно хорошенько его обдумать, взялся за виолончель.

— Удивительное дело, — помолчав, сказал он, — когда играешь, кажется, что ни о чем не думаешь, но это не так! Какие-то клеточки в мозгу продолжают работать, и, как ни странно, именно тогда и приходят самые лучшие мысли.

Он установил виолончель между колен и, закрыв глаза, заиграл «Весеннюю песню».

Завиловский ушел в тот вечер от Бигелей, очарованный и доброжелательной простотой как хозяев, так и гостей, и «Весенней песней», но особенно Поланецкой.

Она же была далека от мысли, что благодаря ей поэзию, быть может, озарит новая искра вдохновения.

ГЛАВА XXXVIII

Через неделю после приезда Поланецким нанесли визит супруги Машко. Она в сером платье с отделкой из перьев марабу выглядела чрезвычайно эффектно. Воспаление глаз, которым она прежде страдала, прошло. Лицо ее сохраняло свое обычное безучастно-сопливое выражение, но теперь это придавало ей какую-то особую поэтичность. Старше Марыни почти на пять лет, Крас-

лавская до замужества выглядела зрелой не по возрасту, а сейчас будто помолодела. Ее высокая, очень стройная фигура в облегающем сером платье казалась девически юной. Не любивший ее Поланецкий, как ни странно, находил ее в то же время привлекательной и при встрече каждый раз говорил себе: «Все-таки в ней что-то есть!» Даже ее детски монотонный голосок обладал для него своим очарованием. И он должен был признать, что она очень хороша и, в отличие от Марыни, заметно изменилась к лучшему.

Сам Машко тоже расцвел, как подсолнух. Он весь исходил самоуверенной важностью, впрочем, с оттенком снисходительного благоволения. Вид у него был такой, будто его владений за день не объехать, — словом, он пыжился больше, чем когда-либо. Лишь любовь его к жене была непритворной — в каждом взгляде на нее читалось настоящее обожание. Да и правда, трудно было найти женщину, столь отвечавшую его понятиям о хорошем тоне, благовоспитанности и светскости. Ее невозмутимость и как бы замороженность в обращении представлялись ему чем-то непревзойденным. «Чувство собственного достоинства» не покидало ее ни при каких обстоятельствах, даже с мужем наедине. Как истинный парвеню, которому удалось жениться на княжне, — а она была ею в его глазах, — он любил ее именно за это и в ней свою удачу.

На Марынин вопрос, где провели они медовый месяц, пани Машко отвечала: «В имении мужа», — таким тоном, словно «имение» было по меньшей мере майоратом, который переходил от отца к сыну на протяжении двадцати поколений, прибавив, что за границу они собираются в будущем году, когда муж покончит с делами, а пока на летние месяцы снова поедут в «имение мужа».

— Вы любите деревню? — спросила Марыня.

— Мама любит, — последовал ответ.

— А Кшемень нравится вашей маме?

— Да. Только окна в доме, как в оранжерее, в мелких переплетах!

— Ну, это отчасти по необходимости, — засмеялась Поланецкая, — разбейся такое стекло, его любой стекольщик вставит, а за большим пришлось бы аж в Варшаву посылать.

— Муж говорит, что выстроит новый дом.

Марыня тихонько вздохнула, поснежив перевести разговор на другую тему. Заговорили про общих знакомых. Оказалось, пани Машко вместе с «Анеткой» Основской и младшей ее родственницей Линетой Кастелли посещали когда-то уроки танцев и дружны до сих пор; Линета же еще красивей Анеты, а к тому же рисует и сочиняет стихи — у нее их целый альбом. Анета, по слухам, будто бы уже вернулась и до июня проживет на даче вместе с Линетой и тетюшкой ее, пани Бропич. «Очень будет приятно... Такие милые люди!»

Поланецкий с Машко вышли между тем в маленькую гостиную, разговорившись о наследстве Плошовской.

— Должен тебе сказать, что, кажется, я выкарабкаюсь,— сообщил Машко. — А ведь на краю гибели был. Но вот взялся за это дело — и сразу твердую почву под ногами почувал. Давно у меня такого не было. Тут миллионами пахнет. Плошовский-то сам был побогаче своей тетки и перед тем, как пустить себе пулю в лоб, завещал свое состояние матери Кромницкой. Когда же та отказалась, все перешло к старухе Плошовской. Представляешь теперь, какое богатство осталось после старушечки.

— Тысяч около семисот, — по словам Бигеля.

— Ежели твой Бигель так уж любит считать, скажи ему: почти вдвое больше. Ну-с, не так-то просто меня потопить! Умею за себя постоять, могу это сказать по праву. И самое забавное, что обязан этим знаешь кому? Твоему тестю. Как-то он упомянул об этом, но я тогда отмахнулся. А потом начались мои злоключения, я тебе писал. Еще немножечко, и пропал бы. И вот недели три назад встречаю случайно твоего тестя, и он опять о Плошовской, ругает ее на все корки. И тут я хлоп себя по лбу. Чем, думаю, я рискую? Абсолютно ничем. Попросил нотариуса Вышинского показать завещание и вижу: не все точно по форме. Мелочи, но можно придрататься при желании. Через неделю у меня уже доверенность была от наследников, и я возбудил дело. И представь: едва стало известно, какой я гонорар получу, если выиграю дело, ко мне моментально преисполнились доверия, запмодавцы опять вооружились терпением, открыли кредит, и вот — держусь... Помнишь, еще недавно я совсем было раскис: стал идилии себе всякие рисовать, — тружусь упорно, как муравей, во всем себя ограничиваю... Чепуха это все, мой дорогой! Ты вот упрекал меня в актерстве, но у нас без этого не проживешь. И сейчас нужно делать вид человека состоятельного и уверенного в успехе.

— Скажи честь по чести: это дело справедливое?

— Что значит «справедливое»?

— Ну, не придется подтасовывать, чтобы его выиграть?

— Видишь ли, в каждом деле есть обстоятельства, которые можно обратить в свою пользу, и искусство адвоката как раз в том, чтобы их выявить. Здесь вопрос, собственно, в чем? Кто наследники, то есть, по закону ли составлено завещание, а закон придумал не я.

— Ты рассчитываешь выиграть?

— Когда завещание опротестовывают по суду, всегда есть шансы выиграть, потому что истец обычно действует стократ энергичней ответчика. Кто будет выступать против? Учреждения по самой природе своей медлительны, нерасторопны, представители их лично не заинтересованы в исходе дела. Возьмут адвоката — хорошо! Но что ему заплатят? Сколько могут заплатить? Не больше, чем предусмотрено по таксе. Так что их адвокату, может быть, выгодней и проиграть в случае, если мы с ним вступим в соглашение. В судебном разбирательстве, как в жизни: выигрывает тот, кто больше этого хочет.

— Но ведь против тебя ополчится общественное мнение, если ты такое завещание опротестируешь. Моя жена, к примеру; хотя она до некоторой степени лицо заинтересованное...

— Как это «до некоторой степени»? Да я вас просто облагодетельствую.

— Допустим. Но мою жену возмутило и продолжает возмущать это дело.

— Твоя жена — исключение.

— Не совсем. И мне оно не по душе.

— Что я слышу?! И ты в романтику ударился?

— Милый мой, мы друг друга знаем не первый день, и меня такими фразами не возьмешь.

— Ладно. Поговорим тогда об общественном мнении. Так вот: известное недоброжелательство человеку в полном смысле *comme il faut* скорее на пользу, чем во вред. И еще: на меня бы ополчились, как ты выразился, если б я дело проиграл, вот ты что пойми. А если выиграю, уважать только больше будут, а я его выиграю! — И, помолчав, продолжал: — Но взглянем на все на это со стороны чисто экономической. Капитал за границу не уплывет и применение найдет, пожалуй, даже лучшее. Суди сам: ну, пустили бы эти деньги на прокормление нескольких дюжин заморышей, и выросли бы они худосочными, хилыми людьми — это же к вырождению нации ведет; или дюжина швей получила бы швейные машины; или сколько-то там баб и мужиков прожили на два, на три года дольше; общество от этого не выиграет ничего. Это непроизводительные расходы. Пора нам усвоить азы политической экономии... Наконец, скажу тебе прямо: еще немного, и мне бы конец. Мне в первую голову о себе приходится думать, о жене, о своей будущей семье. Вот окажешься когда-нибудь в таком же положении, поймешь. Я предпочел выплыть, а не идти ко дну — на это каждый имеет право. Жена моя получает пенсион, и не малый, — я писал тебе, но состояния у нее нет или почти нет. А ей еще отцу надо какую-то сумму выплачивать, которую пришлось увеличить, потому что он пригрозил в противном случае приехать, а это мне совсем не улыбается.

— Значит, теперь доподлинно известно, что Краславский жив? Ты, помнится, что-то про это говорил.

— Тем более не стану ничего скрывать. О жене моей и теще всякие сплетни распускают, я знаю, болтают невесть что, поэтому расскажу тебе все, как есть. Краславский живет в Бордо; он был агентом по продаже сардин и неплохо зарабатывал, но лишился места из-за пристрастия к абсенту, вдобавок обзавелся второй семьей. Мои посылают ему три тысячи франков в год, но ему не хватает, между получками он нуждается, вследствие чего пьет еще больше и бомбардирует несчастных женщин письмами, грозя написать в газеты, как они с ним обращаются, хотя он и такого обращения не заслуживает. Сразу же после свадьбы я получил от него письмо с просьбой прибавить ему тысячу франков.

Он, конечно, не преминул сообщить, что они его «заели», он-де жертва их эгоизма и не видел счастья в жизни — ну, и предостерегал меня против них... Но гонор у бестии шляхетский! — со смехом продолжал Машко. — Решил с горя афишки в театре продавать, велели надеть каскетку, а он наотрез отказался. «Все бы ничего, если б не эта проклятая каскетка! — писал мне. — Как дали ее мне — ну, не могу, и все!..» С голоду предпочитал умереть, но каскетку не надел: вот он какой, мой тесть. Был я однажды в Бордо, но, убей меня бог, не помню, какие там растакне фуражки носят эти продавцы афиш, а хотелось бы поглядеть, что за фуражка... В общем, я так рассудил: приплачу лучше тысячу франков, чтобы подальше держать с этим его абсентом и фуражкой... Меня другое огорчает: злые языки болтают, будто он и здесь не то рассыльным был, не то писарем, это ложь бессовестная, стоит любой гербовник открыть — и станет ясно, кто такие Краславские. Там все родственные связи как на ладони, и Краславским их не занимать стать. Сам под горку покатился, но рода он знатного. У них много родственников, и не каких-нибудь с бору да сосенки, — рассказываю тебе не почему-нибудь, а чтобы ты знал истинное положение вещей.

Но родословная Краславских мало занимала Поланецкого, и они вернулись к дамам, тем более что пришел Завиловский — Поланецкий пригласил его к чаю, пообещав показать фотографии с итальянскими видами. Целые кипы их лежали на столе, но Завиловский взял Литкин портрет и не мог оторвать восхищенного взгляда. Поздоровался с Машко и опять стал его рассматривать, подолжая начатый разговор.

— Никогда бы не подумал, что это настоящий, живой ребенок, а не вымысел художника, — сказал он. — Головка прелестная, а выражение какое! Это ваша сестренка?

— Нет, — отвечала Поланецкая. — Этой девочки нет в живых.

Упавшая на это ангельское личико трагическая тень только усилила в глазах поэта его очарование, пробудив у Завиловского еще большее сочувствие, и он еще долго рассматривал портрет, то отстраняя его, то приближая.

— Я спросил, не сестра ли она вам, — сказал он наконец, — потому что сходство есть в чертах... верней, в выражении глаз... Да, что-то есть!

Завиловский говорил вполне искренне, но Поланецкий так свято чтит память покойной, что сравнение с Марыней, чьей красоте он сам отдавал должное, показалось ему профанацией. И, взяв портрет из рук Завиловского, он поставил его на место.

— Никакого сходства, по-моему, нет! — возразил он с горячностью, почти резкостью. — Решительно никакого! Не понимаю, как можно даже сравнивать!

— По-моему, тоже, — согласилась Марыня, хотя ее и задел этот резкий тон.

Но Поланецкому недостаточно было ее согласия.

— Вы знали Литку? — обратился он к пани Машко.

— Знала.

— Ах, да, вы же ее видели у Бигелей.

— Да.

— Правда, сходства никакого?

— Правда.

Преклонявшийся перед Поланецкой Завиловский поглядел на него с удивлением, а тот любовался стройной фигурой пани адвокатиши в сером облегающем платье, восклицая мысленно: «Как грациозна!»

Супруги Машко стали вскоре прощаться. Целуя руку Марыне, Машко сказал:

— На днях, я, может быть, поеду в Петербург, не забывайте, пожалуйста, мою жену.

За чаем Марыня напомнила Завиловскому его обещание принести и прочесть стихотворение «На пороге» в другом варианте; Завиловский, который к ним сразу расположился, прочел не только это, но и еще одно, недавно написанное. Видно было, что он сам удивлен тем, как осмелел и разохотился.

— Мне кажется, мы уже век знакомы, хотя я был у вас всего два раза, — прочтя стихи и выслушав искренние похвалы, сказал он с такой же искренностью. — Мне это даже странно.

Поланецкий вспомнил, что сам сказал нечто подобное Марыне в Кшемене; но теперь принял слова Завиловского на свой счет.

А Завиловский имел в виду прежде всего Марыню; он покорен был ее внешностью, естественностью, добротой.

— Талантлив, бестия! Спору нет, — сказал жене после его ухода Поланецкий. — Он как будто немного изменился, ты не заметила?

— Постригся просто, — ответила Марыня.

— А! И подбородок еще больше выдается.

Он встал и принялся собирать и укладывать фотографии на полочку над столом. Напоследок взял портрет Литки.

— Отнесу его к себе в кабинет.

— У тебя ведь висит там тот, раскрашенный, с березками.

— Да, но я не хочу, чтобы он лежал тут у всех на виду. Каждый, кому не лень, замечания будет делать, меня это раздражает. Ты не возражаешь?

— Нет, Стах, конечно, — ответила Марыня.

ГЛАВА XXXIX

Бигель настойчиво уговаривал Поланецкого не свертывать коммерческих операций и не браться очертя голову за иного рода дела. «Мы основали солидную фирму, — твердил он, — таких у нас раз-два, и обществу, и нам от этого польза». Было бы, по его словам, непростительно забросить дело, благодаря которому

они почти удвоили свое состояние, но именно теперь всего разумней действовать с особой осторожностью и осмотрительностью, и эта первая смелая спекуляция, хотя удачная, пусть будет и последней, не служа соблазном. Поланецкий соглашался: да, осторожность особенно необходима, когда дела идут успешно, но жаловался: контора не дает развернуться, хотелось бы заняться каким-нибудь производством. Но у него хватало практического смысла, чтобы не помышлять о собственной фабрике. «Маленькую иметь не стоит, — рассуждал он, — не выдержать конкуренции с крупными, которые выбрасывают товар en gros¹, а для большого дела средств не хватит. В акционерной же компании я бы не на себя работал, а на других». Он понимал также, что среди поляков акционеров найти нелегко, а чужаков привлекать не хотел, зная наперед, что к нему отнеслись бы с недоверием, — сама его фамилия оказалась бы уже помехой. Здравомыслие Поланецкого радовало Бигеля, для которого главным было сохранить фирму.

Но Поланецкого стало преследовать еще одно извечное, старое, как мир, желание: приобрести недвижимость. Благодаря выгодной спекуляции и записи в завещании Букацкого он сделался богатым человеком, но, несмотря на трезвый практицизм, испытывал странное ощущение, что это богатство, пусть и вложенное в надежные бумаги и запертое в несгораемой кассе, тоже бумажное и таковым останется, пока не сделается чем-то осязаемым, о чем можно сказать: «Мое!» Это странное желание завладевало им все сильней. Не что-нибудь невероятное, а скромный, но собственный угол, где можно чувствовать себя полновластным хозяином. Рассуждая об этом с Бигелем, он все доказывал, что иметь недвижимость — это, наверно, страсть прирожденная; ее можно подавить, но в зрелом возрасте она непременно пробуждается с новой силой. Бигель соглашался.

— Вполне возможно. Желание твое законно: ты женат и хочешь жить в собственном, а не наемном доме, и средства у тебя для этого есть. Так что дело теперь только за тобой.

Сперва Поланецкий задумал построить большой дом в городе: он удовлетворял бы его желанию, а заодно приносил бы доход. Но в один прекрасный день сообразил: в этом весьма практичном плане мало привлекательного, это главная его уязвимая сторона. Уж если «мое», — значит, любимое, а как любить каменный дом, в котором кто ни попадя снимают квартиры? Он было устыдился этой мысли, найдя ее слишком романтической, но потом сказал себе: «Нет! Употребить свой капитал себе на радость — это не романтизм, а довод рассудка». И стал подумывать о том, чтобы приобрести домик поменьше в городе или за городом, где можно поселиться вдвоем с женой. Но при доме обязательно хоть клочок земли с какой-нибудь растительностью. Приятен был бы один вид деревьев в своем саду, перед своим домом, на своей

¹ крупными партиями, оптом (фр.).

земле. Он сам себе удивлялся, но ничего не мог с собой поделать. И в конце концов пришел к заключению, что самое лучшее — купить небольшой дом за городом, вроде дачи Бигелей, с землей, где и лес, и огород, и сад, и аист будет гнездиться на старой липе.

«Если средства позволяют, лучше что-нибудь в таком роде, в этом есть своя прелесть и ничего дурного», — говорил он себе.

И он стал с разных сторон обдумывать свой план. Уж коли речь идет о семейном гнезде, где предстоит прожить оставшиеся годы, надо взвесить все без лишней спешки, — это было ясно. И все свободное от конторских занятий время он посвящал этому обдумыванию, в котором находил большое удовольствие. Едва стало известно о намерении Поланецкого приобрести загородный дом за наличные, отовсюду посыпались предложения — часто неподходящие, но иногда соблазнительные. Приходилось ездить за город или смотреть городские виллы. Нередко, воротясь из конторы и пообедав, Поланецкий уходил в кабинет и сидел до вечера за письмами и планами. У Марыни появилось много свободного времени. От ее внимания не укрылось, что муж чем-то увлечен, и она пробовала его расспросить.

— Скажу, детка, когда будет что-то известно, — отвечал он, — пока же сам толком ничего не знаю, а просто так болтать не в моих правилах.

Но Марыня узнала обо всем от пани Бигель, а та — от мужа, в чьих правилах было, наоборот, обсуждать с женой свои дела и планы. Марыне тоже доставило бы истинное наслаждение поговорить с мужем обо всем, тем более о выборе будущего гнезда. При одной мысли об этом ее охватывало радостное волнение, но коль скоро Стаху это «не по душе», она из деликатности не допытывалась.

Он же вел себя так без всяких задних мыслей — ему просто в голову не приходило посвящать ее в свои денежные расчеты. Наверно, Поланецкий поступал бы иначе, получи он за женой большое приданое и распоряжайся также ее состоянием, будучи в подобных вопросах человеком очень щепетильным. Но поскольку распоряжался он только своими деньгами, у него, по сохранившейся холостяцкой привычке, не возникало и потребности делиться чем бы то ни было, что еще не решено. И советовался об этом с одним Бигелем, имея обыкновение только с ним говорить о делах.

А с женой разговаривал лишь о том, что, по его представлению, «прямо» ее касалось; в частности, о необходимости составить круг знакомых. В предшествующие женитьбе годы Поланецкий почти перестал бывать в обществе, но понимал, что теперь должно быть иначе. Они отдали визит супругам Машко и как-то вечером принялись обсуждать, надо ли побывать у Основских, которые вернулись из-за границы и собирались прожить до середины июня в Варваше. Марыня считала, что надо, все равно они будут с ними встречаться в доме Машко, и потом она любила и

жалела Основского. Поланецкий не выразил особого желания поддерживать это знакомство и поначалу настоял на своем, но спустя несколько дней Основские, повстречав Марыню, обрадовались ей так искренне, Анета так настойчиво твердила: «Мы, римлянки», и оба так радушно звали к себе, что уклониться от визита было бы просто неучтиво.

Но во время визита все радужнее обратилось главным образом на одну Марыню. Хозяева словно старались превзойти друг друга, оказывая ей разные знаки внимания. А с Поланецким держались лишь благовоспитанно, но не более того, — безупречно вежливо, но сдержанно. Он видел, что Марыне отводится первая роль, а ему — вторая, и это его немного задевало. Основскому, впрочем, не было нужды заставлять себя быть любезным с Марыней; он чувствовал: она питает к нему симпатию и платил ей сторицей, не будучи в жизни этим избалован.

Марыне показалось, что в жену он влюблен еще больше прежнего. У него словно сердце начинало биться чаще при взгляде на нее. И, говоря, он старательно выбирал выражения, точно опасаясь нечаянно ее обидеть. Поланецкий на него поглядывал с некоторым сожалением, но было в этом и нечто трогательное. А в борьбе с тучностью Основский добился результатов прямо-таки блистательных: платье стало сидеть на нем даже чуть мешковато. Угри, нередкие у блондинов, почти исчезли с его лица, и вообще он стал намного интересней. А жена несколько не изменилась: все те же бесподобно фиалковые, чуть раскосые глазки, мысли, райскими птичками перепархивающие с предмета на предмет.

У Основских Поланецкие завязали новое знакомство: с пани Бронич и ее племянницей, Линетой Кастелли, которые приехали в Варшаву на «летний сезон», поселясь на вилле Основских. Покойный Бронич продал ее Основскому, оставив флигель за женой. Рассказывая о муже, вдова не забывала напомнить, что он попомок князей Острожских, а значит, последний из Рюриковичей. В городе ее прозвали «пани Сахар-Медовичева»; прозвищем она была обязана слащавому голоску, каким разговаривала, стремясь снискать чье-нибудь благорасположение. Любила она и приврать, и сочиняемые ею небылицы становились притчей во языцех. Линета была дочерью ее сестры, которая, к ужасу семьи и света, вышла замуж за итальянца, учителя музыки, и умерла родами, оставив дочку. Через год и отец утонул в Лидо, и пани Бронич взяла племянницу на воспитание.

Панна Кастелли была писаная красавица: черные очи, золотые кудри, тонкий профиль и личико необыкновенной, фарфоровой белизны. Лишь тяжелые веки придавали ей сонное выражение, но оно могло сойти и за самоуглубленность. Естественно было предположить, что она живет напряженной внутренней жизнью и потому недостаточно внимательна к окружающему. А кто сам об этом не догадывался, мог быть уверен, что ему поспешит на по-

мощь пани Бронич. Основская, переживавшая период увлечения своей кузиной, говаривала, что очи ее — как бездонные озера; неизвестно, правда, что таилось в их глубине, но это-то как раз и привлекало.

В Варшаву Основские приехали развлечься, но недаром Анета побывала в Риме. «Искусство! — твердила она Поланецкой. — Кроме искусства, ничто больше меня не интересует». И не скрывала намерения устраивать у себя «афинские вечера», а втайне мечтала стать Беатриче какого-нибудь новоявленного Данте, Лаурой новоиспеченного Петрарки или на худой конец Витторией Колонной для второго Микеланджело.

— На даче у нас прелестный сад, — говорила она, — мы будем собираться там теплыми вечерами и беседовать, совсем как в Риме или во Флоренции... Представьте себе, — тут она подымала руки вровень с плечами и начинала ими легонько взмахивать, — сумерки, догорающая заря, новолуние, свет ламп, тени деревьев, а мы вот так сидим и негромко рассуждаем о самом сокровенном: о жизни, любви, искусстве. Ведь гораздо лучше, чем сплетничать! Тебе, Юзек, наверно, скучно будет, но сделай это ради меня, не сердись, увидишь, как славно получится.

— Анеточка, да разве может мне быть скучно, когда тебе весело? — отвечал Основский.

— Надо поторопиться, пока Линета здесь; она ведь прирожденная артистка. — И обращаясь к ней: — А что там в этой милой головке? Что она нам скажет о таких вот... римских вечерах?

Линета улыбалась вместо ответа, а «последняя из Рюриковичей» сладким-пресладким голоском сказала как-то Поланецким:

— Знаете, когда она была маленькая, сам Виктор Гюго ее благословил!

— Так вы знакомы были с Виктором Гюго? — спросила Марыня.

— Мы? Что вы! Боже упаси от таких знакомств. Но однажды проезжаем мы по Пасси, мимо его дома, а он на балконе, и то ли по наитию, то ли по внушению свыше, но увидел Линету, поднял вот так руку и перекрестил ее.

— Тетя! — сказала Линета.

— Деточка, но ведь это правда, а правду чего же скрывать! «Гляди, гляди, руку протер!» — вскричала я тут же. И консул, пан Кардин, на переднем сиденье, тоже видел, что он поднял руку и тебя перекрестил! Наоборот, я часто рассказываю об этом. Может, за то крестное знамение господь ему прегрешения простил, их у него немало было. Такой заблудший ум, а увидел Линету — и перекрестил!

Правдой в ее рассказе было лишь то, что, проезжая по Пасси, они и в самом деле видели на балконе Виктора Гюго. Но что до благословения, злые языки в Варшаве уверяли, будто руку он поднял, прикрывая зевок.

— Устроим себе здесь маленькое подобие Италии,— развивала тем временем свою тему Основская,— не выйдет, укатим в настоящую зиму. Мне давно хотелось иметь в Риме открытый дом. А пока что у Юзека есть несколько отличных копий картин и статуй. Сделал специально для меня, и очень мило с его стороны, в искусстве он ведь плохо разбирается. Прелестные есть вещицы, у Юзека хватило благоразумия не полагаться на свой вкус, а посоветоваться со Свирским. Жалко, что его здесь нет. И Букацкий умер, как нарочно; его нам тоже будет не хватать. Очень мил бывал иногда. Такой живой, гибкий ум, змейкой перевивал разговор. Вы знаете,— обратилась она к Поланецкой,— Свирский вами просто пленен. После вашего отъезда только о вас и толковал и начал писать мадонну с вашим лицом. Вы станете его Форнариной! У художников вы явный успех имеете, придется нам с Линетой покрепче взяться за руки на моих флорентийских вечерах, не то вы совсем оттесните нас!

Пани Бронич окинула Марыню критическим взглядом.

— Ах, пан Свирский! — протянула она. — Помнишь, Линеточка?... Уж коли речь о лицах, которые производят впечатление на художников, расскажу вам про один случай в Ницце...

— Тетя!.. — перебила Линета.

— Но это же правда, милочка, а правду скрывать нечего... Год назад... Нет, два уже... как время-то бежит...

Основская, однако, не раз, видимо, слышала о происшедшем в Ницце.

— У вас есть знакомства в артистическом мире? — обратилась она к Поланецкой.

— У мужа, наверно, есть,— сказала Марыня,— у меня нет. Правда, я знакома с Завиловским.

Эта новость вызвала живейший энтузиазм у Основской. Она всю жизнь, оказывается, мечтала с ним познакомиться, Юзек может подтвердить. На днях они с Линетой читали стихотворение «Ех imo»¹, и Линета — она, как никто, умеет иногда одним словом передать впечатление... так вот она сказала... Что-то такое оригинальное...

— Что эти стихи словно отлиты из меди,— подсказала пани Бронич.

— Да, из меди! И сам Завиловский представился мне бронзовым изваянием. Каков он из себя?

— Низенький,— сказал Поланецкий,— толстый, лет около пятидесяти, и на голове ни волоска.

На лицах Основской и Линеты изобразилось такое глубокое разочарование, что Марыня не выдержала и рассмеялась.

— Не верьте ему,— сказала она,— он злой, любит нарочно смущать. Завиловский молодой, дичится немного людей и немного похож на Вагнера.

¹ «Из молитвы» (лат.).

— Другими словами, подбородок вот такой, как у полишинеля,— показал Поланецкий.

Но Основная его замечание пропустила мимо ушей, принявшись упрашивать Марыню познакомить ее как можно скорей с Завиловским, «как можно скорей, ведь лето уже не за горами!».

— А мы постараемся, чтобы ему было у нас хорошо, чтобы он не дичился, впрочем, не беда, если и дичится немного, он должен дичиться, нахохливаться, когда к нему приближаются... как орел в неволе! С Линетой они найдут общий язык, она тоже замкнутая, загадочная, как сфинкс.

— По-моему, всякая душевная высота... — отважилась было «Сахар-Медовичева».

Но Поланецкие принялись прощаться. В прихожей столкнулись они с Коповским — лакей обмахивал щеткой ему башмаки, а он тем временем притесывался, ну прямо не человек, а монумент.

— И этот им тоже пригодится для «флорентийских» вечеров,— сказал Поланецкий на улице. — Тоже сфинкс порядочный.

— Его бы в нише установить! — подхватила Марыня. — Какие, однако, красавицы обе!

— Удивительное дело,— отозвался Поланецкий,— вот Основная хороша собой, а мне, пожалуй, жена Машко больше нравится. Панна Кастелли и правда красавица, но слишком уж высока. Ты заметила: разговор все время вокруг нее вращался, а она — ни гугу.

— Она слывет девушкой очень интеллигентной,— ответила Марыня,— но, наверно, робеет, как Завиловский. Надо подумать, как их познакомить.

Случай, однако, помешал этому. На другой день, поскользнувшись на лестнице, Марыня сильно ушибла колено и несколько дней пролежала в постели. Узнав об этом по возвращении из конторы, Поланецкий сперва не на шутку испугался, но, успокоенный врачом, сделал довольно резкий выговор жене.

— Ты должна помнить, что не только себе можешь повредить!

Ушиб болел, но больно было и от его слов, которые показались Марыне слишком холодными: ведь он должен был бы побеспокоиться прежде всего о ее здоровье, тем более что предположения его были еще неосновательны. Но это не помешало ему проявить много заботливости о ней, он даже в контору не пошел ни на другой, ни на третий день, чтобы ухаживать за женой. Утром он читал ей вслух, а после второго завтрака работал в соседней комнате при открытой двери, чтобы слышать, если она позовет. Тронутая его вниманием, Марыня принялась его благодарить. Он поцеловал ее в ответ.

— Детка, я просто исполняю свой долг. Ведь даже посторонние справляются о тебе каждый день.

И в самом деле знакомые ежедневно осведомлялись о ее здоровье. Завиловский встречал его в конторе вопросом: «Как себя чувствует пани Поланецкая?» Днем ее навещала пани Бигель, а сам Бигель являлся по вечерам и, не входя к ней, садился в соседней комнате за фортепиано, чтобы развлечь больную музыкой. Супруги Машко и пани Бронич дважды оставляли свои визитные карточки. Основская чуть не насильно прорвалась как-то к ней, оставив мужа в карете, и проболтала битых два часа, перескакивая, по своему обыкновению, с пятого на десятое: о Риме, о своих предполагаемых вечерах, о Свирском и о муже, о Линете и Завиловском, мысль о котором не давала ей покоя. Под конец она предложила перейти на «ты» и попросила помочь осуществить один замысел. «Собственно, не замысел даже, а заговор», — словом, одна идея, не идущая из головы; так и сверлит, так и сверлит, никакими силами не отделаешься.

— Все о Завиловском думаю, Юзек даже приревновал меня к нему, но он, бедняжка, в этих вещах ничего не смыслит. Они с Линетой созданы друг для друга, я убеждена, — не Юзек, а Завиловский. Он — поэт, и она — сама поэзия! Не смейся, Марыня, и не думай, я не сошла с ума. Ты не знаешь Линету. Ей нужен человек незаурядный. За Коповского она ни за что замуж не пойдет, хотя он красив как бог. Такого лица, как у него, я никогда в жизни не видела... Разве что в Италии на картине какой-нибудь, и то нет. А знаешь, Линета про него говорит: «C'est un imbécile»¹. Может, так оно и есть, но она сама на него заглядывается. Представь, как было бы чудесно, если б они, познакомься, полюбили друг дружку и поженились — я имею в виду не Коповского, а Завиловского. Вот была бы пара! Ведь Линете с ее запросами нелегко мужа найти! И кто достоин ее? Представляю, какая была бы любовь, какая любовь! То-то мы бы радовались, то-то радовались, на них глядя! Жизнь так скучна, что ради одного этого стоило бы потрудиться. Впрочем, не думаю, что это так уж трудно, тетушка тоже отчаялась подходящего мужа ей приискать. Боюсь, совсем тебя замучила, но ведь так приятно поболтать, притом еще о деле.

После ее ухода Марыня действительно почувствовала легкое головокружение. Тем не менее со смехом стала рассказывать мужу, какие у Анеты алчные виды на Завиловского.

— Сердце у нее доброе, это мне нравится, но до чего экзальтированная! — сказала она в заключение. — Чего ей только в голову не взбредет.

— Не экзальтированная, а взбалмошная, — возразил Поланецкий. — Это большая разница. Экзальтированность почти всегда предполагает доброту, а взбалмошность прекрасно уживается с черствостью. Голова горячая, а вместо сердца ледышка.

— Ты ее недолюбливаешь, вот и говоришь, — сказала Марыня.

¹ Это слабоумный (фр.).

Поланецкий и впрямь недолюбливал Основскую, но на сей раз не стал ни спорить, ни соглашаться, а, посмотрев на жену, поразился: как хороша! Волосы в беспорядке рассыпались по подушке, и личико, точно цветок, выглядывало из этой темной волны. Глаза казались пссиния-голубыми, и полоска мелких белых зубов меж полуоткрытыми губами.

— Какая ты красивая сегодня, — понизил голос Поланецкий и, наклонясь к ней, с изменившимся лицом стал жадно целовать ее в глаза и в губы.

Его поцелуй, целовкие прикосновения причинили ей боль. Кроме того, задели его слова: выходило, будто он раньше не замечал ее красоты. Неприятны были его невнимательность, искаженное лицо, и она отвернула голову.

— Стась, мне больно! Я ведь нездорова.

— Прости, я забыл, — с плохо скрываемым раздражением сказал, выпрямляясь, Поланецкий..

И, удалясь в другую комнату, принялся изучать присланный утром план дома с садом.

ГЛАВА XL

Марыня скоро поправилась, и уже через неделю они смогли поехать к Бигелям, которые тем временем перебрались на дачу. Несмотря на раннюю весну, погода установилась теплая, и в городе стало душно. Завиловский — он уже освоился — тоже приехал, прихватив с собой огромного бумажного змея, которого они собирались запускать с Поланецким и ребятишками. Бигели его полюбили; несмотря на свои причуды, он был прост и весел, часто даже ребячлив. Пани Бигель утверждала, что у него незаурядное лицо. Отчасти так оно и было: шрам над глазом и выступающий вперед подбородок сообщали ему энергическое выражение, которому совсем не соответствовала верхняя часть лица с мягкими, почти женственными чертами. Поначалу пани Бигель сочла его оригиналом, но здравые суждения, которые он высказывал обо всем и о себе самом, опровергали это мнение. Странности его объяснялись лишь застенчивостью; кроме того, был он человек увлекающийся и не чуждый тщеславия.

За обедом заговорили об Основских, об афино-римско-флорентийских вечерах, о Линете и большом интересе, проявляемом дамами к его особе.

— Хорошо, что сказали, — отозвался он, — теперь ни за что к ним не пойду.

— Вы сначала у нас с ними познакомитесь, — сказала Марыня.

— Да я из передней убегу! — умоляюще сложил он руки.

— Это почему же? — спросил Поланецкий. — Стыдиться, что вы пишете стихи, — все равно как своих убеждений стыдиться.

— Правильно! — поддержала хозяйка дома. — Чего же стыдиться? Надо смело смотреть людям в глаза и говорить: «Пишу, и все тут!»

— Пишу, и все тут! — решительным тоном повторил Завиловский и, вскинув голову, засмеялся.

— Познакомитесь с ними у нас, потом оставите у них визитную карточку, и отправимся к ним как-нибудь вечером все вместе, — продолжала Марыня.

— Под крыло голову не спрячешь, — крыльев нет, но уж скроюсь как-нибудь! — сказал Завиловский.

— А если я вас очень попрошу?

— Тогда не буду скрываться, — ответил Завиловский, помедлив и слегка покраснев.

Он поднял глаза на Марыню. После болезни она побледнела, немного осунулась и выглядела, как шестнадцатилетняя девушка. Плененный ее красотой, Завиловский не мог ей ни в чем отказать.

— Вот сейчас вас уговаривать приходится, потому что вы не видели Линету, — сказала Марыня вечером, перед тем как ехать в город, — а увидите ее, непременно влюбитесь.

— Я?! Влюблюсь в панну Линету?! — вскричал он, прижимая руку к груди.

Но ответил с таким пылом, что снова смутился: на сей раз смутилась, однако, и Марыня.

Тем временем Поланецкий кончил с Бигелем разговор о невыгодах капиталовложения в земельную собственность, и они отправились обратно. Марыне вспомнилось, как они с отцом, пани Эмилией, Литкой и Поланецким возвращались от Бигелей в такую же лунную ночь. И как влюблен был в нее тогда «пан Станислав» и какой был несчастный, как холодно она с ним держалась, — и сердце ее преисполнилось жалости к «пану Станиславу», который столько выстрадал из-за нее. Захотелось прижаться к нему и прощения попросить за причиненную боль, — так она и сделала бы, не будь с ними Завиловского.

Но теперь тот самый «пан Станислав», спокойный и уверенный в себе, сидел подле нее и курил сигару. Теперь ведь она принадлежала ему: женился на ней — и basta!

— Стах, о чем ты думаешь? — спросила она.

— О делах, которые мы обсуждали с Бигелем.

И, скинув пепел с сигары, он глубоко затянулся, так что красный огонек осветил его усы и низ лица.

А Завиловский, глядя на Марыню, со всей пылкой искренностью молодости думал: будь она его женой, он не курил бы сейчас сигару и не размышлял о делах, которые можно обсуждать с Бигелем, а стоял бы перед ней на коленях и молился на нее.

Обаяние ночи и красота боготворимой женщины повергли его в настоящий экстаз. И сначала тихо, как бы про себя, потом все громче стал он декламировать свое стихотворение «Снег в горах».

Глубокая тоска по чему-то чистому и недоступному звучала в нем. И он даже не заметил, как они очутились в городе и по обеим сторонам улицы замелькали фонари.

— Значит, послезавтра на five o'clock¹,— сказала Марыня возле дома.

— Да,— ответил он, целуя ей руку.

Под впечатлением ночной поездки, а может быть, и стихов Марыня пришла в мечтательное настроение. И, прочитав молитву,— у них после возвращения из Рима вошло в обычай молиться вместе перед сном,— она ощутила прилив нежности, словно освобожденной вдруг от других, наносных впечатлений. Подойдя к мужу, обвила его шею руками и прошептала:

— Стах, нам ведь очень хорошо с тобой, да?

— Я не жалуюсь,— не без небрежного самодовольства ответил он, привлекая ее к себе.

Он не почувствовал в ее вопросе невысказанной грусти, сомнения, чего-то такого, что она гнала от себя,— и просьбы успокоить ее, утешить.

На другой день Завиловский передал в конторе Поланецкому газетную вырезку со стихотворением «Снег в горах». Поланецкий прочел его за обедом, но под аккомпанемент ножей и вилок оно звучало не так поэтично, как при лунном свете в ночной тишине.

— Он говорит, скоро выйдет книга его стихов, но еще перед тем хочет собрать и принести тебе все напечатанное в разных местах.

— Не надо, пусть лучше сохранит это для Линеты,— ответила Марыня.

— Ах, да! Завтра они встречаются. А вы непременно хотите устроить в его жизни этот переворот?

— Да, хотим,— отвечала Марыня решительно. — Анета меня сначала удивила, но потом я подумала: почему бы и нет?

Знакомство на другой день состоялось. Основские с тетужкой Бронич и панной Кастелли приехали ровно в пять; Завиловский пришел раньше, чтобы не входить в гостиную, когда все общество будет в сборе. Но его и без того бил страх, усугубляя обычную неловкость,— он не знал, куда ноги девать. Но в этой неловкости было свое обаяние, которое Основская тотчас оценила. Начался первый акт человеческой комедии. Дамы, будучи хорошо воспитаны, прикидывались, будто не смотрят на Завиловского, хотя только тем и занимались; Завиловский, со своей стороны, делал вид, что не замечает устремленных на него взоров, хотя ни о чем другом не мог думать, кроме того, что на него глядят и оценивают. Все это страшно его стесняло, и он из самолюбия держался с напускной развязностью, не желая производить неблагоприятного впечатления. Но дамы заранее были настроены так, что он не мог произвести на них впечатление неблагоприятное, и ока-

¹ файфоклок (англ.).

жись он даже глупцом и пошляком, они сочли бы это знаком оригинальности и свойством поэтической натуры. Одна только Линета сохраняла свою обычную невозмутимость, хотя и удивлялась немного, почему на сей раз он — солнце, она же — всего лишь луна, а не наоборот. При первом же взгляде на Завиловского она подумала: «Какое может быть сравнение с этим глупцом Коповским», но лицо красавца тотчас, как живое, всплыло у нее перед глазами, отчего веки ее еще больше отяжелели, и она еще больше стала походить на сфинкса... из фарфора. Однако же ее задевало, что Завиловский не обращает почти никакого внимания на ее фигуру, стройности которой могла бы позавидовать сама Юнона, на «загадочное и поэтичное» выражение ее лица, которое, по утверждению тетупки, приковывало к себе все взоры. Мало-помалу она сама стала посматривать на него и, не чуждая при всей поэтичности своей натуры трезвой светской наблюдательности, отметила, что хотя лицо у Завиловского очень выразительное, но сюртук сидит на нем плохо и шит далеко не у лучшего портного, а булавка в его галстук и прямо *mauvais genre*¹. Завиловский же, поглядывая время от времени на Марыню, как на единственную родственную здесь и приятную душу, беседовал с Основской; а та, вообразив, будто говорить при первой же встрече спотом о поэзии признак плохого тона, и услышав, что детство он провел в деревне, зашебетала, как любит деревню. Муж, дескать, всегда предпочитал город, у него тут приятели, развлечения, но она... «Ох, не стану кривить душой: хозяйство вести, счета, за которые мне порядком влетало, за работниками присматривать,— все это, конечно, не по мне... И потом, я немножечко лентяйка, мне бы такую работу, побездельнее... Сейчас скажу какую».

И приготовилась загигать свои тонкие пальчики, чтобы перечислить, какие занятия ей больше всего по вкусу.

— Гусей пасти — раз...

Завиловский засмеялся, не уловив фальши в ее словах и представив ее себе в забавной роли гусятницы.

Ее фиалковые глаза тоже заискрились смехом, и она взяла тон беззаботной, шаловливой девочки, которая болтает, о чем попало.

— А вам разве не хочется гусей попасти? — неожиданно обратилась она к Завиловскому.

— Еще как! — ответил тот.

— Вот видите!.. Кем бы мне еще хотелось быть? А, да! Рыбачкой. Как красиво, должно быть, отражается в воде утренняя заря... И эти мокрые сети, развешанные на плетнях перед хатами,— в каждой ячее капелька, переливающаяся всеми цветами радуги: какая прелесть!.. Ну, не рыбачкой, так цаплей: стоять на одной ноге и смотреть на воду в раздумье или чибисом над лугами летать. Нет, не чибисом. В его крике чудится печальное что-то,

¹ дурного вкуса (фр.).

не правда ли? — И обратясь к Линете: — А тебе кем бы хотелось быть?

Панна Каstellи подняла свои тяжелые веки.

— Паутинкой, — помедлив, ответила она.

Поэтическое воображение Завиловского, мгновенно откликнувшись, нарисовало картину: широко раскинувшееся светло-желтое жнивье и серебрящиеся на солнце нити паутины в голубом просторе.

— Как красиво! — прошептал он и пристальней взглянул на Линету, а она ему улыбнулась, словно в благодарность за то, что он сумел оценить всю прелесть мелькнувшего и перед ней образа.

Но вошли Бигели, и Завиловским завладела тетушка Бронич, загородившая его даже стулом, чтобы он не ускользнул. О чем они разговаривали, догадаться нетрудно. Временами Завиловский подымал глаза на Линету, будто желая удостовериться, правда ли сообщаемое о ней. И хотя беседа велась вполголоса, до слуха присутствующих все же долетели медоточивые слова:

— А вы знаете, ее благословил Наполеон... то есть, я хочу сказать, Виктор Гюго...

Завиловский узнавал о панне Каstellи прелюбопытные вещи, и неудивительно, что посматривал на нее не без интереса. По рассказам тетушки, она была необыкновенным ребенком — ласковым, но своенравным. Лет десяти она тяжело заболела. Доктора предписали ей дышать морским воздухом, и они довольно долго прожили на Стромболи...

— Девочка смотрела на вулкан, на море, хлопала в ладоши и приговаривала: «Ах, как красиво, как красиво!» Оказались мы на Стромболи случайно: катались на прогулочной яхте и завернули туда. Но жить там трудно: пустынный островок, ни жилья приличного, ни еды, а она заупрямилась и нипочем не хотела уезжать, будто зная, что там поздоровеет. И через какой-нибудь месяц-два почувствовала себя лучше... Посмотрите, какая высокая и стройная выросла.

Линета действительно сложена была безупречно и, хотя была даже повыше Основской, это ее нисколько не портит. Завиловский поглядывал на нее с растущим любопытством. И перед отъездом, вырвавшись наконец на свободу, приблизился к ней.

— Я никогда не видел вулкана и не представляю себе этого зрелища, — сказал он.

— Я только Везувий видела, — ответила она, — но тогда не было извержения.

— А Стромболи?

— Я там не была.

— Значит, я ослышался, ваша тетушка...

— Ах, да! — сказала Линета. — Но я была еще совсем маленькая и не помню ничего.

Лицо ее выражало досаду и смущение.

Основская до конца вечера играла принятую ею роль очаровательной болтуни и перед уходом пригласила Завиловского заходить к ним «в любой вечер, безо всяких церемоний и без фрака,— весна в этом году, как лето, а летом позволительна некоторая вольность». Понятно, что такие люди, как он, новых знакомств не любят, но против этого есть очень простое средство: считать их старыми знакомыми. Вечерами они обычно дома: Линета читает вслух или рассказывает, что в голову придет, а в голову ей иной раз приходит такое, что, право, стоит послушать, особенно тому, кто может по достоинству оценить.

Панна Кастелли на прощанье крепко пожала руку Завиловскому, как бы в подтверждение, что они непременно поймут и оценят друг друга. С непривычки к обществу он был слегка одурманен словами, взглядами, шелестом платьев, запахом ириса, который оставили после себя дамы. Утомил его и разговор, как будто непринужденный и простой, но лишенный спокойной естественности, присущей всегда Поланецкой или пани Бигель. Все казалось каким-то сумбурным сном.

Бигели остались обедать. Поланецкий предложил пообедать с ними и Завиловскому. Речь зашла о гостях.

— Как вам понравилась панна Кастелли? — спросила Марыня.

— У обеих очень богатое воображение,— подумав, ответил Завиловский. — Вы заметили, как образно они говорят?

— Но Линета интересная, правда?

На Поланецкого Линета не произвела большого впечатления, к тому же он был голоден и ему не терпелось сесть за стол.

— Не знаю, что вы находите в ней особенно интересного! Интересная, пока не надоест,— сказал он с некоторой долей раздражения.

— Нет, Линета не может надоест... — ответила Марыня. — Надоедают обыкновенные, ничем не примечательные женщины, которые умеют только преданно любить.

Завиловскому, который взглянул на нее в эту минуту, показалось, что на лице ее тень грусти. Но он приписал это нездоровью, тем более что была она особенно бледна, прямо-таки лилейной бледностью.

— Устали? — спросил он.

— Немного,— улыбнувшись, ответила она.

И его впечатлительное юношеское сердце преисполнилось участия к ней. «И в самом деле похожа на лилию»,— мелькнуло в голове, и Основская в сравнении с ее нежной красотой показалась ему крикливой сойкой, а Линета — холодной статуей. Если раньше после каждой встречи с Поланецкой мечталось ему о такой женщине, как она, в тот вечер мечталось уже о ней самой. А поскольку он привык отдавать себе отчет во всем с ним происходящем, то понял, что из простого «полевого» цветка она становится цветком любимым.

— Ну что, приснилась спящая красавица? — спросил, встретив его на другой день в конторе, Поланецкий.

— Нет, — ответил Завиловский, краснея.

— Ничего не поделаешь, — заметив его румянец, засмеялся Поланецкий. — Каждый должен это пережить. И я тоже пережил.

ГЛАВА ХLI

Марыня даже мысленно ни в чем не упрекала мужа. И до сих пор никаких размолвок между ними не было. Но приходилось признать, что настоящее, большое счастье и особенно любовь рисовались ей иначе, когда Поланецкий был ее женихом. С каждым днем она все больше в этом убеждалась. Действительность не оправдывала надежд. Но ее честная душа не бунтовала против действительности, лишь омрачалась тенью грусти — пугающей мыслью, как бы тень эта не легла постепенно на всю жизнь. Так хотелось, чтобы все было хорошо, и она поначалу пыталась уверить себя, что грустные догадки — плод ее воображения. Чего ей недостает в муже? В чем она обманулась? Он никогда не огорчал ее умышленно; если мог, всегда старался доставить ей удовольствие, не жалея денег, заботился о ее здоровье, осыпал не раз поцелуями лицо и руки, словом, был с ней хорош, а не плох. Но чего-то ей все-таки не хватало. Трудно было словами выразить то, что сердце день ото дня ощущало все острее и болезненней, но сознавать она ясно сознавала: чего-то нет. После светлого и торжественного праздника любви наступили будни, а она тосковала по празднику; хотелось, чтобы праздник длилось всю жизнь, но она с горечью убеждалась, что мужа эта будничность вполне устраивает, он относится к ней, как к чему-то естественному. Ничего плохого в этом, в сущности, не было, но не было и того высокого счастья, которое *такой* человек должен был знать и дать ей. Дело было еще и в другом. Она чувствовала, что привязана к нему больше, чем он к ней, — она отдавала ему всю душу, а он лишь небольшую часть, заранее для того предназначенную. Она, правда, убеждала себя, что он мужчина и, кроме нее, у него есть работа и другие отвлеченные интересы. Но прежде она надеялась, что он возьмет ее за руку и введет в свой мир или хотя бы дома будет разделять с ней свои заботы; однако теперь не хотела обольщаться: этого не произошло. В действительности все было даже хуже, чем она думала. Поланецкий, по его собственным словам, взял ее — и кончено дело; взаимное чувство перешло в сферу обыденных взаимных обязанностей, к которым, как он полагал, и относиться следует не иначе, как к обычным, обыденным обязанностям. Ему и в голову не приходило, что этот огонь не дровами поддерживается, это не печь, в него мирно и ладан сыпать надо, как пред алтарем. Скажи ему кто-нибудь об этом, он только плечами пожал бы и романтиком почел такого человека. Поэтому

был он примерным мужем, но не ведал трепетной нежности влюбленного, заботливой тревоги и той робости, какая из чувств земных сопоставима лишь с благоговением. Когда-то, после продажи Кшемения, отвергнутый Марыней, он все это пережил и перечувствовал, но теперь — и даже еще раньше, после смерти Литки, — стал относиться к ней, как к своей собственности, и заботиться о ней не больше, чем полагается о собственности. Преобладавшее в его чувстве физическое влечение было удовлетворено и с годами могло лишь притупиться, остыть, ополиться.

А между тем уже и теперь, еще не охладев, он не был с ней так ласков и неусыпно нежен, как в свое время с Литкой. И это от нее не укрылось. Почему — на этот вопрос Марыня не находила ответа, но инстинктивно чувствовала: она, мечтавшая быть для Стаха всем, оказалась для него и заурядней, и безразличней умершей девочки.

Ей не приходило в голову, — просто не уместилось в голове, — что причина одна: та девочка ему не принадлежала, а она принадлежит душой и телом. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь, считала Марыня. Но жизнь и тут сильно ее разочаровала. Она не могла не заметить, что всем нравится, все ее ценят, хвалят, — Свирский, Бигель, Завиловский, даже Основский не просто восхищались ею, но преклонялись перед ней, и только он, ее Стах, достоинств ее словно не видел. У нее ни на минуту не возникало мысли, что он не способен понять и оценить ее, как это с легкостью удавалось другим. Так в чем же все-таки дело? Вопрос этот мучил ее, ни днем, ни ночью не давая покоя. То, что Поланецкий, по ее наблюдениям, старается казаться суше и непреклонней, чем на самом деле, всего, увы, не объясняло. Оставалось одно: «Он недостаточно меня любит и потому не ценит, как другие». Как ни печально, ни горько, но это было так.

Женский инстинкт, который редко обманывает в таких вещах, подсказал Марыне: она нравится Завиловскому, и с каждой встречей все больше. Открытие это не возмутило ее, она не восклицала: «Да как он смеет!» — впрочем, он ничего и не «смел». Напротив, влюбленность его вернула ей уже было утраченную веру в себя, в свою красоту, но вместе с тем наполнила и горечью: отчего же не Стах, а человек посторонний восхищается ею и боготворит ее? Что до Завиловского, он был ей симпатичен, и только, и никаких задних мыслей у нее не было. Мучить же его, чтобы потешить свое тщеславие, была она неспособна, а потому, опасаясь, как бы его чувство не зашло слишком далеко, и отнеслась одобрительно к плану Основской познакомить с Завиловским Лину, равно неожиданному и нелепому. Впрочем, ум ее и сердце всецело занимало другое: почему ее Стах — такой добрый, умный и горячо любимый — не разделяет с ней своих высоких чувств? Почему не хочет оценить по заслугам? Почему любит, но не влюблен? Почему любовь ее для него нечто само собой разумею-

щеся, и он ею не дорожит? С чего это началось и в чем причина?

Человек недалекий и эгонистичный обвинил бы во всем его, Марыня же приписала вину себе. К такому заключению пришла она, правда, не без посторонней помощи, но все равно готова была всегда выгородить своего Стаха. Поэтому, испугавшись, одновременно чуть ли не обрадовалась.

Как-то вечером, когда Марыня, сложив руки на коленях, сидела в одиночестве, терзаясь мучительными и неразрешимыми вопросами, дверь отворилась и показали белый чепец и темное одеяние сестры милосердия.

— Эмилька! — радостно вскричала она.

— Да, это я, — отвечала сестра. — Сегодня я свободна и решила вас навестить. А где пан Станислав?

— Стах у Машко, но вот-вот придет. Ах, как он будет рад! Присядь, отдохни!

— Я бы и чаще приходила, — говорила, садясь, пани Эмилия, — да некогда. Воспользовалась вот нынче свободным днем, побывала на Литкиной могиле. Ты не представляешь себе, как там все зазеленело, а сколько птиц!

— Мы были на днях на кладбище. Все в цвету — и такая тишина! Жалко, что Стаха нет!

— Да... У него несколько Литкиных писем есть, я бы хотела их позаимствовать. А в следующее воскресенье верну.

О Литке она вспоминала теперь без волнения. Быть может, оттого что сама уже была не жилица на этом свете, собираясь скоро его покинуть; как бы то ни было, она обрела душевный покой. Мысли ее не были поглощены целиком только горем, исчезло и безразличие ко всему, что не имело отношения к Литке. Сделавшись милосердной сестрой, она снова оказалась среди людей и разделяла их счастье и несчастья, радости и печали вплоть до самых скромных и непритязательных.

— Как уютно у вас! — сказала она, помолчав. — После наших белых стен все мне кажется прямо-таки роскошью. А пан Станислав прежде был домоседом: к нам выбирался да к Бигелям, почти нигде больше не бывал. Теперь он, наверно, переменялся и вы часто принимаете гостей?

— Нет, — отвечала Марыня. — И сами только у Машко бываем, у Бигелей, у пани Бронич да еще у Основских.

— Постой, я ведь знаю Основскую. Еще девушкой ее помню. И Бронича с женой тоже знала, и племянницу их, тогда она совсем маленькая была. Бронич шесть лет назад умер. Видишь, все знаю!

— Во всяком случае, больше моего, — засмеялась Марыня. — Я с Основскими только в Риме познакомилась.

— Когда столько в Варшаве живешь, поневоле всего наслушаешься. Вроде бы дома сидела, но светскими новостями интере-

совалась. Вот какая была легкомысленная! Твой Стах тоже был с Основской знаком...

— Да, он говорил. Они встречались на балах.

— Она за Коповского хотела замуж. Но ни слезы, ни мольбы не помогли — отец ее был против. И в результате ей повезло, правда ведь? Основский всегда считался человеком порядочным.

— И очень ее любит. А я и не знала, что она хотела выйти за Коповского. Странно, она ведь неглупая...

— Слава богу, что счастлива. Лишь бы умела ценить. Счастье — большая редкость, надо к нему бережно относиться. Теперь, когда я на жизнь смотрю со стороны, ничего для себя уже от нее не ожидая, мне знаешь что часто приходит в голову? Что счастье как глаз: малейшая соринка — и уже мешает, и слезы текут.

— Ой, до чего же верно! — отозвалась Марыня с грустной улыбкой.

Наступило минутное молчание, и пани Эмилия, поглядев пристально на собеседницу, ласково положила на ее руку свою, почти прозрачную.

— А ты счастлива, Марыня? — спросила она.

Той вдруг захотелось плакать, и стоило большого труда сдержаться. Но это длилось один миг. При мысли о том, что ее грусть и слезы могут бросить тень на мужа, чистая душа Марыни содрогнулась, и, овладев собой, она подняла спокойный, прояснившийся взор:

— Лишь бы Стах был счастлив!

— Литка испросит для вас счастье у бога! — сказала пани Эмилия. — Я спрашиваю только потому, что застала тебя как будто чем-то расстроенной. Я-то ведь знаю, как он тебя любил и какой был несчастный, когда ты рассердилась на него из-за Кшеменя.

Марыня просияла. Малейшее напоминание о прежней его любви радовало ее, и она готова была слушать об этом без конца.

— А ты, противная девчонка, — дотронувшись до ее руки, продолжала пани Эмилия, — до чего ты безжалостная была, не берегла и не уважала настоящего чувства, я иногда даже сердилась на тебя. Боялась, как бы наш добрый пан Станислав не отчаялся, не свихнулся с горя, не впал в мизантропию. Бывает, видишь ли, так, что чуточку оцарапаешь сердце, а саднит потом всю жизнь.

Марыня подняла голову, мигая, будто ослепленная ярким светом.

— Эмилька! Эмилька! — воскликнула она. — Как ты правильно подметила!

Пани Эмилия была теперь сестрой Анелей, но Марыня называла ее прежним именем.

— А, что тут правильного! — ответила та. — Вспоминаю просто старое да казняюсь. Но Литка испросит у бога счастье для вас, и он пошлет вам его, потому что вы его достойны.

Сказала и стала собираться. Тщетно уговаривала ее Марыня дожидаться возвращения мужа — сестра Анеля торопилась в лазарет. Тем не менее они проболтали еще с четверть часа, стоя в дверях, как уж водится у женщин. Наконец гостя ушла, пообещав зайти в следующее воскресенье.

А Марыня опустилась опять в кресло и, подперев голову рукой, задумалась над ее словами.

— Да, это я виновата!.. — сказала она вполголоса.

И ей показалось, что ключ к разгадке у нее в руках.

Да, не сумела оценить большую, истинную любовь, не склонилась пред ее могуществом. И сердце у нее упало, ибо любовь представилась неким разгневанным божеством, которое мстит теперь за обиду. Полавецкий был в ту пору у ее ног. Заглядывал при встрече в глаза, словно моля сжалиться над ним во имя общих воспоминаний — пусть скудных, мимолетных, но милых сердцу. Сумей она тогда быть добрей и великодушней, протяни ему руку, как подсказывал тайный голос сердца, он всю жизнь был бы ей за это благодарен, он боготворил бы ее, любя тем нежней, чем больше сознавал бы свою вину перед ней и ее доброте. Но она предпочитала носиться со своей обидой, раздувать ее и кокетничать с Машко. Нужно было забыть — не сумела, нужно было простить — тоже не сумела. Страдая, сама хотела, чтобы и он страдал. И согласилась стать его женой, лишь когда не согласиться стало невозможно, когда отказ равносильен был бы тупому и непростительному упрямству. Заглохшая было любовь вспыхнула тогда, правда, с новой силой, и она полюбила его всей душой, но уже поздно. Любовь была оскорблена. Что-то надломилось, исчезло неозвратно, на сердце у него появилась та самая зловещая царапина, о которой говорила Эмилька, и теперь она, Марыня, пожинает плоды содеянного.

Он тут ни в чем не виноват, и если уж разбираться, кто кому испортил жизнь, то не он ей, а она ему.

Это повергло ее в такой ужас и отчаяние, что она вздрогнула, представив себе свое будущее. И ей захотелось плакать, как плачут маленькие дети. Будь здесь сейчас пани Эмилия, она выплакалась бы у нее на груди. Сознание вины настолько угнетало, что попытайся ее кто-нибудь разубедить и сказать: «Ты невинна, как горлица», она сочла бы это низкой ложью. Разыгравшаяся в ее душе драма была тем страшней, что ей казалось, будто несчастье непоправимо и дальше будет лишь хуже: Стах окончательно ее разлюбит, и его нельзя за это осуждать, словом, спасения нет.

Простая логика подсказывала: сейчас еще все хорошо по сравнению с тем, что ждет ее завтра, послезавтра, через месяц, через год... А впереди ведь целая жизнь.

И бедняжка ломала себе голову: как найти дорогу, хотя бы тропочку, которая выведет из этого лабиринта несчастья. Наконец, после долгих раздумий и горьких слез, ей показалось, что впереди забрезжил свет.

И по мере того, как она всматривалась, свет разгорался все ярче.

Есть сила, чья власть сильнее логики несчастья, тяжести вины, мести разгневанного божества, и эта сила — милосердие божье!

Она виновата — стало быть, должна искупить свою вину. Надо любить Стаха так, чтобы любовь вновь ожила в его сердце. Набраться терпения — и не только не роптать на свою долю, а еще благодарить бога и своего Стаха за нее: ведь могло быть и хуже. А если впереди еще больше горя и трудностей, надо схоронить их в сердце и ждать, долго и терпеливо, может быть, целые годы, пока бог явит свое милосердие.

Узенькая тропка превратилась в торную дорогу. «Теперь не собьюсь с пути», — подумала Марыня. Хотелось плакать от радости, но она сдержалась. С минуты на минуту придет Стах, не годится встречать его с заплаканными глазами.

И правда, он скоро пришел. Марыне захотелось кинуться ему на шею, но острое чувство вины перед ним остановило, внезапно лишив смелости.

— Заходил кто-нибудь? — спросил он, целуя ее в лоб.

— Заходила Эмилька, но не дождалась тебя. Обещала прийти в воскресенье.

— О господи! — рассердился он. — Ты же знаешь, какая для меня радость ее видеть. Почему ты не послала за мной? Знала, где я, и не подумала обо мне!

Она стала оправдываться, как провинившийся ребенок. В голосе ее слышались слезы, но то были уже слезы облегчения, а не отчаяния.

— Нет, Стах, что ты! Клянусь, я все время думала о тебе.

ГЛАВА XLII

— Ну вот, был у них, — весело рассказывал Завиловский у Бигелей на даче. — Вытаращились на меня, как на пантеру какую-нибудь или волка, но я оказался ручной: никого не укусил, ничего не разбил и отвечал более или менее членораздельно. Кстати, я давно заметил: когда поближе сойдешься, легче ладить с людьми; у меня только в первое мгновение бывает желание удрать. Дамы и правда очень милые.

— Нет, вы так просто от нас не отделаетесь, расскажите-ка все по порядку, — сказала пани Бигель.

— По порядку? Ну, вошел я в калитку и остановился: не знаю, где Основские живут, где Бронич, поврозь наносить им визит или тем и другим заодно.

— Поврозь, конечно, — заметил Поланецкий. — Пани Бронич отдельно живет, хотя гостиная у них одна и считается общей.

— Вот в этой гостиной я и нашел их всех, и пани Основская вывела меня из затруднения, сказав, что я их общий гость и могу считать, что нанес визит им обеим. У них я застал пани Машко и еще некоего Коповского, вот это красавец писанный, для такой головы надо особый футляр иметь, бархатный внутри, как у ювелиров для драгоценностей. Кто это такой?

— Дурак! — ответил Поланецкий. — Слово это целиком определяет его звание, состояние, род занятий и особые приметы. Сведений более исчерпывающих даже в паспорте нет.

— Понятно, — сказал Завиловский. — Теперь мне ясен смысл некоторых оброненных там замечаний. Господин этот позировал, а дамы его писали: Основская маслом анфас, а панна Кастелли акварелью в профиль. В ситцевых фартучках поверх платьев выглядели они восхитительно! Основская, видимо, только начинающая, а панна Линета рисует уже порядочно.

— О чем же вы говорили?

— Дамы о вашем здоровье спрашивали, — обратился Завиловский к Марыне. — Я сказал, что вы с каждым днем выглядите все лучше.

Он утаил, однако, что, отвечая, покраснел до ушей, и утешался теперь задним числом лишь одним: дамы, наверно, поглощены были рисованием и не заметили ничего, хотя глубоко в этом заблуждался. Он и сейчас смутился немного.

— Потом зашел разговор о живописи, о портретах, — продолжал Завиловский, желая скрыть смущение. — Я заметил панне Кастелли, что она слишком уменьшила голову Коповского. А она ответила: «Это не я, а природа!»

— Остра на язык!

— И ответила громко. Я засмеялся, за мной — остальные и Коповский вместе со всеми. Как видно, нрав у него покладистый. Он, кроме того, заявил, что дурно спал, поэтому хуже выглядит и ему пора в объятия Орфея.

— Орфея?

— Да. Основский поправил его без церемоний, а он возразил, что раз десять был на «Орфее» и помнит прекрасно. Дамы потешаются над ним, но он красивый малый, и они охотно пишут его портрет. А панна Кастелли — так прямо художница! Как начала указывать кистью разные мазки, детали: «Взгляните на эту линию! А этот оттенок как вам нравится?» Даже раскраснелась. Без преувеличения, настоящая муза живописи. Больше всего она любит портреты писать, по ее словам, и на каждое лицо смотрит как на возможную модель — люди с примечательной внешностью сняты ей даже во сне.

— Ого! И вы тоже сперва будете ей сниться, а потом — позировать, — сказала Марыня. — Ну, что же, это очень хорошо.

— Она сказала, — слегка растерянно возразил Завиловский, — что взимает эту дань с хороших знакомых, а ко мне с такой

просьбой не обратились, и, если бы не пани Бронич, об этом вообще речи бы не зашло.

— На помощь музе поспешила тетушка? — вставил Поланецкий.

— Наверно, это было бы хорошо! — повторила Марыня.

— Почему вы так думаете? — спросил Завиловский, устремляя на нее покорный и вместе тревожный взгляд.

При мысли о том, что она умышленно толкает его к другой, отгадав его тайну, сердце забилося у него радостно и беспокойно.

— Потому что, — сказала Марыня, — хотя Линету я мало знаю и сужу о ней с чужих слов и по первому впечатлению, она мне кажется девушкой незаурядной и глубоко чувствующей, вот почему хорошо бы вам сойтись поближе.

— Я тоже сужу по первому впечатлению, — отвечал, успокоясь, Завиловский, — и мне она тоже кажется не такой поверхностной, как Основская. А вообще они — милые, обаятельные женщины, но... я плохо знаю свет и не нахожу определений поточнее... но вышел я от них с таким ощущением, будто приятно провел время в поезде с очень симпатичными иностранками, веселыми и остроумными собеседницами, но не больше. В них чувствуется словно чуждое что-то. Основская, к примеру, напоминает орхидею. Цветок очень оригинальный и красивый, но чужой какой-то. И панна Линета тоже. Да!.. Нет в ней чего-то близкого сердцу. Про них не скажешь, что нас взрастила одна земля, согревало то же солнце, поливал тот же дождик...

— До чего наблюдателен наш поэт! — заметил Поланецкий. Завиловский оживился, на лбу его сквозь нежную кожу игром проступили жилы. Он чувствовал, что, порицая новых знакомых, косвенно хвалит Марыню, и это делало его красноречивым.

— И потом, — продолжал он, — какое-то особое чутье подсказывает, когда люди непритворно доброжелательны. А здесь чутье молчит. Они милы, любезны, но это видимость, и человек простодушный и доверчивый может, по моему, горько в них разочароваться. Принимать плевелы светскости за хлеб — глупо и унижительно. Что до меня, я потому и сторонюсь людей. И хотя пан Поланецкий похвалил мою наблюдательность, по сути, я очень наивен и знаю это. И всякая такая фальшь причиняет мне душевные страдания. Нервы просто не выдерживают. Помню, еще ребенком я заметил, что при родителях люди относятся ко мне иначе, и это было для меня одним из самых тяжелых переживаний детства. Мне это казалось недостойным и так терзало, точно я сам совершаю постыдный поступок.

— Потому что вы правдивый человек, — сказала пани Бигель.

Он вытянул вперед свои длинные руки, которыми, будучи увлечен, имел обыкновение размахивать, позабывая всякую застенчивость.

— Ах, правдивость! Искренность! Что может быть важнее в искусстве и в жизни!

Но Марыня стала защищать знакомых дам.

— Люди, особенно мужчины, часто бывают несправедливы, принимая за правду свои поверхностные наблюдения, а то и предположения. Разве можно, дважды повидавшись, уже делать заключение, будто пани Основская и Линета неискренни? Они веселы, добры, любезны, а разве доброта не предполагает искренности? — И полусуто, полусерьезно прибавила, поддразнивая Завиловского: — А вы, оказывается, не так прямодушны, как считает пани Бигель, дамы о вас хорошо говорят, а вы о них — плохо..

— Ах, ты тоже наивна, — перебил Поланецкий с обычной своей решительностью, — меряешь всех на свой аршин. Да будет тебе известно, что показная доброта и любезность прекрасно могут проистекать и из эгоизма, потому что так легче и веселей. — И продолжал, обратясь к Завиловскому: — Если вы такой горячий поклонник искренности, вот ее живое олицетворение перед вами!

— Да, я это знаю! — с горячностью воскликнул Завиловский.

— А ты хотел бы, чтобы я была другой? — смеясь, спросила Марыня.

— Нет, не хотел бы. Но подумай, какое было бы несчастье, будь ты, допустим, маленького роста и тебе пришлось бы носить туфли на высоких каблуках: ведь ты обязательно заболела бы хроническими угрызениями совести, считая себя обманщицей.

Марыня, поймав взгляд Завиловского, невольно убрала ноги под стул и переменяла разговор.

— Я слышала, скоро выйдет сборник ваших стихов?

— Он вышел бы уже, — ответил Завиловский, — но я добавил одно стихотворение, и получилась задержка.

— Как оно называется, если не секрет?

— «Лилия».

— И эта лилия — Линета?

— Нет, не Линета.

Лицо Марыни приняло серьезное выражение. По ответу трудно было догадаться, кому посвящено стихотворение, и ей стало не по себе — выходило, будто их с Завиловским связывает какая-то тайна, ведомая лишь им одним. А разве это совместимо с искренностью, о которой только что говорилось, разве хорошо по отношению к Стаху. Делиться же с ним своими догадками было бы совершенно неуместно. Впервые она ощутила, в какое затруднительное положение может поставить даже самую целомудренную и преданно любящую женщину один нескромный взгляд постороннего мужчины. И впервые за все время их знакомства рассердилась на Завиловского. Нервическая натура художника тотчас отозвалась на это, как барометр на перемену погоды, воспринятую по жизненной неопытности трагически. Он уже вообразил, что ему теперь откажут от дома, Марыня его возненавидит, и он

никогда ее больше не увидит,— все вдруг представилось Завиловскому в самом мрачном свете. С богатым воображением уживались в нем эгоизм и поистине женская чувствительность, которая нуждалась в тепле и любви. Познакомясь с Марыней, он привязался к ней со всем себялюбием сибарита: мне хорошо, а об остальном не желаю думать. Вознеся ее на высоты своей поэтической фантазии, возвеличив стократ ее красоту, он сотворил себе почти божество. Вместе с тем его чувствительное сердце, страдавшее в одиночестве, без участия, тронула доброта, с какой она отнеслась к нему. В результате зародилось чувство, приметам своими напоминающее любовь, но чувство платоническое. Завиловскому, как, впрочем, большинству артистов, наряду с порывами идеальными, истинно духовными не чужда была и чувственность сатира; но на сей раз она не пробудилась. Марыню окружил он ореолом столь священным, что ничего плотского к ней не испытывал. И если бы, вопреки всякой очевидности, она кинулась ему на шею, то эстетически перестала бы для него быть тем, кем была и кем хотелось ее видеть: существом идеальным. Поэтому он не считал свои чувства предосудительными и ему жаль было бы упоения, которое столь сладко тешило фантазию и заполняло житейскую пустоту. Как отрадно было, вернувшись домой, мысленно вызывать перед собой образ женщины, повергая к стопам ее свою душу, мечтая о ней, посвящая ей стихи. И ему подумалось: если Поланецкая догадается о его чувстве к ней и он не сумеет скрывать его искусней, их отношения прервутся, и пустота вокруг станет еще томительней. И он стал ломать голову, как это предотвратить и не только не лишиться того, что есть, но видеть ее еще чаще. В пылком его воображении возникло множество способов, но, перебрав их, он остановился на одном, как ему показалось, самом подходящем.

«Прикинусь влюбленным в панну Кастелли,— сказал он себе,— и стану верить ей свои печали. Это ее не только от меня не отдалит, а, напротив, еще больше нас сблизит. Она будет моей наперсницей».

И тут же сочинил, как стихи, целую историю. Он представил себе, будто на самом деле влюблен в «спящую красавицу» и посвящает Марыню в свою тайну, и она, склонясь к нему, слушает его со слезами сочувствия, кладя, как сестра, руку ему на лоб. Завиловский был так впечатлителен, настолько уверовал во все рисуемое воображением, что увлеченно принялся даже подыскивать слова для своей исповеди, простые и трогательные, а найдя, искренне расчувствовался.

Возвращаясь с мужем домой, Марыня все думала о стихотворении «Лилия», из-за которого задержалось издание книги. И, как всякой женщине, ей было любопытно и немного страшно. Пугали ее и возможные сложности в будущих отношениях с Завиловским.

— Знаешь, о чем я думаю? — сказала она мужу под влия-

нием этих мыслей. — По-моему, Линета — настоящая находка для Завиловского.

— Чего это вам приспичило сватать Завиловского и эту дылду итальянскую, скажи на милость? — спросил Поланецкий.

— Я, Стах, вовсе не сватаю их, а просто говорю, что это было бы хорошо. Анета Основская — та и правда загорелась этой идеей, она такая пылкая.

— Взбалмошная она, а не пылкая и вовсе не простая, можешь мне поверить, во всех ее поступках есть какой-нибудь умысел. Мне иногда кажется, Линета интересуется ею не больше, чем меня, и движет ею что-то другое.

— Но что же?

— Не знаю и знать не хочу. Вообще не доверяю я этим дамам.

На том и прервался разговор — навстречу им спешил Машко: он только что подъехал к их дому на извозчике.

— Хорошо, что мы встретились, — поздоровавшись с Марыней, сказал он Поланецкому. — Завтра я на несколько дней уезжаю, а сегодня срок платежа, и я принес деньги. — И, обратясь к Марыне: — Я только что от вашего отца. Пан Плавичский превосходно выглядит, но говорит, что тоскует по деревне, по занятиям хозяйством и подумывает купить небольшое имение поблизости от города. Я сказал ему: если выиграем дело по завещанию, Плошов, может статься, перейдет к нему.

Легкая ирония, сквозившая в тоне адвоката, делала этот разговор неприятным для Марыни, и она его не поддерживала. Поланецкий увел Машко к себе в кабинет.

— Итак, дела твои поправились?

— Вот первый взнос в счет долга, — сказал Машко. — Будь любезен расписку дать.

Поланецкий присел к столу, написал расписку.

— У меня к тебе еще одно дело, — продолжал между тем Машко. — Как ты помнишь, я продал тебе кшменевскую дубраву, с условием, что смогу откупить ее за ту же цену под соответствующий процент. Вот деньги с процентами. Надеюсь, ты не будешь возражать. От души тебе благодарен, ты оказал мне поистине дружескую услугу и, если когда-нибудь смогу быть тебе полезен, располагай мной без всяких церемоний. Как говорится, услуга за услугу! Ты меня знаешь, в долгу я не останусь.

«Никак, эта обезьяна собирается мне покровительствовать», — подумал Поланецкий. Но поскольку Машко был его гостем, отказал себе в удовольствии произнести это вслух.

— С какой стати мне возражать, раз был уговор, — заметил он. — И потом, я никогда к этому не подходил как к коммерческой операции.

— Тем ценнее услуга, — заверил Машко великодушно.

— Ну а вообще что слышно у тебя? — спросил Поланецкий. — Ты, я вижу, летишь на всех парусах. Как процесс?

— Благотворительные заведения представляет на суде молодой какой-то адвокатишка по фамилии Селедка. Ничего себе фамилия, не находишь? Назови я так своего кота, он бы три дня кряду мяукал. Но я эту селедку поперчу да проглочу! Как процесс, спрашиваешь? Вот доведу до конца, и навсегда, пожалуй, оставлю адвокатскую практику, которая, кстати, совсем не по мне. В Кшмене поселюсь.

— С наличными в кармане?

— Да, и с немалыми. Адвокатура уже вот тут, в печенках у меня. Кто сам от земли, того она к себе тянет. Это в крови у нас. Но хватит об этом. Как я тебе сказал, завтра я уезжаю на несколько дней, и на время моего отсутствия поручаю вам жену, тем более что и теща моя отправилась в Вену к окулисту. Заскочу еще к Основским, тоже попрошу не забывать ее.

— Хорошо, с удовольствием! — отвечал Поланецкий и спросил, вспомнив разговор с Марыней: — Ты давно с Основскими знаком?

— Довольно давно. Но жена знает их лучше. Он человек очень состоятельный; единственная сестра его умерла, и дядюшка, страшный скупец, огромное состояние оставил. Что до нее — как тебе сказать? Барышней много, без разбора читала, была у нее претензия казаться умней, артистичней — и масса всяческих претензий, что не помешало ей влюбиться в Коповского; тут тебе она и вся как на ладони.

— А пани Бронич и панна Кастелли?

— Панна Кастелли больше нравится женщинам, чем мужчинам, а впрочем, о ней известно мне лишь то только, что в свете говорят, а именно: что за ней ухаживает все тот же Коповский. А пани Бронич... — засмеялся он. — Пирамиду Хеопса осматривала она в сопровождении самого хедива, покойный Альфонс, король испанский, встречаясь с ней в Каннах, здоровался каждый день: «*Bonjour, madame la comtesse!*»¹, Мюссе в пятьдесят шестом писал ей стихи в альбом, Мольтке сиживал у нее в Карлсбаде на кушетке, — словом, богатое воображение. Теперь, когда Линета подросла, верней, вымахала в высоту на пять футов и сколько-то там вершков, тетка Сахар-Медовичева приписывает воображаемые успехи уже не себе, а племяннице, в чем ей с некоторых пор помогает Анета, с таким рвением, будто сама в этом заинтересована. Вот, пожалуй, и все. Сам же Бронич скончался шесть лет назад неизвестно от какой болезни — супруга его всякий раз называет другую, не забывая прибавить, что он последний из Рюриковичей, но умалчивая, что предпоследний представитель рода, то есть его отец, служил у Рдудтовских управляющим, отсюда и состояние... Но довольно об этом... *Vanity's fair!*..² Желаю здоровья, успехов; в случае чего можешь на меня рассчи-

¹ Добрый день, княгиня! (фр.)

² Ярмарка тщеславия!.. (англ.)

тывать. Будь я уверен, что такая необходимость вскоре возникнет, взял бы с тебя слово ни к кому другому не обращаться. До свидания!

И, пожав чрезвычайно милостиво руку Поланецкому, Машко удалился.

«Хорошо еще, по плечу меня не похлопал!.. — сказал себе Поланецкий и поежился. — *Vanity's fair! Vanity's fair!*» Человек вроде неглупый, а не замечает за собой недостатков, которые сам высмеивает. А ведь еще недавно был совсем другой! И никого не корчил из себя. Но опасность миновала — и пыжится опять.

На память ему пришли рассуждения Васковского о суетности и лицедействе, и он подумал: «Везет, однако же, у нас таким людям!»

ГЛАВА XLIII

Основская забыла и думать о своих «римско-флорентийских» вечерах и очень удивилась, когда муж о них напомнил. Какие вечера? Сейчас не до них! Она поглощена другим — «приручением орла». Не видеть, что Линета и Завиловский созданы друг для друга, может разве слепец, но тут уж, извините, ничем не поможешь. «Мужчины вообще многого не понимают, чуткости не хватает! Может быть, Завиловский в этом смысле исключение, но неплохо бы Марыне Поланецкой по-дружески сказать ему, чтобы бороду отпустил и одевался помодней. Линетка такая утонченная, ее всякая мелочь задевает, хотя, с другой стороны, она увлечена им, даже прямо заворожена... Артистическая натура, что ж... удивительно!»

Слушая щебетанье жены, Основский таял от восторга и, пользуясь моментом, завладел ее ручками и стал до локтей покрывать их поцелуями. Но при этом задал ей вполне естественный вопрос, тот самый, что и Поланецкий своей жене:

— Скажи, почему ты принимаешь это так близко к сердцу?

— *La reine s'amuse!*¹ — ответила Анета кокетливо. — Писать романы дело нехитрое. Есть талант, пусть маленький, и ничего больше не надо, а вот устроить в жизни то, о чем пишется, — потруднее. Но так увлекательно!.. — И прибавила, помолчав: — А если ты думаешь, у меня какая-то цель, попробуй-ка, отгадай, какая.

— На ушко тебе скажу, — ответил Основский.

Она с шаловливой гримаской подставила ухо, и ее фиалковые глаза округлились от любопытства.

Но Основский не затем приблизил губы, чтобы сообщить секрет, а чтобы поцеловать.

— *La reine s'amuse!* — чмокнув ее в ушко, повторил он.

¹ Королева забавляется! (фр.)

И это была правда. Какую бы цель она ни преследовала, сво-
дя Завиловского с «Линеткой», ей прежде всего хотелось помочь
осуществиться роману в жизни, и эта роль доброго гения влюб-
ленных несказанно увлекала и забавляла ее.

В этой роли она теперь частенько наведывалась к Марине
Поланецкой — разузнать что-нибудь про «орла» и возвращалась
обычно обнадеженная. Желая усыпить бдительность Марины, За-
виловский все чаще беседовал с ней о панне Линете. Расчет его
оказался столь верен, что, когда Основская прямо спросила однаж-
ды Марыню, не влюблен ли он в нее, та только рассмеялась.

— Придется нам, Анетка, смириться с тем, что он не влюб-
лен ни в меня, ни в тебя. Яблоко досталось Линете, а нам с тобой
остается только плакать — или радоваться за нее.

Линету же, в свой черед, окружала атмосфера, внушавшая
мысли и чувства, которые льстили ее самолюбию. С утра до ве-
чера ей твердили, что этот парящий над облаками «орел» готов
пасть к ее ногам, влюбленный в нее без памяти, — может ли ос-
таться к этому равнодушной натура столь незаурядная, столь
исключительная, как она? Нет, для нее это было слишком лестно,
чтобы оставить равнодушной. Рисуя Коповского, она искренне
восхищалась его «дивными чертами»; правилось ей так же изощ-
ряться в остроумии на его счет, тем паче что словечки ее подхва-
тывались и повторялись в доказательство ее ума и наблюдатель-
ности. Привлекал он ее и по другим причинам; но и Завиловский
был не дурен собой, хотя не носил бороды и одевался не по моде.
И потом, столько говорилось о его «заоблачном» парении — и ее
возвышенной душе, которая не может этого не оценить... Гово-
рилось не только Анетой, а буквально всеми. Тетушка, не допус-
кавшая прежде мысли, что кто-то может не влюбиться в нее са-
мое, а теперь перенеся столь же преувеличенные ожидания на
племянницу, естественно, присоединилась к Основской, щедро
расширяя канву реальности узорами своей фантазии. К общему
хору примкнул в конце концов и сам Основский. Любя жену, он
готов был полюбить и Линету, и тетуску, и все, что имеет какое-
либо касательство к «Анетке», а потому тоже принял затею близо-
ко к сердцу. Завиловский был ему симпатичен, и сведения, со-
бранные о нем, тоже были благоприятны. Из них явствовало, во
всяком случае, что Завиловский нелюдим, амбициозен и настоя-
чив в осуществлении задуманного, замкнут и очень талантлив.
Дам все это очень к нему расположило, и он тоже подумал: «А мо-
жет, правда, неплохо бы?..» Поведение Завиловского в известной
мере подтверждало серьезность его намерений — с некоторых пор
он стал частым гостем в их общем салоне и подолгу разговари-
вал с Линетой. И если первое было следствием любезных при-
глашений Основской, то второе — выражением лишь доброй воли.
От внимания Анеты не ускользнуло, что он все чаще поглядывает
на золотистые волосы и тяжелые веки «Линетки», провожая ее
взглядом, когда она прохаживается. А он — отчасти из дипломати-

ческих соображений, отчасти из любопытства — и впрямь стал к ней присматриваться.

Когда же вышла его книжка, дело приняло совсем серьезный оборот. Стихи его и раньше обращали на себя внимание, о них говорили, но то, что они печатались порознь и с большими перерывами, ослабляло общее впечатление. Теперь же, собранные вместе, они явились для читающей публики поистине откровением. Были в них искренность, блеск и сила. Язык, чеканный и весомый, как металл, был в то же время гибок и послушно передавал тончайшие нюансы. Слава его росла. И шепот одобрения сменился бурными изъявлениями восторга. Достоинства книги, как водится, преувеличили, и в молодом поэте приветствовали преемника громких имен, наследника бывшего величия. Фамилия его, просочась из редакционных кабинетов, стала достоянием гласности. О нем повсюду заговорили, заинтересовавшись и его особой, ища знакомства с ним; любопытство только подогревалось почти полной неизвестностью. Богатый старик Завиловский, отец панны Елены, говаривавший, что не знает бедствий страшнее подагры и обедневшей родни, теперь повторял при каждом удобном случае: «*Mais oui, mais oui — c'est mon cousin!*»¹ Такое признание имело большой вес для многих, в особенности для тетюшки Бронич. Основская, а с ней и Линета, примирились даже с «безвкусной» булавкой в его галстук; все теперь в Завиловском могло сойти за оригинальность. Только имя — Игнаций — заставляло их втайне страдать. Они предпочли бы другое, более поэтичное, как и пристало такой знаменитости; но, когда Основский, учившийся в свое время в Меце и вынесший оттуда кое-какие познания в латыни, объяснил, что «Игнаций» означает «Огненный», они смирились: коли так, дело другое.

В доме Поланецких и Бигелей, а также в конторе от души радовались успеху книги. Среди служащих не было завистников. И старик кассир Валковский, и торговый агент Абдульский, и бухгалтер Позняковский гордились коллегой, словно отсвет его славы ложился на всю фирму. «Знай наших!» — приговаривал Валковский. Бигель два дня размышлял, пристало ли такой знаменитости занимать после всего этого скромную должность писмоводителя в торговом доме «Бигель и Поланецкий», спросил даже о том самого Завилового.

— Как же так, дорогой пан Бигель! — получил он ответ. — Из-за того, что обо мне посудачили немножко, вы хотите меня лишить куска хлеба и приятного общества? У меня же нет издателя, и, если б не служба у вас, мне бы не на что было и книжку выпустить.

Против такого довода нечего было возразить, и Завиловский остался в конторе. Только еще чаще стал бывать в гостях у Бигелей и Поланецких. У Основских же после выхода сборника в

¹ Как же, как же, это мой родственник! (*фр.*)

свет не появлялся целую неделю, будто в чем провинился. Но, вняв уговорам пани Бигель и Марыни, выбрался как-то вечером к ним, чего и ему самому в глубине души хотелось.

Но дамы как раз собирались в театр. Обе, конечно, тут же решили остаться, но Завиловский стал их отговаривать. В конце концов, к удовольствию обеих дам, выход был найден: Завиловский поедет с ними. На том и согласились. «А Юзек, коли захочет, может в кресла взять билет». Юзек так и сделал. Во время спектакля Завиловский с Линетой по настоянию Основской, которая заявила, что они с тетушкой будут их «опекать», сели в первом ряду. «Сидите себе там и беседуйте, а заглянет кто непароком, я сумею его заговорить, чтобы не мешал». Когда публика узнала, кто в ложе, взоры стали часто обращаться на них. Панна Каstellли купалась в лучах его славы; в этих взглядах, казалось, читался вопрос: кто та златокудрая красавица с полуопущенными глазами, с которой разговаривает поэт? И, украдкой поглядывая на него, она говорила себе: если бы не выступающий вперед подбородок, был бы совсем недурен, но недочет легко исправим, достаточно бороду отпустить, зато профиль красивый. Основская добросовестно выполняла свое обещание и, когда явился Коповский, не дала ему слова сказать. С панной Каstellли удалось ему только поздороваться, а у Завиловского спросить:

— Так вы стихи пишете? — А дальнейшее после этого гениального открытия излилось уже в виде монолога: — Я, может, и полюбил бы стихи, но странная вещь: начинаю читать, а на уме что-нибудь совершенно постороннее.

Оборотясь, Линета смерила его долгим взглядом, неизвестно, что выразившим: язвительную женскую насмешку над глупостью или внезапное восхищение при виде головы, которая выглядела на красном фоне ложи мастерским произведением искусства.

Основская после спектакля не отпустила Завиловского, и он поехал к ним пить чай.

— Нехорошо с вашей стороны, — стала тетушка осыпать его упреками, едва они переступили порог. — Если случится что-нибудь с Линетой, вы будете виноваты. Девочка не ест, не пьет, а только стихи ваши все читает...

— Да, да! — подхватила Основская. — Я тоже хочу на нее пожаловаться: завладела вашей книгой и никому не дает, а когда я сержусь, знаете, что говорит? «Это моя книжка, моя!»

За неимением книги панна Каstellли прижала к груди руку, словно что-то защищая, и тихо, мечтательно сказала:

— Да, моя!

Завиловский посмотрел на нее, и у него сладко дрогнуло сердце.

Возвращаясь от них поздно вечером и проходя мимо дома Поланецких, он увидел у них в окнах свет. После спектакля и разговоров у Основских голова у него шла кругом. Но вид этих окон действовал на него успокоительно. Его охватило блаженное

чувство, какое испытываешь, думая о чем-то бесконечно дорогом и хорошем. И с прежней силой поднялось чистое, благоговейное умиление, которое возникало у него при мысли о Марыне. Восторженная нежность овладела им, когда возжелание спит и бодрствует лишь душа; он шел и вполголоса декламировал «Лилию» — самое восторженное стихотворение, когда-либо им написанное.

Свет у Полавецких горел в тот вечер долго, ибо свершилось то, что Марыня ждала с нетерпением и полагала теперь, что взыскана милостью божьей.

После чая она, как обычно, записывала расходы и вдруг, побледнев, отложила карандаш. Но лицо у нее было просветленное.

— Стах!.. — окликнула она мужа изменившимся голосом.

Его поразила ее тон.

— Что с тобой? Ты побледнела, — спросил он, подходя.

— Подойди поближе, мне надо тебе что-то сказать.

Она обвила руками его шею и зашептала на ухо.

— Только не волнуйся, тебе это вредно... — выслушав, поцеловал он ее в лоб.

Но и у самого в голосе послышалось волнение... Некоторое время он молча ходил по комнате, поглядывая на жену, и снова поцеловал ее в лоб.

— Обычно первым хотят иметь сына, — сказал он, — а я, так и знай, дочку хочу. Мы Литкой назовем ее.

Долго не могли они уснуть в ту ночь; вот почему видел Завиловский свет у них в окнах.

ГЛАВА XLIV

Неделю спустя, когда предположение подтвердилось, Полавецкий поделился новостью с Бигелями. Пани Бигель в тот же день побежала к Марыне, которая заплакала от радости в объятиях доброй женщины.

— Может, Стах теперь больше будет меня любить? — сказала она.

— Что значит «больше»? — спросила пани Бигель.

— Я хотела сказать, еще больше, — поправилась Марыня. — Видишь, какая я ненасытная.

— Он будет иметь дело со мной, если посмеет любить тебя недостаточно.

Слезы уже высохли на миловидном личике Марыни, и она улыбнулась.

— Дал бы только бог девочку! — промолвила она, молитвенно складывая руки. — Стах дочку хочет.

— А ты?

— Я? Только Стаху не говори... Мне мальчишка хотелось бы... Но пусть будет, как хочет он. — И, задумавшись, она спросила: — Но ведь это от нас не зависит, правда?

— Нет,— засмеялась пани Бигель. — Не изобрели еще такого средства.

Бигель, который делился приятной новостью с каждым встречным, принес ее и в контору.

— Кажется, господа, у нас появится скоро новый компаньон,— многозначительно сообщил он служащим в присутствии Поланецкого.

Те посмотрели на него с недоумением.

— Чем мы обязаны будем пану Поланецкому — и его супруге,— прибавил он.

Все кинулись поздравлять Поланецкого за исключением Завиловского — тот, склонясь над конторкой, делал вид, будто сосредоточенно проверяет столбцы цифр, но, спохватясь через минуту, как бы его поведение не показалось странным, обернулся к Поланецкому.

— Поздравляю, поздравляю... — пожимая ему руку, пробормотал он с вымученной улыбкой.

У него словно внезапно открылись глаза на свое положение, бесконечно глупое и смешное, и вся жизнь показалась невероятно пошлым фарсом. Мучительней всего было сознавать себя смешным: как же было не предвидеть такой естественной и простой вещи, очевидной даже для какого-нибудь Коповского. А он, человек интеллигентный, пишущий стихи, которые встречают восторженный прием, отдающий себе ясный отчет во всем происходящем вокруг,— он заблуждался настолько, что это известие поразило его, как гром среди ясного неба. До чего же унизительно-глупо! Познакомился с Марыней, когда она уже стала Поланецкой, и почему-то вообразил, что так всегда было и будет, без всяких перемен. Приметив как-то лиловатую бледность ее лица, назвал ее лилией про себя и написал о ней лилейно-нежные стихи. И вот безжалостный рассудок, всегда готовый найти в беде комическую сторону, нашептывает: «Ничего себе лилия!..» Это подавляло и посрамляло. Он стихи писал, а Поланецкий не писал... В этом сопоставлении чудилась и горькая ирония, и шутовская издевка. Но Завиловский до дна хотел испить эту горькую чашу, умышленно стараясь не пролить ни капли. Да выдай он себя, признайся Марыне, оттолкни она его с презрением и спусти его Поланецкий с лестницы — в этом еще можно бы усмотреть нечто драматическое... А так... какая пошлая развязка! Ему, с его впечатлительностью, намного превосходящей обыкновенную, положение его показалось просто невыносимым, а часы, которые еще предстояло просидеть в конторе, сушей мукой. Чувство его к Марыне, хотя и не глубокое, целиком завладело воображением, и удар, который безжалостно нанесла ему действительность, оказался не просто болезнен и груб, но ошеломляюще унизителен.

Ему уже приходила на ум отчаянная мысль: схватить шляпу, уйти и никогда больше не возвращаться. К счастью, рабочее время окопчилось, и все стали расходиться.

Проходя по коридору и увидев в зеркале возле вешалки свою долговязую фигуру и лицо с выступающим подбородком, Завиловский подумал: «Шут гороховый!» И в тот день не пошел обедать с бухгалтером Позняковским, как обычно. Настроение было — хоть беги от самого себя. Натура артистическая, склонная к преувеличению, он, затворившись дома, принялся сверх всякой меры раздувать свое несчастье и комичность положения. Несколько дней спустя Завиловский успокоился, но на душе стало пусто, как в покинутом жилище. У Поланецких он не был две недели и, увидев по истечении этого времени Марыню на даче у Бигелей, поразился происшедшей в ней перемене.

Она показалась ему почти некрасивой. И хотя в фигуре еще не было заметно никаких изменений, он был отчасти прав, несмотря на свою предвзятость. Губы у нее припухли, цвет лица сделался нездоровый, на лбу выступили пятна. Но она была спокойна, хотя слегка печальна, словно пережив разочарование. Заметив, как она подурнела, Завиловский, человек, в сущности, добрый, растрогался. Прежде он думал, что будет ее презирать. Теперь это показалось ему глупостью.

Впрочем, изменилась она лишь внешне, оставшись все такой же доброй и приветливой. Теперь, когда можно было не опасаться восторженного поклонения с его стороны, она отнеслась к нему даже с большей сердечностью и участием. С интересом расспрашивала о Линете и, заметив, что он тоже говорит о ней охотно, улыбнулась своей прежней, исполненной невыразимой прелести улыбкой и воскликнула почти весело:

— Вот и чудесно! Но только их удивляет, куда это вы опять запропали? Да, и знаете, что они мне сказали, Анета и тетюшка Бронич? Они сказали... — Но, помолчав, прибавила: — Нет, не могу при свидетелях... Давайте пройдемся по саду...

Она встала, но, неосторожно ступив, споткнулась и чуть не упала.

— Осторожней! — раздраженно крикнул Поланецкий.

— Но, право, я же нечаянно, Стах!.. — пробормотала она, взглянув на него робко и испуганно.

— Сами ее понапрасну не пугайте, — со свойственной ей прямотой заметила пани Бигель.

И было настолько очевидно, что Поланецкий беспокоится в первую очередь не о ней, а о будущем ребенке, что это понял даже Завиловский.

Для самой Марыни это не было новостью. Но она мучилась молча, не говоря никому ни слова, и внутреннее это состояние еще усугублялось раздражительностью, страхом, мрачными мыслями — следствием ее теперешнего положения.

Поланецкий был бы крайне удивлен, скажи ему кто-нибудь, что он не любит, а главное, не ценит должным образом свою жену. По-своему он ее любил, считая вместе с тем, что нет сейчас ничего важнее для них обоих, чем заботиться о будущем ребенке. Но

из-за резкого, вспыльчивого нрава доходил порой в своей заботливости до крайностей, легко себе их прощая. О том же, что делается в душе его жены, даже не задумываясь, полагая, что рожать ему детей — главная ее обязанность среди прочих и лишь естественно, если она ее исполняет. Был он ей за это признателен и, беспокоясь о будущем ребенке, воображал, что тем самым заботится о ней, причем как ни один из мужей. И вздумай он даже получше разобраться в своем отношении к жене, и тут не нашел бы, в чем себя упрекнуть: да, она утратила для него долю былой привлекательности, но это в ее положении вещь опять-таки естественная. С каждым днем становилась она некрасивей, и его эстетическое чувство от этого подчас страдало, но, скрывая это от нее и жалея ее, он, по его мнению, проявлял деликатность, на какую далеко не всякий мужчина способен.

Ей же казалось, что самая заветная ее надежда не оправдалась, и она отошла и все дальше будет отходить для него на задний план. И в первое время, несмотря на всю любовь к мужу, на нежность к будущему ребенку, бесценным сокровищем копившуюся в душе, испытывала только горечь и возмущение. Но это длилось недолго. Марыня старалась подавить в себе эти чувства и подавила, убедив себя, что никто не виноват: так устроена жизнь, это в порядке вещей и порядок этот — проявление воли божьей. Она даже стала упрекать себя в эгоизме: какое у нее право думать о себе, а не о Стахе и ожидаемом ребенке? И какие могут быть к мужу претензии? Что удивительного, если он, так любящий детей, переносит эту любовь на собственного ребенка и ни о чем другом не может думать. И разве не грешно требовать каких-то прав, своего счастья ей, которая пред ним так провинилась? Кто она такая и какое у нее право на особую благосклонность судьбы? И она готова была бить себя кулаком в грудь. Возмущение прошло, лишь в глубине души затаилась обида: отчего так странно устроена жизнь, что старые привязанности вытесняются новыми, вместо того чтобы усиливаться... И если это чувство поднималось и глаза наполнялись слезами или губы начинали дрожать, Марыня сразу брала себя в руки. «Успокойся сейчас же! — выговаривала она себе. — Так было, так будет и должно быть, потому что такова жизнь и воля божья, и надо смириться». И она смирялась.

Мало-помалу она обрела душевный покой, не сознавая, что платит за него ценой самоотречения, ценой печали. Но то была печаль неизбежная. Конечно, ей как молодой женщине неприятно было читать в глазах мужа или знакомых: «Ах, как подурнела!» Но так как «потом», по уверению пани Бигель, красота сторицей вернется, она мысленно всем им отвечала: «Вот погодите», и это служило ей утешением.

Нечто подобное мелькнуло у нее в голове и при последней встрече с Завиловским. Впечатление, произведенное в этот раз на него, и огорчило ее, и обрадовало; хотя женское ее самолюбие

было уязвлено, но она почувствовала себя в безопасности и могла с ним свободно обо всем разговаривать. А поговорить с ним было нужно, и серьезно, так как Анета сообщила ей на днях, что «Линанка» влюбилась в него по уши и у Завиловского есть все основания надеяться.

Марыню немного смущала их настойчивость: они будто торопились ковать железо, пока горячо. Непонятно было, чем это вызвано, даже принимая во внимание нетерпеливый нрав Анеты. Сама она, равно, как Бигель с Поланецким, тоже очень хорошо относилась к Завиловскому, который стал их общим любимцем. К тому же была ему в душе признательна за то, что он лучше сумел ее оценить. И была бы рада ему помочь, считая, что Завиловскому выпал счастливый жребий, но заодно и сомневаясь: а что, если ему будет плохо? Пугала ее и ответственность, собственная роль во всем этом. И теперь она прежде всего собиралась узнать, что сам он думает по этому поводу, а потом уже дать ему понять, как обстоит дело, посоветовав под конец взвесить все хорошенько.

— Недоумевают, куда вы запропали,— повторила она, выходя в сад.

— А что вам сказала пани Основская? — спросил Завиловский.

— Могу передать вам только одно, хотя не знаю, имею ли я право... Анета сказала... Нет! Сперва мне надо знать, почему вы там не были так давно?

— Неприятности были, и неважно чувствовал себя. Из дома не выходил. Просто был не в состоянии! Но вы не договорили...

— Да, я хотела узнать, не сердитесь ли вы на них? Линете, во всяком случае, так кажется, по словам Основской, которая несколько раз видела ее из-за этого в слезах.

Завиловский покраснел. Искреннее волнение отразилось на его юном, выразительном лице.

— О господи! — воскликнул он. — Как можно сердиться на такую девушку, как Линета?! Разве способна она обидеть кого-нибудь?

— Я только передаю слова Анеты, хотя с ее эксцентричностью... нельзя, конечно, поручиться, что все обстоит именно так. Лгать она не лжет, я уверена, но впечатлительные натуры, знаете, им все видится, как сквозь увеличительное стекло. Поэтому вы сами должны убедиться, что там и как. Линета — милая, добрая, вообще незаурядная девушка, по-моему, но вам самому нужно убедиться. Ваша наблюдательность вам поможет.

— В доброте ее и незаурядности я не сомневаюсь. Помните, я сказал как-то: они напоминают иностранок, но это не совсем так. Пани Основская — пожалуй, но к панне Линете это не относится.

— Смотрите сами, — сказала Марыня. — Поймите меня, я не уговариваю вас... Я и так немножко побаиваюсь Стаха — он их

недолюбливает... Но, откровенно говоря, при словах ее о слезах Линетки у меня сердце сжалось... Бедняжка!..

— А я и сказать вам не могу, до чего взволновался при одной мысли об этом,— отозвался Завиловский.

Тут подошел Поланецкий, и разговор прервался.

— Ну что, все сватаешь? Женщины неисправимы! Знаешь, Марыня, что я тебе скажу? Сделай одолжение, не вмешивайся ты не в свое дело.

Марыня стала оправдываться, но он, не слушая, обратился к Завиловскому:

— Конечно, это дело не мое, только доверия дамы эти у меня не вызывают.

Завиловский вернулся домой в мечтательном настроении. Все струны его души ожили, затронутые воображением, и сон отлетел далеко. Не зажигая лампы, чтобы ничто не мешало наслаждаться этой волшебной музыкой, опустился он в кресло и при свете луны предался своим размышлениям, а вернее, мечтам. Он не был влюблен, но при мысли о Линете волна нежности к ней подымалась в нем, и фантазия разыгрывалась, как у влюбленного. Она, как наяву, вставала перед ним: эти черные очи, золотистая головка, надломленным цветком клонящаяся ему на грудь... Вот он до-трагивается до ее висков, ощущая пальцами шелковистость волос, и глядит, отстранясь: осушила ли ласка ее слезы,— и вот уже глаза сияют, как омытое дождем небо, когда выглянет солнце... И, пробуждая страсть, фантазия продолжала свой смелый полет. Вот он признается в любви, заключая ее в объятия, чувствует, как учащенно бьется ее сердце, вот кладет голову ей на колени, сквозь шелк ощущая лицом исходящее от нее тепло. И он поежился, охваченный ничуть не воображаемой дрожью. До сих пор была она для него лишь картинкой, теперь впервые стала живой женщиной, овладев всеми помыслами. Размечтавшись, он потерял даже представление, где он и что с ним.

К действительности вернуло его хриплое пение, донесшееся с улицы. Он зажег свет и попытался в себе разобраться. И его охватило беспокойство: ясно было, что он влюбится без памяти, если не перестанет бывать у них.

«Надо на что-то решиться»,— сказал он себе.

В ту ночь Завиловский пытался написать стихотворение под пазванием «Паутинка», а на другой день захотелось увидеть её¹⁴— он уже тосковал по ней.

Но пойти прямо к пани Бронич не решился и дождался, пока не настало время чаепития, чтобы застать их всех вместе в гостиной. Основная встретила его очень радушно, с веселым смехом, а он, поздоровавшись, взглянул на Линету, и сердце у него заколотилось: на лице ее отразилась неподдельная радость.

— Знаете, что я подумала, когда вы исчезли?— с обычной своей непосредственностью сказала Анета.— Наша «Тростинка»

обожает мужчин с бородой, вот я и решила, что вы хотите бороду себе отрастить.

— Нет, нет! Будьте таким, каким я вас впервые увидела,— живо отозвалась «Тростинка».

— Прятались от нас, пан Игнаций, прятались, не отпирайтесь! — полуобняв Завиловского, сказал Основский с фамильярностью светского человека, умеющего сразу установить приятельские отношения. — Но я нашел способ, как его привадить. Пусть Линетка примется за его портрет, тогда ему придется бывать у нас ежедневно.

— Какой ты у нас умник, Юзек! — захлопала Основская в ладоши.

Юзек просиял от удовольствия, что удостоился женной похвалы.

— А что? Неплохо придумано! Правда, Анеточка?

— Я уже думала об этом,— ответила своим грудным голосом панна Кастелли,— но боялась показаться навязчивой.

— Я к вашим услугам,— сказал Завиловский.

— Тогда в четыре часа, после Коповского,— сейчас темнеет поздно. Впрочем, скоро я кончу возиться с этим несносным Коповским.

— Знаете, что она про него сказала? — начала было тетушка Бронич.

Но панна Кастелли не позволила ей закончить. Помешало и появление в гостиной Плавицкого, который расстроил общий разговор. Плавицкий был без ума от Анеты, с которой познакомился у Марыни, и не скрывал этого, а она беззастенчиво с ним кокетничала на потеху себе и остальным.

— Садитесь, папочка, вот сюда, со мной рядышком, нам будет с вами хорошо, правда ведь?

— Как в раю, как в раю! — восклицал Плавицкий, похлопывая себя по коленям и от удовольствия высовывая кончик языка.

Завиловский подсел к панне Кастелли.

— Я счастлив, что смогу у вас бывать каждый день... — сказал он. — Но это отнимет у вас много времени.

— Ну и что из этого! — отозвалась она, глядя ему в глаза. — На вас тратить время не жалко, не то, что на других. Я не настаивала, оттого что боюсь вас.

Теперь он в свой черед взглянул ей в глаза и сказал с удивлением:

— Не надо меня бояться.

Линета потупилась, и наступило неловкое молчание.

— Почему вы не приходили так долго? — минуту спустя спросила она, понизив голос.

«Потому что боялся», — чуть не сорвалось у него с языка, но это значило зайти слишком далеко, и он ответил:

— Писал.

— Стихи?

— Да, стихотворение «Паутинка». Завтра принесу. Помните, в день нашего знакомства вы сказали, что хотели бы стать паутинкой? С тех пор у меня все время перед глазами паутинка, летящая по воздуху.

— Она летит... но не сама,— отвечала панна Кастелли. — Самой ей высоко не подняться, если только...

— Если — что? Почему вы не договариваете?

— Если не увлекут крылья какой-нибудь огромной птицы... И она быстро встала, поспешив на помощь Основскому, который пытался открыть окно.

У Завиловского потемнело в глазах. Ему казалось, он слышит, как кровь стучит у него в висках.

Из забвения его вывел медоточивый голосок тетюшки Бронич.

— Старый пан Завиловский говорил, что вы родственник ему, но бывать у него не хотите, а он посетить вас не может из-за подагры. Почему вы у него не бываете? Такой любезный, благовоспитанный человек! Навестите, доставьте ему удовольствие. Зайдете к нему?

— Хорошо, зайду,— отвечал Завиловский, который был на все согласен в ту минуту.

— Вот какой вы добрый, уступчивый! И с кузиной своей Еленой познакомитесь. Смотрите только, не влюбитесь — тоже барышня очень тонная.

— Это мне не грозит,— засмеялся Завиловский.

— Говорят, она в Плошовского была влюблена, в того, который застрелился, и теперь вечный траур по нем носит в сердце. Когда вы к ним пойдете?

— Завтра, послезавтра... Когда вам будет угодно.

— Они, видите ли, уезжают скоро. Лето ведь не за горами. А вы куда летом собираетесь?

— Не знаю. А вы?

— Мы еще не решили,— услышав вопрос Завиловского, поспешила ответить панна Кастелли, которая тем временем вернулась и сидела неподалеку с Основским.

— Мы собирались в Шевенинген,— продолжала пани Бронич,— но с Линеткой это не так просто... Вокруг нее,— понизила она голос,— всегда столько поклонников увивается, вы не поверите; так и льнут. Да и при чем тут верить, не верить, достаточно на нее взглянуть. Муж-покойник как в воду глядел, когда ей еще только двенадцать было. «Вот посмотришь,— говорил,— сколько с ней будет хлопот, когда подрастет». Так оно и вышло, хлопот хватает. Муж вообще много чего предвидел... Я вам не говорила, он был последним Рю... Ах, да, говорила! Своих детей у нас не было — первенец наш умер, а муж был старше меня на сорок лет, в последние годы относился ко мне... как отец.

«Какое это ко мне имеет отношение?» — подумал Завиловский.

— Его огорчало, что у нас сына нет,— продолжала пани Бронич. — То есть был, но я выкинула... — В голосе ее послышались слезы. — Мы его положили в спирт и долго хранили так... Ах, грустно вспоминать! Муж так печалился, что пресечется род Рю... Но довольно об этом! В конце концов он полюбил Линетку, как родную дочь,— она ведь ближайшая наша родственница, все, что после нас останется, к ней перейдет. Может, поэтому у нее столько кавалеров... Хотя тут дело в красоте, так что неудивительно. Но если б вы знали, какое это мученье и для нее, и для меня! В Ницце два года назад один португалец, граф Жоао Колимасао из рода Алькантаров, так совсем голову из-за нее потерял, просто до смешного. А в прошлом году в Остенде грек один... Сын банкира из Марселя, миллионер... Забыла его фамилию. Линетка, как фамилия того грека, ну, миллионера, помнишь...

— Тетя! — промолвила Линета с видимым неудовольствием.

Но «тетя» уже не могла остановиться, как паровоз на полном ходу.

— А, вспомнила! — сказала она. — Канафаропулос, секретарь французского посольства в Брюсселе.

Линета встала и пошла к Анете, которая разговаривала за обеденным столом с Плавицким.

— Рассерчала девочка... — провожая ее взглядом, пробормотала тетушка. — Не любит, когда о ее победах говорят, а я не могу удержаться! Меня-то можно понять, правда ведь? Посмотрите, стройная, высокая какая! Вытянулась девочка! Недаром ее Анетка то Лианкой, то Тростинкой называет, и впрямь на тростиночку похожа! Что удивительного, если все на нее оборачиваются. Я еще вам не рассказывала об Уфинском. Это наш близкий друг. Покойный муж очень его любил. Не слышали о пане Уфинском? Тот самый, который так искусно силуэты из бумаги вырезает. Его знают во всем мире. Затрудняюсь даже сказать, при каких только дворах он не вырезывал силуэтов, последний раз — принца Уэльского. Был еще венгр один...

Основский, сидевший рядом и забавлявшийся от нечего делать брелоком в виде карандашика, не выдержал.

— Еще парочку таких, и настоящий бал-маскарад получится, дорогая тетушка!

— Вот именно, вот именно! — подхватила та. — Я их только потому упоминаю, что Линетка отвергла всех до одного. Она у нас страшная патриотка! Вы и понятия не имеете, какая патриотка!

— И слава богу,— откликнулся Завиловский.

И встал, чтобы откланяться. Прощаясь с Линетой, он задержал ее руку в своей, и она ответила ему долгим пожатием.

— До завтра! — сказал он, глядя ей в глаза.

— До завтра... после пана Коповского. Про стихи не забудьте?..

— Не забуду... ни за что не забуду,— ответил он взволнованно.

От Основских вышли они вместе с Плавицким, и, когда оказались на улице, старик ударил его легонько по плечу и, приостановясь, сказал:

— Известно ли вам, молодой человек, что я скоро буду дедушкой?

— Известно,— отвечал Завиловский.

— Да, да! — повторил Плавицкий, блаженно улыбаясь. — А все-таки, доложу я вам: нет на свете ничего соблазнительней молодой замужней женщины!.. М-м-м... — И, восторженно поцеловав сложенные щепотью пальцы, он похлопал его по плечу и удалился. Издали еще раз донесся его слегка дребезжащий голос: «Нет ничего соблазнительней...»

Остальное заглушил уличный шум.

ГЛАВА XLV

С тех пор Завиловский стал каждый день бывать у тетушки Бронич. Иногда он заставлял там Коповского. Портрет «Антиноя» в последнее время подвигался туго. Он не удовлетворял Линету, которая говорила, что не может целиком схватить выражение, оно не такое, как надо, — словом, придется еще потрудиться. С Завиловским же сразу пошло быстрее.

— У Коповского такое лицо, что достаточно одного неверного штриха, не там положенной тени — и все пропало, — сказала она как-то. — А у пана Завиловского главное — сам характер передать.

Оба остались довольны. Коповский заявил даже, что не его, мол, вина, если таким его господь бог сотворил. Тетушка Бронич передавала потом слова Линеты по этому поводу: «Господь бог сотворил, сын божий грехи искупил, да дух святой не просветил». Этот приговор над беднягой Коповским обошел всю Варшаву.

Завиловский относился к нему с симпатией. Поняв после нескольких встреч, что Коповский безнадежно глуп, он и не помышлял ревновать его к Линете. Глазу же он являл приятное зрелище. Дамы тоже ему симпатизировали, хотя часто позволяли себе над ним подшучивать, точно играя, перебрасываясь им, как мячиком, друг с дружкой. Несмотря на глупость, Коповский не был ни мрачен, ни подозрителен. Нрав он имел покладистый, а улыбался так просто обворожительно, о чем, вероятно, знал, так как предпочитал улыбаться, а не хмуриться. Манеры у него были безукоризненные, держать себя в обществе он умел, одевался всегда по последней моде, в каком-то отношении вполне мог служить образцом для Завиловского.

Часто ставил он вопросы несуразные, донельзя потешавшие молодых женщин. Однажды, когда тетушка Бронич распростра-

нялась о поэтическом вдохновении, поинтересовался у Завиловского: «А что для этого нужно?» Тот даже растерялся, затрудняясь ответить.

— Писали вы когда-нибудь стихи? — спросила его в другой раз Анета. — Попробуйте придумать рифму!

Коповский попросил отсрочки до завтра. Но назавтра или забыл о своем обещании, или не мог подыскать, а дамы оказались столь тактичны, что не напомнили. Созерцать его было им приятней, чем огорчать.

Весна между тем подходила к концу, приближался сезон скачек. И Основский предложил Завиловскому на все время скачек место в их экипаже. Завиловский сидел напротив Линеты и от души ею восхищался. В светлом платье и светлой шляпке, с улыбающимися черными глазами и спокойным, зарумянившимся на воздухе лицом, она казалась самой весной, ангелом небесным. Дома он сердцем, мыслями и воображением продолжал оставаться с ней. Привыкнуть к жизни, какую они вели, он не мог, чувствуя себя неловко в обществе молодых людей, обступавших экипаж, чтобы полюбезничать, но за все вознаграждало присутствие Линеты. Упоенный погожими солнечными днями, дуновением вольного теплого ветра, близостью молодой девушки, к которой он успел привязаться, Завиловский ощутил себя молодым и сильным. В лице его и в самом деле стало проглядывать нечто орлиное. А порой казалось ему, будто он неумолчный колокол, который звенит и звенит, возвещая о радости жизни, любви и счастья, ссылая на великое празднество жизнелюбия. Он много и легко писал, и в стихах его чудились словно бодрящий запах свежеспанной земли, буйство молодой листвы, шум птичьих крыльев над пашней, необозримый простор полей и лугов. Он обрел уверенность в себе, перестав стыдиться своего ремесла перед посторонними, ибо знал: в нем есть, таится нечто, достойное быть возложенным к стопам любимой.

Поланецкий, который, несмотря на весь свой практицизм, был страстным любителем лошадей и завсегдаем скачек, все это время видел Завиловского в обществе Основских и Линеты. Видал, с каким обожанием смотрит он на девушку, и стал как-то в конторе поддразнивать его, говоря, что он влюблен.

— Не я, а глаза мои! — отвечал Завиловский. — Но Основские скоро уедут, пани Бронич тоже, и все рассеется, как сон.

Но он говорил неправду, сам не веря, что это сон, который рассеется. Напротив, он чувствовал: для него началась новая жизнь, которую отъезд Линеты может вдребезги разбить.

— А куда собираются пани Бронич с племянницей? — спросил Поланецкий.

— Остаток июня и июль проведут у Основских, а потом как будто в Шевенинген поедут, но окончательно еще не решено.

— Имение Основских, Пшитулов, в трех милях от Варшавы, — заметил Поланецкий.

Завиловский уже несколько дней с замиранием сердца ждал, пригласят ли его на дачу, а когда пригласили, притом весьма любезно, поблагодарил, но стал отказываться, ссылаясь на дела и недостаток времени. Линета в сторонке прислушивалась к разговору, удивленно подняв золотистые брови, и перед уходом Завиловского подступила к нему:

— Отчего вы не хотите приехать в Пшитулов?

— Оттого, что боюсь,— убедившись, что их никто не слышит, сказал он, глядя ей прямо в глаза.

— А что нужно, чтобы не бояться? — передразнивая Коповского, со смехом спросила она.

— Для этого,— ответил он дрогнувшим голосом,— нужно сказать мне: «Приезжай!»

Она с минуту колебалась, не решаясь, видимо, вымолвить это так, прямо и просто, как ему хотелось, но, поборов смущение и вся зардевшись, прошептала:

— Приезжай.

И убежала, чтобы скрыть краску стыда, заметную даже в полумраке комнаты.

Завиловскому, шедшему домой, казалось, будто с неба дождем сыплются звезды.

До отъезда Основских оставалось всего десять дней. Но писание портрета шло своим чередом до самого последнего момента: Линете не хотелось терять времени. Да и Основская убеждала ее целиком сосредоточиться на нем, а с Коповским покончить в несколько сеансов уже в Пшитулове перед выездом в Шевенинген. Для Завиловского эти сеансы теперь составляли весь интерес его жизни и, если возникала какая-нибудь помеха, он считал тот день для себя потерянным. Обычно на сеансах присутствовала тетюшка Бронич. Но Завиловский чувствовал, что она к нему расположена, и в конце концов ему даже стала нравиться ее манера рассказывать о племяннице. Оба прямо-таки гимны слагали Линете, которую тетюшка Бронич в доверительных беседах с ним называла «Ляночкой». И это прозвище тем больше было ему по сердцу, чем крепче «ляночка» обвивалась вокруг него.

Все же рассказы тетюшки Бронич и ему казались порой неправдоподобными. Что Линета была самой способной ученицей Свицкого, который называл ее «La perla»¹ и, как намекала тетюшка, был в нее влюблен,— этому еще можно было поверить, но что Свицкий, чьи работы гремели на всю Европу и удостаивались на выставках первых премий, сказал якобы при виде какого-то эскиза Линеты, что, кроме техники, она во всем его превзошла и не ей надлежит у него учиться, а ему у нее,— в этом даже Завиловский позволил себе усомниться. И в глубине души, где сохранялась еще крупца здравого смысла, удивлялся, почему

¹ Жемчужина (ит.).

«Ляночка» не протестует, а лишь замечает в подобных случаях: «Тетя, ты же знаешь, я не люблю, когда ты рассказываешь такие вещи!» Но в конце концов и эти последние проблески здравого смысла угасли, и он с умилением внимал даже небылицам о покойном муже, готовый платить пани Бронич искренней любовью уже за одно то, что мог с утра до вечера болтать с ней о Лянете.

Уступая уговорам тетушки, нанес он визит старику Завиловскому, которого прозвали Крезом и у которого он ни разу не бывал. Старый шляхтич с молочно-белыми усами, румяными щеками и седой, коротко стриженной головой остался при его появлении сидеть, положила ногу на кресло; во всей его повадке была барственная фамильярность человека, привыкшего принимать, а не оказывать знаки внимания.

— Извини, что не встаю, — сказал он, — подагра замучила!.. Ничего не поделаешь, это у нас наследственное! Наверно, так и останется на веки вечные в нашем роду. А у тебя, часом, большой палец не болит?

— Нет, — отвечал Завиловский, немного удивленный приемом и тем, что старик, впервые видя его, называет на «ты».

— Погоди, состаришься — заболит!

И, позвав дочь, представив ей Завиловского, после чего повел речь о родственных связях, объясняя молодому человеку, кем они друг другу приходятся.

— Сам я стихов не писал, — заключил он, — не сподобил господь. Но ты, можно сказать, молодец, не пришлось мне краснеть, хотя под стихами моя фамилия.

Однако добром это свидание не кончилось. Дочь хозяина, девушка лет тридцати, с красивым, но суровым, как бы увядшим до времени лицом, желая принять участие в разговоре, стала расспрашивать кузена, где он бывает, с кем знаком; Завиловский стал называть, а старик каждого характеризовал в одном-двух словах. Услышав о Поланецких, отозвался: «Хорошая фамилия!» При упоминании Бигелей переспросил: «Кто?», а когда Завиловский повторил, прибавил: «Connais pas»¹. Основскую окрестил лаконично: «Вертихвостка», про тетушку Бронич буркнул: «Завирушка», а под конец, когда молодой человек с замиранием сердца упомянул панну Кастелли, у старика даже лицо перекосилось — видно, стрельнуло в ногу в эту минуту.

— Ой! Венецианский бесенок! — вскричал он.

Несмотря на робость, Завиловский был изрядно вспылчив; у него даже в глазах потемнело, а выступающий подбородок выдвинулся еще сильнее вперед.

— Ваша манера судить о людях мне не нравится, — смерив старика взглядом с головы до больных ног, сказал он, — а посему разрешите откланяться.

¹ Не знаю (фр.),

И, схватив шляпу, стремглав удалился.

Не привыкший себя сдерживать старик, которому до сих пор все сходило с рук, долго молчал, ошарашенно глядя на дочь.

— Вzbесился он, что ли? — наконец воскликнул он.

Молодой человек ни словом не обмолвился пани Бронич о случившемся. Сказал лишь вскользь, что был с визитом и что отец, как и дочь, не поправились ему. Но тетюшка узнала обо всем от самого старика, который, кстати, даже в глаза не называл Линету иначе, как «венецианским бесенком».

— Наслали вместо вашего бесенка целого беса на меня, — сказал он, — чуть голову мне не оторвал.

В голосе его послышалось даже некоторое одобрение: такая дерзость в Завиловском пришлась ему по вкусу, но тетюшка не уловила этого оттенка и огорчилась.

— Линету он обожает, — сообщила она к величайшему удивлению «беса», — и называет так любя; притом человеку в таком возрасте, с таким положением многое прощается. Вы, верно, не читали роман Крашевского «Венецианский бесенок»? После Крашевского «бесенок» звучит даже поэтично... Вот поостынет старичок, возьмите да напишите ему несколько слов, ладно? Таким знакомством нельзя пренебрегать...

— Ни за что не стану писать! — отвечал Завиловский.

— Даже если не только я попрошу?

— То есть... конечно, я ведь не какой-нибудь бесчувственный чурбан.

Панна Кастелли улыбнулась, услышав этот разговор. Втайне ей приятно было, что из-за одного слова о ней, показавшегося оскорбительным, Завиловский взвился, как от богохульства. И, оставшись во время сеанса с ним наедине, она сказала:

— Странно... Я так не доверяю людям... Так мне не верится, что, кроме тети, кто-то может хорошо ко мне относиться...

— Отчего же?

— Не знаю. Сама не могу объяснить.

— Ну, а Основские? А пани Анета?

— Анета? — повторила она и принялась с удвоенным усердием рисовать, словно позабыв о вопросе.

— А я? — спросил, понижая голос, Завиловский.

— Вы — другое дело! — отвечала она. — Вы никому не позволите плохо обо мне говорить, я уверена. Вы ко мне искренне расположены, я чувствую, хотя не понимаю, почему, я ведь этого не достойна...

— Вы недостойны? — вскричал Завиловский, срываясь с места. — Так знайте же: я и правда никому не позволю плохо о вас отзываться — даже вам самой...

— Хорошо, только сядьте, пожалуйста, на место, я так не могу рисовать, — улыбнулась она.

Он послушно сел, не отрывая от нее взгляда, полного любви и восхищения, мешавших ей продолжать.

— Что за непоседа! Поверните голову немного вправо и не смотрите на меня.

— Не могу! — отозвался Завиловский.

— А я не могу так рисовать... У меня голова начата в другом ракурсе... Постойте-ка!..

Она подошла и, коснувшись пальцами его висков, слегка повернула голову вправо. Сердце у него бешено заколотилось, в глазах потемнело; схватив руку Линеты, он прижал к губам ее теплую ладонь.

— Что вы делаете? — прошептала она.

А он, не говоря ни слова, не выпуская руки, все сильнее прижимал ее к губам.

— Поговорите с тетей... — торопливо сказала она. — Завтра мы уезжаем.

Больше они ничего не успели сказать друг другу: в мастерскую вошли из гостиной Основские с Коповским.

При виде пылающего лица Линеты Основская метнула быстрый взгляд на Завиловского.

— Ну, как подвигается работа? — спросила она.

— Где тетя? — перебила Линета.

— С визитами поехала.

— Давно?

— Только что. Как работалось?

— Хорошо, но на сегодня хватит, — ответила Линета и, положив кисти, ушла к себе вымыть руки.

Завиловский посидел еще, более или менее связно отвечая на обращаемые к нему вопросы, хотя ему не терпелось уйти. Пугал предстоящий разговор с тетушкой Бронич, который он, по обыкновению людей нерешительных, предпочел бы отложить на завтра. Кроме того, хотелось побыть наедине с собой, привести мысли в порядок, разобраться в происшедшем, ибо в ту минуту в голове у него все спуталось, — было лишь смутное ощущение чего-то необычайного, открывающего в его жизни новый этап. И от самого сознания этого у него сладко и вместе тревожно замирало сердце. Ведь теперь только один путь: вперед; теперь надо объясниться в любви, сделать предложение и с благословения родни вести невесту к алтарю. Он жаждал этого всей душой, но счастье настолько для него слилось с областью вымысла, с миром искусства и мечты, что совместить понятия «панна Кастелли» и «моя жена» казалось совершенно невероятным. И, едва дождавшись ее возвращения, он стал прощаться.

— Вы не подождете тетю? — спросила она, подавая ему холодную от воды руку.

— Мне пора уже, а завтра я приду проститься с вами и с пани Бронич.

— Значит, до завтра!

Прощание показалось Завиловскому прохладным и не соответствующим тому, что произошло, и он впал в отчаяние. Но

проститься иначе при посторонних не посмел, тем более что поймал непривычно внимательный взгляд Анеты Основской.

— Обождите минутку, — остановил его Основский уже в дверях, — я с вами, мне в город нужно по делу.

И они вышли вместе. Но едва оказались за воротами виллы, Основский остановился и положил Завиловскому руку на плечо.

— Пап Игнаций, уж не поссорились ли вы с Линетой? — спросил он без обиняков.

Завиловский сделал большие глаза.

— Я? С Линетой?

— Вы как-то холодно попрощались с ней. Я думал, вы ей, по крайней мере, ручку поцелуете!

У Завиловского глаза сделались еще больше. Основский рассмехался.

— Ну так и быть, не стану от вас скрывать! Моя жена подсматривала в щелочку из любопытства и все видела. И потом, дорогой пап Игнаций, я ведь знаю, что такое полюбить. И как самый ваш лучший друг, одного вам желаю: дай вам бог быть столь же счастливым, как я!

И с этими словами стал трясти руку Завиловского, а тот, хотя донельзя сконфуженный, чуть не кинулся ему на шею.

— Чего же вы ушли? Вам в самом деле некогда?

— Откровенно говоря, мысли хочется в порядок привести, и потом, пани Бронич побаиваюсь.

— Да вы не знаете ее. Это такая экзальтированная особа! Проводите меня, а потом к нам возвращайтесь — попросту, без церемоний. Соберетесь на обратном пути с мыслями, а там и тетушка вернется; скажете ей несколько прочувствованных слов, она прослезится — вот и все, что вам грозит. И знайте, счастьем своим вы прежде всего моей Анеточке обязаны: это она Линету обрабатывала — сестра родная, и та не сделала бы для вас больше. Горячая головка, но сердечко золотое! Бывают, конечно, хорошие женщины, но лучше нее на свете нет... Нам казалось, к Линете этот дурень Коповский равнодушен, и Анету это бесконечно возмущало. Они с Линетой неплохо относятся к Копосику, но согласитесь, для нее это партия неподходящая. — И, взяв Завиловского под руку, продолжал: — Давайте на «ты», без церемоний. Мы же скоро породнимся. Так вот я что еще хотел тебе сказать: Линетка, безусловно, тебя любит, она тоже добрейшее создание. Но и похвалы тебе своим чередом могли ей голову вскружить, тем более она так молода... словом, огонь этот надо поддерживать, поддерживать! Понимаешь?.. Чувство окрепнуть должно, что никаких усилий от тебя не потребует, — ведь это такая чуткая, восприимчивая натура! Не думай, будто я тебя предостерегаю или напугать хочу. Боже избави! Речь о том только, чтобы чувство закрепить. Что она любит тебя, тут сомнений нет. Видел бы ты, как она с книжкой твоей носилась или что с ней творилось в тот вечер, когда вы вернулись из театра!

А меня нелегкая дернула сказать, будто, по слухам, старик Завиловский ищет с тобой знакомства, чтобы дочь выдать за тебя, — боится, как бы состояние не уплыло в чужие руки, и, представь, бедняжка побелела как полотно. Я испугался и обратил все в шутку. Ну, что ты на это скажешь?

Завиловскому хотелось и плакать, и смеяться, но он только прижимал к себе крепче локоть Основского.

— И не стою я ее, и... — протянул он после небольшой паузы.

— Что еще за «и»? Уж не хочешь ли ты сказать, и недостаточно любишь ее?

— Нет, упаси бог! — ответил Завиловский, подымая глаза к небу.

— Тогда возвращайся и подумай, что тетушке сказать. Да пафоса побольше, она это любит!.. До свидания, Игнаций! Я через час вернусь, и мы отметим вашу помолвку.

И в приливе чувств поистине братских они стали пожимать друг другу руки.

— Еще раз тебе повторю: дай бог, чтобы твоя Линета оказалась такой женой, как моя Анеточка!

На обратном пути все они виделись Завиловскому ангелами: и Основский, и жена его, и тетушка Бронич, а Линета не то что на ангельских — на архангельских крылах вознеслась над ними надо всеми! Впервые он уразумел, что любить можно до боли в сердце. Мысленно преклонял он пред ней колена, припадал к ее стопам, любил, боготворил, и с этими чувствами, которые возносили в душе его единую славу ей, сочеталась безмерная нежность, будто обожаемая им женщина была одновременно бесценное, единственное дитя, малое и беспомощное. И ему вспомнилось рассказанное Основским, как она побледнела, услышав, что его хотят женить на другой, и он принялся повторять про себя: «Любимая! Любимая моя!» Умиление и благодарность переполняли его сердце, и он клялся: за ту мгновенную бледность быть всю жизнь перед ней в неоплатном долгу. Был он счастлив, как никогда, счастье казалось столь велико, что становилось даже страшно. До тех пор был он пессимистом, но действительность так ревностно разбивала его надуманные теории, что и не верилось: как можно так заблуждаться.

Тем временем подошел он к даче, и пьянящий аромат цветущего жасмина показался ему внутренним составным элементом его собственного счастья. «Какие люди, какой дом, какая замечательная семья! Только среди них могла вырасти моя Весталка!» — думалось ему. Он смотрел на заходящее в предвечерней тишине солнце, на золотистый, подбитый алой каймой полог зари, и покой этот сообщался ему. В золотистом сиянии чудились беспредельное милосердие и благодать, которые нисходят на землю, умиротворяя ее и благословляя. И в душе его сама собой сложилась безмолвная, бессловесная благодарственная молитва.

У ворот он очнулся и увидел старого слугу Основских, который глазел на проезжавшие экипажи.

— Добрый вечер, Стапислав! — сказал он. — Что, госпожа Бронич не вернулась?

— Да вот, поджидаю, пока нету ее.

— А молодая госпожа и барышня еще в гостиной?

— В гостиной, и пан Коповский там.

— А кто мне откроет?

— Да там открыто, я только на минутку вышел.

Завиловский поднялся наверх и, не найдя никого в общей гостиной, прошел в мастерскую, но и там было пусто, только из отделенной портьерой задней комнатки доносились приглушенные голоса.

Полагая найти там обеих дам и Коповского, он раздвинул портьеру и остолбенел.

Линеты в комнате не было, зато был Коповский — он стоял на коленях перед Анетой, а она, запустив пальцы в его пышную шевелюру, запрокидывала назад его голову, наклоняясь одновременно к нему, словно собираясь поцеловать в лоб.

— Анета! Если любишь... — говорил Коповский сдавленным, полным страсти голосом.

— Люблю! Но не надо. Не хочу! — отвечала, отстраняясь от него Основская.

Завиловский машинально опустил портьеру, постоял с минуту, будто ноги у него приросли к полу, потом пересек, точно во сне, мастерскую, — толстый ковер, как и перед тем, заглушил его шаги, — миновал большую гостиную, приложую и, спустившись по лестнице, вышел за ворота.

— Уходите? — спросил его слуга.

— Да, — ответил Завиловский.

И поспешно, словно спасаясь бегством, зашагал прочь. Но вскоре остановился и громко спросил себя:

— Да что я, с ума схожу?

И на миг ему показалось, что так оно и есть: мысли разбегались, в голове был хаос; он ничего не понимал и ни во что не верил больше. Внутри что-то оборвалось, навсегда рухнуло. Как же так? В этом доме, который только что виделся ему благословенным приютом избранных душ, гнездится пошлая ложь, порок и грязь житейская, разыгрывается низкая и постыдная комедия? И его Линета, его «Весталка», живет в этой отравленной атмосфере, в окружении этих людей? Вспомнились слова Основского: «Дай бог, чтобы твоя Линета оказалась такой женой, как моя Анеточка!» «Благодарю покорно», — подумал Завиловский и против воли рассмеялся. Он знал, что на свете есть зло и порок, видел их, сталкивался с ними; но впервые жизнь явила их ему с такой безжалостной проницей: Основский, который отнесся к нему по-братски и которого знал он за честного, порядочного, редкой доброты человека, предстал перед ним шутком, прекраснотупым

простофилей; прекраснoдушным, потому что любил и верил, простофилей, потому что был одурачен женщиной. И впервые ему ясно стало, в какое — незаслуженно глупое — положение гадкая, безнравственная женщина может поставить мужа. Неведомые, пугающие стороны жизни открылись перед ним — настоящие бездны, о существовании которых он и не догадывался. Что дурная, «демоническая» женщина может высосать из человека кровь, как паук, и погубить его, он допускал, но сделать его еще вдобавок посмешищем... С этим он никак не мог примириться. Тем не менее Основский, желавший ему в будущем того же счастья, что у них с Анетой, был попросту смешон, и ничего тут не поделаешь. Нельзя быть настолько ослепленным любовью.

И он стал думать о Линете. В первое мгновение ему показалось, что грязь этого дома и сомнения, зародившиеся в его душе, и на нее бросают тень. Но он тотчас отогнал эту мысль как кощунственную, оскорбляющую ее невинность, ангельски чистое любимое существо, и рассердился на себя. «Да разве может такая голубка догадываться о чем-либо подобном?» И при мысли, что это «чистое существо» вынуждено жить в порочной атмосфере, любовь его вспыхнула еще сильнее. Им овладело желание как можно скорей оградить Линету от Основской, оберечь от ее влияния, взять на руки и вынести из этого дома, где невинный взор ее мог видеть порок и зло. Временами, правда, какой-то демон нашептывал ему: вот и Основский так же верит, вот и он голову даст на отсечение, что жена верна ему, и малейшее подозрение сочтет оскорбительным для своего кумира. Но Завиловский отверг с негодованием эти дьявольские наущения. «Достаточно в глаза ей взглянуть», — повторял он себе. И, вспоминая эти глаза, готов был бить себя в грудь, словно за тяжкий грех. И залился на себя за то, что ушел, не дождавшись тетюшки Бронич; остался он, все его сомнения рассеялись бы при виде Линеты. Вспомнилось, как целовал он ей руки, а она в смущении сказала: «Поговорите с тетей». Какая небесная чистота и неискренность были в ее словах! Полюбив, эта праведная душа хотела любить открыто, не таясь! Думы эти побуждали вернуться, но Завиловский чувствовал, что слишком взволнован и не сумеет объяснить свое внезапное исчезновение, если слуга уже доложил о первоначальном его приходе.

Потом ему снова представился Коповский на коленях, и он стал спрашивать себя: что делать и как тут поступить? Предостеречь Основского? Это он тотчас отвергнул с возмущением. Высказать Анете с глазу на глаз все, что он о ней думает? За дверь его выставит. Или пригрозить Коповскому и взять с него слово, что он перестанет бывать у них в доме? Тоже не годится. Коповский, если не совсем трус, оскорбит его, потребует удовлетворения, а он будет вынужден молчать, и люди подумают, будто вся история вышла из-за Линеты. Ему по-дружески жаль было Основского, но, с другой стороны, не мог он по молодости лет и

примириться с тем, что зло и порок останутся безнаказанными. Ах, если б можно было посоветоваться с кем-нибудь вроде, например, Марыни или Поланецкого! Но это невозможно. И по долгом размышлении пришел он к выводу, что надо скрыть все это и молчать.

К тому же зло, судя по страстным мольбам Коповского и ответу пани Основской, окончательно еще не восторжествовало. Женщин Завиловский не знал, хотя начитался о них достаточно. И из прочитанного явствовало, что бывают женщины, которых соблазняет не сам грех, а форма, в которую он облечен, то есть безнравственные, но холодные; запретный плод их столь же влечет, сколь падение отталкивает,— любить они неспособны и равно обманывают как мужей, так и любовников. Ему пришли на память слова из какой-то французской книжки: «Будь Ева полькой, она сорвала бы яблоко, но не съела». К таким отнес он Анету Основскую. Если ее добродетель и порочность одинаково поверхностны, запретная связь скоро ей наскучит, особенно с таким вот Коповским.

Тут он окончательно стал в тупик, теряясь, какой ключик подобрать к душе пани Основской. Будь у нее роман с кем угодно, это еще можно понять, но с Коповским, этим недоумком с наружностью херувима... «Пудель и тот умнее,— думал он.— И как она с претензией на ум и образованность, мнящая себя артистической натурой, которой доступны тончайшие оттенки мыслей и чувств, могла настолько пасть и связаться с таким болваном». В прочитанных книгах он напрасно искал этому объяснение.

Но действительность убедительней всяких книг свидетельствовала, что это так. Припомнились и слова Основского о том, как они боялись, что «этот дурень равнодушен к Линете». И как Анета возмущалась, стараясь отвратить Линету от него. Значит, ухаживанья за ней Коповского ей не нравились, значит, ей хотелось приберечь его для себя. И Завиловский вздрогнул: но если так, у Коповского были какие-то основания надеяться? Светлый образ Линеты снова стал туманиться. Подтвердись это, она в его глазах падет так низко, как Анета Основская. Во рту ощутил он горечь, кровь горячей волной прилила к вискам. Гнев обуял его. Этого он ей не простил бы, да и само подозрение способно отравить ему существование. И, остановившись посреди улицы, он почувствовал: надо задушить в себе эту мысль, иначе он сойдет с ума.

И, наконец, прогнал ее, обругав себя последним дураком за то, что мог выдумать такую нелепость. Линета не могла полюбить Коповского, ведь она любит его! Вот самый веский довод, а опасения и подозрения Анеты Основской Завиловский приписал самолюбию легкомысленной и тщеславной женщины, которая не хочет уступить пальму первенства другой. И у него словно камень с души свалился. Он готов был на коленях умолять свою

невинную голубку простить его, думая о ней с любовью, преданностью и раскаянием.

Но для себя отметил, что зло, даже творимое другими, порождает лишь зло. В самом деле, сколько чудовищных мыслей родилось у него самого только потому, что дурак пал к ногам веницы. И он постарался запомнить это.

Неподалеку от своего дома повстречал он Поланецкого под руку с пани Машко, и у него под впечатлением сегодняшних переживаний невольно мелькнуло подозрение. Но узнавший его при свете фонаря и луны Поланецкий отнюдь не собирался прятаться и первый его окликнул.

— Добрый вечер! Совсем еще рано, а вы уже домой?

— Да вот был у пани Бронич и решил пройтись немного пешком, больно вечер хорош.

— В таком случае заходите к нам. Я провожу даму и тотчас вернусь. Жена давно вас не видела.

— С удовольствием, — ответил Завиловский.

И ему самому захотелось повидать Марыню. Истерзанный мыслями и переживаниями, он знал, что доброе, спокойное лицо Марыни подействует на него благотворно.

Спустя минуту он уже звонил в дверь и, поздоровавшись, стал оправдываться, что зашел по приглашению ее мужа.

— Что вы, я очень рада, — возразила Марыня. — Муж пошел пани Машко проводить и скоро вернется, — она заходила проводить меня. К чаю обещались еще Бигели и папа, если только в театр не поехал.

Марыня указала ему стул подле стола и, поправив абажур, принялась за прерванную работу. Она мастерила бантики из узеньких розовых и голубых ленточек, во множестве лежавших перед ней.

— Что это вы делаете? — спросил он.

— Бантики. К платьям пришивать. — И, помолчав, добавила: — А вы поделяете что, интересно знать? В городе вас уже считают женихом Линеты Кастелли — знаете вы об этом? Видели вас вместе в театре, на скачках, на прогулках — думают, что это дело уже решенное.

— Я ничего от вас не скрывал, скажу и сейчас совершенно откровенно: да, почти решенное.

Она взглянула на него с живейшим интересом.

— Да? Приятная новость! Дай вам бог, мы оба желаем вам счастья. — И, протянув ему руку, спросила с любопытством: — Уже объяснились с Линеткой?

Завиловский рассказал ей все, как было, — и про то, что произошло между ним и панной Кастелли, и про свой разговор с Основским; потом, постепенно увлекшись, поведал о своих переживаниях: как сначала присматривался ко всему, многого не одобряя, борясь с собой, не смея надеяться; как старался выкинуть из головы, вернее, вырвать из сердца нарождающееся чувство —

и ничего не мог с собой поделать. Уверял, что не раз давал себе слово прекратить это знакомство, перестать у них бывать, но не хватало духа, — со страхом убеждался он каждый раз, что жизнь тогда потеряет для него всякий смысл: неизвестно, что с ней делать без нее, без его Линеты; и вновь и вновь возвращался к ним.

Присматриваться он присматривался, хотя насчет неодобрительного отношения и борьбы с собой несколько преувеличил. Но исповедовался совершенно искренне. И заключил: теперь нет места сомнениям, любит он не какой-то воображаемый идеал, а ее, Линету, которая дорожит для него всего на свете.

— У других — семья, мать, братья, сестры, — говорил он, — а у меня, кроме несчастного отца, никого, и вся моя потребность любить обратилась на нее.

— Да, так и должно было получиться, — сказала Марыня.

А он продолжал с возрастающим волнением:

— Но мне до сих пор кажется, будто это сон, и не верится, что она вдруг станет моей женой. Возникает ощущение, будто это нипочем не сбудется: непременно случится что-нибудь и помешает. — И, преувеличивая из-за своей экзальтированности эти опасения, он замолчал, охваченный нервной дрожью, а потом, закрыв глаза, прибавил: — Видите, я зажмуриваюсь даже, чтобы лучше представить себе свое счастье. Уж очень оно невероятно! Что, собственно, ищут люди в жизни, в супружестве? Именно счастья! Но оно превосходит мои силы. Не знаю, может быть, я слаб душой, но, откровенно говоря, иногда просто дыхание перехватывает.

Марыня положила на стол очередной бантик и, прикрыв его рукой, посмотрела на Завиловского.

— Вы поэт и оттого чересчур увлекаетесь. А надо отнестись к этому спокойней. Послушайте, что я вам скажу. У меня есть тетрадка, в которую моя мама, уже тяжело больная, понимавшая, что скоро умрет, записывала для меня самое важное, могущее мне пригодиться в жизни. Я потом ни от кого не слыхала и нигде не читала такого суждения о замужестве. Вот: «Замуж выходят не для счастья, а чтобы исполнять налагаемые господом обязанности, а счастье — придача только, дар божий». Видите, как просто, а все-таки я ни разу не слыхала и не впала, чтобы кто-нибудь, женись или выходя замуж, помышлял об этом, а не о счастье. Запомните это и передайте Линете, хорошо?

Завиловский поднял на нее удивленный взгляд.

— Да, действительно, так просто, что никому даже в голову не приходит.

Она улыбнулась невесело и, взяв бантик, снова принялась за работу.

— Скажите Линете, — повторила она, быстро взмахивая похудевшей рукою с пглой.

— Видите ли, в жизни можно быть больше или меньше счастливым — это уж как бог даст. Но нерушимый душевный покой

можно обрести, только руководясь этим правилом. А без этого жизнь превратится в погоню за счастьем, и на каждом шагу будут разочарования, хотя бы потому, что воображение наше часто расходится с действительностью.

Говоря, она продолжала шить.

А он смотрел на ее склоненную голову, на спящую с иглой руку, на ее рукоделье, слушал ее голос, и ему чудилось, будто спокойствие, о котором она говорит, исходит от нее самой, наполняет комнату, реет над столом, сияет в пламени лампы — и передается ему.

Завпловский так поглощен был собой, своей любовью, что не уловил никакого грустного оттенка в ее речах; лишь две вещи его занимали: во-первых, почему излагаемые ею азбучные истины не доступны общему пониманию, а во-вторых, почему сам он до них не додумался. «Как ничтожна книжная наша премудрость в сравнении с мудростью чистого женского сердца», — сказал он про себя. И, вспомнив при виде Марыни Основскую, подумал: «Какая все-таки разница между ними!» И внезапно пришло огромное облегчение; терзавшие его мысли унялись. Он отдыхал душой, глядя на это благородное создание. «Вот такая же и Липета — спокойная, правдивая и простая», — подумалось ему.

Тем временем пришел Поланецкий, а за ним — Бигели в сопровождении слуги, несшего виолончель. За чаем Поланецкий заговорил о Машко. Дело об опротестованном завещании повел он со всей напористостью, продвигая его вперед, несмотря на все новые затруднения. Молодой адвокат от благотворительных заведений — тот самый Сеledка, которого Машко сулился умялить, поперчить и проглотить, оказался против ожидания кистистым, и съесть его было не так-то просто. По слухам, дошедшим до Поланецкого, это был хладнокровный, упорный и понаторелый уже юрист.

— Но самое забавное, что Машко верен себе, — продолжал Поланецкий, — мнит себя патрицием, вступившим в единоборство с плебеем. Это, говорит, испытанием будет, чья кровь благородней. Жаль, Букасика нет в живых, его бы это позабавило.

— Машко все еще в Петербурге? — спросил Бигель.

— Сегодня возвращается, поэтому она и не смогла остаться, — ответил Поланецкий, прибавив немного погоды: — Я был раньше против нее предубежден, но теперь вижу: она неплохая женщина. И жаль ее.

— Чего же ее жалеть? Ведь дело Машко пока не проиграл, — заметила пани Бигель.

— Его подолгу дома нет. А мать ее в Вене, в глазной лечебнице, и, кажется, зрения лишится. И она по целым дням одна, как затворница. Оттого мне и жаль ее, несмотря на прежнее предубеждение.

— Она намного симпатичней стала, выйдя замуж, — сказала Марыня.

— Да, — подтвердил Поланецкий, — притом нисколько не по-
дурнела. Раньше эти покрасневшие глаза ее портили, но теперь
воспаление прошло, и выглядит она совершеннейшей девушкой.

— Неизвестно только, нравится ли это ее мужу, — вставил
Бигель.

Марыню так и подмывало поделиться новостью о Завилов-
ском, но поскольку о помолвке объявлено не было, она не реша-
лась. Однако после чая, когда пани Бигель спросила, как же его-
то «дело», и он сам сказал, что почти «выиграно», Марыня вме-
шалась и сообщила: Завиловского можно поздравить. Все с иск-
ренней приязнью, и без того питаемой к нему, бросились пожи-
мать ему руку, и все повеселели. Бигель чмокнул на радостях
жену, Поланецкий велел подать шампанское и бокалы — вы-
пить за здоровье «самой экстравагантной пары» в Варшаве; пани
Бигель проезжала на тот же счет, подтрунивая: можно себе
представить, какой порядок будет в доме художницы и поэта.
Завиловский смеялся, глубоко, однако, взволнованный в душе
тем, что мечты его начинают сбываться.

— С богом! — чокаясь с ним, сказал Поланецкий. — Хочу
дать вам совет: вкладывайте весь свой поэтический талант в сти-
хи, в творчество, а в жизни будьте реалистом и помните: супру-
жество — не романти...

Он не договорил: Марыня зажала ему рот рукой.

— Не слушайте этого резонера, — смеясь, сказала она Зави-
ловскому, — и не придумывайте заранее никаких теорий; люби-
те — и все.

— Да, да, конечно! — ответил Завиловский.

— Купите себе арфу в таком случае... — поддразнил его По-
ланецкий.

При упоминании об арфе Бигель взял свою виолончель, за-
явив, что такой вечер надлежит завершить музыкой. Марыня села
за фортепиано, и они заиграли серенаду Генделя. У Завиловского
было чувство, будто душа его покидает тело, уносясь в ночи с
этими нежными звуками к Линете и баюкая ее. Ушел он поздно
вечером, прибодрясь внутренне в обществе этих славных людей.

ГЛАВА XLVI

Марыня обрела наконец покой — «какой уж бог дал», но по-
истине полный. В этом очень помог голос с того света — пожел-
тевшая от времени тетрадка, в которой прочла она: «Замуж вы-
ходят не для счастья, а чтобы исполнять налагаемые господом
обязанности». Она и раньше часто заглядывала в эту тетрадку, но
подлинный смысл этих слов поняла лишь в последнее время, после
душевной борьбы, пережитой по возвращении из Италии. В ре-
зультате она не только покорилась судьбе, но и перестала считать
себя несчастливой. Хотя счастье оказалось и не таким, как жела-

лось, повторяла она себе, но оно все-таки реальное. Конечно, хотелось бы видеть побольше — нет, не поклонения, а ласки, она знала, Стах умеет быть ласковым и был таким с Литкой; хотелось, чтобы его чувство не было таким рассудочным, чтобы в нем была хоть крупица поэтичности, без которой трудно представить себе любовь; но ведь это не в ее власти. Вместе с тем в глубине души оставалась надежда, что он переменится. Но пусть даже этого не произойдет, все равно надо бога благодарить за то, что дал ей в мужа такого дельного, порядочного человека, достойного не только любви, но и уважения. Часто задумывалась она над тем, кого сравнить с ним, и не находила никого, кто выдержал бы такое сравнение. Бигель был славный, но несколько ограниченный; Основскому при всей доброте не хватало энергии и практического смысла; Машко вообще не шел ни в какое сравнение; Завиловский был для нее скорей гениальным ребенком, нежели мужчиной. Словом, при любом сравнении Стах только выигрывал, и она проникалась к нему все большим доверием и любовью. Смирясь, отказываясь от себя ради него, жертвуя своими мечтами и эгоистическими стремлениями, она словно становилась лучше, совершенствовалась духовно, не только не опускаясь ниже, а, напротив, поднимаясь выше, ближе к богу,— и в минуту озарения поняла: это и есть счастье. Поланецкого часто не бывало дома, и, оставаясь одна, она частенько говаривала себе с немудрящей женской простотой: «Человек должен стараться быть лучше, и, если я не стала хуже, уже хорошо! Сложись все иначе, пожалуй, я испортилась бы». Ей не приходило в голову, что в этих рассуждениях ума больше, чем, например, во всех речах и помыслах Основской. Столь же естественным Марыне казалось, что она стала для Стаха менее привлекательной, в чем убеждало ее большое зеркало. И, глядясь в него, она себе говорила: «Глаза, пожалуй, те же, но лицо, фигура — смотреть страшно! На месте Стаха я бы из дома убежала!» Но это была неправда: никуда бы на его месте она не убежала, но ей и это хотелось вменить в заслугу своему Стаху. Утешением служили и слова пани Бигель, сказавшей, что после она похорошеет и будет выглядеть, как «молоденькая». И сердце ее временами исполнялось радостной благодарности за то, как мудро все устроено: немножко помучилась, немножко подурнела, а потом не только все сторицей возвращается, но в награду получаешь еще «бебешку», который дает жизни новый смысл, теснее связывая жену и мужа. И от этих мыслей становилось не только покойней, но даже веселее.

— А знаешь, что я думаю? — сказала она как-то пани Бигель. — Очень легко счастливой быть, только бога надо бояться.

— А какая тут связь? — спросила пани Бигель, которая, как и муж, любила отчетливость в суждениях.

— А такая: довольствоваться тем, что он дает, и не надо-едасть ему просьбами о том, что нам кажется лучше,— ответила Марыня весело. — Не нудить, не нудить!

И обе женщины рассмеялись.

Преувеличенное беспокойство Поланецкого о жене по-прежнему выдавало, что сильнее всего заботит его ожидаемый ребенок, но Марыня на него больше не обижалась. По правде говоря, не обижалась и раньше, но теперь готова была счесть даже за особую добродетель, ведь теперь первейшая их обязанность, думала она, заботиться о будущем ребенке, предмете их общей любви. И с каждым днем, в чем-то себе отказывая, все меньше думая о себе, становилась спокойней и умиротворенней, и это отражалось в ее чудесных глазах. И в главном, ожидаемом тоже приготовилась она смириться с волей божьей, хотя и побаивалась немного мужа.

— Стах, ты не побьешь меня, если у нас будет сын? — шутливо спросила она у него однажды.

— Нет, — засмеялся он, целуя ей руку. — Но мне хотелось бы иметь дочку.

— А пани Бигель говорит: мужчины всегда предпочитают мальчиков.

— А я хочу девочку.

Однако не всегда она бывала в таком веселом расположении. Иногда приходило на ум, что можно умереть, такие случаи бывают, она знала — и горячо молилась, чтобы с ней этого не случилось. Смерти она боялась, и уходить не хотелось, даже в рай, ведь здесь все обещало мир и любовь. И, наконец, думалось ей, Стах будет очень по ней тосковать. И при мысли об этом становилось так жалко его, точно он уже сейчас пренесчастнейший из людей. С ним она своими страхами не делилась, но ей казалось, что он и сам иногда об этом думает.

Но она глубоко ошибалась. Акушерка, еженедельно навещавшая Марыню, заверяла ее и Поланецкого, что все благополучно, и у него не было оснований опасаться за жизнь жены. Его тревожило другое, о чем Марыня, к счастью для себя, не догадывалась и в чем он сам боялся до конца себе признаться. С некоторых пор стал он замечать упущения в своем жизненном балансе, которым был так горд и в котором почерпал уверенность в себе. Еще недавно почитал он свою житейскую философию неким домом из толстых бревен, покоящимся на прочном фундаменте, и с тайным превосходством взирал на тех, кому не удалось соорудить ничего подобного. Словом, уважал в себе лучшего мастера житейского обустройства. Работа окончена — остается лишь вселиться и отдыхать! Но он забыл, что душа человеческая — как птица: взлетев, надо усиленно работать крыльями, чтобы удержаться в воздухе. Иначе малейшее искушение — и упадешь на землю.

Досада брала тем сильнее, что соблазн был низменный и пошлый. Предмет искусительной страсти — сама посредственность и страсть грубая, не извиняющая даже в собственных глазах. Так или иначе дом дал трещину. Став человеком верующим,

причем по убеждению, Полавецкий отнюдь не хотел вступать в сделку с совестью, улаживать себя: дескать, и праведники не без греха. Нет! Логика подсказывала: «Или — или», и, будучи человеком прямодушным, он не мог не соглашаться с этим. И хотя пока не поддался соблазну, злился, что он вообще явился, заставив усомниться в себе. Привыкнув считать себя лучше других, Полавецкий теперь задался вопросом: а вдруг он хуже — ведь искушение не просто возникло, он чувствовал, что на сей раз может и не устоять.

Наблюдая Основскую, нередко вспоминал он изречение Конфуция: «У заурядной женщины ума столько, сколько у курицы, у незаурядной — сколько у двух кур», но при виде Терезы Машко ему приходило в голову, что в применении к некоторым даже эта возмутительная китайская поговорка звучит еще похвалой. Сказать, что она откровенно глупа, значило бы еще признать за ней какое-то индивидуальное отличие. А она была никакая. Усвоившее десяток-другой расхожих правил благопристойное ничтожество. Как обитателям Новой Гвинеи двухсот — трехсот слов довольно для общения и удовлетворения своих потребностей, так и ей достаточно этих правил, чтобы жить, рассуждать и вращаться в обществе. В остальном была она крайне апатична и сверх того тупо самодовольна — от умственной ограниченности и слепой убежденности в том, что, автоматически следуя известным правилам, никогда не ошибешься. Такой знал он ее еще девушкой и не раз смеялся над ней, называя куклой, манекеном, не в силах простить ей смерти доктора, сгинувшего из-за нее где-то на краю света. Он не любил и презирал ее. Но даже тогда, встречаясь с ней у Бигелей или заходя к ним домой по просьбе Машко, испытывал к ней физическое влечение и прекрасно это сознавал. Это угасшее, сонно-безразличное лицо, замороженность манер, стройный стан и даже воспаленные глаза — все неудержимо влекло его к ней. Полавецкий объяснил это себе законом естественного подбора и, подыскав научный термин, успокоился, тем более что Марыня произвела на него еще более сильное впечатление, которому он и поддался. Но Марыня была теперь его женой, и он перестал замечать ее красоту, которая на время увяла; обстоятельства же складывались так, что из-за частых отлучек Машко Полавецкий почти ежедневно виделся с Терезой и давнее влечение не только ожило, но вследствие теперешнего Марыниного положения ожило с неожиданной силой. И вот он, не пожелавший быть «оселком» для Основской, несравненно более красивой и привлекательной, он, устоявший перед ее римскими фантазиями, считавший себя человеком строгих правил, который превосходит многих волей и умом, понял вдруг, что шевельни Тереза пальчиком — и воздвигнутое им здание пошатнется и рухнет ему на голову. За всем тем Полавецкий не переставал любить жену — он был к ней искренне и глубоко привязан, но чувствовал, что способен изменить ей, и не только ей, но себе, своим

принципам, представлениям о нравственности и честности. С ужасом и негодованием обнаружил он в себе зверя, для укрощения которого у него не доставало сил. И эта слабость тревожила его, бесила, но невозможно было с ней совладать. Самое простое было бы не видеться или видаться как можно реже, но он, напротив, выискивал предлоги встречаться как можно чаще. И вначале пытался прикрываться ими от самого себя, но врожденная честность не позволяла, и кончалось тем, что он себя же ругательски ругал. Но перед женой и посторонними они служили благовидным оправданием. В обществе же Терезы нельзя было удержаться, чтобы на нее не смотреть, фигура ее и лицо так и притягивали взгляд. С нездоровым интересом гадал он, как бы она себя повела и что сказала, не сдерживай он своей страсти, и разохочивал себя ее предполагаемой податливостью. Он заранее ее за это презирал, но вместе с тем она становилась для него еще желаннее. Так обнаружил он в себе бездну порочности, приписав ее долгому пребыванию за границей, и стал сомневаться в собственном моральном здравье и неиспорченности. Или же это необъяснимое влечение к малопривлекательной женщине признак какого-то невроза, незаметно подтачивающего организм? Что мужчина может женщину презирать, но зверь, живущий в нем, вожаделенно желать, не приходило ему в голову.

Женский инстинкт, заменявший Терезе Машко проницательность, скоро все сказал ей; да она и не была столь наивна, чтобы не понимать, что выражает его взгляд, скользящий по ее стану, глаза, устремленные на нее в упор, особенно когда они оставались наедине. Сначала это льстило ее самолюбию — так самой высокоправственной женщине льстит, если она нравится, привлекает внимание, если желанней других, словом, покоряет. К тому же она не видела и не хотела видеть опасность, как куропатка, которая головой зарывается в снег, когда над ней кружит ястреб. Снег ей заменяли приличия. И Поланецкий чувствовал это. Еще холостяком узнал он по опыту, что для некоторых женщин главное — соблюдение известных условностей, подчас весьма странных. Знал он таких, которые возмущались, если сказать им по-польски то, что они с улыбкой выслушают по-французски. Встречал и таких, которые у себя дома, в городе, были точно неприступные крепости, а за городом, на водах и курортах, быстро сдавались; таких, которые действия предпочитали словам, и даже таких, для кого решающее значение имело, светло или темно. И если нравственность не была изначально заложена в натуре, не привита, как оспа, женское поведение всегда зависело от случая, обстановки, от внешних, часто пустячных обстоятельств, от того, что понимается под приличиями. Это, полагал он, в полной мере относилось и к Терезе Машко, и лишь потому не предпринимал пока никаких попыток, что боролся с собой, своим искушением, и, презирая ее в глубине души, не хотел сам быть достойным презрения в собственных глазах. Останавливали и привязанность

к Марыне, сострадание к ней, ее положению, с которым он не мог не считаться, умилившее его ожидание отцовства, сознание, что они так недавно поженились, порядочность и религиозное чувство. То были цепи, которые сдерживали проснувшегося в нем зверя.

Но сдерживать его не всегда удавалось одинаково успешно. Однажды, а именно в тот вечер, когда они повстречались с Завиловским, он чуть не выдал себя. При мысли, что она торопится домой, потому что должен вернуться Машко, его обуяла самая грубая, животная ревность.

— Понятно, почему вы так торопитесь,— сказал он с плохо скрытым раздражением, испытывая сильное желание просто обругать ее. — Возвращается Улисс, и Пенелопе надлежит дома быть, однако...

— «Однако»? — переспросила она.

— Однако именно сегодня хотелось бы подольше с вами побыть,— брякнул, не задумываясь, Поланецкий.

— Это неудобно,— возразила она своим тоненьким, словно процеженным сквозь частое ситечко, голоском.

Она вся была в этих словах.

Возвращаясь, он клял на чем свет стоит и ее, и себя, а дома в светлой, уютной комнате нашел Марыню с Завиловским, которому она доказывала, что в супружестве не ищут какого-то выдуманного счастья, а исполняют налагаемую богом обязанность.

ГЛАВА XLVII

«Что мне за дело до Основской с ее интрижками? — урезонивал себя Завиловский, направляясь на другой день к Линете. — Ведь не на ней я женюсь, а на той, моей единственной. И зачем было вчера так грызть себя и терзаться?»

Успокоив таким образом свою «возвышенную душу», стал он обдумывать, что скажет тетушка Бронич, ибо, несмотря на заверения Основского и все самоуверения, будто предстоящий разговор — чистая формальность, несмотря на твердую уверенность в расположении Линеты и тетушки Бронич, его «возвышенная душа» замирала от страха. В гостиной застал он обеих дам и, осмелев после вчерашнего, поцеловал Линету руку.

— Я убегая! — зардевшись, сказала она.

— Лианочка, останься! — попросила тетушка.

— Нет! Мне страшно, — отвечала Линета.

И золотистой головкой потерялась, как избалованная кошечка, о плечо тетушки Бронич, приговаривая:

— Не обижайте его, тетя! Не обижайте!

И, бросив взгляд на Завиловского, в самом деле убежала. Он же побледнел как полотно от волнения и переполнявших его чувств, а у тетушки слезы навернулись на глаза.

Видя, что и он того гляди заплачет и ком в горле мешает ему говорить, она пришла ему на помощь.

— Догадываюсь о цели вашего визита... Я давно догадалась, что там между вами, дети мои...

Завиловский схватил ее руки и стал по очереди прижимать их к губам.

— Ах, я сама слишком много в жизни перечувствовала, что-бы истинное чувство не отличить,— продолжала тетушка,— я — настоящий знаток в этих делах, смело могу сказать! Женщины только сердцем живут и умеют читать в сердцах. Знаю, вы искренне любите Лианочку и не перенесли бы, если б она не отвечала тем же или если бы я вам отказала, правда ведь?

И устремила на него испытующий взгляд.

— Да! — с усилием выговорил он. — Не знаю, что со мной случилось бы!

— Видите, я сразу поняла! — ответила тетушка, просяив. — Ах, дорогой, мне довольно и взгляда! Но я не хочу быть вашим злым гением, губительницей вашего таланта. Нет, этого я не сделаю, не могу сделать! Кого бы я нашла для Лианочки? Где подходящий для нее человек с такими достоинствами, которые она любит и ценит? Не могу же я выдать ее за этого Коповского — и не выдам! Вы настолько не знаете Лианочки, а я знаю и говорю: не могу и не выдам!

Несмотря на все волнение, Завиловского удивила решительность, с какой отвергала тетушка Бронич Коповского, словно он сватом от него пришел, а не сам просил «Лианочкиной» руки.

— Нет! О Коповском речи быть не может! — с одушевлением продолжала тетушка, любясь собой и своей ролью. — Только вы сумеете Лианочку осчастливить. Только вы сумеете дать ей, чего она заслуживает. Я уже со вчерашнего дня ждала этого разговора... И всю ночь глаз не смыкала. Сомнения одолевали... не удивляйтесь! Ведь тут судьба Лианочкина решается. Страх меня брал: я заранее знала, что не устою перед вами, перед силой вашего чувства и вашего красноречия, как вчера не устояла Лианочка.

Завиловский, ни вчера, ни сегодня не сумевший выдать ни словечка, не мог взять в толк, где, когда, какое красноречие, но тетушка Бронич не дала ему опомниться.

— И знаете, как я поступила? Как всегда в трудные минуты жизни. Поговоривши вчера с Лианочкой, пошла утром на могилу мужа. Он тут похоронен, в Варшаве. Не помню, говорила я вам, что он последний из Рюри... ах, да, говорила! Вы не знаете, дорогой, какое для меня спасение эта могила, на сколько благих решений она меня натолкнула!.. Шла ли речь о Лианочкином воспитании, о какой-нибудь поездке, о помещении капитала, оставленного мужем, о том, дать или не дать в долг кому-нибудь из родственников, из знакомых, я устремлялась прямо туда. И поверите? Иной раз, кажется, под какое солидное обеспечение даешь, дело уж какое выгодное, сердце подсказывает согласиться

ссудить или занять, а мужнин голос вроде как из-под земли: «Не давай!» И не дам. И никогда еще не ошибалась! Ах, дорогой! Вы все понимаете, все тонко чувствуете — вы поймете, как горячо я нынче молилась, спрашивая со всем пылом души: выдать Ляночку или не выдавать? — И, взяв его голову в свои руки, вымолвила со слезами: — И Теодор откликнулся: «Выдавай!» И вот я отдаю ее тебе: прими вкупе с моим благословением!

Слезы прервали поток ее красноречия. Завиловский опустился перед ней на колени. Рядом с ним на колени бросилась и Ляночка, явившаяся будто по условленному знаку.

— Она твоя! Твоя! — простерши руки, сказала тетушка прерывающимся от рыданий голосом. — Отдаем ее тебе, я и Теодор!

Они встали с колен, тетушка, прижав платок к глазам, оставалась недвижимая. Но вот платок стал приподыматься, тетушка — искоса поглядывать на молодых людей.

— Ох, знаю, знаю, хочется небось остаться вдвоем! — расшмеялась она наконец, грозя им пальцем. — Есть, наверно, о чем поговорить!

И с тем вышла. Завиловский взял Линету за обе руки, не сводя с нее влюбленных глаз.

Затем они сели, и она, не отнимая у него рук, положила головку ему на плечо. Это была песня без слов: Завиловский наклонился к ее прелестному лицу, Линета закрыла глаза, но в губы ее поцеловать он не осмелился, слишком молод был и робок, слишком любил, боготворил ее, — и только коснулся устами золотистых волос, но и от этого прикосновения комната поплыла у него перед глазами, все закружилось, исчезло, и он потерял представление, где они, что с ним, слыша лишь биение своего сердца, вдыхая аромат ее шелковисто щекочущих волос. Казалось, это сама вечность.

Но то был краткий сон, за которым пришло скорое пробуждение. Дверь тихо приоткрылась, и заглянула тетушка Бронич, словно не желая упустить ничего из этой любовной идиллии, чьей доброй покровительницей была она вместе со своим Теодором; в соседней комнате раздался голос супругов Основских. Через минуту тетя уже обнимала Линету, а из ее объятий перешла она в объятия Анеты. Основский крепко пожал руку Завиловскому.

— То-то радость! То-то радость! Мы ведь все тебя искренне полюбили: и я, и тетя, и Анеточка, не говоря уж о нашей девочке. — И сказал жене: — Знаешь, Анеточка, что пожелал я вчера Игнацию? Чтобы им было так же хорошо, как нам с тобой!

И, взяв ее за руки, стал покрывать их поцелуями. На Завиловского, хоть он и потерял совсем голову от счастья, эти слова действовали отрезвляюще. Он посмотрел на Анету.

— Нет, им лучше будет, — отнимая у мужа руки, возразила она весело, — потому что Линета положительней меня, да и пан Завиловский не станет при посторонних так неотвязно ей руки целовать. Ну же, Юзек,пусти!

— Лишь бы он любил ее, как я тебя, сокровище мое, деточка моя ненаглядная! — пробормотал сияющий Юзек.

В тот день Завиловский не пошел в контору, оставшись до вечера у них. После завтрака они втроем отправились на прогулку в открытом экипаже — папи Бронич непременно хотелось, чтобы их увидели вместе. Но сильный, хотя непродолжительный дождик испортил прогулку, экипажи разъехались, Аллеи опустели. По возвращении добряк Основский выступил с новым предложением, обрадовавшим Завиловского.

— Пшитулов куда от нас не денется, мы и так здесь, как в деревне, живем. Сейчас конец июня, ничего не случится, если мы останемся еще на несколько дней. Пусть влюбленные кольцами обменяются, а мы с Анеткой ужин устроим в честь обручения. Вы согласны, тетя? Я вижу, они ничего против не имеют, а Игнацию, наверно, приятно будет друзей увидеть на своей помолвке: Поланецких, Бигелей... У Бигелей, правда, мы не бываем, но это легко поправимо. Завтра же съездим к ним с визитом, и дело с концом. Не возражаешь, Игнаций? А вы, тетя?

Игнаций был на седьмом небе от счастья; что касается тети, она, видимо, не знала, как к этому отнесется Теодор, и была в нерешительности. Можно было, впрочем, спросить у него, но, памятуя, как звучно ответил он ей из-под земли: «Отдавай», она и без того не сомневалась, что супруг посмотрит на это одобрительно, — и на все согласилась.

После обеда явился Коповский, бывавший почти ежедневно, и оказался на даче единственным, кому известие о помолвке не доставило никакого удовольствия.

В первую минуту невольное изумление изобразилось на его лице.

— Вот никогда бы не подумал, что панна Линета согласится пойти за пана Завиловского, — сказал он.

Основский, подтолкнув Завиловского, подмигнул ему с плутовской миной.

— Видишь? Говорил я тебе вчера, что он к Линете неравнодушен.

Лишь поздно вечером покинул Завиловский виллу Основских. Дома он, однако, не стихи сел писать, хотя внутри у него все так и пело многострунной арфой, а засел за корреспонденцию и счета, с которыми не сумел управиться днем.

В конторе это на всех произвело большое впечатление, и когда Бигели явились к Основским с ответным, а к пани Бронич — с первым своим визитом, Бигель не преминул высказаться по сему поводу.

— Стихи пана Завиловского вы имели возможность оценить, а вот какой он добросовестный человек, наверно, не знаете. Говорю об этом потому, что в наше время это большая редкость. Пробыв тогда у вас целый день и не попав в контору, он вечером пришел, велел ночному сторожу открыть, забрал с собой книги,

счета и дома сделал все, что нужно. Приятно сознавать, что имеешь дело с человеком, на которого можно положиться.

Но тут добропорядочный совладелец торгового дома «Бигель и Поланецкий» заметил, к своему удивлению, что эта высшая, по его мнению, похвала не производит должного впечатления.

— Ах, мы надеемся, пан Завиловский подыщет себе в будущем занятие, больше отвечающее его дарованию и положению, — заметила пани Бронич довольно кисло.

Вообще обе стороны чувствовали себя во время визита несколько скованно. Правда, Линета Бигелям понравилась, но, уходя, он шепнул жене: «Как, однако, роскошно они живут!» Обитатели дачи показались ему людьми, чья жизнь — непрерывное празднество, то есть вечное безделье; но он не обладал способностью быстро выражать свои мысли.

— Да, да!.. Люди, безусловно, хорошие! — повторяла после их ухода тетушка Линете. — Да! Прекрасные люди! Я убеждена. Да! Конечно!..

Она словно чего-то не договаривала, но «Лианочка» поняла.

— Ведь они ему не родня, — сказала она.

Но спустя несколько дней откликнулась и родня. Завиловский, который так и не попросил у старика прощения, несмотря на тетушкины уговоры, получил письмо такого содержания:

«Господин Забияка! Напрасно ты на меня накинул, я не хотел тебя обидеть, просто привык говорить, что думаю, — мне, старику, это простительно. А тебе, наверно, уже сказали, что я и в глаза не называю твою невесту иначе, как «венецианским бесенком». Кто же тебя знал, что ты влюблен и собрался жениться. Я про то узнал только вчера и тут-то понял, почему ты чуть глаза мне не выцарапал; но поскольку забияки мне больше правятся, чем размазни, а из-за подагры, будь она неладна, сам прийти не могу тебя поздравить, зайди к старику, который искренней к тебе расположен, чем ты думаешь».

Получив письмо, Завиловский в тот же день поспешил к старику. Тот принял его радушно, и, хотя без воркотни не обошлось, старый правдолюб на этот раз понравился Завиловскому, и в душе его отозвались родственные чувства.

— Благослови тебя бог и пресвятая богородица, — сказал ему старик. — Я мало тебя знаю, но наслышан, и рад был бы о других Завиловских услышать что-нибудь подобное. — Он потряс его за руку и подмигнул дочери: — Геннальный, вот бестия, а? — Перед уходом же спросил гостя: — Ну, а Теодор? Препятствий тебе не чинил?

Завиловский рассмеялся; будучи художником, он обладал сильно развитым чувством юмора и комедию с Теодором тоже находил забавной.

— Нет. Напротив, он был на моей стороне.

Старик покачал головой.

— Да, он чертовски проникателен, этот Теодор! Будь с ним начеку, не то впросак попадешь!

Высокое положение в обществе и богатство старика Завиловского до того импонировали тетушке Бронич, что она на другой же день отправилась к нему с визитом, чуть ли не благодаря за оказанный родственнику любезный прием.

— Вы что, за бурбона меня считаете? — вспылил неожиданно старик. — Да, говорил, не отпираюсь: бедные родственники — наказание господне, а вы услышали и вообразили, будто я бедность ставлю им в вину. Плохо вы меня знаете! Обедневший шляхтич чаще всего пройдохой становится, вот что, да, примите это к сведению. Такой уж наш польский характер, вернее, наша бесхарактерность. А Игнаций, — это все в один голос говорят, — хогь и гол как сокол, а человек порядочный, за то его и люблю.

— Я тоже его полюбила! — ответствовала пани Бронич. — Так вы будете на обручении?

— *C'est décidé*¹. На носилках велю себя отнести, но буду!..

Тетушка вернулась в приподнятом настроении и за завтраком, не удержавшись, стала строить планы, которые подсказывало ей разыгравшееся воображение.

— Старик Завиловский — миллионщик, — говорила она, — и очень стоит за свою родню. Я ничуть не удивлюсь, если он — ну, не все состояние, но приличную его часть — завещает нашему Игнацию. Или одно из своих имений на Познанщине на него перепишет. Да, ничуть не удивлюсь.

Ей никто не возражал: в жизни всякое бывает. И после завтрака она обняла Ляночку, шепнув ей:

— Ах ты, помещица моя!

А вечером повела разговор с Завиловским.

— Не удивляйтесь, что я во все мелочи вхожу, это так естественно, я ведь ваша мама. Так вот, хотелось бы мне знать, какое вы колечко выберете для Ляночки? Оригинальное, наверно, какое-нибудь? На помолвке столько народу будет. И потом, вы даже не знаете, как трудно этой девочке угодить. Она даже в мелочах такая взыскательная, у этой девочки есть вкус, о, еще какой!

— Я хочу, чтобы камни означали своим цветом веру, надежду и любовь. Ведь она — моя надежда, моя вера и любовь! — отвечал Завиловский.

— Прекрасная мысль! Вы уже говорили об этом с Ляночкой? Знаете что? Пусть в середине будет жемчужина в знак того, что она сама — жемчужина. Сейчас в моде всякие символы. Не помню, говорила я вам, что Свирский — художник тот, который давал ей уроки рисования, — называл ее «*La perla*»? Кажется, говорила. Вы с ним незнакомы? Вот и он тоже... Юзек сказал, он не сегодня-завтра приезжает. Значит, так: сапфир, рубин, изум-

¹ Непременно (*фр.*).

руд, а в середине жемчужина?.. Да, и Свирский тоже... А вы будете на похоронах?

— На чьих похоронах?

— Букацкого. Юзек сказал, Свирский его прах привезет.

— Я не был с ним знаком, ни разу его не видел.

— Тем лучше. Лианочка рада будет. Мне он, прости господи, никогда не был симпатичен, а Лианочка, та просто терпеть его не могла. Девочка довольна будет колечком, а мне большего и не надо.

А «девочка» довольна была жизнью, не только колечком. Роль невесты все больше правилась ей. Настали чудесные ясные ночи, и они рядышком сидели на балконе, любуясь листвою в причудливом лунном свете, блуждая взором по усыянному звездными роями небосводу, по серебристой пороше Млечного Пути. Акация под балконом, как гигантская кадила, источала дурманящий аромат. Все желания засыпали, а души, убаюканные тишиной, словно сливались с бездонным ночным простором, сами лучась его чистым светом, трепетным лунным сиянием. Так, рука в руке, сидели они в забытии, полусне, отрешась от себя и бессознательно ощущая лишь всеобщее счастье бытия, всеобъемлющее *sursum corda*¹.

Очнувшись, возвращаясь к действительности, Завиловский понимал: такие мгновения, когда сердце преисполняется пантеистической любви ко всему и бьется в унисон с общим, единым гармоническим ладом всей вселенной, суть высшее счастье, которое, продлившись оно, стало бы губительно в своей безмерности для одного человека. Но после смерти, с избавлением от телесной оболочки, мгновения эти сольются в вечность — так он, идеалист в душе, представлял себе потусторонний мир, где ничто не исчезает и все монады человеческие соединяются, связываются в общей гармонии.

Линета не могла воспарить так высоко, но тоже упивалась головокружительным полетом его чувств, тоже была счастлива. Женщина, даже не любя другого, любит его любовью и самое себя, свою роль в ней и оттого с радостью переступает порог супружества, благодарная мужчине, который открывает перед ней новые жизненные горизонты. А Линете столько твердили про ее любовь, что в конце концов убедили в этом.

И когда Завиловский спросил ее однажды, уверена ли она в себе, своей любви, она в ответ простерла к нему обе руки, словно от избытка чувств.

— О да! Теперь я не сомневаюсь, что люблю!

Он, как святыню, поднес ее тонкие пальчики к губам, глазам, ко лбу, но ее слова встревожили его.

— Почему же «теперь»? — спросил он. — А раньше ты разве когда-нибудь сомневалась?

¹ верх блаженства (лат.).

Панна Каstellи подняла свои черные глаза и задумалась; потом улыбка тронула ее губы и на щеках обозначились ямочки.

— Нет, — сказала она, — но я страшная трусиха, мне боязно было. Вас любить и какого-нибудь обыкновенного человека — совсем не одно и то же, я ведь понимаю. Ох, с Коповским было бы все *simple comme bonjour!*¹ — вдруг рассмеялась она. — Но с вами!.. Я не умею этого сказать, но мне всегда казалось, это все равно, что взбираться на высокую гору или на башню. Взберешься — и видно все далеко вокруг, но перед тем надо идти, идти, а я такая лентяйка!..

— Когда моя дорогая ленивица устанет, — выпрямился худой, высокий Завиловский, — я возьму ее, как ребенка, на руки и понесу все выше, выше...

— А я, чтобы легче нести, прижмусь к вам вот так, — съежилась Линета, изображая из себя маленькую девочку.

Завиловский опустился перед ней на колени, целуя край ее платья.

Случалось, на безоблачное небо их счастья набегала тучка, но не по их вине. Молодому человеку чудилось иногда, будто и пани Бронич, и Анета неусыпно за ним наблюдают, словно проверяя, любит ли он и как. Отчасти он приписывал это женскому любопытству, отчасти тому интересу, какой всегда возбуждает у женщин любовь, но больше всего предпочел бы, чтобы его оставили в покое и не опекали. К чувству своему относился он, как к святыне, и не желал выставлять его напоказ, а между тем за каждым его словом и жестом следили. Подозревал он также, что тетюшка с Анетой устраивают за его спиной свои приватные обсуждения, вынося ему порицание или одобрение, и это его бесило: да разве происходящее с ним доступно их пониманию.

Раздражало его и то, что в Пшитулов пригласили и Коповского, который собирался туда наравне со всеми; но это было ему неприятно из-за Основского, которого он успел искренне полюбить. Предлогом для приглашения послужил неоконченный портрет. Но Завиловскому совершенно ясно было, что подстроено это Анетой, которая, как никто, умела склонять других поступать в угоду собственным желаниям. Иногда хотелось ему даже попросить Линету не кончать портрета, но он знал: как художницу это ее огорчит. А кроме того, боялся, что заподозрят в ревности — да еще к такому хлыщу, как Копосик.

ГЛАВА XLVIII

Свирский на самом деле привез из Италии гроб с телом Букацкого и на другой день отправился к Поланецким. Но дома застал одну Марыню — Поланецкий уехал за город посмотреть про-

¹ проще простого! (*фр.*).

дающуюся дачу. Марыня так изменилась, что Свирский с трудом ее узнал, но за время краткого знакомства в Риме успел полюбить и теперь расчувствовался, а, приглядевшись, нашел Марыню трогательной по-своему, в ореоле будущего материнства, даже красивой — и, сравнивая ее с примитивами разных итальянских школ, стал, по своему обыкновению, вслух выражать свое восхищение. Марыня посмеялась оригинальности его вкуса, однако же немного ее ободрившей; приезду его она обрадовалась, во-первых, симпатизируя этой цельной, здоровой натуре, а во-вторых, зная, что он и в присутствии мужа станет ее хвалить и тем возвысит в его глазах.

Надеясь дождаться мужа, она долго его не отпускала, но Поланецкий вернулся лишь поздно вечером. Тем временем зашел Завиловский, который довольно часто стал наведываться к Марыне, ища, с кем бы поделиться своим безмерным счастьем. Вначале поэт и художник поглядывали друг на друга настороженно, как часто бывает при встрече знаменитостей, когда один опасается, что другой станет важничать, но чем непритязательней оба, тем быстрее сходятся. Так и на этот раз. Лед был окончательно сломан, едва Марыня сообщила, что Завиловский — жених панны Кастелли, хорошей знакомой Свирского.

— Как же, как же! — воскликнул тот. — Отлично ее знаю. Моя ученица. — И, сердечно пожав руку Завиловскому, прибавил: — Волосы у вашей будущей невесты — тициановские... Чуть высоковата, ну, да ведь и вы роста немалого. А посадка головы — на редкость хороша! Вы обратили, конечно, внимание на ее движения — плавные, как у лебедя. Я так даже Лебедью ее прозвал.

— «La perla», да?

Свирский удивленно на него посмотрел.

— Да, есть такая картина Рафаэля, в Мадриде, в музее дель Прадо. Почему вы вспомнили о ней?

— Кажется, дамы наши что-то такое говорили, — пробормотал растерявшийся Завиловский.

— А, очень может быть! У меня в мастерской на виа Маргутта копия есть с этой картины, сделанная мной.

Завиловский подумал, что повторять сказанное тетужкой впредь надо поосторожнее, и стал вскоре прощаться, торопясь к невесте. Следом за ним ушел и Свирский, оставив Марыне адрес своей мастерской и попросив передать мужу зайти к нему поскорей по поводу похорон.

На другое же утро Поланецкий отправился к Свирскому. Мастерская его — нечто вроде застекленного павильона — лепилась к крыше высокого каменного дома, наподобие ласточкиного гнезда, и взбираться туда приходилось по крутой лестнице, как на башню. Зато художник чувствовал себя там вольготно и даже не прикрывал двери — подымавшийся к нему Поланецкий слы-

шал басовитый голос, распевавший песенку, которая сопровождалась глухими ударами по полу:

Тепло весна-красна песет,
Луг зеленеет, луг цветет,
И я пою и слез не лью:
Тебя я больше не люблю!
Гей-гу!

«Да, бас у него отменный,— подумал Поланецкий, приостанавливаясь и переводя дух,— но чем это он так стучит, черт его дер!»

Преодолев еще несколько ступенек и пройдя коридорчик, он понял причину этого стука: за открытой дверью в обтягивающей атлетический торс сетчатой рубашке появился Свирский с железными гириями в руках.

— Кого я вижу! — вскричал Свирский, опуская гири на пол. — Извините, не одет, гимнастикой вот немного занимался. Вчера заходил к вам, да не застал. Привез я нашего бедного Букация! А хата-то готова для него?

— Гробница уже две недели ждет,— ответил Поланецкий, пожимая ему руку. — И крест поставлен. Рад вас приветствовать в Варшаве! Жена сказала мне, что гроб уже на Повонзках.

— Да, стоит пока в кладбищенской часовне. А завтра похороним.

— Хорошо. Сегодня же переговорю с ксендзами и уведомя знакомых. А что там Васковский подделывает?

— Собирался вам написать. Из Рима его прогнала жара, и он знает куда поехал? К младшим арийским братьям европейцев. Месяца два будет по этим местам путешествовать, так он сказал. Сам хочет убедиться, готовы ли они исполнить историческую миссию, которую он им предназначил. В Анкону поехал, Фiume и так далее!..

— Бедный старикан! Боюсь, как бы его не постигло новое разочарование.

— Весьма возможно. Над ним и так уже смеются. Не знаю уж, способны ли арии воплотить в жизнь его идею, но сама она до того необычна, по-христиански благородна, что, ей-богу, только такой человек и мог до нее додуматься. С вашего позволения я оденусь. У вас тут жарко, почти как в Италии, гимнастикой лучше в одной рубашке заниматься.

— Лучше всего в такую жару вообще не запынаться,— отозвался Поланецкий и прибавил, глядя на его руки: — Вас за деньги можно показывать.

— А что, важные бицепсы? — сказал Свирский. — А дельтовидные мышцы? Посмотрите! Мускулатура — моя гордость. Букацкий говаривал, мол, бездарью меня обозвать всякий волен, зато никто не посмеет усомниться, что я одной рукой сто кило подыму и из десяти выстрелов десять раз попаду в цель.

— И чтоб никто такие мускулы не унаследовал!..

— Эхма! Что поделаешь! Боюсь бессердечных женщин, ей-богу, боюсь! Найдите мне вторую такую же, как ваша жена, и женюсь, не раздумывая ни минуты. Ну да ладно!.. Так кого вам пожелать — сына или дочку?

— Дочку, дочку!.. Потом пускай идут сыновья, но первая пусть будет дочка.

— А когда ожидаете?

— Как будто в декабре.

— Ну и с богом. Жена ведь ваша здорова, так что опасаться нечего.

— А правда, она очень изменилась?

— Да, она иначе выглядит, но дай бог всякой так выглядеть! Какое лицо! Будто с картины Боттичелли! Честное слово! Помните его «Мадонну с младенцем и ангелами», на вилле Боргезе? Есть там среди ангелов одна головка, склоненная, в венке из лилий, так вот, у вашей жены такое же выражение, в точности. Вчера я просто умилился, до чего поразительное сходство. — Он зашел за ширму одеться. — Вот вы спрашиваете, почему я не женюсь. Знаете почему? Все напоминаю себе (как Букацкий говорил), что у меня мускулы крепкие, язык острый, а сердце мягкое. Да, мягкое до того, что имей я такую жену, как пани Марыня, и будь она в таком положении, то, ей-богу, не знаю, что бы и делал. На коленях ползал перед ней или челом бил — или в красный угол поставил, как икону, и молился бы на нее, видит бог, не знаю!

— Э,— засмеялся Поланецкий,— это так кажется только... до свадьбы, а потом избыток чувства умеряется привычкой.

— Не знаю. Может, я только такой дурак.

— Знаете, что? Вот родит Марыня и пускай вам подыщет жену себе под стать.

— Идет! — крикнул Свирский из-за ширмы. — *Verbum!*¹ Вверяюсь пани Марыне и, как она скажет: «Женись», женюсь с закрытыми глазами. — И, выйдя еще без скюртука к Поланецкому, повторил: — Идет! Кроме шуток!.. Лишь бы она согласилась.

— Женщины любят сватать,— отвечал Поланецкий. — Видели бы вы, на какие уловки пускалась Основская, чтобы pannu Кастелли выдать за нашего Завиловского! И Марыня моя тоже взялась помогать, даже удерживать ее пришлось. Дай им только волю!

— Я вчера с ним познакомился у вас. Очень приятный молодой человек. Печать таланта на лице, с первого взгляда видно. А профиль какой! Линия лба мягкая, как у женщины, и левой подбородок. Берцовые кости длинные немного и коленные суставы, пожалуй, тяжеловаты, но голова — великолепная!

— Это наш общий любимец в конторе, и стоит того: такой открытый, честный нрав.

¹ Даю согласие! (лат.)

— Ах, вот как! Значит, он у вас служит? А я-то думал, он из тех Завиловских, богачей,— мне доводилось встречать за границей одного старика, большого оригинала.

— Это родственник его,— сказал Поланецкий. — Наш Завиловский беден, как церковная мышь.

— Как же, как же! Старик Завиловский с дочкой, единственной наследницей миллионного состояния! — засмеялся Свирский. — Колоритная фигура! Во Флоренции и в Риме с полдюжины разорившихся итальянских графов вокруг барышни увивалось, а старик: «Не отдам дочь за иностранца, никудышный, говорит, народишко!» Вообразите, он нас, поляков, ставит выше всех, а самих Завиловских, наверно, и того выше. Однажды он так выразился: «Толкуйте себе, что угодно, но я немало по свету поездил, сапоги мне и немцы, и французы, и итальянцы чистили, а я вот никому не чистил — и не буду!»

— Хорош гусь! — рассмеялся Поланецкий. — В его представлении, значит, чистка сапог — вопрос не социальный, а национальный.

— Ну да. Считает, что господь бог другие нации создал, чтобы сапоги чистить шляхтичу из-под Кутна, если тому вздумается за границу поехать. А как старик насчет женитьбы молодого родственника — не морщится? Броничи для него всегда, насколько я знаю, мелкой сошкой были.

— Может, и морщится, да они недавно с нашим Завиловским познакомились, а до этого даже не встречались никогда; наш гордец не хотел перед богатым родственником заискивать.

— Это в его пользу говорит. Только бы его выбор удачным оказался...

— А что? Вы знакомы ведь с панной Кастелли. Что она из себя представляет?

— Знаком-то знаком, только вот в барышнях этих не очень разбираюсь. Разбирайся я, не ходил бы до сорока в холостяках... Все они милые, все умеют нравиться. Но поглядишь, во что иные из этих очаровательных созданий замужем превращаются — и ни одной больше не веришь. Но я и сам не рад: не будь у меня охоты жениться — плюнул бы, и вся недолга, а то ведь есть охота! Ну, что я могу сказать? Что все они корсет носят, мне известно, а вот есть ли сердце под ним, черт их знает! А в панну Кастелли я еще и влюблен был; я ведь во всех влюблялся. Но в нее, пожалуй, больше, чем в остальных.

— Ну и что? Почему не женились на ней?

— Женишься, черта с два! У меня тогда ни денег, ни имени не было, я еще в люди не выбился, а таких больше всего и чужаются те, которые сами недавно выбились. Ну, я и побоялся, что Броничи эти кислую мину скорчат, да и в панне Линете не был уверен и отступился.

— Но Завиловский тоже беден.

— Зато знаменит и к тому же родственником доводится старику, а это кое-что значит. Кто у нас старика Завиловского не знает? Что же до меня, то, откровенно говоря, к Броничам у меня до того душа не лежала, что я решил махнуть рукой на это дело.

— Так вы и покойного Бронича знали? Не думайте, что я из пустого любопытства — я из-за нашего Игнасика.

— Господи, кого я только не знал! Я и госпожу Каstellи знал, Линетину матушку. Я ведь двадцать четыре года в Италии провел, и на самом деле мне не сорок — это я просто округляю, — а все сорок пять. Был и с самим Каstellи знаком. Кстати, неплохой был человек. Я их всех знал. Что вам еще про них сказать? Госпожа Каstellи экзальтированная была особа и отличалась тем, что стриглась коротко, одевалась всегда неряшливо и у нее был первый тик. Сестру ее, пани Бронич, вы и сами знаете.

— А Бронич что представлял из себя?

— Теодор? Он вдвойне был дураком, потому что вдобавок не считал себя таковым. Впрочем, молчу: *de mortuis nihil, nisi bene*¹. В отличие от своей жены был он толстяк, чуть не сто пятьдесят кило весил, толстяк с рыбьими глазами. Вообще люди они суетные. Ах, да что говорить! Когда поживешь с мое на свете да потолкуешь с людьми, как я во время сеансов, то и убеждаешься: есть настоящий свет, с подлинными традициями, и разная шухера, которая денег нажила и только корчит из себя аристократию. Так вот, покойный Бронич с супругой принадлежали, по моему, к этой малопочтенной категории, и я старался держаться от них подальше. Будь жив Букацкий, он бы не отказал себе в удовольствии пройти на их счет. Он ведь прознал про мою любовь к панне Каstellи и уж поиздевался надо мной всласть, бог ему прости. Вот увидим теперь, прав он был или нет и что она такое.

— А мне как раз хотелось разузнать о ней поподробней, — сказал Поланецкий.

— Все они добрые, хорошие, но не доверяю я их доброте. Разве что жена ваша поручится за которую-нибудь.

И они переменили тему, заговорив о Букацком, вернее, о завтрашнем погребении, к которому Поланецкий все заранее приготовил. Оставалось на определенный час уговориться с ксендзами и оповестить знакомых, что он и сделал, выйдя от Свирского.

Церковный обряд был уже совершен в свое время в Риме, и Поланецкий пригласил священников помолиться с присутствующими за упокой души. Сделал он это не только по долгу верующего, но также из любви и благодарности Букацкому, который завещал ему значительную часть своего состояния.

Кроме Поланецких, на кладбище приехали супруги Машко, Основские, Бигели, Свирский, Плавицкий и пани Эмилия — что-

¹ о мертвых ничего, либо хорошо (лат.).

бы заодно побывать на Литкиной могиле. День выдался по-летнему солнечный и жаркий. И кладбище выглядело совсем иначе, не так, как раньше, когда здесь бывал Поланецкий. Светлая и темная листва разросшихся деревьев густой и плотной зеленой завесой осеняла белые и серые могильные памятники. Местами было прохладно и сумрачно, как в лесу. Пробиваясь кое-где сквозь листья акаций, тополей, грабов, сирени и лип, солнечные лучи трепещущей сеткой ложились на надгробные плиты, иные затопившиеся в тени кресты, казалось, дремали над могилами. Вверху, на ветках деревьев, гомозились птицы; со всех сторон неся их неумолчный, но негромкий щебет, словно приглушенный, чтобы не потревожить усопших.

Свирский, Поланецкий, Машко и Основский подняли узкий гроб с останками Букацкого и понесли к месту погребения. Ксендзы в белых стихарях, которые то ярко светлели на солнце, то меркли в тени, шли впереди, а за гробом — молодые женщины в трауре; процессия подвигалась по тенистым аллеям чинно и спокойно, без обычных на похоронах рыданий и слез, лишь торжественная скорбь лежала на лицах, как тень от деревьев на надгробьях. Все овеяно было некой поэтической меланхолией — впечатлительная душа Букацкого сумела бы оценить прелесть этой печальной картины.

Так дошли до гробницы, имевшей форму возвышавшегося над землей саркофага, — Букацкий еще при жизни говорил Свирскому, что не хотел бы гнить в земле. Открыв железные дверцы, гроб легко вдвинули внутрь саркофага; глаза женщин обратились к небу, губы зашептали молитву, и Букацкий вскоре остался наедине с вездесущим посреди кладбищенского безлюдья, птичьего щебета и шелеста деревьев.

Пани Эмилия и Поланецкие пошли на Литкину могилу, остальные, по желанию Анеты, поджидали их в экипажах у костела.

На могиле Поланецкий убедился, в какую даль отошла эта некогда горячо любимая им девочка, воспоминания о которой побледнели, рассеялись как дым. Раньше, бывая на кладбище, он со всей силой неизбывного горя бунтовал против ее смерти, не мог смириться с ней. А сегодня показалось чуть ли не естественным, что она покойся здесь, в тени деревьев, и забрезжило даже смутное ощущение неизбежности такого исхода; она уже перестала быть для него живым существом, сделавшись достоянием памяти, вздохом, отсветом, отзвуком давней музыки.

И он, быть может, упрекнул бы себя в бесчувственности, **не** будь и лицо пани Эмилии, которая, помолясь, встала с колен, просветленно-спокойным, — безмерная нежность была в ее глазах, но не слезы. Не укрылось от него и то, как плохо она выглядела, с каким трудом поднялась и пошла, опираясь на палку. Это было начало тяжелой болезни позвоночника, которая приковала ее на несколько лет к постели и свела в могилу.

Перед кладбищенскими воротами поджидали Основские; Анета пригласила их завтра вечером на помолвку Завиловского, прибавив: «А потом милости просим в Пшитулов».

Свирский с пани Эмилией сел в экипаж к Поланецким.

— Как странно! Сегодня похороны, завтра — обручение! — помолчав и как бы собираясь с мыслями, сказал он. — Смерть косит, любовь снова засекает — вот она, жизнь!

ГЛАВА XLIX

Завиловский выразил пожелание, чтобы помолвка состоялась не вечером, при всех, а до съезда гостей, и тетюшка Бронич не стала возражать, тем более что его поддержала Линета, которой хотелось предстать перед собравшимися уже невестой. Так и сделали, и прибывающих они встречали, уже немного освоившись со своим новым положением. Линета сияла от счастья. Она упивалась своей ролью, которая, в свою очередь, сообщала ей еще большее очарование. Что-то легкое, воздушное появилось в ее стройной фигуре, полуопущенные обычно веки, придававшие сонное выражение ее лицу, уже не скрывали глаз; очи блистали, губки улыбались, румянец играл на щеках. Она была так хороша, что Свирский, увидев ее, не мог удержаться от вздоха сожаления по утраченному счастью и душевное равновесие обрел, лишь вспомнив любимую песенку:

И я пою и слез не лью:
Тебя я больше не люблю!
Гей-гу!

Впрочем, всех поразила красота ее. Даже старик Завиловский, которого внесли в гостиную на кресле, задержал ее руки в своих и долго смотрел на нее с восхищением.

— Ба! — сказал он дочери. — Да этот «венецианский бесенок» кому хочешь голову вскружит, а поэту и подавно: у них, говорят, ветер в голове. — Потом поискал глазами Завиловского. — Ну что, не свернешь мне шею сегодня за то, что я «бесенком» ее назвал?

Завиловский рассмеялся и, склонясь, поцеловал его в плечо.

— Нет, сегодня я никому не смог бы шею свернуть.

— Ну, то-то же, — сказал старик, тронутый, видимо, этим знаком почтения. — Благослови вас бог и пресвятая богородица! Говорю: «богородица», потому что ее покровительство всего важнее!..

С этими словами он пошарил на кресле у себя за спиной, извлек большой футляр и протянул его Линете.

— А это тебе от семьи Завиловских, — сказал он. — Носи себе с богом, да подольше!

Линета взяла футляр у старика из рук и, изогнув свой престелый стан, хотела его поцеловать в плечо. Но тот, обняв ее за шею, подозвал жениха:

— Иди-ка и ты сюда! — И, поцеловав обоих в лоб, произнес с неподдельным волнением: — Любите друг друга и живите в мире и согласии!

В футляре, который открыла Линета, лежало на голубом бархате кольцо изумительной красоты. Старик повторил еще раз с ударением: «От семьи Завиловских», как бы давая понять, что даже за неимущего Завиловского выйти — это не мезальянс. Но слова его остались без внимания: головы молодых дам — Основской, Машко, Бигель, Линеты, даже Марыни — живым венком склонились над футляром; затаив дыхание, любовались они переливчатыми камнями, и лишь немного погодя, обретя дар речи, стали выражать вслух свое восхищение.

— Не в бриллиантах дело! — воскликнула тетушка Бронич, чуть не на шею бросаясь старику. — Щедрость, щедрость какая, какая доброта!

— Да полноте, полноте!.. — твердил, отмахиваясь, старик.

Общество разбилось на группы. Жених с невестой, целиком занятые друг другом, никого кругом не замечали. Основский и Свирский подсели к Марыне и пани Бигель; Коповский развлекал беседой хозяйку дома, Полавецкий — Терезу Машко. Что касается самого Машко, то он сел рядом с престарелым крезом с намерением поближе познакомиться и, загородив его креслом так, что никто к нему не мог подступиться, завел речь о былых и нынешних временах, смекнув, что на эту тему старик разговаривает всего охотней.

Однако он был достаточно умен и не поддакивал ему во всем. Да и старик не хулил все новое подряд, напротив, многому дивился, признавал за благо, однако не мог принять целиком. Машко же толковал ему, что все на свете меняется — и шляхта среди других сословий тоже не исключение.

— Мне, уважаемый пан Завиловский, — говорил он, — велит держаться земли врожденный инстинкт; кто сам от земли, того она не отпускает. Но, хозяйничая в своем имении, я занимаюсь вот и адвокатской практикой, занимаюсь из соображений принципиальных, потому что и в этой сфере сословие наше должно быть представлено. Иначе мы всецело окажемся во власти людей из иного слоя, в отношении нас подчас предубежденных. И помещики наши по большей части поняли это, надо отдать им справедливость, и дела свои поручают не им, а мне; некоторые даже долгом своим почитают.

— На этом поприще и раньше наши подвизались, а вот в других профессиях, ей-богу, не знаю! Слышать-то я слышал, будто надо нам за все такое приниматься, только забываем мы, что за дело браться и успеха добиваться — вещи разные. Назовите мне хоть одного шляхтича, который преуспел.

— Да не надо далеко за примерами ходить: возьмите Поланецкого. Он вот целое состояние нажил торгово-посредническими операциями, и все в наличности: деньги в любой момент на стол может выложить. И тоже моими советами пользовался,— сам может вам подтвердить; но капитал торговлей нажил, хлебом главным образом.

— Позвольте, позвольте! — сделал Завиловский большие глаза, уставясь на Поланецкого. — В самом деле состояние нажил? Позвольте... Он из тех Поланецких? Старая дворянская семья.

— А вот плотный такой, приземистый брюнет, художник Свирский,— он тоже.

— Того я знаю: встречался за границей. И Свирские не свиней пасли... Так он скорее нарисовать их сумеет, деньги, чем сделать.

— Еще как делает! — сказал Машко доверительно. — Иное самое богатое имение в Подолии столько дохода не принесет, сколько его акварели.

— Как вы сказали?

— Ну, картины, писанные водяными красками...

— Вот как! Даже не масляными!.. Так и он тоже?.. Ха! Может, и мой разбогатеет на стихах?.. Ну что же, пускай, пускай пишет! Попрекать его этим не буду... Пан Зигмунт вон знатного рода был, а тоже стишки пописывал, и неплохие. И пан Адам тоже шляхтич, а прославился — и побольше того, третьего, фантазера-то, который демократа из себя строил... Забыл, как звали. Ну, да бог с ним! Так, говорите, меняются времена? Ну что ж... Пусть меняются, лишь бы, упаси бог, не к худшему.

— Главное,— сказал Машко,— способности в землю не зарывать, а деньги по кубышкам не прятать, обществу от этого прямой вред.

— Позвольте! Как вас прикажете понимать? По-вашему, я не вправе собственные деньги держать под замком, а должен все ящики пораскрывать: любой вор руку запускать?

— Не в том дело,— улыбнулся Машко с видом превосходства.

И, облокотясь на ручку кресла, стал излагать Завиловскому начала политической экономии, а старый шляхтич слушал, кивая и вставляя время от времени: «Скажите на милость! Новшества какие; прекрасно я без них обхожусь!»

Тетушка Бронич, поглядывая с умилением на жениха с невестой, рассказывала Плавицкому (который, в свою очередь, поглядывал умиленно на Анету Основскую) о молодых своих годах, о Теодоре — и каким горем для них было преждевременное рождение единственного их отпрыска. Плавицкий слушал рассеянно, а она так разволновалась, что голос начал дрожать.

— Теперь всю любовь я на Линеточку перенесла, на нее возложила все свои надежды и чаяния. Вы поймете меня, у вас

тоже дочь. А Лоло... подумайте, каким благословением был бы для нас этот ребенок, если он даже после, с того света нам помогал.

— Очень жаль! Очень жаль! — вставил Плавицкий.

— О да! — продолжала пани Бронич. — Бывало, во время жатвы муж прибежит, воскликнет: «Lolo monte!»¹ — и всех работников в поле вышлет. У соседей пшеница в скирдах проросла, у нас — никогда. О нет! И тем ужасней было несчастье, что уже не поправить! Муж мой в годах был — и остался мне другом, могу сказать, ближайшим, но только другом.

— Вот тут я его отказываюсь понимать, — сказал Плавицкий. — Хе-хе-хе!.. Решительно отказываюсь!

И, приоткрыв рот, покосился игриво на пани Бронич.

— Какие вы все мужчины несносные, — ударила она его слегка веером по руке. — Ничего святого для вас нет!

— А кто эта бледная дама, точно с портрета Перуджино? — спрашивал тем временем Свирский у Марыни. — С которой беседует ваш муж?

— Это знакомая наша, пани Машко. Вас ей разве не представили?

— Нет, нет, как же! Вчера на похоронах познакомили, но фамилию забыл. Знаю только, что она жена того господина, который со стариком Завиловским разговаривает. Настоящий Ваннуччи!.. Та же квинтистская отрешенность — и в желтоватых тонах. А черты правильные. — И прибавил, продолжая ее рассматривать: — Лицо неподвижное, но фигура чудо как хороша. Кажется худощавой, но взгляните на линию плеч и спины!

Но Марыню мало интересовали спина и плечи пани Машко, она с беспокойством следила за мужем. Поланецкий как раз наклонился к Терезе и что-то ей говорил: что — Марыня, сидевшая слишком далеко, расслышать не могла. Но ей показалось, что смотрит он в ее неподвижное лицо и тусклые глаза таким же взглядом, каким иногда смотрел на нее во время свадебного путешествия. Ах, до чего знакомый взгляд! И сердце у нее сжалось, словно в предчувствии несчастья. Но она тут же сказала себе: «Быть не может! Стах на это неспособен!» Однако не могла удержаться, чтобы не посмотреть в их сторону. Поланецкий говорил о чем-то с жаром, а та слушала с обычным своим безразличием. «И что мне только в голову лезет! — подумала Марыня. — Просто оживлен, как всегда, и ничего больше». Окончательно рассеял ее сомнения Свирский, не то заметив ее беспокойство и пристальное внимание, не то и в самом деле не находя ничего особенного в выражении лица Поланецкого.

— Она все молчит, приходится вашему мужу разговор поддерживать; похоже, ему это надоело и раздражает.

¹ Лоло явился мне! (фр.)

— О, совершенно верно! — так и просияла Марыня. — Стаху, конечно, немножко наскучило, а он всегда раздражается, когда ему надоест.

Хорошее настроение вернулось к ней. И она все бы отдала — даже такое бриллиантовое кольцо, какое подарил Линете Завиловский, — подойди к ней Стах сейчас, чтобы обменяться с ним ласковым словом. И желание ее исполнилось: к Терезе Машко подошел Основский, и Поланецкий, встав и перемолвясь мимоходом несколькими словами с Анетой, которая беседовала с Коповским, подсел к жене.

— Ты хочешь мне что-то сказать? — спросил он.

— Как странно! — ответила Марыня. — Я и правда тебя звала, только мысленно, а ты будто услышал и подошел.

— Вот какой я хороший муж! — улыбнулся он. — Но на самом-то деле все гораздо проще: я заметил, что ты смотришь на меня, испугался, не плохо ли тебе, и подошел.

— Я на тебя смотрела, потому что соскучилась.

— И я тоже соскучился. Как ты себя чувствуешь? Скажи-ка правду: может, хочется домой?

— Нет, Стах, мне очень хорошо, честное слово! Мы говорили с паном Свирским о Терезе, и я приятно время провела.

— Злословили небось о ней? У господина художника злой язык, он сам признается.

— Напротив, я ее фигурой восхищался, — возразил Свирский. — Для злословия причин пока нет.

— Анета утверждает, что фигура у нее плохая, — заметил Поланецкий, — но это доказывает лишь противное. — И, наклонясь к жене, вполголоса сказал: — Знаешь, что я слышал, проходя мимо Анеты?

— Забавное что-нибудь?

— Как для кого. Я слышал, Коповский называет Анету на «ты».

— Стах!

— Честное слово! Он сказал: «Ты всегда так!»

— Может, передавал чьи-нибудь слова.

— Не знаю. Может, да, а может, нет. Они, кажется, когда-то были влюблены друг в друга.

— Фу, как тебе не стыдно!

— Стыдно должно быть не мне, а им, вернее, Анете.

Марыня знала, конечно, о супружеской неверности, но полагала это скорее выдумкой французских романистов, не подозревая, что с ней и в обыденной жизни можно столкнуться на каждом шагу, и устремила на Анету взор, полный удивления и любопытства, — так добропорядочные женщины взирают на своих товарок, которые сбились с пути. Но она была слишком добродетельна, чтобы сразу поверить в чужую порочность; просто в голове не умещалось, будто между ними что-то есть, тем более

с этим круглым дураком Коповским... Однако ей бросилось в глаза, что разговаривают они очень оживленно.

А они, сидя между огромной фарфоровой вазой и фортепиано, не то что разговаривали, но уже с четверть часа самым форменным образом ссорились между собой.

— Боюсь, не услышал ли он нас. Ты ведешь себя неосторожно,— с беспокойством сказала Анета, когда мимо прошел Поланецкий.

— Ну да, вечно я виноват. А кто тебе все время твердит: осторожней!

Взаимные упреки были равно справедливы: оба на сей раз стоили друг друга. Он вел себя неосмотрительно по глупости, она — из самоуверенности. Для двоих из присутствующих отношения их уже не были тайной, другие легко могли догадаться; только Основский в своем любовном самоослеплении ничего не замечал. Но на это и рассчитывала его жена.

Коповский посмотрел на всякий случай на Поланецкого.

— Он ничего не слышал,— сказал он и вернулся к прерванному разговору, но понизив голос и перейдя на французский.

— Если б любила, то относилась ко мне иначе, а раз не любишь, не все ли тебе равно?

Сказал и посмотрел на нее своими красивыми, ничего не выражающими глазами.

— Люблю или не люблю,— отвечала она с раздражением,— но на Линетке жениться не позволю, ни за что, слышишь? На ком угодно, только не на ней! Люби ты меня взаправду, то не помышлял бы о женитьбе.

— Я и не помышлял бы, будь ты другая со мной.

— *Patientez!*¹

— До самой смерти? Если я женюсь, мы беспрепятственно сможем видеться.

— Ни за что! Слышишь?

— Но почему?

— Тебе все равно этого не понять. Впрочем, к чему весь этот разговор, она же невеста другого.

— Ты сама велела мне ухаживать за ней, а теперь меня прекаешь. У меня сначала и в мыслях ничего такого не было, а потом она мне даже понравилась, не отрицаю, она всем нравится, и хорошая партия притом.

Основская нервно комкала носовой платок.

— И ты смеешь еще говорить мне, что она тебе нравится? Отвечай прямо: она или я?

— Ты, но на тебе я жениться не могу, а на ней мог бы: я прекрасно видел, что нравлюсь ей.

— Знал бы ты женщин лучше, так благодарен мне был бы, что я этого брака не допустила. Ты не знаешь ее. Она — сухарь

¹ Потерпите! (*фр*)

настоящий и с плохим характером. Разве ты не понимаешь, что я для отвода глаз велела тебе ухаживать, чтобы посторонние чего-нибудь не заподозрили и Юзек? Иначе как бы ты свои ежедневные визиты объяснил?

— Все мне было бы понятно, будь ты другая со мной.

— Не перебивай. Я же нарочно так подстроила, чтобы портрет твой остался незаконченным и ты мог в Пшитулов приехать. У нас Стефания Ратковская будет гостить, дальняя родственница Юзека. Понял? Ты притворись, будто она тебе нравится, — Юзека мне ничего не стоит убедить. А ты сможешь благодаря этому остаться. Стефании я уже написала. Она славная девушка, хотя и некрасивая.

— Опять притворяться — и без всякой даже награды!

— Ну, так вообще не приезжай!

— Анеточка!

— Имей же терпение! Вот не могу долго сердиться на тебя. Ну, ступай. Иди с пани Машко поговори.

Основская осталась одна. Во взгляде, которым она проводила Коповского, сквозило раздражение и вместе с тем — нежность. В белом галстуке, оттенявшем его смуглое лицо, он был так бесподобно красив, что она не могла им вдоволь налюбоваться. И хотя Линета была уже невестой другого, ей невыносима была мысль, что эта ее каждодневная соперница могла стать пусть даже не женой его, но любовницей. Она не лгала, говоря Коповскому, что смирилась бы, женись он на ком угодно, только не на Линете. Тут затрагивалось не только ее самолюбие — она не на шутку была увлечена этим глупцом с наружностью Эндимиона. И ее нервы такого удара попросту не выдержали бы. Под ее равнодушием к красоте, которое сама она почитала за некую высшую потребность своей эллинской натуры, по сути, скрывались низменные инстинкты, заменявшие ей совесть и нравственные устои. И хотя красота Коповского действовала на ее пылкое воображение неотразимо, внутренне она оставалась холодна как рыба, и соблазняло ее, по интуитивной догадке Завиловского, не столько грехопадение, сколько игра в него. Но вместе с тем, сказав себе: «Или я, или никто!», она дошла бы и до последнего, лишь бы помешать браку Коповского и Линеты, тем более приметив, что та, несмотря на шуточки, язвительные словечки и пренебрежение, тоже пленилась его редкостной красотой и насмешки ее — суть замаскированная досада, попытка скрыть то же влечение, те же чувства, какне Анета сама к нему испытывала. И безотчетно, в глубине души презирала за это Линету.

Она задалась целью во что бы то ни стало устранить соперницу, и благодаря Завиловскому ей это вполне удалось. Что Линета уже из тщеславия не устоит перед обаянием громкого имени, поклонением известного поэта, было ей наперед известно. Сохраняя таким способом Коповского для себя, она устраивала себе

заодно великолепное развлечение, на которые столь падки натурь бесстрастные, жаждущие сильных впечатлений. А надоест со временем жена знаменитому поэту, начнет себе искать на стороне Беатриче, глядь, и она подвернется... Кому дано прославить и увековечить имя возлюбленной в памяти потомства, редко встречает отказ. Планов, столь далеко идущих, Анета пока со всей определенностью не строила, но чувствовала, что тогда ее торжество было бы полным.

Но и сейчас она могла уже торжествовать, ибо все шло по ее желанию. Только Коповский ее сердил. Счесть его уже своей собственностью — и заметить вдруг, что как ни глуп он, а выгоду свою понимает и недоволен ее вмешательством. Это настолько выводило Анету из себя, что она даже подумывала ему отомстить. Но пока утешалась тем, что Линета всерьез как будто влюблена в своего жениха, к вящему недоумению и досаде Коповского.

Мысли эти молниеносно промелькнули у нее за краткое время, пока она сидела одна. Размышления ее прервал ужин. За ужином Основский, который обожал жену и хотел, чтобы и другие ею восхищались не меньше, имел несчастье повторить казавшееся ему очень уместным пожелание, высказанное по поводу супружества Завиловскому: он поднял первый тост за то, чтобы им с Линетой так хорошо жилось, как ему с Анетой. При этих словах Завиловский и Поланецкий невольно посмотрели на прелестную хозяйку, а та метнула быстрый взгляд на Поланецкого, и сомнения обоих вмиг рассеялись: она убедилась, что тот слышал их разговор, а он — что Коповский сам ее называл на «ты», а не повторял чьи-то слова. Анета догадалась также, что он передал это Марыне; она видела, как, подойдя к жене, он что-то сказал ей, и они поглядели на нее с любопытством. Злость и желание отомстить целиком ею овладели, и она еле слушала остальные тосты, которые произносили муж, Завиловский, Плавицкий, а под конец Бигель.

После ужина ей вдруг вздумалось устроить танцы, и разгоряченный вином Юзек, для которого ее желание было законом, поддержал ее с восторгом. Без Марыни, которая танцевать не могла, насчитывалось пять молодых дам: Линета, Основская, Бигель, Машко и панна Завиловская. Эта последняя объявила, правда, что тоже не танцует, но, поскольку молва гласила: не только не танцует, но и не пьет, не ест и почти не разговаривает, отказ ее не расстроил общего веселья. Основский, бывший в превосходном расположении духа, при известии о танцах заметил: очень, мол, кстати; «Игнаций небось до сих пор не осмелился обнять Линету».

Но его добрые пожелания остались втуне, ибо Завиловский никогда в жизни не танцевал, ни малейшего понятия не имея о том, как это делается, чем пани Бронич с Линетой были не только удивлены, но даже несколько шокированы. Зато Коповский

владел этим искусством в совершенстве и пригласил Линету на первый вальс как виновницу торжества. Они были красивой парой, и все взоры невольно обратились на них. Завиловский вынужден был наблюдать, как ее золотистая головка склоняется к нему на плечо, как грудь ее почти касается груди Коповского, и они согласно кружатся под музыку Бигеля, сливаясь в одно гармоническое целое. И, видя это, он молча злился на себя, понимая, что его неумение будет сближать Линету с другими и разъединять с ним. Вдобавок все вокруг наперебой расточали похвалы танцующей паре.

— Вот красавец! — сказал сидевший рядом Свирский. — Если б Магомет создал гурий и в мужском обличье, он вполне бы мог ублажать дам в раю.

А они еще долго вальсировали, и была упорная, завораживающая истома в их движениях и в самой музыке, что еще больше раздражало Завиловского, которому пришлось на память циничное, но справедливое стихотворение Байрона о вальсе. Наконец он сказал про себя в сердцах: «Когда же этот осел ее отпустит!» Тревожился он и что она устанет.

Наконец «осел» отпустил ее на другом конце гостиной, пригласив потанцевать Анету Основскую. А Линета тотчас подбежала к жениху.

— Хорошо танцует, — сказала она, — но покрасоваться любит, больше ему ведь нечем похвастаться. Слишком долго меня не отпускал. Даже запыхалась, сердце так и колотится. Мне бы хотелось, чтобы вы приложили руку и услышали, как оно бьется... Но это считается неприличным, вот странно! Ведь я теперь вам принадлежу...

— Мне!.. — откликнулся Завиловский, протягивая к ней руку. — Линеточка, не говори мне больше «вы».

— Тебе принадлежу... — прошептала она.

И не отняла у него руки, только опустила ее вниз, вдоль платья, чтобы никто не видел.

— Я тебя к нему ревновал, — сказал Завиловский, страстно сжимая ее пальцы.

— Хочешь, чтобы я больше сегодня не танцевала? Хорошо, посижу с тобой... хотя люблю танцевать...

— Прелесть моя!..

— Глупая я, люблю повеселиться, но постараюсь быть тебя достойной. Люблю вот очень музыку... и вальсы, даже польки. Так странно она на меня действует... Как хорошо играет этот Бигель!.. Знаю, есть вещи поважнее вальсов. Подержи платок и отпусти на минутку мою руку. Да, она — твоя, но мне надо поправить волосы. Потанцевать иногда — в этом ничего дурного нет, правда ведь? Но если ты против, не буду, я девочка послушная... По глазам научусь твои желания отгадывать и буду как вода, в которой тучи отражаются и ясное небо. Мне так хорошо с тобой!.. Посмотри, как замечательно они танцуют!

Завиловскому не хватало слов, он мог разве что на колена встать, чтобы передать свои чувства. А она указывала ему на Поланецкого, танцевавшего с Терезой Машко, искренне ими восхищаясь.

— Да, он лучше Коповского танцует,— твердила она с блестящими глазами. — А она, она какая грациозная! Ой, как мне хочется с ним хоть разок потанцевать... если ты позволишь.

И Завиловский, у которого не было поводов ревновать к Поланецкому, отвечал:

— Да танцуй, сколько хочешь, сокровище мое! Я сам его к тебе приведу.

— Ах, как они замечательно танцуют, как замечательно! И этот вальс, как сладко от него сердце замирает... Просто плывут, а не танцуют.

То же впечатление было у Марыни, следившей, впрочем, за танцующей парой с чувством еще более неприятным, чем минутой раньше Завиловский: ей снова показалось, что муж смотрит на свою партнершу, как в тот раз, когда Свирский предположил, будто он скучает или раздражен. Но уж теперь-то ничего такого нельзя было предположить. Когда они проносились мимо, она видела, как крепко его рука обнимает ее стан, как овеивает дыхание ее шею и раздуваются ноздри, а взгляд прикован к ее обнаженным плечам. Это могло ускользнуть от постороннего взгляда, но не от Марыни, которая умела читать по его лицу, как по книге. И свет ламп померк в ее глазах. Она поняла, какая это разница: не быть счастливой — и быть несчастной. Длилось это лишь миг, краткий, как такт вальса, как пауза между ударами сердца; но за этот миг она успела почувствовать, сколь все неверно и непрочное и что сама любовь может обернуться в будущем горьким, болезненным разочарованием. И ей стало страшно. На минуту как бы отдернулась завеса, открыв перед ней всю низость и подлость человеческую, неприглядную изнанку жизни. Ничего еще не произошло, абсолютно ничего, но Марыню охватило предчувствие, что может настать время, когда доверие ее к мужу развеется как дым.

Она попробовала отогнать подозрения. Стала себя убеждать, что он под обаянием музыки, а не партнерши. Не хотела верить собственным глазам. Стыд охватил за Стаха, ее Стаха, которым она всегда так гордилась,— и желание подавить всякое сомнение: ведь дело шло о вещах огромной важности, а такой вот пустяк, провинность, собственно, им еще не совершенная, может роковым образом сказаться на всей их дальнейшей жизни.

— Ах, Марыня! Муж твой и Тереза будто отроду вальсировали вместе. Вот великолепная пара! — раздался подле нее иронический голосок Анеты.

— Да,— выдала Марыня через силу.

— Слово друг для друга созданы. На твоём месте я бы приревновала... — щебетала Основская. — А ты? Не ревнуешь,

нет? А я вот ревнива — и не скрываю этого. Во всяком случае, была. Я знаю, Юзек меня любит, но даже любящие мужья такие фокусы выкидывают... И легко к этому относятся, а мы страдаем, но им и горя мало. И лучшие — не исключение. Ох! Взять того же Юзека. Уж на что примерный муж, а я насквозь его вижу. Теперь-то я его штучки изучила, и меня смех только разбирает, — все они держатся одинаково глупо в таких случаях!.. Я сразу догадываюсь, что Юзек опять шалить начинает. Знаешь как?

Марыня глаз не сводила с мужа; пройдя еще круг с Терезой Машко, он пригласил Линету. И сразу она почувствовала огромное облегчение: ей показалось, Стах и на Линету смотрит точно так же. Подозрения стали рассеиваться, и ей пришло на ум: коли она плохо о нем судит, значит, сама плохая. До сих пор ей не приходилось видеть его танцующим; может, у него вообще такая манера танцевать?

Основская все не отходила.

— Знаешь, как я о шалостях его догадываюсь?

— Как? — спросила Марыня, приободрясь.

— Сейчас научу. Если у него совесть нечиста, он для отвода глаз тут же наговаривает на других. Ах, Юзек, святая простота! Это их излюбленная метода. Все они хитрят, даже самые лучшие!

И удалилась в уверенности, что сделала ловкий ход в шахматной партии, именуемой светской жизнью. И надо отдать ей должное, ход был действительно удачный. Марыня окончательно была сбита с толку, не зная, что и думать обо всем этом. Вдобавок она чувствовала страшную физическую усталость. «Я нездорова и раздражена», — сказала она себе, — вот мне и чудится невеста что». Усталость возростала с каждой минутой. И весь вечер стал казаться ей каким-то кошмаром. По словам Стася, Анета неверна мужу, а по ее словам, все мужья изменяют женам; он с вожделением смотрит на жену Машко, Анета же с Коповским на «ты». И еще это мельканье танцующих пар, однообразная мелодия вальса, влюбленные лица жениха и невесты — и внезапная гроза. Какое нагромождение впечатлений, какая фантазмагория! «Я нездорова», — мысленно повторяла Марыня. Но вместе с тем чувствовала, что теряет душевное спокойствие и вечер этот запомнится ей как несчастливый в ее жизни. Захотелось скорее домой, но, как назло, на дворе бушевала гроза. «Домой, домой!» И хоть бы Стах доброе, ласковое слово сказал! Она не желала слышать ни о Терезе Машко, ни об Основской, пусть скажет об их общем, взаимном, самом дорогом.

«Ах, как я устала!»

Поланецкий между тем подошел, и при виде ее бледного, измученного лица участие проснулось в его добром от природы сердце.

— Бедняжка, — сказал он, — тебе спать пора. Вот дождик поутихнет, и поедем домой. Ты грома не боишься?

— Нет. Посиди со мной.

— Летняя гроза, она быстро пройдет. Да ты сонная совсем!

— Мне вообще, наверно, не стоило приезжать. Я так нуждаюсь в покое, Стан!

У него заговорила совесть, он был зол на себя. И хотя далеко был от мысли, что ее слова имеют отношение к нему и она по его поведению догадывается, что он увлечен Терезой, все же понял: приметь она что-то — и навсегда лишится по его вине всякого покоя. И не будучи совсем уж испорченным, испугался и устыдился.

— Ну их, эти танцы! — сказал он. — Буду лучше дома сидеть, сокровище свое беречь.

Тон был столь искренний, что она, зная его, вздохнула облегченно, оставив всякие сомнения.

— Когда ты со мной, — сказала она, — мне намного лучше. А то совсем скверно стало. Тут подходила Анета, но что ей до меня! Нездоровому всегда хочется, чтобы рядом был надежный, близкий человек. Ты, может, будешь смеяться над тем, что я сейчас скажу, — сама понимаю, как чудно в гостях и спустя столько времени после свадьбы говорить вдруг такие вещи, пусть это моя причуда, — но я должна тебе сказать: ты мне очень нужен, и я тебя очень люблю.

— И я тебя люблю, дорогая, — ответил он, и в сознании его пронеслось: лишь любя ее, можно сохранить уважение к себе и душевный покой.

Ливень меж тем почти прекратился, только окна еще нетнет, да и озарялись бледно-голубыми сполохами. Бигель, сыграв напоследок прелюдию Шопена, пустился рассуждать о музыке с Завиловским и Линетой.

— Вот Букацкий придумывал разделять женщин на разные типы, а у меня есть свой, музыкальный критерий, — сказал он глубокомысленно. — Некоторые душой понимают музыку, а другие умом, поверхностно, и таких я боюсь.

Короткая летняя гроза миновала через четверть часа, небо очистилось, и гости стали разъезжаться. Остался лишь Завиловский, чтобы наедине пожелать спокойной ночи своей невесте.

Поланецкий, тревожась за Марыню, велел ехать шагом. А в ее измученном воображении возникло лицо мужа, танцующего с Терезой Машко, в ушах звучали слова Анеты: «Все они хитрят, даже самые лучшие!» Но Поланецкий привлек ее к себе, обнял и не отпускал всю дорогу, и беспокойство ее понемногу улеглось. Очень хотелось задать ему какой-нибудь наводящий вопрос, чтобы он догадался и успокоил ее. Но потом подумалось: «Не любил бы меня — не стал бы и заботиться. Скорее уж он способен на жестокость, чем на притворство. Не буду ни о чем спрашивать сегодня».

А Поланецкий, видимо, под влиянием своих чувств и мыслей осознав, что лишь с ней одной возможны настоящая любовь и счастье, наклонился к ней и осторожно поцеловал в щеку.

«И завтра не скажу ему», — подумала Марыня, прижимаясь головой к его плечу.

«И вообще никогда не скажу», — решила она в следующую минуту.

И не в силах превозмочь душевную и физическую усталость, закрыла глаза и уснула на плече у мужа, еще не доехав до дома.

В это самое время пани Бронич, сидя в гостиной, все поглядывала на застекленную дверь балкона, куда жених с невестой вышли подышать свежим воздухом и проститься друг с другом без свидетелей. Ночь после грозы была светлая, напоенная запахом мокрой листвы, небо усеяно звездами, которые после дождя сияли, как омытые слезами. Некоторое время оба молчали, потом заговорили о своей бесконечной любви.

— Милая моя, любимая! — сказал Завиловский, вытянув руку, на которой поблескивало обручальное кольцо. — Смотрю я на это кольцо и не могу насмотреться. До сих пор мне все это казалось сном, а теперь я отваживаюсь верить, что ты будешь моей женой.

Линета приложила к его руке свою, так что два кольца оказались рядом.

— Да, я уже не прежняя Линета, я твоя невеста, — ответила она томным голосом. — Вот странно, эти кольца как будто обладают волшебной силой, связывают на всю жизнь.

Сердце Завиловского исполнилось счастья и блаженного покоя.

— Потому что в них — наши души, — сказал он, — меняясь кольцами, мы меняемся душами: ты берешь мою, а я — твою. Их золото — залог любви и верности.

— Любви и верности... — отозвалась она, как эхо.

Он обнял ее, прижав к груди, и долго стоял неподвижно перед тем, как проститься. Окрыленный любовью, высоко вознесся он душой и прощался с невестой, словно творя обряд поклонения божеству.

«Спокойной ночи» — говорил он благословенным этим руками, которые дали ему столько счастья; «спокойной ночи» — сердцу, которое его полюбило; «спокойной ночи» — устам, что произнесли слова любви; «спокойной ночи» — этим чистейшим очам, которые светились взаимностью... И душа его словно отлетела, незримым нимбом осявав обожаемую головку, которая была ему дороже всего на свете.

— Спокойной ночи!..

И минуту спустя пани Бронич остались с панной Каstellли вдвоем.

— Устала, деточка? — спросила тетушка, глядя на племянницу, словно только что пробудившуюся ото сна.

— Ах, тетя, я к звездам летала, а это так далеко!

Завиловский вправе был теперь сказать себе, что и поэтам выпадает счастливый жребий. Правда, после помолвки ему не раз приходило в голову, что надо бы подумать об устройстве дома, средствах на венчание и свадьбу, но, имея самое отдаленное представление о таких вещах и будучи влюблен, он относился к ним, как еще одной жизненной трудности, которую придется преодолеть, а их столько было преодолено, что оставалось только верить в свои силы, не заботясь ни о чем другом.

Зато за него позаботились другие. Старик Завиловский, отдававший должное его таланту, но твердо убежденный, что у поэтов ветер гуляет в голове, пригласил на совет Поланецкого.

— Скажу откровенно: юноша мне нравится, хотя отец его, извините за выражение, отпетый был шалопай: кроме карт, женщин да лошадей, ничего для него не существовало!.. Вот и покарал господь еще при жизни. Но сын по его стопам не пошел — и не только имени своего не уронил, а еще и прославил. Другие родственнички этим меня не радуют, и в завещании я его не забуду, но хотел бы и сейчас, пока еще, слава богу, жив, ему помочь: тоже как-никак родня, хоть и дальняя, наше имя-то, вот что главное!

— Мы уже об этом думали, — ответил Поланецкий, — но не так это просто. Стоит только намекнуть о помощи, и он сразу в амбицию, самого терпеливого человека из себя может вывести.

— Гордости ему не занимать стать, — сказал старик с видимым удовольствием.

— Вот именно. Он у нас книги и деловую переписку ведет, и, хотя работает совсем недавно, мы с моим компаньоном его полюбили и предложили ссудить деньгами. «Возьми, — говорим, — тысячи две-три на расходы и обзаведение в рассрочку на три года, а отдавать будешь из того, что за свои книжки выручишь». Но он отказался. Знает, дескать, свою невесту, уверен, что она в его положение войдет, — и не захотел. Основский тоже собирался займы ему предложить, но мы отсоветовали, — если наперед ясно, что бесполезно... Задача не из легких.

— Может, у него какие средства есть?

— И да, и нет. Недавно узнали мы, что мать оставила ему около двадцати тысяч, но он на проценты с этого наследства содержит отца в доме для душевнобольных и капитала этого не хочет касаться. И правда, не трогает: до поступления к нам он очень нуждался, форменным образом с голода помирал, но не взял ни копейки. Такой уж характер! Понимаете теперь, почему мы его так уважаем. Сейчас он, кажется, что-то пишет и хочет на это покрыть издержки на обзаведение. Может, и удастся. Он теперь пользуется известностью.

— Это еще вилами на воде писано! — сказал старик. — Известностью пользуется? Ну и что... В карман ее не положишь.

— Ну, не совсем так. Только это дело нескорое.

— Стесняется, наверно, братъ, вы же ему не родня.

Поланецкий покачал головой.

— Верно, не родня, но знакомы с ним дольше вас и знаем лучше.

Не привыкший, чтобы ему прекословили, Завиловский повел своими седыми усами и недовольно засопел. Впервые в жизни приходилось ему ломать голову, как заставить того, кому он хочет дать денег, принять их. Это удивляло его, сердило и вместе с тем правилось. Вспомнил он, не говоря ничего Поланецкому, сколько раз оплачивал векселя Завиловского-отца, и какие векселя! И вот яблоко упало так далеко от яблоньки, что новых, непредвиденных хлопот не оберешься.

— Ну что ж,— помолчав, сказал старик,— бог, стало быть, не оставляет нас своими милостями, коли так изменилось молодое поколение... Не знаешь, с какого бока к ним и подступиться!..

И лицо его осветилось неподдельной радостью: Будучи по натуре неистребимым оптимистом и найдя реальный довод себе в оправдание, он повеселел.

— Сам черт об него зубы обломает,— сказал он. — Как камень, тверд, ох, шельмец!.. И способный, бестия! А главное, упорный: характер, характер есть. — Он сделал большие глаза и, вытянув губы, будто собираясь присвистнуть, покрутил головой. — А тоже ведь пляхтич. Вот вам, пожалуйста! Видит бог, такого от нашего брата не ожидал!

— Ничего не поделаешь, придется, видно, панне Кастелли к нему принаравливаться,— сказал Поланецкий.

— Ну, это еще как сказать! — поморщился старик. — Захочет принаравливаться или не захочет — кто ее там знает! Пока молодая, все нипочем, только надолго ли хватит? И потом, тетка у нее и покойничек услужливый — выкнет из-под земли, поди-ка с ним потолкуй!.. Людей, которые своим трудом состояние нажили, я, видит бог, уважаю, но уж кто из приказчиков выбился, а делает вид, будто весь век в хоромах жил, тот без хорм не успокоится. Такой и покойный Бронич был. Суетные оба не в меру, и девочка этим воздухом дышала. Богатство и роскошь — вот что всегда их привлекало. Игнаций их с этой стороны не знает, да и вы тоже. Вот она,— кивнул он на дочь,— если даст слово — на чердаке будет жить. А там ни за что нельзя поручиться.

— Да, я их знаю мало,— сказал Поланецкий,— говорят про них разное, а мне важно было бы разобраться в них ради Игнация.

— Разобраться в них? Я вот давно их знаю, а тоже не больно-то разобрался. По словам самой старухи, святые, достойнейшие женщины! А уж благочестивые — у-у! Хоть при жизни к лику святых причислай!.. Но дело-то видите ли какое: иные жен-

цины в сердце бога носят и заветы веры, а иные — им же несть числа — из религии спорт, что ли, делают. Вот оно как!

— Это вы очень верно подметили, — засмеялся Поланецкий.

— А что? Разве не так? — спросил Завиловский. — Я всякое в жизни повидал... Но вернемся к делу. Так можете вы мне какое-нибудь средство посоветовать, чтобы убедить этого дикаря взять деньги, или не можете?

— Нужно пораскинуть мозгами, пока ничего на ум не приходит.

Тут Елена, которая, сидя в стороне, молча вышивала по канве, будто и не слыша разговора, подняла свои холодные стальные глаза и сказала:

— Есть очень простой способ.

Старик взглянул на нее.

— Ого, уже и нашла! Что же это за способ?

— Положите в банк капитал на имя его отца.

— Уж лучше бы ты помалкивала. Я уже и так сделал для его отца предостаточно, хотя и видеть его было тошно, а сейчас для Игнатия хочу, а не для него.

— Да, но если проценты с этого капитала до конца жизни обеспечат его отца, Игнатий сможет располагать деньгами, оставленными матерью.

— А ведь верно, ей-богу, верно! — изумился старик. — Вот глядите: мы с вами головы ломали, а она — нашла. Ей-богу, верно!

— Панна Елена совершенно права, — сказал Поланецкий, глядя на нее с интересом, но она опять склонилась над вышиванием свое безучастное, как бы до времени увядшее лицо.

Марыня и Бигели очень обрадовались такому обороту дела, давшему им повод также посудить-порядить о Елене Завиловской. Некогда пользовалась она репутацией холодной, надменной барышни, выше всего ставящей светские условности, но любовь якобы растопила лед в ее сердце, окончившись, однако, трагически. и светская эта особа превратилась в странную женщину, чуждающуюся людей, замкнувшуюся в себе и своем горе. Иные превозносили ее за благотворительность, но добрые дела она, если и делала, скрывала столь искусно, что никто толком о них не знал. Замкнутость ее, которую легко было принять за высокомерие, отталкивала. К мужчинам она, по их утверждению, относилась с таким презрением, точно не могла им простить, что они живут на свете.

Завиловский воротился из Пшитулова через неделю после разговора Поланецкого со стариком, который успел уже положить в банк на имя его отца капитал, вдвое больший против необходимого для содержания в лечебнице. Узнав об этом, Завиловский помчался благодарить и отказываться, но старик, почуяв твердую почву под ногами, встретил его в штыки.

— О чем тут толковать, — отпарировал он, — разве я для

тебя?.. Тебе я ничего не давал, и не тебе решать, принимать или не принимать. А если мне захотелось больному родственнику помочь, это никому не возбраняется.

Возразить тут действительно было нечего, и кончилось дело тем, что два этих еще недавно чужих друг другу человека расстроганно обнялись, почувствовав себя воистину родственниками.

Даже Елена отнеслась к «Игнасику» с благосклонностью, а старик, втайне страдавший оттого, что у него нет сына, сердечно полюбил молодого человека, и, когда неделю спустя тетушка Бронич, приехав в Варшаву за покупками, зашла осведомиться о его подагре и в похвалу «Лианочке» несколько раз повторила в разговоре о молодой паре, что выходит она за человека без средств, он даже рассердился.

— Что это вы мелете! — воскликнул он. — Неизвестно еще, кто из них для кого лучшая партия, даже в материальном отношении, не говоря уж о прочем.

И пани Бронич, все спускавшая старому ворчуну, простила ему даже намек на «прочее». Не прошло и получаса, а воображение у нее разыгралось вовсю. Завернув по дороге к Поланецким, она объявила им, что старик форменным образом обещал уступить свои познанские имения «дорогому Игнасику». И сама она, дескать, столь безоглядной материнской любовью полюбила «дорогого Игнасика», что он вот-вот заступит место Лоло в ее сердце. И Теодор, без сомнения, полюбил «Игнасика» не меньше, благодаря чему воспоминания о сыне для обоих уже не столь болезненны.

Завиловский ведать не ведал о том, что занял в сердце тетушки место Лоло и ему якобы уже обещаны имения. Но заметил перемену в отношении знакомых к нему. Должно быть, слухи о майорате с молниеносной быстротой разнеслись по городу, и все при встрече раскланивались теперь как-то иначе; даже сослуживцы, люди простые, стали держаться принужденней. По возвращении из Пшитулова надлежало нанести визиты всем, кто был на его помолвке, и быстрота, с какой с ответным визитом явился, к примеру, Машко, тоже говорила об изменившемся к нему отношении. Машко в первое время их знакомства относился к нему несколько свысока. Он не оставил своего покровительственного тона, но сколько доброжелательности и дружеской фамильярности появилось в его обхождении, какую снисходительность он изъявлял — даже к поэзии. Нет, он ничего против нее не имел. Пожалуй, предпочел бы, чтобы стихи Завиловского по духу своему больше соответствовали образу мыслей людей добропорядочных, но вообще существование поэзии допускал, даже ее похваливая. Благосклонность его к ней и к самому поэту сквозила во взгляде, улыбке, в том, как он поминутно повторял: «Да, да, очень! Да, конечно!» Несмотря на свою наивность, Завиловский был достаточно умен, чтобы не чувствовать во всем этом какое-то двуличие.

«Зачем этот вроде бы неглупый человек так неприкрыто притворяется?» — думал он.

И в тот же день завел об этом речь у Поланецких, в чьем доме познакомился с Машко.

— Я постарался бы притворяться так, чтобы хоть не заметили, — сказал он.

— Позеры, — сказал Поланецкий, — на то рассчитывают, что люди, даже не обманываясь, по лености или недостатку гражданского мужества соглашаются принимать их такими, какими они стараются выглядеть. Штука вообще-то коварная. Вы не замечали, что женщины, которые румянятся, мало-помалу теряют чувство меры? То же самое с рисовкой. Даже умные люди не знают меры.

— Это верно, — согласился Завиловский. — И внушению легко поддаются.

— Ну, а Машко вдобавок еще знает, что ты женишься на Линете, которая слывет богатой невестой, и что старик Завиловский к тебе благоволит, вот и рассчитывает, наверно, войти к нему в доверие по твоей протекции. Машко о будущем своем приходится думать: тяжба та судебная, от которой оно зависит, припала, по слухам, неблагоприятный оборот.

Так оно и было. Выступавший в поддержку завещания молодой адвокат оказался очень искусным, настойчивым и упорным.

На том и оставили пока Машко. Марыня стала расспрашивать о Пшитулове и его обитателях, а о нем Завиловский мог рассказывать без конца. Красочно описал он пшитуловскую усадьбу, липовые аллеи, тенистый сад с прудами, заросшими камышом, ольшаник и полоску соснового леса на горизонте. И перед Марыниными глазами ожил Кшемень, который она понемногу начала уже забывать, а сейчас вдруг затосковала по нему, подумав: свозил бы ее Стах когда-нибудь хоть в Вонторы, в костел, где ее крестили и где похоронена мать. Поланецкому тоже, видно, вспомнился Кшемень.

— В деревне везде одно и то же, — махнул он рукой. — Букацкий еще, помню, говаривал, что полюбил бы деревню от всего сердца, будь там хороший повар, богатая библиотека, общество красивых, интеллигентных женщин, — и чтобы не требовалось там жить больше двух дней в году. И я его отлично понимаю.

— Однако же тебе хочется иметь за городом клочок земли, — возразила Марыня.

— Да, чтобы летом в своем доме жить, а не у Бигелей, как придется в этом году.

— А во мне, стоит мне попасть в деревню, — отозвался Завиловский, — сразу пробуждается какое-то смутное влечение к земле. Линета тоже города не любит, и это уже кое о чем говорит.

— Она правда не любит города? — спросила Марыня с интересом.

— Потому что артистическая натура. Природу я тоже чув-

ствую и люблю, но она мне такие вещи показывает, я сам ни за что бы не заметил. Несколько дней назад отправились всей компанией в лес, и она мне показала освещенный солнцем папоротник. Как красиво! Или что у стволов сосен, особенно при вечернем освещении, лиловатый оттенок. Она на такие цвета и тона глаза мне открывает, о существовании которых я и не подозревал! Ходит по лесу, как волшебница, и распахивает предо мной неведомые миры.

«Может быть, это и признак артистизма,— подумал Поланецкий,— но, может статься, просто дань моде, повальному увлечению живописью, в особенности колоритом. Сейчас любая барышня с этим носитя — не из любви к искусству, а из желания порисоваться». Сам он живописью никогда не занимался, но, по его наблюдениям, она стала для светских тряпкоузок в последнее время ходовым товаром на ярмарке тщеславия, патентом на артистизм и тонкий вкус.

Но он умолчал о своих сомнениях.

— А до чего она деревенских ребятишек любит! — продолжал Завиловский. — Говорит, писать их куда лучше и интересней, чем этих итальянских, которые уже приелись. В хорошую погоду мы целый день на воздухе, и оба загорели. Учусь вот в теннис играть и делаю большие успехи. Со стороны кажется, чего проще, а на деле-то, особенно вначале, очень даже трудно. Основский играет как одержимый — поползнуть боится. До чего добрый, деликатный человек, трудно даже передать.

Поланецкий, который в бытность свою в Бельгии увлекался теннисом не меньше Основского, стал похвалиться своим искусством.

— Будь я там, показал бы вам, как играют в теннис!

— Меня-то нетрудно удивить, — отвечал Завиловский, — но остальные играют превосходно, особенно Коповский.

— А-а, и Коповский, значит, в Пшитулове? — спросил Поланецкий.

— Да, — ответил Завиловский.

И, взглянув друг на друга, внезапно поняли, что оба знают тайну. Наступило молчание, тем более неловкое оттого, что Марыня неожиданно покраснела и, не умея справиться с собой, краснела еще сильнее.

Завиловский, полагавший, что ему одному известно про Коповского и Анету, с удивлением посмотрел на залившуюся краской Марыню и тоже смутился.

— Да, Коповский в Пшитулове сейчас, — торопливо заговорил он, пытаясь скрыть замешательство, — его пан Основский пригласил, чтобы Линета могла закончить портрет, — после уже некогда будет. Еще у них родственница Основского гостит, Стефания Ратковская, и, по-моему, Коповский за ней ухаживает. Очень милая, очень скромная девушка. В августе мы все вместе едем в Шевенинген, дамы Остенде не любят... Если бы не пан

Завиловский, не его великодушная помощь отцу, я не смог бы поехать, а теперь вот руки развязаны...

Затем он поинтересовался у Поланецкого о своей работе. Место он терять не хотел, а просил дать ему отпуск на несколько месяцев ввиду исключительных обстоятельств. Затем простился и ушел, торопясь домой написать невесте. Через несколько дней он снова собирался в Пшитулов, а пока писал ей чуть не дважды на дню.

И сейчас уже сочинял по дороге письмо, заранее зная, что Линета прочтет его вместе с тетушкой и обе ждут не только сердечных излияний, но и поэзии, а особенно поправившиеся строки прочтут по секрету и Анете, и Основскому, и даже папне Стефании. Но на свою «Лпаночку» он за это не сердился — наоборот, был ей благодарен за то, что она им гордится, и изо всех сил старался оправдать высокое мнение о себе. Не досадовал и на то, что его любовные признания станут достоянием посторонних. «Пусть все знают, что ее любят, как никого на свете!»

Но заодно его не покидала мысль и о Марыне. Краска смущения на ее лице растрогала его, в этом видел он доказательство чистоты: не только сама неспособна на дурное, но даже за чужой грех стыдится и тревожится, болеет душой. И, сравнив ее с Основской, понял, какая пропасть разделяет этих двух женщин, казалось бы, близких по уму и положению в обществе.

— Видишь, тоже догадывается о чем-то,— сказал Поланецкий жене после ухода Завиловского. — Теперь у меня сомнений нет. Какой же слепец этот Основский! Какой слепец!

— Вот именно из-за его слепого доверия и нужно бы Анете одуматься и пожалеть его,— отозвалась Марыня. — Иначе было бы просто ужасно!

— Не «было бы», а уже есть! Вот тебе пример: благородные натуры платят за доверие признательностью, а низкие — презрением.

ГЛАВА LI

Слова его ободрили Марыню; вспоминая о своих недавних тревогах, она думала: не стал бы он так говорить, будь он способен на обман. А что люди к себе подходят с одной меркой, а к другим — с другой и так на каждом шагу, ей просто в голову не приходило. И она повторяла себе: только безграничное доверие к мужу может удерживать его ото всего плохого — и ее уже не так страшило близкое соседство Краславских с Бигелями, у которых они собирались провести лето. Нетрудно было предвидеть: Тереза, которая уже переехала на дачу матери, часто будет навещаться от скуки к Бигелям. В Кшемень Машко ее не отправил, не желая на все лето разлучаться. Из Варшавы же, где его удерживали дела, ничего не стоило ежедневно навещать жену: дач-

ные эти места были в часе езды от города, не то что Кшменъ, исключавший возможность таких поездок. Для Машко, горячо привязанного к жене, она была утешением и поддержкой, ибо для него время опять настало трудное. Дело о завещании проиграно еще не было, но вследствие изворотливости адвоката противной стороны принимало неблагоприятный оборот: затягивалось, вызывая у всех сомнения в успешном исходе, что уже само по себе было для Машко равносильно катастрофе. В начале процесса его охотно ссужали деньгами, но теперь дерево кредита снова оскудело. Адвокат Селедка, который был завзятым врагом Машко и вообще человеком неумным, не только распространял слухи о шатком положении своего противника, но постарался, чтобы сомнения в правоте его дела проникли в печать. И на юридическом, и на частном поприще началась беспощадная война, ибо Машко тоже, как только мог, старался навредить своему врагу и при встречах с ним держался вызывающе. Но пользы от всего этого было мало. С кредитом становилось туго: займодавцы, хотя он аккуратно выплачивал ссуды, теряли к нему доверие. И началась опять лихорадочная погоня за деньгами, которая сводилась к тому, чтобы, заняв у одного, другому отдать, лишь бы не заподозрили в неплатежеспособности. При этом Машко столько выказывал ума и находчивости, что, не будь его подход к жизни ложен в самой основе, он с его способностями и славы добился бы, и богатства.

Решение дела в пользу доверителей могло бы его спасти, но это требовало времени, а пока приходилось то тут, то там связывать рвущиеся нити, что было столь же нелегко, сколь и унизительно. Дошло до того, что через две недели после переезда Поланецкого на дачу к Бигелям Машко, явившийся с женой, вынужден был попросить его о «дружеской услуге»: подписать вексель на несколько тысяч рублей.

Человек, по натуре отзывчивый и даже щедрый, Поланецкий в денежных вопросах придерживался строгих правил, от которых никогда не отступал, поэтому вексель подписать отказался и вместо того стал излагать Машко свои взгляды на деловые отношения между друзьями.

— Если речь не о взаимовыгодной сделке, — сказал он, — а о личном одолжении из-за временных трудностей, я всегда готов ссудить деньгами друга или знакомого, хотя подписывать — ничего не подпишу, принципиально. Но если его положение безнадежно, я, прежде чем помочь, предпочитаю немного подождать.

— Иными словами, ты мне даешь понять, — сухо ответил Машко, — что поможешь, когда меня объявят несостоятельным?

— Нет. Это значит, что, если разразится катастрофа, я дам тебе денег в долг, так как тогда на них никто не посягнет и ты можешь вложить их в новое дело, если захочешь. А сейчас они ухнут как в прорву, безо всякой пользы для тебя и с убытком для меня.

— Мое положение, дорогой мой, — обиделся Машко, — рисуется тебе хуже, чем мне самому и чем на самом деле. Это же временное затруднение, притом пустяковое. Ценю твои добрые намерения, но пока свои надежды на будущее я не променял бы на твой наличный капитал. У меня к тебе дружеская просьба: дай больше об этом не говорить.

И они вернулись к дамам. Машко был зол на себя за то, что обратился за помощью, Поланецкий — что отказал. Теория относительно того, что в денежных делах надлежит быть непреклонным, часто доставляла ему неприятные переживания, не говоря уже о других последствиях.

Его дурное расположение духа еще ухудшилось от сравнения жены с Терезой. К немалому огорчению Машко, пока еще ничто не предвещало, что его Тереза скоро станет матерью; больше того, пользовавшийся ее с детства домашний доктор вообще выразил сомнение в такой возможности. И фигура ее сохраняла девичью стройность, а сейчас, в легком перкалевым платье, рядом с располневшей, отяжелевшей Марыней она выглядела совсем юной, гораздо моложе своих лет. Поланецкий, думавший, будто поборол свое необъяснимое влечение к ней, вдруг почувствовал, что это не так и благодаря близкому соседству и частым встречам трудно будет ее очарованию противостоять.

После помолвки Завиловского он стал сердечней относиться к жене, и Марыня уже не так робела перед ним; поэтому, заметив, как сдержанно он попрощался с Машко и вообще сердит, спросила, уж не повздорили ли они.

Поланецкий не имел обыкновения посвящать жену в свои дела, но сейчас, недовольный собой и не чуждый эгоизма, который побуждает искать сочувствия в преданном сердце, испытывал сильную потребность облегчить душу.

— Я отказал ему в деньгах, — ответил он, — и, признаться, мне это неприятно. Кое-какие шансы выкарабкаться у него есть, но малейший пустяк успеет еще до тех пор его погубить. Другими мы с ним никогда не были, я его даже недолюбливаю: он меня бесит, раздражает, но судьба все время сводит нас вместе, и потом, он однажды оказал мне большую услугу. Правда, в долгу я у него не остался, но он в безвыходном положении сейчас.

Марыне отраднo было это слышать; ведь будь ее Стах действительно увлечен Терезой, подумалось ей, он не отказал бы в займе ее мужу, а сожаления его — новый знак сердечной доброты. Она сама их жалела, но, не принеся почти ничего в приданое, не осмеливалась Стаха о чем-нибудь просить.

— А ты уверен, что деньги пропадут?

— Может, пропадут, а может, нет, — отвечал Поланецкий, прибавив не без самодовольства: — Отказывать я умею, Бигель — тот мягкосердечней.

— Не говори так! Ты же такой добрый! И то, что ты огорчен, это подтверждает.

— Конечно, неприятно думать, что из-за нескольких тысяч рублей человек, пусть даже посторонний, бьется как рыба об лед. Я себе представляю, что там у него. Завтра — срок платежа, он поспрошал всех, у кого можно бы занять, но осторожно, чтобы не напугать кредиторов, а меня оставил на последний, крайний случай. Значит, завтра он денег не вернет. Предположим, через несколько дней все-таки раздобудет, но репутация его как аккуратного плательщика будет поколеблена, а в его положении это может оказаться роковым.

— А ты действительно не можешь ему дать взаймы? — глядя на мужа, робко спросила Марыня.

— Говоря по правде, могу. У меня и чековая книжка с собой — прихватил, если вдруг подходящая дача подвернется, так задаток дать. — И засмеялся: — О, да ты своему бывшему поклоннику сочувствуешь и покровительствуешь! Это наводит на кое-какие размышления.

Марыня тоже рассмеялась, обрадованная, что муж повесел.

— Нет, — покачала она своей хорошенькой головкой, — это не сочувствие поклоннику, а самый низкий эгоизм: мне твое спокойствие дороже нескольких тысяч рублей.

— Ты у меня добрая женушка, — погладил ее по голове Поланецкий и спросил: — Ну, раз, два, три! Давать или не давать?

Вместо ответа она только прижмурила глаза, как избалованная девочка: дескать, давать. И обоим вдруг стало весело. Поланецкий, однако, притворился недовольным.

— Вот что значит — быть у жены под башмаком, — заворчал он. — Изволь-ка тащись ночью к Машко и упрашивай принять деньги, и все потому, что этой капризнице захотелось!

А она была счастлива оттого, что он назвал ее «капризницей». И все ее тревоги и печали рассеялись как по волшебству.

— А разве непременно сейчас надо? — спросила она.

— Да. Завтра в восемь Машко уезжает и целый день будет мыкаться по городу в поисках денег.

— Тогда вели хотя бы дрожки Бигеля заложить.

— Нет, пешком пройдуся. Ночь лунная, да и близко совсем.

Он простился и ушел, прихватив чековую книжку.

«Однако Марыня — настоящий клад! — думал он дорогой. — Просто золото. Такая доброта обезоруживает: и захочешь обмануть, духу не хватит. Дал мне бог жену, второй такой в целом свете не сыскать».

И остро ощутил в эту минуту, как искренне ее любит. И понял заодно, что не в той любви счастье, которая есть лишь взаимное влечение полов, — дурно направленная, она может, наоборот, несчастье принести; а в глубокой и вместе узаконенной супружеской любви, превосходящей всякое мыслимое блаженство. «Выше этого нет ничего, — рассуждал Поланецкий сам с собой, — и подумать только: ведь оно вот, под рукой, каждому доступно, только

надо честные и добрые намерения иметь, а люди топчут это лежащее прямо на поверхности сокровище, жертвуя покоем ради метаний, честью — для бесчестья!»

Размышляя таким образом, дошел он до дачи Краславской, — окна ее, как огромные фонари, светились на темном фоне леса. Открыв калитку и оказавшись на освещенном лунной дворе, приблизился он к крыльцу и в ближайшем от сеней окне на низеньком диванчике в форме восьмерки, перед которым на столе горела лампа, увидел Машко с женой. Обняв жену за талию, Машко держал ее руку, то поднося к губам, то пожимая, словно за что-то благодаря. Но вдруг стиснул в объятиях и, привлекая к себе, стал страстно целовать в губы, а она, с безвольно упавшими руками, не отвечая на его ласки, но и не сопротивляясь, бесстрастно принимала их, словно кукла, а не живое существо. Затем остались видны только затылок Машко и его растопыренные бакенбарды, которые шевелились при поцелуях, — Поланецкому даже кровь бросилась в голову. И как в тот раз, когда отыскивал он завязку от мантильи Основской, вспыхнуло у него желание — тем более жгучее, что уже прежде испытанное. Это необъяснимое для него самого чувственное влечение, с которым он давно боролся, овладело им с силой непреодолимой. Во мгновение ока проснулся в нем первобытный инстинкт, и он, как дикарь, впал в бешенство при виде желанной женщины в объятиях другого, готовый вступить в единоборство со счастливым соперником. И вместе со страстью ослепила его ревность, мерзкая и недостойная; ревность самого низменного свойства, ибо вызванная плотским влечением, но столь необузданная, что он, незадолго перед тем усмотревший подлинное счастье в супружеской верности и любви, не колеблясь, поправил бы и эту любовь, и это счастье, лишь бы устранить Машко и самому обнять это стройное тело, зацеловать это кукольное личико, невыразительное и некрасивое по сравнению с лицом его жены.

Подсмотренное не только потрясло его, — оно было невыносимо, и он, подскочив к двери, с силой потянул за звонок: мысль, что звук этот, нарушив тишину, прервет супружеские ласки, доставила ему неистовую, мстительную радость. Когда слуга открыл, он велел доложить, а сам постарался успокоиться и сообразить, что сказать Машко.

Через минуту с удивленным видом вышел Машко.

— Прости за поздний визит, — сказал Поланецкий, — но мне влетело от жены за отказ тебе, и, зная, что завтра ты рано уезжаешь, я решил вот уладить это сегодня.

На лице Машко изобразилась тайная радость. Он сразу сообразил, что столь поздний визит связан с их недавним разговором, но на желаемый исход не смел еще надеяться.

— Прошу, — сказал он. — Жена еще не спит.

И провел его в ту самую комнату, которую Поланецкий только что видел через окно. Тереза, сидя на том же диванчике,

держала в руках разрезательный нож и книгу, которую, очевидно, взяла со стола. Ее неподвижное лицо казалось спокойным, но раскрасневшиеся щеки и влажные губы словно хранили след недавних поцелуев, а взгляд был затуманен. Кровь снова вскипела у Поланецкого в жилах, и, несмотря на все старания быть спокойным, он с такой силой сжал протянутую ему руку, что губы Терезы дрогнули как от боли.

Дрожь пробежала по его телу, едва он дотронулся до ее руки. В Терезиной манере подавать руку была томная вялость, и ему невольно подумалось, что, прояви он смелость и решительность, то мог бы овладеть ею, не встретив особого сопротивления.

— Представь,— начал между тем Машко,— я тоже получил нагоняй. Ты — за то, что отказался помочь, а я за то, что обратился за помощью. Жена у тебя хорошая, но и моя не хуже. Твоя вступилась за меня, моя — за тебя. Я ей признался, что терплю временные денежные затруднения, а она меня отругала, зачем от нее скрываю. В юридических тонкостях она, конечно, не разбирается, но смысл ее слов сводился к тому, что ты вполне прав, поскольку кредитор должен иметь какое-то обеспечение, и она готова его предоставить в виде своей ренты и вообще всего имущества... Я как раз благодарил ее, когда ты пришел. — Он положил руку на плечо Поланецкому. — Дорогой, твоя жена — замечательная женщина, согласен; я только что имел возможность в этом убедиться. Но согласишься, что и моя ей не уступит. Неприятности свои я от нее скрываю, но что тут удивительного? Радостью всегда готов с нею поделиться, а огорчать — зачем же, тем более если это временные трудности. Знай ты ее, как я, тоже нашел бы это естественным.

Поланецкий был о ней невысокого мнения, несмотря на всю ее обольстительность, и не считал способной на жертвы.

«Или она в самом деле женщина достойная и я ошибаюсь,— подумал он,— или Машко настолько ее запутал, что она всерьез считает его положение прочным, а затруднения — временными». Вслух же сказал, обращаясь к ней:

— Я человек деловой, но за кого вы все-таки меня принимаете, если думаете, что я могу потребовать в обеспечение ваше имущество? Отказал я единственно из лени — и мне очень стыдно; отказал, потому что не хотелось ехать в Варшаву за деньгами. Лето располагает к лени и эгоизму. Но в общем-то все это сущий пустяк, и кто, как ваш муж, занимается делами, ежедневно сталкивается с такими осложнениями. Иной раз занимаешь только потому, что свои деньги в нужный срок не можешь получить.

— Именно это и произошло,— сказал Машко, довольный, что Поланецкий таким образом представил дело его жене.

— Я в этих вещах ничего не смыслю, этим всегда мама занималась,— вставила Тереза. — Но я вам очень благодарна.

— Да зачем вообще мне ваше поручительство? — засмеялся

Поланецкий. — Ну, предположим, вы обанкротились, — это чистое допущение, потому что ничего подобного вам не грозит, — неужели вы думаете, я судиться буду с вами и лишу вас средств к существованию?

— Нет, не думаю, — отвечала она.

Поланецкий поднес ее руку к губам, но поцелуй этот был настолько не похож на простой акт вежливости и сопровождался взглядом столь страстным, что никакие слова не могли бы красноречивей выразить его чувства.

Она и вида не показала, будто о чем-нибудь догадывается, хотя прекрасно поняла, что этот поцелуй — акт вежливости только для мужа, а для нее — пылкое признание; поняла, что нравится и привлекает Поланецкого, но прежде всего — что одержала победу над Марыней, чьей красоте завидовала еще до замужества, и это чрезвычайно польстило ее самолюбию.

Впрочем, пани Машко давно уже заметила, что Поланецкий к ней равнодушен, но, не отличаясь преувеличенной стыдливостью или щепетильностью, не видела в этом чего-либо предосудительного и обидного для себя. Напротив, это будило ее любопытство, щекоча нервы и теша тщеславие. Правда, она чуяла инстинктивно, что человек он необузданный, ни перед чем не остановится, и при мысли об этом поеживалась, но покуда ничего такого не происходило, находила в этих опасениях прелесть. И в своей обычной протяжной манере, будто цедя слова, сказала:

— Мама всегда говорила, что на вас во всем можно положиться.

Прежде манера эта забавляла Поланецкого, теперь же все в ней казалось привлекательным.

— И вы тоже можете положиться, — отозвался он, не сводя с нее глаз.

— Ну, пока вы тут будете разными заверениями обмениваться, — перебил Машко шутливо, — пойду к себе, все нужное для нашего дела приготовлю.

Они остались вдвоем. Она была явно смущена и, пытаясь скрыть это, стала поправлять на лампе абажур.

— Я был бы счастлив удостоиться вашего расположения, — торопливо начал Поланецкий, подходя к ней. — Я вам очень предан, очень!.. И хотел бы, чтобы мы с вами были друзьями... Можно рассчитывать на вашу дружбу?

— Да.

— Спасибо.

И, желая завладеть ее рукой — для чего и говорил все это, — протянул ей свою. Тереза, не решаясь уклониться, подала руку, а он, схватив, стал осыпать ее жадными поцелуями, не удовольствовавшись одним. Страсть застала его глаза. Еще миг, и он, забывшись совсем, обнял бы и прижал ее к себе, но в соседней комнате раздался скрип сапог. Первой услышала его Тереза.

— Муж, — предупредила она поспешно.

В ту же минуту Машко отворил дверь.

— Прошу. Вели подать чай,— обратился он к жене,— мы сейчас вернемся.

Дело и правда не затянулось: Поланецкому нужно было всего лишь заполнить чек, что он и сделал. Но Машко, усадив его, предложил сигару: ему, видно, хотелось поговорить.

— Вот, опять неприятности валяются,— сказал он. — Выпутаться-то я выпутаюсь. И не в таких бывал передригах, но, как говорится, пока солнце выглянет, роса очи выест, словом, кредит надо получить или другой какой-нибудь доход найти до окончания суда,— это и там бы помогло.

Поланецкий, еще в возбуждении, нервно покусывал кончик сигары и вначале слушал невнимательно. Его занимала внезапно пришедшая в голову и не делавшая ему чести мысль: обанкротиться Машко, жена его стала бы доступнее.

— А ты подумал, что предпринять, если проиграешь дело? — спросил он напрямик.

— Не проиграю,— ответил Машко.

— В жизни все бывает, ты знаешь это лучше других.

— Я и думать об этом не желаю.

— Но тем не менее подумать следует,— заметил Поланецкий не без злорадства, которого, впрочем, Машко не уловил. — Что ты в таком случае намерен делать?

— В таком случае придется уехать из Варшавы,— упершись руками в колени и мрачно уставясь в пол, сказал Машко.

Наступила пауза. Лицо молодого адвоката все больше мрачнело.

— Когда-то, в лучшие мои времена,— сказал он задумчиво,— познакомился я в Париже с бароном Гиршем. Несколько раз с ним встречались, как-то даже вместе участвовали в суде чести. И теперь, в минуты отчаяния, вспоминаю вот о нем,— для вида он отошел от дел, но, по сути-то, у него их тьма, особенно на Востоке. Я знаю таких, кто, работая на него, целое состояние нажил, там для каждого необъятное поле деятельности.

— Ты надеешься пристроиться у него?

— Да. Но есть и другой выход: пуля в лоб...

Поланецкий всерьез к его угрозе не отнесся. Но из краткого разговора с ним выяснил для себя две вещи: первое — несмотря на кажущееся спокойствие, Машко подумывает о возможной катастрофе; второе — на этот случай у него приготовлен план, пусть и фантастический.

— За двумя зайцами я никогда не гонялся, это меня и спасало в жизни,— отогнав невеселые мысли, сказал Машко. — Занят я исключительно процессом. Этот мерзавец делает все, чтобы уронить меня в общем мнении, но мне на общественное мнение наплевать, мне важно, что судьи обо мне думают. Сорвусь я сейчас, это может неблагоприятно отразиться на ходе дела. Понимаешь? Процесс тогда могут воспринять как отчаянную попытку

утопающего спастись любой ценой. А это не в моих интересах. Поэтому нужно делать вид, что я крепко стою на ногах. И как это ни печально, но я даже не могу сейчас позволить себе сократить домашние расходы, жить поскромнее. Неприятностей у меня выше головы,— кому же это лучше знать, как не тебе, коли я у тебя одоляюсь. А не дальше как вчера торговал вот Выбуж, большое имение под Равой,— все для того, чтобы кредиторам да недругам пыль в глаза пустить. Скажи, ты старика Завиловского хорошо знаешь?

— Недавно познакомился через Игнация Завиловского.

— Ты ему нравишься, он очень уважает выходцев из шляхты, которые своим трудом наживают состояние. Я знаю, он сам свои дела ведет, но ведь старится и подагра у него. Я там посоветовал ему кое-что, и, если он будет спрашивать, замолви за меня словечко. В карман ему руку запускать я, как ты понимаешь, не собираюсь, хотя имел бы небольшой доход в качестве его ходатая, но для меня важнее, чтобы разнеслось: Машко — поверенный этого миллионщика. А это правда, что он будто бы хочет передать свои познанские имения Игнацию Завиловскому?

— Так утверждает пани Бронич.

— Значит, вранье; а впрочем, чего в жизни не бывает. Во всяком случае, молодой Завиловский какое-никакое приданое за женой возьмет, а в делах, как все поэты, наверно, ничего не смыслит. Я бы мог ему быть в будущем полезен.

— Я должен от его лица отклонить твоё предложение: делами его обещали заняться мы с Бигелем.

— Я не в делах его заинтересован,— поморщился Машко,— а в том, чтобы иметь право сказать: я — поверенный Завиловского. А пока разберутся, какого Завиловского, кредит мой будет восстановлен.

— Ты знаешь, не в моих привычках вмешиваться в чужие дела, но, откровенно говоря, для меня жить, рассчитывая только на кредит, было бы невыносимо.

— Спроси-ка у миллионеров, как они состояние нажили.

— А ты у банкротов спроси, отчего они поразорялись.

— Что со мной будет, покажет будущее.

— Да, конечно,— сказал Поланецкий, вставая.

Машко еще раз поблагодарил за одолжение, и они перешли в комнату, где ждала их за чаем Тереза.

— Как? Уже кончили? — спросила она.

Поланецкого при виде ее снова бросило в жар. И, вспомнив, как она перед тем прошептала, точно его сообщница: «Муж!», он, не обращая внимания на Машко, ответил:

— С вашим мужем — да. Но с вами — еще нет.

При всей своей невозмутимости Тереза смешалась — дерзость Поланецкого ее испугала.

— Это как понять? — спросил Машко.

— А так,— сказал Поланецкий,— жена твоя заподозрила,

будто я намерен потребовать ее имущество в обеспечение, и этого я ей не прощу.

В серых невыразительных глазах Терезы отразилось изумление. Ей понравилась смелость Полапецкого, присутствие духа, с каким он сумел найтись и выйти из положения. Он показался ей в эту минуту очень красивым мужчиной, гораздо красивее мужа.

— Извините меня,— сказала она.

— Нет, это вам так не пройдет. Вы еще не знаете, какой я злопамятный.

— Вот уж не поверю,— отвечала она кокетливо, как женщина, сознающая свою красоту и власть над ним.

Он сел подле нее и, взяв слегка дрожащей рукой чашку, стал помешивать ложечкой чай. Им овладевало все большее беспокойство. До замужества называл он ее рыбой, а сейчас чувствовал тепло ее тела под тонким платьем, и будто искры сыпались на него.

И опять вспомнилось: «Муж!»— и кровь горячей волной прихлынула к сердцу. Так могла сказать лишь женщина, которая готова на все! Внутренний голос нашептывал: «Надо только удобного случая дожидаться!» И при этой мысли к необузданной его страсти присоединилась необузданная радость. И он совсем перестал владеть собой. Стал было искать под столом ногой ее ногу, но это ему самому показалось слишком уж грубым и вульгарным. «Если вопрос только в том, чтобы дожидаться случая,— сказал он себе,— надо вооружиться терпением». Ибо время придет, подходящий случай не замедлит представиться. И его охватывала сладкая дрожь, залог будущих пылких наслаждений.

А между тем ему приходилось поддерживать совершенно не вязавшийся с его настроением разговор, стоивший ему немалых усилий, отвечать на вопросы Машко по поводу планов Завиловского и тому подобное. Наконец он начал прощаться.

— Забыл вот трость, а по дороге собаки набросились,— обратился он перед уходом к Машко,— будь добр, одолжи свою.

Насчет собак он придумал: это был предлог хотя бы на минутку остаться с Терезой наедине. И когда Машко вышел, он быстро подошел к ней.

— Видите, что со мной происходит? — спросил он каким-то сдавленным, не своим голосом.

Она видела, как он возбужден, видела его горящие глаза, раздувающиеся ноздри, и ей вдруг стало страшно, а у него все звучало в ушах: «Муж!», и одна мысль овладела им: будь что будет! И он, кто за минуту перед тем внушал себе, что надо запастись терпением и подождать, во мгновение ока все поставил на карту, прошептал:

— Я люблю вас!

Она стояла, потупясь, пораженная, остолбенелая; от этих слов до измены мужу оставался только шаг, который означал бы

новую полосу в ее жизни. И она отвернулась, словно избегая его взгляда. Наступило молчание; слышалось только учащенное дыхание Поланецкого. Но в соседней комнате снова закрипели сапоги.

— До завтра,— шепнул Поланецкий.

Шепот прозвучал почти повелительно. А она все стояла неподвижно, опустив глаза, точно каменная.

— Вот палка,— сказал Машко. — Завтра утром я еду в город, вернусь только к вечеру. Будет хорошая погода — сделайте одолжение, навестите мою отшельницу.

— Спокойной ночи! — попрощался Поланецкий.

И минуту спустя уже шагал по пустынной, освещенной лунной дороге. Ощущение было такое, будто он выскочил из пламени. Тишина ночи и леса поразила его, настолько она противоречила охватившему его возбуждению. С внутренней борьбой и колебаниями покончено, мосты сожжены, отступать поздно — это было первым осознанным чувством. Но внутренний голос кричал, что он просто подлец; однако тут же находилось и горькое утешение: подлец так подлец, пропади оно все пропадом! Подлец — так можно, по крайней мере, не терзаться, поблажку себе дать. Да, поздно отступать, мосты сожжены! Предаст Марыню, надругается над ее сердцем, над собственной порядочностью, над жизненными правилами, которыми до сих пор руководствовался, но взамен получит Терезу! Одно из двух: или она пожалуется мужу, и тогда тот завтра же вызовет его на дуэль — но чему быть, того не миновать! Или же промолчит и, стало быть, сделается его сообщницей. Машко завтра уедет, и он добьется своего, а там хоть трава не расти. Если не пожалуется, нечего ей и сопротивляться. И он представил себе, как она покоряется ему, если и противясь, то лишь для приличия. И снова пришел в возбуждение. Вялость, за которую он раньше ее презирал, приобрела теперь для него особую прелесть. Представились завтрашний день и она с ее податливостью... И хотя мысли путались, ясно было: вялость эта послужит ей и оправданием перед собой; скажет себе, что не виновата, ее принудили, и будет обманывать свою совесть, бога, а понадобится, так и мужа. Обдумывая все это, он презирал ее не меньше, чем желал, но чувствовал, что и сам не лучше — и значит, в силу не только естественного, но и нравственного отбора они должны принадлежать друг другу.

Он понимал, что, поклявшись Марыне в любви и верности и сказав другой женщине «люблю», сам отрезал себе все пути: зло уже содеяно. Остальное — лишь следствие этого, и незачем тогда отказывать себе в удовольствии. Но так в его представлении рассуждали те, кто отреклись от порядочности и встали на путь обмана, хотя рассуждение, несмотря на безнравственность, казалось само по себе вполне логичным. И способность трезво мыслить не мешала ужасаться собственной испорченности. В жизни он не раз сталкивался с пороком и злом под личиной благовоспи-

танности и внешнего лоска, знал, что под влиянием разных дрянных книг испорченность получила как бы права гражданства, всегда этим возмущаясь, отстаивая простоту и строгость нравов, будучи убежден: здоровое и сильное общество может развиваться только на их основе. И ничто не вызывало в нем таких опасений за будущее, как эта вот утонченная испорченность, которая пересаживалась с европейской на невосделанную славянскую почву и расцветала здесь нездоровыми цветами дилетантизма, распущенности, апатии и вероломства. Вспомнил он, как осуждал то финансовую, то родовую аристократию за насаждение испорченных нравов, как яростно нападал на них на всех за это. И совершенно отчетливо уразумел: нельзя жить в атмосфере, отравленной угаром, и не угореть самому. Чем он, собственно, лучше других? Пожалуй, даже хуже: ведь эти другие, чувствуя себя посреди всеобщей испорченности как рыба в воде, по крайности, не лицемерили, не кривили душой, не поучали и не доказывали, что здоровый духом мужчина, примерный муж и отец семейства — вот идеал, к которому все должны стремиться. Уже и не верилось, что это он возвышенной любовью любил пани Эмилию, искренне клялся в супружеской верности Марыне, считая себя умным, порядочным человеком, да еще с сильным характером не в пример другим.

Это он-то сильная личность? Что за самообольщение; просто не было настоящего искушения. Если он платонически, по-братски любил пани Эмилию и не поддался на заигрывания Анеты Основской, то лишь потому, что они не возбуждали того животного влечения, какое возбудила эта кукла с красными глазами, которой он, презирая ее в душе, давно жаждал обладать. И тут ему пришло в голову, что и Марыню он не любил любовью высокой, и к ней влекла его просто животная похоть. Прочее со временем еще больше притупилось, и, понуждаемый вдобавок Марыниным положением, он без зазрения совести кинулся за удовлетворением туда, куда мог, и все это — спустя полгода после свадьбы!

Выйдя от Машко и обозвав себя подлецом, Поланецкий вдруг понял, что он еще больший негодяй, чем полагал, так как скоро будет отцом.

В окнах у Марыни еще горел свет. Поланецкий много бы дал за то, чтобы застать ее спящей. Захотелось даже уйти и подождать, пока свет у нее не погаснет. Но за окном проступил ее силуэт. Наверно, поджидает его, а так как на дворе светло, может и увидеть. Сообразив это, он вошел.

Она встретила его в белой ночной кофточке, с распущенными волосами. Косы расплетала Марыня из кокетства, зная, что муж ее волосами любит.

— Почему ты еще не спишь? — спросил он.

Она подошла с полусонным лицом и улыбнулась.

— Ждала тебя, чтобы вместе помолиться.

Со времени пребывания в Риме они всегда молились вместе перед сном. Но сегодня мысль об этом повергла Поланецкого в ужас.

— Ну что, доволен, что помог ему? — стала между тем спрашивать его Марыня. — Доволен, да?

— Доволен, — отвечал он.

— А она знает, в каком положении его дела?

— И да, и нет. Поздно уже. Давай спать.

— Спокойной ночи! А знаешь, без тебя я все думала, какой ты добрый и хороший.

Обратив к нему лицо, она обняла его, а он ее поцеловал и, хотя сделал это искренне и чистосердечно, почувствовал, что совершает подлость и за ней последует целый ряд других.

И одну он тотчас совершил, вставши рядом на колени и слушая, как она читает молитву. Не сделать этого он не мог, а сделав, разыграл гнусную комедию, потому что ему не до молитвы было.

Поднявшись с колен и пожелав еще раз жене спокойной ночи, он ушел, но никак не мог уснуть. Казалось бы, по дороге домой он отдал себе полный отчет в безнравственности своего поступка, в том, какие последствия это может иметь. Но выходило, что нет. Как же так, думалось ему: в бога еще можно не верить, но нельзя же кощунствовать. Было бы, к примеру, неслыханным кощунством с его стороны вернуться завтра или послезавтра, совершив прелюбодеяние, домой и встать, как ни в чем не бывало, на молитву с женой. Он понимал: выбирать надо бесповоротно. Или чистосердечная вера с ее заветами, или Тереза! Совместить то и другое невозможно. И внезапно со всей очевидностью представилось: от всего достигнутого в результате многолетних раздумий и борьбы — того душевного равновесия, которое проистекает из постижения смысла существования, словом, от самого содержания его духовной жизни нужно отказаться. И от своих убеждений с завтрашнего дня придется отказаться — от своего взгляда на семью как на опору общества. Нельзя исповедовать такие взгляды и тайком совращать чужую жену. Тут тоже надо сделать выбор. Что до Марыни, по отношению к ней предательство уже совершено. Итак, все его убеждения, вера в бога, отношение к женщине — все рассыпается в прах: возводимое с таким трудом здание, в котором обитал его дух, рушится. Его поразило, как неуклонно злом порождается зло. Стоит одну нитку перерезать — и все расползается по швам; этого он не предполагал и, озадаченный, спрашивал себя: но как же вероломство уживается с порядочностью и честностью, как возможен такой оппортунизм? В жизни ведь именно так и бывает. Скольких так называемых порядочных людей он знал — женатых, любящих своих жен и даже как будто верующих, которым все это, однако, не мешало волокнуться за каждой приглянувшейся женщиной. Они, кто сочли бы свою жену преступницей, оступись только она, сами со

спокойной совестью нарушали супружескую верность. Вспомнилось, как один его знакомый, припертый к стенке, вывернулся, ответив известной скабрезной шуткой, что он — не шведская спичка: сразу загорается. Мужская неверность стала настолько обыденной, что на это смотрят легко, как на нечто позволительное. Придя к такому заключению, Поланецкий сам почувствовал облегчение, но ненадолго — мешала способность если не поступать, то рассуждать последовательно и логично. Конечно, человечество — это не сплошь одни подлецы и лицемеры, но и глупцов и вертопрахов предовольно, а на оппортунизм, благодаря которому прелюбодеяние уживается с представлением о порядочности и чести, падки именно люди бездумные. Разве обычаи сами по себе могут служить оправданием, если понимаешь их безнравственность и нелепость? «Для дурака, — думал он, — супружеская измена — забавное приключение; для человека мыслящего — подлость, которая столь же несовместима с этическими требованиями, как кража, подлог, клятвопреступление, вероломство, мошенничество в торговле или картах. Грех прелюбодеяния прощает церковь как минутную слабость; но закоснелый прелюбодей сам себе все разрешает, он вне религии, вне общества, он отменяет честь и порядочность». Вот к какому итогу пришел Поланецкий, не привыкший обманывать себя и не отступавший даже перед самыми суровыми выводами.

Пришел — и испугался, словно перед ним разверзлась пропасть. Если он не одумается, то погиб. И он стал укорять себя в слабости. Укорять — и грызть, даже презирать, слишком хорошо себя зная, убежденный: стоит ему увидеть Терезу, и плоть снова одержит верх над духом. Не поддаваться? Но сколько раз он твердил это себе, не устояв перед искушением, — и при каждом новом порыве страсти захватывал его и уносил вопреки воле, как необъезженный конь седока. И, вспоминая это, принимал осыпаться себя проклятиями. Будь он хотя бы несчастлив в семейной жизни или будь его страсть порождена большой любовью, это еще могло бы служить оправданием; но он же Терезу не любил, он хотел ею обладать. Перед этой двойственностью человеческой природы он всегда останавливался в полной растерянности, зная одно: что желает ее, и при каждой встрече, каждой мысли о ней желание это будет расти.

Оставался один выход: не видеться, но это было невозможно, и не только потому, что они знакомы домами, — возникли бы подозрения у Марыни. Ему и в голову не приходило, что она уже догадалась и втайне страдает, но одно не вызывало сомнений: узнай эта кроткая, доверчивая женщина каким-нибудь образом о его неверности, такого удара она не перенесет. И совесть стала мучить его еще сильнее. И вместе с жалостью и состраданием к ней росло презрение к себе. Краска стыда и в темноте залила его лицо при воспоминании об этом «я люблю вас», сказанном Терезе. Роковые слова, произнеся которые он предал свою доб-

рую, кроткую жену и готов уже изменить ей, надругавшись над ее чувствами, обманув ее доверие.

Ему самому казалось это невероятным, но голос совести сказал: «Да, ты способен на это!» В то же время в сострадании и жалости к ней обретал он утешение, утверждаясь в сознании: чувство его не сводится к одному лишь плотскому влечению, ведь их связывают совместная жизнь, сопринадлежность, венчание и клятва делить горе и радость, взаимное уважение и привязанность, которая должна окрепнуть благодаря ребенку. И нежность, и любовь к ней объяли его, до этих минут душевного смещения никогда еще с такой силой не испытанные. Начало светать. В бледных лучах утренней зари, проникавших сквозь щели в ставнях, неясно вырисовывалась на подушке ее темноволосая голова. И он всем сердцем ощутил: она — его лучший друг, жена и мать его будущего ребенка, единственное и самое дорогое его сокровище. И не доводы, не рассуждения о гнусности прелюбодейства с точки зрения религии и морали, а ее милое спящее личико убедило его, до чего все это мерзко и как мерзок он сам. Света сквозь щели просачивалось все больше, и головка ее все отчетливей рисовалась в полутьме. Уже можно было различить темные полукружья ресниц на щеках, и Поланецкий, вглядываясь в нее, стал повторять: «Твоя доброта мне поможет!» И добрые чувства восторжествовали, дух победил плоть, и вздох облегчения вырвался у него при мысли: будь он таким негодяем, за какого себя уже считал, то не стал бы мучиться угрызениями совести, а внял голосу страсти.

Наутро проснулся он поздно, чувствуя себя измученным и больным. И неведомая ему прежде опустошенность и уныние овладели им. При свете дня — дождливого и пасмурного — взглянул он на случившееся иначе: трезвее и спокойней, и будущее уже не представлялось ему таким ужасным и вина столь большой и непоправимой. Все показалось более заурядным. Но теперь беспокоило его, рассказала Тереза мужу или нет. Допуская на минуту, что рассказала, он чувствовал себя в положении человека, который по собственной глупости впутался в неприятную историю. Но постепенно это чувство переросло в острое беспокойство. «Положение самое нелепое, — говорил он себе. — Машко можно упрекнуть в чем угодно, только не в трусости и нерешительности, такого оскорбления он не спустит. Итак, объяснение, скандал — а может, дуэль? Черт возьми! Дело дрянь, если это до Марыни дойдет!» И его разбирала злость на все и вся. Жил себе до сих пор спокойно, ни от кого не зависел, ничье мнение его не интересовало, и вот — повторяет на все лады: «Сказала? Не сказала?» Ни о чем другом невозможно думать. Наконец, ожесточась, он спросил себя: «Да какого черта? Неужто я Машко боюсь? Это я-то?» Но он не Машко боялся, а Марыни, и это было для него ново и непривычно. Еще недавно можно было предположить все что угодно, только не это. И с наступлением дня происшествие,

которое утром показалось было незначительным, снова стало принимать угрожающие размеры. То он тешил себя надеждой, что она не проговорится, то падал духом, не зная, посмеет ли теперь смотреть в глаза не только Марыне, но вообще всем: и Бигелям, и пани Эмилии, и Завиловскому — всем знакомым. «Вот что значит свалить дурака,— думал он. — Какой дорогой ценой за глупость надо платить!» Беспокойство все росло и наконец под тем предлогом, что надо отнести палку, он послал с ней к Терезе, велел кланяться и осведомиться о здоровье.

Через полчаса слуга вернулся. Завидев его в окно, Поланецкий поспешил навстречу, и тот передал ему записку для Марыни. И пока она читала, он с замиранием сердца следил за выражением ее лица.

Прочитав, Марыня подняла на него свои ясные, спокойные глаза.

— Тереза,— сказала она,— на чай к себе вечером зовет... нас и Бигелей.

— А-а! — протянул Поланецкий с облегчением, подумав про себя: «Не сказала!»

— Ну что, сходим к ней? — спросила Марыня.

— Как хочешь... То есть... сходи с Бигелями, а я после обеда в город поеду. Со Свирским надо повидаться. Может быть, сюда его привезу.

— Тогда давай откажемся?

— Нет, зачем же? Иди с Бигелями, а я постараюсь заехать по дороге и извинюсь. Нет, лучше ты извинись за меня.

И с тем вышел из комнаты: хотелось побыть наедине с собой.

«Не сказала!»

На душе стало легко и радостно. Не сказала мужу, стало быть, не обиделась, а приглашение в гости означает согласие, готовность на все, чего от нее захочет Поланецкий. Чем еще объяснить ее приглашение — только желанием подать ему надежду, дать ответ на его «До завтра!». Итак, все теперь зависит только от него. И снова по телу его пробежала дрожь. Никаких преград нет, разве что сам он раздумает. Рыбка попалась на крючок. Соблазн был велик, тем более что в успехе он не сомневался. Да! Клынула рыбка! Не устояла! Самолюбие его было удовлетворено, он торжествовал победу и вместе с тем чуть не казнился из-за того, что пусть недолго, в какие-то минуты, считал ее порядочной женщиной... Теперь, по крайней мере, все ясно, и он ей за это признателен. И давешние опасения показались ему смешными — это была дань презрения: единственная честь, которой мог он ее удостоить. Она перестала быть недоступной, кем-то таким, кто возбуждает в душе то отчаяние, то надежду. Невольно воображал он ее уже своей, отчего, не становясь менее желанной, Тереза утратила в его глазах ценность. И ему было приятно думать: если он устоит перед искушением, это будет целиком его заслуга.

Но теперь, когда путь был открыт, он с удивлением ощущал в себе нарастающее желание противостоять искушению. В голове еще раз промелькнуло все передуманное бессонной ночью о неверности, сердце еще раз напомнило о доброте и преданности Марыни, об ожидающем ее материнстве, о том, что лишь с ней обретет он истинное счастье и покой,— и он решил не заезжать по дороге в город к Терезе.

После обеда он велел запрягать. Садясь в Бигелевы дрожки, еще раз обнял Марыню, сказал ей на прощанье: «Не скучай» — и укатил. Утренней опустошенности как не бывало. Исчезло недовольство собой, и вернулось даже хорошее настроение. Он снова поверил в себя, в свои силы. И не без злорадства представлял себе удивление Терезы при известии, что он уехал. Ему словно отомстить ей захотелось за то физическое влечение, какое она в нем возбуждала. С того момента, когда Марыня получила от нее записку с приглашением, стал он презирать ее еще больше и подумал, что чары ее теперь ему совершенно не страшны — можно даже спокойно к ней заехать.

«А что, если в самом деле заехать и повернуть сказанное вчера как-нибудь по-иному?» — пришло ему на ум.

Но он тут же одернул себя: «Не надо, по крайней мере, самого себя обманывать».

Что приезд его несколько ее не удивит, он ничуть не сомневался. После вчерашнего она имела все основания предположить, что он или зайдет к ней под каким-нибудь предлогом до Марыни и Бигелей, или задержится после их ухода.

А вот если проедет мимо, не заходя, решит, что он трусливо избегает встречи или грубо над ней подшутил.

«Благовоспитанный человек, если он не чужак или рохля, который даст себя опутать любой куколке, зашел бы и постарался исправить вчерашнюю глупость», — продолжал он рассуждать сам с собой.

Но ему стало жутко.

Тот самый внутренний голос, говоривший ему ночью, что он подлец, стал повторять это еще настойчивей.

«Нет, не буду заезжать,— подумал он. — Одно дело — понимать умом, а другое — владеть собой».

Вдали уже виднелась дача Краславской.

«А вдруг,— пришло ему в голову,— она с досады, что ею пренебрегают, из мести и уязвленного самолюбия скажет Марыне что-нибудь такое, что ей откроет глаза?» Слова одного достаточно, улыбки, намек на то, что его дерзкая попытка встретила достойный отпор, в объяснение его отсутствия. Редкая женщина откажет себе в удовольствии отомстить сопернице, а еще реже способна ее пожалеть.

«Только б хватило смелости зайти»...

В эту минуту брчка поравнялась с воротами дачи.

— Стой! — крикнул Поланецкий парню, сидевшему на козлах.

На крыльце он увидел Терезу, но она тотчас скрылась в доме. Поланецкий пересек двор.

— Барыня наверху, — сказал в дверях слуга.

Поднимаясь по лестнице, Поланецкий чувствовал невольную дрожь в коленках.

«Кто легко относится к жизни, — думал он, — многое может себе позволить, но я не отношусь легко. И если после всего передуманного, понятого и сказанного себе не сумею совладать с собой, я пропащий человек».

Он подошел к двери, указанной лакеем.

— Можно? — спросил он.

— Пожалуйста, — слышался ее бесцветный голосок.

Толкнув дверь, он очутился у нее в будуаре.

— Я зашел извиниться, — сказал он, протягивая ей руку, — потому что не смогу быть нынче вечером. В город надо ехать.

Она стояла перед ним, потупясь и склонив голову, смущенная, испуганная, с видом жертвы, понимающей: час настал и беды не миновать.

Состояние ее передалось Поланецкому.

— Вы боитесь?.. Чего вы боитесь? — сдавленным голосом спрашивал он.

ГЛАВА LII

Утром Марыня получила от мужа письмо, извещавшее, что сегодня он не вернется, так как едет в другое место поглядеть дом. Приехал он на следующий день со Свирским, который давно уже обещался Бигелям навестить их.

— Представь себе, — сказал, поздоровавшись с женой, Поланецкий, — оказалось, дом, который я ездил смотреть, в двух шагах от Ясменя, имения Завиловского. Ну, я и решил проведать старика, — кстати, он неважно себя чувствует, — и встретил там нежданно-негаданно Свирского. Мы вместе осмотрели усадьбу, дом ему очень понравился. Там хороший сад и пруд, есть рощица. Когда-то большое имение было, но землю продали и при доме только небольшой участок.

— Место красивое, очень красивое, — подтвердил Свирский. — Тени много, хороший воздух и очень тихо.

— Ты решил купить? — спросила Марыня.

— Посмотрим. Пока хотел бы снять. Поживем там до конца лета и сами увидим, подходит или нет. Владелец согласился сдать, уверенный, что нам понравится. Задатка я не давал, хотел с тобой посоветоваться.

Марыне жаль было расставаться с Бигелями, но, видя по глазам мужа, что ему хочется провести остаток лета вдвоем, она с радостью согласилась.

Бигели поначалу противились, возражали, но, когда Поланецкий растолковал, что речь о доме, где они, может быть, будут проводить с Марыней каждое лето до конца своих дней, вынуждены были уступить.

— Тогда я завтра договорюсь окончательно, — сказал Поланецкий, — перевезу нужные вещи из Варшавы, и послезавтра сможем переехать.

— Это на бегство похоже, — заметила пани Бигель. — К чему такая спешка?

В конце концов порешили на том, что Поланецкие переедут в Бучинец через четыре дня. Тем временем подали обед, и Свирский рассказал, как он оказался в Ясмене у Завиловского.

— Елена попросила написать портрет отца, и условились, что в Ясмене. Я согласился — не люблю без дела сидеть, да и внешность эффектная у старика. Но из этой затеи ничего не вышло. Дом старинный, с толстенными стенами, мало света в комнатах. Как работать при таком освещении? А потом и новое осложнение: жестокий приступ подагры у старика. По словам доктора, которого они с собой привезли из города, он в плохом состоянии и это может кончиться печально.

— Жалко старика, — сказала Марыня, — наверно, хороший человек. Бедная Елена. Если он умрет, совсем одна останется. А он сам понимает всю серьезность положения?

— И да, и нет. Ведь он большой оригинал. Вот муж расскажет вам, как он его принял.

Поланецкий улыбнулся.

— Попавши в Бучинец и узнав, что до Ясменя рукой подать, — начал он, — я надумал туда съездить. Елена провела меня к отцу. Но он как раз молился, четки перебирал — и даже в мою сторону не обернулся и не поздоровался, пока «Богородицы» не дочитал. А кончив, извинился и говорит: «Святые угодники — своим чередом, а вот богородицу попросить — не так робеешь, уж она смилуется над стариком, а ей там не откажут».

— Вот чудак! — воскликнул Свирский.

Бигели рассмеялись, но Марыня заметила, что в этом есть трогательное что-то. Свирский согласился.

— Потом он сказал, что ему пора уже о завещании подумать, — продолжал Поланецкий, — а я, помня о нашем Игнации, не стал возражать, как обычно делается. Это акт чисто юридический, сказал я ему, чем раньше напишешь завещание, тем лучше, даже молодым не след об этом забывать.

— Я тоже так считаю, — вставил Бигель.

— Говорили и об Игнации, — сказал Поланецкий, — старик к нему всем сердцем привязался.

— Как же, как же! — воскликнул Свирский. — Узнавши, что я в Пшитулове был, он очень подробно меня расспрашивал о нем.

— Вы в Пшитулове были? — спросила Марыня.

— Да, четыре дня,— ответил художник. — Мне Основский очень нравится.

— А его жена?

— О ней я уже в Риме свое мнение высказал и, кажется, дал волю языку.

— Как же, помню! Вы были не слишком-то любезны. Ну, а жених с невестой как поживают?

— Ничего. Счастливы. У Основских очень милая барышня гостит — по фамилии Ратковская. Я чуть в нее не влюбился.

— Вот тебе на! Хотя Стах мне говорил, вы влюбляетесь во всех подряд.

— Да, постоянно. Постоянно в кого-нибудь.

— Самое верное средство никогда не жениться,— в раздумье произнес Бигель.

— Увы, так оно и есть,— сказал Свирский и продолжал, обращаясь к Марыне: — Не знаю, рассказывал вам муж о нашем с ним уговоре? Так вот, я женюсь, только если вы мне скажете: «Женись!» Вот как мы уговорились, и поэтому мне хотелось бы, чтобы вы познакомились с панной Ратковской. Зовут ее Стефания, что означает: «Увенчанная». Красивое имя, правда? Тихое, кроткое создание, перед Линетой и пани Основской робеет, по всему видно, что предобрая. Я даже имел случай в этом убедиться. Все, что девиц касается, я отлично примечаю и запоминаю. Забрел как-то в Пшитулов нищий — вылитый отшельник из Фи-ваиды. Обе дамы выскочили с фотографическими аппаратами и ну его снимать — и в профиль, и анфас, им и невдомек, что старику, может, есть хочется. А он терпит — в надежде на милостыню, наверно, но так, скрепя сердце. У простых людей на этот счет свои представления. А они ничего не замечают — или не желают замечать. Как с неодушевленным предметом обращаются. Одна Стефания сказала им наконец, чтобы перестали его мучить и унижать. Мелочь, конечно, но о мягкости говорит, о деликатности. Вокруг нее этот красавчик увивается, Копосик, но она не жалуется его не в пример обеим дамам. Те забавляются им, как куклой: наряжают, рисуют, костюмы придумывают, носят, одним словом. А она нет. Сама мне сказала, что он ей надоел: тоже довод в ее пользу, ведь он глуп как пробка.

— Пан Коповский, насколько мне известно, богатую невесту ищет,— сказал Бигель,— а Стефания Ратковская — бесприданница. За ее покойным отцом долг числится в банке, и в истекшем месяце он вместе с процентами составит...

— Да зачем нам это,— перебила его жена.

— Ты права, это не наше дело.

— А какая она из себя? — спросила Марыня.

— Стефания? Не красавица, но очень миловидная, бледненькая, черноглазая. Да вы ее скоро увидите: дамы на днях сюда собираются нагреть. Это я их подбил: хочется, чтобы вы на нее посмотрели.

— Хорошо, посмотрю! — засмеялась Марыня. — А если мой отзыв окажется благоприятным?

— Тогда, честное благородное слово, предложение ей сделаю. В худшем случае откажет. Но если вы решите: «Нет», на утиную охоту поеду. В конце июля как раз сезон начинается...

— Серьезные же у вас намерения! — сказала пани Бигель. — Женильба или охота! Игнаций так никогда бы не сказал.

— Зачем ему рассуждать, если он влюблен? — заметила Марыня.

— Правильно! И я ему завидую, не потому что панна Кастелли — его невеста, о нет, хотя я сам был влюблен в нее; завидую тому состоянию души, когда человек теряет способность рассуждать.

— А что вы имеете против панны Кастелли?

— Да ничего. Напротив, очень ей признателен за то приятное заблуждение, в котором благодаря ей пребывал некоторое время. И не скажу о ней худого слова, разве меня за язык потянут: но прошу вас, не делайте этого.

— А мы как раз хотим порасспросить вас о них, — вмешалась пани Бигель. — Только пойдемте на веранду, я велела подать кофе туда.

Через несколько минут все собрались на веранде. Под деревьями посидели Бигелята, похожие издали на разноцветных мотыльков. Бигель предложил Свирскому сигару, и Марыня, улучив момент, подошла к мужу, который держался в сторонке.

— Стах, ты что сегодня такой молчаливый? — подняла она на него свои добрые глаза.

— Устал, — ответил Поланецкий. — В городе страшная жара, а у нас в квартире просто задохнуться можно. Ну, и не спал, Бучинек из головы не выходил.

— А мне хочется поскорей Бучинек увидеть, правда, очень хочется. Это ты хорошо сделал, что съездил туда и снял дом.

Она с нежностью посмотрела на него и, так как вид у него был утомленный, сказала:

— Мы займем гостя, а ты поди отдохни.

— Нет... все равно не засну, — ответил Поланецкий.

— Смотрите, ни ветерка. Ни один листок не шелхнется, — говорил между тем Свирский. — Настоящий летний день! Вы не замечали, в жару, когда вот так тихо, кажется, будто вся природа в задумчивость погружается. Помню, Букацкий находил в этом что-то мистическое, ему хотелось умереть в солнечный день... заснуть, сидя в кресле, и раствориться в этом свете.

— А умер, бедняга, вовсе не летом, — заметил Бигель.

— Весной... но погода чудесная была. И потом, не мучился долго, вот что главное. — Он помолчал и добавил: — Со смертью можно и должно примириться, мысль о ней никогда не приводила меня в отчаяние, но вот зачем нужно перед смертью страдать, это, право же, превосходит всякое понимание.

Все помолчали.

— Но оставим это,— сказал Свирский, стряхивая пепел с сигары. — После обеда за чашкой кофе можно найти и приятней тему для разговора.

— Расскажите нам про Игнация! — попросила пани Бигель.

— Игнаций мне нравится. Во всем, что он делает и говорит, узнается талант... Вообще это незаурядная и очень богатая натура. За несколько дней в Пшитулове мы с ним поближе сошлись и подружились. А как его Основский полюбил, вы даже не представляете! Я и Основскому свои сомнения высказывал: будет ли еще он счастлив в этой семье?

— А почему вы в этом сомневаетесь? — спросила Марыня.

— Трудно объяснить, особенно когда никакими фактами не располагаешь. Чувство такое. Почему, вы спрашиваете?.. Потому что они из другого теста сделаны. Высокие устремления, которые составляют смысл жизни Завиловского, они для них, видите ли, вроде приклада, что ли, вон как кружева для отделки платья. Они такое платье для гостей по праздникам надевают, а на каждый день у них халат,— вот в чем огромная разница между ними. Боюсь, что с ним в заоблачные выси они не полетят, а заставят плестись черепашным шагом за собой и обратят его дар в разменную монету для удовлетворения светского тщеславия. А ведь это, правда, талант! Катастрофы никакой я не предрекаю, у меня нет оснований сомневаться в их порядочности в том смысле, какой мы обычно вкладываем в это понятие, но счастливы они вряд ли будут. Возьмите хотя бы его чувство к панне Кастелли; вы все знаете, Игнаций человек очень простой, а любит ее какой-то уж слишком возвышенной любовью. Он душу всю в свое чувство вкладывает, всего себя ей отдает... а она — только частичку, приберегая остальное для светской жизни, развлечений, туалетов, визитов, всевозможного комфорта, для фэйфоклоков, для лаунтенниса с Коповским, словом, для той мельницы, которая жизнь на отруби перемалывает...

— Вообще-то вы правы,— сказал Бигель,— хотя к панне Кастелли это, может, не имеет отношения, и я надеюсь, что так оно и есть, к счастью для Завиловского.

— Нехорошо с вашей стороны так говорить,— сказала пани Бигель. — Похоже, вы действительно женоненавистник.

— Это я-то женоненавистник? — вскричал Свирский, вздевая руки к небу.

— Послушать вас, можно подумать, будто Линета обыкновенная светская барышня.

— Я уроки живописи ей давал, а воспитанием ее не занимался.

Марыня, которая прислушивалась к разговору, погрозила Свирскому пальцем.

— Удивительно, как это при вашей доброте у вас такой злой язык.

— Мне самому это иногда представляется странным,— отвечал Свирский,— и я спрашиваю себя: да полно, разве ты добрый? Но мне кажется, что да. Некоторые любят сплетничать, потому что им доставляет удовольствие копать в грязи, и это гадко; другие ближних оговаривают из зависти — тоже гадко. Букацкий, тот на чужой счет ради красного словца прохаживался, а я... я из породы болтунов — это во-первых, а во-вторых, меня больше всего занимают люди, особенно женщины, а всякое убожество, мелочность, пошлость возмущают. Вот, пожалуй, и причина моего злоязычия. Хотелось бы, чтобы у всех женщин были крылья, а когда я вместо крыльев вижу у них хвосты, то начинаю выть от отчаяния.

— А почему у вас не возникает желания выть, когда вы видите таких же мужчин? — спросила пани Бигель.

— Бог с ними, с мужчинами! Мне-то до них какое дело? К тому же, честно говоря, с них и особый спрос.

Марыня вместе с пани Бигель напустились на злополучного художника, но он стал защищаться.

— Ну вот вам для примера Игнаций и Линета. Он трудится с юных лет, препятствия одолевает, он мыслит — и уже дал что-то людям, а она? Канарейка в клетке!.. Суньте ей воды, сахара, семени конопляного, пенку клюв точить — она перышки золотистые расправила и песенкой залилась. Не так разве? А мы, мужчины, работаем много. Цивилизация, наука, искусство, хлеб насущный, все, чем мир держится, — дело наших рук. А это ведь труд колоссальный. Сказать-то легко, сделать трудно. Справедливо ли, правильно ли, что вас ото всего отстраняют, не берусь судить, да и не о том речь, но коли уж выпало вам любить, так умеете же, по крайней мере!

Смуглое лицо его приняло нежно-меланхолическое выражение.

— Или вот я: посвятил себя служению искусству. Двадцать пять лет вожу и вожу кистью по бумаге и по холсту, и одному богу ведомо, сколько трудов положил, пока достиг чего-то. А между тем одинок как перст. Чего мне надо от жизни? Да чтобы послал господь за труды какую-нибудь добрую женщину, которая любила меня хоть немного и мне была благодарна за мою любовь.

— Почему же вы не женитесь?

— Почему? — запальчиво переспросил Свирский. — Из страха. Потому что из десяти женщин любить способна одна, хотя другого дела у вас нет.

Разговор прервало появление Плавицкого с Терезой. В темно-голубом фуляровом платье в горошек она издали напоминала бабочку. Шествовавший рядом Плавицкий тоже был похож на мотылька.

— Я пани Машко похитил — похитил и привел к вам, — восклицал он, подходя к крыльцу. — Добрый вечер, господа! Добрый вечер, Марыня! Еду мимо на извозчике и вижу: она на крыльце,

и похитил! И вот мы к вам пешком. А извозчика я отпустил в надежде, что в город вы меня отвезете.

Поздоровавшись со всеми, разругавшаяся от ходьбы Тереза стала снимать шляпку с пепельных волос, весело объясняя, что Плавницкий в самом деле чуть не насильно ее увел, так как она ждет мужа и не хотела никуда идти до его возвращения. Плавницкий успокаивал ее, говоря, что муж, не застав ее, сам догадается, где она, а за похищение и прогулку по лесу с мужичиной пенять не будет: это ведь не город, где из-за любого пустяка сплетни распускают, а деревня, она имеет свои преимущества, тут не нужна оглядка на этикет. — И он с таким видом стал одергивать на себе белый жилет, словно не удивился бы, если бы сплетничать стали о нем.

— Хе-хе! Да, жизнь в деревне имеет свои преимущества, — прибавил он, потирая руки и поглядывая игриво на Терезу. — Вот именно: преимущества! Вот за что я ее люблю.

Тереза смеялась, зная, что это ей идет и кто-то любит ее.

— Если вы так любите деревню, отчего же летом в городе сидите? — спросил рассудительный Бигель, полагая, что и другие должны быть так же последовательны в своих рассуждениях.

— Что вы сказали? — переспросил Плавницкий. — Отчего я в городе сижу? Я вот собирался в Карлсбад. — Он замолчал, спохватываясь, что за минуту перед тем намекал, что прогулка наедине с ним может еще скомпрометировать молодую женщину. — Да стоит ли хлопотать из-за нескольких лишних лет, никому не нужных, даже мне самому, — прибавил он, сопровождая свои слова взглядом, полным грустной покорности судьбе.

— Перестаньте, папа! — воскликнула Марыня весело. — Если вы не поедете в Карлсбад, будете пить милбрунскую у нас в Бучинеке.

— В каком еще Бучинеке? — удивился Плавницкий.

— Правда, надо же объявить всем эту *la grande nouvelle*!¹

И Марыня рассказала, что муж снял дом, который они, может быть, купят, и через четыре дня переедут туда на все лето. Тереза удивленно подняла глаза на Поланецкого.

— Значит, вы нас покидаете? — спросила она.

— Да, — отрезал он.

— А-а!

С минуту она с недоумением смотрела на него, словно ожидая объяснения, но, ничего не дождавшись, обернулась к Марыне и заговорила о каких-то пустяках.

Светские приличия настолько сделались ее второй натурой, что один лишь Поланецкий заметил: весть об их отъезде все-таки проникла сквозь их защитную броню, достигла до ее сознания. Она догадалась, что причина внезапного отъезда как-то связана с ней. С каждой минутой это становилось для нее все очевидней,

¹ великую новость! (фр.)

и холодное лицо ее принимало все более отчужденное выражение. Она почувствовала себя оскорбленной. Поланецкий, по ее представлению, сделал нечто прямо противоположное тому, чего она вправе была от него ожидать: пренебрег не только ею, но и принятыми в обществе правилами обхождения с женщиной. И вся ее природа выразилась в том, что это огорчило ее больше, чем сам отъезд. Некоторые женщины требуют к себе тем большего внимания и уважения, чем меньше они их достойны,— это своего рода самообман; а ослепленные страстью мужчины из деликатности или лукавства потакают им до поры до времени. И в решении Поланецкого уехать через несколько дней куда-нибудь подальше она прежде всего усмотрела выходку неотесанного мужлана, который ставит ее таким образом в известность о разрыве. Супружеская измена сама по себе уже предполагает, правда, развязку именно такого рода, и *a posteriori*¹ иначе и быть не может, ибо отношения, основанные на вероломстве, не бывают прочными. Однако на этот раз невежливость была уж слишком явной, и брошенные семена дали преждевременные всходы. Даже не отличавшаяся особой проникательностью Тереза без труда поняла, что иначе, как полным пренебрежением с его стороны, это не назовешь.

А Поланецкий думал в это время: «Как она меня, должно быть, презирает».

Оба не отдавали себе отчета в том, что все равно это рано или поздно должно было произойти.

Но Тереза не теряла надежды, что это лишь недоразумение, минутный каприз, что он, неизвестно почему, рассердился или обиделся на нее; словом, еще не так страшно, как кажется. Краткое объяснение, разговор наедине все поправят. И, полагая, что Поланецкий ищет такого разговора, она решила облегчить ему задачу.

После чая стала она собираться домой.

— Надеюсь, кто-нибудь из мужчин меня проводит,— сказала она и взглянула на Поланецкого.

Поланецкий встал. На его усталом, сердитом лице, казалось, было написано: «Хочешь правду знать, пеняй на себя». Но Бигель нечаянно расстроил все дело.

— Вечер такой чудесный, мы все пойдем, вас проводим.

Так и сделали. Плавицкий, принявший роль Терезиногo кавалера, галантно предложил ей руку и всю дорогу занимал ее разговором, так что с Поланецким, который шел рядом с пани Бигель, не удалось обменяться ни словом, кроме «спокойной ночи» у самой калитки.

Пожелание спокойной ночи сопровождалось и легким пожатием руки — своего рода вопросом, который остался без ответа. Поланецкий рад был, что объясняться не пришлось. Получилось

¹ после свершившегося (лат.).

бы только нечто путаное, а главное, мало приятное. Тереза столь же отталкивала его в отношении умственном, сколь влекла в физическом, и он считал за лучшее подальше уехать от нее. Впрочем, дом в Бучинеке снял он прежде всего потому, что, оказавшись в трудном положении, стал, как все энергичные люди, инстинктивно искать для себя дела, занятия — пусть и не прямо связанного с докучавшей ему причиной. При этом он не тешил себя мыслью, будто бегство от опасности означает уже вступление на путь добродетели или хотя бы приближение к нему, — ему казалось, что время упущено и все пропало. «Бежать надо раньше было, а сейчас я поступаю, как зверь, выкуренный из норы, который вынужден искать другое убежище». Свершив предательство по отношению к Марыне, он предает теперь Терезу из опасения, как бы связь их не стала для него обременительна, поступая с ней и подло, и жестоко. Но одной подлостью больше или меньше — терять нечего, все равно спасения нет.

Однако в глубине души не мог он с этим смириться. Случись нечто подобное с человеком легкомысленным, тот махнул бы рукой да посмеялся. Поланецкий понимал: многие именно так и взглянули бы на это. Но для него отступление от высоких принципов, которых он доколе придерживался, равнозначно было падению в тем более глубокую пропасть. «Стало быть, — думал он, — никакие принципы и убеждения в конечном счете ни от чего не спасают. И с ними, и без них можно шею себе свернуть». Это было выше его разумения. Почему? В чем причина? И, не находя ответа, Поланецкий, усомнившийся перед тем в своей порядочности и честности, засомневался теперь, в своем ли он уме, если не понимает, не может взять этого в толк.

И вообще в душе была пустота, не ощущал он даже привязанности к жене. Он потерял всякое уважение к себе, а с тем, казалось ему, — право и способность любить ее. Но с удивлением отметил, что сердится на нее, как будто она виновата в его падении. До сих пор он никому не наносил обид — откуда же ему было знать, что недолюбливают, даже ненавидят тех, кого сами обижают.

Расставшись с Терезой, всей компанией пошли домой. Марыня, идя рядом с мужем, не заговаривала, чтобы не мешать его предполагаемым мыслям и расчетам по поводу покупки дома; она знала, как он не любит отвлекаться в таких случаях. Вечер был теплый, и, вернувшись, они еще долго сидели на веранде. Бигель уговаривал Свирского остаться ночевать; такой Геркулес, шутил он, и не поместится в его крохотной бричке рядом с Плавичким. Поланецкому на руку было присутствие постороннего, и он подержал Бигеля.

— Право, оставайтесь; а завтра утром поедем вместе.

— Да не терпится за работу приняться поскорей, — отвечает Свирский. — Хотел завтра с утра начать писать, а так время уйдет понапрасну.

— У вас срочное что-нибудь? — спросила Марыня.

— Нет, но когда не работаешь, навык теряется. Наше ремесло не любит перерывов, я же вои сколько проваландался: и в Пшптулов, и к вам, а краски-то сохнут.

Марыня и пани Бигель подняли его на смех: ему ли, такому опытному, набившему руку художнику, бояться навык потерять.

— Это только кажется так, что, добившись известного совершенства, можно на лаврах почить, — стал возражать Свирский. — Человек так уж устроен: вперед, иначе отстанешь. Другого выбора нет. О всякой прочей деятельности судить не берусь, но в искусстве нельзя сказать себе: «Хватит, хорошо!» Не поработаешь недельку — и не только рука не слушается, но и вообще как будто разучился. Что сноровку теряешь, это еще понятно, но и чутье художественное теряется, сам талант. Я думал, это только к живописи относится, там очень техника важна, но представьте, вот Снятынский, ну, этот, драматург, то же самое говорит. А у писателя в чем должна заключаться техника? Разве в том, чтобы ее вообще не было. А он вот тоже твердит, что надо писать и писать, идти вперед, сколько хватает сил, иначе покатишься назад. Служение искусству! Красиво звучит. А какая собачья жизнь у посвятившего себя этому служению; ни отдыха, ни покоя. Удел его — каторжный труд и вечный страх. Неужто таково предназначенье и всего рода человеческого или мы только такие мученики...

На мученика Свирский, правда, мало походили и в патетику не впадал, жалуясь на свое ремесло, — говорил искренне и взволнованно, но именно поэтому слушать его было интересно.

— У, рожа! — наполовину в шутку, наполовину всерьез погрозил он кулаком луне, взопевшей над лесом. — Вертится себе вокруг Земли, и горя ей мало! Вот бы мне хоть капельку такой самоуверенности.

— Не ропщите, — рассмеялась Марыня, невольно следуя взглядом за рукой художника. — Не одни только служители муз не вправе почивать на лаврах. Работает человек над картиной или над собой, все это требует постоянных усилий, иначе дело плохо.

— Да, человек обязан трудиться! — вздохнул Плавицкий.

— Видите ли, — продолжала Марыня, подыскивая нужные слова и подняв брови от сосредоточенной работы мысли, — если человек себе скажет: «Я добр и умен», это само по себе уже не означает ни того, ни другого. Мне думается, что плывем мы к земле обетованной, но под нами — пучина и кто перестанет работать руками, тот пойдет ко дну.

— Это все фразерство! — перебил Поланецкий.

— Нет, Стах, не фразерство, уверяю тебя! — сказала она, довольная, что нашлось удачное сравнение.

— Умные речи приятно и слышать! — отозвался Свирский с живостью. — Вы совершенно правы.

В душе Поланецкий тоже признавал, что она права, больше того, в окружавшем его мраке блеснул словно огонек надежды. Это ведь сам он сказал себе: «Я умен, добр и могу теперь отдохнуть», это сам он забыл, что нельзя довольствоваться достигнутым, сам перестал работать руками, и его повлекло ко дну. Да, так оно именно и было! Овладев высокими заветами религии и морали, он замкнул их в своей душе, как деньги в кассе, сделал мертвым капиталом. Они лежали там без движения, как товар на складе. Точь-в-точь, как тот скупец, который любит своею золотом, а живет впроголодь. Нажив деньги, не пользовался ими, а, успокоясь, решил подвести баланс и приотдохнуть. И вот в объявшем его мраке самоуспокоения забрезжил свет, и понемногу начала смутно вырисовываться та неясно еще осознаваемая истина, что такой баланс подводить нельзя, ибо жизнь — это неустанный, каждодневный титанический труд, который, по словам Марыни, кончается на земле лишь той, обетованной.

ГЛАВА LIII

— Игнаций, дорогой, почему бы вам не одеваться, как пан Коповский? — спрашивала тетушка Бронич Завиловского. — Ну, конечно, стихи ваши для Лианочки выше всяких там нарядов, но вы не поверите, какой у девочки тонкий вкус, вплоть до самых мелочей. Вчера приходит и спрашивает с премиленькой такой гримаской (увидев, вы бы в восторг пришли): «Тетя, почему Игнась не надевает по утрам белый фланелевый костюм? Мужчинам так идут белые костюмы!» Доставьте ей радость, купите себе белый костюм. У Юзека воп не один, а несколько таких костюмов, он все делает, чтобы Анетке угодить. Я понимаю, это пустяк, но женщинам очень приятно, когда их прихоти исполняют. Вы даже не подозреваете, до чего она наблюдательна. В Шевенингене все мужчины ходят до обеда в таких костюмах, и ей не понравится, если подумают, что вы не того круга человек, не знаете, как нужно одеваться. Вы ведь не захотите ее огорчить, купите себе такой костюм, ведь правда? Сделайте это ради нее и не сердитесь на меня за то, что рассказываю вам про Лианочкины пристрастия.

— Ах, нет, что вы! — сказал Завиловский.

— Какой вы добрый! Что я еще хотела?.. Ах, да! И дорожный несессер купите из желтой кожи, хорошо? Лианочке очень нравится, когда у мужчины красивые саквояжи. А за границей ведь по одежке встречают... Вчера, скажу вам по секрету, рассматривали мы несессер пана Коповского! Очень красивый, изящный, куплен в Дрездене... Лианочке очень понравился. Взгляните на него и купите себе такой же. Простите, что вмешиваюсь, пристаю со своими пустяками. Я, видите ли, знаю женщин, а особенно Лианочку. С ней наилучшая метода — уступать в мело-

чах. Зато, когда коснется серьезного, она всем пожертвует. Вы ведь слышали, какие ей блестящие партии представлялись, но предпочтение она отдала вам. Уступайте же ей в мелочах, хотя бы из признательности. Вы, как знаток человеческой психологии, вероятно, замечали, что жертвенные натуры проявляют это свое качество в исключительных обстоятельствах, а в обыденной жизни любят, чтобы им угоджали.

— Может быть; никогда над этим не задумывался.

— Да, да, это так! И как раз такая натура у Лианочки! Вы еще ее не оценили, хотя должны бы — за одно уже то, что она вас выбрала. Но для вас, мужчин, это уже тонкости! Но погодите, если что, сами убедитесь, насколько чужд ей всякий эгоизм. Боже сохрани, конечно, но сами убедитесь.

— Я знаю, что вы любите Лианочку, — ответил слегка задевший Завиловский. — Но даже вы не можете думать о ней лучше меня.

— Вот люблю за такие речи! — воскликнула обрадованная пани Бронич. — Милый Игнаций! Коли так, разрешите мне как матери еще кое-что подсказать вам на ушко: ужасно ей нравятся у мужчин черные шелковые носки. Только обязательно шелковые, не забудьте! Она с первого же взгляда шелковые от фильдекосовых отличит. Не сердитесь, ради бога, что в такие мелочи вхожу. Вообще я человек очень деликатный, но не хотелось бы, чтобы вы в глазах Лианочки хоть настолечко уступали другим. Что подделаешь! У вашей невесты артистическая натура, она любит, чтобы ее окружали красивые вещи. Ее же не бедность ждет, чтобы отказывать себе в этом, правда ведь?

Завиловский достал из кармана записную книжку.

— Запишу себе для памяти ваши пожелания, — сказал он.

В словах его сквозила легкая ирония. Многословность пани Бронич, ее манера изъясняться и особенно любовь ко всякому блеску и шику подчас его раздражали. Коробило от всех этих замашек выскочки. И, не подозревая о надеждах, возлагаемых на состояние старика Завиловского, он недоумевал, как эта вроде бы деликатная женщина может без особого стеснения выпрашивать что-то и вообще вмешиваться в их будущую жизнь. Прежде был он убежден совершенно в обратном: что тетушка Бронич с Линетой будут скорее чересчур щепетильны во всем этом, — и вот его постигло первое разочарование. Неприятна была и бестактность, с какой пани Бронич чуть не каждый день поминала блестящие партии для Лианочки — и ее самоотречение. Хотя на его взгляд никакого самоотречения тут не было. Он не грешил самоуверенностью, но цену себе знал, полагая, что несколько не хуже, а лучше всех этих господ Коповских, Колимасао, Канафаронгулосов и прочих сомнительных опереточных фигур. И сравнение с ними, да еще в их пользу, его глубоко возмущало. Любовь и поэтический дар были в его глазах таким богатством, которому и великие мира сего могут позавидовать. О том, как реально сложится их

семейная жизнь, он не думал и представлял ее в чертах самых общих, но, чувствуя в себе силу противостоять любым препятствиям, не сомневался: они с Лианочкой будут счастливы. И потому, когда пани Бронич изъявляла намерение поторговаться на сей счет, еле сдерживался, чтобы не сказать ей, как это пошло.

Свирский в Пиитулове высказал однажды любопытное суждение о любви. Любовь, по его словам, не совсем слепа, но страдает дальтонизмом. Завиловский отнес это целиком к Основскому, ему и на ум не пришло, что у него самого налицо все признаки этого недуга. Был он слеп, однако лишь в отношении Линеты, во всем остальном проявляя необычайную проницательность. И многое из того, что он видел, приводило его в недоумение. Удивлялся он, не говоря уже о наблюдениях над Анетой, ее мужем и Коповским, еще перемене в отношении к нему тетушки Бронич — узнав его поближе и освоаясь как с будущим родственником, мужем Лианочки, она перестала с ним церемониться, не выказывая уже прежнего благоговения перед ним, его талантом и стихами. Иной, позаурядней, и не заметил бы этого, а Завиловский заметил — и не мог себе никак объяснить. Только жизненный опыт мог бы ему подсказать: натуры дюжинные, сталкиваясь с явлениями или людьми необыкновенными и свыкаясь с ними, перестают их ценить, невольно перенося на них свою же пошлость и низость и как бы уравнивая с собой. Так или иначе тетушка Бронич разочаровывала его все больше. Раздражал и пресловутый пан Теодор, услужливо поспевавший освятить своим загобным авторитетом любой поступок. Поражало и поистине птичье проворство, с каким пани Бронич подхватывала высокие понятия из области добра и красоты, которые тотчас же становились в ее устах пустым звуком.

Удивляла, наконец, недоброжелательность ее к людям. Заискивая перед стариком Завиловским, она за глаза отзывалась о нем пренебрежительно, а дочь его терпеть не могла. О Краславской и Терезе говорила всегда с насмешкой, о Бигелях — свысока, а имя Марыни донимало ее, как соринка в глазу. Когда Основскому, Свирскому или Завиловскому случалось хвалить Поланецкую, пани Бронич слушала с такой миной, словно они тем самым умаляли достоинства Линеты. И Завиловский убедился, что она никого на свете не любит, кроме своей «Лианочки».

Но именно это искушало в его глазах все ее слабости. Он еще не понимал, что чувство, ревниво сосредоточенное на ком-то одном, очерствяет сердце и, открывая его для одного, замыкает для других, что это особый вид эгоизма, столь грубый и отталкивающий, как и всякий прочий. Полюбив Линету, сам Завиловский чувствовал, что стал лучше и великодушней, и полагал: человек любящий не может быть дурным, прощая во имя их общей любви тетушке Бронич ее недостатки.

Но едва доходило до Линеты, он сразу терял свою наблюдательность. Недюжинные натуры бывают несчастливы в любви от-

того, что, окружив женщину ореолом, не сознают потом, что они сами — источник того блеска, который их ослепляет. Такая же участь постигла и Завиловского. Линета с каждым днем все больше свыкалась с ним и со своим положением невесты. Сознание того, что он отличил ее, предпочел другим, полюбив и сделав своей избранницей, переполнявшее вначале гордостью, льстившее самолюбию, постепенно притупилось, потеряло прелесть новизны. Все, что можно было извлечь лестного из своего положения, она с помощью тетушки Бронич извлекла. Восторженный хор, по выражению Свирского, умолк, а прекрасное изваяние было так близко, что она принялась выискивать изъяны в мраморе, вместо того чтобы им любоваться. Временами чье-то мнение или похвала еще перевешивали, возвращая к прежнему и преисполняя недоумения: неужели этот простой, влюбленный юноша, заглядывающий ей в глаза и готовый исполнить малейшее ее желание, и есть Завиловский, перед которым преклоняется даже Свирский, а Основский считает чуть не национальной гордостью? А она вот может, когда захочется, послать его принести ей клубники или вязанье! Это было приятное чувство, которое он еще доставлял ей, поражая властью над ним, в чем она иногда просто-душно ему признавалась.

Как-то, гуляя, забрели они на заболоченный луг, и Завиловский принес ей из дома калоши. Затем, опустившись на колени, сам стал ее обувать, целуя ей ноги.

— Вы такой знаменитый — и калоши мне надеваете! — сказала она, глядя на его склоненную голову.

Завиловского позабавили ее слова.

— Потому что я очень, очень люблю тебя, — весело ответил он, подымая на нее глаза и не вставая с колен.

— Хорошо, но интересно бы знать, что люди-то скажут?

Это занимало ее, казалось, больше всего. Завиловский стал ее укорять за обращение на «вы», не заметив, каким небрежным тоном, будто речь шла о чем-то совсем неважном и давно известном, произнесла она это «хорошо». И дальнейшие его слова тоже слушала краем уха, а говорил он, что не кичлив и не считает себя человеком необыкновенным, но дарование свое ценит и самое большое счастье для него, служа высокому искусству, любить просто, по-земному. И в подтверждение, обвив руками, прижал к груди предмет своей «земной» любви. При этом его выступающий подбородок выдвинулся еще больше вперед, как обычно, когда он воодушевлялся. Линета попросила его отучиться от этой дурной привычки, придающей ему суровое выражение: она любит видеть вокруг себя лица веселые. А как тяжело он дышал вчера, катая ее по пруду на лодке, припомнила она заодно, — наверно, от усталости. Но это «действует ей на нервы», хотя тогда она и промолчала. Ей вообще многое «действует на нервы», но больше всего — когда громко сопят при ней.

И с этим заявлением она сняла шляпу и стала обмахиваться. Светлые ее волосы развевались по воздуху, и в зеленоватой тени ольховника, сквозь листву которого там и сям пробивались солнечные лучи, она была сказочно хороша. Завиловский ухивался ее красотой, а слова ее принял за каприз очаровательной девочки. Что там было в них еще — он не искал и не находил, потому что любовь его была проста, хотя и велика.

Но в простоте своей и возвышенна. И Лианочка, которая легкой паутинкой обвилась вокруг крыльев орла, невольно уносилась вместе с ним в горние выси, где каждый удар сердца требовалось услышать, малейшее движение души угадать и понять и, дабы удержаться, приходилось напрягать весь свой ум. А она, по собственному ее выражению, была такая «ленивица»! А «орлу» и невдомек было, что у нее на такой высоте голова кружится и усталость берет.

И в последнее время, просыпаясь по утрам и думая о предстоящей встрече с женихом и необходимости настраиваться на его высокий лад, она все чаще испытывала чувство ученика, которому задали трудный урок. Урок этот она однажды уже выучила, ответила, что знала, и смотрела теперь на свое положение невесты как на каникулы, сытая по горло собственной и чужой незаурядностью, оригинальными суждениями, меткими словечками — всем, что до сих пор служило ей оружием. Она чувствовала, что запасы истощены и колодезь вычерпан до дна. Осталось только демонстрировать свою артистичность, и несносный «Игнась» мог бы удовольствоваться тем, что она, указывая ему время от времени на широко раскинувшийся луг, полосу леса, на золотистую, словно напоенную солнцем рожь, восклицает: «Какая красота!» Для нее это труда не составляло. Правда, надо отдать ему справедливость, он не уставал восхищаться ее художественным чутьем, которое выражается в одном этом слове «красота», но если так, чего же ему еще надо? К чему тогда понуждать ее делать над собой ненужные усилия всеми этими разговорами и манерой изъяснять свои чувства, наконец, самой любовью? А не подозревает, чего ей это стоит, делает бессознательно, тем хуже: нельзя же быть таким заумным, не отдавая себе даже отчета в этом. Пусть беседует в таком случае со Стефой Ратковской!

В обществе Копосика панна Каstellи отдыхала, тут не нужно было никаких усилий. Один вид его приводил в хорошее настроение, возбуждая улыбку и желание шутить. Полавецкий, тот еще мог приревновать как-то Коповского к Марыне; но Завиловскому, который витал исключительно в духовной сфере и все мерил этой мерой, в голову бы не пришло, что такая «одухотворенная» и «умная» девушка, как Линета, может смотреть на Коповского иначе, чем на объект веселых шуток, которые она беспрерывно с ним проделывала. Ведь даже пани Бронич при всей своей ограниченности и мысли не допускала, что Линета могла бы

выйти когда-нибудь за Коповского! Сцена между ним и Анетой, свидетелем которой оказался Завиловский, ничему его не научила — свою Лианочку считал он полной противоположностью Основской. Недаром же Лианочка его полюбила, его, кто, в свой черед, прямой антипод Копосика. Уже одно это исключало всякие сомнения. Лианочка дурачилась с Копосиком, писала его портрет, слушала его глупейшие, по мнению Завиловского, разглагольствования, подшучивая над ним, задорно на него поглядывая, но она ведь сущий ребенок, ей поиграть еще хочется, пошалить. Зато никто лучше нее не понимает, как он бесконечно глуп, и никто не помнит этого так часто. Сколько раз она высмеивала его тупость перед Завиловским...

Но не все смотрели на эти отношения как на невинную забаву, и прежде всего Анета, которая не раз говорила мужу, что Линетка просто кокетничает с Коповским. Юзеку тоже иногда казалось, что она права, и он вознамерился под каким-нибудь благовидным предлогом выпроводить Коповского из Пшитулова, но Анета не соглашалась. «А если у него серьезные намерения в отношении Стефы? С нашей стороны нехорошо было бы препятствовать счастью бедной девушки». Копосик был, по мнению Основского, вовсе недостойн этой славной девушки, но она действительно была бесприданницей, и потом, Анете очень хотелось их поженить, — он не смел ей перечить.

Поведение Линеты, однако, удивляло, даже возмущало Основского. «Ведь у нее жених есть, и какой! А она с этим дураком кокетничает, для этого самой надо безмозглой куклой быть». Но поначалу он гнал от себя подобные мысли. И, думая, будто Анета преувеличивает, стал следить за молодой девушкой, а поскольку был человеком неглупым, когда дело не касалось жены, заметил за Линегой такое, что, принимая во внимание его дружескую приязнь к Завиловскому, настораживало. Не обнаружилось, правда, ничего грозившего изменить положение вещей, но возникал вопрос: что ждет в будущем Игнася, если Линета его не ценит и так мало развита в нравственном отношении — не только находит удовольствие в обществе этого безмозглого красавчика, но еще его завлекает, голову ему кружит? «Анетка судит о других по себе, — рассуждал Основский, — вот и ошибается, приписывая Линете возвышенные чувства; нет, она — кукла, марионетка; если бы не благотворное влияние Анеты и Игнася, душа ее спала бы непробудным сном». Так этот несчастный, страдающий любовным дальтонизмом человек, приближаясь, с одной стороны, к истине, с другой — удалялся от нее. Присматриваясь все внимательней к Линете, он без особого труда убедился, что, хотя эта «идеальная» натура как будто и не принимает Коповского всерьез — дурачится, дразнит его, даже выставляет на смех, но одновременно питает к нему и неодолимую слабость, род влечения всех светских вертушек к смазливому франтам. А Коповский, и без того дурак феноменальный, на свежем воздухе будто

еще больше поглупел, зато его нежная кожа покрылась золотистым загаром, отчего и зубы стали казаться еще белей, и глаза ярче, а растительность на лице, выгорев, приобрела лоснистую шелковистость. Он был само изящество — не только благодаря молодости и красоте, но и своему тонкому белью, галстукам, изысканным и вместе простым костюмам. Озаренный солнцем, в белой английской фланели для лаун-тенниса, казался он олицетворением утренней свежести и неги. Мягкая ткань красиво облегла его гибкую, стройную фигуру; где же было костлявому, голенастому Завиловскому с его массивной вагнеровской челюстью тягаться с этим дамским любимчиком, напоминавшим одновременно и греческих богов, и картинки из модных журналов, и итальянские глиптотеки, и франтов за табльдотами в Биаррице или Остенде! Нужно было чудачкой быть, как эта тихоня Стефа, чтобы утверждать (наверно, назло), что он ходячий манекен. Линета посмеялась, правда, когда Свировский однажды пошутил, что, если спросишь Коповского о чем-нибудь незначай, у него такой взгляд, словно он дурак в шестнадцатом поколении равно по мужской и женской линии. Вид у него и в самом деле бывает бестолковый, и он не сразу понимал, чего от него хотят. Но зато какая жизнерадостность, приветливость и при всей несообразительности — какая воспитанность, а за его неподобную красоту и элегантность все прощалось.

Завиловский ошибался, полагая, что слабость к роскошеству питает только тетушка Бронич, а невеста его ведать не ведает о просьбах, с которыми та к нему обращается. Линета знала обо всем. Простясь с надеждой, что ее «Игнась» сможет когда-нибудь сравниться с идеалом, она хотела, чтобы он, по крайней мере, к нему приблизился. Влечение к внешнему лоску и шику было у нее врожденное, и тетушка, прося Завиловского купить то или другое, выполняла лишь пожелания Линеты. Та действительно с одного взгляда отличала шелк от фильдекоса и тянулась к шелку всей душой. Сам Коповский был для нее словно шелк среди других тканей. И не внушай ей Анета всякие возвышенные чувства и не удерживай сама молодого человека, Линета, несомненно, вышла бы замуж за Коповского. Основский, пришедший в конце концов к заключению, что так было бы лучше и для нее, и для Завиловского, но не знавший всей подоплеки, только удивился, почему этого не случилось.

Как-то он поделился своими мыслями с женой, но та рассердилась.

— Не случилось, потому что было невозможно. А ты думаешь, все должно следовать твоей логике? Я первая заметила, что она кокетничает с Коповским. Но кто же знал, что она способна на такое? Слышанное ли дело — невеста, а кокетничает с другим. Она это со скуки, назло Стефе, а может, в Завиловском хочет ревность возбудить. Кто ее там знает! Легко тебе теперь говорить и на меня сваливать: я этот брак устроила. А ты где раньше был?

Вспомни лучше, как сам Линетой восхищался, какая, мол, возвышенная натура, вот именно она бы и составила счастье Игнася. Ничего себе возвышенная натура! Сейчас кокетничает с Коповским, а будь она его невестой, кокетничала бы с Завиловским! Горбатого могила исправит! По-твоему, она больше для Коповского подходит; ну, так надо было думать заранее, а не теперь, когда она уже невеста Завиловского. Но ты это нарочно, чтобы мне досадить: какую я сделала глупость, помогая Игнацию.

И разговор принял совсем другой оборот: Линета и Завиловский отошли на задний план, а на передний выступили жестокость и деспотичность Юзека. В результате Основскому же пришлось оправдываться.

— Анеточка, как ты можешь даже допустить, что я хотел попрекнуть тебя? — развел он руками. — Я же знаю, ты из самых лучших побуждений. Но я люблю Игнася, и меня тревожит его будущее. Я от всей души желал бы ему точно такую женушку, как ты. Да пусть у меня язык отсохнет, если я птичку мою дорогую обидел чем-нибудь ненароком. Я просто так пришел, поговорить, посоветоваться, ты ведь у меня умница, всегда найдешь выход из положения.

И он стал целовать ей руки, плечи, лицо, нежно, с упоением, а она уклонялась, отворачиваясь.

— Ах, Юзек, какой ты потный!

Он потный был почти всегда, потому что по целым дням играл в теннис, ездил верхом, занимался греблей, таскался по полям и лесам — все в угоду ей, чтобы похудеть.

— Скажи только: ты не сердишься? — спросил он, отпуская ее руку и с нежностью заглядывая ей в глаза.

— Ну, не сержусь!.. Только какой я могу дать совет? Ну, пускай поскорей уезжают в Шевенинген, а Коповский здесь со Стефой останется.

— Вот и выход! Да, пусть в начале августа уезжают. А тебе не кажется, что Стефа как-то не очень... что Копосик не по сердцу ей?

— Она скрытная. И вообще ты плохо женщин знаешь.

— Да, наверно, ты, как всегда, права. Но, по-моему, она недолголюбивает Линету. Может, поэтому и на Коповского сердится?

— А что? — встрепелась Анета. — Ты что-нибудь заметил между ним и Линетой?

— Копосик, он и есть Копосик. Знает, что зубы у него красивые, вот и улыбается ей. Но если бы я заметил между ними что-нибудь такое, его давно бы уже здесь не было. Может, и Линета кокетничает с ним просто так... *sans le savoir*...¹ Хорошо тут, конечно, мало, но не думаю, чтобы серьезное что-нибудь.

¹ безотчетно (*фр*).

— Нужно бы выведать все-таки у Коповского, как он к Стефе относится. Знаешь что? Съезжу-ка я с ним сегодня верхом к лесной сторожке и поговорю дорóгой. А вы в другую сторону поезжайте.

— Ладно, детка. Вот как славно у тебя головка работает! И он пошел было к двери, но в раздумье остановился на пороге.

— Странно как, однако, и непонятно... Игнась на лету все схватывает, а ее боготворит — и ровно ничего не видит.

После полудня Коповский с Анетой верхами ехали по тенистой дороге к лесной сторожке. Провожая глазами всадницу, Завиловский залюбовался ее стройной фигурой, похожей издали, в облегающей амазонке, на изящный кувшинчик.

«До чего же стройна и хороша! — подумал он. — Какая, однако, ирония судьбы: Основский, человек такой добрый и достойный, а вот обманут».

Да, была в этом ирония судьбы. Но не только в этом.

ГЛАВА LIV

После верховой прогулки Анеты с Коповским в лесную сторожку в настроении обитателей Пшитулова произошла перемена. Завиловский, правда, по-прежнему не сводил восторженных глаз с невесты, но в ее обращении с ним и остальными проскальзывало плохо скрытое раздражение. Коповский держался скованно, на Линету поглядывал украдкой, подходя к ней с явной поспешностью и только в отсутствие Анеты, зато много времени проводил в обществе Стефании, хотя с видом самым рассеянным. Анета была еще деятельнее обычного и принимала, к удовольствию Юзека, столь горячее участие во всем происходящем в Пшитулове, что еще дважды беседовала с Коповским наедине. Линета не поглядывала больше на Коповского с прежним полущутливым, полунасмешливым выражением, а грустные глаза Стефании задерживались на Завиловском с сочувствием; словом, происшедшая в Пшитулове перемена выражалась не только в настроениях, но и взорах.

Но лишь привычному, наметанному взгляду удалось бы подметить эти перемены в праздной, бесцельной жизни, в которой тончайшие оттенки чувств, настроений и мыслей приобретают видимость важных событий, а чаще их предвещают. Внешне жизнь в Пшитулове оставалась тем, чем была, то есть отдыхом налоне природы, веселым, нескончаемым пикником, в программу которого входили любовь, восхищение красотой, более или менее приятные беседы и развлечения. Усилия ума направлялись только на то, чтобы измыслить новые забавы и заполнить ими день, но и эту обязанность по большей части брал на себя Основский как хозяин дома.

Но однажды Завиловскому и Основскому вручили по конверту с траурной каймой, которые, точно удар грома, смутили эту безмятежно-размеренную жизнь. Принесли их, когда вся компания сидела за послеобеденным кофе, и дамы с беспокойством обратили взоры на мужчин, которые вскрывали конверты и читали вложенные в них карточки.

— Завиловский умер! — в один голос вскричали они.

Известие произвело на всех сильное впечатление. Пани Бронич как особа старого закала, не запаматовавшая те времена, когда при одном появлении нарочного в деревне чувствительные барышни падали в обморок, обмерла и лишилась дара речи. Стефания, которая жила некоторое время у Завиловских и была к ним непритворно привязана, побледнела; панна Кастелли схватила тетушку за руку и, шепча: «*Voyons chère, tu n'es pas raisonnable*¹», старалась привести ее в чувство. Анета, словно желая собственными глазами удостовериться в подлинности известия, взяла у мужа карточку и прочла вслух: «Светлой памяти Эустахий Завиловский опочил двадцать пятого июня и прочая, и прочая... Дочь его, с глубоким прискорбием извещая о кончине, приглашает родных и близких на погребение, имеющее быть в епархиальном костеле в Ясмене двадцать восьмого числа сего месяца...»

Наступило минутное молчание; первым его нарушил Завиловский.

— Я мало его знал и был против него предубежден, — сказал он, — но убедился, какой это на редкость порядочный человек, и теперь мне очень его жаль.

— Он тоже тебя полюбил, — заметил Основский. — Могу это подтвердить.

Тетушка Бронич, которая успела уже немного прийти в себя, сообщила, что подтверждения эти вполне обнаружатся лишь теперь, и пан Эустахий окажется, быть может, еще добрей, чем можно было полагать. «Он всегда Лианочку любил, а значит, не мог быть дурным человеком». Ей, то есть пани Бронич, он покойного Теодора напоминал, вот почему она была привязана к нему. Правда, он резковат бывал, не то что Теодор, всегда ласковый, но оба великодушные, господь бог обоим за это воздаст.

Затем, обратясь к Лианочке и напомнив о ее прирожденной впечатлительности, стала умолять не волноваться, не то опять под ложечкой заболит. Завиловский, охваченный чувством, что у них с Линетой первое общее горе, взял ее руки и стал целовать. Один Коповский нарушил подавленное настроение.

— Интересно, а как панна Елена отцовскими трубками распорядится? — высказал он свое глубокомысленное суждение о бренности всего сущего.

У старика, не признававшего ни сигар, ни папирос, была славившаяся на весь город коллекция курительных трубок, и он в

¹ Ну, дорогая, будьте благоразумны (*фр.*).

свое время даже устраивал у себя своеобразные сидения трубок. Но беспокойный вопрос Коповского об участии трубок так и повис в воздухе: Завиловскому как раз принесли еще письмо — от Поланецкого, который тоже извещал о смерти старика и о дне похорон, а Основский отвлекся, улаживаясь с женой о поездке в Ясмень.

Было решено не медля возвращаться в город, чтобы дамы успели купить кое-какие принадлежности траурного туалета, а завтра, в день похорон, всем отправиться в Ясмень. Так и сделали. Завиловский отвез вещи к себе на квартиру, приготовил на утро черный костюм и пошел к Поланецким в надежде застать их тоже в городе. Но от слуги узнал, что был только барин и вчера же уехал в Ясмень и что господа вот уже недели две и живут там, поблизости, где у них дом, не то снятый, не то купленный.

Тогда Завиловский вернулся на дачу, чтобы провести вечер с невестой. Входя, он с удивлением услышал доносившиеся из дома звуки вальса Штрауса и спросил у Стефании, кто это играет.

— Ляночка с Коповским, — отвечала она.

— Как, и Коповский здесь?

— Да, уже с четверть часа.

— А Основские?

— Еще не возвращались. Анета ездит по магазинам.

Завиловский впервые ощутил недовольство своей невестой. Он понимал: покойник — чужой ей человек, тем не менее играть сейчас вальс в четыре руки совсем неуместно. Многоопытная тетушка Бронич тотчас обо всем догадалась по его лицу.

— Ляночка так расстроена, так утомлена, — упредила она его, — а музыка лучше всего ее успокаивает. И я побоялась приступа: у нее уже заболело под ложечкой, вот и предложила им сыграть что-нибудь.

Игра прекратилась, и неприятное впечатление рассеялось. Все в этом доме было полно для него недавних, милых сердцу воспоминаний. И, прохаживаясь теперь в сумерках под руку с Линетой по комнатам, он то и дело останавливался и припоминал какой-нибудь случай.

— А помнишь, — сказал он в мастерской, — как ты во время сеанса трогала меня за виски, чтобы повернуть мне голову, и я первый раз поцеловал тебе руку? А ты мне сказала: «Поговорите с тетей», и у меня даже дыхание перехватило, только что сознание не потерял. Ты моя единственная, самая, самая дорогая...

— Ты тогда очень побледнел, — отозвалась она.

— Еще бы! У меня чуть сердце не разорвалось. Ведь я был уже без памяти влюблен.

Панна Кастелли устремила глаза вверх.

— Как странно!

— Что, Ляночка?

— Да так, начинается вроде бы незаметно, с пустяков, а потом втягиваешься, как в игру, и вдруг — замок защелкивается.

— Да, замок защелкнулся! — повторил Завиловский, прижимая ее руку к груди. — И я никому не отдам мою ненаглядную.

Они перешли в гостиную, и Завиловский, не выпуская ее руки, указал на застекленную дверь.

— Наш балкон и наши акации.

Сумерки сгущались. Комната погрузилась в полумрак, только на позолоченных рамах картин бликами отсвечивал закат, точно чьи-то глаза подглядывали за молодой парой.

— Ты меня любишь? — спросил вдруг Завиловский.

— Ты же знаешь.

— Скажи: да!

— Да!

Он еще сильнее прижал ее руку к груди и голосом, дрогнувшим от избытка чувств, признался:

— Ты и не представляешь, как я счастлив! Просто не можешь себе представить! И не знаешь, как я тебя люблю. Я жизнь за тебя готов отдать. Один волосок твой дороже мне всех сокровищ мира! Ты моя жизнь, моя вселенная, ты для меня все! Я жить без тебя бы не мог!

— Давай посидим, — прошептала Линета. — Я очень устала.

Они присели в темноте, касаясь друг друга плечами. Наступило молчание.

— Что с тобой? Ты весь дрожишь, — сказала шепотом Линета.

И то ли ей передались его чувства, то ли взволнованная воспоминаниями или его близостью, только она сама задышала прерывисто, и, закрыв глаза, подставила губы для поцелуя.

И в ту же минуту раздался звук вальса, игранного ею только что с Коповским: тот, видимо скучая в обществе Стефании и пани Бронич, опять сел за фортепиано.

А Завиловский, воротясь в свою холостяцкую квартиру, почувствовал себя так неприютно и одиноко, словно во временном пристанище, которое навсегда забудется, и подумал: золотая «Лианочка» так крепко обвилась вокруг его сердца, что он жить без нее не может.

Состоявшиеся на другой день похороны Завиловского были немногочисленны. Имена близ Варшавы принадлежали по большей части людям состоятельным, которые поезжали на лето за границу, да и в городе по той же причине не оказалось почти никого из знакомых. В костел понабилось лишь множество крестьян, глазевших на гроб с некоторого рода удивлением: такой знатный, богатый пан — всего-то у него было вдоволь: и земли, и денег, и добра всякого, — а тоже вот зароят в могилу, как последнего бедняка. Иные с завистью поглядывали на дочь покойного — наследницу всего этого добра. И не только крестьяне, но и люди просвещенные — такова уж натура человеческая — не

могли, даже во время заупокойной службы, не думать об этих миллионах, которые остались панне Елене в утешение, и на что она их употребит. Иные в молодом Завиловском как последнем мужском представителе рода видели наследника значительной доли состояния, задаваясь втайне вопросом, не перестанет ли этот удачливый поэт, а завтра, может, миллионер, писать стихи. И думали с необъяснимым злорадством: наверно, перестанет.

Но главное внимание приковывала к себе дочь покойного. Все дивились смирению, с каким переносит она утрату, тем более тяжкую, что после смерти отца у нее не осталось никого на свете, не считая молодого поэта, — даже друзей, которых она давно порастеряла. Слезы струились по ее словно окаменелому, помертвело-спокойному лицу, когда она шла за гробом, и, воротясь с похорон, упоминала она о смерти отца так, будто по меньшей мере несколько месяцев минуло с той поры. Пшитуловским дамам не дано было понять, что спокойствие ее — следствие глубокой веры, благодаря которой эта утрата в сравнении с той, другой, истерзавшей ей душу, печалит ее, но не убивает, вызывая слезы горести, а не отчаяния. И хотя смерть наступила внезапно, Завиловский скончался как христианин. Со времени переезда в Ясмень он, ища утешения в религии, исповедовался два раза в неделю. И в тот день задремал в своем кресле с четками в руках, умерев во сне, а мучившие его боли за несколько дней перед тем прекратились, так что у него появилась даже надежда на выздоровление. Рассказывая обо всем этом тихим, монотонным голосом, Елена под конец обратилась к Завиловскому:

— Отец часто вас вспоминал. И за какой-нибудь час до конца сказал, что хотел бы повидаться, если вы будете в Бучинеке у Поланецких, — чтобы ему сейчас же дали знать. Он очень хорошо к вам относился, ценил вас и любил.

— Дорогая Елена, — сказал Завиловский, целуя ей руку, — я скорблю вместе с вами.

В его словах и тоне было столь неподдельное благородство, что на глазах Елены навернулись слезы, а тетюшка Бронич зарыдала в голос, и только флакончик с нюхательной солью, поданный панной Кастелли, удержал ее от истерики.

Елена же, словно не слыша, стала благодарить Поланецкого за помощь, — он занялся похоронами, взял на себя все хлопоты, которые смерть, кроме горя, обрушивает на близких. Отчасти взялся он за это из сочувствия, отчасти же потому, что хватался теперь за любое дело, лишь бы занять себя, отвлечься от мучительных мыслей.

Марыня по совету мужа, который боялся, как бы сутолока и волнение ей не повредили, не была на похоронах, но и до, и после не отходила от Елены и утешала ее как умела. Под конец пригласила ее вместе с пшитуловскими дамами в Бучинек, уговаривая пожить у них несколько дней. Поланецкий присоединился к просьбе, но Елена, с которой в Ясмене жила ее бывшая гувер-

нантка, отказалась, говоря, что не будет одинока, да и не хотелось бы уезжать из дома, особенно первое время.

Пшитуловские дачы, напротив, охотно согласились, тем паче давно собирались в Бучинеке, увещаемые Свирским, да и тетушке Бронич не терпелось расспросить Поланецкого поподробней о последних минутах покойного. Марыня, с интересом приглядываясь к Стефании, усадила ее с собой в экипаж, и, как это порой бывает, молодые женщины сразу возымели горячую симпатию друг к другу. Марыня с первого взгляда, по печальным глазам Стефании, ее «притишшему», как выразился Свирский, лицу, угадала в ней натуру робкую, замкнутую, но тонкую и впечатлительную. Стефания, со своей стороны, слышала о Марыне много хорошего от Завиловского — другие пшитуловские дамы не очень-то любили внимать похвалам кому бы то ни было, кроме себя самих, — и, прочитав в глазах Марыни участие и доброжелательность, которых ей в одинокой, исполненной лишений жизни так не доставало, тоже почувствовала к ней расположение. Таким образом, в Бучинеке приехали они уже добрыми приятельницами, и Свирский, явившийся следом за ними с Поланецким, Основским и Коповским, без труда понял, что мнение Марыни о Стефе самое лестное.

Но ему хотелось услышать это из ее уст. Между тем Марыня показывала гостям дом, который скоро должен был перейти к ним в собственность: Поланецкий решился на покупку. Особенно понравившаяся всем сад, где росли старые тополи. Свирский, воспользовавшись тем, что общество разбрелось по аллеям, подал Марыне руку и на обратном пути спросил напрямик:

— Ну что? Каково первое впечатление?

— Самое хорошее. Ах, какая она, наверно, ласковая, добрая девочка! Постарайтесь с ней поближе познакомиться.

— Поближе? А зачем? Сегодня же и сделаю ей предложение. Не верите? Даю слово, сегодня — и прямо здесь, в Бучинеке. Некогда мне раздумывать да присматриваться. В таких делах риск должен быть. Вот клянусь, нынче же ее руки попрошу.

Марыня засмеялась, думая, что он шутит.

— Мне тоже смеяться хочется — от радости, — сказал он. — И не беда, что это с похоронами совпало: я не суеверен. Наоборот, убежден, что с вашей легкой руки все будет хорошо.

— При чем же тут я? Ведь мы с ней только что познакомились...

— Не важно. Всю жизнь я остерегался женщин, а ее не боюсь ни капельки почему-то. Она не может быть черствая, не может.

— По-моему, тоже.

— Вот видите! А мне откладывать уже некогда. Согласится быть моей женой — всю жизнь буду ее носить вот тут. — Он сунул руку за борт сюртука. — А нет...

— Тогда что?

— На уток охотиться не поеду, нет-нет! Затворюсь в мастерской и неделю буду работать с утра до вечера. Это для меня поважней, чем вы думаете. Но сдастся мне, она не откажет. Этот дамский угодник, Копосик, ей не нравится. Она сирота, у нее никого на свете нет, а мне она такое благодеяние окажет, которого я вовек ей не забуду; ведь, в сущности, я добрый человек, хотя и боюсь стать мизантропом.

Впервые Марыня слышала его говорящим так серьезно.

— Да, вы добрый, вы никогда не будете мизантропом.

— Ошибаетесь, — возразил он с живостью, — от этого никто не застрахован. Я буду с вами откровенен. Вы думаете, я доволен жизнью? Вовсе нет! Это только кажется. Ну, заработал немного денег, добился известности. Но вряд ли есть другой такой мужчина, который бы так жаждал найти в женщине идеал. И что же? Узнал вас, узнал пани Бигель, еще, быть может, двух-трех женщин — добрых, умных, благородных, чистых как слеза... Не перебивайте! Я не собираюсь комплименты вам делать и не осуждаю никого, просто у меня сердце болит оттого, что большинство наших соотечественниц тщеславны, ограничены, черствы; все такие эгоистичные, мелочные, неблагодарные натуры, точно куклы из папье-маше, а сколько неискренности, сколько претензий! Больше чем достаточно, чтобы разочароваться в людях. — Он помолчал и прибавил: — А Стефания не такая: спокойная, мягкая и очень порядочная, такое у меня впечатление. Дай бог, чтобы так оно и было — и чтобы она мне не отказала.

Тем временем пани Бронич на глазах у всех отвела в сторонку Поланецкого.

— О! Он мне мою молодость напоминал! — сообщила она, закатывая глаза. — И хотя долгие годы мы не поддерживали отношений, я всегда к нему питала чувства самые дружеские. Вы ведь, наверно, слышали... Нет, вы не могли слышать — я никому не говорила, — что единственно от меня зависело, стать или не стать Елене матерью... Теперь хранить эту тайну нет нужды. Он дважды просил моей руки, и я дважды ему отказывала. Я всегда его почитала и уважала, но молодость, знаете, ей другое нужно, и я это нашла в моем Теодоре... Да, да, как же... Первый раз на Искии, второй раз в Варшаве. Он страдал, но что мне было делать? Вы на моем месте, наверно, поступили бы точно так же, ведь правда?

У Поланецкого не было ни малейшего желания соображать, как бы он поступил на ее месте.

— У вас ко мне какое-то дело? — осведомился он.

— О да! Мне хотелось узнать о его последних минутах. Елена сказала, он умер внезапно, но вы, живя по соседству, наверно, его навещали и, может быть, помните, о чем он думал, говорил? Какие выражал желания? Я спрашиваю совершенно бескорыстно. Помилуй бог, какие тут расчеты! Вы плохо Лианочку знаете! Просто покойный обещал свои познанские имения Игнаску

отказать. Если он не сдержал обещания или не успел отдать нужные распоряжения — бог простит, как я ему прощаю. Не в деньгах счастье! Кто лучше Лианочки это понимает! Иначе не отказала бы она маркизу Колимасао или Канафаропулосу. А про господина Уфинского не слышали? (Тот самый, который палаццо купил в Венеции на доходы от своих знаменитых силуэтов. Последним силуэтом, который он вырезал, был силуэт принца Уэльского.) Так вот, он в этом еще году сватался к Лианочке. Да, да, дорогой пан Станислав! Мы за богатством не гонимся, чего нет, того нет. Но мне не хотелось бы, чтобы Лианочка пожалела когда-нибудь, что пожертвовала собой, а, между нами говоря, она ведь на жертву идет, и, по мнению света, немалую!

Полавецкий был слишком вспылыв, чтобы пропустить эти последние слова мимо ушей.

— Не имею чести знать ни маркиза Колимасао, ни господина Канафаропулоса, — отрезал он. — И вообще имена эти... мало что здесь кому-нибудь говорят. Панна Кастелли выходит за Игнация, как я полагаю, по любви, а в таком случае о каком самопожертвовании речь? Я человек прямой, говорю, что думаю. В практичности же Завиловского позволительно усомниться, его ведь не интересует, да и не интересовало приданое панны Линеты; но вы отлично знаете, что для нее он партия блестящая, даже по мнению света.

— Ах, вы не слышали, наверно, что Кастелли прямые потомки Марино Фальери...

— Признаться, это новость для меня и, думаю, для всех. Допустим, вы за всякими такими вещами не гонитесь, но коль скоро вы первая заговорили о самопожертвовании, позволю себе возразить: если даже оставить в стороне дарование Игнация и его положение в обществе, для панны Линеты это не мезальянс.

По лицу его и тону было ясно: попробуй пани Бронич заупрямиться, он выразится еще резче, и она, переменив тактику, крепко пожала руку Полавецкому.

— Ах, как это благородно, что вы так горячо защищаете Игнация, как я благодарна вам за это! Но передо мной нет нужды его защищать, ведь я сама полюбила его, как родного сына. Кроме них двоих, никого у меня нет на свете, и если я спрашиваю, не знаете ли вы чего о последней воле покойного, то единственно ради Игнася. Знаю я, знаю: любят старики откладывать все на потом, как будто смерть можно обмануть. Ее не обманешь, ох, не обманешь! Елене-то к чему все это богатство, а Игнась... он бы расправил крылья... Превыше всего для нас с Лианочкой его талант. Но если, боже упаси...

— Что я могу вам сказать? — отвечал Полавецкий. — Что покойный думал об Игнасе, для меня нет сомнения, и вот почему. Дней десять назад велел он принести разное старинное оружие — хотел мне показать, и я слышал, как он сказал дочери: «Отдашь после моей смерти Игнацию — тебе оно ни к чему, и запись

делать в завещании тоже не буду». Из чего я заключаю: или он уже отписал что-то Игнасю, или собирался. Больше мне ничего неизвестно, и ни о чем я его не расспрашивал. Если есть какое-нибудь новое завещание, мы через несколько дней узнаем, Елена его не утаит...

— Конечно, не утаит! Вы хорошо знаете эту честную девушку? Я, пожалуй, знаю получше и могу поручиться за нее. И вы даже и не стройте при мне всяких таких предположений. Чтобы Елена утаила? Да быть такого не может!

— Не приписывайте мне, пожалуйста, того, что я не думал и не говорил. И вообще утаить завещание невозможно, оно пишется при свидетелях.

— Стало быть, нельзя утаить, свидетели не позволят. Я тоже думала, нельзя. Не мог пан Завиловский забыть сделать запись хотя бы ради Ляночки, ведь он души в ней не чаял, на руках ее носил, еще вот такусенькую... — И пани Бронич показала руками, какой была Ляночка. — А может, еще меньше... — подумав, прибавила она.

Тут из сада начали сходить к завтраку гости, и они присоединились к ним. Глянув на Линету, Поланецкий подумал: наверно, хорошенькой, милой девчушкой была, когда Завиловский ее на руках носил. И ему вспомнилось, как сам он носил Литку.

— Значит, вы много лет знакомы с Завиловским? — спросил он.

— О да! — отвечала Линета. — Года четыре, пожалуй... Тетя, сколько лет мы уже знаем пана Завиловского?

— У тебя от любви все в голове перепуталось! — воскликнула тетюшка Бронич. — Ах, вот завидный возраст, вот счастливое время!

Между тем Свирский, сидя подле Стефании, всем своим существом чувствовал, как непросто исполнить обещание, данное Марыне. Мешало не только присутствие посторонних; еще больше — робость, усугубляемая волнением и неуверенностью. «Оказывается, я еще больший трус, — повторял он про себя, — чем даже ожидал!» И дело не подвигалось. Хотел хотя бы почву подготовить, а говорил совсем не то и не так. Только теперь увидел он, какая красивая шея у Стефании, с перламутровым отливом возле ушей, и голос очень приятный, — отметив не без удивления, что робеет от этого еще больше. Гости после завтрака как назло не расходились. Дамы были утомлены похоронами, и, когда через час Анета объявила, что пора домой, Свирского охватили досада и вместе с тем облегчение. «Я не виноват, — подумал он, — намерение у меня было твердое».

Но вот дамы пошли усаживаться в экипаж, и вместо облегчения Свирскому стало жалко себя. Подумалось об одиночестве, о том, что не с кем разделить свою славу и недостаток, о той полной участливой доверия симпатии, какую он почувствовал к Стефании с первого взгляда... И в последнюю минуту Свирский решился.

— Пап Юзеф звал меня в Пшитулов,— сказал он, подавая ей руку, чтобы проводить к экипажу. — И я обязательно приеду, но прихвативши кисти и мольберт — очень хочется всегда иметь перед собой вашу головку!..

И осекся, не зная, как перейти к главному, и вместе с тем понимая, что раздумывать некогда.

— Мою головку? — спросила Стефания с непритворным удивлением, не привыкшая, видимо, к таким знакам внимания.

— Могу только, как эхо, повторить с вашего разрешения: всегда перед собой,— понизив голос, торопливо отозвался Свирский.

Стефания с недоумением взглянула на него, но в эту минуту заторопила ее Анета, и Свирский, пожав ей руку, едва успел бросить: «До свидания!»

Экипаж тронулся. Лицо Стефании заслонили раскрытые зонтики, а художник, глядя вслед, спрашивал себя: «Объяснился я или нет?»

Однако он был уверен: Стефания всю дорогу будет раздумывать над его ответом. И даже был доволен своей находчивостью. «Удачно получилось», — думал он; странно только, почему вместо радостного волнения гложет какая-то неудовлетворенность. И слишком уж он спокоен для такого торжественного события.

И он в раздумье зашагал к дому от ворот. Наблюдавшая за ним Марыня сгорала от любопытства, но спросить не решилась, хотя мужа в комнате не было. Свирский сам все прочел в ее глазах и ответил точно на вопрос:

— Можно считать, объяснился... Но не совсем... Поговорить не удалось, она и ответить не успела. Не знаю даже, поняла ли.

Не замечая в нем прежнего оживления и приписывая это тревоге, Марыня хотела ободрить его, но помешал приход мужа. Свирский стал прощаться, но, невзирая на присутствие Поланецкого, не захотел, по-видимому, оставлять ее в неведении.

— Завтра или сам поеду в Пшитулов, или письмо ей напишу; ответ, надеюсь, будет благоприятный,— сказал он, с чувством целуя ей руку.

Затем сел на извозчика, целиком погрузясь в свои мысли — и в скрывшее его от глаз облако пыли.

Будучи художником, имел он привычку даже невольно, бессознательно подмечать все кругом, но сейчас лишь краем глаза следил за дорогой, занятый совсем другим.

«Какого черта! — говорил он себе. — Что с тобой, Свирский? Или не готовился ты двадцать пять лет перескочить этот рубеж? Разве не свершилось то, о чем еще сегодня утром мечталось? Почему ты не ликуешь? Не радуешься? Почему не кричишь: «Вот оно! Женишься, старый бирюк! Наконец-то! Наконец-то!»

Но напрасно он себя подогревал. Душа оставалась холодной. И хотя разум внушал: ты счастлив, ощущения такого не было.

И удивление его все возрастало. Ведь, кажется, шаг сознательный, добровольный. И делает его не зеленый юнец, не вертопрах, не истерик, который сам не знает, чего хочет. Как рассудил, так и поступил, не меняя решения. И Стефания все та же милая, тихая девушка, которая — он знал — его не разочарует. Почему же не вдохновляет его мысль, что она станет его «женушкой», о какой давно мечталось?

«Сказал я, может быть, и находчиво, но недоставало чувства. Да, будь я неладен, чувства не было в моих словах — и ясности. Просто неудовлетворенность меня мучает, недоведенность до конца».

Тут течение его мыслей нарушили впечатления эстетические. На пологом склоне паслись овцы, и на этом залитом солнцем зеленым фоне казались они издали обрамленными золотом голубоватыми пятнами.

«Овцы-то, оказывается, голубые, выходит, правы импрессионисты, — пробормотал он. — А ну их к черту, женюсь, да и все!»

И вернулся к прерванным мыслям. Да!.. Внутреннее его состояние не оправдывало ожиданий и надежд. Бывает, самому себе не хочется в чем-то признаваться. Так и со Свириком. Он Стефанию не любил — вот простой ответ, который напрашивался сам собой. Но он избегал его, пока мог. Не хотелось признаваться, что не чувство к девушке, а желание жениться толкнуло его на этот шаг. Попытки объяснить себе свое состояние неуверенностью в ее согласии были только уверткой. Он ее не любил, только и всего! Обыкновенно сначала является женщина, а потом пробуждается любовь, он же искал женщину для удовлетворения своей потребности в любви, то есть шел прямо противоположным путем. Храм воздвигают, уже имея кумир, а он возвел храм, чтобы ввести туда свое божество, — и не потому, что возлюбил его; просто оно подходило к архитектурному стилю постройки. И уразумел в конце концов, почему давешняя решимость и нетерпение сменились безразличием. Понятно стало, почему, взявшись с таким пылом за свой план, он остыл, осуществив его.

И уже не удивление, а печаль им овладела. Лучше было бы, наверно, не размышлять, какова должна быть его избранница, не строить теорий, а взять да и жениться на первой приглянувшейся. Женщину любят такой, какая она есть, рассуждал он, а не прилагают к ней каких-то взятых с неба представлений о любви, ведь они сами — как дитя, рождаемое той же женщиной. И это было тем неприятней, что он считал себя способным на большое чувство, а к Стефании испытывает совсем не такое. Вспомнилась рассказанная Поланецким в Риме история молодого доктора, отвергнутого бездушной куклой, который говорил: «Я не идеализирую ее, но вырвать из сердца не могу!» Вот тот любил, любил ее больше жизни! И почему-то подумалось о Линете с Завилевским. В памяти всплыло его восторженное, блаженное лицо, виденное в Пшитулове.

И в нем снова пробудился художник, и личные переживания по долголетней привычке отступили перед эстетическими. Он забыл на минуту о себе, о Стефании, сосредоточась мысленно на лице Завиловского, определяя, что в нем самое особенное. Глубокая одухотворенность? Да! Но есть что-то еще более характерное.

И внезапно вздрогнул.

«Как ни странно, у него трагическое лицо»,

ГЛАВА LV

Через несколько дней, вызванный Поланецким, Завиловский отправился в Варшаву. Уезжать ему не хотелось, но Елена настаивала, чтобы он присутствовал при вскрытии завещания. С этой целью они с Поланецким и поверенным покойного, адвокатом Кононовичем, отбыли в Ясмень. Прошло два дня, в письмах к «Ляночке» жених щедро изливал свои чувства, но о завещании не упоминал ни словом, и пани Бронич, которую его излияния приводили обычно в восторг, на сей раз сказала Анете по секрету, что писать так невесте довольно глупо, в этом умышленном умолчании вообще *quelque chose de louche*¹. И хотя первое письмо было писано еще в городе, а второе — едва по приезде в Ясмень, маститая дама твердила, что можно бы намекнуть на свои упования, молчание же говорит о недоверии и просто обидном неуважении к Линеточке.

Основский, напротив, утверждал, что Завиловский об этом умалчивает из деликатности; между ним и тетушкой Бронич даже завязался небольшой спор, и тетушка как тонкий знаток человеческой души выложила ему свое убеждение, что мужчинам вообще не свойственны последовательность и деликатность. «Да, да, все вы непоследовательные, вы-то сами тут, может, ни при чем, да это дела не меняет». И не в силах дальше выносить эту неизвестность, под первым удобным предлогом укатила через два дня в город в надежде разузнать о завещании.

Вернулась она на другой день с Терезой Машко, которую прихватила на станции в Пшитулове: та, оказывается, давно уже собиралась навестить «дорогую Анеточку», — и с известием, что никакого нового завещания нет и единственной законной наследницей огромного состояния остается Елена. В Пшитулове об этом уже знали из третьего письма Игнация, но, подтвержденная тетушкой, новость произвела большое впечатление, так что появление Терезы прошло почти не замеченным. Все это было весьма странно, тем паче что все наперед знали: Завиловский беден. И невестой его Линета стала, когда никакого завещания еще в помине не было. Сблизились они при деятельном участии Анеты, которая без устали «подавала жару», так что ничего не оста-

¹ что-то подозрительное (*фр.*).

валось, кроме как мчаться «на всех парах» вперед. Повлиял и успех стихов Завиловского, его слава; сыграло свою роль также тщеславие Ливеты и ее тетки, польщенных и покоренных тем, что такой известный, превозносимый поэт, чье имя у всех на устах, выбрал именно Лианочку. И, наконец, барышня, которая богатству предпочла талант, ценности духовные, вырастала в общем мнении, этой похвальной молвой тоже нельзя было пренебречь. А дальше все пошло своим ходом: жизненный поток подхватывает нас, как река — щепку, и несет вперед помимо нашей воли. Так или иначе панна Кастелли согласилась стать невестой человека необеспеченного, и, если б не явившиеся позже надежды, ни она, ни тетушка — вообще никто — и не подумал бы смотреть на Завиловского как на лишившегося наследства несчастливца. Благодаря же блеснувшей надежде Завиловский стал еще и выгодной партией, и, когда жизнь, подобно ветру, эту надежду развеяла, — так уж устроен человек! — все были разочарованы. Одни огорчились искренне, другие — в их числе Коповский и пани Машко (последняя сама не зная почему) были втайне довольны таким оборотом дела; даже такой добрый приятель Завиловского, как Основский, не избежал разочарования.

«Мне хотелось быть богаче только ради тебя, — писал между прочим Ливете Завиловский в последнем письме. — Но что богатство в сравнении с тобой! И веришь, я даже забыл и думать об этом и знаю: ты со своими высокими помыслами тоже не станешь огорчаться. А я, клянусь любовью к тебе, ничуть не огорчен. Клятва эта — самая для меня святая, так что верь мне. Знай, со мной тебе не грозят никакие беды и лишения, которые другим приходится терпеть, я тебя от них огражу. Сокровище мое! Деточка моя и повелительница» и т. д. «Лианочка» показала письмо Анете, Стефании, а по приезде тети, разумеется, и ей. В одном только Завиловский не ошибся: пока в Пшитулове только и делали, что толковали о завещании, Ливета посреди всех этих пересудов и сожалений хранила молчание. Пожалуй, лишь взгляд ее стал, как прежде, сонным и, когда речь заходила о Завиловском, едва приметная презрительная улыбка трогала ее губы, да, может быть, дольше обычного оставалась она поговорить с тетей по вечерам, после того как все расходились спать, но на людях эта «возвышенная натура» и голоса не подавала о завещании.

Как-то с глазу на глаз с ней Копосик зайкнулся было о сем предмете, но она, приложив пальчик к губам, погрозила им, давая понять, что не позволяет об этом говорить. Даже сама тетушка при ней выражала свое расстройство очень сдержанно и осторожно. Зато в ее отсутствие вволю изливала накопившуюся на сердце горечь, настолько не зная удержу, что однажды чуть не поссорилась с Основским.

Основский, недовольный, что поддался было общему настроению, всячески старался теперь умалить значение катастрофы и

доказать, что для Линеты это блестящая партия, даже в финансовом отношении.

— Не думаю, что Игнась перестал бы писать, получивши наследство, — говорил он, — но распоряжаться таким огромным состоянием — это отняло бы у него страшно много времени в ущерб творчеству. Знаете, тетя, при мысли об Игнации мне невольно припоминаются слова Генриха Восьмого, который сказал одному из принцев, пригрозившему Гольбейну: «Десять лордов я могу сделать и из десяти мужиков, стоит мне захотеть, но одного Гольбейна не заменят мне и десять лордов». Игнась — человек выдающийся. Поверьте, тетя, я всегда любил Линету и считал ее доброй и очаровательной девушкой, но она еще больше выросла в моих глазах, сумев оценить Игнация... Соединить свою судьбу с таким человеком — да этому любая женщина позавидовала бы. Правда, Анетка?

— Конечно, — откликнулась та, — каждой женщине лестно сознавать, что ее муж что-то из себя представляет.

— А меня, думаешь, не удручает, что по сравнению с тобой я ничтожество? — ответил он полушутя, полусерьезно. — Но что поделаешь! Теперь передумывать поздно! И вдобавок ничтожество это очень, очень тебя любит... — И добавил, обратясь к тетушке Бронич: — У Игнация в банке своих около двадцати тысяч, да еще капитал, оставленный стариком Завиловским, — он тоже перейдет к нему после смерти отца. Так что нуждаться они с Линетой не будут...

— Ну, конечно, — кивнула та снисходительно. — Лианочка знала, на что идет, давая ему согласие, ищи она богатства, достаточно было бы кинуть Канафаропулосу...

— Ой, тетя! Помилосердствуйте! — смеясь, перебила Анета.

— Стало быть, ничего плохого не случилось, — сказал Основский. — Замуж Елена, наверное, не выйдет, и все состояние рано или поздно перейдет если не к нему, то к его детям — только и всего! — Но, видя расстроенное лицо тетушки, прибавил: — Ну, тетя, не унывайте! Положитесь на волю божью! Игнаций хуже от этого не стал...

— Конечно, — ответила она кисло. — Конечно, это дела не меняет. Завиловский талантлив, этого никто не отрицает, но никто не станет отрывать, что ему и не снилась подобная партия. Да! Об этом двух мнений быть не может. И конечно, речь не о состоянии, тем более что разное поговаривают о том, как старик его нажил. Бог ему судья, авось простит за то, что он так бессовестно обманул меня... Мы вот с Линеточкой только что молились за него. Ну, да что поделаешь!.. Лучше бы, конечно, не было у него этой привычки говорить неправду, может, это у них фамильная черта... Да и Игнаций мог бы нам с Лианочкой не так часто на наследство намекать...

— Позвольте! — перебил ее Основский с горячностью. — Никогда он об этом не говорил. Извините, тетя, но это уж слишком!

Он даже ходить к нему не хотел, вы сами при мне его уговаривали.

Но тетушку было уже не удержать.

— Тебе не говорил, а мне так говорил, — возразила она с раздражением. — И Лианочка может подтвердить. И вообще не стоит об этом. Все остается по-прежнему, и огорчаюсь я совсем по другой причине. Ты, Юзек, не знаешь, что такое материнские чувства, и вообще вам, мужчинам, не дано понять, как страшно матери отдавать своего ребенка чужому человеку. Совсем недавно я узнала, что у Завиловского при всех его достоинствах деспотический характер. Да, да! Я и раньше подозревала... А для Лианочки это смерти подобно... Сам Поланецкий этого не отрицает... Он сам, хотя они с Игнацием друзья (насколько мужчины вообще могут быть друзьями), довел до моего сведения, что отец его был самодур и в результате помешался, а это ведь передается по наследству. Я знаю, Игнаций Лианочку любит (если мужчины вообще способны любить), но, как знать, надолго ли его хватит? Он ведь немножко эгоист, этого ты сам не станешь отрицать; впрочем, все вы, мужчины, эгоисты. Что же тут удивительного, если меня все чаще страх берет: а ну как моя девочка достанется деспоту, безумцу и эгоисту...

— Вот чушь! — воскликнул Основский и обратился к жене: — Просто уши вянут! С ума можно сойти!

Анету их разговор забавлял получение всякого спектакля. Прекращения мужа с пани Бронич всегда доставляли ей удовольствие, но на сей раз сцена обещала быть особенно забавной.

— И потом, что за общество!.. — продолжала тетушка, с некоторым даже сожалением глядя на Основского. — Свирские эти, Поланецкие, Бигели!.. Завиловскому многое прощается за талант, но разве для Лианочки это подходящее общество?.. Ну, что делать! Различия в положении — они от бога, но отсюда и разница воспитания. Ты, Юзек, не отдаешь себе в этом отчет (мужчины вообще таких вещей не понимают), но есть мелочи, оттенки, которые приобретают огромное значение. И потом, ты забываешь: Лианочка не такая, как все, малейшее разочарование, обида может ей стоить жизни. Сам подумай, кто они такие, между нами говоря, все эти Поланецкие, Свирские и прочие, с кем водит компанию Завиловский? А ведь Линеточке, может быть, с ними жить!

— Ах, вот вы как поворачиваете? — перебил Основский. — Ладно, попробуем по-вашему. Прежде всего, кто такой старик Завиловский? Это вам хорошо известно, недаром вы добивались его расположения. Но уж коли вы завели речь о подходящем обществе, осмелюсь вам доложить: парвеню — не «все эти Поланецкие», а мы с вами, и это нам знакомство с ними делает честь. Меня никогда ничьи родословные не интересовали, но ежели вам так угодно, извольте уж выслушать. О Свирских вы должны были слышать, что они княжеского рода. Та ветвь их, которая пересе-

лилась в Польшу, перестала себя титуловать, но права на княжеский титул не утратила. Вот кто такие Свирские. А что до нас, дед мой был управляющим имением на Украине, и я этого не скрываю; о происхождении Броничей вы лучше моего знаете. Я этого предмета никогда не касался, но, коли уж здесь все свои, стесняться нечего. Кто Кастелли, вам тоже известно...

— Кастелли свой род от Марино Фальери ведут! — запальчиво воскликнула тетушка.

— Дорогая тетя! Повторяю, здесь все свои.

— Пожелай только Лианочка, и она могла бы стать маркграфиней Колимасао.

— *La vie parisienne!*¹ — ответил Основский. — Не слышали про такую оперетку? Там тоже есть швейцарский адмирал.

Анету перепалка эта несказанно забавляла, Основский же подумал, что ему как хозяину дома не пристало говорить пани Бронич неприятности.

— Но к чему все это? — сказал он миролюбиво. — Вы же знаете, как я Лианочку люблю, мне от всей души хотелось бы, чтоб она была достойна Игнася.

Но его слова только подлили масла в огонь. Услыхав такое кощунство, пани Бронич потеряла всякое самообладание.

— Что? Лианочка?.. Чтобы она достойна этого...

К счастью, дальнейшее объяснение прервал приход Терезы. Тетушка замолчала, не в состоянии вымолвить ни слова от возмущения; Анета спросила Терезу, что поделывают остальные и куда все подевались.

— Пан Коповский, Лианочка и Стефа остались в оранжерее, — ответила Тереза. — Они там орхидеи рисуют. А пан Коповский нас развлекал.

— Это чем же?

— Разговорами... мы так смеялись. Он рассказывал, что его знакомый, некто пан Выж, большой знаток геральдики, уверял его совершенно серьезно, будто в Польше есть герб, в котором изображен стол с ножками.

— Чей же это? Уж не Коповских ли? — отозвался Основский весело.

— А Стефа тоже в оранжерее? — поинтересовалась Анета.

— Да. Все рисуют.

— Сходим к ним?

— Хорошо.

В это время принесли письма; Основский стал просматривать, кому они.

— Это все Анетке, такая маленькая литераторша, а какая у нее всегда огромная корреспонденция... А вот это вам, — протянул он Терезе конверт, — вот это тете, а это Стефе... Знакомый почерк, очень знакомый... Разрешите, я сам ей снесу?

¹ Парижская жизнь! (*фр*)

— Иди, иди,— с готовностью согласилась Анета,— а мы пока письма прочтем.

Основский направился к оранжерее, с любопытством разглядывая конверт.

— Чья же это рука?.. — бормотал он. — Похоже, что... Где-то я этот почерк видел!

Он нашел всех троих под большой пальмой у желтого железного столика, на котором стояла орхидея. Девушки срисовывали цветков в свои альбомы. А Коповский в белом фланелевом костюме и черных носках, с тонкой папироской, которую только что достал из лежавшего возле цветочного горшка изящного портсигара, заглядывал им через плечо.

— Добрый день,— сказал, подходя, Основский. — Ну как мои орхидеи? Правда, хороши? Вот великолепные цветы! Стефа, тебе письмо... Извинись и возьми, прочти. Почерк мне очень знаком, но я, хоть убей, не могу припомнить, кому он принадлежит.

Стефания вскрыла конверт и, пробежав письмо глазами, изменилась в лице. Она побледнела, потом покраснела и опять побледнела. Основский наблюдал за ней с любопытством.

— Вот от кого,— дрогнувшим голосом сказала она и показала подпись.

— А!.. — сказал Основский, сразу обо всем догадавшись.

— Можно попросить тебя на несколько минут?

— Конечно, детка,— ответил искренне тронутый Основский. — Я к твоим услугам.

И они вышли из оранжереи.

— Наконец-то нас оставили одних,— простодушно сказал Коповский.

Линета промолчала и, взяв со стола его замшевый портсигар, стала водить им по щеке. Коповский устремил на ее красивое лицо свои чарующие глаза, от взгляда которых Линета просто таяла. Она давно знала, что он из себя представляет, и беспредельная его глупость не была для нее тайной, но изящество и несравненная красота этого глупца волновали ее плебейскую кровь. Каждый волосок в его бороде имел для нее странную, неотразимую прелесть.

— Вы заметили, что с некоторых пор за нами следят, как не знаю за кем,— продолжал Коповский.

А она, будто не слыша, продолжала водить портсигаром по щеке, потом поднесла его к губам.

— Какая замша мягкая,— сказала она. — Попробуйте...

Коповский взял портсигар и стал целовать то место, к которому прикасалась Линета.

Оба притихли.

— Нам нельзя тут оставаться,— сказала Линета.

И, взяв горшок с орхидеей, хотела поставить его на одну из полочек, которые лесенкой протягивались в теплице, но не могла дотянуться.

— Разрешите мне,— предложил Коповский.

— Нет, нет! — ответила она. — Еще уроните и разобьете. Я с той стороны зайду.

И с этими словами с горшком в руках зашла с другой стороны, где между полками и стеной оставался узкий проход. Коповский последовал за ней.

Линета взобралась на кучу кирпичей, поставила горшок на самую верхнюю полку, но тут кирпичи, дрогнув, разъехались под ней, и она пошатнулась. Стоявший сзади Коповский подхватил ее за талию. И так на несколько секунд застыли они в неподвижности: она — прислонясь спиной к его груди, он — прижимая ее к себе. Линета все больше стала клониться назад, наконец голова ее оказалась на груди Коповского.

— Что вы делаете... нехорошо! — прошептала она, обдавая его горячим дыханием; грудь ее высоко вздымалась.

А он вместо ответа впился губами в ее губы. Руки ее быстрым движением крепко обвили его шею, и она, не переводя дыхания, стала исступленно отвечать на его поцелуи.

В ослеплении страсти оба не заметили, как в оранжерею вошел Основский. Неслышно приблизившись по песку к лестничке, он с искаженным, бледным как полотно лицом уставился на них.

ГЛАВА LVI

Завиловский меж тем то приезжал на несколько часов в Бучинек, то спешил обратно в Варшаву — и так каждый день, в зависимости от дел и работы. Свадьба должна была состояться осенью, сразу по возвращении из Шевенингена, и Полаонецкий советовал ему заранее подыскать квартиру и обставить ее хоть как-нибудь, на первый случай. Они с Бигелем предложили ему во всем этом свою помощь, а пани Бигель — по части хозяйственной. Наезды его в Бучинек связаны были и с Еленой. Хотя по завещанию, составленному год назад, она оказалась единственной наследницей огромного состояния, она прямо говорила: отец своей воли не изменил лишь потому, что не предвидел близкой кончины и откладывал это со дня на день, по обыкновению людей пожилых. По ее убеждению, отец несомненно хотел оставить что-то своему родственнику и продолжателю рода и ее долг — исполнить его желание. Как именно она это сделает, никто не знал, да и ей самой не очень было ясно до составления точной описи недвижимого имущества и капиталов. Но тем временем она уже отдавала Игнацию все, что, по ее представлению, должен был наследовать мужчина. Подарила почти весь гардероб покойного, большое и ценное собрание оружия — предмет гордости отца, великолепных лошадей, к которым он питал слабость и продажу которых Полаонецкий взял на себя, и, наконец, ту самую коллекцию трубок, судьбой которых был так озабочен Коповский.

Холодная и непрístupная с виду, с нерасполагающим выражением лица, всегда сурового и сосредоточенного, Елена отнеслась к Игнацию с нежностью прямо-таки материнской, словно унаследовав от отца и привязанность к нему. С ним и голос ее смягчался, и взгляд. И в самом деле, ведь, кроме Игнация, носящего одну с ней фамилию и все-таки родственника, хоть и дальнего, у нее никого на свете не было. И, узнав о намерении Завиловского обставить квартиру, она попросила Поланецкого положить в банк на имя молодого человека довольно значительную сумму, не говоря ему пока об этом.

Завиловский с его отзывчивым юношеским сердцем быстро привязался к ней, как к старшей сестре, и она это почувствовала. Это была взаимная симпатия, опиравшаяся на доверие и желание друг другу добра. Со временем такая симпатия перерастает обычно в прочную дружбу, которая помогает сносить жизненные невзгоды. Но пока Елена занимала лишь скромное место в его сердце, ибо и сердцем его, и душой, и всем существом безраздельно владела Лианочка — кумир, которому поклонялся он с одержимостью фанатика.

Разрываясь между Бучинком и Варшавой, Завиловский вертелся, как белка в колесе, успевая, однако, заводить и новых знакомых. Одним из них стал старик Васковский, который как раз воротился из своего паломничества к «самым юным из ариев». Он объездил побережье Адриатического моря, весь Балканский полуостров, и здоровье его настолько пошатнулось, что Поланецкие взяли его к себе в Бучине: лишь здесь можно было оградить его от домогательств и обеспечить ему уход, которого одинокий старик нигде бы не нашел. Завиловский, сам человек экзальтированный, готовый вдохновиться всякой возвышенной идеей, хотя бы и нелепой в глазах респектабельных недоумков, с первого дня знакомства полюбил старого чудака, заинтересовавшись его теорией об исторической миссии молодых арийских народов. Он уже слышал о ней от Свирского и Поланецких, считая ее прекрасной и возвышенной мечтой. Но и его, и Свирского, и Поланецких удивило, что после возвращения он почти о ней и не вспоминал. А если спрашивали о его книге или путешествии, отвечал: «Не в нашей власти противиться воле господа нашего Иисуса Христа», устремляя взгляд в пространство, словно прозревая там нечто недоступное прочим смертным. И лицо его принимало при этом такое грустное, страдальческое выражение, что никто не решался больше ни о чем спрашивать. Приглашенный Поланецким доктор заявил, что слишком жирная национальная кухня «младших братьев ариев» наградила старика острым катаром желудка, к чему присоединяется также *magnum senilis*¹. Но чутье подсказывало Завиловскому, что, кроме катара желудка, Васковского мучает еще и другое: он усомнился в том, чему верил и посвятил с ма-

¹ старческое слабоумие (лат.).

никальностью идеалиста всю жизнь. Один Завиловский понимал весь трагизм этой борьбы с собой, этого *ergo ergavi*¹ и сочувствовал старику вдвойне: как добросердечный человек и поэт, в чьем воображении тотчас возник замысел поэмы. Поэтическим оком он уже видел старца, который предается на закате у своего жилища размышлениям о неудавшейся жизни, несбывшихся надеждах, словами «суета сует» встречая смерть, чья поступь слышится все ближе.

Но старик еще не так далеко зашел в своих сомнениях, как представлялось было Завиловскому. Правда, «младшие братья арии» его разочаровали, но осталась вера, что христианство себя еще не исчерпало и грядущую эпоху ознаменует широкое распространение его духа, которым, кроме отношений частных, проникнутся и общечеловеческие. «Историческим пресуществлением Христа» по-прежнему казалось ему будущее. И верилось, что миссию эту — заветы любви претворить в историю — осуществят «младшие братья арии». Лишь совершив путешествие в придунайские страны и отведав тамошнюю неудобоваримую пищу, пал он духом, ибо понял: прежде еще целым поколениям суждено, кроме него, помереть от катара желудка.

Замкнувшись в себе, он подолгу молчал и, судя по его отрешенному виду, глубоко страдал: но это было не так. Просто вся мысль его сосредоточилась на той же идее, хотя он не раскрывал рта, — так стрелки часов, у которых кончился завод, показывают одно и то же время; и когда его спрашивали о чем-нибудь, отвечал невпопад, не в силах отвлечься. К действительности возвращался он, словно очнувшись ото сна. И одевался с каждым днем все небрежней, неуклонно забывая, что пуговицы — к примеру, на жилете — нужны, чтобы застегиваться. Вечно рассеянный, со своими близорукими и вместе младенческими глазами, казалось, не видящими, а лишь механически отражавшими окружающее, с озабоченным лицом, усеянным от плохого пищеварения красными пятнами, в неряшливом платье и необъятных, неизвестно почему вдвое шире обычного брюках, он производил комическое впечатление, служа предметом для насмешек, не всегда безобидных. Должно быть, такой же прием встретил он и у «младших братьев ариев». Вообще его частенько принимали за помешанного, относясь к нему даже с сочувствием. И, не стесняясь его присутствием, часто произносили слово «тихий», но он будто и не слышал.

Но все-таки понимал преимущества жизни у Поланецких, где никто над ним не смеялся и в то же время не жалел, как жалеют идиотов. Впрочем, несмотря на неудобоваримые кушанья, которыми потчевали его «младшие арии», и катар желудка, свойственной ему доброжелательности и терпимости он не утратил. Это был все тот же добрый старик, который, забывая о себе, не забы-

¹ итога заблуждений (лат.).

вал о других. По-прежнему любил он Марыню, Поланецкого, пани ~~Завилию~~, Свирского, Бигелей, даже Машко, словом, всех, с кем свела его жизнь. У него вообще было странное понятие о людях: будто они живут не сами по себе, а вольно или невольно чему-то служат, как пешки в руке вседержителя, передвигаемые с ему одному ведомой целью. А служителей муз, в том числе Свирского, почитал за избранников божиих, посылаемых для «всеединения».

Таким был в его глазах и Завиловский, чьи стихи знал он еще раньше. А увидев самого автора, воззрился на него, как на редкостное диво; на другое утро, когда молодой человек уехал в город и за чаем зашла о нем речь, Васковский поднял палец.

— О, это птаха, свыше ниспосланная! — сказал он Марыне загадочно. — Он и сам не ведает своего предназначения.

Марыня рассказала о предстоящей женитьбе Завиловского и как он любит свою невесту, с похвалой отозвавшись о доброте ее и красоте.

— Да! — выслушав, сказал старик. — Вот видишь? И у нее свое предназначение, и она избранница божия. Бог ей повелел поддерживать священный огонь, а коли так, избрана и она, надо чтить и ее... Благодать над ней. — Он задумался и прибавил: — Они пролагают человечеству путь в будущее.

Поланецкий взглянул на жену, давая ей понять, что старик заговаривается. Но тот, прищурясь и глядя в пространство, продолжал рассуждать:

— На небе есть Млечный Путь, и бог по хотению своему, беря из него персть, творит новые миры. А мне кажется, есть и духовный млечный путь, слагаемый всеми мыслями и чувствами людскими. Там все: и творения гениев, и свершенья талантов, и открытия великих умов, и верность женских сердец, там человеческая доброта и мука, и, хотя все обращается в прах, ничто не пропадает, ибо из этого праха волею божией творятся новые сокровища духа.

Он заморгал, задумавшись над сказанным, потом, точно очнувшись, стал застегивать ощупью жилет, приговаривая:

— У той панны душа должна быть чиста как слеза, коль скоро господь ее избрал, повелев быть жрицей этого огня.

Дальнейший разговор был прерван появлением Свирского. Для Марыни это не было неожиданностью: Свирский обещал приехать сам или написать, как у него дела. Завидев его в окно, Марыня по его виду заключила, что все благополучно. Но, войдя и поздоровавшись со всеми, художник посмотрел на нее очень загадочно. Она уже не знала, что и думать.

Ему, очевидно, не терпелось с ней поговорить, причем не откладывая, но не хотелось начинать при Поланецком и Васковском. Поланецкий, посвященный женой в его затруднения, сам пришел ему на помощь.

— Ей полезно побольше двигаться, — указал он на жену, — пройдитеесь-ка с ней по саду: я знаю, вам поговорить надо.

Через минуту оба уже шли тополевой аллеей. Широкобед-
рый, крепкого сложения Свирский, шагая чуть враскачку, обду-
мывал, с чего начать; Марыня слегка подавшись вперед, с лю-
бопытством на добром своем лице молча ожидала. Оба готовы
были к разговору, но Свирский начал издали.

— Вы все рассказали мужу? — спросил он.

Марыня покраснела, будто в чем-то уличенная.

— Но Стах так любит вас... — возразила она, — и потом, у
меня нет секретов от него.

Свирский поцеловал ей руку.

— Да я ничего против не имею! И ничего тут нет постыдно-
го, как и в том, что я получил отказ.

— Быть не может! Вы шутите, — сказала, остановясь, Ма-
рыня.

— Честное слово! — И, видя ее волнение, он стал ее успокаивать: — Не принимайте этого к сердцу еще ближе моего. Случи-
лось то, чего и следовало ожидать. И тем не менее, видите, я
приехал, стою вот, разговариваю, пулю в лоб себе не пустил и не
намерен этого делать, хотя факт остается фактом.

— Но почему? Что она сказала?

— Почему? Что сказала? — повторил Свирский. — Вот тут,
знаете ли, вся она и есть, самая горькая для меня пилюля. Чест-
но говоря, я не был в Стефанию влюблен. Она мне понравилась,
да, но мне ведь все девушки нравятся; вот, думаю, доброе, благо-
родное сердце — и сделал предложение. Больше по голосу рассу-
дка — и еще, что пора жениться. Даже неприятный осадок остался
от всего этого. И в какую-то минуту подумалось: «Собственно, то,
что сказано ей в Бучинеке, объяснением в любви не назовешь». Поэтому, пока не поздно, поставь-ка на этом крест». Но стыдно
стало. Какого черта, сказавши «а», надо говорить «б». И написал
ей, назвав вещи своими именами, и вот ее ответ! — Он достал из
кармана сюртука письмо, предварив чтение краткими замечани-
ями: — Сначала обычные в таких случаях фразы... Ну, вы сами
знаете... Что ей, дескать, очень лестно, что почла бы за счастье
для себя (хотя почему-то от него отказывается), что питает сим-
патию ко мне (симпатия-то симпатией, но для замужества этого
недостаточно), а в конце, значит, так: «Не могу ответить вам
взаимностью, коей вы заслуживаете. Выбор свой я уже сделала,
и, если не буду в жизни счастлива, то в неискренности не смогу
себя, по крайней мере, упрекнуть. После того, что у нас произо-
шло, больше писать не могу, но заверяю вас, что вечно буду бла-
годарна вам за внимание и буду отныне просить бога помочь вам
найти сердце, вас достойное, и послать вам свое благословение...»
Вот и все!

Они помолчали.

— Значит, она любит другого, а все остальное, обо мне, —
пустые слова.

— Наверно, вы правы,— с грустью сказала Марыня.— А жаль, по письму видно, какая она славная.

— Славная! Славная! — вскричал Свирский. — Все они славные! Но почему-то обидно. Ну, ладно, я ей не нравлюсь, насильно мил не будешь. Ну, хорошо, любит другого. Тоже дело ее. Но кого? Не Основского же, не Завиловского? Тогда кого же? Неужто дубину этого, истукана, красавчика, портновский манекен, кумира горничных! Видали вы на штуках ситца ярлыки с изображением красавца? Это же вылитый Коповский! Выставить его в витрине парикмахерской — девицы стекло бы разбили. Помните, называл я его гурией мужского пола? Вот что противно! Вот что грустно! — Свирский все больше распалялся, делая особенное ударение на этих своих «вот что». — Это не в пользу женщин говорит. Значит, будь ты хоть Ньютоном, Рафаэлем, Наполеоном и пожелай в награду за все только преданное женское сердце... Так нет же, нет! Им сусального херувимчика подавай! Вот они, женщины!

— Не все! Не все! Вы человек искусства и должны знать, что такое любовь. Захватит — и всякому умствованию конец.

— Да, знаю, что не все таковы,— спокойно отвечал Свирский. — А любовь... Вот вы говорите: «Захватит — и умствованию конец». Может, и так. Вроде болезни... Но есть болезни, которым более совершенные существа не подвержены. Вот, например, ящур, заболевание копыт. Но ведь, прошу прощения, нужны копыта, чтобы им заболеть. Не было еще случая, чтобы горлица влюбилась в удода, хотя удода и красавец. С голубкой, видите ли, этого не случается... А вот самочка удода будет с ним миловаться. Ну и пусть себе, на здоровье. Не надо только голубкой притворяться. Меня только это раздражает. Помните, как-то у Бигелей я вам определял панну Кастелли. А ведь выбрала же все-таки Завиловского. Я против фальши, неискренности, громких фраз. Коли ты из удодов, так имей смелость признаться в этом. И не притворяйся, не лги, не обольщай. Я ведь не такой уж неопытный, но голову готов был дать на отсечение, что панна Стефания ну просто не может влюбиться в этого Копосика, а вот влюбилась же! Я-то утешусь, тут дело не во мне и не в панне Стефании, вся эта комедия, эта общепринятая ложь меня возмущает — и что такой вот Копосик ходит в победителях.

— Да, конечно,— сказала Марыня. — Но интересно, отчего все так запуталось.

Свирский махнул рукой.

— Вернее сказать, не запуталось, а прояснилось. Выйди она за меня, я ее на руках бы носил. Даю вам слово... У меня в сердце столько нежности скопилось. Ей хорошо было бы со мной, и мне с ней тоже. И мне этого немного жаль. Но свет ведь на ней клином не сошелся. Найдется с вашей помощью добрая душа, которая меня не отвергнет. Но поторопитесь, дорогая пани, ждать мне уже невмоготу. Хорошо?

Видя, что Свирский не принимает отказ Стефании близко к сердцу, Марыня повеселела. Но, обдумывая уже спокойней ее ответ, припомнила вдруг одну фразу, на которую вначале, огорченная отказом, не обратила внимания, и встревожилась.

— Вы не заметили, в одном месте она говорит, что не может вам больше писать после всего происшедшего? Как, по-вашему, что это значит?

— Может быть, Копосик уже сделал ей предложение?

— Нет. Тогда она так и написала бы. И если влюбилась в него, вот уж правда бедняжка: у нее ведь, кажется, никакого состояния нет, и Коповский тоже небогат, так что вряд ли женится на ней.

— Да,— ответил Свирский.— Я тоже об этом думал. Что она в него влюблена, это не подлежит сомнению, но он на ней не женится.— Но вдруг, остановясь, перебил сам себя:— Но в таком случае чего он там торчит?

— Развлекается и других развлекает,— поспешила ответить Марыня, отворачиваясь в замешательстве.

Ответ был уклончивый. С тех пор как муж поделился с ней наблюдениями относительно Коповского и Основской, она часто думала об этом, и пребывание молодого человека в Пшитулове ей самой казалось подозрительным, пользоваться же Стефанией для отвода глаз — просто бесчестным. Тем более если Стефания в самом деле влюбилась в Коповского. И все эти интриги могли в любую минуту раскрыться — не это ли и означали, думала с беспокойством Марыня, слова обо «всем происшедшем»? В таком случае это подлинное несчастье для добряка Основского и Стефании.

Поистине дело могло принять самый трагический оборот.

— Завтра же еду в Пшитулов,— сказал Свирский.— Нарочно покажусь у Основских, чтобы видели: я ничуть не обижен. А если там правда что случилось или захворал кто, дам вам знать. Завиловского там, наверно, нет сейчас.

— Игнась в городе. Но завтра или послезавтра он должен наведаться к нам или в Ясмень. Стах сегодня тоже в город собирается. Приятельница моя, сестра Анеля, тяжело больна, мы хотим взять ее к себе, а так как я поехать не могу, едет Стах.

— Сестра Анеля? Та, которую муж ваш называет пани Эмilia? С лицом святой... настоящий Фра Анджелико! Очень красивое лицо! Видел ее у вас раза два. Вот если б она не была инокиня...

— И хворает очень, бедняжка. С трудом передвигается. Заболевание позвоночника от чрезмерной работы.

— О, это плохо! — сказал Свирский.— У вас Васковский уже и теперь вот она... Однако вы добрые люди!

— Это все Стах! — воскликнула Марыня.

В эту минуту в конце аллеи показался Поланецкий, который быстрым шагом подошел к ним.

— Я слышал, вы сегодня в город? — спросил Свирский. — Захватите и меня.

— С удовольствием, — отозвался Поланецкий и, обратясь к жене, прибавил: — Марыня, не слишком ли ты много ходишь? Обопрись о мою руку.

Марыня взяла его под руку, и они вместе подошли к веранде. Марыня пошла в дом распорядиться насчет чая. Поланецкий поспешно подошел к Свирскому.

— Я какую-то странную телеграмму получил, — сказал он, — не хотел показывать при жене. Основский осведомляется, не знаю ли я, где Игнаций, и просит по его делу приехать завтра в город. Что это может значить?

— Да, странно, — отвечал Свирский. — Стефания тоже пишет, у них там что-то произошло.

— Может, заболел кто?

— Тогда бы прямо вызвали Завиловского... Если панна Кас-телли или тетушка Бронич... сразу бы вызвали...

— А если б Основский побоялся его испугать, мне бы сообщил.

И оба с тревогой посмотрели друг на друга.

ГЛАВА LVII

На следующий день через полчаса после приезда Поланецкого к нему позвонился Основский. Услышав звонок, Поланецкий сам пошел открывать. Со вчерашнего дня его не покидало беспокойство. Он давно опасался, что в Пшитулове в любой момент может произойти взрыв, но тщетно ломал себе голову, с какой стороны это может относиться к Завиловскому.

Основский особенно крепко пожал ему руку, как это делают в минуты трудных испытаний.

— Пани Марыня в Бучинеке? — осведомился тот.

— Да, — отвечал Поланецкий. — Мы одни.

В кабинете Основский сел на стул и, опустив голову, с минуту помолчал, прерывисто дыша, — он страдал эмфиземой легких из-за чрезмерных занятий спортом, а сейчас волнение и подъем по лестнице усиливали одышку. Поланецкий подождал немного, но природная живость одержала верх, и он спросил:

— Что случилось?

— Случилось несчастье, — с глубокой печалью в голосе отозвался Основский. — Свадьба Игнация не состоится.

— Не состоится? Почему?

— Это так гадко, что Игнацию, может, лучше и не знать. Я даже колебался некоторое время, не скрыть ли от него... Но нет! Нужно, чтобы он знал всю правду, тут более важные вещи затронуты, чем его самолюбие. Может быть, гнев и отвращение помогут ему перенести несчастье. Свадьбы не будет, потому что

панна Каstellи недостойна быть женой такого человека, и, если б даже можно было еще поправить дело, я первый бы этому воспротивился.

Основский замолчал, хватая воздух ртом. Поланецкий, который слушал, не проронив ни слова, не выдержал и вскричал:

— Да говорите, ради бога, что произошло?

— Произошло то, что пани Бронич с племянницей три дня как выехали за границу и Коповский с ними в качестве жениха.

Поланецкий вскочил со стула, но, услышав конец фразы, снова сел. Лицо его вместе с волнением и тревогой выражало беспредельное удивление. Молча уставился он на Основского, словно не в силах собраться с мыслями.

— Коповский?.. Значит, он и с панной Каstellи?.. — произнес он наконец.

Основский был слишком расстроен, чтобы обратить внимание на странную форму вопроса.

— Увы, да, — сказал он. — Вы ведь знаете, что они доводятся мне родственницами: моя мать и тетушка Бронич, а следовательно, и мать Линеты были двоюродными сестрами и одно время воспитывались вместе. Поэтому я скорее должен был бы их выгораживать, но даже и не подумаю. Отношения между нами порваны, и, будь мне Линета хоть родной сестрой, я сказал бы о ней то же самое, что сейчас вам расскажу. Что до Завиловского, то, поскольку мы с женой сегодня тоже уезжаем, я могу с ним не увидаться. И честно говоря, у меня духа не хватит поговорить с ним, но вам я расскажу все, как было. Вы с ним ближе знакомы, и, может, вам удастся смягчить удар, но не надо ничего утаивать от него: отвращение к изменнице — лучшее средство превозмочь горе.

И он рассказал, что видел в оранжерее, и, хотя сам волновался и время от времени боролся с одышкой, был удивлен горячностью, с какой его слушал Поланецкий. Он думал, тот хладнокровно отнесется к его рассказу, откуда ему знать было, что у Поланецкого есть свои причины нервничать, и веские, — известие о смерти Линеты или Завиловского не потрясло бы его больше.

— В первое мгновение я просто растерялся, — рассказывал Основский, — самообладанием особым я не отличаюсь, не знаю уж, как только кости ему не переломал. Может, меня то удержало, что он мой гость, может быть, стало не до него, об Игнации подумал, но скорее всего вообще не думал ни о чем. Растерялся просто и вышел. Но тут же вернулся и велел ему следовать за мной. Он побледнел, но вид у него был решительный. В кабинете я заявил ему, что он поступил недостойно, злоупотребив гостеприимством людей порядочных, что Линета негодница и я ее глубоко презираю, что между ней и Завиловским все кончено, но его я заставлю на ней жениться, даже если придется прибегнуть к самым крайним мерам. В ответ он сказал, что давно ее любит и

готов жениться хоть сейчас, — наверно, успели сговориться, когда я вышел из оранжереи. Что до Завиловского, тут он слово в слово повторял Линету, это чувствовалось, самому ему никогда бы не додуматься. Выразил готовность дать ему удовлетворение, хотя, дескать, вовсе тут ни при чем, так как никаких обязательств перед ним не несет... Мол, если панна Линета предпочла меня, тем хуже для него; но это уж ее дело. Что тем временем происходило между тетушкой и Линетой, не знаю, но не успел я кончить разговор с Коновским, как пани Бронич ворвалась ко мне, точно фурия, с упреками, что это мы с женой помешали Линете следовать влечению сердца, навязав ей Завиловского, — она же его не любила, плакала все ночи напролет, выйти за него было для нее равносильно смерти и во всем совершившемся она видит волю божью... И в таком духе битый час... Виноваты мы, виноват Завиловский, а они безупречны!.. — И, потеряв лоб рукой, продолжал: — Ах, пан Станислав! Вот мне скоро тридцать шесть, а я понятия не имел о женском коварстве. Верите ли, до сих пор опомниться не могу, как это они ухитрились вывернуть все шиворот-навыворот. Я понимаю, в каком они оказались положении. Увидели, что с Завиловским теперь все кончено, хотя бы уже потому, что я вмешуюсь, ничего другого им не оставалось, как ухватиться за Коновского. Но легкость, с какой они черное представляют белым, а белое — черным!.. Полнейшая безнравственность, лживость, полное отсутствие чувства справедливости... эгоизм самый беспредельный... Да и черт с ними, кабы не Игнаций!.. Он был бы пренесчастнейшим человеком, свяжи он с ними свою жизнь, но с его экзальтированностью, его влюбленностью это страшный удар, страшное разочарование!.. А Линета? Кто бы мог подумать!.. И с таким дурнем, с таким дурнем!.. Вроде бы такая возвышенная натура и всего несколько недель после обручения, после того, как слово дала... И это невеста Завиловского!.. Ей-богу, с ума можно сойти!

— С ума сойти! — отозвался как эхо Поланецкий.

Наступило минутное молчание.

— И как давно это случилось? — спросил Поланецкий.

— Три дня назад все вместе уехали в Шевенинген. Выехали в тот же самый день. Коновский имел паспорт при себе. Выходит, осел ослом, а кое-что все-таки соображает... Делал вид, будто ухаживает за моей кузиной, а сам вместе с ними за границу собирался, вот и паспорт захватил. Для отвода глаз ухаживал за одной, а волочил за другой. Ах, бедный, бедный Игнаций! Я и родному брату не сочувствовал бы больше, честное слово... Но это и к лучшему! Хорошо, что не связался с такой вот Линетой... с этой полуитальянкой. Но для него какая трагедия!..

Основский вынул носовой платок и стал протирать пенсне, моргая глазами с видом растерянным и озабоченным.

— Почему же вы раньше не дали мне знать об этом? — спросил Поланецкий.

— Почему раньше? Жена заболела. Нервные припадки... Бог знает что!.. Вы и не поверите, как она близко к сердцу приняла. Да и неудивительно! Такая женщина... да еще в нашем доме! При ее впечатлительности это тяжелый удар. И обмануться в Линете, которую она так любила, и жалость к Игнацию, и столкновение со злом, и чувство омерзения!.. Слишком уж много для нее, с ее чистой, чувствительной душой... Я сначала за ее здоровье опасался, да и сейчас бога молю, чтобы это не сказалось губительно на ее нервах. Мы даже представить себе не можем, что для такой натуры значит столкновение со злом.

Поланецкий внимательно посмотрел на Основского, закусил ус и промолчал.

— Я послал за доктором,— продолжал после небольшой паузы Основский,— и от волнения опять совсем голову потерял. К счастью, Стефания была рядом и эта милейшая пани Машко. Они с таким сердечным участием ухаживали за Анетой, что я по гроб жизни буду им благодарен. Пани Машко только кажется холодной, а на деле — такое доброе создание!..

— Я думаю,— перебил Поланецкий, желая замять разговор о Терезе,— оставь Завиловский наследство Игнацию, всего этого не произошло бы?

— Может быть,— ответил Основский,— но, выйди она за него и унаследуй он даже все состояние старика, ее инстинктивно влекло бы к таким вот Коповским, с которыми ее сталкивала бы жизнь, тут нет никакого сомнения. Такая уж у нее натура. Но кое-что для меня теперь прояснилось. И хотя я сказал: можно сойти от этого с ума, мне отчасти понятно, почему все так получилось. Она с ее ограниченностью не могла полюбить такого человека, как Завиловский. Ее вполне устраивают Коповские. Но ей приписывали разные высокие порывы, и в конце концов она сама себе приписала то, чего в ней не было. Игнаций им понадобился, чтобы потешить свое самолюбие, тщеславие, чтобы о них заговорили в обществе, но они переоценили самих себя. Построенное на притворстве не может быть долговечно. Когда их тщеславие было удовлетворено, Игнаций потерял для них интерес. Кроме того, они испугались, как бы не пришлось изменить привычный и желательный образ жизни; может быть, стало тяготить и все его умонастроение, слишком возвышенное для них. А тут еще эта история с завещанием,— конечно, не она главная причина катастрофы, но Игнаций упал в их глазах. Прибавьте к этому низменные влечения Линеты, прибавьте Коповского — и вот вам ответ на все. Есть женщины, подобные вашей жене, моей Анетке, но есть и как она... — Основский помолчал. — Представляю себе гнев и огорчение вашей жены; жаль, что вы не видели, как отнеслась к этому моя жена... и даже пани Машко. Да! Женщина женщине рознь... Ах, дорогой пан Поланецкий... мы с вами ежедневно должны на коленях бога благодарить за то, что у нас такие жены!

И даже голос задрожал у него от волнения.

И хотя Поланецкий не мог отрешиться от мыслей о Завиловском, он поразился, как человек, только что рассуждавший так здраво и умно, мог быть одновременно и столь наивным. При упоминании о Терезе он горько усмехнулся про себя. И вообще впервые с подобной остротой ощутил всю злокозненную иронию бытия.

— Вы не повидаетесь с Завиловским? — спросил он.

— Откровенно говоря, смелости не хватает. И потом, я еще сегодня должен возвратиться в Пшитулов, и мы сегодня же уедем с нашей станции. Надо увезти отсюда жену — она сама просила меня об этом со слезами, да оно и на пользу только, смена впечатлений. Поедем куда-нибудь на море, конечно, не в Шевенинген, куда они отправились с Коповским. Но у меня большая просьба к вам. Вы знаете, как я люблю и ценю Игнация. Напишите, как бедняга примет эту новость и вообще, в каком будет состоянии. Я мог бы и Свирского попросить, но боюсь, что с ним не увижусь. — И, закрыв лицо руками, воскликнул: — Ах, до чего же грустно! До чего тоскливо!

— Хорошо, — сказал Поланецкий, — сообщите свой адрес, и я вам напишу. Но раз уж мне выпадает эта тяжелая миссия, попрошу вас ее немножко облегчить. Лучше, если он обо всем узнает не из вторых или третьих рук, а от прямого очевидца. Услышав от меня, он еще заподозрит, что я представил ему положение неточно. Утопающий готов ведь схватиться за любую соломинку. Сядьте и напишите ему. А я отдам ему ваше письмо в подтверждение. А то еще, чего доброго, полетит за ними в Шевенинген. Считаю такое письмо совершенно необходимым.

— А он сюда, часом, не нагрянет?

— Нет. У него отец заболел, и он при нем в больнице. И потом, он ждет меня после полудня. Непременно напишите.

— Да, вы правы, абсолютно правы, — сказал Основский и присел к столу.

«Какая ирония судьбы! Какая злая ирония судьбы! — повторял про себя Поланецкий, в волнении расхаживая по комнате. — Как же иначе и назовешь случившееся с Завиловским?.. Лине-та — эта лебедь белая с инстинктами горничной, эта избранница божья, как не дальше чем вчера окрестил ее Васковский! А тетушка Бронич, а Основский с этой своей слепой верой в жену, объясняющий ее нервные припадки встречей чистой души со злом, а возмущение Терезы — что все это, как не пошлая комедия человеческая? Да, комедия, в которой одни обманывают других, другие — самих себя; есть только обманщики и обманутые, и жизнь — не что иное, как цепь ошибок, заблуждений, соблазнов, ложных положений, одни жертвы обмана, мошенничества, жертвы иллюзий; сплошная путаница и безысходность. Смешная и печальная комедия, а под ее клоунской маской — страсти,

надежды, чувства, как зимой под снегом земля. Вот что такое жизнь!»

Мысли эти были тем мучительней, что усугублялись собственными переживаниями, укорами собственной совести. Достаточно эгоистичный, чтобы отнести свои рассуждения только на свой счет, он не был и настолько глуп, чтобы не понимать, какую незавидную роль играет сам в сей жалкой комедии. Нелепость положения заключалась в том, что он, несмотря на все свое желание, меньше, чем кто другой, имел право осудить, освистать эту презренную панну Кастелли. А чем сам он лучше? Разве сам не поступил так же мерзко? Она дурака предпочла достойному человеку, он жене — безмозглую куклу. Ею руководило инстинктивное кокетство, им — инстинкт павиана. Она отбросила пустые фразы, которыми морочила себя и других, он попрам принципы. Она обманула доверие, нарушив только слово, он же, обманув доверие, преступил не просто слово, а клятву. И как же теперь? Какое у него право осуждать ее? Если нельзя ее оправдать, если признать, что брак подобной особы с Завиловским был бы несправедлив и возмутителен, на каком основании сам он может быть мужем Марыни? Коли у него находятся слова в осуждение Линеты, которые не могут не найтись, тогда, будучи последовательным, должно расстаться с Марыней, а этого он никогда не сделает, не в силах сделать. Вот какой заколдованный круг! Не впервые переживал Поланецкий горькие минуты по поводу своего «успеха» у пани Машко, но на этот раз ему было на удивление тяжело. Это была просто мука. И из чувства самосохранения, чтобы облегчить ее хоть на время, он стал искать себе оправдание. Но напрасно убеждал себя, что, положим, какой-нибудь Коповский и не стал бы из этого делать ровно никакой трагедии. Утешало это ровно настолько, как соображение, что и кот или жеребец на его месте тоже ничуть бы не огорчились. Напрасно припоминал он Бальзака: «Измена, пока она не открылась, — не измена, а открылась — сущий пустяк». «Неправда! — стискивал он зубы. — Ничего себе «пока», если оно уже так мучает». Он допускал, что бывают разные смягчающие обстоятельства, но в его случае обстоятельства лишь усугубляли вину, отнимая всякую возможность снисхождения. «Я теперь уже лишился права судить, апеллировать к совести! Светлую личность променяли на болвана, унизили, сделали несчастным, обрекли на трагедию, которая может сломать ему жизнь, поступили подло и гадко, а я не смею даже в мыслях покрыть позором такую вот панну Кастелли!» И никогда еще не было ему столь очевидно, что, подобно преступнику, который сгавит себя вне общества, можно поставить себя своим поступком вне морали. Ему хватало уже всяких огорчений, но сейчас стали рисоваться новые, непредвиденные. Чем больше думал он о Завиловском, о всей трагичности его положения, тем сильнее ощущал необъяснимое беспокойство, похожее на предчувствие несчастья, которое по какой-то таинствен-

ной высшей закономерности должно вторгнуться в его жизнь. Для того, кто носит в себе смертельную болезнь, кончина — лишь вопрос времени.

Наконец он нашел некоторое облегчение, обратясь мыслями к сегодняшнему дню, к Завиловскому. Как-то он примет известие? Как перенесет его? Последствия могли быть ужасны, беря в расчет его экзальтированность и слепое, безусловное доверие к невесте, его любовь к ней. «У него все внутри оборвется, и жизнь потеряет смысл», — подумал Поланецкий. Как страшно и чудовищно, что вещи, не несущие в себе ничего трагического, а, напротив, сулящие благополучный исход, без видимой причины оборачиваются бедой; жизнь точно лес, где несчастья преследуют человека, как псы — зверя и даже хуже, ибо не оповещают о себе. И Поланецкий ощутил вдруг, что, кроме давно утраченной веры в самого себя, грозит пошатнуться его уверенность в чем-то гораздо более важном и существенном. Но в ту минуту он старался думать единственно о Завиловском. И как человек добрый и не чужой ему, не мог от души не сочувствовать его несчастью. Слышно было, как в соседней комнате поскрипывает перо, и у Поланецкого промелькнуло в голове: «Точно приговор ему пишет. Бедный малый!.. Вот уж не заслужил!»

— Я старался выбрать выражения, — кончив и открыв дверь, сказал Основский, — но написал все как есть. Дай бог ему сил перенести все это! Никогда бы не подумал, что придется сообщать ему такое. — Но в его огорченном тоне слышалось удовлетворение. Он явно считал, что справился с задачей лучше, чем сам ожидал. — Еще раз очень и очень прошу черкнуть мне несколько слов об Игнации. Ах, если б только не так *integrable*! ¹ — прибавил Основский, протягивая Поланецкому руку. — До свидания, до свидания!.. Я напишу ему и сам, но сейчас еду, жена ждет... Дай-то бог встретиться еще при более счастливых обстоятельствах. До свидания! Сердечный привет жене.

И он ушел.

«Что делать? — размышлял Поланецкий. — Послать ему письмо на квартиру, подождать его здесь или идти разыскивать? Лучше, конечно, не оставлять его в такой беде, но вечером мне придется вернуться в Бучинек, к Марыне, и он все равно будет один. А впрочем, не мешать же ему сторониться общества? И я бы на его месте искал уединения!.. А мне еще нужно заехать к пани Эмилии...»

Он был так подавлен этим неожиданным несчастьем, мыслями о себе и о предстоящем тяжелом разговоре с Завиловским, что не без удовольствия вспомнил о необходимости заехать к пани Эмилии и отвезти ее в Бучинек. С минуту Поланецкого даже одолевало искушение отложить встречу с Завиловским и отдать письмо завтра; но ведь тот мог сам нагрянуть в Бучинек.

¹ неоправимо! (фр.)

«Нет, пусть уж лучше здесь узнает обо всем,— возразил он себе.— Марыня в таком положении, что лучше скрыть от нее случившееся и все возможные последствия. И' предупредить, чтобы кто-нибудь не проговорился. А Завиловскому лучше всего уехать за границу. Скажу Марыне, что он уехал в Шевенинген, а потом, что раздумали жениться и расстались».

Большими шагами мерил он комнату, повторяя: «Какая ирония судьбы! Какая ирония!»

И снова нахлынула горечь и совесть заговорила. Странное чувство охватило, будто он ответствен за происшедшее. «Какого черта! — сказал он себе. — Ведь я же не виноват!» «Лично не виноват,— подумалось тут же,— но мы с Линетой одного поля ягода, вот и создается благодаря людям вроде меня общественно-правственная атмосфера, в которой вырастают и распускаются такие вот цветочки».

Тут в передней послышался звонок. Поланецкий был не робкого десятка, но при звуке колокольчика сердце у него тревожно забилось. Он запамтовал, что условился со Свириком пойти позавтракать, и решил было: это Завиловский. И лишь услышав голос художника в передней, немножко успокоился; но до того устал, что даже его приход был ему в тягость.

«Начнет сейчас болтать! — подумал он с досадой. — Язык распустит».

Но поскольку в тайне это все равно остаться не могло, решил сам рассказать. Пусть Свирикий знает на случай своего приезда в Бучинек, как вести себя с Марыней. Но он ошибся, полагая, что тот станет доносить его рассуждениями о женской неблагодарности. Жалость к Завиловскому отгеснила отвлеченные соображения, и, отложив их на потом, он повторял только, слушая Поланецкого: «Вот несчастье-то! Господи боже!», или: «Черт бы их побрал!» — и сжимал при этом с возмущением свои геркулесовы кулачищи.

Поланецкий корил немилосердно панпу Кастелли, забывая в своей горячности, что тем самым осуждает и себя. Однако разговор принес облегчение и вернул присущую ему трезвость суждений. «Не стоит оставлять Завиловского одного», — подумалось ему, и он попросил Свирикого отвезти пани Эмилию в Бучинек, а его отсутствие объяснить делами. Свирикий согласился тем охотней, что в Пшитулове ему теперь делать было нечего, и, едва нанятый экипаж подъехал, они вместе отправились к пани Эмилиии.

Обязанности сестры подорвали ее силы, вызвав заболевание позвоночника. Они нашли ее изменившейся и похудевшей, лицо у нее стало совсем прозрачное, веки полуопущены. Она еще ходила, но опираясь на две палки и еле передвигая ноги. Прежде труд приблизил ее к жизни, теперь болезнь снова отдаляла. Она жила лишь своими мыслями и воспоминаниями, на заботы людские взирая как сквозь сон, словно с другого берега. На страда-

ния свои почти не жаловалась, что, по мнению врачей, было плохим признаком. Ей самой, повидавшей столько болезней, ясно было, что спасенья нет и не во власти человеческой ее исцелить, а потому она оставалась совершенно спокойна. И на вопрос Поланецкого о ее здоровье ответила, с трудом приподняв веки:

— С ногами вот только худо, а так — хорошо!

И правда, ей было хорошо. Лишь одно смущало: в глубине души она верила, что ей вернула бы здоровье поездка в Лурд. Но не хотелось так далеко уезжать от Литкиной могилы; удерживало и желание самой поскорее умереть. Однако оставалось и беспокоило сомнение, а вправе ли она пренебречь дарованной ей жизнью, пренебречь милостью божией и чудом.

Мысль повидаться с Марыней радовала ее, и она уже собралась в дорогу. Но Свирский пообещался захватить в пять часов, а пока они отправились с Поланецким пообедать: несмотря на сочувствие Завиловскому, Свирский был голоден как волк. Некоторое время сидели молча. Наконец Поланецкий сказал:

— У меня еще одна просьба: дайте знать панне Елене обо всем случившемся, но попросите ее не говорить ничего моей жене.

— Хорошо, — ответил Свирский, — сегодня же под предлогом прогулки схожу в Ямень. Если не примет меня, напишу на визитной карточке, что дело касается Игнация. А захочет поехать в город, сам отвезу, так как к вечеру мне надо домой. — И спросил после небольшой паузы: — Основский не говорил вам: панна Ратковская останется в Пшитулове или с ними поедет?

— Нет, не говорил, — отозвался Поланецкий. — Стефания поселяется обыкновенно у своей престарелой родственницы, Мельницкой. И если поедет с ними, только для сопровождения пани Анеты: у этого ангела сердце чуть не разорвалось от всего происшедшего.

— А-а! — протянул Свирский.

— Другого резона брать ее с собой у них нет. Они пригласили Стефанию, потому что Коповский якобы имел на нее виды, а раз он приглядел себе другую, ей там делать больше нечего.

— Да, просто невероятно! — воскликнул Свирский. — Выходит, они там все, исключая Основскую, повлюблялись в этого хлыща!

Поланецкий покачал головой с иронической улыбкой, как бы говоря: «Не исключая!..»

Но Свирский пустился в свои рассуждения о женщинах, от которых до сих пор воздерживался.

— Вот видите, теперь сами убедились! — твердил он. — Знаю я и немок, и француженок, а особенно итальянок. Итальянкам в общем не свойственны высокие порывы, они не столь образованны. Но таких напускных претензий, такого несоответствия между криводушием и пышнословием, как у нас, нигде я не встречал, — подавиться мне вот этими самыми макаронами. Послушали бы вы, как мне панна Ратковская Коповского расписывала! Или возъ-

мите хоть эту «Лиланочку», «Паутинку», «Лебедушку», или как ее там, — панну Кастелли. Лилия! — скажете вы, правда? Мимоза! Артистическая натура! Сивилла! Идеальная красавица — златокудрая, стройная и черноокая, не так ли? А вот подите же! Достойному человеку фата предпочла, мужчине — манекен. Как до дела дошло, Сивилла в горничную превратилась. И все они такие, вот что я вам скажу, все к хлыщам этим, фатам льнут, черт бы их побрал!

И Свирский сжал свой кулачище, собираясь стукнуть по столу, но Поланецкий удержал его.

— Но согласитесь: это случай из ряда вон выходящий.

Свирский пустился было спорить, уверяя: все они на один манер, — зачем им Фидий, портновский аршин им важнее, но понемногу умерил свой пыл и признался, что случай с Линетой особый.

— Помните, когда вы спрашивали, что я вам говорил о Броничах? — сказал он. — Канальи они! Безнравственные, беспринципные канальи, выскочки во всем, и больше ничего! Он был дурак набитый, а ее вы сами знаете... Меня просто бог уберег. Не смотри они на меня свысока, прознай про мою родословную — предел их глухих вожделений, — и я бы влип! Попал как кур во щи!.. Нет, ей-же-ей, отправлюсь-ка я с Завиловским за границу. Хватит уже с меня.

Они расплатились и вышли.

— Что вы думаете предпринять? — спросил Свирский на улице.

— Буду искать Завиловского.

— Но где же?

— В сумасшедшем доме у отца, а там не найду, у себя его подожду.

Но тут как раз показался сам Завиловский, направляясь к ресторану. Свирский первый его заметил.

— Да вон он идет!

— Где?

— Вон, по другой стороне. За версту можно узнать по подбородку. Вы сейчас все скажете ему? В таком случае я ретируюсь. Лучше сделать это с глазу на глаз.

— Хорошо, — согласился Поланецкий.

Завиловский тоже заметил их и ускорил шаг. Он был изящно, даже щеголевато одет и оживлен.

— Отцу лучше! — сказал он, запыхавшись, и подал им руку. — Сегодня я свободен и хочу поехать в Пшитулов.

Свирский, не говоря ни слова, крепко пожал ему руку и удалился. Молодой человек с удивлением посмотрел ему вслед.

— Не обидел ли я его? — спросил он.

И, взглянув на Поланецкого, только сейчас заметил, какое у него озабоченное, почти суровое лицо.

— Что такое? — спросил он. — Что-нибудь случилось?

Поланецкий взял его под руку.

— Дорогой Игнаций, я всегда считал вас человеком не только талантливым, но и волевым, — обратился он к нему с волнением и участием. — Я должен сообщить вам неприятную новость, но уверен, что у вас достанет сил перенести несчастье.

— Что случилось? — вскричал, меняясь в лице, Завиловский. Поланецкий позвонил извозчика.

— Садитесь!.. К мосту! — крикнул он извозчику и, достав письмо, протянул Завиловскому.

Молодой человек поспешно его вскрыл и углубился в чтение. Поланецкий, ласково полуобняв своего спутника, не спускал глаз с его лица, на котором отражались удивление, недоверие, растерянность, но прежде всего безграничный ужас. Он побледнел как полотно, но видно было, что всей глубины постигшей его беды понять еще не мог.

— Как же так?.. — бессмысленным взглядом уставясь на Поланецкого и запинаясь, тихо спросил он. И, сняв шляпу, провел рукой по волосам.

— Не знаю, как представил дело Основский, — сказал Поланецкий, — но это правда... И надо иметь мужество посмотреть ей в глаза и сказать себе: тут уж ничего не изменишь. Да и не стоила она вас; вы достойны лучшей участи. У вас есть настоящие друзья, которые вас ценят и любят. Я понимаю: горе огромное; родной брат не пожалел бы вас больше. Но что делать, дорогой Игнаций... Они уехали куда-то. И Основские тоже. В Пшитулове никого нет. Знаю, каково вам сейчас, но вас ждет жизнь счастливее, нежели с панной Кастелли. У вас высшее предназначение, и сил вам ниспослано больше, чем другим. Вы-то, что называется, соль земли и несете огромные обязанности перед собой и перед людьми... Знаю, что непросто вырвать из сердца любовь, и вовсе этого не требую, но вам не подобает предаваться отчаянию, как всем прочим. Бедный, бедный, дорогой Игнаций!..

Поланецкий долго продолжал в том же духе и с той силой убеждения, которую дает искреннее чувство. Мысли он высказывал не только утешительные, но и здравые: что горе, дескать, отодвигается в прошлое, а человек, хочет или нет, должен жить дальше. Конечно, нить горестных воспоминаний тянется за ним, но со временем становится все тоньше, ибо жизнь так устроена, что увлекает вперед. Все это было так, но то, другое, о чем гласило письмо Основского, было ближе, реальней, осязаемей. И по сравнению с этим фактом все остальное казалось Завиловскому пустым, посторонним звуком, касавшимся лишь слуха, а не души и имевшим смысла не больше, чем стук колес или дребезжание железной решетки моста, по которому они проезжали с Поланецким. Он был как в тумане, однако понимал, что свершилось нечто невероятное, но тем не менее бесповоротное, с чем невозможно примириться и он никогда не примирится, хотя это не меняет ровно ничего. И сознание этого вытесняло все остальное. Он знал

только, что лишился Линеты, не испытывая ни горя, ни сожаления, не в силах еще уразуметь, что рушится все и почва уходит из-под ног. Линеты больше нет, Линета его не любит, бросила и уехала с Коповским, свадьба расстроилась, он снова одинок, хотя не хочет, не может взять в толк случившегося, настолько все это невероятно, неправдоподобно и страшно.

И однако это свершившийся факт.

За мостом пролетка поехала медленней — навстречу гнали стадо, но и под его глухой топот Поланецкий продолжал говорить свое. В ушах Завиловского отдавались его слова: «Свирский», «за границу», «Италия», «искусство», но до сознания не доходило, что Свирский — это его знакомый, за границу уезжают, Италия — страна... Мысленно он разговаривал с Линетой: «Ну хорошо, а что будет со мной? Как же ты обо мне не подумала, обо мне, который так любит тебя?» И ему показалось: увидься они и скажи он ей, что нельзя не считаться с человеческим горем, она расплакалась бы и кинулась ему на шею. «Ведь нас с тобой столько связывало, — говорил он ей, — и я ведь все тот же, твой Игнаций...» И его выступающий подбородок задрожал, на лбу вздулись жилы, на глаза навернулись слезы. Добросердечный Поланецкий вообразил, что его уговоры достигли цели, и, сам расстрогавшись, обнял его за шею и поцеловал. Завиловский быстро овладел собой, вернувшись к действительности. «Никогда я ей этого не скажу, потому что больше не увижу, она уехала со своим женихом — Коповским». И при мысли об этом лицо его снова застыло. Только сейчас начал он осознавать всю глубину своего несчастья. «Уми она, утрата и то была бы легче», — подумал он и поразился. Смерть оставляет верующим надежду на встречу в ином мире, для неверующих она — небытие, а значит, тоже общая участь и соединение. К тому же смерть бессильна перед лицом любви, которая продолжается и за гробом; смерть может отнять дорогое существо, но не может запретить любить или осквернить его, — напротив, оно живет в нашей памяти, еще более любимое, даже боготворимое. А Линета, лишив его себя, этого драгоценного душевного богатства, отняла у Завиловского и надежду, право любить, горевать, тосковать по ней, чтить ее. Оставив вдовавок по себе память оскверненную. И Завиловский ощутил со всей остротой: если он не перестанет ее любить, то будет жалким ничтожеством, зная вместе с тем, что не в силах не любить! И понял в эту минуту всю чудовищность постигшего его несчастья, которое сокрушило надежды, обрекло на муку. И понял, что этого не перенесет.

А Поланецкий все говорил:

— Поезжай в Италию со Свирским, нужно это перестрадать, избыть боль... Другого выхода нет, дорогой! Мир так велик! Столько еще интересного и достойного любви! А перед тобой, как ни перед кем другим, открыты все дороги. Ты много можешь дать людям, но и они тебе — тоже. Поезжай, дорогой! Жизнь, она

везде и всюду. Нахлынут новые впечатления, захватят, отвлекут тебя, смягчат горе. И перестанешь думать все об одном и том же. Свирский тебе покажет Италию. Увидишь, какой он замечательный спутник и какие горизонты откроет перед тобой. Ты ведь, подобно раковине жемчужнице, должен все в жемчуг обращать. Послушай дружеского совета: уезжай, и как можно скорее. Обещай мне, что поедешь. Даст бог, жена благополучно разрешится, и мы тоже, может быть, весной выберемся туда. То-то славно заживем. Ну, обещаешь, да?

— Да,— повторил Игнаций машинально, не зная, о чем, собственно, речь.

— Ну вот и слава богу! — воскликнул Поланецкий. — А сейчас вернемся-ка в город и проведем вечер вместе. У меня кое-какие дела в конторе, выбрался сюда на два дня.

И он велел извозчику поворачивать, тем более что солнце уже клонилось к закату. Стоял один из тех чудесных дней, какие выдаются в конце лета. Пыль над городом нежно золотилась, скааты крыш и колокольни, отсвечивая янтарем, четко вырисовывались в прозрачном воздухе и, казалось, застыли, наслаждаясь покоем.

Некоторое время ехали молча.

— Куда, ко мне или к тебе? — спросил Поланецкий, когда они миновали заставу.

Городской шум отрезвляюще подействовал на Завиловского, и он уже осмысленно взглянул на Поланецкого.

— Я ночевал у отца и со вчерашнего дня не был дома. Пожалуй, поедem ко мне, может, есть какие-нибудь письма.

Предчувствие его не обмануло: дома дожидалось письмо от пани Бронич из Берлина. С лихорадочной поспешностью вскрыв его, Завиловский начал читать. Поланецкий, следя за меняющимся выражением его лица, подумал: «А он все еще не потерял надежды». И в памяти всплыли слова молодого доктора о Краславской: «Знаю, какая она, но ничего не могу с собой поделаться...»

Завиловский кончил чтение, подпер голову рукой и невидящим взглядом уставился на стол и лежащие на нем бумаги. Наконец, очнувшись, протянул письмо Поланецкому.

— Прочтите.

Поланецкий взял письмо и прочел: «Я знаю, вы искренне верили в свое чувство к Лианочке, и случившееся в первую минуту будет для вас ударом. Поверьте же и мне, что обоим нам было нелегко решиться на этот шаг. Вы, конечно, не сумели оценить Лианочку по достоинству (мужчины вообще ничего ценить не умеют), но настолько-то вы ее знаете, чтобы понять, чего ей стоит причинить малейшую неприятность даже человеку постороннему. Но что поделаешь! На все воля божья, и противиться ей грешно. Мы поступили, как подсказывает нам совесть,— Лианочка слишком честна, чтобы отдать вам руку без истинной привязанности. Но то, что произошло, свершилось по воле бога и на

благо ее и ваше. Выйди она замуж не по любви, где бы ей взять силы для борьбы с искушениями, которым постоянно подвергается такая женщина, как она, из-за всеобщей испорченности. Кроме того, у вас есть талант, а у Ляночки только сердце, и оно не выдержало бы принуждения — и если вам кажется, что она не оправдала ваших надежд, прислушайтесь к голосу своей совести, и пусть он вам скажет: чья вина больше? Ведь вы причинили Ляночке много зла — опутали ее волю, помешали последовать естественному влечению сердца и тем самым, из эгоизма, чуть не лишили ее счастья, даже жизни: я глубоко убеждена, что в таких условиях она не протянула бы и года. Да простит вам бог, как прощаем мы обе, и да будет вам известно, что мы сегодня молились за вас в костеле святой Ядвиги.

Сделайте одолжение, отошлите обручальное кольцо в Пши-тулов, а ваше кольцо, поскольку Основские тоже уезжают, передаст вам Стефания Раковская. Еще раз: да простит вам бог и не оставит своими милостями».

— Неслыханно! — сказал Поланецкий.

— С правдой, видимо, можно поступать так же, как и с любовью, — с грустью сказал Завиловский, — а я и не подозревал.

— Слушай, Игнаций, что я тебе скажу, — отозвался Поланецкий (он проникся к нему таким сочувствием, что стал обращаться на «ты»), — горе горем, но нельзя позволять унижать себя. Ты, конечно, волен страдать, но найди силы показать, что тебе дела нет до них.

Наступило продолжительное молчание. Только Поланецкий, вспоминая письмо, время от времени восклицал:

— Нет, это просто невысказано! — И наконец обратился к Завиловскому: — Свирский еще сегодня вернется из Бучинька и зайдет ко мне. Приходи и ты. Проведем вечер вместе, и вы поговорите насчет вашего путешествия.

— Нет, — возразил Завиловский, — я по возвращении из Пши-тулова собирался провести ночь в больнице у отца — и сейчас туда пойду. А к вам зайду завтра утром, тогда и повидаться со Свирским.

Он отказывался, так как хотел остаться один. А Поланецкий подумал, что уход за больным отцом отвлечет его, он устанет и поспит, и не возражал. Но решил проводить его до больницы.

Там у ворот они расстались. Но Завиловский, осведомившись только у служителя о здоровье отца, через несколько минут вышел и украдкой вернулся домой.

Зажегши свечу, он еще раз перечитал письмо пани Бронич и, закрыв руками лицо, погрузился в раздумья. Несмотря на письмо Основского и на все, что толковал ему Поланецкий, в глубине души у него еще шевелились сомнения и теплилась надежда. Он понимал: беда случилась, но временами ему казалось, что это не явь, а лишь дурной сон. Тетушкино письмо окончательно изгнало сомнения, лишив даже тени надежды. Да, Линеты

у него уже больше нет, нет будущности, нет счастья! Все досталось Коповскому, а его удел — одиночество, унижение и ужасающая пустота. Было такое чувство, что, будь Лианочка в состоянии отнять у него и талант, о котором поминала тетушка, она без колебания отняла бы и отдала Коповскому. Что он для нее в сравнение с Коповским?! «Никогда я этого не пойму,— подумал он,— но это так!.. Стало быть, есть во мне что-то отталкивающее, коли не пожалела, пренебрегла мною, откинув, как жалкого червяка. Почему она Коповского любит, а не меня, а ведь говорила же, что меня?» И он вспомнил, как она вздрагивала в его объятиях, когда он прощался с ней после помолвки. А теперь вот так же в объятиях Коповского дрожит. И чтобы не закричать от боли и бешенства, он впился зубами в платок. «Почему? Отчего так случилось?» Что ей мешало выйти за Коповского, пока он, Завиловский, еще не полюбил ее? Зачем понадобилось растоптать, раздавить его без всякой нужды?

И он снова схватил письмо пани Бронич в надежде найти ответ на эти страшные вопросы. Еще раз прочел место о воле божьей и о том, как виноват он перед Лианочкой, сколько зла ей причинил, а также, что она ему прощает; прочел и про молебен за него в костеле святой Ядвиги. А кончив, уставился на свечу и заморгал глазами.

«Как?.. Разве так можно?.. Чем же я виноват?»

И вдруг почувствовал, что теряет представление о том, где кончается правда и начинается ложь, где добро и где зло, спрашиваемость и несправедливость. Ушла Линета, лишив его будущего, и одно за другим стало колебаться все, чем держится человек: разум, чувства, сама жизнь... Он знал только, что любил свою Лианочку больше жизни и никакого зла ей не желал, но, кроме этого, разум его отказывался что-либо понимать. Все, из чего складается мыслящее существо, развеял, разметал вихрь несчастья.

Однако же он ее любил. В сознании его Линета как бы разделилась на теперешнюю и прежнюю. И стали вспоминаться ее голос, лицо, золотистые волосы, черные глаза, губы и стройная фигура, ее руки, чье тепло он столько раз ощущал губами. Силой воображения воскресил он ее, как живую, и понял, что не только любил, но и любит свою прежнюю Линету, безмерно тоскует по ней и безмерно страдает, ее утратив.

«И ты думала, я это перенесу?» — обратился он к ней мысленно.

Но так, значит, угодно было богу — в этом у него не возникало сомнений. И он долго сидел неподвижно, а когда очнулся, свеча до половины сгорела.

Но тут с ним произошло нечто странное.

Было такое впечатление, будто он отчалил от берега, и, как это бывает, показалось, что не он удаляется, а берег, где столько прожито, отодвигается от него. Он сам и все, что составляло его жизнь,— мысли, надежды, гордые замыслы, цели и планы, даже

любовь, даже Линета и ее утрата, безысходная мука, которую он пережил,— все отдалилось, сделалось чужим, словно осталось на том берегу. И все постепенно скрывалось из виду, становясь все меньше, бледнее, воздушней, как сон. И отдаляясь, он чувствовал, что не хочет и не может вернуться в этот уже чужой ему край, что уцелевшая частица его существа целиком принадлежит тому таинственному, безграничному простору, который, маня и принимая, раскрывался перед ним...

ГЛАВА LVIII

Четыре дня спустя, на Успенье, которое совпадало с Марыниными именинами, в Бучинек приехали Бигели со Свирским. Но Марыни дома не оказалось: она пошла с пани Эмилией в ясельский костел. Услышав это, и пани Бигель с детишками отправилась им вослед. Оставшись одни, мужчины заговорили о том, о чем вот уже несколько дней судачил весь город: о попытке Завиловского покончить с собой.

— Я три раза к нему заходил,— сказал Бигель,— но Елена Завиловская велела прислуге никого, кроме докторов, не пускать.

— И кроме меня,— вставил Поланецкий. — Сегодня я первый раз не смог его навестить, а в прошедшие дни по несколько часов там проводил. Жене говорил, что занят в конторе.

— Расскажи, как это произошло? — спросил Бигель, желавший знать подробности, чтобы потом, по своему обыкновению, все обстоятельно взвесить.

— Дело было так: Игнаций сказал, что пойдет к отцу в больницу. Я обрадовался, подумав, что это его отвлечет, и проводил его до ворот. Он обещался зайти утром ко мне, но оказалось, просто отделаться хотел, чтобы без помех пустить себе пулю в лоб.

— Значит, не ты первый узнал?..

— Нет. Я и в мыслях не допускал и спокойно прождал бы до утра. Но, к счастью, приехала Елена, узнав, что свадьба разстроилась...

— Это я ей сообщил,— перебил Свирский. — И она так огорчилась, что я даже удивился. Как будто предчувствовала беду!

— Она странная девушка,— сказал Поланецкий. — Я так и не смог от нее добиться, как это случилось, но, во всяком случае, она первая подала ему помощь, позвала докторов и, наконец, перевезла его к себе.

— А доктора как считают, он выживет?

— Да они сами не знают. У него, видимо, дрогнула рука, и пуля, пробив лобную кость, застряла в верхней части черепа. Извлечь ее оказалось делом не сложным. Но выживет ли он, а если да, то не лишится ли рассудка,— неизвестно. Один врач опа-

сается, как бы у него не отнялся язык, но пока неясно, останется ли он вообще жив.

Случай этот, всем уже известный и обсуждавшийся ежедневно в газетах, тем не менее производил каждый раз при упоминании о нем сильное впечатление. И сейчас тоже воцарилось молчание. Свирский даже побледнел: несмотря на свое атлетическое телосложение, он был чувствителен, как женщина.

— И все из-за этих лицемеров!

— Бог им судья,— тихо молвил сидевший тут же Васковский.

— Скажи,— обратился снова Бигель к Поланецкому,— а ты так ничего и не подозревал?

— Мне даже в голову не могло прийти, что он стреляться вздумает. Видно было, конечно, что он страдает. Когда мы ехали на извозчике, у него вдруг подбородок задрожал, я подумал, сейчас разрыдается. Но он гордец, он превозмог себя и внешне был спокоен. И главное, усыпило мою бдительность обещание Игна-ся завтра зайти. Знаете, что я думаю? — добавил он после небольшой паузы. — Последней каплей было письмо пани Бронич. Игнаций дал мне его прочесть. Она написала, что это промысел божий, что он эгоист и сам во всем виноват, они же поступили по чести и совести, но ему прощают и молят бога, чтобы и он его простил, словом, нечто невообразимое! Я видел, это ужасно на него подействовало,— представляю себе, что должен чувствовать такой экзальтированный, глубоко обиженный человек, когда вдруг его же выставляют обидчиком, когда он убеждается: все можно очернить, извратить, пограть — и разум, и правду, элементарные представления о справедливости, да еще прикрыться именем бога. Пусть меня лично это не касалось, но при виде такого цинизма, такой безнравственности я сам усомнился: да полно, в здравом ли я уме? Может быть, честность, справедливость — только химера, иллюзия?

И Поланецкий стал теребить бороду, разволновавшись при воспоминании о письме.

— Мне это понятно,— сказал Свирский. — Бывают минуты, когда и веруя можно наплевать на свою жизнь.

— Да, встречал я и таких,— словно сам с собой заговорил Васковский, потирая лоб. — Некоторые веруют не потому, что бога возлюбили, а из-за краха атеизма... веруют как бы от отчаяния. Если представлять себе, что там, на небесах, не отец милосердный, который руки возлагает на головы страждущих, а некто недоступный, непостижимый, безразличный, тогда можно называть его как угодно: абсолютом, нирваной... Тогда он — отвлеченное понятие, а не источник любви, и его тоже не полюбишь. Вот и лишает себя жизни человек, как случится несчастье.

— Все это так,— сказал Свирский недовольно,— но Завиловский лежит с разможенной головой, а они вон поехали куда-то на море и живут себе припеваючи.

— А почему вы знаете, может, не припеваючи? — спросил Васковский.

— Да ну их к черту!..

— Поверьте, они достойны сожаления. Истину нельзя попира́ть безнаказанно. Как ни оправдывай они себя, уважения никакими словами не вернешь. И втайне они начнут презирать друг друга, презрение перерастет в неприязнь, которая вытеснит любовь из их сердец. Чаша сия их не минет.

— Да пошли они к черту! — повторил Свирский.

— Милосердие божие грешникам нужнее, чем праведникам, — заключил Васковский.

Тем временем Бигель превозносил доброту и самоотверженность Елены Завиловской, разговаривая с Поланецким.

— Люди ведь невесть что начнут болтать, — заметил он.

— Это мало ее заботит, — отвечал Поланецкий. — Она с мнением света не считается, потому что не ждет от него ничего. У нее тоже своя гордость есть. К Игнацию она всегда питала расположение, и поступок его, должно быть, потряс ее. Вы ведь знаете историю Плошовского?..

— Я с ним даже знаком был, — ответил Свирский. — Его отец первый предсказал в Риме, что из меня что-то выйдет... Говорят, Елена невестой Плошовского была?

— Нет, это выдумки, но втайне она как будто была в него влюблена. Под такой уж родился звездой... Одно верно: после смерти его она очень переменялась. Для нее, женщины религиозной, самоубийство его было страшным ударом. Каково это: не иметь даже возможности помолиться за упокой души любимого человека!.. А теперь вот еще Игнаций!.. Кто-кто, а она все делает, чтобы его спасти. Вчера, когда я был там, она ко мне вышла чуть живая — бледная, усталая, невыспавшаяся. А в доме есть ведь кому за ним ухаживать. Панна Ратковская мне сказала, что Елена спала за четыре дня не больше часа.

— Панна Ратковская? — переспросил Свирский с живостью.

— Да. Забыл сказать: она из газет узнала о случившемся и переехала в тот же день к Елене, помогать ухаживать за больным. Бедняжка тоже на тень стала похожа.

— Панна Ратковская!.. — повторил Свирский, нащупывая машинально в кармане сюртука бумажник, где лежало ее письмо.

«Я уже сделала свой выбор, и если не буду счастлива в жизни, в неискренности, по крайней мере, не смогу себя упрекнуть», — припомнились ее слова из письма. Только теперь он понял их значение, их трагический смысл. Препенебregши светскими условностями, не боясь пересудов, молодая девушка ухаживает за самоубийцей. Что это может значить? Ясно как божий день. Коповский, правда, уехал с другой, но она никогда и не скрывала о нем своего мнения, а вместе с тем, будь ей безразличен Завиловский, не стала бы она дежурить у его постели.

— Сдается мне, что я осел! — пробормотал Свирский.

Но это был не единственный вывод, к которому он пришел по здоровом размышлении. Тоска по Стефании, по упущенным возможностям и поздние сожаления охватили его. «Опять дал маху, старина! — сказал он себе. — Да так тебе и надо! Хороший человек отнесся бы к ней с участием, а ты стал возводить на нее напраслину, осуждать за любовь к дураку, за притворство, ограниченность; оговорил перед Марыней и Поланецким. Ты был несправедлив к крогкой, несчастной девушке — и не потому, что болезненно переживал ее отказ, а потому, что уязвили твое самолюбие. Так тебе и надо! Так и надо! Ты осел и ее не стоишь — и всю жизнь до гробовой доски будешь маяться в одиночестве, как мандрил в зверинце».

В упреках этих была доля правды. Стефанию он в самом деле не любил, но отказ ее задел его больше, чем можно было ожидать. И не в силах совладать с разочарованием, призвал он на помощь свои общие суждения о женщинах, беря в пример панну Ратковскую, отыгрываясь на ней.

Теперь он понял бессмысленность таких рассуждений. «Эти дурацкие обобщения ничего, кроме вреда, мне не приносили, — думал он. — Женщина, как и все люди, — индивид, и понятие это само по себе еще ничего не означает. Есть панна Кастелли, есть Анета Основная, за последней, я подозреваю, водятся кое-какие грешки, хотя доказательств у меня нет, но, с другой стороны, есть Марыня Поланецкая, пани Бигель, сестра Анжелика, Елена Завиловская, Стефания. Бедная девочка! И поделом мне! Она втайне страдала, а я злился на нее. Да мне с ней себя равнять — это все равно, что свою трубку — с солнцем. Она десять раз права, отказав такому буйволу. Нет, лучше уеду на Восток — и баста! Таких красок, как в Египте, больше нигде не найдешь!.. Но вот что значит женское благородство! Даже ее отказ на пользу мне пошел, это благодаря ей я убедился, что мои теории о женщинах выеденного яйца не стоят. Пусть Елена Завиловская перед домом хоть полк драгун выставит, все равно прорвусь и выскажу этой бедняжке свое мнение о ней».

И на другой день он отправился к Завиловской. Сначала его не хотели пускать, но он так настаивал, что в конце концов добился своего. Елена, полагая, что его привели сюда дружеские чувства и беспокойство о Завиловском, даже проводила Свицкого к больному. Когда он вошел в затемненную шторами комнату, в нос ему ударил сильный запах йодоформа, и в полумраке он разглядел забинтованную голову с торчащим вверх подбородком, а рядом двух женщин, осунувшихся, с лихорадочным румянцем от бессонных ночей, и впрямь похожих на тени. Рот у Завиловского был открыт, из-под бинтов виднелись опухшие веки. Он изменился до неузнаваемости и казался старше своих лет. И хотя Свицкий успел к нему привязаться и, будучи человеком отзывчивым, жалел его не меньше, чем Поланецкий или Основной, но

при виде этого обезображенного лица испугался. «Эка отделал себя!» — подумал он.

— Не приходил в сознание? — тихо спросил он у Елены.

— Нет, — шепотом ответила она.

— А что доктора?

Елена развела своими худыми руками, давая понять, что пока ничего неизвестно.

— Нынче пятый день... — прибавила она вполголоса.

— И температура упала, — поддержала Стефания.

Свирский предложил им свою помощь, но Елена глазами указала на молодого врача. Свирский не разглядел его в темноте, — сидя в кресле возле стола, на котором стоял таз и лежала пропитанная йодоформом вата, он дремал от усталости в ожидании, пока его сменит другой доктор.

— У нас их двое, — прошептала Стефания, — и сиделки из больницы, которые отлично знают свое дело.

— Очень уж измученный у вас вид.

— Тут речь о его жизни... — ответила она, посмотрев в сторону кровати.

Свирский последовал за ее взглядом. Глаза его немного привыкли к темноте, и он лучше разглядел лицо Завиловского — застывшее, с запекшимися губами. Большое тело его тоже было неподвижно, только исхудалые пальцы шевелились, теребя одеяло.

«Ей-богу, его через пару дней свезут прямоком на кладбище», — пронеслось у него в голове, и он вспомнил своего приятеля — того, прозванного «Славянином», над которым в свое время трунил все Букацкий; он тоже пустил себе пулю в лоб и, промучившись две недели, умер. Но чтобы не огорчать женщин, сказал прямо противоположное тому, что думал:

— От таких ран или сразу умирают, или выздоравливают.

Елена не ответила, только губы у нее побелели и лицо судорожно передернулось. Видимо, в глубине души она сама боялась, что Завиловский умрет, но гнала эту страшную мысль. Довольно было с нее одного самоубийства, да и нечто другое заботило, нежели только спасти жизнь Игнацию.

Свирский стал прощаться. Он заранее обдумал слова, с какими обратится к Стефании, — скажет, что был к ней несправедлив, что глубоко ее уважает, предложит свою дружбу; но пред лицом этой трагедии и грозного призрака смерти, при виде этих двух несчастных женщин и этого полутрупа понял, как неуместны и ничтожны все его оправдания и как нелепо сейчас выяснять отношения.

Молча поцеловал он руку Елене, потом — Стефании и, выйдя из этой обители печали, с наслаждением вдохнул свежий, не пахнувший йодоформом воздух.

Его воображению художника живо представлялся Завиловский — изменившийся, постаревший лет на десять, с запекшимися губами и забинтованной головой.

И несмотря на участие, его вдруг разобрала злость.

— Послал к чертям и жизнь, и талант,— проворчал он,— и хоть бы что! А они, бедняжки, душу за него готовы отдать, дрожат над ним, точно листья на ветру.

Он будто завидовал Завиловскому и жалел себя.

«Что, старина,— говорил он себе,— небось ты бы разделался вот так с собой и своим талантом, никто не ходил бы вокруг да около на цыпочках!»

Но дальнейшие его размышления прервал Плавицкий, который с ним столкнулся на углу.

— Я только что из Карлсбада,— сообщил он. — Сколько там очаровательных женщин, если бы вы только знали! А сегодня вот в Бучинек собираюсь. С зятем я уже виделся и знаю от него, что Марыня здорова, но сам он что-то неважно выглядит.

— Это от огорчения. Вы ведь слышали про Завиловского?

— Как же, как же! А вы, что сами вы об этом думаете?

— Беда большая.

— Да, беда, а все оттого, что нравственных устоев нет. Придумали какие-то там атеизмы, магнетизмы, социализмы, от них и пошло все зло. Нет у молодежи устоев, вот в чем беда!..

ГЛАВА LIX

На Поланецкого этот катастрофический случай так подействовал, что он совершенно забыл о своем обещании написать Основскому, как Игнаций перенес отъезд Линеты и разрыв с ней. Но тот узнал обо всем из газет и ежедневно осведомлялся по телеграфу о здоровье Завиловского, очень за него беспокоясь. Газетные сообщения и слухи были самые разноречивые. Одни газеты писали: надежды на выздоровление нет, другие — что состояние больного улучшается. И, не зная сам ничего определенного, Поланецкий лишь две недели спустя известил Основского телеграммой, что кризис миновал и врачи ручаются за его жизнь.

Основский прислал в ответ пространное письмо, в котором сообщал между прочим и разные новости из Остенде.

«Благослови вас господь за добрую весть. Значит, и правда, опасность миновала? Не могу и выразить, какая у нас глечность с души свалилась. Передайте Игнацию: не только я, но и жена моя со слезами приняла известие о его выздоровлении. Ни о чем другом она сейчас не может ни думать, ни говорить. Ах, эти женщины! О них тома целые впору писать. Конечно, моя Анетка — исключение, и, верите ли, несмотря на испуг, сострадание и жалость к Игнацию, он после этого случая еще больше вырос в ее глазах. Женщины во всем ищут романтическую сторону, и даже в Коповском, чья глупость ей хорошо известна, она как в виновнике несчастья видит что-то демоническое. Но, слава богу,

Игнаций поправляется, и это главное! Пусть здравствует народу нашему во славу и найдет себе достойную спутницу жизни. По телеграмме вашей я заключаю, что его опекает панна Елена. Бог ее благослови за такую доброту. Ведь у нее никого близкого нет на свете, а Игнаций благодаря памяти о Плошовском, думаю, тем дороже.

Ну, а теперь, успокоенный касательно его здоровья, могу сообщить вам кое-какие подробности о тетушке Бронич и Линете. Может, вы уже слышали, что они тут с Коповским. Они направились было в Шевенинген, но, узнав, что там оспа, уехали в Остенде, не предполагая, что и мы здесь. Несколько раз мы их встречали в курзале, но делали вид, будто не знакомы. Коповский даже оставил у нас визитную карточку, но я никак не отозвался, хотя, как справедливо заметила моя жена, он куда меньше виноват. И, лишь получив вашу телеграмму, что Игнацию лучше, я из простого человеколюбия передумал и не медля переслал ее им. Ведь и им тоже несладко приходится: знакомые от них отвернулись, и мне хотелось, чтобы хоть жизнь человеческая не лежала у них на совести, тем паче что Линета, кажется, поступок Игнация все-таки переживает. Они в тот же день пришли к нам, и жена их приняла. Она правильно считает, что дурные свойства — это род морального недуга, а больных не годится лишать помощи. Первая встреча была неприятна и тягостна и для нас, и для них. Об Игнации не было сказано ни слова. Коповский выступает в роли жениха Линеты, но впечатления счастливой пары они не производят, хотя, по правде говоря, он гораздо больше ей подходит и в этом смысле во всем происшедшем приходится видеть промысел божий. Стороной я узнал: тетушка так именно дело и представляет. Излишне говорить, как меня бесит это упоминание всуе имени божьего. Некоторых наших общих знакомых тетушка пыталась уверить, будто они порвали с Игнацием из-за недостатка у него религиозных чувств, другим плетет небылицы о его деспотическом нраве и неспособности ужиться с Линетой. Все это сплошной обман и самообман. Внушая себе и окружающим, что Линета возвышенное существо, тетка сама в конце концов этому поверила и теперь переживает жестокое разочарование. Правда, она почитает своим долгом выгораживать Линету и мечется как угорелая, выдумывая бог весть что в ее защиту, но сдается мне, мысль, что она в ней обманулась, порядком ее грызет, уж больно вид у нее неважнецкий. Им, видимо, важно возобновить отношения с нами, это, по их расчетам, вернуло бы им отчасти общее расположение, но, хотя жена и приняла их, отношения наши, конечно, не могут быть прежними. Я первый бы этому воспротивился, ибо считаю себя обязанным оберегать жену от дурного влияния. Свадьба Линеты состоится, кажется, через два месяца в Париже. Мы, разумеется, присутствовать не будем. И вообще жена смотрит на все это скептически. Пишу столь пространно в надежде и от вас получить подробное письмо с уведомлением обо

всем, что касается Игнация. Как только состояние его позволит, обнимите его и скажите, что во мне он всегда имел и будет иметь искреннейшего друга, преданного ему душой и сердцем».

Невзирая на осеннюю пору, Марыня все еще жила в Бучинеке, и Поланецкий, забрав письмо из конторы, показал его прежде Бигелям, к которым зашел пообедать.

— Во всем этом одно радует,— сказала, прочитав, пани Бигель,— что она выходит за этого своего Коповского. Иначе я была бы беспокойна: вдруг у Игнация снова проснется чувство и он, поправившись, вернется к ней.

— Нет. У Завиловского сильный характер, и он, по-моему, ни за что к пей не вернулся бы,— сказал Бигель. — А ты как думаешь, Стах?

Бигель так привык советоваться со своим компаньоном, что и тут не мог без этого обойтись.

— Я думаю, скорее уж они пойдут на понятный, сообразив, что сделали, а что до него... я всякое повидал, самое несообразное, и ни за что не поручусь.

И Поланецкому снова пришли на память слова: «Знаю, какая она, но ничего не могу с собой поделать».

— А ты вернулся бы на его место? — спросил Бигель.

— Наверно, нет, но и за себя не ручаюсь. Да я прежде всего стреляться бы не стал. А впрочем, не знаю!

Ему неприятно было говорить об этом; кому-кому, подумал он, а уж не ему зарекаться.

— Много бы я дала, чтоб Игнация повидать,— сказала пани Бигель,— но, право, легче крепость взять, чем к нему проникнуть. Не понимаю, почему Елена так его бережет, даже от близких друзей?

— Бережет, потому что врач предписал абсолютный покой. Да и ему с тех пор, как он в сознании, не хочется видеть людей, даже самых близких. И это можно понять. Говорить о происшедшем он не может, но чувствует, что у всех, кто приходит, одно и то же на уме.

— А вы у него каждый день бываете?

— Меня пускают, потому что я с самого начала в какой-то мере причастен ко всему. Я первый ему сообщил, что Линета поврала с ним, и вроде бы его опекал.

— Он еще ее вспоминает?

— Я спрашивал Елену и панну Ратковскую, они говорят: нет. И сам я часами посиживаю у его постели, но тоже ни разу не слышал. Сейчас он в полном сознании, понимает, что ранен, болен, но странное дело: такое впечатление, будто все предшествующее выпало у него из памяти, перестало существовать. Доктора говорят, что ранения в голову могут вызывать всякие такие необычные последствия. Но при этом узнает всех, кто приходит, страшно благодарен Елене и Стефании Ратковской. Особенно привязался он к Стефании и с явным нетерпением поджидает ее,

стоит ей хоть на минутку отлучиться. Обе они до того добры к нему... право, просто слов не нахожу.

— Меня больше всего трогает Стефания,— сказала пани Бигель.

— По зрелом размышлении я пришел к заключению,— вставил Бигель,— что она в него просто влюблена.

— Напрасно ты тратил время на размышления,— заметил Поланецкий,— это ясно как божий день. Бедняжка скрывала свое чувство, пока с Игнацием не случилось несчастья. И Свирскому отказала именно поэтому. Секрета я не выдаю: Свирский сам рассказывает об этом направо и налево. Виноватым себя считает перед ней за то, что заподозрил ее в любви к Коповскому. После отъезда Основских жила она у своей родственницы, Мельницкой, но, узнав, что Игнаций стрелялся и Елена взяла его к себе, явилась к ней и упросила разрешить ей за ним ухаживать. Всем ясно, что это значит, но она, как и сама Елена, выше людских толков. — И Поланецкий продолжал, обращаясь к пани Бигель: — Вот вы говорите, вас трогает Стефания, но подумайте, какую трагедию переживает Елена! Завиловский, по крайней мере, остался жив, Плошовский целил лучше. И, по ее понятиям, даже на том свете для него не будет прощения. А она ведь его любит. Вот положение! А тут еще второе самоубийство растравило раны, всколыхнуло воспоминания. Стефания трогательна, не спорю, но у Елены жизнь навек разбита и никакой надежды, только отчаяние.

— Да, вы правы! Но, видимо, она привязана к Игнацию, если ходит за ним так самоотверженно...

— А я догадываюсь почему. За спасение Завиловского она надеется испросить прощение для того, другого.

— Очень может быть,— сказал Бигель. — Как знать, не женится ли еще Завиловский на панне Ратковской, когда выздоровеет.

— Если забудет ту, прежнюю, если несчастье его не сломит и, наконец, если он вообще поправится.

— Как это, если поправится? Ты же говорил: в этом нет сомнения.

— Нет сомнения, что будет жить, но еще вопрос, останется ли он прежним Завиловским. Если б он даже не стрелялся, при его экзальтированности трудно поручиться, что это не сломило бы его. А тут как-никак голова прострелена! Такое даром не проходит. Как дальше пойдет, еще неизвестно. И сейчас вот он, например, в сознании и объясняется вполне осмысленно, но нет-нет да и запнется, простейших слов не может вспомнить. Раньше с ним этого не бывало. Странно, названия предметов помнит хорошо, а коснется речь какого-нибудь действия, останавливается, силится найти слово, но не всегда находит.

— А что доктор?

— Бог даст, все образуется, так и доктор считает. Но вот

вчера, едва я пришел, Игнаций ко мне: «А пани...» — и замолчал. Вспомнил, наверно, про Марыню, захотел спросить, но не сумел. С каждым днем он говорит все свободней, это верно, но сколько еще времени пройдет, пока он окончательно поправится... а какие-то последствия могут остаться и на всю жизнь.

— Марыня знает уже?

— Пока уверенности не было, что он выживет, я скрывал от нее, но потом решил сказать. Конечно, в самой осторожной форме. Держать дольше в тайне становилось трудно. Слишком уж большие толки это вызвало, я боялся, как бы она не узнала со стороны. Я сказал, что ранение легкое, жизнь его вне опасности, но навещать доктора не разрешают. Но она и так ужасно расстроилась.

— Когда вы сюда ее забираете?

— Пускай в деревне поживет, пока погода хорошая.

Разговор был прерван появлением слуги, передавшего Поланецкому записку от Машко.

«Нужно бы повидаться по моему делу, — писал он. — Буду дожидаться у тебя до пяти часов».

— Интересно, чего ему надо от меня? — сказал Поланецкий.

— Кому?

— Да вот Машко. Хочет повидаться.

— Все дела небось, — сказал Бигель. — У него всегда их выше головы. Удивляюсь, как у него сил и ума хватает на все на это. А знаешь, старуха Краславская приехала, совсем слепая. В полном смысле ослепла, не видит ровно ничего. Мы были у них перед возвращением в город. Куда ни глянешь, всюду горе, просто сердце разрывается.

— Но человек познается в беде, — сказала пани Бигель. — Помните, мы считали пани Машко холодной, суховатой, а как она заботится о матери! Вы и не представляете. Прислугу даже и не подпускает, сама ее повсюду провожает, ухаживает, читает ей. Для меня это приятная неожиданность с ее стороны, даже со стороны обеих, потому что и мать оставила свою прежнюю фанаберию. Приятно видеть их взаимную нежность. Стало быть, есть в Терезе что-то такое, что мы проглядели.

— И обе страшно возмущаются поступком Линеты, — прибавил Бигель. — Краславская нам сказала: «Сделай такое Тереза, я бы от нее отреклась, несмотря на мою слепоту и беспомощность». Но Тереза, какая она ни есть, никогда бы так не поступила, она совсем другого склада женщина.

Поланецкий, допив свой черный кофе, начал прощаться. С некоторых пор всякое упоминание о Терезе сделалось для него невыносимо; ему казалось, будто перед ним наново разыгрывается отрывок из той странной человеческой комедии, в которой сам он сыграл свою малопримечательную роль. Ему не приходило в голову, что люди — существа сложные, даже самые испорченные не

лишены каких-то добрых качеств, и Тереза, вопреки всему, может быть любящей дочерью. Он вообще предпочитал о ней не думать и сейчас сосредоточился на одном: чего Машко от него нужно? Машко сообщал в записке, что хочет увидиться не по своему собственному, а по его, Поланецкого, делу, но это вылетело у него из головы, и зашевелилось беспокойство: опять будет просить взаймы.

«И я не смогу теперь ему отказать», — подумал он.

Жизнь подобна часовому механизму, пришло ему на ум. Один винтик неисправен — и все разлаживается. Какая, кажется, связь между тем, что было у них с Терезой, и его финансовыми, коммерческими интересами, торговыми сделками? И однако, у него как коммерсанта — по крайней мере, в отношении Машко — вот уже чувствительно сократилась прежняя свобода действий.

Но опасения его были напрасны: Машко явился не за деньгами.

— Искал тебя и в конторе, и здесь, — сказал Машко, — потом догадался, что ты, наверно, у Бигелей и послал записку. Хочу по одному делу с тобой поговорить, касающемуся тебя.

— Чем могу служить? — спросил Поланецкий.

— Прежде всего прошу: пускай это останется между нами.

— Изволь. Так что же? Слушаю тебя.

Машко с минуту молча смотрел на Поланецкого, словно желая подготовить его к важному известию, и наконец совершенно спокойно сообщил, отчеканивая каждое слово:

— А то, что я погиб безвозвратно.

— Дело в суде проиграл?

— Нет. Дело будет слушаться через две недели, но я знаю, что проиграю.

— Почему ты так уверен в этом?

— Помнишь, я как-то говорил, что дела по опротестованию завещаний, как правило, выигрывают, потому что истец как лицо заинтересованное обычно действует энергичней, чем ответчик, которому исход безразличен. Повод для придирок всегда найдется, и даже если какое-то обстоятельство или утверждение согласно с духом закона, оно в большей или меньшей степени может не соответствовать его букве, а судьи должны придерживаться именно буквы.

— Да. Говорил.

— И дело, за которое я взялся, в этом смысле не исключение. Это была не авантюра, как могло показаться. Я задался целью доказать формальную недействительность завещания, и, может, мне это удалось бы, если бы не то, что мой противник с не меньшим рвением старался доказать противоположное. Не стану утомлять тебя подробностями, скажу только одно: я столкнулся не просто с адвокатом противной стороны, причем подготовленным на все четыре ноги, а еще и личным врагом, который не

только выиграть дело стремится, но заодно меня погубить. Когда-то я его оскорбил, и вот он мстит.

— Не понимаю, почему тебе вообще не иметь дела только с самим прокурором?

— Потому что там есть записи в пользу частных лиц, и они для защиты своих интересов обратились к этому Селедке. Впрочем, не о том речь. Дело проиграно, потому что в сложившихся обстоятельствах ничего у меня не выйдет, а у Селедки выйдет, вот и все. Заранее знаю и не обольщаюсь. Хватит уже с меня, сыт по горло.

— Ты можешь дальше пойти... подать апелляцию.

— Нет, дорогой, ничего я не могу.

— Почему?

— Потому что у меня долгов больше, чем волос на голове, и после первого же проигрыша кредиторы накинутся на меня и... — понизил Машко голос, — придется тогда удариться в бега.

Наступило молчание. Машко некоторое время сидел, положив голову на руку и опершись локтем в колено, затем, не меняя своей понурой позы, заговорил, как бы рассуждая сам с собой:

— Лопнуло. Вязал из последних сил, другой на моем месте давно бросил бы, пускай рвется, а я не покладал рук. Но больше не могу! Видит бог, мочи больше нет. Все когда-нибудь кончается, положим и этому конец. — Он вздохнул, как от смертельной усталости, и поднял голову. — Но это все мои дела, а я пришел поговорить о твоих. Так вот, слушай! По контракту, заключенному при покупке Кшеменя, я должен выплатить твоей жене сумму, полученную после парцелляции Магерувки. Кроме того, я занял у тебя несколько тысяч рублей. И тестю твоему обязался выплачивать пожизненный пенсион. И вот я пришел тебе сказать: если не через неделю, то через две меня объявят банкротом, я буду вынужден бежать за границу, и вы не получите ни гроша.

Решительно и нисколько не смущаясь выложив это, как человек, которому нечего терять, Машко посмотрел Поланецкому в глаза, ожидая вспышки гнева.

Но ничего подобного не произошло. Поланецкий, правда, помрачнел было, но, овладев собой, сказал спокойно:

— Я так и думал, что этим кончится.

Зная Поланецкого, Машко вполне допускал, что тот может схватить его за шиворот, и глянул на него испытующе, недоумевая, что это с ним.

А у Поланецкого в голове промелькнуло: «Попроси он денег на дорогу, я бы не смог отказать». Вслух же он повторил:

— Да, этого и следовало ожидать.

— Нет, не следовало! — вскричал Машко, не желая расставаться с мыслью, что всему виной неблагоприятное стечение обстоятельств. — Ты не имеешь права так говорить. Я и на смертном одре готов подтвердить, что все могло обернуться иначе.

— Чего тебе, любезный, собственно, нужно от меня? — с оттенком раздражения спросил Поланецкий.

— От тебя ровно ничего, — поостыв немного, ответил Машко. — Я пришел к тебе как человеку, который всегда оказывал мне дружеское расположение, пришел как должник, имея в виду не деньги, а долг благодарности, — чтобы поделиться с тобой откровенно и сказать: спасай, что можно, пока не поздно еще.

Поланецкий стиснул зубы. Он полагал, что есть какой-то предел тем злым шуткам, которые жизнь в последнее время не уставала шутить над ним и остальными. Но слова Машко о дружеском расположении и долге благодарности звучали насмешкой, превосходившей уже всякие пределы. «Катись ты ко всем чертям вместе со своими деньгами!» — чуть не сорвалось у него с языка, но, сдержавшись, он сказал только:

— Не вижу такой возможности.

— Возможность есть, — ответил Машко. — Пока никто не знает, что я банкрот, пока теплится надежда выиграть процесс и моя фамилия и подпись чего-то еще стоят, продай закладную твоей жены. А покупателю скажи: решил, дескать, обратить недвижимость в капитал или что-нибудь в этом роде. Глаза всегда можно отвести. И покупатель найдется, особенно если цену сбавишь, продашь с уступкой. Любой еврей купит в расчете на барыш. Да кто угодно пусть погорит на этом, только не ты. А предупредил я тебя или нет о своем банкротстве, никто ведь не знает, ты мог рассчитывать и на благоприятный исход судебного дела. И будь спокоен: покупатель твоей закладной сам продал бы ее тебе без зазрения совести, наперед зная, что завтра ей будет грош цена. Жизнь — это биржа, а на бирже так дела и делаются. Это называется изворотливостью.

— Нет, — отвечал Поланецкий, — это называется иначе. Ты упомянул евреев, так вот, есть дела, которые они определяют словом «schmutzig»¹. И чтобы выручить деньги по закладной, я поищу другой способ.

— Как знаешь. Мне, милый мой, самому известно, как называется мой способ, тем не менее по долгу порядочности я счел нужным тебе его предложить. Может, это уже порядочность бу дущего банкрота, но другой у меня нет. Можешь себе представить, как легко мне все это говорить. Я заранее знал, что ты не согласишься, но мое дело было посоветовать. А теперь прикажи подать чашку чаю да рюмочку коньяку, а то я совсем обесси лел.

Поланецкий позвонил.

— Конечно, — продолжал Машко, — кто же должен из-за меня пострадать, тут уж ничего не поделаешь; но я предпочел бы, чтобы в их числе оказались люди мне безразличные, а не распо-

¹ грязные (нем.).

ложенные ко мне. Бывают в жизни такие положения, когда невольно приходится идти на сделки с совестью. — Машко горько усмехнулся. — Раньше я этого не знал, но теперь мои горизонты расширились. Век живи, век учись. У нас, банкротов, тоже есть свое понятие о чести. Что до меня, я обеспокоен участью не тех, кто поступил бы со мной точно так же, а близких мне людей, которым я признателен. Может быть, это мораль Ринальдини, но все-таки мораль.

Лакей принес тем временем чай. Машко для подкрепления сил долил чашку коньяком и, остудив ее таким образом, выпил одним духом.

— Ты лучше меня во всем разбираешься, — сказал Поланецкий, — и все доводы против отъезда, в пользу того, чтобы остаться и попытаться поладить с кредиторами, ты сам, наверно, уже обдумал. Поэтому я хочу спросить о другом. Чем ты собираешься заняться, есть ли у тебя что-нибудь на примете? И деньги хотя бы на дорогу?

— Есть. На сто тысяч обанкротиться или на сто десять — это уже значения не имеет, но спасибо за вопрос. — И Машко опять подлил коньяку в чай. — Не думай, будто я запил с горя, просто я сегодня еще с утра не присел и устал безумно. Ах, хорошо, теперь немного подкрепился. Скажу тебе откровенно: надежды я еще не потерял. Пулю в лоб, как видишь, не пустил — вот тебе лучшее доказательство. Это все устарело, это все мелодрама. Я понимаю: здесь для меня все кончено, но на здешней почве особенно-то и не развернешься. Интересы настоящего нет, да и простора. То ли дело Европа, Париж! Вот где колесо фортуны оседлать можно — со дна под самое небо взлететь. Да что тут распространяться! У того же Гирша, когда он уезжал, и трехсот франков небось не было! Ладно, можешь мне не говорить, в нашем тухлом болоте это миражем кажется, горячечным бредом банкрота... Но там и поглупей меня миллионы наживали, да, поглупее!.. Пан или пропал, но уж если ворочусь когда-нибудь... — И, сжав кулаки — чай с коньяком оказывал, видимо, свое действие, — прибавил: — Вот увидишь!..

— Миражи не миражи, — отозвался Поланецкий, — но, во всяком случае, еще дело будущего. А пока-то что?

В тоне его чувствовалось растущее раздражение.

— А пока... — ответил Машко не сразу, — пока что мошенником будут считать. Никому и в голову не придет, что крах краху рознь... Я вот, к примеру, у жены ни одной подписи не взял, ни единого поручительства, ни разу капитал ее не тронул, сколько было до замужества, столько и осталось... Поеду один и, пока не устроюсь, здесь ее оставлю с матерью. Не знаю, слышал ли ты, что Краславская ослепла совсем. С собой я не могу их взять, так как не знаю даже, где еще поселюсь... в Париже или Антверпене... Но надеюсь, мы ненадолго разлучаемся... Они ничего еще и не подозревают... Вот в чем трагедия, вот что меня мучает...

Машко схватился за голову и зажмурился, словно от боли.
— Когда ты едешь? — спросил Поланецкий.

— Не знаю еще, но сообщу тебе. Ты мне вызвался помочь, так помоги — но не деньгами. От жены на первых порах все отвернутся. Не оставляйте ее совсем, возьми хоть ты под свою опеку. Ладно? Ты всегда был ко мне расположен — и к ней тоже, я знаю.

«Ей-богу, спятить можно!» — подумал Поланецкий, но вслух сказал:

— Ладно.

— Сердечное тебе спасибо. И еще одна просьба к тебе. Они обе очень тебя уважают, и жена, и теща. Каждому твоему слову верят. Выгороди меня хоть немного перед женой. Растолкуй ей, что одно дело — мошенничество, а другое — невезение. Право же, не такой я негодяй, за какого меня примут. Ведь мог бы и жену разорить, а вот не разорил, мог и у тебя признаться еще несколько тысяч, но не занял. Словом, ты сумеешь изложить все, как надо, — и она тебе поверит. Сделай для меня, хорошо?

— Хорошо, — повторил Поланецкий.

А Машко, обхватив голову и морщась, как от физической боли, стал твердить:

— Вот он, крах настоящий! Вот от чего я страдаю!

И через несколько минут попрощался с Поланецким, еще раз поблагодарив за доброе отношение к жене и обещание позаботиться о ней.

Поланецкий вышел с ним вместе, сел на извозчика и поехал в Бучинек.

По дороге он думал о Машко, о постигшей его участи, говоря себе: «Я тоже банкрот!» И был прав. К тому же все последнее время владела им какая-то безотчетная, глухая тревога, которую он никак не мог подавить. Вокруг наблюдал он обман, неудачи, крушения и сам жил в ожидании какой-то беды, грозящей ему в будущем. И хотя разубеждал себя в основательности таких опасений, тайный страх не покидал его. «А почему я, собственно, должен быть исключением?» — спрашивал он себя. И сердце у него сжималось от дурных предчувствий. Даже в словах друзей невольно стали чудиться ему какие-то намеки, шпильки, коловшие тем сильнее. В последнее время нервы у него расшатались до того, что он сделался прямо-таки суеверен. Возвращаясь ежедневно в Бучинек, все беспокоился, а не стряслось ли чего?

В тот раз, задержавшись из-за Машко, приехал он позже обычного, когда совсем уже стемнело. Сойдя перед крыльцом на песчаной дорожке, которая заглушала звук колес, он увидел в окне Марыню, пани Эмилию и Васковского, сидевших в гостиной за круглым столом. Марыня раскладывала пасьянс и объясняла, наверно, что-то пани Эмилии, поворачась к ней и указывая пальцем на карту. «Более чистой души я в жизни не встречал!» — подумал Поланецкий при виде жены. Это он все чаще повторял

себе с некоторых пор — с острым чувством счастья и одновременно глубокой печали. И с этой же мыслью вошел.

— Ты сегодня опоздал,— сказала Марыня, когда он, поздоровавшись со всеми, поднес ее руку к губам. — Но мы ждем тебя с ужином.

— Машко задержал,— ответил Поланецкий. — А что у вас слышно?

— Ничего нового. Все благополучно.

— А ты как себя чувствуешь?

— Прекрасно! — весело ответила она, подставляя лоб для поцелуя.

И стала расспрашивать о Завиловском. Поланецкий впервые после неприятного разговора с Машко вздохнул облегченно. «Здорова, значит, все хорошо!» — словно удивившись в душе, подумал он. И действительно, было хорошо в этой освещенной, настраивавшей на мирный лад комнате, среди приветливых людей, подле верной, доброй жены, самого близкого ему существа на свете. Было ощущение, что есть все, потребное для счастья. И вместе с тем — что счастье это он сам же губит, заноса в чистую атмосферу семейного очага миазмы зла и порока, и недостоин жить под одной кровлей с Марыней.

ГЛАВА LX

В середине сентября похолодало, и они перебрались на свою городскую квартиру. К приезду жены Поланецкий как следует прибрал ее, поставил всюду цветы. Ему казалось, он лишился теперь права любить Марыню. Но это было не так: лишился он лишь прежней свободы по отношению к ней, но, может быть, именно поэтому стал гораздо внимательней и предупредительней. Права любить никто не дает и не отнимает. Другое дело — чувствовать себя недостойным чистого, благородного существа, если у самого совесть нечиста. Тогда-то к любви и примешивается смирение, не позволяющее назвать ее по имени. Утратил Поланецкий лишь прежнюю самоуверенность, нетерпеливость и бесцеремонность в обращении с женой. И теперь в его обхождении с ней проскальзывали такие нотки, словно она была еще панной Плавичкой, а он — не смевшим надеяться на благосклонность претендентом на ее руку.

Но внешне эта робость слишком походила иногда на безразличие. И в результате, несмотря на все его старания и заботливость, прежней близости между ними не было. Поланецкий душил свои душевные порывы, всякий раз говоря себе: «Не имею права!» Марыня не могла не заметить перемены в их совместной жизни, но извиняла это разными причинами.

Во-первых, в доме бывали гости, что так или иначе стесняло их свободу. Во-вторых — несчастье с Завиловским, которое могло

подействовать на Стаха, завладев его мыслями. Да и вообще Марыня привыкла уже к изменчивому настроению мужа, перестав придавать этому чрезмерное значение.

После долгих, печальных размышлений пришла она к заключению, что первое время, пока все неровности и несходство характеров не сгладятся, переменчивость настроения и разногласия неизбежны, хотя преходящи. Открытие это помогла ей сделать здравомыслящая пани Бигель.

— Не сразу так было,— заметила она однажды, когда Марыня стала воспитывать их супружескими отношениями. — Сначала мы любили друг друга вроде бы горячее, но были очень разные: я в одну сторону тянула, он — в другую. Но намерения у нас были добрые, и господь бог, видя это, помог нам. А после рождения первого ребенка все наладилось — и теперь я ни за что не рассталась бы со своим старым конягой, хотя он и стал полнеть, а стоит мне заикнуться о Карлсбаде, только рукой машет.

— После рождения ребенка? — с живостью переспросила Марыня. — Почему-то я так и думала, что с появлением ребенка все налаживается.

Пани Бигель рассмеялась.

— А какой он смешной был, когда наш первый родился! Несколько дней почти что и не разговаривал, очки только сдвинет на лоб и уставится на него, как на чудо морское, потом подойдет ко мне и руки целует.

Ожидание ребенка тоже помогало Марыне не принимать близко к сердцу изменившееся отношение мужа. Она уверяла себя, что его еще сильнее привяжет к ней и их ребенок (не сомневаясь, что он будет верхом совершенства), и красота ее, которая вернется после родов. И потом, Марыня считала, что не имеет права думать сейчас только о себе или даже о Стахе. Надо было приготовить местечко для будущего пришельца не только в доме, но и в душе. Ведь, кроме пеленок, этому созданию нужна любовь. И она копила ее в своем сердце, повторяя себе: жизнь вдвоем может быть и переменчива, но втроем будет не чем иным, как счастьем, постоянным изъяснением долгожданного милосердия и благоволения божьего.

И вообще она с надеждой смотрела на будущее. И хотя Поланецкий держался несколько отстраненно и церемонно, зато был необычайно внимателен, чего за ним раньше не водилось. А утомленное, озабоченное выражение его лица приписывала она беспокойству о Завиловском, чья жизнь была, правда, вне опасности, но недуг, как ей подсказывало сердце, мог продлиться еще невесть сколько, сделав его навечно калекой. Боязнь этого угнетала и ее, и Бигелей, и всех, кому был дорог Завиловский.

К тому же вскоре после возвращения в город из Остенде дошли вести, грозившие новыми осложнениями. Однажды утром в контору, как бомба, влетел Свирский и, затачив Поланецкого с Бигелем в отдельную комнату, сообщил с таинственным видом:

— Вы знаете, что случилось? Ко мне Кресовский заходил, он вчера вернулся из Остенде. Основский поколотил Коповского и от жены ушел. Чудовищный скандал! В Остенде только об этом и говорят.

Бигель и Поланецкий молчали, пораженные.

— Рано или поздно это должно было случиться, — сказал наконец Поланецкий. — Уж слишком слепо он ее любил.

— А я так ничего не понимаю, — вставил Бигель.

— Неслыханная история! — воскликнул Свирский. — Вот уж никто не ожидал.

— А что Кресовский рассказывает?

— Он говорит, Основский условился с какими-то англичанами поехать в Блакенберг поохотиться на дельфинов. Но опоздал — не то на поезд, не то на трамвай, короче говоря, до следующего оставался целый час, и, вернувшись домой, он застал там Коповского. Представляете, что он увидел, если при всей своей кротости вышел из себя и, не побоявшись скандала, так отделал Коповского, что тот слег.

— Он настолько был влюблен в свою жену, что и с ума мог сойти или убить ее, — заметил Бигель. — Какой удар для него!

— Вот они, женщины! — воскликнул Свирский.

Поланецкий промолчал. Бигель в волнении ходил по комнате, охваченный жалостью к Основскому. Наконец, остановясь перед Свирским и сунув руки в карманы, сказал:

— И все-таки я ничего не понимаю.

Свирский, не отвечая, обернулся к Поланецкому.

— Помните, что я вам о ней в Риме говорил, когда писал портрет вашей жены? Старик Завиловский жаворонком ее называл; теперь понятно, почему: у жаворонка и другое название есть: «сквернавка». Ну и женщина! Я догадывался, что нестоящая, но не думал, что до такого дойдет... И с Коповским притом... Теперь мне многое становится ясным. Коповский ведь целыми днями торчал у них; сначала делал вид, будто за Линетой Кастелли ухаживает, потом — за Стефанией Ратковской, а на деле-то они все это придумали с хозяйкой дома для отвода глаз. Экий ловкач! Линетка на обед, Анетка на десерт! Недурненько устроился!.. Они небось еще соперничали между собой. Одна ему авансы, другая — того пуще, лишь бы на свою сторону перетянуть. Думаете, тут не играло роли женское тщеславие?

— Вы правы, — сказал Поланецкий. — Основская всегда была против брака Коповского с Линетой, потому и сватала ее с таким рвением за Игнация. А когда они, несмотря ни на что, все-таки облизались, она пошла на все, лишь бы его удержать. Это давний роман.

— Теперь я начинаю понимать, — сказал Бигель. — Грустная история!

— Грустная?.. — переспросил Свирский. — Напротив, для Коповского даже очень веселая... Хотя не все коту масленица!

Ему теперь не позавидуешь. Основский ведь, пожалуй, не слабей меня — с утра до вечера всяким спортом занимался, чтобы не пополнеть и жене не разонравиться. Ах, как он ее любил! Редкостной доброты человек, очень его жаль! И чего ей только не хватало? И любовь, и состояние, и преданность поистине собачья — все у нее было, и все втоптала в грязь. Каstellли — та хоть не обвенчана была.

— А они и вправду разошлись?

— Настолько вправду, что она даже уехала уже. Можно вообразить, что там было, если такой вот Основский решился бросить ее.

— Интересно, на что она будет жить, — заметил практичный Бигель. — Состояние-то все его.

— Если уж сразу не убил, так и с голода не даст помереть. Не такой он человек. Кресовский говорит, он остался в Остенде, чтобы потребовать удовлетворение у Коповского. Но тот еще с неделю в постели пролежит. А уж потом дуэль. Ну, а пани Бронич с племянницей укатали в Париж.

— А как же свадьба?

— Да какая тут свадьба! После столь явной измены между ними, разумеется, все кончено. Зло не остается безнаказанным. Остались и они у разбитого корыта. Ха-ха! Пускай теперь поищут себе за границей какого-нибудь князя Крапулеску — у нас после ее поступка с Завиловским на ней разве что жулик женится либо дурак. Завиловский больше уж не вернется.

— То же самое и я говорил Поланецкому, — заметил Бигель, — а он ответил: «Как знать!»

— Э-э! Вы и в самом деле думаете?..

— Не знаю! Ничего не знаю! — сказал Поланецкий с раздражением. — Ни за что и ни за кого не поручусь, даже за самого себя!

Свирский удивленно посмотрел на него.

— Гм, может, вы и правы, — отозвался он немного погодя. — Скажи мне кто вчера, что Основские разойдутся, я бы счел его за сумасшедшего.

Свирский попрощался, торопясь в мастерскую, а потом — встретиться с Кресовским, с которым условился пообедать, чтобы разузнать подробности этой скандальной истории. Бигель с Поланецким остались одни.

— За содеянное всегда приходится расплачиваться, — сказал задумчиво Бигель. — Знаешь, меня поражает, до чего упала у нас нравственность! Взять хотя бы такую вот пани Бронич с этой Каstellли или Основскую... Что за безнравственные, испорченные и к тому же глупые существа! Чего в них только ни намешано, сам черт не разберет, претензии непомерные, а ведут себя, точно горничные! При одной мысли противно становитея, правда? А такие люди, как Игнаций или Основский, страдают из-за них.

— Логика здесь бессильна, — мрачно ответил Поланецкий.

Бигель снова принялся расхаживать, причмокивая и крутя головой, потом с просиявшим лицом вдруг остановился перед Поланецким и хлопнул его по плечу.

— Эх, старина! Зато хоть мы с тобой вытянули счастливый билет в жизненной лотерее. Тоже святыми не были, да бог простил, потому что не забирались воровским манером в чужие дома.

Поланецкий, не отвечая, стал собираться уходить.

Как нарочно все складывалось так, чтобы дергать ему нервы. И видеть, слышать все это было не только больно, мучительно, но уже просто смешно. И хотелось иногда забрать с собой Марыню и скрыться куда-нибудь в глушь, подальше от этого омерзительного жизненного фарса, который становился все несносней. Но он понимал, что не сделает этого, хотя бы из-за положения Марыни. Однако переговоры о покупке Бучпнека, уже близкие к завершению, прекратил, решив подыскать себе летнее пристанище в другом, не столь близком и доступном месте. Вообще люди стали его тяготить; казалось, будто он попал в водоворот, из которого никак не выбиться. Иногда просынался в нем прежний энергичный, здравомыслящий человек, и он в недоумении спрашивал себя: «Какого черта? Почему из-за проступка, какие тысячами совершаются каждодневно, я каюсь и винюсь так непомерно?» Но чувство справедливости говорило: как для врача существуют прежде всего больные, а не болезни вообще, так и в нравственном смысле есть виновники, а не только отвлеченное понятие вины. И за то, что один переносит с легкостью, другой расплачивается жизнью. И тщетно он старался перед собой оправдаться. Вина его, как человека с принципами, который всего полгода как женился на такой женщине, как Марыня, и вскоре должен был стать отцом, была безмерна и непростительна, и ему подчас не верилось даже, что он мог так поступить. И теперь, возвращаясь домой под впечатлением этого несчастья с Основским, он не мог отделаться от мысли, что и сам виноват в случившемся. «Я, — говорил он себе, — член акционерного общества, которое фабрикует такие отношения и таких женщин, каковы Кастилли и Основская». Бигель прав, говоря об упадке нравственности, подумалось ему, и вот эта-то атмосфера общей снисходительности благоприятствует пороку и тлетворна. Ведь яснее ясного, что случившееся — не следствие несчастного стечения обстоятельств, исключительной страсти или пылкого темперамента, а плод всеобщей распущенности, и имя таким грехам — легион. «Вон только среди моих знакомых — и Тереза Машко, и Основская, и Линета, — думал он, — а кого им противопоставить? Одну мою Марыню!» В ту минуту ему не пришло в голову, что, кроме Марыни, есть среди его знакомых и пани Эмплия, и пани Бигель, и Елена Завиловская, и Стефания Ратковская. И посреди всеобщей испорченности и легкомыслия Марыня представилась Поланецкому столь чистой, преданной и непохожей на других, что

он даже растрогался. «Она совсем иного склада, как из другого мира!» — подумалось ему. И сразу вспомнилось, что и Основский считал свою жену исключением; но он тут же с негодованием отменил эту мысль. «Основский ошибался, а я не ошибаюсь». Никакой скептицизм с Марыней не вязался. Сомневаться в ней было бы не только глупо, но и подло: ничему дурному в ее душе просто не было места. Болотная птица и гнездится ведь только на болоте. Как-то он сказал ей в шутку: вздумай она носить ботинки на высоких каблуках, ее, пожалуй, совесть заела бы от неловкости, что она обманывает людей. И в этой шутке была доля правды. И он увидел ее так явственно, как только могло нарисоваться напрягшееся воображение. Увидел ее пополневшую фигуру, ее изменившееся, но по-прежнему обаятельное лицо с этим чуть великоватым ртом и ясными, кроткими глазами — и разволновался.

«Мне и правда достался счастливый билет в жизненной лотерее, — подумал он, — но я не сумел оценить своего счастья». За содеянное надо, по словам Бигеля, расплачиваться. Поланецкому и самому это не раз приходило в голову и теперь вдруг стало страшно. «Зло не остается безнаказанным, в силу какого-то закона оно отражается, как возвратная волна, — думал он, — значит, я тоже буду наказан». И ему внезапно показалось полнейшим недоразумением его слишком безмятежное счастье, такая жена, как Марыня. Ведь это противоречит закону, по которому зло возвращается, как волна. Но что из этого следует? А то, что Марыня может, например, умереть родами. Или Тереза из мести обронит какое-нибудь словечко, которое упадет ей в память, будет мучить и доведет в конце концов до горячки. Для этого не нужно даже и рассказывать всего. Достаточно похвастаться, что она дала ему отпор. «А вдруг она сейчас как раз у Марыни, — испугался он, — и если зайдет речь о мужчинах, один игривый намек — и все кончено...»

При одной мысли об этом у него волосы зашевелились на голове, и домой он явился совершенно взбудораженный. Но Терезы не было, а Марыня передала ему записку от Елены Завиловской, которая просила к ней зайти после обеда.

— Боюсь, не хуже ли Игнацию, — забеспокоилась Марыня.

— Не думаю. Я забежал к нему утром на минутку. Елена была занята, совещалась с нотариусом Кононовичем, но и его, и Стефанию я видел. Он себя чувствовал хорошо, оживился даже, поговорив со мной.

За обедом Поланецкий решил поделиться с женой новостью, услышанной от Свирского; ведь скрыть все равно не скроешь, а выложит кто-нибудь неожиданно — это ее слишком потрясет, чего он вовсе не хотел.

И на вопрос, что слышно в конторе и в городе, ответил:

— В конторе — ничего нового, а в городе говорят о размолвке между Основскими.

— Между Основскими?

— Да. Что-то там вышло у них в Остенде. И, кажется, из-за Коповского.

— Стах! Что ты говоришь? — сказала Марыня и покраснела.

— Говорю, что слышал. Помнишь, я еще сказал тебе о своих подозрениях вечером на помолвке у Игнация? Оказывается, я был прав. Короче говоря, там скандал и вообще дела плохи.

— Но ты же говорил, что Коповский — жених панны Кастелли?

— Был женихом, а сейчас не знаю. Они могли и порвать.

Марыня разволновалась и стала расспрашивать мужа. Но тот сказал, что подробности дойдут скорей всего через несколько дней, а больше пока ничего неизвестно, и она принялась жалеть Основского, которому всегда симпатизировала, и возмущаться Анетой.

— Я думала, его преданность подкупит ее и привяжет, но, значит, она просто его не достойна. Прав Свирский, плохо отзываясь о женщинах.

Дальнейший разговор был прерван Плавицким, который после раннего ресторанного обеда явился поделиться с ними «свежей новостью», о которой судачил уже весь город. Новость в передаче Плавицкого приобрела весьма фривольный колорит, и Поланецкий подумал, что хорошо сделал, заранее подготовив жену. Плавицкий, правда, упомянул, каких строгих правил были женщины «прежних времен», но происшествие явно раздражило его любопытство и очень позабавило.

— Вот разбойница! Вот проказница! — заключил он. — Ничего не боялась! И никого не пропускала!.. Бедняга Основский! Никого, никого!

И с этими словами поднял брови, испытующе глядя на Марыню с Поланецким, будто проверяя, вполне ли они улавливают смысл этого «никого». Но Марыня только поморщилась.

— Фу! Стах! — сказала она. — Как это гадко и пошло!

ГЛАВА LXI

После обеда Поланецкий отправился к Елене. Завиловский носил еще на голове черную повязку поверх широкого пластыря посередине, закрывавшего рану; он заикался и немного косил, но в общем вполне окреп и сам себя почитал уже здоровым. Доктор уверял, что и эти последствия ранения пройдут бесследно. Поланецкий застал молодого человека сидящим в глубоком кресле старика Завиловского; закрыв глаза, слушал он стихи, которые ему читала Стефания.

При появлении гостя она закрыла книгу.

— Добрый вечер! — поздоровался он. — Как дела, Игнаций? Я не помешал? Что это вы читаете с таким увлечением?

Стефания наклонила стриженую голову к книжке (раньше она носила длинные косы, но при больном некогда было ухаживать за ними) и ответила:

— Стихи пана Завиловского.

— Собственные стихи слушаешь? — засмеялся Поланецкий. — Ну и как, нравятся?

— Мне кажется, они как будто не мои, — отвечал Завилковский. И помолчав, прибавил, растягивая слова и слегка заикаясь: — Но я опять буду писать, вот только поправлюсь совсем...

Мысль эта, видимо, не давала ему покоя, и он не раз уже заговаривал об этом со Стефанией, потому что она тотчас отозвалась, словно в ободрение:

— И еще лучше будете писать, теперь уже совсем скоро.

Он улыбнулся ей признательно и умолк.

Вошла Елена.

— Вот хорошо, что пришли, надо бы с вами посоветоваться... — сказала она, пожимая руку Поланецкому.

— К вашим услугам.

— Не здесь, пойдемте ко мне.

И, проводив его в соседнюю комнату, указала на кресло, а сама села напротив и помолчала, словно собираясь с мыслями.

На нее падал свет, и Поланецкий, заметив у нее в волосах серебряные нити, подумал: а ей ведь нет и тридцати.

— Мне, собственно, помощь нужна, а не совет, — своим обычным холодным и решительным тоном сказала она. — Я знаю, вы добрый друг Игнация, и ко мне после смерти отца проявили такое участие, что я никогда этого не забуду, поэтому я могу быть с вами откровенней, чем с кем-либо... По причинам личного свойства — говорить мне о них тяжело — я решила изменить свою жизнь, чтобы избежать лишних страданий. У меня давно было такое желание, но, пока был жив отец, нельзя было его осуществить. А потом — несчастье с Игнацием. И я подумала, что не имею права бросить в беде родственника, последнего представителя нашего рода по мужской линии, к которому я вдобавок искренне привязана. Но теперь он, слава богу, спасен. Доктора ругаются за его жизнь, и, коли ему даны выдающиеся способности, предназначенные для великих свершений, ничто больше его предназначению не препятствует. — Она умолкла, словно уносясь мыслями в будущее, потом продолжала: — Долг свой я выполнила и могу вернуться к своему замыслу. Нужно только еще распорядиться состоянием, довольно значительным, которое оставил отец, — в той жизни, что я собираюсь вести, оно мне совершенно не понадобится. Если бы я считала его своей безраздельной ответственностью, может быть, и распорядилась им иначе, но поскольку это достояние фамильное, я не вправе предназначать его на иные цели, пока жив хотя бы один наследник нашего родового имени. Не скрою от вас: отчасти мною руководит симпатия к кузену, однако прежде всего я повинуюсь своей совести и воле

отца, который не успел изменить завещание, но мне доподлинно известно, что часть состояния хотел он отделить Игнацию. Сколько оставить себе, я сама решила; это меньше, чем думал отец, но больше, чем может мне понадобиться в моей новой жизни. Все остальное перейдет к Игнацию. Дарственная уже написана по всем правилам Кононовичем. Игнаций унаследует этот дом, Ясмень, имение под Кутном, познанские имения и весь капитал, за исключением моей доли и небольшой суммы, которую я предназначаю для Стефании. Дело только в том, чтобы вручить Игнацию этот документ. Я уже советовалась с двумя докторами, не повредит ли волнение его здоровью и не лучше ли подождать. Однако оба заверили меня, что всякая добрая весть может сказаться на его здоровье лишь благоприятно, а коли так, зачем медлить, хочется покончить с этим поскорее.

И слабая улыбка тронула ее губы.

— Дорогая пани Елена, скажите — это не пустое любопытство, поверьте, — что вы намерены делать? — с неподдельным волнением пожимая ей руку, спросил Поланецкий.

— Каждый волен искать покровительства у бога, — ответила она уклончиво. — Что до Игнация, его честность и благородство порукой, что богатство не пойдет ему во вред. Но поскольку он еще очень молод и неопытен, а ему предстоит совсем другая жизнь, и состояние, которое он унаследует, очень значительно, мне бы хотелось просить вас как его друга и честного человека принять опеку над ним. Блюдайте его, оберегайте от дурных людей, но главное, напоминайте, что его долг творить, продолжать писать. Спасая ему жизнь, я спасала его талант. Пускай пишет и служит обществу — не только за себя, но и за тех, кто был сотворен на благо людям и в помощь, а они загубили себя и свое дарование.

Голос у нее прервался, губы побелели, и она крепко сжала руки. Казалось, накопившееся в душе отчаяние прорвется наружу, но она совладала с собой, и лишь стиснутые руки свидетельствовали, с каким трудом ей это далось.

Видя, как она страдает, и желая отвлечь ее, Поланецкий перевел разговор в сугубо практическое русло.

— Да, жизнь Игнация изменится самым коренным образом, — сказал он, — но я тоже надеюсь, что это пойдет ему только впрок... Зная его, трудно предположить противное. Но не могли бы вы подождать год или хотя бы полгода со вручением дарственной записи?

— Зачем?

— По причинам, которые прямо Игнация не касаются, но могут иметь свои последствия для него. Не знаю, дошли ли до вас вести о том, что свадьба Линеты Каstellи и Коповского расстроилась, и тетушка с племянницей оказались вследствие этого в весьма щекотливом положении. Порвав с Игнацием, они очень уронили себя в общем мнении, их имена сейчас у всех на устах.

И лучшим выходом для них было бы воротить Игнация, а, узнав про дарственную, они уж, надо полагать, постараются этого добиться, и неизвестно еще, устоит ли он при его болезни и по прошествии столь небольшого времени...

Елена, нахмутив брови, с напряженным вниманием слушала Поланецкого.

— Нет,— сказала она наконец. — Думаю, что Игнаций сделает другой выбор.

— Я догадываюсь, кого вы имеете в виду, но не забывайте, как сильно он любил, если даже пережить своей утраты не мог.

Тут случилось нечто для Поланецкого неожиданное. Всегда такая холодная и сдержанная, Елена беспомощно развела руками.

— Ну что ж... — сказала она,— если так... Если только с ней будет он счастлив... Ох, знаю, что лучше бы без этого, но бывают положения, когда человек над собой не властен и жить иначе не может, и...

Поланецкий взглянул на нее удивленно.

— И ... пока жив, он всегда может избрать другой, лучший путь,— помедлив, договорила она.

«Вот уж не ожидал услышать ничего подобного»,— подумал Поланецкий и сказал вслух:

— В таком случае идемте к Игнацию.

Завиловский сначала удивился, потом обрадовался, но, казалось, больше для приличия. Словно разумом он понимал, какое счастье привалило, и говорил себе: радуйся же, но в душе оставался безучастен. Зато как сердечно и участливо расспрашивал Елену, что она задумала, что собирается делать. Елена лишь вскользь обронила, что хочет удалиться от мира и намерение ее неколебимо, принявшись заклинять Игнация не зарывать в землю свой талант — это, видно, больше всего ее занимало,— не обманывать возлагаемых на него ожиданий.

Она по-матерински наставляла его, а он со слезами на глазах повторял: «Я опять буду писать, вот только совсем поправлюсь»,— и целовал ей руки. И не понять было, слезы это участия к ней или слезы ребенка, который лишается доброй и ласковой покровительницы. Елена сказала, что отныне она гостья в его доме и уедет через два дня.

Завиловский стал просить ее остаться еще хотя бы на неделю и просил так горячо, что она согласилась, боясь огорчить его и тем повредить его здоровью. Он успокоился и развеселился, как мальчуган, чьей прихоти потакают.

Но под конец вечера задумался, словно стараясь припомнить что-то, и, обеда всех отсутствующим взглядом, сказал:

— Странно, мне кажется, все это уже было.

— В прошлой твоей жизни, на другой планете? — спросил со смехом Поланецкий, желая обратить все в шутку.

— Да, все это уже было когда-то,— повторил Завиловский.

— И стихи эти ты написал на Луне?

Завиловский взял со стола книжку, в раздумье посмотрел на нее и сказал:

— Я опять буду писать — вот только совсем поправлюсь.

Поланецкий простился и ушел. В тот же вечер Стефания Ратковская перебралась обратно к Мельницкой в свою комнату.

ГЛАВА LXII

Разрыв между Основскими, занимавшими в обществе довольно видное положение, и свалившееся вдруг на Завиловского наследство были важнейшими событиями, о которых говорил весь город. Те, кто утверждал, будто Елена взяла Завиловского к себе с тайной мыслью выйти за него замуж, онемели от изумления. Поползли новые сплетни и слухи: шептались, будто молодой поэт — внебрачный сын покойного богача и пригрозил сестре судом за сокрытие завещания, а та во избежание скандала предпочла ото всего отречься и уехать за границу. По мнению других, уехала она из-за Ратковской, которая якобы устраивала ей возмутительные сцены ревности, так что двери порядочных домов перед Стефанией теперь навсегда закрыты. Нашлись и поборники общего блага. Эти во всеуслышание заявляли, что Завиловская не имела права так распоряжаться состоянием, давая понять: они на ее месте распорядились бы иначе, с большей пользой для общества.

Словом, сплетники, любители вмешиваться в чужие дела, пустоболты и низкие завистники распускали самые невероятные выдумки. Но вскоре новое известие послужило пищей для пересудов: о дуэли между Основским и Коповским, на которой Основский был ранен. Вернулся и сам Коповский, овеянный славой герой бранных и любовных походов. Умнее он, правда, не стал, зато стал еще прельстительней и неотразимей в глазах дам и юных, и немолодых, чьи сердца равно начинали биться при его появлении.

Получивший легкую рану Основский лечился в Брюсселе. Свирский вскоре после дуэли получил от него коротенькое письмо, извещавшее его, что чувствует он себя хорошо и зимой собирается в Египет, но перед тем завернет в Пшитулов. С этим известием Свирский побывал у Поланецких, выразив опасение: не затем ли он возвращается, чтобы снова вызвать Коповского.

— Я убежден, — сказал он, — что Основский нарочно подставил себя под пулю. Он искал смерти. Мы немало практиковались с ним у Бруфени, и мне ли не знать, как он стреляет. Он при мне в спичку попадал, и пожелаю он прикончить Копосика, только мы его бы и видели.

— Возможно, что и так,— отозвался Поланецкий,— однако, раз он пишет, что собирается в Египет, стало быть, не думает умирать. Вот и пускай возьмет Завиловского с собой.

— Верно, не мешало бы ему свет повидать. Я бы не прочь к нему заглянуть. Как он поживает?

— Сегодня я еще не был у него, пойдемте вместе. Чувствует он себя неплохо, странный только стал. Помните, какой гордый, сдержанный был? А теперь вроде бы и здоров, но совсем как ребенок: чуть что, у него слезы на глазах.

Они вышли вместе на улицу.

— Елена еще здесь?..

— Здесь. Он так огорчен ее отъездом, что она сжалилась над ним: хотела уехать через неделю, а вот уже и вторая подходит к концу.

— А что она, собственно, намерена предпринять?

— Ничего определенного она не говорит. Но, вероятно, уйдет в монастырь и до конца дней будет за Плошовского молиться.

— А Стефания Ратковская?

— Стефания по-прежнему у Мельницкой живет.

— Игнастик очень скучает по ней?

— Первые дни скучал, а теперь словно вовсе позабыл.

— Если он в течение года не женится на ней, я, ей-богу, опять сделаю ей предложение. Такая будет преданной женой.

— И Елена в глубине души за этот брак. Но что из этого выйдет, трудно сказать.

— Э, да я уверен, что женится, а про себя — это я просто так молю. Никогда я не женюсь.

— Знаю, знаю, жена говорила про ваш вчерашний зарок, да только смеется над ним.

— А я и не зарекаюсь, просто не везет.

Разговор прервало появление экипажа, в котором сидели Краславская с дочерью. Ехали они в сторону Аллеи: как видно, подышать воздухом. День был ясный, но холодный, и Тереза укутывала мать в теплое пальто, настолько этим поглощенная, что не заметила их и не ответила на поклон.

— Я был на днях у них,— сказал Свирский. — Она добрая женщина!

— И, говорят, заботливая дочь,— отозвался Поланецкий.

— Да, я заметил. Но мне, закоренелому скептику, подумалось: «Нравится, наверно, играть роль заботливой дочки». Женщины часто совершают добрые поступки из желания покрасоваться — вы разве не примечали?

Свирский не ошибался; роль самоотверженной дочери Терезе действительно нравилась, но говорила в ней также искренняя привязанность к матери, чья болезнь, как видно, растопила лед в ее душе. Выказав верное наблюдение, Свирский не развил его дальше, а именно: как к новой шляпке женщина подбирает мантильку, платье, перчатки, так и с добрыми поступками. Один

обязывает к другому, и вся душа преображается. Благодаря этому свойству женщина всегда сохраняет возможность стать лучше.

Тем временем дошли до Завиловского, который принял их с распростертыми объятиями,— как все выздоравливающие, он очень радовался посетителям. Услыхав, что Свирский едет в Италию, он стал просить взять его с собой.

«Ага! — подумал художник. — О Стефании, стало быть, мы не помышляем!»

А Завиловский рассказывал, как давно мечтает об Италии, уверяя, что нигде ему так легко не писалось бы, как там, под сенью памятников искусства и увитых плющом древних руин. Его столь очевидно радовала и увлекала эта мысль, что добряк Свирский легко дал себя уговорить.

— Но на этот раз я там долго не пробуду,— предупредил он,— я тут подрядился сделать несколько портретов и к Поланецкому обещался на крестины. — И оборотился к нему: — Кого крестить-то будем, дочь или сына?

— Да мне все равно, бог дал бы только, чтобы разрешилась благополучно,— ответил Поланецкий.

И когда Свирский с Завиловским принялись составлять план поездки, попрощался и ушел. В конторе ждала неразобранная вчерашняя почта, и, уединясь в своем кабинете, он взялся просматривать письма и заносить в записную книжку неотложные дела. Но через некоторое время вошел недавно нанятый рассыльный и сказал, что его желает видеть какая-то дама.

Поланецкий переполошился. Почему-то он решил, что это непременно должна быть Тереза Машко. И в предчувствии неприятной сцены и объяснений у него тревожно забилося сердце.

Но, к величайшему его удивлению, в дверях показалась веселая, улыбающаяся Марыня.

— Что, не ожидал? — спросила она.

Обрадованный Поланецкий вскочил и стал целовать ей руки.

— Ах ты, милая моя! Вот уж, правда, сюрприз! — твердил он. — Как это тебе пришло в голову зайти?

И, придвинув кресло, стал ее усаживать, как дорогого, почетного гостя. Его сияющее лицо без слов говорило, как он рад ее видеть.

— А у меня есть кое-что интересное для тебя,— сказала Марыня. — Все равно мне предписано ходить, вот я и решила к тебе заглянуть. А ты кого ждал? Признавайся!

И она, смеясь, погрозила ему.

— Сюда столько народу приходит,— отвечал он. — Во всяком случае, тебя я не ждал. Ну так что там у тебя?

— Смотри, какое я письмо получила.

Поланецкий взял и прочел:

«Дорогая и любимая пани! Пусть вас не удивляет, что я обращаюсь к вам: ведь вы скоро сами станете матерью и должны

понять, как надрывают материнское сердце страдания ребенка (нет нужды, что Линета не дочь мне, а племянница). Поверьте, мной движет лишь желание хоть немного облегчить горе бедной девочки, тем паче что главная виновница всего — я. Может быть, вас удивят мои слова, но это суцая правда. Да, я всему виной! Нельзя было настолько терять голову, приносить в жертву свое дитя из-за того только, что гадкий, безнравственный человек, воспользовавшись тем, что Лианочке стало дурно, осмелился коснуться ее чистых уст. Но и Юзек Основский виноват, подступивший к Коповскому с требованием жениться, — наверно, уже тогда в чем-то его подозревал и хотел таким образом от него избавиться. Видит бог, недостойно жертвовать чужой жизнью и счастьем ради собственного благополучия. Ах, дорогая пани, мне и самой спервоначала показалось, что ничего другого не остается, как пойти за этого негодая, и Лианочка уже не вправе притязать на Игнация. И я же сама, нарочно, думая облегчить для него утрату и смягчить его страдания, еще и написала ему, будто Лианочка выходит замуж по велению сердца... Лианочка — и Коповский! Но бог справедлив, он этого не допустил. Едва я поняла, что брак этот равносителен для нее смерти, мы обе стали ломать голову единственно над тем, как порвать с ним. О возобновлении отношений с Игнацием, конечно, и речи быть не может: Лианочка изверилась в людях и в жизни и нипочем на это не согласится. Про это письмо она даже и не знает. Ах, знали бы вы, дорогая пани, как потряс ее поступок пана Завиловского и сколько ей здоровья стоил, вы бы ее пожалели. Не должен он был этого делать, хотя бы ради нее. Но, увы, все мужчины — эгоисты, только о себе думают. Ее же в этом винить — все равно, что новорожденного младенца. Лианочка тает как свечка, с утра до ночи терзаясь, что стала невольной виновницей несчастья, которое могло стоить Игнацию жизни. Не дальше чем вчера она со слезами меня умоляла в случае ее смерти заменить ему мать и заботиться о нем, как о собственном сыне. Изю дня в день твердит, что он, наверно, ее проклинает, а у меня, глядя на нее, сердце разрывается. Доктор-то ведь говорит: продлится такое состояние — он ни за что не ручается. Я уповаю на бога, но и вас умоляю: помогите несчастной матери, присылайте хоть изредка весточки о нем — или напишите лучше, что он здоров, спокоен, простил ее и забыл; я ей покажу письмо, и пусть бедняжка хоть капельку успокоится. Я пишу путано, но вы поймете, что со мной творится при виде мучений, которые терпит эта невинная жертва. Господь вознаградит вас за доброту, я же буду молиться, чтобы ваша дочка, если бог девочку пошлет, была счастливей моей бедной Лианочки».

— Ну, что скажешь? — спросила Марыня.

— Я думаю, до них уже дошла вестъ о наследстве, — сказал Поланецкий, — и еще мне кажется, что письмо, хотя и адресовано тебе, предназначено для Игнация.

— Да, пожалуй. Написано не без задней мысли. Но, должно быть, им несладко приходится.

— Еще бы! Прав Основский, когда писал, что тетушку постигло разочарование, но она не хочет в этом признаваться. Знаешь, что Свирский о Линете сказал? Я не стану повторять, он выразился резко, но в общем считает, что на ней теперь женится разве дурак или безнравственный человек. Они сами это понимают, и, конечно, им невесело. А может, и совесть заговорила, хотя вряд ли, письмо уж больно неискреннее. Игнацию не показывай!

— Нет, конечно,— ответила Марыня, которая всей душой была на стороне Стефании.

А Поланецкий, следуя за ходом преследовавших его мыслей, почти дословно повторил ей то, что говорил самому себе: кара настагает, как возвратная волна.

— Зло в силу некой закономерности не остается безнаказанным,— сказал он,— и они пожинают, что посеяли.

Марыня в задумчивости водила зонтиком по полу.

— Ты прав, Стах,— сказала она, подняв свой ясный взор на мужа,— расплата неминуема, но душевные терзания и муки совести — тоже кара, и бог, принимая это как покаяние, не наказывает больше.

Ничего лучше этих простых слов Марыня не могла бы придумать, знай она даже, что мучает ее мужа, и пожелай его утешить и приободрить. Поланецкий жил с некоторых пор в ожидании несчастья, в постоянном страхе. А из ее рассуждения следовало, что его мучения и раскаяние и есть кара, волна, уже настигшая его. Да, он намучился, настрадался, но если в этом искупление вины, то готов страдать вдвойне! Прямодушие ее, честность и доброта, которая исходила от нее, его умиляли, и ему захотелось обнять ее, но боязнь взволновать — и робость, которую он испытывал перед ней в последнее время,— удержали.

— Ты права. И добра бесконечно.

Она улыбнулась ему, обрадованная похвалой. После ее ухода Поланецкий долго провожал ее взглядом, стоя у окна. Издали наблюдал он, как она идет, тяжело ступая, откинувшись назад, видел выбившиеся из-под шляпки пряди темных волос, и вдруг с глубочайшей нежностью ощутил, что она дороже ему всего на свете, что он одну ее любит и будет любить до самой смерти.

ГЛАВА LXIII

Два дня спустя Поланецкий получил от Машко коротенькую прощальную записку.

«Сегодня уезжаю,— писал Машко. — Постараюсь заглянуть к тебе, но на всякий случай прощаюсь и благодарю за доброе отношение ко мне. Дай бог, чтобы у тебя, не в пример мне, все было

хорошо. Очень хотелось бы повидаться, и, если сумею, около четырех забегу на минутку в контору. Еще раз прошу: не забывайте мою жену и поддержите ее, когда от нее отвернутся. И за меня заступись перед ней, когда начнут меня осуждать. Уезжаю в Берлин в девять вечера и не таясь. До свидания, будь здоров, еще раз спасибо за все. *Машко*».

Поланецкий заблаговременно пришел в контору и около часа прождал его. «Не придет,— решил он. — И слава богу!» Домой он отправился с чувством облегчения оттого, что удалось избежать неприятной встречи. Но вечером почувствовал жалость к нему. Хотя, думалось ему, Машко избрал в жизни дурной, неверный путь, он порядком намучился, натерпелся и тяжело за это поплатился под конец, чего рано или поздно можно было ожидать, но если мы, предвидя такой исход, продолжали знаться с ним и принимать его у себя, тем непростительней теперь отвернуться от него. Не могло быть сомнений, что Машко будет приятно, если он придет его проводить и, поколебавшись немного, он отправился на вокзал.

По дороге ему пришло в голову, что он увидит Терезу, но ясно было: встречаться все равно придется, а отступать сейчас было бы просто трусостью.

Рассуждая таким образом, пришел он на вокзал. Там, в небольшом зале первого класса, ожидали уже несколько человек, и столы были завалены ручной кладью, но Машко не видно было. Лишь взглядевшись повнимательней, узнал он в сидевшей в углу молодой женщине под вуалью Терезу.

— Добрый вечер,— подходя, сказал Поланецкий. — Я пришел проститься с вашим мужем. По куда он подевался?

— Он сейчас вернется, за билетами пошел,— с легким кивком ответила она своим обычным бесстрастным голосом.

— За билетами? Разве вы тоже едете?

— Нет. Я хотела сказать: за билетом.

Говорить было не о чем; но тут подошел Машко в сопровождении носильщика, которому он отдал билет и деньги, велел сдать вещи в багаж. В длинном пальто с пелериной, в мягкой фетровой шляпе, в пенсне на золотой цепочке, со своими роскошными бакенбардами он походил на дипломата. Но Поланецкий заблуждался, полагая, что Машко рад будет его увидеть. Он бросил, правда: «Вот спасибо, что приехал», но небрежно и мимоходом, как при самом обычном прощанье.

— Ну,— сказал он, озираясь по сторонам,— все в порядке! Но где же мой саквояж? А, вот он! Отлично! — И, оборотясь к Поланецкому, повторил: — Спасибо, что приехал. Окажи мне в таком случае еще одну любезность: отвези жену домой или хотя бы посади на извозчика. Тереня, пан Поланецкий проводит тебя домой. Отойдем на минутку, дорогой, надо еще кое-что тебе сказать. — И, отведя Поланецкого в сторону, продолжал торопли-

во: — Отвези ее непременно! Я объяснил свой отъезд делами, но ты заметь, как бы между прочим, что удивлен, почему это я уезжаю перед самым судом. Ведь так, дескать, процесс легко и проиграть, если меня задержит что-нибудь непредвиденное. Я хотел зайти, чтобы специально об этом попросить, но сам знаешь, как перед отъездом... Дело слушается через неделю!.. Я скажусь больным. В суд за меня явится мой помощник, начинающий адвокат, и, конечно, проиграет. Но это можно будет объяснить случайностью. В отношении жены я принял необходимые меры. Имущество записано на ее имя, у нее и ложки не отнимут. Есть у меня один проект, хочу предложить его кораблестроительной компании в Антверпене. И если удастся контракт заключить, то-то здесь шуму будет!.. В таком случае почему бы и не вернуться, по сравнению с таким предприятием тяжба из-за Плошова — сущий пустяк. Но сейчас некогда об этом распространяться. Да, если бы не тяжелые минуты, которые ждут мою жену, и горя бы мало, но теперь мне все это — вот так! — Он приставил ладонь ребром к горлу и продолжал еще торопливей: — Что ж, не повезло, но с кем не бывает. Впрочем, жалеть уже поздно. Что было, то было, но я делал все, что мог, и сейчас тоже не собираюсь сидеть сложа руки. Я рад, что по закладной ты хоть часть своих денег вернешь. Было бы время, рассказал бы тебе подробнее о моем проекте, сам бы увидел: такое не всякому в голову придет. Может, и с вашей фирмой дело придется иметь. Видишь, я не сдаюсь... И жену обеспечил. Да, не повезло, не повезло! Но другие на моем месте кончили бы хуже, разве нет? Однако пора возвращаться к жене.

Поланецкий слушал его с неприязнью. Отдавая должное его душевной стойкости, он не чувствовал в Машко достаточной уравновешенности, которая отличает предприимчивого дельца от авантюриста. Казалось, уже сейчас есть в нем что-то от потрепанного жизнью пройдохи, который долго еще будет хорохориться, пока не докатится со своими проектами до того, что будет ходить в стоптанных ботинках и в компании таких же неудачников разглагольствовать в захудалых кофейнях о былом своем величии. Подумалось заодно, что виной всему жизнь, основанная на лжи, и сколько бы Машко ни бился, ему при всем уме не вырваться из тенет лжи.

И сейчас притворяется перед женой. Перед ней, конечно, поневоле; но вот зал стал заполняться людьми, среди которых оказались знакомые, подходившие поздороваться, обменяться несколькими словами, как всегда на вокзале, и Машко отвечал с такой высокомерной снисходительностью, что Поланецкого зло вязало. «Подумать только,— сказал он про себя,— и это когда он удирает от кредиторов! А как бы он себя держал, если б разбогател!..»

Меж тем раздался звонок, и из-за окон донеслось нетерпеливое пыхтенье паровоза. Началось движение и суэта.

«Интересно, что он чувствует сейчас», — подумал Поланецкий. Но даже в такую минуту Машко не удалось сбросить путы лжи. И хотя сердце у него, быть может, сжалось от недоброго предчувствия и в сознании мелькала догадка, что не придется больше увидеть любимую жену и впереди лишь нужда, мытарства и унижения, все это нужно было скрывать, и даже проститься с Терезой он не смог, как хотелось.

Второй звонок прозвенел. Они вышли на перрон. Машко на минутку остановился перед спальным вагоном. Свет фонаря упал на его лицо, и возле рта стали заметны две морщины, которых не было раньше. Но голос у него был снокоен — прощался он тоном человека, который отлучается ненадолго и не сомневается, что вернется.

— Ну, до свидания, Тереня! Поцелуй за меня маму и береги себя! До свидания, до свидания!

Он прижал к губам ее руку и все не отпускал.

Поланецкий из деликатности отошел в сторону с мыслью: «Они видятся последний раз. Через какие-нибудь полгода и закон их разлучит».

И его поразила странная схожесть судьбы матери и дочери. Обе как будто удачно вышли замуж, и обеих мужья бросили, обрекая на одиночество и позор.

Раздался третий звонок. Машко поднялся в вагон. В большом окне спального купе показались его бакенбарды, пенсне на золотой цепочке, но поезд уже тронулся и исчез в темноте.

— Я к вашим услугам, — сказал Поланецкий.

Он был почти уверен, что Тереза поблагодарит и откажется. И уже наперед на нее за это рассердился, так как собирался поговорить не только о муже, но и о себе. Но она кивнула в знак согласия. У нее были свои счеты с Поланецким, на которого она затаила горькую обиду, решив теперь хорошенько его проучить, если он опять захочет воспользоваться тем, что они останутся наедине.

Но она глубоко заблуждалась. Поланецкий, чья жизнь чуть не разбилась из-за нее, как лодка об утес, питал к ней острую неприязнь; больше того: какое-то время даже ненависть. После, уразумев собственную вину, перестал ненавидеть — и внутренне настолько переменился, что вообще сделался другим человеком. Прикинув приход-расход, он убедился, что интрижка эта обойдется ему слишком дорого; да и устал он от всякого криводушия, и раскаяние, угрызения совести уничтожили его страсть, как ржавчина — железо. Подсаживая Терезу в пролетку, Поланецкий нечаянно коснулся ее руки, но это его несколько уже не взволновало, и, сев рядом с ней, он сразу заговорил о Машко, чтобы из простого человеколюбия подготовить ее к надвигающейся катастрофе и тем смягчить удар.

— Удивляюсь вашему мужу, его безрассудной смелости, — сказал он. — Достаточно ведь обрушиться какому-нибудь желез-

подорожному мосту, пока он в Берлине, и ему уже не поспеть к слушанию дела, от успеха которого зависит, как вы, наверно, знаете, вся его дальнейшая судьба. Уехать его заставили, без сомнения, веские причины, но это все-таки рискованный шаг.

— Надеюсь, мост не обрушится, — ответила она.

Не обращая внимания на этот не слишком любезный тон, он продолжал, однако, толковать свое, понемногу приоткрывая перед ней завесу над будущим, и не заметил даже, как они подъехали к ее дому. Не понимавшая, куда он клонит, а может быть, раздосадованная, что сразу же не поставила его на место, Тереза спросила, выйдя из пролетки:

— Вы, кажется, нарочно задались целью напугать меня?

— Нет, — возразил Поланецкий, решив, что настал момент самому с ней объясниться. — У меня в отношении вас одна только цель: признать, что я вел себя недостойно, и от всего сердца попросить прощения.

Не сказав ни слова, молодая женщина скрылась в подъезде. И Поланецкий так никогда и не узнал, что крылось за этим молчанием: злоба или прощение.

Однако на душе от сознания исполненного долга стало легче. Для него это был акт покаяния, а как к нему отнеслась Тереза, было ему безразлично. «Может, она подумала, что я прошу прощения за то, как вел себя потом, — сказал он себе. — Но так или иначе, я могу теперь прямо смотреть ей в глаза».

Это соображение было не лишено эгоизма. Но крылось в нем и желание разрубить затянувшийся узел.

ГЛАВА LXIV

Елена Завиловская перед отъездом тоже получила от пани Бронич письмо того рода, что и Марыня, и, как Марыня, Игнацию его не показала. Впрочем, Завиловский спустя неделю сам уехал со Свирским, из всех знакомых простясь, по его совету, с одной только Стефанией. И Поланецкий в беседе с женой признал его совет правильным. «И для нас, и для Игнация встреча сейчас была бы тягостна, — говорил он. — Видевшие его изо дня в день к нему привыкли, а чужие невольно стали бы разглядывать его шрам. Да и вообще Игнаций очень изменился. За время поездки он оправится, и мы встретим его, как будто ничего не произошло, а для посторонних он будет просто богатым молодым человеком».

И, наверно, это было разумно. Но пока, после отъезда Завиловского со Свирским, образовалась ощутительная пустота. Круг знакомых распался. Основский был все еще в Брюсселе; где Анета, никто не знал. Пани Бронич с Линетой жили в Париже, дом Завиловских обезлюдел. Краславская с дочерью нигде не по-

казывались и жили только друг для друга. А пани Эмилию болезнью окончательно приковала к постели.

Из близких людей остались одни Бигели да старик Васковский. Но он тоже хворал и держался так странно, что посторонние считали его сумасшедшим. И знакомые подсмеивались над ним, говоря, что надеяться, будто заветы христианства распространятся на историю,— чистейшее безумие. В последнее время старик стал часто подумывать о смерти и приготовляться к ней, выражая желание скончаться в «преддверии иного мира» и для этого поехать в Рим. Но из привязанности к Марыне откладывал свой отъезд, пока она не разрешится от бремени.

И Поланецкие жили почти в полном одиночестве. Впрочем, оно было и необходимо: как Марыне, которая недомогала в последнее время, так и Поланецкому. Ему — для работы в конторе и над собой: он занимался самоусовершенствованием и заботился о жене; а она радостно приготавливалась к новой эпохе в своей жизни. Ей казалось, на них обоих ожидание этого события сказывается благотворно. Поланецкий стал заметно снисходительней в суждениях, терпимей и мягче не только с женой, но и со всеми, с кем сталкивался. И хотя она относилась к его заботливости и предупредительности не столько к себе, сколько к будущему ребенку, что было в порядке вещей, но и за то была ему благодарна. Иногда ее удивляла его несмелость и скованность в общении с ней, но она и это приписывала беспокойству о ее благополучном разрешении, не догадываясь, что он сдерживает, подавляет свое чувство.

Так проходила неделя за неделей. Однообразие их жизни скрашивали только письма Свирского, который, улучая свободную минутку, сообщал им подробности их с Игнацием житья-бытья. В одном из писем передавал он Марыне просьбу Завиловского позволить ему излагать свои впечатления в виде писем к ней. «Мы с ним обстоятельно это обсудили,— писал Свирский. — Ему кажется, вам приятны будут эти весточки из страны, столь милой вашему сердцу. И ему легче будет работать в форме как бы личного обращения. Чувствует он себя хорошо, много ходит, с аппетитом ест и спит отлично. По вечерам обыкновенно садится за стол. По-моему, и стихи пробует сочинять. Однако что-то плохо подвигается — пока, насколько мне известно, ничего еще не сочинил, но, надеюсь, все образуется, а тем временем, может быть, письма помогут ему войти в работу. Добавлю напоследок, что Елену он вспоминает с благодарностью, а при упоминании о Стефании преображается прямо на глазах. Я часто завожу о ней разговор, да и что мне, несчастному, остается делать? Значит, не судьба. Насильно мил не будешь».

В середине октября Поланецкие получили из Рима письмо, которое дало им обоим богатую пищу для размышлений.

«Вообразите: здесь пани Бронич с Линетой Кастелли,— писал Свирский,— и я с ними виделся. У меня пол-Рима знакомых,

и я об их приезде узнал на другой же день. И вот какой придумал выход. Уговорил Игнация поехать на Сицилию, что, кстати, не составило большого труда. Пускай, думаю, поживет в Палермо, в Сиракузах и Таормине, а паче чаяния, угодит в руки мафиози, то выкуп обойдется ему, во всяком случае, не дороже обручального кольца от «панны Лианочки». Уж если им суждено когда-нибудь встретиться и помириться, сказал я себе, пускай себе встречаются и мирятся, но брать это на свою совесть, особенно после того, что случилось, не хочу. Игнаций как будто и здоров, но душевно еще не вполне оправился и может в таком состоянии совершить шаг, о котором потом будет жалеть. Я мигом смекнул, зачем они сюда пожаловали, и радовался втихомолку, что удалось спутать их карты. И вот, словно в подтверждение моей догадки, через несколько дней и вправду приходит письмо на имя Игнация. Почерк вдовы покойного пана Теодора я сразу узнал и, написав на конверте, что адресат выбыл в неизвестном направлении, отправил письмо обратно.

Но это еще не все. На другой день приходит письмо уже на мое имя с предложением объясниться. Я ответил, что, к сожалению, вынужден отказать себе в этом удовольствии, так как очень занят. В ответ получаю второе письмо, где она вызывает к моему сердцу, к моему таланту и происхождению, которые не позволят отвернуться от несчастной женщины, и умоляет зайти к ним или назначить время для встречи в мастерской. Мне ничего не оставалось, как пойти. Тетушка встретила меня в слезах и стала потчевать рассказами, — не буду их повторять, но суть в том, что «Лианочка» ни дать ни взять — святая Агнесса. Я спрашиваю, чем могу быть полезен. Она уверяет: им, мол, ничего не нужно, лишь бы услышать от Завиловского, что он не сердится на Лианочку: «Девочка кашляет, больше года вряд ли протянет, не хочется ей умирать непрощенной». Тут я, признаться, размяк, но держусь. Сообщить ей адрес Завиловского я так и так не мог: не знал, в какой гостинице он остановился. За этим словоприемом с меня семь потов сошло; в конце концов, не пообещав ничего определенного, я сказал: если Игнаций сам заговорит о панне Кастелли, мол, постараюсь убедить исполнить ее просьбу.

Но и это еще не все. Только собрался уходить — входит сама Линета и просит тетку оставить нас с ней с глазу на глаз. Она, между прочим, очень похудела и кажется еще выше ростом: настоящая тростинка, малейший ветерок может сломать. Едва мы остались одни, она говорит: «Тетя старается меня оправдать и делает это из любви ко мне, за что я ей благодарна, но не в силах выносить это и хочу сказать вам, что сама во всем виновата, — я скверная, гадкая; да, я несчастна, но стократ это заслужила». Я просто опешил, сомневаться в ее искренности не приходилось: у нее и губы дрожали, и глаза были полны слез. Вы, конечно, скажете, что я слишком мягкосердечный, но я и вправду растрогался, спрашиваю, что могу для нее сделать. «Ничего», — говорит.

Не думайте, мол, только, будто возобновить отношения с Игнацием тетушка старается с ее ведома; поступок Завиловского открыл-де ей глаза на нее самое и останется укором на всю жизнь. И под конец повторила, что всему сама виной, попросив передать наш разговор Завиловскому, но не теперь, а позже, чтобы он не подумал, будто она хочет разжалобить его.

Ну что тут скажешь? Трудно поверить, правда? Как бы там ни было, но для меня очевидно, что попытка Игнация покончить с собой ее потрясла и что она несчастна, а может быть, еще и больна. И мне вспомнились слова Елены Завиловской, которые вы повторили мне в разговоре: пока человек жив, он может исправиться. Как хотите, это дает пищу для размышлений! И я убежден, пожелай Игнаций к ней вернуться, она не согласилась бы, так как считает, что недостойна его. Что до меня, я знаю: есть женщины гораздо лучше и благородней, но черт меня побери, если я буду действовать против нее!»

Затем следовали вопросы о здоровье и поклоны Бигелям.

Письмо произвело на всех большое впечатление, послужив поводом для долгих споров между Поланецким и Бигелями. Заодно выяснилось, насколько изменился в последнее время Поланецкий. Раньше он не уставал бы осуждать Линету и никогда не поверил бы, что у такой женщины может заговорить совесть. А сейчас, стоило пани Бигель (и остальным дамам, державшим сторону Стефании Ратковской) предположить, не простая ли это перемена тактики, тотчас возразил:

— Нет, для этого она слишком молода. И вообще мне кажется, она раскаялась искренне. Если она винится так безоглядно, это уже очень много, значит, ей опротивела ложь, в которой они погрязли. — И прибавил после минутного раздумья: — Вот Машко сколько раз, бывало, признавался, что пошел по ложному, неверному пути, но всегда оправдания искал, сваливал вину на обстоятельства. «У нас иначе нельзя», «это не я виноват, а общественное устройство», «я им той же монетой плачу», — каких только отговорок я не наслушался! Но это все неправда. Чтобы сказать себе: я кругом виноват, надо мужество иметь, и у кого оно есть, тот еще не совсем потерял.

— Значит, вы считаете, что Завиловский правильно поступил бы, вернись он к ней?

— Нет, не считаю и даже возможности такой не допускаю.

Однако интерес к известиям из Рима и тревогу за Игнация вскоре потеснила прямая опасность, нависшая над домом Поланецких. К концу октября здоровье Марыни заметно ухудшилось. Она давно уже стала недомогать, но скрывала, пока могла. Однако теперь у нее появилось сердцебиение и такая слабость, что в иные дни она с кресла не вставала. Прибавились и боли в спине, головокружение. За неделю истаяла она прямо на глазах, и даже доктора забеспокоились, прежде считавшие такое недомогание естественным в ее положении. Бледное лицо ее отливало голуниз-

ной, и с закрытыми глазами она становилась похожа на покойницу. Даже всегдашняя оптимистка, пани Бигель, и та встревожилась, а врач прямо заявил Поланецкому, что роды в таком состоянии и сами по себе опасны, и могут вызвать разные осложнения. Только сама Марыня, которая с каждым днем чувствовала себя хуже и слабела все больше, не унывала.

А Поланецкий пал духом. Для него настали тяжелые времена, и все прежние огорчения и страдания показались ему ничтожными в сравнении с охватившей его ужасающей тревогой, переходившей подчас в полную безнадежность. После свадьбы дети в представлениях его о супружестве и будущей семейной жизни играли главную роль, теперь же не одного ребенка, а всех, которые могли бы у него родиться, отдал бы он ради спасения любимого существа. У него просто сердце разрывалось, когда Марыня ослабевшим голосом спрашивала его, как бывало: «Стах, а что, если мальчик?» В такие минуты он готов был припасть к ее коленям и, обняв их, воскликнуть: «Да черт с ними, с мальчишкой и девочкой, лишь бы ты у меня была!» Но вместо того улыбался и говорил спокойно, что ему безразлично. Его снова объял страх, и надежда, поданная словами Марыни, будто бог в милосердии своем вместо кары посылает раскаяние, развеялась как дым. И время от времени ему стало казаться, что болезнь Марыни и есть та самая кара. Почему это так, он не мог себе объяснить, и напрасно рассудок подсказывал, что, положим, Основская и Либета наказаны по заслугам, а его вина несоразмерна. Страх отвечал, что пути зла неисповедимы, и постигнуть его последствия разуму человеческому не дано. И мистический ужас охватывал его. Человек в беде утрачивает способность рассуждать здраво и живет во власти страха; то же было и с Поланецким. Бездна разверзлась перед ним, и он стоял на краю в полном бессилии, говоря себе при виде осунувшегося Марынина лица: «Чистое безумие думать, будто она выживет!»— и в то же время судорожно ловя во взорах окружающих хотя бы тень надежды, душой и сердцем, всем своим существом восставая против самой мысли о смерти. Ему казалось чудовищно несправедливым, если она оставит его, так и не узнав, сколь безмерна его любовь,— не вознагражденной за всю невнимательность, неделикатность, эгоизм, неумение ценить ее, прежде чем он успеет высказать, кем она стала для него: частицей его собственного «я», не просто любимой, но боготворимой. И он все повторял про себя: уж коли к нему немилостив господь, пусть хотя бы над ней сжалится, дарует ей перед кончиной миг столь заслуженного счастья. Потом дерзостные поучения, обращенные к всевышнему, опять сменялись сокрушением и смиренными мольбами. А Марыне меж тем день ото дня становилось хуже, и он, из одной крайности бросаясь в другую, места себе не находил, то возмущаясь: «Этого не может быть!», то сдаваясь: «Так и должно было получиться».

А в довершение всего, из опасения, как бы жена не догадалась, приходилось притворяться, будто болезнь ее нисколько его не беспокоит. И доктор, и пани Бигель не уставали повторять, чтобы он ненароком ее не напугал; он и сам этого остерегался, но каких мучений стоило сдерживаться и думать: а вдруг она заподозрит его в бесчувственности, да так и умрет с мыслью, что он никогда ее не любил. Поланецкий стал сам на себя непохож. Бессонница, усталость и волнение привели его в состояние какой-то болезненной экзальтации, и опасность, без того серьезная, приняла в его глазах ужасающие размеры. Ему уже казалось, что надежды нет, и он ловил себя на том, что думает о Марыне как о покойнице. По целым дням припоминал ее добрые качества, ласковые слова, кроткий, мягкий нрав, как все ее любили, коря себя за то, что не платил ей взаимностью, не любил и не ценил по достоинству, обманул, а теперь вот потеряет — и по заслугам.

И от сознания, что сам накликнул беду на свою голову и искупать вину уже поздно, у него сердце разрывалось на части. Ведь даже смерть горячо любимых при жизни людей оставляет сожаления, что любили их недостаточно, — и нет ничего горше этого чувства.

В начале декабря из двухмесячной поездки в Италию вернулись Свирский и Завиловский. Поланецкий так исхудал за это время и вид у него был такой изможденный, что они еле его узнали. А он, убитый горем, едва замечал их и словам утешения, которыми они старались ободрить его, внимал, как сквозь сон, — равно как и рассказам художника, пытавшегося его развлечь. Какое ему дело было до Завиловского или пани Бронич с Лине-той, если его Марыня могла со дня на день скончаться! Свирский, очень любивший Марыню, отправился за поддержкой к пани Бигель, но и та не сказала ничего утешительного. Доктора сами толком не понимали, что с ней: к естественному в ее положении недомоганию прибавились другие, не поддававшиеся точному диагнозу. Они знали только, что сердце работает с перебоями, и боялись, как бы из-за нарушений кровообращения в сосудах не образовались тромбы, грозившие немедленной смертью. Но даже в случае благополучного разрешения от бремени оставалась опасность малокровия, упадка сил и прочих осложнений, которые трудно было и предугадать. Пани Бигель тоже рассталась с надеждой: Свирский понял это, когда она в конце разговора расплакалась.

— Бедная Марыня! Да и его жалко! Хоть бы ребенок жив остался, может, это смягчит потерю. — И прибавила сквозь слезы: — Даже не представляю себе, как он еще держится.

И в самом деле: Поланецкий не ел, не спал. В конторе он давно уже не появлялся, отлучаясь из дому только ненадолго за цветами для Марыни — она любила их и всегда им радовалась. Но состояние ее настолько ухудшилось, что всякий раз, возвращаясь с букетом хризантем, он со страхом думал, не к смертному

ли одру их несет. И Марыню, у которой тоже открылись глаза на серьезность положения, стали посещать мысли о близкой смерти. Мужу она об этом не говорила, но при пани Бигель как-то не выдержала и расплакалась: жалко было расставаться с жизнью и со своим Стахом. Мучила и жалость к нему: как-то он еще перенесет ее кончину; и хотелось, чтобы он поплакал, и не хотелось заставлять его очень страдать. И она долго перед ним притворялась, будто не сомневается в благополучном исходе.

Однако позже, когда у нее начались обмороки, собралась с духом и, почитая это прямой своей обязанностью, решила открыто объяснить с ним. И однажды ночью, когда пани Бигель, измученная долгим бдением, пошла прилечь, а Поланецкий сидел, по обыкновению, у ее постели, притянула его к себе за руку.

— Стах,— сказала она,— я хочу поговорить с тобой и попросить об одной вещи.

— О какой, дорогая?

Она помедлила, словно подыскивая слова, и промолвила наконец:

— Обещай мне... Я выздоровею, наверно, но ты мне поклянись, что, если родится мальчик, будешь его любить и хорошо с ним обходиться.

Огромным усилием воли сдержав подступившие к горлу рыдания, Поланецкий ответил спокойным голосом:

— Дорогая, любимая, конечно же, я всегда буду любить и тебя, и его. Ты не беспокойся!..

Марыня хотела поднести его руку к губам, но не хватило сил, и она только улыбнулась ему благодарно.

— И еще одно... — помолчав, добавила она. — Не думай, будто я воображаю всякие там страшные вещи — вовсе нет! Но мне хотелось бы исповедаться...

Дрожь пробежала по телу Поланецкого.

— Хорошо, деточка! — согласился он глухим, прерывающимся голосом.

А она, вспомнив, как ему понравились когда-то ее слова «служба божия», и желая дать понять, что речь идет всего лишь об исполнении обычного религиозного обряда, повторила с улыбкой, почти весело:

— Служба божия!

И на другой день исповедалась. Поланецкий был убежден: это уже конец, и удивился, что она еще жива и что к вечеру ей даже стало лучше.

Но надеяться он не смел. А Марыня почувствовала себя бодрей и объявила, что ей легче дышать. Около полуночи она, как всегда, принялась спорить с мужем, прося его поигн огдохнуть. От усталости и волнения он выглядел немногим лучше нее. Он отказывался, утверждая, будто поспал днем, хотя это была неправда, но в конце концов уступил, тем более что при ней остава-

лась сиделка и пани Бигель, а доктор, уже неделю ночевавший у них, заверил: ничего плохого сегодня не предвидится.

Выйдя от нее, он, по своему обыкновению, сел в кресло за дверью и стал прислушиваться, что делается в комнате. Так час за часом тянулась ночь.

При малейшем шорохе он вскакивал, но едва все стихало, опять садился. В голове у него царил полный сумбур, как всегда в тревожные минуты ожидания, обрывки мыслей мелькали и путались от усталости, и клонило в сон. Поланецкий был вынослив, но последние десять дней провел, ни разу не раздеваясь, только переодеваясь, и на ногах держался единственно благодаря черному кофе и нервному напряжению. Держался и сейчас, механически твердя себе, что Марыня больна и нельзя засыпать, хотя голова была налита свинцом и мрачные мысли туманили, застилали ее, точно тучи без единого просвета, так что и собственные слова уже не доходили до сознания.

И в конце концов усталость, бессонные ночи, нервное истощение свалили его. Он заснул мертвым сном, без сновидений, утратив всякое представление о действительности, об окружающем, будто жизнь его покинула.

Под утро его разбудил стук в дверь.

— Пан Станислав! — послышался приглушенный голос пани Бигель.

Вскочив и тотчас придя в себя, Поланецкий кинулся в комнату, бросил взгляд на Марынину постель — и при виде опущенных штор у него подкосились ноги.

— Что случилось? — прошептал он побелевшими губами.

— Сын у вас... — так же тихо, прерывающимся от волнения голосом ответила пани Бигель и приложила палец к губам.

ГЛАВА LXV

Но впереди еще были тяжелые, очень тяжелые дни. Марыня совсем ослабела, жизнь едва теплилась в ней, как пламя догорающей свечи. Погаснет или разгорится? — никто не мог ответить с уверенностью. Иногда казалось: вот-вот погаснет. Но молодость и рождение ребенка, облегчившее от бремени организм, перевесили чашу. В один прекрасный день, пробудившись после долгого сна, она почувствовала себя как будто лучше. Старый доктор, неотлучно находившийся при ней, подтвердил улучшение, но, чтобы удостовериться в этом, пожелал пригласить другого, который уже раньше ее консультировал. Поланецкий сам поехал за ним и полдня как безумный разыскивал его, косясь по всему городу, — он еще не смел надеяться, что опасность миновала и его страдания окончились. Найдя наконец злополучного эскулапа, он доставил его домой. В передней встретила их пани Бигель с заплаканным, но счастливым лицом.

— Ей лучше, значительно лучше! — сказала она, и слезы хлынули у нее из глаз.

Поланецкий побледнел от волнения, а она, совладав с собой, стала рассказывать в радостном возбуждении, улыбаясь сквозь слезы:

— Есть уже просит, вот как! И ребенка велела принести. И спрашивает все время, куда вы пропали. Требуется все, чтобы дали поесть, да как требует! И слава богу, слава богу!

И в порыве радости она заключила Поланецкого в объятия, а он прильнул губами к ее руке, дрожа и делая над собой невероятные усилия, чтобы не разрыдаться, — рыдания так и подступали к горлу, сдерживаемые все эти дни, дни волнений и муки.

Врачи тем временем направились к Марыне и просидели у нее довольно долго. Но вышли оба после консилиума с удовлетворенным видом. На лихорадочные расспросы Поланецкого тот, который безотлучно находился при ней, — старый брюзга в золотых очках и с золотым сердцем, сам обрадованный, но изнеможенный от усталости, — отрезал ворчливо:

— Как она, спрашиваете? Идите бога благодарите!.. Вот как!

И Поланецкий послушался его совета. Будь он даже неверующий, все равно в эту минуту от всей души помолился бы со слезами благодарности за то, что бог смиростивился над ним... и не наказал смертью любимого существа, послав в наказание лишь муки раскаяния.

Успокоясь немного, он на цыпочках вошел к жене, возле которой уже сидела пани Бигель. Марыня глядела веселей, было сразу видно, что ей гораздо лучше.

— Видишь, Стах, мне лучше!

— Вижу, дорогая, — тихо отозвался Поланецкий.

Рано еще было выражать свои чувства вслух, и он молча присел возле ее постели. Но радость, нежность нахлынули на него, и он, отбросив всякую сдержанность, вдруг прильнул к ее покрытым одеялом ногам, обнял их и замер.

А Марыня, превозмогая слабость, счастливо улыбалась. Долго она не спускала с него глаз, радуясь, как ребенок, которого приласкали, потом, указав худеньким пальчиком на его темную голову в изножье кровати, сказала пани Бигель:

— Значит, любит!

И с того раза состояние ее стало улучшаться не по дням, а по часам. Это было не постепенное восстановление здоровья, а словно внезапный расцвет, приход весны после зимних холодов, немало удививший даже доктора. А Поланецкий кричать был готов от радости, которая его душила, как недавно еще — страдания. Вставать Марыне еще не разрешали из предосторожности. Но живость и бодрость быстро возвращались к ней, краска вновь появилась на щеках, и она каждый вечер стала капризничать,

грозясь завтра же встать с постели. Это был единственный нравственный след измучившей ее долгой болезни, который должен был изгладиться, как и все остальные. Но пока Марыня, всегда такая рассудительная и спокойная, вела себя, как избалованный ребенок, требуя то одного, то другого и не на шутку огорчаясь, когда встречала отказ. Уговаривая ее, Поланецкий невольно впадал в тот же тон, так что капризы оканчивались часто просто смехом.

Как-то она пожаловалась, что пани Бигель не дает ей красного вина. Та стала оправдываться, что дала, сколько доктор позволил, и надо спросить его разрешения. Поланецкий принялся утешать жену, как, бывало, Литку:

— Сейчас, детка, дадут, сейчас!.. Вот доктор придет...

— Красного хочу!

— Красного, красного, — совершенно серьезно, в тон ей подтвердил Поланецкий.

Оба рассмеялись, а с ними и пани Бигель. Веселье озаряло теперь эту комнату, где еще недавно царили страх смерти и ожидание несчастья. Смешливое настроение разделял и «дедушка Плавицкий», который со времени рождения внука держался с подобающей, но снисходительной к молодости степенностью. Бывало, впрочем, по-всякому; иногда впадал он и в серьезный, патетический тон. Так, принес однажды завещание и заставил выслушать по пунктам с начала до конца. Во вводной части он в трогательных выражениях прощался с жизнью, с дочерью, зятем и внуком, не скупясь при этом на советы, как его воспитывать, чтобы вырастить примерным внуком, сыном, отцом семейства и гражданином; затем назначал его наследником всего своего состояния и, хотя после банкротства Машко жил на средства Поланецкого, пришел от своей щедрости в такое умиление, что весь остальной вечер хранил вид пеликана, накормившего птенцов собственной кровью.

Поправляясь после тяжелой болезни, мы будто сызнова проходим все стадии детства и юности, с той лишь разницей, что исчисляются они не годами, а неделями, даже днями. Так и Марыня. Вначале пани Бигель называла ее «беби», потом стала шутить, что «беби» превращается понемножку в девочку, девочка же — в подростка. А у подростка начало пробуждаться женское кокетство. И когда ее причесывали, она уже требовала оставшееся ей от матери зеркальце, устраивала его на коленях и всматривалась внимательно в свое лицо, желая убедиться, правильно ли предсказывала пани Бигель, будто бы «потом» женщины хорошеют. Сперва пробы эти ее не удовлетворяли, потом стали радовать больше. И вот как-то в который раз попросила, уже причесанная, подать зеркало и в который раз принялась пытливо разглядывать свои волосы, глаза, губы, выражение лица — словом, все, что только можно увидеть.

И, судя по улыбке, осталась наконец довольна собой.

— Ну, теперь я тебе покажу, пан Стах! — вымолвила она вслух, воинственно погрозив в сторону мужниной комнаты исхудалым кулачком.

И правда, она очень похорошела. Белое лицо ее сделалось еще белей и напоминало лилию даже больше, чем когда ее воспел в стихах влюбленный Завиловский. А щеки окрасил первый вестник здоровья — нежный румянец. Осунувшееся после болезни лицо, глаза, губы как бы осветились ожиданием жизни, новой весны. Дивная головка, будто написанная светлой, легкой пастелью, изысканная и вместе простая, исполненная, что уловил когда-то Завиловский, прелести полевого цветка. Покоившаяся на подушке в обрамлении темных волос, она была так хороша, что нельзя и глаз оторвать. Нечего было пану Стаху и «показывать», он все и так прекрасно видел и прямо-таки исходил нежностью, по словам Бигеля. Он не просто любил в ней женщину или самого близкого человека, а словно благодарил ее за то, что она жива, и из благодарности предупреждал малейшие ее желания. Марыня никогда и не думала, что ею будут так дорожить, беречь как зеницу ока, отдавать ей все силы и помыслы. Они и раньше ладили между собой, но с выздоровлением Марыни настоящее счастье и веселье воцарились в доме.

Немало тому содействовал и Поланецкий-младший. Сама кормить ребенка Марыня не могла, и Поланецкий взял кормилицу — из Кшемения, чтобы сделать жене приятное. Когда-то она служила у Плавичких, а по их отъезде нанялась в работницы в Ялбжиков, и там с ней приключился грех. Кто был тому виной, так и осталось загадкой, но уж кого-кого, а Гонтовского, не в пример иным землевладельцам, меньше всего можно было упрекнуть в равнодушии к простому народу — доказательств его любвеобилия в Ялбжикове было предостаточно. И крестьяне, даже договариваясь о сервитутах, предъявляли ему, помимо прочих, и ту претензию, что пан-де все больше «на белом коне скачет, из ружья палит да на девок заглядывается», и если, с одной стороны, не совсем ясным оставалось, какое отношение эти склонности имеют к переговорам, то, с другой, вполне понятно, почему именно в Ялбжикове Поланецкий нашел кормилицу для сына.

Это была девушка молодая, крепкая и пригожая, из Мазовии родом, от чего для подопечного могла получиться одна только польза. Сам юный Поланецкий с момента появления на свет стал в доме своевольничать, расходясь день ото дня все больше, ни с кем не желая считаться и ни о чем не думая, кроме собственных нужд и удовольствий. Сообразно с этой методой он в свободное от сна и еды время принимался упражнять свои крохотные легкие, воия так громко, как только позволял нежный возраст. Обычно в этих случаях приносили его к матери, и начиналось бесконечное обсуждение его достоинств, физических и умственных, равно как поразительного сходства с родителями. В результате пришли к заключению, что нос у него мамин, отвергнув с редким единоду-

нием мнение няньки, будто у малыша носик, как у «котеночка»; установлено было также, что улыбка у него очаровательная, что будет он брюнетом и непременно высокого роста, причем с феноменальной памятью, ибо и сейчас на редкость смышлен. Пани Бигель, пока Марыня еще не подымалась с постели, в свой черед, не уставала открывать в нем все новые достоинства, охотно делясь со всеми своими открытиями.

— Представляешь, пальчики на одной руке растопырил, а другой, вот ей-богу, пересчитывает их,— вбежав к Марыне и захлебываясь от восторга, объявила она как-то. — Математиком будет.

— Это у него от отца,— совершенно серьезно отвечала Марыня.

Но одно открытие сделала она сама, предвосхитив пани Бигель, а именно: что он «очень миленький». Что же до Поланецкого, он поначалу с удивлением и недоверием поглядывал на незнакомца. В свое время хотелось ему иметь дочку — главным образом потому, что он, хотя и любил детей, вообразил себе, будто излить всю нежность, накопившуюся в душе, можно лишь на девочку. Сын же, неизвестно почему, представлялся ему этаким детинкой чуть не с усами, который говорит басом, лягается, как жебенок,— к такому и не подступишься, он все эти нежности презирует. Но, приглядываясь к крошечной, спящей на подушке фигурке, он убедился, что ничего такого нет в этом жалком, слабом, беспомощном существе, которое не меньше девочки нуждается в ласке и заботе. «Какой там детина!» — сказал он, испытывая прилив нежности к сыну, и через несколько дней даже сам попытался отнести его к Марыне, но делал это с такой преувеличенной осторожностью и вместе столь неловко, что вызвал смех не только у Марыни и пани Бигель, но, невзирая на все почтение, даже у няньки.

Смех почти не смолкал в квартире Поланецких. Просыпались оба с блаженным ожиданием новых радостей, которые принесет грядущий день. Вечерами, после того, как Марыня начала вставать, заходил к ним Бигель со своей виолончелью.

— Плохо всем бывает, даже людям хорошим,— глубокомысленно изрек он как-то, приглядываясь к ним,— зато уж, коли им хорошо, так лучше, ей-богу, не бывает.

А им и правда было хорошо. Марыня, памятуя разговоры с пани Бигель и свои собственные размышления, заключила, что это благодаря ребенку, который свяжет их еще крепче, любовь мужа разгорелась с новой силой... И однажды сказала ему об этом.

— Нет! Честное слово, нет! — со всей прямоотой возразил Поланецкий. — Конечно, я его люблю, но и до его рождения я любил тебя без памяти,— любил ради тебя самой, за то, что ты такая, какая есть. Ты посмотри, что творится на свете, и поду-

май, разве я могу сравнить тебя с кем-нибудь?.. — И с благоговейной любовью стал целовать ей руки, прибавив: — Ты и не представляешь, что ты для меня значишь и как я тебя люблю!

— Правда, Стах?.. — спрашивала она, прильнув к нему, и лицо ее просияло от счастья.

ГЛАВА LXVI

Наступил день крестин. Младенца уже успели окропить, едва он появился на свет: пани Бигель опасалась и за его жизнь, напуганная Марыниной болезнью... Но Поланецкий-младший не помышлял ни о чем подобном и в добром здравии и с отменным аппетитом дожидался торжества, на котором ему предстояло играть главную роль. Отец пригласил всех знакомых. Кроме домочадцев и деда, была пани Эмилия, которая, собрав остаток сил, встала ради такого дня; были супруги Бигели с Бигелятами, Васковский, Свирский, Завиловский и Стефания Ратковская. Марыня, нарядная и счастливая, уже совсем оправилась и была так хороша, что Свирский при виде ее схватился за голову.

— Нет, это превосходит всякое вероятие! Ослепнуть можно от такой красоты! — воскликнул он с обычной своей непосредственностью.

— А что, конечно, — отозвался Поланецкий, удовлетворенно поспыывая и с такой уверенностью, словно то, в чем другие убедились только сейчас, давно ему известно.

— На колени, люди! Слова тут бессильны! — вскричал Свирский.

Марыню восторги Свирского смутили и одновременно обрадовали: внутренний голос подтверждал ей, что он прав. Но не до того было: предстояло заняться гостями и церемонией, тем более что началось с небольшой заминки. Восприимчиками маленького Стася были пани Эмилия с Бигелем и Свирский со Стефанией Ратковской. И последний стал вдруг уклоняться от этой чести, отговариваясь неизвестно почему. «Я бы с удовольствием, недаром же я ради этого из Италии приехал... Как же! Был такой уговор. Но я никогда не крестил детей и не знаю, принесет ли это счастье моему крестнику, особенно у женщин». Поланецкий засмеялся, назвав его суеверным итальянцем, а пани Марыня, еще раньше смекнувшая, в чем дело, отошла с ним к окну.

— Ко второй паре кумовьев это не относится, — сказала она Свирскому вполголоса, — и вам не помешает.

Свирский вскинул на нее глаза и улыбнулся, показывая два ряда крепких мелких зубов.

— Верно, — обратился он к Стефании, — мы ведь во второй паре... Тогда я к вашим услугам!

Все обступили маленького Стася; на руках у няни, весь в кружевах и муслине, с лысой головенкой и круглыми, вытара-

ценными глазенками, в которых окружающее отражалось, как в зеркале, он выглядел преотлично. Бигель взял его на руки, и обряд начался.

Собравшиеся с подобающим вниманием слушали торжественные слова священника, но юный язычник проявил удивительное непокорство. Сначала вырывался из рук так отчаянно, что Бигель едва не выронил его, а когда тот от его имени стал отретаться от печного и козней его, сделал все от него зависящее, чтобы перекричать своего восприемника. И лишь увидев у него на носу очки, умолк, как бы давая понять: мол, если такие замысловатые вещи на свете есть, тогда дело другое.

По окончании обряда ребенка отдали няне, и та, уложив его в парядную колясочку — подарок Свирского, — хотела увезти. Однако художник, быть может, впервые в жизни видевший вблизи такого крошку и в глубине души давно мечтавший об отцовстве, наклонился и взял ребенка на руки.

— Осторожней! Осторожней! — вскричал, подходя, Поланецкий.

— Не беспокойтесь! — возразил тот. — Ведь я держал в руках шедевры дела Роббиа. — И действительно, так умело стал покачивать ребенка, будто всю жизнь детей нянчил. Потом на руках с ним подошел к Васковскому. — Ну, что скажете о сем юном арии?

— А что? — отвечал старик, с умилением поглядывая на младенца. — Конечно, ария! Чистейший ария!

— И будущий миссионер? — вставил Поланецкий.

— Он исполнит в жизни свою миссию, как исполнили ее и вы, — ответил Васковский.

Однако далеко вперед загадывать трудно, а пока что маленький ария уклонился от выполнения какой бы то ни было миссии столь недву­смысленным и даже скандальным образом, что его пришлось поскорей передать няне. Но дамы не могли им налюбоваться, и все чмокали, улыбались ему, пока не пришли к единодушному заключению: ребенок необыкновенный, это, мол, совершенно очевидно, только слепец не распознает в нем будущего красавца и гения.

Наконец будущий гений — может статься, одурманенный воскурением ему фимиамом — заснул, и подали завтрак. Несмотря на свое расположение к художнику, Марыня рядом со Стефанией посадила Завиловского. Ей, как и всем, не исключая самого Свирского, хотелось, чтобы их отношения прояснились. Завиловский между тем вел себя очень странно. Свирский находил, что здоровье еще не совсем вернулось к нему. Физически он чувствовал себя хорошо: спал, с аппетитом ел, даже пополнил немного и разговаривал вполне разумно, хотя и несколько медлительно, но появилась в нем какая-то апатичность и нерешительность, раньше ему совершенно несвойственная. В Италии при одном упоминании о Стефании лицо у него светлело и на глазах даже вы-

ступали слезы. И по возвращении, стоило кому-нибудь напомнить, что надо бы навестить Стефанию и вызваться его сопровождать, он соглашался и шел охотно. Но после, казалось, забывал о ее существовании. Видно было, что какие-то неотвязные мысли его гложут, поглощая все душевные силы. Свирский заподозрил было, что о Линете, но потом, к немалому своему удивлению, убедился, что не о ней; она как бы перестала для него существовать или же настолько отдалилась, что и воспоминания о ней, сам ее облик стерлись, утратили живые черты. При этом Завиловский отнюдь не печалился. Напротив, иной раз бывал так доволен, так радовался жизни, будто лишь теперь, после возвращения к ней, оценил по-настоящему всю ее прелесть. А вот кто грустил, так это Стефания; она совсем притихла и замкнулась в себе. Может быть, кроме недостатка взаимности со стороны Завиловского, были у нее и другие поводы огорчаться, но она никого ни во что не посвящала. Марыня и пани Бигель, усматривая причину единственно в этом, в равнодушии Завиловского, окружали ее самой сердечной заботой и решительно всем готовы были ей помочь. Марыня увидела Завиловского на крестинах в первый раз после его приезда из Италии, но пани Бигель по целым дням твердила ему о Стефании, расхваливая ее, напоминая, как преданно она ухаживала за ним,—всячески давая понять, что он перед ней в долгу. Добряк Свирский себе же в ущерб толковал ему то же самое,—и Завиловский соглашался, но, не умея или не желая сделать напрашивающийся из этого вывод, заводил речь о новом своем скором отъезде, о других будущих путешествиях, еще интересней, словом, о вещах, не имеющих к Стефании никакого отношения.

И сейчас, сидя рядом, они почти не разговаривали. Завиловский ел много и жадно, с нетерпением провожая глазами новые кушанья, которыми сперва обносили старших. Стефания, перехватывая его взгляды, смотрела на него с жалостью и состраданием. Марыня, неприятно этим пораженная, перегнулась через стол, желая его разговорить.

— Вы недавно из Италии, расскажите же нам что-нибудь,—попросила она. — Ты, Стефа, никогда ведь там не бывала?

— Нет,—ответила она,—но недавно прочла описание одного путешествия... хотя читать и видеть своими глазами — не одно и то же.

И слегка покраснела, поняв, что почти выдала себя: читала об Италии, так как там был Завиловский.

— Свирский уговорил меня и на Сицилию съездить, но там еще слишком жарко было. Туда надо бы сейчас,—сказал Завиловский.

— Ах, кстати,—вспомнила Марыня. — Где же обещанные письма? Вы ведь через Свирского просили позволения писать мне о своих путевых впечатлениях, а я так и не получила ни строчки!

Завиловский смутился и покраснел.

— Я... не мог... — каким-то странным, неуверенным голосом возразил он. — Но скоро я опять начну писать...

Свирский услышал его и после завтрака подошел к Марыне.

— Знаете, какое он впечатление производит? — сказал он, указывая глазами на Завиловского. — Сосуд драгоценный, но — разбитый.

ГЛАВА LXVII

Спустя несколько дней Свирский зашел к Поланецкому в контору осведомиться о здоровье Марыни и поболтать по душам. Но тот уже собрался уходить.

— Не задерживайтесь из-за меня, — сказал Свирский, — можно по дороге поговорить. При таком ярком освещении, как сегодня, работать все равно невозможно, так что я вас провожу.

— Я должен перед вами извиниться, но мы приглашены к Бигелям на обед, и это первый Марынин выход. Она, наверно, уже одета, но минут двадцать у меня есть.

— В гости идет — значит, здорова.

— Да, слава богу! — радостно отозвался Поланецкий.

— А юный ария?

— Тоже молодцом.

— Счастливцев вы! — сказал Свирский. — Будь у меня такой вот клоп, о жене уж и не говорю, я бы, кажется, колесом ходил.

— Вы не представляете, до чего я его люблю... и с каждым днем все больше. Вот уж никак не ожидал. Ведь я, признаться, о дочке мечтал.

— За чем же дело стало, будет и дочка! — сказал Свирский, прибавив: — Пойдемте, однако, вы ведь спешите.

Поланецкий надел шубу, и они вышли на улицу. Был морозный, солнечный день. Мимо проносились сани, звеня бубенцами. Воротники у прохожих были подняты, над заиндевелыми усами вился пар.

— Славный денек! То-то Марыня солнышку обрадуется!

— На душе у вас хорошо, вот вас и радует все, — сказал Свирский, беря Поланецкого под руку. Но вдруг выпростал свою руку и заступил Поланецкому дорогу. — Известно ли вам, уважаемый, — спросил он таким тоном, словно собирался поссориться, — что ваша жена — красивейшая женщина Варшавы? Это я вам говорю, я! — И стукнул себя несколько раз в грудь кулаком, как бы в подтверждение.

— Ба! — воскликнул Поланецкий. — Что — красивейшая! И лучшая, добрейшая притом. Однако пойдемте, а то холодно.

Свирский снова взял его под руку.

— И что я только пережил во время ее болезни, известно богу одному, — волнуясь, продолжал Поланецкий. — Лучше и не вспоминать... Ее выздоровление — настоящий подарок для меня.

Но, бог даст, доживем до весны, я тоже преподнесу ей приятный сюрприз.

— Жене вашей равных нет,— заметил Свирский и прибавил, опять остановясь, словно в удивлении: — А сколько в ней простоты!

Некоторое время шли молча, потом Поланецкий стал его расспрашивать о предстоящей поездке в Италию.

— Недельки три пробуду во Флоренции,— отвечал художник,— кое-какая работенка есть. И потом в Сан Миньято тянет, какое там освещение! По Джиневре соскучился, в которую когда-то был влюблен, по Чимабуэ, наконец. Помните, в Санта Мария Новелла, в часовне Ручеллаи?.. А через три недели — в Рим. Я как раз и собирался об этом обо всем поговорить: сегодня утром у меня был Игнаций и предложил ехать вместе.

— А! — сказал Поланецкий. — Ну и вы, конечно, согласились?

— Не хватило духа отказать, хотя, между нами, с ним иногда бывает очень трудно. Сами знаете, как я его полюбил и жалею, но просто чертовски трудно, как мне ни неприятно вам это говорить... Слов нет, он очень, очень переменялся. Я сказал еще пани Марыне на крестинах: сосуд драгоценный, но разбитый. Так оно и есть! Разве я не видел, как он мучился над этими письмами к вашей жене, собираясь описать ей Италию. Часами по комнате ходит, трет эту свою простреленную башку, сядет, опять вскочит, а бумага как была чистая, так и остается. Дай-то бог, чтобы к нему вернулся прежний дар. А всем ведь твердит, что будет писать стихи, но сам, видно, в этом уже сомневается и очень мучается. Я-то знаю, как он мучается.

— Да, это большой удар был бы и для него, и для Елены,— отозвался Поланецкий. — Знали бы вы, как боролась она за его жизнь... боролась, чтобы спасти и талант!

— Большая потеря была бы для всех,— согласился Свирский. — Но кого мне особенно жаль, так это Стефанию. Ее тоже сомнение берет, а будет ли он опять прежним,— это, пожалуй, ее больше всего удручает.

— Бедняжка,— заметил Поланецкий. — Тем более что сам-то он даже и не вспоминает о ней, судя по всем этим его планам насчет будущих путешествий. Хорошо еще, что благодаря Елене у нее есть теперь средства к существованию.

— Подожду год — и опять сделаю ей предложение,— сказал Свирский. — Чего уж там, если сердцем завладела! Вы не обратили внимания, как ей короткие волосы идут? Вот бы всегда такие носила. Год жду и молчу, а там будем считать, что руки у меня развязаны. Не может ведь быть, чтобы и ее отношение к нему за год никак не изменилось, особенно если он ровно ничего не будет предпринимать... Как странно! Думаете, я не делаю всего, что в моих силах, чтобы раздуть в нем хоть искорку чувства к ней? Вряд ли другой на моем месте вот так же шел против соб-

ственного сердца. Пани Бигель тоже старается, как может. Но поди попробуй! Ведь не скажешь ему: «Женись», коли он ее не любит. Но еще чуднее, что он и о той, прежней, кажется, совсем забыл. Положим, и целый табун таких девиц не стоит одной Стефании, но то особая статья! Мне-то важно, чтобы она не думала, будто я нарочно Игнация уволю. Отказать ему я ведь не мог, но если паче чаяния зайдет о том разговор, объясните, что я его, избави бог, не уговаривал и много бы дал, лишь бы ей было лучше, а мне, старому псу, хоть бы и совсем счастья не видеть.

— Хорошо, так мы и скажем,— ответил Поланецкий.

— Благодарствуйте! Перед отъездом я еще зайду к пани Марыне попрощаться.

— Непременно — и вечером, чтобы посидеть подольше. Если вернетесь летом, надеюсь, погостите с Завпловским у нас.

— В Бучинке?

— В Бучинке или еще где, пока не знаю.

Разговор прервался при виде Основского, который выходил из фруктовой лавки с белым пакетом в руках.

— Смотрите-ка: Основский! — воскликнул Свирский.

— Как изменился,— сказал Поланецкий.

И в самом деле, тот резко изменился. Из-под меховой шапки виднелось осунувшееся, желтое, словно бы постаревшее лицо. Шуба на нем болталась, как на вешалке. Заметив приятелей, он растерялся и хотел было пройти мимо, будто не узнавая. Но они слишком близко сошлись, да и на тротуаре никого, кроме них, не было, и, мгновенно передумав, он подошел и заговорил с ненатуральной поспешностью, точно боясь коснуться того, о чем все трое думали.

— Добрый день! Вот неожиданная встреча! Я ведь почти безвыездно в Пшитулове сижу и в городе бываю редко. Купил вот винограду — доктора мне рекомендовали. Но его в опилках привозят, и он везде опилками пахнет, я думал, может, в этом магазине лучше. Какой мороз сегодня, правда? А в деревне снег уже лег; санный путь у нас.

И они пошли вместе, все трое испытывая неловкость.

— Говорят, вы в Египет собираетесь? — первым прервал молчание Поланецкий.

— Давно уже подумываю и теперь вот, наверно, выберусь. Тоскливо зимой в деревне без дела, да еще одному.

Тут он осекся, почувствовав, что вступил на скользкий путь.

Молчание становилось все тягостней, росла и неловкость, которая неизбежна, когда, словно по молчаливому уговору, обходят главное и наиболее, болтая о разных пустяках. Основский рад был бы распрощаться. Но по многолетней привычке придерживаться определенных правил поведения, которая и в тяжком горе заставляет соблюдать приличия, он бессознательно искал какого-нибудь удобного предлога, чтобы откланяться, и, не находя,

только затягивал неловкую паузу. В конце концов он принялся было прощаться, вскинувшись вдруг самым неожиданным и ненатуральным образом, точно не в своем уме.

Но в последнее мгновение, видимо, передумал. Эта комедия была ему невыносима. Опротивело притворяться! И подумалось: зачем из всего делать тайну, избегая малейшего упоминания о своем несчастье, в этой уклончивости есть что-то унижительное. По его напряженному лицу видно было, что в душе у него происходит мучительная борьба.

— Господа... — останавливаясь, сказал он дрожащим, прерывающимся голосом. — Простите, что задерживаю... Я расстался с женой, как вам известно... И не считаю нужным это скрывать, тем более от людей близких, которых я уважаю... Заверяю вас, это произошло... так случилось... потому, что я этого хотел... и жена моя ни в чем...

У него перехватило горло от волнения. Он хотел взять вину на себя, но, поняв внезапно всю неправдоподобность, бессмысленность и никчемность этой лжи, этого пустого набора слов, которых даже чувством долга и светскими приличиями оправдать нельзя, умолк.

И, запутавшись окончательно, ушел с кульком винограда и адской мукой в душе.

Свирский и Поланецкий, подавленные, некоторое время молчали.

— Ей-богу, просто сердце разрывается, — сказал наконец Поланецкий.

— Только смерть может принести ему облегчение, — заметил художник.

— А ведь он не заслужил такой участи.

— Не заслужил? — повторил Свирский. — Знаете, он навсегда запомнится мне целующим ручки жене. Это было его основное занятие, и иначе я его и представить себе не могу... Удивительное дело, — прибавил он немного погодя, — горе, подобно смерти, разлучает людей или, во всяком случае, отдаляет друг от друга. Вы вот с ним познакомились недавно, а мы — старые друзья, но и между нами теперь нет близости, я ему как чужой. Грустно, но что делать!

— Да... Грустно и непонятно.

— Черт бы ее побрал, эту Основскую! — внезапно остановившись, вскричал Свирский. — Человек, пока жив, может исправиться, по словам панны Елены, и все-таки: черт ее поberi совсем, вот что я вам скажу!

— Ни одну женщину так не боготворили, как ее, — отозвался Поланецкий.

— То-то и оно! — вскричал Свирский с горячностью. — Женщины, они вообще... — Но зажал рот себе перчаткой. — Нет! — сказал он. — К черту старые привычки! Дал же я себе слово: о женщинах — никаких обобщений.

— Я сказал: ни одну так не боготворили, только потому, что не представляю, как он будет жить без нее.

— А жить тем не менее надо! — заключил Свирский.

И, разумеется, Основский жил, а вернее, существовал. В Пшитулове и Варшаве, где все напоминало о жене, ему стало совсем невмоготу, и спустя месяц он отправился в свое путешествие. Но уже из Варшавы выехал не совсем здоровым, а дорогой в жарко натопленном вагоне вдобавок простудился, и в Вене слег. Простуда, которую приняли вначале за инфлюэнцу, перешла в тяжелейший тиф. Впав через несколько дней в беспмятство, лежал он в гостинице на попечении чужих людей и незнакомых докторов, вдали от дома и друзей. В бреду, который туманил голову и мысли, ему померещилось склонившееся вдруг над ним дорогое лицо, которое он не переставал любить ни в своем уединении, ни во время болезни, ни пред лицом смерти. Казалось, было оно рядом и когда сознание стало возвращаться к нему, но он так ослаб, что ни шевельнуться не мог, ни слова вымолвить, ни собрать разбегающиеся мысли.

А потом видение исчезло.

Он стал расспрашивать сестер милосердия, неизвестно кем к нему приставленных и окруживших его заботливейшим уходом, и затосковал безмерно.

ГЛАВА LXVIII

После крестин сына и отъезда Свирского с Завиловским Поланецкие снова зажили своим отдельным мирком, почти нигде не бывая и ни с кем не встречаясь, кроме Бигелей, пани Эмили и Васковского. Но им было хорошо в тесном дружеском кружке, а вдвоем — даже еще лучше. Поланецкий в последнее время был очень занят, подолгу засиживаясь в конторе и улаживая какие-то дела на стороне, в которые никого не посвящал. Но освободясь, летел домой еще поспешней, чем когда-то к Плавицким в пору жениховства. К нему вернулись бывшая бодрость и энергия, и он смотрел в будущее с надеждой. Неожиданно сделал он удивившее его самого открытие, что любит в Марыне не только жену и самого близкого человека, но и женщину, — любит стойко, без тревог и метаний, резких переходов от блаженства к сомнениям и отчаянию, любит с присущей истинному чувству трепетной страстью, но и неизменным преклонением перед ее красотой, побуждающим оберегать, лелеять, предупреждать желания, заботиться неустанно и нежно о том, как бы не спугнуть и не лишиться своего счастья.

«Я становлюсь похож на Основского, — посмеиваясь, говорил он себе, — но мне это ничем не грозит, потому что моя детка никогда Анете не уподобится!» Он часто называл теперь Марыню «деткой», вкладывая в это слово нежность и благоговение. Будь

она другой, он не полюбил бы ее так, это ясно; счастьем своим он обязан ее душевной доброте и удивительному благородству, которое исходило от нее, как тепло от огня. Гибкостью и глубиной ума, широтой познаний Поланецкий ее превосходил и видел это, но благодаря ей, и только ей, все заложенное в нем становилось возвышенной и совершенней. И принципы, которыми он руководствовался и которые оставались мертвой теорией, пока были достоянием рассудка, тоже благодаря ей проникали в сердце, обретая истинную жизнь. «Не только своим счастьем,— думал он,— но и тем, каким я стал, я обязан ей». И он даже несколько разочаровался в себе, придя к заключению, что женись он на женщине не такой, и сам стал бы совсем не тем. Казалось порой даже странным, как это она могла его полюбить, но вспоминались ее слова о «службе божией», и все становилось понятно. Супружество для такой женщины тоже означало «службу божью»,— любовь была для нее не стихийной, неподвластной силой, а сознательным актом доброй воли: служением обету, христианскому закону, нравственному долгу. Марыня любила его, потому что он был ей мужем. Такой уж она была — и все тут! Поланецкий долго не понимал, что добродетели, перед которыми он преклоняется, внушены еще евангельскими заповедями, верности которым не убило в ней воспитание. Быть может, воспитывали ее недостаточно старательно, но научить научили с детства, что богу надо служить, а не прислуживать.

Впрочем, и не доискиваясь, почему она такая, какая есть, Поланецкий все больше ею восторгался, уважал ее и любил. А Марыня при виде этого не возмнила о себе, не забывая, что не всегда было так хорошо, помня о выпавших на ее долю испытаниях,— понимая: она вела себя правильно и вознаграждена за свое терпение. И было отрадно это сознавать, зная притом, что, поправившись, она очень похорошела и горячо любима. Стах, которого она раньше немного побаивалась, часто склонял теперь свою темноволосую голову ей на колени, и, глядя на него, она с тихой радостью думала: «Кротким правом господин этот не отличается, и, если уж делает так, значит, ужасно любит». Счастью ее не было границ. И преисполненная признательности, она сама отвечала ему беспредельной любовью.

Светлым лучиком в доме был и юный «ария». Бывал он, правда, и криклив, но зато, ублаженный, такими разнообразными возгласами свидетельствовал свое удовольствие, что все домочадцы обоего пола собирались у кровати, где он лежал в своей излюбленной позе, задрав ножонки кверху под прямым углом. Марыня прикрывала его, называя «противным мальчишкой», он же, как пристало человеку с характером, продолжал брыкаться, поминутно сбрасывая одеяльце и показывая свои беззубые десны, смеясь и гукая на все лады: то чирикавая, как воробышек, то воркуя по-голубиному, то мяукая, то попискивая, словно обезьянка уистити. И мать, и няня разговаривали с ним, случалось, целы-

ми часами, а старик Васковский, который души в нем не чаял, утверждал с полной серьезностью, что это «речь эзотерическая», и, ежели записать ее на фонограф, очень поможет ученым проникнуть в тайны астральной жизни, во всяком случае, многое подсказала бы на этот счет.

Так проходили зимние месяцы в доме Поланецких. В феврале Поланецкий стал часто уезжать по делам, а вернувшись, долго советовался о чем-то с Бигелем. Но с середины февраля засел неотлучно дома, выбираясь только в контору или покататься иногда с Марыней и маленьким Стасем. Их не богатую событиями, но исполненную покоя и счастья жизнь разнообразили городские новости, которые приносила чаще всего пани Бигель. От нее узнала Марыня, что Стефания Ратковская, которая давно нигде не показывалась, на проценты с оставленных Еленой денег устроила сиротский приют, что Основский уехал-таки в Египет, но не один, а со своей «Анеткой», примирился с ней после выздоровления. Бывший секундантом Машко Кресовский видел их в Триесте и сказал с насмешкой, что у Основской вид кающейся грешницы. Но Поланецкий, зная по собственному опыту, насколько в несчастье становишься лучше и как искренне раскаиваешься, совершенно серьезно ответил: если муж простил, никто ее не вправе осуждать.

Но вскоре дошло до них известие еще невероятней, которое стало предметом обсуждения не только в доме Поланецких и Бигелей, но и во всем городе, а именно: будто Свирский сделал предложение панне Кастелли и свадьба состоится после пасхи. Марыня так разволновалась, что попросила мужа написать Свирскому и спросить, правда ли это. Ответ пришел дней через десять, и, когда Поланецкий с конвертом в руке вошел к ней и объявил: «Письмо из Рима!», Марыня, как девочка, подбежала к разгоревшимися от любопытства щеками, и они прочли следующее:

«Вы спрашиваете, правда ли? Нет, дорогие, неправда! Но чтобы вы поняли, почему этого не могло быть и не будет никогда, я должен рассказать о Завиловском. Он приехал в Рим три дня назад — я уговорил его задержаться во Флоренции и посмотреть еще Сиену, Парму, а особенно Равенну. Завтра он отсюда через Бриндизи уедет в Афины. А эти три дня с утра до вечера просидел у меня в мастерской, и я, видя, что он чем-то расстроен и желая навести разговор на вещи, его занимающие, спросил неосторожно: не привез ли он, часом, из Равенны с полдюжины сонетов? И знаете, что за этим последовало? Он побледнел, сказал, что нет, но скоро начнет писать, а потом швырнул вдруг шляпу на пол и разрыдался, как ребенок. Никогда мне еще не доводилось видеть такого взрыва отчаяния. Он бился у меня в руках, твердя, что загубил свой талант, и не способен больше ни на что, и стихов писать никогда уже не будет, и было бы во сто раз лучше, если бы панна Елена не выходила бы его тогда. Вот как

он страдает, а досужие языки небось мелют: зачем ему писать, коли он разбогател. И таким он уже и останется. Сгубили беднягу, отняли душу и талант — погасили огонь, который мог бы светить и греть. Вот что нейдет у меня из головы. Бог с ней совсем, с панной Кастелли! Но надергать перьев у птицы такого полета себе на веер и выбросить его потом в окно — этого я не могу ей простить. Я сказал как-то в Варшаве, что теперь на ней никто не женится, пусть поищет себе какого-нибудь князя Крапулеску, но это все так, слова. На самом же деле дураков много. Что до меня, я не дурак и не Крапулеску. Прощать можно свои обиды, а не чужие, простить за другого ровно ничего не стоит. Вот и все, что я имею по сему поводу сообщить, остальное вам известно. Подожду годик и повторю Стефании свое предложение. Примет она его или нет, в любом случае бог ее благослови, а мое решение неизменно».

— Но откуда же тогда эти слухи? — перебила Марыня.

Читая дальше, нашли они ответ и на этот вопрос.

«Сплетни эти могли появиться оттого, что меня часто видели в обществе этих дам. Помните, прошлый раз в Риме пани Бронич первая мне написала, а Линета, когда я к ним пришел, сама взяла на себя вину безо всяких оправданий. Признаться, меня это тронуло. Что ни говори, для чистосердечного признания нужно иметь какое-то мужество, чуточку порядочности, как-никак это признак раскаяния, крик страдающей души, могущий ее спасти, пусть даже вины не искупающий. Не думайте, будто я пишу это по своему мягкосердечию. Они действительно несчастны, можете мне поверить. Сколько раз приходилось видеть, как опасно приближаются они к знакомым и каким холодом обдают их те, кто не боится выразить им свое неодобрение. У них столько всего против всех накопилось, что они скоро сами начнут между собою грызться, как справедливо предсказал Васковский. И правда, ужасное положение: в обществе вроде бы приняты, но с занятой репутацией. Ну, да бог с ними! Написал бы о них и покрепче, да вспоминаю Елену Завиловскую, которая сказала, что никогда не поздно исправиться. Бедная Линета ото всего пережитого очень изменилась: похудела и подурнела, и мне очень жалко ее. Жалко и тетюшку Бронич, хотя она по-прежнему несет вздор, от которого уши вянут. Но это она из любви к племяннице, что ее отчасти оправдывает. И хотя я уже написал, что прощать можно только свои обиды, но хоть каплю жалости к ближнему не иметь — для этого гориллой надо быть, а не христианином. Не знаю, хватит ли ее у меня, чтобы зайти к ним после того, как я был свидетелем отчаяния Игнация, но что бывал — не жалею. Люди поговорят, поговорят, да и перестанут, год минет — дай бог дожить мне и Стефании, — и сами увидят, что болтали чепуху».

Письмо кончалось упоминанием об Основских: Свирский уже знал об их примирении, сообщая кое-какие подробности, неизвестные Поланецким.

«Думаю,— писал он,— что господь в бесконечном могуществе, но и милосердии своем не только предотвращает зло, но и сам обрушивает удары, чтобы высечь из нас искру порядочности. И я в исправление даже такой вот Основской и то верю. Наивно, может быть, но, по-моему, нет людей совсем дурных! Вот вам Ане-та: и у нее ведь совесть заговорила, и она за ним во время болезни ухаживала. Ох уж эти мне женщины! Такая у меня из-за них путаница в голове, скоро вообще перестану сколько-нибудь здраво рассуждать».

Под конец спрашивал он о здоровье маленького Стася, желая всяческого благополучия его родителям и обещаясь приехать в начале весны.

ГЛАВА LXIX

А весна уже наступала, ранняя и теплая. В конце марта — начале апреля Поланецкий опять стал куда-то уезжать и пропадал, случалось, по несколько дней. Они были так заняты с Бигелем, что нередко допоздна засиживались в конторе. Жена Бигеля полагала, что затевается некая грандиозная операция, недоумевая только, почему это муж, который всегда посвящал ее в дела, словно бы вслух размышляя о них при ней и часто даже советуясь, на этот раз как в рот воды набрал. Марыня тоже заметила, что Стах целиком чем-то поглощен. Он был с ней даже ласковей, чем обычно, но ей чудилась в его нежности, в каждом ласковом слове какая-то задняя мысль, которая ни на минуту его не оставляет. И эта его озабоченность с каждым днем росла, к началу мая достигнув апогея. Марыня хотела спросить мужа, что с ним, но колебалась, боясь показаться навязчивой, хотя и безразличной выглядеть не хотелось. Пребывая в этой неуверенности, порешила она выждать, пока муж сам при удобном случае хотя бы наметнет о своих заботах.

Спустя несколько дней ей показалось, что подходящий момент настал. Поланецкий раньше обычного вернулся из конторы с лицом довольным и вместе серьезным.

— Что, Стах, можно поздравить с успехом? — при взгляде на него вырвалось у нее невольно.

Он сел подле нее и, не отвечая прямо, сказал не совсем обычным тоном:

— Смотри, какая погода хорошая, совсем тепло. Пора и рамы выставлять. Знаешь, о чем я думаю последнее время? Что хорошо бы вам со Стасем поскорей уехать из города.

— Если Бучинец никем еще не снят... — отозвалась Марыня.

— Бучинец продан,— возразил Поланецкий. — И продолжал, взяв ее за обе руки и с нежностью заглядывая в глаза: — Послушай, дорогая, я хочу тебе что-то сказать, что-то очень приятное, только обещай, что не будешь волноваться.

— Хорошо, не буду. Ну, говори же, Стах!

— Видишь ли, детка, Машко бежал за границу как несостоятельный должник. А на оставшееся имущество накинулись кредиторы — хоть отчасти возместить убытки. И банк пустил все с торгов. Магерувку, ту разбили на участки и распродали, но Кшемень, Скоки и Сухотин еще можно было спасти, и — ты только не волнуйся, дорогая, — я купил их для тебя.

Марыня глядела на него, не веря своим ушам. Но нет, это не шутка, он сам взволнован не меньше. И со слезами на глазах она обвила руками его шею.

— Стах!!!

Никакие другие слова не шли ей в эту минуту на ум, но в этом одном слились и любовь, и благодарность, и преклонение перед человеком, который так по-деловому, по-мужски сумел всего этого добиться. Поланецкий понял ее и, бесконечно счастливый, прижал к своей груди.

— Я знал, что ты будешь рада, а радость твоя, видит бог, — величайшее для меня счастье. Я помню, как ты жалела Кшемень и как я тебя обидел, продав его, вот и постарался загладить свою вину при первой возможности... Но это все пустяки! Я и десятком Кшеменей не могу отплатить за твою доброту ко мне, не стою тебя все равно.

Он говорил от чистого сердца, и Марыня, чуть отстранясь, сияющими, мокрыми от слез глазами посмотрела на него.

— Нет, Стах, это я тебя не стою! — возразила она. — Я и мечтать о таком счастье не смела!

Они заспорили, кто кого достойней, но спор то и дело прерывался, так как Марыня, прижимаясь к мужу, протягивала ему свои красивые, немного крупные губы, а он впивался в них, целуя потом ее глаза. Марыня долго не могла прийти в себя; ей хотелось то плакать, то смеяться от счастья, превзошедшего все ее ожидания. Когда-то мать уже слабеющей рукой написала ей: «В супружестве не ищут счастья, а исполняют обязанность, возложенную богом, счастье — это лишь придача, дар божий». И дар этот был так щедр, что сердце его не вмещало. Да, бывало тяжело, она тосковала, а порой отчаивалась, но теперь все в прошлом, Стах любит ее больше всего на свете, доказав это с избытком.

А он большими шагами мерил комнату, взволнованный и довольный.

— Ну что же, Марыся, теперь — за дело! — сказал он с несколько даже хвастливым выражением на смуглом лице. — Как хозяйство вести, я понятия не имею, хозяйством распоряжаться будешь ты. Но управляющий из меня должен получиться неплохой. Кшемень — твердый орешек, работы там хватит на двоих.

— Стах, дорогой, я знаю, ты сделал это для меня, — сказала она, прижимая руки к груди. — Но делам своим ты ущерба не нанес?

— Ущерба? Ты думаешь, я на этом проиграл? Да ни вот столько! Задешево купил, совсем задешево! Бигель на что уж осторожный, и то признает, что сделка выгодная. И потом, ведь я же остаюсь его компаньоном... Ты не беспокойся, тебе не придется биться с нуждой, как прежде. У нас есть, на что начать хозяйство. И вообще я тебе скажу: если бы сейчас мы вдруг остались без Кшемения, то все равно прожили бы, ты, я и Стас.

— Знаю,— сказала Марыня, глядя на него, как на Наполеона или другого великого полководца,— знаю, ты можешь все, что захочешь, но Кшемень ты купил единственно ради меня.

— Не отпираюсь! — ответил Поланецкий. — Купил, потому что там похоронена твоя мать, потому что ты его любила, а я люблю тебя. Но, кроме того, благодаря тебе меня самого потянуло к земле. Вспоминалось, что ты в Венеции говорила, когда Машко предлагал Букацкому купить Кшемень. Ты и не представляешь, как влияешь на меня. Иногда скажешь что-нибудь, а я даже не придам сразу этому значения, но в душу западет и потом неожиданно отзовется. Так и тут. Теперь мне даже самому странно: как же это, иметь состояние, но и трех аршин той земли не иметь, на которой живешь,— пяди, которую мог бы назвать своей. Я давно уже решил про себя: куплю. И последние месяцы вертелся, как белка в колесе,— ты, наверно, заметила. Не хотелось только ничего тебе говорить, пока дело не выгорело. Сюрприз решил тебе сделать. Ну, вот и получай! Это тебе за то, что выздоровела, и за то, что ты такая хорошая!

И, схватив ее за руки, снова стал осыпать их поцелуями и прижимать к щекам. Она тоже хотела поцеловать ему руку, но он не дал, и оба, как дети, принялись бегать друг за дружкой, перекидываясь словами ласковыми и теплыми, как солнечные лучи. Марыне уже не терпелось в Кшемень — ни о чем другом она думать не могла, — так что он даже пригрозил в шутку: вот приревную тебя к нему, возьму да и продам.

— Не продашь! — покачала головой Марыня.

— Почему же это?

— Потому что любишь меня... — шепнула она ему на ухо, встав на цыпочки.

И он кивнул, соглашаясь.

И они, к великой радости Марыни, условились всем семейством переехать в конце недели в Кшемень: вещь вполне возможная, так как дом был уже приготовлен к приезду «помещицы». Поланецкий заверил Марыню, что почти ничего не тронул, постаравшись только привести все в жилой вид, и вдруг рассмеялся:

— Интересно, а что папа на это скажет?

Представив себе папино удивление, Марыня еще больше обрадовалась. А Плавницкий не заставил себя долго ждать, явившись через полчаса к обеду. Едва он вошел, Марыня, бросившись ему на шею, одним духом выпалила радостную новость.

Тот действительно поразился и даже растрогался. Может быть, обрадовался за дочь, а может, проснулась привязанность к уголку, где он прожил столько лет; так или иначе, глаза его подернулись влагой. Не обошлось, конечно, и без слов о поте, коим орошена эта земля, и о «немогущем ныне старце», для которого, быть может, тоже найдется «пристанище где-нибудь во флигельке».

— Дай бог тебе мое умение, но побольше удачи,— сказал он, обнимая зятя,— и знай: у меня ты всегда найдешь и помощь, и совет.

— Ну скажи сама: можно разве его не любить? — спрашивала счастливая Марыня вечером в гостях у пани Бигель.

ГЛАВА LXX

Приехали в Кшмень под самое воскресенье, уже во втором часу ночи, так что Поланецкий встал поздно. Прислуга поджидала их накануне с хлебом-солью; Марыня не утерпела и, смеясь и плача, обежала все комнаты, заглянула во все уголки и от волнения не могла заснуть до рассвета. Поланецкий не позволил ей поэтому вставать, обещав разбудить, когда запрягут,— Марыне хотелось пораньше поехать в Вонторы, чтобы успеть до обедни помолиться на могиле матери. А сам вышел после завтрака взглянуть на свои владения. Была вторая половина мая, и день выдался чудесный. Ночью прошел дождь, и лужи во дворе, у хозяйственных пристроек, блестели на солнце, капли на листьях переливались, как бриллианты; ярко отсвечивали мокрые крыши овинов, хлевов и овчарни. Залитый солнцем, утопающий в буйной майской зелени Кшмень радовал глаз. У хозяйственных построек было по-воскресному безлюдно, лишь возле конюшни толклись несколько конюхов, наряженных ехать в костел. Поланецкого поразили царившие вокруг тишина и безлюдье. Решив купить Кшмень, он несколько раз бывал здесь и знал, что имение расстроено. Машко начал было возводить амбар под красной черепичной крышей, но не закончил. Сам он никогда в Кшмене не жил, да и средств у него не было,— и следы запустения виднелись на каждом шагу. Но никогда оно не казалось Поланецкому столь очевидным, как теперь, когда он мог сказать: «Это мое!» Службы покосились и обветшали, забор местами повалился, а кое-где в нем зияли проломы. Под стенами валялся поломанный хозяйственный инвентарь; всюду виднелись разные предоставленные себе предметы, словно брошенные истлевать за ненадобностью, во всем чувствовались небрежение и нерадивость. Про сельское хозяйство Поланецкий твердо знал одно: деньги в него вкладывать следует осмотрительно, в остальном же, кроме самых общих сведений, вынесен-

ных еще из детства, был в нем совершенным профаном. Однако же, оглядывая свои владения, понял, что и поля, должно быть, обрабатываются с той же нерадивостью, которая повсюду заметна, и если хозяйство вообще велось, то лишь по устоявшейся привычке, раз заведенным порядком, как и десять, двадцать, сто лет назад. Здесь и в помине не было того напряжения, той неусыпной энергии, без которых немислимы коммерция, промышленность и вообще городская жизнь. «Если бы я ничего другого и не принес в это сонное царство,— подумал Поланецкий,— и то уже неплохо, потому что здесь этого явно не хватает. А у меня к тому же еще и деньги, и хоть капля здравого смысла: я наперед знаю, что ничего не знаю, и надо расспрашивать и учиться». Еще в бытность свою в Бельгии имел он возможность убедиться, что даже там разум и воля человеческие значат больше, чем самые совершенные машины. А на себя он в этом смысле рассчитывал — и с полным правом. Упорства и энергии ему было не занимать стать, он чувствовал это. Все, за что Поланецкий ни брался, в конце концов ему удавалось. В делах он был практичен и не давал фантазии увлечь себя, а потому не пал духом при виде представшей его взору заброшенности, загоревшись, наоборот, жаждой действия. Окружающее оцепенение, запустение, спячка и застой возбуждали у него желание побороться, и, воодушеваясь, он уже словно бросал вызов: «А ну-ка! Посмотрим, кто кого!» Не терпелось поскорее приняться за дело.

Первый, беглый осмотр хозяйства и эти размышления настроения не испортили, но время отняли. И, взглянув на часы, он распорядился запрягать: иначе не поспеть в Бонторы до обедни, и, быстро воротясь, постучался к Марыне.

— Госпожа помещица! Служба божия!

— Входи, входи,— послышался веселый голос Марыни. — Я уже готова!

Поланецкий вошел и увидел ее в светлом платье, похожем на то, в котором она была в его первый приезд в Кшемень. Одевалась она так умышленно, и муж, к ее удовольствию, отгадал хитрость.

— Панна Плавицкая! — воскликнул он, протягивая к ней руки.

Она подошла и, словно застыдясь, ткнулась ему в щеку розовым носиком, указывая на кровать, где спал маленький Стась.

В костел поехали вместе с Плавицким. Был солнечный весенний день, теплый и ликующий. В роще куковала кукушка, по лугам бродили аисты. Перед экипажем с дерева на дерево перепархивали сороки и удоы. Налетавший время от времени ветерок, точно водную гладь, колыхал молодые всходы, пригибая стебли, и зыбкие тени бежали по зеленому полю. Пахло землей, травой и весной. Воспоминания обступили Марыню и

Полавецкого. У нее проснулась притупившаяся в городе любовь к земле и деревне, к лесам, зеленым лугам, одиноким грушам на межах, к полоскам пашен, сужающимся вдаль, к полевым просторам и необъятному, не по-городскому высокому небу. Все это наполняло ее безотчетной радостью, граничащей с упоением. А Полавецкому вспомнилось, как они с Плавичским ехали вот так же в костел и сороки и удода тоже перелетали с дерева на дерево перед экипажем. Но теперь с ним рядом было то юное создание, Марыня Плавичская, которую он тогда увидел впервые. И в голове пронеслось все бывшее между ними: первое знакомство и как она ему понравилась, размолвка и удивительная роль Литки в их судьбе, свадьба, совместная жизнь, испытания, которым подверглось их счастье, и благотворное влияние на него этой чистой души, и теперешнее безоблачное житье-бытье. И его охватило блаженное чувство, что все плохое позади, что действительность превзошла самые смелые мечты и, хотя от бед никто не застрахован, их совместная жизнь будет теперь всегда возвышенно чистой, как сама «служба божья», и словно посветлеет настолько, насколько солнце здесь ярче, чем в городе. И сердце его преисполнилось счастья и любви к Марыне. И в Вонторах он с не меньшим рвением, чем она, помолился за упокой души ее матери, которой обязан такой женой, испытал к праху ее, погребенному под костелом, чувство, как ему показалось, поистине сыновнее.

Зазвонили к обедне. В костеле Полавецкого снова обступили воспоминания. Все было здесь так знакомо, что порой чудилось, будто он только вчера вышел отсюда. Все тот же запах аира и непокрытые мужицкие головы, тот же ксендз у алтаря, и так же ударяются в стекла ветки раскачиваемой ветром березы... И Полавецкому, как и тогда, подумалось, что все проходит: жизнь с ее горестями, радостями и страстями, меняются взгляды и философские системы, только служба правится по-прежнему, словно время над нею не властно. Новым ликом в этом давнем обрамлении была лишь Марыня. Полавецкий нет-нет, да и поглядывал на нее, по ее сосредоточенному виду и взору, обращенному к алтарю, догадываясь, что она усердно молится за будущую их жизнь в деревне. И, настроясь на ее лад, он тоже стал горячо молиться.

После службы их окружили во дворе старые знакомые Плавичского и Марыни. Но Плавичский тщетно озирался по сторонам в поисках пани Ямиш: она уехала в город несколько дней назад. Зато сам Ямиш, поздоровевший и помолодевший после того, как вылечился от своего катара, пришел при виде Марыни в полный восторг.

— А, вот она, моя питомица! — восклицал он, целуя ей руки. — Вот моя хозяйшкa! Золотко мое! Вернулись, значит, на старое гнездовье. А Марыня все такая же красавица! Совсем барышня, ей-богу, не верится, что у нее уже сынок!

Марыня покраснела от удовольствия, но в эту минуту к ним подошли Зазимские с кучей детей, а за ними Гонтовский, vulgo¹ «увалень», несчастливый Марынин обожатель, дравшийся с Машко. Гонтовский держался несколько скованно и смущенно, ослепленный ее красотой и опечаленный тем, что упустил свое счастье. Марыня тоже поздоровалась с ним сконфуженно, а Поланецкий с великодушием победителя дружески протянул ему руку.

— Оказывается, и у меня тут есть старые знакомые. Как живете?

— По-прежнему, — отозвался Гонтовский.

Ямиш, который был в отличном расположении духа, бросил на него насмешливый взгляд.

— Все с сервитутами у него нелады, — сказал он.

Гонтовский пришел в еще большее замешательство, потому что нелады эти стали уже притчей во языцех. Бедняга в последние годы едва сводил в своем Ялбжикове концы с концами и все надежды возлагал только на сделку с крестьянами да продажу леса. Но каждый раз, уже почти договорясь, ялбжиковские мужики вдруг припоминали ему, что он все «на белом коне скачет, из ружья палит да на девок заглядывается».

Зная с детских лет крестьянскую повадку ничего не говорить прямо, без обиняков, он тем не менее терял иногда терпение.

— Вот дьяволы! Ну какая здесь связь! Чтоб вас всех черти взяли! — восклицал он с отчаянием.

Столь убедительное dictum² производило обыкновенно то действие, что ялбжиковские выборные умы снова держали совет и, взвесив все «за» и «против», снова заявляли, почесывая затылки, что все бы ничего, кабы барин «на белом коне не скакал, из ружья не палил...» и так далее.

Марыня, которая почти по-родственному относилась к Ямишу, узнав, что он остался в соломенных вдовцах, пригласила его к обеду. Недовольный же отсутствием госпожи советницы, Плавницкий со своей стороны пригласил «Гонтосика», вспомнив, как они играли с ним в карты по воскресеньям, вследствие чего Поланецкие поспешили домой, чтобы Марыня поспела с нужными распоряжениями. Плавницкий с Ямишем поехали следом, а за ними в бричке, запряженной тощей рабочей клячей, тащился Гонтовский.

— Дочь моя счастлива... — говорил Плавницкий Ямишу по дороге. — Ничего не скажешь!.. Человек он хороший, дельный, но...

— Что «но»?

— Сумасброд! Помните, как он пристал ко мне вернуть ему какие-то жалкие двадцать тысяч рублей. Пришлось продать

¹ в просторечии (лат.).

² высказывание (лат.).

Кшмень. И что же? Теперь сам же его купил... А не требовал бы долга с меня, не пришлось бы и за Кшмень платить — задаром бы его после моей смерти получил. Человек неплохой, но... — постучал себя Плавицкий пальцем по лбу, — ветер еще в голове! Что правда, то правда.

— Гм! — только и сказал Ямиш в ответ, не желая обидеть старика, а про себя подумал: останься Кшмень в его руках, от него давно и следа бы не было.

— Опять работать придется на старости лет, на меня ведь все ляжет, — пожаловался со вздохом Плавицкий.

«Не приведи господь!» — едва не вырвалось у Ямиша, но он достаточно знал Поланецкого, чтобы не тревожиться на этот счет. Да Плавицкий и сам не очень-то верил в свои слова: зная, что тот все возьмет на себя.

Беседуя таким образом, подъехали они к крыльцу; Марыня, успевшая уже распорядиться относительно обеда, вышла навстречу с сыном на руках.

— Хочу представить вам сына, прежде чем садиться за стол, — сказала она. — Вот какой у меня сынок! Большущий сынок! Послушный сынок!

И, покачивая ребенка в такт словам, поднесла его к Ямишу. И когда тот коснулся пальцем его щечки, «послушный сынок», сперва поморщась, а потом улыбнувшись, издал радостный вопль, который для изучающих «эзотерический язык» имел несомненный интерес, но неискушенному слуху удивительно напоминал крик сороки или погугая.

Подъехал между тем и Гонтовский и, повесив в сенях пальто, стал рыться в карманах, ища носовой платок. В сенях оказалась и Розалька, нянька Стася; она подошла и, поклонясь в ноги, поцеловала барину руку.

— Ну, как дела? Как поживаешь? Что скажешь? — спросил ялбжиковский помещик.

— Ничего! Хотела вот только к ручке подойти, — смиренно отвечала Розалька.

Скособочась, Гонтовский запустил два пальца в жилетный карман, нащупывая что-то, но та, как видно, и в самом деле хотела только поклониться прежнему своему барину и, не дожидаясь подношения, еще раз приложила к ручке и пошла себе в детскую.

А Гонтовский направился с победоносным видом в гостиную, напевая басом: «Трам-та-там! Трам-та-там!»

За столом предметом общего разговора стало возвращение Поланецких в деревню. Ямиш, человек образованный, которого само положение обязывало быть красноречивым и рассудительным, обратился к Поланецкому с такими словами:

— Пусть у вас нет опыта ведения хозяйства, зато у вас капитал и деловые способности, чего как раз очень не хватает большинству наших землевладельцев. Поэтому я надеюсь и верю,

что с Кшемением у вас все пойдет гладко. Возвращение ваше — большая радость для меня не только потому, что я хорошо отношусь к вам и моей любимой подопечной. Оно еще вдобавок подтверждает мою правоту, а именно: мы, старшее поколение, вынуждены покидать землю, но сыновья наши, а не они, так внуки, вновь к ней возвратятся. Это я всегда повторял и повторяю. Возвратятся окрепшие, закаленные в жизненной борьбе, приобретя деловую сметку и умение трудиться. Помните, я говорил, что земля влечет и что она — единственное наше истинное богатство. Вы мне тогда возражали и вот — стали владельцем Кшемения.

— Это все ради нее и благодаря ей, — сказал Поланецкий, кивая на жену.

— Ради нее и благодаря ей! — повторил Ямиш. — А вы думаете, я не отдаю женщинам должное, не знаю им цену? Им сердце и совесть подсказывают, в чем наша настоящая обязанность, и, любя нас, они внушают это нам. А наша истинная обязанность, равно как и богатство, — земля. — Пан Ямиш, имевший ту общую многим судьям слабость, что любил слушать самого себя, прикрыл глаза и продолжал: — Да! Вот вы вернулись благодаря ей! Это ее заслуга! И дай бог побольше нам таких женщин. Но что ни говорите, земля и вас притягивает, вы тоже вышли из ее недр. У всех у нас плуг должен быть в гербе! И еще я вам что хочу сказать: вернулся не только Станислав Поланецкий, не только Марыня Поланецкая, вернулась семья, в которой отозвался инстинкт многих поколений землевладельцев, всех, кто жили на этой земле и чей прах покоится в ней. — Он встал и поднял бокал. — За здоровье пани Поланецкой! За здоровье семьи Поланецких!..

— За здоровье семьи Поланецких! — подхватил Гонтовский, на которого красноречие всегда оказывало благотворное действие, готовый в эту минуту простить Поланецким даже все муки, какие из-за них претерпел.

Все с бокалами устремились к Марыне, а она благодарила, растроганная.

— Ах, Стась, как я счастлива, — шепнула она мужу, который к ней подошел.

— Я всегда говорил: нельзя землю из рук выпускать! — заявил Плавицкий, когда все снова уселись.

— Верно! — подтвердил Гонтовский, подумав про себя: «Кабы только не баламуты эти окаянные!»

А Розалька качала тем временем маленького Стася в детской, напевая свое грустное деревенское:

Горе горькое в хоромах,
Ясек мой родной!..

После обеда гости стали было собираться, но Плавицкий предложил партию в карты, и разъехались только уже на за-

кате. Поланецкие, натешившись сыном, вышли на террасу и спустились оттуда в сад; вечер был тихий и теплый. Все напоминало им далекое воскресенье, проведенное здесь вместе, и воспоминания эти — а было их множество — казались дивным, сладостным сном. Как и тогда, опускался к горизонту огромный шар и деревья недвижно стояли в вечерней тишине с озаренными закатными лучами верхушками; как тогда, раздавался из гнезда за домом клекот аиста и торжественная, умиротворяющая тишина была разлита вокруг. Они заглянули во все уголки, обежали все аллеи, наконец подошли к ограде и долго смотрели на уходящие вдаль поля, на темную полосу леса на горизонте, тихо переговариваясь друг с другом, и от голосов их веяло таким покоем, каким напоен был этот вечер. Отныне их жизнь — этот мир, который их окружает. И оба почувствовали, что земля зовет их и привлекает, что завязывается какая-то связь, обязывающая жить здесь, и нигде больше: трудиться, служа богу, на ниве с народом вместе.

Когда солнце зашло, они вернулись на веранду и, как в тот далекий вечер, остались посидеть до наступления полной темноты. Только тогда Марыня сидела поодаль, а сейчас притулилась к мужу.

— Нам будет тут хорошо, правда, Стах? — сказала она.

— Дорогая! Любимая моя! — повторял он, обнимая ее и крепко прижимая к сердцу.

Над окутанными туманом ольхами показалась румяная луна, и лягушки, угадав, наверно, что вернулась та девушка, которая так часто гуляла по берегу пруда, хором завели, нарушая вечернюю тишину:

— Рады! Рады! Рады!..

* * *

И потекла новая жизнь, не чуждая забот, но несущая больше меда, чем полыни.

Автор вкусил от этого меда — уже в своем воображении.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РОМАНЫ СЕНКЕВИЧА

Дилогия Сенкевича — романы «Без догмата» и «Семья Поланецких» — относятся к лучшим произведениям польского реализма XIX века. Роман «Без догмата» упрочил громкую славу, принесенную Сенкевичу его историческими полотнами. И сейчас он не утратил своей свежести и художественной ценности.

Мировая известность своеобразной «исповеди сына века», которой является «Без догмата», отчасти определяется тем, что его идейно-художественная проблематика в высшей степени органична для европейского литературного процесса. Роман Сенкевича — характерное явление европейской литературы как целого, неотъемлемая ее часть, и в то же время это явление, в котором чрезвычайно ярко предстала его польская, национальная специфика.

Ранг этого романа и его место в мировой литературе пронизательно определил А. М. Горький, издавший в 1932 году «Без догмата» в основанной им серии «История молодого человека XIX столетия», которая открывалась произведениями Франсуа Рене Шатобриана и Бенджамена Констан. Имя героя романа Леона Плошовского Горький неоднократно упоминал в ряду созданных европейской литературой психологических портретов «лишних людей буржуазии», индивидуалистов и «бездогматовцев», противопоставивших себя обществу. «Жюльену Сорелю буржуазное общество отрубило голову, но этот молодой честолюбивый человек воскрес под другими именами в ряде книг крупнейших авторов Европы и России: в романах Бульвера-Литтона и Альфреда Мюссе, Бальзака и Лермонтова, Сенкевича, Поля Бурже и других. [...] Общая всем им черта: у них огромное честолюбие, но они живут «без догмата» — того социального догмата, который гармонирует разум и волю»¹.

Горький расширительно трактовал понятие «лишнего» человека. Отходя от содержания этого термина, обозначающего тип героя русской литературы 20—50-х годов XIX века, он в качестве конституирующих признаков социально-психологического облика «лишнего» человека выделял буржуазный индивидуализм, бездельность, «социальную слепоту и глухоту»: «...литераторы... обратили свое внимание на молодого человека средних качеств и в продолжение целого столетия изображали под разными именами и фамилиями все одно и то же лицо. [...] Разумеется, Чацкий,

¹ Предисловие к кн.: Виноградов А. К. Три цвета времени. М., 1931, с. 10—11.

герои Байрона, «Сын века» Альфреда Мюссе и Печорин внешне не очень похожи на таких увальней, как Обломов, Нехлюдов, Оберман, Адольф, но все же они — дети одной матери. Жюльен Сорель, Раскольников и Грелу — их родные братья, но, разумеется, смелее и активнее; эти трое, проверяя исключительность свою, не останавливались и пред убийствами. [...] Общее и неоспоримое, что роднит почти всех героев европейской и русской литературы XIX века, это — кроме социальной слепоты и глухоты — пристрастие к бесплодным размышлениям в условиях полного безделья»¹.

Общеввропейское, выходящее за национальные рамки значение типа «лишнего» человека подтверждается и опытом польской литературы. Развитие ее в XIX веке дает все основания рассматривать многие явления в свете категории «лишнего» человека — причем не только в широком, «горьковском» понимании этого термина, но и в более узком, характерном для традиции русского реализма 30—60-х годов.

Примечательно при этом, что польский «лишний» человек с наибольшей силой заявил о себе не в середине века, а именно в 80—90-е годы. В период шляхетской революционности, заражающей литературу идеями освободительной борьбы, и в наступившее после разгрома восстания 1863 года время господства позитивизма (60—70-е годы) в польском обществе не было условий для возникновения этого литературного типа. В конце же века предпосылки, определявшие «возвратную волну» ситуации «лишнего» человека, несомненно появляются.

Их рождает углубившиеся классовые противоречия общества, вступившего в предимпериалистическую стадию, банкротство социально-политических и философских принципов варшавского позитивизма, который обещал вывести нацию «к свету» путем добросовестного труда всего общества, развития общественных наук, техники и образования. Сопутствующее кризису буржуазного миропорядка ощущение безысходности, скептическая переоценка ценностей, настроения тоски и безвременья получили широкое распространение в среде творческой интеллигенции и во всем польском образованном обществе 80—90-х годов.

Ощущение истощенности определенных форм жизни переливалось в сознание переходности эпохи, ожидание чего-то нового. Невиданное ускорение исторического времени, перемены, вызванные стремительным капиталистическим развитием, расшатыванием привычных, феодально-патриархальных связей человека со средой отразилось в литературе и через изображение нового типа социального поведения. Реализацией этого типа стало, в частности, возрождение — на ином этапе, в ином качестве — коллизии «лишнего» человека, коллизии «отпадения» героя от породившей его среды.

Какое же место на линии развития европейской традиции «лишнего» человека XIX века, блудного сына породившего его общества, занимает художественная концепция Сенкевича?

Литературная родословная героя «Без догмата» Леона Плошовского обширна, и ее легко проследить. В его образе гамлетовская раздвоенность и рефлексия (на одержимость Плошовского гамлетовским «быть или не

¹ Предисловие к кн.: Ш а т о б р и а н Ф.-Р. Рене. К о н с т а н Б. Адольф. М., 1932, с. 10.

быть» у Сенкевича есть прямые указания), переплелись с трагической исключительностью персонажей Шатобриана и Байрона, скептицизмом и душевной усталостью «кипящих в действии пустом» героев Пушкина и Лермонтова, с запечатленной Тургеневым нерешительностью «русского человека на rendez-vous» и, наконец, обнаженной Достоевским пропастью человеческой души.

Коллизия, определившая фабулу романа Сенкевича, близка к сюжетной ситуации «Евгения Онегина». Это тот же мотив запоздалого прозрения героя, его безуспешной борьбы за любовь женщины, некогда им отвергнутой и непоколебимой в своем решении «я другому отдана и буду век ему верна». Леон Плошовский, предаваясь сомнениям и страшась женитьбы, «профилософствовал» свое счастье, оскорбил и оттолкнул Анельку. А когда, вырвавшись из роковых объятий госпожи Дэвис, отвлекшей его от Анельки, как Полозова отвлекла от Джеммы героя «Вешних вод», пытается вернуть женщину, ставшую женой другого, он наталкивается на стену несокрушимого сопротивления робкой, безмерно его любящей, но догматически твердой в своих моральных принципах Анельки.

По складу характера, по своей психологии и темпераменту Плошовский напоминает созданный русской литературой тип «лишнего» человека. Он именно барин, бездействующий по традиции, привычке, велению своего сословного положения, а не энергичный бальзаковский Растиньяк или честолюбивый парвеню Жюльен Сорель, в которых Горький тоже видел «лишних людей буржуазии». Индивидуализм Плошовского совсем другого рода — это презрение аристократической элиты к тщете и скуке повседневной жизни, это сибаритство и барский дилетантизм, о котором Добролюбов писал: «Общее у всех этих людей то, что в жизни нет им дела, которое бы для них было жизненной необходимостью, сердечной святыней, религией, которое бы органически срослось с ними, так что отнять его у них значило бы лишить их жизни. Все у них внешнее, ничто не имеет корня в их натуре»¹.

Как Онегин и Печорин, Плошовский родовит, богат, занимает в обществе блестящее положение, которым не слишком дорожит; он хорош собой, и в светских гостиных ему нет равных, но в остальном — даже в искусстве, которое тонко чувствует, — он всего лишь дилетант.

Детство, проведенное в Италии в общении с ее природой, красотами и древностями Вечного города, университетские годы в Варшаве и Париже, путешествия, удовольствия и рутина светских развлечений не наполнили его жизни никаким смыслом, не вдохнули в нее никаких стремлений, никакой живой идеи. Словом, это человек, которого «жизнь [...] томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом».

Как и у русских «лишних» людей «первого призыва», в характере Плошовского очень сильны черты скепсиса и всеразъедающей рефлексии. Он являет собой как бы новое подтверждение мысли Герцена об исторической обусловленности рефлексии как болезни промежуточных эпох, о том, что «характер Гамлета» возникает «особенно в эпоху сомнений и раздумья, в эпоху сознания каких-то черных дел, совершившихся возле них, каких-

¹ Добролюбов Н. А. Собр. соч., т. 4. М., Гослитиздат, 1962, с. 335.

то измен великому в пользу ничтожного и пошлого»¹. «Просто непостижимо,— задумывается Плошовский,— что в наше время человек в любом положении, любом душевном состоянии, вполне современном и сложном, находит более всего сходства со своими переживаниями в этой трагедии... Гамлет — это душа человеческая в прошлом, настоящем и будущем».

Некоторые признания Плошовского («...во мне словно сидят два человека — один вечно все взвешивает и критикует, другой живет как бы только наполювину и теряет всякую решительность», или: «...пожалуй, мне следовало бы спросить себя: если ты не намерен жениться, зачем же ты делаешь все, чтобы влюбить в себя девушку?»), критика не без основания сопоставляла с известными печоринскими: «... во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой — мыслит и судит» и «...я часто себя спрашиваю, зачем я так упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь». При этом подчас делался — уже бесосновательный — вывод о несамостоятельности романа польского писателя.

Конечно, Плошовский тоже портрет разьедаемого скепсисом, преждевременно состарившегося и мятущегося в бездействии молодого современника. «Воображая, что они живут чувством, погибали, отравленные мыслью, сила которой тратилась ими на исследование таинственных глубин их собственного «я», — писал об этих героях-индивидуалистах А. М. Горький². Литература XIX века знала много таких героев, и Плошовский — звено в этой цепи. Однако, помимо общих, родовых свойств этого характера в нем воплотились особые приметы времени и национально-специфические черты.

Так же, как Онегин и Печорин, Плошовский — человек безвременья, но безвременья нового: конца века. Герой Сенкевича в отличие от «лишних» людей онегинско-печоринского склада прошел искус материалистических идей позитивистского толка. И если нигилиста Базарова, в котором соединились черты «нового» человека с некоторыми особенностями «лишнего», эти идеи еще вдохновляли, то Плошовский уже видит их несостоятельность.

Впервые в польской прозе появился персонаж, с такой художественной силой воплотивший кризис положительных идеалов, характерный для польского общества 80—90-х годов. Атмосфера романа передает исчерпанность позитивистского этапа, неясность дальнейшего пути, неизбежность возникновения огромной массы настоятельных вопросов, на которые художественная интеллигенция «старого призыва» еще не видела ответов.

«Кончается какая-то эпоха, наступает какая-то эволюция во всех областях» — это данное Сенкевичем устами его героя определение переходности описываемого момента звучит как характеристика польского литературного движения 90-х годов. Не случайно в стилизованном под дневник аналитическом психологическом романе, каким является «Без догмата», при всей его исповедальности, сосредоточенности на глубоко личных, ин-

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. IX. М., Изд-во АН СССР, 1954, с. 37.

² Предисловие к кн.: Ш а т о б р и а н Ф.-Р. Рене. К о н с т а н Б. Адольф, с. 10.

тимных переживаниях, обозначены также социально-исторические корни «пустоцветности» Плошовского и ему подобных.

Пустоцветность Плошовского связывается не только с мировоззренческим кризисом героя, с его эмоционально-психической организацией, но и с фамильной бесплодностью неспособного к труду и не нуждающегося в нем потомка аристократического вырождающегося рода. Однако отношение писателя к дворянству неоднозначно. Участие шляхты в национально-освободительном движении и приумножении культурного потенциала нации заставляют его видеть в польском дворянстве силу, не безразличную для сохранения и упрочения самосознания нации (это показали и написанные ранее исторические романы Сенкевича).

Плошовский и его окружение — влюбленный в античность эстет-отшельник отец, высоко нравственная тетушка, да и сама Анелька, полностью соответствующие возвышенно-патриотическому стереотипу «материпольки», — нарисованы с большой симпатией. Вместе с тем даже такой умеренный в своих взглядах, далекий от революционной борьбы писатель, каким был Сенкевич, не может не видеть безысходной замкнутости того мира, в котором живут его умные, красивые, благородные герои, их изолированности от подлинных народных нужд, потребностей нации. «Под нами что-то творится, возникает, кипит борьба за существование, за кусок хлеба, идет жизнь реальная, полная муравьиного труда, животных потребностей, appetitов, страстей, ежедневных тяжких усилий, жизнь потрясающе осязаемая, полная сумятицы, шумная, бурлящая, как море, — а мы вечно сидим себе на каких-то террасах, рассуждаем об искусстве, литературе, любви, женщинах, чуждые жизни, далекие от нее», — говорит Плошовский.

Своей бесплодностью, исторической обреченностью, нежизненностью шляхты заражает и польское искусство, что, как явствует из романа, грозит уже подлинной катастрофой: «...порой у меня бывает смутное предчувствие какой-то страшной опасности, грозящей всей нашей культуре. Волна, которая смоет нас с поверхности земли, унесет больше, чем та, что в свое время смыла мир пудренных париков и жабо».

Причину «нежизненности» польских «лишних» людей, этих «гениев без портфеля», Сенкевич прежде всего видит в отсутствии для них подлинного поля общественной деятельности. Именно этим он объясняет сосредоточение всей духовной энергии героя на любви к женщине.

Человек масштаба Плошовского не может найти себя среди добропорядочных рыцарей «малых дел», какими являются в романе и его тетушка, радетельница о благе своих родственников и крестьян, и разночинцы из обедневших шляхтичей: доктор, книгопродавец и управляющий Хвостовский, писатель Снятынский, обретшие счастье один в семейной жизни, другой — в своей деятельности культуртрегера-позитивиста. «Мы, муравьи, строящие муравейник, мы, люди труда...» — говорит от их лица доктор. Плошовский относится к ним с симпатией и даже с некоторой долей зависти. Острую неприязнь вызывает у него лишь Кромичкий — делец, неудачно спекулирующий на поставках в Туркестане. Для писателя и его героя этот торгаш — тоже продукт одряхления и невроза века, с той лишь разницей, что его болезнь выражается не в атрофии воли, а в лихорадке наживы.

Но вызывающая уважение Плошовского бесхитростная жизнь не может удовлетворить его. Утилитарно-целесообразное «муравьиное» воззрение на мир не разрешает главных для него, общеполитических «проклятых» вопросов: зачем мы живем? «Не знаю, не знаю, не знаю!» — этот лейтмотив сознания Плошовского оборачивается для него трагедией.

Устами своего героя Сенкевича мечет громы и молнии на эмпирическую позитивистскую философию естествознания, которая выбила, по его мнению, почву из-под ног современного человека, посеяв всеразрушающее сомнение и скепсис.

В романе сформулировано наиболее, пожалуй, яркое в польской литературе того времени обвинение позитивистской философии: «Твой научный метод — скептицизм и критику — ты так успешно привила моей душе, что они стали моей второй натурой. Словно каленым железом, выжгла ты во мне все те фибры души, которыми люди веруют просто и бесхитростно, так что сейчас, если бы я и хотел веровать, мне больше веровать нечем».

Отвлеченность мысли Плошовского, его мучительные метания в заколдованном кругу неразрешимых философских вопросов накладывают существенные штрихи на портрет этого эстета и скептика.

Характер Плошовского весьма противоречив. В сравнении с «лишним» человеком 20—30-х годов в нем, порождении упадочнической атмосферы конца века, еще более заострены ущербные черты. Болезненная нервозность, вялая женственность, эстетизм сочетаются в этом «бездогматовце» с расчетливостью в достижении цели, подменой этических критериев эстетическими. И это отчасти сближает Плошовского с такими вырастающими из принципа вседозволенности современными ему литературными персонажами, как уайльдковский Дориан Грей, Робер Грелу из романа Бурже, Фальк Пшибышевского («Homo sapiens», 1901), с которыми его неоднократно сравнивала критика. «Игра на струнах души» Анельки гораздо ближе к «вивисекции души» Шарлотты, проводимой в «эксперименте» Робера Грелу, чем к «науке страсти нежной», которую в совершенстве постигли Онегин и Печорин. В Плошовском притупляется чувство чести, нравственная щепетильность («...я уверен, что никакое сознание содеянного зла, никакие угрызения совести меня не остановят»).

Противоречивость личности Плошовского, вмещающей жестокий цинизм и неподдельное чувство, напоминает ставрогинскую страсть к мучительству и «страсть к угрызням совести», как бы сообщая ему прелесть «равной красоты в зверстве и в подвиге». Перекликаются с болезненным самолюбием персонажей Достоевского и эгоистический гнев, вспышки дикой злости, которой раздражается Плошовский в ответ на одно только упоминание в письме тетюшки о посещениях Плошова Кромницким. Но при этом герой Сенкевича существенно отличается от страдающих из-за вселенской несправедливости персонажей Достоевского; в нем нет ощущения личной сопричастности несовершенству мироздания и ответственности за страдания народа.

В то же время Плошовский, по собственному признанию, не становится только «сытым и веселым зверем». Горький отмечал, что у Сенкевича не произошло полной дегуманизации героя: Леон Плошовский «выигрывает... будучи сопоставлен с Фальком Пшибышевского», в нем не выпол-

вена рекомендация человеку «внутренно упростить себя путем превращения в животное»¹.

Более того, Плошовский далеко не так безразличен, как можно судить по некоторым его высказываниям. В лепке образа своего героя Сенкевич, подобно Оскару Уайльд, широко применял прием парадокса. Игра ума, жонглирование эффектными, неожиданными словами и мыслями, сама логика доказательства брошенной как бы невзначай идеи становятся для Плошовского самоцелью. За этим блеском формы порой бывает трудно различима сама суть характера, а циничные заявления скрывают душу ранимую, тянущуюся к добру.

Герой Сенкевича — эгоист и скептик, но способный на страдание и духовное обновление. «Несчастье любви к замужней женщине» преображает опустошенную душу «бездогматовца»: он пересматривает свою жизненную позицию, признает силу нравственного идеала Анельки и решает уйти вслед за ней из жизни.

При всех чертах декадентской ущербности Плошовский являет собой вариант индивидуализма, несущего в себе собственное опровержение. Это индивидуализм страдающий, глубоко несчастный (вспомним, что и Белинский в статьях о Пушкине характеризовал Онегина как страдающего эгоиста).

Но нельзя не видеть и существенных различий между Плошовским и типом русского «лишнего» человека как онегинско-печоринско-рудинского толка, так и более поздних толстовских и чеховских его воплощений. Протасова, Иванова, персонажей «Скучной истории», «Моей жизни» убивает (в прямом либо переносном смысле) пошлость, тоска, убожество русской жизни. Тот нормальный «приличный» жизненный уклад, который характерен для всего так называемого образованного общества, ставшего молчаливым свидетелем и косвенным соучастником чинимого над народом насилия и произвола, в глазах русских писателей являлся безнравственным, убивающим «душу живу».

Трагедия же Плошовского происходит не из-за невозможности для него жить в мире порочных социальных отношений. Его жизненный крах имеет другую мотивировку — философско-религиозную, психологическую и запрятанную глубоко в подтексте национально-патриотическую. Страдающий от своего безверия и бесполезности, Плошовский остается все же эстетом-индивидуалистом, занятым только собой и своей любовью. В психологическом эксперименте, долженствующем сломить сопротивление Анельки, он не выглядит таким же бездушным, законченным циником, как Робер Грелу. Но некоторая дезидеологизация «лишнего» человека, заметная у Сенкевича в сопоставлении с русской прозой рубежа веков, отдаляет Плошовского от русского типа «лишнего» человека, сближая с героем западного романа, ищущим свой идеал не в народном, общем счастье, а в успехах частной жизни.

Сенкевич развенчивает своего героя с позиций религиозной морали. По замыслу писателя роман должен был быть «предостережением против

¹ Горький А. М. Собр. соч., т. 24. М., 1953, с. 47,

всего того, к чему ведут жизнь «без догмата», скептический утонченный ум, лишенный простоты и точки опоры (письмо Я. Янчевской от 19.XII.1889 г.). Но нельзя не заметить, что с замыслом «Без догмата» произошло нечто похожее на трансформацию идеи «Анны Карениной». Оба художника обратились к драматической коллизии — столкновению любви и долга. Изначальный трагизм ситуации Анны у Толстого сопряжен с глубочайшим социально-психологическим анализом русской жизни. У Сенкевича мотивировка философско-нравственная: героиня падает жертвой скепсиса и неверия, отравивших душу Плошовского, и невозможности преступить признаваемый ею нравственный закон.

Сенкевич понимал, что душа современного человека «слишком сложна, чтобы уложиться в кодекс достопочтенного Варфоломея и праведной Магды». И он не смог подчинить религиозным догматам реальную сложность жизни, стремления и запросы человеческой личности.

Значение романа в польской литературе — и сам писатель это понимал — состояло именно в том, что автору удалось показать сложность духовной жизни современного человека. Знаменателен в этом отношении комментарий Сенкевича (в письме к Я. Янчевской): «Человеческая природа взята глубже, чем это обычно делается, — особенно в польских романах, и, пожалуй, некоторые вещи совершенно новы... Одним словом, будет открыта душа сложная, больная, но настоящая. По крайней мере, у меня такое чувство, что этого нового своего детища я не должен стыдиться, — и даже, что кто-нибудь другой у нас, может быть, так бы и не написал».

Появление романа вызвало дискуссию. Э. Ожешко, П. Хмелевский и другие представители позитивистского поколения энергично возражали против трактовки Плошовского как выразителя современных духовных исканий. Они находили пример «бездогматовца» вредным и отвлекающим от общественно-полезной деятельности. «Трагедию удобной лени» увидел в романе Хмелевский. «Таких гениев без портфеля, как Плошовский, у нас полным-полно», — пронизировала Ожешко. Но на молодежь роман произвел, по свидетельству критики, «необычайное впечатление, граничившее подчас с фанатичным культом. В горячих обсуждениях, не утихающих среди страстных поклонников этого произведения, каждый повторял одну и ту же фразу: «Я увидел там всего себя».

Мятущаяся, несчастная в любви и одиночестве душа Плошовского отвечала духу эпохи, для которой, с одной стороны, был характерен кризис ценности, а с другой — потребность в укрупненности образа, в сильных и ярких характерах людей, разочарованных в буржуазном укладе жизни. Осужденный Сенкевичем индивидуализм Плошовского благодаря этой разочарованности сохранял и некую романтическую притягательность.

Образ Плошовского нес на себе печать нового — на другом уровне — возвращения литературы к исключительному и загадочному, одержимому страстью познания «мировой формулы» неудовлетворенному герою.

Созданный Сенкевичем мятущийся, философствующий и обладающий утонченной, артистически-рафинированной духовной организацией персонаж был связан также с характерной для польской литературы 90-х годов проблемой особенностей творческой натуры и психологии творчества, положения художника в обществе. Органичность многочисленных литера-

турно-художественных реминисценций и других обращений к явлениям литературы, музыки, живописи, рассуждений о специфике искусства, попытки (в образе пианистки Клары, художника Лукомского и отчасти самого Плошовского) раскрыть личность художника, тайну творческого процесса делают роман Сенкевича в известной степени провозвестником ряда произведений Берента, Ижиковского, Жеромского, Ивашкевича и других польских прозаиков XX века, писавших о проблемах искусства.

Следующий роман — «Семья Поланецких», — был задуман Сенкевичем в некотором смысле как продолжение «Без догмата». Оба произведения объединены пафосом осуждения скепсиса и безверия, некоторыми общими героями и сюжетными мотивами. В «Семье Поланецких» упоминаются Плошовский и Снятынский, ведется спор о наследстве тетюшки Леона, выступают Завиловский и Хвостовские. Роднит оба романа и психологический рисунок образов Марыни Плавицкой и Станислава Поланецкого, возникающая между ними любовно-нравственная коллизия.

Так же как Плошовский, Стах Поланецкий заражен рефлексией, утратил веру. Сидящий в нем холодный и скептический наблюдатель (в романе тоже появляются формулы: «второе «я», «здоровый и веселый зверь») вмешивается в его чувство к Марыне и чуть было не расстраивает их брак. Но и став мужем этой прелестной девушки, как две капли воды похожей на бесхитростную, открытую и преданную Анельку, он подвергает испытанию доставшееся ему счастье. И лишь долготерпение и святая доброта Марыни, ее непоколебимая нравственная твердость и вера побеждают в конце концов внутреннюю опустошенность мужа, открывают его душе счастье и покой.

Вопросы, которые ставились писателем в романе «Без догмата», решаются здесь в ином плане. Характер Поланецкого — при том, что ему свойственны некоторые черты «бездогматовца», — в сущности, противоположен Плошовскому. Это не томлящийся от безделья эстет и аристократ, а «положительный» человек, человек практического дела, как бы наследующий, если говорить о традициях русской литературы, линию Констанжогло и Штольца. «Поланецкий был сыном своего века и носил в себе его великое смятение — этот недуг нашей клонящейся к упадку эпохи. Он разочаровался в догмах, на которых прежде зиждилась жизнь. Усомнился и в рационализме: может ли он, спотыкающийся на каждом шагу, заменить веру; но и веры не обрел. От современных «декадентов» отличался он, однако, тем, что не носился с собой, со своими нервами и сомнениями, своей душевной драмой, и не считал ее патентом на праздность. Напротив, у него было более или менее ясное чувство: жизнь, загадка она или не загадка, должна быть исполнена трудов и усилий».

В трактовке Сенкевича этот делец являет собой некий особый, польский тип предпринимателя, сочетающий деловую хватку с идеальными стремлениями и верностью дворянской чести. В характере Поланецкого как бы слились черты Плошовского и Кромницкого — персонажей, в предшествовавшем романе полностью противопоставленных друг другу. Человек, задумывающийся над несовершенством мироздания, подвластный игре страстей, своей необузданной и неуравновешенной натуре, оказывается одновременно трезвым дельцом, рыцарем чистогана.

В образе Поланецкого Сенкевич снимает существенное для предыдущего романа противоречие парения и заземленности, поклонения красоте и денежному мешку; он фактически даже освобождает своего героя от кодекса шляхетского благородства, обязывая его соответствовать лишь самому неприхотливому и эластичному понятию буржуазной порядочности. Так, спекуляция на продаже хлеба в голодный год ничуть не дискредитирует Поланецкого в глазах писателя, — об этом сообщается в объективной, чуждой какому бы то ни было подтексту манере. Зато отказ участвовать в опротестовании завещания тетки Плошовской, предназначавшей свое состояние на благотворительные цели, а уж тем более выкуп родового поместья Марыни и решение поселиться в деревне расцениваются как достойный подражания патриотический акт.

Есть, впрочем, в «Семье Поланецких» один персонаж, более последовательно повторяющий одержимого лихорадкой наживы Кромидского и преступающий тот уровень буржуазной порядочности, который характеризует Поланецкого. Это беспринципный адвокат Машко, которого страсть к деньгам и показной роскоши доводит до разорения. Но и для Машко писатель находит доброе слово, и ему оставляет незатронутую куплей-продажей область человеческих чувств — заботу о семье: «...в другой стране такой вот Машко был бы шельма первостатейный. А у нас и под личиной мошенника что-то человеческое можно обнаружить...»

Роман «Семья Поланецких» был отрицательно оценен передовыми польскими литературными кругами. Известен также чрезвычайно резкий отзыв А. П. Чехова. Отзыв этот, продиктованный запальчивой непримиримостью русского писателя ко всякого рода буржуазной пошлости, несомненно вскрывает уязвимые узлы идейно-художественной конструкции романа, но не может восприниматься нами как исчерпывающий сужь вопроса, единственно правомочный вердикт. Л. Н. Толстой, например, был другого мнения об этом произведении Сенкевича, за творчеством которого он внимательно следил.

Толстой увидел в «Семье Поланецких» нечто большее, чем действительно упрощенные выводы, правоучительные рекомендации. «Прекрасный писатель, благородный, умный»¹, говорил он о Сенкевиче, почувствовав в его романе прежде всего заботу о духовности человека, оценив мысль польского писателя о необходимости постоянно бороться за нравственную чистоту. Идея активности в создании нравственного потенциала всегда остается живой гуманистической идеей. Это рациональное зерно романа Сенкевича, которое, несомненно, духовно было близко моральной доктрине Толстого. Его чутью художника, одаренного «ясновидением плоти», открылась также в «Семье Поланецких» удивительная широта и пластичность изображения польского шляхетского общества, обилие верно схваченных, живых характеров, убедительность и тонкость психологических нюансов.

По композиции «Семья Поланецких» отходит от монографического принципа, свойственного роману «Без догмата», в сторону все более разветвленного сюжетного действия. В романе представлена жизнь разных общественных слоев: деревенской шляхты (рачительный хозяин Ямиш и

¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 84. М. — Л., 1949, с. 228.

промотавшийся прожектор и комедиант старик Плавицкий), буржуазных предпринимателей (добропорядочное семейство компаньона Поланецкого Бигеля и безнравственное — адвоката Машко), завсегдаев аристократических салонов, где подвизаются охотница за богатыми женихами девица Кастелли и ее тетка Бронич.

Большое значение приобретает вторая, относительно самостоятельная сюжетная линия, раскрывающая трагедию молодого поэта Завиловского, погубленного бездушным честолюбием панны Кастелли. Ею существенно расширяются рамки повествования, объем вместилища в произведение жизненного материала: вводится тема буржуазной семьи, брака, прикрывающего постыдный торг, вновь возникает проблема художника, особенности его внутреннего мира. Завиловский, стрелявшийся из-за измены своей невесты, не погиб, но любовная катастрофа, оставив ему по случайности жизнь, обрекла его на творческое бесплодие.

И, наконец, Толстой не мог не оценить зрелого психологизма Сенкевича, последовательно проявившегося в лепке как главных, так и второстепенных персонажей романа. Неожиданность некоторых проявлений человеческого характера, но неожиданность логически и эмоционально мотивированная, — это главная особенность характеристики Сенкевича, сущность которой в создании образов динамических, саморазвивающихся. В отличие от Болеслава Пруса, который был мастером ярких сцен, стремительной интриги, комических ситуаций, раскрывающих сущность персонажей, Сенкевич погружен в самый механизм происходящего в душах его героев психического процесса. Двигателем сюжетного действия у него чаще всего становятся переживания героев, их причудливая подчас смена, игра чувств и логика ее оттенков.

В новаторском для польской литературы обращении к теме отношений людей в браке, когда прослеживаются нарастание взаимной отчужденности супругов, душевные страдания женщины, которая ощущает себя собственностью мужа, — во всем этом автор «Семьи Поланецких» созвучен Толстому.

Диалогия Сенкевича занимает в польской литературе конца XIX века особое место. В то время как другие польские реалисты его поколения — Болеслав Прус, Элиза Ожешко, Мария Конопницкая, Адольф Дыгасинский, а из молодых — Стефан Жеромский, Владислав Реймонт, Анджей Струг — стремились к изображению народной, преимущественно крестьянской жизни и механизма польского буржуазного общества в целом, выявляя его кричащие противоречия, беспросветную нужду и бедствия народных масс, Сенкевич сделал своей целью создание психологического портрета нового «героя времени», художественное постижение важных сдвигов в сознании мыслящего, образованного человека, порожденных духовной атмосферой тревожного, кризисного конца века.

Благодаря диалогии Сенкевича польский реализм — в дополнение к наиболее распространенным в 70—80-е годы жанрам социально-бытовой и исторической прозы — обогатился высоким классом философско-психологическим романом, который опирался на опыт развития этого жанра в европейской, особенно русской литературе.

В. Витт

ПРИМЕЧАНИЯ

Замысел романа «Семья Поланецких» относится к декабрю 1892 г., когда Сенкевич задумал поехать в Одессу по приглашению родителей своей невесты Марии Володкович. Договор на новый роман писатель заключил с журналом «Библиотека варшавска». «Это имеет ту добрую сторону,— комментирует этот факт Сенкевич в одном из писем Ядвиге Янчевской,— что я вынужден буду роман написать, но и плохую сторону тоже. Боже мой, когда же я буду свободен от каторги?»

Роман создавался в трудное для писателя время: быстрый разрыв с женой, за которым последовало дело о разводе. «Так устал, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой,— пишет он после окончания романа Я. Янчевской. — Это как-никак 16 месяцев труда, и ты знаешь в каких условиях... обстоятельства были на редкость неблагоприятны для писания».

Работу над романом Сенкевич, любивший путешествовать, совмещал с частыми переездами. Роман писался в Кракове, Варшаве, под Генуей, в Кальтенлейтгембене (австрийский курорт), в Закопане, в Венеции, Риме, Неаполе, снова в Кальтенлейтгембене, еще раз в Закопане, наконец, под Парижем, где Сенкевич и закончил его 22 октября 1894 г.

Печатался роман в журнале «Библиотека варшавска» с 24 июля 1893 г. по 12 декабря 1894 г. и одновременно в варшавской «Газете польской», отдельной книгой вышел в Варшаве в 1895 г.

О замысле и идее романа Сенкевич писал журналисту и литературному критику Дионизию Хенкелю 9 апреля 1894 г.: «Я хочу снизить температуру супружеских отношений Поланецких таким образом, чтобы Марыня дошла до грустного примирения со всем и пребывала в меланхолии, он же пришел к пониманию того, что в его жизни произошла какая-то ошибка, чего-то он не учел и что ему для полного душевного равновесия чего-то не хватает. Это будет наказанием за легкомысленное отношение к любви, наказанием, длящимся до тех пор, пока божье милосердие не снимет у него бельма с глаз и не изменит его души так, чтобы он почувствовал, что любовь должна складываться не только из страсти, но и уважения. Это наступит в Кшемене с возвращением Поланецкого к земле». Немного позже, 26 мая он пишет: «В следующих главах я покажу, что панна Кастелли будет не соответствовать пану Завиловскому, пани Основская — пану Основскому, пани Машко — пану Машко. Тогда Поланецкий увидит разницу между ними и Марыней и влюбится в жену по уши... и оседет на земле

в Кшемене... Впрочем, у меня есть свой «психологический тезис»: когда у человека «все хорошо» и он перестает внутренне работать над собой, он ломает себе шею при первом случае. Внутренняя работа над собой — это жизнь».

Одна из сюжетных линий «Семьи Поланецких» — любовь поэта Завиловского к Лилие Кастелли — связана в какой-то степени с историей неудачной женитьбы Сенкевича. Работая в январе 1895 г. над корректурой отдельного издания, Сенкевич стремился убрать все, что могло бы счесть намеком на историю его отношений с Володковичами — семейством бывшей его жены.

В одном из писем Сенкевич так отзывался о романе: «Главное, что меня теперь утешает, это сознание, что книга есть литературное свершение, общественное свершение».

Вокруг «Семьи Поланецких» развернулась дискуссия. Роман напел горячих поклонников и яростных противников. Так, публицист и литературный критик Юзеф Токажевич (1841—1919) отмечал: «Велика и повсеместна была радость, когда появились первые главы «Поланецких», — книга оправдала чаяния и надежды...»

В петербургской польской газете «Край» представитель либерально-буржуазных кругов Влодзимеж Спасович (известный юрист, критик и публицист) писал в 1895 г.: «Станислав Поланецкий — это тип новый, не имеющий ничего общего с эпилонами романтизма и байронизма, с такими декадентами, как Плошовский и Букацкий, причем это фигура благородная — истинный мужчина с широким лицом, здоровыми зубами, энергичным обликом и живыми глазами, вследствие закона природы он куда более походит на своих прадедов, нежели на предшественников. Не постыдились бы признать Поланецкого своим Скшетуский, Володыевский и другие рыцари, прославившиеся в боях с казаками и шведами». А известный критик Вильгельм Фельдман с удивлением спрашивал: «Есть ли в романе хоть какой-нибудь след того, что Станислав Поланецкий читал «Огнем и мечом»?»

Петр Хмелевский — критик прогрессивной ориентации в статье «Ирония жизни в последнем романе Г. Сенкевича» (1895) написал: «Сенкевич рисует Поланецкого как дельца, но совершенно не показывает его как гражданина... Мы не видим, чтобы он хоть что-нибудь сделал для пользы общества... он получился заурядным накопителем, не чувствительным к волнениям общества».

«Коль скоро автор выдвигает своего героя на роль образца для подражания, — заявляет Игнаций Матушевский, видный критик эпохи «Молодой Польши», — общественная критика вступает в свои права и протестует. Она протестует, ибо программа, которую представляет герой, слишком узка и ограничена. Увеличить свое состояние путем удачных спекуляций, жениться, изменить жене, искренне об этом пожалеть, снова стать внимательным и любящим мужем, сделать приятное любимой женщине — спасти ее земельную собственность и осесть на ней, чтобы работать на земле, — этим можно заполнить жизнь заурядного человека, однако в жизни общества значит не так много».

Станислав Бжозовский в работе 1906 г. назвал «Семью Поланецких» «романом польской буржуазии и польского филистерства». В монографии современного польского критика А. Ставара о Сенкевиче (1960) утверждается: «в «Семье Поланецких» верно схвачено определенное общественное явление, о чем свидетельствует и распространение термина «поланецщина», который не менее популярен, чем, скажем, в свое время «обломовщина» в России по роману Гончарова или «дульщина» в Польше по пьесе «Пани Дульская» Г. Запольской. В литературе такое создание устойчивого типа встречается не так уж часто».

Как бы подытоживая и объясняя столь противоречивые мнения о романе, другой современный польский критик К. Выка в книге «Статьи и портреты» (1982 г.) пишет: «У нас нет другого автора, который бы столь стремительно и безоговорочно покори́л самую широкую аудиторию и значение которого при этом оспаривалось бы столь остро и яростно».

Роман «Семья Поланецких» пользовался большой известностью в России. Он публиковался почти одновременно с оригиналом в журналах «Русская мысль» (1893—1894 гг.) в переводе В. Лаврова и «Северный вестник» (1893—1895 гг.) в переводе М. Кривошеева. В 1894—1895 гг. появляются сразу четыре книжных издания в трех разных переводах в Москве, Петербурге и Киеве. До 1917 г. роман издавался в России одиннадцать раз.

Стр. 339. *Влука* — около 17 га.

Стр. 400. «...очутился на середине *Съезда*». — Съезд — спускающаяся к Висле улица в Варшаве.

Стр. 459. «*Мы на Повонзках были...*» — Повонзки — кладбище в Варшаве.

Стр. 545. «*Цитировать Сляза из Лиллы Венеды*». — «Лилла Венед» — драма Ю. Словацкого. Перевод В. Луговского.

Стр. 659. «*Пан Зигмунт знатного рода был...*» — Имеются в виду великие польские поэты-романтики Зигмунт Красинский, Адам Мицкевич, Юлиуш Словацкий.

Е. Цыбенко

СОДЕРЖАНИЕ 6-го ТОМА

БЕЗ ДОГМАТА. <i>Перевод М. Абкиной</i>	7
<i>Примечания</i>	322

СОДЕРЖАНИЕ 7-го ТОМА

• СЕМЬЯ ПОЛАНЕЦКИХ. Перевод Н. Подольской . . .	329
В. Витт. Социально-психологические романы Сенкевича .	316
Примечания	827

- Сенкевич Г.**
С31 Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 6. Без догмата: Роман. Т. 7. Семья Поланецких: Роман: Пер. с пол. /Послесл. В. Витт; Примеч. Е. Цыбенко — М.: Худож. лит., 1985. — 831 с.

В шестой и седьмой тома Собрания сочинений Генрика Сенкевича (1846—1916) входят социально-психологические романы «Без догмата» (1890) и «Семья Поланецких» (1894).

С $\frac{4703000000-392}{028(01)-85}$ подписное

ББК 85.4П
И(Пол)

ГЕНРИК СЕНКЕВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМА VI и VII

Редакторы

Ю. Живова и С. Тонконогова

Художественный редактор

Е. Ененко

Технический редактор

С. Ефимова

Корректоры

Г. Киселева и О. Наренкова

ИБ № 4113

Сдано в набор 30.08.83. Подписано в печать 07.08.84. Формат 60×90^{1/16}. Бумага кн.-журн. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 52. Усл. кр.-отт. 52. Уч.-изд. л. 59.03. Тираж 200 000 экз. Изд. № V-946. Заказ 1070. Цена 5 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15